



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

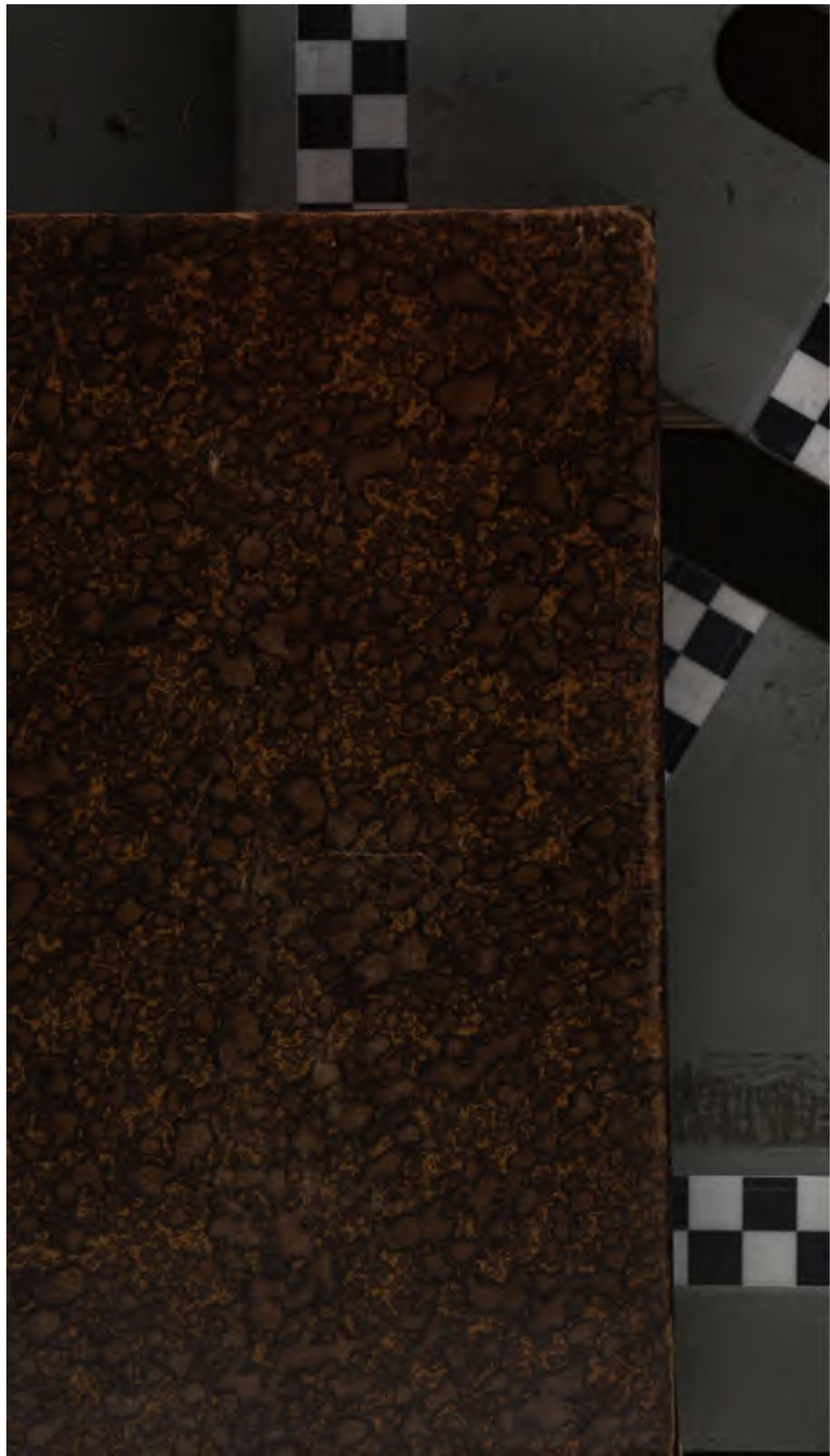
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

12/14

1878

RS8557



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

12/14

3982



19. a



T. K. K. K.

100

100

100

100

100

100



W. H. K. K. K.



II 9
I^o/₃

П. Н. КУДРЯВЦЕВА.

Kudrjantsev, P.N.

съ портретомъ и факсимиле автора.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.



ИЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ А. А. КАРЦЕВА
Компильсiона Императорскаго Общества Любителей Естественнаго, Антропологiи и Этнографiи.
Москва. Покровка, д. Егорова.
1887.
(100)

Wibte 11373.

EPG. 1977 F.

57

KSS

1.1

Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ принадлежитъ къ числу лучшихъ представителей русской науки и литературы сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Имя его тѣсно связано съ тою блестящею эпохой въ исторіи Московскаго университета, когда онъ занялъ первое мѣсто между русскими университетами и сдѣлался главнымъ разсадникомъ просвѣщенія для всей Россіи. Въ числѣ профессоровъ, которые своими талантами и ученою дѣятельностью способствовали этому процвѣтанію Московскаго университета, былъ и П. Н. Кудрявцевъ. Изъ его учено-литературныхъ трудовъ особенно извѣстностью пользуются два сочиненія: «Судьбы Италіи» и «Римскія женщины». Кромѣ того, ему принадлежитъ много повѣстей, рассказовъ, историческихъ монографій и критическихъ статей, помѣщавшихся въ журналахъ того времени и всегда находившихъ себѣ многочисленныхъ читателей. Съ 1856 года П. Н. былъ однимъ изъ редакторовъ основаннаго имъ, вмѣстѣ съ М. Н. Катковымъ и П. М. Леонтьевымъ, журнала «Русскій Вѣстникъ», въ которомъ съ этихъ поръ онъ помѣщалъ всѣ свои сочиненія историческаго, литературнаго и политическаго содержанія. Но за исключеніемъ повѣстей и рассказовъ, собранныхъ и изданныхъ въ 1866 году, всѣ сочиненія П. Н., появившіяся въ видѣ журнальныхъ статей, оставались до настоящаго времени разсѣянными по тѣмъ изданіямъ, въ которыхъ первоначально были напечатаны, и вмѣстѣ съ ними дѣлались мало-по-малу библіографическою рѣдкостью. Русская литература, въ которой уже существуютъ полныя собранія сочиненій Грановскаго, Кавелина, Ешевскаго и Соловьева, изданныя вскорѣ послѣ ихъ смерти, до сихъ поръ не имѣла никакого собранія учено-литературныхъ трудовъ П. Н. Кудрявцева.

Съ цѣлью пополнить этотъ пробѣлъ въ нашей литературѣ, предпринято нынѣ предлагаемое изданіе. Но являясь спустя почти тридцать лѣтъ по смерти автора, оно не можетъ быть *полнымъ* собраніемъ его сочиненій. Многія изъ нихъ, въ особенности мелкія литературныя критики, рецензіи и статьи политическаго содержанія, вызванныя тогдашними *явленіями* литературной и политической жизни, уже поте-

ряли свой интересъ для большинства современныхъ читателей. Поэтому всѣ эти статьи исключены изъ настоящаго изданія. Въ него вошли: «Судьбы Италіи», самый капитальный трудъ П. Н., и важнѣйшія историческія и историко-критическія статьи, не утратившія и теперь своего научнаго и литературнаго значенія; къ нимъ присоединены нѣкоторыя художественныя критики и статьи біографическаго содержанія *).

Все изданіе состоитъ изъ трехъ томовъ. Третій томъ, который будетъ содержать въ себѣ сочиненіе «Судьбы Италіи», печатается и выйдетъ въ непродолжительномъ времени. Матеріаломъ для первыхъ двухъ томовъ послужили указанныя журнальныя статьи. Онѣ размѣщены въ нихъ слѣдующимъ образомъ:

Въ первомъ томѣ помѣщаются прежде всего двѣ статьи общеоисторическаго содержанія: «О достовѣрности исторіи» и «О современныхъ задачахъ исторіи». Затѣмъ слѣдуютъ статьи, относящіяся къ древней и средневѣковой исторіи: «Послѣднее время греческой независимости», «Древнѣйшая римская исторія по изслѣдованію Шwegлера», «О сочиненіи Ешевскаго *Аполлинарій Сидоній*» и «Каролинги въ Италіи». Изъ нихъ неоконченная монографія «Каролинги въ Италіи» вошла въ это изданіе съ прибавленіемъ двухъ статей, сохранившихся между бумагами автора и нигдѣ еще не напечатанныхъ. Къ этой же группѣ примыкаетъ и историко-литературная статья «Дантъ, его вѣкъ и жизнь», не оконченная авторомъ, но и въ этомъ видѣ представляющая нѣчто цѣльное. Далѣе, вслѣдъ за художественно-литературнымъ разборомъ трагедіи Софокла «Эдипъ царь», помѣщаются два очерка, относящіеся къ области искусствъ: «Бельведеръ» и «Венера Милосская».

Второй томъ заключаетъ въ себѣ статьи по новой исторіи, относящіяся къ послѣднимъ годамъ литературной дѣятельности автора: «Осада Лейдена», «Жозефъ Бонапартъ въ Италіи», «Карль V» и «Юность Катерины Медичи». Особую группу въ этомъ томѣ составляютъ: «Воспоминаніе о Т. Н. Грановскомъ» и часть его біографіи, напечатанная уже послѣ смерти автора, подъ заглавіемъ: «Дѣтство и юность Т. Н. Грановскаго».

*) Сочиненіе «Римскія женщины», котораго послѣднее изданіе еще находится въ продажѣ, не вошло въ это собраніе.

О достовѣрности исторіи*.

Д о с т о в ѣ р н ѣ л и с т а н о в и т с я и с т о р і я? Записка, представленная въ Академію Наукъ президентомъ ея гр. С. С. Уваровымъ ¹⁾.

Недавно въ нашей литературѣ возникъ вопросъ объ исторической достовѣрности вообще. Уже изъ одного уваженія къ имени автора, который принялъ на себя трудъ высказать относительно этого предмета нѣкоторыя свои сомнѣнія, мы, съ своей стороны, также не можемъ обойти вопроса, не поискавъ ему болѣе или менѣе удовлетворительнаго разрѣшенія. Вопросъ поставленъ: нельзя же литературѣ вѣчно оставаться при немъ; надобно, чтобъ нашелся и приличный отвѣтъ на него, и чтобъ рано или поздно дѣло было совершенно очищено. Мы беремъ на себя лишь первую попытку.

Признаемся: мы встрѣтились съ вопросомъ вовсе неожиданно; мы не имѣли никакихъ предварительныхъ сомнѣній относительно достовѣрности исторіи вообще. И откуда бы взялись они, или что могло бы на нихъ навести? Давно существуетъ наука исторіи; недостатка въ матеріалѣ нѣтъ: наука не сочинила его — она нашла его готовымъ во всѣхъ почти эпохахъ, благодаря вѣрному инстинкту человѣка, который все-

* Напечатано въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1851 г.

¹⁾ Подъ этимъ названіемъ напечатанъ въ 1-мъ № „Москвитянина“ на 1851 годъ переводъ мемуара, представленнаго графомъ С. С. Уваровымъ въ Императорскую Академію Наукъ. Тотъ же мемуаръ въ русскомъ переводѣ помѣщенъ и въ „Современникѣ“ (№ 1) на 1851 годъ, подъ другимъ заглавіемъ: „Подвигается ли впередъ историческая достовѣрность?“ Приводимыя мѣста я беру изъ перевода „Москвитянина“, хотя никто, конечно, не назоветъ его удовлетворительнымъ.

гда хотѣлъ сохранить для потомства память дѣлъ, имъ видѣнныхъ или слышанныхъ; матеріалъ растеть съ каждымъ годомъ, постоянно увеличиваясь не однѣми только записями новыхъ дѣлъ, но и открытіями древнихъ памятниковъ, которые *одна* пытливость усердно добываетъ изъ земли и изъ могилъ, чтобъ потомъ передать ихъ съ рукъ на руки *другой*, болѣе возвышенной пытливости, любящей доспрашиваться смысла у каждаго обломка отжившаго міра; иногда однимъ такимъ открытіемъ вдругъ озарится цѣлая эпоха, цѣлая темная страница исторіи, и тамъ, гдѣ прежде нельзя было различить ни одной ясной черты, довольно раздѣльно выходятъ полные образы. Между тѣмъ критика продолжаетъ работать неумоимо; она какъ-будто соревнуеть усердію тѣхъ антикваріевъ-гробокопателей, которые роются въ землѣ на историческомъ кладбищѣ; она никакъ не хочетъ дать имъ опередить себя и особаго рода процессомъ очищаетъ, одинъ за другимъ, всѣ историческіе памятники, какъ только они становятся ей доступны; ведется постоянный пересмотръ уже добытыхъ результатовъ, дѣлается сводъ имъ, и въ то же время идетъ дѣятельная разработка новыхъ приобрѣтеній, повѣрка стараго новымъ. Жизнь историческая уходитъ все впередъ и впередъ отъ своихъ первыхъ зачатковъ, а тамъ, позади ея, надъ самыми этими зачатками, все больше и больше разгарается свѣтъ, которымъ отражается на нихъ современное знаніе. Наука ощутительно зрѣетъ какъ по формѣ, такъ еще болѣе по содержанию; не въ одномъ мѣстѣ, не систематически по принятому напередъ плану, производится разработка ея, но изъ суммы всей этой дѣятельности слагается одинъ огромный капиталъ, который весь наука по праву можетъ считать своимъ достояніемъ, безъ различенія мѣстности, гдѣ выработана та или другая его доля: ей, безспорно, принадлежитъ всякое историческое изслѣдованіе, будетъ ли оно предпринято на старомъ или новомъ полушаріи, лишь бы было написано на человѣческомъ языкѣ, доступномъ анализу и пониманію. Всемирная историческая библіографія — указатель успѣховъ науки, никогда не пустѣетъ, и страницы ея громки не одними только заглавіями: во множествѣ титуловъ и именъ, здѣсь встрѣчающихся и постоянно прибывающихъ, всегда есть нѣсколько такихъ, которыми обозначатся неоспоримыя приобрѣтенія, сдѣланныя вновь въ пользу науки, дѣйствительное движеніе ея впередъ. Немаловажный трудъ принялъ бы на себя тотъ, кто захотѣлъ бы исчислить всѣ открытія и приобрѣтенія, кото-

рыми обогатилась историческая наука лишь въ продолженіе послѣдняго десятилѣтія.

На почвѣ невѣрной, обманчивой, все больше и больше разступающейся подъ ногами, по мѣрѣ того, какъ по ней стараются итти впередъ, какъ могла бы развиваться такая обширная дѣятельность, какъ возможны были бы тѣ прочныя и истинно великіе результаты историческаго изслѣдованія, которые такъ высоко подняли исторію въ ряду современныхъ знаній?

И потому еще, казалось намъ, нельзя сомнѣваться въ солидности исторической почвы вообще, что исторія идетъ впередъ не одна—она подвигается дружно, объ руку съ другими знаніями, ей особенно родственными, и нерѣдко полагаетъ въ основу себѣ ими добытыя и утвержденныя положенія. Филологія, археологія, нумизматика никогда не отказывали ей въ своемъ дѣятельномъ пособіи, никогда она сама не отрекалась отъ права заимствовать свой свѣтъ прямо изъ общаго съ ними источника. Рѣдкому филологу не приходилось иногда быть и историкомъ; въ свою очередь историкъ также не считаетъ области филологіи вовсе ему чужою; напротивъ, иногда онъ совершенно заключается въ этой области, такъ что лишь точка зрѣнія на предметъ и нѣкоторыя особенности въ самомъ способѣ занятія, въ приемахъ, отличаютъ его отъ прямого филолога. Въ области классической древности, ея исторіи, это даже обыкновенное правило. И Востокъ открываетъ свое прошлое прежде всего тѣмъ, которые берутъ на себя трудъ ближе ознакомиться съ его языками. Исторія Египта тогда только подвинулась впередъ, когда установилось знаніе іероглифики. Почти вся внутренняя исторія старой Индіи заключается въ санскритѣ. Все это, кажется, довольно твердая почва, чтобъ исторія могла пустить въ ней свои корни и разрастись многовѣтвистымъ деревомъ, не боясь паденія. Тамъ же, гдѣ нѣтъ болѣе этой богатой основы, развѣ исторія лишена ужъ вовсе своихъ собственныхъ средствъ, чтобъ по крайней мѣрѣ вести непрерывную лѣтопись событій? и развѣ у всякаго поколѣнія историковъ не найдется столько историческаго смысла, чтобъ отличить событія, дѣлающія эпоху, отъ тѣхъ, которыя, не выступая изъ ряду, составляютъ лишь необходимое звено въ послѣдовательной цѣпи прочихъ историческихъ явленій? Не даромъ классическій міръ, умирая, завѣщалъ новымъ поколѣніямъ свою грамотность: прежде чѣмъ варвары научились чему-нибудь, они ужъ выучились писать

по-латыни, и прежде чѣмъ нашлось мѣсто литературѣ, у нихъ ужъ была своя писанная лѣтопись. Можно бы сказать, что первое искусство, которое новая Европа переняла у старой, было искусство писать исторію. Начала она, правда, съ Проспера, Идація, Иорванда, но скоро дошла до Григорія Турскаго, Эйнгарда, Ламберта Ашаффенбургскаго. Едва одинъ приводилъ къ концу свою лѣтопись, какъ другой уже велъ ее далѣе. Случалось и такъ, что нѣсколько рукъ, нисколько не сообщаясь между собою, въ одно и то же время, продолжали вести перепись событій, которыя совершались въ современности. Не было ни стачки, ни передачи — а дѣло шло своимъ чередомъ, и исторія новой Европы не знаетъ такихъ пробѣловъ, отъ которыхъ бы особенно потерпѣла столько необходимая въ наукѣ связь между предшествующимъ и послѣдующимъ. Оттого и существуетъ цѣлая наука, что есть для нея всѣ важнѣйшія условія...

Не изъ круга самой науки — сомнѣніе въ достовѣрности исторіи могло возникнуть только извнѣ. Но тѣмъ не менѣе наука должна принять къ свѣдѣнію всякое основательное возраженіе, которое можетъ быть сдѣлано со стороны противъ одного изъ самыхъ первыхъ условій ея существованія: иначе вся ея обширная дѣятельность осталась бы подъ сильнымъ подозрѣніемъ, какъ не имѣющая никакихъ прочныхъ основаній и потому совершенно безплодная. Возраженіе, которое мы здѣсь имѣемъ въ виду, получаетъ еще особенный вѣсъ оттого, что за него ручается авторитетъ, давно уже признанный въ литературномъ и ученомъ мірѣ. Что же можетъ быть сказано противъ принятой наукою исторической достовѣрности, и въ чемъ собственно поводъ къ сомнѣніямъ въ ней?

Когда спрашиваютъ «достовернѣ ли становится исторія?», прилагая этотъ вопросъ къ нашему времени, или правильнѣе, къ цѣлой исторіи новыхъ временъ, естественно хотятъ сказать, что относительно исторіи древняго міра считаютъ степень ея достовѣрности весьма недостаточною. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь начало сомнѣніямъ. Еще Вильменъ отдѣлилъ исторію древнюю какъ особый родъ, присвоивъ ей названіе «гадательной». Авторъ мемуара нисколько не сомнѣвается, что эпитетъ, изобрѣтенный Вильменомъ для древней исторіи, выражаетъ не просто лишь одно изъ случайныхъ ея свойствъ, но главный и существенный ея характеръ, по которому она отличается гораздо болѣе, чѣмъ по времени, ею изображаемому. «Нѣтъ сомнѣнія (говоритъ онъ), «что исторія древнихъ

временъ основана на догадкахъ: она скорѣе дѣло вѣры, нежели обсужденія. Зато и вынуждены мы допустить ее едва ли не въ томъ видѣ, въ какомъ построили намъ ее поэты; историки и риторы.» («Москв.» кн. 1, стр. 97).

Исторія древности—гадательная... Мы впрочемъ позволимъ себѣ нѣсколько усомниться въ вѣроятности этого положенія. Для насъ авторитетъ Вильмена не столько рѣшителенъ, чтобъ мы могли, на вѣру ему, безусловно приложить изобрѣтенный имъ эпитетъ къ цѣлой исторіи древняго міра. Есть въ ней, безъ сомнѣнія, темныя и шаткія стороны, о которыхъ можно разсуждать не иначе, какъ гадательно; есть цѣлыя отдѣльныя явленія, которыя никакъ не покоряются силѣ анализа. Мифологія древнихъ, не смотря на всѣ успѣхи новой науки, все еще останется загадочною областью, и таинственный сфинксъ, стоящій при самомъ входѣ въ нее, бережетъ еще много тайнъ отъ современной любознательности. Но мы перемѣшали бы самыя разнородныя вещи, если бъ избрали сфинкса эмблемою для всей древности, взятой въ цѣломъ ея объемѣ. Не сознавали бы мы такъ ясно отличія древней жизни отъ новой, если бъ первая продолжала оставаться для насъ только гадательною. Нельзя болѣе называть гадательнымъ того, что по крайней мѣрѣ многими своими сторонами стало доступно отчетливому разумѣнію. Даже египетская древность, безспорно самая загадочная изъ всѣхъ, въ наше время едва ли можетъ быть еще обозначаема сполна своимъ старымъ символомъ, когда уже прочтено столько надписей древняго Египта, когда исчислены всѣ его династіи, когда, наконецъ, узнаны нѣкоторыя изъ его царственныхъ мумій, такъ что ихъ можно почти называть по именамъ. Исторія перестаетъ быть дѣломъ одной вѣры, когда для нея открывается возможность повѣрки, а сводъ Эратосеена съ Манеѳономъ, предпринятый и исполненный Бунзеномъ, показываетъ, что есть мѣсто повѣркѣ даже въ исторіи древняго Египта. Пусть молчаливый сфинксъ упорно остается на своемъ прежнемъ мѣстѣ: исторія начинаетъ уже обходить его и заглядывать далѣе. Были загадкою Гиксосы—и точно ихъ приходилось принимать только на вѣру; но загадка держалась лишь до тѣхъ поръ, пока не хотѣли подвергнуть дѣло основательному обсужденію: допрашивая финикійскую древность, Моверсъ показалъ, что есть возможность разгадать и этихъ таинственныхъ пришельцевъ. Еще менѣе можно сказать о классической древности, что она скорѣе дѣло вѣры, чѣмъ обсужденія. Отчего же бы она была скорѣе дѣ-

1870



H. K. K. K.



II 9
I^e/₃

П. Н. КУДРЯВЦЕВА.

Kudryavtsev, P.N.

съ портретомъ и факсимиле автора.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.



ИЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ А. А. КАРЦЕВА
Коммиссіонно ИМПЕРАТОРСКАГО Общества Любителей Естественнаго, Антропологич. и Этнографич.
Москва. Покровка, д. Егорова.

1887.

(103)

Wibitz 11373.

EPGE. 1977 r.

57

KSS

1.1

Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ принадлежитъ къ числу лучшихъ представителей русской науки и литературы сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Имя его тѣсно связано съ тою блестящею эпохой въ исторіи Московскаго университета, когда онъ занялъ первое мѣсто между русскими университетами и сдѣлался главнымъ разсадникомъ просвѣщенія для всей Россіи. Въ числѣ профессоровъ, которые своими талантами и ученою дѣятельностью способствовали этому процвѣтанію Московскаго университета, былъ и П. Н. Кудрявцевъ. Изъ его учено-литературныхъ трудовъ особенно извѣстностью пользуются два сочиненія: «Судьбы Италіи» и «Римскія женщины». Кромѣ того, ему принадлежитъ много повѣстей, рассказовъ, историческихъ монографій и критическихъ статей, помѣщавшихся въ журналахъ того времени и всегда находившихъ себѣ многочисленныхъ читателей. Съ 1856 года П. Н. былъ однимъ изъ редакторовъ основаннаго имъ, вмѣстѣ съ М. Н. Катковымъ и П. М. Леонтьевымъ, журнала «Русскій Вѣстникъ», въ которомъ съ этихъ поръ онъ помѣщалъ всѣ свои сочиненія историческаго, литературнаго и политическаго содержанія. Но за исключеніемъ повѣстей и рассказовъ, собранныхъ и изданныхъ въ 1866 году, всѣ сочиненія П. Н., появлявшіяся въ видѣ журнальныхъ статей, оставались до настоящаго времени разсѣянными по тѣмъ изданіямъ, въ которыхъ первоначально были напечатаны, и вмѣстѣ съ ними дѣлались мало-по-малу библіографическою рѣдкостью. Русская литература, въ которой уже существуютъ полныя собранія сочиненій Грановскаго, Кавелина, Ешевскаго и Соловьева, изданныя вскорѣ послѣ ихъ смерти, до сихъ поръ не имѣла никакого собранія учено-литературныхъ трудовъ П. Н. Кудрявцева.

Съ цѣлью пополнить этотъ пробѣлъ въ нашей литературѣ, предпринято нынѣ предлагаемое изданіе. Но являясь спустя почти тридцать лѣтъ по смерти автора, оно не можетъ быть *полнымъ* собраніемъ его сочиненій. Многія изъ нихъ, въ особенности мелкія литературныя критики, рецензіи и статьи политическаго содержанія, вызванныя тогдашними *явленіями* литературной и политической жизни, уже поте-

ряли свой интересъ для большинства современныхъ читателей. Поэтому всѣ эти статьи исключены изъ настоящаго изданія. Въ него вошли: «Судьбы Италіи», самый капитальный трудъ П. Н., и важнѣйшія историческія и историко-критическія статьи, не утратившія и теперь своего научнаго и литературнаго значенія; къ нимъ присоединены нѣкоторыя художественныя критики и статьи біографическаго содержанія *).

Все изданіе состоитъ изъ трехъ томовъ. Третій томъ, который будетъ содержать въ себѣ сочиненіе «Судьбы Италіи», печатается и выйдетъ въ непродолжительномъ времени. Матеріаломъ для первыхъ двухъ томовъ послужили указанныя журнальныя статьи. Онѣ размѣщены въ нихъ слѣдующимъ образомъ:

Въ первомъ томѣ помѣщаются прежде всего двѣ статьи общеисторическаго содержанія: «О достовѣрности исторіи» и «О современныхъ задачахъ исторіи». Затѣмъ слѣдуютъ статьи, относящіяся къ древней и средневѣковой исторіи: «Послѣднее время греческой независимости», «Древнѣйшая римская исторія по изслѣдованію Шwegлера», «О сочиненіи Ешевскаго *Аполлинарій Сидоній*» и «Каролинги въ Италіи». Изъ нихъ неоконченная монографія «Каролинги въ Италіи» вошла въ это изданіе съ прибавленіемъ двухъ статей, сохранившихся между бумагами автора и нигдѣ еще не напечатанныхъ. Къ этой же группѣ примыкаетъ и историко-литературная статья «Дантъ, его вѣкъ и жизнь», не оконченная авторомъ, но и въ этомъ видѣ представляющая нѣчто цѣльное. Далѣе, вслѣдъ за художественно-литературнымъ разборомъ трагедіи Софокла «Эдиъ царь», помѣщаются два очерка, относящіеся къ области искусствъ: «Бельведеръ» и «Венера Милосская».

Второй томъ заключаетъ въ себѣ статьи по новой исторіи, относящіяся къ послѣднимъ годамъ литературной дѣятельности автора: «Осада Лейдена», «Жозефъ Бонапартъ въ Италіи», «Карлъ V» и «Юность Катерины Медичи». Особую группу въ этомъ томѣ составляютъ: «Воспоминаніе о Т. Н. Грановскомъ» и часть его біографіи, напечатанная уже послѣ смерти автора, подъ заглавіемъ: «Дѣтство и юность Т. Н. Грановскаго».

*) Сочиненіе «Римскія женщины», котораго послѣднее изданіе еще находится въ продажѣ, не вошло въ это собраніе.

О достовѣрности исторіи*.

Достовѣрнѣе ли становится исторія? Записка, представленная въ Академію Наукъ президентомъ ея гр. С. С. Уваровымъ ¹⁾.

Недавно въ нашей литературѣ возникъ вопросъ объ исторической достовѣрности вообще. Уже изъ одного уваженія къ имени автора, который принялъ на себя трудъ высказать относительно этого предмета нѣкоторыя свои сомнѣнія, мы, съ своей стороны, также не можемъ обойти вопроса, не поиславъ ему болѣе или менѣе удовлетворительнаго разрѣшенія. Вопросъ поставленъ: нельзя же литературѣ вѣчно оставаться при немъ; надобно, чтобъ нашелся и приличный отвѣтъ на него, и чтобъ рано или поздно дѣло было совершенно очищено. Мы беремъ на себя лишь первую попытку.

Признаемся: мы встрѣтились съ вопросомъ вовсе неожиданно; мы не имѣли никакихъ предварительныхъ сомнѣній относительно достовѣрности исторіи вообще. И откуда бы взялись они, или что могло бы на нихъ навести? Давно существуетъ наука исторіи; недостатка въ матеріалѣ нѣтъ: наука не сочинила его — она нашла его готовымъ во всѣхъ почти эпохахъ, благодаря вѣрному инстинкту человѣка, который все-

* Намечтано въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1851 г.

¹⁾ Подъ этимъ названіемъ напечатанъ въ 1-мъ № „Москвитинина“ на 1851 годъ переводъ мемуара, представленнаго графомъ С. С. Уваровымъ въ Императорскую Академію Наукъ. Тотъ же мемуаръ въ русскомъ переводѣ помѣщенъ и въ „Современникѣ“ (№ 1) на 1851 годъ, подъ другимъ заглавіемъ: „Подвигается ли впередъ историческая достовѣрность?“ Приводимыя мѣста я беру изъ перевода „Москвитинина“, хотя никто, конечно, не назоветъ его удовлетворительнымъ.

гда хотѣлъ сохранить для потомства память дѣлъ, имъ видѣнныхъ или слышанныхъ; матеріалъ растеть съ каждымъ годомъ, постоянно увеличиваясь не однѣми только записями новыхъ дѣлъ, но и открытіями древнихъ памятниковъ, которые одна пытливость усердно добываетъ изъ земли и изъ могилъ, чтобъ потомъ передать ихъ съ рукъ на руки *другой*, болѣе возвышенной пытливости, любящей доспрашиваться смысла у каждаго обломка отжившаго міра; иногда однимъ такимъ открытіемъ вдругъ озарится цѣлая эпоха, цѣлая темная страница исторіи, и тамъ, гдѣ прежде нельзя было различить ни одной ясной черты, довольно раздѣльно выходятъ полные образы. Между тѣмъ критика продолжаетъ работать неумоимо; она какъ-будто соревнуеть усердію тѣхъ антикваріевъ-гробовъкопателей, которые роются въ землѣ на историческомъ кладбищѣ; она никакъ не хочетъ дать имъ опередить себя и особаго рода процессомъ очищаетъ, одинъ за другимъ, всѣ историческіе памятники, какъ только они становятся ей доступны; ведется постоянный пересмотръ уже добытыхъ результатовъ, дѣлается сводъ имъ, и въ то же время идетъ дѣятельная разработка новыхъ пріобрѣтеній, повѣрка стараго новымъ. Жизнь историческая уходитъ все впередъ и впередъ отъ своихъ первыхъ зачатковъ, а тамъ, позади ея, надъ самыми этими зачатками, все больше и больше разгарается свѣтъ, которымъ отражается на нихъ современное знаніе. Наука ощутительно зрѣетъ какъ по формѣ, такъ еще болѣе по содержанію; не въ одномъ мѣстѣ, не систематически по принятому напередъ плану, производится разработка ея, но изъ суммы всей этой дѣятельности слагается одинъ огромный капиталъ, который весь наука по праву можетъ считать своимъ достояніемъ, безъ различенія мѣстности, гдѣ выработана та или другая его доля: ей, безспорно, принадлежитъ всякое историческое изслѣдованіе, будетъ ли оно предпринято на старомъ или новомъ полушаріи, лишь бы было написано на человѣческомъ языкѣ, доступномъ анализу и пониманію. Всемирная историческая библіографія — указатель успѣховъ науки, никогда не пустѣетъ, и страницы ея громки не одними только заглавіями: во множествѣ титуловъ и именъ, здѣсь встрѣчающихся и постоянно прибывающихъ, всегда есть нѣсколько такихъ, которыми обозначатся неоспоримыя пріобрѣтенія, сдѣланныя вновь въ пользу науки, дѣйствительное движеніе ея впередъ. Немаловажный трудъ принялъ бы на себя тотъ, кто захотѣлъ бы исчислить всѣ открытія и пріобрѣтенія, кото-

рыми обогатилась историческая наука лишь въ продолженіе послѣдняго десятилѣтія.

На почвѣ невѣрной, обманчивой, все больше и больше разступающейся подъ ногами, по мѣрѣ того, какъ по ней стараются итти впередъ, какъ могла бы развиваться такая обширная дѣятельность, какъ возможны были бы тѣ прочныя и истинно великіе результаты историческаго изслѣдованія, которые такъ высоко подняли исторію въ ряду современныхъ знаній?

И потому еще, казалось намъ, нельзя сомнѣваться въ солидности исторической почвы вообще, что исторія идетъ впередъ не одна—она подвигается дружно, объ руку съ другими знаніями, ей особенно родственными, и нерѣдко полагаетъ въ основу себѣ ими добытыя и утвержденныя положенія. Филологія, археологія, нумизматика никогда не отказывали ей въ своемъ дѣятельномъ пособіи, никогда она сама не отрекалась отъ права заимствовать свой свѣтъ прямо изъ общаго съ ними источника. Рѣдкому филологу не приходилось иногда быть и историкомъ; въ свою очередь историкъ также не считаетъ области филологіи вовсе ему чужою; напротивъ, иногда онъ совершенно заключается въ этой области, такъ что лишь точка зрѣнія на предметъ и нѣкоторыя особенности въ самомъ способѣ занятія, въ приемахъ, отличаютъ его отъ прямого филолога. Въ области классической древности, ея исторіи, это даже обыкновенное правило. И Востокъ открываетъ свое прошлое прежде всего тѣмъ, которые берутъ на себя трудъ ближе ознакомиться съ его языками. Исторія Египта тогда только подвинулась впередъ, когда установилось знаніе іероглифики. Почти вся внутренняя исторія старой Индіи заключается въ санскритѣ. Все это, кажется, довольно твердая почва, чтобъ исторія могла пустить въ ней свои корни и разрастись многовѣтвистымъ деревомъ, не боясь паденія. Тамъ же, гдѣ нѣтъ болѣе этой богатой основы, развѣ исторія лишена ужъ все своихъ собственныхъ средствъ, чтобъ по крайней мѣрѣ вести непрерывную лѣтопись событій? и развѣ у всякаго поколѣнія историковъ не найдется столько историческаго смысла, чтобъ отличить событія, дѣлающія эпоху, отъ тѣхъ, которыя, не выступая изъ ряду, составляютъ лишь необходимое звено въ послѣдовательной цѣпи прочихъ историческихъ явленій? Не даромъ классическій міръ, умирая, завѣщалъ новымъ поколѣніямъ свою грамотность: прежде чѣмъ варвары научились чему-нибудь, они ужъ выучились писать

по-латыни, и прежде чѣмъ нашлось мѣсто литературѣ, у нихъ ужъ была своя писанная лѣтопись. Можно бы сказать, что первое искусство, которое новая Европа переняла у старой, было искусство писать исторію. Начала она, правда, съ Проспера, Идація, Иорванда, но скоро дошла до Григорія Турскаго. Эйнгарда, Ламберта Ашаффенбургскаго. Едва одинъ приводилъ къ концу свою лѣтопись, какъ другой уже велъ ее далѣе. Случалось и такъ, что нѣсколько рукъ, нисколько не сообщаясь между собою, въ одно и то же время, продолжали вести перепись событій, которыя совершались въ современности. Не было ни стачки, ни передачи — а дѣло шло своимъ чередомъ, и исторія новой Европы не знаетъ такихъ пробѣловъ, отъ которыхъ бы особенно потерпѣла столько необходимая въ наукѣ связь между предшествующимъ и послѣдующимъ. Оттого и существуетъ цѣлая наука, что есть для нея всѣ важнѣйшія условія...

.. Не изъ круга самой науки — сомнѣніе въ достовѣрности исторіи могло возникнуть только извнѣ. Но тѣмъ не менѣе наука должна принять къ свѣдѣнію всякое основательное возраженіе, которое можетъ быть сдѣлано со стороны противъ одного изъ самыхъ первыхъ условій ея существованія: иначе вся ея обширная дѣятельность осталась бы подъ сильнымъ подозрѣніемъ, какъ не имѣющая никакихъ прочныхъ основаній и потому совершенно безплодная. Возраженіе, которое мы здѣсь имѣемъ въ виду, получаетъ еще особенный вѣсъ оттого, что за него ручается авторитетъ, давно уже признанный въ литературномъ и ученомъ мірѣ. Что же можетъ быть сказано противъ принятой наукою исторической достовѣрности, и въ чемъ собственно поводъ къ сомнѣніямъ въ ней?

Когда спрашиваютъ «доставѣриѣ ли становится исторія?», прилагая этотъ вопросъ къ нашему времени, или правильнѣе, къ цѣлой исторіи новыхъ временъ, естественно хотятъ сказать, что относительно исторіи древняго міра считаютъ степень ея достовѣрности весьма недостаточною. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь начало сомнѣніямъ. Еще Вильменъ отдѣлилъ исторію древнюю какъ особый родъ, присвоивъ ей названіе «гадательной». Авторъ мемуара нисколько не сомнѣвается, что эпитетъ, изобрѣтенный Вильменомъ для древней исторіи, выражаетъ не просто лишь одно изъ случайныхъ ея свойствъ, но главный и существенный ея характеръ, по которому она отличается гораздо болѣе, чѣмъ по времени, ею изображаемому. «Нѣтъ сомнѣнія (говоритъ онъ), «что исторія древнихъ

временъ основана на догадкахъ: она скорѣе дѣло вѣры, нежели обсужденія. За то и вынуждены мы допустить ее едва ли не въ томъ видѣ, въ какомъ построили намъ ее поэты, историки и риторы.» («Москв.» кн. I, стр. 97).

Исторія древности—гадательная... Мы впрочемъ позволимъ себѣ нѣсколько усомниться въ вѣроятности этого положенія. Для насъ авторитетъ Вильмена не столько рѣшительный, чтобъ мы могли, на вѣру ему, безусловно приложить избранный имъ эпитетъ къ цѣлой исторіи древняго міра. Есть въ ней, безъ сомнѣнія, темныя и шаткія стороны, о которыхъ можно разсуждать не иначе, какъ гадательно; есть цѣлыя отдѣльныя явленія, которыя никакъ не покоряются силѣ анализа. Мифологія древнихъ, не смотря на всѣ успѣхи новой науки, все еще останется загадочною областью, и таинственный сфинксъ, стоящій при самомъ входѣ въ нее, бережетъ еще много тайнъ отъ современной любознательности. Но мы перемѣшали бы самыя разнородныя вещи, если бъ избрали сфинкса эмблемою для всей древности, взятой въ цѣломъ ея объемѣ. Не сознавали бы мы такъ ясно отличія древней жизни отъ новой, если бъ первая продолжала оставаться для насъ только гадательною. Нельзя болѣе называть гадательнымъ того, что по крайней мѣрѣ многими своими сторонами стало доступно отчетливому разумѣнію. Даже египетская древность, безспорно самая загадочная изъ всѣхъ, въ наше время едва ли можетъ быть еще обозначаемая сполна своимъ старымъ символомъ, когда уже прочтено столько надписей древняго Египта, когда исчислены всѣ его династіи, когда, наконецъ, узнаны нѣкоторыя изъ его царственныхъ мумій, такъ что ихъ можно почти называть по именамъ. Исторія перестаетъ быть дѣломъ одной вѣры, когда для нея открывается возможность повѣрки, а сводъ Эратосѣена съ Манеономъ, предпринятый и исполненный Бунзеномъ, показываетъ, что есть мѣсто повѣркѣ даже въ исторіи древняго Египта. Пусть молчаливый сфинксъ упорно остается на своемъ прежнемъ мѣстѣ: исторія начинаетъ уже обходить его и заглядывать далѣе. Были загадкою Гиксосы—и точно ихъ приходилось принимать только на вѣру; но загадка держалась лишь до тѣхъ поръ, пока не хотѣли подвергнуть дѣло основательному обсужденію: допрашивая финикійскую древность, Моверсъ показалъ, что есть возможность разгадать и этихъ таинственныхъ пришельцевъ. Еще менѣе можно сказать о классической древности, что она скорѣе дѣло вѣры, чѣмъ обсужденія. Отчего же бы она была скорѣе дѣ-

ломъ вѣры, когда мы до сихъ поръ можемъ созерцать ее нашими глазами въ ея неумирающихъ произведеніяхъ? Отчего же не можетъ быть она и предметомъ обсужденія, когда уже сама начинала сознавать себя въ своей наукѣ, которую потомъ оставила въ наслѣдство новому міру? Какъ бы этотъ новый міръ отказался понимать ее, когда онъ въ свой собственный бытъ принялъ многіе ея элементы? Судимъ же мы о древнемъ искусствѣ: отчего бы исторія древнихъ грековъ и римлянъ была менѣе доступна нашему обсужденію? Развѣ у нея нѣтъ также своихъ негибнущихъ памятниковъ? Не только есть — многіе изъ нихъ до сихъ поръ остаются образцами въ своемъ родѣ; для иныхъ нашихъ современниковъ они даже замѣняютъ цѣлую школу образованія. Ясности и отчетливости въ изложеніи событій могли бы поучиться у древнихъ и нѣкоторые новые историки. Учасъ у нихъ, мы впрочемъ нисколько не обязаны принимать отъ нихъ исторію въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ они ее построили, и вѣрить имъ лишь на-слово. Есть для всякой почти исторической эпохи множество средствъ повѣрки — начиная отъ руинъ и надписей на камняхъ до монетныхъ изображеній; для важнѣйшихъ эпохъ есть даже по нѣскольку одновременныхъ писателей, изъ которыхъ каждый излагаетъ предметъ по своему собственному воззрѣнію. Чего не досказываетъ одинъ, то находимъ у другого. При множествѣ свидѣтельствъ почти нѣтъ мѣста такимъ радикальнымъ ошибкамъ, которыя бы искажали все дѣло и давали ему совершенно превратный видъ. При всемъ разногласіи партій, которое отразилось и на памятникахъ, ходъ пелопоннесской войны тѣмъ не менѣе остается ясенъ, и въ результатахъ ея едва ли можетъ быть какое сомнѣніе. Демосѳенъ защищалъ безнадежное дѣло и имѣлъ упорныхъ противниковъ и порицателей не въ одной только Македоніи, но и въ самой Греціи, даже между лучшими ея политиками: и однако мы вѣримъ его апологистамъ, потому что можемъ обсудить нравственные достоинства его патріотическаго подвига, какъ ни безплодны остались всѣ его усилія. И если историкъ нашего времени разсуждаетъ о необходимости македонскаго владычества для Греціи, онъ конечно не повторяетъ чужихъ словъ, но дѣлаетъ свой собственный выводъ, на основаніи тѣхъ соображеній, которыя внушаетъ ему знакомство съ политическимъ и нравственнымъ состояніемъ страны въ данную эпоху. Назовемъ ли эги историческія соображенія «догадками»? Но тогда отчего же не сказать и о новой исто-

ріи, что она также «основана на догадкахъ»? Процессъ остается одинъ и тотъ же, и современный намъ историкъ отнюдь не болѣе обязанъ полагаться на слова древняго писателя, какъ и на извѣстія средневѣковаго лѣтописца. А впрочемъ почему же и не повѣрить древнему писателю, пока нѣтъ особенныхъ причинъ къ сомнѣнію? Чувство правды, истинности не менѣе было знакомо древнимъ историкамъ, какъ и новымъ; могли ошибаться въ воззрѣніи, но этотъ недостатокъ не чуждъ и ихъ ученикамъ, историкамъ новаго времени, ибо зависитъ отъ общей человѣческой слабости. Достовѣрность древнихъ историковъ не есть дѣло недоказанное. Сколько испытаній пришлось выдержать отцу исторіи отъ новой учености, и сколько разъ онъ выходилъ изъ нихъ побѣдителемъ! Отчего же не вѣрить писателю, котораго искренность ничѣмъ не заподозрѣна? Скептицизмъ, безъ нужды отрицающій искренность писателя, равно подорвалъ бы кредитъ и новой исторіи, если бъ былъ приложенъ къ ея основаніямъ. Древнимъ же сверхъ того нельзя отказать въ точности и обстоятельности. По современнымъ извѣстіямъ Бѣкъ сумѣлъ возстановить почти весь политико-экономическій бытъ Аѳинъ въ извѣстную эпоху. Отчего же хотѣть находить этотъ превосходный опытъ, выдержавшій не одинъ ударъ критики, болѣе основаннымъ на догадкахъ, чѣмъ, напримѣръ, извѣстную статистическую и политико-экономическую картину Англіи въ эпоху Стюартовъ, составленную Маколеемъ? Исторія древности есть точно, во-первыхъ, дѣло вѣры, какъ и исторія новаго времени; но, какъ и послѣдняя, она выигрываетъ въ достоинствѣ и возвышается на степень науки лишь по мѣрѣ того, какъ становится предметомъ свободнаго обсужденія.

Что это „обсужденіе“ дѣйствительно свойственно исторіи древности, то-есть приложимо къ ней, всего лучше доказывается плодотворностью новыхъ историческихъ изслѣдованій на классической почвѣ. По нашему крайнему разумѣнію, если бъ вся римская исторія была только дѣломъ вѣры, не критики и зрѣлаго обсужденія, если бъ эти два акта человѣческой мысли были неприменимы къ ней, отъ насъ навсегда скрылся бы ея великій внутренній смыслъ и то неизмѣримое значеніе, которое она имѣла въ общемъ ходѣ и развитіи человѣчества; тогда и со всею массою своихъ фактовъ, принятыхъ лишь на вѣру, она не имѣла бъ для насъ никакой особенной цѣны: она осталась бы однимъ сборникомъ именъ и событій, безъ всякой живой органической связи. Чтобъ однимъ словомъ обозначить

тѣ огромные успѣхи, которые она сдѣлала посредствомъ критики и приложеннаго къ ней историческаго обсужденія, достаточно назвать одно великое имя—Нибура. Но на самомъ этомъ имени останавливаетъ насъ новое возраженіе.

„Прилагать ко временамъ отдаленнымъ новѣйшую критику“ (продолжаетъ авторъ мемуара) „дѣло такой учености, въ которой отдають себѣ отчетъ одни посвященные въ науку; но если смотрѣть на исторію со стороны ея отношеній ко всему образованію, какъ духовной пищѣ для большинства, если видѣть въ ней цѣль преданій, переходящихъ изъ рода въ родъ и навсегда запечатлѣвающихся въ памяти народовъ, нетрудно, по моему, удостовѣриться, что для нихъ условія новой исторіи тѣ же, что условія древнѣйшей для ученыхъ. Человѣческому уму, склонному къ синтезу, прирожденъ истинный—стремиться къ положительному въ прибрѣтенныхъ познаніяхъ и охотно подчиняться утвердившемуся мнѣнію, хотя бы условному. Къ чему повели огромные труды Нибура, который безъ малѣйшихъ, да и невозможныхъ, возраженій разрушилъ всѣ основанія римской исторіи? Они заняли трудолюбивые досуги весьма ограниченнаго числа критиковъ, заслужили ихъ одобреніе—и только... Въ чемъ результатъ критики Вольфа на Гомера, этой во всѣхъ отношеніяхъ удивительной критики, гдѣ даровитѣйшій изъ издателей Гомера такъ побѣдоносно подвергаетъ ученому разложенію сомнительную личность поэта, очистивъ предварительно его текстъ? Ни одинъ филологъ не осмѣлится бороться съ Вольфомъ; но послѣ столькихъ ученыхъ работъ, оставшихся безъ отвѣта, вопросъ не подвинулся ни на шагъ: ни Ромуль, ни Гомеръ не вычеркнуты изъ списка людей, нѣкогда жившихъ; они живутъ въ воображеніи большинства, какъ будто бы эти два критика и ничего не писали. Самые ученые, свидѣтели безуспѣшности или малоуспѣшности этого строгаго приложенія анализа, казалось, усумнились въ пользѣ обширныхъ изслѣдованій. Въ ихъ главахъ Гомеръ все-таки Гомеръ, жилъ ли онъ когда или нѣтъ; для нихъ неважно представляетъ ли это слово школу, или оно—имя одного человѣка, автора Иліады. Точно также мужи истинной науки, когда восходятъ къ началу Рима, не раздумывая употребляютъ обычныя формы историческихъ данныхъ: они не позволяютъ себѣ педантически отвергать все предшествующее пуническимъ войнамъ и не колеблясь говорятъ о Нумѣ и Гораціи Коклесѣ, какъ говорятъ о Гомерѣ и о преданіяхъ, связанныхъ съ его именемъ. И, конечно, не найдется ни одного ревнителя науки, который бы не предпочелъ дюжины неизданныхъ стиховъ Иліады, или отысканной страницы Тита Ливія всевозможнымъ критическимъ пыткамъ, разрушающимъ существованіе поэта или подлинность историка“ (стр. 98—99).

На Нибура хотѣли мы указать какъ на самый блистательный образецъ того, какъ, при необходимомъ условіи ума и таланта, можетъ быть сильна историческая критика, даже приложенная къ весьма отдаленной древности, и какъ благотворны могутъ быть въ наукѣ результаты критическаго ана-

лиза. Частію сюда бы могла итти и критика Вольфа, приложенная къ древнему греческому эпосу. Намъ указываютъ, напротивъ, на Нибура и Вольфа какъ на примѣръ совершенной бесплодности критическаго анализа въ приложеніи къ древности. Трудно согласиться при такой противоположности мнѣній!

Намъ однако дорого наше мнѣніе, какъ мнѣніе болѣе или менѣе связанное съ движеніемъ науки, ея успѣхами, и мы пока еще не видимъ никакихъ особенныхъ причинъ отступить отъ него. Мы привыкли дорожить не однимъ только именемъ Нибура — мы дорожимъ еще болѣе тѣми великими заслугами наукъ, которыя обозначаются этимъ именемъ, и уступимъ ихъ не даромъ, но развѣ только цѣною противоположнаго убѣжденія, отъ котораго, признаемся, въ настоящее время мы весьма далеки. Но уже самая потребность защиты своего мнѣнія налагаетъ на насъ обязанность опроверженія противоположнаго, и это послѣднее дѣло мы считаемъ въ настоящемъ случаѣ тѣмъ болѣе необходимымъ, что безъ него намъ никогда не удалось бы утвердить и первое, болѣе общее положеніе — о приложеніи анализа и обсужденія къ исторіи древности вообще. Ибо, если намъ позволено вполнѣ сказать свою мысль, мы почти не сомнѣваемся, что высказанное выше мнѣніе о томъ, что исторія древняя должна быть скорѣе дѣломъ вѣры, нежели обсужденія, есть, ни болѣе ни менѣе, какъ общее заключеніе, нѣсколько смѣло выведенное изъ частнаго вопроса о заслугахъ критики Нибура и Вольфа. Отъ прочности посылки зависитъ и прочность самаго вывода.

Вольфъ и Нибуръ вовсе не такъ выдѣляются изъ общаго научнаго движенія, какъ это могло бы казаться съ перваго взгляда. Появленіемъ ихъ и дѣятельностью лишь означаются самые важные успѣхи классической филологіи въ обширнѣйшемъ и лучшемъ значеніи слова. Ей стоило много времени, еще больше труда овладѣть хотя бы только формою своего огромнаго матеріала и выработать для себя первыя солидныя основанія. Но уже семнадцатый вѣкъ можетъ съ гордостью указать на прекрасную дѣятельность нѣкоторыхъ ему принадлежащихъ филологовъ, прямо свидѣтельствующую, что первая трудность была побѣждена, что въ наукѣ начали пробуждаться другіе интересы, стали знакомы иного рода вопросы. Довольно назвать здѣсь Гуго Гроція, Бентлея. Послѣднему досталось продолжать эту полезную дѣятельность еще и въ слѣдующемъ столѣтіи. Адепты филологіи размножались съ каж-

дымъ новымъ поколѣніемъ. По мѣрѣ того, какъ форма уступала соединеннымъ противъ нея усиліямъ науки, все больше и больше раскрывалось за нею все богатое внутреннее содержаніе матеріала. Между тѣмъ начинавшееся умственное движеніе охватило и другія сопредѣльныя области науки. Возбужденная любознательность съ удивленіемъ увидѣла передъ собою цѣлый новый міръ, который на самомъ дѣлѣ, впрочемъ, былъ очень древній, и не знала, съ которой стороны лучше подступить къ нему. Началась дѣятельная разработка памятниковъ древней литературы столько же съ матеріальной, сколько и съ формальной стороны. Критика усиливалась стать въ уровень съ экзегетикой, пробовала, хоть не всегда удачно, овладѣть то одною, то другою стороною своего предмета порознь, какъ вдругъ одно гениальное усиліе показало, что филологія созрѣла, если не для рѣшенія, то для пониманія важнѣйшихъ внутреннихъ вопросовъ въ открытой ею области. Это первое гениальное усиліе филологіи поравнялась силами съ своимъ предметомъ во всю его высоту и глубину принадлежало Ф. А. Вольфу. Оставаясь повидимому въ тѣсной сферѣ чисто филологическихъ вопросовъ, онъ однако поднималъ вопросы о Гомерѣ съ такой стороны, откуда его всего менѣе можно было ожидать. Между строками великаго поэтическаго произведенія филологъ-критикъ хотѣлъ подсмотрѣть и индивидуальныя черты самого производителя; отъ художества онъ желалъ допроситься о самомъ художникѣ; дѣло касалось ужъ не столько вещи, собственно филологическаго матеріала, сколько лица, которое скрывалось за нимъ, подлинности его существованія; вопросъ выходилъ столько же историческій, сколько и литературный. Не удивительно, что тѣ индивидуальныя черты, которыя старался распознать критикъ, сначала ему не давались вовсе; важно то, что въ этой задачѣ въ первый разъ энергически выразились новыя потребности науки: она уже достигла той степени зрѣлости, на которой первоначальная традиціонная форма перестаетъ быть удовлетворительною для положительнаго знанія. Какъ бы ни выпало послѣднее рѣшеніе задачи, но миѳическое преданіе о Гомерѣ навсегда утратило свой прежній характеръ непогрѣшимости. Говоря о высшемъ цвѣтѣ греческаго народнаго эпоса, можно и даже должно въ извѣстныхъ предѣлахъ отстаивать существованіе одной поэтической личности, но едва ли уже кому удастся возстановить во всей цѣлости тотъ миѳическій образъ Гомера, въ какомъ онъ представлялся до критики Вольфа.

Очень понятно, что филологическая критика, позволившая себѣ усомниться въ существованіи Гомера, встрѣтила себѣ сильное противодѣйствіе: оно необходимо условливалось самою новостью и смѣлостью нападенія и, какъ всякая крайность должна имѣть свои границы, было вовсе не бесполезно противъ излишествъ начинавшагося увлеченія. Завязалась горячая полемика, которой назначено было не отдалить только рѣшеніе вопроса, но и внести въ споръ много новыхъ понятій и соображеній: они вырабатывались сами собою, по мѣрѣ того, какъ тяжущіеся углублялись въ сущность спорнаго дѣла и осматривали его со всѣхъ сторонъ. Между тѣмъ вся наука и вся сила, которыми она тогда располагала, отнюдь не заключились въ этомъ спорѣ. Напротивъ, наука въ то же самое время продолжала разрабатывать и другія части своего матеріала и по возможности расширять свои предѣлы. Чѣмъ больше разрабатывался, очищался этотъ матеріалъ, тѣмъ больше раскрывалась передъ нею собственно историческая почва, тѣмъ ближе подходила филологія къ исторіи классической древности. Этой почвы было ей не миновать: въ ней лежали богатые клады: при помощи филологіи исторія древности въ своемъ истинномъ видѣ должна была, рано или поздно, войти въ кругъ положительныхъ знаній, какъ лучшая и необходимая ихъ часть. Уже поднимая вопросъ о Гомерѣ, филологическая критика въ нѣкоторой степени принимала характеръ критики исторической, потому что искала историческаго опредѣленія тому, что до сего времени извѣстно было лишь въ миѳической формѣ; но какъ самый предметъ былъ болѣе литературнаго свойства, то видимымъ и формальнымъ образомъ черта, отдѣляющая литературу отъ исторіи, еще не была перейдена. Нужно было еще одно гениальное усиліе, нужно было призваніе прямо историческое, чтобъ свести филологію съ исторіею, сдружить ихъ и усвоить послѣдней средства и приемы, выработанные филологическою критикой. Нибуръ воспитался преимущественно въ филологической школѣ; свою привязанность, любовь къ филологіи онъ сохранилъ до самой смерти: въ продолженіе своей многодѣтельной жизни онъ почти не покидалъ филологическихъ занятій; но филологія въ его рукахъ была лишь вѣрнымъ орудіемъ для возстановленія исторіи классической древности. Въ лицѣ Нибура филологія въ первый разъ встрѣтилась рѣшительно, лицомъ къ лицу, съ исторіею, узнала въ ея интересахъ свои собственные и подала руку на тѣсный и разумный союзъ съ нею. Плоды были прекрасны.

Вольфъ своимъ вопросомъ о Гомерѣ устремилъ современную ему любознательность на изслѣдованіе *поэтическихъ* началъ греческой древности; Нибуръ съ свойственнымъ ему историческимъ тактомъ тотчасъ понялъ, что тѣ средства, которыми въ его время располагала филологія, съ гораздо большею пользою могутъ быть употреблены на разработку собственно исторической почвы, и съ провицательностью истинно гениальною угадалъ слабость, непрочность основъ той части классической древности, которая, казалось, наиболѣе была обезпечена противъ нападеній историческаго скептицизма: это была исторія древняго Рима, исторія его основанія и развитія національных римскихъ учреждений. До Нибура едва существовало темное подозрѣніе о томъ, что начало римской исторіи и нѣкоторыя ея части подвержены строгой критикѣ, и сдѣланные въ этомъ родѣ опыты ограничивались почти только указаніемъ частныхъ противорѣчій; будучи плодомъ болѣе остроумія, нежели глубокаго научнаго анализа, они не въ состояніи были возстановить на новыхъ основаніяхъ разорванную ими связь явленій и, какъ неконченное зачинаніе, не находили себѣ никакого признанія въ наукѣ. Надобно было или вовсе отказаться отъ сомнѣній, или окончательно убѣдиться въ ихъ силѣ и значимости, и въ послѣднемъ случаѣ — принять всѣ ихъ необходимыя послѣдствія; надобно было не только подвергнуть тщательному пересмотру всѣ основанія древней римской исторіи и все, что выдавалось за нихъ, но и пройти критически, одно за другимъ, всѣ послѣдовательныя ея явленія, чтобъ испытать, въ какой мѣрѣ каждое изъ нихъ въ состояніи выдержать разрѣшающую силу анализа, и потомъ снова соединить ихъ въ одно цѣлое на основаніи ихъ внутренней, органической связи. Весь этотъ длинный, многосложный и многотрудный процессъ Нибуръ бралъ на себя одного: мудрено ли, что его не стало, прежде чѣмъ онъ успѣлъ совершить свой подвигъ сполна? Но онъ успѣлъ уже сдѣлать довольно, чтобъ утвердить за своею мыслью прочное мѣсто въ наукѣ; и куда бы ни повели послѣдующія разысканія въ той же самой области, нельзя болѣе обойти Нибура при занятіяхъ римскою исторіей.

Вопросъ, поднятый Вольфомъ, еще и въ наше время не приведенъ къ окончанію. Размѣры его, правда, значительно сократились, личность Гомера уже менѣе подвергается нападеніямъ — но потребность рѣшенія осталась. Она-то вызвала въ недавнее время изслѣдованія Лахмана и создала цѣлую новую

литературу по поводу того же неудоборѣшимаго вопроса. Никто конечно не возьметъ на себя смѣлости утверждать, что положенія, добытыя изслѣдованіями Лахмана, составляютъ послѣднее слово науки по вопросу о Гомерѣ; но мы имѣемъ также весьма важныя причины усомниться и въ томъ, чтобы между людьми, искренно преданными наукѣ и понимающими ея интересы, нашлось довольно такихъ, которые бы не видѣли болѣе никакой важности въ опредѣлительномъ разрѣшеніи этой задачи. Въ ученой дѣятельности Германіи за послѣднее десятилѣтіе находимъ цѣлый рядъ явленій, доказывающихъ совершенно противное тому. Съ самаго появленія изслѣдованій Лахмана вплоть до послѣдняго времени почти не прерывается ученый споръ, и вопросъ постоянно разсматривается то съ той, то съ другой стороны. Еще нѣтъ ему окончательнаго рѣшенія, какъ и многимъ другимъ спорнымъ пунктамъ въ наукѣ, но не замѣтно и ни малѣйшаго равнодушія къ нему. Даже о Нибура, котораго мѣсто въ наукѣ гораздо выше и значительнѣе, никто, безъ сомнѣнія, не возьмется сказать, чтобы его «Римская исторія» рѣшила окончательно свою многосложную задачу. Не всѣ его сомнѣнія приняла наука, многое осталось вопросомъ даже и послѣ Нибура, наконецъ нѣкоторые вопросы только и могли возникнуть на основаніи его изслѣдованій, слѣдовательно никакимъ образомъ не могли быть разрѣшены ими. Самымъ твореніемъ своимъ Нибура, безспорно, завѣщавъ послѣ себя множество вопросовъ наукѣ, и, вопреки одному изъ самыхъ положительныхъ увѣреній мемуара, мы осмѣливаемся также положительно утверждать, что со времени Нибура не употребляютъ болѣе безъ оговорокъ «обычныя формы историческихъ данныхъ» извѣстной эпохи; что даже тѣ изъ нихъ, которые не раздѣляютъ его сомнѣній относительно началъ римской исторіи, впрочемъ, какъ скоро предпринимаютъ утвердить свое мнѣніе о томъ или другомъ лицѣ древнѣйшаго ея періода и избѣжать упрека въ неосновательности, все-таки возвращаются къ Нибуру и опроверженія его считаютъ первымъ условіемъ прочности своихъ собственныхъ мыслей—прямое доказательство того, что самые противники Нибура вынуждены признать силу его возраженій, и что даже въ ихъ мнѣніи всегда остается послѣ него предварительный вопросъ, который нельзя обойти. Укажемъ, если угодно, на примѣръ самый близкій по времени. Герлаха конечно не упрекнуть въ пристрастіи къ авторитету Нибура; однако и онъ, начиная свое изслѣдованіе объ «эпохѣ римскихъ царей», прежде всего видитъ

необходимость ослабить существующее о томъ же предметѣ мнѣніе Нибура, и самую эту откровенность, со которою онъ положилъ высказать свое собственное воззрѣніе, противоположное нибуровскому, беретъ во свидѣтельство «своего высокого уваженія къ великому человѣку» ¹⁾. Это высокое уваженіе къ знаменитому автору «Римской исторіи», которое такъ открыто и непринужденно высказываютъ самые его противники, по крайней мѣрѣ не совсѣмъ легко согласить съ тѣмъ воззрѣніемъ на него, по которому онъ является критикомъ безъ малѣйшихъ основаній, подрывающихъ положительныя данныя науки. Даже не признавая никакихъ заслугъ за Нибуромъ, нельзя однако, казалось бы намъ, не сознаться хотя въ томъ, что онъ выдвинулъ впередъ много важныхъ вопросовъ; можно не соглашаться съ нимъ, но по какому бы поводу ученые стали обходить его труды какъ безплодныя, не устранивъ напередъ всѣхъ его сомнѣній основательнымъ, ихъ опроверженіемъ? Неужели потому только, что многіе и до сихъ поръ видятъ въ исторіи лишь цѣпь преданій, переходящихъ изъ рода въ родъ, и не хотятъ взять на себя труда ознакомиться хотя съ важнѣйшими результатами современной науки?

Если бъ и въ самомъ дѣлѣ вся заслуга Вольфа, Нибура и другихъ подобныхъ имъ критиковъ состояла только въ томъ, что они подняли вновь важные вопросы, ничего не сдѣлавъ сами для ихъ разрѣшенія—и въ такомъ случаѣ они имѣли бы полное право на почетное мѣсто въ наукѣ. Въ самомъ постепенномъ развитіи наука также слѣдуетъ нѣкоторымъ постояннымъ законамъ и можетъ быть ничѣмъ столько не условливается ея успѣшное движеніе, какъ опредѣленностью самой задачи. Успѣхи науки выражаются прямѣе всего въ добываемыхъ ею результатахъ, а эти результаты большею частью не что иное, какъ положительныя отвѣты на заданныя напередъ вопросы. Пока не существуетъ опредѣленнаго вопроса, не можетъ быть и отвѣта на него. Не этимъ ли закономъ руководствуются въ наше время и всѣ мыслящіе естествоиспытатели, не иначе приступающіе къ своимъ экспериментамъ, какъ съ предварительнымъ вопросомъ, ищущимъ себѣ разрѣшенія? не прежде достигаетъ наука вѣнца своихъ усилій, какъ разрѣшивъ себѣ, посредствомъ наблюденій или изслѣдованій, свою проблему; но только тотъ стоитъ на пути рѣшенія задачи, для ко-

¹⁾ См. „Die Zeiten der römischen Könige“, von Fr. Gerlach. Basel, 1849, p. 4—5.

го она дѣйствительно составляетъ вопросъ, кто уже принялъ въ себя соединенное съ нимъ недоумѣніе и не хочетъ успокоиться, пока тѣмъ или другимъ способомъ не освободится отъ него. Успѣхи исторіи какъ науки точно также измѣряются не одними только положительными результатами разныхъ спеціальныхъ изслѣдованій, но и самыми вопросами, которые возникаютъ въ ней тѣмъ сильнѣе и многочисленнѣе, чѣмъ глубже разрабатывается историческая почва посредствомъ анализа. Не всякій такимъ образомъ возникшій вопросъ приводитъ непосредственно за собою и положительный отвѣтъ на свою задачу, но за то всякій непремѣнно предполагаетъ за собою уже побѣжденный недостатокъ знанія, иногда даже все фальшивое представление, которое до того времени только и держалось безсилимъ критики. Повидимому наука больше теряетъ, чѣмъ выигрываетъ, получая отъ критики на мѣсто прежнихъ положительныхъ данныхъ лишь нѣсколько новыхъ сомнѣній и вопросовъ; однако, если отъ нея отпадаетъ дѣйствительно ложное, развѣ можно вмѣнять во что-нибудь подобную потерю? Критика, анализъ, даже не достигающіе тотчасъ положительныхъ результатовъ, кромѣ того, что ставятъ на болѣе правильную точку зрѣнія относительно главнаго предмета изслѣдованія, много способствуютъ къ уясненію общихъ вопросовъ науки, изъ которыхъ многіе безъ того остались бы вовсе незамѣченными и неугаданными. Безъ вопроса о Гомерѣ, какъ онъ былъ поднятъ въ свое время Вольфомъ, возможно ли было достигнуть до такой степени ясности въ общемъ вопросѣ о происхожденіи народной эпической поэзіи, какъ этотъ вопросъ уясненъ уже въ наше время? Безъ исторической критики Нибура сколько бы прошло еще времени прежде, чѣмъ наука успѣла бы выработать себѣ ясное понятіе о сагѣ, вообще о поэтической оболочкѣ историческихъ явленій, и перестали бы смѣшивать ее съ самымъ содержаніемъ историческимъ? Переходя отсюда на почву новой исторіи, мы могли бы и здѣсь указать на одно явленіе въ томъ же родѣ, то есть съ подобнымъ общимъ значеніемъ. И здѣсь, гдѣ сага и исторія болѣе рѣзко раздѣлены между собою и гдѣ поэтому рѣшеніе лежитъ гораздо ближе, умная постановка одного или многихъ историческихъ вопросовъ не менѣе вмѣняется въ заслугу писателю и иногда составляетъ главное основаніе его извѣстности. Стоитъ вспомнить Савиньи: странно было бы утверждать, что онъ окончательно успѣлъ рѣшить вновь поднятый имъ вопросъ о происхожденіи новой городской общины; но что

всего болѣе способствовало всестороннему обсужденію этого вопроса и приблизило разрѣшеніе проблемы, какъ не его гипотеза о происхожденіи новой общины изъ остатковъ старой римской куріи? Гизо, въ своей „Исторіи цивилизаціи“, конечно не рѣшилъ всѣхъ представлявшихся ему вопросовъ, какъ и не истощилъ всего матеріала, бывшаго у него подъ руками; что же придаетъ особенную значительность этому превосходному творенію, чѣмъ оправдывается высокое мѣсто, занимаемое имъ въ европейской исторической литературѣ, какъ не тѣмъ, что авторъ его первый поставилъ на видъ, одинъ за другимъ, главные элементы, изъ которыхъ сложилось развитіе средневѣковой исторіи, и старался опредѣлить ихъ взаимное соотношеніе? Онъ не рѣшилъ своей задачи, за то искусно показалъ всю ея обширность и вѣрною рукою очеркнулъ тѣ предѣлы, въ которыхъ она должна быть разрѣшаема. Форіель—чтобъ привести еще хотя одинъ примѣръ—въ каждой главѣ своей «Исторіи провансальской поэзіи» не иначе приступаетъ къ самому изложенію, какъ тщательно постановивъ вопросы, на которые оно должно служить отвѣтомъ; и нельзя не отдать ему должной справедливости: немногіе еще владѣютъ въ такой степени искусствомъ поставить вопросъ, то есть открыть его въ собранномъ матеріалѣ, и въ самомъ вопросѣ показать интереснѣйшую сторону предмета. Нѣтъ, не праздно мѣсто занимаютъ вопросы въ наукѣ! И даже въ въ такомъ случаѣ, когда они возникаютъ внѣ ея, она не имѣетъ никакого права пренебрегать ими, но ради своей собственной пользы должна принимать ихъ къ свѣдѣнію. Такъ, встрѣчая въ нашей литературѣ вопросъ объ исторической доводности, мы не считаемъ и его вовсе безплоднымъ, хотя онъ и не родился изъ самой науки, и думаемъ, что прежде, чѣмъ легкомысленно отвергать его, стоитъ внимательно посмотреть ему въ лицо и постараться опредѣлить его внутреннее достоинство.

Но мы были бы до крайности несправедливы къ Нибуру, если бъ въ цѣломъ его твореніи, вмѣстѣ съ авторомъ мемуара, не хотѣли видѣть ничего болѣе, кромѣ сомнѣній и вопросовъ, а во всей его дѣятельности—только одно отрицаніе. Характеризуя писателя, тѣмъ болѣе произнося приговоръ надъ нимъ, нельзя брать одну половину его дѣятельности и проходить молчаніемъ или забвеніемъ другую, по крайней мѣрѣ равносильную первой. Одна чисто отрицательная дѣятельность, безспорно, не составила бы великаго имени историку; да и не

историкомъ былъ бы тотъ, кто употребилъ бы всѣ свои труды и весь свой талантъ лишь на то только, чтобъ разрушить всѣ основанія той или другой исторіи, а развѣ разрушителемъ ея. Итакъ, неужели Нибуръ въ самомъ дѣлѣ разрушитель римской исторіи, и ничего болѣе? Самъ онъ, по крайней мѣрѣ, признавалъ въ себѣ талантъ прямо противоположнаго свойства. Въ одномъ изъ писемъ къ графу Мольтке, говоря о своихъ наклонностяхъ и опредѣляя свои умственные средства, между прочимъ онъ писалъ: «Притомъ я вовсе не математикъ, но историкъ, потому что по одному сохранившемуся отрывку могу возстановить себѣ полную картину, вижу, гдѣ группы недостаточны, и знаю, какъ пополнить ихъ». При другомъ случаѣ, работая надъ возстановленіемъ одного римскаго писателя XI вѣка, вотъ что писалъ онъ къ одному изъ своихъ друзей: «Если бъ ты могъ взглянуть на мою работу, ты увидѣлъ бы въ ней пробу того историко-критическаго таланта, въ которомъ, конечно, состоитъ мое главное преимущество—таланта распознавать по частямъ то цѣлое, къ которому онѣ принадлежатъ, и по цѣлому угадывать части, которыя оно должно было содержать въ себѣ; въ этомъ я могу поспорить съ кѣмъ угодно, и отсюда же произвожу мою способность по нѣкоторымъ мелкимъ обстоятельствамъ угадывать цѣлую потерянную исторію народа или отдѣльнаго лица, въ полномъ очеркѣ и даже съ обозначеніемъ предѣловъ времени¹⁾. Человѣкъ, сознававшій въ себѣ эту способность преимущественно передъ другими, едва ли призванъ былъ на то, чтобъ только отрицать и разрушать: если въ самыхъ свойствахъ таланта лежить уже и опредѣленіе его дѣятельности, то она должна была быть по преимуществу созидаящая, организуемая. Нѣтъ сомнѣнія, что Нибуръ владѣлъ глубокимъ и рѣзкимъ анализомъ, но силою этого анализа онъ только расчищалъ историческую почву отъ накопившихся на ней мечтательныхъ настроеній и подготавливалъ ее для новыхъ, болѣе прочныхъ созиданій. Еще прежде, чѣмъ созрѣлъ его знаменитый трудъ, онъ писалъ по поводу своихъ занятій римскою исторіею: «Съ напряженнымъ вниманіемъ прослѣдилъ я римскую исторію, отъ первыхъ ея началъ до времени тираніи, по всѣмъ памятникамъ древнихъ писателей, какими только могъ пользоваться; эта работа ввела меня глубже и непосредственнѣе въ римскую древность, нежели что нибудь, и ей-то обязанъ я всего болѣе тѣмъ, что мнѣ стало

¹⁾ См. Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr, B. 2, p. 47 и 164.

всего болѣе способствовало всестороннему обсужденію этого вопроса и приблизило разрѣшеніе проблемы, какъ не его гипотеза о происхожденіи новой общины изъ остатковъ старой римской куріи? Г'иво, въ своей „Исторіи цивилизаціи“, конечно не рѣшилъ всѣхъ представлявшихся ему вопросовъ, какъ и не истощилъ всего матеріала, бывшаго у него подъ руками; что же придаетъ особенную значительность этому превосходному творенію, чѣмъ оправдывается высокое мѣсто, занимаемое имъ въ европейской исторической литературѣ, какъ не тѣмъ, что авторъ его первый поставилъ на видъ, одинъ за другимъ, главные элементы, изъ которыхъ сложилось развитіе средневѣковой исторіи, и старался опредѣлить ихъ взаимное соотношеніе? Онъ не рѣшилъ своей задачи, за то искусно показалъ всю ея обширность и вѣрною рукою очеркнулъ тѣ предѣлы, въ которыхъ она должна быть разрѣшаема. Форіель—чтобъ привести еще хотя одинъ примѣръ—въ каждой главѣ своей «Исторіи провансальской поэзіи» не иначе притупаетъ къ самому изложенію, какъ тщательно постановивъ вопросы, на которые оно должно служить отвѣтомъ; и нельзя не отдать ему должной справедливости: немногіе еще владѣютъ въ такой степени искусствомъ поставить вопросъ, то есть открыть его въ собранномъ матеріалѣ, и въ самомъ вопросѣ показать интереснѣйшую сторону предмета. Нѣтъ, не праздное мѣсто занимаютъ вопросы въ наукѣ! И даже въ въ такомъ случаѣ, когда они возникаютъ внѣ ея, она не имѣетъ никакого права пренебрегать ими, но ради своей собственной пользы должна принимать ихъ къ свѣдѣнію. Такъ, встрѣчая въ нашей литературѣ вопросъ объ исторической достовѣрности, мы не считаемъ и его вовсе безплоднымъ, хотя онъ и не родился изъ самой науки, и думаемъ, что прежде, чѣмъ легкомысленно отвергать его, стоитъ внимательно посмотреть ему въ лицо и постараться опредѣлить его внутреннее достоинство.

Но мы были бы до крайности несправедливы къ Нибуру, если бъ въ цѣломъ его твореніи, вмѣстѣ съ авторомъ мемуара, не хотѣли видѣть ничего болѣе, кромѣ сомнѣній и вопросовъ, а во всей его дѣятельности—только одно отрицаніе. Характеризуя писателя, тѣмъ болѣе произнося приговоръ надъ нимъ, нельзя брать одну половину его дѣятельности и проходить молчаніемъ или забвеніемъ другую, по крайней мѣрѣ равносильную первой. Одна чисто отрицательная дѣятельность, безспорно, не составила бы великаго имени историку; да и не

менѣе снисходительные его критики. А. Шлегель, разбирая два первые тома «Римской исторіи», писалъ въ свое время (1816) слѣдующее: «Мысль, что все, что мы читаемъ и должны еще заучивать изъ Ливія, Діонисія и Плутарха объ извѣстномъ періодѣ римской исторіи, невѣрно, по крайней мѣрѣ совершилось не такъ, какъ они рассказываютъ, сама по себѣ была бы еще довольно бесплодна. Спрашивается, можно ли замѣнить отвергнутое чѣмъ-нибудь лучшимъ? есть ли возможность наполнить остающійся пробѣлъ удовлетворительнымъ образомъ? *Въ этомъ-то и состоитъ главное достоинство сочиненія Нибура.* На то обращено все его вниманіе, чтобъ посредствомъ изслѣдованія опредѣлить настоящій характеръ учреждений и всего государственнаго устройства въ Римѣ въ эпоху республики, на что такъ часто потомъ переносили уже готовые понятія, которыя были выработаны гораздо позже». ¹⁾ Шлегель находилъ даже, что Нибуръ слишкомъ далеко простеръ свое желаніе—спасти, хотя бы подъ именемъ саги, часть имъ же оспариваемой исторіи! Заслужить подобный упрекъ могъ историкъ развѣ только излишнею заботливостью о положительномъ въ наукѣ. Да и могло ли быть иначе? Тому, кто первый въ той или другой области знанія лучше почувствовалъ необходимость вопроса, естественно первому поискать и отвѣта на него. Не всѣ вопросы равно удалось рѣшить Нибуру—вопросы, большею частью имъ же самимъ поставленные; пока еще не было ему никакого противодѣйствія, иногда онъ и въ самомъ дѣлѣ могъ слишкомъ далеко увлечься духомъ сомнѣнія; наконецъ нѣтъ никакого спора и въ томъ, что многіе его же вопросы уяснены въ наше время гораздо болѣе и рѣшаются въ духѣ болѣе умѣренномъ, но несравненно удовлетворительнѣе. Но вѣдь „Римская исторія“ не могла же быть послѣднимъ, заключительнымъ словомъ науки о своемъ же предметѣ; было бы гораздо страннѣе, если бъ Нибуръ не только началъ, но и завершилъ собою все начатое имъ движеніе. Наука не стоитъ: она постоянно идетъ впередъ, переходя отъ одного вопроса къ другому, иногда даже нѣсколько разъ возвращаясь къ старымъ своимъ задачамъ и отыскивая имъ новое, болѣе удовлетворительное разрѣшеніе, и самое первое мѣсто въ ней принадлежитъ тѣмъ гениальнымъ ученымъ, которые ведутъ за собою цѣлый рядъ послѣдователей и противниковъ, дѣйствующихъ врознь, но не-

¹⁾ См. Heidelb. Jahrbücher der Literatur, 1816.

замѣтно для нихъ самихъ идущихъ къ одной великой цѣли—къ возможному осуществленію высокаго идеала знанія. Гдѣ же должно будетъ остановиться это движеніе—конечно никто изъ насъ сказать не въ состояніи.

Но—могутъ сказать намъ, какъ бы заимствуя возраженіе отъ нашихъ же положеній—самое появленіе такихъ дѣятелей, какъ Вольфъ и Нибуръ, и всего направленія, которое обозначается ихъ именами, не говорить ли уже о недостовѣрности древней исторіи? Не они ли первые показали намъ, какъ невѣрны и недостаточны были существовавшія до того времени понятія о двухъ весьма важныхъ пунктахъ литературы и исторіи древняго міра?.. Не будемъ однако слишкомъ поспѣшны въ заключеніяхъ. По нашему искреннему убѣжденію, появленіе такихъ критиковъ-филологовъ и критиковъ-историковъ, какъ Вольфъ и Нибуръ, доказываетъ прежде всего успѣхъ науки. Въ лицѣ ихъ наука узнала нѣкоторые существенные свои недостатки и сдѣлала рѣшительный шагъ, чтобъ освободиться отъ нихъ и замѣнить прежнія цѣнности весьма сомнительнаго достоинства болѣе вѣрнымъ капиталомъ. Замѣтить свои слабыя стороны и побѣдить ихъ въ себѣ, или даже совершенно уничтожить—было въ ней собственно однимъ и тѣмъ же актомъ. Какимъ же образомъ можетъ быть заимствованъ упрекъ исторіи древняго міра въ недостовѣрности отъ того самаго акта, которымъ недостовѣрность, сколько ея было вскрыто, уже побѣждена? Говорить же о недостовѣрности прочихъ частей исторіи древняго міра мы не въ правѣ до тѣхъ самыхъ поръ, пока не явятся относительно той или другой изъ нихъ опредѣленные сомнѣнія, подкрѣпленные силою доказательствъ. Но мы почти увѣрены, на основаніи весьма умѣстной здѣсь аналогіи, что эти сомнѣнія, если они когда-нибудь явятся, необходимо поведутъ за собою и противоположное дѣйствіе, что за анализомъ тотчасъ послѣдуетъ и синтезъ. Въ наше время вновь открытые памятники ниневійской, или, точнѣе, ассирійской древности принесли съ собою и много новыхъ вопросовъ о ней, но мы не видѣли до сихъ поръ, чтобы они, даже и они, особенно поколебали достовѣрность исторіи древняго міра... Вообще кажется намъ, что отъ сомнѣній въ заслугахъ критики Вольфа и Нибура еще слишкомъ поспѣшно было бы заключать къ недостовѣрности всего древняго историческаго міра въ цѣломъ его объемѣ.

Въ силу всѣхъ этихъ выводовъ и соображеній, вопросъ о томъ, «доставѣрнѣе ли становится исторія», много теряетъ

для насъ своей первоначальной значительности: не получивъ убѣжденія въ твердости главной послылки, мы не можемъ слѣдовать за авторомъ мемуара и въ его заключеніяхъ. Или, пожалуй, вопросъ имѣетъ для насъ большую значительность, но совсѣмъ въ другомъ смыслѣ. Мы также готовы спросить: доводнѣ ли становится исторія по мѣрѣ того, какъ она все болѣе и болѣе разрабатывается, какъ возрастаетъ число вновь предпринимаемыхъ въ ея области изслѣдованій? и, нисколько не колеблясь, готовы отвѣчать, что исторія дѣйствительно становится доводнѣе, и что дѣятелямъ, подобнымъ Нибуру (если бы они являлись почаще!), въ этомъ отношеніи она обязана всего болѣе. Въ иномъ же смыслѣ, сомнѣніе относительно успѣховъ исторической доводности, выражаемое вопросомъ: «доводнѣ ли становится исторія?» опять повторяемъ, можетъ возникнуть развѣ внѣ области самой науки. Но мы ужъ признали разъ, что наука должна принимать къ свѣдѣнію всякое основательное возраженіе противъ нея, хотя бы даже сдѣланное и со стороны, и потому не можемъ уклониться и отъ того, что, можетъ быть сказано противъ возрастающей, по общепринятому мнѣнію, доводности въ исторіи новаго времени.

«Итакъ» (продолжаетъ авторъ мемуара, высказавъ свои сомнѣнія о доводности исторіи древняго міра), «если степень доводности древней исторіи подчинена условіямъ причудливымъ (?), подъ вліяніемъ которыхъ вѣроятное дѣлается вѣрнымъ, а критическій анализъ, самый совершенный, едва вскрываетъ ихъ, — разсмотримъ же новыя условія новѣйшей исторіи и взглянемъ, на сколько средства, изъ нихъ вытекающія, увеличиваютъ ея доводность. Неоспоримо, что источниками исторіи со времени книгопечатанія сдѣлались несмѣтны; критика была и настойчива и искусна, событія записывались съ мелочною точностью; но болѣе ли обезпечена ихъ доводность? Такой порядокъ вещей благоприятствуетъ ли отысканію истины лучше прежняго? Ближе ли мы наконецъ къ свѣту? — Вопросъ этотъ такъ же, какъ и предыдущій, представляетъ двѣ стороны, совершенно различныя; съ одной—видимъ доблестный трудъ историка, посвящающаго себя на то, чтобы распутать этотъ страшный хаосъ данныхъ обильныхъ, но пристрастныхъ и противорѣчащихъ между собою; съ другой—не знаемъ, что еще приметъ изъ этихъ изысканій вѣрованіе народовъ, и что изъ нихъ дѣйствительно войдетъ въ область общихъ мнѣній. Я позволяю себѣ думать, что, въ противоположность исторіи древности, историкъ новѣйшій, въ многочисленности подробностей, въ безконечномъ разнообразіи источниковъ и сверхъ того въ современномъ настроеніи умовъ, встрѣчаетъ препятствія, одолѣть которыя не всегда въ его власти. Страсть нашего вѣка къ разбѣдиющему анализу, ненависть ко всякому синтезу, религіозному, исто-

рическому или нравственному, совершенное отсутствіе вѣры, распространенное и на область дѣйствительности, болѣе или менѣ таинственной—все это вмѣстѣ представляет затрудненія, которыхъ не знали древніе, и которыя, по малой мѣрѣ, равняются недостатку въ достовѣрныхъ источникахъ и исторической критикѣ для временъ отдаленныхъ», и пр. («Москв.» I, стр. 99—100).

Послѣ всего, что сказано было прежде о древней исторіи, почти и нельзя было ожидать, что нападеніе на новую будетъ сдѣлано именно съ этой стороны. Если исторія древности, основанная большею частью на догадкахъ, по недостаточности источниковъ, недостовѣрна, то, казалось бы, новая ужъ никакъ не можетъ подвергнуться тому же самому упреку, какъ призобилюющая источниками; или, въ противномъ случаѣ, пришлось бы съ такою же послѣдовательностью заключать о большей достовѣрности древней исторіи по тому самому, что она, по счастью, не знаетъ этого изобилія... Тогда совершенно измѣнился бы ходъ мысли, и мы должны были бы заключать о древней исторіи ужъ на основаніи тѣхъ выводовъ, которые намъ удалось бы извлечь изъ нашихъ соображеній объ условіяхъ достовѣрности новой. Но авторъ мемуара искусно соединяетъ оба опособа заключенія для одного главнаго результата и весьма остроумно видитъ *недостатокъ* новой исторіи въ *обиліи* ея источниковъ. Допустимъ, что выводъ, который изъ этого положенія можетъ быть сдѣланъ относительно древней исторіи, нисколько не повредитъ прежнимъ заключеніямъ автора о степени ея достовѣрности, и возьмемъ его какъ оно есть, лишь по отношенію къ вопросу о достовѣрности новой исторіи. Въ самомъ дѣлѣ — въ этомъ легко согласится всякій — со временъ книгопечатанія средства исторіи значительно умножились; каждое новое явленіе не только записывается съ величайшею аккуратностью, но въ то же время и обсуживается со множества различныхъ, часто даже противоположныхъ точекъ зрѣнія; матеріалъ растетъ съ каждымъ днемъ, мнѣнія перекрещиваются между собою, перепутываются, и вся эта масса фактовъ и одинъ другому противорѣчащихъ взглядовъ, повидимому, угрожаетъ совершенно подавить собою будущаго историка, такъ что онъ рѣшительно будетъ не въ состояніи совладѣть съ своими несмѣтными средствами, и исторія, какъ наука, по необходимости должна будетъ и въ себя принять тотъ хаосъ противорѣчій, который господствуетъ внѣ ея, преимущественно въ современной письменности...

Если бы такова была въ самомъ дѣлѣ опасность, угрожающая исторіи, то новымъ историкамъ пришлось бы предаться совершенному отчаянію и искать себѣ другихъ занятій. Но, сколько мы знаемъ, никто еще изъ современныхъ дѣлателей на полѣ исторіи никогда не былъ смущенъ хотя бы только предположеніемъ такого безнадежнаго состоянія; до сего времени по крайней мѣрѣ никто еще изъ нихъ не высказывалъ гласно ни сомнѣній, ни опасеній за участь исторіи, за ея доводность въ особенности, никто изъ современныхъ намъ именитыхъ историковъ не думалъ до сей поры отказываться отъ любимой ими исторической дѣятельности, ни приходитъ въ уныніе отъ своихъ занятій исторіею. Гизо, Тьерри, Шлоцеръ, Ранке, Маколей—все они смѣло и самоуверенно простираются впередъ въ своихъ историческихъ занятіяхъ, и не замѣтно, чтобъ хоть кто-нибудь изъ нихъ, постоянно идя по этому пути, встрѣтился хоть разъ съ опасностью, о которой говоритъ авторъ мемуара. По крайней мѣрѣ нельзя не признать, что историческая практика въ этомъ случаѣ состоитъ въ совершенномъ разладѣ съ теоріею, что послѣдняя, не по естественному порядку, опередила собою первую. Наука, въ лицѣ своихъ важнѣйшихъ представителей, видимо спѣетъ, мужаетъ, все болѣе и болѣе утверждается въ сознаніи своихъ силъ и успѣховъ — въ то самое время, когда бы съ каждымъ днемъ должна была расти воображаемая опасность и своимъ тяжелымъ давленіемъ все чувствительнѣе и чувствительнѣе задерживать ея успѣхи. Итакъ, если и есть поводъ заключать объ опасности такого рода, то она, очевидно, угрожаетъ не нашимъ современникамъ, а развѣ будущему поколѣнію историковъ, которое еще ничѣмъ не обнаружило своей дѣятельности, и о которомъ мы судить не въ состояніи. Но даже и въ этомъ случаѣ мы еще далеко не чужды сомнѣній.

Кромѣ практической, есть и другая точка зрѣнія на спорный предметъ. Когда говорится о недостаткѣ историческихъ средствъ въ одномъ случаѣ, 'объ излишествѣ ихъ' въ другомъ, естественно и даже необходимо предположить, что, утверждая то и другое, въ обоихъ случаяхъ имѣютъ въ виду одну определенную мѣру того же самого предмета, которая можетъ быть взята за нормальную. Ибо иначе мы не въ состояніи были бы опредѣлить съ точностью, гдѣ собственно оказывается недостатокъ и гдѣ начинается излишество. Но гдѣ же эта нормальная мѣра для историческихъ средствъ? когда и кѣмъ была она открыта, опредѣлена, установлена? и точно ли она

уже найдена? Не удивимся, если отвѣтъ будетъ отрицательный. Въ самомъ дѣлѣ, она не существуетъ какъ нѣчто данное, положительное; едва ли найдутся два мнѣнія совершенно согласныя въ этомъ отношеніи, и разсуждать о недостаткѣ или излишествѣ историческихъ средствъ, по нашему мнѣнію, можно не иначе, какъ условившись напередъ въ томъ, что должно принимать за норму. Но мы надѣемся также никого не удивить, утверждая, что эта нормальная мѣра, если и не найдена разъ навсегда для всего продолженія историческаго времени, то постоянно отыскивается въ приложеніи къ различнымъ его эпохамъ, что это исканіе и опредѣленіе нормальной мѣры для различныхъ эпохъ исторіи по преимуществу принадлежитъ наукѣ, и что вѣрное средство, которымъ она обыкновенно для того пользуется, есть критика. Это постоянное дѣйствіе науки съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ существуетъ историческая критика, одинаково обращено ко всѣмъ частямъ исторіи, потому что вездѣ равно нужна оцѣнка источниковъ и опредѣленіе степени ихъ доводности, по всего болѣе прилагается къ исторіи трехъ послѣднихъ столѣтій. Здѣсь критика имѣла и имѣетъ полную возможность слѣдить, такъ сказать, за самымъ зарожденіемъ историческихъ памятниковъ и тотчасъ же повѣрять ихъ показанія на мѣстѣ ихъ происхожденія. Не всякое произведеніе письменности, имѣющее притязаніе на характеръ и достоинство историческаго памятника, выдерживаетъ критическую пробу: иное отпадаетъ какъ ложное или подложное, другое отдѣляется какъ сомнительное, и даже то, что сохраняетъ свое значеніе и послѣ очистки критикою, классифируется ею различно, смотря по важности и достоинству содержанія. Историкъ нашего времени, который беретъ на себя трудъ обозрѣть тотъ или другой періодъ новѣйшей исторіи, объяснить то или другое ея явленіе, нечего бояться излишества средствъ: приступая къ своему дѣлу, онъ всегда найдетъ нѣсколько предшествующихъ критическихъ работъ, которыми уже взвѣшено внутреннее достоинство большей части письменныхъ памятниковъ эпохи, опредѣлена и степень ихъ значительности, такъ что число собственно такъ называемыхъ источниковъ выходитъ очень ограниченное; отсюда происходитъ то извѣстное явленіе, столько разъ повторявшееся въ современной намъ исторической литературѣ, что вмѣсто того, чтобы жаловаться на избытокъ средствъ, никакъ не довольствуются одними обнародованными и охотно обращаются къ мѣстнымъ архивамъ, гдѣ хранятся

еще незамеченные памятники изслѣдуемой эпохи. Если бы насъ одолевало излишество, то любовь къ архивнымъ изслѣдованіямъ не отнимала бы у насъ столько времени. И другой страшный призракъ, угрожающій историку заблудить его въ хаосъ противорѣчащихъ одно другому показаній, можетъ пугать только издали. Если ужъ дѣйствительно существуетъ такая опасность, то она вовсе не прилагается исключительно къ одной лишь новѣйшей исторіи, но одинаково относится ко всѣмъ временамъ и эпохамъ, когда враждебно встрѣчались два или нѣсколько противоположныхъ стремленій, когда боролись между собою непримиримыя партіи, изъ которыхъ каждая имѣла иногда цѣлую фалангу своихъ пристрастныхъ дѣписателей. Время борьбы папской власти съ императорскою очень отдалено отъ началъ новѣйшей исторіи: однако уже между современниками Гильдебранда и Генриха (IV) Франконскаго, когда только что открылось первое дѣйствіе этой великой всемірно-исторической борьбы, сколько было историковъ и публицистовъ, одинъ другому явно и прямо противорѣчившихъ относительно первыхъ и самыхъ видныхъ дѣятелей своего времени! А Гогенштауфены, особенно Фридрихъ II? А Гвельфы и Гибеллины?.. Да не чужда этого порока и исторія болѣе отдаленной древности. Междоусобныя войны въ Римѣ, пелопоннесская въ Греціи—развѣ не описывались съ разныхъ точекъ зрѣнія и часто въ духѣ совершенно противоположномъ современными повѣствователями? Исторія давно остановилась бы въ своемъ движеніи, если бъ не могла одолѣть подобныхъ препятствій. Критика и здѣсь дѣятельно помогаетъ ей своею классификаціею историческихъ памятниковъ по самымъ ихъ направленіямъ и личнымъ видамъ и намѣреніямъ писателей; и здѣсь историкъ большею частью находитъ для себя почву уже довольно разработанную и расчищенную, такъ что ему остается только, для большей точности, наводить справки то на той, то на другой сторонѣ и повѣрять одно свидѣтельство другимъ, смотря по тому, которое изъ нихъ заслуживаетъ болѣе вѣроятія по своимъ внѣшнимъ и внутреннимъ признакамъ. Не найдется въ неизбѣжномъ хаосѣ противорѣчащихъ показаній развѣ тотъ, кто не приготовленъ къ историческимъ занятіямъ общимъ образованіемъ, кто не составилъ себѣ отчетливаго понятія о ходѣ и развитіи человѣческихъ обществъ вообще, кто, наконецъ, не въ состояніи взвѣсить и обсудить чужое мнѣніе на вѣсахъ своей собственной мысли. Но въ наше время кто же и возьмется за историческую производи-

тельность въ настоящемъ значеніи слова, не имѣя всѣхъ этихъ предварительныхъ условій, особенно же не чувствуя въ себѣ довольно самостоятельности, чтобъ разобрать противоположныя мнѣнія относительно одного и того же лица или цѣлаго на- правленія и каждому изъ нихъ отдать должное?

Неубѣжденные оставляемъ мы и послѣднее сомнѣніе автора мемуара въ достовѣрности исторіи, взятое имъ отъ многочисленности подробностей, отъ безконечнаго разнообразія источниковъ и отъ того особеннаго настроенія умовъ, которое начинается въ Европѣ со времени великаго перелома, совершившагося въ ней, по его мнѣнію, въ теченіе XV столѣтія; но чтобъ болѣе очистить дѣло, неизлишнимъ считаемъ взглянуть и на тѣ *примѣры* въ современной исторической литературѣ, на которые ссылается авторъ мемуара въ подтвержденіе своей теоріи сомнѣній. Какъ знать? Можетъ быть, по весьма обыкновенному ходу человѣческой мысли, отъ этихъ частныхъ примѣровъ и взялось общее заключеніе автора мемуара о недостовѣрности исторіи трехъ послѣднихъ столѣтій, якобы зависящей главнымъ образомъ отъ преизобилія средствъ ея. Впрочемъ мы должны напередъ сдѣлать здѣсь одну необходимую оговорку. Говоря о примѣрахъ, мы въ этомъ случаѣ разумѣемъ собственно недостатокъ примѣровъ, или удовлетворительныхъ, то есть сполна исчерпывающихъ свой предметъ историческихъ произведеній, указанный тѣмъ же авторомъ въ современной литературѣ, относительно важнѣйшихъ эпохъ новѣйшей исторіи. Вотъ собственныя слова его:

«XV столѣтіе одно являетъ собою великій переломъ въ человѣческомъ умѣ; но что дѣлать историку, или, точнѣе, что сдѣлали историки, писавшіе объ этомъ времени для того, чтобъ открыть истину, или по крайней мѣрѣ подойти къ ней среди этого безначалія человѣческой мысли? Гдѣ тотъ писатель, который бы сумѣлъ снять вѣрное изображеніе съ реформации и нарисовать ея картину болѣе или менѣе прагматически? И есть ли возможность, среди несмѣтной массы взаимныхъ обвиненій, уликъ неистовыхъ, очевидныхъ клеветъ и узаконенныхъ басенъ, держать историку вѣсы правосудія и обнимать совокупность великаго переворота? Современному историку, съ перваго шага несущему на себѣ всю тяжесть закона самаго безусловнаго безпристрастія, предоставлено допрашивать только свидѣтелей пристрастныхъ до нечѣстности; напрасно сталъ бы онъ искать средствъ согласить ихъ, добиваться исторической средины: нѣтъ возможнаго примиренія между показаніями партій, тѣмъ болѣе искренними, что онѣ гордятся своимъ фанатизмомъ, и что вся ихъ заслуга въ страсти, ихъ одушевляющей. Нѣтъ сомнѣнія, важныя труды уже разобраны съ особеннымъ вниманіемъ, совершены удивительныя изслѣдованія, другіе

источники только ждут изыскателей; но какое сочинение о реформации, явившееся въ два послѣднія столѣтія, открыло историческую истину въ томъ видѣ, въ какомъ требуемъ мы ея теперь? Мы имѣли до сихъ поръ, отъ той ли, отъ другой ли партіи, или одни facts, или извлеченія въ родѣ Вольтеровыхъ или Юмовыхъ, чрезвычайно забавныя, но безъ заботы объ истинѣ, и таково, надо замѣтить, неминуемое слѣдствіе обязанности, возложенной на историка, быть безпристрастнымъ во что бы то ни стало». («Москв.» кн. I, стр. 100—101).

Подобнымъ же образомъ выражается авторъ и объ эпохѣ большого политическаго переворота, ознаменовавшаго собою окончаніе прошлаго столѣтія, находя, что, относительно этого пункта исторіи, мракъ даже увеличивается по мѣрѣ того, какъ увеличивается число издаваемыхъ сочиненій.

Никогда еще тотъ хаосъ противорѣчащихъ извѣстій и мнѣній, который обыкновенно предшествуетъ собственно исторической разработкѣ въ каждомъ періодѣ исторіи, гдѣ борются между собою два противоположныя направленія, не находилъ себѣ такого блистательнаго выраженія, не изображался въ такихъ краткихъ, но сильныхъ и рѣзкихъ чертахъ, какъ въ выписанномъ нами отрывкѣ изъ мемуара. Но съ изумленіемъ, едва вѣря сами себѣ, читаемъ мы на тѣхъ же самыхъ страницахъ и увѣреніе въ томъ, что этотъ первоначальный хаосъ историческихъ извѣстій, ужасающій однимъ своимъ изображеніемъ, остается такимъ же хаосомъ и до сего дня, что едва ли и есть какая-нибудь возможность современному намъ историку выбраться изъ него, что, наконецъ, онъ и на будущее время лишенъ всякаго средства согласить, помирить враждующихъ одинъ другому свидѣтелей и, посредствомъ соглашенія ихъ, добиться такъ называемой исторической середины. Тѣмъ съ большимъ изумленіемъ читаемъ эти строки, что тутъ же, лишь нѣсколько ниже, находимъ и другое, столько же непринужденное признаніе автора, что «важные труды» (рѣчь идетъ, безъ сомнѣнія, о важнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ эпохи) «уже разобраны съ особеннымъ вниманіемъ, и совершены удивительныя изслѣдованія». Когда мы думали освободиться отъ сомнѣній въ доводности новой исторіи, насъ встрѣчаетъ, сверхъ ожиданія, самое прямое и откровенное его отрицаніе! Итакъ, безплодно истрачены труды, посвященные разбору важнѣйшихъ историческихъ памятниковъ? напрасно были предприняты и совершены «удивительныя изслѣдованія»? даромъ погублено время на нихъ? Неужели усилія человѣческой мысли до такой степени ничтожны, непроизводительны, что послѣ самыхъ добросовѣст-

тельно. Такого творенія нѣтъ, да едва ли и можетъ существовать подобная задача. Реформація есть событіе такое многосложное и многостороннее, что не можетъ быть обнято однимъ разомъ, однимъ усиліемъ человѣческой мысли. Нужны соединенныя усилія нѣсколькихъ изслѣдователей, которые бы взяли на себя трудъ обозрѣть событіе въ различныхъ отношеніяхъ и освѣтить его съ различныхъ сторонъ: тогда, хотя и не въ одномъ твореніи, а въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ и даже одно отъ другого независимыхъ сочиненіяхъ, но вѣрно отразилось бы событіе во всей его полнотѣ и разнообразіи—и мы смѣемъ думать, что это уже не предположеніе, но мысль болѣе нежели въ половину осуществившаяся въ исторической литературѣ нашего времени. Такъ желающій узнать реформацію преимущественно съ политической стороны, найдетъ превосходное изображеніе ея съ этой точки зрѣнія въ сочиненіяхъ Ранке; впрочемъ, если бы требованіе осталось и въ томъ видѣ, въ какомъ находимъ его во второй половинѣ вопроса, предложеннаго авторомъ мемуара, т. е. изобразить реформацію «болѣе или менѣе прагматически», мы опять смѣло указали бы на того же писателя, и не видимъ ни малѣйшей причины, почему бы требованіе могло казаться неудовлетвореннымъ; сверхъ того, желающій узнать реформацію какъ проявленіе извѣстной идеи, которая совершила свой кругъ развитія, выразившагося наиболѣе въ литературѣ того времени, пусть возьметъ руководителемъ Гагена и прѣидетъ вмѣстѣ съ нимъ всѣ «религіозныя и литературныя отношенія» эпохи; для тѣхъ, которые желали бы еще прослѣдить ходъ самой догмы протестантской и составить себѣ понятіе о религіозныхъ учрежденіяхъ, возникшихъ на основаніи реформы, есть Планкъ, Маргейнеке и друг. Наконецъ существуетъ цѣлый рядъ весьма удовлетворительныхъ монографій, которыя во всей подробности и также на основаніи строгаго изслѣдованія излагаютъ различные отдѣльные эпизоды великой эпохи реформации, какъ-то: предпріятіе Сиккингена, крестьянская война, движеніе анабаптистовъ, и т. п.; за тѣмъ слѣдуетъ еще другой рядъ — столько же полныхъ, сколько и отчетливыхъ біографій замѣчательнѣйшихъ дѣятелей эпохи, какъ-то: Лютера, Ульриха Гуттена, Эразма Роттердамскаго, Фридриха Мудраго, Морица Саксонскаго, и пр. Огромная переписка Карла V также принадлежитъ наукѣ и можетъ послужить ключемъ къ объясненію многихъ загадочныхъ свойствъ этой въ высокой степени замѣчательной исторической личности и одного изъ интереснѣйшихъ психологическихъ яв-

лений. Однимъ словомъ, стоитъ только подойти къ наукѣ ближе—и тогда окажется само собою, что намъ нѣтъ ни малѣйшей нужды возвращаться къ темнымъ задачамъ ея, иначе, къ нѣкоторымъ казавшимся, или, скорѣе, жалкимъ извлеченіямъ въ родѣ вольтеровыхъ и юмовыхъ, и ими измѣрять степень ея достоинства: наука ушла отъ нихъ такъ далеко впередъ, что эти забытые всѣми недоноски исторіи не могутъ бросать на нее даже легкую тѣнь. Пожалѣть ли, что всѣ прочныя пріобрѣтенія науки по какому-нибудь одному ея отдѣлу, напримеръ, по исторіи реформаціи, не соединены въ одномъ сочиненіи, въ одной книгѣ? Но это значило бы пожалѣть о томъ, что до сихъ поръ ни одна компиляція не заключала въ себѣ всего богатства самостоятельныхъ историческихъ произведеній...

Въ академическомъ преподаваніи ведется обычай—передъ началомъ каждаго отдѣла исторіи не только называть главные источники, изъ которыхъ почерпаются важнѣйшія извѣстія о немъ, но и приводить замѣчательнѣйшія монографіи, писанныя по этому предмету. Обычай очень разумный: въ основаніи его лежитъ вѣрная мысль, что наука есть плодъ соединенныхъ усилій всѣхъ ея дѣлателей, что постоянно вырабатываясь посредствомъ изслѣдованія, она не существуетъ внѣ его и не можетъ быть заключена ни въ одной книгѣ, ни въ одномъ курсѣ, и что вводя въ науку основательнымъ образомъ, преподаватель необходимо долженъ при всякомъ удобномъ случаѣ знакомить своихъ слушателей съ ея литературою. Подъ литературою же разумѣемъ здѣсь не два-три избранные сочиненія, но весь письменный запасъ историческихъ изслѣдованій, которыя, по общему признанію знатоковъ, обогатили науку по тому или другому ея отдѣлу новыми выводами, и хоть съ одной стороны способствовали къ уразумѣнію истиннаго хода историческихъ событій. При обычаѣ этого рода, развѣ только излишнее пристрастіе заставило бы преподавателя ограничиться однимъ писателемъ, говоря о такомъ важномъ отдѣлѣ исторіи, какъ реформація, или онъ обличилъ бы подобною неумѣстною исключительностью недостаточное знаніе литературы предмета и слишкомъ одностороннее пониманіе самой науки.

Менѣе охотно послѣдуемъ мы за авторомъ мемуара на другое историческое поле, куда онъ вызываетъ насъ рѣшить подобныя же сомнѣнія относительно доводности новѣйшей исторіи. Не потому медлимъ мы слѣдовать за нимъ, чтобъ успѣхъ состязанія на этомъ новомъ полѣ считали болѣе со-

мнительнымъ, но потому, что избранное поле вовсе не годится для состязанія. Огромный переворотъ прошедшаго столѣтія, о которомъ идетъ рѣчь на послѣднихъ страницахъ мемуара, такъ новъ, такъ близокъ къ намъ и по времени и по тѣмъ горячимъ слѣдамъ, которые еще остаются отъ него, что исторія не можетъ еще считать его вполне приобрѣтеннымъ себѣ.

Сколько могли, мы старались отвѣчать только на главный и самый видный вопросъ; остающіяся же сомнѣнія предоставляемъ рѣшить болѣе опытнымъ.

лений. Однимъ словомъ, стоитъ только подойти къ наукѣ ближе—и тогда окажется само собою, что намъ нѣтъ ни малѣйшей нужды возвращаться къ темнымъ задачамъ ея, иначе, къ нѣкоторымъ рабавнымъ, или, скорѣе, жалкимъ извлеченіямъ въ родѣ вольтеровыхъ и юмовыхъ, и ими измѣрять степень ея достоинства: наука ушла отъ нихъ такъ далеко впередъ, что эти забытые всѣми недоноски исторіи не могутъ бросать на нее даже легкую тѣнь. Пожалѣть ли, что всѣ прочныя пріобрѣтенія науки по какому-нибудь одному ея отдѣлу, напри- мѣръ, по исторіи реформаціи, не соединены въ одномъ сочи- неніи, въ одной книгѣ? Но это значило бы пожалѣть о томъ, что до сихъ поръ ни одна компиляція не заключала въ себѣ всего богатства самостоятельныхъ историческихъ произведеній...

Въ академическомъ преподаваніи ведется обычай—передъ началомъ каждаго отдѣла исторіи не только называть глав- ные источники, изъ которыхъ почерпаются важнѣйшія извѣ- стія о немъ, но и приводить замѣчательнѣйшія монографіи, писанныя по этому предмету. Обычай очень разумный: въ основаніи его лежитъ вѣрная мысль, что наука есть плодъ соединенныхъ усилій всѣхъ ея дѣлателей, что постоянно выра- батываясь посредствомъ изслѣдованія, она не существуетъ внѣ его и не можетъ быть заключена ни въ одной книгѣ, ни въ одномъ курсѣ, и что вводя въ науку основательнымъ образомъ, преподаватель необходимо долженъ при всякомъ удобномъ случаѣ знакомить своихъ слушателей съ ея литера- турою. Подъ литературою же разумѣемъ здѣсь не два-три избранныя сочиненія, но весь письменный запасъ историче- скихъ изслѣдованій, которыя, по общему признанію знатоковъ, обогатили науку по тому или другому ея отдѣлу новыми вы- водами, и хоть съ одной стороны способствовали къ уразу- мѣнію истиннаго хода историческихъ событій. При обычаѣ этого рода, развѣ только излишнее пристрастіе заставило бы преподавателя ограничиться однимъ писателемъ, говоря о та- комъ важномъ отдѣлѣ исторіи, какъ реформація, или онъ об- личилъ бы подобною неумѣстною исключительностью недоста- точное знаніе литературы предмета и слишкомъ одностороннее пониманіе самой науки.

Менѣе охотно послѣдуемъ мы за авторомъ мемуара на другое историческое поле, куда онъ вызываетъ насъ рѣшить подобныя же сомнѣнія относительно доводности новѣйшей исторіи. Не потому медлимъ мы слѣдовать за нимъ, чтобъ успѣхъ состязанія на этомъ новомъ полѣ считали болѣе со-

имъ статьею А. Тьерри, есть, по нашему твердому убѣжденію, одно изъ тѣхъ важныхъ и прочныхъ приобрѣтеній нашей литературы въ прошломъ году, которыя должны наиболѣе содѣйствовать къ распространенію основательныхъ знаній о предметѣ—въ настоящемъ случаѣ знаній историческихъ. Съ произведеніями этого рода, каковъ бы ни былъ ихъ внѣшній объемъ, знакомить публику, полагаемъ мы, никогда не поздно.

Г. Грановскій пишетъ и издаетъ мало. Не разъ дѣлали ему этотъ упрекъ пишущіе и печатающіе много. Всякій любить мѣрить на свой аршинъ. Кто однако не знаетъ, что литературное достоинство всего менѣе измѣряется многописаніемъ? Есть словоохотливые писатели, любящіе выносить передъ публику каждое свое личное ощущеніе; за недостаткомъ другого матеріала, они готовы, пожалуй, вести подробную лѣтопись того, что дѣлается у нихъ въ семьѣ, въ кабинетѣ; хочетъ или не хочетъ публика, они расскажутъ ей, что пишутъ или только намѣрены писать они, и что читаютъ и даже на какой страницѣ остановились въ чтеніи. За такими писателями не угоняешься; у нихъ всегда найдется, о чемъ поговорить съ „благоклоннымъ читателемъ“. Съ публикою у нихъ идетъ постоянный, непрерывающійся разговоръ; не случилось цѣлой статьи, онъ не забудетъ напомнить о себѣ гдѣ-нибудь, хоть подстрочнымъ замѣчаніемъ съ выразительнымъ знакомъ вопрошенія. Винить ли г. Грановскаго, что онъ понимаетъ дѣло писателя нѣсколько иначе, что литература никогда не была для него складочнымъ мѣстомъ личныхъ ощущеній, имѣющихъ цѣну развѣ лишь для самого пишущаго, что, изъ уваженія къ читающей публикѣ, онъ привыкъ дѣлать строгій выборъ между своими работами и не иначе являться на судъ ея, какъ съ зрѣлою и обдуманною мыслью? Нельзя конечно требовать, но какъ не пожелать, чтобъ и другіе поучились у него этой благоразумной разборчивости. Издатели потерпѣли бы убыль въ счетъ листовъ печатной бумаги, но литература—мы увѣрены—выиграла бы въ достоинствѣ и благородствѣ, освободясь отъ лишняго хлама, безъ нужды ее обременяющаго.

Г. Грановскій видитъ въ литературѣ не поденное ремесло, а благородное искусство. Немногіе еще въ наше время сохранили столько чувства изящной формы и чистоты вкуса. Рѣдко можно встрѣтить изложеніе болѣе строгое и воздержное на слова и вмѣстѣ болѣе выразительное по отношенію къ самому содержанію. Г. Грановскій не расточителенъ на слова,

О современных задачах исторіи*.

О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи. Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Императорскаго Московскаго Университета орд. проф. всеобщей исторіи, Т. Грановскимъ. Москва. 1852.

О физиологическихъ признакахъ человѣческихъ породъ и ихъ отношеніи къ исторіи. Письмо Эдвардса къ А. Тьерри, переведенное и дополненное Т. Грановскимъ («Магазинъ земледѣвія и путешествій», изд. Н. Фроловымъ). Москва. 1852.

Среди множества писаній, изготовляемыхъ къ срокамъ и едва переживающихъ время своего появленія, особенно пріятно встрѣтиться съ произведеніемъ зрѣлой, обдуманной мысли. Не часто достается такое удовольствіе, за то цѣнится оно тѣмъ болѣе. Оно не только питаетъ мысль, но и призываетъ ее къ новой дѣятельности. Сумма умственнаго удовольствія значительно возрастаетъ, когда, повѣривъ свои понятія чужою опытною мыслью, возбуждаешься ею къ дальнѣйшимъ соображеніямъ и выводамъ. Слово, одаренное этою возбуждительною силою, безъ сомнѣнія, не праздно; даже разноглася въ томъ или другомъ частномъ пунктѣ съ писателемъ, все же остаешься благодаренъ ему какъ за обильный матеріалъ для мысли, такъ и за благотѣльное вліяніе на усиленную ея дѣятельность. Намъ конечно не поставятъ въ упрекъ, что мы только теперь говоримъ о двухъ литературныхъ произведеніяхъ, изъ которыхъ одно появилось въ самомъ началѣ прошлаго года, а другое—въ половинѣ его. Именно потому мы и считаемъ себя въ правѣ сдѣлать такое отступленіе отъ обыкновеннаго порядка, что совершенно убѣждены въ неэфемерномъ значеніи двухъ сочиненій, которыя изданы подъ этими заглавіями. Рѣчь г. Грановскаго, вмѣстѣ съ переведенною и дополненною

* Напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1853 г.

Историческій обзоръ разныхъ воззрѣній на исторію авторъ начинаетъ весьма издалека:

„Вопросы о теоретическомъ значеніи исторіи, о приложеніи ея уроковъ къ жизни, о средствахъ, которыми она можетъ достигать своихъ дѣйствительныхъ или извнѣ ей поставленныхъ цѣлей, не новы. Они обращали на себя вниманіе великихъ умовъ древняго міра и составляютъ неистощимое содержаніе ученыхъ преній въ наше время... По кореннымъ условіямъ своей жизни, Востокъ не могъ принять участія въ рѣшеніи вопросовъ такого рода. Они никогда не входили въ сферу, въ которой сосредоточена дѣятельность восточной мысли. Азіатскимъ народамъ не чужда врожденная человѣку потребность знать свое прошедшее, но ихъ любознательность находитъ легкое удовлетвореніе въ родословныхъ спискахъ, въ простыхъ перечняхъ событій и въ историческихъ пѣсняхъ. Содержаніе этихъ памятниковъ, представляя обильный, хотя болѣею частію однообразный матеріалъ стороннему изслѣдователю, не могло на той почвѣ, которой принадлежитъ по происхожденію, уясниться до науки или облечься въ формы художественныхъ произведеній. Лѣтопись и пѣсня могутъ конечно быть вѣрнымъ отраженіемъ народнаго быта, но онѣ не въ состояніи служить орудіями умственнаго образованія. Онѣ живо и любовно напоминаютъ народу прошедшее, не приводя его къ ясному сознанію настоящаго. Требуя отъ исторіи разсказа, а не поученій, Востокъ довольствовался самыми бѣдными, хотя соотвѣтствующими его общественному развитію, формами историческаго преданія. Единственное исключеніе составляютъ священныя книги евреевъ“.

Затѣмъ, по естественному порядку, авторъ переходитъ къ древнему классическому міру, чтобъ опредѣлить въ главныхъ чертахъ господствовавшее въ немъ воззрѣніе на исторію. Немногія страницы, въ которыхъ онъ характеризуетъ самыя видныя направленія греческихъ и римскихъ историковъ, обнимаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и существенныя черты древняго историческаго искусства. Не теряя много словъ, авторъ прямо ставитъ читателя на ту точку зрѣнія, съ которой человѣкъ классическаго міра обсуживалъ историческія произведенія своего времени, и потомъ показываетъ особенности эллинскаго воззрѣнія отъ позднѣйшаго римскаго. Воспользуемся для того и другого словами самой рѣчи:

„Греки и римляне смотрѣли на исторію другими глазами, нежели мы. Для нихъ она была болѣе искусствомъ, чѣмъ наукою. Такое воззрѣніе естественнымъ образомъ вытекало изъ цѣлаго порядка вещей и основныхъ началъ античной образованности. Задача греческаго историка заключалась преимущественно въ возбужденіи въ читателяхъ нравственнаго чувства или эстетическаго наслажденія. Съ этою цѣлю соединялась нерѣдко другая, болѣе положительная. Политическіе опыты прошедшихъ поколѣній должны были служить примѣромъ и уро-

комъ для будущихъ. „Я буду удовлетворенъ“ (говоритъ Фукидидъ), „если трудъ мой окажется полезнымъ тому, кто ищетъ достовѣрныхъ свѣдѣній о прошедшемъ, а равно и о томъ, что по ходу дѣлъ человѣческихъ можетъ повториться снова“. Это практическое направленіе выразилось еще съ большею силою въ произведеніяхъ римскихъ историковъ; но въ лучшія времена римской литературы оно всегда соединялось съ нравственно-эстетическими цѣлями. Тѣсная связь исторіи съ жизнью, черпавшей изъ нея многостороннее назиданіе, сообщала нашей наукѣ важность, которой она, при всѣхъ сдѣланныхъ ею съ тѣхъ поръ успѣхахъ, не имѣетъ въ настоящее время. Назвавъ ее наставницею жизни, Цицеронъ выразилъ господствовавшее у древнихъ воззрѣніе. Они вѣрили въ могущество примѣровъ. Изъ жизнь, далеко не такъ сложная, какъ жизнь новыхъ народовъ, нерѣдко повторяла одни и тѣ же явленія и такимъ образомъ открывала возможность прилагать къ дѣлу опыты минувшаго“.

На слѣдующей страницѣ авторъ продолжаетъ:

„При господствѣ такихъ направленій, произведенія древней исторіи не могли походить на ученыя сочиненія новаго времени, болѣе или менѣе носяція на себѣ печать кабинетной работы. Историки Греціи и Рима принадлежали преимущественно высшимъ сословіямъ общества и часто описывали такія событія, въ которыхъ были личными участниками или свидѣтелями. Они старались сообщить разсказамъ своимъ какъ можно большую красоту и ясность, сдѣлать ихъ доступными для сколь можно большаго числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условіе значительнаго успѣха. Но подъ изяществомъ формы разумѣлась не одна красота изложенія, а художественное, на основаніи общихъ законовъ искусства совершенное построеніе матеріаловъ. Исторія, по словамъ Лукіана, родственница поэзіи, а историкъ долженъ походить на ваятеля, который не создаетъ мрамора или металла, но творчески сообщаетъ имъ прекрасный образъ. Въ теоретическихъ изслѣдованіяхъ о формахъ, свойственныхъ историческимъ сочиненіямъ, и объ отношеніи ихъ къ искусству вообще, высказался складъ ума обоихъ народовъ классической древности. Греки требовали преимущественно поэтической, римляне риторической стихіи. Послѣдняя впрочемъ была неизбежна вслѣдствіе того значенія, какое краснорѣчіе имѣло въ античной государственной жизни“.

Это вѣрное пониманіе важнѣйшихъ условій древняго историческаго искусства и мѣстныхъ его различій, такъ ясно и раздѣльно выработанныхъ въ духѣ двухъ главныхъ народностей античнаго міра, едва ли нуждается въ подтвержденіи съ нашей стороны. Оно взято изъ самыхъ историческихъ памятниковъ и согласно подтверждается всею совокупностью одно-временныхъ явленій. Одна изъ несомнѣнныхъ великихъ заслугъ античнаго человѣка состояла именно въ томъ, что онъ всюду за собою внесъ облагораживающій элементъ искусства — не

тельно. Такого творенія нѣтъ, да едва ли и можетъ существовать подобная задача. Реформація есть событіе такое многосложное и многостороннее, что не можетъ быть обнято однимъ разомъ, однимъ усиліемъ человѣческой мысли. Нужны соединенныя усилія нѣсколькихъ изслѣдователей, которые бы взяли на себя трудъ обозрѣть событіе въ различныхъ отношеніяхъ и освѣтить его съ различныхъ сторонъ: тогда, хотя и не въ одномъ твореніи, а въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ и даже одно отъ другого независимыхъ сочиненіяхъ, но вѣрно отразилось бы событіе во всей его полнотѣ и разнообразіи—и мы смѣемъ думать, что это уже не предположеніе, но мысль болѣе нежели въ половину осуществившаяся въ исторической литературѣ нашего времени. Такъ желающій узнать реформацію преимущественно съ политической стороны, найдетъ превосходное изображеніе ея съ этой точки зрѣнія въ сочиненіяхъ Ранке; впрочемъ, если бы требованіе осталось и въ томъ видѣ, въ какомъ находимъ его во второй половинѣ вопроса, предложеннаго авторомъ мемуара, т. е. изобразить реформацію «болѣе или менѣе прагматически», мы опять смѣло указали бы на того же писателя, и не видимъ ни малѣйшей причины, почему бы требованіе могло казаться неудовлетвореннымъ; сверхъ того, желающій узнать реформацію какъ проявленіе извѣстной идеи, которая совершила свой кругъ развитія, выразившагося наиболѣе въ литературѣ того времени, пусть возьметъ руководителемъ Гагена и прѣидетъ вмѣстѣ съ нимъ всѣ «религіозныя и литературныя отношенія» эпохи; для тѣхъ, которые желали бы еще прослѣдить ходъ самой догмы протестантской и составить себѣ понятіе о религіозныхъ учрежденіяхъ, возникшихъ на основаніи реформы, есть Планкъ, Маргейнеке и друг. Наконецъ существуетъ цѣлый рядъ весьма удовлетворительныхъ монографій, которыя во всей подробности и также на основаніи строгаго изслѣдованія излагаютъ различные отдѣльные эпизоды великой эпохи реформации, какъ-то: предпріятіе Сиккингена, крестьянская война, движеніе анабаптистовъ, и т. п.; за тѣмъ слѣдуетъ еще другой рядъ — столько же полныхъ, сколько и отчетливыхъ біографій замѣчательнѣйшихъ дѣятелей эпохи, какъ-то: Лютера, Ульриха Гуттена, Эразма Роттердамскаго, Фридриха Мудраго, Морица Саксонскаго, и пр. Огромная переписка Карла V также принадлежитъ наукѣ и можетъ послужить ключемъ къ объясненію многихъ загадочныхъ свойствъ этой въ высокой степени замѣчательной исторической личности и одного изъ интереснѣйшихъ психологическихъ яв-

лений. Однимъ словомъ, стоитъ только подойти къ наукѣ ближе—и тогда окажется само собою, что намъ нѣтъ ни малѣйшей нужды возвращаться къ темнымъ задачамъ ея, иначе, къ нѣкоторымъ рабавнымъ, или, скорѣе, жалкимъ извлеченіямъ въ родѣ вольтеровыхъ и юмовыхъ, и ими измѣрять степень ея достоинства: наука ушла отъ нихъ такъ далеко впередъ, что эти забытые всѣми неденоски исторіи не могутъ бросать на нее даже легкую тѣнь. Пожалѣть ли, что всѣ прочныя пріобрѣтенія науки по какому-нибудь одному ея отдѣлу, напри- мѣръ, по исторіи реформаціи, не соединены въ одномъ сочи- неніи, въ одной книгѣ? Но это значило бы пожалѣть о томъ, что до сихъ поръ ни одна компиляція не заключала въ себѣ всего богатства самостоятельныхъ историческихъ произведеній...

Въ академическомъ преподаваніи ведется обычай—передъ началомъ каждаго отдѣла исторіи не только называть глав- ные источники, изъ которыхъ почерпаются важнѣйшія извѣ- стія о немъ, но и приводить замѣчательнѣйшія монографіи, писанныя по этому предмету. Обычай очень разумный: въ основаніи его лежитъ вѣрная мысль, что наука есть плодъ соединенныхъ усилій всѣхъ ея дѣлателей, что постоянно выра- батываясь посредствомъ изслѣдованія, она не существуетъ внѣ его и не можетъ быть заключена ни въ одной книгѣ, ни въ одномъ курсѣ, и что вводя въ науку основательнымъ образомъ, преподаватель необходимо долженъ при всякомъ удобномъ случаѣ знакомить своихъ слушателей съ ея литера- турою. Подъ литературою же разумѣемъ здѣсь не два-три избранныя сочиненія, но весь письменный запасъ историче- скихъ изслѣдованій, которыя, по общему признанію знатоковъ, обогатили науку по тому или другому ея отдѣлу новыми вы- водами, и хоть съ одной стороны способствовали къ уразу- мѣнію истиннаго хода историческихъ событій. При обычаѣ этого рода, развѣ только излишнее пристрастіе заставило бы преподавателя ограничиться однимъ писателемъ, говоря о та- комъ важномъ отдѣлѣ исторіи, какъ реформація, или онъ об- личилъ бы подобною неумѣстною исключительностью недоста- точное знаніе литературы предмета и слишкомъ одностороннее пониманіе самой науки.

Менѣе охотно послѣдуемъ мы за авторомъ мемуара на другое историческое поле, куда онъ вызываетъ насъ рѣшить подобныя же сомнѣнія относительно доводности новѣйшей исторіи. Не потому медлимъ мы слѣдовать за нимъ, чтобъ успѣхъ состязанія на этомъ новомъ полѣ считали болѣе со-

миительнымъ, но потому, что избранное поле вовсе не годится для состязанія. Огромный переворотъ прошедшаго столѣтія, о которомъ идетъ рѣчь на послѣднихъ страницахъ мемуара, такъ новъ, такъ близокъ къ намъ и по времени и по тѣмъ горячимъ слѣдамъ, которые еще остаются отъ него, что исторія не можетъ еще считать его вполне прибрѣтеннымъ себѣ.

Сколько могли, мы старались отвѣчать только на главный и самый видный вопросъ; остающіяся же сомнѣнія предоставляемъ рѣшить болѣе опытнымъ.

безъ преувеличенія сказать, что нѣтъ науки, которая не входила бы своими результатами въ составъ всеобщей исторіи, имѣющей передать всѣ видоизмѣненія и вліянія, какимъ подвергалась земная жизнь человѣчества. Но изнемогая съ одной стороны подъ обременительнымъ богатствомъ матеріаловъ, которыхъ одолѣть вполнѣ не въ силахъ никакое трудолюбіе, историкъ часто поставленъ съ другой стороны въ необходимость замѣнять собственными предположеніями и догадками совершенное отсутствіе письменныхъ свидѣтельствъ. Ясно, что, при настоящемъ состояніи исторіи, она должна отказаться отъ притязаній на художественную оконченность формы, возможной только при строгой опредѣленности содержанія, и стремиться къ другой цѣли, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій своихъ подъ одно единство науки⁴.

Въ самомъ дѣлѣ, никогда еще горизонтъ исторіи (или та сфера, къ которой обращается мысль современнаго историка) не былъ такъ широкъ, какъ въ настоящее время. Какая великая разница въ этомъ отношеніи между человѣкомъ древняго міра, для котораго почти вся исторія совмѣщалась въ событіяхъ его стечества, иногда только роднаго города—и нашими современниками, для любознательности которыхъ открыты историческія могилы всѣхъ вѣковъ на обоихъ полушаріяхъ! Наука нашего времени задала себѣ неизмѣримую задачу, не только усвоить себѣ всѣ сказанія, дошедшія до насъ отъ глухой, отдаленной древности, но и повѣрить ихъ вновь собственными наблюденіями и дополнить или объяснить на основаніи позже открытыхъ памятниковъ. Требованія ея возрастаютъ по мѣрѣ открытій, которыя безостановочно продолжаются въ одно и то же время въ разныхъ концахъ историческаго міра. Съ другой стороны, сфера ея безпрестанно расширяется тѣми новыми вкладами, которые каждый годъ доставляются ей изъ неистощимыхъ архивныхъ запасовъ. Историческая мысль ищетъ обнять прошедшую жизнь человѣчества со всѣхъ сторонъ, прослѣдить ее во всѣхъ направленіяхъ; ей нужно знать всѣ элементы, изъ которыхъ сложилась историческая жизнь того или другого народа—его міеологію, его искусство, литературу, весь бытъ. Задача, и безъ того трудная, становится еще многосложнѣе. Мы совершенно согласны съ авторомъ рѣчи, что для исторіи выросла новая великая потребность—привести свои разнородныя стихіи подъ одно единство науки; мы также думаемъ, что изслѣдованіе, постоянное, неутомимое и многостороннее изслѣдованіе, сдѣлалось въ наше время однимъ изъ самыхъ существенныхъ и необходимыхъ элементовъ исторіи, что она должна посвящать ему бѣльшую часть своихъ усилій.

имъ статью А. Тьерри, есть, по нашему твердому убѣжденію, одно изъ тѣхъ важныхъ и прочныхъ приобрѣтеній нашей литературы въ прошломъ году, которыя должны наиболѣе содѣйствовать къ распространенію основательныхъ знаній о предметѣ—въ настоящемъ случаѣ знаній историческихъ. Съ произведеніями этого рода, каковъ бы ни былъ ихъ внѣшній объемъ, знакомить публику, полагаемъ мы, никогда не поздно.

Г. Грановскій пишетъ и издаетъ мало. Не разъ дѣлали ему этотъ упрекъ пишущіе и печатающіе много. Всякій любить мѣрить на свой аршинъ. Кто однако не знаетъ, что литературное достоинство всего менѣе измѣряется многописаніемъ? Есть словоохотливые писатели, любящіе выносить передъ публику каждое свое личное ощущеніе; за недостаткомъ другого матеріала, они готовы, пожалуй, вести подробную лѣтопись того, что дѣлается у нихъ въ семьѣ, въ кабинетѣ; хочетъ или не хочетъ публика, они расскажутъ ей, что пишутъ или только намѣрены писать они, и что читаютъ и даже на какой страницѣ остановились въ чтеніи. За такими писателями не угоняешься; у нихъ всегда найдется, о чемъ поговорить съ „благоклоннымъ читателемъ“. Съ публикою у нихъ идетъ постоянный, непрерывающійся разговоръ; не случилось цѣлой статьи, онъ не забудетъ напомнить о себѣ гдѣ-нибудь, хоть подстрочнымъ замѣчаніемъ съ выразительнымъ знакомъ вопрошенія. Винить ли г. Грановскаго, что онъ понимаетъ дѣло писателя нѣсколько иначе, что литература никогда не была для него складочнымъ мѣстомъ личныхъ ощущеній, имѣющихъ цѣну развѣ лишь для самого пишущаго, что, изъ уваженія къ читающей публикѣ, онъ привыкъ дѣлать строгій выборъ между своими работами и не иначе являться на судъ ея, какъ съ зрѣлою и обдуманною мыслью? Нельзя конечно требовать, но какъ не пожелать, чтобъ и другіе поучились у него этой благоразумной разборчивости. Издатели потерпѣли бы убыль въ счетъ листовъ печатной бумаги, но литература—мы увѣрены—выиграла бы въ достоинствѣ и благородствѣ, освободясь отъ лишняго хлама, безъ нужды ее обременяющаго.

Г. Грановскій видитъ въ литературѣ не поденное ремесло, а благородное искусство. Немногіе еще въ наше время сохранили столько чувства изящной формы и чистоты вкуса. Рѣдко можно встрѣтить изложеніе болѣе строгое и воздержное на слова и вмѣстѣ болѣе выразительное по отношенію къ самому содержанію. Г. Грановскій не расточителенъ на слова,

емъ сочувствіи даже тому довольно распространенному (особенно со времени Герена) способу историческаго изложенія, по которому событія представляются обыкновенно въ двойственномъ видѣ: сначала въ общемъ и отвлеченномъ, а потомъ въ ихъ живой конкретности. Такое изложеніе мы считаемъ крайне невыгоднымъ для науки. потому что оно нарушаетъ ея цѣлостность, и несомнѣнно полезнымъ для учащихся, потому что юная мысль ихъ, не одолѣвая двойственности, остается при ней, такъ что въ ихъ представленіи раздвояется и самая исторія, и иное событіе рѣшительно принимается за два, одно отъ другого отличныя. Доказывать ли, что этотъ способъ находится въ разладѣ съ художественными требованіями? Но ему недостаетъ самого перваго условія искусства, — единства.

Впрочемъ, не распространяясь много объ этомъ частномъ вопросѣ, мы можемъ сослаться на самого автора рѣчи, особенно на изданныя имъ историческія «Характеристики»; изъ произведеній его видно всего менѣе, чтобъ художественная обработка стала дѣломъ совершенно постороннимъ для историка нашего времени.

Практическое свойство исторіи, приложеніе уроковъ ея къ жизни, что особенно живо было почувствовано и развито римлянами, по нашему мнѣнію, тоже не пропало втунѣ. Но послушаемъ сначала г. Грановскаго. Вотъ въ какихъ словахъ выражаетъ онъ свою мысль объ этомъ предметѣ во второй половинѣ рѣчи:

„Отказываясь отъ притязаній на то совершенство формы, которое у народовъ классическаго міра было слѣдствіемъ исключительныхъ, несуществующихъ болѣе условій, современный намъ историкъ не можетъ однако отказаться отъ законной потребности нравственнаго вліянія на своихъ читателей. Вопросъ о томъ, какого рода должно быть это вліяніе, тѣсно связанъ съ вопросомъ о пользѣ исторіи вообще. Отвѣтъ на послѣдній представляетъ большія трудности, потому что исторія не принадлежитъ ни къ числу чисто теоретическихъ знаній, имѣющихъ задачею привести въ ясность лежащія въ глубинѣ нашего духа истины, ни къ прикладнымъ, которыхъ польза не требуетъ доказательствъ. Очевидно, что практическое значеніе исторіи у древнихъ, основанное на возможности непосредственнаго примѣненія ея уроковъ къ жизни, не можетъ имѣть мѣста при сложномъ организмѣ новыхъ обществъ. Къ тому же однообразная игра страстей и заблужденій, искажающихъ судьбу народовъ, привела многихъ къ заключенію, что историческіе опыты проходятъ безплодно, не оставляя поучительнаго слѣда въ памяти человѣческой. Высказавъ эту мысль какъ безусловную истину, Гегель вызвалъ противъ нея много не-

Историческій обзоръ разныхъ воззрѣній на исторію авторъ начинаетъ весьма издалека:

„Вопросы о теоретическомъ значеніи исторіи, о приложеніи ея уроковъ къ жизни, о средствахъ, которыми она можетъ достигать своихъ дѣйствительныхъ или извнѣ ей поставленныхъ цѣлей, не новы. Они обращали на себя вниманіе великихъ умовъ древняго міра и составляютъ неистощимое содержаніе ученыхъ преній въ наше время... По кореннымъ условіямъ своей жизни, Востокъ не могъ принять участія въ рѣшеніи вопросовъ такого рода. Они никогда не входили въ сферу, въ которой сосредоточена дѣятельность восточной мысли. Азіатскимъ народамъ не чужда врожденная человѣку потребность знать свое прошлое, но ихъ любознательность находитъ легкое удовлетвореніе въ родословныхъ спискахъ, въ простыхъ перечняхъ событій и въ историческихъ пѣсняхъ. Содержаніе этихъ памятниковъ, представляя обильный, хотя болѣею частію однообразный матеріалъ стороннему изслѣдователю, не могло на той почвѣ, которой принадлежитъ по происхожденію, уясниться до науки или облечься въ формы художественныхъ произведеній. Лѣтопись и пѣсня могутъ конечно быть вѣрнымъ отраженіемъ народнаго быта, но онѣ не въ состояніи служить орудіями умственнаго образованія. Онѣ живо и любовно напоминаютъ народу прошлое, не приводя его къ ясному сознанію настоящаго. Требуя отъ исторіи разсказа, а не поученій, Востокъ довольствовался самыми бѣдными, хотя соответствующими его общественному развитію, формами историческаго преданія. Единственное исключеніе составляютъ священныя книги евреевъ“.

Затѣмъ, по естественному порядку, авторъ переходитъ къ древнему классическому міру, чтобъ опредѣлить въ главныхъ чертахъ господствовавшее въ немъ воззрѣніе на исторію. Немногія страницы, въ которыхъ онъ характеризуетъ самыя видныя направленія греческихъ и римскихъ историковъ, обнимаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и существенныя черты древняго историческаго искусства. Не теряя много словъ, авторъ прямо ставитъ читателя на ту точку зрѣнія, съ которой человѣкъ классическаго міра обсуживалъ историческія произведенія своего времени, и потомъ показываетъ особенности эллинскаго воззрѣнія отъ позднѣйшаго римскаго. Воспользуемся для того и другого словами самой рѣчи:

„Греки и римляне смотрѣли на исторію другими глазами, нежели мы. Для нихъ она была болѣе искусствомъ, чѣмъ наукою. Такое воззрѣніе естественнымъ образомъ вытекало изъ цѣлаго порядка вещей и основныхъ началъ античной образованности. Задача греческаго историка заключалась преимущественно въ возбужденіи въ читателяхъ нравственнаго чувства или эстетическаго наслажденія. Съ этою цѣлью соединялась нерѣдко другая, болѣе положительная. Политическіе опыты прошедшихъ поколѣній должны были служить примѣромъ и уро-

бомъ для будущихъ. „Я буду удовлетворенъ“ (говорить Фукидидъ), „если трудъ мой окажется полезнымъ тому, кто ищетъ достовѣрныхъ свѣдѣній о прошедшемъ, а равно и о томъ, что по ходу дѣлъ человѣческихъ можетъ повториться снова“. Это практическое направленіе выразилось еще съ большею силою въ произведеніяхъ римскихъ историковъ; но въ лучшія времена римской литературы оно всегда соединялось съ нравственно-эстетическими цѣлями. Тѣсная связь исторіи съ жизнью, черпавшей изъ нея многостороннее назиданіе, сообщала нашей наукѣ важность, которой она, при всѣхъ сдѣланныхъ ею съ тѣхъ поръ успѣхахъ, не имѣетъ въ настоящее время. Назвавъ ее наставницею жизни, Цицеронъ выразилъ господствовавшее у древнихъ воззрѣніе. Они вѣрили въ могущество примѣровъ. Изъ жизнь, далеко не такъ сложная, какъ жизнь новыхъ народовъ, нерѣдко повторяла одни и тѣ же явленія и такимъ образомъ открывала возможность прилагать къ дѣлу опыты минувшаго“.

На слѣдующей страницѣ авторъ продолжаетъ:

„При господствѣ такихъ направленій, произведенія древней исторіи не могли походить на ученыя сочиненія новаго времени, болѣе или менѣе носяція на себѣ печать кабинетной работы. Историки Греціи и Рима принадлежали преимущественно высшимъ сословіямъ общества и часто описывали такія событія, въ которыхъ были личныи участниками или свидѣтелями. Они старались сообщить разсказамъ своимъ какъ можно большую красоту и ясность, сдѣлать ихъ доступными для сколь можно большаго числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условіе значительнаго успѣха. Но подъ изяществомъ формы разумѣлась не одна красота изложенія, а художественное, на основаніи общихъ законовъ искусства совершенное построеніе матеріаловъ. Исторія, по словамъ Лукіана, родственница поэзіи, а историкъ долженъ походить на ваятеля, который не создаетъ ирамора или металла, но творчески сообщаетъ имъ прекрасный образъ. Въ теоретическихъ изслѣдованіяхъ о формахъ, свойственныхъ историческимъ сочиненіямъ, и объ отношеніи ихъ къ искусству вообще, высказался складъ ума обонхъ народовъ классической древности. Греки требовали преимущественно поэтической, римляне риторической стихіи. Последняя впрочемъ была неизбѣжна вслѣдствіе того значенія, какое краснорѣчіе имѣло въ античной государственной жизни“.

Это вѣрное пониманіе важнѣйшихъ условій древняго историческаго искусства и мѣстныхъ его различій, такъ ясно и раздѣльно выработанныхъ въ духѣ двухъ главныхъ народностей античнаго міра, едва ли нуждается въ подтвержденія съ нашей стороны. Оно взято изъ самыхъ историческихъ памятниковъ и согласно подтверждается всею совокупностью одно-временныхъ явленій. Одна изъ несомнѣнныхъ великихъ заслугъ античнаго человѣка состояла именно въ томъ, что онъ всюду за собою внесъ облагораживающій элементъ искусства — не

только въ сферу мысли. въ свою духовную дѣятельность, но и въ самую жизнь. Исторія впервые облеклась въ художественныя формы въ Греціи; до того времени существовалъ лишь голый историческій матеріалъ. Однажды коснувшись его своимъ живительнымъ дыханіемъ, искусство произвело тѣ неумирающіе памятники исторіи, которые, неизмѣнно переходя изъ одного поколѣнія въ другое, со всѣхъ собираютъ одну дань удивленія. Римъ постепенно развилъ у себя другое, болѣе практическое направленіе, котораго цѣлью было приложеніе уроковъ прошедшаго къ настоящему: связь между отдаленными частями одного цѣлаго яснѣ представлялась уму, исторія стала наставницею жизни; но потребность искусства, художественнаго изложенія, сохранила свою прежнюю силу и для римскихъ историковъ. Выработанное однажды историческимъ процессомъ, будетъ ли то идея, учрежденіе, или только форма, не пропадетъ и для позднѣйшаго потомства. Римское историческое искусство тоже оставило по себѣ много прекрасныхъ памятниковъ, составляющихъ для насъ предметъ изученія. Думать ли, что эта потребность отжила вмѣстѣ съ тѣмъ міромъ, который видѣлъ первое ея проявленіе, или она существуетъ въ той же самой силѣ и для нашего времени? Г. Грановскій, повидимому, не допускаетъ послѣдняго предположенія.

„Необозримая масса накопившихся въ теченіе тысячелѣтій источниковъ нашей науки „(говоритъ онъ)“ можетъ навести страхъ на самаго смѣлаго и предпримчиваго изслѣдователя. А между тѣмъ эта масса ежедневно увеличивается открытіемъ неизвѣстныхъ памятниковъ, или поступленіемъ въ ученый оборотъ такихъ, на которые до сихъ поръ не было обращено надлежащаго вниманія. У всѣхъ европейскихъ народовъ замѣтно однообразное стремленіе собрать въ одно цѣлое всѣ сохранившіяся свидѣтельства и преданія о своей старинѣ. Великіе труды французскихъ Бенедиктинцевъ и отдѣльныхъ ученыхъ XVII и XVIII вѣка блѣднѣютъ предъ однородными предпріятіями нашего времени. Просвѣщенное участіе правительствъ даетъ средства къ осуществленію начинаній, неисполнимыхъ силами частныхъ лицъ. Одновременно съ превосходными изданіями лѣтописей и государственныхъ актовъ европейскихъ державъ предпринимаются въ другія части свѣта ученныя экспедиціи, раскрывающія передъ нами тайны погибшихъ цивилизацій и народностей. Безчисленныя монографіи доводятъ до свѣдѣнія большинства читателей результаты новыхъ открытій и показываютъ ихъ отношенія къ предшествовавшему состоянію науки. Самый кругъ историческихъ источниковъ безпрестанно расширяется. Сверхъ словесныхъ и письменныхъ свидѣтельствъ всякаго рода, отъ народной пѣсни до государственной грамоты, онъ принимаетъ въ себя памятники искусства и вообще всѣ произведенія человѣческой дѣятельности, характеризующія данное время или народъ. Можно

безъ преувеличенія сказать, что нѣтъ науки, которая не входила бы своими результатами въ составъ всеобщей исторіи, имѣющей передать всѣ видоизмѣненія и вліянія, какимъ подвергалась земная жизнь человѣчества. Но изнемогая съ одной стороны подъ обременительнымъ богатствомъ матеріаловъ, которыхъ одолѣть вполнѣ не въ силахъ никакое трудолюбіе, историкъ часто поставленъ съ другой стороны въ необходимость замѣнять собственными предположеніями и догадками совершенное отсутствіе письменныхъ свидѣтельствъ. Ясно, что, при настоящемъ состояніи исторіи, она должна отказаться отъ притязаній на художественную оконченность формы, возможной только при строгой опредѣленности содержанія, и стремиться къ другой цѣли, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій своихъ подъ одно единство науки“.

Въ самомъ дѣлѣ, никогда еще горизонтъ исторіи (или та сфера, къ которой обращается мысль современнаго историка) не былъ такъ широкъ, какъ въ настоящее время. Какая великая разница въ этомъ отношеніи между человѣкомъ древняго міра, для котораго почти вся исторія совмѣщалась въ событіяхъ его стечества, иногда только роднаго города—и нашими современниками, для любознательности которыхъ открыты историческія могилы всѣхъ вѣковъ на обоихъ полушаріяхъ! Наука нашего времени задала себѣ неизмѣримую задачу, не только усвоить себѣ всѣ сказанія, дошедшія до насъ отъ глухой, отдаленной древности, но и повѣрить ихъ вновь собственными наблюденіями и дополнить или объяснить на основаніи позже открытыхъ памятниковъ. Требованія ея возрастаютъ по мѣрѣ открытій, которыя безостановочно продолжаются въ одно и то же время въ разныхъ концахъ историческаго міра. Съ другой стороны, сфера ея безпрестанно расширяется тѣми новыми вкладами, которые каждый годъ доставляются ей изъ неистощимыхъ архивныхъ запасовъ. Историческая мысль ищетъ обнять прошедшую жизнь человѣчества со всѣхъ сторонъ, прослѣдить ее во всѣхъ направленіяхъ; ей нужно знать всѣ элементы, изъ которыхъ сложилась историческая жизнь того или другого народа — его міеологію, его искусство, литературу, весь бытъ. Задача, и безъ того трудная, становится еще многосложнѣе. Мы совершенно согласны съ авторомъ рѣчи, что для исторіи выросла новая великая потребность—привести свои разнородныя стихіи подъ одно единство науки; мы также думаемъ, что изслѣдованіе, постоянное, неутомимое и многостороннее изслѣдованіе, сдѣлалось въ наше время однимъ изъ самыхъ существенныхъ и необходимыхъ элементовъ исторіи, что она должна посвящать ему бѣльшую часть своихъ усилій.

тельно. Такого творения нѣтъ, да едва ли и можетъ существовать подобная задача. Реформація есть событіе такое многосложное и многостороннее, что не можетъ быть обнято однимъ разомъ, однимъ усиліемъ человѣческой мысли. Нужны соединенныя усилія нѣсколькихъ изслѣдователей, которые бы взяли на себя трудъ обозрѣть событіе въ различныхъ отношеніяхъ и освѣтить его съ различныхъ сторонъ: тогда, хотя и не въ одномъ твореніи, а въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ и даже одно отъ другого независимыхъ сочиненіяхъ, но вѣрно отразилось бы событіе во всей его полнотѣ и разнообразіи—и мы смѣемъ думать, что это уже не предположеніе, но мысль болѣе нежели въ половину осуществившаяся въ исторической литературѣ нашего времени. Такъ желающій узнать реформацію преимущественно съ политической стороны, найдетъ превосходное изображеніе ея съ этой точки зрѣнія въ сочиненіяхъ Ранке; впрочемъ, если бы требованіе осталось и въ томъ видѣ, въ какомъ находимъ его во второй половинѣ вопроса, предложеннаго авторомъ мемуара, т. е. изобразить реформацію «болѣе или менѣе прагматически», мы опять смѣло указали бы на того же писателя, и не видимъ ни малѣйшей причины, почему бы требованіе могло казаться неудовлетвореннымъ; сверхъ того, желающій узнать реформацію какъ проявленіе извѣстной идеи, которая совершила свой кругъ развитія, выразившагося наиболѣе въ литературѣ того времени, пусть возьметъ руководителемъ Гагена и прѣидетъ вмѣстѣ съ нимъ всѣ «религіозныя и литературныя отношенія» эпохи; для тѣхъ, которые желали бы еще прослѣдить ходъ самой догмы протестантской и составить себѣ понятіе о религіозныхъ учрежденіяхъ, возникшихъ на основаніи реформы, есть Планкъ, Маргейнеке и друг. Наконецъ существуетъ цѣлый рядъ весьма удовлетворительныхъ монографій, которыя во всей подробности и также на основаніи строгаго изслѣдованія излагаютъ различные отдѣльные эпизоды великой эпохи реформации, какъ-то: предпріятіе Сиккингена, крестьянская война, движеніе анабаптистовъ, и т. п.; за тѣмъ слѣдуетъ еще другой рядъ — столько же полныхъ, сколько и отчетливыхъ біографій замѣчательнѣйшихъ дѣятелей эпохи, какъ-то: Лютера, Ульриха Гуттена, Эразма Роттердамскаго, Фридриха Мудраго, Морица Саксонскаго, и пр. Огромная переписка Карла V также принадлежитъ наукѣ и можетъ послужить ключемъ къ объясненію многихъ загадочныхъ свойствъ этой въ высокой степени замѣчательной исторической личности и одного изъ интереснѣйшихъ психологическихъ яв-

лений. Однимъ словомъ, стоитъ только подойти къ наукѣ ближе—и тогда окажется само собою, что намъ нѣтъ ни малѣйшей нужды возвращаться къ темнымъ задачамъ ея, иначе, къ нѣкоторымъ рабавнымъ, или, скорѣе, жалкимъ извлеченіямъ въ родѣ вольтеровыхъ и юмовыхъ, и ими измѣрять степень ея достоинства: наука ушла отъ нихъ такъ далеко впередъ, что эти забытые всѣми неденоски исторіи не могутъ бросать на нее даже легкую тѣнь. Пожалѣть ли, что всѣ прочныя пріобрѣтенія науки по какому-нибудь одному ея отдѣлу, напри- мѣръ, по исторіи реформаціи, не соединены въ одномъ сочи- неніи, въ одной книгѣ? Но это значило бы пожалѣть о томъ, что до сихъ поръ ни одна компиляція не заключала въ себѣ всего богатства самостоятельныхъ историческихъ произведеній...

Въ академическомъ преподаваніи ведется обычай—передъ началомъ каждаго отдѣла исторіи не только называть глав- ные источники, изъ которыхъ почерпаются важнѣйшія извѣ- стія о немъ, но и приводить замѣчательнѣйшія монографіи, писанныя по этому предмету. Обычай очень разумный: въ основаніи его лежитъ вѣрная мысль, что наука есть плодъ соединенныхъ усилій всѣхъ ея дѣлателей, что постоянно выра- батываясь посредствомъ изслѣдованія, она не существуетъ внѣ его и не можетъ быть заключена ни въ одной книгѣ, ни въ одномъ курсѣ, и что вводя въ науку основательнымъ образомъ, преподаватель необходимо долженъ при всякомъ удобномъ случаѣ знакомить своихъ слушателей съ ея литера- турою. Подъ литературою же разумѣемъ здѣсь не два-три избранныя сочиненія, но весь письменный запасъ историче- скихъ изслѣдованій, которыя, по общему признанію знатоковъ, обогатили науку по тому или другому ея отдѣлу новыми вы- водами, и хоть съ одной стороны способствовали къ уразу- мѣнію истиннаго хода историческихъ событій. При обычаѣ этого рода, развѣ только излишнее пристрастіе заставило бы преподавателя ограничиться однимъ писателемъ, говоря о та- комъ важномъ отдѣлѣ исторіи, какъ реформація, или онъ об- личилъ бы подобною неумѣстною исключительностью недоста- точное знаніе литературы предмета и слишкомъ одностороннее пониманіе самой науки.

Менѣе охотно послѣдуемъ мы за авторомъ мемуара на другое историческое поле, куда онъ вызываетъ насъ рѣшить подобныя же сомнѣнія относительно доводности новѣйшей исторіи. Не потому медлимъ мы слѣдовать за нимъ, чтобъ успѣхъ состязанія на этомъ новомъ полѣ считали болѣе со-

мнительнымъ, но потому, что избранное поле вовсе не годится для состязанія. Огромный переворотъ прошедшаго столѣтія, о которомъ идетъ рѣчь на послѣднихъ страницахъ мемуара, такъ новъ, такъ близокъ къ намъ и по времени и по тѣмъ горячимъ слѣдамъ, которые еще остаются отъ него, что исторія не можетъ еще считать его вполне прибрѣтеннымъ себѣ.

Сколько могли, мы старались отвѣчать только на главный и самый видный вопросъ; остающіяся же сомнѣнія предоставляемъ рѣшить болѣе опытнымъ.

О современных задачахъ исторіи*.

О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи. Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Императорскаго Московскаго Университета орд. проф. всеобщей исторіи, Т. Грановскимъ. Москва. 1852.

О физиологическихъ признакахъ человѣческихъ породъ и ихъ отношеніи къ исторіи. Письмо Эдвардса къ А. Тьерри, переведенное и дополненное Т. Грановскимъ («Магазинъ землѣдѣнія и путешествій», изд. Н. Фроловымъ). Москва. 1852.

Среди множества писаній, изготовляемыхъ къ срокамъ и едва переживающихъ время своего появленія, особенно пріятно встрѣтиться съ произведеніемъ зрѣлой, обдуманной мысли. Не часто достается такое удовольствіе, за то цѣнится оно тѣмъ болѣе. Оно не только питаетъ мысль, но и призываетъ ее къ новой дѣятельности. Сумма умственнаго удовольствія значительно возрастаетъ, когда, повѣривъ свои понятія чужою опытною мыслью, возбуждаешься ею къ дальнѣйшимъ соображеніямъ и выводамъ. Слово, одаренное этою возбуждительною силою, безъ сомнѣнія, не праздно; даже разноглася въ томъ или другомъ частномъ пунктѣ съ писателемъ, все же остаешься благодаренъ ему какъ за обильный матеріалъ для мысли, такъ и за благотѣльное вліяніе на усиленную ея дѣятельность. Намъ конечно не поставятъ въ упрекъ, что мы только теперь говоримъ о двухъ литературныхъ произведеніяхъ, изъ которыхъ одно появилось въ самомъ началѣ прошлаго года, а другое—въ половинѣ его. Именно потому мы и считаемъ себя въ правѣ сдѣлать такое отступленіе отъ обыкновеннаго порядка, что совершенно убѣждены въ неэфемерномъ значеніи двухъ сочиненій, которыя изданы подъ этими заглавіями. Рѣчь г. Грановскаго, вмѣстѣ съ переведенною и дополненною

* Напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1853 г.

имъ статью А. Тьерри, есть, по нашему твердому убѣжденію, одно изъ тѣхъ важныхъ и прочныхъ пріобрѣтеній нашей литературы въ прошломъ году, которыя должны наиболѣе содѣйствовать къ распространенію основательныхъ знаній о предметѣ—въ настоящемъ случаѣ знаній историческихъ. Съ произведеніями этого рода, каковъ бы ни былъ ихъ внѣшній объемъ, знакомить публику, полагаемъ мы, никогда не поздно.

Г. Грановскій пишетъ и издаетъ мало. Не разъ дѣлали ему этотъ упрекъ пишущіе и печатающіе много. Всякій любитъ мѣрить на свой аршинъ. Кто однако не знаетъ, что литературное достоинство всего менѣе измѣряется многописаніемъ? Есть словоохотливые писатели, любящіе выносить передъ публику каждое свое личное ощущеніе; за недостаткомъ другого матеріала, они готовы, пожалуй, вести подробную лѣтопись того, что дѣлается у нихъ въ семьѣ, въ кабинетѣ; хочетъ или не хочетъ публика, они расскажутъ ей, что пишутъ или только намѣрены писать они, и что читаютъ и даже на какой страницѣ остановились въ чтеніи. За такими писателями не угоняешься; у нихъ всегда найдется, о чемъ поговорить съ „благоклоннымъ читателемъ“. Съ публикою у нихъ идетъ постоянный, непрерывающійся разговоръ; не случилось цѣлой статьи, онъ не забудетъ напомнить о себѣ гдѣ-нибудь, хоть подстрочнымъ замѣчаніемъ съ выразительнымъ знакомъ вопрошенія. Винить ли г. Грановскаго, что онъ понимаетъ дѣло писателя нѣсколько иначе, что литература никогда не была для него складочнымъ мѣстомъ личныхъ ощущеній, имѣющихъ цѣну развѣ лишь для самого пишущаго, что, изъ уваженія къ читающей публикѣ, онъ привыкъ дѣлать строгій выборъ между своими работами и не иначе являться на судъ ея, какъ съ зрѣлою и обдуманною мыслью? Нельзя конечно требовать, но какъ не пожелать, чтобъ и другіе поучились у него этой благоразумной разборчивости. Издатели потерпѣли бы убыль въ счетъ листовъ печатной бумаги, но литература—мы увѣрены—выиграла бы въ достоинствѣ и благородствѣ, освободясь отъ лишняго хлама, безъ нужды ее обременяющаго.

Г. Грановскій видитъ въ литературѣ не поденное ремесло, а благородное искусство. Немногіе еще въ наше время сохранили столько чувства изящной формы и чистоты вкуса. Рѣдко можно встрѣтить изложеніе болѣе строгое и воздержное на слова и вмѣстѣ болѣе выразительное по отношенію къ самому содержанію. Г. Грановскій не расточителенъ на слова,

потому что знаетъ имъ цѣну и умѣетъ усилить вѣсъ ихъ своимъ употребленіемъ. Сжатая рѣчь его проста, стройна и въ то же время оригинальна. Такъ пріятно отдохнуть на ней послѣ широковѣщательныхъ разглагольствій, которыми наводняютъ литературу многочисленные дилеттанты, усиливающіеся, во что бы то ни стало, выбиться изъ толпы. Не щеголая фразою, не наряжаясь въ нее, г. Грановскій всегда умѣетъ сообщить ей особенный колоритъ и движеніе. Самое построение фразы отличается у него своими особенностями. Въ рѣчи его не замѣчается недостатка словъ, и нѣтъ ни малѣйшей распушенности. Разныя объяснительныя и дополнительныя реченія, свойственныя языку, такъ искусно подбираются у него въ средину рѣчи, что фраза представляется совершенно замкнутою, нисколько не теряя впрочемъ своей полноты и опредѣленности. Тѣ, которые не по слуху только знакомы съ произведеніями г. Грановскаго, конечно не разъ замѣчали эту яркую особенность въ его способѣ изложенія. Не рѣшая, въ какой мѣрѣ согласуется она съ неизмѣнными законами языка, мы однако не можемъ не отличить ее какъ весьма характеристичную черту въ слогѣ писателя. Благородство и изящество формы, оригинальная манера, слогъ—все это вещи очень рѣдкія въ наше время; не цѣнить ихъ нельзя, когда неряшество, дряблость и распушенность языка стали до такой степени обыкновенными явленіями въ литературѣ, что на нихъ больше не обращаютъ вниманія.

Впрочемъ мы только мимоходомъ коснулись этой стороны сочиненій г. Грановскаго, чтобъ, между прочимъ, въ самыхъ условіяхъ внѣшней ихъ формы указать читателю на одну изъ весьма уважительныхъ причинъ, почему литературная производительность автора не простирается далѣе извѣстныхъ предѣловъ. Кто не имѣетъ цинической привычки являться передъ публикою въ чемъ попало, даже въ спальномъ костюмѣ, кто постоянно думаетъ объ отдѣлкѣ своихъ произведеній, тотъ никогда не будетъ принадлежать къ числу литературныхъ борзописцевъ. Но въ настоящемъ случаѣ насъ особенно привлекаетъ самое содержаніе тѣхъ статей, которыя въ продолженіе прошлаго года вышли въ свѣтъ съ именемъ г. Грановскаго. Желаніе обмѣняться съ авторомъ нѣкоторыми мыслями и сообщить читателямъ главныя его положенія относительно современнаго состоянія историческихъ знаній побуждаетъ насъ остановиться на самыхъ важныхъ пунктахъ его рѣчи съ нѣкоторою подробностью.

Историческій обзоръ разныхъ воззрѣній на исторію авторъ начинаетъ весьма издалека:

„Вопросы о теоретическомъ значеніи исторіи, о приложеніи ея уроковъ къ жизни, о средствахъ, которыми она можетъ достигать своихъ дѣйствительныхъ или извнѣ ей поставленныхъ цѣлей, не новы. Они обращали на себя вниманіе великихъ умовъ древняго міра и составляютъ неистощимое содержаніе ученыхъ преній въ наше время... По кореннымъ условіямъ своей жизни, Востокъ не могъ принять участія въ рѣшеніи вопросовъ такого рода. Они никогда не входили въ сферу, въ которой сосредоточена дѣятельность восточной мысли. Азіатскимъ народамъ не чужда врожденная человѣку потребность знать свое прошлое, но ихъ любознательность находитъ легкое удовлетвореніе въ родословныхъ спискахъ, въ простыхъ перечняхъ событій и въ историческихъ пѣсняхъ. Содержаніе этихъ памятниковъ, представляя обильный, хотя большею частію однообразный матеріалъ стороннему изслѣдователю, не могло на той почвѣ, которой принадлежитъ по происхожденію, уясниться до науки или облечься въ формы художественныхъ произведеній. Лѣтопись и пѣсня могутъ конечно быть вѣрнымъ отраженіемъ народнаго быта, но онѣ не въ состояніи служить орудіями умственнаго образованія. Онѣ живо и любовно напоминаютъ народу прошлое, не приводя его къ ясному сознанію настоящаго. Требуя отъ исторіи разсказа, а не поученій, Востокъ довольствовался самыми бѣдными, хотя соотвѣтствующими его общественному развитію, формами историческаго преданія. Единственное исключеніе составляютъ священныя книги евреевъ“.

Затѣмъ, по естественному порядку, авторъ переходитъ къ древнему классическому міру, чтобъ опредѣлить въ главныхъ чертахъ господствовавшее въ немъ воззрѣніе на исторію. Немногія страницы, въ которыхъ онъ характеризуетъ самыя видныя направленія греческихъ и римскихъ историковъ, обнимаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и существенныя черты древняго историческаго искусства. Не теряя много словъ, авторъ прямо ставитъ читателя на ту точку зрѣнія, съ которой человѣкъ классическаго міра обсуживалъ историческія произведенія своего времени, и потомъ показываетъ особенности эллинскаго воззрѣнія отъ позднѣйшаго римскаго. Воспользуемся для того и другого словами самой рѣчи:

„Греки и римляне смотрѣли на исторію другими глазами, нежели мы. Для нихъ она была болѣе искусствомъ, чѣмъ наукою. Такое воззрѣніе естественнымъ образомъ вытекало изъ цѣлаго порядка вещей и основныхъ началъ античной образованности. Задача греческаго историка заключалась преимущественно въ возбужденіи въ читателяхъ нравственнаго чувства или эстетическаго наслажденія. Съ этою цѣлью соединялась нерѣдко другая, болѣе положительная. Политическіе опыты прошедшихъ поколѣній должны были служить примѣромъ и уро-

комъ для будущихъ. „Я буду удовлетворенъ“ (говоритъ Фукидидъ), „если трудъ мой окажется полезнымъ тому, кто ищетъ достовѣрныхъ свѣдѣній о прошедшемъ, а равно и о томъ, что по ходу дѣлъ человѣческихъ можетъ повториться снова“. Это практическое направленіе выразилось еще съ большею силою въ произведеніяхъ римскихъ историковъ; но въ лучшія времена римской литературы оно всегда соединялось съ нравственно-эстетическими цѣлями. Тѣсная связь исторіи съ жизнію, черпавшей изъ нея многостороннее назиданіе, сообщала нашей наукѣ важность, которой она, при всѣхъ сдѣланныхъ ею съ тѣхъ поръ успѣхахъ, не имѣетъ въ настоящее время. Назвавъ ее наставницею жизни, Цицеронъ выразилъ господствовавшее у древнихъ воззрѣніе. Они вѣрили въ могущество примѣровъ. Изъ жизнь, далеко не такъ сложная, какъ жизнь новыхъ народовъ, нерѣдко повторяла одни и тѣ же явленія и такимъ образомъ открывала возможность прилагать къ дѣлу опыта минувшаго“.

На слѣдующей страницѣ авторъ продолжаетъ:

„При господствѣ такихъ направленій, произведенія древней исторіи не могли походить на ученныя сочиненія новаго времени, болѣе или менѣе носяція на себѣ печать кабинетной работы. Историки Греціи и Рима принадлежали преимущественно высшимъ сословіямъ общества и часто описывали такія событія, въ которыхъ были личными участниками или свидѣтелями. Они старались сообщить разсказамъ своимъ какъ можно большую красоту и ясность, сдѣлать ихъ доступными для сколь можно большаго числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условіе значительнаго успѣха. Но подъ изяществомъ формы разумѣлась не одна красота изложенія, а художественное, на основаніи общихъ законовъ искусства совершенное построеніе матеріаловъ. Исторія, по словамъ Лукіана, родственница поэзіи, а историкъ долженъ походить на ваятеля, который не создаетъ мрамора или металла, но творчески сообщаетъ имъ прекрасный образъ. Въ теоретическихъ изслѣдованіяхъ о формахъ, свойственныхъ историческимъ сочиненіямъ, и объ отношеніи ихъ къ искусству вообще, высказался складъ ума обоихъ народовъ классической древности. Греки требовали преимущественно поэтической, римляне риторической стихіи. Послѣдняя впрочемъ была неизбѣжна вслѣдствіе того значенія, какое краснорѣчіе имѣло въ античной государственной жизни“.

Это вѣрное пониманіе важнѣйшихъ условій древняго историческаго искусства и мѣстныхъ его различій, такъ ясно и раздѣльно выработанныхъ въ духѣ двухъ главныхъ народностей античнаго міра, едва ли нуждается въ подтвержденіи съ нашей стороны. Оно взято изъ самыхъ историческихъ памятниковъ и согласно подтверждается всею совокупностью одно-временныхъ явленій. Одна изъ несомнѣнныхъ великихъ заслугъ античнаго человѣка состояла именно въ томъ, что онъ всюду за собою внесъ облагораживающій элементъ искусства — не

только въ сферу мысли, въ свою духовную дѣятельность, но и въ самую жизнь. Исторія впервые облеклась въ художественныя формы въ Греціи; до того времени существовалъ лишь голый историческій матеріалъ. Однажды коснувшись его своимъ живительнымъ дыханіемъ, искусство произвело тѣ неумирающіе памятники исторіи, которые, неизмѣнно переходя изъ одного поколѣнія въ другое, со всѣхъ собираютъ одну дань удивленія. Римъ постепенно развилъ у себя другое, болѣе практическое направленіе, котораго цѣлью было приложеніе уроковъ прошедшаго къ настоящему: связь между отдаленными частями одного цѣлаго яснѣ представлялась уму, исторія стала наставницею жизни; но потребность искусства, художественнаго изложенія, сохранила свою прежнюю силу и для римскихъ историковъ. Выработанное однажды историческимъ процессомъ, будетъ ли то идея, учрежденіе, или только форма, не пропадетъ и для позднѣйшаго потомства. Римское историческое искусство тоже оставило по себѣ много прекрасныхъ памятниковъ, составляющихъ для насъ предметъ изученія. Думать ли, что эта потребность отжила вмѣстѣ съ тѣмъ міромъ, который видѣлъ первое ея проявленіе, или она существуетъ въ той же самой силѣ и для нашего времени? Г. Грановскій, повидимому, не допускаетъ послѣдняго предположенія.

„Необозримая масса накопившихся въ теченіе тысячелѣтій источниковъ нашей науки „(говоритъ онъ)“ можетъ навести страхъ на самаго смѣлаго и предприимчиваго изслѣдователя. А между тѣмъ эта масса ежедневно увеличивается открытіемъ неизвѣстныхъ памятниковъ, или поступленіемъ въ ученый оборотъ такихъ, на которые до сихъ поръ не было обращено надлежащаго вниманія. У всѣхъ европейскихъ народовъ замѣтно однообразное стремленіе собрать въ одно цѣлое всѣ сохранившіяся свидѣтельства и преданія о своей старинѣ. Великіе труды французскихъ Бенедиктинцевъ и отдѣльных ученыхъ XVII и XVIII вѣка блѣднѣютъ предъ однородными предпріятіями нашего времени. Просвѣщенное участіе правительствъ даетъ средства къ осуществленію начинаній, неисполнимыхъ силами частныхъ лицъ. Одновременно съ превосходными изданіями лѣтописей и государственныхъ актовъ европейскихъ державъ предпринимаются въ другія части свѣта ученныя экспедиціи, раскрывающія передъ нами тайны погибшихъ цивилизацій и народностей. Безчисленныя монографіи доводятъ до свѣдѣнія большинства читателей результаты новыхъ открытій и показываютъ ихъ отношенія къ предшествовавшему состоянію науки. Самый кругъ историческихъ источниковъ безпрестанно расширяется. Сверхъ словесныхъ и письменныхъ свидѣтельствъ всякаго рода, отъ народной пѣсни до государственной грамоты, онъ принимаетъ въ себя памятники искусства и вообще всѣ произведенія человѣческой дѣятельности, характеризующія данное время или народъ. Можно

безъ преувеличенія сказать, что нѣтъ науки, которая не входила бы своими результатами въ составъ всеобщей исторіи, имѣющей передать всѣ видоизмѣненія и вліянія, какимъ подвергалась земная жизнь человѣчества. Но изнемогая съ одной стороны подъ обременительнымъ богатствомъ матеріаловъ, которыхъ одолѣть вполнѣ не въ силахъ никакое трудолюбіе, историкъ часто поставленъ съ другой стороны въ необходимость замѣнять собственными предположеніями и догадками совершенное отсутствіе письменныхъ свидѣтельствъ. Ясно, что, при настоящемъ состояніи исторіи, она должна отказаться отъ притязаній на художественную оконченность, формы, возможной только при строгой опредѣленности содержанія, и стремиться къ другой цѣли, т. е. къ приведенію разнородныхъ стихій своихъ подъ одно единство науки“.

Въ самомъ дѣлѣ, никогда еще горизонтъ исторіи (или та сфера, къ которой обращается мысль современнаго историка) не былъ такъ широкъ, какъ въ настоящее время. Какая великая разница въ этомъ отношеніи между человѣкомъ древняго міра, для котораго почти вся исторія совмѣщалась въ событіяхъ его стечества, иногда только роднаго города—и нашими современниками, для любознательности которыхъ открыты историческія могилы всѣхъ вѣковъ на обоихъ полушаріяхъ! Наука нашего времени задала себѣ неизмѣримую задачу, не только усвоить себѣ всѣ сказанія, дошедшія до насъ отъ глухой, отдаленной древности, но и повѣрить ихъ вновь собственными наблюденіями и дополнить или объяснить на основаніи позже открытыхъ памятниковъ. Требованія ея возрастаютъ по мѣрѣ открытій, которыя безостановочно продолжаются въ одно и то же время въ разныхъ концахъ историческаго міра. Съ другой стороны, сфера ея безпрестанно расширяется тѣми новыми вкладами, которые каждый годъ доставляются ей изъ неистощимыхъ архивныхъ запасовъ. Историческая мысль ищетъ обнять прошедшую жизнь человѣчества со всѣхъ сторонъ, прослѣдить ее во всѣхъ направленіяхъ; ей нужно знать всѣ элементы, изъ которыхъ сложилась историческая жизнь того или другого народа — его міеологію, его искусство, литературу, весь бытъ. Задача, и безъ того трудная, становится еще многосложнѣе. Мы совершенно согласны съ авторомъ рѣчи, что для исторіи выросла новая великая потребность—привести свои разнородныя стихіи подъ одно единство науки; мы также думаемъ, что изслѣдованіе, постоянное, неутомимое и многостороннее изслѣдованіе, сдѣлалось въ наше время однимъ изъ самыхъ существенныхъ и необходимыхъ элементовъ исторіи, что она должна посвящать ему бѣльшую часть своихъ усилій.

Но неужели правда, что она должна отказаться отъ всѣхъ притязаній на художественную оконченность формы? неужели правда, что элементъ искусства для нея болѣе не существуетъ? Позволимъ себѣ усомниться въ этомъ. Чтѣ однажды открыто гениемъ человѣчества, то не стирается вѣками. Требованія науки могли увеличиться вслѣдствіе расширенія ея области, но едва ли утратили для насъ свою силу прежнія. Идеаль художественнаго исполненія отдалился на значительное разстояніе, осуществленіе его стало въ нѣсколько кратъ труднѣе; но кто станетъ утверждать, что онъ вовсе не существуетъ для историка нашего времени? Во что превратились бы историческія сочиненія, которыми такъ справедливо гордится нашъ вѣкъ, если бъ отъ нихъ хотѣли только положительныхъ результатовъ науки, оставляя въ сторонѣ требованія искусства? Исторія не обязана въ каждомъ своемъ произведеніи непременно обнимать все обиліе явленій, подлежащихъ ея вѣдѣнію; и въ наше время ничто не мѣшаетъ историческому дѣлателью заняться предпочтительно разработкою той или другой части своего предмета (какъ это и бываетъ большею частью); а въ такомъ случаѣ въ правѣ ли онъ уклониться отъ художественныхъ требованій касательно выполненія? Степени могутъ быть различны, но общее требованіе остается неизмѣнно.

Возьмемъ нѣсколько примѣровъ. Положимъ, что кто-нибудь изъ нашихъ современниковъ, литераторовъ или ученыхъ, взявъ лѣтописи, сталъ бы выписывать изъ нихъ одно мѣсто за другимъ, сводить ихъ къ однѣмъ рубрикамъ и потомъ выводить изъ нихъ общіе итоги. Неужели такое механическое упражненіе заслужило бы въ наше время названіе исторіи? Или предположимъ, что темою историческаго сочиненія избрана жизнь и дѣятельность какого-нибудь замѣчательнаго историческаго лица, и что авторъ, собравъ весь необходимый матеріалъ, разбиваетъ его на нѣсколько частей и разсматриваетъ одного и того же дѣятеля сначала какъ семьянина, потомъ какъ гражданина, какъ оратора или воина, наконецъ какъ государственнаго чловѣка, и притомъ такъ, что если послѣдняя его дѣятельность распадается еще на двѣ или на три стороны, то каждую сторону ставитъ онъ въ отдѣльности отъ другой, подъ особымъ параграфомъ. Неужели кто подобную анатомію живой чловѣческой дѣятельности принялъ бы за историческое изображеніе и нашелъ бы въ ней полное удовлетвореніе. Мы съ своей стороны должны отказать въ сво-

емъ сочувствіи даже тому довольно распространенному (особенно со времени Герена) способу историческаго изложенія, по которому событія представляются обыкновенно въ двойственномъ видѣ: сначала въ общемъ и отвлеченномъ, а потомъ въ ихъ живой конкретности. Такое изложеніе мы считаемъ крайне невыгоднымъ для науки. потому что оно нарушаетъ ея цѣлостность, и несомнѣнъ полезнымъ для учащихся, потому что юная мысль ихъ, не одолѣвая двойственности, остается при ней, такъ что въ ихъ представленіи раздвояется и самая исторія, и иное событіе рѣшительно принимается за два, одно отъ другого отличныя. Доказывать ли, что этотъ способъ находится въ разладѣ съ художественными требованиями? Но ему недостаетъ самого перваго условія искусства, — единства.

Впрочемъ, не распространяясь много объ этомъ частномъ вопросѣ, мы можемъ сослаться на самого автора рѣчи, особенно на изданныя имъ историческія «Характеристики»; изъ произведеній его видно всего менѣе, чтобъ художественная обработка стала дѣломъ совершенно постороннимъ для историка нашего времени.

Практическое свойство исторіи, приложеніе уроковъ ея къ жизни, что особенно живо было почувствовано и развито римлянами, по нашему мнѣнію, тоже не пропало втунѣ. Но послушаемъ сначала г. Грановскаго. Вотъ въ какихъ словахъ выражаетъ онъ свою мысль объ этомъ предметѣ во второй половинѣ рѣчи:

„Отказываясь отъ притязаній на то совершенство формы, которое у народовъ классическаго міра было слѣдствіемъ исключительныхъ, несуществующихъ болѣе условий, современный намъ историкъ не можетъ однако отказаться отъ законной потребности нравственнаго вліянія на своихъ читателей. Вопросъ о томъ, какого рода должно быть это вліяніе, тѣсно связанъ съ вопросомъ о пользѣ исторіи вообще. Отвѣтъ на послѣдній представляетъ большія трудности, потому что исторія не принадлежитъ ни къ числу чисто теоретическихъ знаній, имѣющихъ задачею привести въ ясность лежащія въ глубинѣ нашего духа истины, ни къ прикладнымъ, которыхъ польза не требуетъ доказательствъ. Очевидно, что практическое значеніе исторіи у древнихъ, основанное на возможности непосредственнаго примѣненія ея уроковъ къ жизни, не можетъ имѣть мѣста при сложномъ организмѣ новыхъ обществъ. Къ тому же однообразная игра страстей и заблужденій, искажающихъ судьбу народовъ, привела многихъ къ заключенію, что историческіе опыты проходятъ безплодно, не оставляя поучительнаго слѣда въ памяти человѣческой. Высказавъ эту мысль какъ безусловную истину, Гегель вызвалъ противъ нея много нели-

начальныхъ, а также и недавній рабъ ея, подчиненъ ему счастливо.

женію. Но въ сущности, это мнѣніе о степени вліянія природы на народный характеръ въ особенно-стослѣдуетъ лучше всего можетъ показать, взоръ на истинный предметъ вообще.

Стоитъ только взглянуть на характеръ отъ окружающей природы“ обмѣняется почти всѣми историками, фило-м. и поэтами. Я впрочемъ позволяю себѣ ошибаться, и утверждаю, что заключеніе о вліяніи природы на характеръ, которая едва ли была бы до-области естествознанія, гдѣ принято упо-методъ для выводовъ. Я вовсе не хочу этимъ сказать, что вліяніе климата, почвы и другихъ при-родныхъ факторовъ на характеръ; напротивъ, оно для меня не менѣе важно тамъ, гдѣ силы природы берутъ рѣши-тельные человѣческими средствами, которыя по необ-ходимости вступаютъ въ неравную борьбу, какъ напримѣръ въ африканской степи; но я имѣю важ-нѣе сказать, что вообще это вліяніе незначительно.“—Съ одной стороны Канала (на югъ и на сѣверъ отъ него) лежатъ два совершенно различныхъ народа, но оба въ равной мѣрѣ гуманны и вѣтры дуютъ съ равною силою; но оба въ равной мѣрѣ подвержены тѣмъ же природнымъ условіямъ, тѣ же незначительныя возвышенія, та же растительность; и однако двѣ совершенно различныхъ стороны Канала служатъ раздѣлительною чертою, какъ и различіе между собою, и народонаселеніе сѣвернаго Канала не менѣе англійское, какъ и то, которое живетъ во французской страны; съ своей стороны обитатель южнаго берега есть французъ, сколько и прочіе его соотечественники. Почти такъ же сильна противоположность между французскимъ и нѣмецкимъ характеромъ, несмотря на то, что ближайшія страны Франціи, какъ на западъ, такъ и на востокъ отъ нея, предста-вляютъ тѣ же природныя условія: сѣвернѣе, по обѣимъ сторонамъ лежатъ равнины южнѣе, поднимаются горы средней высоты съ плодо-выми полями и виноградниками. Швейцарія на высотахъ своихъ горъ и въ глубинѣ своихъ долинъ питаетъ три совершенно различныхъ народности. Правда, что племенные различія очень часто совпадаютъ съ раздѣломъ самыхъ водъ, но нельзя сказать, чтобъ тому же составляли раздѣленія горъ и долинъ по ихъ естественнымъ свойствамъ; случается даже, какъ напримѣръ въ Валлисѣ, что въ одной долинѣ живутъ два различныхъ племени.“ и т. д.

„Если бы природныя условія“ (продолжаетъ тотъ же авторъ) „ока-зывали сильное вліяніе, одинъ и тотъ же народъ не могъ бы жить подъ различными климатическими отношеніями, не потерпѣвъ значи-тельного измѣненія въ своемъ характерѣ. Но и этого не видимъ въ действительности. Итальянецъ, живя среди горной альпійской приро-

несмотря на всѣ блестящія открытія и успѣхи ея въ современности. Но безъ сравненія съ тѣмъ, чего еще она можетъ достигнуть впереди, нельзя, кажется, не признать ея весьма тѣснаго отношенія къ дѣйствительности и въ наше время. Что римлянинъ дѣлалъ по инстинктивному внушенію своей практической природы, которая любила болѣе обращаться въ опытной сферѣ, чѣмъ въ идеальной, то стало для насъ сознательною, слѣдовательно разумною необходимостью. Римлянинъ больше предчувствовалъ, нежели отчетливо сознавалъ органическую связь настоящаго съ прошедшимъ, когда искалъ въ послѣднемъ постоянныхъ и твердыхъ образцовъ для своей собственной дѣятельности: современный намъ чело­вѣкъ, напротивъ, весь проникнутъ мыслью, что настоящее состояніе, то, что мы называемъ нашею дѣйствительностью, необходимо условлено прошедшимъ. Древній чело­вѣкъ бралъ у исторіи одну ея хорошую сторону, хотѣлъ отъ нея примѣровъ, образцовъ, наставленій: многосторонняя мысль нашихъ современниковъ съ одинаковымъ интересомъ изучаетъ эпохи упадка общественнаго благосостоянія и нравственности, какъ и времена процвѣтанія чело­вѣческихъ обществъ; она еще болѣе проникнута желаніемъ поучаться у прошедшаго, не довольствуясь одною славною стороною исторіи, ищетъ себѣ назиданія въ самыхъ бѣдствіяхъ отжившихъ поколѣній и ихъ слабостяхъ. Прагматизмъ не даромъ работалъ неутомимо въ продолженіе цѣлаго полустолѣтія: онъ много содѣйствовалъ къ уясненію связи между самыми отдаленными частями исторіи и приучилъ мысль въ событіяхъ прошлой жизни искать разгадки многимъ явленіямъ современности. Извѣстно, какъ далеко простиралось вліяніе такъ называемой исторической школы, хотя она представляла собою лишь одну сторону этого направленія. Конечно примѣры непосредственнаго примѣненія уроковъ исторіи къ самой жизни встрѣчаются очень рѣдко; но общее сознаніе—разумѣется, въ образованныхъ классахъ—проникнуто ихъ важностью болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Не всегда можно указать, какимъ образомъ оно переходитъ въ самое дѣйствіе; но рѣдко нельзя почувствовать его скрытаго присутствія при всѣхъ почти важнѣйшихъ событіяхъ. Въ наше время много ли найдется народовъ, въ судьбахъ которыхъ не участвовали бы болѣе или менѣе дѣятельно ихъ же историческія преданія? Въ римскомъ мірѣ практическое значеніе исторіи было, можетъ-быть, гораздо виднѣе, положительнѣе, но оно

ограничивалось лишь отдѣльными лицами; развитіе же цѣлаго общества совершалось подѣ иными началами.

Вообще, замѣчая успѣхи новаго сознанія въ этомъ отношеніи, мы однако остаемся при той мысли, что между практическимъ пониманіемъ исторіи древнихъ и современными намъ требованіями отъ нея гораздо болѣе тѣсной связи, нежели какъ полагаетъ авторъ рѣчи. Нѣкоторые до сихъ поръ еще довольствуются римскимъ воззрѣніемъ на исторію, не чувствуя ни малѣйшей потребности расширить свои понятія о предметѣ и возвысить ихъ до современнаго уровня. Примѣры попадаются въ текущей литературѣ. Намъ не забыть особенно забавнаго упрека, который дѣлали г. Грановскому за то, что онъ выбралъ для одной изъ своихъ историческихъ характеристикъ—Бэкона Веруламскаго. Можно ли было—говорили ему запоздалые современники Веллея Патеркула—взять предметомъ историческаго разсказа исторію человѣка, въ жизни котораго есть темныя стороны, слабости, пятна? Зачѣмъ намъ знать слабость историческаго человѣка? давайте намъ образцы, достойные подражанія, а историческую истину въ ея полнотѣ и чистотѣ оставьте у себя—мы въ ней не нуждаемся! Откуда такой голосъ, какъ не изъ римскихъ временъ, особенно временъ упадка римской литературы, когда подобныя требованія всего болѣе были въ ходу?..

Гораздо болѣе, чѣмъ требованія древнихъ относительно исторіи, занимаютъ автора рѣчи успѣхи ея въ новое время. Замѣтивъ совершенно справедливо, что древніе не возвышались до созерцанія общихъ судебъ человѣчества, что исторія существовала у нихъ почти только въ монографической формѣ или въ видѣ эпизодическаго изложенія, г. Грановскій впрочемъ далекъ отъ мысли, чтобъ цѣль, которая выяснилась для науки лишь въ позднѣйшее время, была ужъ ею вполне достигнута. Между тѣмъ, нельзя отрицать, что заслуги новыхъ историковъ много подвинули ее впередъ, что не напрасно накоплялся вмѣстѣ съ вѣками историческій матеріалъ, и не втунѣ работала анализирующая мысль. Въ чемъ же состоятъ эти заслуги, обозначающіяся именами знаменитыхъ европейскихъ историковъ? Что внесли они новаго въ развитіе науки? Чѣмъ содѣйствовали дальнѣйшему ея совершенствованію или расширенію ея области? Вотъ вопросы, которые естественно представляются любознательности при словѣ объ успѣхахъ исторіи какъ науки. Авторъ рѣчи даетъ на нихъ отвѣты самаго положительнаго свойства. Первое важное приобрь-

теніе науки, принадлежащее сполна новому времени, есть строгій историческій методъ. Извѣстно, что этимъ приобрѣтеніемъ наука всего болѣе обязана безсмертнымъ трудамъ Нибура, величайшаго изъ современныхъ изслѣдователей. Въ рѣчи г. Грановскаго находимъ краткую, но чрезвычайно вѣрную оцѣнку главнѣйшей его заслуги исторіи.

„Величайшій историкъ XIX столѣтія, Нибуръ, глубоко чувствовалъ эти недостатки (въ особенности недостатокъ строгаго метода), и никто не можетъ стать на ряду съ нимъ относительно заслугъ, оказанныхъ исторіи; здѣсь рѣчь идетъ не о результатахъ его изслѣдованій о римской древности, а объ усовершенствованномъ имъ методѣ исторической критики и о цѣломъ воззрѣніи на науку. Можно сказать, что критика была до него дѣломъ личнаго таланта, какъ у древнихъ. Превосходство новыхъ заключалось въ большей начитанности и въ приобрѣтенномъ навыкѣ обращаться съ огромнымъ матеріаломъ. Точныхъ и всѣмъ общихъ приѣмовъ не было. Ихъ создалъ Нибуръ, работая надъ римскою исторіею. Замѣтимъ однако, что его постигла участь, нерѣдко бывающая удѣломъ великихъ людей на пути открытій и изобрѣтеній. Колумбъ унесъ съ собою въ могилу убѣжденіе, что онъ нашелъ путь къ восточному берегу Азіи. Мнѣніе Нибура о древнѣйшихъ памятникахъ римской исторіи извѣстно: онъ полагалъ, что эти памятники, содержащіе въ себѣ самыя положительныя и достовѣрныя свѣдѣнія, подвергались измѣненіямъ и порчѣ подъ перомъ позднѣйшихъ римскихъ писателей. Задача критики состояла слѣдовательно въ разложеніи риторическихъ разсказовъ Ливія на ихъ простѣйшія составныя части и въ восстановленіи первобытныхъ источниковъ. Такая цѣль очевидно не могла быть достигнута; но преслѣдуя ее, Нибуръ нашелъ настоящіе законы исторической критики. Онъ показалъ намъ, какъ должно разбирать источники и въ какой степени они заслуживаютъ довѣрія. Вліяніе его примѣра не замедлило обнаружиться. Черезъ тринадцать лѣтъ по выходѣ въ свѣтъ перваго изданія «Римской исторіи», явилась критика новыхъ историческихъ писателей Ранке, небольшое, но образцовое сочиненіе, въ которомъ съ блестящимъ успѣхомъ приложены къ дѣлу уроки великаго учителя. Въ настоящее время Ранке есть главный представитель исторической критики въ Германіи. Его многочисленные ученики образовали школу, которой дѣятельность, устремленная преимущественно на разработку средневѣковыхъ памятниковъ, уже принесла богатые плоды“

Трудно въ немногихъ словахъ вѣрнѣе и отчетливѣе опредѣлить сущность заслуги, которая обезсмертила имя Нибура въ наукѣ. Мы совершенно согласны съ г. Грановскимъ, что къ дѣлу историческаго изслѣдованія Нибуръ остается безъ соимѣстниковъ. Основанный имъ методъ, по всей справедливости, долженъ сохранить и его имя. Но намъ кажется, что, говоря объ усовершенствованіи новаго историческаго метода,

несовѣмъ справедливо было бы пройти молчаніемъ и нѣкоторыя другія имена. Гиббонъ, Гизо, Шлоссеръ, по нашему мнѣнію, также оказали исторіографіи очень важныя услуги: они не только умножили значительно капиталъ науки, пустивъ въ оборотъ много новыхъ идей, но усвоили ей нѣкоторые новые приемы, до тѣхъ поръ почти вовсе не употреблявшіеся и лишь въ наше время получившіе право гражданства въ литературахъ всѣхъ образованныхъ народовъ. Кому, какъ не имъ, исторія обязана тѣмъ, что вышла изъ тѣсныхъ рамокъ односторонняго обзора политическихъ событій, что въ нее вошли, одинъ за другимъ, всѣ элементы общественной жизни и важнѣйшія явленія народнаго быта, что она обняла собою всѣ учрежденія, вѣрованія, литературу, самую науку—словомъ все умственное и нравственное развитіе историческихъ народовъ? Гиббонъ первый далъ превосходный опытъ всесторонняго изученія историческаго матеріала; за нимъ Шлоссеръ показалъ почти на всемъ пространствѣ историческаго времени живую связь литературы съ исторіею народа; но честь самаго широкаго приложенія тѣхъ же началъ и вмѣстѣ самаго блистательнаго историческаго опыта, въ которомъ бы дѣйствительно показано было взаимодѣйствіе всѣхъ разнородныхъ элементовъ общественной жизни, какъ органическихъ частей одного великаго цѣлаго, безспорно остается за авторомъ «Исторіи цивилизаціи», котораго книга до сихъ поръ—настоящая для всѣхъ занимающихся исторіею: въ ней опредѣлились истинные размѣры настоящаго историческаго содержанія; она же показала и самый удачный образецъ построенія исторіи на ея новыхъ, широкихъ основаніяхъ. Послѣ Гизо заниматься лишь номенклатурою замѣчательнѣйшихъ событій эпохи и ихъ итогами, значитъ ограничиться только азбукою науки. Если Нибуръ и его школа особенно способствовали углубленію историческаго метода, то Гиббонъ, Шлоссеръ, Гизо и ихъ послѣдователи займутъ важное мѣсто въ исторіи науки тѣмъ, что расширили самыя ея основанія.

Если мы не ошибаемся, г. Грановскій не хотѣлъ много распространяться о разныхъ усовершенствованіяхъ историческаго метода, потому что спѣшилъ перейти къ вопросу болѣе занимающему его: объ отношеніи исторіи къ естествознанію. Такъ по крайней мѣрѣ заключаемъ мы изъ послѣднихъ словъ его о заслугахъ автора «Римской исторіи»:

„Заслуги Нибура не ограничились впрочемъ введеніемъ новыхъ и точныхъ приемовъ критики. Еще будучи юношею, въ частной пере-

исскѣ своей онъ высказалъ нѣсколько смѣлыхъ и плодотворныхъ мыслей о необходимости дать исторіи новыя, заимствованныя изъ естествознанія основы. Историческое значеніе человѣческихъ породъ не ускользнуло отъ его вниманія, но ему не привелось развить вполне и приложить къ дѣлу свои предположенія объ этомъ столь важномъ предметѣ. Тѣмъ не менѣе его превосходныя изслѣдованія объ этнографіи Италіи и древняго міра вообще могутъ служить исходною точкою и образцомъ для дальнѣйшихъ трудовъ такого рода“.

Вслѣдъ за тѣмъ авторъ переходитъ къ самому вопросу, справедливо видя въ требованіяхъ, заключающихся подъ нимъ, залогъ дальнѣйшаго совершенствованія науки. Вполнѣ сочувствуемъ г. Грановскому въ его желаніи поставить на видъ просвѣщеннымъ русскимъ читателямъ всю важность такой проблемы, какъ сближеніе исторіи съ естествознаніемъ, и познакомить ихъ съ успѣхами этого направленія. Дѣйствительно, это одинъ изъ самыхъ живыхъ современныхъ вопросовъ въ наукѣ; онъ проходитъ какъ самый чувствительный нервъ черезъ всю исторію; онъ напрашивается, когда дѣло идетъ объ естественныхъ границахъ той или другой страны историческаго міра или о предѣлахъ распространенія какого угодно историческаго племени; къ нему же приходится возвращаться каждый разъ, какъ только зайдетъ рѣчь о нравахъ и обычаяхъ того или другого народа, его постоянныхъ свойствахъ, первоначальныхъ вѣрованіяхъ, о началѣ самыхъ учреждений. Чѣмъ дальше подвигается исторія къ своимъ началамъ, чѣмъ больше расчищается передъ нею мракъ отдаленныхъ временъ, тѣмъ больше чувствуется подъ ногами ея естественная основа—природа и ея условія, потому что исторія выросла на той же самой почвѣ, на какой и всѣ прочія явленія, составляющія собственно предметъ естествознанія. Наука въ самомъ дѣлѣ зрѣетъ по мѣрѣ того, какъ подходитъ къ своей естественной основѣ и начинаетъ различать, черезъ смѣну многихъ поколѣній, ея постоянно дѣйствующее вліяніе. Послѣдуемъ же за г. Грановскимъ въ его опытныхъ указаніяхъ касательно тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ столкновеніе (впрочемъ ни сколько не враждебное) двухъ различныхъ отраслей знанія замѣчается наиболѣе.

Прежде всего надобно различить въ вопросѣ двѣ стороны. Земля есть первое матеріальное основаніе, необходимое для всякаго историческаго дѣйствія; но не менѣе постоянный естественный элементъ, неизмѣнно присутствующій при всѣхъ историческихъ перемѣнахъ страны съ рѣшительнымъ вліяніемъ на

судьбу ея, есть самое ея народонаселеніе. Отсюда два рода естественныхъ опредѣленій исторіи. Обѣ половины вопроса имѣютъ для науки одинаковую важность; но по времени открытія и относительно бѣльшей зрѣлости, преимущество остается за первою. Въ этомъ порядкѣ приведемъ мы изъ рѣчи г. Грановскаго относящіяся сюда мѣста ея:

„Еще древніе замѣтили рѣшительное вліяніе географическихъ условій, климата и природныхъ опредѣленій вообще на судьбу народовъ. Монтескье довелъ эту мысль до такой крайности, что принесть ей въ жертву самостоятельную дѣятельность духа. Несмотря на то, отношеніе человека къ занимаемой имъ почвѣ и ихъ взаимное дѣйствіе другъ на друга еще никогда не были удовлетворительнымъ образомъ объяснены. Великое твореніе Карла Риттера, принимающаго землю за „храмину, устроенную Провидѣніемъ для воспитанія рода человѣческаго“, проложило конечно новыя пути историкамъ нашего времени; но многіе ли воспользовались этими трудными путями и предпочли ихъ прежнимъ, пробитымъ безчисленными предшественниками тропинкамъ? Вошедшій теперь въ употребленіе обычай снабжать историческія сочиненія географическими введеніями, заключающими въ себѣ характеристику театра событій, показываетъ только, что значеніе и успѣхи сравнительнаго землѣвѣдѣнія обратили на себя вниманіе историковъ и заставили ихъ измѣнить нѣсколько форму своихъ произведеній. Самое содержаніе немного выиграло отъ этого нововведенія. Географическіе обзоры, о которыхъ мы упомянули, рѣдко соединены органически съ дальнѣйшимъ изложеніемъ. Предпославъ труду своему бѣглый очеркъ описываемой страны и ея произведеній, историкъ съ спокойною совѣстью переходитъ къ другимъ, болѣе знакомымъ ему предметамъ и думаетъ, что вполне удовлетворилъ современнымъ требованіямъ науки. Какъ будто дѣйствіе природы на человека не есть постоянное, какъ будто оно не видоизмѣняется съ каждымъ великимъ шагомъ его на пути образованности? Намъ еще далеко не извѣстны всѣ таинственныя нити, привлекающія народъ къ землѣ, на которой онъ выросъ и изъ которой заимствуетъ не только средства физическаго существованія, но значительную часть своихъ нравственныхъ свойствъ“.

Въ такомъ видѣ представляется современное состояніе той части вопроса, которая относится къ землѣ, какъ первой необходимой основѣ всего историческаго развитія. Очевидно, г. Грановскій очень мало удовлетворенъ имъ: требованіе поставлено, всѣми признано, но наука еще не можетъ похвалиться, чтобъ много оттого выиграла. Успѣхъ виденъ болѣе въ формѣ, нежели въ самомъ содержаніи. Безъ всякаго сомнѣнія, внесеніе въ исторію этого новаго элемента далеко еще не доставило всѣхъ ожидаемыхъ отъ него результатовъ, и географическія введенія дѣйствительно часто имѣютъ видъ внѣшнихъ приставокъ, сторонняго приложенія; но не будетъ ли слишкомъ

взыскательно съ нашей стороны, если именно отъ недостатка формы мы заключимъ въ томъ же смыслѣ и о самомъ содержаніи? Дѣло въ томъ, что всѣ въ наше время одинаково проникнуты важностью географическихъ опредѣленій въ исторіи, и всякій старается, по мѣрѣ своихъ средствъ и таланта, ввести ихъ въ свое историческое изложеніе, но лишь весьма немногимъ удавалось до сихъ поръ слить ихъ въ одно съ самою исторіею: большею же частью принято отдѣлывать за одинъ разъ географическую часть, имѣя въ виду дальнѣйшую исторію, чтобъ потомъ ужъ перейти къ собственно такъ называемому историческому содержанію. Ясно, что форма представляетъ много неудовлетворительнаго, что исторія еще не овладѣла ею, какъ бы слѣдовало, сообразно съ распространеніемъ своего объема. Впрочемъ едва ли справедливо было бы требовать отъ исторіи, чтобъ она на всемъ своемъ движеніи черезъ данные моменты равно неослабно слѣдила за географическими вліяніями. Поставить такое требованіе значило бы, по нашему мнѣнію, хотѣть отъ науки, чтобъ она постоянно преслѣдовала второстепенный для нея интересъ съ нѣкоторымъ пожертвованіемъ своего собственнаго. Правда, дѣйствіе природы на человѣка постоянно; но степени этого дѣйствія, смотря по времени и ходу историческаго развитія, весьма различны, и мы очень сомнѣваемся, чтобъ во всѣхъ моментахъ исторіи нужно было придавать ему равную значительность. Есть время въ жизни каждаго народа, когда онъ весь почти зависитъ отъ внѣшнихъ опредѣленій, когда природа, климатъ, почва не только кладутъ свою печать на его внѣшній бытъ, но и обуславливаютъ собою его политическую постановку въ отношеніи къ другимъ народамъ; бываетъ и другое время, обыкновенно слѣдующее за первымъ, когда извѣстное племя людей, опредѣлившись подъ самымъ сильнымъ вліяніемъ естественныхъ условий, устанавливается физически и нравственно въ извѣстныхъ границахъ и начинаетъ въ свою очередь дѣйствовать на природу культурою, образованіемъ, и налагаетъ на нее свою собственную печать. Первый моментъ не всегда даже доступенъ историческому знанію; второй есть въ настоящемъ значеніи слова историческое время; но здѣсь вниманіе историка естественно должно быть занято гораздо болѣе обратнымъ дѣйствіемъ человѣка на природу, усовершенствованіемъ его искусственныхъ средствъ, чѣмъ постепенно ослабѣвающимъ вліяніемъ на него данной мѣстности. Нѣтъ никакого спора, что древній Римъ своимъ политическимъ значеніемъ среди перво-

начальныхъ итальянскихъ народовъ прежде всего обязанъ своему счастливому и какъ бы предназначенному мѣстному положенію. Стоитъ только взглянуть съ албанскихъ высотъ, или хотя отъ Фраскати, на эти царственные холмы, подножіе столицы древняго міра, которые одни останавливаютъ на себѣ взоръ среди необъятной равнины, и видѣть почти со всѣхъ сторонъ сбѣгающія въ нее отлогости высокихъ горъ, которыя обстали ее амфитеатромъ, чтобъ понять непреодолимое стремленіе окрестныхъ горныхъ племенъ къ этой мѣстности и ихъ упорную борьбу за обладаніе ею. Тотъ народъ, который, послѣ долгихъ усилій, силою или ловкостью, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ, удерживалъ за собою этотъ повелительный постъ, получалъ въ немъ вѣрный залогъ своего будущаго господства надъ всею окрестною странюю. Это понятно; простой взглядъ на Римъ вмѣстѣ съ его далекими окрестностями, дѣйствительно, многое объясняетъ въ его первоначальной исторіи. Вліяніе мѣстныхъ условій не разъ можетъ быть указано и потомъ, когда Римъ далеко переросъ всѣхъ своихъ сверстниковъ, всего же болѣе, когда, перейдя естественные предѣлы своихъ первыхъ завоеваній, внесъ свое оружіе въ самое сердце Востока. Но много ли помогутъ природныя условія объяснить тайну гражданской доблести римлянъ, ихъ внутренняго устройства, наконецъ самаго блистательнаго періода въ исторіи ихъ политическаго могущества? Пребываніе Цезаря въ Галліи (а не въ иной провинціи) передъ началомъ знаменитаго междоусобія—безспорно—обстоятельство великой важности: оно много объясняетъ успѣхъ будущаго диктатора; но что и Галлія, если бъ не было самого Цезаря? Вообще мы полагаемъ, что дѣйствіе естественныхъ опредѣленій на исторію далеко не одинаково во всѣхъ ея моментахъ, и что рано или поздно приходитъ время, когда оно изъ преобладающаго становится второстепеннымъ и само подчиняется инымъ вліяніямъ. Исторія народа не имѣла бы большаго достоинства, если бъ для нея никогда не наступало это время. Угадать и опредѣлить начало его въ ровномъ ходѣ событій—немаловажная заслуга со стороны историка.

Поэтому мы позволяемъ себѣ неполнѣ соглашаться съ словами академика Бера, которыя авторъ рѣчи приводитъ для подтвержденія своей мысли о постоянномъ и неослабномъ дѣйствіи физическихъ причинъ на историческія явленія. Сущность ихъ состоитъ въ томъ, что „когда земная ось получила свое наклоненіе, вода отдѣлилась отъ суши, поднялись хребты горъ

и отдѣлили другъ отъ друга страны, судьба человѣческаго рода была опредѣлена уже напередъ, и что всемірная исторія есть не что иное, какъ осуществленіе этой предопредѣленной участи“¹⁾). Но куда же мы дѣнемъ нравственныя вліянія? неужели отнесемъ ихъ къ одному разряду съ тѣми, которыя двигали грубыми, необразованными массами въ самомъ началѣ исторіи? Почтенный авторъ приводимаго отрывка повидимому не придаетъ имъ особаго значенія въ исторіи. „Ходъ всемірной исторіи“, читаемъ мы въ началѣ того же отрывка, „опредѣляется внѣшними физическими условіями. Вліяніе отдѣльныхъ личностей въ сравненіи съ ними ничтожно. Онѣ всегда почти приводили только въ исполненіе то, что уже было подготовлено и, такъ или иначе, а должно было совершиться“. Неоспоримо, что всякое великое историческое явленіе готовится вѣками. Но неужели въ этой подготовкѣ участвуютъ только одни *физическія* условія, и, въ сравненіи съ ними, вліяніе отдѣльныхъ личностей оказывается совершенно *ничтожно*? Намъ очень любопытно было бы видѣть, какъ, напримѣръ, объяснили бы намъ исторію быстрого возвышенія Пруссіи въ XVIII вѣкѣ безъ той великой роли, которая принадлежала лично Фридриху II; намъ любопытно также было бы знать, какъ одни физическія условія могли произвести такія явленія, какъ крестовые походы, или такія учрежденія, какъ рыцарство, и пр. Кажется, довольно примѣровъ, чтобъ оправдать наши сомнѣнія въ правильности изложеннаго выше воззрѣнія на исторію.

Приведемъ здѣсь кстати простыя, но выразительныя слова умнаго датскаго ботаника, которому такъ много обязана географія растений, и который вообще такъ хорошо освоился съ природою:

„Человѣкъ есть часть природы: она на него дѣйствуетъ, онъ подчиняется ея законамъ; но въ то же время человѣкъ находится какъ бы и внѣ природы, и потому можетъ, безъ сравненія со всѣми другими живыми тварями, дѣйствовать въ свою очередь и на нее, преобразовать ея форму, даже въ извѣстной степени господствовать надъ нею и налагать на нее свои законы. Культура, духовное развитіе—вотъ тѣ средства, при помощи которыхъ человѣкъ мало-по-малу вы-

¹⁾ Отрывокъ взятъ изъ статьи академика Бера «О вліяніи внѣшней природы на соціальныя отношенія отдѣльныхъ народовъ» и проч., помѣщенной въ «Карманной книжкѣ Русскаго Географическаго Общества» за 1848 годъ.

свобождается изъ-подъ власти природы и, недавній рабъ ея, подчиняетъ ее своему собственному вліянію“ ¹⁾).

Любопытно также выслушать его мнѣніе о степени вліянія внѣшней природы на народный характеръ въ особенности. Этотъ частный вопросъ лучше всего можетъ показать, какъ смотритъ авторъ на спорный предметъ вообще.

„Зависимость народнаго характера отъ окружающей природы“ (говоритъ онъ) „согласно принимается почти всѣми историками, философами, естествоиспытателями и поэтами. Я впрочемъ позволяю себѣ думать, что всѣ они сильно ошибаются, и утверждаю, что заключеніе сдѣлано съ излишнею поспѣшностью, которая едва ли была бы допущена во всякой другой области естествознанія, гдѣ принято употреблять сравнительный методъ для выводовъ. Я вовсе не хочу этимъ сказать, что отрицаю всякое вліяніе климата, почвы и другихъ природныхъ условій на народный характеръ: напротивъ, оно для меня не подлежитъ никакому сомнѣнію тамъ, гдѣ силы природы берутъ рѣшительный перевѣсъ надъ человѣческими средствами, которыя по необходимости должны уступить имъ въ неравной борьбѣ, какъ напримѣръ въ полярныхъ странахъ или въ африканской степи; но я имѣю важныя причины утверждать, что *вообще* это вліяніе незначительно.“ — „По ту и другую сторону Канала (на югъ и на сѣверъ отъ него) воздухъ одинаково туманенъ, и вѣтры дуютъ съ равною силою; по обѣимъ сторонамъ одни и тѣ же природныя условія, тѣ же незначительныя известковыя возвышенія, та же растительность: и однако двѣ націи, для которыхъ Каналъ служитъ раздѣлительною чертою, какъ нельзя болѣе различны между собою, и народонаселеніе сѣвернаго берега Канала не менѣе англійское, какъ и то, которое живетъ во внутренности страны; съ своей стороны обитатель южнаго берега есть столько же французъ, сколько и прочіе его соотечественники. Почти такъ же сильна противоположность между французскимъ и нѣмецкимъ національнымъ характеромъ, несмотря на то, что ближайшія страны къ границѣ, какъ на западъ, такъ и на востокъ отъ нея, представляютъ тѣ же природныя условія: сѣвернѣе, по обѣимъ сторонамъ лежатъ равнины, южнѣе, поднимаются горы средней высоты съ плодородными полями и виноградниками. Швейцарія на высотахъ своихъ горъ и въ глубинѣ своихъ долинъ питаетъ три совершенно различныя народности. Правда, что племенные различія очень часто совпадаютъ здѣсь съ раздѣломъ самыхъ водъ, но нельзя сказать, чтобъ тому же соотвѣтствовали раздѣленія горъ и долинъ по ихъ естественнымъ свойствамъ; случается даже, какъ напримѣръ въ Валлисѣ, что въ одной долинѣ живутъ два различныхъ племенъ,“ и т. д.

„Если бы природныя условія“ (продолжаетъ тотъ же авторъ) „оказывали сильное вліяніе, одинъ и тотъ же народъ не могъ бы жить подлѣ различными климатическими отношеніями, не потерпѣвъ значительнаго измѣненія въ своемъ характерѣ. Но и этого не видимъ въ дѣйствительности. Итальянецъ, живя среди горной альпійской приро-

¹⁾ См. J. Schouw. Die Erde, die Pflanzen und der Mensch. p. 288.

и, на самыхъ высокихъ обитаемыхъ мѣстахъ, въ весьма суровомъ климатѣ, гдѣ уже прекращается земледѣліе, тѣмъ не менѣе остается итальянцемъ. Такъ же мало теряютъ свой національный типъ итальянскіе обитатели Альповъ средней высоты и тѣхъ частей Апенниновъ, гдѣ природа гораздо болѣе подходитъ къ сѣверно-европейской, чѣмъ къ южной. Тиролецъ, тоже обитатель высокихъ Альповъ, такой же нѣмецъ, какъ житель береговъ Нѣмецкаго моря, котораго земля лежитъ нѣсколько ниже морской поверхности, и если существуютъ между ними нѣкоторыя провинціальныя отличія, то еще никакъ нельзя доказать, чтобы они зависѣли отъ дѣйствія климата; во всякомъ случаѣ, нѣмецкій тиролецъ гораздо ближе къ сѣверному жителю Германіи, чѣмъ къ своему ближайшему сосѣду, жителю итальянскаго Тироля.—„Англичанинъ равно остается англичаниномъ и въ знойной долинѣ Гангеса, и въ возвышенныхъ долинахъ Гималая, хотя и тамъ здѣсь онъ долженъ жить подъ такими природными условіями, которыя не имѣютъ ничего общаго съ его родиною. Въ Новой Голландіи въ же окруженъ такою природою, которая, особенно по отношенію къ животному и растительному царству, образуетъ около него совершенно новый міръ. Голландцы, промѣнявшіе низменные и тучныя земли своего отечества вмѣстѣ съ его сырмъ и туманнымъ воздухомъ на сухія, песчанныя плоскости и такія же возвышенія капской колоніи съ прозрачнымъ воздухомъ и безоблачнымъ небомъ, не сдѣлались отъ этого ни кафрами, ни готтентотами, но остались все тѣми же голландцами. Испанецъ сохранилъ свой національный характеръ не только на высокихъ равнинахъ Мексики, которая, при многихъ сходныхъ мѣстахъ съ Кастиліей, отличается впрочемъ отъ нея и болѣе теплымъ климатомъ и другими мѣстными особенностями, но онъ остается въ же испанцемъ равно на перуанской возвышенности и на нездоровой панамской мѣстности, какъ и на островѣ Кубѣ или на островахъ Филиппинскихъ,“ и т. д.—„Нѣтъ ничего обыкновеннѣе, какъ слыши на горячую кровь южныхъ европейскихъ народовъ, которая, внося, обуславливается свойствомъ самаго климата, такъ что сильныя взрывы страстей должны казаться неминуемымъ слѣдствіемъ того же мѣстнаго вліянія. Отсюда, между прочимъ, объясняютъ обычай кровавой мести у корсиканцевъ. Между тѣмъ индеецъ (индусъ), который живетъ въ климатѣ несравненно болѣе жаркомъ, чѣмъ итальянецъ, выставляется обыкновенно за образецъ человѣческаго терпѣнія и покорности своей судьбѣ; турокъ же, переселившійся въ Европу изъ другихъ болѣе теплыхъ странъ, положительно извѣстенъ въ ней своею флегмою! Неужели въ голландцѣ болѣе страстности, чѣмъ въ жителѣ Норвегіи, Шотландіи, и откуда бы взялась въ древнее время у скандинавовъ столько извѣстная ихъ мстительность, перешедшая потомъ вмѣстѣ съ ними и въ холодную Исландію?“¹⁾

Все это простыя и доступныя почти каждому наблюденія, приводящія по крайней мѣрѣ къ тому общему заключенію, что изъ всѣхъ естественныхъ опредѣленій самое сильное

¹⁾ Ibid. p. 304—306.

и твердое то, которое принадлежитъ самой расѣ или породѣ людей.

Обратимся же ко второй половинѣ нашего вопроса. Въ послѣднее время она приобрѣла особенную важность. Требованіе поставлено, и сила его чувствуется всюду. Въ „породахъ“ наконецъ признанъ одинъ изъ самыхъ постоянныхъ дѣйствующихъ элементовъ исторіи; и тотъ, кто еще не почувствовалъ его значительности, имѣетъ полное право хвалиться весьма древними понятіями о предметѣ. Г. Грановскому принадлежитъ честь перваго въ русской литературѣ указанія на это новое направленіе историческихъ знаній. Происхожденіе и распространеніе вопроса онъ излагаетъ уже въ своей рѣчи:

„Около того же времени“ (когда Нибуръ высказывалъ свои мысли о необходимости новыхъ основъ для исторіи) „вопросъ о породахъ началъ занимать пытливые умы внѣ Германіи. Фориель, братья Тьерри и другіе ученые старались объяснить отношенія различныхъ народностей, преемственно господствовавшихъ на почвѣ Франціи и Англіи. Они озарили яркимъ свѣтомъ начало средневѣковыхъ народовъ и обществъ, но не рѣшились переступить чрезъ обычныя грани историческихъ изслѣдованій и оставили въ сторонѣ фیزیологическіе признаки тѣхъ породъ, которыхъ историческія особенности были ими тщательно опредѣлены. Надобно было, чтобы натуралистъ подалъ наконецъ голосъ противъ такого стѣсненія нашей науки и указалъ на связь ея съ фیزیологіею. Въ 1829 году Эдвардсъ (W. F. Edwards) издалъ письмо свое къ Амедею Тьерри о фیزیологическихъ признакахъ человѣческихъ породъ и отношеніи ихъ къ исторіи. Это письмо содержитъ въ себѣ полное, изъ сферы естественныхъ наукъ почерпнутое, оправданіе выводовъ, къ которымъ пришли другими путями и совершенно независимо одинъ отъ другого, Нибуръ и Амедей Тьерри. Снимая съ разсѣянныхъ по лицу западной Европы галло-кимрскихъ племенъ ихъ новыя имена и доказывая живучесть породъ, Эдвардсъ излагаетъ правила для будущихъ разысканій. Высказанныя имъ по этому поводу мысли были приняты съ общимъ одобреніемъ, но до сихъ поръ еще не принесли желаемой пользы“.

Замѣчательно, что философія, съ свойственнымъ ей чутьемъ и потребностью точныхъ опредѣленій, еще прежде самой исторіи почувствовала необходимость рѣшенія вопроса о породахъ. Указываемъ на Канта, который два раза возвращался къ этому предмету, стараясь установить въ твердыхъ предѣлахъ самое понятіе ¹⁾). Ему дѣйствительно удалось отыскать нѣкоторые существенные признаки того, что должно быть на-

¹⁾ Сюда относятся: а) Von der Verschiedenheit der Racen überhaupt; б) Bestimmung des Begriffs einer Menschen- Race. См. Imm. Kants Werke, В. X.

ываемо порокою, и отличить случайные отѣнки, которые ошибочно вносятся въ самое содержаніе понятія. Это прекрасное начало впрочемъ не проникло въ исторію, которой могло принести всего болѣе пользы, и въ самой философіи не нашло себѣ продолжателей. Тому противилось особенно идеальное ея направленіе, послѣ Канта сдѣлавшееся господствующимъ въ Германіи. Исторіи надобно было еще пройти много стадій, чтобъ самой-собою достигнуть того пункта, съ котораго важность вопроса становится доступна опытнымъ наблюденіямъ. Имъ нужно было напередъ, съ помощью философіи, долго всматриваться въ первыя основанія историческихъ обществъ, чтобъ различить въ нихъ разныя народныя особи и усмотрѣть необходимость правильного ихъ распредѣленія между собою. Тогда только начались опыты распознаванія человѣческихъ породъ по историческимъ примѣтамъ. Но ужъ эти первые показали явность различенія породъ на основаніи чисто историческихъ указаній. Сколько трудовъ, тонкихъ изысканій и самыхъ остроумныхъ соображеній потрачено на однихъ пелазговъ, а пелазги до сихъ поръ не поддаются точному опредѣленію! Сколько разъ потомъ подходили къ историческому вопросу о кимрахъ, стараясь опредѣлить ихъ происхожденіе и отношенія къ другимъ современнымъ племенамъ, въ особенности къ кельтическому, а между тѣмъ недостатокъ положительныхъ результатовъ о нихъ чувствуется попрежнему, если ограничиться одними чисто историческими изслѣдованіями! Очевидно, что въ рѣшеніи подобныхъ вопросовъ исторіи необходима посторонняя помощь; мало археологіи и филологіи—нуженъ еще опытный глазъ физиолога. Поэтому нельзя не порадоваться той готовности, съ которою физиологія, въ лицѣ В. Ф. Эдвардса, предложила свои услуги исторіи: въ этой рѣшимости чужаго естествоиспытателя—содѣйствовать своими средствами рѣшенію историческихъ вопросовъ, сказала живая связь, соединяющая всѣ науки. Опытъ Эдвардса не единственный въ своемъ родѣ: примѣръ, имъ показанный, начинается ужъ въ разныхъ странахъ просвѣщеннаго міра находить себѣ весьма дѣятельныхъ послѣдователей; но наука имѣетъ право доложить имъ въ особенности, какъ первымъ разительнымъ приложеніемъ опытныхъ физиологическихъ знаній къ вопросамъ историческаго свойства.

Г. Грановскій принялъ на себя трудъ не только указать русской публикѣ это важное нововведеніе и ожидаемые отъ его благотворные результаты, но и передать сполна въ точ-

номъ русскомъ переводѣ самую статью Эдвардса, чтобъ читатель самъ могъ судить о достоинствѣ новаго метода и доставляемыхъ имъ выгодахъ. Нѣкоторыя отступленія отъ мысли естествоиспытателя и многія существенныя дополненія и поясненія переводчикъ изложилъ въ собственныхъ замѣчаніяхъ, сопровождающихъ статью въ видѣ особаго приложенія. То и другое дѣло равно обязываютъ насъ къ благодарности: заслуга не видная, не громкая, но лучше всѣхъ пышныхъ словъ свидѣтельствующая о несомнѣнномъ желаніи автора рѣчи расширить кругъ знаній русскихъ читателей дѣйствительными пріобрѣтеніями науки. Статья Эдвардса, какъ извѣстно, написана по поводу книги А. Тьерри объ исторіи галловъ и содержитъ въ себѣ такъ сказать физиологическую повѣрку главныхъ его положеній относительно галльской породы. А. Тьерри, на основаніи чисто историческихъ указаній, различаетъ въ этой породѣ двѣ главныя отрасли: собственно галльскую (въ восточной и южной Галліи, потомъ въ сѣверной и частью средней Италіи и наконецъ на сѣверѣ и западѣ Британіи) и кимрскую (въ сѣверной и западной Галліи, также въ восточной и южной Британіи). Къ подобнымъ заключеніямъ приходили и другіе изслѣдователи; но какое ручательство, что эти выводы не искусственные? Какими осязательными признаками можно доказать, что они взяты изъ самой природы соответствующихъ имъ явленій? Потребность болѣе твердаго убѣжденія побудила Эдвардса обозрѣть большую часть странъ, съ именемъ которыхъ соединены историческія воспоминанія о галлахъ и кимрахъ, чтобъ сдѣлать непосредственныя наблюденія надъ самымъ ихъ народонаселеніемъ и потомъ составить свои собственные заключенія. Съ этою цѣлью ученый фізіологъ вездѣ на своемъ пути присматривался ко внѣшнему виду мѣстныхъ жителей и старался уловить ихъ особенный „типъ“—такъ называетъ онъ совокупность формъ и очертаній, полагая не безъ основанія, что каждая порода должна имѣть въ этомъ отношеніи свои характеристическія особенности, и считая всѣ прочіе оттѣнки, какъ-то: цвѣтъ кожи, волосы, ростъ, переходящими, слѣдовательно болѣе или менѣе случайными. Опытный глазъ фізіолога скоро помогъ ему отличить два рѣзко обозначенные типа. Признаками одного служить голова болѣе круглая, чѣмъ овальная, черты округленныя и ростъ средній; особенность другого составляютъ—продолговатая голова, высокій и широкій лобъ, носъ загнутый концомъ книзу съ приподнятыми ноздрями, подбородокъ сильно выдающійся и высо-

которыя достигали въ развитіи своемъ великія породы человѣчества, и показать намъ изъ отличительныя, данныя природою и проявленныя въ движеніи событій свойства“. По нашему мнѣнію, не совсѣмъ одно и то же распознать породы на мѣстахъ ихъ первоначальнаго пребыванія и дальнѣйшаго расселенія съ тѣми отличительными свойствами, которыя вложила въ каждую изъ нихъ особенная ея природа, и уловить тѣ постоянныя черты ихъ нравственной фizioноміи, которыя проявились въ движеніи событій, въ исторіи. Это—историческая антропология и психологія, слитыя вмѣстѣ. Конечно, послѣдняя изъ нихъ необходимо предполагаетъ первую; между ними проходитъ очень тѣсная связь; но сливая ихъ въ одно, мы смѣшаемъ природу и исторію. Объяснимся примѣромъ. Въ старомъ Провансѣ, южнѣе Авиньона, лежитъ городъ Арль. Кому случилось проѣзжать черезъ него, тотъ навѣрное пораженъ былъ видомъ тамошнихъ женщинъ. Странно въ самомъ дѣлѣ: среди народонаселенія, принадлежащаго нашей современности и усвоившаго себѣ ея цивилизацію, встрѣтить женскія фигуры, которыя своимъ внѣшнимъ видомъ, станомъ, поступью и пластическими движеніями невольно возвращаютъ вашу мысль въ древности! Вдругъ вы видите передъ собою совершенно античную фигуру (кромѣ, впрочемъ, нѣкоторыхъ особенностей костюма), съ ея классическими позами, спокойными и въ то же время изящными тѣлодвиженіями. Другое дѣло въ Италіи; но здѣсь, куда переносишься лишь въ нѣсколько дней изъ центра Франціи, нельзя не остановиться передъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. И вотъ мысль ваша вдругъ перенесена въ отдаленную древность: вамъ какъ-будто открылись глаза не на ближайшую исторію арльскаго народонаселенія, а черезъ цѣлый рядъ вѣковъ на первыя его начала: тамъ, на самой первой страницѣ исторіи края, имѣетъ особенную важность ваше наблюденіе. Неподалеку отсюда, въ Авиньонѣ, поразитъ васъ другое явленіе: это—старая женщина, которая, показывая въ стѣнахъ бывшаго папскаго дворца кровавыя слѣды неистовствъ девяностыхъ годовъ, съ какимъ-то дикимъ остервенѣніемъ рассказываетъ о несчастныхъ жертвахъ, погибшихъ во время авиньонскихъ убійствъ. Тутъ ужъ говорить не природа, а исторія: передъ вами остатокъ ея ужасныхъ страстей, и одна природа еще не дастъ вамъ ключа къ объясненію подобныхъ явленій. Вообще, чѣмъ дальше отъ колыбели народа, тѣмъ больше проступаетъ на его нравственномъ обликѣ историческое вліяніе, нарастающее отъ времени

щими положеніями, которыя всѣ касаются столько важныхъ и трудныхъ вопросовъ о сохраненіи первоначальныхъ типовъ, о смѣшеніи породъ, о вліяніи его на видоизмѣненія внѣшнихъ формъ, о томъ, въ чемъ должно искать типическихъ признаковъ породы и т. п. Не говоримъ о дальнѣйшихъ наблюденіяхъ того же ученаго надъ поляками, чехами, мадьярами (которыхъ онъ имѣлъ случай видѣть въ австрійскомъ войскѣ въ Италіи) съ цѣлью отыскать типическіе признаки ихъ относительныхъ породъ: эти наблюденія не могли дать вполнѣ удовлетворительныхъ результатовъ, потому что были произведены лишь надъ небольшимъ числомъ отдѣльныхъ лицъ, представлявшихъ собою пеструю смѣсь разныхъ національностей, причемъ постороннему наблюдателю едва ли можно было распредѣлить ихъ какъ слѣдуетъ и избѣжать разныхъ ошибокъ. За исключеніемъ, впрочемъ, этого сравнительно болѣе слабаго отдѣла, статья Эдвардса представляетъ одно изъ тѣхъ замѣчательныхъ явленій, которыя, какъ внезапно упавшій лучъ свѣта, вдругъ освѣщаютъ цѣлый рядъ темныхъ и запутанныхъ вопросовъ и возвышаютъ общую достовѣрность научныхъ изслѣдованій.

Нельзя сомнѣваться въ плодотворности такого направленія. Но вотъ въ какихъ словахъ отзывается г. Грановскій (мы опять возвращаемся къ его рѣчи) о дальнѣйшихъ его успѣхахъ:

„Въ Англіи, Америкѣ и Франціи существуютъ ученые этнографическія общества, которыхъ труды подвинули впередъ антропологию, но не обнаружили надлежащаго вліянія на исторію. Уступки, сдѣланныя историками новымъ требованіямъ, были большею частію внѣшнія. Дальнѣйшее упорство впрочемъ невозможно, и исторія по необходимости должна выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ на обширное поприще естественныхъ наукъ. Ей нельзя долѣе уклоняться отъ участія въ рѣшеніи вопросовъ, съ которыми связаны не только тайны прошедшаго, но и доступное человѣку пониманіе будущаго. Дѣйствуя заодно съ антропологіею, она должна обозначить границы, до которыхъ достигали въ развитіи своемъ великія породы человѣчества, и показать намъ ихъ отличительныя, данныя природою и проявленныя въ движеніи событій свойства. Каковъ бы ни былъ окончательный выводъ этихъ изслѣдованій, имѣющихъ, быть можетъ, обнаружить историческое безсиліе цѣлыхъ породъ, не призванныхъ къ благороднѣйшимъ формамъ гражданской жизни, онъ принесетъ несомнѣнную пользу наукъ, ибо сообщитъ ей большую положительность и точность“.

И здѣсь недовольство автора успѣхами новаго направленія въ наукѣ принимаетъ видъ упрека, который относится

къ исторіи. Г. Грановскій находитъ, что историки сдѣлали недовольно уступокъ новымъ требованіямъ, и даже приписываетъ ихъ упорству, что исторія до сихъ поръ не выступила изъ круга наукъ филолого-юридическихъ. Со- бытія, что требованія остаются несравненно-выше того, что въ настоящее время сдѣлано для ихъ удовлетворенія: въ той или иной мѣрѣ этотъ недостатокъ можно указать почти въ каждой отрасли званія. Но неужели надобно слагать всю вину на историковъ? Неужели главная причина неуспѣха заключается въ томъ, что до сихъ поръ исторія отвѣчала на требованія только внѣшними уступками, что она, такъ сказать, хотѣла дать у себя довольно мѣста новымъ открытіямъ? Но дѣло состояло лишь въ допущеніи стороннихъ открытія подобныхъ тѣмъ, которыми наука обязана физиологическимъ наблюденіямъ Эдвардса, и исторія упорно отказывалась пользоваться ими для своихъ собственныхъ цѣлей, упрекъ бы вполне заслуженный. Кто однако не знаетъ, что положительныхъ выводовъ, достигнутыхъ путемъ естествознанія въ сферѣ историческихъ вопросовъ, еще очень ограничено, что многіе изъ этихъ вопросовъ еще вовсе не трону- ты той стороны, которая обращена къ естествознанію, и, кромѣ того, не смотря даже на помощь опытныхъ естество- ученыхъ, до сего времени весьма мало подвинулись впе- редъ. Укажемъ для примѣра на вопросъ объ американскихъ индейцахъ, или исконныхъ жителей Америки, ея аборигенахъ. Исторія, если бы и хотѣла, не могла бы воспользоваться по- выми изслѣдованіями, пока они еще сами не созрѣли до цѣленныхъ результатовъ. Упорство историковъ, упомина- емыхъ авторомъ рѣчи, очевидно имѣетъ для него другое значе- ніе. Стало-быть, по его мнѣнію, вина исторіи состоитъ въ томъ, что она сама не принимала дѣятельнаго участія въ разрѣшеніи подобныхъ вопросовъ, „съ которыми“ (какъ сказано въ рѣчи) „связаны не только тайны прошедшаго, но доступ- ному человѣку пониманіе будущаго“. Но и въ этомъ смыслѣ не возьмемъ на себя раздѣлить упрекъ, дѣлаемый г. Гра- новскимъ исторіи. Утверждать безусловно, будто исторія до- уклонялась отъ рѣшенія вопросовъ такого рода, было бы со стороны вопіющею несправедливостью: противъ насъ бы цѣлая обширная отрасль исторической литературы, и, кромѣ того, преимущественно изслѣдованіямъ относительно сходства различныхъ народовъ какъ древняго, такъ и новаго міра, ихъ родовыхъ признаковъ, мѣстъ первоначальна-

го пребыванія, переселеній и взаимныхъ соотношеній. Сколько изслѣдованій предпринято и совершено было въ разное время о пелазгахъ и ихъ расселеніяхъ, о дорянахъ, объ итальянскихъ аборигенахъ, этрускахъ, иберахъ, гуннахъ, и пр. и пр.! Сколько еще предпринимается ихъ вновь въ каждой почти части образованнаго міра! Но эти изслѣдованія—въ собственномъ смыслѣ историческія: они опираются на историческія извѣстія, они произведены лишь при помощи филологій. Итакъ авторъ рѣши винить исторію въ томъ, что она до сихъ поръ рѣшала свои вопросы чисто исторически. Онъ желалъ бы, чтобъ исторія, вышедши изъ тѣснаго круга, собственно историческаго метода, вступила сама на поприще естественныхъ наукъ; онъ хотѣлъ бы отъ историка нашего времени физиологическихъ приемовъ—требованіе, вполне достойное того высокаго идеала, который г. Грановскій постоянно имѣетъ въ виду, говоря о современномъ состояніи науки. Но какія средства удовлетворить ему? какъ заставить исторію сдѣлаться не тѣмъ, что она есть? какъ хотѣть отъ нея, чтобъ она усвоила себѣ приемы, ей несвойственные? Надобно по крайней мѣрѣ, чтобъ она прошла напередъ очень долгую школу и чтобъ историкъ дѣйствительно владѣлъ опытнымъ глазомъ естествоиспытателя. Подобное требованіе можно ли сдѣлать общимъ, не исключая изъ внѣшней области науки многихъ, весьма полезныхъ дѣлателей? Хронологическая часть исторіи постоянно нуждается въ пособіи астрономическихъ знаній; но вытекаетъ ли отсюда общее требованіе для исторіи въ собственномъ смыслѣ? Съ своей стороны, мы остаемся при томъ мнѣніи, что наука несомнѣнно много выиграетъ отъ успѣховъ новаго направленія, но что успѣхъ его не зависить непосредственно отъ самой исторіи. Пусть естествоиспытатели разрабатываютъ, по примѣру французскаго физиолога, широкую тему происхожденія породъ и ихъ типическихъ признаковъ: исторія навѣрное не откажется воспользоваться результатами ихъ изслѣдованій или наблюденій. Идя къ той же цѣли, но своимъ собственнымъ путемъ, она будетъ имѣть въ нихъ вѣрное средство для повѣрки тѣхъ положеній, которыхъ достигаетъ въ той же самой сферѣ своими средствами.

Потомъ мы считаемъ нужнымъ отдѣлить двѣ различныя части задачи, которыя съ перваго взгляда представляются какъ одно большое требованіе, простирающееся на все время историческаго развитія. Такъ читаемъ въ рѣчи: „Дѣйствуя заодно съ антропологіею, исторія должна обозначить *границы, до*

которыя достигали въ развитіи своемъ великія породы человѣчества, и показать намъ ихъ отличительныя, данныя природою и рожденныя въ движеніи событій свойства". По нашему мнѣнію, въ совѣтъ одно и то же распознать породы на мѣстахъ ихъ первоначальнаго пребыванія и дальнѣйшаго расселенія съ тѣми отличительными свойствами, которыя вложила въ каждую изъ нихъ особенная ея природа, и уловить тѣ постоянныя черты ихъ нравственной физіономіи, которыя проявились въ изженіи событій, въ исторіи. Это—историческая антропология, психология, слитыя вмѣстѣ. Конечно, послѣдняя изъ нихъ необходимо предполагаетъ первую; между ними проходитъ очень тѣсная связь; но сливая ихъ въ одно, мы смѣшаемъ природу и исторію. Объяснимся примѣромъ. Въ старомъ Провансѣ, южнѣ Авиньйона, лежитъ городъ Арль. Кому случалось проѣзжать черезъ него, тотъ навѣрное пораженъ былъ видомъ тамошнихъ женщинъ. Странно въ самомъ дѣлѣ: среди народонаселенія, принадлежащаго нашей современности и усвоившаго себѣ ея цивилизацію, встрѣтить женскія фигуры, которыя своимъ внѣшнимъ видомъ, станомъ, поступью и плагическими движеніями невольно возвращаютъ вашу мысль къ древности! Вдругъ вы видите передъ собою совершенно античную фигуру (кромѣ, впрочемъ, нѣкоторыхъ особенностей остома), съ ея классическими позами, спокойными и въ то же время изящными тѣлодвиженіями. Другое дѣло въ Италиі; въ здѣсь, куда переносишься лишь въ нѣсколько дней изъ центра Франціи, нельзя не остановиться передъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. И вотъ мысль ваша вдругъ перенесена въ отдаленную древность: вамъ какъ-будто открылись главы не на ближайшую исторію арльскаго народонаселенія, а черезъ цѣлый рядъ вѣковъ на первыя его начала: тамъ, на самой первой страницѣ исторіи края, имѣетъ особенную важность ваше наблюденіе. Неподалеку отсюда, въ Авиньйонѣ, оразитъ васъ другое явленіе: это—старая женщина, которая, оказывая въ стѣнахъ бывшаго папскаго дворца кровавыя слѣды неистовствъ девяностыхъ годовъ, съ какимъ-то дикимъ интервенціемъ рассказываетъ о несчастныхъ жертвахъ, погибшихъ во время авиньйонскихъ убійствъ. Тутъ ужъ говорить не природа, а исторія: передъ вами остатокъ ея ужасныхъ страстей, и одна природа еще не дастъ вамъ ключа къ объясненію подобныхъ явленій. Вообще, чѣмъ дальше отъ колыбели народа, тѣмъ больше проступаетъ на его нравственный обликъ историческое вліяніе, нарастающее отъ времени

на первой или исторической основѣ. Уловить первобытныя черты той или другой породы, связанныя съ самою ея организаціею — вотъ одна изъ самыхъ первыхъ задачъ историка. Она слѣдуетъ непосредственно за вопросомъ о вліяніи географическихъ или мѣстныхъ условій на бытъ и исторію народа. Здѣсь только можетъ быть рѣчь о свойствахъ, „данныхъ природою“ въ собственномъ смыслѣ, здѣсь же сохраняютъ они и свое преобладающее значеніе. Арабы имѣли свой опредѣленный характеръ, условленный мѣстностью и самою ихъ природою, прежде чѣмъ извѣстный религіозный переворотъ вдвинулъ ихъ въ предѣлы историческаго міра; норманны впервые подступаютъ къ исторіи также готовыми людьми: не по внѣшнему только виду, но и по самымъ свойствамъ, ихъ нельзя не отличить отъ другихъ современныхъ удалцовъ. Подобныя свойства можно бы назвать до-историческими: исторія застаётъ ихъ уже готовыми, сложившимися. Опредѣляясь однажды, они держатся долго, нерѣдко даютъ чувствовать себя и въ исторической жизни народа; но встрѣчая потомъ знакомыя черты, историкъ видитъ въ нихъ лишь повѣрку и подтвержденіе прежде сдѣланныхъ наблюденій. Самыя существенныя изъ нихъ не измѣняются болѣе ни подъ какими широтами: европеецъ переселяется изъ Старого Свѣта въ Новый, живетъ въ лицѣ нѣсколькихъ, одно другое смѣняющихъ поколѣній, а между тѣмъ природа его продолжаетъ дѣйствовать такъ, какъ если бъ она все еще находилась подъ прежними мѣстными опредѣленіями. Въ такомъ смыслѣ видоизмѣняемъ мы вышеприведенное мнѣніе датскаго ботаника о вліяніи природы на народный характеръ: какъ скоро подъ тѣми или другими опредѣленіями установилась порода и ея индивидуальный характеръ, внѣшнее вліяніе перестаетъ быть значительнымъ и производитъ развѣ только случайныя перемѣны.

Есть цѣлые народы, которымъ, кажется, суждено жить и умереть съ тѣми свойствами, съ какими исторія узнала ихъ впервые. Проходятъ вѣка, даже тысячелѣтія, а они одинаково остаются вѣрны первоначальнымъ инстинктамъ, вложеннымъ въ нихъ природою. Киргизъ и американскій индеецъ, одинъ въ Старомъ, другой въ Новомъ Свѣтѣ, видѣли около себя много переворотовъ, а сами остались имъ чужды: исторіи еще не удалось наложить на нихъ никакой видимой печати. Что же раскрывается въ ихъ существованіи въ теченіе каждаго столѣтія и при жизни каждаго новаго поколѣнія, какъ не тѣ же самыя свойства, которыя впервые произошли вмѣ-

стѣ съ ихъ породами? Какая разница, когда для народа начинается исторія въ настоящемъ значеніи слова и вносить въ его жизнь богатство своихъ опредѣленій! Событія совершаютъ свойственныя имъ движенія, формы смѣняются одна другою, и каждая изъ нихъ, какъ особая фаза въ развитіи, оставляетъ свой глубокій слѣдъ не только въ воображеніи народа, но и въ самыхъ его наклонностяхъ и нравахъ. Въ исторической жизни народа ни одно великое событіе не проходитъ для него даромъ: внимательно всматриваясь въ тѣ черты, которыя въ своей сложности составляютъ общую народную фizioномію, всегда почти найдешь въ нихъ отпечатокъ того, что народъ испыталъ или прожилъ въ своей исторіи. Чѣмъ однажды было глубоко поражено народное воображеніе, то никогда не изглаживается изъ него совершенно, а развѣ только отъ времени и новыхъ событій теряется свѣжесть перваго впечатлѣнія. Туземный обитатель старой Индіи до сихъ поръ остается живымъ памятникомъ своей давно минувшей исторіи; даже европейская цивилизація безсильна поколебать въ немъ тѣ убѣжденія, которыя сложились въ одну отдаленную эпоху его исторической жизни и потомъ какъ будто срослись съ самою его природою. Гораздо ближе къ намъ—католицизмъ, какъ историческое явленіе, также положилъ свою неизгладимую печать на цѣлые народы. Поражающая изъ-за угла итальянская мстительность, образовавшись подъ вліяніемъ чисто историческихъ обстоятельствъ, пережила многія столѣтія. Тѣ оригинальныя черты испанскаго національнаго духа, которыя сложились особенно въ борьбѣ испанцевъ съ маврами, до сего времени живутъ въ нравахъ туземныхъ жителей. Большая подвижность европейскихъ породъ, правда, условливаетъ собою возможность новыхъ видоизмѣненій безъ ущерба для того, что ужъ вошло однажды въ народный нравъ; но отсюда вытекаетъ лишь то необходимое слѣдствіе, что исторически образовавшійся характеръ европейскаго народа обыкновенно отличается большею сложностью, чѣмъ неподвижные нравы жителей Востока, хотя бы въ образованіи ихъ тоже участвовала исторія. Тамъ же, гдѣ такъ глубоко было дѣйствіе католицизма, одновременно съ нимъ дѣйствовали еще феодализмъ и потомъ рыцарство, и никто конечно не станетъ отрицать собственно имъ принадлежащаго вліянія на нравы европейскаго общества. И теперь еще не сгладилась раздѣляющая черта, проведенная ими въ срединѣ европейскаго народонаселенія. Новое время равнымъ образомъ вноситъ въ образованіе народныхъ индивидуаль-

стей свои особыя опредѣленія. Продолжается то же самое дѣйствіе, съ тою разницею, что новыя опредѣленія получаютъ значеніе болѣе мѣстное. Довольно указать на германскій протестантизмъ въ отличіе его отъ англійскаго пуританизма. Последній развилъ совершенно новую сторону въ англійскомъ національномъ характерѣ, которая пережила его самого. Эпоха Ришельё въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ перевоспитала Францію: великій политикъ не только открылъ новые пути государству, но и положилъ начало важному измѣненію въ самыхъ нравахъ народа. Говорить ли о томъ, что иногда достаточно бываетъ одного періода блестящей завоевательной дѣятельности, чтобъ сдѣлать войнолюбіе господствующею страстью народа на долгое время? Если, не смотря на успѣхи общечеловѣческаго образованія, народныя особенности не только не стираются, но еще усиливаются новыми оттѣнками съ каждою великою историческою эпохою, то причины надобно искать именно въ этомъ почти не прекращающемся дѣйствіи, которое оказываетъ исторія каждому народу на дальнѣйшее развитіе и опредѣленіе его же характера. Природа вырабатываетъ изъ себя тѣ свойства, которыми отличаются одна отъ другой большія человѣческія породы; индивидуальныя же особенности народныхъ характеровъ есть ужь дѣло исторіи, которая продолжаетъ строить на данной основѣ, и онѣ накапливаются постепенно въ теченіе историческаго времени.

„Кому не случалось“ (говоритъ тотъ же наблюдательный авторъ, на котораго мы ужь ссылались прежде) „слышать столь распространенное мнѣніе, что культура сглаживаетъ народныя особенности, даже совершенно уничтожаетъ ихъ? Я же съ своей стороны предложу только одинъ вопросъ: у трехъ образованнѣйшихъ народовъ—англичанъ, французовъ и нѣмцевъ—было ли когда столько особенностей, которыми они отличаются одинъ отъ другого, какъ въ наше время? Ужь конечно между иными необразованными народами нельзя найти такихъ рѣзкихъ оттѣнковъ. Обыкновенно насъ обманываетъ наружное, случайное сходство въ выборѣ пищи или ея употребленіи, въ костюмѣ и разныхъ внѣшнихъ обычаяхъ. Внутренніе же отношенія, нравственныя свойства безпрестанно вновь развиваются культурою, а своеобразное развитіе необходимо ведетъ за собою и новыя отличія. О цѣлыхъ народахъ можно сказать то же самое, что и объ отдѣльныхъ лицахъ, т. е. что образованные гораздо болѣе отличаются между собою, чѣмъ простые, необразованные“ ¹⁾).

Авторъ приведеннаго отрывка говорить о культурѣ; кто же захочетъ отдѣлять культуру отъ исторіи? Но обратимся

¹⁾ Showw, *ibid.* p. 310.

къ нашему вопросу. Если не ошибаемся, то въ наше время, рядомъ съ требованіемъ естественной или фізіологической основы для исторіи, выросла для нея другая важная задача—опредѣлить изъ историческихъ событій даннаго времени существенныя черты народнаго характера, какъ проявились они въ самомъ дѣйстви, постепенно образуясь подъ вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ. Когда говоримъ такъ, воображаемъ себѣ не мечтательный идеалъ, но имѣемъ въ виду дѣйствительные образцы (хотя, конечно, въ весьма ограниченномъ числѣ), которые, при иныхъ цѣляхъ, даютъ самые удовлетворительные результаты и въ показанномъ нами смыслѣ. Задача, съ успѣхомъ рѣшаемая въ англійской исторіи, не менѣе приложима къ Франціи, Германіи и другимъ странамъ. Какой богатый матеріалъ для историческаго изученія народнаго характера могла бы дать изслѣдователю одна эпоха гугенотскихъ войнъ! Сколько несчастныхъ склонностей и привычекъ вынесла нація изъ этой кровавой вражды двухъ безпощадныхъ религіозно-политическихъ партій! Въ самой фронтѣ, несмотря на ея эпизодическій характеръ, есть такъ много національнаго... Но намъ пришлось бы перебрать всѣ важнѣйшія эпохи, изъ которыхъ слагается исторія страны, потому что ни одна изъ нихъ не проходитъ безъ того, чтобъ не отмѣтить себя болѣе или менѣе яркою чертою на этомъ неуловимомъ образѣ, который мы называемъ нравственною фізіономіею народа. Мы хотѣли только указать на приложимость задачи къ самому дѣлу. Относительно же важности ея, полагаемъ, что она отнюдь не менѣе достойна занять вниманіе историка, чѣмъ вопросъ о породахъ. Едва ли даже упрекнуть насъ въ преувеличеніи, если мы назовемъ задачу перваго рода болѣе историческою. По крайней мѣрѣ здѣсь историкъ у себя дома и располагаетъ средствами чисто историческими, не нуждаясь много въ постороннемъ, не всегда ему доступномъ пособіи. Конечно, естественная или фізіологическая основа не исчезаетъ и въ тѣхъ періодахъ, которые вполне принадлежатъ исторіи: изслѣдователь постоянно долженъ имѣть ее въ виду и соотносить съ нею новыя видоизмѣненія въ народномъ характерѣ, по мѣрѣ того, какъ они проявляются въ историческомъ дѣйстви. Впрочемъ это еще не обязываетъ его ни къ какимъ особеннымъ поискамъ; онъ беретъ природу, какъ ужъ нѣчто положительно данное, какъ необходимую точку отправленія для своихъ изслѣдованій, которыхъ главный предметъ—вновь образующіяся формы и опредѣленія подъ прямымъ вліяніемъ

совершающихся событій. На этой дорогѣ исторіи предстоитъ еще совершить много трудовъ; но „каковъ бы ни былъ окончательный ихъ выводъ (повторимъ мы вмѣстѣ съ г. Грановскимъ), онъ принесетъ несомнѣнную пользу наукѣ, ибо сообщить ей болѣшую положительность и точность“.

Намъ скажутъ, что мы слишкомъ ограничиваемъ дѣятельность науки, направляя изслѣдованія ея преимущественно къ одной цѣли. Въ намѣреніи нашемъ впрочемъ и не было утверждать, что для исторіи въ наше время не представляется другой дѣятельности, или что она всякій разъ должна соотнобразоваться съ однимъ требованіемъ: занятія историка попрежнему остаются многосторонни, и ничто не мѣшаетъ ему располагать ими по своему выбору и направлять ихъ къ той или другой ближайшей цѣли, смотря по свойству самаго вопроса. Изъ всѣхъ наукъ исторія наименѣе способна вынести какое-нибудь принужденіе; какъ нельзя связать ее никакою системою, такъ нельзя заставить ее служить одной цѣли. Составляя неистощимый матеріалъ для изслѣдованія, для мысли, она, въ цѣломъ своемъ объемѣ, несравненно шире всякаго индивидуальнаго воззрѣнія, и нѣтъ еще столь обширной философской идеи, которая бы въ состояніи была однимъ разомъ обнять все разнообразіе ея содержанія. Въ рѣчи г. Грановскаго есть превосходное мѣсто, содержащее въ себѣ удивительно вѣрную оцѣнку философскихъ попытокъ, которыя имѣли своею цѣлью логическое построеніе исторіи:

„Съ конца прошедшаго столѣтія, философія исторіи не переставала предъявлять правъ своихъ на независимое отъ фактической исторіи значеніе. Успѣхъ не оправдалъ этихъ притязаній. Скажемъ болѣе: философія исторіи едва ли можетъ быть предметомъ особеннаго, отдѣльнаго отъ всеобщей исторіи изложенія. Ей принадлежитъ по праву глава въ феноменологіи духа, но спускаясь въ сферу частныхъ явленій, нисходя до ихъ оцѣнки, она уклоняется отъ настоящаго своего призванія, заключающагося въ опредѣленіи общихъ законовъ, которымъ подчинена земная жизнь человѣчества, и неизбѣжныхъ цѣлей историческаго развитія. Всякое покушеніе съ ея стороны провести рѣзкую черту между событіями логически необходимыми и случайными можетъ повести къ значительнымъ ошибкамъ и будетъ болѣе или менѣе носить на себѣ характеръ произвола, потому что великія событія, какъ бы они ни были далеки отъ насъ, продолжаютъ совершаться въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, т. е. въ своихъ результатахъ, и никакъ не должны быть рассматриваемы, какъ нѣчто замкнутое и вполнѣ оконченное.“

Мысль поразительно вѣрная! Смѣшно въ самомъ дѣлѣ слышать, когда хотять отрицать всякое значеніе подобныхъ

попытокъ; но также ошибочно было бы искать въ нихъ настоящихъ успѣховъ исторіи и по нимъ судить о движеніи ея какъ науки. Исторія разрабатывается сама изъ себя, изъ своего собственнаго содержанія; по тѣсной связи, существующей между разными отраслями знанія, она также пользуется пособіемъ или содѣйствіемъ другихъ наукъ для болѣе вѣрнаго разъясненія нѣкоторыхъ сложныхъ вопросовъ; но самая мысль историческая, или, что то же, пониманіе смысла историческихъ событій прежде всего принадлежитъ ей самой, потому что можетъ быть только выводомъ изъ ближайшаго и пристальнаго наблюденія надъ ихъ постепеннымъ ходомъ. Есть, или лучше сказать, были замѣчательныя попытки объяснить ходъ исторіи философскою мыслью; но прошло лишь нѣскольکو лѣтъ, и настоящія историческія работы далеко оставили ихъ позади себя. Чѣмъ больше разрабатываются отдѣльныя части, подробности, самыя мелочи, тѣмъ больше выясняется общее, угадывается цѣлое..... Поставляя на видъ въ особенности одну задачу, мы хотѣли только указать на нее, какъ на одну изъ наиболѣе современныхъ, которыя вытекаютъ изъ послѣдовательнаго хода науки, вызваны самими ея успѣхами. Тацитъ, представляющій собою высшую степень развитія древняго историческаго искусства, оставилъ намъ самыя полныя и отчетливыя индивидуальныя образы—совершенство, до котораго не всегда достигали самыя даровитые его предшественники. Это особая сторона историческаго искусства довольно ужъ усвоена историками нашего времени; мы могли бы указать нѣсколько прекрасныхъ образцовъ въ этомъ родѣ даже въ нашей, все еще молодой литературѣ. Наше время, благодаря успѣхамъ наблюденія и знанія вообще, поняло наконецъ возможность проявленія индивидуальности въ цѣлыхъ народностяхъ, отдѣльно взятыхъ, съ чертами столько же неизмѣнными и постоянными, какъ и тѣ, которыя составляютъ основу личнаго характера. Не дѣло ли современнаго искусства—прослѣдить эти индивидуальныя черты, принадлежащія цѣлымъ народностямъ, въ постепенномъ движеніи событій ихъ исторіи, и потомъ собрать ихъ въ одномъ болѣе или менѣе художественномъ изображеніи?

Еще много блестящихъ успѣховъ ожидаетъ исторію впереди, еще ей предстоитъ великое совершенствованіе. Въ виду у всѣхъ насъ происходятъ тѣ поистинѣ великолѣпныя открытія, которыя произвели совершенный переворотъ въ исторіи

древняго Египта и расширили египтологію до значенія цѣлой обширной науки. Будущее исторіи исполнено многихъ прекрасныхъ надеждъ...

„Даже и въ настоящемъ, далеко несовершенномъ видѣ своемъ“ (говоритъ г. Грановскій въ заключительной части своей рѣчи), „всеобщая исторія, болѣе чѣмъ всякая другая наука, развиваетъ въ насъ вѣрное чувство дѣйствительности и ту благородную терпимость, безъ которой нѣтъ истинной оцѣнки людей. Она показываетъ различіе, существующее между вѣчными, безусловными началами нравственности и ограниченнымъ пониманіемъ этихъ началъ въ данный періодъ времени. Только такою мѣрою должны мы мѣрить дѣло отжившихъ поколѣній. Шиллеръ сказалъ, что смерть есть великій примиритель. Эти слова могутъ быть отнесены къ нашей наукѣ.... Да будетъ намъ позволено сказать, что тотъ не историкъ, кто не способенъ перенести въ прошедшее живого чувства любви къ ближнему и узнать брата въ отдаленномъ отъ него вѣкахъ иноплеменникѣ. Тотъ не историкъ, кто не сумѣлъ прочесть въ изучаемыхъ имъ лѣтописяхъ и грамотахъ начертанныя въ нихъ яркими буквами истины: въ самыхъ позорныхъ періодахъ жизни человѣчества есть искупительныя, видныя намъ на разстояніи столѣтій стороны.... Такое воззрѣніе не можетъ служить къ ущербу строгой справедливости приговоровъ, ибо оно требуетъ не оправданій, а объясненій, обращается къ самимъ лицамъ, а не къ подлежащимъ сужденію дѣламъ. Одно изъ главныхъ препятствій, мѣшающихъ благотворному дѣйствию исторіи на общественное мнѣніе, заключается въ пренебреженіи, какое историки обыкновенно оказываютъ къ большинству читателей. Они, повидимому, пишутъ только для ученыхъ, какъ будто исторія можетъ допустить такое ограниченіе, какъ будто она по самому существу своему не есть самая популярная изъ всѣхъ наукъ, призывающая къ себѣ всѣхъ и каждого. Къ счастью, узкія понятія о мнимомъ достоинствѣ науки, унижающей себя исканіемъ изящной формы и общедоступнаго изложенія, возникшія въ удушливой атмосферѣ нѣмецкихъ ученыхъ кабинетовъ, несвойственны русскому уму, любящему свѣтъ и просторъ. Цеховая, гордая своею исключительностію наука не въ правѣ разсчитывать на его сочувствіе. Здѣсь, разумѣется, рѣчь идетъ не о тѣхъ достойныхъ всякаго уваженія, но по самому содержанію своему не допускающихъ занимательности частныхъ изслѣдованій, безъ которыхъ не могла бы двигаться впередъ наука, хотя она употребляетъ ихъ въ дѣло только какъ матеріалъ“.

Вполнѣ сочувствуемъ этому живому пониманію лучшей стороны исторіи, ея благотворнаго дѣйствія на умъ и сердце человѣка. Но не правы ли мы были, когда, въ началѣ статьи, противорѣчили г. Грановскому относительно требованія изящной формы, по нашему мнѣнію, ровно столько же существующаго для нашего времени, какъ и для древняго міра? Бе-

ремъ въ свидѣтели самого автора рѣчи, называющаго „узкими“ тѣ понятія о достоинствѣ науки, по которымъ она будто бы унижаетъ себя исканіемъ изящной формы и общедоступнаго изложенія. Итакъ истинное достоинство науки требуетъ для себя изящества формы—безъ различія времени и другихъ обстоятельствъ.

Послѣднее время греческой независимости.*

Государственныя мужи древней Греціи въ эпоху ея распада. Историческое разсужденіе Ивана Бабста. Москва. 1851 года.

Быль вѣкъ Перикла, гелленская цивилизація находилась въ порѣ самаго роскошнаго развитія, Аѣины—на вершинѣ своего политическаго могущества, когда открылась роковая борьба, раздѣлившая всю Грецію на два одинъ другому враждебные лагеря. Аѣиняне взялись за нее съ жаромъ, вели ее съ энергіею. На Фукидидѣ, знаменитомъ историкѣ великаго греческаго междоусобія, лучше всего можно видѣть, до какой степени сохранили они ясность мысли и какъ мало увлекались слѣпою страстью, когда предпринимали войну съ Спартою и ея союзниками. Въ Аѣинахъ хорошо понимали, съ какимъ опаснымъ соперникомъ надобно будетъ имѣть дѣло, и какихъ тяжелыхъ пожертвованій можетъ оно стоить народу, но въ то же самое время во всѣхъ такъ сильно было чувство неизбежности борьбы, что всякая отсрочка ея казалась уже бесполезною. Вина пелопоннесской войны въ самомъ дѣлѣ лежала не въ Аѣинахъ: она была въ обстоятельствахъ, въ самыхъ условіяхъ политическаго быта Греціи. Нельзя также сдѣлать имъ упрека въ недостаткѣ предприимчивости, мужества, настойчивости, наконецъ самыхъ талантовъ, необходимыхъ для того, чтобъ съ успѣхомъ вести трудное предпріятіе. Все это было на сторонѣ аѣинянъ; было даже и нѣчто гораздо большее—готовность защищаться до послѣдней крайности, духъ, несокрушимый самыми тяжелыми испытаніями, огонь воодушевленія, вспыхивающій послѣ самыхъ горькихъ неудачъ и пораженій—и все

* Напечатано въ «Прошлыхъ» 1852 г.

это было совершенно напрасно: война, вспыхнувшая въ Греціи во второй половинѣ пятаго столѣтія (до Р. Х.), ни въ какомъ случаѣ не обѣщала добраго исхода. Раздѣлились между собою силы самой Греціи, и притомъ такъ, что на одной сторонѣ было высшее цивилизующее начало, оно же и начало поступанія впередъ, а на другой, прямо противъ него, наибольшій запасъ матеріальныхъ силъ, воинственнаго навыка, дисциплины, вообще строгаго и непреложнаго чина. Соединить снова то, что ужъ выступило въ своей рѣзкой противоположности, накопившейся вѣками, было болѣе невозможно; борьба могла кончиться только или взаимнымъ истощеніемъ обѣихъ сторонъ, или рѣшительнымъ торжествомъ одной изъ нихъ: послѣдній результатъ былъ отнюдь не лучше перваго, потому что вся вѣроятность этого торжества была на сторонѣ спартанской. Легче было бы Аѣинамъ бороться съ Персією, чѣмъ съ Спартою: какъ ни были исключительны спартанцы ко всему, что не было проникнуто духомъ ихъ учреждений, сами они впрочемъ, вмѣстѣ съ аѣинянами, принадлежали къ той же самой греческой національности, и геній гелленизма также присутствовалъ и въ нихъ, хотя между ними онъ развился лишь въ одну сторону (откуда и взялась ихъ исключительность). Преимущества, какими аѣиняне по справедливости могли гордиться передъ другими греками, были однако не тѣ, которыя дають рѣшительный перевѣсъ въ спорѣ съ оружіемъ въ рукахъ. Одни патріотическія усилія также не рѣшали дѣла: патріотизмъ былъ и на сторонѣ спартанцевъ. При равномъ почти воодушевленіи съ обѣихъ сторонъ, успѣхъ всего скорѣе могъ остаться за тѣми, которые болѣе были обезпечены самою мѣстностью, и которыхъ духъ и устройство болѣе благоприятствовали единству дѣйствія. Но аѣинское развитіе давно ужъ прожило тотъ моментъ, въ которомъ субстанціальное господствуетъ надъ индивидуальнымъ; подвижность, свойственная іоническому характеру, рано вывела Аѣины на ту дорогу, на которой становится возможнымъ полное проявленіе личности; при чемъ, къ сожалѣнію, не исключаются и самыя ея злоупотребленія. На аѣинской почвѣ были возможны такія явленія, какъThemistocles и Pericles, но за то она же способна была породить и Alcibiades. Натура демоническая, Alcibiades способенъ былъ привязать къ себѣ судьбу цѣлаго народа, за то этотъ народъ долженъ былъ послѣдовать и за всѣми прихотями его геніальнаго своенравія и раздѣлить съ нимъ какъ его возвышеніе, такъ и паденіе. Только съ Alcibiadesомъ

могъ еще подняться аѳинскій народъ послѣ Периклова вѣка, но зато ни съ кѣмъ не могъ онъ и пасть такъ глубоко, какъ съ нимъ. Гражданская энергія аѳинянъ, правда, была почти такъ же неистощима, какъ ихъ философствующая мысль всеобъемлюща; они въ состояніи были оправиться даже и послѣ алкивіадовскаго паденія; но при этомъ безпрестанномъ переходѣ отъ возвышенія къ паденію и наоборотъ, въ аѳинской системѣ нападенія и обороны часто выпадали значительныя промежутки, которые спартанская олигархія, вообще болѣе послѣдовательная, а — главное — болѣе обезпеченная своимъ строгимъ чиномъ противъ разныхъ превратностей, неизбѣжныхъ при широкомъ индивидуальномъ развитіи, умѣла обращать въ свою пользу, при чемъ много помогало ей еще и то обстоятельство, что аѳинскій союзъ никогда не представлялъ одной сплошной массы, но, разбитый по частямъ, подверженъ былъ нападенію во многихъ пунктахъ. Не говоримъ о тѣхъ физическихъ бѣдствіяхъ, отъ которыхъ Аѳины столько разъ осуждены были терпѣть во время самой войны, хотя и независимо отъ нея; казалось, одна аѳинская язва въ состояніи была истощить физическія и нравственныя силы народа, однако и она не убила въ немъ всей бодрости духа. Истинное несчастье Аѳинъ заключалось въ той непримиримой ненависти, которую Спарта воспитала въ своихъ гражданахъ къ аѳинскимъ учрежденіямъ. Противъ ненависти, какъ противъ страсти, самое одушевленіе — средство невѣрное: ненависть неусыпнѣе и неутомимѣе его; она не успокоивается, пока не нашла себѣ полного удовлетворенія; она неразборчива на средства, лишь бы они достигали своей цѣли, и было время, что ненависть спартанцевъ къ аѳинянамъ мало-по-малу привела ихъ къ сближенію и потомъ къ формальному союзу съ Персією, природнымъ врагомъ цѣлой Греціи. Этотъ союзъ спартанцы конечно не замыслили какъ предательство: но, по своимъ послѣдствіямъ, онъ былъ почти равенъ измѣнѣ важнѣйшимъ интересамъ греческой національности. Противъ спартанскаго оружія и персидскаго золота вмѣстѣ не устоять было Аѳинамъ, ужъ истощеннымъ усиліями столькихъ лѣтъ; но, подготавливая паденіе стѣнъ аѳинскихъ, кому готовили спартанцы наибольшее торжество, какъ не старымъ врагамъ гелленизма, для котораго Аѳины искони были самымъ вѣрнымъ убѣжищемъ?

Большаго несчастья не могло быть для Греціи, какъ извѣстный всѣмъ исходъ пелопоннесской войны. Печальныя послѣдствія этого событія до сихъ поръ еще недовольно оцѣне-

историками. Не въ томъ состояло главное несчастье, Аѳины лишились своей гегемоніи, и что надолго были рушены матеріальныя и нравственныя силы, которыми жалось ихъ политическое значеніе, но въ томъ всего бѣе, что гегемонія окончательно переходила въ спартанскія ш. Когда, подъ звуки спартанскихъ трубъ, пали разрушенныя „долгія стѣны“ и вслѣдъ за ними стѣны Пирея, и тишія Тридцати утвердилась въ беззащитныхъ Аѳинахъ, бѣе, подъ эгидою спартанскаго оружія начать свои кровавыя преслѣдованія, не нужно было спрашивать, чего хотѣла Спарта посредствомъ своей гегемоніи: вездѣ, сначала въ Аѳинахъ, а потомъ и во всей Греціи, хотѣла она ввести свой исключительный законъ, хотя бы для того необходимо было принести въ жертву тысячи мирныхъ гражданъ. Аѳинскій пархическій терроръ долженъ былъ пройти, вслѣдъ за спартанскою гегемоніею, и черезъ всѣ другія мѣста, которымъ угрозѣ была ихъ автономія. Такъ какъ противодѣйствіе Аѳинъ не имѣлось, то новая гегемонія могла безпрепятственно распространять свое вліяніе и расширять его гораздо болѣе, чѣмъ куда распространялось вліяніе прежней, которая всегда имѣла передъ собою опаснаго совмѣстника. Конечно, поравнять всю Грецію съ участіемъ Мессеніею было болѣе невозможно: греки такъ то жили подъ закономъ общаго гелленскаго развитія, такъ то вѣрили въ свою независимость, что не потерпѣли бы понаго угнетенія. Но довольно было и того, что спартанская гегемонія всюду приносила съ собою и свое тлетворное вліяніе. Куда только она ни появлялась, подъ видомъ ли гармоста, или цѣлаго спартанскаго гарнизона, равновѣсіе между политическими партіями тотчасъ нарушалось, право и обычай уступали мѣсто грубому насилию, и олигархія могла безнаказанно свирѣпствовать надъ своими противниками и опустошать ими прокламаціями цѣлые города и селенія. Спасенія не было нигдѣ, кромѣ политическаго отступничества; твердость и неподкупность перестали быть добродѣтелью. Патриотизмъ перерождался въ жажду мщенія; гибло гражданское чувство, лишенное своихъ лучшихъ опоръ, наконецъ вовсе оставившее свою цѣль и оправданіе, и равнодушіе къ гражданской чести и продажность вмѣстѣ съ презрѣніемъ къ законамъ и жадностью къ богатству вторгались всюду, гдѣ только Спартѣ удавалось ниспровергнуть прежнія основы политическаго быта. Не вездѣ это зло возникало вновь подъ вѣнцемъ спартанскаго владычества: Спарта такъ же дѣятельно

воспитывала его у себя дома и во многія мѣста пересаживала его какъ уже готовое. Подъ тѣмъ же самымъ вліяніемъ мало-по-малу сглаживалось и чувство той глубокой внутренней противоположности, которая прежде отдѣляла Грецію отъ Персіи гораздо рѣзче, чѣмъ физическія границы: увлеченная своею ненавистью къ Аеинамъ, Спарта первая рѣшительно переступила эту грань; она не переставала опираться на персидское золото и персидскихъ сатраповъ и послѣ, для порабощенія цѣлой Греціи, и примѣръ ея не могъ остаться безъ послѣдователей. Съ того времени вошло въ несчастный обычай между греками, что, искалъ ли кто изъ нихъ преобладанія надъ другими, или хотѣлъ только высвободить себя изъ-подъ стѣснительной власти гегемона, непременно прибѣгалъ къ союзу съ Персіею, или по крайней мѣрѣ старался задобрить ее въ свою пользу. Было время, когда раздѣленная Греція собиралась и становилась подъ одно знамя, чтобъ сдѣлать отпоръ вооруженной Персіи: теперь же ее добровольно приглашали участвовать въ раздѣленіяхъ грековъ, и она являлась какъ посредствующая сила между ними и безъ войны предписывала имъ свои условія! Падала гордость народа, терялось чувство его достоинства... Много говорено было о сикофантіи; но сикофантія было зло болѣе мѣстное, а отъ спартанской порчи терпѣли честь и нравы цѣлой греческой народности.

Не на столько впрочемъ потерпѣли они, чтобъ между греками не осталось болѣе мѣста никакому живому и благородному чувству, или чтобы греки навсегда могли помириться съ спартанскимъ самовластіемъ. Вообще было бы большою ошибкою равнять время такъ называемаго упадка въ Греціи съ эпохою глубокаго растлѣнія нравовъ въ римскомъ обществѣ временъ имперіи. Различныя причины въ разныхъ мѣстахъ произвели и явленія, хотя и сходныя между собою въ нѣкоторыхъ общихъ чертахъ, но не допускающія почти никакого параллелизма по той степени, какую занимаетъ каждое изъ нихъ въ историческомъ развитіи соотвѣтствующей ему народности. Вездѣ утверждая свое исключительное самовластіе, Спарта всюду воспитывала неменѣе непримиримую ненависть къ своему владычеству. Какъ еще много было здороваго, неиспорченнаго въ грекахъ, можно измѣрять въ нихъ самую силу этого чувства. Съ окончанія пелопоннесской войны, реакція противъ спартанской гегемоніи становится самымъ живымъ нервомъ греческой исторіи, и дѣйствія, подобныя без-

пошадному разрушенію Мантинеи и предательскому занятію Кадмеи, вели лишь къ тому, что то же самое чувство съ энергією пробуждалось въ самыхъ отсталыхъ народахъ Греціи. Правда, начинающееся отсюда движеніе имѣетъ видъ движенія обратнаго, ибо не столько устремлено къ будущему, сколько направлено противъ нѣкоторыхъ результатовъ предшествующаго историческаго хода; но оно въ то же время было и поступательное, ибо только чрезъ освобожденіе отъ спартанской гегемоніи Греція могла снова начать свое свободное развитіе. Тамъ, гдѣ всего сильнѣе было воспоминаніе о прежней самостоятельности, то-есть въ Аѣинахъ, и движеніе началось ранѣе; но Аѣины были слишкомъ изнурены матеріально и нравственно въ предшествующей борьбѣ и, возобновивъ ее еще разъ, довольствовались почти только своимъ собственнымъ освобожденіемъ. Другіе города-государства должны были позаботиться сами о себѣ и вмѣстѣ о цѣлой Греціи. И такова была сила ненависти, воспитанная спартанскимъ владычествомъ, что, когда главные представители гелленизма оказались не въ состояніи принять на себя дѣло освобожденія Греціи отъ внутренняго врага, за него энергически возстали тѣ, которые до сего времени обыкновенно считались самыми отсталыми въ ряду участниковъ гелленской цивилизаціи. Тѣ самые оивяне, охотники хорошо попить и поѣсть, у которыхъ даже въ самую эпоху національной борьбы съ Персією недоставало патріотизма, чтобъ стать вмѣстѣ съ аѣинянами и спартапцами противъ общаго врага, нашли въ себѣ теперь довольно предпримчивости и довольно мужества, чтобъ подать сигналъ другимъ народамъ къ ниспроверженію спартанской гегемоніи и отважиться на неравную борьбу съ нею, хотя бы только своими домашними силами. Пусть все предпріятіе скорѣе было дѣломъ избранныхъ вождей, нежели самого народа: эти вожди въ самомъ дѣлѣ были высокаго закала и достойны стать наравнѣ съ самыми первыми именами исторической Греціи; тѣмъ не менѣе остается неоспоримою и заслуга народа, который умѣлъ отвѣчать героическому одушевленію своихъ предводителей. Усиліе было въ высокой степени благородно, планъ былъ превосходный и вполне достойный народа, который принималъ на себя предводительство въ начинавшейся борьбѣ за независимость—выгнавъ спартанскіе гарнизоны изъ своей земли, тотчасъ потомъ подать руку на союзъ съ старыми и новыми жертвами спартанскаго властолюбія, съ мантинейцами и мессенцами, и дѣйствовать заодно съ ними

противъ Спарты. Мантинейская битва положила конецъ ненавистой гегемоніи. Благодаря Фивамъ, Греція опять могла вздохнуть свободно послѣ многолѣтняго внутренняго порабожденія.

Мантинейскою битвою открываетъ г. Бабстъ свое сочиненіе, чтобъ потомъ кончить его битвою при Херонеѣ, или началомъ македонскаго владычества въ Греціи. Между тѣмъ и другимъ событіемъ проходитъ съ небольшимъ двадцать лѣтъ, но въ этотъ промежутокъ времени совершается въ Греціи весьма важный переворотъ, вслѣдствіе котораго она теряетъ свою политическую независимость. Время занимательное во многихъ отношеніяхъ. Здѣсь Греція окончательно раздѣляется съ старымъ порядкомъ вещей; здѣсь же должно искать и зачатковъ новой политической жизни, если только она еще возможна была для тѣхъ, которые пережили аѣинскую и спартанскую гегемонію; наконецъ, тутъ же накаплиются условія; вслѣдствіе которыхъ Греція, вмѣсто того, чтобъ выйти на новую дорогу, такъ скоро лишилась своей политической самостоятельности и сдѣлалась добычею сторонняго завоевателя. Вопросы представляются во множествѣ, и ученая любознательность никакъ не можетъ пожаловаться на недостатокъ матеріала для разработки. Г. Бабстъ избралъ преимущественнымъ предметомъ своего изслѣдованія дѣятельность „государственныхъ мужей“ того времени, ихъ образъ мыслей и политику, ибо въ нихъ сосредоточивается политическая жизнь эпохи, ими наиболѣе выражается и опредѣляется самый характеръ ея. Впрочемъ не ограничиваясь одними только биографическими очерками, авторъ представилъ жизнь и дѣятельность избранныхъ имъ великихъ людей Греціи извѣстной эпохи въ связи съ общимъ ходомъ историческихъ событій, такъ что сочиненіе его есть, въ собственномъ смыслѣ, историческое. Изображая государственныхъ мужей Греціи въ эпоху ея распаденія, г. Бабстъ искусно сгруппировалъ около нихъ всѣ важнѣйшія явленія современной греческой жизни и не оставилъ ихъ безъ оцѣнки. Мы почти могли бы сказать, что русская историческая литература пріобрѣла въ книгѣ его обстоятельную исторію того времени, основанную большею частью на изученіи подлинныхъ свидѣтельствъ и рассказанную весьма живымъ и бойкимъ языкомъ.

Взявъ мантинейскую битву точкою своего отправленія, авторъ по этому поводу рассказываетъ главные обстоятельства жизни Эпаминонда и всю исторію такъ называемой фивской

гегемоніи; затѣмъ, къ слову о послѣдней, онъ обозрѣваетъ историческій ходъ гегемоніи въ Греціи вообще и наконецъ переходитъ къ состоянію Спарты послѣ борьбы ея съ Аѳинами, чтобъ показать на ней первый разительный примѣръ начинавшагося повсюду упадка и разложенія прежнихъ нравовъ и учреждений. Эта группа историческихъ явленій греческой жизни составляетъ первую главу сочиненія. Прекрасно въ цѣломъ изложены авторомъ внѣшнія событія жизни Эпаминонда и внутреннія черты его характера; умно и вѣрно оцѣнена вся его дѣятельность. Нельзя много противорѣчить автору, когда онъ называетъ всю аѳинскую гегемонію созданіемъ Эпаминонда; лишь высказанное мимоходомъ мнѣніе о пифагорейской школѣ, къ которой онъ принадлежалъ по своему воспитанію и частью по самому образу жизни—мнѣніе, будто „устройство ея было философскимъ воссозданіемъ старинныхъ дорическихъ государственныхъ учреждений“, представляется довольно-одностороннимъ, хотя и имѣетъ за себя авторитетъ Шлоссера и О. Мюллера ¹⁾. Не такъ легко, по нашему мнѣнію, можно согласиться съ воззрѣніемъ на аѳинскую гегемонію вообще и ея значеніе въ исторіи Греціи.

„Мантинейская битва“ (такими словами начинаетъ авторъ свое изслѣдованіе) „была окончательной кровавой борьбой Грековъ за гегемонію. Въ послѣдній разъ пытались они рѣшить оружіемъ, кому изъ нихъ выпадетъ на долю честь стать во главѣ гелленовъ, и никогда еще не сходились они другъ противъ друга такими грозными массами, какъ на поляхъ мантинейскихъ“. Намъ кажется, что, приступая къ своему изслѣдованію, г. Бабстъ нѣсколько поспѣшно повторилъ въ самомъ началѣ это старое понятіе о аѳинской гегемоніи, какъ бы по наслѣдству переходящее изъ одного учебника въ другой. Въ томъ убѣжденіи, что каждое историческое явленіе лучше всего объясняется изъ предшествующаго состоянія, мы нарочно предпослали нашему разбору обозрѣніе хода событій въ предыдущемъ періодѣ греческой исторіи, чтобъ тѣмъ прочнѣе утвердить свое мнѣніе о важнѣйшихъ явленіяхъ послѣдующей ея эпохи. Гнетъ спартанской гегемоніи, какъ мы видѣли, былъ самымъ чувствительнымъ зломъ, отъ котораго терпѣла Греція со времени исхода пелопоннесской войны. Подъ этимъ гнетомъ она забыла даже о своей противополож-

¹⁾ См. «Очерки древнѣйшаго періода греческой философіи» въ 1-й кн. «Прованселевъ».

ности съ Персією, и съ того времени всѣ усилія ея естественно устремлялись къ тому, чтобъ посредствомъ низверженія спартанскаго ига возстановить въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ прежнюю политическую самостоятельность. Не сознаніе превосходства силъ, какъ было въ первыя времена гегемоніи аѣинской и потомъ спартанской, заставляло отваживаться на опасную борьбу, а тяжелое чувство притязательнаго сторонняго преобладанія; собирали силы не для того, чтобъ посредствомъ ихъ сплотить всю Грецію въ новое, болѣе прочное единство, но чтобъ тѣмъ сильнѣе разбить старое и въ прежнемъ политическомъ раздѣленіи найти прежнюю независимость. Сначала Аѣины, а потомъ и самыя Ѡивы дѣйствовали по одному, и тому же побужденію. И съ чего бы взяли ѣивяне искать для себя гегемоніи, когда они сами такъ много терпѣли отъ спартанской? Не въ томъ ли прежде всего состояла ихъ задача, чтобъ собрать достаточныя силы, которыя бы можно было противопоставить чужому, уже укоренившемуся преобладанію? У аѣинянъ были по крайней мѣрѣ воспоминанія о той великой политической роли, которую они еще недавно играли въ Греціи; ѣивяне не могли похвалиться даже и отдаленными преданіями подобнаго рода. Итакъ въ своей кровавой борьбѣ съ Спартою они сражались не за гегемонію, а прямо *противъ* нея, рѣшали вопросъ не о томъ, кому стать въ главѣ гелленовъ, а о томъ, быть ли еще грекамъ подъ спартанскою гегемонією, или у нея должны быть подрѣзаны и самыя корни. Различіе, по нашему мнѣнію, весьма немаловажное. Завязавшись разъ въ борьбу съ Спартою, Ѡивы не могли раздѣлаться съ нею лишь своими домашними средствами. Истинно-великіе люди, которые руководили всѣмъ движеніемъ и, такъ сказать, воплощали его въ себѣ, хорошо понимали, что Ѡивамъ нельзя остановиться на томъ пунктѣ, которымъ Аѣины кончили свое противодѣйствіе спартанскому преобладанію. Никогда бы Спарта не простила Ѡивамъ ихъ отложенія, если бъ сама не лишена была средствъ вредить имъ. Спартанскій союзъ могъ быть разрушенъ только силами другого, по крайней мѣрѣ равносильнаго союза; а чтобы сдѣлать ударъ еще чувствительнѣе, надобно было проникнуть во внутреннія убѣжища перваго, перенести войну въ самый Пелопоннесъ и тамъ найти себѣ союзниковъ между тѣми, которые до сего времени стояли подъ спартанскимъ знаменемъ. Вождямъ ѣивскимъ, предпринявшимъ освобожденіе Ѡивъ, надобно было, однимъ словомъ, также прибѣгнуть къ гегемоніи своего рода, не какъ къ по-

ней цѣли всего предпріятія, но какъ къ необходимому *жю* для достиженія главной цѣли. Союзъ, составленный *иннондо*мъ противъ Спарты, дѣйствительно имѣлъ *видъ* *моніи*, потому что этимъ именемъ привыкли означать въ цѣи всякое значительное соединеніе народныхъ силъ подъ *имъ* политическимъ и военнымъ началомъ; но какъ по *имъ* побужденіямъ, такъ и по цѣлямъ, вообще по своему *греннему* значенію, онъ рѣшительно отдѣлялся отъ преж-
 гегемоній и принадлежалъ, въ исторіи греческихъ на-
 ныхъ союзовъ, къ особенной категоріи. Всѣ замѣчаютъ,
 такъ называемая третья гегемонія, въ отличіе отъ дру-
 ь, была весьма непродолжительна; не замѣчаютъ лишь
 , что это не только внѣшнее ея отличіе отъ двухъ пер-
 ь, но и внутреннее: составившись подъ гнетомъ спартан-
 го преобладанія, еивскій союзъ распадался самъ собою,
 ь скоро сокрушеніемъ спартанской гегемоніи прекращалось
 внѣшнее давленіе на него; другихъ вяжущихъ элементовъ
 немъ не было. Самая смерть Эпаминонда, какъ событіе
 ве или менѣ случайное, если и ускорила распаденіе еив-
 го союза, то развѣ лишь нѣсколькими годами, потому что
 ь его была уже достигнута, и возстановленіе спартанской
 моніи въ прежней ея силѣ было болѣе невозможно.

Что г. Бабстъ самъ былъ довольно близокъ къ этому по-
 ію о еивской гегемоніи, какъ ее обыкновенно называютъ,
 азательствомъ могутъ служить его же собственныя слова
 . 40 — 41). Мы совершенно согласны съ авторомъ въ томъ,
 „вызванныя разъ на политическое поприще, Фивы не
 ли уже остановиться“, равно какъ и въ томъ, что „Эпа-
 юндъ имѣлъ слишкомъ много государственнаго смысла,
 бы не понять этого“, но мы не видимъ, чтобъ онъ доволь-
 опредѣленно мотивировалъ эту необходимость для вождей
 скихъ итти обычнымъ путемъ гегемоніи. Принявъ здѣсь
 же самыя побужденія, какими нѣкогда руководствовались
 няне и потомъ особенно спартанцы, г. Бабстъ необходимо
 женъ былъ совершенно смѣшать и самыя цѣли трехъ по-
 тическихъ союзовъ. Такимъ образомъ не удивительно, что
 ь конецъ Эпаминондъ у него не только идетъ тою же са-
 о дорогою, какою прежде шли Аѣины и Спарта, но что и
 вная цѣль его есть та же самая, то-есть „достиженіе ге-
 оніи“. Намъ кажется, что это положеніе принято авторомъ
 рѣе на вѣру прежнимъ историкамъ, чѣмъ какъ слѣдствіе
 отаго критическаго анализа. Отсюда же и другая несооб-

разность, состоящая въ томъ, что въ заключеніе своихъ словъ о такъ-называемой оивской гегемоніи г. Бабстъ принужденъ выражать сомнѣнія слѣдующаго рода: „къ чему бы повела эта послѣдняя гегемонія. Богъ знаетъ; но врядъ ли привела бы она грековъ къ главной цѣли“. По нашему мнѣнію, подобныя недоумѣнія не могутъ здѣсь имѣть мѣста. Оивская гегемонія, какъ принято называть извѣстную борьбу Оивъ съ Спартою, вела, очевидно, къ освобожденію отъ стѣснительнаго спартанскаго преобладанія, и едва ли нужно прибавлять, что она и достигла своей искомой цѣли. Свою задачу она выполнила весьма удовлетворительно, а другой—мы не въ правѣ въ ней предполагать. Не можемъ также пропустить безъ замѣчанія и того нѣсколько исключительнаго воззрѣнія автора на государство, по которому гегемонія является у него какъ бы единственнымъ „символомъ государственной формы“. Кромѣ указаннаго нами мѣста, это мнѣніе проглядываетъ и во многихъ другихъ мѣстахъ книги; можно бы даже сказать, что оно составляетъ одно изъ капитальныхъ ея основаній. Но въ такомъ случаѣ было бы прямымъ заключеніемъ, что какъ скоро греки жили внѣ гегемоніи, они жили и внѣ государства. Однако неужели все внутреннее устройство Спарты, Аѣинъ, Коринѣа и другихъ центровъ греческой жизни и цивилизаціи, съ ихъ особеннымъ законодательствомъ и со всѣми учрежденіями, оставалось только городовымъ, и ничего болѣе? Неужели самая политическая автономія, которою они пользовались, не возвышала ихъ надъ простыми городами? Мы понимаемъ, что объемъ государства могъ расширяться, и государственная форма совершенствоваться, путемъ ли гегемоніи, или какимъ инымъ способомъ, но не видимъ причины, почему бы „государственная форма“ исключительно принадлежала лишь тому политическому состоянію, въ которомъ соединяются подъ однимъ началомъ многіе, хотя и одноплеменные города.

Вообще мы могли бы сдѣлать упрекъ автору, что онъ въ своихъ требованіяхъ не всегда соображается съ условіями самой эпохи, которая составляетъ предметъ его изслѣдованія, и временемъ слишкомъ замѣтно смотритъ на нее съ точки зрѣнія послѣдующей исторіи. Такой способъ историческаго воззрѣнія если и можетъ существовать, не можетъ впрочемъ замѣнить собою настоящаго историческаго прагматизма, въ натурѣ котораго—объяснять послѣдующее предыдущимъ, а не наоборотъ. Сказавши, что въ новыхъ борьбахъ, которыя возникали въ Греціи одна за другою послѣ Анталкидова мира,

масса народа грубаго удалялась отъ дѣлъ и давала болѣе простора отдѣльнымъ личностямъ, г. Бабстъ продолжаетъ:

„Теперь, когда масса коснѣла въ совершенной апатіи, когда вся энергія ея исчезла, она бросалась въ объятія первой сильной личности, ожидая отъ нея спасенія и обновленія. И въ это время, по бурному морю потрясенной во всѣхъ своихъ основаніяхъ и разлагавшейся жизни Греціи попадаютъ намъ, то на томъ, то на другомъ концѣ горизонта, искусные и отважные пловцы, пытающіеся спасти свое судно и привести его въ безопасную пристань. Далеко оставили они за собой родной берегъ; возврата нѣтъ, а впереди нѣтъ конца безбрежному морю. Но во имя чего же выступали эти кормчіе, во имя чего же выступала личность, пытавшаяся спасти погибавшую Грецію? Во имя ли единства ея, во имя ли новыхъ теорій государственныхъ? Нѣтъ, ни для того, ни для другого не было почвы въ Греціи. Ей недоставало центра, около котораго могли бы собраться всѣ раздробленныя и разъединенныя части ея; не было наконецъ учрежденій, на которыя могли бы опереться формы государственныйя. Всѣ узы были здѣсь чисто мѣстныя, и сплести безчисленныя дробныя части въ единое цѣлое не было никакой возможности. Всѣ формы общественныя были также непосредственны, какъ непосредственны всѣ чистые продукты природы. Нѣтъ, великія личности, выступившія въ этотъ періодъ греческой исторіи, были явленіями чисто мѣстными. Не во имя новыхъ началъ стали онѣ дѣйствовать—нѣтъ, это было только болѣзненное стремленіе поддержать разваливающіяся основы древняго быта. Ни одна изъ нихъ не выступила во имя цѣлой Греціи и ея единства, но каждая преслѣдовала эгоистическія племенные цѣли. Почти всѣ онѣ—намъ стоитъ только назвать Демосоена, Ликомеда, Эпаминонда—выступали съ требованіями на господство своего племени; каждая изъ нихъ практической цѣлью своей имѣла возрожденіе нравственныхъ основъ древняго быта. Разбить эту старину могъ только человѣкъ, совершенно свободный отъ ея преданій. И въ то же время эти личности, держась боязливо старины, были невольны увлечены историческимъ движеніемъ, и, поддерживая повидимому древній бытъ, сами того не замѣчая, выходили изъ него. Такое горькое противорѣчіе встрѣчаемъ мы въ нихъ всѣхъ, но нигдѣ можетъ-быть такъ поразительно, какъ въ Эпаминондѣ, въ этомъ послѣднемъ гегемонѣ греческомъ, ибо по справедливости, его, а не Оивы, можно считать третьей гегемоніей Греціи.“

Этимъ изображеніемъ брошена сильная тѣнь на великихъ людей Греціи въ эпоху ея распада. Всѣ они пытались спасти Грецію, но никто изъ нихъ не попалъ на настоящую дорогу, потому что всѣ были увлечены только „болѣзненнымъ стремленіемъ поддержать разваливающіяся основы древняго быта“. Упрекъ былъ бы вполне заслуженный, если бъ авторъ *напередъ* потрудились доказать намъ, что требованіе политическаго единства и новыхъ государственныхъ теорій дѣйстви-

тельно лежало въ ближайшихъ современныхъ обстоятельствахъ Греціи, и что великіе ея люди этой эпохи въ самомъ дѣлѣ хлопотали только о томъ, чтобъ поддержать то, что уже сгнило и валилось само собою. Но изъ внутреннихъ современныхъ отношеній, сколько мы знаемъ, выходила прежде всего потребность освобожденія отдѣльныхъ греческихъ народовъ отъ стѣснительной спартанской гегемоніи: это была вопіющая нужда времени, и греки не могли приняться ни за что, не отдѣлавшись напередъ отъ своего внутренняго врага. Стремленіе же высвободить отдѣльныя части Греціи изъ-подъ одной политической гегемоніи, хотя отнюдь не исключало возможности противоположнаго ей союза, впрочемъ, по самой натурѣ своей, не могло тотчасъ переродиться въ теорію крѣпкаго политическаго единства всей Греціи. Едва ли также можно скрыть истину существовавшихъ отношеній подъ общимъ выраженіемъ, будто великіе люди Греціи въ эпоху ея распадёнія имѣли своею практическою цѣлью возрожденіе нравственныхъ основъ древняго быта.

Отъ великихъ людей Греціи въ эпоху ея распадёнія мы бы хотѣли, чтобъ они создали новую государственную теорію, и чтобъ ихъ главною задачею было единство Греціи. Легко дѣлать *намъ* подобныя требованія, когда мы знаемъ положительно, что за эпохою распадёнія слѣдовало время македонскаго владычества, которое могло быть отвращено только дружнымъ усиліемъ всѣхъ грековъ. Но откуда бы взялись подобныя мысли у тѣхъ, которые не могли и предвидѣть катастрофы, извѣстной подъ именемъ македонскаго завоеванія? Говоримъ—катастрофы, потому что она совершилась прежде, чѣмъ греки могли приготовиться къ ней, какъ слѣдуетъ, даже прежде, чѣмъ они поняли мыслью всю великость опасности, угрожавшей имъ съ этой стороны. Какъ въ самомъ дѣлѣ было узнать въ Филиппѣ съ самаго начала будущаго завоевателя Греціи? На основаніи какихъ расчетовъ можно было предполагать, что преемникомъ ему будетъ Александръ Великій? А что совершается внѣ расчетовъ, того не можетъ угадать напередъ и самая тонкая проницательность. Предшествующее же состояніе Греціи вовсе не располагало государственныхъ людей ея къ политическому единству. Для того времени это единство могло представляться имъ не иначе, какъ подъ извѣстною уже формою гегемоніи, а гегемонія стала ненавистна грекамъ со времени спартанскаго владычества. Что бы ни говорили объ Исократѣ, ему нельзя отказать въ здравомысліи,

и онъ и не могъ похвалиться ни проницательностью, ни кимъ практическимъ смысломъ. Можетъ-быть онъ слишкомъ увлекался своими миролюбивыми идеями, когда говорилъ противъ морского владычества, но онъ былъ совершенно въ, когда проклиналъ гегемонію, „какъ единственную причину упадка Греціи, истощившую ея силы и сдѣлавшую ее ушкою въ рукахъ царя персидскаго“ (стр. 98). Авторъ гѣдованія, нѣсколько ниже возвращаясь еще разъ къ этому ушевному убѣжденію Исократъ, гласно выражаетъ свое не-рѣненіе. „Исократъ“ (говоритъ онъ) „не видѣлъ возможности нять Аѣины; онъ понималъ, что время гегемоніи прошло; , равно какъ и вся партія, надѣялся миромъ и внутрен-мъ порядкомъ успокоить Аѣины; передъ ихъ глазами лежала всей ея наготѣ грустная картина разлагающейся жизни нской, и *остъ*, въ томъ числѣ и Исократъ, виновницей все-считали гегемонію, тогда какъ она была торжествомъ ге-аѣинскаго, ибо только въ гегемоніи и черезъ гегемонію ки сдѣлались великимъ историческимъ народомъ. Такъ ча-въ годину бѣдствій люди святотатственно посягаютъ на ве-іе результаты своей исторіи, и малодушно проклинаютъ и собственныя созданія“ (стр. 150). Но авторъ забываетъ, та же самая гегемонія, которая нѣкогда возвысила Аѣины дѣлала грековъ великимъ историческимъ народомъ, потомъ а одною изъ главныхъ причинъ паденія Греціи, то-есть матеріальнаго и нравственнаго истощенія. Точнѣе сказать, а сначала гегемонія аѣинская, за нею послѣдовала спар-ская, и современникамъ Исократъ естественно было судить тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя оставила въ нихъ послѣдняя. несчастные результаты имѣли они преимущественно въ у, когда проклинали гегемонію вообще. Чтô жъ было тутъ готатственнаго или малодушнаго? И не одинъ Исократъ—ъ думали всѣ, которые не были нечувствительны къ ве-нмъ потерямъ, понесеннымъ Греціею подъ спартанскою ге-оніею. Довольно сказать, что подъ нею Греція утратила где столь острое чувство своей противоположности съ сіею.

Впрочемъ, по плану г. Бабста, аѣинскіе государственные и и ихъ политическія теоріи въ эпоху распадѣнія Греціи надлежатъ уже ко второй группѣ. Завершивъ первую груп-весьма подробною картиною внутренняго упадка Спарты, начинаетъ вторую изображеніемъ аналогическаго состоя-въ Аѣинахъ, хотя здѣсь были въ дѣйствіи совсѣмъ иного

рода пружины. Авторъ воспользовался средствами, которыя находятся въ распоряженіи у науки, для обстоятельнаго разъясненія этого отдѣла внутренней аѣинской исторіи. Классическая монографія Бѣка (Die Staatshaush. d. Atheuer) служила ему главнымъ пособіемъ для изложенія экономическаго состоянія Аѣинъ въ данную эпоху; но онъ не пренебрегалъ также и подлинными показаніями ближайшихъ современныхъ свидѣтелей, и многія весьма характеристическія черты заимствовалъ прямо изъ Ксенофонта, Исократъ, Лисія, Демосѣена. Только непосредственное знакомство съ главными писателями эпохи могло сообщить автору ту полноту и живость пониманія, которыя составляютъ одно изъ самыхъ видныхъ отличій его сочиненія. Недовольствуясь одною внѣшнею стороною фактовъ, онъ вездѣ старается понять и раскрыть внутреннія отношенія описываемой имъ эпохи, вообще смотритъ на явленія, какъ на указатели внутренняго процесса, который совершался въ общественной жизни того времени—способъ историческаго воззрѣнія, который тѣмъ больше ускользаетъ, чѣмъ больше отдаляются отъ подлинныхъ источниковъ. Личному таланту автора принадлежитъ еще умѣнье соединять многіе отдѣльные факты въ одной общей картинѣ. Въ приложеніи ко внутреннему состоянію Аѣинъ послѣ пелопоннесской войны, этотъ способъ и это искусство удались ему всего болѣе. Картина вышла широкая и весьма занимательная какъ въ цѣломъ, такъ и во всѣхъ подробностяхъ. Намъ пришлось бы выписать слишкомъ много, если бъ мы захотѣли передать читателямъ эту картину во всей ея полнотѣ: возьмемъ, для образца, отрывокъ, въ которомъ собраны признаки начинавшагося политическаго упадка въ Аѣинахъ:

„Въ Аѣинахъ совершалось въ эту эпоху то же самое явленіе, какое мы видѣли въ Спартѣ и повсемѣстно въ Греціи—совершенное разложеніе ихъ общественнаго быта. Не одна утрата матеріальнаго благосостоянія подѣйствовала такъ губительно на общество аѣинское. Оно само носило въ себѣ зародышъ разложенія и смерти. Войны, политическія распри истребили самую здоровую и свѣжую часть гражданъ; кладбища наполнились гражданами, а фратріи и списки гражданъ—людьми, не принадлежавшими государству. „Всѣ лучшіе роды погибли“, говоритъ Исократъ, „пересмотримъ списки, и мы увидимъ, что стали совершенно другими людьми“. Для пополненія числа гражданъ принимались теперь метойки, даже рабы. Щедро раздавалось право гражданства иностранцамъ, и эта новая толпа, безъ историческихъ воспоминаній, бѣдная, голодная, наполняла площадь аѣинскую, сидѣла въ судахъ, требовала содержанія, праздниковъ, высказывала

такія же гордыя притязанія, какъ и старый, славный демосъ аѳинскій, не имѣя ни патріотизма его, ни одной изъ его доблестей. Они дрались за жеребій сидѣть въ судѣ и въ народномъ собраніи, и засѣдали здѣсь, словно бараны, въ мантіи и съ посохомъ въ рукѣ, за три обола. Они думали, что все могутъ дѣлать, что всѣмъ управляютъ, а между тѣмъ они были игрушкой въ рукахъ демагоговъ, которые дѣлали изъ этой толпы все, что хотѣли. Въ народномъ собраніи нельзя было уже встрѣтить стариннаго порядка, благочинія и прежней разсудительности. Страсти, прихоть и гнѣвъ преобладали. „Прежде было“, говоритъ Эсхинъ, „начинали говорить старшіе, а потомъ уже вызывалъ бирючъ прочихъ аѳинянъ; теперь же никакой бирючъ не могъ удержать шума и крика въ собраніи. Ничто не въ состояніи было удержать этой толпы отъ буйства и криковъ“. Не даромъ говоритъ Демосѳенъ, что толпа—вещь самая непостоянная, и сравниваетъ ее съ морскими вѣтрами. Не для дѣлъ государственныхъ собирались граждане аѳинскіе на площадь, а за новостями. „Что новаго? что новаго?“ было постояннымъ вопросомъ. Скажи ему, что хочешь—онъ всему вѣритъ. Въ слѣдъ за тѣмъ, онъ озадачивалъ тотчасъ же оратора вопросомъ: что намъ теперь дѣлать? „Я бы отвѣтилъ вамъ“, говоритъ Демосѳенъ, „не дѣлать того, что вы дѣлаете“. При совѣщаніяхъ, толпа ловила всякій удобный случай пошутить и посмѣяться. „Предки наши“, говоритъ Исократъ, „не любили шутовства; остряковъ и шутовъ считали въ то время глупцами; теперь слывятъ они умницами“. Ораторы представляютъ намъ множество примѣровъ безчинства въ народномъ собраніи. Когда Демосѳенъ разъ всталъ, чтобы говорить рѣчь къ народу, Эсхинъ и Филократъ стали съ обѣихъ сторонъ и начали кричать, прерывать его, смѣяться надъ нимъ, ко всеобщему удовольствію народа. Въ другой разъ Филократъ обратился къ собранію и сказалъ, что удивляется нечему, ежели онъ несогласенъ въ убѣжденіяхъ съ Демосѳеномъ, потому что Демосѳенъ пьетъ одну воду, а онъ одно вино. Но ничто не могло сравниться съ безстыдствомъ Тимарха, этого развратника изъ развратчиковъ аѳинскихъ. Онъ явился разъ пьяный въ народное собраніе, раздѣлся до-нага, и сталъ дѣлать такія непристойныя тѣлодвиженія, что скромные люди закрыли глаза руками, со стыда, что въ Аѳинахъ есть такіе правители. Дома забывалось обыкновенно все, что говорилось и рѣшалось въ собраніи. „Всѣ люди“, говоритъ Демосѳенъ, „имѣютъ обыкновеніе прежде совѣщаться и потомъ уже дѣйствовать. Мы же—наоборотъ: прежде дѣйствуемъ, а потомъ уже совѣщаемся“. И эта толпа, безъ правилъ, безъ смысла политическаго, безъ патріотизма, рѣшала теперь дѣла государственныхъ. Подозрителенъ всегда былъ демосъ, но въ минуты критическія становился онъ еще вдвое подозрительнѣе. Инстинктивно предчувствуя свою несостоятельность, онъ все-го трусилъ, вездѣ видѣлъ враговъ своихъ, вездѣ ему чудились олигархи. Слово лаконистъ производило все еще магическое дѣйствіе, хотя въ Аѳинахъ никто уже въ это время и не думалъ о приверженцахъ Спарты; ихъ почти и не было, но подъ этимъ именемъ разнузданный народъ все, чего онъ только опасался. Это было то же, что когда то слово якобъ въ Англіи. Лучшіе люди оставляли площадь и удалялись отъ дѣлъ государственныхъ, или шли на чужбину искать въ службѣ иноземныхъ государей дѣятельности и добычи. А между

тѣмъ площадь и народъ оставались въ рукахъ демагоговъ, лѣстившихъ толпѣ, потакавшихъ ея прихотямъ, смотрѣвшихъ на государство, какъ на средство къ собственному обогащенію, обкрадывавшихъ казну государственную. „Со смертью Эпаминонда“, говоритъ Юстинъ, „пала добродѣтель аѣинская. Когда онъ погибъ, и не съ кѣмъ болѣе было бороться, аѣиняне въ лѣни, въ пиряхъ, въ забавахъ расточали доходы государственные, употребляемые прежде на армію и на флотъ. Они больше уважали теперь хорошихъ стихотворцевъ, нежели дѣльных вождей“. Въ самомъ дѣлѣ, прежде остатокъ отъ государственныхъ расходовъ берегался на случай войны: теперь требовалъ народъ, подстрекаемый демагогами, чтобы эти деньги употреблялись для забавы народной. Демагогъ Агиррій былъ такъ любимъ народомъ за подобное потаканіе его прихотямъ, что, послѣ смерти Эрасибула, былъ выбранъ стратегомъ, хотя самъ онъ былъ человѣкъ изнѣженный, ростовщикъ, и сидѣлъ нѣсколько разъ въ тюрьмѣ. „Панаэнеи, Діонисіи, празднуютъ всегда во-время“, говоритъ Демосенъ, „флоты же наши вѣчно опаздываютъ“. Всѣ доходныя мѣста покупались. „Смертная казнь положена, правда, за подкупъ“, говоритъ Исократъ, „а мы выбираемъ между тѣмъ въ полководцы тѣхъ, которые явно подкупаютъ народъ. Мы не заботимся ни о благоденствіи государства, ни о сохраненіи его; мы говоримъ одно, а дѣлаемъ другое, хулимъ предложеніе и принимаемъ его, выдаемъ себя за мудрѣйшихъ изъ грековъ, а выбираемъ въ сановники такихъ людей, которымъ не повѣрилъ бы никто даже собственного имущества своего“.

Авторъ показываетъ, что разложеніе простиралось и гораздо далѣе, что оно, какъ зараза, проникло и въ сферу частнаго аѣинскаго быта и вездѣ производило свойственное ему разрушительное дѣйствіе. По его словамъ, „закулисная аѣинская жизнь“ того времени „поражаетъ глубиною разврата, не уступающаго разврату временъ Римской имперіи“. Слѣдующія за тѣмъ очень сильныя и рѣзкія черты въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствуютъ не въ пользу аѣинскихъ нравовъ. Тотчасъ видно, что старыя основы, на которыхъ держался общественный и частный бытъ въ Аѣинахъ, были болѣею частью подорваны, и что стараться поддержать прежній авторитетъ ихъ надъ нравами было бы дѣломъ достойнымъ только лицемерія. Впрочемъ мы не можемъ принять мысль автора въ ея крайнемъ опредѣленіи. Эпохи упадка, какъ и эпохи благосостоянія политическаго и нравственнаго, имѣютъ многія общія черты, несмотря на различія времени и мѣста; но бываютъ между ними и существенныя отличія, которыя не допускаютъ совершеннаго параллелизма. Есть дѣйствительно паденія въ исторіи, которыя не предполагаютъ за собою почти никакой возможности возрожденія. Они измѣряются преимущественно однимъ важнымъ признакомъ: нравственное растлѣніе и ум-

ственная апатія бываютъ такъ велики, что даже избытокъ матеріальныхъ средствъ не спасаетъ политическій организмъ отъ конечной гибели; внутренній червь подточилъ уже всѣ дѣятельныя и производительныя силы. Поразительный при-
мѣръ такого паденія мы имѣемъ въ римскомъ обществѣ послѣдняго историческаго періода, когда безпутства, повторявшіяся изъ поколѣнія въ поколѣніе, занимали народъ лишь какъ особеннаго рода сценическія представленія, не возбуждая въ немъ никакого чувства омерзѣнія. Упадокъ въ Греціи, въ Аѣинахъ особенно, представляетъ нѣкоторую аналогію съ римскимъ, но едва ли можетъ сравниться съ нимъ въ глубинѣ нравственнаго развращенія. Уже самое это патріотическое одушевленіе, къ которому еще способны были аѣиняне, и котораго не вовсе чужды были и другіе ихъ современники, говоритъ противъ такого сильнаго нареканія на аѣинскіе нравы. Еще не смертною болѣзнію страдало то общество, среди котораго время отъ времени возникали такіе высокіе дѣятели, какъ Эпаминондъ, Пелопидъ, Демосеенъ. Тамъ едва ли можно говорить о „глубинѣ разврата“, гдѣ чувство долга еще могло быть вдохновителемъ если не великихъ дѣлъ, то великихъ начинаній, гдѣ было мѣсто самоотверженію, гдѣ еще умирали добровольною смертію—не потому, чтобъ тяготились жизнію, но потому, что не хотѣли пережить чести и независимости родного города. Въ то же самое время, какъ разлагались въ Греціи основы прежняго общественнаго быта, въ ней уже являлись дѣйствующими элементы вновь образующейся жизни. Многое, чтó прежде вѣсило какъ нравственный авторитетъ, утратило свое значеніе въ глазахъ даже лучшихъ грековъ: Сократъ заслужилъ себѣ подобный упрекъ прежде многихъ другихъ; но это не значитъ, безъ сомнѣнія, чтобы, сойдя со старыхъ основаній, они совершенно потеряли всякій упоръ подъ ногами. Отвергая традиціонную почву, лучшіе умы Греціи вездѣ старались утвердить на мѣсто прежнихъ другія, болѣе разумныя начала. Комедіи Аристофана прекрасно изображаютъ подвижность аѣинскаго народнаго характера, страсть аѣинянъ къ нововведеніямъ, непостоянство ихъ политики; но было бы крайне односторонне смотрѣть на современниковъ Аристофана только съ его точки зрѣнія, или видѣть все его глазами: въ такомъ случаѣ и въ Сократѣ мы не увидѣли бы ничего болѣе, кромѣ софиста, ищущаго сбить съ толку аѣинское легкомысліе, и не замѣтили бы ни его нравственнаго характера, ни великаго значенія историческаго. Нашъ авторъ, отдавая долж-

ную справедливость высокимъ достоинствамъ Эпаминонда, какъ умственнымъ, такъ и нравственнымъ, замѣчаетъ однако въ его поведеніи и образѣ дѣйствія „разрывъ личности съ обществомъ и нравственностью, вытекающую не изъ условій всего быта, а *родившуюся сознательно и отчетливо* въ головахъ лучшихъ людей умиравшей Греціи“ (стр. 9). Разрывъ дѣйствительно былъ, но онъ столько же служилъ признакомъ упадка, сколько и начинавшагося возрожденія. Нравственность, родившаяся сознательно, неужели имѣетъ такъ мало цѣны въ сравненіи съ непосредственною, что по ней можно узнавать только отжившее, а не возникающее вновь?

Впрочемъ самъ авторъ, указавъ на параллелизмъ между двумя эпохами, отдаленными по времени и мѣсту дѣйствія, не развиваетъ параллели во всей подробности. Съ своей стороны, нисколько не оспаривая вѣрныхъ основаній автора, которыя заставляютъ его видѣть въ данномъ времени эпоху упадка, мы желали бы только, чтобъ, вмѣстѣ съ несомнѣнными симптомами разложенія, болѣе выставлены были на видъ и признаки жизненныхъ силъ, которыя еще носила въ себѣ Греція, и которыя даже во время упадка отличали ее отъ Рима въ соответствующую эпоху. Изложеніе же г. Бабста явно клонитъ къ тому, чтобъ указать, что, если бы не подоспѣло македонское владычество, Греція погибла бы и уничтожилась сама собою, лишь силою своего внутреннего разложенія. Это значитъ, по нашему мнѣнію, превращать катастрофу, всегда болѣе или менѣе случайную, въ необходимое историческое явленіе.

Гораздо удачнѣе вышла во всѣхъ отношеніяхъ частная характеристика современныхъ государственныхъ людей, которые жили и дѣйствовали въ Аѣинахъ—Эвбула, Исократы, Ксенофонта. Здѣсь авторъ вполне равенъ своему предмету. Богатый матеріалъ взятъ прямо изъ сочиненій тѣхъ самыхъ лицъ, о которыхъ идетъ рѣчь, и изъ него составленъ мастерской очеркъ какъ ихъ жизни и дѣятельности, такъ и самаго образа мыслей и политики. Въ особенности это относится къ Исократу и Ксенофонту, о которыхъ до сихъ поръ еще не установилось твердое историческое сужденіе. Въ новой исторической литературѣ всего болѣе не посчастливилось Исократу. Извѣстно, какъ не снисходителенъ къ нему Нибуръ въ своихъ «Чтеніяхъ о древней исторіи». Возвращаясь нѣсколько разъ къ знаменитому аѣинскому оратору, онъ вездѣ клеймитъ его не совсѣмъ почетнымъ названіемъ „ритора“, или даже,

что еще хуже, „отца всѣхъ риторомъ“, понимая подъ этими словами краснорѣчиваго говоруна, который въпрочемъ, по своей ограниченности, не имѣлъ ни малѣйшаго смысла для пониманія дѣйствительности. Г. Баобъ открыто беретъ Исократъ подъ свою защиту. Не соглашаясь съ авторомъ во всѣхъ оттѣнкахъ его мысли, мы въпрочемъ готовы здѣсь отдать преимущество его сужденію передъ Нибуровскимъ. Очень понятно, почему Нибуръ не могъ быть безпристрастенъ къ Исократу. Уже какъ натура въ крайней степени непрактическая, Исократъ не могъ привязать къ себѣ симпатію новаго историка. Въ то время, когда надобно было дѣйствовать живымъ словомъ, увѣщаніемъ, если не оружіемъ, онъ тщательно вырабатывалъ свои рѣчи, занимался отдѣлкою ихъ слога, и этотъ плодъ своихъ усильныхъ трудовъ назначалъ—для чтенія! Сверхъ того, онъ былъ поборникомъ мира въ такую пору, когда, по мнѣнію Нибура, настояла потребность вновь возбудить уснувшій воинственный жаръ аѳинянъ. Наконецъ, увлеченный своею любимую мыслью объ общемъ ополченіи противъ Персіи, онъ хотѣлъ сдѣлать посредникомъ между враждовавшими греками—Филиппа Македонскаго, и поставить его же во главѣ всего предпріятія, по своей недалекости нисколько не предугадывая въ немъ самаго опаснаго врага независимости Греціи. Все это дѣйствительные недостатки Исократъ--въ нѣкоторыхъ онъ признается и самъ передъ своими читателями; но едва ли справедливо будетъ не хотѣть видѣть изъ-за нихъ и самыхъ достоинствъ оратора, которыя заслужили ему весьма почетное имя въ Греціи. Несомнѣнно, во-первыхъ, то, что въ Исократѣ жило искреннее и горячее желаніе добра своему отечеству. Умъ его, медленный отъ природы, нескоръ былъ и въ соображеніи тѣхъ средствъ, которыя могли вывести Грецію изъ ея крайняго положенія, и иногда, по недостатку проницательности, попадалъ даже прямо на ложную дорогу; но никто не будетъ утверждать, что Исократъ писалъ только для слога или для славы оратора. Видно по всему, что рѣчи его не были плодомъ вдохновенія, зато вездѣ чувствуется, что словамъ всегда предшествовало строгое размышленіе, и что ораторъ не прежде выговаривалъ мысль, какъ когда она становилась его глубокимъ убѣжденіемъ. Что же общаго между человекомъ постоянныхъ убѣжденій и—риторомъ? Безъ страстнаго увлеченія, Исократъ какъ понималъ дѣло, такъ и говорилъ о немъ; какъ не могъ онъ подавить въ себѣ художественнаго инстинкта,

который требовалъ отъ него изящной формы при изложеніи мыслей, такъ не могъ восполнить доброю волею недостатокъ практическаго такта, практической способности вообще, которыхъ не было въ природныхъ его свойствахъ. Если въ дѣятельности Исократѣ не было ничего геніальнаго, то также мало было въ ней и безчестнаго. Жизнь его чиста отъ упрека; вліяніе его на современниковъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Только въ двухъ пунктахъ мы не можемъ согласиться съ г. Бабстомъ относительно Исократѣ: первое, чтобъ ясное пониманіе тогдашней дѣйствительности непременно должно было выражаться признаніемъ, что „дѣло проиграно, и политическое поприще Греціи кончено“, и второе, чтобъ Исократъ, вызывая Филиппа Македонскаго на предводительство греками въ общемъ походѣ противъ Персіи, готовъ былъ передать ему и самую диктатуру надъ ними (см. стр. 113). Намъ кажется, что только излишнее увлеченіе автора своею собственною мыслью могло до такой степени измѣнить въ его глазахъ тотъ идеалъ, къ которому постоянно стремился аѳинскій ораторъ, имѣя въ виду возвышеніе Греціи и возрожденіе ея къ новой жизни.

Также много изученія принесено авторомъ для того, чтобъ сдѣлать по возможности полный и вѣрный очеркъ всей дѣятельности и политическаго направленія Ксенофонта. Сначала г. Бабстъ рассказываетъ жизнь его, останавливаясь преимущественно на главныхъ ея эпизодахъ, на участіи въ походѣ Кира Младшаго, на знаменитомъ отступленіи 10.000 грековъ, на пребываніи Ксенофонта во Фракіи, потомъ переходитъ къ политическимъ его сочиненіямъ, чтобъ по нимъ опредѣлить и самыя его государственныя стремленія. Изложеніе очень живо, сужденіе отличается ясностью и опредѣлительностью. Едва ли только будетъ справедливо смотрѣть, вмѣстѣ съ авторомъ, на Ксенофонта какъ на „дополненіе“ къ Исократу, на томъ основаніи, что будто бы первый „доказалъ то, о чемъ *можетъ-быть* думалъ и Исократъ, но не рѣшался и не имѣлъ смѣлости высказать“ (стр. 115). Это значило бы принять положительный выводъ изъ недоказаннаго предположенія. Можетъ-быть тайныя мысли Исократѣ сходились съ политическими убѣжденіями Ксенофонта, а можетъ-быть и нѣтъ; въ сочиненіяхъ его скорѣе можно найти доказательства противнаго; мысль же о необходимости диктатуры скорѣе принадлежитъ самому г. Бабсту, нежели Исократу, лишь предполагаемому ея виновнику. Сколько намъ извѣстенъ политическій образъ

мыслей Исократа и Ксенофонта, справедливость скорѣе требовала бы отличить ихъ одного отъ другого, какъ представителей двухъ различныхъ системъ, а не смѣшивать между собою. Ксенофонтъ высказывался слишкомъ ясно, чтобъ можно было имѣть какое-нибудь сомнѣніе въ его убѣжденіяхъ. Какъ историкъ, онъ нерѣдко жертвовалъ имъ самою истинною историческаго изложенія, по своему усмотрѣнію выставляя на видъ одни факты, и едва упоминая о другихъ, которые не покорялись его воззрѣнію, какъ на это нѣсколько разъ указываетъ Нибуръ въ «Чтеніяхъ». Энтузіазмъ, свойственный возвышенному стремленію къ идеалу, былъ вовсе незнакомъ сухой и холодной натурѣ Ксенофонта. Между тѣмъ, какъ Исократъ мечталъ о томъ, чтобъ великимъ національнымъ предпріятіемъ пробудить уснувшій духъ народный, Ксенофонтъ старательно вырабатывалъ для Греціи первыя правила той политики, которая гораздо позже, опредѣлившись полнѣе въ иной странѣ, назвалась макиавеллическою. „Есть, по моему мнѣнію“, (говорить у него Симонидъ Пьерону сиракузскому) „обязанности, которыя могутъ дѣлать тебя ненавистнымъ, есть однаковъ и другія, приобретающія любовь: хвала и награда заставляютъ любить; хула, принужденіе и наказаніе возбуждаютъ ненависть. Поэтому ты долженъ награждать и дарить самъ, а наказаніе и принужденіе предоставить другимъ“. (см. «Госуд. люди Греціи», стр. 137). Макиавель впоследствии почти тѣми же словами высказывалъ ту же самую мысль ¹⁾. Неужели Исократъ, который, находясь въ глубокой старости, не хотѣлъ однако пережить порабощенія Греціи, могъ втайнѣ мыслить то же самое, что Ксенофонтъ высказывалъ вслухъ какъ свое твердое убѣжденіе? Впрочемъ, безъ отношенія къ Исократу, характеристика Ксенофонта, какъ писателя и политика, принадлежитъ къ самымъ удачнымъ эпизодамъ въ сочиненіи г. Бабста.

Много весьма интересныхъ подробностей содержитъ въ себѣ третья глава, въ которой авторъ переноситъ вниманіе читателя на сѣверъ Греціи и на происходившія тамъ историческія явленія. Въ этой новой группѣ Фессалія и ея политическій бытъ составляютъ первый, самый видный предметъ изслѣдованія. Чтобъ перейти отъ такъ называемой еивской гегемоніи и послѣдовавшаго за нею политическаго распада

¹⁾ Mach. Il principe, c. 19: i principi debbono le cose di carico fare amministrare ad altri, e quelle di grazie a lor medesimi. Ксенофонтъ, очевидно, служилъ здѣсь прямымъ источникомъ Макиавеля.

къ македонскому владычеству въ Греціи, авторъ не могъ поступить послѣдовательнѣе. Съ одной стороны Фессалія не во все чужда была греческаго образованія, съ другой она же была тою посредствующею территоріею, на которой впервые встрѣчалась собственно греческая политика съ македонскимъ вліяніемъ. Поэтому г. Бабстъ былъ совершенно въ правѣ—изложивъ внутреннее состояніе собственной Греціи, перевести потомъ свое изслѣдованіе на Фессалію и обозрѣть съ тою же обстоятельностью главныя условія ея политическаго быта. Ксенофонтъ, Діодоръ, Исократъ, Демосеенъ, частію же Фукидидъ, Плутархъ и Полибій опять были призваны имъ въ пособіе, чтобъ извлечь изъ нихъ положительныя свѣдѣнія о важнѣйшихъ переворотахъ, происходившихъ въ то время въ Фессаліи, и о господствующихъ стремленіяхъ князей ея. Не часто можно встрѣтить подобное обстоятельное и отчетливое изложеніе хода событій въ странѣ, довольно удаленной отъ свѣта исторіи, какою была Фессалія того времени. Даже безъ отношенія къ общей исторіи Греции, эти страницы сочиненія г. Бабста сами по себѣ составляютъ нѣкотораго рода приобрѣтеніе въ нашей исторической литературѣ. Недостаточныя свѣдѣнія, которыя находимъ о томъ же предметѣ въ историческихъ учебникахъ, пополняются ими самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Но проходя одно за другимъ важнѣйшія явленія политической жизни въ Фессаліи, авторъ, съ свойственнымъ ему историческимъ тактомъ, не могъ не остановиться съ особеннымъ вниманіемъ на одномъ изъ нихъ, которому досталось быть сильнымъ орудіемъ почти всѣхъ переворотовъ, совершавшихся тогда на сѣверѣ Греции. Это были греческіе наемники, которыми преимущественно держались князья фессалійскіе. Явленіе впрочемъ не было исключительно мѣстное: оно возникло въ самомъ центрѣ Греции и, какъ справедливо замѣчаетъ нашъ авторъ, было также однимъ изъ необходимыхъ слѣдствій разложенія греческой жизни. Слѣдовательно значеніе этого явленія было повсемѣстное, общее для цѣлой Греции, и въ такомъ смыслѣ рассматриваетъ его г. Бабстъ въ своемъ сочиненіи. Предметъ—вполнѣ достойный вниманія историка. Взявъ вопросъ о наемникахъ въ связи съ другими современными явленіями, г. Бабстъ успѣлъ объяснить посредствомъ его многое и въ общей сложности греческой исторіи послѣднихъ ея временъ. Нѣкоторые изъ добытыхъ имъ результатовъ стоятъ того чтобъ наука усвоила ихъ себѣ для своего употребленія. Особенно важенъ одинъ изъ нихъ, кратко

выраженный авторомъ въ слѣдующихъ словахъ: „Наемники и образованная ими македонская фаланга завоевали Востокъ для образованности греческой“ (стр. 167). Подробное раскрытіе этого положенія читатели найдутъ въ самой книгѣ г. Бабста, къ которой мы ихъ и отсылаемъ.

Довольно замѣчательно, что, видя въ греческихъ наемникахъ одинъ изъ главныхъ симптомовъ совершавшагося тогда разложенія стараго общественнаго быта, авторъ не отвергаетъ въ этомъ явленіи и другой стороны, которая столько же была обращена къ будущему, сколько первая—къ прошедшему:

„Въ явленіи наемниковъ стирались рѣзкія противоположности между племенами греческими. Здѣсь беотіецъ знакомился ближе съ аѳиняниномъ, послѣдній съ спартанцемъ. Общимъ отечествомъ, роднымъ очагомъ былъ для нихъ лагерь; здѣсь они собирались и толковали о своихъ дѣлахъ, какъ на любой городской площади. Замѣчательно, какъ грекъ оставался всегда вѣренъ себѣ, и какъ онъ въ лагерную жизнь переносилъ и государственное устройство свое, и политическую жизнь. Собранія лагерныя напоминаютъ намъ живо народныя вѣча въ городахъ греческихъ. Мы встрѣчаемъ здѣсь и совѣтъ и вѣче. Первый составляли начальники, второе простые наемники. Мы не будемъ подробно описывать составъ того и другого, ибо имѣли уже случай привести выше подобное совѣщаніе, со всѣми его подробностями, происходившее въ войскѣ Кира Младшаго, когда ему предложили вступить въ службу къ Севту. Это мѣсто рисуетъ лучше всего отношенія между начальниками и наемными ихъ воинами. Наемныя войска представляли самую нестрюгу толпу, и чѣмъ толпа была нестрѣе, тѣмъ было лучше, ибо ее не связывали никакія убѣжденія. Солдаты возили съ собою часто женъ и любовницъ, и этотъ обычай доведенъ былъ въ послѣдствіи до крайности, какъ это мы можемъ видѣть изъ нѣкоторыхъ извѣстій о Харесѣ, у котораго были постоянно въ войскѣ гетеры. Теперь вошло въ обычай надписывать на взятой добычѣ не имя города, а имя полководца. Много надо было имѣть энергіи, много такта, чтобы сдерживать эти буйныя толпы: оттого-то и образовались такіе суровые и крѣпкіе характеры, какіе мы видимъ въ знаменитыхъ греческихъ кондоттьерахъ“.

Въ подвижномъ лагерѣ наемниковъ также происходилъ своего рода процессъ. Здѣсь подъ однимъ знаменемъ сходились греки различнаго происхожденія, которыхъ дотолѣ разводила племенная вражда. Чѣмъ больше въ предѣлахъ однообразнаго дружиннаго быта стирались между ними рѣзкія племенные противоположности, тѣмъ больше должно было выступать наружу чувство общаго національнаго единства. Сходились аѳинянами, спартанцами, беотійцами, расходились—греками. Что незамѣтно приготавлилось внутри городовъ пу-

темъ сознательнаго мышленія, то же самое во-очію совершалось въ лагерѣ наемниковъ посредствомъ матеріальнаго соприкосновенія и уравниенія всѣхъ интересовъ подъ закономъ одной дисциплины. Упадокъ нравовъ чувствовался въ ополченіи наемниковъ можетъ-быть еще болѣе, чѣмъ въ городахъ: это было неизбежное слѣдствіе состоянія самаго общества, изъ котораго они выходили: изъ наемническаго лагеря конечно нельзя было вынести большой нравственности, но точно также, находясь въ немъ, нельзя было не отрѣшиться и отъ узкаго чувства племенного соперничества. Такимъ образомъ лагерь наемниковъ, по своему составу, былъ какъ бы зародышемъ общаго греческаго ополченія, которому недоставало лишь возвышенныхъ побужденій, чтобы направить свои усилія къ одной цѣли и заслужить себѣ имя національнаго. Другой вопросъ: кому именно досталась высокая честь облагородить стремленія греческихъ наемниковъ и указать достойное поприще ихъ подвигамъ? Но мы пока говоримъ не о событіяхъ, совершившихся впослѣдствіи, а о направленіи, которое имъ предшествовало.

Изобразивъ въ немногихъ, но весьма рельефныхъ чертахъ жизнь и дѣятельность знаменитыхъ предводителей наемныхъ дружинъ, Ификрата, Хабріа, Харидема и Тимофея, изъ которыхъ двое первые считаются и творцами новой военной тактики въ Греціи, авторъ переходитъ къ разрѣшенію послѣдняго узла въ своемъ изслѣдованіи: гдѣ и какимъ образомъ возрасла та политическая сила, которой назначено было собрать распавшіяся части Греціи и соединить ихъ подъ одною диктатурою? Нѣтъ нужды говорить, что дѣло идетъ о Македоніи. Если преимущественнымъ назначеніемъ первыхъ трехъ главъ было—показать, что Греція собственными силами не могла выйти изъ своего несчастнаго состоянія, то очень естественно, что въ послѣдней главѣ главное вниманіе автора обращено на оправданіе необходимости македонской гегемоніи. Мы имѣли уже случай сказать выше наше мнѣніе о началѣ македонскаго владычества въ Греціи: вопреки г. Бабсту мы думаемъ, что оно было катастрофой, то-есть такимъ событіемъ, котораго нельзя было предвидѣть издали, и которое совершилось прежде, нежели можно было приготовиться къ нему надлежащимъ образомъ. Обзоръ македонской исторіи, сдѣланный г. Бабстомъ въ послѣдней главѣ его сочиненія, внушаетъ намъ еще болѣе смѣлости утверждать прежде принятое нами мнѣніе. Изъ этого обзора ясно видно, что политическое могущество Македо-

было прямо созданіемъ Филиппа, и что даже при самомъ плененіи его на престолъ Македонія представляла собою со-
пенное ничтожество, по своему крайнему безсилію. „Ни-
жество Македоніи“ (слова самого г. Бабста) „было такъ ве-
о, что на нее не обращалъ никто вниманія, и почти каж-
городокъ имѣлъ болѣе значенія на политическихъ вѣсахъ
ціи, нежели этотъ несчастный клочокъ земли, отрѣзанный
моря, окруженный сильными сосѣдями, разоряемый вар-
ами, раздираемый внутренними безпокойствами“. Хотя въ
ногихъ словахъ, здѣсь впрочемъ очень вѣрно обозначено
тренное состояніе страны, и показана тайна ея слабости.
а ли Греція предчувствовать, что прежде, нежели прой-
ь и одно поколѣніе, эта самая Македонія, благодаря уму
политическому искусству одного человѣка, сдѣлается самымъ
свымъ врагомъ ея независимости? Лишь съ того времени,
ь Филиппъ вмѣшался во внутреннія дѣла Греціи, могли
имать греки всю великость опасности, которая угрожала
съ этой стороны; но тогда было ужъ поздно думать о
ромъ соединеніи всѣхъ силъ, раздѣленныхъ многолѣтнею
тренною враждою, и катастрофа неизбежно должна была
ршиться. Неизбѣжность ея признаемъ, но не видимъ до-
точныхъ причинъ доказывать вмѣстѣ необходимость маке-
скаго владычества для Греціи, какъ единственнаго возмож-
о для нея выхода изъ того состоянія, въ которомъ она на-
илась послѣ своего распадѣнія. Неизбѣжное въ исторіи
одъ не есть всегда разумно-необходимое. Въ другое вре-
если представится случай, мы надѣемся раскрыть эту
ль подробнѣе.

Къ числу самыхъ живыхъ и удачныхъ мѣстъ книги при-
ежить также очеркъ нравственнаго характера Филиппа и
его политической дѣятельности. Гораздо менѣе можно удо-
говориться тою частью изложенія, гдѣ авторъ, приступая
исторіи послѣдней войны Филиппа съ Греціею, касается
юса объ афинской политикѣ того времени и главныхъ ея
ставителяхъ. Дѣлая это замѣчаніе, мы имѣемъ въ виду
столько факты, сколько самое возрѣніе автора. Пунктъ,
которомъ онъ останавливается съ особымъ вниманіемъ, со-
сцляютъ извѣстныя отношенія между Демосееномъ и Эсхи-
ь, соперниками по таланту, которыхъ еще болѣе раздѣляло
итическое разногласіе. Г. Бабстъ открыто беретъ сторону
ина, если не для того, чтобъ прямо унизить передъ нимъ
осеена, то по крайней мѣрѣ, чтобъ очистить память его

темъ сознательнаго мышленія, тѣмъ въ лагерѣ наемниковъ не было прикосновенія и уравниенія всѣхъ одной дисциплины. Упавъ въ нѣмъ наемниковъ можетъ-быть это было неизбежное слѣдствіе котораго они выходили: изъ нѣмъ было вынести большой находясь въ немъ, нѣмъ чувства племенного соперника наемниковъ, по своему общаго греческаго ополченія вышешнихъ побужденій, нѣмъ цѣли и заслужитъ: просъ: кому именно стремленія греческихъ еще ихъ подвигамъ? I вершившихся впослѣдствіе шествовало.

Изобразивъ въ

жизнь и дѣятели

дружинъ, Ификр

рыхъ двое первы

тики въ Греціи

го узла въ сво

расла та полн

распавшіяся ч

турою? Нѣтъ.

Если преим

было—пока

выйти изъ

что въ по

даніе не

случай

владыч

оно бы

нельзя

де, не

образъ

въ по

смѣ

го

и

рыхъ Демосеенъ былъ

іе поднять неспра

ть незаслуженно

аль бы нашего

торического,

средства

депутата

что

са

обра

идеть пря

за недостат

ываетъ доволь

наго мнѣнія, или,

ица, выставляя рав

По признакамъ этого

тъ, что апологистъ нахо

средствами можно скорѣ

ицію, чѣмъ утвердить новую.

Бабста:

Эскина заклеимъ позорнымъ именемъ

наго. И древній и новый міръ произно

проклятіе надъ главою великаго соперника

потому, что онъ былъ соперникомъ послѣд

го узла въ сво

нася благороднымъ, но не практическимъ пла

го дѣла. На долю людей государственныхъ при

горькая участь. Нерѣдко слава, доброе имя,

потомства зависать отъ болѣе или менѣе

драмы, разыгрывающейся на сценѣ всемірной

или меньшей коллизіи, въ которой стоитъ лич

рокомъ, дробящимъ ее. Сострадаешь послѣд

сражающимся на поляхъ Филиппи за проигранное

судомъ исторіи правы не они, а Октавіанъ. Но

ионіку сожалѣніе о падающемъ бойцѣ, ибо ничто

и, ничто не можетъ возбудить столько интереса

нашей гордости, какъ борьба великой лично

пути исторіи. Ни въ какихъ борьбахъ, можетъ

личность столько энергіи, столько силы и доб

на порогѣ каждой новой эпохи являются сильныя

на нихъ отживающій вѣкъ возлагаетъ послѣднія

и они на плечахъ своихъ несутъ все бремя тяжелой

глубоко трагической личностью былъ Демосеенъ, и его

исключилъ собой Эскина, который въ борьбѣ съ

новымъ порядкомъ вещей, наступившаго

ее формы, а потомство, изъ симпатіи къ

Геллады, заклеимило, въ лицѣ

важнымъ позоромъ партію, противную послѣднему бойцу за Грецію. За Демосееномъ повторяемъ мы дружно всѣ обвиненія имъ на Эскина, единственно за Демосееномъ, обвиненій не знаемъ. Говорятъ, онъ бралъ деньги, а мы будемъ судить государственныхъ людей и опредѣлять степень ихъ нравственности переходившей черезъ ихъ руки? Всѣ почти не обвиняли въ подкупѣ, развѣ онъ? Развѣ Александръ не нашелъ въ эридскомъ, и счетъ деньгамъ, полученныхъ и тотъ и другой, одинъ въ полъ суждено быть гегемономъ Греціи, что можетъ, другой, утѣшая себя сомнительно, пришелъ еще часъ кончины. Къ тому же, и подкрѣпляются очень слабыми доводами. И на каждомъ шагу и выходитъ послѣ перваго побѣдителемъ. Только когда Демосеену народу, что такое Филиппъ Македонскій, и что Греція, тогда кредитъ Эскина пошатнулся, и послѣ этого онъ долженъ былъ идти въ изгнаніе. Глубокой ненависти не было между обоими великими противниками; но, когда не за что было бороться. Мы привели уже выше слова о Демосеенѣ. Когда Эскинъ отправлялся въ изгнаніе, онъ въ крайней нуждѣ. Демосеенъ пришелъ съ нимъ проститься. Тогда Эскинъ уже сѣлся на корабль, чтобы плыть въ Малую Азію, и далъ ему значительную сумму денегъ на путевыя издержки.

Что же нашелъ авторъ сказать въ пользу Эскина, его личности и образа дѣйствій? Если оставить въ сторонѣ отрицательные доводы, которыми бросается тѣнь подозрѣнія на противника его, Демосеена, то остается только положеніе, что Эскинъ былъ „покорнымъ слугою новаго порядка вещей, наступившаго для Греціи, измѣнявшаго ея формы“. Не велика честь для кого бы то ни было, тѣмъ болѣе для государственнаго мужа и даровитаго оратора! Въ томъ-то и состоитъ нравственное величіе характера и подвига Демосеена, что и съ малыми средствами онъ не отчаивался еще отвратить эту бѣду, грозившую Греціи, и на опасную борьбу приносилъ всѣ силы своего таланта. Нашъ авторъ, заранѣе расположивъ свое мнѣніе въ пользу такъ называемаго имъ новаго порядка вещей въ Греціи, конечно не могъ не принять сторону оратора, который употреблялъ всѣ усилія, чтобы склонить къ нему своихъ согражданъ; но намъ кажется, что Эскина едва ли можно оправдать даже съ этой точки зрѣнія. Въ то время, когда дѣйствовалъ Эскинъ, новый порядокъ вовсе еще не наступилъ; благотворное вліяніе его на Грецію, если оно и было, да и будь, тогда еще не началось и не могло быть ни

дано; если и позволительно было призывать его, то развѣ какъ бѣду, которой нельзя было миновать, или прямо изъ корыстныхъ видовъ. Очевидно, что здѣсь не было мѣста ни горячему патріотизму, ни высокому воодушевленію. Но вѣрный своей основной мысли, авторъ хотѣлъ, во что бы то ни стало, поднять Демосеенова противника. Что же вышло? Главное обвиненіе опровергнуть ему не удалось, и чтобъ ослабить силу его, онъ принужденъ былъ распространить это же самое обвиненіе и на Эскинова соперника: бралъ деньги Эскинъ; но вѣдь въ томъ же обвиняють и Демосеена. Эскинъ не оправданъ, какъ бы слѣдовало, а между тѣмъ и на безсмертнаго поборника греческой независимости брошена безъ нужды и правды тѣнь подозрѣнія! Мы сомнѣваемся, чтобъ подобное употребленіе апологіи могло принести пользу наукѣ.

Херонейскою битвою и послѣдовавшею вскорѣ за нею смертію Филиппа, авторъ заключаетъ свое изслѣдованіе. Ограничивъ свою задачу лишь эпохою распадѣнія, г. Бабстъ не могъ выбрать лучшаго момента для того, чтобъ заключить свой прекрасный трудъ. Разбирая его, мы имѣли въ виду преимущественно общее воззрѣніе автора на данную эпоху. При внимательной филологической повѣркѣ нашлось бы также и нѣсколько недосмотровъ въ самыхъ подробностяхъ, на что уже указано было автору на публичныхъ возраженіяхъ, и что могло бы служить признакомъ излишней поспѣшности въ работѣ. При всемъ томъ мы не можемъ не отдать должной справедливости таланту г. Бабста и его превосходному способу изложенія, которые даютъ его книгѣ видное мѣсто въ нашей исторической литературѣ.

Древнѣйшая римская исторія по изслѣдованію Шwegлера.*

Römische Geschichte von Dr. A. Schwegler. Тюбингенъ. 1853.
Первая книга.

I.

Римская исторія давно кончена, но для римской исторіографіи далеко еще не видится конца впереди. Подумаешь, она еще только началась и не успѣла установить ни одного твердаго положенія. Все еще такъ зыбко въ ней; рѣдкое положеніе не оказывается спорнымъ; едва только опредѣлился одинъ взглядъ, какъ онъ тотчасъ возбуждаетъ противъ себя множество противорѣчій. Воззрѣнія, одно другому противоположныя, оспариваютъ другъ у друга римскую исторію. Самыя первыя начала ея, повидимому, нисколько не опредѣлены и не установлены: новые историки Рима весьма неторопливо подвигаются впередъ именно потому, что очень долго задерживаются на нихъ. Можно сказать, что до сихъ поръ еще около этого пункта сосредоточены главныя силы историческаго скептицизма и его противниковъ. Даже знаменитое нибуровское рѣшеніе вопроса, сдѣлавшее эпоху въ новой исторіографіи, повидимому, не подвинуло дѣло впередъ. Лишь немногіе изъ послѣдователей великаго историка хотятъ держаться его буквально; другіе же явно отступаются отъ любимыхъ положеній своего учителя; наконецъ неутомимые противники его воззрѣнія на римскую исторію тѣмъ сильнѣе и незастѣнчивѣе возвышаютъ свой голосъ, чѣмъ больше удаляются отъ него по времени. Приходитъ на мысль, что нападеніе становится тѣмъ смѣлѣе, чѣмъ больше ослабѣваетъ сила отраженія. Не прошло еще и полной четверти вѣка со времени смерти историка, какъ ужъ

* Напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1854 г.

многія его сооруженія потрясены въ самомъ основаніи. Итакъ зданіе, которое само построено было на развалинахъ другого, оказалось еще менѣе его прочно. Итакъ мысль, неутомимо работавшая въ продолженіе нѣсколькихъ десятилѣтій надъ одною задачею, была лишена производительной силы и способна развѣ только на разрушеніе?

Надобно имѣть довольно превратное понятіе о духѣ науки, чтобъ принять измѣнчивость обращающихся въ ней предположеній за ея собственную несостоятельность. Падаютъ, одно за другимъ, различныя частныя воззрѣнія, но остается всегда неизмѣнная основа первоначальныхъ историческихъ данныхъ, къ которой, волею или неволею, приходится возвращаться вновь послѣ каждаго кризиса отдѣльных мнѣній. Ея не уничтожить никакой скептицизмъ, не подорветъ никакая критика: она остается навсегда, хотя бы и не признанная частью изслѣдователей, и работа надъ нею не прекратится до тѣхъ поръ, пока то или другое личное воззрѣніе, послѣ многихъ колебаній, не придетъ въ совершенный уровень съ этимъ первоначальнымъ матеріаломъ. Наука не равнозначительна понятію полной побѣды: борьба съ даннымъ матеріаломъ, усиліе одолѣть его мыслью—необходимое условіе ея существованія и главный признакъ ея жизненности. Не то возвышаетъ цѣну личнаго воззрѣнія, что оно не встрѣчаетъ себѣ много возраженій, но сила движенія, возбужденнаго имъ въ наукѣ, и плодотворность идеи, положенной ему въ основаніе. Частности могутъ казаться ошибочны, какъ плодъ слишкомъ поспѣшнаго вывода; многія отдѣльныя положенія могутъ быть и вовсе устранены дальнѣйшею критикою, какъ слѣдствія неумѣреннаго увлеченія одною любимомъ мыслью; при всемъ томъ, если основное воззрѣніе, выдержавъ множество болѣе или менѣе сильныхъ нападеній, еще продолжаетъ дѣйствовать въ наукѣ, и даже, переходя изъ однихъ рукъ въ другія, не перестаетъ оказывать ощутительное вліяніе на ея дальнѣйшее развитіе, мы не можемъ сомнѣваться въ его плодотворности. Колебанія въ ту и другую сторону неизбежны; несмотря на то, нѣкоторые воззрѣнія до такой степени укоренились въ соотвѣтствующей имъ области знанія, что ихъ почти можно поравнять по силѣ и твердости съ первоначальнымъ матеріаломъ. Ихъ также нельзя ни уничтожить, ни обойти совершенно; къ нимъ также надобно возвращаться всякій разъ, какъ только дѣло коснется обсужденныхъ или хотя только поднятыхъ ими вопросовъ. Шампольионъ не един-

ственный примѣръ въ своемъ родѣ. Нибуровское воззрѣніе на первоначальную римскую исторію не менѣе тѣсно срослось съ нею. Всякую книгу, вновь выходящую по римской исторіи, мы непременно встрѣчаемъ вопросомъ: какъ относится она къ Нибуру и его критикѣ? И нѣтъ еще книги, которая, принадлежа сюда, не спѣшила бы дать за себя отвѣтъ на этотъ вопросъ въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ. Путешественники, видѣвшіе развалины Вавилона, говорятъ, что на каждомъ кирпичѣ сохранились слѣды письменъ, можетъ-быть означающихъ чье-нибудь имя; мы можемъ сказать, что въ продолжающемся на нашихъ глазахъ построеніи древней исторіи Рима, каждый камень кладется вновь—съ именемъ Нибура.

Въ послѣднее время самая замѣчательная попытка обновить прежнее воззрѣніе на римскую исторію, возвратить нашу мысль къ прежнимъ ея основаніямъ, принадлежитъ, безъ сомнѣнія, гг. Герлаху и Бахофену. Опираясь на вѣрованія самихъ римлянъ, на ихъ религіозныя понятія, они взяли на себя трудъ вновь утвердить на нихъ потрясенное зданіе начальной римской исторіи въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оно существовало до новѣйшей исторической критики. вмѣстѣ съ тѣмъ они обѣщали показать смыслъ многихъ явленій древней римской жизни съ новой точки зрѣнія. По ихъ мнѣнію, вѣра римскаго народа въ своихъ боговъ не только составляетъ важный моментъ въ его исторической жизни, но и даетъ всей его исторіи совершенно особенный колоритъ. Не признавъ этого значенія въ римскомъ преданіи, тѣмъ болѣе не почерпнуть изъ него основанія для критики историческихъ извѣстій, значить, по убѣжденію тѣхъ же историковъ, не понимать историческихъ требованій ¹⁾. Не иначе, какъ чрезъ римское знаніе и римскія понятія можемъ мы прійти къ настоящему пониманію самыхъ дѣлъ римскихъ, и нигдѣ это правило не прилагается съ такою силою, какъ въ начальной исторіи Рима. Не трудно видѣть, что нападеніе угрожало нибуровскому воззрѣнію не только въ частностяхъ, но въ цѣломъ его составѣ, что оно направлено противъ основаній его идеи. Успѣхъ нападенія, повидимому, обезпечивался не тѣмъ только счастливымъ обстоятельствомъ, что въ одномъ предпріятіи соединились два отдѣльныя лица, которыя умѣли совершенно уравновѣсить свои понятія какъ о цѣломъ ходѣ римской исторіи, такъ и о раз-

¹⁾ См. Geschichte der Römer von Gerlach и Bachofen, Vorwort.

ныхъ частяхъ ея: на сторонѣ гг. Герлаха и Бахофена, сверхъ того, остается неоспоримое знаніе дѣла, приготовленное столько же добросовѣстнымъ изученіемъ источниковъ, сколько и ближайшимъ знакомствомъ съ самою мѣстностью. Никто потомъ не будетъ отвергать замѣчательнаго таланта въ изображеніи страны и ея состоянія въ различныя эпохи исторіи, отчего самое историческое изложеніе необыкновенно какъ много выигрываетъ въ живости и воодушевленіи. Кому бы ни принадлежало описаніе римской Кампаніи въ «Исторіи римлянъ», тому или другому ея автору, оно, по всей справедливости, можетъ быть названо образцовымъ въ своемъ родѣ. Еще предпріятіе далеко отъ того, чтобъ прійти къ своему концу; но вышедшія доселѣ двѣ книги ужъ обняли въ себѣ все время, предшествовавшее основанію Рима, и весь періодъ римскихъ царей; начало, высказанное авторами въ предисловіи, нашло себѣ обширное приложеніе, и методъ ихъ достаточно опредѣлился. Надобно признаться, что авторы остались вѣрны во всемъ своему основному воззрѣнію. Повидимому, и цѣль ихъ совершенно достигнута: древняя римская исторія дѣйствительно возстановлена въ сочиненіи Герлаха и Бахофена согласно съ вѣрованіями самихъ римлянъ. Мы можемъ сказать даже болѣе: преслѣдуя съ необыкновеннымъ постоянствомъ однажды принятое направленіе, они успѣли открыть какъ въ исторіи народа, такъ и въ самомъ его правѣ, гораздо больше послѣдовательности извѣстныхъ мыслей, нежели сколько знали о томъ, или вѣрили сами римскіе историки, представители римской науки вообще. Мало того, что достовѣрность Ромула и ближайшихъ его преемниковъ, какъ историческихъ лицъ, по рѣшительному отзыву авторовъ новой «Исторіи римлянъ», не подлежитъ болѣе никакому сомнѣнію: самая теорія ихъ власти, разъясненная тѣми же писателями, ничѣмъ почти не отличается отъ современныхъ намъ понятій о томъ же предметѣ. Исторія болѣе чѣмъ двухъ тысячелѣтій не прибавила ни одной новой черты къ прежнимъ понятіямъ. Современникамъ Ромула не доставало только образованія и привычки излагать свои мысли на бумагѣ, чтобъ совершенно уравниваться съ нами во взглядѣ на нѣкоторыя важнѣйшія основанія общественнаго быта. Они думали почти одинаково съ нами, и лишь недостатокъ развитія помѣшалъ имъ высказаться съ полною опредѣленностью; а можетъ-быть и потеря многихъ памятниковъ виною тому, что до насъ не дошло полного выраженія ихъ юридическихъ понятій. Но гг. Герлахъ и Бахофенъ

взяли на себя трудъ по немногимъ остаткамъ возстановить настоящій смыслъ древняго римскаго воззрѣнія на право, и открыли въ немъ связь идей, которой до сего времени никто и не подозрѣвалъ внѣ христіанскихъ временъ ¹⁾).

Нѣтъ спора, что, слѣдуя за такими вожаатыми, мы далеко ушли впередъ: но точно ли мы обогнали Нибура, оставили его далеко позади себя? Самая эта крайность новаго воззрѣнія, которое, даже уходя въ римскую старину, не можетъ ни на минуту разстаться съ нѣкоторыми любимыми идеями нашей современности и такъ легко усваиваетъ ихъ самымъ отдаленнымъ эпохамъ исторіи, не убиваетъ ли вѣру въ его научное достоинство и не возвращаетъ ли нашу мысль тѣмъ съ большею довѣренностью къ Нибуру и его основному взгляду на римскую древность? Чѣмъ больше противники его вносятъ преувеличеній, тѣмъ больше оправдывается его критика. Чѣмъ усильѣе стараются, въ противорѣчіе ему, возвысить цѣну римскихъ историческихъ преданій, тѣмъ ниже падаютъ они во мнѣніи читателя, тѣмъ живѣе чувствуется недостатокъ критики фактовъ. Оттого только, что намъ передадутъ давно извѣстныя сказанія о подвигахъ Энея въ Лациумъ съ видомъ большей увѣренности въ ихъ истинѣ, мы не сдѣлаемся довѣрчивѣе. Подновленное вѣрованіе римлянъ въ историческое существованіе героевъ ихъ древности, не есть еще достаточное основаніе для нашихъ убѣжденій, точно также, какъ толкованіе древнихъ юридическихъ понятій въ новомъ смыслѣ не можетъ еще служить доказательствомъ, чтобъ сами римляне понимали ихъ одинаково съ нами. Впрочемъ мы не пишемъ критики на Герлаха и Бахофена, предоставляя знатокамъ дѣла провѣрить всѣ основанія ихъ воззрѣнія, вновь открытыя ими въ римскихъ источникахъ: мы предпочитаемъ съ своей стороны познакомить русскихъ читателей съ новою книгою о римской исторіи Швеглера, которая, по нашему мнѣнію, служить лучшимъ отвѣтомъ на новый опытъ попятнаго движенія въ историческомъ изслѣдованіи, представленный вышедшими до сихъ поръ частями «Исторія римлянъ». Не то, чтобъ книга Швеглера написана была прямо въ отвѣтъ на сочиненіе гг. Герлаха и Бахофена: она давно приготавлилась, независимо отъ него, самостоятельными изслѣдованіями автора о важнѣйшихъ вопросахъ древней римской

¹⁾ Ссылаемся на все второе отдѣленіе 1-го тома «Исторіи римлянъ» и въ особенности на послѣднюю главу въ немъ.

исторіи, которыя долгое время производимы были имъ въ учебномъ кабинетѣ и потомъ повѣрены на мѣстѣ самыхъ событій; но появленіе ея *послѣ* «Исторіи римлянъ» пришлось какъ нельзя болѣе ко времени, чтобъ дать намъ въ руки осязательное доказательство того, что касательно вопроса о началахъ римской исторіи, несмотря на нѣкоторыя частныя уклоненія, наука тѣмъ не менѣе продолжаетъ идти вѣрнымъ путемъ къ своей цѣли.

Эпиграфъ, очень удачно взятый изъ римской же литературы и подписанный однимъ изъ самыхъ авторитетныхъ именъ въ ней, весьма вѣрно выражаетъ главное направленіе автора и общій характеръ его изслѣдованій. Держаться наиболѣе вѣроятнаго и не выходить изъ предѣловъ достовѣрнаго, съ твердою готовностью защищать свои выводы, впрочемъ безъ слѣпнаго предубѣжденія къ противорѣчающимъ мнѣніямъ—таковъ лозунгъ, который авторъ ставитъ тотчасъ послѣ заглавія своего сочиненія ¹⁾. Отсюда ужъ частью можно видѣть отношенія новой «Римской исторіи» къ нибуровскому воззрѣнію. Швеглеръ не принадлежитъ къ числу тѣхъ слѣпыхъ поклонниковъ великаго историка, которые готовы съ отчаяннымъ усиліемъ мысли отстаивать каждое его предположеніе, потому только, что оно носитъ на себѣ его имя, отъ него ведетъ начало; но онъ знаетъ настоящую цѣну заслугъ Нибура наукѣ и умѣетъ при всякомъ случаѣ воздать ему должное. Мы приведемъ его собственныя слова, лучше всего показывающія его отношенія къ основателю новаго воззрѣнія на римскую исторію. „Можно сказать со всею справедливостью, что изъ всѣхъ изслѣдователей, трудившихся надъ обработкою древней римской исторіи, Нибуръ былъ первый, который бросилъ вѣрный взглядъ на ея развитіе и представилъ въ настоящемъ свѣтѣ происхожденіе, связь и отношеніе между собою древнихъ римскихъ учреждений, по крайней мѣрѣ въ главныхъ ихъ основаніяхъ“. Авторъ признается, что, сначала несогласный съ Нибуромъ во многихъ отдѣльныхъ пунктахъ, онъ тѣмъ болѣе приближался къ нему, чѣмъ далѣе простирался самъ въ своихъ изслѣдованіяхъ, и наконецъ пришелъ къ тому убѣжденію, что, какъ ни много еще остается повѣрить и дополнить премникамъ Нибура, впрочемъ въ главныхъ историческихъ во-

¹⁾ Cic. Tusc., II, 2, 5: Nos, qui sequimur probabilia, nec ultra quam ad id, quod veri simile occurrit, progredi possumus, et refellere sine pertinacia, et refelli sine iracundia parati sumus

юсахъ онъ вездѣ почти угадалъ истину. „Его положенія час-
то потому только кажутся произвольными, что онъ наведенъ
былъ на нихъ своимъ вѣрнымъ историческимъ тактомъ, преж-
де чѣмъ могъ дать имъ наукообразное основаніе, и по необ-
ходимости долженъ былъ довольствоваться такими доказатель-
ствами, которыя не выдерживаютъ строгой и безпристраст-
ной критики. Въ этомъ состоитъ слабая сторона Нибура. Ка-
чественно римскаго государственнаго права, большая часть глав-
ныхъ положеній остаются тѣ же и въ наше время; но раз-
ница состоитъ въ томъ, что мы можемъ указать для нихъ
опредѣленные твердыя основанія и защищать ихъ съ большею увѣрен-
ностью“ ¹⁾. Эта правильная оцѣнка заслугъ Нибура и его
значенія въ современной историографіи тѣмъ важнѣе для насъ,
что она не есть плодъ личнаго увлеченія автора одною люби-
мою идеею, но логическій результатъ постоянныхъ его наблю-
деній и собственныхъ занятій римскою исторіею.

Начинать римскую исторію прямо съ основанія Рима бы-
ло бы въ наше время большимъ анахронизмомъ. Новая истори-
ческая критика, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ
неутомимо работавшая надъ вопросомъ о происхожденіи рим-
скаго народа и первыхъ условій его политическаго существо-
ванія, накопила такъ много разнороднаго матеріала, что со-
временнымъ историкамъ приходится о многомъ еще перегово-
рить напередъ pro и contra, прежде чѣмъ начать самую исто-
рію. Никто поэтому не поставитъ въ упрекъ Шwegлеру, что
онъ открываетъ свои изслѣдованія подробнымъ обзоромъ ис-
точниковъ римской исторіи. Въ этомъ случаѣ онъ остается
овершено вѣренъ какъ нибуровскому методу, такъ и совре-
менному состоянію вопроса. Не принявъ напередъ нѣкоторыхъ
мѣреній относительно его, нельзя разсуждать о достовѣрности
или недостовѣрности тѣхъ событій, о которыхъ рассказыва-
ютъ римскія историческія преданія. Гг. Герлахъ и Вахофенъ
почти вовсе обошли этотъ вопросъ, поставивъ на его мѣстѣ
обстоятельное описаніе самой мѣстности, на которой происхо-
дили главныя событія древней римской исторіи. Описаніе уда-
лось имъ какъ нельзя больше; но мы не думаемъ, чтобъ они
были въ правѣ спрятаться за нимъ и такимъ образомъ избѣ-
жать необходимости сдѣлать правильную оцѣнку источниковъ
и ихъ употребленія позднѣйшими историками. Шwegлеръ ко-
нечно не могъ сообщить очень много новаго по этому пред-

¹⁾ См. Röm. Geschichte von Schwegler, p. 147.

мету, потому что вопросъ взвѣшенъ ужъ давно; но онъ по крайней мѣрѣ собралъ всѣ извѣстные результаты и не оставилъ читателя въ сомнѣніи о своемъ собственномъ образѣ мыслей. Дѣло въ томъ, что мы имѣемъ начальную римскую исторію изъ вторыхъ и даже изъ третьихъ рукъ. Собственно такъ называемые источники ея не дошли до насъ: они погибли частью отъ времени, частью въ ужасныхъ катастрофахъ, не одинъ разъ истреблявшихъ государственные архивы древняго Рима; до насъ достигли чрезъ цѣлый рядъ вѣковъ лишь скудныя *извѣстія о нихъ*, и можетъ-быть нѣсколько отдѣльных мѣстъ въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ писателей, впрочемъ довольно сомнительнаго свойства. Такъ Геллій, ссылающійся иногда на лѣтописи, извѣстныя подъ именемъ *Annales pontificum*, очевидно бралъ свои показанія не прямо изъ нихъ самихъ, а изъ сочиненій нѣкоторыхъ пользовавшихся ими анналистовъ. Есть также нѣкоторые довольно ясные *слѣды* частныхъ хроникъ, замѣченные еще Нибуромъ: почти не остается сомнѣнія, что анналисты имѣли ихъ у себя подъ руками, но нѣтъ никакого положительнаго доказательства, чтобъ позднѣйшіе римскіе историки, изъ которыхъ мы заимствуемъ большую часть нашихъ свѣдѣній о древнемъ Римѣ, могли пользоваться ими непосредственно. Монументальная исторія первыхъ четырехъ вѣковъ римской эры могла еще оказать нѣкоторое пособіе римскимъ писателямъ: такъ во время Полибія и Діонисія существовали еще надписи на памятникахъ и нѣсколько подлинныхъ договорныхъ грамотъ, которыя они могли видѣть своими собственными глазами. Но и эти немногіе остатки въ наше время не существуютъ болѣе, и ссылки на нихъ римскихъ археологовъ имѣютъ для насъ лишь то значеніе, что мы не можемъ безусловно отвергать ихъ показаній, зная, что римская древность не вовсе лишена была документальной основы. Притомъ надобно замѣтить, что извѣстія, которыхъ источникомъ служили договорныя грамоты, часто находятся въ яркомъ противорѣчій съ тѣмъ, что дошло до насъ путемъ обыкновеннаго историческаго преданія. Шваглеръ положительно утверждаетъ это о древнихъ договорахъ Рима съ Габіями, съ кароагенянами и съ латинцами (р. 20). Свидѣтельство же памятниковъ искусства, уцѣлѣвшихъ отъ древняго періода до первыхъ вѣковъ христіанства, слишкомъ неточно и неопредѣленно, чтобъ могло замѣнить недостатокъ другихъ, болѣе положительныхъ извѣстій о нѣкоторыхъ древнихъ статуяхъ. Римляне сами расходились между собою во

мѣніяхъ, не зная заподлинно, кого онѣ должны были изобразить. Плиній конечно думалъ, что капитолійскія статуи римскихъ царей современны имъ самимъ; но онъ вѣрилъ даже существованію статуи изъ времени Эвандра!

За подробностями касательно того же предмета отсылать читателей къ самой книгѣ Швеглера, гдѣ они найдутъ полный сводъ всего, что относится къ критической оцѣнкѣ источниковъ начальной римской исторіи. Довольно сказать, по общій выводъ автора, твердо основанный на многихъ частныхъ изслѣдованіяхъ, нисколько не благоприятствуетъ мнѣнію тѣхъ, которые готовы принять на-слово всѣ римскія пренія потому только, что они были укорены въ вѣрованіяхъ нашихъ римлянъ. Не можетъ быть никакого сравненія между разумными требованіями современной исторической критики и такими слабыми ея зачатками, которыми въ свое время довольствовалась римская исторіографія; ушли же мы на столько впередъ отъ римлянъ, чтобъ лучше ихъ понимать требованія науки, хотя бы дѣло касалось ихъ собственной исторіи; однако сами римскіе повѣствователи не такъ же буквально вѣрили всему, что только находило мѣсто въ ихъ изложеніи, и срдѣко предоставляли на выборъ самого читателя такъ или иначе понимать рассказанные ими опыты. Изложивъ исторію царей, первыхъ консуловъ, децемвировъ, нашествія галловъ, другія событія первыхъ трехъ съ половиною столѣтій Рима, Ливій признается потомъ въ самомъ вступленіи въ шестую книгу своего повѣствованія, что все это „дѣла темныя“ (*gestae tenebrae nimia obscuras*), какъ потому, что они слишкомъ отдалены по времени, такъ и потому, что письменныя свидѣтельства—эта единственная твердая опора исторической памяти—были въ то время слишкомъ скудны и рѣдки, да и въ болѣею частью погибли неозвратно въ болѣею римскомъ пожарѣ. Если къ этому прибавить, что письмена, какъ то видно изъ новыхъ изслѣдованій, вошли въ употребленіе въ Римѣ лишь со времени Тарквиніевъ, то выраженное Ливіемъ мнѣніе о недостаточности древнихъ литературныхъ памятниковъ найдетъ себѣ полное оправданіе. Гг. Герлахъ и Захофенъ могли, по своему желанію, оставить этотъ вопросъ въ сторонѣ, почти совершенно обойти его, но тѣмъ они не только не устранили прямо вытекающихъ изъ него слѣдствій. Какъ ни краснорѣчиво говорила за себя природа страны, она одна, безъ помощи историческихъ свидѣтельствъ, не въ состояніи будетъ опредѣлять намъ ни одного событія изъ жизни

народа. Швеглеръ, по нашему мнѣнію, былъ совершенно правъ, когда, по примѣру многихъ своихъ предшественниковъ, началъ прямо съ вопроса объ источникахъ, поставивъ его точкою отправленія для своихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій. Отрицательный результатъ, къ которому онъ пришелъ въ своемъ рѣшеніи, ведетъ не къ тому, чтобъ отвергнуть древній періодъ римской исторіи, какъ исторіи, не имѣющей достаточно крѣпкихъ научныхъ основаній, но чтобъ пользоваться извѣстіями о немъ съ большею осмотрительностью, подвергая ихъ оцѣнкѣ строгой критики. Не этими ли же требованіями руководился Нибуръ, когда разбиралъ по частямъ старое заданіе, которое до него принималось за римскую исторію въ древнемъ періодѣ? Швеглеръ очевидно находится на той же самой и едва ли не единственно вѣрной дорогѣ; но въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, онъ не идетъ слѣпо за своимъ опытнымъ вожатымъ. Если ему хорошо видны главные достоинства критики Нибура, то также замѣтны его ошибки. Поэтому не удивительно, что извѣстное нибуровское предположеніе о существованіи въ Римѣ народного эпоса, который, по мысли историка, долженъ былъ служить однимъ изъ главныхъ источниковъ, откуда позднѣйшіе римскіе писатели черпали свои извѣстія о событіяхъ стараго времени, встрѣчаетъ себѣ въ нашемъ авторѣ весьма рѣшительнаго противника. Не онъ первый отвергаетъ это смѣлое предположеніе: противорѣчія ему, болѣе или менѣе основательныя, слышались еще и прежде, какъ при жизни Нибура, такъ и по смерти его. Мысль, впервые имъ высказанная со всею опредѣленностью, такъ рѣзко отдѣлялась отъ всего, что извѣстно было о природѣ римскаго образованія и его характерѣ, что не могла тотчасъ же не броситься въ глаза своею особенностью. Первые нападенія были не довольно мѣткі, потому что выходили больше изъ непосредственнаго чувства, которое инстинктивно не допускало предположенія, нежели изъ отчетливаго пониманія дѣла; но чѣмъ пристальнѣе всматривались въ характеръ римскихъ историческихъ сказаній, и чѣмъ внимательнѣе были къ самой природѣ римскаго народа, тѣмъ очевиднѣе становилась неосновательность гипотезы, можетъ-быть подсказанной автору нѣсколько нетерпѣливымъ желаніемъ поскорѣе наполнить ту пустоту, которая оставалась послѣ критической расчистки прежнихъ основаній для римской древности. Швеглеръ въ своей книгѣ наноситъ предположенію Нибура новый и, кажется, послѣдній ударъ. Послѣ его доводовъ и

ображеній трудно будетъ взять на себя защиту мысли, которая во всѣхъ почти отношеніяхъ оказывается несостоятельною.

Намъ показались особенно заслуживающими вниманія тѣ ображенія Швеглера, которыя основаны, такъ сказать, на утренней недостоверности факта, утверждаемаго нибуровой гипотезой. Можетъ-быть они покажутся слишкомъ строги, но едва ли найдутъ ихъ недовольно основательными. Мы шведемъ въкоторыя сюда относящіяся мѣста книги.

„Вообще нѣтъ основанія думать, чтобъ въ Римѣ когда-нибудь ощущалъ національный эпосъ. Римлянамъ не доставало тѣхъ необходимыхъ элементовъ и условій, которые сдѣлали возможнымъ это явленіе въ Греціи. Удаленные отъ морского берега, незнакомые съ вселенными морскихъ путешествій и потому чуждые духу приключеній, они ограничивали свои занятія земледѣліемъ и скотоводствомъ и цѣлую своихъ полей отъ постороннихъ нападений. Живя такимъ образомъ въ постоянной враждѣ съ сосѣдственными племенами, у себя дома—вполнѣ преданные своимъ суевѣрнымъ понятіямъ и обычаямъ, горные связывали каждое ихъ движеніе, воспитываясь въ строгомъ изображеніи отеческихъ нравовъ и постоянно обращаясь въ заповѣднѣмъ кругу своего крѣпко организованнаго общества, безъ врожденнаго глубокаго чувства поэзіи, они скорѣе отличались своимъ практическимъ духомъ, трезвостью своей фантазіи и рѣшительною склонностью къ рефлексіи; соединенные первоначально не единствомъ происхождения, крови, но лишь однимъ юридическимъ союзомъ, они еще прежде, чѣмъ стать народомъ, составили ужъ изъ себя городъ, или гражданское общество, существующее на юридическихъ основаніяхъ, потому съ самаго начала преимущественно направленное къ развитію юридическаго быта. И отъ этихъ-то римлянъ хотимъ мы такого обилія поэтическихъ сказаній, какое находимъ у народовъ, отъ природы одаренныхъ творческою фантазіей, рано сроднившихся съ мифомъ и смѣло переносившихся по волнамъ его въ отдаленныя страны! Какъ не создали римляне своей богатой мифологіи, которая бы могла равняться съ греческою, такъ напрасно стали бы мы искать у нихъ народной эпической поэзіи. Ужъ одно то обстоятельство, что Римъ произвелъ ни одного замѣчательнаго творческаго таланта, что знаменитѣйшіе поэты въ латинской литературѣ не были природные итальянцы, и всѣ вышли изъ рядовъ преждебывшихъ римскихъ союзниковъ, достаточно показываетъ, какъ мало имѣлъ этотъ народъ призванія къ поэзіи“.— „Но всего рѣшительнѣе говоритъ противъ Нибуровой гипотезы самый характеръ и содержаніе традиціонной исторіи великаго Рима: такъ мало она походитъ на произведеніе народной поэзіи, такъ чужда всего, что напоминало бы въ ней первоначальную форму народныхъ историческихъ пѣсней. Составъ ея скорѣе показываетъ, что она есть плодъ рефлексіи и обдуманности. Если угодно, и въ тоже поэзіи, а не настоящее историческое преданіе; но эта поэзія укоренилась своими корнями въ землѣ, не сходитъ съ исторической поч-

вы, постоянно пѣпляется за факты, имена, обычаи, учрежденія, суевѣрія и другіе остатки прошедшаго и даже, можно сказать, часть выросла изъ этихъ элементовъ; однимъ словомъ, если взять главную основу ея содержанія, то она состоитъ изъ этиологическихъ мифовъ, а всѣ прочія ея части сложились на основаніи старыхъ юридическихъ преданій. Эти преданія о началахъ римскаго государства и права и есть, относительно говоря, самое достовѣрное въ дошедшей до насъ исторіи древняго Рима, крѣпкое ядро ея; но по самой натурѣ своей они всего менѣе и могли быть предметомъ народной поэзіи¹⁾.

Понятіе объ этиологическомъ мифѣ, которому придается такое обширное значеніе въ древней римской исторіи, можетъ показаться недовольно яснымъ. Нѣсколько ниже Швеплеръ полнѣе высказываетъ свою мысль о немъ, и мы еще разъ воспользуемся его собственными словами, чтобъ передать въ нихъ читателю самое воззрѣніе автора на характеръ историческихъ преданій, которыя принадлежать римской древности.

„Большая часть этихъ преданій есть не что иное, какъ—да позволено будетъ мнѣ употребить это выраженіе—этиологическіе мифы, т. е. они рассказываютъ цѣлыя событія или отдѣльные случаи, нарочно придуманные, чтобъ генетически объяснить нѣчто данное, фактически существующее, будетъ ли то какой обычай, суевѣрный обрядъ, учрежденіе, или только названіе какой мѣстности, урочища, памятника и т. п. Этиологическій мифъ имѣлъ свои существенныя отличія. Онъ несомнѣнно принадлежитъ къ области мифа, потому что на мѣсто дѣйствительнаго событія ставитъ вымыселъ, который и составляетъ содержаніе разсказа, но въ то же время онъ отличается отъ мифа въ собственномъ смыслѣ, потому что, не имѣя въ своей основѣ никакого идеальнаго представленія, беретъ свое начало отъ эмпирическаго даннаго, которое такимъ образомъ служитъ мотивомъ и вмѣстѣ главной темой для мифическаго разсказа, поставляющаго своею цѣлью объяснить его происхожденіе. Это самыя ранніе и большею частью еще дѣтскіе опыты исторической гипотезы. Первоначальная римская исторія особенно богата мифическими разсказами этого рода; примѣромъ могутъ служить: исторія Эвандра, подвиги Геркулеса въ Римѣ, разсказъ о Потіціяхъ и Пинаріяхъ, свинья съ 30 поросятами, похищеніе сабинянокъ, басня о Тарпейѣ, основаніе храма Юпитера Статора и т. п. «Римскіе вопросы» Плутарха составляютъ богатое и вмѣстѣ поучительное собраніе подобныхъ этиологическихъ мифовъ“¹⁾.

Какого бы впрочемъ происхожденія ни были древнія римскія саги, онѣ достигли до насъ далеко не въ первоначальномъ своемъ видѣ. Мы имѣемъ ихъ изъ вторыхъ и изъ третьихъ рукъ; мы приняли ихъ нѣсколько разъ пере-

¹⁾ См. Schwegler, Röm. Geschichte, p. 58—62.—²⁾ Idem, p. 69.

работанными въ самой римской исторіографіи. По крайней нуждѣ мы могли бы поставить на мѣсто первоначальныхъ источниковъ, за неимѣніемъ ихъ, тѣхъ римскихъ писателей, которые дошли до насъ. Но всѣ они принадлежатъ ужъ позднѣйшему періоду римской исторіи: прежде чѣмъ начали излагать ее въ болѣе или менѣе художественной формѣ, она долгое время была обрабатываема старыми римскими *анналистами*. Къ сожалѣнію, римскіе *анналисты* почти такъ же неизвѣстны, какъ и ихъ первоначальные источники. Мы знаемъ ихъ имена, весьма немногія обстоятельства ихъ жизни, время, въ которое они жили и писали свои сочиненія; располагаемъ также небольшимъ числомъ отрывковъ изъ ихъ давно утраченныхъ произведеній и, сверхъ того, довольно многочисленными ссылками на нихъ позднѣйшихъ писателей, откуда дѣлаемъ прямое заключеніе, что собственно такъ называемые римскіе *историки* многое должны были заимствовать отъ своихъ предшественниковъ; но мы не имѣемъ болѣе возможности сличить ихъ между собою, повѣрить однихъ другимъ, и въ большей части случаевъ принуждены ограничиваться лишь позднѣйшими показаніями историковъ. При такомъ состояніи извѣстій о древней римской исторіи, какъ не хотѣть отдать должную справедливость тѣмъ, которые, вовсе не будучи скептиками, однако, по долгу добросовѣстныхъ историковъ, весьма недовѣрчиво смотрятъ на римскія преданія и принимаютъ ихъ не иначе, какъ провѣривъ во всѣхъ частяхъ строгимъ критическимъ анализомъ!

Но вопросъ объ *анналистахъ*, впервые занимавшихся обработкою древней римской исторіи, имѣетъ еще другую интересную сторону. Во-первыхъ, они никакъ не восходятъ ранѣе VI вѣка отъ основанія города. По всѣмъ дошедшимъ до насъ извѣстіямъ, Римъ въ продолженіе первыхъ вѣковъ своего существованія не имѣлъ своей исторіи и никакого связнаго разсказа ея событій, хотя бы даже въ формѣ простой лѣтописи. По весьма опредѣленному выраженію Ливія, Фабій Пикторъ былъ древнѣйшій римскій лѣтописатель, а онъ жилъ въ первой половинѣ VI столѣтія и писалъ, какъ можно полагать съ вѣроятностью, ужъ около исхода второй пунической войны. Цинцій Аліментъ, котораго Ливій также приводитъ въ своей исторіи, и котораго Нибуръ особенно высоко ставилъ между римскими *анналистами*, былъ лишь современникъ Фабія Пиктора. Ацилій и Постумій Альбинъ, слѣдовавшіе за первыми, отдѣлены отъ нихъ по крайней мѣрѣ на цѣлое полустолѣтіе.

Всѣ они одинаково потеряны для насъ; но черезъ цѣлый рядъ вѣковъ до насъ дошли нѣкоторыя отрывочныя извѣстія, касающіяся ихъ жизни и самыхъ произведеній. Изъ сравненія ихъ между собою выходитъ одно обстоятельство, которое, по нашему мнѣнію, должно вѣсить очень тяжело на вѣсахъ критики, когда дѣло идетъ о такомъ вопросѣ, какъ римскія историческія преданія и вѣроятная степень ихъ достовѣрности. Это обстоятельство, бросающееся въ глаза своею особенностью, есть самая форма изложенія, общая всѣмъ первымъ анналистамъ. Какими глазами смотрѣли бы мы на нашу отечественную исторію, если бъ первые наши историки писали на чужомъ языкѣ? А первые римскіе анналисты всѣ писали — по-гречески! О Ф. Пикторѣ и Ц. Алиментѣ положительно говорить это Діонисій; объ Ациліи и П. Альбинѣ утверждаетъ то же самое Цицеронъ и другіе знатоки древней римской литературы. Итакъ, пока не явился Порцій Катонъ, римлянинъ не иначе могъ удовлетворить своей исторической любознательности, какъ выучившись понимать по-гречески. Отъ большинства, разумѣется, нельзя было требовать, чтобъ оно поравнялось въ знаніи чужого языка съ людьми образованными: поэтому оно могло читать свою отечественную исторію развѣ только въ *переводѣ*, и мы дѣйствительно знаемъ, что въ послѣдствіи сдѣланы были латинскіе переводы съ греческихъ подлинниковъ Ф. Пиктора и другихъ римскихъ анналистовъ для большаго распространенія ихъ въ публикѣ¹⁾. Чтобъ стать вполне народною, римская исторія такимъ образомъ должна была напередъ пройти черезъ формы греческаго языка. Правда, что сами писавшіе по-гречески авторы были римляне; но самое ихъ знаніе греческаго языка и умѣнье владѣть имъ необходимо предполагаетъ и тѣсное знакомство съ греческою литературою, а въ такомъ случаѣ трудно себѣ представить, чтобъ она съ своими выработанными понятіями не отразилась въ той или другой степени и на самомъ ихъ воззрѣніи. Въ каждомъ языкѣ есть свои цвѣта, которые необходимо сообщаются и самымъ предметамъ, видимымъ или понимаемымъ чрезъ его посредство. Въ греческой литературѣ, какъ самой образованной и наиболѣе развитой для своего времени, было этого особеннаго колорита болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. Само собою разумѣет-

¹⁾ Ссылки на относящіеся сюда мѣста въ новой исторической литературѣ см. у Шнеглера, р. 76 и 16.

я, что едва зарождавшаяся римская литература нисколько не могла состязаться съ ней въ этомъ отношеніи и должна была принимать на себя отраженіе ея понятій. Нельзя было заимствовать отъ грековъ врожденнаго имъ творчества, потому что творчество нераздѣльно соединено съ самою организаціею челоуѣка или даже цѣлаго народа; но, съ другой стороны, нельзя было и при самой доброй волѣ уклониться отъ подражанія различнымъ приѣмамъ, которые были еще вовсе неизвѣстны у римлянъ и вполне выработаны у грековъ. Знакомство съ греческими мифами, безъ сомнѣнія, не сдѣлало римской мифологической фантазіи плодотворнѣе; съ другой стороны, знаніе исторической Греціи не вытѣснило свойственныхъ римлянину и глубоко впечатлѣнныхъ въ его памяти представленій о его собственной исторіи. Какъ однимъ римскимъ писателямъ, лишь начинавшимъ трудное историческое искусство у себя дома, было обойтись безъ того, чтобъ не позаимствоваться хоть нѣкоторыми приѣмами отъ грековъ, которые давно ужъ были опыты въ этомъ дѣлѣ? Какъ было имъ, смотрѣвшимъ на свою исторію сквозь греческіе очки, не усвоить себѣ, между прочимъ, и этого столько обыкновеннаго у грековъ приѣма—выводить изъ названія вещи не только понятіе о ней, но и самую исторію ея происхожденія? Тамъ, гдѣ греку служило его живое воображеніе, римлянину помогло его патріотическое чувство и тѣ примѣры изъ чужой литературы, которые онъ имѣлъ у себя передъ глазами.

Была въ то же время и другая, болѣе національная форма для изложенія событій римской исторіи: поэты Невій и Энній, жившіе въ томъ же вѣкѣ и писавшіе можетъ-быть даже ранѣе первыхъ анналистовъ, излагали ея содержаніе въ латинскихъ стихахъ... Такъ первый изъ нихъ написалъ свой эпосъ, котораго предметомъ была первая пуническая война; такъ написалъ второй свои поэтическія «Лѣтописи» (*Annales*), которыя обняли въ себѣ всю прежнюю исторію Рима. Граждане римскіе могли, пожалуй, и не читать переведенныхъ съ греческаго исторій, когда имѣли свои поэтическія хроники; но въ такомъ случаѣ они ужъ имѣли дѣло столько же съ исторіею, сколько съ поэзіею. Отъ поэтическаго произведенія нельзя требовать точности и достовѣрности исторической: въ томъ и состоитъ особенность поэтической формы, что она даже при историческомъ содержаніи допускаетъ участіе фантазіи, вымысла. Невій и Энній не были бы поэты, если бъ хотѣли держаться въ строгихъ предѣлахъ

исторической истины: этого не требовала отъ нихъ современная критика, по той причинѣ, что она еще не существовала, и самая природа ихъ талантовъ по всей вѣроятности склоняла ихъ къ другой цѣли. До насъ конечно дошло слишкомъ мало отъ обоихъ поэтовъ, чтобъ мы могли составить себѣ вполнѣ ясное и отчетливое понятіе какъ о нихъ самихъ, такъ и о ихъ произведеніяхъ; однако не всѣ же наши вопросы о ихъ жизни и дѣятельности остаются совершенно безотвѣтными. Мы, напримѣръ, желали бы знать мѣсто происхожденія, родину того и другого поэта, чтобъ сообразить, въ какой мѣрѣ они могли быть удалены отъ всего греческаго и чужды греческимъ представленіямъ и приѣмамъ въ искусствѣ? Отвѣтъ есть: онъ говоритъ намъ, что одинъ изъ нихъ родился въ Кампаніи, а другой въ Калабріи, т. е. въ тѣхъ провинціяхъ Италіи, гдѣ ужъ процвѣтали греческія колоніи, и куда давно проникла греческая образованность. Мы хотѣли бы знать далѣе, какихъ пунктовъ древней римской исторіи особенно удачно коснулось поэтическое воображеніе Невія и Эннія, такъ чтобъ съ ихъ легкой руки нѣкоторые историческія представленія вошли въ общій оборотъ между римлянами. Есть отвѣтъ и на это, хоть и несовсѣмъ прямой: о Невіи мы знаемъ положительно, изъ уцѣлѣвшихъ отрывковъ (фрагментовъ), что онъ говорилъ о пожарѣ Трои, о бѣгствѣ Анхиза и Энея, о приключеніяхъ послѣдняго, о пребываніи его у Дидоны и о послѣдовавшемъ затѣмъ морскомъ плаваніи; а ученый комментаторъ Виргилія притомъ сообщаетъ отъ себя извѣстіе, что авторъ Энеиды заимствовалъ отъ Невія планъ первыхъ пѣсней своей поэмы. Конечно эти факты достаточно говорятъ сами за себя. Объ Энніи извѣстно съ неменьшею достоверностью, что онъ началъ свои лѣтописи съ прибытія троянъ въ Италію, продолжалъ исторію римскихъ царей, рассказалъ, между прочимъ, въ греческомъ вкусѣ апоэеозу Ромула и т. д.; а что Энній долго оставался однимъ изъ любимыхъ римскихъ писателей, свидѣлствуютъ многочисленныя ссылки на него позднѣйшихъ авторовъ ¹⁾. Могло бы казаться, что Энній нравился римлянамъ какъ чисто національный писатель, на котораго по крайней мѣрѣ чужая образованность не имѣла никакого вліянія; но прозванія „полугрекъ“ и даже „грекъ“ (Semigraecus, Graecus), придаваемые ему позднѣйши-

¹⁾ См. Schwegler, p. 84—87; ср. также Röm. Geschichte nach Niebuhr's Vorträge, I B., 4 und 5 Vorlesungen.

писателями, доказываютъ скорѣе противное. Сколько же этическихъ представлений, образовъ, цѣлыхъ картинъ, могло быть пущено въ оборотъ наравнѣ съ историческими изображеніями и слиться въ одно съ ними въ памяти и воображеніи римлянъ, прежде чѣмъ явилась первая мысль о потребности отдѣлить историческое отъ поэтическаго! Стоить только разъ смѣшать исторію съ поэзіей, распознать же потомъ о смѣшеніе достанется развѣ очень и очень поздней критикѣ, да и то не для всякаго съ пользою. Римская историография, отъ первыхъ своихъ началъ до настоящаго своего времени, есть осязательное тому доказательство.

Въ какой степени Катонъ и его послѣдователи въ сочиненіи были поправить ошибку своихъ предшественниковъ, или, лучше сказать, измѣнить направленіе, принятое римскою историографіею съ самаго начала — сказать трудно по недостатку данныхъ, которыя бы дали возможность отчетливо опредѣлить мѣсто его въ римской литературѣ. Самого Катона едва ли можно упрекнуть въ грекоманіи: лишь въ старости выучился онъ по-гречески, сохранивъ впрочемъ до конца жизни свое юрное предубѣжденіе противъ всего неримскаго, чужеземнаго. Сочиненіе его «О началахъ» (*De originibus*), имѣвшее въ виду преимущественно археологическія цѣли, повидимому должно было отличаться болѣе строгимъ, отчасти даже научнымъ характеромъ изслѣдованія. Но сомнительно, чтобы ученость Катона могла доставить его сочиненію тѣ же выгоды, которыми ужъ пользовались облеченныя въ поэтическую форму сочиненія его предшественниковъ. Притомъ извѣстно съ достовѣрностью, что разборчивость его не простиралась до того, чтобы говоря о началѣ древнихъ городовъ, онъ считалъ за нужное исключить греческія саги о ихъ происхожденіи. Утверждая, напримѣръ, что Фалиска основана выходцами изъ Аргоса, или что Тибуръ ведетъ свое происхожденіе отъ одного изъ утѣнниковъ Эвандра, позднѣйшіе писатели ссылались на свидѣтельство Катона. Объ анналистахъ, занимавшихся римскими вѣдѣніями послѣ него, мы знаемъ еще менѣе положительнаго. Можетъ-быть сужденіе Нибура о Кальпурніи Пизонѣ, того же онъ упрекаетъ во многихъ произвольныхъ поправкахъ и измѣненіяхъ; слишкомъ строго и не оправдывается достаточно фактами; но что Валерій Антіій (*V. Antias*), анналистъ времени Суллы, позволялъ себѣ непростительныя преувеличенія и искаженія въ исторіи — въ этомъ, кажется, нельзя мнѣяться, если взять всѣ мѣста Ливія, гдѣ онъ прямо об-

виняетъ его въ „неумѣренной лжи“, также въ „безмѣрномъ преувеличеніи данныхъ чиселъ“, или насмѣшливо ссылается на него, прибавляя: „если вѣрить такому-то“ ¹⁾. На всѣ эти важныя недоумѣнія касательно достовѣрности тѣхъ пособій, которыя позднѣйшіе римскіе историки могли имѣть у себя подъ руками, гг. Герлахъ и Бахофенъ до сихъ поръ еще не дали удовлетворительнаго отвѣта и остаются въ долгу у публики.

А между тѣмъ ни имъ, ни другимъ современнымъ изслѣдователямъ нельзя болѣе уклониться отъ рѣшенія подобныхъ вопросовъ, потому что римскіе писатели, въ произведеніяхъ которыхъ исторія римской древности дошла до насъ, нашли ужъ большею частью готовый матеріалъ, такъ что имъ досталась лишь послѣдняя его обработка. Нѣтъ нужды говорить, что труды ихъ, замѣняющіе для насъ источники первой и второй руки, также требуютъ предварительной оцѣнки, чтобъ читатель могъ судить о степени критическаго такта писателей и зналъ заранѣе, какъ много вѣса и значенія можно придать ихъ личнымъ воззрѣніямъ на исторію. Въ свое время Нибуръ сдѣлалъ довольно полную оцѣнку римскихъ историковъ, руководствуясь, какъ и во всемъ, своимъ собственнымъ изученіемъ и убѣжденіемъ; но наука не остановилась на его личныхъ наблюденіяхъ и, простирая изученіе далѣе, успѣла подмѣтить нѣкоторыя новыя черты въ римской исторіографіи, которыя еще не довольно ясны были для самого основателя новой исторической критики. Любопытно поэтому выслушать мнѣніе Швеглера о тѣхъ историкахъ римской древности, которые остаются для насъ главными авторитетами: служба отголоскомъ цѣлой отрасли критической литературы, оно въ то же время утверждается на собственныхъ изслѣдованіяхъ автора. Мы избираемъ для этой цѣли самыя значительныя имена: Цицерона, Ливія и Діонисія. Первый изъ нихъ никогда не былъ историкомъ въ собственномъ смыслѣ слова; но, во-первыхъ, самъ онъ имѣлъ очень высокое понятіе о своихъ историческихъ знаніяхъ, такъ что могъ не краснѣя выслушивать тѣхъ, которые отъ имени отечества обращались къ нему съ просьбою написать римскую исторію; во-вторыхъ, этого же мнѣнія были и многіе другіе образованные его соотечественники; наконецъ, ссылки и указанія на римскую древность во множествѣ раз-

¹⁾ См. Röm. Geschichte nach Niebuhr's Vorträgen, ibid; ср. также Schwegler, p. 89.

сѣяны въ оставшихся его сочиненіяхъ. Не называя Цицерона прямо историкомъ, нельзя по крайней мѣрѣ не дать ему мѣста между римскими археологами. Несмотря на то Швеглеръ, согласно съ Нибуромъ, не видитъ достаточныхъ основаній раздѣлять мнѣніе тѣхъ современниковъ великаго римскаго оратора, которые думали, что и отечество и наука много теряютъ, если онъ не напишетъ римской исторіи.

„Если бъ Цицеронъ“ (говоритъ онъ), „исполняя желанія своихъ друзей, дѣйствительно взялся за это дѣло, онъ предпринялъ бы нѣчто такое, къ чему не имѣлъ никакого призванія: мы можемъ это сказать, сохраняя все наше уваженіе къ его талантамъ какъ оратора и мыслителя. Ужъ самый складъ его ума и направленія не тѣ, какихъ мы требуемъ отъ историка, а избранное имъ поприще развело его еще болѣе съ исторіею. Онъ слишкомъ вошелъ въ роль оратора и замѣшался въ игру политическихъ партій своего времени, чтобъ сохранить необходимое для историка спокойствіе. Впрочемъ едва ли онъ имѣлъ и достаточный запасъ средствъ для того, чтобъ взяться за историческій трудъ. Это довольно ясно можно видѣть изъ его книги «О государствѣ» (*De republica*), которое имѣетъ свои неоспоримыя достоинства, но только не въ смыслѣ историческаго сочиненія. Изъ него оказывается несомнѣннымъ, что авторъ не могъ похвалиться особеннымъ знаніемъ римской исторіи, по крайней мѣрѣ въ то время, какъ занятъ былъ этимъ трудомъ, и что онъ приступилъ къ нему съ довольно ограниченными запасомъ свѣдѣній. При чтеніи второй книги этого сочиненія чувствуется особенно, что авторъ не вполне владѣлъ своимъ историческимъ матеріаломъ. Древнія римскія учрежденія и подробности ихъ историческаго развитія очевидно были недовольно извѣстны сочинителю; и если эта часть сочиненія имѣетъ цѣну въ глазахъ историка, то потому только, что находящіеся въ ней извѣстія почерпнуты изъ Полибія, писателя, заслуживающаго полного довѣрія“.

До насъ дошелъ впрочемъ самый цвѣтъ римской историографіи, сколько она касалась древняго періода, въ оставшихся сочиненіяхъ Ливія и Діонисія. Извѣстно, что изъ нихъ почерпается самый обильный матеріалъ для древней исторіи Рима. Швеглеръ отдаетъ должную справедливость достоинствамъ того и другого историка. Будучи современниками, они шли каждый своею особенною дорогою. По своему живому пониманію исторіи, Ливій всегда останется однимъ изъ первыхъ повѣствователей древности. Въ мастерствѣ разсказа, въ оживленности колорита могутъ поспорить съ нимъ немногіе. Онъ не пропуститъ ни одного драматическаго положенія и всегда изобразитъ его съ любовью, нерѣдко даже съ увлекательнымъ краснорѣчіемъ. Не всегда отчетливъ его рисунокъ, за то въ колоритѣ много жизни и движенія. Ливіи доступенъ чувство индивидуальнаго; въ повѣствованіи его безъ-

престанно встрѣчаешь живыя лица, характеры. У Ливія есть также довольно поэтическаго чувства, чтобъ передать древнее преданіе или мѣстную сагу въ подлинномъ видѣ, безъ искаженій и произвольныхъ толкованій. Наконецъ прекрасный разсказъ римскаго историка всегда будетъ симпатиченъ намъ по неизмѣнному сочувствію его всему человѣчеству: великая слава и роковое паденіе равно находятъ себѣ отголосокъ въ его сердцѣ, постоянно внимательномъ къ вліяніямъ нравственной природы человѣка. Но тѣмъ и ограничиваются его достоинства. Несомнѣнный историческій талантъ Ливія не есть еще ручательство въ томъ, что мы имѣемъ въ немъ самаго надежнаго руководителя для знакомства съ римскою древностью. Внимательное изученіе его исторіи показываетъ, что ему самому не доставало для того довольно твердаго фонда. Ливія всего менѣе можно причислить къ тѣмъ писателямъ, которые обрабатываютъ свой предметъ критически. Въ изложеніи его постоянно чувствуемъ недостатокъ твердаго, основнаго взгляда и критическаго изученія источниковъ. О древнихъ государственныхъ учрежденіяхъ онъ говоритъ большею частью случайно, поверхностно, не составивши напередъ никакого яснаго представленія о ихъ постепенномъ ходѣ и развитіи. Многіе вопросы, касающіеся ихъ происхожденія и особенно занимающіе современныхъ намъ изслѣдователей, вовсе и не представлялись его уму; потому онъ не упоминаетъ ни однимъ словомъ объ учрежденіи трехъ древнихъ трибъ (*Ramnes, Tities et Luceres*), этихъ основаній всего первоначальнаго римскаго устройства, и явно смѣшиваетъ ихъ съ тремя центуріями всадниковъ. Оттого же нѣтъ у него и яснаго понятія о раздѣленіи на трибы, которое вновь произведено было Сервіемъ Тулліемъ; онъ знаетъ только о четырехъ городскихъ трибахъ и ничего не говоритъ о сельскихъ. Онъ даже не взялъ на себя труда вдуматься въ главный, поворотный пунктъ древней римской исторіи—въ борьбу плебеевъ съ патриціями, и потому такое важное явленіе, какъ римскія коміціи, собирающіяся по трибамъ, остаются у него вовсе не замѣченными. Изъ этого же источника произошли и нѣкоторые другіе, болѣе яркіе промахи историка, показывающіе, что по недостатку опредѣленныхъ понятій, онъ часто смѣшивалъ между собою вещи разнородныя, обманываясь сходствомъ ихъ имени. Не полагая никакого различія между патриціанскими родами и ихъ представителями, онъ легко смѣшиваетъ новое учрежденіе Тарквинія, *patres minorum gentium*, съ увеличе-

ніемъ числа сенаторовъ, которое было дѣломъ того же царя. Поэтому терминологія его обыкновенно страдаетъ неточностями. Еще поразительнѣе небрежность историка въ выборѣ тѣхъ источниковъ, которые должны были послужить главнымъ основаніемъ его разсказа. Настоящіе памятники римской древности, несомнѣнно существовавшіе въ его время, были оставлены имъ вовсе безъ вниманія: по крайней мѣрѣ онъ нигдѣ не упоминаетъ о памятникахъ, которые Діонисій видѣлъ своими глазами. Ливій, очевидно, воспользовался для своего повѣствованія лишь историческими трудами своихъ предшественниковъ, то-есть самъ бралъ изъ вторыхъ рукъ; но и тутъ выборъ его былъ не всегда самый счастливый. Такъ для первыхъ двухъ книгъ, которыя заключаютъ въ себѣ всю исторію царей и первыхъ временъ республики, главными руководителями его были извѣстные анналисты Фабій Пикторъ и Кальпурній Пизонъ, а драгоценныя указанія, которыя содержитъ въ себѣ Мелібій, остались ему неизвѣстны; въ третьей онъ не разъ ссылается на Валерія Анція, хотя и не даетъ никакой вѣры его показаніямъ; въ четвертой упоминаетъ о Лициніи Мацерѣ въ Эліи Туберонѣ, о которыхъ до насъ дошли лишь весьма недостаточныя извѣстія. Но даже и къ своимъ источникамъ Ливій былъ недовольно внимателенъ, или пользовался ими безъ строгой повѣрки однихъ другими. Иначе нельзя объяснить себѣ тѣхъ противорѣчій, въ которыя онъ время отъ времени впадаетъ самъ съ собою. Онъ иногда забываетъ то, о чемъ самъ упоминалъ нѣсколько выше. Такимъ образомъ одно мѣсто приписываетъ основаніе храма Юпитера Капитолійскаго Тарквинію Приску, а другое—Тарквинію младшему. Показавъ, что римскій сенатъ сначала состоялъ изъ ста членовъ и потомъ былъ увеличенъ прибавленіемъ еще такого же числа, историкъ послѣ того вдругъ начинаетъ называть его трехсотеннымъ. Нередко приходится ему извѣщать читателя, что перемиріе нарушено, ничего не сказавъ напередъ о его заключеніи; сломъ и рядомъ говорится у него о возвращеніи городовъ, которые неизвѣстно когда были отняты, или вдругъ иной городъ становится римскимъ, о которомъ только что передъ тѣмъ упомянуто было какъ о непріятельскомъ. Хронологическія несообразности проходятъ у Ливія совершенно не замѣченными. Тарквиній младшій два раза названъ у него юношею (въ римскомъ смыслѣ: *juvenis*) при смерти Тарквинія Приска и 40 лѣтъ спустя; Туллія черезъ 44 года послѣ замужества играетъ роль, которая возможна развѣ только въ порѣ молодости, или

полнаго развитія женскихъ силъ. Легко конечно извинить всѣ эти недостатки и промахи, потому что, какъ справедливо замѣчаетъ нашъ авторъ, Ливій вовсе не имѣлъ въ виду строгихъ научныхъ требованій, а хотѣлъ только написать книгу для всеобщаго чтенія, которая бы обнимала въ себѣ всю римскую исторію и живо напоминала римлянину всѣ отечественные образцы, достойные подражанія; но тѣмъ не менѣе справедливо, что, при всемъ уваженіи къ таланту Ливія какъ историческаго писателя, пользоваться его извѣстіями можно не иначе, какъ повѣряя ихъ критикою. Или критика должна скрыть и самые его промахи, потому что они были незамѣчены самими римлянами и имѣютъ за себя ихъ довѣріе?...

Новѣйшіе изслѣдователи были совершенно правы, когда, неудовлетворенные Ливіемъ, подняли изъ забытья современнаго ему археолога и обратились къ нему съ своими не разрѣшенными вопросами о римской древности. Во многихъ отношеніяхъ Діонисій дѣйствительно заслуживаетъ предпочтеніе передъ Ливіемъ: у него есть то, о чемъ современный ему историкъ думалъ всего менѣе; у него есть изслѣдованіе, то-есть усиленное желаніе, при помощи извѣстныхъ средствъ, найти настоящій смыслъ явленія и по возможности объяснить его происхожденіе. Его не легко упрекнуть въ неточности или поймать въ какомъ-нибудь промахѣ, противорѣчіи съ самимъ собою; каждое слово его обдуманно, противорѣчія другихъ имъ вѣрно замѣчены и поставлены на видъ. У Діонисія есть свой опредѣленный взглядъ на предметъ: онъ не иначе хочетъ понимать и объяснять историческія явленія, какъ въ связи ихъ между собою. Онъ напередъ приготовился къ своему труду обширнымъ его изученіемъ. Нѣкоторыя историческія мѣстности были имъ самимъ осмотрѣны; многіе памятники древности были знакомы ему изъ личныхъ наблюденій, но главная его заслуга состоитъ въ тщательномъ изученіи предшествующихъ историческихъ трудовъ и ихъ добросовѣстномъ употребленіи. Не имѣя возможности пользоваться источниками первой руки, онъ съ рѣдкимъ трудолюбіемъ собралъ всѣ извѣстія, какія только могъ найти у своихъ предшественниковъ, римскихъ анналистовъ. Можетъ-быть онъ не всегда руководствовался довольно строгимъ выборомъ, зато не сдѣлалъ никакихъ пропусковъ, за то каждый фактъ, каждый терминъ нашелъ у него свое опредѣленіе. Полнота и добросовѣстность изслѣдованія—это его неотъемлемыя достоинства. Но слѣдуетъ ли отсюда, что Діонисію надобно вѣрить на слово? что показанія и выводы ар-

моюга стоять выше всѣхъ сомнѣній? Подобное заключеніе было бы слишкомъ поспѣшно. Отдавая всю справедливость достоинствамъ Діонисія, критика не можетъ скрыть и слабыхъ сторонъ его изслѣдованія. Обыкновенный аргументъ, на который опираются новые защитники достовѣрности древней римской исторіи, въ приложеніи къ нему не имѣетъ почти никакой силы. Приводя мнѣнія и выводы археолога-изслѣдователя, нельзя смѣшивать ихъ съ вѣрованіями самихъ римлянъ. Діонисій былъ родомъ грекъ и писалъ по-гречески. Правда, что онъ долго жилъ между римлянами, болѣе 20 лѣтъ употребилъ на то, чтобъ изучить латинскій языкъ и основательно знать римскую историческую литературу. Такимъ образомъ къ приготовилъ себѣ богатый матеріалъ знаній; но его собственная природа оттого не измѣнилась, складъ его ума остался греческій, и самое воззрѣніе на предметъ условливалось общимъ характеромъ греческаго образованія. Задача Діонисія была естественна даже съ римской точки зрѣнія: имѣя въ виду реческую образованную публику, онъ хотѣлъ сообщить ей нѣсколько вѣрныхъ понятій о древней римской исторіи и разсвѣтъ въ ложныя мнѣнія, которыя распространены были о ней прежде невѣжествомъ или недоброжелательствомъ къ римлянамъ. Просите однако, какой его главный доводъ противъ ложнаго мнѣнія о варварскомъ происхожденіи римлянъ. Тотъ, что римляне такіе же геллены, какъ и сами греки ¹⁾. Вотъ куда наконецъ привело римскую исторію воздѣлываніе ея въ реческомъ духѣ и частью греческими руками. Случай истинно поучительный для всей исторіографіи вообще. Къ чему постепенно, хотя и безсознательно, склоняли римскую древность первые римскіе анналисты и поэты-историки, то напло себѣ въ Діонисіи прямое и окончательное выраженіе. Почти то же время, какъ Римъ покорялъ оружіемъ греческія земли и бралъ греческіе города, греческій духъ, поселившись въ римской исторіи, полонилъ самыя ея основанія. Смотря на все съ точки зрѣнія гелленскаго образованія, изслѣдователи юдъ конецъ готовы были увѣрять римлянъ, что ихъ цивилизація чисто гелленскаго происхожденія. По этой основной идеѣ можно судить и о самыхъ подробностяхъ діонисіева воззрѣнія на римскую древность. Еще Нибуръ замѣтилъ, къ какимъ превратнымъ заключеніямъ должно было повести изслѣ-

¹⁾ Слова Діонисія во введеніи: (τοὺς οἰκίσαντας τὴν πόλιν) Ἕλληνας ἰντας ἐπίδειξεν ὀπισθοῦμαι. См. Schwegler, p. 98.

дователя отождествленіе понятій κλέδος и δῆμος съ populus и plebs. Между тѣмъ это смѣшеніе было почти неизбежно при извѣстномъ направленіи. Стараясь объяснить другимъ явленія древней римской исторіи, археологъ самъ понималъ ихъ не иначе, какъ съ греческой точки зрѣнія. Присоедините сюда прагматизирующий духъ историка, который хочетъ разрѣшить всѣ противорѣчія и генетически связать между собою всѣ событія. Съ одной стороны, это стремленіе можетъ служить доказательствомъ тѣхъ успѣховъ, которые дѣлала римская историографія въ рукахъ греческихъ писателей: прагматизмъ, какъ бы ни унижали его въ наше время, безспорно, предполагаетъ высшее развитіе сознанія и начинается только тамъ, гдѣ оно ужъ не удовлетворяется болѣе простымъ повѣствованіемъ. Въ римскую же историческую литературу прагматизмъ былъ прямо перенесенъ изъ греческой. Съ другой стороны, не надобно забывать, что прагматическое изложеніе скорѣе, чѣмъ простое повѣствованіе, можетъ повести къ распространенію и учрежденію ложнаго взгляда на исторію. Здѣсь все зависитъ отъ основной идеи, которая служитъ историкъ точкою отправленія: если она неправильна или невѣрна, выводы тоже будутъ необходимо грѣшны противъ исторической истины. Принявъ однажды, что римляне были галльскаго происхожденія, какъ устоять противъ искушенія и въ самой исторіи отыскать параллель между римскими учрежденіями, или въ этомъ смыслѣ толковать первыя? Систематическія ошибки этого рода, происходящія не отъ незнанія фактовъ, а отъ ложнаго воззрѣнія на нихъ, нерѣдко нарушаютъ изслѣдованіе Діонисія и бросаютъ ложный свѣтъ на внутреннее развитіе древней римской исторіи. Впрочемъ и самый историческій фактъ, по крайней мѣрѣ та форма его, въ которой онъ доходитъ къ позднѣйшимъ поколѣніямъ, также не мало терпитъ отъ изслѣдователя-прагматика. Ливій передаетъ древнюю сагу въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ находитъ ее въ своихъ источникахъ; Діонисій ужъ не довольствуется миѣическою формою: находя противорѣчія и неровности въ преданіи, онъ передѣлываетъ его по-своему. Внутреннія несообразности сглажены, и преданіе получило болѣе естественный видъ; но кто поручится, что, вмѣстѣ съ миѣическою оболочкою, оно не утратило и своего античнаго характера; что наивное древнее сказаніе не замѣнилось лишь новою сказкою, которая потому только нравится намъ, что болѣе приспособлена къ нашему вкусу? Самая добросовѣстность Діонисія, по

тѣнію Швеглера, не послужила ему въ пользу: односторонній прагматизмъ сбилъ его съ толку и былъ главною причиною того, что „вся древняя римская исторія представлена имъ въ ложномъ свѣтѣ“.

Соображая такимъ образомъ весь ходъ римской исторіографіи, отъ первыхъ началъ ея до цвѣтущей эпохи, и отдавая себѣ отчетъ въ каждомъ замѣчательномъ ея явленіи, приходишь все къ тому же неизбѣжному выводу, что развитіе историческаго искусства въ Римѣ большею частью происходило подѣ чужимъ вліяніемъ, и что настоящіе источники древней римской исторіи останутся для насъ, по всей вѣроятности, навсегда недоступными. Итакъ не права ли тысячу разъ критика, черезъ двадцать лѣтъ послѣ смерти Нибура ювозвѣщающая то же самое мнѣніе о достовѣрности древней римской исторіи?...

Вопросъ о древнѣйшемъ народонаселеніи Италіи, къ которому нашъ авторъ переходитъ отъ древней и новой римской исторіографіи, представляетъ еще болѣе трудностей. Несмотря на множество изслѣдованій, какъ древнихъ, такъ и новыхъ, въ по сіе время не приведенъ еще въ совершенную ясность. Какъ и въ другихъ вопросахъ, касающихся древней римской исторіи, здѣсь также первое мѣсто между изслѣдователями принадлежитъ Нибуру: онъ не только вновь возбудилъ вопросъ, но и прослѣдилъ его въ самыхъ подробностяхъ и, на основаніи своихъ соображеній, сдѣлалъ опытъ его рѣшенія. Но на этой зыбкой почвѣ трудно было съ одного раза извести прочное зданіе. Гипотеза Нибура не могла удовлетворить всѣмъ требованіямъ; за то открылось широкое поприще гадкамъ всякаго рода. Новыя попытки слѣдовали одна за другою; каждый вновь приходящій изслѣдователь приносилъ свой взглядъ на предметъ и строилъ свою теорію. Поочередно, одна, то другая группа древнихъ жителей Италіи выдвигалась впередъ смотря по тому, на которой изъ нихъ больше сосредоточивалось вниманіе изслѣдователя. Сначала это были этруски, за ними послѣдовали этруски, потомъ очередь дошла до аборигеновъ, и т. д. Можно сказать, что эта безпрестанная передвижка древнихъ италійскихъ народовъ, какъ бы предвѣствующихъ въ преобладаніи, продолжается въ теоріи до

сего времени. Мы покажемъ послѣ, чего долгое время не доставало изслѣдованію для твердости выводовъ касательно этого вопроса; но напередъ считаемъ за нужное привести, хотя въ главныхъ чертахъ, опытъ его рѣшенія, сдѣланный гг. Герлахомъ и Вахофеномъ въ сочиненіи ихъ о римской исторіи. Читатель, мы надѣемся, лучше въ состояніи будетъ оцѣнить заслугу Швеглера, когда увидитъ, въ какомъ состояніи оставленъ былъ вопросъ его ближайшими предшественниками.

Герлахъ идетъ необыкновенно быстро въ своемъ рѣшеніи ¹⁾. Взявъ себѣ въ руководители Діонисія, онъ не останавливается ни на какихъ сомнѣніяхъ и приступаетъ прямо къ дѣлу, то-есть къ обзорѣнію народныхъ движеній, происходившихъ въ Италіи въ незапамятной древности. Сущность дѣла, по его мнѣнію, состоитъ въ томъ, что три древніе народа, сикулы, пелазги и аборигены, поочередно смѣняются одинъ другимъ, передавая изъ рукъ въ руки власть надъ Италіею, или по крайней мѣрѣ свое преобладаніе въ ней, до тѣхъ поръ, пока наконецъ изъ остатковъ ихъ образуется новый сильный народъ, который оставилъ Альбу и Римъ своими памятниками въ исторіи. Борьба открывается между сикулами, занимающими область Тибра, и аборигенами, которые выходятъ изъ Апенниновъ, чтобъ постепенно распространиться въ открытыхъ мѣстахъ. Сикулы храбро отражаютъ нападеніе противниковъ; но на помощь къ аборигенамъ приходятъ пелазги изъ Греціи, предпринявшіе это переселеніе по совѣту додонскаго оракула, и рѣшаютъ борьбу въ пользу своихъ союзниковъ. Навсемъ пространствѣ, отъ рѣки Арно до Кампанской равнины, Сикулы принуждены уступить свои города побѣдителямъ и, не находя себѣ никакого безопаснаго убѣжища въ Италіи, удаляются въ Сицилію. Тогда аборигены занимаютъ всѣ земли побѣжденныхъ, отъ Тибра до Лириса, между тѣмъ какъ пелазги помѣщаются далѣе на сѣверъ. Однимъ словомъ, вся средняя Италія становится общою собственностью пелазговъ-аборигеновъ. Но могущество ихъ также было непрочно. Изъ двухъ соединенныхъ народовъ пелазги первые испытали на себѣ превратность судьбы: ихъ скоро постигли засухи, неурожай, болѣзни. Цѣлые роды погибли, другіе, бѣжа отъ смер-

¹⁾ См. Geschichte der Römer, I, 1, p. 112 etc. Die ältesten Völkerbewegungen). Есть причины думать, что чисто историческая часть сочиненія принадлежитъ перу Герлаха; поэтому мы только его будемъ называть здѣсь по имени.

и, оставляли свои земли и скитались по окрестнымъ странамъ морямъ. Къ довершенію бѣдствія, тирренны, утвердившись въ Тосканѣ, начали тѣснить пелазговъ съ сѣвера. Борьба была слишкомъ неравная; завоевателямъ не стоило большого труда завладѣть большею частью пеласгическихъ городовъ. Изъ цѣлаго народа спаслись лишь тѣ, которые искали себѣ убѣжища и защиты у своихъ союзниковъ и сосѣдей. Впослѣдствіи они слились въ одно—на сѣверѣ съ абorigенами и сабинами, на югѣ съ осками и аврунками. Но тирренское завоеваніе не ограничилось лишь первыми своими приобрѣтеніями. Распространяясь отсюда далѣе, по направленію къ югу, оно скоро захватило самый Лаціумъ и потомъ раздвинулось до предѣловъ Кампаніи. Абorigены, въ свою очередь, должны были низойти на степенъ побѣжденныхъ народовъ; но тирренны, или этруски, ужъ не въ состояніи были стереть ихъ національности: чрезъ нѣсколько времени она возродилась вновь, отъ подъ другимъ именемъ, и вступила въ борьбу съ своими римлянами. Но здѣсь ужъ начало другой исторической эпохи, въ которой первую роль занимаютъ латины, а вслѣдъ за ними—римляне.

Легко развязать самые запутанные узлы въ исторіи, если однажды допустить, что всякое извѣстіе, дошедши до насъ въ историческомъ преданіи, по тому самому истинно, то-есть выше сомнѣній, и неизмѣнно слѣдовать показаніямъ того или другого писателя, не задавая себѣ вопроса о степени его достовѣрности. Въ такомъ случаѣ дѣйствительно не остается больше мѣста сомнѣніямъ, и все изслѣдованіе значительно выигрываетъ въ краткости, и даже, если угодно, въ простотѣ и ясности. Держась этого способа, мы навѣрное останемся на той же дорогѣ, которою шли римскіе изслѣдователи, и, по всей вѣроятности, придемъ къ тѣмъ же результатамъ. Тѣ обрабатывали римскую исторію подъ прямымъ вліяніемъ греческихъ представителей; мы будемъ продолжать то же самое дѣло уже подъ вліяніемъ добытыхъ ими искусственныхъ выводовъ. Не удивительно, что такимъ образомъ находясь въ римской исторіи и еще не достигнувъ основанія Рима, мы вдругъ очутимся почти что среди греческаго міра! Само собою разумѣется, что между подобнымъ изслѣдованіемъ и древними его образцами Нибуру и новой исторической критикѣ вовсе нѣтъ мѣста: они здѣсь лишніе и попали въ этотъ промежутокъ лишь случайно; связь древняго преданія съ новымъ греческимъ изслѣдованіемъ оттого не потерпѣла ни-

сколько. На одномъ близкомъ примѣрѣ мы можемъ показать это еще осязательнѣе. Къ чему клонится все изложеніе Герлаха касательно древнихъ народныхъ движеній въ Италіи? Какой новый лучъ свѣта бросаетъ оно въ это хаотическое смѣшеніе? Въ свое время Нибуръ, принужденный прокладывать себѣ новую дорогу, напалъ на гипотезу о пеласгахъ и успѣлъ открыть ихъ подъ многими народными именами древней Италіи. Аборигены, сикулы, тиррены, энотры были для него тѣ же пеласги ¹⁾. Герлахъ, повидимому, не имѣетъ никакой симпатіи къ гипотезамъ Нибура. Онъ слишкомъ расходится съ нимъ въ общемъ направленіи, чтобъ раздѣлить съ нимъ хоть одно предположеніе. Поэтому онъ готовъ скорѣе вывести сикуловъ съ отдаленнаго Сѣвера, мимоходомъ даже сдѣлать намекъ на сродство ихъ съ германцами, чѣмъ согласиться на ихъ пеласгическое происхожденіе. Тирреновъ онъ также не хочетъ смѣшивать съ пеласгами и не сомнѣвается въ томъ, что они были выходцы изъ Лидіи. При всемъ томъ взглядъ его на древнее народонаселеніе Италіи въ сущности мало разнится отъ нибуровскаго. Пеласговъ Герлахъ знаетъ подъ ихъ настоящимъ названіемъ, и ихъ же потомъ узнаетъ подъ именемъ аборигеновъ; для него неоспоримо, что бѣольшая часть городовъ средней Италіи пеласгическаго происхожденія; сверхъ того онъ находитъ пеласгическій элементъ на сѣверѣ и на югъ отсюда, хотя въ смѣшеніи съ другимъ народонаселеніемъ. Пеласги, по его же словамъ, гибнуть отъ голода и подъ мечемъ тирреновъ-этрусковъ, и между тѣмъ носятъ въ себѣ столько жизненной силы, что возрождаются снова и, хотя подъ другимъ именемъ, одолѣваютъ своихъ побѣдителей. Однимъ словомъ, пеласгическій элементъ, повидимому болѣе сжатый въ воззрѣніи Герлаха, чѣмъ въ нибуровской гипотезѣ, тѣмъ не менѣе разсѣянъ едва не по всей Италіи и остается вездѣ на первомъ планѣ и во всей силѣ; когда все рушится вокругъ, когда, кажется, уничтожились и его собственные слѣды, онъ опять всплываетъ на поверхность въ новой метаморфозѣ и открываетъ новую блестящую эпоху въ исторіи страны. Чтобъ лучше сказать мысль автора, приведемъ его собственные слова, которыми онъ заключаетъ свое обзорѣніе древнихъ народныхъ движеній въ Италіи. „Пеласгическій народный элементъ, побѣжденный и преобразованный въ Элладѣ, продолжалъ свое существованіе въ Италіи, и здѣсь-

¹⁾ См. Niebuhr, Röm. Geschichte. T. I.

о, видоизмѣняясь подъ вліяніемъ другихъ, частью чуждыхъ, вѣстью родственныхъ ему элементовъ, создалъ ту здоровую и сполненную жизненныхъ силъ національность, которая составляетъ гордость древней Италіи“¹⁾.

Вотъ ужъ мы пришли къ тому, что пеласгическому, то-есть полугреческому элементу дано широкое мѣсто въ первоначальной римской исторіи. Онъ положенъ въ самое ея основаніе. Но авторъ еще шире и вразумительнѣе раскрываетъ свою мысль въ особомъ изслѣдованіи, изданномъ уже послѣ оцѣненія въ свѣтъ «Исторіи римлянъ» и имѣющемъ своею спеціальною цѣлью разъяснить еще болѣе вопросъ «О древнѣйшемъ народонаселеніи Италіи»²⁾. Читая это изслѣдованіе, изложенное въ самой общедоступной формѣ, еще болѣе убѣждаешься въ томъ, что съ извѣстной точки зрѣнія пеласгическая въ древнемъ періодѣ римской исторіи, какъ необходимые посредники между греческимъ и римскимъ образованіемъ. Поэтому связь пеласгическаго элемента, находящаго въ Италіи, съ самою Греціею, съ Элладомъ, проводится здѣсь еще тѣснѣе, еще нагляднѣе и возводится съ нѣкоторою кажущеюся очевидностью ко временамъ гораздо болѣе отдаленнымъ: греческія мифическія преданія сохранили въ себѣ самыя древнія отголоски этой связи. Дѣйствіе греческаго мифа то-и-дѣло переносится въ сосѣдственную Гесперію, то-есть въ Италію. Уже изверженный Кроносъ ищетъ себѣ убѣжища въ Лаціумѣ. Тамъ живетъ чудовище Полифемъ, тамъ царствуетъ бурный юзь; туда бѣжитъ несчастный Аристей, покидая свое отечество, Беотию. Въ тѣхъ же странахъ и Фаетонъ поплатился за свою налившую отвагу, найдя погибель себѣ въ волнахъ Фридіана. Бѣгущая отъ отцовскаго гнѣва Даная пристаетъ къ берегамъ Италіи и находитъ въ ней безопасный пріютъ себѣ. Въ каждой почти мѣстности въ Италіи привязано какое-нибудь мифическое сказаніе, состоящее въ тѣсной связи съ реческими поэтическими преданіями. Ариція знала о себѣ, что Орестъ, возвращаясь изъ Тавриды, занесъ въ ея стѣны изображеніе таврійской богини; по другому преданію, Фалеріи были основаны братомъ его, также принужденнымъ удалиться изъ своей родины за свое участіе въ смерти Агамемнона. Память Діомеда, основавшаго новый Аргосъ въ Апуліи, была тѣмъ и гораздо выше на сѣверѣ, даже до Анконы, Спины и

¹⁾ См. Geschichte der Römer, I, 1, p. 156. — ²⁾ Die älteste Bevölkerung Italiens. Eine geschichtliche Untersuchung v. Gerlach. 1853.

Атріи. Одна сага ему же приписывала происхожденіе Ланувіума. Пелиды, построившіе Метапонтъ на югѣ Италіи, считались также основателями Пизы на сѣверѣ. Куда ни обернись, сага указываетъ на Грецію какъ на общую родину основателей италійскихъ городовъ; вездѣ Гесперія является обыкновеннымъ убѣжищемъ выходцевъ съ востока, гонимыхъ рокомъ, или постигнутыхъ несчастіями. Затѣмъ авторъ проводитъ передъ глазами читателей цѣлыя народныя массы, которыя тянутся одна за другою, составляя почти непрерывный рядъ и постепенно наполняя Италію греческими переселенцами. Самые ранніе пришельцы—аборигены: они выходятъ изъ Ахаіи еще за нѣсколько поколѣній до троянской войны. Спустя еще нѣсколько поколѣній, открывается второе переселеніе въ Италію, и авторъ ужъ не обинуясь называетъ его „гелленскимъ“ ¹⁾. Это были собственно такъ называемые пеласги, выходцы изъ Фессаліи, тѣ самые, которые потомъ, въ союзѣ съ аборигенами, оттѣснили сикуловъ въ южную Италію. Ихъ постигла впослѣдствіи, какъ извѣстно, страшная катастрофа; но греческій слой народонаселенія Италіи не рѣдѣлъ, не уменьшался, безпрестанно подновляясь приливомъ новыхъ *гелленскихъ* переселеній. Греческіе историки знаютъ ихъ во множествѣ. Спустя лишь двадцать лѣтъ послѣ несчастія, постигшаго пеласговъ въ Италіи, приходятъ колонисты изъ Аркадіи и поселяются на Палатинскомъ холмѣ. Около того же времени спутники Геркулеса занимаютъ Сатурновъ холмъ съ выходцами изъ Элиды. Потомъ ахеи пристають къ Остіи; наконецъ трояне выходятъ на берегъ Лаціума.

Въ своемъ изслѣдованіи авторъ впрочемъ гораздо болѣе отдѣляетъ туземное италійское народонаселеніе отъ пришлаго, чѣмъ въ самой «Исторіи римлянъ». Онъ видитъ его преимущественно въ племени умбровъ и потомъ въ аврункахъ, иначе называемыхъ авзонами. Ихъ также нельзя устранить отъ участія въ образованіи римской народности: они тоже внесли нѣкоторыя основныя черты въ ея фیزیономію. Но самая видная историческая роль принадлежитъ не имъ: пока они укрываются въ своихъ горахъ, пеласги продолжаютъ дѣйствовать на исторической сценѣ. Другіе пришельцы негреческаго происхожденія, какъ съ отдаленнаго Востока, такъ и съ Сѣвера, тоже въ извѣстной степени находятся подъ вліяніемъ пелас-

¹⁾ Ein anderer Strom *hellenischer* Bevölkerung.. См. Die älteste Bevölkerung Italiens, p. 16.

гическаго, иначе гелленскаго народнаго элемента. Не прежде, какъ *слившись въ одинъ народъ съ пеласгами*, колонія лидійскихъ тирреновъ вполнѣ прививается къ италійской почвѣ и даже образуетъ новую фазу въ развитіи „гелленско-римскаго“ племени ¹⁾. Во всякомъ случаѣ тиррены нисколько не измѣняютъ сущности дѣла: они тоже пеласги, лишь азіатской, а не европейской отрасли этого племени. Авторъ такъ убѣжденъ въ истинѣ своего предположенія, что на этотъ разъ отступаетъ даже отъ главнаго своего авторитета, Діонисія, который, какъ извѣстно, считалъ этрусковъ автохтонами, то-есть коренными жителями на полуостровѣ. Между тѣмъ на сѣверѣ Италіи является новое сильное племя—разены (Rasena), тѣснимое лигурами и другими народами кельто-иберійскаго происхожденія; оно подвигается все дальше впередъ по направленію къ юго-западу и производитъ весьма ощутительное давленіе на тирреновъ и пеласговъ, которые принуждены уступить ему часть занимаемыхъ ими земель. Герлахъ не сомнѣвается какъ въ сѣверномъ происхожденіи разеновъ (слѣдовательно рѣзко отличаетъ ихъ отъ пеласговъ), такъ и въ томъ, что они внесли много новыхъ особенностей во внутреннее развитіе древняго италійскаго народонаселенія. „Это сильное племя“ (говоритъ онъ), „котораго главное занятіе состояло въ земледѣліи и скотоводствѣ, утвердившись въ самомъ сердцѣ страны, положило новую основу для дальнѣйшаго развитія“. Но тѣмъ не менѣе, по его же словамъ, „благороднѣйшіе“ зачатки гражданственности, кроткіе нравы и первыя сѣмена искусства были принесены въ Италію изъ Эллады, вышедшими съ востока и юга пеласгами, которые основали города и положили начало государственному устройству ²⁾. Если врожденная храбрость разеновъ одержала верхъ въ борьбѣ съ тирренами и пеласгами, то для того только, чтобъ потомъ и покориться ихъ же культурѣ, и принять ихъ образованіе. Такимъ образомъ всякая новая фаза въ развитіи древняго италійскаго народонаселенія опять возвращаетъ насъ къ пеласгическому народному элементу. Несмотря на свое матеріальное безсиліе, онъ самый живущій въ Италіи; онъ своею образовательною силою

1) Ibid, p. 27. Eine Colonie, vielleicht von Tyrus ausgegangen, nach einem langen Aufenthalt in Tyrrha in Lidien — hat die Schrift und die Kunst des Orients nach dem fernen Westen hingebacht und mit den Pelasgern zu einem Volke verschmolzen, eine neue Phase der Entwicklung des hellenisch-römischen Stammes hervorgebracht. 2) Ibid, p. 33.—Ibid, p. 41.

перерабатываетъ каждый новый народный слой и кладетъ свою печать на него. Роль, которую занимаютъ сами римляне въ послѣдующей римской исторіи, почти въ той же силѣ принадлежитъ пеласгамъ въ начальномъ ея періодѣ. Только что римляне покоряютъ себѣ Италію столько же превосходствомъ своей гражданственности, сколько и оружіемъ, а пеласги по преимуществу дѣйствуютъ на нее своею высшею культурою.

Итакъ герлаховское рѣшеніе вопроса еще больше поднимаетъ значеніе пеласгическаго элемента между древними народами Италіи, положительно признавая его за самое постоянное и самое благородное цивилизующее начало изъ всѣхъ, дѣйствовавшихъ въ одно время съ нимъ на той же самой почвѣ. Можно сказать, что этимъ воззрѣніемъ оно возведено въ наукѣ на степень полного преобладанія надъ прочими. И нельзя ошибиться насчетъ настоящаго смысла, который надобно соединять здѣсь съ значеніемъ словъ „пеласги“ и „пеласгическій“: это первые посредники между гелленскимъ образованіемъ, и Италіей, это—сами геллены. Мнѣніе Діонисія, высказанное имъ въ началѣ его сочиненія, что римляне — тѣ же геллены, долгое время должно было казаться совершеннымъ парадоксомъ; но чѣмъ глубже идетъ изслѣдованіе, тѣмъ больше оправдывается мысль его, тѣмъ шире раздвигается горизонтъ ея. Прежде чѣмъ римляне стали римлянами, они были ужъ гелленами. Итакъ извѣстное направленіе, принятое съ самаго начала римскою исторіографіею, принесло въ наше время свой самый зрѣлый плодъ. Постепенно вводя греческія представленія въ римскую исторію, римскіе историки и изслѣдователи добились лишь того, что утвердили греческій способъ воззрѣнія на нѣкоторыя ея части и отдѣльные пункты, и потомъ остановились на темномъ подозрѣніи о возможности совершенной гелленизаціи римлянъ. Мы же, наслѣдовавъ отъ нихъ эту мысль, развили ее до самыхъ крайнихъ предѣловъ, и вмѣсто того, чтобъ понять и опредѣлить силу греческаго вліянія на римское воззрѣніе, въ особенности на ходъ и развитіе римской исторіографіи, создали цѣлый греческій періодъ въ самой римской исторіи. Съ данной точки зрѣнія они больше разрабатывали методъ, а мы—самое содержаніе. Полагая гелленизмъ, хотя подъ чужимъ именемъ, въ самое основаніе римской исторіи, мы, новые изслѣдователи, такимъ образомъ заранѣе устраняемъ всѣ возможные возраженія противъ отдѣльныхъ преданій въ греческомъ вкусѣ. До сихъ поръ казалось, что главнымъ проводникомъ греческаго вліянія на Римъ была литература, откуда она мало-

слу сообщалась и самой жизни; теперь, наоборотъ, при-
гся думать, что литературная воспримчивость римлянъ
лишь слѣдствіемъ болѣе кровнаго родства ихъ съ грека-
что оно съ самаго начала существовало въ ихъ исторіи,
гомъ ужъ отозвалось въ литературѣ. Отнимите на минуту
многозначительный пеласгическій элементъ—и опять все
вернется вверхъ дномъ.

Несмотря на такую опасность, Швеглеръ однако позво-
лъ себѣ думать, что пеласгическій элементъ въ римской
ри остается еще вопросомъ, далеко не рѣшеннымъ въ наукѣ.
о конечно собрать во множествѣ слѣды имени пелас-
, потому что они разсѣяны не только по всей почти по-
ности Италии, но и по всему пространству древней Гре-
наконецъ отъ встрѣчи съ ними не уйдешь и въ Малой
. Но какъ схватить, какъ сдержать мысль этотъ вездѣ
бчающійся и вездѣ одинаково неуловимый элементъ, когда
не поддается никакому анализу? Какъ соединить въ одно
тіе это множество, которое не знало другой жизни, кромѣ
зненной, разбросанной, и котораго единство держалось
ко однимъ общимъ именемъ? Скажемъ ли мы, что пелас-
ыли обширное племя, которое, по самой многочисленности
ѣ, не могло умѣщаться въ одной странѣ и потому такъ
росалось; или это былъ нѣкогда сильный народъ, котораго
ство было расторгнуто домашними несчастіями, жестоки-
ударами судьбы, обрекшей его на скитальчество? Но, въ
омъ случаѣ, отчего же объ этомъ обширномъ и такъ да-
распространенномъ племени знали только греки и тѣ,
рые отъ нихъ заимствовали этнографическія и историче-
свѣдѣнія? Отчего имя пеласговъ не проникло далѣе гре-
аго и греко-римскаго міра? Для силы второго предполо-
ія нужно было бы напередъ отыскать хоть одинъ мо-
тъ въ исторической жизни пеласговъ, когда они въ са-
ь дѣлѣ представляли собою крѣпкое народное единство; къ
лѣнію, за изслѣдователями пеласгической древности до
. поръ остается эта важная недоимка. И что такое по-
. эта слѣпая сила судьбы, будто бы безошадно преслѣ-
щей одинъ народъ и настагающей его даже за предѣлами
ны? Приходятъ пеласги въ Италію, утверждаютъ въ ней,
тъ рѣшительный перевѣсъ надъ туземцами, и вдругъ, ни съ
, ни съ сего, начинаютъ изгибать, какъ одинокая былинка въ
аной степи. Нельзя сомнѣваться, что временные невро-
и болѣзни постигали и другихъ жителей древней Ита-

ліи: отчего же съ ними не послѣдовало такой роковой катастрофы? Не есть ли это слѣпая судьба, безъ жалости преслѣдующая пеласговъ и на новой почвѣ, выраженіе той же неопредѣленности, неясности понятія, которая нераздѣльна была съ мыслью о пеласгахъ еще въ Греціи? Если наконецъ пеласги не подходятъ прямо ни подъ одно изъ этихъ двухъ понятій—племя или народъ, то что же они такое? Здѣсь, очевидно, было бы неумѣстно отвѣчать, что пеласги—то же, что геллены. Такой отвѣтъ былъ бы равносильнъ другому: пеласги—это римляне!

„Дошедшія до насъ преданія“ (говоритъ нашъ авторъ) „объ этомъ непостоянномъ, скитальческомъ, всюду отвергнутомъ и нигдѣ неуживающемся племени, которое, какъ истинное „вездѣ и нигдѣ“, появляется почти на всѣхъ пунктахъ, чтобъ, подобно цыганамъ, вскорѣ потомъ опять исчезнуть безъ слѣда, —заключаютъ въ себѣ такъ много страннаго, что нельзя не усомниться въ ихъ исторической вѣрности. Всего же поразительнѣе своею загадочностью извѣстное преданіе, принятое Діонисіемъ объ этомъ внезапномъ, ничѣмъ неприготовленномъ уничтоженіи пеласговъ на итальянской почвѣ, гдѣ они исчезаютъ какъ тѣни. Только что успѣли они возвыситься на степень сильнаго народа, какъ вдругъ союзъ, соединившій ихъ, распался, и они опять разсѣялись во всѣ стороны. Какъ ни неожиданна подобная развязка долгихъ странствованій пеласговъ по сушѣ и морямъ, однако другую едва ли и можно было придумать для нихъ: потому что иначе пришлось бы допустить, что пеласги остались въ Италіи, а это очевидно было невозможно“ ¹⁾).

Дѣлая это замѣчаніе, Шweglerъ собственно имѣлъ въ виду Нибура и его извѣстную гипотезу; но его выводы о пеласгахъ въ той же самой силѣ могутъ быть приложены и къ воззрѣнію Герлаха, который такъ высоко поднимаетъ значеніе пеласгическаго элемента въ начальной римской исторіи. Шwegлеру не менѣе хорошо извѣстны основанія, на которыхъ построены обѣ гипотезы; онъ также проходитъ одно за другимъ всѣ извѣстія, касающіяся пребыванія пеласговъ въ Италіи. Его обстоятельный обзоръ преданій, основанный на показаніяхъ древнихъ писателей, тоже приводитъ къ тому мнѣнію, что пеласги нѣкогда жили по всей Италіи; что имя ихъ извѣстно было всему полуострову. Судя по этимъ показаніямъ, отъ пеласговъ производили свой родъ не только жители Лаціума, но и многіе другіе народы древняго періода. Пеласговъ прямо называютъ родоначальниками герниковъ; отъ пеласга производятъ певцетіевъ; сюда же должны принадлежать и

¹⁾ Schwegler, p. 165.

эотры (древніе жители Бруттіума и Луканіи), потому что они производятся отъ Энотра, который приходится внукомъ Пеласгу. Пеласги нѣкогда занимали Пиценумъ; они же владѣли значительною частью Кампаніи; нѣкоторые кампанскіе города ими были построены. Начало римскихъ сатурналій прямо возводимо было ко времени поселенія пеласговъ на Сатурновомъ холмѣ. Истинное „вездѣ и нигдѣ“, пеласги въ самомъ дѣлѣ, какъ будто выростая изъ земли, появляются всюду, гдѣ бы мы ни пожелали имѣть ихъ передъ собою. Но въ вопросахъ, касающихся древняго періода римской исторіи, не довольно собрать всѣ извѣстія: надобно еще по возможности опредѣлить тотъ источникъ, изъ котораго они почерпнуты. Мы нерѣдко приписываемъ римлянамъ то, что они сами повторяли лишь съ чужихъ словъ. Римскіе писатели до такой степени освоились съ чужими представленіями о своей исторіи, что рѣдко брали на себя трудъ отличать ихъ отъ своихъ національныхъ. Поэтому запросъ объ источникѣ собранныхъ извѣстій долженъ предшествовать всѣмъ возможнымъ выводамъ. Рѣшеніе его въ каждомъ частномъ случаѣ (если только оно удобоисполнимо для насъ) значитъ гораздо болѣе, чѣмъ кажущееся согласіе всѣхъ извѣстій между собою. Швеглеръ беретъ именно съ этой стороны вопросъ о пеласгахъ въ Италіи и вовсе не находитъ его неразрѣшимымъ. Собственное внимательное изученіе предмета привело его къ весьма важнымъ результатамъ и любопытнымъ соображеніямъ. Первое важное наблюденіе состоитъ въ томъ, что извѣстія о переселеніяхъ пеласговъ въ Италіи большею частью тѣсно соединены съ греческими преданіями о походахъ и странствованіяхъ пеласговъ вообще. Отсюда ясно по крайней мѣрѣ то, что римскія извѣстія въ этомъ случаѣ опираются на чужую основу. Да и не могли римскіе писатели говорить о пеласгахъ иначе, какъ на вѣру другимъ. Греки, заводя рѣчь объ этомъ странствующемъ племени, имѣли хоть нѣкоторую опору въ своей дѣйствительности: они могли ссылаться на тѣ немногіе остатки его, которые еще находились въ Греціи, и удерживали свое мнѣніе, когда Геродотъ писалъ свою исторію. Италійскіе пеласги, напротивъ того, не могли привести въ свою пользу никакого живого свидѣтельства: они тогда только попали въ римскую историческую литературу, когда ужъ всѣ вымерли въ Италіи. О нихъ нельзя было иначе говорить, какъ развѣ по памяти нѣкоторыхъ мѣстныхъ сказаній, или просто на вѣру другимъ. Намъ неизвѣстна ни одна эпоха изъ исторіи древней Италіи,

когда бы писатель говорилъ о живущихъ въ ней пеласгахъ какъ о своихъ современникахъ. Между другими народными именами это имя упоминалось какъ давно погасшее. И не могло оно рано проникнуть въ Италію, потому что мы нигдѣ не находимъ для него особой италійской формы; оно обыкновенно встрѣчается въ той самой формѣ, въ какой было заимствовано изъ чужого языка ¹⁾. Если же имя народа было заносное, то какъ не предположить, что сказанія о дѣлахъ его еще менѣе могли похвалиться туземнымъ происхожденіемъ? Шwegлеръ не только высказываетъ это предположеніе, но и твердо стоитъ на мысли болѣе опредѣленной относительно италійскихъ пеласговъ, то-есть, что они не прежде стали извѣстны въ Италіи, какъ со времени знакомства римскихъ антикваріевъ съ греческими логографами. Наконецъ — чтобы ужь привести окончательный его выводъ — онъ нисколько не сомнѣвается въ томъ, что Гелланикъ и Ферекидъ служили главнымъ источникомъ всѣхъ преданій о пребываніи пеласговъ въ Италіи. Не удивительно, что многіе найдутъ этотъ выводъ слишкомъ смѣлымъ; но, не опровергнувъ основаній автора, едва ли можно будетъ впредь строить гипотезы о расселеніи пеласговъ и о судьбахъ ихъ на Апеннинскомъ полуостровѣ.

Понятно, что Шwegлеру не было нужды останавливаться на каждомъ отдѣльномъ преданіи и подвергать его особому анализу, когда несостоятельность всей гипотезы объ италійскихъ пеласгахъ показана на самомъ источникѣ всѣхъ извѣстій о нихъ. Нельзя однако не пожалѣть, что, имѣя въ виду преимущественно Нибура, онъ не обратилъ вниманія на одно обстоятельство, на которое опираются въ своихъ выводахъ позднѣйшіе защитники пеласгическаго элемента въ древней римской исторіи. Оно взято изъ монументальной исторіи страны и потому имѣетъ неоспоримую важность. Самый фактъ не подлежитъ никакому сомнѣнію; и если бѣ объясненіе, которое ему дѣлаютъ, оказалось также справедливо, то существованіе пеласговъ въ Италіи, какъ осѣдлаго и сильнаго народа, было бы доказано, помимо всѣхъ сомнительныхъ преданій, самымъ неопровержимымъ образомъ. Дѣло въ томъ, что Италія до сихъ поръ сохранила во многихъ мѣстахъ остатки построекъ, кото-

¹⁾ Примѣры двухъ формъ въ другихъ народныхъ именахъ: Σικελοί — Siculi; Ὀπικοί — Osci; Σαυνίται — Samnites; Ὀλσοί — Volsci; Αὔρονες — Aurunci, etc.

ныя несомнѣнно принадлежать древнѣйшему, то-есть до-римскому, періоду ея исторіи. Новыя археологическія изслѣдованія открыли ихъ во множествѣ, особенно въ Средней Италіи, и большею частью по берегамъ рѣкъ. Въ одной долинѣ Сальто всчитываютъ до 12 пунктовъ, гдѣ можно еще видѣть остатки древнихъ городовъ. Неподалеку отсюда въ сосѣдственной долинѣ Велино (Velinus) также лежатъ замѣчательныя развалины, признаваемые нѣкоторыми за остатки городовъ Листы и Палаціума. Далѣе къ югу, въ долинѣ Лириса, стоятъ еще стѣны Атины, Лоры, Ариминіума; кромѣ того подобныя остатки попадаются еще и на равнинахъ. Всѣ они одного стиля и принадлежатъ, безъ сомнѣнія, одной исторической эпохѣ. Чье же было это искусство? Кто построилъ эти крѣпкія стѣны, пережившія, хотя въ развалинахъ, память самихъ городовъ, отъ которыхъ онѣ имѣли свои названія? Строители не оставили своихъ именъ на стѣнахъ; но судя по характеру постройки, то-есть по самому способу кладки камней и ихъ обдѣлыванія, нѣкоторые археологи пришли къ тому заключенію, что эти стѣны одного устройства съ остатками извѣстныхъ пеласгическихъ сооружений въ древней Греціи и, слѣдовательно, должны относиться къ одной эпохѣ съ ними и принадлежать тому же племени. Кромѣ общаго сходства, замѣчаемаго въ стилѣ тѣхъ и другихъ построекъ, указываютъ еще поразительные примѣры сходства въ самыхъ подробностяхъ, прямо наводящіе на ту мысль, что тутъ имѣло мѣсто и умысленное подражаніе. Такъ, по словамъ Джеля, остатки Листы и Палаціума представляютъ удивительное сходство во всѣхъ частяхъ съ остатками стѣнъ аркадской Ликосуры; и что еще замѣчательнѣе, извѣстныя Арпинскія ворота въ Италіи, по свидѣтельству того же опытнаго археолога, есть вѣрное повтореніе еще болѣе знаменитыхъ Микенскихъ воротъ въ Греціи ¹⁾. Указанія и наведенія этого рода, утверждающіяся на неопровержимомъ свидѣтельствѣ памятниковъ, имѣютъ, по нашему мнѣнію, гораздо болѣе вѣса, чѣмъ всѣ преданія о пеласахъ, взятые вмѣстѣ. Монументальное свидѣтельство есть, безспорно, самое незыблемое. Конечно, въ данномъ случаѣ ему недостаетъ полной выразительности, чтобъ голосъ его можно было принять за рѣшительный. Мы говоримъ о пеласгическихъ постройкахъ въ той и другой странѣ, но нигдѣ не читаемъ имени пеласговъ. Нѣтъ ни одной надписи, которая называла бы ихъ прямо

¹⁾ См. объ этомъ Gerlach und Bachofen, I. 1, p. 142—143.

по имени. Родъ древнихъ построекъ, которыя мы условились называть пеласгическими, именно отличается отсутствіемъ надписей. Далѣе можно замѣтить, что выраженіе „пеласгическій“ хорошо и понятно въ извѣстномъ смыслѣ, то-есть какъ принятый техническій терминъ для означенія извѣстной степени строительнаго искусства, но ничего еще не опредѣляетъ относительно самой народности. Называя тѣ же постройки (или еще болѣе грубую степень того же искусства) „циклопическими“, не хотятъ же непременно предполагать существованіе народа, который назывался бы циклопами, и т. д. Вообще многое можно было бы замѣтить противъ тѣхъ, которые съ торжествующимъ видомъ указываютъ на „пеласгическія“ постройки въ Италіи, какъ на несомнѣнное доказательство существованія народа пеласговъ; при болѣе точномъ изслѣдованіи предмета, можетъ-быть оказалось бы въ результатѣ и то, что дѣло пеласговъ ровно ничего не выигрываетъ отъ новаго способа защиты. Но пока противная сторона не представила своихъ опроверженій, пока она еще не успѣла формально раздѣлаться съ фактомъ, который, повидимому, всего громче говоритъ противъ нея, до тѣхъ поръ нельзя считать вопросъ совершенно законченнымъ, и рѣшеніе все еще должно оставаться подъ нѣкоторымъ сомнѣніемъ.

Не надобно впрочемъ думать, чтобъ Швеглеръ, опровергая существованіе пеласговъ какъ особой народности въ Италіи, ограничился одними отрицательными доводами. По нашему личному убѣжденію, главная заслуга его состоитъ въ томъ, что онъ первый воспользовался, при рѣшеніи этого вопроса, доказательствомъ самаго положительнаго свойства, крѣпко основаннымъ на предшествовавшихъ филологическихъ изслѣдованіяхъ, которыя всѣ почти принадлежатъ позднѣйшему времени, и которыхъ важнѣйшіе результаты лишь теперь начинаютъ понемногу проникать въ массу образованной публики. Знаменитый авторъ «Римской исторіи» навѣрное избѣжалъ бы многихъ ошибокъ въ своихъ этнографическихъ понятіяхъ, если бъ трудный путь его былъ освѣщенъ хотя одною долею подобныхъ изслѣдованій. Лишь сличая ихъ выводы и прилагая ихъ къ исторіи, какъ это дѣлаетъ Швеглеръ, можно привести въ нѣкоторую ясность наши отрывочныя свѣдѣнія о первобытныхъ жителяхъ Италіи. Но какъ это предметъ довольно сложный, то мы возвратимся къ нему въ слѣдующей статьѣ.

II.

Въ настоящее время не трудно понять причину, отчего прежнее изслѣдованіе, такъ долго удерживаясь на вопросѣ о древнѣйшемъ народонаселеніи Италіи, не могло однако пойти далѣе несостоятельной гипотезы о пеласгахъ. Даже съ проницательностью и вѣрнымъ тактомъ Нибура нельзя было избѣжать ошибки, потому что она условливалась недостатками самаго метода. Прежнее изслѣдованіе, не исключая нибуровскаго, думало рѣшить вопросъ лишь на основаніи историческихъ извѣстій, сохранившихся у древнихъ писателей. Намъ извѣстна уже степень достовѣрности этихъ извѣстій въ самомъ ихъ источникѣ: чего же можно было ожидать отъ искусственныхъ ихъ комбинацій, которыя въ разное время предпринимались разными изслѣдователями, кромѣ болѣе или менѣе остроумныхъ гипотезъ? Какъ было не попасть на неизбежное предположеніе о пеласгахъ, когда, перебирая свидетельства древнихъ и ограничиваясь только ими, приходилось то-и-дѣло встрѣчаться съ греческими представленіями объ этомъ загадочномъ племени, столько укоренившимися въ римской исторіографіи? Не удивительно, что Нибуръ почерпалъ основанія для своихъ выводовъ изъ этого источника: другого еще и не было въ его время; странно то, что онъ не замѣтилъ противорѣчій между своимъ же воззрѣніемъ на извѣстія римскихъ историковъ и тѣмъ приложеніемъ, которое дѣлалъ изъ нихъ въ самомъ началѣ своихъ изслѣдованій о римской исторіи. Правда, что съ одною цѣлью у него соединялась другая: рѣшая вопросъ о древнѣйшемъ народонаселеніи Италіи, онъ хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ указать въ самомъ корнѣ на общее происхожденіе грековъ и римлянъ, котораго признаки замѣчаются въ языкѣ того и другого народа, а для этой цѣли онъ не находилъ другого посредствующаго элемента, кромѣ пеласговъ. Но пока оставалось противорѣчіе, ни та ни другая цѣль не могла быть достигнута какъ слѣдуетъ, потому что принятыя основанія для выводовъ сами еще нуждались въ повѣркѣ, которая впрочемъ, какъ показали послѣдствія, вовсе не говорить въ ихъ пользу.

Между тѣмъ какъ, на основаніи историческихъ указаній, происходилъ споръ объ италійскихъ пеласгахъ, на другомъ полѣ незамѣтно подготавлился новый матеріалъ и, такъ ска-

зять, новое орудіе для опредѣленія древняго народонаселенія Италіи. Надобно сказать правду: не разработавъ напередъ этого матеріала, напрасно было и приступать къ дѣлу: не зная ничего опредѣленнаго, документальнаго, о языкѣ древнихъ жителей Италіи, нельзя было дѣлать заключенія о различіи ихъ происхожденія, или о степени ихъ племенного родства между собою и съ другими народами. Какъ на всѣхъ почти историческихъ почвахъ, и здѣсь вопросъ о первоначальныхъ жителяхъ страны долженъ былъ прежде всего разъясниться путемъ филологическаго изслѣдованія. По счастью, въ разныхъ мѣстностяхъ Италіи, обозначаемыхъ въ древнемъ періодѣ различными народностями, сохранилось достаточное число надписей, чтобъ составить по нимъ нѣкоторыя общія заключенія о самомъ языкѣ, на которомъ онѣ писаны. Долгое время онѣ казались недоступными анализу; долгое время весь успѣхъ изслѣдованія ограничивался лишь нѣкоторыми спеціальными выводами, которые, повидимому, не могли найти себѣ никакого приложенія въ исторіи: потому что дѣло точно было новое и трудное, и только со временемъ, соединенными усиліями многихъ изслѣдователей, посвятившихъ ему можетъ-быть лучшія свои силы, можно было нѣсколько распутать этотъ узелъ и достигнуть болѣе твердыхъ и болѣе положительныхъ результатовъ. Тѣмъ съ большею признательностью наука сохранить имена тѣхъ, которые не побоялись трудностей дѣла и продолжали работать надъ нимъ, несмотря на то, что труды ихъ долго оставались почти не замѣченными: постоянствомъ своего изслѣдованія они не только успѣли взять верхъ надъ предметомъ, но и много способствовали тому, чтобъ продолжить нѣкоторые новые пути въ наукѣ. Особенной благодарности въ этомъ отношеніи заслуживаетъ та отрасль нѣмецкой филологіи, которая преимущественно посвятила свои занятія изученію языковъ древней Италіи по сохранившимся памятникамъ. Начало ея не восходитъ выше послѣднихъ двадцати лѣтъ нашего столѣтія. Нибуръ приближался уже къ концу своего поприща, когда полагались только первыя основанія этой важной отрасли древней эпиграфики. Между именами ея основателей и здѣсь встрѣчается имя Гротефенда, которому какъ-будто суждено дѣлать самые первые шаги въ трудномъ искусствѣ чтенія надписей, и потомъ надолго оставиваться на нихъ. Но зачинанія его всегда благотворно дѣйствовали на продолжателей, и большею частью наводили ихъ на вѣрный путь. Около того же времени О. Миллеръ,

маясь этрусками, попалъ на ту же самую дорогу; но теза о пеласгахъ была тогда еще во всей своей силѣ, и идко сбивала съ толку изслѣдователя. Какъ бы то ни было, кеніе было открыто, и вслѣдъ за начинателями многіе кіе таланты устремились по тому же направленію. Одни нихъ, какъ напримѣръ, Лепсіусъ, покинули его потомъ другихъ занятій; другіе, какъ Кленцъ, Моммсенъ, и въ ѣднее время особенно Ауфрехтъ и Кирхгофъ, сосредотили около него всю свою ученую дѣятельность. Такимъ образомъ, съ небольшимъ въ два десятилѣтія, изслѣдованіе могло явить значительные успѣхи, принести свои плоды наукѣ. вая, разумѣется, воспользовалась ими филологія; но вотъ наступила пора, когда исторія также можетъ усвоить результаты изслѣдованія и извлечь изъ нихъ пользу пріядля себя.

Сколько намъ извѣстно, Швиглеръ первый употребилъ въ зъ, при рѣшеніи вопроса о древнѣйшемъ народонаселеніи лии, результаты новѣйшихъ филологическихъ изслѣдованій. ьзя было избрать болѣе вѣрнаго средства, чтобы подвигъ впередъ науку римской исторіи въ одномъ изъ тѣхъ ктовь, гдѣ ея собственныя средства всего недостаточнѣе. кно сказать, что теперь только начинается проясняться въ глубокой мракъ, въ которомъ такъ долго были скрыты, нашихъ глазъ основныя народныя черты древней Италіи. бы впрочемъ быть вѣрнѣе возрѣнію самого автора, мы эмъ держаться его же порядка въ нашемъ изложеніи. Снаа онъ дѣлаетъ сводъ тѣхъ положеній, которыя добыты чисто юлогическимъ изслѣдованіемъ и показываютъ отношенія внихъ итальянскихъ діалектовъ между собою. Оказывается, всѣ они, за исключеніемъ элементовъ кельтическаго и ческаго, позднѣе занесенныхъ въ Италію переселенцами съ ера и юга, могутъ быть раздѣлены на три главныя отрасэтрусскую, умбро-сабелло-латинскую и мессапійскую. Обгь этрусскаго языка нѣкогда была довольно обширна. Не аничиваясь собственно Тосканою, употребленіе его также пространено было по теченію рѣки По, по крайней мѣрѣ гѣхъ поръ, пока кельты не утвердились въ тѣхъ мѣстахъ. пзя того же положительно утверждать о Кампаніи, хотя уски и владѣли ею нѣкоторое время. Дошедшія до насъ ровища этого языка заключаются въ этрусскихъ надписяхъ, орыя впервые были собраны и изданы Ланци, но котогъ число потомъ значительно умножилось. Извѣстно, что

изъ всѣхъ древне-италійскихъ языковъ этрусскій наименѣе уступаетъ изслѣдованію; однако, послѣ многихъ усилій, оно овладѣло имъ настолько, чтобъ сдѣлать нѣкоторыя заключенія объ отношеніи его къ другимъ родственнымъ языкамъ. Долгое время онъ казался совершеннымъ особнякомъ, не имѣющимъ никакой связи съ общимъ индо-германскимъ корнемъ. Поразительная бѣдность его вокализациі дѣлала почти невозможнымъ всякое сближеніе. Но и эта трудность побѣждена въ послѣднее время. Доказано, что сначала вокализациа была гораздо богаче, и что необыкновенное скопленіе согласныхъ есть ужъ позднѣйшее явленіе въ этрусскомъ языкѣ, которое имѣло свои причины въ особой системѣ произношенія (собственно акцентуациі). Это же самое обстоятельство имѣло большое вліяніе и на окончательныя формы языка (флексіи), которыя также приводили въ отчаяніе изслѣдователей. Многія особенности его и теперь еще остаются не разгаданными, но по крайней мѣрѣ не можетъ быть болѣе рѣчи о его безсемеиности или совершенномъ отчужденіи отъ семьи прочихъ европейскихъ языковъ. Ужъ открыты признаки родства какъ въ корняхъ, такъ и въ формахъ, и есть надежда, что дальнѣйшее изслѣдованіе еще лучше покажетъ близкое отношеніе этрусскаго языка къ другимъ современнымъ ему италіанскимъ діалектамъ. Мессапійская отрасль, которая, до усиленія самнитянъ и утвержденія греческихъ колонистовъ, распространялась не только на всю Калабрію, но и на Апулію, Луканію и Бруттіумъ, тоже мало покоряется анализу. Остатки ея заключаются въ небольшомъ числѣ надписей, сохранившихся до нашего времени. Они еще не объяснены до сего времени, и потому трудно опредѣлить настоящее мѣсто этого языка. Момсенъ однако видитъ въ немъ одинъ изъ діалектовъ италійскихъ автохтоновъ, существовавшій еще до греческаго, но родственнѣй ему, и потому даетъ ему названіе пеласгическаго. Самые положительныя результаты, добытыя новымъ изслѣдованіемъ, относятся къ третьей отрасли. Она обнимаетъ собою діалекты всѣхъ народовъ, которыхъ имена входятъ въ ея многосложное названіе. По этому можно судить и о предѣлахъ ея географическаго распространенія: къ области ея нѣкогда принадлежала вся южная половина полуострова, начиная отъ теченія рѣки Тибра и выключая лишь Калабрію и греческія колоніи. Пока знаніе не коснулось языковъ, нельзя было сказать ничего положительнаго и о народахъ, жившихъ на этомъ пространствѣ. А Шлегель первый высказалъ мысль о ихъ род-

сгенности; въ послѣдствіи Лепсіусъ повторилъ то же самое мнѣніе; но самыя рѣшительныя выводы принадлежатъ уже новѣйшему изслѣдованію: оно представило несомнѣнныя доказательства, что умбры, самниты, сабины, вольски и латины не говорили каждый своимъ особымъ языкомъ, а употребляли лишь *различныя діалекты одного и того же языка*, которые находятся между собою въ такомъ же отношеніи, какъ и различныя діалекты языковъ греческаго или нѣмецкаго. Большой определенности нельзя было бы и требовать отъ общаго вывода.

Если же было единство языка, то не въ правѣ ли изслѣдователь заключить отсюда, что и самыя народы, говорившіе этимъ языкомъ, принадлежали къ одному общему корню—все равно, разошлись ли они между собою еще до вступленія своего въ Италію, или былъ между ними одинъ коренной народъ, отъ котораго уже въ послѣдствіи, на новой почвѣ, постепенно произошли различныя вѣтви?

Опираясь въ своемъ основаніи на филологическіе выводы, эта мысль не находится въ противорѣчій и съ историческими преданіями. Швеглеръ приводитъ нѣсколько такихъ указаній почти на каждый народъ, принадлежащій по языку къ одной группѣ съ латинцами. Первые сюда относятся умбры. Прочную опору для изслѣдованій о ихъ языкѣ составляютъ извѣстныя «Игувинскія надписи», въ числѣ семи, изъ которыхъ двѣ писаны латинскими письменами, а остальные пять — умбрскими, идущими отъ правой руки къ лѣвой. Онѣ-то дали возможность видѣть, что языкъ умбровъ рѣзко отдѣляется отъ этрусскаго, за то впрочемъ имѣетъ много родственнаго съ осскимъ и латинскимъ. Не оттого ли, можетъ-быть, между ними было такое близкое отношеніе, что умбры составляли нѣкогда коренной стволъ для всей этой семьи народовъ? Историческія преданія не противорѣчатъ этому предположенію. По извѣстіямъ, которыя сохранились у Плинія, умбры были древнѣйшій и многочисленнѣйшій народъ въ Италиіи и, до нашествія этрусковъ и галловъ, занимали всю сѣверную Италію. Не удивительно, что, уступая этому давленію съ сѣвера, они потомъ начали все болѣе и болѣе распространяться на югъ, и что отъ нихъ пошли какъ сабины, такъ и другіе народы, утвердившіеся позже въ южной части полуострова. То же самое предположеніе могло бы имѣть мѣсто и относительно вольсковъ, отъ которыхъ до насъ дошли двѣ надписи, представляющія поразительныя аналогическія черты съ языкомъ умбровъ; но этотъ фактъ, надобно признаться, не имѣетъ за

собою яснаго историческаго свидѣтельства. О сабелльскомъ нарѣчїи, которымъ говорили сабинцы и родственные имъ мелкіе народы Средней Италїи, какъ-то: марсы, марруцины, пиченты, знаемъ мы сравнительно менѣе по бѣдности оставшихся послѣ него памятниковъ. Впрочемъ этому недостатку помогаютъ частью названія сабинскихъ городовъ, частью же нѣкоторые идиотизмы языка, сохраненные древними писателями. Какъ ни скудны эти остатки, но они довольно ясно показываютъ, что языкъ, которымъ говорили сабинцы, долженъ занимать среднее мѣсто между діалектами умбрскимъ и осскимъ, точно такъ, какъ и географическое положеніе народа было среднее или посредствующее между этими крайними отраслями одного племени. И по извѣстіямъ древнихъ, сабинцы, сами будучи съ одной стороны вѣтвью умбровъ, съ другой считались родоначальниками оссо-сабелльской народной семьи. Называли же самнитяне сами себя сабинами; да и въ томъ имени, подѣ которымъ мы знаемъ ихъ, заключается то же самое указаніе. Нѣкоторые филологическіе признаки сюда же заставляютъ относить еще герниковъ: не иначе думаетъ о нихъ Сервій, извѣстный комментаторъ Virgilїя, производящій ихъ прямо отъ сабинцевъ. Гораздо болѣе простора даетъ изслѣдованію осскій языкъ: онъ не чуждъ былъ нѣкотораго литературнаго образованія, служилъ нѣкоторое время языкомъ officialнымъ и оставилъ по себѣ сравнительно большее число памятниковъ въ надписяхъ. Внѣшнее или географическое его распространеніе также было очень значительно: кромѣ самнитянъ, къ области осскаго языка принадлежали френтаны, сѣверные апулійцы, кампанцы со времени самнитскаго завоеванія. и другіе южные народы, за исключеніемъ тѣхъ, которыхъ говоръ относился къ мессапійской отрасли. Въ Геркуланумѣ и Помпеѣ осскій языкъ употреблялся до самаго ихъ разрушенія. Успѣхами въ разборѣ осскихъ надписей наука всего болѣе обязана Момсену. Его превосходныя изслѣдованія дали несомнѣнныя доказательства того, что осскій языкъ, какъ по системѣ звуковъ, такъ и по корнямъ и грамматическимъ формамъ, имѣетъ ближайшее родство съ латинскимъ и умбрскимъ, и составляетъ, подобно имъ, лишь особый діалектъ одного и того же основнаго языка. Ничего не можетъ быть опредѣленнѣе этого вывода. Тѣмъ замѣчательнѣе то согласіе, которое находится между нимъ и нѣкоторыми этнографическими преданіями. Во время Аристотеля и даже Катона Старшаго, греки продолжали относить латинцевъ и рим-

инъ къ опикамъ (то есть къ народамъ, говорившимъ по-осски), и приводили ихъ къ единству, прежде чѣмъ римское завоеваніе распространилось на Кампанію, конечно не по иной причинѣ, какъ на основаніи замѣченнаго сродства въ языкѣ. То же, безъ сомнѣнія, имѣлъ въ виду Полибій, когда причиталъ мауртинцевъ въ родню римлянамъ. Страбонъ положительно говоритъ, что въ языкѣ самнитскомъ есть много общаго съ этинскимъ. Поставленные рядомъ съ филологическими выводами, эти отрывочныя извѣстія также имѣютъ свою цѣну и значеніе.

Породнивъ между собою важнѣйшія народности древней Италіи, изслѣдованію оставалось показать тѣмъ же путемъ: въ какомъ отношеніи находятся онѣ къ общей семьѣ индо-германскихъ народовъ. Сравнительное языковѣдѣніе не менѣе ясно и удовлетворительно рѣшаетъ и эту вторую половину задачи. Отношеніе къ общему корню здѣсь то же самое, что и у другихъ народовъ-старожиловъ Европы: связь открывается сама собою, безъ всякаго посредствующаго звена. Нѣтъ достаточныхъ основаній думать, чтобы грекамъ принадлежало какое-нибудь преимущество въ этомъ родѣ; сравнительное изученіе языковъ скорѣе приводитъ къ тому заключенію, что древніе италійскіе народы были сверстники своихъ сосѣдей, жившихъ по другую сторону Адриатическаго моря.

„Народы и племена“ (говоритъ Швеглеръ), „которыхъ встрѣчаешь въ Италіи на самой первой зарѣ зачинающейся исторіи, если не съ, то болѣею частью принадлежатъ къ индо-германской породѣ. Какъ какъ первоначальную ея родину надобно искать въ Азіи, то они, очевидно, не могли быть автохтонами Италійскаго полуострова, а явились сюда пришельцами и заняли страну посредствомъ завоеванія. Вѣроятно также можно сказать, что это ихъ переселеніе произошло не моремъ, не на судахъ, а сухимъ путемъ, и что слѣдовательно они проникли въ Италію съ сѣвера. Вѣроятно далѣе, что италійскія племена индо-германскаго происхожденія вошли въ предѣлы полуострова всѣ вмѣстѣ, одною сплошною массою, и что потомъ уже на этой почвѣ произошло развѣтвленіе языка на нѣсколько различныхъ диалектовъ. Съ другой стороны нельзя отвергать возможности и обратнаго явленія, т. е. что Италія получила свое индо-германское народонаселеніе не за разъ, а вслѣдствіе цѣлаго ряда постепенныхъ переселеній, которыя, какъ волны, приливали къ ея предѣламъ одно слѣдъ за другимъ. По крайней мѣрѣ это предположеніе имѣетъ въ себѣ аналогію большихъ народныхъ переселеній въ началѣ новаго времени“.

Итакъ филологическое рѣшеніе вопроса о древнѣйшемъ народонаселеніи Италіи обходится безъ пеласговъ. Ему нѣтъ

никакого дѣла до нихъ, по той весьма простой причинѣ, что оно и помимо ихъ достигаетъ весьма удовлетворительныхъ заключеній. Для чего же теперь можетъ быть пригодна гипотеза о пеласагахъ, о которой такъ много хлопотали прежніе изслѣдователи? Какую пользу приносить она наукѣ, или какое явленіе объясняетъ въ ней? Было время, когда она дѣйствительно помогала—если не самому знанію, то исторической любознательности, давая, повидимому, самое удовлетворительное объясненіе загадочной двойственности латинскаго языка и связи его съ греческимъ. Еще римскіе изслѣдователи замѣчали въ своемъ языкѣ особую стихію, которая, по ихъ мнѣнію, велъ свое начало отъ эолическаго нарѣчія. Новые, не допуская такого подчиненія одного языка другому, тѣмъ не менѣе продолжали отличать въ латинскомъ два различные элемента: одинъ такъ называемый „полугреческій“, и другой совершенно чуждый ему. Иначе говоря, латинскій языкъ признанъ былъ за смѣшанный, и каждая составная часть его требовала для себя особеннаго объясненія. Дальнѣйшее наблюденіе показало, что слова распредѣлялись по группамъ не случайно, но на основаніи самыхъ понятій. Такъ слова, означающія различные предметы земледѣлія и мирной оскѣдлой жизни вообще, большею частью имѣютъ сходство съ греческими; и наоборотъ, предметы, относящіеся къ военнымъ занятіямъ, также къ охотничьей жизни, выражаются такими словами, въ которыхъ совершенно нѣтъ ничего греческаго—не ясный ли знакъ, что два чуждые другъ другу народа встрѣтились между собою, и что одинъ изъ нихъ, болѣе воинственный, одолѣлъ другой болѣе мирныхъ свойствъ? Въ этомъ состояніи вопроса пеласги должны были показаться сущимъ кладомъ для изслѣдованія. Въ самомъ дѣлѣ, съ помощью гипотезы о пеласагахъ легко разъяснялись обѣ главныя трудности задачи. Во-первыхъ, становилось понятно присутствіе въ латинскомъ языкѣ элемента, родственнаго греческому, а между тѣмъ, во-вторыхъ, не было никакой нужды производить одинъ языкъ отъ другого, потому что они нашли общій корень себѣ въ языкѣ пеласговъ. Такъ объяснялъ себѣ это явленіе Нибуръ, а О. Мюллеръ даже положительно утверждалъ, что другого рѣшенія и быть не можетъ. Сходство латинскаго съ греческимъ (говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ своего изслѣдованія «О дорянахъ») не иначе можетъ быть объяснено, какъ при посредствѣ третьяго члена, т. е. пеласгическаго языка. Но какую силу имѣетъ это утвержденіе съ тѣхъ поръ, какъ найдено прямое и непосред-

гвенное отношеніе латинскаго языка къ общему корню всѣхъ индо-германскихъ языковъ? Зачѣмъ бы еще наука стала обращаться къ воображаемому источнику послѣ того, какъ сравнительная филологія открыла настоящій родникъ богатства языка? Исслѣдователи нѣсколько поторопились, когда объявили одну часть въ цѣломъ составѣ латинскаго языка греческою: латинскіе народы могли бы по тому же самому праву обратиться на грековъ и также объявить своею соотвѣтствующую часть въ ихъ языкѣ. Болѣе раннее и болѣе самостоятельное развитіе греческой литературы—фактъ общеизвѣстный и не подлежащій никакому сомнѣнію; но значеніе его вовсе не простирается такъ далеко, чтобы отсюда прямо можно было дѣлать заключеніе, что и самыя начала языка, сравнительно съ латинскимъ, гораздо древнѣе. Не опредѣливъ напередъ отношеній того и другого языка къ ихъ первоначальному корню, нельзя судить вѣрно и объ относительной древности каждаго изъ нихъ. Рѣшеніе тутъ возможно только средствами сравнительнаго языковѣдѣнія, а оно приводитъ почти къ неожиданнымъ результатамъ. Такъ въ латинскомъ можно указать многія формы санскритскаго, которыя совершенно утратились въ греческомъ, и вообще, по мнѣнію знатоковъ, послѣдній гораздо значительнѣе отступилъ отъ организма цѣлой отрасли, чѣмъ латинскій ¹⁾. Отсюда легко видѣть, какое употребленіе можетъ дѣлать наука изъ такъ называемой греческой стихіи въ латинскомъ языкѣ. Со стороны критики конечно было бы крайне несправедливо ставить Нибуру и О. Миллеру въ вину ихъ ошибку: она не зависѣла отъ ихъ воли и произошла не отъ недосмотра или недостатка вниманія, а отъ того, что въ ихъ время наукъ еще не за что было взяться, чтобы найти правильное рѣшеніе: средства для него созрѣли лишь въ послѣдующія два десятилѣтія. Нибуръ и вслѣдъ за нимъ О. Миллеръ старались побѣдить трудность средствами своего времени, потому что другихъ и не могло быть въ ихъ распоряженіи. Но возвращаясь къ прежнимъ приѣмамъ въ наше время, когда же эта тема достаточно разработана филологіею, значило бы, по нашему мнѣнію, не имѣть довольно вниманія къ успѣхамъ науки и стараться задерживать ее на ложномъ пути въ то самое время, какъ все указываетъ ей на новые, болѣе прямые и правильные выходы.

Говорятъ, что латинскій языкъ—смѣшанный; стало-быть

¹⁾ См. Schwegler, p. 186—188.

предполагають, что въ немъ организмъ одного языка сильно потерпѣлъ отъ столкновенія съ другимъ. Но гдѣ же слѣды того насильственного потрясенія, которое неминуемо должно было произойти отсюда и отразиться на цѣломъ составѣ языка? Обыкновенно столкновенія этого рода производятъ разрушительное дѣйствіе на систему формъ и, сверхъ того, разбираютъ весь внутренній строй языка, какъ бы ни крѣпки были его основанія. Англійскій языкъ представляетъ самый разительный примѣръ подобнаго явленія: онъ утратилъ старыя англосаксонскія формы, но не усвоилъ себѣ французскихъ, принесенныхъ норманнами, и остался почти ни при чемъ. На латинскомъ языкѣ, напротивъ того, не видно и тѣни того, чтобы онъ когда-нибудь выдержалъ таковой же насильственный переломъ, или чтобы онъ обязанъ былъ своимъ происхожденіемъ смѣшенію двухъ различныхъ языковъ. Его богатство формъ и правильное во всѣхъ частяхъ построеніе устраняютъ всякую мысль о томъ. Онъ выросъ такъ же органически изъ одного корня, какъ и греческій, и вовсе не уступаетъ ему въ единствѣ. Кажущіяся заимствованія изъ греческаго, которыя находятъ въ латинскомъ языкѣ, въ сущности общее достояніе всего индо-германскаго племени: эти слова болѣе или менѣе согласны между собою почти во всѣхъ языкахъ той же фамиліи. И почему непремѣнно хотятъ сравнивать латинскій языкъ съ греческимъ, когда съ одинаковымъ правомъ можно сдѣлать то же самое и въ отношеніи къ нѣмецкому, земдскому и другимъ языкамъ родственнымъ? Тогда, можетъ-быть, точно также нашли бы въ латинскомъ элементы нѣмецкій, земдскій, и т. д. Или, приложивъ тотъ же самый приѣмъ къ греческому языку, могли бы открыть въ немъ—разумѣется, подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія—тоже двѣ стихіи: латинскую и не-латинскую, и, сообразно съ тѣмъ, вывести общее заключеніе о его составѣ. Вообще Швеглеръ не придаетъ никакой цѣны этому приѣму, или способу сравненія языковъ, считая его одностороннимъ, ошибочнымъ и потому совершенно безплоднымъ въ наукѣ ¹⁾).

Возвращаясь къ гипотезѣ о пеласгахъ, мы можемъ теперь сказать, что она отжила свое время. Успѣхи сравнительнаго языкознанія подорвали ея мнимыя основанія и сдѣлали ее совершенно несостоятельною. Волею или неволею, она должна уступить свое мѣсто въ наукѣ новымъ воззрѣніямъ. При всемъ

¹⁾ Ibid. p. 191.

нѣмъ было бы несправедливо, кажется намъ, проводить ее однимъ укоромъ. Кромѣ того, что съ гипотезою о пеласгахъ соединена память о Нибурѣ и его взглядѣ на начальную римскую исторію, не надобно забывать и того, что было же время, когда она въ самомъ дѣлѣ служила знанію, т. е. удовлетворяла его требованіямъ по средствамъ этого времени. Въ наукѣ, которая сама можетъ восходить къ знанію не иначе, какъ по степенямъ, побѣждая заблужденія, памятна должна быть даже и временная заслуга.

Пеласгами далеко еще не оканчиваются трудности начальной римской исторіи. Найдены народы-старожилы Италіи, отличены отъ чужой примѣси, показаны степени родства ихъ между собою и отношенія къ цѣлой семьѣ европейскихъ народовъ. Филологія сдѣлала свое дѣло; теперь надобно, чтобъ сказала свое слово исторія. Жили же эти народы каждый своею жизнью, были же у нихъ, сверхъ того, различныя международныя отношенія: не тутъ ли начинается и настоящая область исторіи?

Безъ сомнѣнія, задолго прежде, чѣмъ „городъ семи холмовъ“ началъ державствовать въ Италіи, древніе италійскіе народы имѣли уже свою исторію. Много усобицъ, враждебныхъ столкновеній, завоеваній, переворотовъ разнаго рода должно было совершиться на полуостровѣ, чтобъ многочисленныя народности, населявшія его, уравнились между собою, или чтобы одна изъ нихъ взяла перевѣсъ надъ прочими. Не исключаются отсюда постороннія вліянія, даже приливы новыхъ народныхъ элементовъ со стороны. Все это были бы событія дѣйствительно историческія; изъ нихъ точно могъ бы составиться значительный отдѣлъ въ исторіи, если бы только она имѣла для того въ своемъ распоряженіи достаточный матеріалъ. Но обыкновенно о первомъ возрастѣ народной жизни доходитъ лишь невнятный гулъ до исторіи; обыкновенно весь матеріалъ ея для подобной эпохи слагается изъ немногихъ урывочныхъ, неопредѣленныхъ и часто противорѣчащихъ между собою сказаній стараго времени, которыя какъ-то уцѣлѣли до литературнаго періода, потомъ были подобраны любознательными людьми и записаны ими на память потомству. Исторія такъ тѣсно связана съ образованіемъ, что и зарождается лишь при его начинающемъ свѣтѣ. Пока не занялась имъ его, народъ существуетъ въ потьмахъ, остается внѣ исторіи. Лишь весьма немногіе народы столько счастливы, что ихъ историческая дѣятельность впервые раскрывалась при

свѣтъ чужой исторіи, въ виду другого, образованнаго народа. Первобытная жизнь германцевъ и ихъ первыя военственныя движенія вѣроятно пропали бы для исторіи безъ слѣдовъ, если бы они не были рано замѣчены римлянами и тогда же не обратили на себя ихъ просвѣщеннаго вниманія. Пока германцы пробивали по частямъ крѣпкую римскую границу, римляне съ любопытствомъ всматривались въ ихъ дикую физиономію и спѣшили записывать ихъ дѣла. На долю самихъ римлянъ не досталось подобнаго счастія. Ни одинъ образованный народъ не присутствовалъ близко при тѣхъ событіяхъ, которыми приготовлялась ихъ будущая исторія; никто не передавъ въ послѣдовательномъ разсказѣ и ясной, отчетливой памяти о нихъ. Греки? Но если посчитать годы той и другой народности съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ онѣ нараждались, каждая изъ своихъ элементовъ, то выйдетъ, что онѣ почти сверстницы между собою. Греческой письменности не было еще и въ поминѣ, когда происходили тѣ движенія, которыя мало-по-малу подготовляли почву для исторической дѣятельности римскаго народа. Греки много опередили римлянъ и въ литературѣ, и въ развитіи цѣлой жизни, но не на столько, чтобъ ихъ извѣстія о древнемъ періодѣ римской исторіи имѣли достоинство современныхъ свидѣтельствъ. Отрывочныя извѣстія, сохранившіяся на мѣстѣ, также принадлежать гораздо позднѣйшей эпохѣ. При такихъ условіяхъ задачи, историкъ представляются почти неодолимыя трудности. Долгое время ему приходится блуждать въ темнотѣ и отыскивать предметы ощупью. Если и есть нѣкоторые свѣтлые пункты, то ихъ трудно связать съ другими, потому что связывающая нить давно потеряна. Преданія большею частію имѣютъ исключительный, мѣстный характеръ; каждое изъ нихъ стоитъ само по себѣ и не хочетъ знать другого. Много положено труда на это неблагодарное поле, но, кажется, долго еще надобно будетъ работать надъ нимъ изслѣдователямъ, чтобы обратить его въ историческое владѣніе.

Между тѣмъ, даже на этой дико поросшей почвѣ, умный и трудолюбивый дѣлатель, не увлекающійся много фантазіею, всегда найдетъ средство послужить наукѣ съ пользою и облегчить ея трудное дѣло своими разысканіями и соображеніями. Полезно ужъ и то, если ему удастся разсѣять нѣсколько старыхъ заблужденій; но кромѣ того можно надѣяться, что строгая критическая провѣрка извѣстій доставитъ и нѣкоторые положительные результаты. Авторъ «Римской исторіи» довольно счастливъ на то и на другое. Мы не

кажемъ, чтобъ онъ окончательно побѣдилъ всѣ трудности, которыя представляются каждому изслѣдователю на этомъ извѣрномъ и скользкомъ пути; но, сколько намъ извѣстно, никому еще не удавалось такъ хорошо согласить относящіяся сюда извѣстія древнихъ и пролить болѣе свѣта на одну изъ самыхъ темныхъ страницъ исторіи древней Италіи. Не занимая много мѣста, изслѣдованіе его объ этомъ періодѣ отличается рѣдкою трезвенностью сужденій и выводовъ. Съ особеннымъ удовольствіемъ замѣчаемъ это прекрасное качество тамъ, гдѣ, можно сказать, самая природа предмета располагаетъ заглаживающагося имъ къ нѣкоторому преувеличенію и произволу въ заключеніяхъ. Въ наукѣ, какъ и въ жизни, обыкновенно, темнѣе передъ глазами, тѣмъ сильнѣе дѣйствіе фантазіи. Исторіографія знаетъ тому множество примѣровъ; случается въ ней и то, что подъ дѣйствіемъ той же силы, иной призракъ вырастаетъ въ многочисленный и сильный народъ... Намъ пріятнѣе замѣтить въ изложеніи нашего автора строгую задержанность. Можно не соглашаться съ нимъ въ томъ или другомъ пунктѣ изслѣдованія, но едва ли можно упрекнуть его въ излишествахъ.

Главными представителями историческихъ народностей Италіи въ этомъ періодѣ Швеглеръ беретъ латинцевъ, сабинцевъ и этрусковъ. Они стоятъ у него впереди другихъ по ихъ ближайшему отношенію къ Риму и римской національности, которая возникла среди нихъ и образовалась подъ ихъ вліяніемъ. Намъ кажется сверхъ того, что это видное значеніе трехъ италійскихъ народовъ, преимущественно предъ другими, опредѣляется и самымъ имъ географическимъ положеніемъ. Хотя съ стороны Апеннинскаго полуострова равно омываются моремъ, но, по особеннымъ мѣстнымъ условіямъ, восточная всегда была менѣе благопріятна для успѣховъ гражданственности, общественнаго развитія, чѣмъ западная. Поэтому, еще въ старое время Италіи, напоръ горнаго апеннинскаго населенія болѣе направлялся къ западному берегу. Понятно также, что сила этого напора всего больше должна была чувствоваться тамъ, гдѣ прибрежная равнина раскидывается шире, открытѣе, гдѣ она потому съ непреодолимою силою влечетъ къ себѣ горнаго жителя, какъ на примѣръ, вдоль по долинѣ Тибра и по направленію къ Лаціуму. Римская Кампанія, упирающаяся одною своею оконечностью прямо въ сабинскія горы и почти замѣнутая ими съ нѣсколькихъ сторонъ, ювидимому, особенно способна была къ тому, чтобъ рано уже

выманить на свою поверхность населеніе окружающих ее высотъ. Не удивительно, что жители Лаціума, получившіе потомъ отъ него свое имя, пришли нѣкогда этимъ путемъ въ его предѣлы и мало-по-малу перемѣнили на новой почвѣ свой бытъ, бывъ до того времени, какъ показываетъ сродство языка, въ болѣе тѣсной связи съ умбрами и сабинцами, и находясь долгое время на одной степени развитія съ нимъ. Если же напоръ горныхъ жителей въ равнину продолжался и послѣ того, онъ, естественно, долженъ былъ ужъ встрѣчать себѣ сопротивленіе со стороны тѣхъ, которые заняли ее прежде другихъ. Отсюда начало сильнаго и постояннаго тренія, которое не могло остаться безъ результатовъ для дальнѣйшаго развитія. На всемъ послѣдующемъ протяженіи береговой линіи, далѣе къ югу, развѣ только роскошная южная Кампанія могла оказывать равную притягательную силу на окрестныхъ горныхъ жителей, и мы дѣйствительно знаемъ, что она поочередно была занимаема разными пришельцами со стороны, которые, какъ можно судить по языку, были въ близкомъ родствѣ съ самнитянами, послѣдними ея завоевателями до римскаго владычества. Остающуюся затѣмъ узкую полосу западнаго берега умѣли оцѣнить только предприимчивые греки, которые, подходя къ ней съ моря, лѣпили тутъ, одну за другою, свои мало знаменитыя, но тѣмъ не менѣе живучія колоніи. Что же касается до занятія южной Кампаніи самнитскою отраслью горнаго апеннинскаго народонаселенія, то оно вело прямо къ тому, чтобъ запереть выходы изъ Лаціума на югъ и еще больше стѣснить происходившее въ немъ движеніе. Когда прибавимъ еще къ этому напоръ новыхъ пришельцевъ съ сѣвера, этрусковъ, и вслѣдъ за ними галловъ, которые сѣверо-западною стороною Италіи тоже пробивались къ Тибру, то будетъ понятно, какое сильное давленіе со всѣхъ сторонъ должна была выдерживать римская Кампанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ крѣпко завязывался здѣсь узелъ будущаго историческаго развитія для цѣлой страны. Долина Тибра, римская Кампанія и Лаціумъ становились такимъ образомъ главнымъ центромъ всего историческаго дѣйствія въ Италіи, а латинцы, сабинцы и этруски, которые занимали или обступали ее плотно по сторонамъ—главнымъ его органомъ и представителями.

Это особенное назначеніе тибрской равнины въ исторіи древней Италіи не укрылось и отъ нашего автора. Жаль только, что онъ удовольствовался однимъ намекомъ и не по-

отился раскрыть свою мысль подробнѣе. „Такъ было истинно“ (говорить онъ по поводу аборигеновъ), „что народныя массы, выходя изъ тѣсныхъ долинъ Абруццовъ, устремлялись, не за другою, въ широкую и плодородную равнину Тибра, конечно надобно приписать просто случаю, что изъ всѣхъ ихъ переселеній лишь вторженіе такъ называемыхъ реатинскихъ аборигеновъ особенно удержалось въ памяти исторіи!“ ¹⁾ Въ же приводимая имъ замѣтка Сервія знаетъ однако нѣмного такихъ смѣнъ, поочередно слѣдовавшихъ одна за другою на томъ же самомъ пространствѣ: по его словамъ, сакрабы были выгнаны лигурами, лигуры — сакранами, а сакра — аборигенами. Въ томъ или другомъ порядкѣ происхожденія народныя движенія, измѣнявшія нѣсколько разъ составъ юдонаселенія въ Лаціумѣ — рѣшить трудно по недостатку фактовъ для повѣрки; но несомнѣнно то, что преданіе, сохранившее память о событіи, представляло его себѣ не иначе, какъ въ сложномъ видѣ, и различало въ немъ участіе нѣмнѣйшихъ народностей. Многое могло бы еще проясниться въ ихъ послѣдовательныхъ перемѣнахъ, происходившихъ въ долинахъ Тибра и ея окрестностяхъ, если бы мы имѣли хотя нѣсколько вѣрныхъ хронологическихъ данныя для періода, предшествующаго основанію Рима; но, къ сожалѣнію, эта сторона итальянской римской исторіи до сихъ поръ остается самою темною и, по недостатку памятниковъ, едва ли даже можно надеяться, что она также не замедлитъ подчиниться успѣхамъ нашего изслѣдованія.

Изъ данной эпохи всего памятнѣе преданію имя абориюновъ. Съ нимъ, какъ мы сейчасъ видѣли, соединяется воспоминаніе объ одномъ изъ насильственныхъ вторженій горнаго юдонаселенія въ равнину. Но какъ понимать этихъ абориюновъ: считать ли ихъ за особый народъ, или за отрасль какаго-либо большого племени? видѣть ли въ нихъ пришельцевъ съ стороны завоевателей, или, наоборотъ, признать ихъ автохтонами, на что, повидимому, указываетъ самое имя? Все это вопросы, о которыхъ не установилось еще опредѣленнаго мнѣнія, и на которые изслѣдованіе до сихъ поръ отвѣчало лишь противорѣчивыми толками. Нибуръ прямо принималъ названіе абориюновъ въ значеніи автохтоновъ и думалъ узнать въ нихъ первоначальныхъ жителей Лаціума (осскаго племени) ²⁾. О

¹⁾ Röm. Geschichte, I, p. 211.—²⁾ См. Röm. Geschichte, I, p. 84—87 (4-te Auflage).

мнѣніи тѣхъ, которые видѣли въ нихъ сбродъ людей, принадлежавшихъ различнымъ народностямъ, онъ отзывался такъ, что оно могло составиться подъ вліяніемъ „греческихъ сказокъ о странствованіяхъ пеласговъ“—выраженіе, очень замѣчательное, котораго почти нельзя бы и ожидать отъ основателя знаменитой гипотезы, объяснившей распространеніемъ пеласговъ всю культуру древней Италіи. Нибуровское объясненіе показалось однако неудовлетворительнымъ и не принялось въ наукѣ. Многіе возстали противъ него, отдавая рѣшительное предпочтеніе старому возрѣнію Діонисія, который называетъ аборигеновъ жителями Реатинской долины, сводитъ ихъ вмѣстѣ съ пеласгами и наконецъ рассказываетъ, что они, спустившись съ высотъ, общими силами вытѣснили сикуловъ и завладѣли всѣмъ пространствомъ между рѣками Тибромъ и Лирисомъ. Мы видѣли прежде, въ какую широкую картину развернулся этотъ небольшой фонъ подъ искусною рукою гг. Герлаха и Бахофена, въ глазахъ которыхъ рассказъ Діонисія имѣетъ достоинство непреложнаго свидѣтельства. Очевидно, что въ этомъ случаѣ аборигенамъ оставлена была видная роль завоевателей ради тѣснаго союза ихъ съ пеласгами: не будь замѣшаны пеласги въ одно дѣло съ ними, можно сказать почти навѣрное, что о нихъ не стали бы много заботиться. За то другіе изслѣдователи, находя происхожденіе самого имени аборигеновъ очень сомнительнымъ и мало довѣряя неопредѣленнымъ извѣстіямъ о нихъ древнихъ писателей, пришли къ тому заключенію, что въ Италіи никогда и не было народа аборигеновъ, и что это было лишь „поэтическое (?)“ названіе, употреблявшееся въ латинскихъ сагахъ для означенія той части *умбрскаго* народонаселенія, которая жила между Реате и Фуцинскимъ озеромъ¹⁾.

Швеглеру, кажется намъ, удалось прояснить и этотъ запутанный вопросъ и согласить относящіяся сюда противорѣчія какъ древнихъ, такъ и новыхъ изслѣдователей, безъ увлеченія въ ту или другую сторону; онъ умѣетъ отдать справедливость каждому мнѣнію и открыть въ каждомъ изъ нихъ свою долю правды. Что касается, во-первыхъ, до имени аборигеновъ, то онъ предпочитаетъ обыкновенное его производство (*ab origine*) всѣмъ другимъ, находя его все-таки самымъ естественнымъ. Итакъ за аборигенами, по его мнѣнію,

¹⁾ См. Nägels, Studien über altitalisches und römisches Staats- und Rechtsleben, p. 144.

тсѣ значеніе автохтоновъ, туземцевъ, первоначальныхъ жей страны. Съ другой стороны странно, было бы положить, что какой-нибудь народъ дѣйствительно нѣ такое отвлеченное названіе; понятіе, съ нимъ соединяемое, очевидно не этнографическое, а хронологическое; иное искусственное выраженіе могло быть придумано только позднѣйшую эпоху, когда ужъ началось дѣйствіе рефлексіи. Поэтому нисколько не удивительно, что, какъ видно изъ трудовъ нѣкоторыхъ древнихъ писателей, въ томъ числѣ у Саллюстія, слово „aborigeni“ принималось иногда въ смыслѣ древнѣйшаго народонаселенія Италіи вообще. Сюда же прилагается представленіе, которое Саллюстія соединяетъ съ именемъ аборигеновъ, изображая ихъ народомъ дикимъ, не имѣющимъ общественнаго благоустройства и живущимъ въ пещерахъ. Въ отрывкахъ, сохранившихся отъ Варрона, проглядываетъ частью то же самое понятіе. Но есть ли довольно оснований, чтобы относить его въ особенности къ жителямъ латинской долины и окружающихъ ее высотъ? Это подлежало нѣкоторымъ сомнѣніямъ. Швепгеръ, правда, не видитъ никакой основательной причины сомнѣваться въ томъ, что называется Діонисій о реатинцахъ, то-есть, что было прежде, когда они, спустившись съ горъ, вторгнулись въ соседнюю равнину и покорили или, можетъ-быть, даже совершенно вытѣснили изъ нея прежнихъ ея обитателей, по вѣроятности, сикуловъ. Кромѣ того, что преданіе это не включаетъ въ себя никакого внутренняго противорѣчія, достоверность его возвышается еще тѣми извѣстіями, которыя имѣемъ о сильномъ натискѣ сабинцевъ, продолжавшихъ до того же времени подвигаться впередъ въ томъ же направлении и тѣснившихъ своихъ ближайшихъ соседей передъ собою. Но въ другихъ пунктахъ разсказа Діонисія, по мнѣнію автора «Римской исторіи», не заслуживаетъ никакого вниманія: первый касается тѣснаго союза реатинскихъ завоевателей съ пеласгами, второй—ихъ народнаго имени, которое носятъ въ его повѣствованіи. И то и другое могло быть только плодомъ искусственной комбинаціи самого археолога, который часто увлекавшася желаніемъ связать между собою разнѣ анныя имѣ факты и, что называется, привести ихъ къ общему истину. Такимъ образомъ мечтательныя переселенія пеласговъ въ латинскую долину могли у него прицѣпиться къ реатинскому завоеванію, которое, повидимому, имѣло съ ними нѣкоторую аналогію. Не безъ того случилось и съ самымъ именемъ, или народнымъ

названіемъ реатинскихъ завоевателей. У Діонисія — въ томъ нѣтъ никакого спора — они прямо выступаютъ подъ именемъ аборигеновъ. И не онъ одинъ, Варронъ еще прежде его приводилъ ихъ подъ тѣмъ же названіемъ. Но есть ли какая вѣроятность думать, чтобъ обитатели Реатинскихъ горъ называли сами себя тѣмъ именемъ, которое, какъ. показываетъ его происхожденіе, никогда не было народнымъ? Лишь позднѣйшее время могло ввести его въ употребленіе, и тогда, если къ кому оно прилагалось въ особенности, помимо своего общаго значенія, такъ это скорѣе къ первоначальнымъ жителямъ Лаціума, чѣмъ къ народонаселенію реатическихъ возвышенностей. Свидѣтелемъ служить Катонъ, который употреблялъ названіе аборигеновъ лишь въ первомъ смыслѣ. Что же отсюда слѣдуетъ? То, что первый Варронъ, а вслѣдъ за нимъ и Діонисій, принявъ имя аборигеновъ за народное, перенесли его на реатинцевъ въ томъ предположеніи, что латинскіе аборигены были выходцы изъ Реате и оттуда принесли съ собою самое названіе. Фактъ переселенія остается; но, съ другой стороны, тѣмъ не менѣе ясно, что правильное употребленіе названія „аборигены“ относилось не къ переселенцамъ, а къ первоначальному туземному народонаселенію Лаціума.

Итакъ мы имѣемъ, во-первыхъ, довольно видное указаніе на древнѣйшее народонаселеніе въ Лаціумѣ, принадлежало ли оно къ лигурійскому племени, какъ полагали нѣкоторые изъ древнихъ писателей, или составляло одну изъ вѣтвей большой умбро-сабельской отрасли народовъ, какъ думаютъ нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи на основаніи филологическихъ соображеній; во-вторыхъ, мы можемъ съ достовѣрностью говорить о томъ моментѣ въ исторіи страны, когда, вслѣдствіе вторженія мнимыхъ аборигеновъ, первоначальный слой ея народонаселенія замѣнился или значительно дополнился новымъ, по всей вѣроятности, умбрскаго или сабинскаго происхожденія. Конечно эти данныя, хотя бы взятая вмѣстѣ, еще не разъясняютъ достаточно того, что можно бы назвать въ тѣсномъ смыслѣ слова происхожденіемъ (genesis) латинскаго народа, но въ той или другой степени, все же они приближаютъ насъ къ понятію о немъ, раскрывая хотя нѣкоторые его фазы. Впрочемъ надобно прибавить вообще: когда же и гдѣ были совершенно ясны первыя зачинанія исторической народности? Задача этого рода всегда останется привлекательною для нашей любознательности; но историческая фізіологія далеко еще не достигла той степени совершенства, чтобъ

а дать ей вполне удовлетворительное рѣшеніе. До-
во, если она въ состояніи навести на слѣды главныхъ
итовъ; довольно, если могутъ быть поставлены на видъ
гвѣдшіе элементы образующейся народности и точки ея
косновенія съ другими, ближайшими къ ней. Въ частномъ
осѣ о происхожденіи латинскаго народа, по нашему мнѣ-

Швеглеру удалось это лучше другихъ, какъ потому, что
успѣлъ исправить прежнія ошибки и устранить ложныя
величенія, такъ еще болѣе потому, что, возстановивъ
рическое преданіе въ настоящемъ его видѣ, онъ нашелъ
ое и вѣрное средство согласить его съ филологическими
дами, которые заставляютъ относить латинскій языкъ къ
и фамиліи съ умбрскимъ, сабинскимъ и осскимъ.

Начало переселенія реатинцевъ преданіе поставляетъ въ
ой связи съ движеніемъ сабинцевъ, которые тѣснили ихъ
кверо-востока, такъ что одно событіе было непосредствен-
ь слѣдствіемъ другого. Сабинское движеніе имѣло потомъ
ное вліяніе и на ходъ событій въ самой равнинѣ. Вообще
ицамъ принадлежитъ одна изъ первыхъ ролей въ собы-
и, которыя приготовляли Римъ и его будущую исторію.

почему изслѣдователь даетъ имъ мѣсто тотчасъ послѣ
ицевъ. Древнія извѣстія о сабинцахъ хотя также скудны,
и то ясны и положительны. Съ самаго начала своего по-
нія, они ужъ носятъ на себѣ печать самостоятельности,
рая не позволяетъ смѣшать ихъ съ другими народами:
гвуется присутствіе новой силы, которая въ себѣ самой
оситъ и ручательство своей крѣпости. Самыя древнія жи-
и сабинцевъ, извѣстныя исторіи, были въ верхнихъ Аб-
цахъ, отъ Велино до Амитернума. Занимая самыя воз-
занныя равнины Средней Италіи, это крѣпкое горное племя
о для себя открытые выходы почти во всѣ стороны. Ему
рудно было спуститься въ низменности, потому что онѣ
ли у него подъ ногами. Но рано ужъ юго-западное на-
женіе взяло перевѣсъ надъ другими, или по крайней мѣрѣ
гнѣе оставило свои слѣды въ исторіи. Реатинцы, повиди-
, составляли только передовой его постъ, когда-то отдѣ-
ійся отъ цѣлаго племени, но потомъ снова приведенный
виженіе его сильнымъ натискомъ. Подъ именемъ „свя-
ой весны“ (ver zasgum) у сабинцевъ существовалъ даже
иный обычай, время отъ времени выбрасывавшій часть
онаселенія на сосѣдственныя земли. Обѣтъ „священной
и“ обыкновенно давался въ тяжелую годину народнаго

отличается отъ морского берега Греціи, который своими безчисленными бухтами и множествомъ маленькихъ островковъ, его окружающихъ, какъ бы невольно вызываетъ на мореплаваніе. Поэтому, несмотря на свое положеніе при морѣ, Лаціумъ почти удерживаетъ за собою всѣ тѣ свойства, которыя отличаютъ внутреннія области отъ приморскихъ. На томъ же основаніи, и въ самомъ народонаселеніи Лаціума если, съ одной стороны, нельзя предполагать свойствъ, отличающихъ всего болѣе коренныя горныя племена, то съ другой, напрасно стали бы мы отыскивать черты, которыя столько обыкновенны въ народѣ, посвящающемъ свои занятія преимущественно торговлѣ и мореплаванію, т. е. гордое самосознаніе, смѣлый и предприимчивый духъ, страсть къ приключеніямъ, легкую подвижность, склонность къ новизнѣ и т. п. Латинцы занимаютъ средину между двумя крайностями. Въ сущности это народъ земледѣльческій; поэтому не удивительно встрѣтить между ними тѣ же самые нравы и то же общее настроеніе, какія мы обыкновенно соединяемъ съ понятіемъ о народахъ, полагающихъ въ хлѣбопашествѣ и скотоводствѣ главныя свои занятія. Отсюда, во-первыхъ, солидность и постоянство какъ въ характерѣ, такъ и въ самомъ образѣ мыслей — качества, неразлучныя съ сельскимъ бытомъ. Уже Катонъ понималъ эту сторону земледѣльческой жизни и очень мѣтко указалъ на нее во введеніи къ своему сочиненію «О земледѣліи». Далѣе, никакой бытъ не представляетъ столько ручательствъ за прочность отношеній и учреждений, какъ земледѣльческій, потому что онъ весь основанъ на твердомъ началѣ осѣдлости, на потребности сохраненія, и обезпечивается лишь строго опредѣленною дѣятельностью“.

Принявъ потомъ въ соображеніе другой моментъ, т. е. физическія и климатическія особенности Лаціума, авторъ продолжаетъ:

„Щедро вознаграждая трудъ и въ то же время поддерживая бодрость и свѣжесть физическихъ силъ человѣка, природа этой страны далеко не такъ роскошна, какъ, напримѣръ, въ Кампаніи, и не производитъ того упоенія, которое раздражительно дѣйствуетъ на чувственность, усыпляетъ духъ и дѣлаетъ его неспособнымъ для болѣе возвышенныхъ и благородныхъ помысловъ. Уже самыя внѣшнія чертанія латинской области носятъ на себѣ какой-то особенный характеръ возвышенной строгости, соединенной съ торжественнымъ величіемъ. Съ этою природою страны вполне гармонируетъ и та исполненная достоинства важность, которая постоянно отличала римлянина и, безъ всякаго сомнѣнія, была однимъ изъ господствующихъ свойствъ между латинцами вообще — черта, не исключавшая впрочемъ и нѣкотораго особеннаго юмора, какъ это замѣтно на деревенскихъ праздникахъ древнихъ римлянъ. Затѣмъ немного еще можно сказать объ общемъ родовомъ характерѣ латинскаго племени, потому что собственно мы знаемъ только національный характеръ римлянъ, который, хотя несомнѣнно сложился подъ преобладающимъ вліяніемъ латинскаго элемента, однако не можетъ быть принятъ за чистое его выраженіе“.

Не менѣе вѣрными чертами изображаетъ тотъ же авторъ и другой народный элементъ, который, по его мнѣнію, наравѣ съ первымъ вошелъ въ образованіе римской національности:

„Твердость религіознаго чувства и строгость нравовъ, по единоласному отзыву древнихъ, были господствующими чертами въ характерѣ сабинцевъ. Это было суровое, неиспорченное, трезвенное горное племя. Подобно всѣмъ другимъ жителямъ горныхъ пространствъ, удавленныхъ отъ пережитаго остального міра, они надолго сохранили въ своихъ обычаяхъ и учрежденіяхъ отпечатокъ глубокой старины. Таковы были ихъ постоянный обычай, засвидѣтельствованный многими жителями древности, жить въ открытыхъ, неукрѣпленныхъ селеніяхъ — бытъ, который, по словамъ Фукидида, былъ господствующимъ и въ равнинѣ Греціи, и особенно долго держался между спартанцами. По отношенію къ сабинцамъ это тѣмъ болѣе характеристическая черта, то въ ней нѣкоторымъ образомъ отражается и та степень культуры, а которой застала ихъ исторія. То было общественное состояніе или устройство, обыкновенно предшествующее правильному, органическому образованію государства, и извѣстное болѣею частью подъ именемъ патріархальнаго: у сабинцевъ оно удержалось несравненно долѣе, чѣмъ у родственнаго имъ латинскаго племени“. (Пропускаемъ извѣстныя всѣмъ подробности родового быта, общія почти у всѣхъ народовъ на одной степени историческаго развитія: развитъ только близорукости могутъ еще они казаться въ наше время диковинкою и служить емою для бесплоднаго скептицизма). „Эта предпочтительная склонность къ распущенности племенной жизни, къ федеративнымъ формамъ, и нелюбовь къ крѣпкой общественной организаціи и политическому единству сильно чувствуются еще и въ самнитскомъ быту. Если амнигты, несмотря на свое численное превосходство и личное мужество, наконецъ однако подпали власти римлянъ, то причина этого явленія главнымъ образомъ заключается въ непрочныхъ федеративныхъ связяхъ одного народа, которыя должны были уступить крѣпкой внутренней организаціи другого. Тотъ же недостатокъ организующаго общественнаго духа можно указать и въ отношеніяхъ сабинцевъ къ гдѣлывшимся отъ главнаго ихъ племени боковымъ отраслямъ. Они предоставляли полную свободу своимъ выходцамъ, нисколько не заботясь о томъ, чтобъ тѣмъ или другимъ способомъ привязать ихъ къ первоначальной родинѣ и удержать ихъ хотя въ нѣкоторой зависимости. Поэтому-то сабелльскіе народы такъ скоро отчуждаются отъ своего племени, и, забывъ свое происхожденіе, нерѣдко даже враждуютъ противъ своихъ прежнихъ родичей. Какой рѣзкій контрастъ представляетъ обдуманная система римлянъ, которые, постоянно держа свои колоніи въ строгой зависимости отъ метрополіи, сдѣлали изъ нихъ главное орудіе для распространенія своего владычества въ Италіи“¹⁾

Оригинальныя свойства того и другого народа, сойдясь мѣстѣ на одной почвѣ, составили главную основу римскаго

¹⁾ См. Schwegler, Röm. Geschichte, p. 284—285.

національнаго характера. Соединеніе ихъ (замѣчаетъ нашъ авторъ) было самое счастливое, потому что одни изъ нихъ превосходно дополнялись другими. Недостаточныя порознь, въ сліяніи между собою они производили рѣдкое явленіе народа, въ которомъ постоянство нравовъ совмѣщалось съ условіями историческаго развитія. Уже древніе довольно ясно отличали ту долю вліянія, которую имѣли сабинцы на образованіе римской національности. Твердое нравственное чувство, особенно отличавшее древняго римлянина, его умѣренность и довольство немногимъ, строгость его домашнихъ нравовъ, святость данаго слова, религіозное благоговѣніе и добросовѣстность, сила отеческой власти какъ главной основы семейнаго права, уваженіе къ установленному авторитету и чувство долга передъ нимъ, однимъ словомъ—весь семейный бытъ древнихъ римлянъ и всѣ ихъ моральныя качества безспорно достались имъ въ наслѣдство отъ сабинцевъ. Не то, чтобъ подобныя свойства и нравы были вовсе чужды латинскому народу: но основныя черты патріархальнаго устройства съ свойственною ему настроенностью самыхъ нравовъ сохранились въ большей чистотѣ и свѣжести у горнаго сабинскаго племени, чѣмъ у латинцевъ, народа болѣе развитога, котораго уже успѣла коснуться цивилизація. Вкладъ, внесенный ими въ римскую жизнь, былъ совсѣмъ иного рода. Племя болѣе подвижное, латинцы передали и римлянамъ свой духъ развитія и свои инстинкты политической организаціи. Такое счастливое смѣшеніе не увеличивало только разнообразіе римской жизни, но и сообщало римскому народу дѣйствительное превосходство, въ отношеніи къ историческому развитію, передъ остальнымъ народонаселеніемъ древней Италіи.

Мы привели лишь въ главныхъ чертахъ воззрѣніе Швеглера на историческое образованіе римской народности. Нельзя не замѣтить, какъ мѣтко и вѣрно схвачены имъ основныя ея черты. Вообще, ея опредѣленіе и анализъ тѣхъ элементовъ, которые вошли въ составъ ея, принадлежатъ, по нашему мнѣнію, къ лучшимъ частямъ изслѣдованія. Своею попыткою уловить нравственную фізіономію великаго историческаго народа авторъ, сверхъ того, отвѣчаетъ одному изъ важнѣйшихъ требованій современной науки. Не менѣе чести дѣлаетъ автору и самый приѣмъ, который онъ употребляетъ для своей цѣли, отыскивая основныя черты римскаго національнаго характера въ самомъ ихъ зародышѣ, то-есть въ быту и особенностяхъ народовъ, непосредственно предшествующихъ римлянамъ въ по-

идеи исторіи—пріемъ въ настоящемъ смыслѣ слова историческій. Когда дѣло идетъ о томъ, чтобы возстановить историческій характеръ цѣлаго народа, позволительно желать не большей опредѣленности въ изложеніи предмета; но это желаніе едва ли исполнимо по трудности одолѣть то разстояніе, въ которомъ изслѣдуемый предметъ находится отъ глаза изслѣдователя. Не забудемъ, что задача относится къ тѣмъ отдаленнымъ народамъ, о которыхъ сами римляне имѣли не довольно ясное понятіе. Съ своей стороны, мы можемъ одно только имѣть противъ сдѣланной Швеглеромъ характеристики латинскаго и сабинскаго племени: авторъ приписываетъ слишкомъ много природѣ страны и слишкомъ мало природѣ народа. Такой взглядъ намъ кажется нѣсколько одностороннимъ. Однофактность никогда не объяснитъ тайны всѣхъ особенностей вроднаго характера. Нерѣдко можно встрѣтить различные отѣнки на одинаковыхъ мѣстностяхъ, и наоборотъ, одни и тѣ же кровныя свойства часто удерживаются во всей своей чистотѣ подъ различными географическими широтами.

Не одинъ только бытъ и нравы приносили съ собою племена, сходявшіяся въ римской Кампаніи, но и все свое умственное достояніе. Оно было невелико, какъ у всѣхъ народовъ, которые стоятъ на самой ранней степени развитія, но въ немъ, какъ въ сѣмени, заключались зародыши мыслей и представленій великаго историческаго народа. Изслѣдованіе Швеглера простирается и на эту часть общей исторической задачи и открываетъ въ ней нѣкоторыя новыя, до сихъ поръ мало замѣченныя стороны. Почти не нужно говорить, что въ животѣ всего созерцанія древнихъ латинцевъ и сабинцевъ лежали религіозныя представленія; на нихъ-то обращено главное вниманіе изслѣдователя. Отличая латинскія представленія отъ сабинскихъ, онъ поставляетъ въ главѣ первыхъ Януса, который для всего латинскаго племени оставался самымъ высокимъ и наиболѣе чтимымъ божествомъ, пока Юпитеръ не захватилъ его въ этомъ значеніи. Первоначально Янусъ означалъ обою божество солнца, свѣта. Мысль о благодѣтельномъ вліяніи солнца на жизнь природы, на ея превращенія составляла, очевидно, главное основаніе всего представленія: Янусъ и былъ въ глазахъ своихъ поклонниковъ этою высшею силою, которая управляетъ всѣми измѣненіями въ природѣ. Для пониженія болѣе отвлеченнаго, онъ получалъ уже значеніе бога времени, годовыхъ перемѣнъ его. Двѣнадцать посвященныхъ ему алтарей, о которыхъ упоминаетъ преданіе, конечно с.-от-

вѣтствовали двѣнадцати мѣсяцамъ года. На томъ же основаніи всякое подраздѣленіе времени соединялось съ представленіемъ о Янусѣ. Онъ открывалъ день одною зарею, онъ же заканчивалъ его другою. Полное имѣ воображеніе видѣло его равно какъ въ восходящемъ, такъ и въ заходящемъ солнцѣ. Пораженная этимъ двойственнымъ явленіемъ, мысль искала ему соотвѣтствующаго образа и нашла его въ двойномъ изображеніи головы Януса: два лица его, обращенныя въ разныя стороны, въ одно время изображали собою оба момента ¹⁾. И какъ для римлянина всего важнѣе было начало каждаго дѣла, то онъ призывалъ Януса на каждомъ шагу, при каждомъ вхождѣ и выходѣ, и на всѣхъ дверяхъ ставилъ его изображеніе. Овсѣмъ иное воззрѣніе породило Сатурна. Онъ не былъ просто богъ земледѣлія. Способъ призванія жены его, богини Опы (Ор), къ которой обращались не иначе, какъ сѣвъ на землю и прикоснувшись къ ней, наводитъ на другую мысль: Сатурнъ былъ несомнѣнно богъ земли, ея производящее начало, какъ Ор была символомъ ея же воспріемлющей силы. Отношеніе его къ земледѣлію было уже дальнѣйшимъ приложеніемъ той же мысли. Загадочнѣе, неуловимѣе кажется природа двухъ другихъ латинскихъ боговъ, Фавна и Пика: это потому, что понятіе о нихъ сливается почти въ одно съ понятіемъ о Сатурнѣ. Положить строгое различіе между ними такъ же трудно, какъ и между женскими представленіями той же идеи (Ор, Tellus, Ceres). Самый Марсъ, этотъ грозный богъ войны, былъ первоначально богомъ смерти и въ то же время всякаго рода земной производительности и прорицанія. Какъ же назались всѣ эти разнородныя представленія между собою? Все тѣмъ же понятіемъ о землѣ: она въ одно и то же время представлялась и таинственнымъ источникомъ прорицанія, и лономъ матери, дающей всему жизнь, и всеобщю могилою. Природа Марса, очевидно, хтоническая, какъ Сатурна, Пика и Фавна; и если потомъ трое послѣдніе превратились въ царей Лациума и стали между собою въ тѣсное генеалогическое отношеніе, какъ потомки и преемники Януса, то въ этомъ превращеніи нельзя не узнать позднѣйшаго вліянія греческой мифологіи, потому что подобныя представленія первоначально были совершенно чужды латинско-сабинскимъ религіознымъ понятіямъ. Сатурнъ, Пикъ, Фавнъ и Марсъ родственны между собою, потому что всѣ они хтоническаго происхожденія. По-

¹⁾ Ср. Gerlach und Bachofen, I, 1, p. 94.

о Марсу, Пикъ также является то прорицателемъ, то вливателемъ полей, то сильнымъ воителемъ. Тѣ же самыя мы не трудно потомъ распознать и въ Фавнѣ. Правда, что каждымъ изъ нихъ всегда есть одна сторона преобладающая къ Марсѣ съ особенною силою выразилось начало ги. разрушенія; Пикъ по преимуществу называется протелемъ, а Фавну приписывается размноженіе животной ги; но какъ всѣ эти свойства имѣютъ въ основаніи своемъ воззрѣніе, то не удивительно, что эпитеты Фавна и Пика агаются иногда къ Марсу, и наоборотъ. Такова вообще инность римскаго сознанія, что въ немъ аграрныя божесовпадаютъ съ представленіями о подземныхъ силахъ, и тіе о жизни тѣсно граничить со смертью.

Труднѣе отдѣлать въ религіозномъ сознаніи римлянъ сакій элементъ, хотя вліяніе его на римскій культъ и на заціяся къ нему учрежденія не подлежатъ никакому сопю. У Варрона сохранилось означеніе двѣнадцати алтарей, ые поставлены были царемъ Таціемъ въ Римѣ и, сверхъ , еще названія нѣкоторыхъ божествъ, перешедшихъ къ янамъ отъ сабинцевъ. Но, во-первыхъ, замѣчаетъ Швег-, между божествами, которымъ посвящены были двѣнадцалтарей, не поименованы многія, пользовавшіяся у сабин-, особеннымъ уваженіемъ, какъ-то: Санкъ (Sancus), Ми-, а, Феронія, также Марсъ; во-вторыхъ, между божествами евыхъ алтарей, нѣкоторыя несомнѣнно принадлежали лажному кругу, какъ Янусъ и Фавнъ; другія были общими и другому племени, какъ Сатурнъ, Веста, Діана, Марсъ . Поэтому довольно затруднительно говорить о томъ, что ьвенно входило въ кругъ религіозныхъ представленій савцевъ до смѣшенія ихъ съ латинцами на римской почвѣ. ьчемъ есть нѣкоторыя исключенія. Всего яснѣе, кажется, ьвился чистый сабинскій типъ въ представленіи о божес-, которое чтили подъ именемъ Семо-Санка. Швеглеръ го-ть о немъ ниже, въ другой части своего изслѣдованія, ьмы перенесемъ сюда главныя его положенія ¹⁾. Семо-Санкъ ьмалъ то же самое мѣсто въ вѣрованіяхъ сабинцевъ, какое ьтеръ въ римскихъ. Онъ составлялъ высшую ступень саккаго религіознаго сознанія, онъ былъ богъ неба. Что, по ьскимъ понятіямъ, онъ представлялъ собою начало прямо ьвоположное темнымъ подземнымъ силамъ или мраку,

это лучше всего видно изъ борьбы его съ Какомъ (Сасис). Отсюда, по естественному ходу мысли, образовалось понятіе о немъ какъ о благодѣтельномъ божествѣ, что могло подать поводъ къ сближенію его съ греческимъ Геркулесомъ. Подобно ему, Семо-Санкъ также есть поборникъ права и защитникъ собственности, который помогаетъ утѣсненному противъ сильнаго, но несправедливаго притѣснителя. Наконецъ, въ дальнѣйшемъ движеніи мысли, онъ становится уже, подъ именемъ Fidius, богомъ клятвы и вѣрности. Это представленіе перенесено было потомъ на римскаго Геркулеса, котораго не надобно смѣшивать съ греческимъ, и какъ бы въ воспоминаніе первоначальнаго его значенія, римляне, по свидѣтельству Плутарха, имѣли обычай въ нѣкоторыхъ случаяхъ не иначе принимать клятву именемъ Геркулеса, какъ подъ открытымъ небомъ. Довольно взять вмѣстѣ и эти немногія черты, чтобы видѣть, что хотя нѣкоторыя представленія были общими какъ сабинцамъ, такъ и латинцамъ, впрочемъ развитіе религіозной мысли у первыхъ имѣло и свои отличія, и произвело рядъ идей, которыя отъ нихъ перешли прямо къ римлянамъ.

Что же касается общаго характера латино-сабинскаго (оно же и римское) религіознаго сознанія, то нашъ авторъ опредѣляетъ его, въ отличіе отъ греческаго, слѣдующими словами:

„Уже древніе замѣчали въ римскихъ вѣрованіяхъ ту особенность, что имъ недостаетъ міеовъ: всѣ эти родословныя боговъ, ихъ различные приключенія на землѣ, соперничества и распри, которыя играютъ такую важную роль въ греческой міеологіи, для римлянъ какъ будто не существовали вовсе. И въ самомъ дѣлѣ, римское сознаніе не имѣло никакого расположенія къ антропоморфизму, и преданіе, что въ Римѣ сначала чтили, вмѣсто изображеній боговъ, просто одни символы, заслуживаетъ полнаго вѣроятія. Греческія божества съ ихъ индивидуальными чертами и рѣзко обозначеннымъ личнымъ характеромъ не идутъ въ сравненіе съ римскими, или только въ самой умѣренной степени: послѣднія, по крайней мѣрѣ первоначально, представлялись сознанію не какъ индивидуальности, но какъ силы природы, которыя по самому понятію своему не допускаютъ никакихъ личныхъ отношеній. Эта пластичная рельефность, которою запечатлѣны всѣ созданія греческой міеологической фантазіи, не дана была въ удѣлъ римскому сознанію: въ той или другой степени, но оно до конца осталось вѣрно своему первоначальному воззрѣнію, въ которомъ главное мѣсто занимало непосредственное созерцаніе творящихъ и разрушающихъ силъ природы“ ¹⁾.

¹⁾ Ibid. p. 225—226.

Мы припоминаемъ, что не очень давно еще подобная же мысль о различіи между греческою и римскою міеологію высказана была однимъ нашимъ ученымъ.

„Этой величественной исторіи боговъ“ (говоритъ г. Леонтьевъ въ своей статьѣ о «Миенческой Италіи», указавъ на могучія созданія греческой фантазіи) „что есть подобнаго въ латинской міеологіи? Гдѣ эти громадныя образцы? Гдѣ эта трудность борьбы и слава побѣды?— Ничего этого мы не видимъ. Дѣло происходитъ на землѣ, въ размѣрахъ скорѣе обыкновенныхъ, нежели необычайныхъ; въ цѣломъ есть что-то прозаическое, недостатокъ торжественности и величія. Освободите реставрацію, сдѣланную Герлахомъ, отъ эвгемеристическихъ мѣстъ, взятыхъ изъ Макробія и Юстина, и все-таки въ ней останется много такого, что показываетъ неоспоримое нисхождение міеологіи съ вершины греческаго Олимпа въ обрабатываемую людьми равнину Лациума, богатую холмами, но лишенную высокой и божественной Олимпійской горы“ ¹⁾.

Обозрѣвъ вмѣстѣ съ авторомъ «Римской исторіи» тѣ народныя элементы, которые вошли въ составъ римской національности и наиболѣе содѣйствовали ея образованію, читатель вправѣ спросить: гдѣ же этруски? Почему они не заняли въ его обзорѣ слѣдующаго имъ мѣста наравнѣ съ латинцами и сабинцами? Или авторъ, вопреки большинству новыхъ изслѣдователей, не признаетъ вовсе вліянія этрусковъ на римскую жизнь, на римскую исторію вообще, или онъ понимаетъ это вліяніе по-своему? Во всякомъ случаѣ, этруски остаются вопросомъ, котораго нельзя миновать, говоря о началахъ римскаго народа.

Нѣтъ нужды говорить, что Швеглеръ не обошелъ вопроса, имѣющаго такое важное значеніе въ начальной римской исторіи, но онъ дѣйствительно ставитъ этрусковъ ниже латинцевъ и сабинцевъ, и хотя не отвергаетъ совершенно ихъ вліянія на Римъ, но относительно этого пункта значительно отступаетъ отъ другихъ изслѣдователей. Вообще взглядъ его на значеніе этрусскаго элемента въ римской исторіи много измѣняетъ прежній видъ дѣла и потому заслуживаетъ того, чтобы съ нимъ познакомиться съ нѣкоторою подробностью. Во-первыхъ, что касается матеріальнаго состава первоначаль-

¹⁾ См. «Пропилен», книга I, отд. 2, стр. 134. Особенности, отличающія воззрѣніе г. Леонтьева отъ воззрѣнія Швеглера, какъ въ цѣломъ, такъ и въ частностяхъ, читатели могутъ найти въ самой статьѣ.

наго римскаго народонаселенія, то нашъ авторъ рѣшительно отвергаетъ участіе въ немъ этрусковъ. Онъ полагаетъ, что коренное народонаселеніе Рима состояло только изъ латинцевъ и сабинцевъ, и отсюда выводитъ заключеніе, что главныя основы римскаго быта были латино-сабинскія, такъ что, если и было этрусское вліяніе, то оно далеко не могло равняться съ ними.

„Конечно“ (говорить онъ далѣе) „нельзя оспаривать того, что въ послѣдствіи, и можетъ-быть не одинъ разъ, толпы этрусковъ тоже приходили въ Римъ и селились въ немъ; но, по самому существу вещи, эти переселенія не могли уже имѣть рѣшительнаго вліянія на римскій бытъ и его устройство. Это мнѣніе подтверждается тѣмъ, что, принимая этрусскія поселенія въ Римѣ, допуская даже, что были римскіе цари изъ этрусковъ, мы однако не находимъ никакого значительнаго слѣда отъ нихъ въ языкѣ римлянъ: лишь немногія его выраженія возводятся грамматиками къ этрусскому языку, да и то можетъ-быть неосновательно. Довольно поточъ посмотрѣть на исторію всѣхъ послѣдующихъ отношеній римлянъ къ этрускамъ, къ которымъ они постоянно питали враждебное чувство, не признавая въ нихъ ничего родственнаго себѣ, чтобы убѣдиться въ той мысли, что какъ самый корень римской народности, такъ и всѣ остальныя черты римскаго быта были не этрусскія“¹⁾.

Рѣдко новое мнѣніе высказывается съ большею положительностью. Сказать ли, что оно лишено достаточныхъ основаній и потому не можетъ быть принято въ науки? Но авторъ очевидно опирается главнымъ образомъ на результаты современнаго филологическаго изслѣдованія; а такія основанія слишкомъ важны, чтобы можно было предпочесть имъ какія бы то ни было не доказанныя предположенія. Впрочемъ Шweglerъ не оставляетъ безъ опроверженія прежде принятыхъ мнѣній о силѣ и значительности этрусскаго вліянія, опираясь опять на изслѣдованія нѣкоторыхъ новѣйшихъ археологовъ (Амброша и другихъ). До сего времени особенно много мѣста давали этому вліянію — въ религіи древнихъ римлянъ. Авторъ «Римской исторіи» наноситъ сильный ударъ такому предположенію, показывая неосновательность его на многихъ примѣрахъ. Онъ находитъ, что между божествами, которымъ воздаваемъ былъ въ Римѣ публичный культъ, не было ни одного, о которомъ можно было бы утверждать доказательно, что оно перешло къ римлянамъ прямо отъ этрусковъ. Учре-

(¹ Schwegler, I, p. 274.

жденіе древнѣйшихъ фламиновъ объясняется лишь въ связи съ латино-сабинскими божествами. Древнѣйшіе праздники римлянъ, какъ-то: Луперкаліи, Палиліи, Поплифугіи, были рѣшительно туземнаго происхожденія. Еще менѣе можно производить отъ этрусковъ авгуральное искусство: сами римляне смотрѣли на него не иначе, какъ на свое родное, отечественное, и производили его и или прямо отъ Ромула, перваго и искуснѣйшаго авгура, или отъ сабинца Атта Навія. То же самое доказываютъ имена другіхъ знаменитыхъ авгуровъ, которые были или сабинскія, или марскія (отъ народа Марсовъ), но никакъ не тусскія. Сага, приписывающая сабинцу Нумѣ римскія религиозныя установленія, содержитъ въ себѣ ясное указаніе, что римскій культъ вообще утвердился подъ преобладающимъ вліяніемъ сабинскаго элемента. Также мало согласнается Швеглеръ признать сильное вліяніе этрусковъ на общее римское образованіе. Настаивая на той мысли, что римляне заимствовали свой алфавитъ отъ кампанскихъ грековъ, но всей вѣроятности изъ Кумъ, онъ заключаетъ отсюда, что сношенія Рима съ греческими колоніями южной Италии были чаще и живѣе, чѣмъ съ Этрурією, и не колеблется приписать тому же вліянію введеніе въ Римѣ кумировъ, послѣдовавшее при Тарквиніяхъ.

Спрашивается: что же оставляетъ авторъ «Римской исторіи» собственно этрусскому вліянію, если не исключаетъ его вовсе изъ римскаго быта? Весьма немногое и притомъ большею частью несущественное. Самое видное мѣсто между заимствованіями отъ этрусковъ занимаетъ хитрая наука (*disciplina*) гарусниковъ, которую сами римляне весьма опредѣленно отличали отъ авгуральнаго искусства, какъ этрусское изобрѣтеніе ¹⁾. Всѣ относящіеся сюда отправленія и обряды совершались не иначе, какъ по этрусскому обычаю; всѣ гарусники были родомъ туски. Изъ того же источника, повидимому, вышло и оригинальное ученіе о томъ, что на языкѣ древнихъ римлянъ называлось „*templum*“, съ приложеніемъ его къ сооруженію храмовъ, строенію городовъ, измѣренію полей и устройству лагеря ²⁾: всѣ эти дѣйствія сопровождались у римлянъ разными таинственными обрядами, которыхъ этрусское происхожденіе засвидѣтельствовано уже древними писателями и

¹⁾ Cic. de Div. II, 4, 10: *atqui et nostrorum augurum et etruscorum haruspicum disciplinam—res ipsa probavit.*—²⁾ Подробности этого ученія можно найти у Макро въ его *Stadien*, § 40 и 41.

еще болѣе утверждено новымъ изслѣдованіемъ. Несомнѣнно, далѣе, не только участіе этрусскихъ мастеровъ, но и прямое вліяніе этрусскаго строительнаго искусства на характеръ построекъ и искусственныхъ произведеній въ древнемъ Римѣ; бойцы и другія дѣйствующія лица, участвовавшія въ древне-римскихъ публичныхъ представленіяхъ, также обыкновенно призываемы были изъ Этруріи. Наконецъ, отсюда же взяты были римлянами знаки высшихъ должностей, какъ то: двѣнадцать ликторовъ, курульное кресло, тога претекста, равно какъ и всѣ важнѣйшія отличія триумфаторовъ: ихъ туніки, и тога, и самая діадема, которыхъ изготовленіе составляло одинъ изъ главныхъ предметовъ этрусскаго промышленнаго производства.

Мы изложили мнѣніе Швеглера о степени этрусскаго вліянія на римскую жизнь, какъ заслуживающее особеннаго вниманія, и обошли вопросъ о происхожденіи этого загадочнаго народа. Нужно ли говорить о его важности, когда современное изслѣдованіе то-и-дѣло обращается къ нему, ища разрѣшенія этой старой исторической задачи? Нужно ли напоминать о новыхъ открытіяхъ, которыя сдѣланы или еще дѣлаются въ Этруріи, и все больше и больше приковываютъ вниманіе изслѣдователя къ этой таинственной области древняго италійскаго міра? Авторъ «Римской исторіи», коснувшійся всѣхъ вопросовъ, которые тѣсно связаны съ ея началомъ, не пропустилъ безъ вниманія и родословія этрусковъ. Онъ даже очень много останавливается на ихъ происхожденіи, и такимъ образомъ даетъ намъ возможность обозрѣть вслѣдъ за нимъ различныя мнѣнія, существующія о томъ же предметѣ; но мы не думаемъ, чтобы его собственное воззрѣніе на этотъ спорный пунктъ рѣшило всѣ сомнѣнія, и имѣемъ нѣкоторыя причины не вполне соглашаться съ тѣми выводами, которые авторъ принимаетъ въ своемъ изложеніи.

Различіе мнѣній о началѣ этрусскаго народа восходитъ къ весьма отдаленнымъ временамъ. Уже древніе писатели, какъ греческіе, такъ и римскіе, много разногласили насчетъ вопроса о происхожденіи этрусковъ. Замѣчательно однако, что онъ очень рано началъ занимать ихъ пылкость, и между тѣмъ до конца остался для нихъ какъ бы загадкою. Любопытны въ особенности чисто греческія сказанія, потому что греки еще прежде римлянъ старались дать себѣ отчетъ въ тѣхъ отличіяхъ, которыми этруская національность рѣзко отдѣлялась отъ другихъ частей древне-италійскаго народонаселенія. Первый голосъ между древ-

Вѣдѣніе древнѣйшихъ фламиновъ объясняется лишь въ связи съ латино-сабинскими божествами. Древнѣйшіе праздники римлянъ, какъ-то: Луперкаліи, Палиліи, Поплифугіи, были дѣйствительно туземнаго происхожденія. Еще менѣе можно производить отъ этрусковъ авгуральное искусство: сами римляне смотрѣли на него не иначе, какъ на свое родное, отечественное, и производили его и или прямо отъ Ромула, перваго и искуснѣйшаго авгура, или отъ сабинца Атта Навія. То же самое доказываютъ имена другихъ знаменитыхъ авгуровъ, которыя были или сабинскія, или марскія (отъ народа Марсовъ), но никакъ не тусскія. Сага, приписывающая сабинцу Нумѣ римскія религіозныя установленія, содержитъ въ себѣ ясное показаніе, что римскій культъ вообще утвердился подъ преобладающимъ вліяніемъ сабинскаго элемента. Также мало согласна Швиглеръ признать сильное вліяніе этрусковъ на общее римское образованіе. Настаивая на той мысли, что римляне заимствовали свой алфавитъ отъ кампанскихъ грековъ, во всей вѣроятности изъ Кумъ, онъ заключаетъ отсюда, что сношенія Рима съ греческими колоніями южной Италіи были тѣще и живѣе, чѣмъ съ Этрурією, и не колеблется приписать тому же вліянію введеніе въ Римѣ кумировъ, послѣдовавшее при Тарквиніяхъ.

Спрашивается: что же оставляетъ авторъ «Римской исторіи» собственно этрусскому вліянію, если не исключаетъ его вовсе изъ римскаго быта? Весьма немногое и притомъ большею частью несущественное. Самое видное мѣсто между заимствованіями отъ этрусковъ занимаетъ хитрая наука (*disciplina*) гаруспиковъ, которую сами римляне весьма опредѣленно отличали отъ авгуральнаго искусства, какъ этруское изобрѣтеніе ¹⁾. Всѣ относящіяся сюда отправленія и обряды совершались не иначе, какъ по этрусскому обычаю; всѣ гаруспики были родомъ туски. Изъ того же источника, повидимому, вышло и оригинальное ученіе о томъ, что на языкѣ древнихъ римлянъ называлось „*templum*“, съ приложеніемъ его къ сооруженію храмовъ, строенію городовъ, измѣренію полей и устройству лагеря ²⁾: всѣ эти дѣйствія сопровождались у римлянъ разными таинственными обрядами, которыхъ этруское происхожденіе засвидѣтельствовано уже древними писателями и

¹⁾ Cic. de Div. II, 4, 10: *atqui et nostrorum augurum et etruscorum haruspicum disciplinam—res ipsa probavit.*—²⁾ Подробности этого ученія можно найти у Nägele въ его *Studien*, § 40 и 41.

туда же изъ Эссалии чрезъ Іоническое море и потомъ поперекъ всего полуострова? Діонисій по праву считается представителемъ третьяго главнаго воззрѣнія на тотъ же самый предметъ. Онъ жилъ на нѣсколько вѣковъ далѣе отъ начала этрусскаго народа, но производилъ свои изслѣдованія въ самой Италіи, слѣдовательно, еще ближе къ этрусской землѣ, и упростилъ вопросъ о происхожденіи ея народонаселенія еще болѣе. Діонисій не простой повѣствователь, а изслѣдователь, и потому онъ начинаетъ съ опроверженія мнѣній своихъ предшественниковъ. Извѣстіе Геродота отвергается имъ на сдѣланныхъ основаніяхъ: во-первыхъ потому, что въ языкѣ, вѣрованіяхъ и обычаяхъ тирреновъ и лидійцевъ, по его мнѣнію, нѣтъ ничего общаго; во-вторыхъ потому, что у Ксанона, лидійскаго историка, ничего не упоминалось ни о Тирсенѣ, ни о лидійскомъ выселеніи вообще. Такъ же мало удовлетворяетъ его другое мнѣніе, производящее этрусковъ отъ пеласговъ, потому что онъ не признаетъ никакого сходства въ языкѣ того и другого народа, и отсюда заключаетъ о коренномъ различіи ихъ между собою. Но если нельзя доказать, что этрусски были выселенцы, то кто же они? Очевидно, что они должны быть автохтоны, то-есть исконные жители той страны, гдѣ впоследствии происходила ихъ историческая дѣятельность. Діонисій дѣйствительно рѣшаетъ задачу въ этомъ смыслѣ, положительно утверждая, что тиррены были древній народъ, отличный отъ другихъ по происхожденію, языку и образу жизни. Грекамъ онъ приписываетъ лишь названіе народа тирренами, отъ имени ли какого владѣтельнаго лица, или потому, что они жили въ укрѣпленныхъ городахъ; сами же этрусски, по его словамъ, называли себя „разена“, по имени одного изъ своихъ предводителей.

Діонисіемъ заканчивается древнее изслѣдованіе о началѣ этрусковъ, Нибуромъ открывается новое ¹⁾. Любопытно, что первый изъ новыхъ историковъ-изслѣдователей всего болѣе примыкаетъ къ послѣднему изъ древнихъ писателей, который оставилъ намъ опредѣленное мнѣніе объ этомъ предметѣ. Сближеніе впрочемъ очень естественное. Нибуръ, какъ мы видѣли прежде, не ослѣпленъ насчетъ Діонисія; но, начиная вновь дѣло исторической критики, онъ, по весьма понятной причинѣ, сочувствовалъ наиболѣе тому изъ древнихъ, въ комъ

¹⁾ Мы имѣемъ здѣсь въ виду только тѣхъ изслѣдователей, которые оставили глубокіе слѣды въ наукѣ.

одилъ то же самое стремленіе. Поэтому не удивительно, Нибуръ принялъ діонисіево опроверженіе на Геродота и Ланика, находя, между прочимъ, приводимый имъ авторитетъ (историка Ксанѳа) „неопровержимымъ“ ¹⁾. Съ другой юны, будучи сильно занятъ своею гипотезою объ италическихъ пеласгахъ, онъ не могъ удержаться, чтобъ не гавить и этрусковъ въ тѣсную, кровную связь съ ними.

Такимъ образомъ этруски были для него не переселенцы другихъ странъ, а коренные жители Этруріи пеласгическаго происхожденія. Эти-то пеласги назывались, по его мнѣнью, тирренами. Но они одни еще не исчерпываютъ всего предложенія Нибура. Отъ своихъ пеласговъ онъ опять возвращается къ Діонисію и останавливается на томъ различіи, которое римскій археологъ дѣлаетъ между названіями тирренъ. Здѣсь, на этомъ самомъ пунктѣ, новое изслѣдованіе въ исторіи отъ стараго пускаетъ отъ себя новую отрасль, которая скоро потомъ разрастается въ цѣлую обширную гипотезу, мало-по-малу совершенно измѣняетъ прежнее воззрѣніе на этрусковъ. Діонисіевы разсужденія навели Нибура на мысль, что въ Этруріи другой слой народонаселенія, существенно отличный отъ пеласговъ, и какъ у нѣкоторыхъ древнихъ писателей есть указанія на сродство между этрусками и ретамъ (retes), то-есть жителями Ретическихъ Альповъ, то онъ находитъ весьма правдоподобнымъ заключеніе, что разены были одды изъ Реціи, которые, спустившись съ горъ, распространились сначала въ Верхней Италіи, потомъ завоевали Умбрію, покорили тирреновъ и основали въ ихъ землѣ союзъ 12 этрусскихъ городовъ. Это воззрѣніе, откинувшее происхождение господствующаго слоя въ этрускомъ народонаселеніи далеко на сѣверо-востокъ, пустило глубокіе корни въ науку и много привязало къ себѣ дальнѣйшее изслѣдованіе. О. Миллеръ шелъ непосредственно по слѣдамъ Нибура; но, полагая основаніе своихъ трудовъ мысль своего великаго предшественника, онъ всегда почти дѣлалъ изъ нея новое приложеніе, давалъ ей своеобразное развитіе. Древнимъ этрускамъ, какъ извѣстно, онъ посвятилъ даже особое изслѣдованіе. Въ этомъ вопросѣ о происхожденіи этрускаго народа всеюлюбіи отношеніе изслѣдователя къ прежнимъ воззрѣніямъ. Миллеръ уже не довольствуется выводомъ Діонисія: видя этрусскихъ древностей несомнѣнное присутствіе азіатска-

¹⁾ См. Niebuhr, Röm. Geschichte, I, p. 116.

го элемента, онъ чувствуетъ потребность обратиться къ бо древнимъ извѣстіямъ, чтобъ объяснить представляющееся и тиворѣчіе. Но и относящееся прямо сюда свидѣтельство родота кажется ему недостаточно, потому что не подтверждается извѣстіями лидійскаго историка (того же Ксанеа, уминаемаго Діонисіемъ), и потому онъ призываетъ еще въ собіе Гелланика, и пробуя согласить между собою показавшихъ двухъ греческихъ историковъ, строитъ новое и весьма смелое предположеніе. Вотъ какъ, по мнѣнію О. Миллера, должно происходить все дѣло. Вскорѣ послѣ дорійскаго переселенія, часть прибрежныхъ жителей Эгейскаго моря, то-е пеласговъ, выселилась на берега Лидіи. Здѣсь, отъ имени города Тирры (Tyr̥ra), или отъ ближайшаго лидійскаго имени торребовъ, переселенцы прозвались тирренскими пеллами, и подъ этимъ именемъ приобрѣли себѣ извѣстность Эгейскомъ морѣ, гдѣ славились морскими разбоями. Чернѣнскольکو времени потомъ, вытѣсненные іонійцами съ лидійскихъ береговъ, они сами должны были искать себѣ новыя убѣжища, и въ этомъ вторичномъ переселеніи нѣкоторые изъ нихъ проникли до западнаго берега Италіи, и утвердились въ Этруріи, которая отъ нихъ получила названіе Тирреніи. Но тѣмъ еще не оканчивается искусственное построеніе автора «Этрусковъ». Восходя выше, чѣмъ Нибуръ, во вниманіи древнимъ извѣстіямъ, онъ, съ другой стороны, желалъ удержать для себя и выводы новаго изслѣдованія. На этомъ основаніи онъ также принимаетъ въ Этруріи, сверхъ тирренскихъ пеласговъ, еще другое, туземное народонаселеніе, и именемъ разеновъ, и вмѣстѣ съ Нибуromъ полагаетъ, что первоначальною ихъ родиною была Реція. Плодомъ этого смѣшенія, или сліянія двухъ народовъ, по его мнѣнію, и бытъ этруски. Такимъ образомъ гипотеза, сама по себѣ уже довольно сложная, по соединеніи съ нибуровскимъ воззрѣніемъ, принимаетъ еще болѣе видъ искусственной комбинаціи.

Изложивъ мнѣнія Нибура и О. Миллера, авторъ «Римской исторіи» склоняется болѣе въ пользу второго мнѣнія, хотя и не считаетъ его вполне убѣдительнымъ. Понятно, что его не удовлетворяетъ нибуровское воззрѣніе, потому что оно основано главнымъ образомъ на непостоянной гипотезѣ объ италійскихъ пеласахъ. Отъ него укрылись также и недостатки того искусственнаго построения, которое дѣлаетъ О. Миллеръ въ своемъ изслѣдованіи объ этрускахъ, почему онъ отдаетъ предпочтеніе другому, бо

инему воззрѣнію того же автора, изложенному имъ въ сочиненіи о «Миніяхъ», гдѣ онъ рѣшительно различаетъ между этрусскими тирренами и италійскими, приписывая послѣднимъ перное происхожденіе ¹⁾. Но сдѣлавъ эту оговорку, или это правленіе, Шwegлеръ успокоивается на немъ и говоритъ по-
нѣ, что въ сущности его воззрѣніе есть то же самое ²⁾.
въ самомъ дѣлѣ, что касается первой половины предполо-
женія, имѣющей цѣлью объяснить происхожденіе этрусковъ-
тревровъ, онъ вполне раздѣляетъ первое по времени мнѣніе
Миллера, которое исключаетъ почти всякую мысль о связи
между Этруріею и азіатскимъ берегомъ. Геродотовскому из-
вѣстію тутъ, очевидно, нѣтъ болѣе мѣста; оно совершенно
вергается подобнымъ воззрѣніемъ какъ недовольно основатель-
но и вмѣстѣ съ тѣмъ излишнее. Но справедливо ли это?
сраженія, которыя сдѣланы противъ него Діонисіемъ, точно
имѣютъ ту силу, какую имъ приписываютъ? Діонисій зналъ
этрусковъ спустя можетъ-быть цѣлое тысячелѣтіе послѣ
еднолагаемаго выселенія ихъ изъ Лидіи: мудрено ли, что
онъ не нашелъ ничего сходнаго между ними и лидійцами?
Умѣя того, что выселенцы могли измѣниться во многомъ отъ
времени, ихъ языкъ и быть должны были еще потерпѣть отъ
вмѣшенія съ другимъ народомъ. Положимъ далѣе, вмѣстѣ съ
дѣломъ, что приводимый Діонисіемъ авторитетъ Ксанеа дѣй-
ствительно принадлежитъ къ числу неопровержимыхъ: но что
онъ доказываетъ? Развѣ умолчаніе есть то же, что опровер-
женіе? По увѣренію римскаго археолога, Ксанеъ вовсе не упо-
миналъ о выселеніи лидійцевъ въ Италію; но онъ могъ и не
знать о немъ, тѣмъ болѣе, что дѣло касалось лишь одной час-
ти народонаселенія, которая, такъ сказать, сама собою выпала
изъ лидійской исторіи. Даже и въ наше время, какое истори-
ческое изложеніе можетъ похвалиться, что въ немъ не про-
пущено ни одного факта, ни одного событія, когда либо имѣв-
шаго мѣсто въ исторіи того или другого народа? Сомнительно,
крайней мѣрѣ кажется намъ, чтобъ безмолвный автори-
тетъ Ксанеа могъ перевѣсить положительное извѣстіе Ге-
родота.

Если не ошибаемся, то вопреки О. Миллеру и его послѣ-
дователямъ, истинное направленіе новаго изслѣдованія таково,
что тѣмъ далѣе оно простирается впередъ, тѣмъ болѣе прони-
мается важностью геродотова свидѣтельства, тѣмъ довѣрчивѣе

¹⁾ O. Müller, Orchomenos und die Mynier, p. 448.—²⁾ Schwegler, p. 263.

становится къ нему. Мы въ самомъ дѣлѣ не имѣемъ никакихъ данныхъ, которыя могли бы противопоставить показанію отца исторіи относительно лидійскаго переселенія. Напротивъ того, между древними извѣстіями находимъ положительное свидѣтельство о томъ, что память о тѣхъ связяхъ, которыя нѣкогда существовали между лидійцами и жителями Этруріи, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ пунктахъ Малой Азіи, сохранилась до гораздо позднѣйшаго времени. Тацитъ рассказываетъ, что, во время Тиберія, послы города Сардъ, явившись въ римскій сенатъ, прочли этрусскую грамоту въ доказательство сродства своего съ древними жителями Этруріи¹⁾. Положимъ, что самая грамота написана была на вѣру Геродоту; но и то уже много говоритъ въ пользу его извѣстія, что на мѣстѣ считали его достовѣрнымъ. Потому нисколько не удивительно, что и между новыми изслѣдователями число тѣхъ, которые склоняются въ пользу того же извѣстія, все больше и больше размножается. Сюда принадлежатъ въ особенности Веръ, Тиршъ, Ваксмуть; Деннисъ въ своемъ сочиненіи «о городахъ и кладбищахъ Этруріи» раздѣляетъ то же мнѣніе²⁾. Даже Герлахъ и Бахофенъ, которые обыкновенно такъ высоко ставятъ ученый авторитетъ Діонисія, въ этомъ случаѣ отступаются отъ него и отдаютъ свой голосъ въ пользу саги о лидійскомъ переселеніи³⁾. Наконецъ самъ О. Миллеръ указываетъ нѣкоторыя точки соприкосновенія между Лидією и Этрурією, какъ въ обычаяхъ, такъ и въ памятникахъ, которыхъ сходство признано также и другими изслѣдователями⁴⁾.

Въ наше время извѣстіе о переселеніи съ азіатскаго берега въ Италію тѣмъ менѣе должно казаться страннымъ, что нѣтъ болѣе причинъ считать подобный фактъ совершенно изолированнымъ, не имѣющимъ себѣ примѣровъ въ исторіи. Современное изслѣдованіе давно ужъ напало на слѣды тѣхъ частыхъ и тѣсныхъ сношеній, которыя еще въ незапамятное время соединяли ближайшія страны Востока Азіи съ южными оконечностями Европы. Вновь дѣлаемая открытія поселяютъ почти несомнѣнное убѣжденіе въ истинѣ этого предположенія. Изъ нихъ становится очевиднымъ, что не только прибрежныя малоазіатскія страны, но даже Египетъ и Ассирія и ихъ цивилизаціи имѣли свою долю вліянія, черезъ Финикіянъ или

¹⁾ Tac. Annal. IV, 55.—²⁾ Dennis, The cities and cemeteries of Etruria. Lond. 1848.—³⁾ Gerlach und Bachofen, I, 1, p. 118—119.—⁴⁾ См. Die Etrusker, также Thiersch, Ueber das Grabmal des Alyattes, Gerlach, и проч.

ми по себѣ, на начальную культуру нѣкоторыхъ частей къ Апеннинскаго, такъ и Пиренейскаго полуострова. Для имѣннѣе ссылаемся на замѣчательныя находки, которыя сдѣланы на островѣ Сардиніи. У насъ теперь подъ руками ихъ изображенія, приложенныя къ Нейгебауерову описанію этого острова: большая часть изъ нихъ чисто египетскія, другія дѣло напоминаютъ собою символы, которые часто встрѣчаются на ассирійскихъ памятникахъ ¹⁾. Кѣмъ бы ни были несены сюда эти произведенія древней восточной цивилизаціи, во всякомъ случаѣ едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что было время, когда Сардинія находилась въ непосредственныхъ связяхъ съ Востокомъ. Но въ такомъ случаѣ, почему не было бы менѣе вѣроятно, что нѣкогда часть западнаго берега Италіи, обращеннаго и къ Сардиніи, заселена была выходцами изъ Лидіи? Къ числу жаркихъ поборниковъ восточнаго вліянія на Этрурію принадлежитъ Кохъ, авторъ брошюры объ альпійскихъ этрускахъ ²⁾. О его взглядѣ можно бы даже сказать, что оно представляетъ уже крайнѣе другого рода. Но пусть читатели судятъ по слѣдующимъ выпискѣ:

„Стиль древнѣйшихъ этрусскихъ построекъ, украшенія на стѣнахъ, изображенія на урнахъ и вазахъ, и разныя другія произведенія искусства, открытыя въ этрусскихъ гробницахъ—все показываетъ, что утѣренный бытъ Этруріи насъ сквозь проникнуть былъ восточнымъ элементомъ, напоминающимъ собою въ одно и то же время Египетъ и Финіцію, Вавилонъ и Ассирію. Ярче всего впрочемъ проглядываетъ древнѣйшихъ произведеніяхъ этрусскаго искусства египетскій отпечатокъ, и притомъ такъ, что исcludesъ всякую мысль о подражаніи чуждымъ образцамъ, и заставляетъ искать причины явленія гораздо глубже—въ самыхъ судьбахъ первоначальнаго этрусскаго племени. Невозможно, чтобъ то поразительное сходство, которое замѣчается между египетскими и этрусскими гробницами, какъ въ цѣломъ ихъ устройствѣ, такъ и во всѣхъ подробностяхъ внутреннихъ украшеній, которое очевидно далѣе въ очертаніи фигуръ, и наконецъ явственно выплываетъ въ религіозныхъ атрибутахъ (какъ-то: сфинксахъ, скарабѣяхъ, іероглифахъ) и въ самомъ характерѣ религіи того и другого народа,—невозможно, чтобъ это сходство было только дѣломъ случая, невольнаго вкуса или моды, господствовавшей нѣкоторое время между этрусками“ ³⁾.

Не останавливаясь на одномъ общемъ предположеніи, авторъ брошюры, на одной изъ слѣдующихъ страницъ, обра-

¹⁾ См. Die Insel Sardinien von Neugebauer, Taf. 12.—²⁾ Die Alpen-Etrusker von M. Koch. 1868.—³⁾ Die Alpen-Etrusker, p. 12.

чиваетъ свой корабль по направленію къ самому Египту и бросаетъ якорь прямо въ его исторію. Признавая въ этрусскихъ памятникахъ, сверхъ египетскаго, еще финикійскій характеръ. онъ полагаетъ, что это явленіе состоитъ въ тѣсной связи съ изгнаніемъ финикійянъ изъ Египта, которое послѣдовало въ XIX вѣкѣ до начала христіанской эры. Мы отказываемся слѣдовать за авторомъ при такомъ быстромъ движеніи его мысли. Намъ кажется, ничего нельзя объяснять предлагаемымъ изгнаніемъ финикійянъ изъ Египта, пока этотъ самый фактъ еще не очищенъ и не утвержденъ критически. Да едва ли еще можно говорить такъ рѣшительно объ египетскомъ характерѣ этрусскаго искусства вообще.

Сколько мы знаемъ, подобная мысль до сихъ поръ нигдѣ еще не была выговорена положительно и, по нашему мнѣнію, нуждается въ болѣе точныхъ и опредѣлительныхъ доказательствахъ, нежели каковы предложенныя въ брошюрѣ. Лепсіусу хорошо знакомы вопросы, касающіеся до этрусковъ; однако въ своихъ описаніяхъ египетскихъ гробницъ онъ нигдѣ не упоминаетъ о сходствѣ ихъ съ этрусками: стало-быть оно не поразило его, если и допустить, что было имъ замѣчено. Въ очертаніяхъ фигуръ дѣйствительно замѣчается египетская манера; но она же видна и въ произведеніяхъ древняго греческаго стиля. Мы не отвергаемъ совершенно египетскаго вліянія ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, но сомнѣваемся, чтобъ въ настоящемъ состояніи науки позволительно было разсуждать о немъ категорически. Одно только кажется намъ несомнѣннымъ—это присутствіе восточнаго элемента въ этрусскихъ древностяхъ ¹⁾; но какой именно изъ восточныхъ народовъ былъ его проводникомъ въ Этрурію—рѣшеніе этого вопроса надобно еще предоставить времени.

Возвратимся къ гипотезѣ О. Миллера. Мы видѣли, что новое изслѣдованіе отличило въ этрускомъ народонаселеніи, сверхъ первоначальнаго, еще другой, позднѣйшій слой, о которомъ едва подозрѣвали древніе, и что О. Миллеръ, принимая, согласно съ Нибуромъ, особый народъ равеновъ, производитъ ихъ также съ сѣвера, то-есть считаетъ выходцами изъ Реціи. Но въ этомъ послѣднемъ пунктѣ Швеглеръ рѣшительно расходится съ авторомъ «Этрусковъ». Нисколько не отвергая мысли о сродствѣ между этрусками и жителями Реціи, онъ даетъ ей совсѣмъ другое толкованіе. Надобно,

¹⁾ Этого не отвергаетъ и Швеглеръ. См. Röm. Geschichte, I, 1, p. 280.

врочемъ, замѣтить, что еще гораздо прежде нибуровское предположеніе о разенахъ сильно потрясено было Ленсіусомъ въ самомъ его основаніи ¹⁾. Знаменитый египтологъ одно время также занятъ былъ вопросомъ о происхожденіи этрусковъ, и однимъ изъ главныхъ результатовъ его изслѣдованія было то, что имя „разена“, однажды только упоминаемое Діонисіемъ и вѣдомъ нигдѣ болѣе не встрѣчающееся въ исторіи, должно быть вовсе выкинуто изъ списка историческихъ народовъ, какъ никогда не существовавшее въ такомъ смыслѣ. Довольно было этого удара, чтобъ возбудить сильную недовѣрчивость ко всему предположенію о выходцахъ изъ Реціи. Правда, что защитники его могли попрежнему ссылаться на указанія другихъ писателей древности, которые, хотя мимоходомъ, упоминаютъ о кровномъ родствѣ ретовъ съ тусками; но еще Нибуръ, главный виновникъ гипотезы, замѣчалъ, что эти свѣдѣтельства могутъ быть истолкованы совсѣмъ въ другую сторону, и дѣлая свое объясненіе, направлялъ его противъ будущихъ возраженій. Дѣло въ томъ, что Ливій производитъ жителей Ретическихъ Альповъ отъ этрусковъ, а не наоборотъ, и тутъ же прибавляетъ, что они одичали ужъ на новыхъ мѣстахъ своего жительства. Совершенно согласно съ нимъ показаніе Плинія, который называетъ ретовъ отраслью, или *потомками* этрусковъ, вытѣсненныхъ нѣкогда галлами и удалившихся въ горы подъ предводительствомъ Рета. Юстинъ еще опредѣленнѣе повторяетъ то же самое извѣстіе. Такимъ образомъ мы имѣемъ цѣлый рядъ историческихъ свѣдѣтельствъ, которыя положительно говорятъ о выселеніи части этрускаго народонаселенія въ Ретическія Альпы, и ни одного, которое бы упоминало о передвиженіи ретовъ въ Этрурію. Швеглеръ поэтому совершенно правъ, отвергая гипотезу Нибура и О. Миллера о происхожденіи этрусковъ изъ Реціи, какъ не оправдываемую никакими историческими извѣстіями. По его мнѣнію, мы не имѣемъ никакого основанія отступать отъ древняго преданія, а изъ него видно только то, что этруски, бѣжавшіе отъ галловъ, искали себѣ убѣжища въ горахъ Реціи—событіе тѣмъ болѣе вѣроятное, что многія мѣстныя названія въ Тироли до сихъ поръ напоминаютъ собственныя имена этрусковъ. Того же мнѣнія держится авторъ брошюры «Альпійскіе этруски», который если и соглашается допустить

¹⁾ Относящееся сюда сочиненіе Ленсіуса носитъ названіе: *Ueber die tyrrhenischen Pelasger*, 1842.

разеновъ, то не иначе, какъ совершенно отождествляя ихъ съ тирренскими пеласгами. Если Нибуръ находилъ невѣроятнымъ, чтобъ этрусскіе бѣглецы, гонимые галлами, могли утвердиться въ Реціи противъ тамошняго туземнаго народонаселенія, то ему кажется еще невѣроятнѣе, чтобъ первые зародыши этрусскаго искусства, этрусской культуры вообще были занесены въ Этрурію выходцами изъ суровыхъ альпійскихъ странъ, гдѣ человѣкъ истощалъ всѣ свои усилія на тяжелую борьбу съ природою, и гдѣ потому не могло быть никакого образованія. Не лишены также основанія слѣдующія соображенія автора, направленные противъ возможности большого переселенія изъ Реціи въ продолженіе данной эпохи:

„Исторія не знаетъ ни о какомъ народномъ движеніи съ сѣвера на югъ за 1100 лѣтъ до Р. Х. Между тѣмъ трудно себѣ представить, чтобъ событіе такой важности могло быть вовсе не замѣчено, или чтобъ исчезла всякая память о движеніи, которое должно было сильно почувствоваться всѣми народами, жившими на пространствахъ между По и вершинами Апенниновъ. Нужны были цѣлыя сотни тысячъ людей и между ними множество вооруженныхъ, чтобъ могло сбыться такое дѣло: потому что не могли же умбры, заселявшіе тогда область рѣки По, бѣжать передъ этрусками, какъ робкое стадо овецъ, и отдать имъ свои земли безъ сопротивленія. Но въ то время сѣверъ вовсе еще не былъ такъ густо заселенъ, чтобъ въ состояніи былъ выставить такія многочисленныя скопища. Да и Альпы не могли пропитать такого числа людей, потому что дно ихъ долинъ лежало въ болотахъ и не представляло никакихъ удобствъ не только для постоянной обработки, но и для временнаго перехода. На высотахъ Альповъ, еще во время Аннибалова похода, можно было отличить новыя слои снѣга отъ стараго, такъ что онѣ постоянно были окованы льдомъ. Полибій, проѣзжавшій черезъ Альпы спустя тысячу лѣтъ послѣ предполагаемаго переселенія, говоритъ о нихъ, что возвышенныя части ихъ остаются невоздѣланными по причинѣ суровости климата и глубокихъ снѣговъ, которые лежатъ на нихъ круглый годъ. Вообще изслѣдователи, принимавшіе переселеніе этрусковъ изъ тирольскихъ Альповъ, слишкомъ необдуманно дѣлали свои выводы, мало обращая вниманія на физическія свойства страны“ ¹⁾.

Мы не можемъ слѣдить за авторомъ этихъ строкъ въ дальнѣйшемъ его изслѣдованіи, гдѣ онъ перебираетъ одно за другимъ различныя племена, составлявшія въ историческія времена населеніе Реціи, чтобъ, согласно съ своею основною мыслью, открыть между ними признаки позднѣйшихъ переселенцевъ изъ Этруріи, да и не имѣемъ въ томъ особенной нужды. Наша цѣль состояла только въ томъ, чтобъ познако-

¹⁾ Die Alpen-Etrusker, p. 14—15.

имѣть читателей съ настоящимъ состояніемъ вопроса объ этрускахъ, не входя во всѣ его подробности. Послѣдніе результаты изслѣдованія, очевидно, нисколько не благопріятствуютъ гипотезѣ о происхожденіи этрусковъ съ сѣвера: несмотря на авторитетъ Нибура и О. Миллера, скоро, кажется, она вовсе выйдетъ изъ употребленія. Что же тогда останется?... Остается, во-первыхъ, общій выводъ, твердо постановленный на основаніи филологическихъ наблюденій, что этруски, несомнѣнно принадлежавшіе къ индо-германскому семейству языковъ и народовъ, были впрочемъ чужды умбро-сабелло-латинской ея отрасли. Это отчужденіе чувствуется и во всѣхъ отношеніяхъ ихъ къ другимъ народамъ древней Италіи. Граница Лаціума съ Этруріею дѣйствительно составляла рубежъ, раздѣлявшій двѣ народности,—не то, что границы съ сабинцами и вольсками, которыя были едва замѣтны. „Продать за Тибръ“ (*trans Tiberim vendere*), говоритъ Швеглеръ, значило продать въ чужую землю; и римляне, не чинясь, называли этрусковъ „варварами“. Останется далѣе несомнѣннымъ тотъ фактъ, что этрусская національность образовалась изъ смѣшенія разнородныхъ племенъ. Если бъ на это и не было никакихъ указаній въ извѣстіяхъ древнихъ писателей, мы неминуемо пришли бы къ такому заключенію, судя по характеру языка и нѣкоторымъ другимъ, не менѣе вѣрнымъ признакамъ. Такъ, напримѣръ, все этруское народонаселеніе раздѣлялось только на два класса, изъ которыхъ одинъ, господствующій, очевидно произошелъ изъ завоевателей, другой, пенесты, составилъ изъ покоренныхъ ими туземныхъ жителей; о существованіи среднего сословія у этрусковъ едва можно имѣть слабое подозрѣніе. Но какія же именно были эти племена, которыя послужили къ образованію этруской народности? Швеглеръ находитъ на этруской почвѣ три народныя элемента и исчисляетъ ихъ въ слѣдующемъ порядкѣ: а) умбры, или первоначальное населеніе страны, б) разены — племя завоевательное, которое пришло позже и населило преимущественно города, и с) греки, рано заселившіе своими колоніями берега Этруріи. Въ пользу умбровъ, какъ первоначальныхъ жителей этруской земли, говоритъ древнее преданіе, сохранившееся у Плинія ^{*)}, и многія общія черты въ этрускомъ и сабинскомъ культѣ, что

*) Plin. III. 8: Umbros inde exegere antiquitus Pelasgi, hos Lydi, qui Tursi sunt cognominati. Или въ другомъ мѣстѣ (III, 19): Umbrorum gens antiquissima Italiae existumatur, etc.

объясняется лишь единствомъ происхожденія того и другого народа. О греческихъ поселеніяхъ въ Этруріи свидѣтельству- ютъ имена прибрежныхъ городовъ (Пизы, Агилла, Пиргой, и пр.) и тѣсныя связи ихъ съ метрополіей: по всей вѣроятности, чрезъ нихъ Этрурія получила свой алфавитъ изъ Греціи; они же частью служили тѣмъ проводникомъ, посредствомъ кото- раго греческое искусство, пластика и живопись въ особен- ности, проникли и во внутренность страны, какъ это несо- мнѣнно доказывается сходствомъ этрусскихъ вазъ, найденныхъ близъ Цере и Тарквиніи, съ коринѣскими. Но какъ бы ни было значительно вліяніе береговыхъ поселеній, матеріальный перевѣсъ въ составѣ этрусскаго народонаселенія все же дол- женъ былъ оставаться на сторонѣ умбровъ и ихъ завоевате- лей. Кто же такіе были разены? По мнѣнію Швеглера, со- гласному съ гипотезою О. Миллера, они были тирренскіе пе- ласги. Но мы ужъ видѣли, что это искусственное предполо- женіе о тирренскихъ пеласагахъ составилось на счетъ геродо- товскаго извѣстія о лидійскомъ переселеніи, которое, по на- шему мнѣнію, имѣетъ за себя болѣе рочательствъ достовѣр- ности. Итакъ не будетъ ли проще и сообразнѣе съ дѣломъ, если мы, устранивъ сомнительныхъ разеновъ, поставимъ на ихъ мѣсто менѣе апокрифическихъ выходцевъ изъ Лидіи? Допуская, на основаніи Геродота, поселеніе ихъ въ Этруріи, мы не только удержимъ посредствующую связь между Восто- комъ и западнымъ берегомъ Италіи, но и точнѣе сохранимъ смыслъ преданія, которое, исчисляя въ преемственномъ порядкѣ народы, занимавшіе этрусскую землю, ставитъ на первомъ мѣстѣ умбровъ, за ними пеласговъ и наконецъ лидійцевъ, „прозванныхъ потомъ тусками“. Что же касается до пелас- говъ, поставленныхъ здѣсь между умбрами и лидійцами, то мы ужъ знаемъ, съ какою осторожностью надобно принимать извѣстія о разселеніи ихъ въ разныхъ частяхъ Апеннинскаго полуострова. Если они приводятся здѣсь не просто только для счета, то едва ли подъ ихъ именемъ не скрывается начало греческихъ колоній на этрусскомъ берегу. Римляне знали такъ мало вѣрныхъ признаковъ, по которымъ съ точностью могли отличать пеласгическое отъ собственно греческаго. Впрочемъ можно надѣяться, что подробности вопроса объ этрускахъ разъ- ясняются еще болѣе при дальнѣйшихъ успѣхахъ изслѣдованія.

Критическія воззрѣнія Швеглера на преданія, которыя имѣютъ своимъ предметомъ исторію основанія Рима и рим-

скаго общественнаго устройства, мы надѣемся представить читателямъ въ третьей и вмѣстѣ окончательной статьѣ.

III.

Какъ римскій народъ имѣлъ свой корень въ латинцахъ, такъ и самый городъ Римъ зналъ себѣ предшественниковъ въ Лаціумѣ. Передъ вступленіемъ въ исторію основанія Рима, историку-ислѣдователю представляется еще извѣстіе о происхожденіи Лавиніума, который, по словамъ преданія, былъ самымъ древнимъ и главнымъ учрежденіемъ Энеадовъ на латинской землѣ.

Первоначальный историческій матеріалъ, о которомъ мы говорили въ началѣ нашихъ статей, впервые собирается здѣсь въ одну довольно плотную массу, и получаетъ, такъ сказать, осязательную форму. И римской сагѣ удастся наконецъ въбраться изъ хаоса противорѣчащихъ одно другому преданій и сгруппировать извѣстные ей факты такъ, что они представляютъ собою полную и довольно согласную въ своихъ частяхъ картину. Читая римскія сказанія о появленіи троянскихъ бѣглецовъ въ Италіи, видишь послѣдовательность явленій, которой напрасно ищешь въ многочисленныхъ и разнорѣчащихъ между собою извѣстіяхъ о разселеніи пеласговъ. Вотъ переселенцы пристають къ чужому берегу и высаживаются на него; туземцы сначала встрѣчаютъ ихъ недовѣрчиво, но потомъ, предпочитая добрый миръ невѣрной брани, вступаютъ съ ними въ переговоры и уступаютъ имъ часть своей земли; тогда признательные колонисты заключаютъ тѣсный союзъ съ аборигенами, и строятъ себѣ новый городъ на уступленномъ участкѣ; но сосѣдніе народы начинаютъ недоброжелательно смотрѣть на этотъ союзъ, и вооружаются противъ него; вражда разрѣшается открытою борьбою, изъ которой пришельцы, благодаря мужеству своихъ вождей, выходятъ побѣдителями: ихъ новое учрежденіе не только спасено отъ совершеннаго разрушенія, но и упрочено на будущее время. Почти такими чертами изображаетъ преданіе главные обстоятельства поселенія троянцевъ въ Лаціумѣ. Есть нѣкоторыя разности въ подробностяхъ, но общій ходъ дѣла отъ того не измѣняется. Событіе имѣетъ видъ округленнаго цѣлага.

И въ томъ еще отношеніи чувствуешь какъ-будто болѣе твердую почву подъ ногами, читая извѣстія о троянскомъ селеніи въ Италіи, что имѣешь дѣло не столько съ большими неопредѣленными массами, сколько съ отдѣльными лицами. Во главѣ всего предпріятія стоитъ Эней—имя, хорошо известное читателю еще изъ героическихъ преданій древней Греціи. Рядомъ съ нимъ дѣйствуетъ на той же сценѣ Асній—лицо, почти всегда неразлучное съ нимъ и въ другихъ извѣстіяхъ. За латинцевъ отвѣчаетъ Латинъ, царь своего рода, между тѣмъ какъ дочь его Лавинія служитъ живымъ звеномъ для скрѣпленія вновь образовавшагося союза между двумя народами. Въ этомъ же самомъ бракѣ между Энеемъ и Лавиніею лежитъ и главный узелъ того недоброжелательства, съ которымъ колонисты должны были бороться пото-мъ въ своемъ новомъ поселеніи. По нѣкоторымъ извѣстіямъ, Лавинія сначала была помолвлена за Турна, князя рутуловъ, онъ потому возсталъ противъ Латина и его союзниковъ, считалъ себя оскорбленнымъ. Такимъ образомъ, не довольнуясь однимъ изложеніемъ фактовъ, сага умѣетъ объяснить ихъ личными мотивами. Повѣствованіе пользуется уже для своей цѣли историческими приемами. Мезенцъ, владѣтель города Цере (Саере), также не безъ причины принимаетъ участіе въ этой борьбѣ: побѣжденный Турнъ ищетъ у него убѣжища и возбуждаетъ къ отмщенію. Счастье и въ этомъ случаѣ продолжаетъ служить союзникамъ, но побѣда достается имъ дорого: въ битвахъ съ Турномъ и Мезенцемъ гибнетъ Латинъ и исчезаетъ Эней. Высоко цѣня подвиги вождей союзниковъ, сага однако не считаетъ своихъ героев совершенно неуязвимыми: они гибнутъ или исчезаютъ, и и по естественному порядку, смѣняется новое поколѣніе. По смерти Латина и исчезновенія Энея, во главѣ рода остается Лавиній, которому преданіе и приписываетъ окончательное утвержденіе троянцевъ въ Лаціумѣ ¹⁾.

Въ какомъ же отношеніи находится этотъ первоначальный матеріалъ къ исторической истинѣ?

Римляне прожили съ нимъ всю свою историческую жизнь почти не думая подвергать его критическому анализу. Е

¹⁾ Мы не приводимъ саги сполна; читатели найдутъ подробное ея изложеніе у Шлегера, который приводитъ ее въ трехъ видахъ: сначала въ древнѣйшей формѣ, потомъ по рассказамъ позднѣйшихъ историковъ, наконецъ поэтическомъ видѣ, какъ она представлена у Виргилія, однимъ словомъ, порядкомъ историческаго ея развитія. См. *Röm. Gesch.* 1, p. 283—291.

болѣе: убѣжденіе въ его крѣпости, повидимому, росло вмѣстѣ съ успѣхами римской жизни. Благороднѣйшіе римскіе роды съ гордостью указывали на свое происхожденіе отъ Юла-Асканія; римская археологія и римская поэзія наперерывъ старались утвердить въ римлянахъ то же самое понятіе. Одинъ изъ первыхъ поэтовъ времени Августа посвятилъ свой талантъ преимущественно на то, чтобъ въ великолѣпной картинѣ воссоздать передъ римлянами всѣ подробности событія, которое, по его мысли, какъ сѣмя, заключало въ себѣ всю будущность великаго народа. Восходя отсюда далѣе, послѣдніе цезари августова дома любили обращаться къ воспоминаніямъ о Троѣ, которая была имъ дорога, какъ древняя колыбель ихъ славнаго рода. Греческіе (собственно пеласгическіе) и троянскіе выходцы казались краугольными камнями, безъ которыхъ ни одинъ римскій историкъ не смѣлъ выводить зданія своей отечественной исторіи. Средніе вѣка, принявъ это наслѣдство отъ Рима, оставили его неприкосновеннымъ и передали во всей цѣлости позднѣйшимъ поколѣніямъ. Благодаря застою средневѣковой мысли въ области исторіи какъ науки, преданіе не только не потерпѣло никакого ущерба, но успѣло еще вновь распространить свою область, привившись, съ помощью вымысла, къ нѣкоторымъ родамъ, выросшимъ ужъ непосредственно на новой европейской почвѣ. Такъ, по данному римскому образцу, создавалась баснословная генеалогія Меровинговъ, выводившая родъ ихъ какими-то темными путями прямо изъ стѣнъ священнаго Иліона. Римскія возрѣнія по крайней мѣрѣ на тысячу лѣтъ пережили римскую исторію.

Новая европейская мысль, хотя сама воспиталась большею частью плодами древней мысли, не принесла однако съ собою той же наивной довѣрчивости къ представленіямъ древнихъ о началахъ ихъ историческаго существованія. Критическая очистка даннаго матеріала показала ей гораздо важнѣе фантастическаго его размноженія на почвѣ новой исторіи. По мѣрѣ того, какъ зрѣла европейская мысль, въ ней пробивались сомнѣнія о достовѣрности тѣхъ сказаній, съ которыхъ Римъ начиналъ свою домашнюю лѣтопись. Замѣчательно, что самый первый пунктъ, на который пало сомнѣніе исторической критики въ римской исторіи, было именно поселеніе троянскихъ выходцевъ въ Лаціумъ. Обойдя другіе вопросы и начавъ отсюда, Клюверъ (Cluver) въ своихъ «Итальянскихъ древностяхъ» распространилъ потомъ свой скептицизмъ и на послѣдующія событія до самаго переворота, который произвелъ римскую

республику ¹⁾). Присутствіе личнаго элемента въ этихъ сказаніяхъ, вмѣсто того, чтобъ расположить критика къ большей довѣрчивости, лишь скорѣе вызвало зародившееся въ немъ сомнѣніе. Даже кажущаяся послѣдовательность разсказа не скрыла отъ его глазъ внутренней невѣроятности цѣлаго событія. Это было еще въ первой четверти XVII-го вѣка. Во второй половинѣ того же столѣтія римское преданіе объ Энеѣ подверглось новымъ, еще болѣе мѣткимъ нападеніямъ со стороны остроумнаго Бошара, который сдѣлалъ изъ него предметъ особеннаго изслѣдованія ²⁾. Глубокомысленный Вико, встрѣтившій критику французскаго филолога полнымъ сочувствіемъ, не остановился на томъ, но пытался объяснить самоз происхожденіе саги, нисколько не сомнѣваясь въ баснословномъ ея характерѣ. Въ доказательство того, что это возвращеніе удѣжалось и въ XVIII-мъ вѣкѣ, нашъ авторъ ссылается на изслѣдованіе аббата Ватри (напечатанное въ мемуарахъ Французской Академіи), который разсматривалъ преданіе объ Энеѣ въ связи съ общимъ вопросомъ о происхожденіи рода Юліевъ. Такимъ образомъ Нибуръ нашелъ сагу ужъ довольно обзороуженною. Ему оставалось лишь ввести сказаніе въ общую систему своей критики, и указать ему мѣсто между другими извѣстіями, относящимися къ начальной римской исторіи. Вопросъ, до сихъ поръ отрывочно занимавшій любознательныхъ людей, сталъ съ этого времени прямою принадлежностью науки.

Много разъ еще послѣ того ученая дѣятельность возвращалась къ сказанію объ Энеѣ. Въ то время, какъ большая часть изслѣдователей, продолжая дѣло Нибура, старалась отыскать ключъ къ дальнѣйшему разъясненію вымысла, слышались еще нѣкоторые отдѣльные голоса въ пользу исторической достовѣрности преданія ³⁾. Къ нему подходили съ разныхъ сторонъ; въ объясненіе его приводили много новыхъ соображеній. Сколько выиграла оттого историческая истина? Мы думаемъ, что лучшій отвѣтъ на это и вмѣстѣ послѣднее слово науки заключаются въ сочиненіи Шwegлера, который представляетъ сводъ всѣхъ прежнихъ изслѣдованій о троян-

¹⁾ Cluver, Ital. Antiqu. См. о немъ Schwegler, 1, p. 279 и далѣе.—²⁾ Lettre à mr. de Segrais, ou dissertation sur la question, si Enée a jamais été en Italie.—³⁾ См. Wachsmuth, Aeltere Gesch. d. Röm. Staats. Въ послѣднее время—Герлахъ и Бахофенъ.

скомъ поселеніи въ Лаціумѣ и на ихъ основаніи дѣлаетъ свои собственные выводы.

Прежде всего нашего автора занимаетъ вопросъ: какъ глубоко въ древность идутъ корни преданія объ Энеѣ? Иными словами: насколько оно извѣстно было древнимъ греческимъ писателямъ? Первое слово объ Энеѣ принадлежитъ Гомеру; но у него нѣтъ ни одного указанія на выселеніе Энея изъ предѣловъ троянской земли. Весь смыслъ извѣстнаго предсказанія, который въ Иліадѣ приписывается Посейдону, состоитъ въ томъ, что Эней будетъ царствовать надъ остальными троянами. Позднѣйшіе писатели (Страбонъ и нѣкоторые другіе) дѣйствительно знаютъ родъ Энеадовъ, который долгое время властвовалъ въ той же самой странѣ. Сохранились слѣды болѣе прямыхъ указаній на то, что Эней остался въ Троѣ и царствовалъ въ ней по истребленіи Пріамова рода. Ни Гезіодъ, ни киклики ничего не знаютъ о преданіи, конечно потому, что оно вовсе не существовало въ ихъ время. Если бъ Діонисій нашелъ у нихъ хотя одно свидѣтельство, онъ не забылъ бы привести его или хотя сослаться на него въ своемъ разсказѣ. Арктинъ Милетскій и за нимъ Софоклъ знаютъ лишь о выселеніи Энея на гору Иду, гдѣ, по ихъ словамъ, онъ основалъ потомъ новую колонію. По свидѣтельству Макробія, Виргилій все содержаніе второй книги своей поэмы заимствовалъ почти слово въ слово изъ Пизандра; но какъ содержаніе второй книги не идетъ далѣе разоренія Трои, то свидѣтельство теряетъ всякую важность. Стезихоръ едва ли не первый заговорилъ о переправѣ Энея въ „Гесперію“; но объ этомъ позволительно лишь догадываться. Предположеніе во всякомъ случаѣ не можетъ простираться далѣе города Кумъ (въ южной Италіи), гдѣ существовали мѣстные преданія объ Энеадахъ, которыя подали поводъ Стезихору говорить о выселеніи Энея въ ту страну ¹⁾. Замѣтимъ однако этотъ самый ранній слѣдъ появленія саги въ литературѣ. Къ удивленію, чѣмъ дальше уходимъ впередъ отъ предполагаемаго времени событія, тѣмъ больше выясняется преданіе о немъ, тѣмъ больше выступаютъ на видъ разныя его подробности. Очевидно, что оно выросло не изъ самого событія, а взялось отъ другого корня; ибо историческая память тѣмъ свѣжѣе, чѣмъ ближе бываетъ къ происшествію; здѣсь же выходитъ совершенно наоборотъ. Нѣкоторое время сага колеблется, какъ бы не зная, гдѣ лучше положить предѣлъ

¹⁾ См. подробности у Швейглера, 1 р. 298—299.

странствованіемъ Энея, и заставляетъ его высаживаться на берегъ и сидеть то во Фракіи, то въ Аркадіи, то гораздо далѣе на западъ—въ Сициліи, въ южной Италіи и наконецъ въ Лаціумѣ. Можно бы сказать, что сага сама долгое время странствовала вмѣстѣ съ Энеемъ, прежде чѣмъ утвердился съ нимъ на одномъ пунктѣ. Стало-быть, на пространствѣ между берегами Эгейскаго моря и берегами Тирренскаго, у нея было нѣсколько точекъ опоры въ разныхъ мѣстностяхъ, между которыми она долго не могла сдѣлать окончательнаго выбора. За то, начиная съ 300 г. до Р. Х., Діонисій въ состояніи ужъ привести нѣсколько греческихъ писателей, которые положительно говорятъ о троянскомъ поселеніи на латинской землѣ. Передавая извѣстіе о немъ, Тимей, современникъ Пирра, утверждалъ сверхъ того, что онъ самъ видѣлъ въ Лавиніумѣ священную утварь, вынесенную переселенцами изъ Трои. Странно: ближайшіе вѣка къ событію не сохранили ни малѣйшей памяти о немъ, а черезъ девять столѣтій потомъ начали находить видимые слѣды его въ осязаемыхъ памятникахъ! Послѣ Тимея рядъ писателей, которые упоминаютъ о троянскомъ поселеніи въ Лаціумѣ, видимо возрастаетъ; намеки и указанія на событіе становятся чаще и чаще; черезъ нѣсколько времени потомъ преданіе объ Энеѣ появляется и у римскихъ писателей, и наконецъ, въ послѣдніе годы первой пунической войны, находитъ себѣ (сколько намъ извѣстно) первое признаніе со стороны самого римскаго государства, которое беретъ сторону Акарнаніи противъ этолянъ, на томъ основаніи, что ея жители одни изъ всѣхъ грековъ не принимали участія въ войнѣ противъ Трои, откуда вышли основатели Рима.

Итакъ корень преданія лежитъ весьма глубоко въ древности; онъ отрѣзанъ отъ предполагаемаго событія большимъ пространствомъ нѣсколькихъ вѣковъ. Съ исторической точки зрѣнія не довольно ли одного этого обстоятельства, чтобъ сильно заподозрить достовѣрность преданія? Присоедините сюда географическія и многія другія несообразности, непосредственно вытекающія изъ самаго разсказа. Замѣченные ужъ первыми критиками саги, онѣ еще болѣе раскрыты новѣйшими ея изслѣдователями. Событіе совершается въ такую пору, когда море составляло еще непреодолимую преграду между Италіею и Греціею. Напрасно ясный взоръ Гомера усиливается проникнуть въ эту таинственную даль: Италія еще покрыта для него глубокимъ мистическимъ мракомъ. Если и случалось,

что судно, заброшенное бурей, приставало къ тѣмъ отдаленнымъ берегамъ, то никто конечно не вздумаетъ объяснять подобною случайностью начало большого поселенія, которое, если вѣрить преданію, оставило по себѣ глубокой слѣдъ въ исторіи. Даже въ Сициліи, которая лежитъ немного далѣе, чѣмъ на половинѣ пути переселенія, греческія колоніи показались нѣсколькими вѣками позже предполагаемаго событія. Какимъ же чудомъ Эней и его спутники могли очутиться вдругъ на берегахъ отдаленнаго Лаціума? Какъ эта незначительная горсть людей, которая, по словамъ римскихъ анналистовъ, вся умѣщалась на одномъ кораблѣ, могла утвердиться противъ туземцевъ и не затеряться среди нихъ въ памяти цѣлаго ряда послѣдующихъ столѣтій, до самой вѣри чисто историческаго времени? Повидимому, событіе должно принадлежать къ числу самыхъ народныхъ въ Италіи, если память о немъ могла сохраниться не иначе, какъ путемъ народнаго преданія; между тѣмъ ему именно не достаетъ этой печати народности. Самое искусство Виргилія безсильно было возвысить Энея до степени національнаго героя. Между многочисленными народными праздниками и увеселеніями римлянъ нѣтъ ни одного, съ которымъ бы соединялось хотя слабое воспоминаніе о немъ. Если дѣло Энея и вошло въ римское сознаніе, то это было гораздо позже, когда ужъ опредѣлились всѣ формы народнаго римскаго быта: иначе въ нихъ не произошло бы такого значительнаго пропуска.

Послѣднее обстоятельство заставляетъ сомнѣваться и въ томъ, чтобъ зародышъ римскаго сказанія можно было съ успѣхомъ искать въ той самой странѣ, въ которую оно переноситъ дѣйствіе. Какъ не она произвела Энея, такъ не въ ней могло родиться и представленіе о его странствованіяхъ. Первое зарожденіе саги надобно отыскивать тамъ, гдѣ самая мѣстность сколько-нибудь способствовала ея развитію: скорѣе въ Греціи, чѣмъ въ Италіи, скорѣе въ южной, чѣмъ въ средней Италіи. Самое мечтательное представленіе не зарождается безъ причины. Ближайшій мотивъ къ сказаніямъ объ Энеѣ, безъ сомнѣнія, заключается въ мѣстныхъ названіяхъ, которыя или прямо происходили отъ его имени, или довольно близко напоминали о немъ. Извѣстно, какъ скоро была греческая фантазія на подобныя производства: нерѣдко изъ одного имени она создавала себѣ цѣлую повѣсть. Объ Энеѣ и его родичахъ напоминали грекамъ многія мѣстности, лежація по берегамъ Средиземнаго моря. У самаго устья рѣки Гебра, во Фракіи, лежалъ городъ

съ именемъ Энеа (Aeneas); въ Термесскомъ заливѣ, на полу-островѣ Халкидикѣ, находился другой городъ съ именемъ Энея (Aenea); одинъ островъ близъ города Кумъ носилъ названіе Энарія (Aenaria). Неподалеку отъ Бутротума, что въ Эпирѣ, одинъ холмъ слылъ подъ именемъ Трои; тамъ же находилась пристань, которая своимъ именемъ Анхизъ или Анхизіа, напоминала объ отцѣ Энея. Еще болѣе живое напоминаніе о немъ соединилось съ горою Анхизіей въ Мантиней, гдѣ показывали и самую могилу Анхиза. Что же касается до могилы самого Энея, то, по свидѣтельству Діонисія, ее можно было видѣть въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Все это показываетъ, что воспоминанія о троянскомъ героѣ были разсѣяны на большомъ пространствѣ внѣ троянской земли, и что нѣтъ достаточныхъ причинъ привязать ихъ исключительно къ одной мѣстности. Кромѣ того, по тѣсной мифологической связи, существовавшей между Энеемъ и Афродитою, культъ последней проводилъ съ собою представленія о немъ еще далѣе. Распространенные во множествѣ, можетъ-быть еще со времени финикійскихъ поселеній, по берегамъ Средиземнаго моря, храмы Афродиты не менѣе живо возбуждали мысль объ Энеѣ, какъ и самыя мѣстности, называвшіяся его именемъ. Преданіе недаромъ же заставляло его строить храмъ Афродитѣ всякій разъ, какъ только ему приходится въ томъ или другомъ мѣстѣ высаживаться на берегъ. Собственно дѣло происходило наоборотъ: вездѣ, гдѣ только было подобное святилище, тотчасъ возникала мысль о пребываніи Энея въ томъ мѣстѣ. Простираясь впередъ этимъ путемъ, представленіе объ Энеѣ могло наконецъ достигнуть и Лаціума—крайняго пункта своего распространенія на западѣ. Въ странѣ элимеевъ въ Сициліи, по рѣкѣ Эриксу, процвѣталъ особенно культъ Афродиты, носившей по мѣсту имя Эрицинской; здѣсь же было сильно укоренено и преданіе объ Энеѣ, такъ что, по словамъ одного изслѣдователя, тутъ какъ-бы опять собралась вся Троя: не мудрено, что предприимчивые ардеаты перенесли его отсюда къ себѣ, на латинскій берегъ, гдѣ находимъ также два святилища Афродиты, одно неподалеку отъ самой Арден, другое близъ Лавиніума, которыя сами по себѣ ужъ располагали мысль къ воспріятію саги ¹⁾).

Заслуга этихъ разысканій не принадлежитъ исключительно Швеглеру. Собирая разсѣянные слѣды саги объ Энеѣ,

¹⁾ См. Schwegler, 1, p. 300—302 и 327.

часто долженъ былъ опираться на труды прежнихъ из-ователей. Клаузенъ, Преллеръ, Бамбергеръ и другіе, спено занимавшіеся этимъ предметомъ, гораздо прежде его ли установить нѣкоторые твердые пункты въ изслѣдова-Но, пользуясь трудами своихъ предшественниковъ, Шнег-тѣмъ не менѣе умѣлъ остаться самостоятельнымъ. Ему принадлежитъ честь не только сдѣлать общіе выводы, но во ихъ случаяхъ освѣтить вновь и самыя подробности.

Для критики саги много ужъ сдѣлано тѣмъ открытіемъ, она отнюдь не привязана была къ одному мѣсту ¹⁾. въ она не выросла вдругъ на одной почвѣ, но образовалась по-малу изъ множества отдѣльныхъ лучей, собранныхъ динъ фокусъ рефлексію. Мысль о странствованіяхъ Энея ственно должна была народиться изъ множества данныхъ товъ, съ которыми соединена была память о его пребы-и. Кто показывался во многихъ мѣстахъ, тотъ, предпола-ся, посѣтилъ ихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, слѣдо-льно странствовалъ; а кто началъ свое странствованіе отъ испонта по направленію къ западу, тому не трудно ужъ или поздно достигнуть и Лаціума. Этимъ способомъ тика рѣшаетъ одну часть своей задачи. Остается другая ѣ ея: какимъ образомъ та же самая сага могла попасть Римъ и основаться въ немъ? Заимствована ли она изъ іума или пришла сюда какимъ инымъ путемъ? Ужъ Миллеру казался неудовлетворительнымъ простой переводъ : изъ Лаціума въ Римъ, тѣмъ болѣе, что въ Римѣ она идно получила новое развитіе, и потому онъ искалъ для нея ого, болѣе говорящаго за себя посредства ²⁾. Догадка его ѣ болѣе заслуживаетъ вниманія, что она принята и нашимъ ромъ за основаніе нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ его выводовъ. По вію Миллера, первое зерно извѣстнаго сказанія объ Энеѣ сено было въ Римѣ въ Сивиллиныхъ книгахъ или оракулахъ, торыхъ сохранилось согласное извѣстіе древнихъ, что они ились въ Римѣ во время владычества Тарквиніевъ. Это цположеніе имѣетъ ужъ ту вѣроятность, что, по словамъ (анія, Сивиллины книги были принесены изъ города Кумъ, ѣ Кумахъ, сколько извѣстно, было главное гнѣздо различ-ъ представленій объ Энеадахъ во всей южной Италиі.

¹⁾ Еще Нибуръ былъ противъ греческаго происхожденія саги объ Энеѣ, италъ ее туземною въ Лаціумѣ. См. его *Röm. Gesch.* 1, p. 199. — ²⁾ Вл-онъ сочиненіи: «*Explicantur causae fabulae de Aeneae in Italiam adventu*»).

Сверхъ того, нѣкоторые намеки Діонисія и другихъ писателей даютъ поводъ догадываться, что въ самыхъ книгахъ была, между прочимъ, рѣчь объ Энеѣ. Отношеніе между ними довольно понятно. Начало всѣхъ сивиллинскихъ оракуловъ возводится къ геллеспонтской Сивиллѣ, имѣвшей свое мѣстопробываніе въ ущельяхъ горы Иды: близъ тѣхъ мѣстъ отыскивали ея родину, и тамъ же, именно въ Гергисѣ, показывали ея могилу. Ближайшимъ предметомъ предсказаній Сивиллы былъ конечно родъ Энеадовъ, который, какъ мы видѣли, пережилъ паденіе Трои и долго еще потомъ господствовалъ въ той странѣ. Можно полагать, что возвращая Энеадовъ ко временамъ прошедшимъ, предсказательница сулила имъ возрастаніе ихъ рода и новое процвѣтаніе ихъ могущества. По одному древнему извѣстію, вѣкъ Солона и Кира былъ самымъ цвѣтущимъ временемъ геллеспонтской Сивиллы, то-есть съ этого времени особенно начали распространяться ея изреченія. Впослѣдствіи, когда въ городѣ Эритрахъ (противъ острова Хиоса) появилась другая Сивилла, и общее вниманіе было занято ею, стали производить отъ нея же и прежніе оракулы. Несмотря на знаменитость эритрейской Сивиллы, древнія свидѣтельства не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что преимущества не только старѣйшинства, но и оригинальности оставались за геллеспонтскою или гергитскою. Точно также первое собраніе оракуловъ послужило основой для второго. Составившееся такимъ образомъ новое собраніе сивиллинскихъ изреченій перешло изъ Эритры сначала въ эолійскія Кумы, отсюда въ кампанскія, и наконецъ изъ кампанскихъ Кумъ перенесено было въ Римъ при Тарквиніи. вмѣстѣ съ ними проникло въ Римъ и новое, доселѣ чуждое ему, представленіе объ Энеѣ. Сивиллины книги скоро получили здѣсь значеніе государственнаго оракула. У римскихъ историковъ есть прямые указанія на то, что нѣкоторыя мѣры принимаемы были вновь по совѣту Сивиллы, иначе, по справкѣ съ ея прорицаніями. Такъ, въ 549 году отъ О. Р., по совѣту оракула — *invento carmine in libris Sibyllinis*—перенесено было въ Римъ изъ Пессинунта изображеніе „Идейской матери“ (*mater Idaea*). Мысль, что въ книгахъ Сивиллы изображены были самыя судьбы Рима, впослѣдствіи положительно была высказываема римскими археологами ¹⁾. Мудрено ли, что содержавшіяся въ нихъ прорицанія объ Энеадахъ поняты были также въ приложеніи

¹⁾ Servius: Sibylla Erythraea, quae romana fata conscripsit.

Риму; что на Римъ перенесено было значеніе „новаго мѣна“, обѣщаннаго Энеадамъ, и что родоначальникъ ихъ родоначальникомъ самого римскаго народа? Въ такомъ мѣѣ становится понятно, что сага объ Энеѣ могла получить новое, широкое развитіе между римлянами.

Приводя это объясненіе, Швеглеръ съ своей стороны заветъ, что какъ источникъ римской саги, такъ и путь, римъ она достигла римлянъ, обозначенъ въ немъ очень ясно, но не удовлетворяется имъ сполна. Не надобно забывать, римская сага сама себя поставляетъ въ ближайшее отношеніе къ Лавиніуму; вмѣсто того, чтобъ привести Римъ въ непосредственную связь съ Троею, она предпочитаетъ взяться за некоторые пункты въ Лаціумѣ, и останавливается на немъ съ особенною любовью. Эта отрасль римской саги остается гипотезой Миллера вовсе не объясненною. Поэтому Швеглеръ счелъ нужнымъ предпринять новое изслѣдованіе, чтобъ по возможности отыскать ключъ къ разъясненію одного изъ самыхъ важныхъ пунктовъ римскаго сказанія, который ускользнулъ отъ вниманія прежнихъ толкователей. Каковъ бы былъ результатъ, во всякомъ случаѣ любопытно видѣть усиліе науки осмотрѣть спорный предметъ со всѣхъ сторонъ и побѣдить его во всѣхъ частяхъ своими средствами. послѣдуемъ за нашимъ авторомъ и постараемся передать читателямъ его объясненіе.

Лавиніумъ отдѣляется отъ другихъ латинскихъ городовъ своимъ понятіемъ, которое тѣсно соединено съ нимъ. Лавиніумъ—городъ ларъ и пенатовъ всего латинскаго союза. Какъ мѣждѣвіи въ Римѣ, такъ первоначально въ Лаціумѣ сильно распространено было представленіе о ларахъ. Подъ этимъ именемъ чтимы были души умершихъ предковъ, родоначальниковъ въ особенности, о которыхъ существовало понятіе, получивъ по смерти божескія свойства, они становились имъ геніями-хранителями своего рода и дома. Но представленіе о ларахъ не заключалось все въ этомъ тѣсномъ кругу. Отъ семейства и рода оно переносилось и на всякую гую общину гораздо большаго объема, отъ домашняго очага выходило на цѣлую улицу, на перекрестки и даже на цѣлую гность. По вѣрованіямъ латинцевъ, не только каждый домъ, и каждая улица, каждый кварталъ и каждый городъ имѣлъ своихъ ларъ и оберегался ихъ невидимымъ покровительствомъ. тому, когда образовался союзъ латинскихъ городовъ, онъ же получилъ своихъ ларъ. Учрежденіе Лавиніума было

прямымъ выраженіемъ этой мысли: Лавиніумъ имѣлъ столько же религиозное, сколько и политическое значеніе; это былъ религиозный центръ всего союза, посвященный общимъ ларамъ его ¹⁾. Тамъ, между прочимъ, было мѣсто и римскимъ пенатамъ—вотъ почему въ Лавиніумѣ ежегодно приносились торжественныя жертвы отъ имени римскаго народа; вотъ почему въ томъ же самомъ святилищѣ совершали поклоненіе пенатамъ и Вестѣ римскіе магистраты, всякій разъ, какъ только вступали въ должность, или слагали ее съ себя. Представленіе о пенатахъ такъ срослось съ оградой Лавиніума, что, когда основана была Альба-Лонга, и пенаты были перенесены въ новый городъ, они, по словамъ преданія, на другой же день перебрались въ свое старое жилище; опытъ былъ повторенъ еще разъ, но снова они возвратились туда же. Спустя нѣсколько времени, когда ихъ вздумали было переносить въ Римъ, повторилось то же самое явленіе. Въ самой этимологіи слова есть указаніе на то же происхожденіе. Лавиніумъ — городъ ларъ, *Laḡvīnium* (*laḡva* первоначально было однозначуще съ *lar*). Латинцы имѣли въ немъ такое же общее святилище, какъ греки въ Паніоніумѣ, Дельфахъ и Делосѣ.

Но что жъ общаго между городомъ ларъ и Энеадами? Какая связь между Энеемъ и основаніемъ Лавиніума? Извѣстно, что древніе италійскіе города любили возводить свое начало къ героямъ греческой древности. Благодаря посредству многочисленныхъ колоній, греческія представленія такъ привились къ римскимъ, что этотъ обычай сдѣлался почти всеобщимъ; особенно посчастливилось имъ въ Лаціумѣ: здѣсь каждый городъ причитался въ родство какому-нибудь прославленному герою древней Греціи. Такъ Тускулумъ производилъ себя отъ Телегона, сына Одиссея, Пренесте отъ него же, Анціумъ тоже отъ сына Одиссея и Цирцеи; жители Лаціума гордились происхожденіемъ отъ Діомеда, ардеаты—отъ Ардея, сына Цирцеи, или Данаи, матери Персея, и т. д. Подумаешь, что Одиссей, Діомедъ, Филоктетъ и другіе знаменитые представители героическаго періода, постоянно жили въ Лаціумѣ и совершили въ немъ свои главные подвиги. Отчего было наконецъ и Лавиніуму не имѣть своего героя? Но никакое имя древности не шло къ нему такъ хорошо, какъ имя Энея. Лавиніумъ былъ городъ ларъ по-преимуществу, а главный подвигъ жизни Энея въ томъ и состоялъ, чтобъ спасти отеческихъ пена-

¹⁾ См. Schwegler, 1, p. 317; ср. также *ibid.* p. 431—432.

и перенести ихъ въ новое, безопасное убѣжище. Эней, уцѣлѣвъ на своихъ рукахъ маленькій храмикъ, не есть ли уже всего спаситель пенатовъ и возстановитель ихъ культа, отъ котораго грозило уничтоженіе. Греческая мысль приходилась въ нелѣзю болѣе кстати къ новому учрежденію въ Лаціумѣ. Это и Виргилій славить Энея, что онъ принесть съ собою греческихъ боговъ и установилъ имъ поклоненіе на новой землѣ.

Въ томъ же смыслѣ преданіе могло назвать его и учрежденіемъ самаго имени латинскаго, *populus latinum*, ибо учрежденіе латинскаго союза могло быть только современно основанію Лавиніума, и слѣдовательно Лаціумъ лишь съ этого времени соединяется въ одно политическое цѣлое, которое носитъ одно общее имя.

Прочія подробности саги о подвигахъ Энея въ Лаціумѣ изложены въ ея, по мнѣнію Швеплера, изъ отдаленныхъ мѣстъ воспоминаній о происходившей нѣкогда тамъ борьбѣ между латинцами и этрусками. Нѣкоторые очень достовѣрные источники не оставляютъ почти сомнѣнія, что было время, когда власть этрусковъ простиралась даже на Кампанію. Естественно, что латинское побережье, какъ посредствующая зона между Этруріею и Кампаніею, состояла тогда подъ ихъ властью; но потомъ наступила другая пора, когда, въ слѣдствіе ли возстанія латинцевъ, или натиска горнаго апенинскаго населенія, эта длинная цѣпь этрусскаго завоеванія была разорвана и жители Лаціума успѣли возстановить свою самостоятельность. Воспоминанія объ этихъ событіяхъ довольно ясно сохранились въ преданіи. Сага имѣла свои причины считать ихъ съ пришествіемъ Энея, потому что основаніе Лавиніума по всей вѣроятности совпадало съ изгнаніемъ этрусковъ изъ Лаціума. Рутулы, Турны и Мезенцій безуспѣшною своею борьбою съ Энеемъ указываютъ на одну и ту же катастрофу. Въ самомъ имени Турна не трудно узнать греческую форму имени этрусковъ (*Turris*). Сюда же принадлежатъ тѣ странныя явленія, которыми, по словамъ саги, сопровождалось основаніе Лавиніума: въ лѣсу самъ собою загорѣлся огонь; волкъ принесть въ зубахъ сухого дерева, чтобы держать пламя; прилетѣвшій орелъ началъ раздувать его своими крыльями, между тѣмъ какъ лисица, омочивъ хвостъ водою, старалась погасить огонь; нѣкоторое время эти животные боролись между собою съ переменнымъ успѣхомъ, наконецъ волкъ и орелъ взяли верхъ и прогнали лисицу. Это и говоритъ о символическомъ значеніи этого вымысла:

оно ясно само собою. Истолкованіе смысла тоже не можетъ затруднить много. Огонь—символь поселенія на новомъ мѣстѣ; появленіе волка, съ которымъ соединялось представленіе о Марсѣ, указываетъ на то, что дѣло происходило на спорной почвѣ, которую напередъ надобно еще было утвердить завоеваніемъ; орелъ выражаетъ мысль о побѣдѣ, а прогнанная лисица изображаетъ собою рутуловъ, которымъ нанесено пораженіе. Вытекающій отсюда общій смыслъ состоитъ въ томъ, что новое насажденіе сначала терпѣло нападенія со стороны своихъ сосѣдей, но потомъ, съ помощью боговъ, восторжествовало надъ своими противниками.

Такъ объясняетъ нашъ авторъ ту часть римскаго сказанія объ Энеѣ, которая относится къ Лавиніуму. Нельзя не признаться, что искусно проведенное сближеніе между городомъ ларъ цѣлаго латинскаго союза и знаменитымъ во всей древности спасителемъ пенатовъ достигаетъ у него высокаго вѣроподобія. Надобно притомъ отдать полную справедливость той осмотрительности, съ которою онъ пользуется фактами для своихъ выводовъ. Швеглера нельзя упрекнуть въ легкомысліи или въ произвольномъ искаженіи фактовъ для любимой мысли. Владѣя богатымъ запасомъ филологическихъ и археологическихъ знаній, онъ въ самыхъ отдаленныхъ своихъ соображеніяхъ умѣетъ найти для себя твердую основу. Въ этомъ отношеніи объясненіе его почти совершенно безукоризненно. Жаль только, что оно не разъясняетъ одного пункта: если римское сказаніе объ Энеѣ сложилось ужъ въ самомъ Римѣ, и если зерно его занесено было сюда изъ Кумъ, то какая нужда была ему *потомъ* обращаться къ Лавиніуму? Положимъ, что понятіе Лавиніума, то-есть города ларъ, какъ нельзя лучше соотвѣтствуетъ извѣстному представленію объ Энеѣ; но зачѣмъ было римской сагѣ, получившей основу этого представленія изъ другого источника, уходить въ Лавиніумъ (то-есть вонъ изъ Рима) и долго останавливаться на его происхожденіи? Если же эта часть сказанія образовалась на мѣстѣ, то-есть въ самомъ Лаціумѣ, и отсюда ужъ перешла въ Римъ, то къ чему тогда служить посредство Кумъ? Мы не имѣемъ достаточныхъ причинъ отвергать каждое предположеніе порознь, но не видимъ, какимъ образомъ могутъ быть соглашены эти расходящіеся между собою члены въ одномъ общемъ построеніи? Книга же не разрѣшаетъ нашего недоумѣнія ¹⁾.

¹⁾ При этомъ считаемъ нелишнимъ обратить вниманіе читателей на дру-

Впрочемъ одинъ недосмотръ или одна недомолвка не чтожаетъ достоинства цѣлаго изслѣдованія. Мы нарочно рались передать главныя черты его, чтобъ на этомъ при-ѣ читатели могли ближе видѣть плоды современной исторической критики. Вѣрная своему назначенію бороться съ воначальнымъ матеріаломъ, чтобъ опредѣлить отношеніе къ исторической истинѣ, она, какъ можетъ видѣть вся-, вовсе не думаетъ отдѣлаться отъ него однимъ голослов-мъ отрицаніемъ, но трудится, работаетъ надъ нимъ до-ъ поръ, пока въ томъ или другомъ смыслѣ не разъяснят-всѣ его составныя части, пока она не дастъ себѣ удовле-рительнаго отчета въ самомъ его образованіи. Открыть или-дать вымыселъ подъ формою историческаго сказанія —-ъ первое ея дѣло; второе, и самое важное, это — найти-ые мотивы вымысла въ его современности и осмыслить въ-ъ всѣ подробности, которыя на первый взглядъ могли бы-ваться чисто сказочными. Тогда критика становится вро-ъ съ своимъ матеріаломъ; тогда она побѣждаетъ его. Почти-такомъ отношеніи находится она въ настоящее время къ-росу о пребываніи Энея въ Италіи. Каковы бы ни были-ѣхи ея въ будущемъ, главное ею ужъ сдѣлано, и никому-ѣе не придется въ голову смотрѣть на сагу объ Энеѣ гла-и старыхъ римскихъ историковъ. Кто Впрочемъ желаетъ-ѣтъ, какъ еще и въ наше время, закрывши глаза отъ-та критики, можно по доброй волѣ блуждать въ темнотѣ, стараться возратить жизнь призракамъ, тотъ пусть обра-ся къ творенію гг. Герлаха и Бахофена, которые дока-тъ ему, что въ поэмѣ Виргилія сберегается для потом-а „драгоценный кладъ исторической истины“ ¹⁾.

Между Римомъ и Лавиніумомъ римская сага знаетъ еще-ю посредствующее звено.. Это была Альба-Лонга, основан-и сыномъ Энея, Асканіемъ, изъ которой потомъ вышли и-ые основатели Рима. На пути къ Риму критика также не-кетъ миновать Альба-Лонги.

Существованіе города не есть еще ручательство за

ь изслѣдователей, которые относятъ происхожденіе саги къ Лавиніуму и-ба-Лонгѣ и указываютъ слѣды ея въ тѣхъ мѣстахъ даже въ гораздо позд-мъ времена. См. между прочимъ Nägele Studien, p. 161.

¹⁾ Gesch. der Römer von Gerlach und Bachofen; см. главы: Die Troischeiedlung.

достоверность саги, объясняющей его происхождение существовала какъ Римъ, какъ Лавиніумъ: сомнѣніи были бы совершенно излишними. Еще и по сѣмъ соображеніямъ совершенно всѣ слѣды древнѣйшихъ посѣщеній Альбанской горѣ (Monte Savo). Несправедливо было бы сомнѣваться въ томъ, что было время, когда имѣла предсѣдательствующее мѣсто между городами оной федераціи, и имѣла большое вліяніе на ея внутреннюю политику. Но отъ Альбы такъ же мало ключать къ Асканію, какъ отъ Рима къ Ромулу по справедливому замѣчанію Швеглера, преданіе о мѣстѣ Альбы держится или падаетъ вмѣстѣ съ сагою. Ихъ раздѣлить нельзя: они имѣютъ одинъ корень, растутъ на одномъ возрѣніи. Безъ Энея и Асканія не было бы и итальянской почвѣ. Подорвавши корень, нельзя было спасти идущіе отъ него побѣги.

Нашъ авторъ не сомнѣвается въ римскомъ происхожденіи сказанія о началахъ Альба-Лонги. Желаніе Энеиды альбанскихъ Сильвіевъ, отъ которыхъ до насъ дошелъ родъ свой основатели Рима, произвело мысленное поселеніе сына Энея въ самую Альбу. Такимъ образомъ онъ становится виновникомъ основанія Альбы, и вмѣстѣ съ нимъ родъ Сильвіевъ получалъ недостававшаго ему родоначальника. Но сага сама себя обличаетъ нетвердостью своихъ данныхъ: то она прямо ставитъ Асканія во главѣ рода Сильвіевъ, обходя его, производитъ ихъ отъ Лавиніи. Лавинія, наиболѣе распространенному между римлянами преданію, потерявъ мужа и опасаясь своего пасынка, бѣжала въ лѣсъ и тамъ родила сына, который въ память о своемъ происхожденіи названъ былъ Сильвіемъ; онъ наследовалъ по отцу и далъ свое имя цѣлому роду, который восходитъ отъ него до самаго Энея. По другимъ извѣстіямъ родъ Сильвіевъ имѣлъ два Асканія: одинъ, старѣйшій, рожденъ былъ еще Креузою, а другой, младшій, родился ужъ въ Лавиніи, и Сильвій, родоначальникъ альбанскихъ Сильвіевъ, былъ сынъ этого второго Асканія. Последнее преданіе очевидно, придумана позднѣе, чтобъ помирить между собою двухъ различныхъ отраслей саги и не потерять ни одного знаменитыхъ членовъ родословія; но колебаніе остается того, такъ что, напримѣръ, Ливій съ своей стороны не умѣетъ рѣшить: который изъ двухъ Асканіевъ бы

елемъ Альбы, котораго изъ двухъ надобно считать родоначальникомъ Юліевъ.

Повидимому, за Сильвіевъ сильно говорятъ сохранившіеся списки альбанскихъ царей съ точнымъ обозначеніемъ времени ихъ правленія. Ливій и Діонисій знаютъ ихъ имена и приводятъ ихъ, одного за другимъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ. Съ другой стороны ничто такъ сильно не возбуждаетъ подозрѣнія, какъ эти непрерывные ряды именъ, будто бы сохранившіеся отъ глубокой древности, хотя за нихъ и нѣтъ другой поруки, кромѣ голоса позднѣйшихъ писателей. Хорошо было Манеону составлять свои историческіе списки за цѣлыя тысячелѣтія, когда у него передъ глазами были неизблемыя монументальныя надписи. Подобныя указанія могъ имѣть въ виду и Берозъ, когда дѣлалъ свое исчисленіе древне-вавилонскихъ династій. Но съ какихъ памятниковъ списывали римляне свои списки альбанскихъ царей? Греческая письменность была нѣсколькими столѣтіями старше римской; однако и греки не въ состояніи были провести свои роды въ непрерывномъ порядкѣ до временъ троянскаго завоеванія. Какимъ же образомъ римляне, которые весьма поздно начали заниматься и своею собственною исторіею, могли узнать полную генеалогію сосѣдственнаго государства и невредимо сохранить ее черезъ цѣлые вѣка посредствомъ изустнаго преданія? Неужели имена и цифры такъ легко и долго удерживаются въ народной памяти? По крайней мѣрѣ нельзя допустить подобной мысли безъ строгой критической повѣрки.

И имена и цифры въ спискѣ альбанскихъ царей равно оказываются несостоятельными передъ критикой. Такія имена, какъ Сильвій, Эней Сильвій, Латинъ Сильвій, Альба Сильвій, Анхизъ Сильвій, или Авентинъ и Тиберинъ, сами достаточно указываютъ на свое происхожденіе; надъ ними не задумывается только тотъ, кто заранѣе убѣдилъ себя въ истинности всякаго звука, дошедшаго до насъ отъ древности. Каписъ — имя дѣда Энеева; Кальпетъ (Calpetus) и Атисъ принадлежатъ греческой мифологіи. Сильвія — переводъ слова „идейская“, *idaea*: въ Реѣ Сильвіи нельзя не узнать „идейскую мать“. Какой вѣры заслуживаетъ сборъ именъ подобной фабрикаціи? И не правъ ли критикъ, считающій его за плохое изобрѣтеніе, на которомъ не видно даже руки искуснаго художника ¹⁾?

¹⁾ Schwegler, p. 343: Diese Liste ist nicht blos schriftstellerische Erfindung, sondern auch sehr junge und ungeschickte Erfindung, das nüchterne Machwerk eines plumpen Betrügers.

...гораздо искуснѣе, но не такъ, чтобымоя... Возьмемъ сначала самыя видныя: три г... вѣдъ въ Лавиніумѣ, черезъ тридцать лѣтъ по... Лавиніума основана Альба-Лонга, черезъ три... Альба-Лонги полагается начало Риму. Странно, что историческія явленія могутъ совершаться... прогрессіи! Между тѣмъ многія положите... согласны въ томъ, что въ древнѣйшей св... не знала другого счисленія въ предѣлахъ дан... Но вотъ еще странность: сложивъ число всѣхъ... царствованій, какъ они показаны у Діонисія, ... новую цыфру для означенія разстоянія между Римъ и Лавиніумомъ, то-есть 432 года вмѣсто 333. Откуда та... разниа? Дѣло въ томъ, что сначала считали... общую хронологію и очень мало заботясь о... когда познакомились съ греческимъ лѣтосчисленіемъ, ... что трехъ вѣковъ недостаточно, чтобы наполнить пр... времени между паденіемъ Трои (крайній предѣлъ въ хронологіи Энеадовъ) и основаніемъ Рима, и должны были, ... сумму лѣтъ, распредѣлить ее вновь между отдѣльными царствованіями. Четыреста тридцать два есть именно ч... лѣтъ между двумя крайними предѣлами даннаго времени (принимая годъ паденія Трои по Эратосѣенову счисленію). вѣрности этого счета нѣтъ никакого сомнѣнія; но онъ и надлежитъ не преданію, а Катону, который поправилъ и прежнее число, основанное лишь на прогрессіи. За Катона послѣдовали другіе, въ томъ числѣ Діонисій, и новое счисленіе мало-по-малу утвердилось на мѣсто прежняго. Спрашивается: какую же цѣну могутъ имѣть отдѣльныя цыфры, которыми означаются у историка годы каждого царствованія, когда они, очевидно, распредѣлены такъ, что въ сложныя должны составлять заранѣе установленную сумму—ни больше, ни меньше? Или, отказавшись отъ Катонova счета, и основаннаго на греческой хронологіи, должно скорѣе держаться мионическаго туземнаго счисленія? Но тогда не видно, чему же можетъ служить въ исторіи критика...

Уже Нибуръ видѣлъ подлогъ въ спискѣ альбанскихъ рей, и считалъ его дѣломъ руки Александра Полигиста. Нашъ авторъ находитъ эту догадку слишкомъ смѣлою, принимая въ соображеніе греческія имена списка, соглашаясь тѣмъ, что произведеніе было не римской, а скорѣе гр...

ей работы. Поддѣлка такъ груба, что виновникъ ея даетъ бы замѣтить, если не именемъ, то своею національностью.

Не такъ рѣшительно можно опредѣлить другое прибавленіе къ сагѣ, которое говоритъ о 30 латинскихъ колоніяхъ пѣбы. Извѣстіе о нихъ довольно согласно повторяется у Ливія и у Діонисія. Такъ какъ мнѣніе Нибура о существованіи альбанскихъ колоній; особо отъ 30 городовъ латинскаго племени, не удержалось въ наукѣ, то, принимая на вѣру извѣстія римскихъ историковъ, оставалось бы заключить, что отъ Альба-Лонги вели свое происхожденіе всѣ города, входившіе въ составъ латинской федераціи. Ливій и Діонисій предполагаютъ эту самую мысль, когда выставляютъ права Рима на лаціумъ, на томъ основаніи, что, покоривъ Альбу своему племени, римляне вмѣстѣ съ тѣмъ овладѣли метрополіею всѣхъ латинскихъ городовъ. Несмотря на всю положительность извѣстій, дѣло однако представляется довольно сомнительнымъ. Спервыхъ (замѣчаетъ Шлегель), какъ можно представить, объ цѣлый латинскій народъ возникъ посредствомъ колоніаціи страны изъ одного города, или, что то же самое, чтобы всѣ латинскіе города были основаны одною Альбою? По крайнему мѣрѣ это было бы такое явленіе въ исторіи, которому мы не найдемъ другое подобное. Да и самое преданіе на этотъ разъ идетъ врознь съ извѣстіемъ историковъ. Мы уже знаемъ, что большая часть латинскихъ городовъ производились отъ героевъ греческой древности; другіе считали своими основателями сикуловъ, нѣкоторые — своихъ домашнихъ германцевъ ¹⁾. Лаурентумъ и Лавиніумъ, по обыкновенному преданію, были древнѣе Альба-Лонги. Въ союзѣ съ Турномъ противъ троянскихъ выходцевъ у Виргилія принимаютъ участіе и нѣкоторые другіе латинскіе города: если бы ученый историкъ «Энеиды» думалъ, что они впервые основаны Альбою, вѣрно онъ не сталъ бы приводить ихъ прежде времени ея строенія. Вообще, если бы латинскіе города были связаны Альбою такими кровными узами, память общаго происхожденія не могла бы изгладиться въ нихъ, и имъ не зачѣмъ было бы приписывать себѣ чужеземныхъ основателей вмѣсто ближайшей метрополіи. Итакъ сама древность сильно говоритъ противъ свидѣтельства римскихъ историковъ. Что Альба выдала отъ себя колоніи, и что нѣкоторые изъ нихъ потомъ

¹⁾ Этотъ аргументъ имѣетъ силу даже въ глазахъ Герлаха и Бахофена. *Gesch. d. Römer.*

возросли до того, что сдѣлались самостоятельными членами союза, это кажется очень вѣроятнымъ и подтверждается многими указаніями; но чтобъ такъ образовались всѣ города латинской федераціи, можно допустить, лишь принявъ буквально слова позднѣйшихъ историковъ и закрывъ глаза для прочихъ свѣдѣтельствъ древности.

Швеглеръ не договариваетъ, но по всему видно, что понятіе объ Альбѣ, какъ матери латинскихъ городовъ, образовалось въ связи съ цѣлымъ преданіемъ о дѣятельности Энеадовъ въ Лаціумѣ, вытекаая изъ прочихъ данныхъ какъ необходимое слѣдствіе. Сага имѣетъ также свою логику. Господствующее въ ней воззрѣніе, очевидно, состоитъ въ томъ, что Лаціумъ обязанъ преимущественно Энеадамъ успѣхами своей гражданственности. Если по той или другой причинѣ сага рѣшила для себя, что послѣ Лавиніума Альба была важнѣйшимъ учрежденіемъ Энеадовъ въ Лаціумѣ, и если даже она нашла нужнымъ перенести сюда самую резиденцію ихъ рода, то остальные города не иначе могли занять мѣсто въ этой системѣ, какъ заимствуя свое начало отъ Альбы, то-есть отъ центрального учрежденія. Надобно было или показать отношеніе каждаго изъ нихъ порознь къ Энеадамъ, или произвести ихъ всѣ однимъ разомъ отъ Альбы, какъ ея колоніи. Последнее было и проще и легче. Дѣло обходилось безъ личнаго участія Энея или кого-нибудь изъ его рода, а между тѣмъ черезъ Альбу возводилось къ Энеадамъ начало всѣхъ латинскихъ учрежденій. Если къ этому прибавить еще, что передъ возвышеніемъ Рима Альба дѣйствительно стояла во главѣ латинскаго союза, то читателю разъяснится и самый поводъ загадочнаго извѣстія.

Стоить только исторіи полюбить ту или другую почву, сага непремѣнно усьетъ ее своими замысловатыми сказаніями. Не всегда можно сказать, откуда они берутся; но вѣрно то, что ихъ можно найти на всякой исторической мѣстности. Римская почва—та, на которой построенъ самый городъ Римъ—есть по-преимуществу историческая; рѣдко гдѣ исторія утверждалась такъ прочно, какъ на ней; нигдѣ не видана она столько великихъ переворотовъ, какъ на семи холмахъ, служащихъ подножіемъ вѣчному городу; тутъ нѣтъ камня, который бы не говорилъ о ней, нѣтъ горсти земли, по которой бы не прошли слѣды ея. За то какъ любить и сага римскую

ву! Какъ она разрослась на ней и охватила ее своими вѣтвями! Чтобъ добраться здѣсь до настоящаго историческаго герника, надобно напередъ расчистить наростъ въ нѣсколько лѣтъ, лежащихъ одинъ на другомъ. Преданіемъ о Ромулѣ заключаются рядъ сказаній о первоначальныхъ заселеніяхъ римскихъ холмовъ: сага знаетъ множество другихъ потоковъ основаться на нихъ, которыя восходятъ еще ранѣе. слушать ея разсказовъ, такъ уже въ незапамятное время шли сюда сикулы и основали городъ Римъ; потомъ она знаетъ, что сикулы были выгнаны аборигенами, которые заняли ихъ мѣста и утвердились особенно на Палатинскомъ гнѣ; затѣмъ начинаются, одно за другимъ, греческія поселенія: первый приходитъ аркадянинъ Эвандръ и основываетъ ионію на Палатинѣ; черезъ нѣсколько времени послѣ того называется, вслѣдъ за Геркулесомъ, новая толпа греческихъ переселенцевъ и селится на Сатурновомъ холмѣ; кромѣ того Яникулъ былъ еще особый городъ, по имени Антиполисъ, еще древнѣйшаго и, какъ видно по имени, греческаго же происхожденія. Итакъ римскіе археологи (Діонисій, Варронъ, Фронтинъ), считающіе три послѣдовательныя заселенія Рима, ошибаются въ своемъ счетѣ: сага знаетъ ихъ гораздо болѣе.

Нужно ли еще много останавливаться на этихъ сказаніяхъ, чтобъ опредѣлить степень ихъ достовѣрности? Но они довольно уже говорятъ сами за себя. Сикулы и аборигены возвращаютъ насъ къ тѣмъ временамъ, гдѣ всего болѣе чувствуется недостатокъ твердой исторической основы. Преданіе объ эвандровой колоніи страдаетъ почти тѣмъ же недостаткомъ: словамъ Діонисія, основатель ея присталъ къ берегамъ лаціума болѣе, чѣмъ за полвѣка до троянской войны; поэтому Эвандръ опередилъ даже Энея. Предположеніе покажется еще вѣроятнѣе, когда вспомнимъ, что Аркадія постоянно была рѣзана отъ моря, слѣдовательно болѣе другихъ греческихъ странъ удалена отъ прямого сообщенія съ Италіею. Еще менѣе нуждается въ критикѣ послѣднее сказаніе, которое связано съ именемъ Геркулеса: оно измѣняетъ себя всѣмъ своимъ составомъ. Довольно припомнить главныя черты его. Противъ стада Геріона, Геркулесъ держалъ съ ними обратный путь изъ Гесперіи черезъ Лаціумъ; дорога привела его къ Альбу: тутъ онъ пустилъ стада пастись по лугу, а самъ заулъ, утомленный долгимъ странствованіемъ. Страшилище въ мѣстѣ, Какусъ, скрывавшійся въ ущельѣ Авентинской горы, замѣтилъ эту оплошность и воспользовался ею: онъ

тотчасъ спустился въ долину, захватилъ нѣсколько штукъ скота, и чтобъ лучше скрыть свое воровство, отвелъ ихъ за хвостъ въ свое жилище. Обманъ сначала удался ему: пробудившійся Геркулесъ напрасно старался открыть похитителя, и потерявъ всякую надежду возвратить похищенное, уже повелъ было свое убылое стадо далѣе; но какъ только оно снялось съ мѣста и огласило всю долину ревомъ своимъ, нескромная добыча Какуса также подала на него свой голосъ. Обманъ открылся, и Геркулесъ въ гнѣвѣ устремился прямо на похитителя. Напрасно Какусъ думалъ укрѣдиться отъ его ярости въ глубинѣ своего недоступнаго убѣжища, заваливъ входъ въ него огромнымъ камнемъ: могучею своею рукою Геркулесъ разрушилъ всѣ преграды, и несмотря на дымъ и пламя, которые извергало изъ себя чудовище, добрался до него и положилъ его на мѣстѣ своею дубиной. Когда все дѣло было кончено, побѣдитель Какуса, въ благодарность за счастливое открытіе, поставилъ алтарь Юпитеру Обрѣтателю (Jupiter Inventor), а Эвандръ съ аборигенами, которые тогда уже занимали Палатинъ, почтили его самого за подвигъ божескими почестями. Такъ рассказываютъ Діонисій и за нимъ нѣкоторые другіе память дѣлъ Геркулеса на римской землѣ. Нужно ли объяснять читателю, что онъ находится въ области чистаго вымысла?

Понятно, что, приводя эти сказанія одно за другимъ, Швеглеръ немного хлопочетъ о ихъ критикѣ. Заслуга его состоитъ не въ томъ. Не сомнѣваясь въ баснословномъ характерѣ преданія, онъ однако упорно доискивается его смысла, и остроумно сближаетъ сагу съ нѣкоторыми учрежденіями, дѣйствительно принадлежавшими римской древности. Въ этомъ сближеніи такъ много новаго и оригинальнаго, что мы считаемъ не бесполезнымъ познакомить съ нимъ русскаго читателя. Въ особенности занимаетъ нашего критика загадочное появленіе на самой зарѣ римской исторіи этихъ двухъ лицъ, или скорѣе именъ—Эвандра и Геркулеса. Одно общее вліяніе греческихъ представленій на римлянъ, на римскихъ историковъ въ особенности, еще не даетъ удовлетворительнаго отвѣта. Не принимая много на себя, Швеглеръ однако полагаетъ, что, вникнувъ въ дѣло, можно отвѣчать на вопросъ прямо и ближе, по крайней мѣрѣ съ нѣкоторою вѣроятностью ¹⁾. Откуда взялся здѣсь, во-первыхъ, аркадянинъ Эвандръ?

¹⁾ См. Röm. Gesch. 1, p. 365.

се приводится къ тому, что сага вмѣняетъ Эвандру въ главную заслугу — это учрежденіе имъ культа ликейскаго Пана, которому онъ посвятилъ гротъ Луперкаль у самой подошвы алатина, откуда произошли римскія Луперкаліи. Римляне идѣли въ своемъ Фавнѣ греческаго Пана, а родиной Пана главнымъ убѣжищемъ его культа была Аркадія. Замѣтивъ родство между Луперкаліями и аркадскимъ служеніемъ ливійскому Пану, римляне, по своей привычкѣ объяснять все ищее между своимъ и чужимъ посредствомъ заимствованія, риняли эту связь за производную и возвели свой народный раздникъ, по воображаемому началу его, къ аркадскому источнику. Дѣло, разумѣется, не могло обойтись безъ посредства какого-нибудь аркадянина. Такъ какъ Луперкаль находился близъ Палатина, то не могло быть болѣе приличнаго мѣста и для самой колоніи. Есть основаніе даже и тому, что ютъ аркадянинъ назывался Эвандромъ. Имя его есть не что иное, какъ имя латинскаго Фавна, только въ греческомъ переводѣ: благосклонное или доброе божество; богиня Фавна же положительно называлась Вона Деа. Это обстоятельство имѣетъ замѣчательнѣе, что Панъ на своей родинѣ именно слылъ одъ именемъ „добраго божества“ (ἀγαθὸς θεός). Итакъ, по преданію, Эвандръ-Фавнъ самъ же становится основателемъ своего культа въ латинской землѣ. Если же сага сверхъ того приписываетъ ему введеніе письменъ, то конечно съ ою цѣлью, чтобы указать на греческое ихъ происхожденіе. Другія преданія, производящія начало римской письменности отъ Геркулеса, то отъ пеласговъ, безъ сомнѣнія, имѣютъ въ виду ту же самую мысль.

Любопытнѣе всего изслѣдованіе, предпринятое нашимъ вторымъ, по поводу сказанія о Геркулесѣ, чтобы объяснить самое происхожденіе его культа на римской землѣ. Древніе не сомнѣвались въ томъ, что римляне заимствовали его отъ грековъ. Ливій прямо приписываетъ это дѣло Ромулу; Варронъ не менѣе положительно утверждаетъ, что обычай совершать жертвы Геркулесу съ непокровенною главою есть греческій. Несмотря на то, авторъ «Римской исторіи» беретъ на себя смѣлость утверждать, что основа вѣрованія была чисто туземная, а что греческая примѣсь привилась къ нему лишь впоследствии. Это утвержденіе тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, то имѣетъ твердую опору себѣ и въ предшествующихъ филологическихъ изслѣдованіяхъ.

Словоря во второй нашей статьѣ о древнѣйшихъ вѣрова-

нѣхъ римлянъ, мы имѣли случай упоминать объ одномъ божествѣ сабинцевъ, которое чтимо было подъ именемъ Семо-Санка и занимало самую вершину сабинскаго Олимпа ¹⁾. Тамъ ужъ указано было на отношеніе его къ греческому Геркулесу. Здѣсь мѣсто полнѣе раскрыть мысль изслѣдователя. По его мнѣнію, римскій культъ Геркулеса имѣетъ свой корень въ поклоненіи сабинскому Семо-Санку. Тождество между ними замѣчено было еще нѣкоторыми римскими археологами; но, къ сожалѣнію, не сохранилось никакого извѣстія о томъ, что могло послужить поводомъ къ подобному воззрѣнію, или на чемъ оно утверждалось въ ихъ мысли. Чтобъ объяснить эту загадку, изслѣдователю нашего времени не остается ничего болѣе, какъ обратиться къ самому понятію и стараться возстановить его утраченное значеніе. Существующія же данныя почти не позволяютъ сомнѣваться, что сабинскій Юпитеръ, то-есть Семо-Санкъ, занималъ важное мѣсто въ религіозномъ сознаніи народа особенно по своему отношенію къ темнымъ силамъ, имъ постоянно побораемымъ. Семо-Санкъ есть то свѣтлое и благотѣльное божество, которое хранитъ собственность, преслѣдуетъ неправду, гонитъ насиліе, подаетъ помощь утѣшенному. Не то ли же самое понятіе входитъ въ основу представленія, которое соединяется съ именемъ Геркулеса? Отсюда первая возможность сліянія двухъ представленій. Но римскій Геркулесъ имѣетъ сверхъ того свои особенныя черты, которыхъ вовсе не замѣчается у греческаго: онъ не только побѣдитель насилія, но и богъ клятвы, которая имъ особенно выжета. Римляне клялись именемъ Геркулеса; его призывали подъ именемъ Fidius во свидѣтели непреложности своихъ обѣщаній; при алтарѣ, ему посвященномъ, произносились, по свидѣтельству Діонисія, самые торжественные обѣты. Если бъ культъ Геркулеса перенесенъ былъ прямо изъ Греціи откуда взялась бы въ немъ эта бросающаяся въ глаза особенность? Дѣло объясняется гораздо проще, когда собираются всѣ черты, нераздѣльныя съ древнимъ сабинскимъ представленіемъ. Подобно римскому Юпитеру, Семо-Санкъ есть также богъ вѣрности и клятвы; его имя также призывалось клянущимися; въ его храмѣ сберегались договорныя грамоты въ знакъ ихъ ненарушимости; наконецъ онъ также называется Fidius. Если эти черты ясно сквозятъ даже черезъ греческую оболочку римскаго Геркулеса, то конечно потому, что онѣ основныя и при-

¹⁾ См. стр. 163.

лежали ему прежде, чѣмъ привилось къ нимъ чужое предвѣщеніе. Семо-Санкъ проглядываетъ изъ-за Геркулеса, по-
тому что самъ онъ первоначальнѣе, и черты его неизмѣннѣе;
чуждый же образъ есть только позднѣйшій покровъ для него.

Это открытіе даетъ ключъ и къ объясненію римской саги
'еркулесъ. Нельзя было лучше напасть на слѣды ея, какъ
изавъ подлинное происхожденіе самаго культа. Однородныя
идеи такъ легко смѣшиваются между собою. Но между
идеями римской древности изслѣдователь находитъ еще бли-
жайшій поводъ къ образованію саги, отчего самый процессъ
ея выигрываетъ въ наглядности. Между особенностями
итальянскаго служенія Геркулесу, замѣчаетъ онъ, былъ обычай
платить у подножія его жертвенника (Ага Махіма) десятую
часть добычи послѣ побѣды, вообще десятину отъ всякаго при-
быльнаго предпріятія. Греческое представленіе о Геркулесѣ не
могло имѣть никакой части въ подобномъ обыкновеніи; итакъ
оно могло возникнуть развѣ только изъ идеи сабинскаго бо-
жества. Въ самомъ дѣлѣ, ни къ кому такъ хорошо не шли
званія выше приношенія, какъ къ Семо-Санку, потому
что ему обыкновенно приписывается одолѣніе враговъ, возвра-
щеніе похищенной собственности и вообще всякое умноженіе
богосостоянія. Есть даже нѣкоторые признаки несомнѣннаго
божества, приводящіе къ весьма вѣрному заключенію, что въ
немъ качества оберегателя и споспѣшествователя собственности
Семо-Санкъ носилъ особое прозваніе—*Neptulus* ¹⁾. Такимъ об-
разомъ сабинское представленіе близко соприкасалось съ гре-
ческимъ даже внѣшнимъ своимъ означеніемъ. Ихъ раздѣляла
только одна черта. Превращеніе одного въ другое, смѣшеніе ихъ
идей собою ничего не стоило, какъ скоро греческія понятія
считались были въ ходъ между римлянами. Но если ужъ Гер-
кулесъ разъ представился ихъ мысли въ звукахъ своего имени,
надобно было объяснить его появленіе. Ясно, что дѣло само
бою переносилось въ вѣдомство саги. Такого обыкновеннаго
божества этіологическаго міра, что, начавъ съ даннаго, онъ
дѣлаетъ дѣла по немъ свои заключенія и о дѣйствующей
причинѣ. Если отъ незапамятной древности сохранился культъ

¹⁾ Этотъ выводъ принадлежитъ собственно Моммсену и сдѣланъ имъ въ
его изслѣдованіи «Объ южно-италійскихъ діалектахъ». Онъ доказываетъ, что у
итальянъ Геркулесъ назывался не *Neptules*, а *Neptulus* или *Neptulus*, и припи-
сываетъ этому имени чисто италійское происхожденіе. Нашему автору при-
надлежитъ указаніе тѣснѣйшей связи между италійскимъ Геркуломъ и сабини-
нскимъ Семо-Санкомъ. См. *Röm. Gesch.* 1, p. 368, п. 23.

Геркулеса, то почему было не заключить, что нѣкогда онъ самъ лично присутствовалъ въ Римѣ? Выводъ былъ тѣмъ легче, что греческая сага своими рассказами о многообразныхъ странствованіяхъ Геркулеса давала ему вдругъ нѣсколько точекъ опоры; или по крайней мѣрѣ надобно было, чтобъ основателемъ *греческаго* служенія, какимъ казался культъ Геркулеса, былъ какой-нибудь выходецъ изъ Греціи. Колебаніе между этими двумя выводами замѣтно въ различныхъ отрасляхъ саги. То она рассказываетъ, что Геркулесъ самъ поставилъ свой жертвенникъ, и былъ первымъ наставникомъ Потитіевъ въ дѣлѣ служенія; то она возлагаетъ то же самое дѣло на Эвандра, представителя древнѣйшей гелленизаціи въ Римѣ. Но какой бы поводъ могъ имѣть Эвандръ, чтобъ отдать такое предпочтеніе Геркулесу предъ другими богами своей родины? Отвѣтомъ на это служить одинъ изъ благодѣтельныхъ подвиговъ Геркулеса, перенесенный прямо на римскую почву. Если греческому герою удалось побывать на океанѣ (собственно на о. Эритрей, гдѣ онъ, по греческому сказанію, захватилъ стада Геріона), то отсюда не трудно ужъ было ему попасть и въ Италію; но въ такомъ случаѣ за нимъ должны послѣдовать сюда и добытыя имъ стада. Соединяясь далѣе съ преданіемъ объ Эвандрѣ, мифъ усложняется еще болѣе.

Эпизодъ о борьбѣ римскаго Геркулеса съ Какусомъ, хотя и не находится въ противорѣчій съ греческимъ представленіемъ, впрочемъ не вытекаетъ изъ него непосредственно. Онъ также объясняется удовлетворительно лишь въ связи съ происхожденіемъ цѣлаго мифа. Если римскій Геркулесъ первоначально выросъ на туземной почвѣ, то и противникъ его долженъ быть такого же происхожденія. Какъ богъ неба, Семо-Санъ самымъ понятіемъ своимъ предполагаетъ ужъ начало противоположное ему, или враждебное ему хтоническое божество. Идея побѣды, одолѣнія, которая соединяется съ представленіемъ о немъ же, еще больше внушаетъ мысль о побѣжденномъ противникѣ. Остается посмотрѣть: не сохранилось ли въ преданіи какихъ слѣдовъ существованія самаго факта. Они есть, хотя и не очень яркіе. Вулканъ называется отцомъ Какуса, говорится также о его сестрѣ, наконецъ упоминается объ Атріумѣ, посвященномъ ему (*Atrium Saei*). Отсюда видно, что онъ занималъ свое особенное мѣсто въ ряду мифологическихъ представленій, и даже былъ нѣкогда предметомъ поклоненія. На хтоническую его натуру есть много указаній въ самомъ мифѣ. Живетъ онъ въ пещерѣ, которая въ этомъ слу-

иъ, какъ и во многихъ другихъ, служить символомъ подземнаго міра. Онъ изрыгаетъ изъ себя пламя, что рассказывалось о другихъ чудовищахъ, живущихъ въ тартарѣ или оберегающихъ его. Хитрость и воровство, которыя ему приписываются, также есть постоянное свойство хтоническихъ существъ. Извѣстно, что Какусъ, желая обмануть Геркулеса, употребляетъ тѣ же самыя приемы, какіе греческое сказаніе приписываетъ Гермесу въ подобномъ же случаѣ. Соображая всѣхъ обстоятельства, нашъ авторъ, согласно съ нѣкоторыми другими изслѣдователями, видитъ въ противникѣ Геркулеса существо, родственное по своей природѣ Фавну и слѣдовательно Эвандру ¹⁾. Оттого и самое преданіе не довольно точно различаетъ ихъ между собою. По самому употребительному преданію, Авентинъ служилъ убѣжищемъ Какусу; но другія, хотя мѣже отрывочныя, извѣстія и частью самыя памятники заставляютъ искать его на Палатинѣ, гдѣ, какъ извѣстно, помѣстился Эвандръ съ своею колоніею. Первый видъ преданія, во всей вѣроятности, есть позднѣйшій по времени: онъ составился не прежде, какъ когда ужъ первоначальное предствленіе этого утратило своей ясности, и сага видѣла въ противникѣ Геркулеса лишь простаго разбойника, который своимъ беспоряднымъ грабительствомъ наводилъ ужасъ на окрестныхъ жителей. Давая свой толкъ потерявшему прежній смыслъ сказанію, она думала узнать въ Какусѣ „злого человѣка“ въ противоположность „доброму“, каковымъ казался ей Эвандръ въ силу этимологическаго толкованія. Можетъ-быть эта придуманная даже противоположность ихъ и была причиною, что, такъ какъ одинъ жилъ на Палатинѣ, то другому не находилось мѣже приличнаго мѣста, какъ на Авентинѣ, потому что, по римскимъ же понятіямъ, Палатинъ и Авентинъ никогда не свуютъ въ мирѣ между собою.

Прибавимъ отъ себя нѣкоторыя общія соображенія. Идея Геркулеса вовсе не была исключительною собственностью греческаго духа; она имѣла слишкомъ общее значеніе, чтобъ могла заключиться въ предѣлахъ одной національности. Не дромъ любознательные греки, заходя далеко въ своихъ странствованіяхъ, вездѣ почти встрѣчали своего національнаго героя, или думали узнать его въ чертахъ, повидимому, совершенно чуждыхъ имъ образовъ. Идея была скорѣе историческая, нежели мифологическая, въ томъ смыслѣ, что выражала

¹⁾ См. стр. 162.

собою извѣстную степень историческаго сознанія. Прежде, чѣмъ гелленизмъ усвоилъ ее себѣ, она ужъ довольно ясно представлялась сознанію многихъ другихъ народовъ древности. Но это раннее ея появленіе имѣетъ однако свои предѣлы. Чѣмъ глубже уходимъ въ древность, тѣмъ больше стираются передъ нами индивидуальныя черты этого представленія, и наконецъ идея почти вовсе теряется въ безразличномъ смѣшеніи съ другими образами—ясный знакъ, что она соотвѣтствовала лишь извѣстной степени культуры и не могла явиться прежде на свѣтъ. Финикіане были едва ли не первый народъ, у котораго идея достигла той степени зрѣлости, что могла принять опредѣленную форму. По крайней мѣрѣ самое родственное представленіе греческому Геркулесу, или точнѣе, Гераклу, есть финикійскій Мелькартъ: въ чертахъ ихъ много общаго, и оттого они такъ легко были смѣшиваемы между собою. Отсюда впрочемъ не слѣдуетъ заключать, чтобъ Мелькартъ былъ истинный первообразъ Геракла: несмотря на то, что финикійскій элементъ привился къ нему еще въ глубокой древности, его не трудно отдѣлать посредствомъ критическаго анализа, безъ всякаго вреда для цѣлости греческаго мифа ¹⁾). Каждое представленіе могло возникнуть само по себѣ, независимо отъ другого. Если ужъ идея была въ мѣру финикійской мысли, то тѣмъ менѣе могла она ускользнуть отъ многосторонняго гелленскаго образованія. Понятно, что Финикія была для него готовая земля: здѣсь трудъ, вообще полезная человѣческая дѣятельность, торжествующая надъ препятствіями, впервые возвысилась до равнаго значенія съ подвигомъ, и нашла себѣ признаніе въ идеальномъ мірѣ. Та же самая мысль лежитъ въ основѣ греческаго представленія; но въ гелленизмѣ идея просвѣтилась еще болѣе и въ выразительной греческой пластикѣ нашла себѣ и окончательную форму. Потому греческая форма Геркулеса, какъ самая художественная, такъ легко закрывала собою однородныя представленія у другихъ народовъ. Но это вовсе не доказательство, чтобъ они не существовали до нея. Какъ по времени, такъ и по степени развитія, римляне болѣе, чѣмъ всѣ другіе народы древности, имѣютъ право стать въ параллель съ греками. Превосходство греческой формы, въ послѣдствіи взявшей рѣшительный перевѣсъ даже и въ римскомъ мірѣ, не исключаетъ еще возможности оригинальныхъ, то-есть не заимствованныхъ началъ для

¹⁾ См. O. Müller, Die Dorier, 1, p. 453.

римскаго образованія. Глубже всего лежали они, безъ сомнѣнія, въ религіозномъ сознаніи римлянъ. Задача исторической критики въ томъ и состоитъ, чтобъ по возможности распознать эти самобытныя начала въ исторіи каждаго народа и отличить ихъ отъ позднѣйшей чуждой примѣси. Такимъ образомъ возстановляется первоначальная подлинная фizioномія каждой народности. Миѣ Геркулеса—одно изъ такихъ явленій въ начальной римской исторіи. Мы намѣренно остановились на немъ съ особеннымъ вниманіемъ, чтобъ, слѣдуя за нашимъ авторомъ, на этомъ примѣрѣ нагляднѣе показать читателю успѣхи новой исторической критики и ближе познакомить его съ ея приѣмами.

Нѣтъ нужды, что критическій процессъ очень медлителенъ: былъ бы только онъ твердъ и давалъ бы вѣрные результаты. Предшествующее изслѣдованіе, которое мы старались въ главныхъ чертахъ передать нашимъ читателямъ, кажется, не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что древнѣйшая исторія Италіи до самаго основанія Рима имѣетъ миѣическій характеръ. Мы видѣли далѣе, что извѣстія о древнѣйшихъ заселеніяхъ Рима также принадлежать къ области саги. Что удивительнаго поэтому, если къ ней же отходить и самая исторія ромуловскаго основанія того же города? Или что удивительнаго, если сага, присвоивъ себѣ доисторическое время Италіи, переноситъ потомъ свой вымыселъ и на смежную эпоху римскихъ царей? По мысли самаго преданія, созданіе Ромула должно быть гораздо ближе къ чисто историческимъ временамъ, чѣмъ тѣ баснословныя поселенія, о которыхъ память привязана къ именамъ Эвандра и Геркулеса; но не видно, почему бы назвать Ромула значило провести рѣзкую грань между миѣическимъ и собственно историческимъ періодомъ времени. По крайней мѣрѣ миѣическія черты столько же ясны на Ромулѣ, какъ и на его предшественникахъ.

Но насъ встрѣчаетъ противорѣчіе. Защитники преданія, чувствуя себя довольно слабыми на пеласгической и латинской почвѣ, сплосъ поросшей сагою, желали бы по крайней мѣрѣ отстоять сполна римскую. Они, пожалуй, согласятся

уступить Эвандра и другихъ грековъ, лишь бы только имъ спасти Ромула и Рема. Защитѣ ихъ историческаго характера, равно какъ и цѣлаго періода римскихъ царей, Герлахъ посвятилъ даже особое изслѣдованіе ¹⁾).

„Историческое (?) основаніе Рима“ (говоритъ онъ) „падаетъ на такое время и совершается при такихъ обстоятельствахъ, которыя дѣлаютъ невозможнымъ предположеніе, что будто сага совершенно затмила первоначальное преданіе. Этимъ нисколько не исключается вліяніе древнихъ сагъ на представленіи о первыхъ началахъ римской исторіи; но дѣло въ томъ, что оно не простирается далѣе извѣстныхъ предѣловъ, и что, часто уклоняясь въ сторону и мѣшая божеское съ человѣческимъ, сага впрочемъ не творитъ вновь, на мѣсто понятій, небывалыхъ лица. Народъ, который ужъ пережилъ дѣтство своего государственнаго развитія и проникнулся высшими началами образованія, при высокомъ настроеніи духа и живомъ національномъ чувствѣ можетъ конечно прославлять дѣла своихъ отцовъ въ пѣснѣхъ и сагахъ; но историческая почва всегда останется у него подъ ногами. То была пора буйныхъ движеній, когда надъ всѣми господствовала и властвовала грубая и дикая сила. Страшно бушевали тогда страсти въ груди человѣка, и лишь храбрость и отвага въ бою рѣшали побѣду. Скучая бездѣйствіемъ и полные жажды подвиговъ, эти герои (?) любили смѣлыя предпріятія, и въ борьбѣ съ опасностями, въ буряхъ и тревогахъ жизни находили сознаніе своей силы. Но какъ всякая сила возбуждаетъ противодѣйствіе, и какъ вообще жизнь народовъ складывается изъ непрерывныхъ противоположностей, то не удивительно, что и эта подвижность и крайняя необузданность встрѣтили отпоръ себѣ въ противоположномъ стремленіи, и что грубые силы побораемы были могуществомъ религіи, а дикое своеволие и непокорность обуздывались мудростью жрецовъ, священными установленіями и законамъ; и вотъ мало-по-малу строптивое поколѣніе получаетъ уваженіе къ праву и пріучается къ строгому порядку и дисциплинѣ, такъ что самая сильная воля становится покорна велѣніямъ закона. Такимъ образомъ, закаливъ себя напередъ въ трудахъ и опасностяхъ, утвердившись послушаніемъ волѣ боговъ и ихъ жрецовъ, и связавъ себя желѣзными узами закона, государственный организмъ стоитъ крѣпко, неся въ себѣ богатый запасъ жизненныхъ силъ, вооруженный и всегда готовый на бой со внѣшнимъ врагомъ, и подобно своимъ богамъ, посмѣвающимся всѣмъ превратностямъ“.

Авторъ предлагаемаго отрывка, какъ видно, больше паритъ въ высотахъ, чѣмъ ходитъ по землѣ: оттого составляются у него такіа выпрепнѣнія воззрѣнія на жизнь вообще, на отдаленную древность въ особенности. Но чтобы узнать настоящую его мысль, послушаемъ его еще далѣе:

¹⁾ Die Zeiten der römischen Könige. Eine geschichtliche Untersuchung von Dr. Gerlach. 1849.

„Итакъ, переходя *отъ общаго къ частному*, отъ теоріи къ фактъ—смѣлые искатели приключеній, юноши царскаго рода, Ромулъ и братья, принужденные оставить Альбу-Лонгу вслѣдствіе внутреннего знобъ, выходятъ изъ нея, предводя толпою послѣдователей и въ провожденіи многихъ благородныхъ родовъ съ ихъ дружинами, чтобы оружіемъ въ рукахъ добывать себѣ новыя жилища. Сабинскіе, русскіе, вообще италійскіе элементы приобщаются къ нимъ же; сила растеть, не стѣсняясь болѣе ничѣмъ въ своемъ развитіи, и едва охватить нѣсколько времени, какъ они выступаютъ завоевателями и въ „города семи холмовъ“ угрожаютъ сосѣднимъ областямъ латинцевъ, бинцевъ и этрусковъ; прежніе враги спѣшаютъ примкнуть къ исполнѣнному свѣжихъ жизненныхъ силъ юному государству, которое, сложившись изъ различныхъ элементовъ, все принимаетъ въ себя, на все идетъ свою печать и такимъ образомъ полагаетъ основаніе своему душему величію. Но какъ число побѣжденныхъ, безпрестанно возростаѣтъ, накопляется до того, что начинаетъ угрожать самому организму, то государственное развитіе на время останавливается, въ немъ происходитъ застой. Изъ жителей покоренныхъ городовъ, изъ смѣси благородныхъ родовъ, зажиточныхъ гражданъ и промышленнаго класса возникло новое сословіе подданныхъ, безъ права участія въ обществѣнныхъ дѣлахъ того государства, которое предписывало имъ законы. Какъ по своей многочисленности, такъ еще болѣе по своему стѣсненному положенію, они становятся опасны для юнаго государства. Требуется отыскать такую форму, которая бы тѣснѣе ввела ихъ въ общую жизнь организма и способствовала ихъ дальнѣйшему развитію. Ибо для благородные роды съ ихъ дружинами еще не составляли народа: для этого необходимо было сверхъ того существованіе средняго и низшаго сословій (гражданъ и земледѣльцевъ). Между властителями народа находится одинъ, особенно симпатичный къ нему, который придаетъ для него эту форму: онъ угадалъ потребность времени и какимъ образомъ упрочилъ самую будущность государства, и т. д.“

Ясно, что рѣчь идетъ ужъ о законодательствѣ Сервія Туллія. Намъ пока нѣтъ никакой нужды итти такъ далеко впередъ. Замѣчательно однако, какъ авторъ изслѣдованія легко скоро отрывается отъ земли: начавъ, повидимому, съ факта, онъ едва лишь успѣваетъ назвать его по имени, а черезъ минуту ужъ снова парить въ высотѣ. Тогда исчезаютъ живыя лица, не произносятся болѣе самыя ихъ имена, и на сценѣ остаются одни голыя понятія—общества, народа, сословія и силы. Надобно признаться, защитники исторической истинности *лицъ*, приводимыхъ сагою, прибѣгаютъ къ весьма странному способу, чтобы доказать ихъ личное существованіе. Неужели теоретическое построеніе задачи можетъ служить доказательствомъ самой дѣйствительности явленія? Но послушаемъ до конца нашего изслѣдователя, узнаемъ послѣднее его слово о первыхъ дѣятеляхъ собственно римской исторіи.

Въ заключеніи онъ рѣшительно не различаетъ болѣе римскихъ царей по степени исторической достовѣрности. Ромулъ, Тацій, Сервій, Тарквиній для него равно несомнѣнныя историческія лица. Онъ не только означаетъ именами ихъ, но и приписываетъ лично имъ — Ромулу одинаково съ Сервіемъ — различныя степени развитія, которыя римскій народъ проходитъ въ продолженіе этого періода:

„Ромулъ, Ремъ, Целесь, Тацій соединеннымъ дѣйствіемъ своихъ силъ положили твердую основу новому государству, съ самаго началъ запечатлѣвъ характеръ его строгою воинскою дисциплиною. Мудрыя учрежденія и религіозный характеръ Нумы Помпилія обуздали дикую силу и подчинили ее высшему закону. Вѣдшее могущество государства распространилъ Туллъ Гостилій; ограждая независимость своего народа, въ то же время способствовалъ къ сближенію его съ другими кроткій Анкъ Марцій; столько же военною славой, сколько творческою дѣятельностью внутри государства возвысился особенно Тарквиній Праскъ. Законодательная мудрость прославила имя Сервія; властительный характеръ и въ высшей степени предприимчивый духъ Тарквинія Гордаго еще болѣе подняли могущество государства и утвердили власть его надъ Лаціумомъ“ ¹⁾.

Этихъ выписокъ, надѣмся, будетъ достаточно, чтобы дать понятіе какъ о воззрѣніи, такъ и о самомъ методѣ изслѣдователя. Для него историческій матеріалъ то же самое, что для эстетиковъ образцовыя поэтическія произведенія: лишь бы ему можно было построить на немъ свою теорію и сдѣлать свои выводы, а тамъ ему все равно—основано ли сказаніе на вымыслѣ, или на истинномъ происшествіи. Содержаніе должно быть истинно, потому что оно покоряется стройному, а подчасъ даже и красивому изложенію. Какое дѣло эстетикѣ до чудеснаго въ Илиадѣ? Ему бы только выражало оно поэтическую мысль художника.

А для критики это первый и существенный вопросъ, и потому она всякій разъ должна начинать сызнова, то-есть возвращаться къ данному матеріалу, чтобы опредѣлить степень его исторической достовѣрности. Сага можетъ быть прекрасна эстетически и не имѣть глубокихъ корней въ исторіи. Мы это видѣли на Энеѣ и на похожденияхъ его въ Лаціумѣ. Ромуловское основаніе Рима есть ли такое несомнѣнное историческое событіе, какъ непременно хочетъ предполагать авторъ „изслѣдованія“? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, нужно только

¹⁾ См. Die Zeiten d. röm. Könige, p. 38—40.

и помнить себѣ первоначальныя черты саги и всмотрѣться въ нихъ пристальнѣе. Вотъ почему первою заботою Швеплера было по возможности возстановить преданіе въ древнѣйшемъ о видѣ. Повторимъ вслѣдъ за нимъ и мы это ветхое и тычу тысячу разъ ужъ повторенное сказаніе. Начало идетъ въ альбанскихъ Сильвіевъ. Сага не восходитъ назадъ далѣе юкаса и знаетъ отъ него двухъ сыновей, Нумитора и Амулія. Младшій братъ низложилъ старшаго и убилъ даже его мать, чтобъ крѣпче утвердиться на похищенномъ престолѣ. Мать Нумитора, Рею Сильвію, онъ обрекъ дѣвственности и самъ думалъ навсегда избѣжать мстителя. Но случилось однажды, что весталка пошла въ священный лѣсъ Марса, чтобъ черпнуть чистой воды, и встрѣтивъ тамъ волка, бѣжала въ него въ пещеру. Тутъ она застигнута была Марсомъ, который приблизился къ ней подъ непроницаемымъ мракомъ. Она закрыла отъ ужаса лицо свое, когда увидѣла позоръ своей жрицы, и священный огонь самъ собою погасъ на алтарѣ. Амулій въ негодованіи приказалъ утопить не только несчастную мать, но и рожденный ею плодъ—двухъ близнецовъ. Тронутый участіемъ матери, богъ рѣки сочетался съ нею, чего она стала безсмертною; но другая участь ждала сыновей ея. Рѣину, въ которой они лежали, выбило волнами на берегъ (рѣка была тогда въ разливѣ), и потомъ, когда вода сошла, и остались на землѣ. Спустя нѣсколько столѣтій, у подошвы Палатинскаго холма показывали еще дерево, гдѣ близнецы пристали къ берегу. Случилось еще и то, что волчица, бѣжавшая къ рѣкѣ, чтобъ утолить свою жажду, почувствовала жалость къ сиротамъ: она унесла ихъ въ свое логовище, тамъ питала ихъ своимъ молокомъ, между тѣмъ какъ дятло и пиголица, летая вокругъ, отгоняли отъ нихъ насѣкомыхъ. Въ такомъ состояніи они найдены были пастухами, которые пасли царскія стада въ тѣхъ мѣстахъ. Волчица бѣжала, и одинъ изъ пастуховъ, по имени Фаустулъ, взялъ къ себѣ близнецовъ и отдалъ ихъ женѣ своей, Аккѣ Ларенціи, воспитаніе. Одинъ изъ братьевъ названъ былъ Ромуломъ, другой—Ремомъ. Выросши между пастухами, они не знали иной жизни, кромѣ пастушеской, но рано ужъ начали выдѣляться изъ толпы своихъ сверстниковъ. Благородный видъ высокій духъ обличали ихъ происхожденіе: невольно подчинились имъ прочіе. Каждый изъ братьевъ имѣлъ свою толпу слѣдователей: одни назывались Фабіи, другіе — Квинтилии. Злоупотребляя этою силою, они смѣло отдавались своей страсти

къ приключеніямъ и считали себѣ все позволеннымъ. Но не все проходило имъ безнаказанно. Противъ самаго Палатина, на Авентинскомъ холмѣ, пасли стада пастухи Нумитора. Терпя обиды отъ своихъ сосѣдей, они рѣшились отмстить имъ хитростью. Однажды, когда палатинцы праздновали Луперкаліи и бѣгали въ запуски, пастухи Нумитора сдѣлали засаду и захватили Рема въ свои руки. Плѣнника представили Амулію, но онъ тотчасъ передалъ его своему брату, которому нанесено было оскорбленіе. Тогда Фаустулъ, знавшій тайну происхожденія своихъ воспитанниковъ, передалъ ее Ромулу. Сердце сказало то же самое Нумитору, когда къ нему привели плѣнника. Ни мало не медля, Ромулъ собралъ своихъ вѣрныхъ приверженцевъ, ударилъ съ ними на Альбу, убилъ Амулія и посадилъ своего дѣда на альбанскомъ престолѣ. Народъ съ радостью провозгласилъ Нумитора своимъ царемъ.

Остановимся на минуту, чтобъ перевести духъ. Сага, не задумываясь, переходитъ отъ событія къ событію и готова за одинъ духъ пересказать содержаніе цѣлаго эпоса; но мы не можемъ слѣдовать за нею до конца, не отдавъ себѣ напередъ отчета въ первой ея половинѣ. „Какая прекрасная сказка!“ невольно повторить всякій, возобновивъ въ своей памяти, вмѣстѣ съ нами, давно извѣстный рассказъ о похожденияхъ двухъ братьевъ, отъ времени ихъ рожденія до возстановленія власти ихъ родоначальника. Тутъ есть все, что обыкновенно плѣняетъ насъ въ сказкѣ и составляетъ главный интересъ ея: таинственное рожденіе героевъ, ихъ чудесное спасеніе и воспитаніе въ неизвѣстности, ихъ смѣлая отвага и молодецкая удалъ, опасности, которымъ они подвергаются, и наконецъ столько же быстрое, сколько и внезапное торжество ихъ надъ коварными противниками. Тутъ всѣ необходимыя принадлежности сказки: вмѣшательство боговъ, сочувствіе природы и прямое участіе животныхъ въ дѣйствіи. Какъ всегда, сказка и здѣсь думаетъ только о внѣшнемъ единствѣ, мало заботясь о внутреннемъ согласіи частей. Чтобъ завязать узелъ, она низлагаетъ Нумитора съ престола и преспокойно оставляетъ его жить до развязки. Амулій обрекаетъ на истребленіе весь родъ своего брата и оставляетъ въ покоѣ его самого. За то, когда пойманъ Ремъ, есть кому въ Альбѣ встрѣтить его, какъ близкаго человѣка, и есть на кого опереться Ромулу въ борьбѣ съ похитителемъ власти. Самое преданіе объ Энеѣ не носитъ на себѣ болѣе сказочнаго характера. Историкъ, если бъ и хотѣлъ, не могъ бы сочинить такой прекрасной сказки: для это-

надобно имѣть особую сноровку и особый складъ въ головахъ, которые не совмѣщаются съ литературнымъ образованіемъ. Писателю не придется въ голову вмѣшивать въ исторію волвъ и другихъ животныхъ: это возможно и даже неизбежно лишь при извѣстномъ состояніи сознанія, которое мы называемъ миѣическимъ. Для миѣическаго сознанія нѣтъ еще различія между природой и исторіей, и потому для него животныя могутъ почти наравнѣ съ людьми казаться орудіями исторической дѣятельности. Только изъ этого источника можетъ заимствовать писатель подобный вымыселъ; только одиошковымъ состояніемъ сознанія можно объяснить то, что и дѣтство Ромула и Рема, и дѣтство Кира рассказывались само почти одинаковымъ образомъ. Это своего рода кристаллиціи, которая при однихъ условіяхъ повторяетъ тѣ же самыя формы, несмотря на различіе мѣстностей.

Но пока довольно. Мы хотѣли только показать, что дѣйствительно имѣемъ дѣло съ сагою, а не съ исторіей. Перейдемъ ко второй половинѣ разсказа, которая потому уже не можетъ рознить съ первою, что служить ей продолженіемъ. Первая имѣла цѣлью объяснить и какъ бы представить въ разѣ связь Рима съ Альбою; вторая разскажетъ намъ объ основаніи города.

Къ удивленію, палатинскіе удалыцы, почти всеѣмъ ладѣвъ Альбою, не захотѣли однако остаться въ ней. Ихъ не могли удержать ни родственныя связи, ни самыя права на престолъ: увлекаемые неопределимою силою къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ протекла ихъ юность, они рѣшились построить тамъ свой собственный городъ. Прежніе товарищи охотно согласились помогать имъ въ предпріятіи. Оставалось только взяться за дѣло, но тутъ возникли сомнѣнія: кому изъ братьевъ назвать городъ по своему имени (предполагается, что городъ премѣнно долженъ носить имя своего основателя), и кому явствовать въ немъ? И о томъ еще происходилъ споръ, который изъ двухъ холмовъ предпочесть для поселенія. Ромулъ предлагалъ Палатинъ, Ремъ стоялъ за Авентинъ. Надобно было едоставить рѣшеніе волѣ боговъ. Каждый пошелъ дѣлать надѣженія съ своего холма. Дѣло происходило ночью, задолго до зсвѣта. Время проходило въ безмолвномъ ожиданіи: ужъ скрылись мѣсяцъ, и на небѣ замерцали первые лучи наступающаго дня. Въ это самое время вдали усмотрѣны были нетерпѣливо ожидаемыя птицы, и только что солнце показалось на горизонтѣ, къ онѣмъ, въ числѣ двѣнадцати, пролетѣли мимо Ромула, махая

крыльями. Старшій братъ остался побѣдителемъ. Такъ по крайней мѣрѣ рассказывали древніе анналисты, нисколько не сомнѣваясь въ полномъ торжествѣ Ромула. Но видѣ дѣла значительно измѣняется по позднѣйшему преданію: оно ужъ знаетъ, что Ремъ первый увидалъ шесть коршуновъ, а двѣнадцать Ромуловыхъ показались гораздо позже, когда старшій братъ зналъ о побѣдѣ младшаго. Отсюда возникъ новый споръ за преимущество: одинъ ссылался на то, что видѣлъ птицъ ранѣе, другой—что видѣлъ ихъ въ двойномъ количествѣ. Ромулъ имѣлъ на своей сторонѣ превосходство силъ, и пользуясь имъ, предвосхитилъ право у своего брата. Вслѣдъ за тѣмъ онъ приступилъ къ основанію своего города на Палатинѣ. По древнему обычаю, сначала проведена была плугомъ черта, которою обозначались крайніе предѣлы новаго созиданія, такъ называемый померіумъ. По ней должны были проходить потомъ городскія стѣны и рвы. Естественно, что тѣ и другіе были въ началѣ очень незначительны. Мстя за оскорбленіе насмѣшкою, Ремъ легко перескочилъ чрезъ нихъ. Неприкосновенность священной ограды была нарушена. Ромулу дорога была честь его города: онъ бросился на брата и убилъ его своею рукою, прибавивъ страшное заклятіе, что такъ погибнетъ всякій, кто осмѣлится перескочить его стѣну. Извѣстія, что Ремъ погибъ отъ руки Целера, трибуна всадниковъ, или въ общей свалкѣ между противниками, принадлежатъ ужъ позднѣйшему преданію. Древняя сага, напротивъ того, видѣла право на сторонѣ Ромула и потому не имѣла нужды прибѣгать къ такимъ тонкостямъ. Впрочемъ братоубійство не прошло даромъ: виновникъ его впалъ въ уныніе, язва постигла народъ. Тогда Ромулъ, желая примириться съ тѣнью брата, поставилъ рядомъ два одинаковые престола въ знакъ того, что онъ дѣлится властью съ Ремомъ, и установилъ въ память отшедшихъ душъ Лемуриіи. Примиреніе дѣйствительно послѣдовало, и впредь ничто болѣе не мѣшало возрастанію новосозданнаго города¹⁾.

Оригинальныя черты саги, точно, какъ бы нѣсколько позатмились во второй ея половинѣ. Чудесному дано въ ней менѣе мѣста, чѣмъ въ первой. Участіе боговъ выражается въ ней развѣ только посредственно—въ полетѣ птицъ. Внутреннія несообразности не столько бросаются въ глаза. Повидимому, историческая почва здѣсь ближе, чѣмъ въ рассказѣ о дѣтствѣ и юности основателей Рима. При всемъ томъ сага измѣняетъ

¹⁾ См. Schwegler, 1, p. 384—390.

такъ сказать, своимъ общимъ обликомъ. Хотя это и ю опредѣлить съ точностью, но чувствуется во всемъ, осподствующій здѣсь интересъ не есть чисто историческій. занимаютъ больше всего отношенія двухъ основателей между собою. Видно, что она поставила себѣ главною ю рѣшеніе вопроса: какъ отъ двухъ основателей могъ юйти только одинъ городъ, и почему одинъ изъ двухъ ювъ имѣлъ болѣе права назвать его по своему имени? о, что она взялась отъ *двойственного* начала, и потомъ юбила свои усилія на то, чтобъ привести это двойство юнству—къ одному Риму. Ей гораздо интереснѣе знать, разсчитались между собою братья-соперники, чѣмъ то, и сильныя побужденія могли заставить ихъ отказаться юрнаго и счастливаго пребыванія въ главномъ городѣ Лаціума, и приняться за трудъ основанія новаго города. нецъ, едва только произнесено имя Рима, какъ Альба га ужъ сагою: ей какъ будто нѣтъ никакого дѣла до пеній между старымъ и новымъ городомъ.

Стало-быть мы еще не вышли изъ области саги. Такъ юаемое „историческое“ основаніе Рима принадлежитъ еще юанному источнику. Прежде чѣмъ выводить теорію, из-ювателю надобно заняться критическою разработкою пре-ю. Если подъ миѳическимъ покровомъ дѣйствительно скры-ю нѣкоторый *историческій* матеріалъ въ тѣсномъ значеніи ю, сумму его мы можемъ узнать только въ такомъ слу-ю когда подвергнемъ сагу критическому анализу.

Во-первыхъ, надобно знать, какого происхожденія сага: юземнаго или мѣстнаго. Признанное нами прежде вліяніе юскихъ представленій на римскія дѣлаетъ возможнымъ юоложеніе, что и послѣднее сказаніе объ основаніи Рима юе принадлежитъ греческимъ источникамъ, хотя съ дру-ютороны нельзя не замѣтить, что римлянинъ всего менѣе юудовлетвориться чужимъ представленіемъ тамъ, гдѣ дѣло шло чалѣ его родного города, по крайней мѣрѣ гораздо менѣе, юотносительно Лавиніума, Альбы и другихъ городовъ Ла-юа. Нѣкоторые изъ прежнихъ критиковъ, А. Шлегель и юмъ Дальманъ, рѣшительно остановились на томъ мнѣніи, ювсе сказаніе объ основаніи Рима есть изобрѣтеніе позд-юнихъ писателей. Опорою Шлегелю служило извѣстіе, со-юемое Плутархомъ, что Діоклесъ изъ Пепарета, родомъ ю, былъ первый, который разсказалъ для своихъ земля-юизвѣстную исторію основанія города Рима, и что Фабій

Пикторъ, передавая то же событіе, большею частью слѣдовалъ греческому повѣствователю въ своемъ изложеніи. Но извѣстіе Плутарха имѣетъ лишь тотъ смыслъ, что до Діоклеса римское сказаніе неизвѣстно было между греками ¹⁾. И въ самомъ дѣлѣ, большая часть греческихъ писателей показываетъ почти совершенное незнакомство съ римскою сагою. Они никакъ не прочь были сказать каждый свое слово о началѣ знаменитаго города, но обыкновенно представляли себѣ это дѣло по-своему. Главная задача ихъ состояла въ томъ, чтобъ привести основателя Рима въ генеалогическую связь съ какимъ-нибудь другимъ знаменитымъ именемъ древности. Самое простое родословіе, принадлежащее одному неизвѣстному греческому писателю, приводится у Діонисія: Ромулъ былъ сынъ Италя и Альбы, дочери Латина—такъ легко въ греческомъ воображеніи всякое собственное имя превращалось въ названіе лица! Нѣкоторые довольствовались извѣстіемъ объ Эвандрѣ и проводили самое имя Рима отъ одноименной дочери мнимаго аркадскаго высленца; другіе видѣли въ Римѣ учрежденіе сикуловъ, или возводили начало его къ баснословнымъ странствованіямъ пеласговъ. Но большая часть знала имя Ромуля, или Рома, и старалась породнить его то съ героями троянскаго цикла, то съ именитыми греческими странствователями. Такъ по одному извѣстію, Ромъ, одинъ изъ потомковъ Энея, отправился въ Италію и основалъ тамъ городъ Римъ, по другому — Ромъ и Ромулъ были два различныхъ лица, сыновья Энея отъ Креузы, и построили Римъ сообща съ двумя сыновьями Гектора. Или: Ромъ, Муль и Майлесь (Maylles) были три сына Энея отъ Лавиніи, и отъ перваго изъ нихъ получилъ городъ свое имя; или еще: Ромъ былъ сынъ Асканія, слѣдовательно внукъ Энея, и т. д. Иные же отдавали предпочтеніе гелленскимъ героямъ передъ троянскими. Такъ рассказывали, что Уллисъ имѣлъ трехъ сыновей: Рома, Антія и Ардея, и что каждый изъ нихъ построилъ городъ съ своимъ именемъ. Нѣкоторые, наконецъ, соединяли ту и другую отрасль, говоря, что сынъ Телемаха, Латинъ, вступилъ въ бракъ съ троянкою Роме, и отъ этого брака произошелъ Ромуль, основатель города. Словомъ, греки позволяли себѣ всякія комбинаціи извѣстныхъ имъ собственныхъ именъ, и выводили черезъ нихъ родъ основателей Рима ²⁾.

¹⁾ См. объ этомъ подробнѣе у Nägele, Studien, p. 406—409. Cp. Schwegler, p. 414. — ²⁾ См. Schwegler, 1, p. 400—405.

Сдѣлавъ сводъ греческихъ извѣстій объ основаніи Рима, веглеръ весьма справедливо замѣчаетъ, что, во-первыхъ, всѣмъ—дѣло личнаго воззрѣнія писателей, мало думавшихъ о вѣрности своихъ мнѣній исторіею, и что, во-вторыхъ, римское извѣстіе о двухъ близнецахъ, ихъ рожденіи и воспитаніи, галось почти вовсе неизвѣстно греческимъ повѣствователямъ. Въ такомъ случаѣ оно могло быть только римскаго или туземнаго происхожденія, и греки тутъ нисколько не отвѣтчики.

И въ самомъ дѣлѣ сага объ основаніи Рима не могла быть легкомысленнымъ изобрѣтеніемъ, потому что корни ея лежали въ самой римской землѣ. Нѣкоторыя подробности преданія прямо взяты отъ римской мѣстности и еще сохранились въ ней въ историческое время. Мѣсто, гдѣ пристали близнецы, когда ихъ прибило волнами къ берегу, сага очень определенно показываетъ близъ „Луперкала“, у такъ называемой руминальской фіги“ (*figus ruminalis*). Но Луперкаль было мѣсто, хорошо извѣстное всѣмъ римлянамъ: они могли видѣть о каждый день своими глазами. Это былъ гротъ, находившійся у склона Палатинскаго холма, около самой дороги, которая вела мимо него къ цирку. Римскіе археологи часто придаютъ его между другими мѣстными названіями, существовавшими въ ихъ время. Даже руминальская фіга довольно долго стояла на корнѣ, такъ что о ней упоминается еще въ IV столѣтіи отъ основанія города. По словамъ Ливія, руминальское дерево въ 458 году украсилось вновь постановленнымъ около него изваяніемъ волчицы, питающей двухъ близнецовъ. Это произведение, какъ полагаютъ, сохранилось до сихъ поръ, и въ настоящее время находится въ Капитолинскомъ музеѣ. Потомъ руминальское дерево высохло, и о немъ стали упоминать, какъ о прошломъ, или о томъ, что было и не существуетъ болѣе; но памятное въ народѣ имя перенесено было на другое дерево, которое стояло на томъ мѣстѣ, гдѣ собирались комиции. На самой вершинѣ Палатина, гдѣ Луперкаломъ, стояла ветхая хижина, которая извѣстна была подъ именемъ дома Ромулова (*casa Romuli*). Жрецы бегали къ ней какъ народную святыню, и еще въ Діонисіево время можно было видѣть ее на томъ же самомъ мѣстѣ. За чертою палатинскаго города, въ Велабрумъ, показывали могилу Луки Ларенціи, и тутъ же разъ въ году совершали по ней рождественную тризну. Только чисто мѣстная сага могла хорошо знать всѣ эти частности, только она могла быть какъ у себя дома.

Итакъ Нибуръ былъ правъ, когда своимъ вѣрнымъ историческимъ тактомъ угадалъ въ сказаніи о Ромулѣ и Ремѣ народную римскую сагу ¹⁾. Діоклесъ Пепаретскій, на котораго ссылается Плутархъ, не могъ заимствовать ее отъ греческихъ писателей, потому что она долгое время была имъ вовсе неизвестна. Заключение Плутарха относительно его было слишкомъ поспѣшно: не онъ служилъ оригиналомъ Фабію Пиктору, а развѣ наоборотъ. Недаромъ столько начитанный Діонисій ничего не знаетъ о Діоклесѣ. Другіе римскіе анналисты и археологи, писавшіе почти около того же времени, или немного спустя послѣ Фабія, Цинцій Алиментъ, Ацилій Глабрионъ, Энній, Катонъ, также хорошо были знакомы съ сагою: странно подумать, что всѣ они черпали изъ того же самаго источника. Не гораздо ли ближе было имъ взять свой рассказъ изъ народныхъ преданій? Еще во время самнитскихъ войнъ, задолго до анналистовъ, эдилы поставили у руминальскаго дерева изображеніе волчицы, питающей двухъ близнецовъ; конечно это былъ тогда ужъ предметъ вѣрованій римскаго народа. Чѣмъ больше разбирается дѣло, тѣмъ больше подтверждается предположеніе Нибура. Но онъ не сдѣлалъ никакой попытки объяснить сагу; онъ сомнѣвался даже въ возможности понять ея смыслъ и открыть процессъ образованія. Послѣдующее изслѣдованіе однако не отказалось отъ этой задачи и сначала думало найти ко всему ключъ въ символическомъ или аллегорическомъ объясненіи. Всѣ подобныя толкованія сводятся къ слѣдующимъ немногимъ результатамъ. Какъ всѣ герои древности, основатели Рима также должны были происходить отъ божества. Это божество—Марсъ; кому же и было приличнѣе считаться родоначальникомъ великаго воинственнаго народа, какъ не богу войны? Потому первыя заботы о воспитаніи и храненіи брошенныхъ близнецовъ принимаютъ на себя волкъ и дятель, любимыя животныя Марса. Но эти дѣти рано разлучены съ своею семьею, отринуты ею какъ незаконныя—знакъ того, что новый городъ возникъ не посредствомъ обыкновенной колонизаціи, но произошелъ самостоятельно, вслѣдствіе выдѣленія или свободнаго соединенія нѣсколькихъ бездомовниковъ. Сверхъестественнымъ образомъ избѣгаютъ они вѣрной смерти, ибо предназначаются къ высо-

¹⁾ Niebuhr, Röm. Gesch. 1, p. 210: Was als *Volks Glaube* feststand, war, dass Rom von Zwillingen erbaut sey, welche ein fürstliches Fräulein, von Mars überwältigt, geboren, etc.

кой цѣли. Они спасены отъ волнъ рѣки, подобно тому, какъ древній Римъ долженъ былъ напередъ освободить свою почву отъ наполнявшихъ ее болотъ. Юность ихъ проходить въ пастушеской жизни и смѣлыхъ набѣгахъ—такова была первоначальная жизнь римскаго народа, котораго занятія дѣлились между полевыми работами и войною. Городъ основывается двумя братьями-близнецами: нельзя не узнать въ нихъ двойственного состава самаго римскаго народонаселенія и двойной власти въ первыя времена Рима. Въ заключеніе всего проливается кровь и совершается братоубійство—вѣрное изображеніе будущаго характера цѣлой римской исторіи, исполненной кровавой вражды, внутреннихъ междоусобій и войнъ всякаго рода ¹⁾).

До послѣдняго времени наука должна была довольствоваться этою символическою. Рѣдко кто пробовалъ итти далѣе, или искать корней саги глубже въ римской землѣ. Немаловажная заслуга нашего автора состоитъ въ томъ, что, не довольствуясь голословнымъ переводомъ символическаго языка саги на обыкновенный, онъ предпринялъ возстановить самый стержень преданія въ связи съ его корнемъ. На это можно было рѣшиться, лишь осмотрѣвъ въ подробности всю историческую почву Рима и чувствуя себя какъ дома среди сохранившихся на ней остатковъ древности. Швеглеръ не опровергаетъ вовсе символическаго объясненія; онъ находитъ его даже неизбѣжнымъ для нѣкоторыхъ частей сказанія. Символь въ самомъ дѣлѣ всегда такъ присущъ былъ сознанію древнихъ, что его никакъ нельзя терять изъ виду, отыскивая смыслъ дошедшихъ до насъ обломковъ древности. Но думать все объяснить посредствомъ символовъ значитъ не видѣть въ народной сагѣ никакого живого, органическаго начала. Если бы все дѣло состояло въ томъ, чтобъ прикрыть голую отвлеченную мысль символическою оболочкою, въ сказаніи о Ромулѣ и Ремѣ не пошли бы себѣ мѣста луперкальскій гротъ или руминаль-ская фи́га: всякій видитъ, что это не символы, а сами по себѣ существовавшіе предметы, которые имѣли свое собственное значеніе. Прежде чѣмъ явилась отвлеченная мысль, существовали опредѣленные вѣрованія, общія всему народу, въ которыхъ коренились и самыя историческія представленія. „Поэтому“ (говоритъ Швеглеръ), „чтобъ взойти къ началамъ

¹⁾ Намени и объясненія этого рода встрѣчаются въ разныхъ мѣстахъ: у Петерсена, Вамбергера, Гётлинга, Клаузена и пр.

исторической саги, надобно возвратиться прежде всего къ религіознымъ представленіямъ древнихъ римлянъ и стараться возстановить связь ея съ древнѣйшими римскими святилищами и другими памятниками римской старины“. Вслѣдъ за нимъ попробуемъ и мы сдѣлать нѣсколько шаговъ впередъ на этомъ дико поросшемъ поприщѣ, извилистыми путями, которые открываются лишь при свѣтѣ археологическаго изученія.

Изъ двухъ мифическихъ основателей Рима ближе всего къ намъ и многозначительнѣе фигура Ромула. Онъ наконецъ присвоилъ себѣ исключительное право основанія вѣчнаго города, онъ же далъ ему и свое имя. Объяснять ли еще въ наше время, что, собственно говоря, не Ромулъ далъ свое имя Риму, а наоборотъ: имя основателя произошло отъ названія города? Производство Рима отъ Ромула филологически рѣшительно невозможно: по имени Ромула названный городъ могъ быть развѣ только Ромулея или Ромулія. Обратное же производство совершенно понятно и не представляетъ никакихъ трудностей. Окончаніе имени „Ромулъ“ (*ulus*) есть такое же производное, какъ и въ другомъ, болѣе употребительномъ прилагательномъ отъ того же самаго слова (*Romanus*). Какъ во всѣхъ почти подобныхъ производствахъ, имя самого Рима оказывается древнѣе имени его основателя. Ромулъ есть такой же мифическій герой (*heros eronutos*) своего города, какъ Латинъ, Ардей и многіе другіе, которыхъ породила столько свойственная древнему человѣку потребность имѣть генеалогію не только для каждаго рода, но даже для каждаго особаго учрежденія.

Если съ именемъ Ромула можетъ быть соединенъ какой смыслъ, то его очевидно надобно отыскивать въ значеніи Рима. Изъ многихъ вѣроятныхъ производствъ этого слова (*Roma*) Швеглеръ преимущественно останавливается на томъ, которое сводитъ его близко съ другимъ древне-римскимъ словомъ (*guma*), имѣвшимъ, по свидѣтельству Варрона, значеніе „сосцевъ“. Это послѣднее имя и производныя отъ него названія были очень распространены въ древнемъ римскомъ быту ¹⁾. Всѣ они возбуждали въ сознаніи римлянъ мысль о материнскомъ кормленіи, или питаніи молокомъ матери; какъ скоро дано было имя Ромула, оно естественно должно было относиться къ тому же кругу понятій. Сами римляне, допуская личное су-

¹⁾ То-есть *guma*, *Rumia*, *Ruminus*, *ruminalis*, и пр. Чтобъ не смущать читателя множествомъ чуждыхъ ему словъ, которые однако необходимы для объясненія мысли автора, мы рѣшились вынести ихъ всѣхъ изъ текста.

твое существование своего героя, непрочь однако были, по крайней мере по имени, производить его отъ извѣстнаго способа „питанія“ (*quod lurae guma nutritus est*), или, что почти то же самое, отъ „руминальскаго“ дерева. Производство ошибочное, оно указываетъ на сродство понятій по представленіямъ римлянъ. Мысль о питаніи молокомъ матери перешла на Ромула, потому что понятіе лежало уже въ самомъ имени города, отъ котораго взялось воображаемое его существованіе.

Понятно, что это объясненіе немного еще подвигаетъ дѣль впередъ. Отъ перваго понятія надобно сдѣлать переходъ къ самымъ фактамъ. Но здѣсь авторъ «Римской исторіи» дѣлаетъ оговорку: онъ не берется возстановить утраченный мифъ всей полнотѣ, считая это почти невозможнымъ, и обѣщаетъ лишь помочь читателямъ къ уразумѣнію связи его съ своими указаніями. Мы не видимъ причины, почему бы въ этомъ трудномъ дѣлѣ намъ не довѣриться его опытному производству. Руминальское дерево служитъ первымъ указателемъ присутствія мифологическаго элемента въ сагѣ. По свидѣтельству Варрона, оно дѣйствительно находилось въ непосредственной связи съ культомъ богини „Румины“ (*Rumina*), въ которой очевидно получило свое имя, такъ какъ росло надъ ея капища. Изъ другихъ же указаній мы знаемъ, что она служила символомъ плодородія и посвящалась въ особенности хтоническимъ божествамъ. Весьма естественно, что археологъ прежде всего отыскиваетъ то понятіе, которое соединяется съ именемъ богини Румины. Судя по аналогіи съ иными другими божествами, надобно полагать, что понятіе, выражаемое, было производное; что первоначально она представляла собою лишь одну сторону или одну извѣстную деятельность другого, болѣе общаго мифическаго существа. Это дерево, посвященное богинѣ, и близость святилища къ Луперкалу, указываютъ на то, что она принадлежала одному кругу понятій съ Фавномъ Луперкомъ. Не есть ли потому Румина или Румія лишь особая дѣятельность Фавны Луперки, иначе сказать, та же самая *Vona Dea*, добрая богиня, подъ новымъ именемъ? Говорятъ же сами древніе, что она была призываема подъ различными именами, которыми, въ сомнѣніи, означались различныя ея стороны. Положительно извѣстно потомъ, что Луперкаліи относились преимущественно къ плодотворности родовъ или рожденій — ясное названіе, что Фавна была между прочимъ богинею оплодо-

творенія и материнскаго питанія. Карментисъ, женское жество, чтима была именно въ этомъ смыслѣ, а тождество съ Фавною не подлежитъ сомнѣнію.

Такъ незамѣтно, мало-по-малу, приподнимаетъ опытная рука наглухо опущенную завѣсу древности и даетъ видъ за нею многое, что, повидимому, обречено было на вѣчное забвеніе. Попробуемъ итти далѣе за нашимъ авторомъ, въ надеждѣ уловить еще нѣсколько свѣтлыхъ лучей въ этой доступной для простаго глаза области. Зная тождество Румы съ Фавной Луперкою, не трудно уже понять, почему и той посвящалось фиговое дерево. По той же самой причинѣ волчица была посвященнымъ ей животнымъ, какъ волкъ въ символикѣ древнихъ италійскихъ религій принадлежить хтоническимъ божествамъ. На этомъ самомъ основаніи Акка Ларенція, которая была тождественна съ рою, или матерью ларъ, могла представляться римскому изображенію прямо въ видѣ волчицы (lupa)¹⁾. Но Румина бражала собою такъ сказать лишь одну спеціальность въ дѣятельности Фавны: если же „волчица“ была символомъ Фавны вообще, что мудренаго, что „кормящая“ волчица была спеціальнымъ ея выраженіемъ въ качествѣ Румыны? По одному древнему преданію, приводимому Арнобіемъ, называлась же питательница римскихъ близнецовъ просто-напросто „богиней Луперкою“. Отсюда становится понятно и то, почему сага не знаетъ лучшаго мѣста для волчицы, питающей двухъ близнецовъ, какъ подъ руминальскою фигою: это два предмета, тѣсно соединенные между собою въ одномъ культѣ. На существованіе его указываетъ и мѣдное изваяніе волчицы, поставленное уже въ историческое время эдильскими лицами подъ тѣмъ же самымъ деревомъ. Повидимому, лишь заняло мѣсто другого, болѣе древняго изображенія, которое нѣкогда стояло тамъ же. Тутъ получаетъ свое значеніе и близъ лежащій Луперкалъ, куда укрывается волчица, и мѣсто, посвященное тѣмъ же самымъ божествамъ. Вообще руминальская фига, волчица, кормящая своимъ молокомъ луперкальскій тротъ соединяются въ идеѣ одного культа, какъ въ имени Ромула лежалъ намекъ на кормленіе молокомъ. То весьма рано уже родилась мысль о непосредственномъ происхожденіи героя отъ волчицы, и черезъ нее—къ руминальскому дереву и къ Луперкаду, и сатѣ оставалось только перене-

¹⁾ См. Schwegler, I. p. 425; ср. ibid. p. 422. Anmerk. 3.

это воображаемое ею отношеніе на мифическій языкъ. Быть-можетъ эта реставрація мифа не совсѣмъ вѣрна въ нѣкоторыхъ подробностяхъ; быть-можетъ заключеніе о тождествѣ Руміи съ Фавной Луперкою слишкомъ смѣло и не имѣетъ за себя довольно твердыхъ основаній; но во всякомъ случаѣ не остается, кажется, сомнѣнія въ томъ, что корни саги лежатъ въ мѣстныхъ религіозныхъ представленіяхъ, и что по крайней мѣрѣ въ главныхъ своихъ чертахъ она была лишь истолковательницею того, что сохранилось отъ древнихъ вѣрованій.

Прочія подробности саги могли быть взяты ею и изъ другого круга понятій. Мотивъ, по которому Ромулъ возводится къ роду Сильвіевъ, очень понятенъ. Какъ скоро однажды утвердилось мыслѣ о тождествѣ Новаго Иліона съ Римомъ, естественно было желать привести основателя его въ генеалогическую связь съ тѣми, которые признаны были другою отраслью преданія за представителей троянскаго элемента въ Италіи. Одна сага подавала руку другой. Слѣдъ этого ихъ сліянія и теперь еще можно наблюдать на таинственномъ лицѣ матери Ромула. Она извѣстна подъ различными именами. Поэты знаютъ ее подъ именемъ Иліи, историки же большею частью называютъ ее Реей Сильвіей, иногда просто Реею. И то и другое имя принадлежитъ къ циклу сказаній объ Энеадахъ. На Иліи это яснѣе всего. Еще остроумный Перицоній замѣтилъ, что Илія по первоначальному представленію была дочь Энея, и только впоследствии имя ея ошибочно было при дано дочери Нумитора. Итакъ первою мыслію саги было связать своего героя непосредственно съ самимъ мифическимъ основателемъ рода. Впрочемъ и Рея Сильвія выражаетъ собою то же основное воззрѣніе. Бóльшая часть изслѣдователей соглашается въ томъ, что Рея имѣетъ свой корень въ извѣстномъ фригійскомъ божествѣ того же имени. Кудѣтъ ея издавна существовалъ во Фригіи и въ Троадѣ; здѣсь, почти въ виду древняго Иліона, находилась священная ея гора, Ида, отъ которой она сама получила названіе „идейской матери.“ Властвовавшіе въ тѣхъ мѣстахъ Энеады состояли подъ особеннымъ ея покровительствомъ. Понятіе о ней и самое ея имя также могли быть занесены въ Римъ въ Сивиллиныхъ книгахъ. Легко было потомъ идейскую богиню, покровительницу Энея и его рода, превратить въ прародительницу римскаго народа, когда римляне стали производить себя отъ Энеадовъ. Наконецъ самое имя Реи Сильвіи есть не что иное, какъ латинскій переводъ идейской матери. Но изслѣдованіе идетъ

еще далѣе. Любопытно наблюденіе, что, повидимому, было время, когда преданіе вовсе не знало матери Ромула по имени: она просто слыла за „весталку“. Этого достаточно было для миеа, чтобъ мотивировать беззащитное положеніе двухъ близнецовъ, брошенныхъ на произволъ судьбы. Какъ весталка, мать Ромула и Рема во всякомъ случаѣ должна была отречься отъ своихъ дѣтей, или лишиться ихъ противъ своей воли. Впрочемъ, можетъ-быть также чрезъ ея посредство основатели Рима становились въ ближайшее отношеніе къ Вестѣ, какъ покровительницѣ всякаго прочнаго основанія, служащаго къ утвержденію и возрастанію домашняго быта. Сама Веста, по принятому о ней понятію, не могла назваться матерью: итакъ вмѣсто самой богини подставлена была ея жрица, со стороны которой нарушеніе долга по крайней мѣрѣ не казалось совершенною невозможностью. Впослѣдствіи же, по связи саги съ сказаніемъ объ Энеадахъ, безыменная весталка превратилась въ Рею Сильвію, или идейскую мать.

Акка Ларенція также не случайное явленіе въ преданіи о дѣтствѣ основателей Рима; но чрезъ нее сага соприкасается съ другою стороною римскихъ миеическихъ представленій. Мы уже говорили о поклоненіи ларамъ. Оно распространялось на всякое новое учрежденіе — отъ домашняго очага до всякой большой общины. Лары города Рима могли быть не кто иные, какъ отжившіе его основатели. Не удивительно, что Акка Ларенція вошла въ связь идей, которыми изображается миеическая исторія основателей вѣчнаго города: она тождественна съ Ларундой, то-есть матерью ларъ. При мысли о нихъ возбуждалось представленіе о родившей ихъ. Весьма возможно даже, что первоначальный миеъ зналъ ее прямо подъ именемъ матери близнецовъ; лишь позднѣйшее эвгемеристическое толкованіе превратило ихъ въ пріемышей Акки Ларенціи, придало ей другой характеръ и переименовало ее женою пастуха Фаустула. Миеическое лицо приняло видъ болѣе историческаго.

Отсюда же объясняетъ Шwegлеръ двойственное число миеическихъ основателей города, составляющее одну изъ самыхъ яркихъ особенностей римской саги. Зачѣмъ нужны были миеическому сознанію два основателя, когда учрежденіе было только одно? Какая надобность была ему въ другомъ братѣ, когда само преданіе приписываетъ почти все дѣло одному Ромулу? „Это число“ (говоритъ изслѣдователь) „необходимо положить въ томъ же представленіи о ларахъ, геніяхъ-храните-

лахъ новоучрежденнаго города (*lares praestites*).“ Что римляне признавали такихъ ларь особо для своего города, подтверждается свидѣтельствами, имѣющими почти историческое достоинство. Да и невозможно представить, чтобъ одинъ Римъ оставался безъ нихъ, когда понятіе имѣло такое обширное приложеніе во всемъ древнемъ римскомъ быту. Но съ мыслью о ларахъ необходимо соединялось представленіе о „парности“: ихъ воображали не иначе, какъ вдвоемъ. Эта особенность формы отразилась и на понятіи объ основателяхъ города, а не наоборотъ. Весь ходъ мысли нашъ авторъ представляетъ себѣ въ слѣдующемъ порядкѣ. Два генія чтимы были римлянами въ особенности, какъ лары-покровители ихъ города и государства, считаясь по древнему вѣрованію за сыновей Лары или Акки Ларенціи; а какъ, по римскимъ понятіямъ, городскіе лары были души самихъ отжившихъ основателей города, то представленіе о двойственности перенесено было и на самое основаніе Рима, и Акка Ларенція, то-есть мать ларь, стала по тому же самому соотношенію матерью, а потомъ воспитательницею близнецовъ, отъ которыхъ Римъ производилъ свое начало.

Какъ ни просто и естественно кажется это объясненіе съ перваго взгляда, оно впрочемъ не разрѣшаетъ всѣхъ недоумѣній и потому не оставляетъ по себѣ полного удовлетворенія. Всякій чувствуетъ, что сага съ особенною силою упирается на двойственное число своихъ героевъ, и что это раздѣленіе одного и того же представленія (основанія одного города) не могло быть дѣломъ случайности. Но мысль, что двойственное число основателей города есть только отраженіе двойственности другого образа, едва ли можетъ быть для кого убѣдительно. Въ самомъ представленіи о ларахъ — парность или двойственность есть ли такой яркій и неразлучный съ ними атрибутъ, что необходимо представлялась воображенію вмѣстѣ съ самою идеею? Это кажется довольно сомнительнымъ. Нашъ авторъ утверждаетъ, что понятіе двойства также нераздѣльно соединено было съ римскими ларами, какъ съ греческими діоскурами и индійскими асвинами, и между прочимъ ссылается на примѣръ города Пренесте, который, по свидѣтельству Сервія, тоже считалъ у себя двухъ геніевъ-покровителей ¹⁾. Но вотъ что странно: признавая двухъ покровительствующихъ боговъ, или, что то же, двухъ ларь, пре-

¹⁾ См. Schwegler, 1, p. 436; ср. также p. 430.

нестинцы знали однако лишь одного мифическаго основателя своего города, по имени Цекула (Caeculus). Этотъ Цекулъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ есть совершенная параллель Ромулу. Онъ также рожденъ жрицею, брошенъ на произволъ судьбы и потомъ воспитанъ пастухами. Сначала, собравъ около себя удалыхъ товарищей, онъ тоже ходилъ съ ними на разбои, а потомъ на вершинѣ горы основалъ городъ, и чтобъ лучше привлечь посельщиковъ, учредилъ игры. Когда сосѣди явились на призывъ, онъ предложилъ имъ сожительство, и они, повѣривъ его чудесному происхожденію, дѣйствительно поселились вмѣстѣ съ нимъ. Кажется, нельзя придумать ничего болѣе близкаго и родственнаго между собою, какъ эти два сказанія. Они какъ будто сняты одно съ другого. Поэтому Шweglerъ не сомнѣвается, что Цекулъ и Ромулъ созданы на основаніи одного воззрѣнія. Между тѣмъ пренестинская сага довольствуется однимъ основателемъ; ей и на мысль не приходитъ, говоря о немъ, хотя намекнуть только на другого. Однимъ словомъ, у Цекула нѣтъ своего Рема, какъ у Ромула: стало-быть двойственность вовсе не была такъ необходимо присуща представленію о городскихъ ларахъ. Сага могла довольно обстоятельно разсказывать исторію основателя города, который сталъ потомъ его ларомъ, или наоборотъ, и ровно ничего не знать объ его подружьи.

Если въ одномъ случаѣ сага говоритъ о двухъ основателяхъ, а въ другомъ положительно объ одномъ, то естественно предположить, что причины двойственности были скорѣе чисто мѣстныя, нежели общія. Въ сказаніи о Ромулѣ и Ремѣ это тѣмъ очевиднѣе, что дѣятельность каждаго изъ двухъ братьевъ въ самомъ дѣлѣ почти исключительно привязана къ какой-нибудь одной части римской мѣстности. У каждаго изъ нихъ есть свой постъ для наблюденія, на которомъ каждый конечно хотѣлъ бы сосредоточить и всю свою дѣятельность ¹⁾. Восторжествовавъ надъ братомъ, Ромулъ однако остается вѣренъ своему Палатину; по всей вѣроятности и Ремъ не измѣнилъ бы своему Авентину, если бъ счастье болѣе благопріятствовало ему, и ни въ какомъ случаѣ не промѣнялъ бы его на холмъ своего брата. Убитый братомъ, онъ потомъ похороненъ на Авентинѣ. Эти холмы существовали прежде, чѣмъ

¹⁾ Относительно этого пункта преданіе согласно излагается всѣми. Лишь одинъ Эппій, вопреки всѣмъ другимъ, помѣщаетъ Ромула на Авентинѣ, но и то, кажется, съ особенною цѣлью. См. Schwegler, p. 387 п. 4.

зовался Римъ, и потомъ надолго удержали свой особый характеръ. Къ чему сводятся всѣ отношенія братьевъ съ той минуты, какъ они начинаютъ помышлять объ основаніи города? Къ тому, что оба они постоянно соперничаютъ другъ предъ другомъ до тѣхъ поръ, пока одинъ беретъ рѣшительный верхъ надъ другимъ. Шwegлеръ также поставляетъ на эту противоположность между двумя братьями, простирающуюся до того, что одинъ изъ нихъ наконецъ совершенно исключаетъ другого; но онъ толкуетъ контрастъ между ними въ ту же сторону, въ какую направлено и все его объясненіе. По его мнѣнію, дуалистическое воззрѣніе, лежащее въ основѣ, выходитъ здѣсь еще болѣе наружу: Ромулъ и Ремъ противопоставляются другъ другу, какъ самые лары, представляющіе обою, въ своей двойственной формѣ, добраго и злого геніевъ. Ошибаемся, чтобъ можно было доказать этотъ глубокий внутренний дуализмъ, основанный на различіи добраго отъ злого между самими ларами; тѣмъ болѣе имѣемъ причинъ сомнѣваться, чтобъ то же глубокое внутреннее различіе перенесено было и на мифическихъ основателей Рима. Или то, что едва мѣтно въ ларахъ, выразилось въ нихъ сильнѣе и ярче? Въ другомъ мѣстѣ нашъ авторъ замѣчаетъ — не о Ромулѣ и Ремѣ, а о Палатинѣ и Авентинѣ, что они никогда не живутъ въ мирѣ между собою; и въ самомъ дѣлѣ, это ихъ отношеніе едва ли не есть самое постоянное, которое послужило фономъ и для всего мифическаго воззрѣнія, выразившагося въ сказаніи объ основаніи Рима. Говоря, что Палатинъ и Авентинъ постоянно враждовали между собой, мы, разумѣется, не хотимъ понимать этого буквально: представленіе остается мифическимъ; но подъ нимъ скрывается, кажется намъ, намекъ на дѣйствительно враждебныя отношенія, которыя въ незапамятное время существовали между на-
донаселеніемъ двухъ римскихъ холмовъ, и остались тѣсно связаны съ ихъ исторіею.

Такого рода отношенія говорили бы скорѣе въ пользу исторической основы, нежели мифологической. Но по нашему мнѣнію разумѣнію, въ томъ и состоитъ ошибка Шwegлера, что, признавъ однажды римскую мифологію за главный и единственный источникъ сказанія, онъ заранѣе отвергнулъ возможность въ немъ всякаго историческаго элемента и не смѣлъ допустить его впослѣдствіи.

Что касается самаго имени Рема, то много разъ пытались объяснить его этимологически—и все неудачно. Оно до

сихъ поръ остается, какъ справедливо замѣчаетъ Швеглеръ, неразъясненною задачею. Легко понять происхожденіе употребительнаго у грековъ имени Рома (Romus) вмѣсто Рема, какъ другой производной формы отъ имени самаго города (Roma); но латинская форма Ремъ не допускаетъ такого объясненія. Другіе въ имени Рема искали этимологической связи съ выраженіемъ aves romae, „зловѣщія птицы“, такъ какъ отъ нихъ произошелъ несчастный поворотъ въ его жизни. Но хотя бы самое дѣло и говорило въ пользу такого производства, какъ допустить его безъ очевидной натяжки? Поэтому остается искать корня имени лишь въ мѣстныхъ названіяхъ, не обращая вниманія на правильность этимологическаго производства. Такъ по крайней мѣрѣ поступали сами древніе, большею частью поставляя Рема въ связь съ авентинскою мѣстностью, которая носила названіе Remugia. Здѣсь онъ производилъ свое наблюденіе, здѣсь думалъ основать свой городъ и здѣсь же потомъ былъ погребенъ, говоритъ преданіе. Вообще Реморія считалась мѣстомъ недобрыхъ предзнаменованій, и по немъ, какъ кажется, составилось самое понятіе о несчастномъ совмѣстникѣ Ромула. Такъ пробивается дѣйствительная мѣстная основа сквозь покрывающую ее мнѣическую оболочку саги.

Не удивимся, если читатель нѣсколько посѣтуетъ на насъ за то, что мы слишкомъ долго держали его на самыхъ темныхъ страницахъ римской исторіи. Мы впрочемъ, съ своей стороны, и не имѣли другой цѣли, какъ нѣсколько облегчить ему трудъ знакомства съ этими темными страницами, пользуясь сочиненіемъ Швеглера, дѣлающимъ большую честь какъ его автору, такъ и нѣмецкой исторической литературѣ вообще. Наша задача въ томъ именно и состояла, чтобъ, сколько можно, помочь читателю выбраться изъ хаоса первоначальныхъ сказаній большею частью мнѣическаго свойства, и мало-по-малу вывести его на большую историческую дорогу. Трудъ изслѣдованія продолжается и послѣ; но, однажды почувствовавъ подъ ногами твердую историческую почву, можно по крайней мѣрѣ надѣяться удержаться впредь на вѣрной дорогѣ и не запутаться въ противорѣчіяхъ. Оттого начальная римская исторія всегда имѣла особенную важность, что въ ней только можетъ быть найдена вѣрная точка отправленія для всего дальнѣйшаго изслѣдованія.

Нерѣдко можно слышать требованіе: давайте намъ полную и вѣрную исторію народа, давайте намъ ее безъ утайки и нисколько не подкрашенную!.. и рядомъ съ этимъ требованіемъ также часто можно слышать выраженіе скуки, неудовольствія, какъ скоро нужно бываетъ войти въ самыя подробности дѣла. Тотъ говоритъ: не надобно намъ миеологін; тому не нравятся филологическія изслѣдованія въ исторіи. Потребность историческаго изученія въ наше время есть во всѣхъ; но въ то же время существуютъ странныя понятія о средствахъ удовлетворенія ей. Требуютъ науки и въ то же время дѣлаютъ съ вами договоръ, чтобъ она была легка, чтобъ изученіе ея не стоило труда, ни даже большого вниманія. Хотятъ учиться читать и не хотятъ взять на себя трудъ узнать азбуку. Пусть исторія отъ первой страницы своей до послѣдней будетъ проста и ясна, какъ сказка—тогда охотно прочтутъ ее и будутъ довольны ею вполне. Словомъ, для удовольствія нѣкоторыхъ, любящихъ собирать плоды безъ труда, исторія навсегда должна бы остаться въ состояніи дѣтства!

Другіе, напротивъ того, требуютъ, чтобъ исторія была подчинена математикѣ. Считайте, мѣряйте и вѣшайте, говорятъ они, тогда только получите вы вѣрную исторію. Но какою мѣрою прикажите мѣрить, или какими цыфрами исчислять душевныя движенія, вообще нравственные феномены, которые составляютъ самую душу исторіи и служатъ главными пружинами всего послѣдовательнаго ея развитія? Гдѣ тотъ числитель, которымъ можно было бы измѣрить силу и величіе народнаго духа? Или на какихъ вѣсахъ взвѣсите вы тяжесть геніальной дѣятельности, которая нерѣдко одна даетъ новое направленіе всей жизни народа и на цѣлые вѣка кладетъ на немъ свою неизгладимую печать? Какою цыфрою опредѣните вы высокое превосходство древнихъ грековъ передъ персами, или какими математическими выводами оправдаете присутствіе именно въ XV-мъ вѣкѣ геніальной мысли, угадывающей существованіе другого материка? Невольно вспомнишь слова Герлаха въ приведенномъ нами его изслѣдованіи, что, если математики имѣли вліяніе на исторію, то оно никогда не было благотѣльно, потому что духъ и силы человѣка не измѣряются какъ математическія величины ¹⁾. Въ самомъ дѣлѣ, надобно слишкомъ матеріально понимать исторію, то-есть не понимать ея вовсе,

¹⁾ См. Die Zeiten d. röm. Könige, p. 28.

чтобъ искать спасенія для ней въ однѣхъ цыфрахъ. Истинно историческое движеніе не покоряется никакому исчисленію, потому что оно всегда бываетъ духовное. Есть конечно сторона въ исторіи, гдѣ математика, исчисленіе вообще, можетъ съ пользою *послужить* ей своими выводами. Опредѣливъ сущность великаго историческаго движенія, не мѣшаетъ потомъ справиться съ цыфрами, въ которыхъ оно выразилось внѣшнимъ образомъ; но нельзя, наоборотъ, отъ цыфръ заключать къ самой сущности явленія. Пересчитайте поголовно поклонниковъ буддизма—и вы подумаете, что передъ вами величайшее явленіе всей исторіи. Попробуйте по статистическимъ цыфрамъ дѣлать выводы о нравственныхъ свойствахъ народа—и вы, пожалуй, придете къ заключенію, что, напримѣръ, голландцы тупѣе и безтолковѣе китайцевъ. Хозяйственная дѣятельность историческаго народа, безспорно, можетъ быть предметомъ отдѣльнаго изслѣдованія, какъ это сдѣлалъ Бёккъ въ своей превосходной монографіи «О государственномъ хозяйствѣ аеинянъ». Давай Богъ побольше подобныхъ изслѣдованій: наука справедливо гордится и дорожитъ ими. Но странно думать, что способъ, которымъ опредѣляется хозяйственная дѣятельность, можетъ быть приложенъ ко всѣмъ явленіямъ исторіи. Изслѣдованіе Бёка освѣтило многіе пункты; но кто скажетъ, что съ него только началась исторія аеинскаго народа? Въ исторіи Англіи одного очень извѣстнаго автора есть прекрасная глава объ экономическомъ состояніи страны въ XVII-мъ вѣкѣ: пожалѣть ли, что вся его исторія не изложена тѣмъ же способомъ? Требовать, чтобъ исторія все основывала на счетѣ, значить видѣть въ ней одну механику и ничего болѣе.

Кто часто обращался съ историческимъ матеріаломъ, тотъ знаетъ по опыту, что вообще математическому методу почти такъ же мало мѣста въ исторіи, какъ историческому въ математикѣ. Какъ всякая наука, исторія рѣшаетъ свои важнѣйшіе вопросы большею частью своими собственными средствами. Въ нашемъ длинномъ обзорѣніи начальной римской исторіи намъ почти вовсе не приходилось прибѣгать къ вычисленіямъ. Да едва ли бы даже записные охотники до нихъ нашли имъ много мѣста въ тѣхъ же самыхъ предѣлахъ. А между тѣмъ, какъ можетъ видѣть всякій, рѣшается одна изъ самыхъ важныхъ историческихъ задачъ: дѣло идетъ о самыхъ первыхъ началахъ народа и государства—задача, мимо которой нельзя сдѣлать и одного шага впередъ. Она состоитъ въ томъ, чтобъ изъ

тмныхъ преданій и отрывочныхъ извѣстій извлечь историческое зерно; чтобъ подъ миѳическимъ наростомъ открыть настоящую историческую почву. Пока продолжаются эти разысканія, самая исторія есть не что иное, какъ непрерывное критическое изслѣдованіе. По самому свойству критическаго процесса, который главнымъ образомъ состоитъ въ отдѣленіи посторонняго нароста, отъ него нельзя ожидать того, что называется „богатыми“ результатами: пусть будутъ они скудны, были бы только вѣрны и довольно прочны. Задача рѣшена болѣе чѣмъ вполовину, какъ скоро миѳическій туманъ разсѣялся настолько, что изслѣдователю показался несомнѣнный историческій материкъ.

Благодаря опытному и осмотрительному руководительству Швеглера, мы можемъ сказать, что также наконецъ добрались до настоящаго историческаго материка на римской почвѣ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Мы нашли его не въ именахъ и дѣлахъ героевъ, которые сполна принадлежатъ сагѣ, а въ мѣстныхъ воспоминаніяхъ, скрывающихся подъ ними. Палатинскій Луперкаль и руминальская фіга съ одной стороны, и авентинская Реморія съ другой, несомнѣнно принадлежатъ исторіи. Палатинское и авентинское поселеніе съ ихъ враждою предупредили самый Римъ. Перевѣсъ Палатина надъ Авентиномъ—эпоха, означающая начало города. Надобно только не придавать своему открытію болѣе цѣны, чѣмъ оно стоить, и не превращать этотъ клочекъ найденной земли въ большое историческое владѣніе: иначе вновь открытая территорія у насъ же подъ руками покроется новымъ слоемъ вымысла, который нельзя лучше опредѣлить, какъ назвавъ его „прагматическимъ.“ Примѣръ тому можно видѣть на той части преданія, которая говоритъ объ отношеніяхъ Ромула и Рема, и черезъ нихъ самаго Рима къ Альба-Лонгѣ. Съ перваго взгляда легко подумать, что подъ вымысломъ, производящимъ основателей новаго города отъ альбанскихъ Сильвіевъ, также скрывается историческая основа. Повидимому, нѣтъ ничего естественнѣе, какъ признать Римъ колоніею Альба-Лонги. Но давно ужъ замѣчено, что, по смыслу самой саги, о правильной колоніи тутъ не можетъ быть и рѣчи. Преданіе точно имѣло въ виду связать Римъ съ Альба-Лонгою, но не болѣе. Основаніе новаго города—дѣло свободнаго рѣшенія двухъ юношей. Объ участіи въ ихъ предпріятіи альбанскаго государства, или альбанской общины, нѣтъ и помина. Кромѣ двухъ братьевъ, древнее преданіе не знаетъ никакихъ другихъ выходцевъ изъ

Альбы. До какой степени оно само потеряло потомъ изъ виду свою же мысль, доказательствомъ служить похищеніе сабинянокъ. Возможность такого событія основана на томъ предположеніи, что первые обитатели Рима ни откуда не могли достать себѣ женъ; но предположеніе падаетъ само собою, какъ скоро признаны колоніальныя отношенія Рима къ его метрополи. Обыкновенно въ такихъ отношеніяхъ право на браки (*connubium*) занимало одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Точно также, поставивъ Ромула въ ближайшія отношенія къ альбанскому царственному дому, сага какъ будто вовсе забываетъ о нихъ въ самую рѣшительную минуту, такъ что Плутархъ нашелъ потомъ нужнымъ прибавить отъ себя, будто Ромулъ добровольно отказался отъ альбанскаго престола! Наконецъ выборъ мѣста не менѣе сильно говоритъ противъ мысли о колоніи: потому что, прежде чѣмъ произведена была осушка болотъ посредствомъ водотводныхъ каналовъ, римская мѣстность, особенно между холмами, представляла лишь неудобства для постоянного жительства и, сверхъ того, была крайне нездоровою. Нельзя было по доброй волѣ выйти изъ устроеннаго города, чтобъ основаться на болотѣ.

Всѣ эти основанія были такъ сильны, что новые изслѣдователи рѣшительно отвергли мысль о колоніальномъ происхожденіи Рима отъ Альба-Лонги. Но тогда, чтобъ не разорвать вовсе связи Рима съ Альбою, придумали между ними отношенія особеннаго рода. Римъ, утверждали нѣкоторые изслѣдователи, основался выходцами изъ Альбы вслѣдствіе политическаго отпаденія отъ нея (*secessio*)¹⁾. На томъ основаніи, что сага ведетъ свой разсказъ отъ раздора въ домѣ Сильвіевъ, сдѣлано было заключеніе о существованіи политическихъ партій въ Альба-Лонгѣ и о спорахъ за наслѣдство престола въ ней. Соображая далѣе, что въ Римѣ съ самаго основанія его утверждается царская власть, между тѣмъ какъ въ Альбѣ появляются потомъ диктаторы, изслѣдователи рѣшили, что оба явленія были не только одновременныя, но и находились въ самой тѣсной связи между собою: когда въ Альбѣ произошелъ переворотъ, старые аристократическіе роды, имѣя во главѣ своей отрасль царственнаго рода Сильвіевъ, покинули свое отечество и на берегахъ Тибра положили основаніе новому городу. Все это, повидимому, такія черты, которыя исторія имѣ-

¹⁾ Это мысль Гёттлинга, Кортюма и Негеле, принятая также и К. Фр. Германомъ въ его «Греческихъ древностяхъ». Съ нѣкоторыми измѣненіями она же потомъ изложена Рейномъ (Rein).

и полное право считать своими. Но на самомъ дѣлѣ онѣ принадлежатъ прагматизирующему вымыслу и потому не могутъ занять мѣста въ исторіи. Зародышъ ихъ можно указать у перваго прагматика, Діонисія, который, рассказывая же событіе, думалъ ужъ узнать въ первоначальномъ засѣданіи Рима недовольныхъ выходцевъ изъ Альбы, и не обинуясь далъ мѣсто своей догадкѣ въ самомъ историческомъ изложеніи. Кто не видитъ однако, что, признавъ однажды мифическій характеръ цѣлаго сказанія, нельзя прагматизировать счетъ одной его части, произвольно взятой? Если ни самъ основатель Рима, ни Марсъ, котораго сага называетъ отцомъ, не принадлежатъ исторіи въ собственномъ смыслѣ, то чему бы дѣдъ его, Нумиторъ, былъ болѣе историческое лицо, и обстоятельства его жизни могли бы послужить основой для болѣе вѣрныхъ выводовъ? Легко также доказать, что мнѣніе о современности политическаго переворота въ Альбѣ основаніемъ Рима есть только предположеніе. Правда, римскіе историки называютъ Нумитора послѣднимъ царемъ Альбы; но они дѣлаютъ это потому только, что ничего не знаютъ о послѣдующихъ альбанскихъ царяхъ. Вообще же Альба, съ той самой минуты, какъ возникаетъ Римъ, надолго гомъ теряется изъ вида у римскаго преданія. Наконецъ Ливій упоминаетъ объ одномъ альбанскомъ царѣ, называя его не по имени (Cluilius), уже гораздо позже. Когда же подумаешь еще, что въ древнѣйшей своей формѣ преданіе дѣйствительно ничего не знаетъ объ альбанскихъ выходцахъ, и юритъ только о пастухахъ, товарищахъ юности Ромула и ма, невольно убѣждаешься, что мысль о происхожденіи Рима отъ Альбы—путемъ ли правильной колонизаціи, или вслѣдствіе политическаго отпаденія нѣкоторыхъ родовъ—основана исключительно на соображеніяхъ. И потому, какъ ни смѣло кажется съ перваго взгляда утвержденіе нашего изслѣдователя, что предлагаемыя отношенія между Альбою и вновь возникающимъ городомъ на берегахъ Тибра вовсе не принадлежатъ горіи, нельзя впрочемъ не признаться, что оно имѣетъ на своей сторонѣ неоспоримую силу доказательствъ. Альба точно такъ звено, но не въ цѣпи историческихъ событій, относящихся къ основанію Рима, а развѣ въ ряду мифическихъ предвзвѣній, которыя имѣли своею цѣлью связать основателя Рима съ троянскимъ поселеніемъ въ Италіи. Какъ скоро по хронологическимъ соображеніямъ разочли, что Ромулъ не могъ быть не только сыномъ, но даже внукомъ Энея, то не оста-

валось другого средства провести связь между ними, какъ продолжить потомство Энея въ родѣ альбанскихъ Сильвіевъ. Эта потребность создала новую отрасль въ самомъ преданіи, которая подала поводъ римскимъ историкамъ видѣть въ Альбѣ древнюю метрополию своего города ¹⁾).

Такъ обманчивы эти призраки, которые обыкновенно встрѣчаютъ васъ при вступленіи въ исторію народа, въ самомъ ея преддверіи. Такъ распадаются они отъ прикосновенія критическаго анализа, часто не оставляя по себѣ и горсти земли, которую бы можно было приобщить потомъ къ исторической собственности. Такова, по твердому убѣжденію Шwegлера, и вся мнимо-историческая „фигура“ Ромула. Мы съ намѣреніемъ сохраняемъ его собственное слово о Ромулѣ, потому что — какъ намъ кажется по крайней мѣрѣ — оно какъ нельзя болѣе идетъ къ дѣлу и превосходно выражаетъ самое понятіе. Въ самомъ дѣлѣ, о лицѣ тутъ не можетъ быть и рѣчи, какъ показываетъ критика; а между тѣмъ есть всѣ необходимыя черты для того, чтобъ въ нашемъ воображеніи и въ нашей памяти составилъ по нимъ какъ бы живой образъ лица: мы знаемъ его происхожденіе, видимъ его постепенно возрастающимъ и наконецъ представляемъ его себѣ дѣйствующимъ; оттѣненный своимъ братомъ, онъ нѣкоторымъ образомъ получаетъ даже въ нашихъ глазахъ опредѣленную фізіономію. Что жъ это такое, какъ не „фигура“? Не то ли же самое можно сказать обо всѣхъ поэтическихъ созданіяхъ, которыя глубоко запечатлѣваются въ памяти, хотя бы никогда не имѣли дѣйствительнаго существованія? Но историческая критика не одно и то же съ эстетическою: ея дѣло не восхищаться пластическою красотою подобныхъ фигуръ, а показать настоящее отношеніе ихъ къ исторической истинѣ. Фигура Ромула рѣшительно не выдерживаетъ критическаго процесса. Вся она (говоритъ Шwegлеръ въ заключеніи своего обзора преданій, рассказывающихъ основаніе Рима) сложилась постепенно изъ двоякаго рода элементовъ, которые не трудно различить въ ней съ помощью критическаго анализа. Въ составъ ея вошли частью отвлеченныя представленія объ основателѣ воинственнаго Рима, частью же міеологическія воспоминанія, тѣсно связанныя съ римскою мѣстностью. Что Ромулъ даетъ свое имя городу, что онъ закладываетъ его по извѣстному обряду, вновь устанавливаетъ въ немъ потомъ

¹⁾ Schwegler, 1, p. 452—459.

мифическій и военный порядокъ и утверждаетъ свое учрежденіе первыми военными триумфами—все это отвлеченныя черты, нераздѣльно соединенныя съ самымъ понятіемъ объ основателѣ такого города, какъ Римъ. Но за то другія черты тоже преданія, какъ-то: корми́щая волчица, Луперкаль, ругинальское дерево, воспитательница, тождественная съ ма́рью ларь, имѣютъ свой корень несомнѣнно въ самой мѣстности Рима и соединенныхъ съ нею народныхъ вѣрованій. Такимъ образомъ, разлагая „фигуру“ Ромула на ея составныя части, мы черезъ нее снова возвращаемся къ той же юрдой исторической почвѣ, которую ужъ прежде поставили въ видѣ нашими читателямъ.

Тотъ же критическій процессъ прилагается потомъ и ко всемъ прочимъ частямъ римскаго преданія. Опредѣливъ историческую цѣнность саги объ основаніи Рима, авторъ «Римской исторіи» вслѣдъ затѣмъ подвергаетъ подобному же анализу извѣстія древнихъ объ азилѣ, о похищеніи сабинянокъ, о внутреннихъ учрежденіяхъ Ромула и наконецъ о послѣдней судьбѣ его. Всѣмъ съ новыми предметами растетъ и самый интересъ изслѣдованія; приемы изслѣдователя также вѣрны, судъ его одинаково неподкупенъ. Но мы, подобно пловцамъ, рохнувшимъ пустынное море и завидѣвшимъ хотя только издали твердую землю, можемъ съ нѣкоторымъ правомъ погорить извѣстное восклицаніе: берегъ, берегъ! и достигнувъ его, приостановить наше плаваніе. Довольно видѣли мы обнаженныхъ скалъ, песчаныхъ отмелей и широкихъ безлюдныхъ прострѣствъ; довольно повстрѣчали мы на нашемъ пути лицъ съ образа, призраковъ всякаго рода и историческихъ обомковъ разнаго вида, какъ бы случаемъ уцѣлѣвшихъ отъ ольшого кораблекрушенія и едва узнаваемыхъ подъ постоннымъ наростомъ, который образовался на нихъ отъ времени. Наша цѣль была: провести читателя черезъ весь этотъ запутанный лабиринтъ до того самаго пункта, гдѣ открывае́тъ выходъ на свѣтъ. Кто пожелаетъ итти далѣе, тотъ можетъ обратиться къ самому сочиненію, съ полною довѣренностью, что найдетъ въ авторѣ опытнаго и умнаго руководителя. Довѣренность эта не будетъ обманута.

Еще мы были на половинѣ нашего отчета о новомъ критическомъ изслѣдованіи касательно начальной римской исторіи, какъ появилась и вторая книга сочиненія Шwegлера. Она охватываетъ весь періодъ римскихъ царей до изгнанія Тарквинія Гордаго. Такимъ образомъ псевдо-историческія фантазіи

гг. Герлаха и Бахофена не остались безъ отраженія и на самыхъ крайнихъ пунктахъ своего развитія. Авторъ «Римской исторіи» какъ будто не хотѣлъ оставить за ними и одной пяди земли, и поспѣшилъ разогнать вновь вызванные ими призраки всѣ до послѣдняго. Онъ не оставилъ ихъ въ покоѣ даже въ томъ убѣжищѣ, гдѣ они, кажется, считали себя всего безопаснѣе и недоступнѣе—въ области древняго римскаго права. Идя своимъ путемъ и, повидимому, не думая входить ни въ какія состязанія, онъ тѣмъ не менѣе обличилъ ложь ихъ искусственнаго построенія римской юридической старины, и своимъ яснымъ взглядомъ на вещи и вѣрнымъ историческимъ тактомъ весьма много подвинулъ впередъ настоящее ея пониманіе. Трезвенность понятій, которую мы ужъ прежде ставили ему въ особенную заслугу, въ той же степени отразилась и на второй половинѣ его изслѣдованія. Она то дала ему настоящую мѣру для опредѣленія степени исторической достовѣрности во всѣхъ извѣстіяхъ, которыя относятся къ событіямъ царскаго періода въ римской исторіи; она же конечно помогла ему выдѣлить историческій элементъ изъ миѣической примѣси безъ малѣйшаго ущерба для перваго. Каждый можетъ провѣрить это наблюденіе на его изслѣдованіи. Въ самомъ дѣлѣ, тѣмъ дальше простирается авторъ въ своемъ критическомъ изложеніи римской исторіи, тѣмъ больше чувствуется слѣдующему за нимъ, что миѣическій элементъ постоянно ослабѣваетъ, а историческій все больше и больше беретъ перевѣсъ надъ нимъ, такъ что подъ конецъ изслѣдованія читатель видитъ себя не только на твердой исторической землѣ, но и среди несомнѣнныхъ историческихъ дѣятелей. Нельзя не пожелать, чтобъ то же твердое и осмотрительное изслѣдованіе освѣтило намъ и слѣдующія страницы римскихъ лѣтописей, а между тѣмъ будемъ надѣяться, что основное воззрѣніе Шwegлера на начальную римскую исторію найдетъ себѣ справедливую оцѣнку въ большинствѣ русскихъ читателей.

О сочиненіи Ешевскаго «Аполлинарій Сидоній». *

К. С. Аполлинарій Сидоній. Эпизодъ изъ литературной и политической исторіи Галліи V вѣка. Сочиненіе С. Ешевскаго. Москва. 1855. (Посвящено памяти основателей Московскаго Университета).

Исторію Франціи политическую, общественную и литературную будутъ изучать долго. Изученіе ея въ каждомъ новомъ поколѣніи будетъ привлекать къ себѣ европейскіе умы, ищущіе постоянныхъ законовъ подъ формою случайныхъ явленій; ибо нерѣдко самыя кажущіяся аномаліи имѣютъ свой корень въ глубинѣ народнаго духа и характера. Большинство останавливается на первомъ впечатлѣніи и по немъ обыкновенно судить о самой природѣ явленія; но не достойно истиннаго знанія не умѣтъ пойти далѣе поверхности вещей и цѣнить ихъ лишь на основаніи внѣшнихъ чувствъ. Какъ бы ни мало симпатично было явленіе, знаніе всегда кончитъ тѣмъ, что постарается отыскать истинныя его основы, и тогда только произнесетъ оцѣнку ему. Уже въ наше время можно видѣть, какъ исторія Франціи становится мало-по-малу общимъ достояніемъ европейскихъ изслѣдователей, и какъ все больше и больше усиливается общее участіе въ разработкѣ ея по частямъ. Пока воздѣлывается особенно ближайшее къ намъ пространство времени, принадлежащаго ей. Такъ Шлоссеръ, изучая прошлое столѣтіе, долженъ былъ широко раздвинуть предѣлы своей рамы, чтобъ дать въ ней какъ можно болѣе простора современной исторіи Франціи. Ранке, послѣ своихъ классическихъ произведеній по исторіи реформации и возбужденной ею реакціи, и послѣ другого—болѣе ли случайнаго, или болѣе обязательнаго труда, мы не можемъ въ точности опредѣлить—посвященнаго важнѣйшей части исторіи Пруссіи, не

* Напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1855 г.

нашелъ для своего плодovitаго пера болѣе занимательной темы. какъ исторія Франціи въ XVI и XVII вѣкахъ, и всякій, кто знаетъ вышедшіе доселѣ томы новаго его произведенія, согласится съ нами, что своими тонкими и вѣрными очерками авторъ не мало способствовалъ болѣе строгому опредѣленію хода и развитія давно извѣстныхъ событій. Недавно появившееся сочиненіе Сольдана все посвящено исторіи французской реформаціи. Англійская мысль, напротивъ, всего болѣе занята ближайшимъ къ ней переворотомъ въ той же исторіи. Довольно припомнить здѣсь оригинальное произведеніе Карлейля, какъ образчикъ того, что можетъ каждое индивидуальное воззрѣніе прибавить къ уразумѣнію огромнаго событія. Не говоримъ о другихъ историческихъ трудахъ въ той же литературѣ, посвященныхъ обзорѣнiю всѣхъ дальнѣйшихъ послѣдствій того же переворота. Итальянцевъ, естественно, занимали и занимаютъ всего болѣе тѣ эпохи французской исторіи, на которыхъ всего виднѣе печать національнаго итальянскаго генія. Каждый подходитъ къ исторіи другого народа съ своей стороны, и отыскиваетъ для ея обзора удобнѣйшую для себя точку зрѣнія.

Причины такого дружнаго соединенія многихъ усилій въ стремленіи къ одной цѣли лежатъ главнымъ образомъ въ свойствахъ самого народа, котораго жизнь рассказываетъ эта исторія. Послѣднее всего осязательнѣе: хотя и не всегда признанное, оно тѣмъ не менѣе остается неотразимымъ фактомъ въ исторіи многихъ другихъ народовъ. Во-первыхъ, тѣ изъ нихъ, которые смежны съ Франціею, не свободны ни одного дня отъ ея вліянія; но оно давно ужъ не условливается болѣе одною сопредѣльностью странъ. Путями различныхъ международныхъ отношеній оно проникаетъ гораздо далѣе тѣхъ предѣловъ, гдѣ оканчиваются политическія симпатіи націй. Внѣшній объемъ его приблизительно можно обозначить распространеніемъ самаго языка. Этимъ началомъ нечувствительно переходитъ многое въ понятія и нравы заимствующихъ народовъ. Начинаютъ подражаніемъ чужому говору—оканчиваютъ нѣкоторымъ приспособленіемъ въ самомъ быту. Такъ когда то языкъ римлянъ служилъ дѣятельнымъ проводникомъ римской цивилизаціи: усвоивъ его себѣ, галлы потомъ мало чѣмъ отличались отъ самихъ римлянъ. Завоеванія этого рода такъ дѣйствительны, что противъ нихъ безсильны всѣ успѣхи обыкновеннаго оружія. Остановить ихъ въ предѣлахъ умѣренности можетъ только крѣпкое чувство самостоятельности

въ націи. Такъ старая Англія осталась вѣрна себѣ даже послѣ того, какъ норманскіе завоеватели, вышедшіе изъ Франціи, успѣли навязать ей свой языкъ. Но и тамъ, гдѣ нѣтъ мѣста практическому завоеванію, или вліянію на нравы и бытъ народа, языкъ образованной націи удерживаетъ по крайней мѣрѣ свое теоретическое значеніе. Онъ пролагаетъ за собою путь цѣлой литературѣ, а черезъ нее, иногда вовсе незамѣтно, начинается знакомство и съ самою исторіею народа, которому она принадлежитъ. Съ тѣхъ поръ, какъ литература вѣка Людовика XIV обошла весь образованный міръ, никому уже въ этомъ мірѣ не приходится въ голову отзыватьсѣ ея незнаніемъ. Быть-можетъ, своимъ всесвѣтнымъ успѣхомъ она обязана не столько своему содержанію, сколько прекрасной формѣ, нерѣдко возвышающейся до художественности; но, такъ или иначе, она сдѣлала свое дѣло, то-есть привила свой языкъ и свои формы къ современному знанію, несмотря на мѣстныя различія въ немъ, какъ одно изъ необходимыхъ его пособій. Съ тѣхъ поръ то же самое дѣйствіе неослабно продолжается до нашего времени, постоянно поддерживаемое возобновляющимся въ каждомъ поколѣніи обиліемъ литературныхъ произведеній. Бельгійская контрафакція была не случайнымъ явленіемъ. Лишь благодаря Байрону, Вальтеръ Скотту, Диккенсу, англійская литература стала въ послѣднее время возвышаться до того же уровня; но она еще далека отъ того, чтобъ знакомство съ нею предполагало въ той же степени знаніе самого языка. Литература же, которая процвѣтаетъ по другую сторону Ламанскаго пролива, почти уже не нуждается въ переводчикахъ. Языкъ еще носитъ названіе той націи, которой обязанъ своимъ происхожденіемъ и совершенствованіемъ, но литературныя его формы давно уже составляютъ общую собственность образованнаго міра. Потому даже перемѣна въ политическихъ отношеніяхъ не имѣетъ вліянія на ихъ употребленіе: каждый пользуется ими во всякое время, какъ неотъемлемою принадлежностью образованности, не подвергаясь ни малѣйшему упреку въ подражаніи. Въ тѣсной связи съ литературою идетъ знакомство съ нравами народа и его исторіею. Матеріалъ для послѣдней подъ руками у всѣхъ образованныхъ людей; имъ запасаются, почти вовсе не помышляя о томъ. Одно столько распространенное въ наше время чтеніе мемуаровъ даетъ его уже въ большемъ обиліи. И кто хотѣлъ бы еще болѣе увеличить его—чего стоило бы тому ввести въ кругъ своихъ занятій другія литературныя пособія чисто исто-

рическаго характера, писанныя на томъ же самомъ языкѣ? Какая разница съ исторіею другихъ странъ, которыхъ языки, несмотря на степень ихъ образованія, все еще составляютъ довольно рѣдкую спеціальность за предѣлами естественнаго ихъ распространенія! Сошлемся для примѣра на испанскую историческую литературу. Въ ней есть много своихъ замѣчательныхъ именъ; но многіе ли за предѣлами Испаніи знаютъ ихъ болѣе, чѣмъ только по слуху, и довольно ли только пожелать познакомиться съ ихъ произведеніями ближе, чтобъ тотчасъ же имѣть ихъ подъ руками?

Въ постоянныхъ свойствахъ того же народа лежитъ далѣе заставлятъ много говорить о себѣ. Отсюда происходитъ, что, принужденные часто возвращаться къ нему, посторонніе зрители его дѣлъ хотятъ уловить эти постоянныя черты его фізіономіи и твердо запечатлѣть ихъ въ своей памяти, какъ самыя положительныя данныя, безъ которыхъ невозможно понимать отдѣльныхъ событій. Но фізіономія народа опредѣляется только его исторіею. Напрасно думаютъ, что достаточно нѣсколько частныхъ наблюденій, чтобъ судить о народномъ характерѣ. Наблюдатели народныхъ нравовъ никогда не могутъ поручиться, что они не смѣшиваютъ постояннаго съ случайнымъ. Нѣкоторыя постоянныя свойства, принадлежащія одному народу въ особенности, можно вездѣ встрѣтить въ видѣ исключеній; и если не отличать строго частныя явленія отъ общихъ, то произойдетъ смѣшеніе понятій, противъ котораго не устоитъ никакая народность. Проѣзжайте какую угодно страну, и вы навѣрное встрѣтите нѣсколько лицъ, которымъ знакомы понятія о чести: слѣдуетъ ли отсюда заключить, что они укоренены и въ самыхъ нравахъ народа? Вы попали на одного честнаго человѣка, и неужели по немъ будете судить о цѣломъ обществѣ, среди котораго онъ живетъ? По нашему мнѣнію, только то качество надобно считать постояннымъ въ народѣ, которое можно провѣрить его исторіею. Возвращаясь нѣсколько разъ въ народной жизни, въ различныя ея эпохи, оно тѣмъ самымъ свидѣтельствуетъ о своей неизмѣнности. Обыкновенная логика, любящая брать свои послышки отъ одного настоящаго, сама напрашивается на превратныя заключенія. Не видя ничего далѣе своей современности и о ней судя лишь по одностороннимъ извѣстіямъ, она подъ-часъ готова бываетъ, пожалуй, отвергнуть у иной народности и ея прошедшее значеніе. Ей иногда ничего не стоитъ провозгласить ничтожество отжившихъ великихъ дѣя-

телей, на томъ единственно основаніи, что, за дальностью разстоянія, она не можетъ болѣе различить ихъ настоящихъ размѣровъ. Знаніе, которому дорога истина, никогда не пойдетъ этою фальшивою дорогою. Оно, наоборотъ, располагаетъ свои умозаключенія согласно съ самымъ ходомъ исторіи. Какъ въ ней настоящее есть обыкновенно результатъ всего предшествующаго жизненнаго процесса, такъ и знаніе ищетъ въ прошедшей жизни народа твердыхъ посылокъ для заключенія о послѣдующихъ ея явленіяхъ. Подобно большимъ монументальнымъ постройкамъ, великія историческія народности сооружаются цѣлыми вѣками. Каждое вновь приходящее поколѣніе строитъ на одномъ и томъ же данномъ основаніи; каждый вновь выводимый ярусъ есть естественное продолженіе одного и того же зданія. Иногда мѣняется стиль, допускаются чужіе орнаменты, но основа остается неизмѣнно та же самая. Чтобы опредѣлить характеръ цѣлаго зданія, необходимо посмотретьъ на него снизу. Крайнія линіи, которыми заканчивается вся постройка, обыкновенно обуславливаются направлениемъ и формою нижнихъ частей ея. Готическій храмъ не могъ быть заключенъ вершиною египетской пирамиды, и наоборотъ. Послѣдніе строители миланскаго кааедрала, допустивъ въ постройкѣ нѣкоторыя отступленія въ новѣйшемъ вкусѣ, завершили однако зданіе согласно съ общимъ его характеромъ. Если наши современники берутся достроивать нѣкоторые готическіе храмы, оставшіеся не доконченными еще отъ среднихъ вѣковъ, то они продолжаютъ только выводить далѣе линіи, начатыя давно отжившими основателями тѣхъ же сооружений. Такъ и въ исторіи все разнообразіе явленій сводится къ одному первоначальному очерку, котораго крайнія линіи большею частью совпадаютъ съ очертаніемъ или характеристикой самой народности. Поэтому и одна изъ главныхъ задачъ историка состоитъ въ томъ, чтобы собрать разбѣянные во множествѣ періодическихъ явленій черты одного народнаго образа, и по возможности, соединить ихъ въ одинъ наглядный очеркъ.

Какой однако огромный трудъ возьметъ на себя тотъ, кто захочетъ приложить эту задачу ко всей исторической жизни французскаго народа! Какая необыкновенная сила соображенія нужна для того, чтобы не потерять изъ виду одной главной цѣли, и не потеряться самому, проходя мысленно это множество вѣковъ и все наполняющее ихъ разнообразіе событій, направленій, лицъ, характеровъ! Ибо внѣшнія

проявленія исторической жизни въ разныя эпохи прежде всего поражаютъ своимъ несходствомъ, часто даже совершенною противоположностью. Что, на примѣръ, общаго между Франціею эпохи крестовыхъ походовъ и Франціею 90-хъ годовъ прошедшаго столѣтія? Или какое можно указать сходство между феодальною Франціею времени первыхъ Капетинговъ и монархическою XVII и XVIII вѣка? Какъ потомъ соединить въ одной и той же исторической рамѣ такія явленія, какъ Лудовикъ IX и Лудовикъ XI, Генрихъ III и Генрихъ IV, Лудовикъ XIV и Лудовикъ XVI? Или такіе характеры, какъ Лопиталь и кардиналъ Рецъ, Жанна д'Аркъ и Шарлотта Корде? Или, наконецъ, какого единства ждать отъ литературы народа, у котораго были Боскюэтъ и Вольтеръ, Рабле и Паскаль, Монтенъ и Шатобріанъ? Не исчезаетъ ли все больше и больше твердая почва подъ ногами историка, чѣмъ дальше простирается онъ впередъ въ политической, общественной и литературной исторіи народа и входитъ въ ея подробности?

Приступая къ изученію исторіи того или другого народа, никто, разумѣется, не приноситъ съ собою готовый его образъ. Его надобно бываетъ еще отыскивать въ лабиринтѣ развивающихся одно изъ другого и одно другимъ смѣняющихся событій. Историческое изученіе и есть настоящій путь къ тому. Такъ нравственный образъ писателя складывается въ воображеніи читателей изъ послѣдовательнаго чтенія его твореній и изъ сравненія ихъ между собою. Оттого въ наше время не можетъ быть правильной оцѣнки автора безъ хронологическаго расположенія его произведеній. Тому, кто хотѣлъ бы прослѣдить исторически постепенное образованіе французской національности, пришлось бы начать очень издавна. По самой крайней мѣрѣ ему слѣдовало бы подняться до временъ первыхъ Капетинговъ и тамъ уже стараться уловить первыя, хотя и смутныя черты ея. Собрать ихъ вмѣстѣ въ этой эпохѣ тѣмъ труднѣе, что онѣ раздѣлены между собою давнею, можно сказать, исконною противоположностью сѣверной и южной Франціи, продолжающеюся видимымъ образомъ и во все время крестовыхъ походовъ. Много національнаго въ этомъ энтузіазмѣ, который, вспыхнувъ впервые въ Клермонѣ, распространяется отсюда на всю Францію и связываетъ разрозненныя части ея однимъ живымъ чувствомъ! Если присоединить сюда двѣ литературы, сѣверную и южную, которыя потомъ сливаются одна съ другою, то предчувствіе возможно-

сти національнаго единства въ естественныхъ предѣлахъ страны оправдывается еще болѣе въ глазахъ изслѣдователя. Въ религіозномъ вліяніи и въ рыцарствѣ тутъ же отыщутся и первые зачатки высшей цивилизаціи, принадлежащей той же народности. На Лудовикѣ IX можно видѣть живой примѣръ ея дѣйствія. Основанный около того же времени парламентъ скоро принялъ характеръ истинно національнаго французскаго учрежденія, который еще болѣе раскрылся въ послѣдствіи. Но уловивъ одно постоянное свойство народа, не надобно думать, что найдено уже полное его опредѣленіе. Исторія не есть варіація одного и того же неизмѣннаго мотива. Въ политикѣ Филиппа IV легко открыть другую черту народнаго характера или врожденныхъ ему стремленій. Они же въ послѣдствіи еще ярче раскрылись въ цѣлой эпохѣ итальянскихъ походовъ, въ иностранной политикѣ Лудовика XIV и въ завоевательныхъ войнахъ Французской республики и имперіи. Никто конечно не будетъ отрицать во всѣхъ этихъ событіяхъ излишней притязательности. Во время того же Филиппа скрѣпился еще тѣснѣе союзъ между королевскою властью и среднимъ сословіемъ, союзъ, который основанъ былъ на ихъ общихъ интересахъ и начался еще въ эпоху феодальнаго преобладанія. Но никогда національное не достигаетъ такой степени напряженности, какъ въ минуты общаго кризиса. Тогда дурное и хорошее, что есть въ націи, выступаетъ наружу одинаково ярко. Такой кризисъ не одинъ разъ повторялся для Франціи въ большой столѣтней борьбѣ ея съ Англіею, и всякій знаетъ, какъ отразился онъ на внутренней жизни народа—въ крайностяхъ парижскаго возстанія и жакеріи, въ непримиримой враждѣ орлеанской и бургундской партій, губившихъ страну своею взаимною ненавистью, и наконецъ, въ совершенномъ упадкѣ народнаго духа, какъ бываетъ только передъ политическою смертію націи. Но какъ глубоко было паденіе, такъ быстро и неожиданно возвышеніе. Что удивительнаго, если подвигъ Жанны д'Аркъ кажется безпримѣрнымъ въ исторіи, или что историки затрудняются указать ему близкія параллели въ лѣтописяхъ другихъ народовъ? Эта черта въ такой степени національная, что она могла повториться еще разъ въ тѣхъ же обстоятельствахъ и—*conditio sine qua non*—развѣ только въ предѣлахъ той же самой народности. Примѣръ высокаго энтузіазма, вдругъ охватывающаго цѣлую страну, можно было наблюдать и прежде въ той же исторіи: необыкновенный эпизодъ, рассказывающій повѣсть дѣлъ орлеанской дѣв-

ственницы, прибавляетъ еще къ прежнему наблюденію ту особенность, что во главѣ великаго движенія становится женщина, и что оно наступаетъ послѣ страшнаго кризиса. А менѣе ли національнаго въ томъ, что освободительница Франціи скорѣе была покинута общимъ участіемъ и предоставлена своей несчастной судьбѣ, чѣмъ совершилось все предпринятое ею великое зачинаніе? Извѣстно, что Франція чрезъ свое духовенство участвовала въ произнесенномъ надъ нею безчеловѣчнымъ приговорѣ, но не видно, чтобъ послѣдняя судьба ея возбудила много сочувствія въ спасенномъ ею народѣ.

Много національныхъ особенностей усмотритъ ищущій ихъ и во всей послѣдующей исторіи Франціи. Время Людовика XI есть новое усиліе монархической Франціи побѣдить разьединеніе страны, которое вышло изъ предыдущаго кризиса. Борьба происходила между собственною Франціею, гдѣ всего сильнѣе національное чувство, и отпавшею отъ нея Бургундіею, которая въ свою очередь начинала угрожать ея самостоятельности; борьба ведена была большею частью мѣщанскими средствами, потому что направлена была противъ феодализма, получившаго въ Бургундіи новый безопасный пріютъ и стремившагося съ ея помощью къ своему политическому возрожденію. Людовику XI неестественно было опираться на феодальную Францію, потому что она постоянно тянула къ Бургундіи. Ему нужны были другіе слуги и другія орудія дѣятельности. За то паденіе Бургундскаго герцогства рѣшило навсегда вопросъ о единствѣ Франціи и вывело ее на новые историческіе пути. Куда было дѣвать ей послѣ того избытокъ своихъ силъ, какъ не обратить ихъ на завоевательныя предпріятія внѣ своихъ естественныхъ предѣловъ? И вотъ открываются нескончаемые итальянскіе походы, завязавшіе въ войну множество государствъ и наполнившіе нѣсколько царствованій. Пользы отъ нихъ не было, но славолубивая нація собрала отъ нихъ себѣ много новой славы. Любопытно особенно наблюдать, какъ въ вождяхъ этихъ походовъ ожилъ и дѣйствовалъ въ обновленномъ своемъ видѣ рыцарскій духъ, недавно еще побѣжденный во внутреннихъ партіяхъ. Но онъ воспитанъ былъ въ современникахъ Карла VIII, Людовика XII и Франциска I не столько самими нравами и образомъ жизни, сколько привитъ къ нимъ искусственно, посредствомъ чтенія, литературы. Не говоря уже о Баярдѣ, какая глубокая разница чувствуется между Францискомъ I и его неутомимымъ политическимъ соперникомъ, Карломъ V,

такъ мало разборчивымъ на средства, какъ скоро дѣло шло о торжествѣ надъ противною партіею! Перевѣсъ можетъ-быть остался и на его сторонѣ, но ужъ конечно это не былъ перевѣсъ чести. Вновь привившійся къ монархической Франціи рыцарскій духъ недолго впрочемъ удержался на степени идеальнаго благородства; рядомъ съ нимъ развилось и чрезвычайно быстро укоренилось во французскихъ нравахъ другое направленіе, которое было имъ также болѣе или менѣе родственно. Это была извѣстная французская „галантность“ (мы не имѣемъ вполнѣ соотвѣтствующаго русскаго слова этому понятію), въ которую переродились прежнія слишкомъ идеальныя стремленія, усвоенныя Франціею и другими странами съ голоса провансальскихъ поэтовъ въ особенности. Трудно сказать, на сколько именно способствовала этому превращенію Италія, съ которою французы около полувѣка находились въ самыхъ тѣсныхъ сношеніяхъ; но несомнѣнно, что она имѣла въ немъ свою важную долю участія. Какъ бы то ни было, перо Брантома изображаетъ намъ уже новую Францію, прошедшую мало извѣстную доселѣ школу воспитанія. Само собою разумѣется, что женщинамъ будетъ принадлежать въ ней почти не менѣе видная роль, какъ и мужчинамъ. Этого требуютъ „галантные“ нравы, съ особеннымъ успѣхомъ укоренившіеся во французскомъ обществѣ. Отнынѣ французская исторія представитъ изъ себя живую и разнообразную сцену, на которой ни одно дѣйствіе не можетъ обойтись безъ тонкой женской интриги. Отнынѣ все сильнѣе и сильнѣе будетъ затягиваться въ ней драматическій узелъ, чтобъ искать себѣ потомъ разрѣшенія въ неизбѣжныхъ катастрофахъ. Что жъ, если къ одному узлу прибавится еще другой, напримѣръ, узелъ внутренней религіозной вражды?

Даже принимая въ себя чужія начала, самостоятельная нація непремѣнно приспособляетъ ихъ къ своему характеру и окрашиваетъ въ свой собственный цвѣтъ. Такъ измѣнилось существенно и протестантское начало въ формахъ ученія Кальвина. Куда дѣвалась въ немъ заявленная передъ цѣлымъ свѣтомъ терпимость германскаго реформатора? Откуда, какъ не изъ національныхъ наклонностей, взялось въ немъ стремленіе къ исключительности въ религіозныхъ дѣлахъ, соприкасающееся съ фанатизмомъ? А этотъ суровый аскетическій характеръ, раскрывшійся съ такою силою въ томъ же ученіи—не былъ ли онъ прямымъ противодѣйствіемъ господствующимъ правамъ во Франціи?.. Здѣсь было бы неумѣстно останавли-

ваться слишкомъ долго на одномъ моментѣ исторіи Франціи; но мы можемъ сказать съ твердымъ убѣжденіемъ, что немного эпохъ болѣе поучительныхъ и болѣе исполненныхъ высокаго драматическаго интереса найдется въ цѣлой исторіи. Кто захочетъ изучить французскій національный характеръ въ самыхъ яркихъ и рѣзкихъ его проявленіяхъ, тотъ пусть въ особенности займется изученіемъ эпохи гугенотскихъ войнъ во Франціи, эпохи, исполненной кровавой игры многихъ непримиримыхъ страстей.

Если память Генриха IV особенно дорога французамъ, то конечно потому, что въ немъ соединились многія, какъ блестящія стороны, такъ и самыя слабости французскаго національнаго характера. Нація любила и до сихъ поръ любить въ немъ свое живое изображеніе. Не столько любезно и дорого имъ, но за то можетъ-быть еще болѣе уважительно для нихъ воспоминаніе о великихъ заслугахъ кардинала Ришелье, который умѣлъ стѣснительное давленіе, столько лѣтъ тяготѣвшее надъ всею страной, озолотить блескомъ внѣшней роли, вновь возвращенной Франціи послѣ многихъ колебаній и смятеній. На своей внутренней и внѣшней политикѣ онъ показалъ едва ли не первый примѣръ того, какъ легко покоряется вся Франція одной крѣпкой волѣ, если въ замыслахъ и дѣлахъ этой воли находить удовлетвореніе своему національному тщеславію. Говорить ли далѣе о національности фронды, когда, какъ показываютъ современные памятники, пѣли пѣсни и воевали другъ съ другомъ въ одно и то же время (*on faisait la guerre avec des chansons*)? когда, за недостаткомъ крѣпкихъ мужскихъ характеровъ, политическія партіи предводимы были смѣлыми и неистощимыми въ интригахъ женщинами? когда на родной почвѣ вступали между собою въ единоборство лучшіе вожди народныхъ силъ, тѣ самыя, которые такъ дружно и безкорыстно помогали побѣдамъ одинъ другого въ борьбѣ со внѣшнимъ врагомъ?.. Печать національнаго характера точно также лежитъ и на величавомъ обликѣ Людовика XIV, еще въ нѣжномъ возрастѣ соединившаго въ своихъ рукахъ плоды всѣхъ усилій Ришелье и Мазарини. Франція узнавала въ своемъ властолюбивомъ королѣ вѣрнаго представителя если не лучшихъ, то тѣмъ не менѣе очень постоянныхъ своихъ склонностей. Она любила блескъ его царствованія. Любя распространять свое вліяніе на чужія земли, она сквозь пальцы смотрѣла на его злоупотребленія во внѣшней политикѣ, и даже въ насильственномъ

исвоеніи Страсбурга, среди мирнаго времени, не видала нашенія права. Она черезъ него достигала преобладанія во вѣдѣннѣйшей политикѣ. Во имя національнаго начала галликанское духовенство не побоялось примкнуть тѣснѣе къ королю, чѣмъ съ опасностью повредить своимъ добрымъ отношеніямъ къ римскому престолу. Все удавалось Лудовику XIV, потому что за нимъ стояла цѣлая нація, увлеченная частью невольнымъ удивленіемъ къ нему, частью столько же произвольными симпатіями къ его дѣйствіямъ. Кто умѣетъ поразить ображеніе народа, тотъ владѣетъ Франціею. Имѣющіе соображенія въ приложимости этого правила къ исторіи Лудовика XIV, пусть только обратятъ вниманіе на литературу его времени. Несмотря на разнообразіе талантовъ, направленій и формъ, въ ней почти нѣтъ голоса, который бы не раздѣлялъ общаго всѣмъ удивленія и подобострастія. Свое собственное искусство поэты нерѣдко передавали и своимъ героямъ. Оттого, смотря на весь внѣшній блескъ, чувствуется въ этой литературѣ какая-то утомительная монотонность. Таково было и самое общество, среди котораго она процвѣтала. Оно желаетъ узнать его короче, познакомиться съ нимъ лишь къ лицу, пусть возьметъ себѣ въ руководители неутомимаго говоруна Сень-Симона: въ безконечныхъ разсказахъ, поминающихъ собою «Тысячу и одну ночь», выводя на сцену современное ему общество, онъ, собственно говоря, рисуетъ только одного героя, изображаетъ одно солнце, около котораго толпятся мириады насѣкомыхъ, привлеченныя его ослѣпительными лучами.

Лудовикъ XIV умѣлъ быть равнымъ въ самомъ гнѣвѣ, въ самыя горячія минуты не измѣнялъ своему достоинству какими слишкомъ рѣзкими движеніями. Какое, напримѣръ, различіе между нимъ и Генрихомъ VIII въ личномъ обращеніи! Можно было однимъ неосторожнымъ словомъ потерять его благосклонность и впасть у него въ немилость, но потерпѣть отъ него личнаго оскорбленія. Добиваясь права «бурета», никто въ его время не рисковалъ личною честью: каждый, напротивъ, охотно жертвовалъ частью своихъ свободныхъ движеній, чтобъ только находиться въ присутствіи только снисходительнаго величія и удивляться его всегда благосклонному къ другимъ достоинству.

Между тѣмъ никакая централизирующая сила не въ состояніи была совершенно подавить во Франціи всѣхъ частныхъ стремленій, несогласныхъ съ общимъ направленіемъ государ-

ственной жизни. Можно было по произволу прекратить вильныя собранія государственныхъ чиновъ или сословія нельзя было предотвратить стремленіе парламента присвоить себѣ хотя часть ихъ авторитета. Когда политическому менту заграждены были всѣ другіе выходы, онъ проник магистратуру и заставилъ ее облечься несвойственнымъ характеромъ. Даже послѣ Ришелье, преемникъ его вѣдѣйствовавшій въ томъ же духѣ, встрѣтилъ еще въ парламентѣ оппозицію, съ которою долгое время не въ состояніи управиться. Чѣмъ сильнѣе напоминали парламентскимъ вѣтникамъ ихъ специальное назначеніе, тѣмъ больше слились они присвоить себѣ характеръ политическаго учрежденія. Можно было посредствомъ драгонадъ разбить и разсѣять гугенотскаго народонаселенія Франціи, но невозможно уничтожить наполнявшій его духъ; особенно трудно предотвратить усиленіе его въ другихъ слояхъ общества и въ самыхъ государственныхъ учрежденіяхъ. Выпустилъ спиртъ изъ склянки — онъ разойдется по всей землѣ, хотя и смѣшается съ ея воздухомъ. Преслѣдуемый тѣснымъ со всѣхъ сторонъ, старый гугенотскій духъ, мѣтно для простаго глаза, распространялся по всей Франціи. Когда, казалось, у него отняты были послѣднія жища въ отдаленныхъ провинціяхъ, онъ перемѣстился въ центръ страны. Ни сами янсенисты, ни ихъ противники конечно не сознавали родства ихъ съ гугенотами; но во всей разности доктрины, кто не узнаетъ возродившагося духа, подъ другими формами, стараго духа сопротивленія. Они также дѣйствовали во имя религіознаго начала, и не исключали себя изъ католическаго общества, какъ предшественники, но въ то же время рѣзко отдѣлялись отъ него и своими началами, и своею постановкою. Мѣсто и время, ясно обозначеннаго внѣшняго противодѣйствія заступило менѣе уловимое внутреннее. Его преслѣдовали въ янсенистскомъ принужденное еще разъ выйти изъ своего тѣснаго круга оно разсѣялось по смежнымъ съ нимъ областямъ тогдашнего французскаго общества. Выгнанное изъ разрушеннаго Парламента, оно мало-по-малу переселилось въ стѣны парламента и собрало въ немъ новые элементы оппозиціи. Религіозныя убѣжденія примкнули къ политическимъ и въ соединеніи ими образовали одну крѣпкую силу. Напрасны были попытки болѣе чѣмъ полувѣковыя усилія подавить нераздѣльную эту противорѣчія и принудить ее къ молчанію: чѣмъ тѣмъ

ествовала она себя въ парламентѣ, тѣмъ болѣе внятно и
ико говорила на сторонѣ, привлекая къ себѣ большинство
одонаселенія. Парламентъ въ ссылкѣ возбуждалъ едва ли
болѣе симпатій, чѣмъ находясь въ столицѣ государства и
милости у министровъ Людовика XV. Когда же парламентъ
закрѣтъ окончательно, доселѣ заключенное въ немъ
гическое движеніе перебросилось въ массу, и соединившись
ей съ господствовавшими идеями, произвело то опасное
женіе, которое приготовило самый страшный изъ всѣхъ
воротовъ. Болѣе благоразумные и проницательные совѣт-
и Людовика XVI старались поправить ошибку своихъ
шественниковъ, но было ужъ поздно. Когда открылось по-
нее собраніе государственныхъ чиновъ во Франціи, вся-
чувствовалъ присутствіе въ немъ новаго, крайне опаснаго
, но не находилось болѣе силы, которая бы въ состояніи
укротить его, или по крайней мѣрѣ сдержать въ долж-
хъ границахъ.

Цѣль наша впрочемъ не пересказать сполна всѣ фазы
историческомъ развитіи французской національности (за-
, которая одна потребовала бы обширнаго труда), а обра-
вниманіе читателей на нѣкоторые наиболѣе видные пунк-
тъ немъ, чтобъ хотя немногими чертами обозначить,
сказать, индивидуальный характеръ исторіи Франціи.
зеденныя нами черты принадлежать больше особенностямъ
нка, нерѣдко измѣняющаго свой видъ согласно съ движе-
хъ входящихъ въ него линій, но сверхъ того остается
общій колоритъ, вытекающій прямо изъ природы народа
злитый по всему его историческому облику. Перевести
на слова можетъ-быть еще труднѣе, чѣмъ схватить въ
мъ очеркѣ главные моменты историческаго развитія. Всего
е будетъ нѣсколько объяснить нашу мысль, или только
жнуть на нее хотя однимъ примѣромъ изъ области того
ства, которому понятіе колорита принадлежитъ въ соб-
нномъ смыслѣ. Намъ кажется, сюда шедъ бы лучше всего
й колоритъ Рубенса: его свѣтлыя краски безсильно было
ачить и самое время. Это не тотъ эффектъ, котораго до-
аютъ посредствомъ углубленія однихъ предметовъ и уси-
аго освѣщенія другихъ; это не рембрандтовская игра свѣ-
и тѣнью, поражающая и нѣкоторымъ образомъ ослѣпля-
я зрѣніе, и даже не прозрачность кисти Мурильо, со-
оточивающая лучи свои въ особенно назначенныхъ для
пространствахъ. Одна изъ особенностей въ искусствѣ ве-

ликаго фламандскаго художника состояла въ томъ, что рить его не зависѣлъ отъ самаго содержанія его картинъ. • былъ всегда неизмѣнно вѣренъ себѣ, несмотря на ихъ образіе. Тою же равномерною яркостью поражаютъ событія лица французской исторіи, безъ различія ея моментовъ : ходящихся въ ней свѣтлыхъ и мрачныхъ сторонъ. Благодаря рельефности главныхъ дѣйствующихъ въ ней характеровъ или свойству народной среды, въ которой они поставлены, они представляются ясно, отчетливо умственному взору слѣдователя и твердо запечатлѣваются въ его воображеніи. Глазу свѣтло даже въ самыя смутныя и безотрадныя : для мысли. Приблизившись къ нимъ съ помощью историческихъ пособій, зритель ясно можетъ разобрать въ нихъ линіи и легко отличаетъ личныя побужденія отъ общаго толку вѣку или народу направленій. Всѣ лица кажутся личными, хотя можетъ-быть и не нуждаются въ очень глубокомъ психологическомъ анализѣ. Какой, напримѣръ, густой туманъ лежитъ надъ спокойною по наружности Германиею во второй половинѣ XVI вѣка, и какъ въ то же время рисуются самыя неукротимыя страсти по другую сторону Рейна! И вдругъ все опять успокаивается во Франціи на свѣтломъ образѣ Генриха IV не отражается болѣе никакихъ слѣдовъ прежнихъ бурь, хотя онъ прошелъ черезъ ихъ потрясенія!

Тотъ же господствующій тонъ удерживаетъ исторія : ции и въ два послѣдующія столѣтія. Руководимые очень чистымъ инстинктомъ, даровитѣйшіе французскіе историки слѣднлаго времени однако не имъ посвятили свои таланты свое изученіе. Труды, заслужившіе ихъ авторамъ наибольшую европейскую извѣстности, большею частью имѣютъ с предметомъ самыя раннія времена французской исторіи : которые изъ нихъ, и притомъ весьма почтенные, восходятъ даже за черту капетингской эпохи, когда собственно еще рѣчи о Франціи, а все сводится къ исторіи Галловъ завоеванія ея франками. Тамъ искала и ищетъ до сихъ поръ французская исторіографія первоначальныхъ и твердыхъ основъ для себя. Вопросы, поднятые впервые еще въ XVII вѣкѣ въ концѣ прошлаго столѣтія вызвали нѣсколько новыхъ открытій. Но, подъ вліяніемъ духа партій, и рѣшенія историческихъ задачъ неизбѣжно принимали односторонній характеръ. Для примѣра довольно сослаться здѣсь на Бугенъ. Его научное изслѣдованіе могло начаться не ранѣе

цемъ столѣтіи. Гизо проложилъ ему путь своимъ классическимъ твореніемъ, изобразивъ въ немъ главные моменты развитія и ходъ новой цивилизаціи. Тогда обозначились всѣ важнѣйшіе элементы, изъ которыхъ сложилось вновь юобразное въ своихъ частяхъ историческое зданіе, заступившее мѣсто громадной римской постройки; тогда только отпала возможность рассуждать о каждомъ изъ этихъ элементовъ порознь и каждый подвергать изслѣдованію отдѣльно другихъ. Распознавъ общій планъ, легко ужъ было моделировать его по частямъ. Каждый выбиралъ потомъ свою особенную точку зрѣнія, и съ нея описывалъ представлявшійся ему историческій горизонтъ. Такъ Фориель возстановилъ въ вѣрности картинѣ самостоятельное значеніе южной Галліи и опредѣлилъ историческую роль ея въ эпоху Меровинговъ и Кароловъ, между тѣмъ какъ живая кисть Огюстена Тьерри рисовала въ яркихъ очеркахъ преимущественно франкскіе типы той же эпохи. Восходя еще ранѣе, талантливый Легюерою мастера реставрировалъ непрерывно продолжающееся старое римское вліяніе среди хаоса внутреннихъ меровингскихъ и каролингскихъ отношеній. Задача была тѣмъ болѣе важная, что прежнія понятія о великомъ переворотѣ, который произведенъ былъ въ Европѣ переселеніемъ народовъ, не имѣли почти никакого мѣста римскимъ идеямъ внутри юго-франкскаго общества. Но мѣткій взглядъ историка позволилъ ему отыскать связь этого общества съ древнимъ міромъ, и въ тѣхъ явленіяхъ, въ которыхъ всего менѣе ее полагали. Послѣ Легюера никто уже не возьметъ на себя смѣлости утверждать, что будто авторитетъ Меровинговъ утвердился въ Галліи безъ вліянія римскихъ государственныхъ традицій, или что онъ опирался болѣе на франковъ, чѣмъ на латинянъ. Но въ исторіи германскихъ учрежденій на южной почвѣ и послѣ того оставалась еще одна темная точка. Вопросъ состоялъ въ томъ, чтобъ опредѣлить крайнія границы расселенія франковъ въ завоеванной ими странѣ и исторически прослѣдить всѣ отношенія ихъ къ покоренному населенію. Послѣ рѣшенія вопроса объ умственныхъ вліяніяхъ требовалось еще знать, на сколько велико было преобладаніе завоевателей въ матеріальномъ отношеніи, и точно ли вновь образовавшаяся народности они составили господствующій элементъ. Необыкновенно отчетливый трудъ Петиньи, занятый на двадцатилѣтнемъ добросовѣстнѣйшемъ изученіи, и, содержитъ въ себѣ самый удовлетворительный по вре-

мени отвѣтъ на всѣ эти вопросы, оставшіеся отъ преислѣдованія. Строгою повѣркою и тщательнымъ сравненіемъ всѣхъ данныхъ Петини достигъ того, что учрежденія темной эпохи въ исторіи Франціи выяснились такъ, если бѣ они съ точностію изложены были ихъ современниками. Вообще обширное его изслѣдованіе принадлежитъ къ самымъ зрѣлымъ и обильнымъ неожиданными результатами произведеніямъ новой исторіографіи. Говорить ли о трудахъ Амедѣя Тьерри, Пардесю и другихъ изслѣдователей печальной исторіи Франціи? Но, имѣя въ виду большинство читающей публики, мы считаемъ достаточнымъ не капитальныя произведенія и не станемъ перечислять монографій, принадлежащихъ къ той же отрасли литера-

Никого не должно удивлять существованіе многа изслѣдованій въ нѣмецкой исторической литературѣ по тому же предмету. Нѣмецкіе ученые по праву считаютъ своимъ, что касается исторіи разселенія германскихъ племенъ завоеваній и учрежденій. Зарейнскіе франки столько же ственны имъ, какъ и тѣ, которые остались внутри Германіи. Что удивительнаго поэтому, если, на примѣръ, лучший сдѣланный до сихъ поръ анализъ творенія Григорія Турскаго, которое составляетъ неистощимый рудникъ для исторіи меровингской эпохи, принадлежитъ нѣмецкому историку? ¹⁾ Г. Несбитъ могъ бы показаться появленіе прекрасной монографіи по начальной исторіи Франціи въ русской литературѣ, повидимому столько отдаленной отъ предмета и такъ приготовленной къ нему существующими въ ней направлениями; однако мы дѣйствительно имѣемъ такую монографію сочиненіи г. Ешевскаго, которое и подало намъ поводъ сказать нѣсколько общихъ мыслей о французской исторіи. Она имѣетъ въ рукахъ лучшаго доказательства, что изъ всеобщей исторіи понемногу спѣетъ у насъ и начинаетъ носить свои плоды. Мы всегда были за него и рады каждому новому его успѣху. Намъ всегда пріятно было бы, что рядомъ съ дѣятельною разработкою русской исторіи и можетъ идти у насъ съ успѣхомъ и основательное знакомство съ общими историческими вопросами. Ничто такъ не оживляетъ мысль отъ односторонности, какъ сравнительное историческое изученіе; ничто не придаетъ столько твердости сужденію, какъ повѣрка однихъ историческихъ явленій дру-

¹⁾ Лёбелю, автору извѣстной монографіи: *Gregor von Tours und seine Zeit*.

всеобщей исторіи лежитъ мѣра заслугъ каждой народности чему человѣческому дѣлу. Чѣмъ дальше раздвигаются пределы историческаго знанія, тѣмъ больше расширяется умственный горизонтъ вообще. Отвергающіе сравнительный способъ ченія исторіи сами добровольно лишаютъ себя средства ять смыслъ нѣкоторыхъ явленій. Не менѣе пользы ожи-мъ мы для читателя отъ всякаго основательнаго изученія, орое введетъ въ общій оборотъ нѣсколько новыхъ фактовъ ; исторіи другихъ народовъ. Много пользы ожидаемъ мы , подобныхъ трудовъ, особенно для распространенія пра-пныхъ понятій объ историческомъ значеніи и характерѣ кдой народности сравнительно съ другими, ей современ-ми.

Нельзя довольно похвалить умный выборъ г. Ешевскаго : исторической монографіи. Не считаемъ за нужное много таивать на важности исторіи Галліи для живого и на-днаго пониманія непосредственной связи между древнимъ омъ и новымъ. Изслѣдованія трехъ послѣднихъ десятилѣ-показали достаточно, какъ великъ былъ пробѣлъ во всеоб-і исторіи Европы, пока эта любопытная страница опущена а въ ней изъ виду. Изученіе цѣлой большой эпохи г. евскій умѣлъ привязать къ исторіи одного лица. Аполли-ій Сидоній самъ по себѣ уже достоинъ изученія, какъ ный представитель своего времени. На дѣйствіяхъ Сидо-, какъ и на всемъ его историческомъ обликѣ, ярко отра-ись многія господствующія черты вѣка, которому онъ при-лежалъ по своей жизни и нравамъ. Но сверхъ того онъ авилъ еще по себѣ богатый запасъ писаній разнаго рода, которыхъ кругъ дѣйствій расширяется еще далѣе и вы-ится на сцену множество лицъ и предметовъ, принадле-зшихъ его современности въ обширномъ смыслѣ и спасенныхъ ь отъ забвенія. Черезъ призму сочиненій Сидонія видѣнъ ь его вѣкъ и быть. Въ этой рамѣ историческое изученіе но соединяется съ литературнымъ, и интересъ одного воз-пааетъ занимательность другого. Въ той же эпохѣ съ Си-іемъ можетъ сравниться по занимательности развѣ только игорій Турскій; но какъ у Григорія преимущественно на-но изучать франковъ, поселившихся въ Галліи, такъ у цонія самое видное мѣсто занимаютъ галло-римляне, род-енные ему по крови и духу. Онъ не писалъ ничего соб-енно историческаго, но въ его литературныхъ сочиненіяхъ аетъ вся исторія Галліи V вѣка со всею доставшеюся ей

отъ римлянъ роскошью образованности и со всѣми недостатками политической жизни, наслѣдованными ею отъ того народа. Новому изслѣдователю, пользующемуся этимъ обильнымъ матеріаломъ, есть надъ чѣмъ показать свой талантъ и свое знаніе.

Всѣ французскіе историки меровингской эпохи болѣе или менѣе пользовались Сидоніемъ. Фориель въ своей исторіи восточной Галліи посвятилъ цѣлую особую главу на то, чтобы въ его сочиненіяхъ представить полную картину матеріальнаго и умственнаго быта страны въ данное время. Но, какъ и много говорили о Сидоніи, до сихъ поръ чувствовался въ наукѣ недостатокъ спеціальнаго его изученія и вмѣстѣ полной оцѣнки всей его политической и литературной дѣятельности. Если же и были сдѣланы какія-нибудь попытки, то о нихъ почти не стоитъ упоминать. Послѣдующему изслѣдователю едва приходится извлечь изъ нихъ какую-нибудь пользу. Г. Ешевскій взялъ на себя задачу тѣмъ болѣе трудную, что для того, чтобы извлечь изъ Сидонія заключающійся въ немъ историческій и литературный матеріалъ, надобно напередъ много бороться съ формою его изложенія ¹⁾. Тутъ мало помогаютъ даже обыкновенныя научныя пособія. Словари средневѣковой латыни часто оказываются недостаточны, когда надобно изучать писателя V-го вѣка, вообще переходнаго времени отъ римскаго міра къ средне-европейскому. Составители ихъ, занятые всего больше опредѣленіемъ средневѣковыхъ терминовъ, недостаточно обращали вниманія на предшествующую эпоху, которая отличается своими филологическими особенностями. Въ странахъ, гдѣ держалось еще римское образованіе, ясность рѣчи сверхъ того много терпѣла отъ господствующей страсти къ изысканнымъ и вычурнымъ выраженіямъ. Современники Сидонія ще голяли ими какъ лучшимъ поэтическимъ убранствомъ, а для читателя нашего времени они составляютъ только лишнюю трудность и постоянный камень преткновенія при объясненіи настоящаго смысла рѣчи. На бѣду еще Сидоній былъ поэтъ, то-есть писалъ многія свои сочиненія стихами. Если современные намъ слагатели стиховъ принуждены иногда жертвовать ясностью смысла для правильнаго размѣра и звучной риѣмы, то чего можно ожидать отъ латинскихъ стихотвор-

¹⁾ Je ne sais (говорить Амнеръ) ce qu'il peut y avoir de plus obscur que le langage de Sidoine. См. Hist littér. de la France, I, p. 151. Cp. Fauriel, I, p. 419.

въ, которымъ досталось жить въ вѣкъ всеобщаго паденія мской цивилизаціи? Раскрывая книгу нашего молодого ученого, къ удивленію, находимъ, что въ многочисленныхъ вы-
сказахъ, приведенныхъ въ ней изъ Сидонія, галльскій ри-
тъ V вѣка вездѣ выражается плавнымъ и общедоступнымъ
мкомъ, и что даже съ намѣреніемъ сохраненные слѣды его
сусственной, фигуральной рѣчи не мѣшаютъ ясности его
исла. Надобно отдать полную справедливость нашему ав-
ту-переводчику: посредствомъ своего собственнаго изученія,
лько же умнаго, сколько и настойчиваго, онъ достигъ того,
Сидоній (по крайней мѣрѣ сколько вошло его въ изслѣ-
аніе) переданъ имъ на русскомъ языкѣ не только вполнѣ
зумительными, но и весьма вѣрными чертами. Такой трудъ
тъ по себѣ уже заслуживаетъ благодарность тѣхъ, которые
ивыкли цѣнить памятники старой литературы и дорожатъ
рымъ воспроизведеніемъ ихъ на новыхъ языкахъ.

Сочиненіе г. Ешевскаго исполнено по обширной програм-
мѣ, начертанной самимъ авторомъ. Онъ говоритъ о ней въ
исловіи къ своей книгѣ. Приведемъ его собственныя слова:

„Аполлинарій Сидоній даетъ возможность историку, не выходя
ти изъ предѣловъ его біографіи, коснуться всѣхъ сторонъ совре-
мой ему дѣйствительности. Прославленный литераторъ, близкій
цѣтель почти всѣхъ важнѣйшихъ политическихъ событій, участникъ
многихъ изъ нихъ, наконецъ одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и уважа-
хъ епископовъ Галліи, Аполлинарій Сидоній своими сочиненіями
дставляетъ драгоцѣннѣйшій источникъ для политической и литера-
ной исторіи своего времени. Говоря о его многосторонней дѣя-
тельности, біографъ Сидонія почти противъ воли дѣлается историкомъ
ліи, а иногда и историкомъ всего западно-римскаго міра и въ его
произведеніяхъ находитъ полнѣйшій матеріалъ для своего труда.
другой стороны, время Сидонія принадлежитъ къ числу самыхъ
работанныхъ эпохъ средневѣковой исторіи. Начальная исторія
иціи была предметомъ наиболѣе внимательнаго и отчетливаго изу-
ія. Гизо, Петиньи, Легюэру, Форіель, братья Тьерри не оставили
ь вниманія ни одного сколько-нибудь важнаго явленія въ полити-
кой, умственной и нравственной жизни этого времени; бенедик-
цы конгрегаціи св. Мавра съ рѣдкою добросовѣстностью собрали
своей литературной исторіи Франціи всѣ даже самыя мелочныя фак-
относящіяся къ дѣятельности и жизни писателей V вѣка. Для
оріи церкви достаточно указать на Неандера. Не говорю уже объ
иціи самыхъ памятниковъ. Біографу А. Сидонія остается только
пользоваться обильнымъ матеріаломъ и многочисленными пособіями
трудахъ предшествовавшихъ историковъ, свести отдѣльныя изслѣ-
анія и сгруппировать около своего героя разнообразныя явленія
итической и умственной жизни этой эпохи, чтобы *представить пол-
картину Галліи во второй половинѣ V вѣка*. Такого рода

трудъ предпринялъ я съ убѣжденіемъ, что для русской публики подобныя монографіи могутъ принести болѣе существенную пользу, нежели спеціальныя изысканія, относящіяся къ одному какому-либо событію, тѣмъ болѣе, что и въ настоящемъ случаѣ не исключалась возможность собственныхъ частныхъ изслѣдованій“.

Затѣмъ авторъ говоритъ о литературныхъ пособіяхъ которыми онъ пользовался для своего труда, и въ краткомъ очеркѣ произноситъ имъ справедливую и вѣрную оцѣнку.

Въ прежнее время, когда критикъ обыкновенно бралъ на себя перестроивать по своему плану автора, программа г. Ешевскаго подверглась бы многимъ нападеніямъ. „Какъ“ (сказали бы ему) „мѣшаете вы біографію съ исторіею, или хотите въ предѣлахъ одной человѣческой жизни и дѣятельности изобразить исторію почти цѣлаго вѣка? Стало-быть ваша рама должна быть гораздо тѣснѣе самой картины? стало-быть вы нисколько не заботитесь о единствѣ произведенія? жертвуете разнообразію содержанія художественностью формы?...“ И мало ли что еще могъ бы возразить не только критикъ автору, но и онъ самъ себѣ противъ смѣшаннаго плана, по которому простая біографія раздвигается до предѣла большой исторической рамы. Но г. Ешевскій имѣлъ, по нашему мнѣнію, очень вѣрный тактъ не пожертвовать единству литературной формы богатствомъ собраннаго имъ матеріала. При разработкѣ писателей, которые отражаютъ въ себѣ свой вѣкъ, иначе почти не можетъ быть. Исторія литературы связана съ исторіею вообще гораздо тѣснѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Если писателя нельзя удовлетворительно объяснить помимо его времени, то и полная картина эпохи, которой онъ принадлежитъ, возсоздается лишь съ помощью литературныхъ произведеній. Давно прошла та пора, когда писателемъ и его произведеніями занимались единственно ради его литературныхъ формъ и чисто поэтическаго достоинства. Эстетическій вопросъ остается самъ по себѣ; но въ наше время привыкли дорожить отжившими писателями особенно по ихъ ближайшему отношенію къ эпохѣ, которой принадлежатъ они своею жизнью и дѣятельностью. Безотносительному достоинству нѣтъ болѣе мѣста въ исторіи литературы, какъ и въ исторіи вообще. Съ исторической точки зрѣнія часто пріобрѣтаетъ высокую цѣну писатель, который въ эстетическомъ отношеніи не выдерживаетъ никакой критики. Исторія частныхъ литературъ все болѣе и болѣе начинаетъ служить общему историческому дѣлу. Въ жизни каждаго частнаго дѣятеля, писа-

аля тѣмъ болѣе, кромѣ индивидуальныхъ его сторонъ, современнѣйшій намъ изслѣдователь любитъ еще отыскивать общія черты вѣка. Черта, раздѣлявшая до сихъ поръ двѣ смежныя часто совпадающія между собою области изученія, стирается съ каждымъ днемъ; однимъ словомъ, чѣмъ далѣе идетъ впередъ историко-литературное изученіе, тѣмъ больше сводится оно къ чисто историческимъ результатамъ.

Перейдемъ отъ плана къ самому его исполненію, чтобъ лучше познакомить читателей съ учеными приемами автора и способомъ его изложенія.

Какъ слѣдуетъ добросовѣстному біографу, который дорожитъ всѣми обстоятельствами жизни своего героя, г. Ешевскій начинаетъ съ подробностей, касающихся происхожденія Аполлинарія Сидонія, его воспитанія и первоначальнаго образованія. Изъ нихъ читатель узнаетъ, что Сидоній, родившійся около 430 года по Р. Хр., происходилъ отъ одной изъ аристократическихъ галльскихъ фамилій, которая удержала юный почетъ и подъ римскимъ владычествомъ. Высшія должности по управленію провинціею были въ ней какъ бы наслѣдственными. Итакъ, по роду и мѣсту своего происхожденія Сидоній принадлежалъ къ галло-римскому обществу, т. е., или въ жилахъ его текла чистая галльская кровь, то умственное его образованіе и внѣшнія формы должны были носить на себѣ римскій характеръ. Къ слову о школьномъ образованіи Сидонія авторъ рисуетъ намъ полную картину умственного состоянія Галліи въ V вѣкѣ, которой подробности заимствованы большею частью изъ того же писателя, хотя онъ пользовался при томъ и произведеніями другихъ его современниковъ. Картина, полная жизни и гармоніи. Авторъ умѣлъ искусно собрать разрозненныя черты когда-то цѣлаго историческаго явленія и освѣтить весь рисунокъ однимъ свѣтомъ. Подобный мозаическій подборъ фактовъ, предпринятый, цѣлію возстановить самое понятіе, которому они служили изображеніемъ въ жизни, занимаетъ весьма важное мѣсто въ историческомъ искусствѣ. Г. Ешевскій далъ прекрасный образецъ его въ первой главѣ своего сочиненія, соединивъ въ одинъ живой очеркъ всѣ сохранившіяся и тщательно собранныя имъ черты умственной физіономіи Галліи въ V вѣкѣ. Въ некоторыхъ періодическихъ изданіяхъ уже отдали должную справедливость этому замѣчательному очерку; мы можемъ только прибавить, что, съ своей стороны, видимъ въ немъ пробу историческаго таланта, отъ котораго въ правѣ ожидать многог-

го. Здѣсь наше дѣло будетъ состоять лишь въ томъ, чтобъ взять у автора нѣсколько выписокъ. Намъ затрудняетъ впрочемъ выборъ. Предѣлы журнальной статьи не позволяютъ намъ передать всей картины, а изъ многихъ частей ея не вдругъ можно рѣшиться отдать предпочтеніе одной передъ другою.

Возьмемъ самую яркую черту въ умственномъ быту Галліи, современномъ Сидонію. Это было время торжества риторическаго искусства. Вся письменность, какъ и все литературное образованіе, носила на себѣ риторическій характеръ, и довольно было достигнуть извѣстности ратора, чтобъ заслужить себѣ громкое имя въ цѣлой странѣ. Какъ должны завидовать запоздалые риторы нашего времени Сидонію и его современникамъ! Тогда ихъ искусство вѣнчалось даже поэтическою славой; хитросплетенная фраза заслуживала своему автору дипломъ на поэтическое достоинство. Двумя-тремя громкими панегириками можно было проложить себѣ дорогу къ безсмертію. Господствующій вкусъ видѣлъ всю поэзію въ искусственной рѣчи и не позволялъ замѣчать разсыпаемой въ ней лести. Но послушаемъ г. Ешевскаго, который имѣлъ случай наблюдать это странное явленіе на самомъ близкомъ къ нему разстояніи, т. е. изучая произведенія главныхъ его представителей, сколько еще уцѣлѣло отъ нихъ до нашего времени.

„Грамматикъ“ (говорить онъ въ своемъ очеркѣ, переходя такимъ образомъ отъ занятій философіею и правомъ къ другимъ предметамъ общаго образованія) „пролагалъ дорогу риторамъ и поэтамъ; анализируя лучшія сочиненія древнихъ, онъ работалъ надъ матеріаломъ, уже прежде даннымъ. Дѣло ратора было научить пользоваться этимъ матеріаломъ для самостоятельнаго труда. Объясненіе ораторскихъ приемовъ, правила расположенія рѣчи, употребленія фигуръ и троповъ, средства для достиженія эффекта — однимъ словомъ, вся внѣшняя сторона краснорѣчія была предметомъ риторики. Внутреннее содержаніе, очевидно, должно было, при такой постановкѣ, сойти на второй планъ, и можно сказать, что каждый новый успѣхъ риторики, каждый шагъ впередъ въ объясненіи законовъ краснорѣчія производился въ ущербъ самой сущности истиннаго ораторства. Среди толпы раторовъ трудно, если не невозможно, отыскать хотя одного оратора. Главнымъ средствомъ для изученія риторики были школьныя декламации, т. е. сочиненія, написанныя на извѣстную тему, съ цѣлью впрочемъ не столько развитія мысли, сколько доведенія формы до возможной степени совершенства. Предметы декламации были очень разнообразны и общаго имѣли только одну нелюбовь къ простотѣ и естественности, одно постоянное исканіе эффектовъ, во что бы то ни стало. Это были или рѣчи на замѣчательнѣйшіе судебные казусы, или вымышленныя рѣчи и письма историческихъ лицъ, или сочиненія въ

родъ похвалы глупости и безобразію. или наконецъ панегирики, любимый родъ сочиненій риторовъ временъ упадка, родъ, можно сказать, изобрѣтенный ими. Содержаніе декламации не имѣло ничего общаго съ дѣйствительностію. *Gemini languentis, venenum effusum, cadaveris rasti* и прочее въ этомъ родѣ очевидно могло только болѣзненно раздражить воображеніе; чувство было такъ напряжено, что не могло казаться искреннимъ. Страстное выраженіе шло изъ головы, а не изъ сердца, и единственное вліяніе декламаций, вліяніе въ высшей степени вредное, тѣмъ болѣе, что оно проникало всюду, состояло въ замѣненіи дѣйствительнаго чувства фальшивой напряженностію и головною экзальтаціей. Чѣмъ менѣе было настоящаго увлеченія, тѣмъ свободнѣе было декламатору выражать его. Среди школьных декламаций безвозвратно утрачивалось чувство простоты. Привыкшему къ этимъ упражненіямъ, по замѣчанію одного изъ древнихъ сатириковъ, было такъ же трудно сохранить чистоту вкуса, какъ чловѣку, цѣлый вѣкъ прожившему на кухнѣ — тонкость обонанія. За то литература, теряя во внутреннемъ достоинствѣ, выигрывала во внѣшнемъ объемѣ. Говоря о декламацияхъ, мы упомянули о панегирикахъ, какъ о главномъ родѣ. Возникшій въ Греціи, перешедшій въ Римъ въ значеніи похвального слова, панегирикъ сдѣлался какъ бы исключительнымъ достояніемъ галльскихъ ораторовъ. По крайней мѣрѣ большая часть изъ дошедшихъ до насъ панегириковъ написана въ Галліи. Здѣсь не мѣсто разсматривать этотъ родъ сочиненій; скажемъ только, что въ литературѣ нигдѣ такъ рѣзко не обнаруживалась утрата нравственнаго достоинства, нигдѣ лести не являлась въ такомъ возмутительномъ видѣ, какъ въ этихъ похвальныхъ рѣчахъ, произносимыхъ въ присутствіи самого предмета хвалы. Нравственное чувство читателя страдаетъ столько же за автора, сколько почти и за того, къ кому обращается ораторъ. Такъ низко становится обыкновенно панегиристъ, что невольно роняетъ и того, для возвеличенія котораго истощалъ онъ всю, мѣру собственнаго униженія. Говоря о панегирикахъ Сидонія, мы будемъ имѣть случай представить образецъ такого рода сочиненій. Замѣтимъ здѣсь только то, что панегирикъ Плинія Траяну былъ прототипомъ позднѣйшихъ, хотя нигдѣ мы не находимъ большаго разнообразія внѣшнихъ приемовъ, хотя панегиристы III и IV вѣковъ далеко оставили за собою первоначальный образецъ относительно утонченности и, если можно такъ выразиться, дерзости лести.

„Риторика составляла одинъ изъ главныхъ предметовъ образованія во всемъ древнемъ мірѣ; но нигдѣ, по крайней мѣрѣ въ западной его половинѣ, она не принялась такъ быстро, не приобрѣла такого значенія, какъ въ Галліи. Кельтскій народный характеръ заключалъ въ себѣ всѣ условія риторства; къ тому же, въ западной половинѣ римскаго міра, кельты, благодаря вліянію фокейскихъ колоній, ранѣе другихъ народовъ познакомились съ этой наукой. Первый преподаватель риторики въ Римѣ на латинскомъ языкѣ былъ галль, и ни одна провинція не доставила Риму большаго числа риторовъ. Въ Галліи риторство явилось съ отличительными особенностями кельтскаго народнаго характера, — особенностями, замѣченными римлянами при первомъ появленіи галльскихъ ораторовъ. Эти особенности: легкость рѣчи, плодovitость воображенія, эффектность, *argute loqui*, сохранили галль-

скіе ритори до послѣднихъ временъ римской литературы. Во время Сидонія школы еще были наполнены риториками. Въ бордоской, которую приготовила, по словамъ Аввонія, тысячу изъ своихъ воспитанниковъ для форума, двѣ тысячи для сената и для тогъ, обшитыхъ пурпуромъ, преподавалъ Ламридій, одна изъ литературныхъ знаменитостей своего времени. Въ Вьеннѣ читалъ не менѣе знаменитый риторъ Сапаудъ, въ дѣйтельности котораго полагалъ Мамертъ Клавдіанъ единственную надежду на возрожденіе наукъ, который соединялъ въ себѣ, по словамъ Сидонія, „правильное расположеніе рѣчи Полемона, важность Галліона, плодovitость Дельфидія, силу Альцима, деликатность Адельфа, точность Магна Арборія и нѣжность Викторія“. Эти сравненія бесполезны для насъ, потому что отъ знаменитостей IV и V вѣковъ остались одни имена; но Сидоній, истощивъ запасъ славныхъ современниковъ и ближайшихъ по времени предшественниковъ, уже не задумывается поставить Сапауда рядомъ съ Квинтилианомъ. Къ нему и Прагмацію примыкали немногіе, еще заботившіеся о красотѣ и правильности латинскаго языка. Въ Клермонѣ славился Домицій, отличавшійся строгостію своихъ сужденій, и въ послѣдствіи Іоаннъ, одинъ изъ послѣднихъ представителей краснорѣчія среди гибели римской образованности. Современники и потомство должны бы, по мнѣнію Сидонія, воздвигнуть ему статую, какъ Демосѣену и Цицерону. Въ Ліонѣ и Марселѣ были преподаватели, составившіе себѣ извѣстность, наприкладъ, Марій Викторъ Марсельскій. Наконецъ профессоромъ же риторики былъ по всей вѣроятности и Северіанъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ поэтовъ Галліи въ половинѣ V вѣка. Кажется, отъ этого Северіана дошло до насъ сочиненіе: *Syntomata sive praescripta artis rhetoricae*—выборка изъ разныхъ писателей о риторикѣ. Мы знаемъ также и тѣ образцы, изученіе которыхъ, по мнѣнію лучшихъ людей этого времени, было необходимо для образованія оратора. Это были Навій и Плантъ для изящной рѣчи, Катонъ для важности, Варронъ для искусства, Гракъ для фѣдой остроты Хризиппъ для выработанности, Фронтонъ для пышности рѣчи, наконецъ Цицеронъ для усвоенія самой сущности краснорѣчія. Такимъ образомъ внѣшняя обстановка была еще довольно завидная. Стоитъ только повѣрить на слово современникамъ, даже тѣмъ, жалобы которыхъ на упадокъ древней науки заставляютъ, по видимому, не предполагать въ нихъ излишняго и ни на чемъ не основаннаго увлеченія, и мы можемъ подумать, что перенеслись въ дѣйствующее время римскаго краснорѣчія: такъ много мы найдемъ славныхъ преподавателей, знаменитыхъ ораторовъ по всѣмъ родамъ ораторскаго искусства. Къ сожалѣнію, дошедшіе до насъ образцы не оставляютъ и тѣни сомнѣнія относительно дѣйствительнаго достоинства знаменитѣйшихъ произведеній тогдашняго времени. Надобно имѣть дѣтскую довѣрчивость ученыхъ бенедиктинцевъ конгрегаціи св. Мавра и какое то наивное благоговѣніе къ тогдашнимъ авторитетамъ, чтобы безъ улыбки повторять отзывы другъ о другѣ писателей V вѣка и основывать на нихъ свое сужденіе. Все вниманіе писателей V вѣка было обращено на форму. Эффектное сопоставленіе словъ и мыслей, мелочная отдѣлка каждой фразы, щегольство необыкновенными, изысканными выраженіями и словами, дешевое остроуміе, игра антитезами и другими фигурами и какой-то страхъ передъ естественностію мысли

и выраженія—вотъ отличительныя черты тогдашняго риторства, черты, лучше всякихъ современныхъ сожалѣній, свидѣтельствующія о глубокомъ паденіи вкуса и преданій цвѣтущаго времени литературы. Старческимъ безсиліемъ и въ то же время дѣтствомъ, въ которое впадаютъ иногда отживающіе люди и народы, отзываются произведенія раторовъ и ораторовъ. Если свѣжая, сильная мысль пробивается часто сквозь риторическую оболочку, заставляя богатствомъ внутренняго содержанія забывать о формѣ, въ которой она выражена—эта мысль возникла не изъ древней науки, не изъ языческаго сознанія; она явилась извнѣ, порождена христіанствомъ, и если облеклась въ формы языческой литературы, то это потому, что эти формы были пока единственными, что не выработались еще новыя, ей свойственныя“.

Любопытно было бы опредѣлить настоящія причины такого не совсѣмъ обыкновеннаго явленія. Авторъ и старался сдѣлать это въ своемъ очеркѣ, но, по нашему мнѣнію, не довольно ясно различилъ въ одномъ явленіи случайное отъ существеннаго. То причину успѣховъ риторическаго направленія въ Галліи видитъ онъ въ народномъ кельтскомъ характерѣ, то приписываетъ то же самое явленіе дряхлости римской цивилизаціи и соединенной съ нею образованности, усвоенной галлами. О произведеніяхъ галльскихъ раторовъ и ораторовъ онъ говоритъ, что они отзываются „старческимъ безсиліемъ и въ то же время дѣтствомъ, въ которое впадаютъ иногда отживающіе люди и народы“. Если такъ, то преобладаніе риторства въ Галліи V вѣка не должно удивлять насъ болѣе. Передъ нами одряхлѣвшій народъ, отживающій свой историческій вѣкъ; передъ нами безсиліе старческой мысли народа, утратившей всякую производительность; передъ нами, наконецъ, процессъ разложенія народной жизни, возвращающейся на конецъ дней почти къ дѣтскому состоянію. Галльскіе писатели V вѣка не что иное, какъ старыя дѣти, которыя утратили настоящее чувство изящнаго и забавляются подъ именемъ поэзіи риторическими игрушками. Отъ нихъ ужъ нечего болѣе ожидать; собственно говоря, они отжили свое время и, такъ сказать, улыбаются въ послѣдній разъ передъ закатомъ своихъ дней. Дополняя свой очеркъ характеристикою поэзіи того же времени, авторъ еще разъ утверждаетъ ту же самую мысль. „Разсматривая дошедшія до насъ поэтическія произведенія IV и V вѣковъ“ (говоритъ онъ), „мы найдемъ новыя доказательства старческаго безсилія, о которомъ уже говорили“. Сдѣлавъ потомъ перечень господствующихъ поэтическихъ произведеній, онъ прибавляетъ: „изъ этого преобладанія описательной поэзіи можно уже вывести заключеніе объ

упадкѣ поэзіи, хотя въ стихотвореніяхъ этого рода и встрѣчаются иногда граціозные образы и довольно счастливыя изображенія картинъ природы“. Нѣсколько выше употребительнѣйшія поэтическія упражненія, которыя особенно были въ ходу между галльскими писателями, называются также „ребяческими“. Мы, очевидно, попали въ очарованный кругъ народной старости и свойственнаго ей дѣтства, кругъ, изъ котораго единственно возможный выходъ — конечная гибель самой народности, неспособной болѣе удержать свое мѣсто въ исторіи.

Было бы ни съ чѣмъ не сообразно защищать Римскую имперію противъ упрека въ истощеніи жизненныхъ силъ и въ глубокомъ паденіи нравовъ и учрежденій. Но надобно знать, на кого собственно падаетъ этотъ упрекъ. или какая народность всего болѣе должна быть въ отвѣтѣ за него. Римская имперія, какъ всякому извѣстно, означаетъ единство государственнаго начала, но не единство народностей. Понятно, что римляне одряхлѣли и даже впали въ нѣкотораго рода дѣтство передъ концомъ своего политическаго существованія; но неужели то же самое и съ тою же силою можно утверждать о другихъ народностяхъ, которыя входили въ составъ всемирной имперіи? Ахайскіе греки, давно пережившіе свою народную славу, конечно стояли тогда не выше римлянъ и можеть-быть еще менѣе носили въ себѣ залоговъ будущаго величія; но нельзя поравнять съ ними галловъ, которые, какъ ни глубоко восходили въ древность своими началами, недавно еще выступили на историческую сцену и до сихъ поръ играли на ней лишь второстепенную роль. Мы не говоримъ о старыхъ походахъ галловъ въ Италію, когда еще общій племенной бытъ поглощалъ въ себѣ отдѣльныя народности. Собственно такъ называемая галльская народность, которой внѣшнее распространеніе опредѣляется границами Галліи, впервые выступаетъ ясно только при Юліи Цезарѣ. Доселѣ разрозненная племенными раздѣленіями, она только подъ грозою римскаго завоеванія пришла къ сознанію своего единства и однимъ дружнымъ усиліемъ думала спасти свою самостоятельность. Но ея ли нестройнымъ ополченіямъ было устоять противъ геніальнаго полководца, который во всей современности не зналъ себѣ равнаго по оружію? Галлія должна была покориться Риму и при самомъ первомъ вступленіи своемъ въ историческую жизнь стать подъ чужую опеку. Ранняя зависимость отъ Рима безспорно принесла свою пользу для Галліи. Съ этого времени

шлось ея воспитаніе и образованіе подъ римскимъ началомъ. Благодаря счастливой воспріимчивости галловъ, римскія понятія правы, римская образованность вообще, легко принимались всю ними и укоренялись на новой почвѣ какъ во второмъ чествѣ. Особенно успѣшно шло дѣло въ областяхъ, прилежащихъ къ Италіи. Плиній въ свое время почти уже не нашлъ различія между Италіею и юго-восточною Галліею. Конечно, съ успѣхами римской цивилизаціи на гальской землѣ да проникали и всѣ ея недостатки, слабости, наконецъ сама эта порча понятій и нравовъ, которою она видимо страдала въ послѣднее время. Если литература въ Италіи утрачивала первоначальную свѣжесть и приняла фальшивое направление, то подражательная литература Галліи могла избѣжать этого недостатка еще менѣе. Если риторство процвѣтало въ Римѣ, то какъ было ему не имѣть успѣха въ Галліи, въ ничто еще не созрѣло для самостоятельной политической жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ для истиннаго краснорѣчія? Римляне утратили чувство истины и изящнаго въ искусствѣ: юго же бы галлы, проходя сами римскую школу, имѣли ли болѣе? Образованіе рѣдко начинается съ духа; большею мѣрою оно долго останавливается на формѣ. Признаки старческаго притупленія смысла, господствовавшіе въ римской письменности, какъ и въ римской жизни, не могли не привиться къ гальской литературѣ, которая выражалась однимъ съ нею языкомъ. Но слѣдуетъ ли отсюда, чтобъ галлы одряхлѣли только же, сколько и римляне, и чтобъ дѣтство, обнаружившееся въ ихъ понятіяхъ объ искусствѣ, не имѣло здѣсь того смысла, чѣмъ въ Римѣ? или что подъ этимъ кажущимся старчествомъ скрывалось также мало свѣжихъ жизненныхъ силъ?

Въ Юліи Цезарѣ имѣемъ мы неподкупнаго свидѣтеля, что сами въ его время имѣли уже свою оригинальную народную мѣномію. Его «Комментаріи» о гальской войнѣ есть беззастѣнчивый памятникъ перваго проявленія гальской народности ея подлинномъ видѣ, внѣ всякаго посторонняго вліянія¹⁾. Сама ихъ, всякій чувствуетъ присутствіе того же народнаго

¹⁾ Изъ всѣхъ памятниковъ древности, касающихся Галліи, достаточно, нашему мнѣнію, однихъ «Комментаріевъ» Цезаря для опроверженія новаго Гольцмана о кельтахъ и германцахъ (Kelten und Germanen), написанной цѣлью стереть родовое различіе между ними и слить ихъ въ одно большое племя. Подробный анализъ книги Цезаря съ этой точки зрѣнія былъ бы немалой заслугою науки.

генія, подъ главнымъ вліяніемъ котораго сложилась и вся послѣдующая исторія страны. Еще нѣтъ на сценѣ то что мы называемъ французскою націею (для того, чтобы могла образоваться, должны были привзойти сюда еще нѣкоторые посторонніе элементы), но по многимъ признакамъ уже узнаете ея будущія черты. Тѣ свойства, которыя, мы справедливо замѣчаетъ г. Ешевскій, составляютъ основу галскаго народнаго характера, почти всѣ здѣсь на лицо. Писавшая событія своей борьбы съ галлами, Цезарь то и дѣла выставляетъ на видъ ихъ безпримѣрную подвижность, легковѣрность, жадность, съ которою они бросаются на случайную склонность къ паническому страху съ одной стороны и къ способности къ скорому и горячему воодушевленію съ другой стороны. Надобно читать особенно исторію возстанія галловъ Верцингеториксъ, чтобы видѣть, до какой степени чувствительны были они къ своей народной независимости, и какъ мгновенно при угрожающей ей опасности, вся страна загоралась однимъ пламенемъ всеобщаго воинственнаго одушевленія, несмотря на различіе мѣстныхъ и племенныхъ интересовъ; но при этомъ надобно также опускать изъ виду огромное вліяніе, которое при извѣстныхъ обстоятельствахъ, всегда имѣла у того народа отдѣльная личность, чему самый ранній примѣръ видимъ на Верцингеториксѣ. Перенесемся отсюда въ другой періодъ исторіи Галліи, когда она, едва только окончивъ широкое римскаго образованія, перешла въ руки германскихъ завоевателей. На сценѣ не видно болѣе галльской народности; но это значитъ, чтобы ея вовсе не было. Она не исчезла, не уничтожилась, но только временно закрыта преобладаніемъ пришлаго завоевателей, которые присвоили себѣ всѣ политическія права въ Галліи: ссылаемся на превосходное изслѣдованіе Петиньи. Пусть другіе отыскиваютъ неоспоримое участіе галло-римскаго элемента во внутренней и внѣшней политикѣ Меровинговъ; мы, съ своей стороны, считаемъ достаточно указать на одно литературное явленіе того времени, какъ очевидный признакъ продолжающагося дѣйствія галльской народности въ эпоху франкскаго преобладанія. Образованіе читателю извѣстно хотя по слуху имя Григорія Турскаго автора «Церковной исторіи Галліи». Прибавимъ, что сочиненіе написано по-латыни, и что, подъ именемъ исторіи галльской церкви, въ немъ излагаются главнымъ образомъ дѣла Меровинговъ второго поколѣнія и ихъ отношенія между собою, часто достигающія высокаго драматическаго интереса. Ч

ольше одолѣваешь трудности языка и всматриваешься въ тѣльныя черты разсказа, тѣмъ больше видишь передъ собою живыя лица. Авторъ владѣлъ какимъ-то особеннымъ даромъ хватывать личное, индивидуальное. Онъ всего менѣе систематикъ: нерѣдко исторія его принимаетъ чисто анекдотическій характеръ; но изъ этихъ анекдотовъ, изъ разныхъ мелкихъ подробностей и приводимыхъ краткихъ изреченій въ воображеніи читателя нечувствительно слагается полный и цѣлый образъ дѣйствующаго лица. Такимъ образомъ, хотя въ разбѣянныхъ чертахъ, вы проходите цѣлую его исторію, знаете господствующія его наклонности и можете даже услѣдить развитіе въ немъ той или другой страсти. Обошедшіе весь образованный міръ живые очерки меровингской эпохи Огюстена Тьерри были бы невозможны безъ Григорія Турскаго. Авторъ «Меровингскихъ разсказовъ» лишь наложилъ руку художника на матеріалъ, иногда довольно безпорядочный, стараго очевидца-историка того времени. Нисколько не думая писать характеристикъ, Григорій, однако, ярко изобразилъ современные ему характеры; но онъ не забылъ также и дѣятелей второстепенныхъ, которые играли въ своей современности темныя, часто едва замѣтныя роли. Вообще, читая его, видишь передъ собою широкій театръ дѣйствія, наполненный множествомъ разнообразныхъ лицъ. Ничего подобнаго не было, да и не могло быть во всей современной исторіографіи. Франція, очевидно, имѣла въ его твореніяхъ, задолго до Жуанвиля и Фроассара, превосходные историческіе мемуары. Еще не было изобрѣтено названіе вещи, какъ она уже существовала въ той же самой странѣ, которая потомъ въ такомъ обилии произвела Коминовъ, Флеранжей, Кастельно, Тавановъ, Сенъ-Симоновъ и пр. и пр. Всякій пойметъ, что явленіе находилось въ тѣсной связи съ геніемъ той народности, которой оно принадлежало, и никто, разумѣется, не подумаетъ приписать его происхожденіе франкскому или, что почти то же, германскому вліянію. Этотъ родъ историческихъ произведеній всего болѣе чуждъ германскому народному духу. Остается лишь для объясненія закрытая и на время оттѣсненная съ перваго плана галльская народность, которая и отразилась въ твореніи Григорія Турскаго. Юлій Цезарь съ одной стороны и Григорій Турскій съ другой даютъ намъ право предполагать существованіе не смѣшанной съ другими галльской народности и въ промежутокъ времени между обоими писателями. Ближе къ послѣднему, именно въ V вѣкѣ, выраженія ея надобно искать также скорѣе

всего въ литературѣ. Къ этимъ литературнымъ представителямъ галльской народности, кажется намъ, должно въ особенности причислить Аполинарія Сидонія, вмѣсто того, что заносить его въ общій списокъ писателей, которые наполняютъ послѣдній періодъ римской литературы. Но въ такомъ случаѣ мѣняется и самая точка зрѣнія на него. Онъ пересталъ бы для насъ представителемъ одного старческаго упадка силъ и изнеможенія: поискавъ, мы можетъ - быть найдемъ въ немъ признаки *другого* дѣтства, того, которое каждый народъ необходимо переживаетъ въ началѣ своего развитія.

Если г. Ешевскій не сдѣлалъ того же, причина тому, полагаемъ мы, заключается главнымъ образомъ въ языкѣ и въ литературныхъ *формахъ* произведеній Сидонія. Но оба эти признака довольно сомнительнаго свойства. Такъ, языкъ не всегда еще даетъ право заключать о самой народности писателя. Не восходя далеко въ древность, можемъ сослаться на болѣе близкій примѣръ во второй разъ возрождающейся итальянской литературы въ XV вѣкѣ. Несмотря на то, что формы литературнаго итальянскаго языка были уже достаточно твердо установлены твореніями Данта, Петрарки, Боккачіо и другихъ, большая часть писателей послѣдующаго столѣтія употребляла латинскій языкъ. Поэтическія произведенія въ особенности писались чаще по-латыни, чѣмъ по-итальянски. Столько же двусмысленны употребляемыя Сидоніемъ *формы* литературныхъ произведеній. Онѣ равно могутъ служить признакомъ старческой, переживающей свое послѣднее время литературы, какъ и возрождающейся вновь по чужимъ образцамъ. Всего яснѣе можно видѣть это на Италіи въ начальную эпоху такъ называемаго возрожденія наукъ. Нѣкоторое время, до Аріоста и Тасса, почти вся обширная производительность итальянскихъ поэтовъ ограничивалась возобновленіемъ самыхъ легкихъ литературныхъ формъ, поставляющихъ свою цѣль не столько въ содержаніи, сколько въ побѣжденіи внѣшнихъ трудностей. Стихотворная форма господствовала надъ прозаическою, но наполнялась болѣею частью дидактическимъ или аллегорическимъ содержаніемъ. Если даже встрѣчалось вдохновеніе, оно носило на себѣ болѣе риторическій, нежели поэтический характеръ. Занимались гораздо больше расположеніемъ словъ и отдѣлкою стиховъ, нежели самою мыслію. Таковъ былъ господствующій вкусъ времени. Подъ вліяніемъ древнихъ образцовъ возрождавшееся вновь литературное искусство въ Италіи хотѣло прежде всего

адѣть виѣшнею формою. Понтанъ, одна изъ первыхъ литературныхъ знаменитостей вѣка, писалъ свои сочиненія не на чуждѣмъ, какъ по-латыни, и прославился особенно, подобно Сидонию, своими „эндекасиллабами“. Воззванія къ возлюбленной, жесткія приглашенія на домашнюю пирушку и тому подобныя предметы достаточно наполняли его поэтическіе досуги. Благодаря тому, онъ написалъ «Уранію» — стихотвореніе на звѣздное небо, «Садъ Гесперидъ», въ которомъ воспѣлъ уходъ за апельсиновыми деревьями, и «Осла» (Asinus), родъ сатирическаго юга, по случаю заключенія мира. Саннацаръ, другая почетская слава эпохи, также употреблялъ для своихъ произведеній латинскій языкъ предпочтительно передъ итальянскимъ. Латинскія элегіи и эпиграммы занимаютъ самое видное мѣсто между его сочиненіями. Надъ однимъ своимъ стихотвореніемъ (*partu virginis*) онъ работалъ двадцать лѣтъ, спрашивая совета у критиковъ и мѣняя многіе стихи по десяти разъ. «Мадіа», знаменитѣйшее изъ его итальянскихъ произведеній, которое до 1600 года имѣло 60 изданій, есть не что иное, какъ длинный и утомительный своимъ однообразіемъ діалогъ комическаго характера между аркадскими пастухами. При такой доброй волѣ въ наше время нельзя болѣе одолѣть его изъ скуки. Есть и другіе примѣры литературной извѣстности, изобрѣтенной, можно бы почти сказать, „дѣтскими“ упражненіями въ литературѣ. Габріелю Альтилию (Altilius) достаточно было написать удачную „эпитафаму“ на свадьбу герцога Юрцы, чтобъ прославиться поэтическимъ талантомъ между своими современниками. Изъ разныхъ родовъ прозаическихъ произведеній, особенно въ ходу были „панегирики“. Впрочемъ, писали также и стихотворною рѣчью. Случалось даже, панегирикамъ давали возвышенную эпическую форму. Въ вѣкъ рѣдкій изъ итальянскихъ принцевъ не имѣлъ у себя двухъ или нѣсколькихъ панегиристовъ, ничего не имѣвшихъ для прославленія громкими словами своихъ высочайшихъ покровителей. Въ одно и то же время Бембо превозносилъ заслуги Гвидобальдо Монтефельтри, герцога урбинскаго, на латыни, а Кастильйоне выхвалялъ его же достоинства по-итальянски. Поэтъ Арривабене написалъ въ честь своего покровителя, Франческо Гонзаги, герцога мантуанскаго, цѣлую книгу подъ названіемъ: «Четыре книги Гонзагиды» (*Gonzagidos i IV*).

Не думая впрочемъ истощить этотъ предметъ, мы хотѣли только показать на нѣсколькихъ примѣрахъ изъ позднѣйшей

литературной эпохи, что употребленіе латинскаго языка и извѣстныхъ литературныхъ формъ, которыя авторъ «Сидонія» называетъ ребяческими, не всегда можетъ служить доказательствомъ упадка и предсмертной старости въ историческомъ ходѣ народной письменности. Безъ латинскаго языка не обходилась въ своемъ началѣ ни одна изъ новыхъ литературъ западной Европѣ. Если бъ дѣло шло только о римлянахъ, не могло бы быть никакого спора о настоящемъ смыслѣ извѣстныхъ литературныхъ явленій; но какъ сюда замѣшаны еще другія народныя силы, то вопросъ о литературѣ легко можетъ принять совсѣмъ другой оборотъ. Чтѣ въ отношеніи къ римлянамъ прямо свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ упадкѣ поэтической производительности и истиннаго вкуса между ними, то же самое, въ приложеніи къ другому, болѣе молодому народу, можетъ только служить доказательствомъ незрѣлости его понятій и неопытнаго пристрастія къ внѣшнимъ формамъ. По крайней мѣрѣ нельзя безусловно отвергнуть задачи, не подвергнувъ ея напередъ обстоятельному изслѣдованію. Для начинающихъ самое главное въ искусствѣ—форма; и сколько разъ повторялось извѣстное явленіе, что литература которая начала съ подражанія, долгое время не могла подвинуться далѣе усвоенія себѣ нѣкоторыхъ внѣшнихъ приѣмовъ и поставляла всю свою задачу въ умѣнны употреблять ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ. Какое ни дайте содержаніе новичкамъ въ литературной дѣятельности, они прежде всего постараются испытать на немъ свое формальное искусство. Кромѣ сочиненій Сидонія, г. Ешевскій приводитъ еще нѣсколько примѣровъ изъ духовной литературы того же времени, подтверждающихъ нашу мысль. Такъ Просперъ Аквитанскій изложилъ высокое ученіе Августина въ 392 эпиграммахъ; Клавдій Марій Викторъ облекъ свои коментаріи на Книгу Бытія въ классическіе гекзаметры; Эвхаристиконъ Павлина, „одно изъ самыхъ замѣчательныхъ произведеній V вѣка, столько же по интересу самого содержанія, сколько и по искреннему чувству“, Эвхаристиконъ, „котораго цѣль прославленіе верховной благодати, а не исканіе литературной извѣстности“, написанъ тѣмъ не менѣ стихами. Этихъ примѣровъ достаточно, чтобъ видѣть настоящее значеніе формы въ извѣстную пору литературнаго образованія; тутъ едва ли прилагается понятіе о дряхлости и соединенномъ съ нею приглушеніи мысли! Упомянутые писатели принадлежали ужъ обновленному христіанствомъ обществу, но далеко еще не были

бодны отъ обаянія формы. Вотъ почему не можемъ мы нять безусловно и общаго заключенія автора' о литературѣ з времени, состоящаго въ томъ, что „последній вѣкъ существованія Западной Римской имперіи, V столѣтіе было и лѣднимъ временемъ римской литературы, остававшейся въ ихъ основаніяхъ языческою“. О римской литературѣ нѣтъ ра; но не слѣдуетъ ли отдѣлить въ ней, несмотря на общія мы, особую отрасль литературы Галліи съ ея спеціаль- нмъ значеніемъ?

Надѣмся, что вопросъ разъяснится намъ еще болѣе, когда, ѣдъ за авторомъ, мы перейдемъ къ характеристикѣ Сидонія :ъ чловѣка и писателя.

Картину литературнаго образованія Галліи въ V вѣкѣ Ешевскій дополняетъ мастерскимъ изображеніемъ жизни юго общества, современнаго Сидонію. Тщательное изученіе рбностей въ источникахъ соединилось здѣсь съ замѣчатель- нмъ искусствомъ изложенія. Возстановля историческое явле- въ подлинныхъ его чертахъ, авторъ умѣлъ въ то же время идать ему необыкновенно свѣтлый жизненный колоритъ. игодаря своему собственному добросовѣстному изученію пи- еля, онъ нашелъ секретъ быть занимательнымъ даже послѣ ріеля, который посвятилъ тому же предмету особую главу своей «Исторіи южной Галліи». Въ нѣкоторомъ отношеніи, исаніе галльскаго общества въ V вѣкѣ, его положеніе и азъ жизни, сдѣланное нашимъ молодымъ ученымъ, заслу- васть даже предпочтенія — такъ хорошо умѣлъ онъ соеди- гъ въ своемъ очеркѣ отдѣльныя черты, разсѣяныя въ пере- жѣ Сидонія, и составить изъ нихъ одно цѣлое! Къ сожалѣ- ю, и здѣсь мы должны ограничиться лишь одною частью : очерка. Избираемъ для нашихъ читателей самое начало : или описаніе роскошныхъ виллъ, въ которыхъ проводили е время богатые землевладѣльцы Галліи, составлявшіе самую иазованную часть тогдашняго общества.

„Обратимся къ внѣшней обстановкѣ жизни богатыхъ галло-рим- гъ и начнемъ съ жилища. Сидоній оставилъ намъ подробное опи- іе Авитакума и виллы Леонція. Въ другихъ письмахъ встрѣчаются рбности о расположеніи зимнихъ и лѣтнихъ резиденцій. Виллы юались обыкновенно на красивыхъ мѣстоположеніяхъ, на берегу ки или озера, на возвышеніяхъ, покрытыхъ оливами и виноградни- ки. Передъ виллой Сидонія была равнина, окаймленная холмами, и цѣлѣцъ оставилъ намъ картинное описаніе озера, разстилавшагося цъ самыми окнами столовой. Замокъ Леонція стоялъ на высокой ѣ при самомъ впаденіи Дордоны въ Гаронну. На красивое мѣсто-

положеніе старались обратить вниманіе посѣтителей; близость воды была необходимымъ условіемъ; безъ термъ, купаленъ нельзя представить себѣ римской виллы. Купальни были двухъ родовъ: горячія и холодныя. Въ помѣстьѣ Сидонія теплая ванна помѣщалась подъ глѣсистую скалою, такъ что дрова рубились почти у самой печи. Ванна устроена была полукружіемъ и горячая вода, проведенная гибкими свинцовыми трубками, струилась изъ многочисленныхъ отверстій въ стѣнкахъ. Обиліе свѣта заставляло скромниковъ, по словамъ Сидонія, еще болѣе стыдиться своей наготы. Холодная купальня была не далеко отъ теплой. Это было квадратное зданіе съ крышей, сведенной конусомъ, съ черепичными желобами по угламъ и съ окнами въ сводахъ, сѣвоязъ которые снаружи можно было видѣть искусно расписанный потолкомъ. Размѣры были такіе, чтобы имѣть все нужное подъ руками, не стѣсняясь присутствіемъ толпы служителей. Лощенныя стѣны блистали бѣлизною. Сидоній говоритъ, что въ его купальнѣ нѣтъ картинъ, которыя своимъ содержаніемъ быть-можетъ возвышаютъ искусство, но за то унижаютъ художника. Эта похвала скромности изображеній заставляетъ предполагать, что въ купальняхъ другихъ владѣльцевъ встрѣчалось противное. По стѣнамъ и у входа были написаны легкія стихотворенія, которыя читались въ первый разъ безъ принужденія, хотя и не возбуждали охоты во вторичному чтенію. Купальни украшались мраморами. Если скромныя термы Сидонія довольствовались мраморомъ, добытымъ въ Галліи, за то въ баняхъ Леонція многочисленныя колонны изъ дорогого краснаго камня поддерживали золоченую крышу. Имя строителя или хозяина читалось на надписи, вѣзанной у входа. Къ теплымъ ваннамъ присоединялся водоемъ (piscina), наполняемый водою, проведенной съ горъ каналами. Въ Авитакумъ къ нему велъ тройной входъ, раздѣленный колоннами; вода лилась изъ шести львиныхъ головъ, которыя могли, по словамъ Сидонія, устроить входящаго гривистой шеей, рядомъ зубовъ и свержающими глазами. Шумъ воды заглушалъ разговоры; приходилось говорить на ухо и смѣшно было видѣть, какъ таинственно говорили о пустякахъ купающіеся. На устройство купаленъ обращалось большое вниманіе. Тамъ, гдѣ онѣ еще не были выстроены, замѣняли ихъ временными помѣщеніями, удовлетворявшими одной изъ существенныхъ потребностей римскаго образа жизни. На берегу рѣки или озера выкапывали небольшой ровъ, надъ которымъ изъ гибкихъ вѣтвей орѣшника устраивали навѣсъ, покрытый сверху плотнымъ покрываломъ. Въ ровъ клали раскаленные до красна камни и поливали ихъ водою. Горячій паръ собирался подъ навѣсомъ, подъ который входили на нѣсколько времени, чтобы броситься потомъ въ холодныя волны рѣки. Изнѣженный римлянинъ сошелся въ привычкахъ съ русскимъ простолюдиномъ“.

„Самая вилла устроивалась въ двухъ отдѣленіяхъ, зимнемъ и лѣтнемъ. Портки, поддерживаемыя колоннами, украшенныя картинами, занимали одно изъ видныхъ мѣстъ. Здѣсь отдыхали послѣ обѣда, любясь красотою природы, прогуливались и принимали гостей. Портки устраивались такъ, что могли доставлять прохладу и тѣнь во всякое время; съ разныхъ сторонъ примыкали они къ главному зданію. Въ замкѣ Леонція стѣны портка, обращеннаго къ югу, были украшены картинами битвъ Лукулла съ Митридатомъ; на стѣнахъ

ней половины изображены были сцены изъ библейской исторіи. Ронвались также криптопортики, темныя галлерей, въ которыхъ да можно было найти освѣжающую прокладу. Здѣсь давались обѣды для кліентовъ и слугъ, и говорливая толпа не мѣшала покою хозяина. Расположеніе зимней и лѣтней половины деревенскаго дома о почти одинаково. Зимняя нагрѣвалась каминами и желѣзными бани, проводившими теплоту. Въ письмахъ Сидонія мы встрѣчаемъ саніе вестибула, приѣмной комнаты, гдѣ играли въ шары и кости, гдѣ помѣщалась также библіотека, триklinіевъ зимнихъ и лѣтнихъ, ювухъ (*diaeta* или *coenatiuncula*). Въ Авитакумѣ, широкія ступени и изъ столовой въ портикъ, гдѣ гость въ промежуткахъ обѣда могъ овататься видомъ озера, не оставляя почти своихъ собесѣдниковъ. орится о спальняхъ (*dormitorium subiculum*), о сакраріумѣ и т. д. гун, картины, мраморы украшали комнаты богатыхъ галло-римлянъ. упоминали о библіотекахъ. У Сидонія мы встрѣчаемъ частныя ука- а, изъ которыхъ можно заключить, что библіотека составляла по- еобходимую принадлежность каждой виллы. Описывая пружіанскую ку Тонанція Ферреола, Сидоній входитъ въ любопытныя подробно- ость устройствъ библіотеки владѣльца. Она дѣлилась на три части. ги, расположенныя подлѣ кресель, предназначенныхъ для женщинъ, и исключительно религіознаго содержанія. Часть библіотеки, со- вившая изъ серьезныхъ произведеній изыческой литературы Греціи има, назначалась для мужчинъ. Наконецъ третій отдѣлъ состоялъ знягъ духовнаго и свѣтскаго содержанія, читавшихся безразлич- и мужчинами и женщинами. Здѣсь встрѣчались творенія блаж. Авгу- на рядомъ съ Горациемъ и Варрономъ, Оригенъ, въ переводѣ ина, вмѣстѣ съ Пруденціемъ. Октавіанская вилла Консенція, не ко отъ Нарбонны, могла похвалиться обширною и прекрасно со- менною библіотекою. Есть указанія на музеи, находившіеся при ихъ. Около господскаго дома или въ связи съ нимъ помѣщались ийственные постройки. Галло-римскіе господа любили, чтобы все ное для дома приготовлялось ихъ собственными мастеровыми и ги многочисленной прислуги были не только рабочіе, но и худож- и. Не забудемъ одной характеристической особенности деревен- къ жилищъ IV и V вѣковъ. Роскошныя виллы, расположенныя на ющихъ мѣстоположеніяхъ средней и южной Франціи, были обне- ы стѣнами и многія могли выдержать осаду въ случаѣ необходи- ги. Высокія стѣны и башни, не боящіеся осадныхъ машинъ, окру- и жилище Леонція. Безпечная жизнь галльскихъ вельможъ неволь- кожна была окружать себя предосторожностями. Толпы варваровъ или по Галліи, и защитники Римской имперіи мало чѣмъ отлича- ь отъ непріятелей. Ограбить имѣніе, перебить служителей—было нихъ дѣломъ обыкновеннымъ. Багоды въ своихъ опустошитель- ь возстаніяхъ прежде всего обращались на помѣстья и загород- ь виллы, гдѣ имъ представлялась болѣе легкая добыча, нежели въ дахъ, защищенныхъ стѣнами, и гдѣ кромѣ того обитали ихъ бли- іе и опаснѣйшіе враги, главныя орудія невыносимыхъ притѣсне- фиска. Во второй половинѣ V вѣка мы уже не встрѣчаемъ въ Галліи ьшихъ возстаній багодовъ, но частныя грабежи болѣе, чѣмъ когда- ьдѣ, не были рѣдкостію. Шайки разбойниковъ нападали на деревни,

уводили людей и продавали въ рабство. Населеніе Галліи звал именовъ варговъ—словомъ, безразлично употреблявшимся у германскихъ и скандинавскихъ народовъ въ значеніи хищнаго звѣря (волка), разбойника и отверженника общества. Время было такое, стѣны и башни не были только украшеніемъ виллы, а одною изъ потребностей. Къ V вѣку относится начало многихъ замковъ во Франціи. Недалеко отъ деревни Дромонъ, въ верхнемъ Провансѣ сохранилась надпись съ именемъ Дардана, указывающая мѣсто новой крѣпости. Пользовались остатками древнихъ, еще кельтскія укрѣпленія, строили новыя въ горахъ, гдѣ самая мѣстность способствовала устройству убѣжищъ на случай опасности. Многочисленныя горныя укрѣпленія, принадлежащихъ овернцу Апру, могла затеряться въ выборѣ. Загородная виλλα мало-по-малу обрѣтала въ рыцарскій замокъ. Въ VI столѣтіи мы увидимъ, какъ начинаютъ окружаться стѣнами не только дома богатыхъ вельможъ, но и монастыри. Жизнь становилась трудною и опасною въ укрѣпленіи подѣляемъ вліяніемъ обстоятельствъ непринужденныя и своенормыя. Въ V вѣкѣ еще вся внѣшность носитъ на себѣ исключительный характеръ римскаго быта и римской образованности; но при внимательномъ разсмотрѣніи начинаютъ уже выказываться начала порядка вещей, которому суждено было навсегда упразднить, уже несомнѣнный съ потребностями и духомъ времени. Римская виλλα Леонція съ крѣпостію подлѣ термъ можетъ служить лучшѣмъ представителемъ характера того времени. Расписныя портики, украшенныя статуями и колоннами, поникнуть въ развалины крѣпости, занимавшая второстепенное мѣсто въ планахъ строившейся до XVII вѣка, сохранивъ прежнее имя (Burgus Leonis XVII столѣтія), хотя и мѣняя свой видъ вмѣстѣ съ образъ жизни своихъ владѣтелей. Въ варварской номенклатурѣ среднихъ замковъ еще слышится иногда изысканное названіе первонаго жилища, хотя въ Théouls XII и XIII столѣтій и трудно познать Теополісъ Дардана“.

Еще интереснѣе разсказъ о томъ, какъ жили въ виллахъ богатые галльскіе аристократы, и въ чемъ они проводили свое время. Разсказанная по часамъ древняя жизнь встаетъ передъ вами во всѣхъ своихъ подробностяхъ, будто вы сами наблюдали ея теченіе. При изображеніи авторъ пользовался красками, заимствованными также болѣе частью у самого Сидонія. Но довольно уже приведенной части разсказа, чтобъ видѣть, какое это было время. Только по наружному виду галло-римскихъ жилищъ, убѣждаешься, что старый порядокъ вещей незамѣтно уступилъ мѣсто новому. Еще по имени господствовало римское государственное начало и держался римскій образъ жизни съ обычаями, а между тѣмъ внутри этого самаго общества рождался ужъ будущій феодальный міръ. Подъ грозомъ варварскихъ нашествій, мирная виλλα—любимое убѣжище

наго эпикуреизма, окружалась стѣнами и мало-по-малу нимала видъ укрѣпленнаго замка. Время было очевидно переходное. Автору «Сидонія» удалось даже представить этотъ переходъ отъ одного обычая къ другому весьма нагляднымъ образомъ. Изъ его очерка видишь ясно, какъ могли уживаться вмѣстѣ условія прежняго быта съ новымъ, который только нарождался подъ неотразимою силою современныхъ обстоятельствъ. Но самъ г. Ешевскій охотнѣе замѣчаетъ усилившіеся признаки паденія стараго порядка, чѣмъ зародыши новаго, и первые постоянно играютъ болѣе значительную роль его выводахъ, чѣмъ послѣдніе. Мысль его гораздо болѣе эта процессомъ разложенія Римской имперіи и римской общественной жизни, чѣмъ зарожденіемъ новаго порядка на основаніи другихъ народностей. Оттого послѣднія часто вовсе дѣлятся у него изъ виду; оттого призракъ разложенія думается уловить даже на тѣхъ явленіяхъ, которыя по тѣмъ или другимъ причинамъ избѣжали общаго поврежденія.

Общимъ вопросомъ о состояніи общества въ V вѣкѣ авторъ не занимался, а обращенъ былъ въ область другого, болѣе частнаго вопроса о состояніи женщины въ то же время, и также хотѣлъ найти свое рѣшеніе. Но это небольшое отклоненіе отъ главнаго предмета, по нашему мнѣнію, удалось ему всего менѣе. Между вопросами о состояніи цѣлаго общества и о положеніи въ немъ женщины дѣйствительно есть очень тѣсная связь: въ большей или меньшей степени, исторически извѣстныхъ, одно изъ нихъ непосредственно вытекаетъ изъ другого. Женскій развратъ въ античности служитъ всегда почти вѣрнымъ признакомъ упадка нравовъ въ цѣломъ обществѣ. Но не всегда можно заключать наоборотъ. Въ рѣшеніи частнаго вопроса Ешевскій, къ сожалѣнію, слишкомъ поддавался вліянію своей общей мысли. Тѣнь, брошенная ею на все состояніе римскаго общества, закрыла отъ его глазъ и настоящее положеніе женщины. Мы готовы почти подумать, что рѣшеніе явилось у него прежде, чѣмъ нашлись факты, которые бы могли послужить ему сколько-нибудь вѣроятнымъ основаніемъ. Иначе, какъ объяснить себѣ, что, съ одной стороны, по сознанію того автора „у Сидонія, съ такою полнотою изображающаго жизнь высшаго общества, мало подробностей о положеніи женщины, и даже немногія, мимоходомъ оброненныя указанія, въ неопредѣленныхъ и безцвѣтныхъ, что нѣтъ возможности вынести какое-нибудь положительное и твердое заключеніе“, и что, съ другой, нашъ изслѣдователь, не задумываясь, произноситъ до-

вольно рѣзкій приговоръ надъ галло-римскими женщинами того времени? „Незавидное положеніе женщины въ обществѣ, о которомъ (?) мы заключили изъ *немногихъ* указаній, а *главнѣе* изъ *молчанія* Сидонія, подтверждается прямыми свидѣтельствами другихъ современниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ *становится несомнѣннымъ*, что женщина V вѣка, послушно слѣдуя общему направленію, не ушла и отъ его гибельнаго вліянія“. Такъ скорѣе уже выводъ можетъ казаться несомнѣннымъ—выводъ, основанный главнымъ образомъ на „умолчаніи“ самаго говорливаго изъ писателей того времени? Такъ Сидоній имѣлъ можетъ-быть причины скрывать настоящее положеніе современной ему женщины? Сидоній не имѣлъ никакихъ причинъ скрывать то, чтó извѣстно было въ его время всякому, но не могъ изображать вопіющихъ женскихъ пороковъ, потому что не видѣлъ ихъ вокругъ себя. Если дѣлать выводы не изъ молчанія Сидонія, а изъ того, чтó онъ прямо выговариваетъ, то скорѣе можно заключить, что онъ чаще видѣлъ около себя примѣры женскихъ добродѣтелей, чѣмъ пороковъ. По крайней мѣрѣ тѣ женщины, о которыхъ онъ упоминаетъ, никакъ не могутъ быть причислены къ послѣднему разряду. Таковы были, судя по его словамъ, Папіанилла (жена Сидонія), Фронтина, Филиматія и нѣкоторыя другія. Извѣщая одного изъ своихъ друзей о смерти Филиматіи, Сидоній писалъ: „Назадъ тому три дня мы потеряли, къ нашему общему сожалѣнію, почтенную Филиматію, добронравную супругу, кроткую госпожу, благодѣтельную мать, нѣжную дочь, которая въ своей семьѣ и внѣ дома равно пользовалась почтеніемъ со стороны низшихъ, уваженіемъ высшихъ и любовію равныхъ себѣ“ ¹⁾. Подобныя черты, встрѣчающіяся по мѣстамъ въ перепискѣ Сидонія, конечно, краснорѣчивѣе его „молчанія“ и говорятъ больше въ пользу женщины, чѣмъ въ невыгоду. Авторъ, правда, имѣетъ за себя нѣкоторыя мѣста изъ сочиненій другихъ писателей: Павлина, Марія Виктора, Сальвіана Марсельскаго; но мы имѣемъ полное право усомниться въ истинѣ ихъ слишкомъ общихъ возгласовъ. Съ своей исключительной точки зрѣнія нападая на современные имъ нравы, они впрочемъ нигдѣ не говорятъ намъ живыми примѣрами. Мало ли какіе возгласы приходится слышать историку въ пользу и противъ даннаго времени: если они не воплощены въ факты, то-есть въ дѣйствующія лица и событія, ему нельзя принимать ихъ на вѣру.

¹⁾ См. Oeuvres de C. Ap. Sidonius, изд. Грегуара и Коломбе, t. 1, p. 166.

исторической логикѣ вѣрность выводовъ зависитъ единственно отъ твердости посылокъ, или несомнѣнности фактовъ. Естественно заключить о глубокомъ паденіи женщины въ римскомъ обществѣ, когда имѣемъ передъ собою Тацитовскіе женскіе типы. Ужасающее дѣйствіе необузданныхъ женскихъ астей легко признать также въ меровингской эпохѣ, судя такимъ лицамъ, какъ Брунгильда и Фредегонда; но какъ извѣстѣ рѣшительный приговоръ о томъ времени, изъ котораго мы не знаемъ вполнѣ ни одного женскаго типа? Подемъ по крайней мѣрѣ, пока они будутъ отысканы и прионы во всеобщую извѣстность.

Вторую главу сочиненія г. Ешевскаго мы желали бы написать вполнѣ — такъ многое пріобрѣтаетъ въ ней наша ориографія, до сихъ поръ, сколько намъ извѣстно, почти не касавшаяся внутренней исторіи Галліи. Здѣсь историческая рама раздвигается еще шире. Чтобъ опредѣлить нашу цѣну свѣтской дѣятельности Сидонія, какъ гражданина и писателя, авторъ долженъ обзрѣть всѣ современныя этическія отношенія. Понять ихъ можно было только въ связи съ общимъ положеніемъ Римской имперіи: итакъ сюда шла ея исторія, начиная отъ вступленія на престолъ Нервы до смерти Антемія. Въ живыхъ очеркахъ ходитъ передъ читателемъ цѣлый рядъ римскихъ императоровъ послѣдняго времени, напрасно истощающихъ свои силы, чтобъ поддержать это огромное зданіе, которое ежеминутно грозитъ разрушеніемъ. Особенно рекомендуемъ читателямъ весьма удачное изображеніе Майоріана. Не довольствуясь для своихъ очерковъ уже извѣстными данными, авторъ дополняетъ новыми, извлеченными изъ тѣхъ источниковъ, которые не предметомъ особеннаго его изученія, и умѣлъ сообщить въ общей части своего сочиненія почти неожиданную значительность. Чтобъ подойти ближе къ Сидонію, автору надобно было потомъ коснуться внутреннихъ отношеній Галліи. При дѣйствительной центральной власти каждая провинція обширной имперіи имѣла свою особенную постановку — Галлія, по своему естественному положенію, болѣе, чѣмъ всякая другая... Ни одна изъ римскихъ областей не терпѣла столько отъ вторженій варваровъ, ни одна не была такъ наводнена ими съ разныхъ сторонъ: вестготы на югѣ, бургунды и за ними аллеманны на востокѣ, франки и саксы на сѣверѣ, не говоря уже объ нападахъ другихъ, еще болѣе варварскихъ поселеній на той землѣ. Требовалось опредѣлить мѣсто, занимаемое внутри

Галліи каждою германскою народностью, и предѣлы ея расчлененія. Все это сдѣлано авторомъ изслѣдованія съ болыюю точностью, на основаніи ближайшихъ по времени памятникамъ между которыми *Notitia dignitatum* занимаетъ самое важное мѣсто. Не менѣе ясно показаны новыя отношенія Галліи Риму, вслѣдствіе опасности, угрожавшей ей отъ варваровъ съ другой стороны, ничто не забыто авторомъ, чтобъ ввести читателя въ кругъ политики варварскихъ королей, поселившихся на галльской землѣ. Наконецъ Овернѣ, какъ внутренняя область Галліи, наиболѣе сохранившая свою первоначальную фнзіономію, также требовала отъ изслѣдователя особеннаго вниманія. Ея мѣстнымъ интересамъ и державшимся надъ нею направленіямъ посвящены послѣднія страницы той главы. Такимъ образомъ читатель проходитъ вслѣдъ за авторомъ всѣ современныя отношенія, общія и частныя, и свѣтъ ихъ получаетъ возможность обсудить всю свѣтлѣйшую дѣятельность Сидонія, которая болѣе или менѣе была обусловлена. Тутъ же онъ знакомится ближе съ авторскою тенденціею знаменитаго овернца, по крайней мѣрѣ съ ея отраслью, находившеюся въ самой тѣсной связи съ политическими отношеніями его времени. Мы разумѣемъ памфилики Авиту, Майоріану, Антемію. Г. Ешевскій умѣлъ соединить всѣ эти предметы въ одной главѣ своего сочиненія, сколько не нарушая ея единства. Читатель нечувствительно переходитъ отъ общаго къ частному, и наоборотъ; даже юридическіе рассказы, почерпнутые большею частью изъ писемъ Сидонія и относящіеся или къ нему самому, или къ некоторымъ мало извѣстнымъ его современникамъ, не вредятъ цѣлости впечатлѣнія. Однажды возбужденный интересъ событіямъ поддерживается, сверхъ того, живымъ и воодушевленнымъ ихъ изложеніемъ. Авторъ принадлежитъ къ числу повѣствователей, которые, пересказывая дѣла давно минувшихъ временъ, какъ бы сживаютъ съ ними своею мыслію и увлекаютъ за собою участіе другихъ. Смотря по внутреннему достоинству явленія, и самый рассказъ нашего историка проникается видимымъ сочувствіемъ къ нему, то отбѣгая противоположными ощущеніями, то, наконецъ, настроивая на печальный ладъ самыхъ событій, изъ которыхъ одно безотраднѣе другого. Столько умѣнья располагать разнообразный историческимъ матеріаломъ и вмѣстѣ столько зрѣлости въ способѣ его изложенія почти нельзя было бы и ожидать отъ чуждаго опыта въ историографіи.

Не отрадно общее заключеніе, къ которому авторъ приводитъ своимъ обзоромъ положенія дѣлъ въ Галліи и въ цѣлой имперіи. Оно высказано имъ весьма энергически.

„Скажемъ разъ навсегда“ (говорить г. Ешевскій): *„въ это несчастное время не было и не могло быть политическихъ убѣждений. Всѣ живыя начала были изжиты, общественныя отношенія измѣнились, и интересы перепутались такъ, что у самыхъ благородныхъ и добросовѣстныхъ политическихъ дѣятелей почва исчезла подъ ногами. Лучшіе изъ нихъ, искренно желавшіе возврата прежнихъ временъ Римской имперіи, тѣ, у которыхъ идеалъ общественнаго устройства былъ налицо, должны были тѣмъ не менѣе дѣйствовать совершенно несообразно съ духомъ того государственнаго быта, къ которому они хотѣли воротить исторію, и что особенно замѣчательно, сами не сознавали этой несообразности. Дѣятельность Майоріана, Эгидія носить на себѣ печать этой непоследовательности съ тѣми началами, которыя они хотѣли воротить къ жизни. А между тѣмъ тотъ и другой далеко не принадлежали къ числу обыкновенныхъ государственныхъ лицъ своего времени; оба носили въ себѣ, повидимому, твердыя, прочно установленныя убѣжденія и великодушную рѣшимость пожертвовать всѣмъ для исполненія своихъ замысловъ. Трагическая судьба этихъ послѣднихъ представителей старой римской доблести не позволяетъ и на минуту усомниться въ ихъ искренности. Если Майоріанъ и Эгидій во многихъ случаяхъ или какъ бы ошупью, не имѣя возможности согласить своихъ дѣйствій съ тѣми началами, во имя которыхъ хотѣли бы дѣйствовать, что жъ оставалось дѣлать людямъ, не имѣвшимъ ни прочности ихъ убѣжденій, ни римскаго закала ихъ характера? Самые основныя понятія потеряли свой смыслъ, слова точно также не выражали настоящаго понятія, какъ надпись на ассигнаціяхъ, въ минуту финансоваго кризиса, ихъ номинальной цѣнности. Среди совершавшагося или тѣснѣю уже совершившагося разложенія Римской имперіи, въ вихрѣ событий, небывалыхъ въ исторіи и слѣдовавшихъ одно за другимъ съ быстротою, не дававшей времени для ихъ обсужденія, личности оставался безграничный просторъ. Съ нею спали всѣ общепринятія нормы, дававшія извѣстное направленіе дѣятельности. Каждый могъ давать отчетъ лишь своей собственной совѣсти, но и она большею частью оставалась лишь безмолвнымъ совѣтникомъ относительно политической дѣятельности. Не забудемъ, что если утратился или исказился смыслъ многихъ основныхъ понятій, за то изострилась способность софистическихъ толкованій, способность примирять между собою повидимому самыя непримиримыя вещи. За невозможностью имѣть прямое значеніе, многія понятія получили условный смыслъ. Вотъ отчего историку такъ трудно произнести сужденіе о нравственномъ значеніи того или другаго поступка“.*

Не часто удается историку схватить такъ вѣрно въ немногихъ словахъ нравственную фязіономію времени. Не довольствуясь одною внѣшностью событий, авторъ хотѣлъ подсмотреть за ними внутреннія движущія силы и, поднявъ завѣсу

общественнаго сознанія, не безъ ужаса открылъ подъ нею несостоятельность почти всѣхъ политическихъ убѣжденій. Такъ составилъ его приговоръ о политической нравственности эпохи — приговоръ строгій и неутѣшительный, но въ которомъ слышится голосъ истины. Мы, съ своей стороны, можемъ только подтвердить его нашимъ полнымъ согласіемъ. Дѣйствительно, въ Галліи, какъ и въ цѣлой Римской имперіи, не было да и не могло быть болѣе мѣста твердымъ политическимъ убѣжденіямъ. Въ этомъ водоворотѣ событій каждый пускалъ свой корабль на удачу и думалъ только о томъ, какъ бы поскорѣе выйти на твердую землю, почти не различая дружественнаго берега отъ непріятельскаго. До сихъ поръ, движимые чувствомъ своей народности, галло-римляне стремились оторваться отъ римскаго политическаго единства и утвердить свою самостоятельность. Эти стремленія не погасли совершенно и во время Сидонія. Манившія галло-римлянъ надежды возродились даже вновь на нѣкоторое время при вступленіи на римскій престолъ Авита. Ссылаемся на книгу г. Ешевскаго, который, рассказывая исторію галло-римскаго императора, нѣсколько разъ останавливается на этой мысли ¹⁾. Но вскорѣ послѣдовавшая смерть Авита и со дня на день возрастающая опасность со стороны варваровъ опять разбили мечты галло-римскихъ патріотовъ и обратили ихъ мысли въ другую сторону. Тѣ, которые дорожили образованіемъ, опять старались сколько можно тѣснѣе примкнуть къ Риму, потому что въ немъ только видѣли спасеніе отъ варварства; другіе, наоборотъ, потерявъ всякую вѣру въ римское величіе и могущество, искали себѣ опоры прямо въ варварахъ. Тѣ и другіе были правы по своему, и историкъ, какъ справедливо замѣчаетъ нашъ авторъ, трудно произнести тутъ свой судъ. „Твердыхъ убѣжденій не было и не могло быть въ это несчастное время“.

Въ этомъ общемъ приговорѣ лежитъ, по нашему мнѣнію, неизмѣнное начало и для опредѣленія каждой *частной* дѣятельности, которая принадлежитъ той же несчастной эпохѣ. Когда патріотическое чувство утратило всякую самоувѣренность, когда другія направленія были довольно безразличны, когда, наконецъ, цѣлый народъ не зналъ, гдѣ лучше помѣстить свои интересы, частному человѣку невозможно было избѣжать ошибокъ и колебаній при преслѣдованіи политическихъ

¹⁾ См. особенно стр. 146 и 151.

цѣлей и выборъ средствъ для нихъ. Если самыя крѣпкія головы не могли устоять противъ общаго водоворота и разби-
вались объ его волны вмѣстѣ съ своими убѣжденіями, то чего
можно было ожидать отъ людей обыкновенныхъ, которыхъ ни
природа, ни хорошая школа не закалили противъ тяжелыхъ
испытаній времени? Никто конечно не скажетъ, чтобъ Си-
доній принадлежалъ къ числу первыхъ; какъ по своему духу,
такъ и по своей политической роли, онъ весьма мало возвы-
шался надъ своими современниками. Въ природныхъ его свой-
ствахъ, какъ видно изъ его же собственныхъ признаній, раз-
сѣянныхъ въ разныхъ мѣстахъ корреспонденціи, не лежало
особеннаго призванія къ значительной политической дѣятель-
ности. Какъ всѣ родовитые люди вѣка, Сидоній имѣлъ до-
вольно честолюбія, чтобъ стараться занять видное мѣсто въ
римской администраціи. Вышедши на эту дорогу съ помощью
Авита, своего тестя, онъ естественно желалъ удержаться на
ней и впослѣдствіи. Для того онъ ѣздилъ въ Римъ и искалъ
доступа ко двору цезарей; для того писалъ свои панегирики,
въ которыхъ, разумѣется, столько же страдали искренность и
добросовѣстность автора, сколько превозносилось то или дру-
гое, напередъ избранное имя, не всегда заслуженною честью.
Благодаря этимъ домогательствамъ, Сидонію не разъ удавалось
прокладывать себѣ путь къ высокимъ должностямъ не только
въ провинціи, но и въ самомъ Римѣ; но и высокое положеніе
не могло создать видной политической роли, когда ея не ле-
жало въ характерѣ дѣйствующаго лица. Если бы словоохот-
ливый овернецъ самъ не говорилъ много о себѣ, его поли-
тическая карьера прошла бы не замѣченною въ исторіи. Мѣста,
которыя онъ занималъ время отъ времени, могли быть очень
важны сами по себѣ; но, удовлетворяя его честолюбію, они
мало выдвигали его самого впередъ. Какъ человѣку безъ по-
литической иниціативы, Сидонію не въ помощь было и вы-
сокое положеніе. Понятно, что политическая роль Сидонія не
можетъ выдержать критики, если приложить къ ней строгія
требованія нашей современности; но какъ бы критика стала
строго судить одну частную и малозамѣтную дѣятельность,
признавъ за цѣлымъ вѣкомъ недостатокъ твердыхъ нравствен-
ныхъ убѣжденій и даже полную невозможность ихъ существо-
ванія во всей политикѣ того времени?..

Вотъ почему лучшіе французскіе историки такъ снисхо-
дительно къ Сидонію. Они хорошо знаютъ его недостатки,
его слабости какъ политическаго дѣятеля, но воздерживаются

отъ строгаго суда надъ ними. Сравнивая человѣка съ общимъ характеромъ его времени, они замѣчаютъ, что все же на сторонѣ перваго остаются нѣкоторыя почтенныя преимущества, какъ напримѣръ, честныя намѣренія, хотя при совершенномъ недостаткѣ нравственной энергіи,—и стараются выставить ихъ на видъ передъ другими. Таковъ, между прочимъ, отзывъ Петиньи, едва ли не самаго безпристрастнаго изъ новыхъ судей Сидонія. Нашъ русскій изслѣдователь всмотрѣлся можетъ-быть еще болѣе въ его нравственныя качества, и успѣлъ еще точнѣе опредѣлить политическія правила, которыми онъ руководился въ своей дѣятельности. Сидоній дѣйствительно не отличался постоянствомъ направленій и едва ли имѣлъ твердо установленный образъ мыслей въ политическомъ отношеніи. То, что мы называемъ убѣжденіемъ, часто замѣнялось у него довѣріемъ къ отдѣльнымъ лицамъ. Къ ихъ политикѣ приноровлялъ онъ и свой собственный образъ мыслей. На эту черту въ характерѣ Сидонія г. Ешевскій указываетъ нѣсколько разъ. „Близкій свидѣтель событій во время правленія Авита и Майоріана“ (говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ), „Сидоній сохранилъ однако убѣжденіе, что съ перемѣной лица можетъ измѣниться и самое положеніе, какъ будто гибели этихъ двухъ лучшихъ властителей падающаго Рима было недостаточно, чтобъ показать все безсиліе личности противъ неудержимаго хода событій“. По случаю вступленія на престолъ Антемія, авторъ опять возвращается къ той же мысли: „Какъ мы уже замѣтили, Сидоній принадлежалъ къ числу лицъ, объяснявшихъ настоящее положеніе дѣлъ личными достоинствами или недостатками главныхъ дѣятелей“. Это стремленіе Сидонія кажется намъ не только весьма понятнымъ, но и очень извинительнымъ. Когда нѣтъ болѣе опоры въ учрежденіяхъ, на кого остается возложить всю надежду какъ не на отдѣльныя личности? Сидоній виноватъ лишь тѣмъ, что можетъ-быть слишкомъ скоро переходилъ отъ одного лица къ другому, мало замѣчая противорѣчія въ своихъ собственныхъ дѣйствіяхъ. Въ полной гармоніи съ этимъ свойствомъ находится и цѣлый очеркъ характера того же лица, заключающій обзорѣніе его политической дѣятельности.

„Временная забывчивость, увлеченіе настоящей минутой, чувствомъ пріязни и сожалѣнія—все это какъ нельзя лучше согласуется съ характеромъ Сидонія, который, какъ и большая часть его современниковъ, не любилъ задумываться надъ причинами и далекими слѣдствіями событій. Стоило измѣниться не общему ходу дѣлъ, а личнымъ отношеніямъ Сидонія къ той или другой партіи, и онъ заговорить совершенно другимъ языкомъ, и что всего страннѣе, самъ не замѣтить

этого, не возьметъ на себя труда или примирить свой настоящій образъ мыслей и дѣйствій съ прежнимъ, или по крайней мѣрѣ объяснить причину происшедшей перемены. Чтобъ пробудить въ душѣ Сидонія любовь къ провинціи, замѣнившей ему родину (т. е. къ Оверни), достаточно было, чтобъ исчезли его надежды на возможность составить себѣ прочное положеніе въ Римѣ и удержаться среди враждующихъ партій. Этому ждаты было недолго. Потерялъ ли Сидоній вѣру въ Антемія, узнавъ его покороче, или ссора Ридимера съ его безсильнымъ тестемъ наконецъ раскрыла ему глаза относительно дѣйствительнаго значенія варварскаго предводителя войскъ, только скоро послѣ дѣла Арванда мы находимъ Сидонія уже въ Оверни, и находимъ далеко не въ томъ настроеніи духа, въ какомъ видѣли его въ Римѣ. Кажется, онъ окончательно убѣдился и въ томъ, что ему лично нечего ждаты отъ римскаго правительства, и въ томъ, что каждой провинціи пришло время думать о спасеніи только своими собственными средствами⁴.

Какъ нельзя не согласиться съ авторомъ въ подробностяхъ этого очерка, такъ нельзя не одобрить умѣреннаго тона въ изложеніи. Но отчего же вдругъ этотъ самый тонъ такъ чувствительно мѣняется въ концѣ главы? Отчего, пересказавъ всю политическую дѣятельность Сидонія и выписавъ мнѣніе о ней Петиньи, авторъ находитъ судъ его недостаточно строгимъ и считаетъ нужнымъ восполнить этотъ недостатокъ своимъ собственнымъ приговоромъ? Сущность остается та же самая, а между тѣмъ послѣдній приговоръ Сидонію принимаетъ тонъ обвинительнаго акта противъ него. Впрочемъ надобно выслушать самого автора.

„Восприимчивая, но поверхностная, натура Сидонія, сбита съ пути риторическимъ воспитаніемъ и діалектикой, не была вовсе способна къ сосредоточенію мысли, къ ясному и сколько-нибудь глубокому пониманію и общественнаго положенія, и своихъ отношеній къ современной дѣятельности. Риторомъ выступилъ онъ на политическое поприще, риторомъ и сошелъ съ него. Даже въ послѣдній, по видимому, болѣе серьезный и сознательный періодъ его жизни, въ немъ ни разу не сказалась потребность оглядѣть пройденный путь, постараться согласить какъ-нибудь свои безпрестанные переходы отъ одного мнѣнія къ другому и частыя перемены партій. Собирая и издавая въ свѣтъ свои письма, выбирая изъ нихъ только лучшія и тщательно выправляя слогъ, онъ ни разу не былъ пораженъ несообразностью и непослѣдовательностью своихъ поступковъ. Риторическое письмо, гдѣ онъ оплакиваетъ горькую участь предателя Арванда, похищено только что не рядомъ съ неменѣе риторическимъ описаніемъ Сероната, гдѣ Сидоній является ожесточеннымъ противникомъ тѣхъ самыхъ замысловъ, которые извѣнялъ онъ годъ тому назадъ. Описывая характеръ Пеонія и обвиняя его, какъ виновника смутъ, взволновавшихъ Галлію по смерти Авита, онъ какъ бы забываетъ, что самъ былъ главнымъ двигателемъ возстанія. Не говоримъ уже о панегирикахъ. Мало того, что Сидоній не имѣлъ политическихъ убѣжденій,

едва ли онъ сознавалъ ихъ необходимость для лицъ государственныхъ. Только временное удаленіе отъ дѣлъ послѣ гибели Майоріана останавливаетъ нѣсколько историка отъ обвиненія Сидонія въ отсутствіи всякой политической нравственности“.

Такъ изъ политическаго дѣятеля съ слабыми и переменчивыми убѣжденіями Сидоній на одной страницѣ превращается въ человека безъ всякихъ убѣжденій и чуть-чуть не подвергается упреку въ совершенной безнравственности... Не считаемъ за нужное удерживать вниманіе читателя на этомъ видимомъ противорѣчій: интереснѣе, кажется намъ, разъяснить нѣсколько причину послѣдняго неожиданнаго поворота въ мысли автора. Если не ошибаемся, вся бѣда произошла оттого, что Сидонію-автору досталось отвѣчать за Сидонія-политика. Въ практической его дѣятельности не осталось мѣста ничему похожему на убѣжденіе, потому что сочиненія его проникнуты риторствомъ. Дѣйствія его не потому дурны, чтобъ они происходили изъ тѣхъ или другихъ побужденій, но потому, что они—дѣйствія ратора. Сидоній—риторъ не на словахъ только, или въ своихъ панегирикахъ, но и во всѣхъ своихъ дѣлахъ. Панегирики—лишь одно изъ многочисленныхъ выраженій направленія, проходящаго черезъ цѣлую его жизнь. Уже воспитаніе его было испорчено риторствомъ: оттого онъ никогда не могъ сосредоточиться въ себѣ и навсегда потерялъ способность глубокаго пониманія современной дѣйствительности и своихъ отношеній къ ней. Если Сидоній не замѣчалъ противорѣчій въ своихъ мнѣніяхъ и поступкахъ, то это потому, что онъ былъ ритормъ. На его политическихъ дѣйствіяхъ, какъ и на его перепискѣ съ друзьями, лежитъ одна и та же печать риторства. Выправляя по нѣскольку разъ слогъ своихъ писемъ, онъ не видѣлъ несообразности своихъ поступковъ.

Ясно, кажется намъ, что если нашъ авторъ вдругъ перемѣнилъ тонъ и нашелъ нужнымъ подвергнуть Сидонія болѣе строгому осужденію во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ другихъ его современниковъ, то это потому, что думалъ преслѣдовать въ немъ ратора. Другіе могли не имѣть постоянныхъ убѣжденій по обстоятельствамъ времени, Сидоній—по своему риторическому направленію, и потому долженъ быть болѣе другихъ въ отвѣтъ.

Было бы странно хотѣть взять на себя защиту ратора. Мы вполне раздѣляемъ мысль автора о развѣдающемъ дѣйствіи риторическаго направленія; мы также не ожидали бы ничего добраго отъ человека, который весь проникнутъ имъ.

Въ вѣкъ мужества мысли особенно кажется презрѣннымъ риторъ съ своею позолоченною фразою на всякій случай и своею дешевою готовностью восхвалять всѣхъ и каждого. Но какъ есть время мужества мысли, такъ бываетъ пора ея дѣтства. Иное значеніе имѣетъ риторическое искусство въ эпоху зрѣлости литературы и ея процвѣтанія, и иное—при первомъ ея зарожденіи на основаніи чужихъ образцовъ. Иначе сказать, есть возрастъ въ народной жизни и въ развитіи, когда свободное творчество еще не по силамъ начинающихъ дѣятелей, и когда оно хотя отчасти замѣняется искусствомъ внѣшней формы, то-есть риторическимъ искусствомъ. Сидоній жилъ именно въ одну изъ такихъ поръ, когда невозможно было образованіе безъ примѣси риторства. Если бъ даже онъ былъ только риторъ и ничего болѣе, и тогда онъ заслуживалъ бы, во времени, въ которомъ жилъ, гораздо большаго снисхожденія, чѣмъ всѣ современные намъ ритору. Но не слишкомъ ли скоро нашъ авторъ рѣшилъ вопросъ о риторствѣ Сидонія? Не распространилъ ли онъ вліяніе риторства гораздо далѣе, чѣмъ сколько оно простиралось на самомъ дѣлѣ?

Въ этомъ мы почти увѣрены. Нельзя согласиться съ г. Ешевскимъ, чтобъ всѣ недостатки Сидонія, какъ человѣка и писателя, происходили отъ его риторства. Какъ Римская имперія почти закрыла отъ автора галльскую народность, такъ господствующее риторическое направленіе заставило его позабыть самую природу писателя, котораго онъ избралъ предметомъ своего изученія. Природными свойствами Сидонія гораздо прежде и лучше объясняются его дѣйствія, чѣмъ школою и образованіемъ. Эти характеристическія черты часто попадаютъ въ книгѣ нашего автора: онъ уловилъ и собралъ ихъ всѣ, одну за другою; но когда надобно было сдѣлать изъ нихъ необходимый выводъ, отошелъ отъ нихъ въ другую сторону. Мы думаемъ однако, что его же путемъ можно было бы итти прямѣе къ цѣли. Если природа Сидонія, какъ говоритъ авторъ, была воспріимчива, то удивительно ли, что онъ не останавливался долго на одномъ впечатлѣніи и скоро переходилъ къ другому? Если она притомъ была поверхностна, то нужно ли прибѣгать къ риторикѣ, чтобъ объяснить его неспособность глубокаго пониманія дѣйствительности? Если уже самый характеръ его, „живой, увлекающійся и легкомысленный“, мѣшалъ ему вдумываться въ положеніе современнаго общества и—прибавимъ также—въ самого себя, то зачѣмъ еще объяснять его непостоянство другими вліяніями? Отъ риторики онъ

могъ заимствовать нѣсколько ловкихъ оборотовъ, чтобъ лучше прикрыть въ рѣчи свою измѣнчивость; но недостатокъ твердости и нравственнаго мужества конечно имѣлъ свой источникъ гораздо глубже. Намъ сдается, что изслѣдованіе много выиграло бы, если бъ внимательнѣе разсмотрѣть Сидонія съ этой точки зрѣнія. Тогда изъ подъ общаго уровня римскаго образованія можетъ-быть выступилъ-бы передъ нами настоящій галльскій типъ съ своею неподдѣльною фізіономією. Тогда вмѣсто того, чтобъ смѣшать его съ римскимъ обликомъ, мы въ состояніи были бы лучше опредѣлить ихъ родовыя отличія. Сидоній же такъ откровенно говоритъ самъ о своихъ свойствахъ, недостаткахъ, слабостяхъ; онъ самъ сообщаетъ главныя черты своего характера, и къ каждой изъ нихъ возвращается по нѣскольку разъ въ своей перепискѣ. Нѣкоторыя относящіяся сюда мѣста приведены г. Ешевскимъ. Напомнимъ хоть одно изъ нихъ: „Ты любишь, какъ нѣтъ извѣстно“ (пишетъ Сидоній Филагрію) „людей спокойныхъ: я люблю даже трусовъ; ты избѣгаешь варваровъ, кажушихся злыми: я бѣгаю даже отъ добрыхъ (то-есть варваровъ). Ты человѣкъ религіозный: мнѣ бы хотѣлось по крайней мѣрѣ такимъ казаться. Ты не желаешь чужого добра: я считаю прибылью, когда не теряю своего. Ты думаешь, что должно черезъ день поститься: мнѣ не тяжело послѣдовать твоему примѣру, хотя я не постыжусь предупредить тебя, если дѣло касается обѣда“. Корреспонденція изобилуетъ подобными ~~наме-~~чанными чертами. Такъ, въ одномъ случаѣ, подавая совѣтъ другому, Сидоній откровенно говоритъ о себѣ: „что же касается до меня, то въ сомнительныхъ случаяхъ я предпочитаю осторожный способъ дѣйствія и охотнѣе становлюсь на сторону тѣхъ, которые боятся, хотя бы бояться было и нечего...“¹⁾ Лучше, кажется, нельзя опредѣлить степень своего мужества! Никто, разумѣется, не захочетъ приписать враждебную слабость духа вліянію риторики, а между тѣмъ одною этою чертою какъ много проливается свѣта на все политическое поведеніе Сидонія! Едва ли также риторическіе мотивы входили сколько-нибудь въ отношенія его къ Арванду. Авторъ много останавливается на нихъ по поводу извѣстнаго письма Сидонія, но, по нашему мнѣнію, опустилъ изъ виду самое существенное. Насъ не удивляетъ, что Сидоній, забывая вину Арванда, по своей старой пріязни къ нему, не рѣшился изъ-

¹⁾ Стр. 216—221.

мѣнить ему во время угрожавшаго ему несчастія. Если этотъ поступокъ и не говоритъ въ пользу твердости его убѣжденія, то онъ дѣлаетъ честь его мягкому сердцу и силѣ его личной привязанности. Впрочемъ измѣнить Арванду въ его несчастномъ положеніи едва ли бы кто, подобно Сидонію, не нашелъ „безчестнымъ, жестокимъ и малодушнымъ“. вмѣсто того, чтобъ подыскивать риторическіе мотивы для объясненія весьма понятнаго чувства, намъ кажется, слѣдовало бы болѣе обратить вниманія на самое лицо Арванда. Благодаря письму Сидонія, намъ извѣстны главныя подробности его процесса и все его поведеніе во время суда надъ нимъ. Поведеніе въ высшей степени странное и съ перваго взгляда вовсе непонятное—столько въ немъ самонадѣянности, заносчивости со стороны обвиненнаго, и вдругъ послѣ того такое крайнее паденіе духа! Надобно читать у г. Ешевскаго прекрасный переводъ письма Сидонія, излагающаго все дѣло въ подробности ²⁾). Ни съ чѣмъ несообразное поведеніе Арванда останется загадкою, если видѣть въ немъ только римскаго чиновника, или гражданина Римской имперіи и человѣка римскаго образованія, и оно же не только много разъясняется само, но и подаетъ поводъ къ нѣкоторымъ новымъ соображеніямъ, если посмотрѣть на то же лицо со стороны его галльской природы, которая такъ ясно высказалась въ его поступкѣ. Вообще Арвандъ своимъ лицомъ могъ бы служить хорошимъ дополненіемъ къ тѣмъ даннымъ, которыя можно взять у Сидонія, изъ его собственной жизни въ особенности, для изображенія современной ему галльской народности.

До сихъ поръ мы коснулись только слабыхъ сторонъ галльскаго народнаго типа, современнаго Сидонію. У того же писателя легко было бы собрать и другія, болѣе свѣтлыя черты, принадлежащія той же народности. Многія изъ нихъ неизмѣнно прошли черезъ всѣ перевороты и сохранились, хотя въ другихъ формахъ, до нашего времени. На всей фигурѣ Сидонія лежитъ особенный отпечатокъ, котораго никогда не удастся объяснить намъ однимъ римскимъ образованіемъ или вліяніемъ школы. Не римскія въ немъ—эта привязанность къ жизни, любовь къ удовольствіямъ, сердце, открытое впечатлѣніямъ природы, дружбы, воспримчивость и способность къ увлеченію, и вмѣстѣ съ тѣмъ подвижность, любезность, общи-

2) О важности писемъ, какъ употребительнѣйшей литературной формы того времени, см. особенно Faugiel, I, p. 422—428.

тельность, однимъ словомъ *urbanitas*—свойства, невольно располагающія въ пользу Сидонія, несмотря на его непостоянство и неспособность къ глубокому чувству. Чтобъ быть справедливымъ къ Сидонію, слѣдовало бы изучить его особенно съ этой стороны, и изучить *sine ira et studio*.

Нѣтъ никакого спора, что *въ своихъ сочиненіяхъ* Сидоній принесъ обильную дань риторикѣ. Ея вліяніе чувствуется не только на слогѣ, но и на самомъ ихъ содержаніи, какъ впрочемъ иначе и не могло быть въ начинающейсѣ литературѣ, которая еще не сознала своей особенности и не успѣла отдѣлаться отъ своихъ обветшалыхъ образцовъ. Но за риторическими фразами и искусственными оборотами нельзя ли подсмотрѣть чего-нибудь болѣе существеннаго и, такъ сказать, болѣе истиннаго? Въ этомъ также не можетъ быть никакого сомнѣнія. Заимствовалъ же нашъ авторъ изъ Сидонія его превосходное описаніе современнаго ему быта между галло-римлянами и живое изображеніе наружности и нравовъ варварскихъ народовъ, жившихъ тогда въ Галліи. Не будучи историкомъ своего времени, Сидоній однако сохранилъ намъ въ своихъ сочиненіяхъ многія замѣчательныя его черты несомнѣнной подлинности. Но мы думаемъ, что въ анализѣ его, какъ писателя, можно простирается еще далѣе. Мы не видимъ причины считать его только за ритора вездѣ, гдѣ онъ говоритъ о самомъ себѣ. Его часто весьма наивныя признанія имѣютъ для насъ совсѣмъ другую цѣну. Возьмемъ въ особенности корреспонденцію Сидонія, потому что она также обращалась въ публикѣ почти наравнѣ съ другими произведеніями того же писателя ¹⁾. Риторическими называетъ г. Ешевскій письма Сидонія объ Арвандѣ и Серонатѣ. Намъ кажется, наоборотъ, что эти страницы взяты прямо изъ современной жизни. По какому праву, въ самомъ дѣлѣ, мы стали бы считать произведеніемъ риторства живую характеристику того или другого лица изъ отдаленнаго стараго времени? Что можно сказать объ Арвандѣ и Серонатѣ, то же самое прилагается и ко многимъ другимъ мѣстамъ переписки. Риторъ ли Сидоній, когда въ письмѣ къ другу рассказываетъ цѣлую сцену съ Пеоніемъ въ присутствіи Майоріана ²⁾? Риторъ ли онъ, когда, въ другомъ письмѣ, къ слову о подателѣ его, онъ рассказываетъ цѣлый „сю-

¹⁾ См. Oeuvres de C. Ap. Sidonius, I, p. 338.—²⁾ Она приведена вся у г. Ешевскаго, см. стр. 178—184.

тъ комедіи“ ¹⁾? Риторству ли, наконецъ, приписать, что, емъ ни заговорить Сидоній, предметъ тотчасъ оживляется въ его рукахъ? Какъ живо, напримѣръ, изображаетъ онъ ременнаго ему паразита ²⁾! Какъ наглядно въ другомъ тѣ, по случаю смерти Мамерта Клавдіана, онъ передаетъ нашимъ друзей нѣкоторыя черты его жизни, характера и филологическихъ обычаевъ ³⁾! Чтобъ привести еще одинъ примѣръ множества, укажемъ также на описаніе внѣшняго вида варскаго князя Сигисмера съ его свитою ⁴⁾. Столько ричи, столько ненамѣренной изобразительности въ представленіи предмета не найдешь ни у кого изъ современниковъ Сидонія. У него какъ-то особенно были приспособлены на то въ и рука. Положимъ, что это былъ даръ очень легкій, но это конечно не скажетъ, что Сидоній обязанъ былъ имъ орической школѣ; скорѣе можно было бы приписать его жденной говорливости писателя. Сидоній и самъ хорошо въ свою охоту поговорить, ведя письменную бесѣду съ зьями, и часто просить извиненія въ своей „болтовнѣ“. вы видите, что это не просто болтовня человѣка, не знаю, чѣмъ наполнить свое время, и отъ скуки играющаго словъ: у Сидонія скрывается за нею столько наблюдательности мѣнья живо передавать свои впечатлѣнія, что хотѣлось бы вать ее другимъ именемъ. Словоохотливость Сидонія — врожденная галльской породѣ общительность и способъ схватывать во всякомъ предметѣ самыя яркія и живыя стороны. Если угодно, Сень-Симона тоже можно назвать гуномъ; но его умной, живой и въ высшей степени занимательной болтовнѣ мы обязаны тѣмъ, что имѣемъ въ его мерахъ самую точную и подробную картину домашняго быта овика XIV и всѣхъ обычаевъ двора его, — картину, съ кою въ живости и непосредственности впечатлѣнія едва ли сѣтъ сравниться какая-нибудь исторія. Сидоній также изенъ былъ этой врожденной потребности передавать впечатлѣнія своей современности и имѣлъ естественный даръ разза. Ему не доставало только настоящихъ формъ, чтобъ передать мству весь собранный имъ обильный запасъ наблюденій; но должны быть благодарны ему и за то, что въ скромной мѣ дружескихъ писемъ онъ умѣлъ сообщить намъ такъ

¹⁾ Ibid. p. 386. — ²⁾ Oeuvres de C. Ap. Sidonius, I, p. 362. — ³⁾ Oeuvres de p. Sidonius, t. II, p. 163; ср. Ampère, Hist. littéraire de la France, t. II, 19. — ⁴⁾ См. Oeuvres, t. I, p. 284.

много. Во всей современности Сидонія только въ Галліи можно найти столько любопытныхъ мелочей, относящихся къ изображенію современной дѣйствительности, безъ сомнѣнія, потому, что это лежало въ самомъ духѣ галльской народности.

Вотъ какой пріемъ употребляетъ Сидоній, чтобъ извѣстить своихъ друзей, Симплиція и Аполлинарія, о потерѣ отправленнаго ими къ нему письма:

„Боже мой, какъ походить смятенная душа на волнующееся море, когда она точно какъ бурю возмущается дурными извѣстіями! Недавно я и сынъ мой занимались вмѣстѣ разборомъ тонкихъ остроумій въ Теренціевой «Гецирѣ» (Несуга). Отдавшись естественному влеченію и забывъ важность наставника, я сидѣлъ подлѣ моего питомца; а чтобъ помогать ему удобнѣе слѣдить за комическимъ движеніемъ нашего автора, я держалъ въ рукахъ другое сочиненіе подобнаго содержанія, т. е. Менаandroва Эпитрепонта. Мы оба вмѣстѣ читали, наслаждались, шутили между собою; каждаго изъ насъ занимало свое его плѣняло чтеніе, я больше услаждался имъ самимъ. Вдругъ входитъ слуга съ озабоченнымъ видомъ. „Что тамъ такое?“ спросили мы, обращаясь къ нему. — „Тамъ, у дверей“, отвѣчалъ онъ, „стоитъ вашъ чтецъ Константъ: онъ воротился отъ Симплиція и Аполлинарія; говоритъ, что ваши письма отданы кому слѣдуетъ, а полученные на ваше имя потеряны имъ дорогою.“ Эти слова вдругъ помрачили, точно облакомъ, ясность моего тихаго удовольствія, и непріятное извѣстіе, содержащееся въ нихъ, до такой степени возмутило мою желчь, что я нѣсколько дней былъ неумолимъ и не велѣлъ пускать себѣ на глаза этого глупаго болвана (*hermaphroditissimum*), требуя непременно, чтобъ онъ возвратилъ мнѣ каждую строку, отъ кого бы она ни была: не говорю уже о вашихъ письмахъ, которыя, пока у меня останется хоть капля смысла, будутъ для меня тѣмъ дороже, чѣмъ рѣже они получаютъ. Наконецъ однако гнѣвъ мой поутихъ отъ времени; тогда, призвавъ вѣстника, я спросилъ у него: не можетъ ли онъ по крайней мѣрѣ сообщить мнѣ чего на словахъ? Но онъ, дрожа отъ страха и не смѣя поднять глазъ, какъ человѣкъ, знающій свою провинность, прошепталъ мнѣ только сквозь зубы, что все, что я такъ интересовался знать, заключалось въ затерянномъ имъ письмѣ“¹⁾.

Въ заключеніе Сидоній проситъ своихъ корреспондентовъ, чтобъ они взяли на себя трудъ вторично написать къ нему обо всемъ, и снова говорить о своемъ нетерпѣливомъ ожиданіи. Въ томъ состоитъ все содержаніе письма. Несмотря на присутствіе въ немъ нѣсколькихъ риторическихъ оборотовъ, кто скажетъ, что оно написано риторомъ?

Не отрицая риторическаго элемента въ сочиненіяхъ Сидонія, мы старались по возможности облегчить тяжесть пада-

¹⁾ Ibid. p. 354 et seq.

цаго на него упрека указаніемъ на другіе, болѣе постоянныя глвы авторской его дѣятельности, которые, какъ намъ кажется, нѣсколько поспѣшно обойдены были нашимъ изслѣдителемъ. Быть-можетъ намъ не удалось раскрыть нашу тему съ полною ясностью; быть-можетъ предположеніе наше опирается еще въ болѣе твердыхъ основаніяхъ: во всякомъ случаѣ мы считали своею обязанностью поставить на видъ миру то впечатлѣніе, которое прежде всего почерпается изъ этихъ книги, и потомъ находить себѣ сильную поддержку въ сужденіяхъ самого Сидонія. Тогда какъ г. Ешевскаго полагаетъ въ Сидоніи особенно риторъ, насъ, признаемся откровенно, гораздо болѣе занимаетъ въ томъ же писателѣ человѣкъ, а не чуждая многихъ слабостей. Вообще мы можемъ сказать, что наше личное впечатлѣніе, полученное отъ всей дѣятельности Сидонія, какъ человѣка и писателя, не позволяетъ намъ допустить слишкомъ строгаго къ нему приговора. Не надобно потомъ забывать, что, какъ замѣчливо замѣчаетъ и г. Ешевскій, „кельтскій (т. е. галльскій) народный характеръ заключалъ въ себѣ всѣ условія риторики“, то-есть „легкость рѣчи, плодovitость воображенія, блестящность рѣчи, *argute loqui*“. Мнѣніе совершенно справедливое, за которое говоритъ вся исторія народа: всѣ эти черты были до сихъ поръ въ литературѣ страны, несмотря на всѣ перемѣны въ языкѣ и въ понятіяхъ. Но въ такомъ случаѣ на насъ слѣдуетъ нападать не какъ на ложный и случайный римскій наростъ, а какъ на постоянный недостатокъ, который корень лежитъ въ самой народности и едва ли можетъ быть когда отдѣленъ отъ нея. Наконецъ надобно подумать и о томъ, чтобы за внѣшностью ритора, не забыть одного болѣе существеннаго и всегда заслуживающаго уваженія качества въ томъ же писателѣ: это глубоко вкорененная въ немъ любовь къ образованію. Едва ли кто изъ свѣтскихъ современниковъ Сидонія былъ искреннѣе его преданъ дѣлу просвѣщенія. Образованность была въ его глазахъ главною мѣрою достоинства человѣка. „Чѣмъ больше ты будешь предаваться литературнымъ занятіямъ“ (писалъ онъ къ одному изъ своихъ знакомыхъ), „тѣмъ больше будешь узнавать по опыту, что на сколько ювѣкъ вообще выше безсловесныхъ животныхъ, на столько ювѣкъ образованный выше невѣжи“¹⁾. Это чувство тѣмъ дороже въ Сидоніи, чѣмъ неблагоприятнѣе было время для его образованія. Отсюда тотъ ужасъ, который внушало

¹⁾ *Oeuvres de C. Ap. Sid.* I, p. 378.

ему усиленіе варваровъ въ предѣлахъ Римской имперіи, и д самая ихъ наружность; отсюда же, съ другой стороны, неизмѣнная преданность римскимъ началамъ въ противоположность варварскимъ, при всемъ непостоянствѣ въ другихъ ношеніяхъ. Императоры смѣняли одинъ другого и часто ги въ насильственныхъ катастрофахъ, но идея оставалась и та же. Кто не хотѣлъ владычества варваровъ, тотъ по обходности долженъ былъ держаться римскаго начала, смотря на частыя перемѣны его представителей.

Время епископской дѣятельности Сидонія составляетъ ш метъ послѣдней главы въ сочиненіи г. Ешевскаго. Оста на время своего героя, авторъ опять начинается съ того, рисуеъ широкую картину христіанскаго общества въ послѣ вѣка Римской имперіи — явленіе въ высокой степени по тельное и достойное вѣчной памяти исторіи. Въ то самое вр какъ падали согнившія основы древняго міра, внутри его едва замѣтныхъ зачинаній нарождался другой, носившій себѣ будущія судьбы человѣчества. Два общества одной кр но не одного духа, стояли другъ подлѣ друга: одно — уш ющее, другое — полное надеждъ и свѣжихъ жизненныхъ си Проводя параллель между ними, г. Ешевскій въ послѣд главѣ своей книги коснулся многихъ сторонъ новаго обще въ противоположность его съ римскимъ. Живая связь ме его разсѣянными и часто преслѣдуемыми членами подкрѣи вновъ множествомъ историческихъ свидѣтельствъ и постав на первомъ планѣ общей картины. Любопытно видѣть, и великая идея торжествуетъ надъ препятствіями, которыя каждымъ шагомъ противоположаются ея распространенію; ли пытно наблюдать особенно, какими путями поддерживал почти непрерывныя сношенія и происходилъ разнѣнъ мн между мыслящими людьми того времени, которые часто дѣлены были между собою огромными пространствами, и св того должны были бороться съ разными стѣснительными рами. Въ подземной тишинѣ, подъ завѣсою глубокой тай зрѣло сѣмя великаго и ничѣмъ неотразимаго будущаго, и прасны были всѣ усилія преслѣдующихъ погубить его въ момъ зародышѣ. Затѣмъ, имѣя въ виду ту же противополо ность, авторъ переходитъ къ внутренней организаціи цер и въ общемъ очеркѣ изображаетъ движеніе духовной лит туры. Читатель еще разъ встрѣчается здѣсь со многими тературными именами, которыхъ авторъ коснулся уже первой главѣ своего сочиненія. По поводу нѣкоторыхъ во

совѣ между членами новаго общества и его лучшими представителями нерѣдко возникали горячіе споры, но они большею частью проникнуты были духомъ терпимости. „Самая борьба съ лжеучителями велась исключительно оружіемъ мысли, и духовенство съ негодованіемъ возставало противъ преслѣдованія еретиковъ“. Въ книгѣ г. Ешевскаго приведено нѣсколько примѣровъ этой истинно христіанской терпимости въ отношеніи къ разномыслящимъ.

Нисходя отъ общаго къ частному, достигаемъ мы, вслѣдъ за нашимъ авторомъ, одного изъ самыхъ важныхъ моментовъ во всей жизни и дѣятельности Сидонія. По тогдашнему устройству христіанской общины, можетъ-быть не такъ важенъ былъ переходъ его въ духовное званіе, какъ совпаденіе его папскаго служенія съ самымъ критическимъ временемъ въ исторіи Оверни, которой онъ былъ епископомъ. Овернь, внутреннѣйшая изъ областей Галліи, какъ мы уже имѣли случай замѣтить прежде, долѣе другихъ сохранила свою самостоятельность отъ варваровъ; въ ней живѣе всего уцѣлѣло и чувство галльской народности; наконецъ и для Оверни пришло время послѣдняго разсчета. Ударъ казался тѣмъ болѣе неотвратимымъ, что онъ шелъ отъ Эйриха вестготскаго, безспорно, одного изъ самыхъ умныхъ предводителей между варварскими королями того времени, человѣка съ твердою волею и при томъ еще горячаго поборника аріанства. Отыскивая естественную границу вестготскимъ завоеваніямъ въ Галліи, Эйрихъ положилъ за непремѣнное ввести въ нихъ овернскую провинцію. Понятно, что чѣмъ ближе и грознѣе была опасность, тѣмъ сильнѣе пробуждался никогда совершенно не угасавшій патріотизмъ овернцевъ. Въ ближайшемъ соприкосновеніи съ варварами еще больше разгаралось въ нихъ чувство народной самостоятельности. Къ тому же различіе религіозныхъ вѣрованій дѣлало вражду двухъ народностей почти непримиримою. Недостатокъ силъ на одной сторонѣ могъ отчасти быть восполненъ отчаяніемъ. Предстоявшая борьба неминуемо должна была принять ожесточенный характеръ. Въ эту критическую минуту для галльской народности Сидонію досталось занимать епископскую кафедру въ Оверни и нѣкоторымъ образомъ стоять во главѣ ея мужественнаго народоустройства, на котораго падала тяжесть послѣдней борьбы съ варварами по лѣвую сторону. Сидоній не взялъ на себя и послѣдующихъ моментовъ политической

жизни Оверни, до паденія ея самостоятельности. Онъ часто возвращается къ событіямъ внутренней овернской исторіи, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ излагаетъ ихъ даже довольно подробно, но нигдѣ не беретъ ихъ въ постепенномъ развитіи. То зависѣло можетъ-быть отъ принятаго авторомъ плана, въ которомъ общему вездѣ дано преимущество передъ частнымъ. Если мы не ошибаемся, то главные моменты исторіи Оверни, до завоеванія ея варварами, заключаются въ слѣдующихъ чертахъ. Долгое время держится въ ней, наравнѣ съ другими областями Галліи, чувство противоположности къ римлянамъ, какъ завоевателямъ страны. Это чувство нѣсколько умѣряется распространеніемъ въ южной Галліи римскаго образованія. При появленіи на римской землѣ варваровъ, враждебное чувство галло-римлянъ вообще, овернцевъ въ особенности, обращается противъ нихъ. Чѣмъ сильнѣе напираютъ варвары, тѣмъ тѣснѣе примыкаетъ Галлія къ Риму, отъ котораго только и ждетъ себѣ спасенія. Римъ волею или неволею обманываетъ ея надежды, измѣняетъ ея интересамъ; варвары овладѣваютъ одною провинціею за другою; нѣкоторые изъ галло-римлянъ, не видя ни откуда спасенія, сами подаютъ руку на союзъ съ ними, или заискиваютъ ихъ покровительства. Но народное чувство не умерло между галло-римлянами: оно лишь стѣснилось на болѣе узкомъ пространствѣ, именно въ Оверни, но еще не утратило всей своей энергіи, какъ не потеряло вовсе вѣры въ помощь имперіи. Но никогда Римъ не былъ равнодушнѣе къ участи Оверни: когда она истощала послѣднія усилія для своей защиты, онъ договаривался съ варварами объ ея уступкѣ. Естественно, что въ подобныхъ обстоятельствахъ никакой героизмъ не въ состояніи былъ спасти провинцію и, вмѣстѣ съ ней, послѣднее убѣжище галльской народности по ту сторону Лоары, отъ варварскаго завоеванія. Такъ пала Овернь, и открытая борьба двухъ народностей перешла съ того времени въ глухую или подземную. Результаты ея всего лучше можно видѣть у Форіеля и Петиньи.

Самая исторія послѣдней борьбы овернцевъ съ варварами изложена въ сочиненіи г. Ешевскаго очень обстоятельно, по крайней мѣрѣ сколько позволяло запутанное состояніе историческихъ свидѣтельствъ для того времени. Главнымъ героемъ борьбы съ готами, „душею защиты“ Оверни является Эктицій, сынъ или, какъ полагаютъ другіе, пасынокъ Авита и братъ Паніаниллы, супруги Сидонія. Изъ отрывочныхъ и часто перемѣшанныхъ между собою извѣстій автору удалось восстано-

тъ его въ половину затерянный образъ. Читатель имѣетъ передъ собою не только громкое имя послѣдняго поборника галльской независимости, но и живое лицо, много говорящее въ изображенію. Въ его присутствіи становится понятно, какъ мирное народонаселеніе Оверни могло такъ долго бороться съ общенными противъ него усиліями воинственнаго народа. Всматриваясь въ черты Эдиція, какъ онъ представленъ у г. Ешевскаго, вѣришь силѣ его подвиговъ. Мы не можемъ удержаться, чтобъ не привести тѣ страницы сочиненія, въ которыхъ описывается первое появленіе Эдиція на сценѣ.

„Сынъ, или, какъ думаютъ нѣкоторые, пасынокъ Авита, Эдицій принадлежалъ къ числу богатѣйшихъ владѣльцевъ Оверни; въ самомъ родѣ у него былъ огромный домъ, а средства, которыя извлекалъ изъ своихъ помѣстій во время борьбы, лучше всего доказываютъ о огромное состояніе. Первая молодость прошла въ гимнастическихъ разненіяхъ, псовой и ястребиной охотѣ. Блестящее воспитаніе, какое давали Эдицію, собрало въ Овернь ученыхъ людей этого времени; и Сидоній говоритъ о томъ вліяніи, какое имѣлъ Эдицій на истократическую молодежь своей родины, заставивъ ее полюбить латинскую рѣчь и замѣнить ею кельтскіе діалекты, до сихъ поръ бывшее разговорнымъ языкомъ даже высшаго общества. „Ты нѣкогда замышлялъ сдѣлаться римлянами тѣхъ, которыхъ ты же потомъ не достигъ обратиться въ варваровъ“, пишетъ къ нему клермонтскій епископъ, говоря объ его заслугахъ отечеству. Мы знаемъ характеръ тогдашняго воспитанія, и тѣмъ болѣе растетъ наше уваженіе къ Эдицію, и на немъ не замѣтно ни малѣйшаго слѣда господствующаго наклоненія. Риторство, развѣдавшее самыя лучшія натуры, не оказало своего обычнаго вліянія надъ умомъ Эдиція. До насъ не дошли подробности о дальнѣйшей дѣятельности сына Авита до той поры, когда сѣтія въ Оверни не вызвали его на сцену. Знаемъ только, что, побѣдивъ себя военному поприщу, онъ былъ назначенъ при Антеміи чальникомъ войскъ въ Италіи, и ему обѣщано было достоинство гриція, уступавшее значеніемъ только консульству. Во время заговора Сероната, Сидоній, по просьбѣ овернской аристократіи, вызывалъ его изъ Италіи, гдѣ разрывъ Антемія съ Ричимеремъ обнаружилъ его безсиліе законной власти передъ наглымъ произволомъ варварскаго временщика. Эдицій явился въ Овернь уже тогда, когда готы ждали главный городъ этой провинціи, хотя мы и не знаемъ, должны ли отнести его появленіе къ послѣдней осадѣ Клермона (474 г.) или къ одной изъ предыдущихъ. Послѣднее кажется болѣе вѣроятнымъ; цита Оверни безъ Эдиція, по крайней мѣрѣ по нашему убѣжденію, дѣло слишкомъ загадочное. Прибытіе Эдиція, въ осажденный городъ напоминаетъ подвиги средневѣковаго рацарства, гдѣ личная отвага совершала чудеса. По счастью на этотъ разъ письмо Сидонія только передаетъ намъ всѣ подробности подвига, но и довольно живо изображаетъ радость жителей при видѣ любимаго вождя, неожиданно явившагося среди нихъ. Мы думаемъ, что это же самое

письмо можетъ нѣсколько показать, какъ велико должно было быть вліяніе Эддиція на воодушевленіе защитниковъ Оверни. Расскажемъ на основаніи отзывовъ очевидца, какъ было дѣло. Жители города собрались на полуразрушенныхъ стѣнахъ, когда разнеслась вѣсть, что на обширной равнинѣ, разстилавшейся у подножія горы, на которой построена крѣпость, происходитъ жаркая схватка. Люди всѣхъ сословій, пола и возрастовъ толпились на укрѣпленіяхъ, смотря на необыкновенное событіе, совершавшееся предъ ихъ глазами, и которому, какъ справедливо замѣтилъ клермонтскій епископъ, съ трудомъ можетъ повѣрить потомство. Съ 18 всадниками пробирался Эддицій въ осажденнымъ, когда увидѣлъ, что равнина между нимъ и городомъ занята многочисленнымъ непріателемъ. Съ отчаянною рѣшимостью бросился Эддицій въ средину враговъ, чтобъ открыть себѣ оружіемъ путь въ Клермонъ. Готы были поражены неожиданностью и дерзостью нападенія. Ими Эддиція, раздававшееся среди сѣчи, еще болѣе увеличило ихъ ужасъ. Растерявшіеся вожди забыли, какъ велики ихъ собственныя силы, не видали, какъ ничтожно число спутниковъ Эддиція. Въ паническомъ страхѣ спѣшили вестготы отступить къ вершинѣ довольно утесистаго холма, чтобы тамъ подъ защитою мѣстности выдержать нападеніе. Только немногіе, увлеченные отвагой, остались назади и погибли подъ мечемъ галло-римскаго героя. Эддицій со своею дружиною остался одинъ на всей равнинѣ, гдѣ готы не посмѣли держаться. Ни одинъ изъ его спутниковъ не палъ въ битвѣ, и спѣша воспользоваться временемъ, побѣдитель съ торжествомъ вѣхалъ въ ворота Клермона. „Здѣсь“, продолжаетъ Сидоній, „мнѣ легче вообразить, чѣмъ выразить словомъ, сколько привѣтствій, рукоплесканій, слезъ и радости встрѣтило твое безпренятственное возвращеніе въ городъ. Надобно было видѣть атріи твоего обширнаго дома, наполненные зрителями твоего славнаго триумфа. Подъ подалуями однихъ исчезала пыль, тебя покрывавшая; другіе брали удила, покрытыя пѣной и кровью; третьи переворачивали конскія сѣдла, смоченныя потомъ; тѣ разстегивали завязки гибкихъ пластинокъ твоего шлема; эти занимались развязываніемъ узловъ на твоихъ поножахъ (осгеае); одни считаютъ зубы мечей, притупившихся въ сѣчѣ, другіе трепещущими пальцами измѣряютъ отверстія, проколотыя и прорубленныя на твоихъ латахъ. Здѣсь, хотя многіе съ радостными тѣлодвиженіями сжимали въ объятіяхъ твоихъ спутниковъ, но болѣйшій порывъ народнаго ликованія, обращался къ тебѣ, и несмотря на то, что тебя окружала безоружная толпа, ты и вооруженный не скоро бы изъ нея вырвался. Съ чрезвычайною вѣжливостью ты выслушивалъ даже пошлости поздравителей, и стараясь освободиться отъ горячихъ объятій тѣснившей тебя толпы, ты былъ доведенъ до того, благодушный истолкователь любви народной, что долженъ былъ благодарить особенно тѣхъ, кто свободѣ наносилъ тебѣ оскорбленія“.

Но честь послѣдней мужественной обороны Оверни принадлежитъ не одному Эддицію. Рядомъ съ нимъ надобно еще поставить имя другого героя: этотъ герой — кто бы подумалъ?—былъ Аполлинарій Сидоній. Неужели возможно было такое быстрое и внезапное превращеніе? Авторъ увѣряетъ по-

ложительно: „Люди“ (говоритъ онъ), „у которыхъ при другихъ обстоятельствахъ незамѣтно было и слѣдовъ римскаго патріотизма, являются передъ нами *съ характеромъ, достойнымъ старыхъ временъ римской доблести*. На первомъ планѣ сталъ епископъ Оверни, *прежній риторъ* временъ упадка, политическій дѣятель безъ всякихъ политическихъ убѣжденій, теперь какъ бы переродившійся подъ вліяніемъ новаго своего положенія. *Трудно узнать Сидонія въ этомъ новомъ лицѣ, выступившемъ на сцену, и только вкоренившееся риторство еще обнаруживаетъ въ его письмахъ прежняго литератора*“. Нѣсколько ниже авторъ дополняетъ характеристику своего импровизированнаго героя новыми, еще болѣе сильными чертами. „Клермонскій епископъ“ (говоритъ онъ о томъ же Сидоніи) „во все время борьбы съ Эйрикомъ оказался достойнымъ вождемъ православнаго населенія и обнаружилъ не только замѣтельную дѣятельность, но и *небывалую въ немъ твердость духа*. Героическій порывъ какъ бы увлекъ и поднялъ его въ уровень съ совершившимися событіями. Можно бы подумать, что какими то чудомъ *измѣнились самыя основанія его характера: такъ много энергіи и самоотверженія* выказалъ онъ въ этой борьбѣ забытой и оставленной всѣми провинціи съ самымъ могущественнымъ (?) изъ германскихъ народовъ, съ даровитымъ вождемъ, умѣвшимъ занять первое мѣсто между другими варварскими предводителями“ и т. д.

Нельзя не быть поражену, вмѣстѣ съ авторомъ, необыкновеннымъ контрастомъ двухъ столько непохожихъ одинъ на другого челоѣкъ въ одномъ и томъ же лицѣ. Чтѣ въ самомъ дѣлѣ общаго между прежнимъ риторомъ, челоѣкомъ безъ опредѣленнаго направленія, безъ воли и убѣжденій, который лишь своимъ искательствомъ и неуемной лести обязанъ былъ своимъ довольно виднымъ положеніемъ, и мужественнымъ защитникомъ страны, дѣйствующимъ для ея блага съ такою энергіею и самоотверженіемъ и съ такою твердостью духа, что дѣла его напоминаютъ историку времена старой римской доблести? Откуда вдругъ возьмется въ челоѣкѣ прежде вовсе *небывалая* въ немъ твердость духа? Неужели она изъ ничего прививается обстоятельствами? Откуда вдругъ и героизмъ, и энергія воли, и способность къ самоотверженію въ томъ самомъ лицѣ, въ которомъ, казалось всѣ душевныя движенія попорчены фальшивымъ воспитаніемъ? Или надобно допустить, вмѣстѣ съ авторомъ, что „какимъ-то чудомъ“ *измѣнились самыя основанія характера Сидонія, или остается*

предположить, что подъ однимъ и тѣмъ же именемъ скрываются два совершенно различныя лица?..

Ни то, ни другое: истина лежитъ въ среднемъ пространствѣ между двумя крайностями. Есть, по нашему мнѣнію, очень простой способъ отыскать ее въ настоящемъ случаѣ: не возвышайте слишкомъ вашего героя въ одномъ случаѣ и не унижайте слишкомъ въ другомъ—и вы будете имѣть передъ собою истиннаго человѣка, безъ рѣзкаго контраста въ основныхъ чертахъ его характера. На нашъ взглядъ, именно оттого и произошла ошибка г. Ешевскаго, что онъ слишкомъ рѣзко раздѣлилъ различные моменты въ жизни Сидонія, и сдѣлавъ его въ одной главѣ отвѣтчикомъ за всѣ слабыя стороны, въ другой слишкомъ уже поспѣшно выставилъ на видъ лишь одни его достоинства. Одинъ и тотъ же человѣкъ разложился на свою дурную и хорошую сторону. Читатель, котораго до сихъ поръ старались убѣдить въ неисправности Сидонія какъ ритора, плохо вѣрить, чтобъ изъ него когда-нибудь могъ выйти національный герой. Сомнительны кажутся всѣ подвиги мужества и самоотверженія, когда во всей предшествующей жизни дѣйствующаго лица имъ не дано ни малѣйшаго основанія. Внезапное перерожденіе записного ритора въ героя добродѣтели тѣмъ непонятнѣе, что, какъ доказываетъ нашъ авторъ, риторство осталось при Сидоніи и въ самую важную эпоху его жизни; стало-быть перерожденіе не было такъ всецѣло и не произошло такъ мгновенно. Стало-быть нѣкоторые недостатки Сидонія переходили вмѣстѣ съ нимъ изъ одного его положенія въ другое; а можетъ-быть также и его достоинства послѣдней эпохи не были совершенно новыя?..

Гизо гдѣ-то говоритъ, что историческій человѣкъ не создается вдругъ, но развивается постепенно. Взятый въ различные моменты своей жизни, онъ дѣйствительно можетъ показаться непохожимъ самъ на себя. Дѣло историка въ томъ и состоитъ, чтобъ показать послѣдовательность развитія и постепенность переходовъ. Знаменитый въ русской исторіографіи контрастъ Іоанна Грознаго съ самимъ собою можетъ казаться привлекательнымъ въ художественномъ отношеніи, но въ немъ нѣтъ исторической истины. Будущій историкъ, навѣрное, постарается стереть это слишкомъ рѣзкое и потому само себя обличающее раздѣленіе, и замѣнить его хотя можетъ-быть болѣе прозаическою послѣдовательностью въ развитіи одного и того же характера, подъ вліяніемъ различныхъ

обстоятельствъ. Изображеніе Сидонія, сколько мы можемъ судить, пострадало главнымъ образомъ отъ того же небрежнаго приѣма. Чтобъ человѣкъ не былъ въ рѣшительномъ противорѣчій съ самимъ собою, чтобъ одни его дѣянія не исключали совершенно другихъ, слѣдовало бы, во-первыхъ, по нашему мнѣнію, менѣе сильно налегать на известные его недостатки въ двухъ первыхъ главахъ сочиненія, а постараться лучше объяснить ихъ изъ обстоятельствъ самаго времени. Если бѣ авторъ не судилъ Сидонія въ первой половинѣ его дѣятельности съ одной исключительной точки зрѣнія, многія хорошія, хотя и не очень блестящія, качества будущаго защитника Оверни тогда уже выступили бы наружу передъ читателемъ; по крайней мѣрѣ не остались бы вовсе въ тѣни. Тогда было бы больше замѣчено и поставлено на видъ другимъ, что Сидоній не былъ такимъ записнымъ риторомъ, какъ кажется съ перваго взгляда, и что панегирики больше вынуждаемы были у него силою обстоятельствъ или боязнью компрометировать себя, чѣмъ низкою угодливостью, и часто доставались ему очень дорого. Во-вторыхъ, мы полагаемъ бы, что въ изображеніи другой половины дѣятельности Сидонія были бы умѣстнѣе нѣсколько болѣе скромныя краски. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, кромѣ самого Сидонія, мы имѣемъ немало другихъ свидѣтелей его высокихъ подвиговъ при защитѣ Оверни. Отъ насъ далека мысль унижать его заслуги и отнимать принадлежащія ему достоинства, такъ точно, какъ не хотѣлось бы намъ слишкомъ преувеличивать его слабости и недостатки въ начальной дѣятельности. Но всему должна быть настоящая мѣра. По чрезвычайнымъ обстоятельствамъ, въ которыхъ находилась Овернь при нападеніи на нее вестготовъ, Сидоній, безъ сомнѣнія, показалъ себя выше, чѣмъ въ то время, когда опасность была гораздо далѣе, и когда вообще такъ трудно было ориентироваться въ современной политикѣ; но эта разность не могла же быть такъ велика, что въ одномъ случаѣ Сидоній заслуживалъ бы только порицанія, а въ другомъ — лишь удивленія и удивленія. Было бы слишкомъ утомительно для читателей, если бѣ мы въ этой же статьѣ хотѣли вновь пересмотрѣть всю дѣятельность Сидонія, пока онъ занималъ кафедру въ Оверни; довольно будетъ сослаться на нашего автора: пусть онъ самъ стѣбаетъ за то, что въ его собственномъ изложеніи событій Экдицій вездѣ занимаетъ самое видное мѣсто и играетъ главную роль при защитѣ Оверни, почти совершенно закрывая своимъ доблестью скромныя до-

стоинства епископа. Но этого мало. Подъ конецъ разсказа авторъ, уже нисколько не обинуясь, сознаетъ все превосходство Эдидіи передъ Сидоніемъ и, слѣдовательно, самъ беретъ назадъ часть того, что сказано было о немъ прежде. „Поступокъ Сидонія, о которомъ идетъ теперь рѣчь“ (говоритъ онъ, рассказывая пребываніе Сидонія въ изгнаніи послѣ завоеванія Оверни), „служить лучшимъ подтвержденіемъ нашего мнѣнія, что *главнымъ двигателемъ героическаго сопротивленія* Оверни противъ готовъ былъ Эдидій, своимъ присутствіемъ и личнымъ вліяніемъ *поддерживавшій слабую волю* клермонскаго епископа“¹⁾. Вполнѣ соглашаемся съ этимъ мнѣніемъ; но въ такомъ случаѣ что же будетъ значить прежде сказанная мысль, что во время борьбы Оверни съ готами *на первомъ планѣ* стоялъ епископъ Сидоній? Не будемъ также противорѣчить г. Ешевскому, когда онъ признаетъ въ клермонскомъ епископѣ слабость воли. Кого удивитъ эта черта въ Сидоніи, если на той же самой страницѣ авторъ еще положительнѣе говоритъ о немъ: „*тѣрпѣливости воли, стойкости характера не было вовсе въ натурѣ клермонскаго епископа*“. Но если такъ, то какъ же онъ могъ, говоря словами нашего автора, *обнаружить*, то-есть показать передъ другими твердость воли, которой въ немъ никогда не было?..

Пока Овернь напрягала свои послѣднія силы въ отчаянной борьбѣ съ варварами, имперія подписывала ея смертный приговоръ въ мирномъ трактатѣ съ Эйрихомъ вестготскимъ. Вся южная Галлія подпала наконецъ варварскому владычеству. Лѣтъ черезъ десять потомъ исчезла послѣдняя тѣнь свободы отъ варваровъ и въ сѣверной Галліи. Побѣда надъ Сигриемъ раздвинула предѣлы франкскаго завоеванія до самой Лоары. Черезъ нее два стана варваровъ-завоевателей могли подавать другъ другу руку — если не на союзъ, то на непримиримую вражду между собою. Галльской народности въ цѣломъ ея составѣ не было болѣе и въ поминѣ; но она не исчезла совершенно, а только сошла съ авансены и скрылась навремя подъ другимъ народнымъ началомъ, чтобъ, передѣлавъ его по своему, впоследствии снова выпустить впередъ съ обновленными силами и съ новымъ именемъ. Начинавшееся въ Галліи литературное движеніе также было прервано, но опять не на долгій срокъ времени: скоро оно снова даетъ чувствовать себя среди полного преобладанія варваровъ, и въ упор-

¹⁾ Апол. Сидоній, стр. 324.

ной борьбѣ съ ихъ вліяніемъ мало-по-малу вырабатываетъ для себя постоянныя формы. Изъ остатковъ римскаго образованія и галльскихъ народныхъ элементовъ, прошедшихъ не безъ поврежденія длинный періодъ варварскаго владычества, образуется потомъ новая французская литература. Григорій Турскій съ одной стороны, и Жоанвиль съ Фроассаромъ съ другой, болѣе родня между собою, нежели какъ кажется съ перваго взгляда. Промежутокъ между ними служить только доказательствомъ необыкновенной живучести галльской народности. Съ паденіемъ Оверни кончилась политическая роль и ея защитниковъ. Эдикцій потомъ вовсе исчезаетъ изъ исторіи. По предположенію нашего автора, впрочемъ довольно произвольному, этотъ „доблестный римлянинъ“ (?) кончилъ свою жизнь гдѣ-нибудь въ тиши уединенія, въ подвигахъ христіанскаго благочестія. Что же касается до Сидонія, то онъ, по волѣ побѣдителя, сосланъ былъ на испанскую границу и тамъ содержимъ былъ подъ строгимъ присмотромъ, отъ котораго освободился только благодаря ходатайству министра Эйриха, Леона нарбоннскаго. Возвращеніе въ Овернь куплено было Сидоніемъ цѣною новаго панегирика, разумѣется, въ честь завоевателя провинціи, что впрочемъ стоило автору „тяжелаго усилія“ надъ самимъ собою. Послѣдующая дѣятельность его исключительно посвящена была исполненію пастырскихъ обязанностей. Онъ умеръ въ 488 или 89 году, переживъ нѣсколькими годами своего преслѣдователя и самаго страшнаго врага своей родины.

Читатель можетъ видѣть теперь, въ какихъ пунктахъ мы расходимся съ авторомъ новой исторической монографіи. Сводя всѣ итоги, мы еще разъ должны отдать полную справедливость общей части сочиненія, изображающей судьбы Римской имперіи и состоянія общества въ V вѣкѣ. Наша историческая литература дѣлаетъ въ ней истинное приобрѣтеніе. Авторъ умѣлъ достигнуть рѣдкаго единства въ изображеніи одного изъ самыхъ многосложныхъ и запутанныхъ историческихъ дѣйствій. Основательное изученіе предмета соединилось здѣсь съ замѣчательнымъ талантомъ изложенія. Сравнительно менѣе зрѣлою и обдуманною считаемъ мы другую часть сочиненія, которая касается собственно Сидонія и имѣетъ цѣлюю рассказать его жизнь и оцѣнить дѣятельность какъ человека и писателя. Въ изображеніи его личности мы не находимъ той цѣлостности, какой въ правѣ были ожидать отъ историческаго разсказа. Сидоній слишкомъ двоится въ нашихъ гла-

захъ. Разбивъ его жизнь на отдѣльные, какъ бы вовсе независимые одинъ отъ другого моменты, авторъ, по нашему мнѣнію, слишкомъ поспѣшно дѣлаетъ свои заключенія о немъ, и потому бываетъ часто одностороненъ въ своихъ сужденіяхъ. Недостаетъ послѣдовательности въ развитіи его характера подъ вліяніемъ обстоятельствъ: отчего онъ иногда не только не походитъ на себя, но и впадаетъ въ рѣзкое противорѣчіе самъ съ собою и заставляетъ противорѣчить себѣ своего историка. Намъ кажется, что менѣе рѣзко отбѣняя нѣкоторыя отдѣльныя стороны въ Сидоніи, можно было бы достигнуть бѣльшаго единства въ его характеристикѣ. Настоящая мѣра исторической правды иногда вѣрнѣе достигается уменьшеніемъ свѣта, чѣмъ блескомъ и яркостью красокъ; поэтому умѣренный тонъ, который употребляютъ французскіе историки, говоря о Сидоніи, кажется намъ болѣе подходящимъ къ истинѣ, нежели сильныя укоризны ему нашего автора, вскорѣ послѣ того смѣняющіяся самыми лестными отзывами для того же лица.

Несмотря на наше разногласіе съ г. Ешевскимъ въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, мы смотримъ однако на трудъ его съ уваженіемъ и даже признательностью. Не часто достается критикѣ имѣть дѣло съ такимъ умнымъ произведеніемъ. Можно расходиться съ авторомъ во мнѣніяхъ, но нельзя не признать, что литература пріобрѣтаетъ въ немъ писателя съ сердцемъ и широкимъ, образованнымъ взглядомъ на вещи. Соединеніе литературнаго образованія съ историческимъ намъ кажется особенно заслуживающимъ вниманія. Авторъ столько же хорошій критикъ, какъ искусный повѣствователь. Книга его, между прочимъ, можетъ служить образцомъ приложенія результатовъ литературной критики прямо къ исторіи. Исчерпывая свой предметъ, то-есть избраннаго писателя, съ литературной точки зрѣнія, она въ то же время пользуется имъ, какъ историческимъ матеріаломъ, для возстановленія въ подлинныхъ чертахъ фізіономіи цѣлаго вѣка. Если есть въ книгѣ нѣкоторыя неровности или небольшіе недосмотры въ частностяхъ, то ихъ легко будетъ исправить при другомъ, болѣе отчетливомъ изданіи; но мы въ правѣ ожидать отъ автора не поправленій только въ прежней работѣ, а новыхъ и еще болѣе зрѣлыхъ плодовъ литературной дѣятельности.

Каролинги въ Италіи *).

I.

(801—814).

Послѣ многихъ колебаній и наклоненій то въ ту, то въ другую сторону, Италія, за исключеніемъ лангобардскаго Беневента и крайнихъ своихъ оконечностей, вошла наконецъ въ составъ большого Франкскаго государства. Когда открылся девятый вѣкъ новаго лѣтосчисленія, она ужъ состояла подъ этимъ чужимъ началомъ. Событія, какъ скоро они совершились, получаютъ видъ неотразимыхъ даже по отношенію къ предыдущему времени, когда можно было разсуждать развѣ только о ихъ возможности. Кажется, будто ужъ всякій другой оборотъ былъ рѣшительно невозможенъ, и совершившееся утверждается въ мысли какъ неизбежно необходимое. Въ другомъ мѣстѣ мы имѣли случай ввѣсить доводы, на основаніи которыхъ можно было бы заключать, что лангобардское начало не способно было болѣе ни къ какому движенію, и что освобожденіе отъ него, во что бы то ни стало, лежало въ политическихъ и національныхъ потребностяхъ страны ¹⁾. Доводы казались намъ не выдерживающими строгой критики, и мы потомъ не имѣли никакого повода разубѣдиться въ нашемъ мнѣніи. Не считая за нужное возвращаться къ нимъ, пока не будутъ представлены новыя сомнѣнія, мы возьмемъ франк-

*) Изъ помѣщаемыхъ здѣсь трехъ статей подъ этимъ заглавіемъ была напечатана только первая—въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1852 г. Вторая—сохранилась въ корректурныхъ листахъ. Какъ можно заключить изъ отиѣтокъ на нихъ цензора, она или была совсѣмъ не одобрена для печати, или подлежала такимъ измѣненіямъ и сокращеніямъ, на которыя авторъ не счелъ возможнымъ согласиться. Третья, сохранившаяся въ рукописи, не окончена; въ заголовкѣ означается: „840—875“; но рассказъ доведенъ лишь до 843 г.

¹⁾ См. «Судьбы Италіи», гл. IX.

ское завоеваніе, какъ несомнѣнный историческій фактъ, и отъ него, какъ отъ твердаго пункта, будемъ идти впередъ въ обзорѣни послѣдующихъ событій.

Историческія событія дѣйствительно неотразимы, но лишь съ того времени, какъ они совершились. Тогда нечего болѣе разсуждать о ихъ отмѣнности или неотмѣнности; тогда дѣло историка состоитъ только въ томъ, чтобъ стараться опредѣлить ихъ слѣдствія, показавъ напередъ тѣ предѣлы, въ которыхъ должно распространяться ихъ вліяніе. Совершаясь на поверхности той или другой страны, они въ то же время глубоко пускаютъ свои корни въ самую ея почву и срастаются съ нею почти до безпредѣльности. Не въ одной только памяти, не въ одномъ воображеніи народа живутъ они, но нерѣдко проникаютъ до самыхъ основъ народнаго характера. Годы прокладываютъ морщины на лицѣ человѣка, историческія событія прорѣзываютъ неменѣе глубокіе слѣды на нравственной фizioноміи цѣлаго народа. Ихъ могутъ закрыть собою новыя, послѣдующія событія исторической жизни, но едва ли когда въ состояніи изгладить совершенно. Даже закрытыя, они при случаѣ вскрываются снова, и либо обращаются въ болѣзную, неизлечимую рану, либо становятся, вмѣстѣ съ другими отличительными чертами, однимъ изъ постоянныхъ свойствъ націи, либо, наконецъ, остаются неизмѣнною гранью въ международныхъ отношеніяхъ. Печать историческая, хороша она или дурна, почти всегда неизгладима. Религіозное сознаніе индійца не измѣнилось въ продолженіе тысячелѣтій и стало какъ будто одно съ его природою. Чтб ни дѣлали Греки, чтобъ освободиться отъ своего несчастнаго политическаго дуализма, онъ остался съ ними до конца ихъ политической самостоятельности. Въ свою очередь, и римлянинъ, подышавши воздухомъ Востока, ничѣмъ ужъ потомъ не могъ отбить отъ себя его губительной заразы. Византія до конца своего существованія не могла раздѣлаться съ нѣкоторыми недугами, которые присущи были ей съ самаго возрожденія ея подъ римскимъ знаменемъ. Это же свойство исторіи осталось неизмѣнно при ней и послѣ паденія Рима. Еще въ наше время сохранились многія межи, проведенныя, болѣе чѣмъ тысячу лѣтъ назадъ, германскими завоеваніями. Рыцарство давно сложило всѣ свои доспѣхи въ національные музеи, а духъ его и теперь еще такъ легко узнаешь въ нравахъ тѣхъ народовъ, которые прошли черезъ него. Дѣло Людовика XIV пережило всѣ перевороты во Франціи. Пруссія все еще сильна гениемъ Фридриха II.

Такой же неотразимый фактъ въ исторіи Италіи—франкское завоеваніе. Утвержденное побѣдами Карла Великаго, безпеченное двумя коронами, изъ которыхъ одна—королевская, а другая — императорская, оно очевидно не принадлежало къ числу тѣхъ мимолетныхъ явленій, которыя уносятся вѣстѣ съ первымъ порывомъ вихря, разлетаются отъ перваго сильного удара. Франкское завоеваніе стало довольно крѣпко, гоубъ имѣть и свою будущность въ Италіи. Не довольно было ему положить предѣлы нѣкоторымъ изъ прежнихъ направленій, а сихъ поръ господствовавшимъ, или по крайней мѣрѣ искавшимъ себя господства на полуостровѣ. Оно еще имѣло назначеніемъ провести свой уровень по всѣмъ важнѣйшимъ отвлеченіямъ политической и общественной жизни, наложить в нихъ въ той или другой степени свой собственный характеръ и, наконецъ, даже внести сюда нѣкоторыя новыя стремленія. Примкнувши къ Каролингской монархіи, Италія должна была принять участіе и въ самыхъ судьбахъ ея. Успѣетъ ли франкское завоеваніе подавить всѣ прежнія стремленія и заставить ихъ новыми — это иной вопросъ, на который отвѣта подобно искать въ обзорѣни дальнѣйшихъ событій. Но у насъ же на первой очереди — приблизительное указаніе тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ заключилось франкское завоеваніе на полуостровѣ, и первыя нововведенія, принесенныя сюда Каролингами.

Въ томъ состояла особенность завоеваній, которымъ въ это время подвергалась Италія послѣ паденія старой имперіи, что рѣдкое изъ нихъ достигало крайнихъ, самую приюдою назначенныхъ предѣловъ полуострова. Франкское завоеваніе въ этомъ отношеніи не было много счастливѣе лангобардскаго. Карлъ Великій не могъ посвятить всѣхъ своихъ предствъ и силъ одной Италіи: тревожный Сѣверъ то-и-дѣло отвлекалъ его вниманіе. Довольный первыми крѣпкими основапіями, которыя онъ самъ положилъ для своей власти въ Италіи, и не сомнѣваясь болѣе въ ихъ прочности на будущее время, завоеватель предоставилъ окончаніе дѣла предприимчивости и служеству своего сына, вновь назначеннаго короля Ломбардіи (Лангобардіи). Вся сѣверная Италія и вся средняя, хотя подъ разными титулами, безпрекословно признавали власть побѣдителя; но южная, гдѣ самыя обширныя владѣнія попрежнему принадлежали лангобардамъ, нетерпѣливо сносила даже самый видъ покорности, наложенной на нее (въ 787 г.) оружіемъ и волею повелителя франковъ. Тамъ, въ Беневентѣ, властво-

валь Гримоальдъ, сынъ того самаго Арихиза, который пережилъ паденіе Лангобардскаго королевства и такъ долго отстаивалъ независимость своего герцогства противъ самого Карла. Вѣроятно, ободренный удаленіемъ завоевателя изъ Италіи, Гримоальдъ задумалъ возстановить полную самостоятельность своего княжества (такъ назывался Беневентск со времени Арихиза). Обѣщаніе вѣрности, данное имъ Карлу, скоро было нарушено. Вопреки своему обязательству, онъ не хотѣлъ скрыть укрѣплений Салерно, Ачеренцы, Консы, вошелъ въ сношенія съ византійцами. Намѣреніе отложиться было слишкомъ явно. Самого Карла не было въ Италіи; но Пипинъ и его совѣтники, соблюдая интересы новаго королевства, тотчасъ приняли мѣры, чтобъ удержать Беневентъ въ повиновеніи. Сильное ополченіе двинулось по направленію къ югу, снова угрожая послѣднему убѣжищу лангобардской независимости. Въ виду опасности, Гримоальдъ поспѣшилъ сдѣлать уступку, разорвалъ связи съ Византією. Но было поздно: Карлъ, котораго широкая мысль обнимала въ одно время всѣ отношенія, издавѣка прислалъ Пипину наказъ дѣйствовать наступательно, и для подкрѣпленія ему отправилъ туда же другаго своего сына, Лудовика, правившаго Аквитаніей. Надобно полагать, что онъ не хотѣлъ пропустить случая уравнивать Беневентъ въ политическомъ отношеніи съ другимъ лангобардскимъ герцогствомъ, то-есть совершенно лишить его всякой самостоятельности. Однако обстоятельства далеко не благоприятствовали желанію императора. Гримоальдъ бодро принялъ вызовъ, и начавшаяся между ними и его соединенными противниками война затянулась на нѣсколько лѣтъ. Мы лишены почти всѣхъ средствъ опредѣлить способы такого продолжительнаго сопротивленія со стороны беневентскаго князя; знаемъ только, что у него не было недостатка ни въ мужествѣ, ни въ твердости, и что за одно съ нимъ дѣйствовала также язва, не разъ опустошавшая ряды его противниковъ. Какъ бы то ни было, успѣхъ дѣла вовсе не соответствовалъ горячности и рвенію молодыхъ королевичей, которые притомъ и сами были короли. Отсутствіе самого Карла было вознаграждено никакими усиленіями. Сколько разъ ни наступали, почти всегда встрѣчали они себѣ равносильный отпоръ. Приходилось ограничиваться взятіемъ отдѣльныхъ укрѣпленных мѣстъ, что впрочемъ мало имѣло вліянія на общій ходъ войны. Пипинъ наконецъ рѣшился обратиться къ владѣтелю Беневента съ мирными предложеніями; утомленіе диктовало условія мира.

Гримоальда требовали только, чтобъ онъ согласился быть въ тѣхъ же самыхъ отношеніяхъ къ новому лангобардскому королю, въ какихъ Арихизъ былъ нѣкогда къ Дезидерію. На о предложеніе князь Беневента гордо отвѣчалъ, что онъ считался свободнымъ и съ Божіей помощью надѣется свободнымъ остаться навсегда⁴. Уступая Франку въ матеріальной силѣ, Лангобардъ, даже и въ эпоху упадка своей національности, хотѣлъ уступить ему никакого преимущества въ гордомъ чувствѣ своей свободы и независимости. При всемъ своемъ гониміи, Пипинъ долженъ былъ снова прибѣгнуть къ оружію. Ила новаго наступательнаго движенія, 802 года, дала себя почувствовать во взятіи Орнано на берегу Адриатики и потомъ очеры въ самой Апуліи. Послѣдній важный пунктъ вмѣстѣ съ поставленнымъ здѣсь франкскимъ гарнизономъ ввѣренъ былъ Гвинигизу, герцогу сполетскому. Но это распоряженіе лишь доставило Гримоальду случай захватить въ свои руки пленнаго плѣнника. Только что Пипинъ отвелъ свое ополченіе отъ завоеваннаго города, какъ тотъ явился подъ его стѣнами и послѣ продолжительной осады принудилъ его сдаться. Гвинигизъ былъ захваченъ вмѣстѣ съ другими, и только великодушію побѣдителя обязанъ былъ тѣмъ, что въ слѣдующемъ году ему была возвращена свобода¹⁾.

Съ смертію воинственнаго Гримоальда, послѣдовавшею въ 806 году, отношенія франковъ къ Беневенту приняли болѣе благопріятный оборотъ. Преемникъ его, Гримоальдъ II Сторейицъ (Storeseyz), былъ человѣкъ довольно миролюбивыхъ наклонностей. Пипинъ, долгимъ опытомъ убѣдившись въ безплодности всѣхъ покушеній на независимость Беневента, съ своей стороны, также прекратилъ нападенія. Отношенія не мѣнялись и послѣ его смерти (810). Поэтому не ясно, какія побужденія могли заставить Гримоальда II черезъ нѣсколько времени обратиться къ самому Карлу Великому съ предложеніемъ подданства: узналъ ли онъ о новыхъ приготовленіяхъ къ войнѣ со стороны франковъ, или чувствовалъ себя не довольно безопаснымъ противъ враговъ внутреннихъ? Предложеніе какъ нельзя болѣе соответствовало видамъ и желаніямъ завоевателя Италіи, и онъ, не затрудняясь, принялъ его условія. Беневентское княжество сохранило всю прежнюю самостоятельность во внутреннемъ управленіи, и политическая зависимость

¹⁾ Объ этой войнѣ см. Erchemp. Hist. Princ. Long. — Джанноне пересказываетъ главныя ея событія въ своей «Исторіи Неаполя», III, 1, кн. VI, гл. 4. — См. также Murat. Ann. ad. an. 801 и 802.

его отъ имперіи выражалась только ежегодною данью въ 28 солидовъ, которая впрочемъ потомъ была значительно уменьшена. Спустя два года, послы Гримоальда опять явились Ахенъ, и условія мира еще разъ были подтверждены на ихъ основаніяхъ ¹⁾. Эта сдѣлка хотя и не рѣшила окончательно участи Беневента, впрочемъ на нѣсколько лѣтъ вѣе опредѣляла отношенія его къ Франкскому государству, и указывала на то, что франкскому вліянію не предназначено здѣсь значительной роли, и что вообще южной части острова готовились особыя историческія судьбы, отдѣльныя отъ прочей Италіи. Лангобардизмъ былъ обезсиленъ и принужденъ отказаться отъ безусловной политической самостоятельности пока зависимость Беневента отъ франковъ выражалась только данью, лангобардскія учрежденія могли оставаться во всей своей силѣ, и лангобардское право не имѣло ни опасаться совмѣстительства съ правомъ завоевателей; оно здѣсь укоренилось глубже, нежели въ другихъ частяхъ Италіи ²⁾.

Кромѣ большого лангобардскаго участка, который дѣлился подъ властью беневентскихъ князей, въ Италіи еще нѣкоторыя доли, состоявшія подъ высшимъ авторитетомъ Византійской имперіи. Весь этотъ убогій остатокъ отъ вѣковъ, когда-то столько блестящаго, заключался въ неаполитанскомъ дукатѣ съ принадлежавшими къ нему городами и большимъ пространствомъ отъ Кумъ до Амальфи), въ малой области города Гаетты и въ нѣсколькихъ городахъ Апуліи и Калабріи ³⁾. Уцѣлѣвъ въ свое время отъ лангобардскаго тиска, эти земли и города тѣмъ удобнѣе могли удерживаться теперь, прикрываемые отъ франковъ крайними лангобардскими владѣніями на полуостровѣ. Не было для нихъ также боязни опасности и со стороны воинственныхъ князей Беневента, пока тѣ были заняты своею упорною борьбою съ новыми завоевателями Италіи; по крайней мѣрѣ нападенія со стороны Беневента, которыя обыкновенно направляемы были прѣ-

¹⁾ См. Erchemp. c. 7; Einh. ad an 814.—Ср. Murat. ad an. 812 и

²⁾ См. Giannone, I, V, 5.—³⁾ По исчисленію Джанноне (I, VI, 2), эти доли были слѣдующіе: въ Апуліи, или древней Калабріи, Галлиполи и Отранто; въ странѣ Бруттіевъ, кромѣ Реджіо, Джераче, Санъ-Северино, Котроне, Аматриполи и пр. Весьма основательно замѣчаніе автора, что на Бруттіи перенесено названіе Калабріи послѣ того, какъ Греки потеряли большую часть своихъ владѣній въ этой странѣ, и правители этой области должны были переселиться изъ Тарента въ Реджіо.

оты и городовъ неаполитанскаго дуката, повторялись ужъ такъ часто и вообще потеряли много прежней своей энергіи. Но болѣе: когда Карлъ Великій, овладѣвъ Газтою, назначилъ этотъ городъ въ даръ римскому епископу, греки обязаны были поощрять князя беневентскаго тѣмъ, что Газта снова была возвращена ихъ власти ¹⁾. Впрочемъ всѣ эти владѣнія, хотя бы взятые вмѣстѣ, мало прибавляли къ политическому вѣсусилу Восточной имперіи, едва ли даже много помогали ей облегченіи ея финансовыхъ нуждъ. Со времени распространѣнія лангобардовъ въ южной Италиі и уничтоженія равеннаго экзархата, они были подчинены экзарху или патриціу Сициліи—первый поводъ къ тому, чтобъ названіе острова мало-малу перенесено было и на земли, лежащія по сю сторону Мессинскаго пролива. Но ужъ по самой разнообразности этихъ земель и отдаленности ихъ отъ центральнаго управленія, автентичность сицилійскихъ экзарховъ никогда не могъ возвыситься въ Италиі до того значенія, какое по всѣмъ правамъ принадлежало ему въ самой Сициліи. Почти ни изъ чего не замѣтно, чтобъ они принимали большое участіе въ тамошнихъ публичныхъ дѣлахъ, или имѣли на нихъ сильное вліяніе. Не только внутреннее управленіе, но даже и внѣшнія отношенія, самыя важныя — все это, повидимому, непосредственно зависѣло отъ императорскихъ правителей. Неаполь съ своею областью попрежнему оставался своими дукатами, которые назывались также и контадами, и почти только по имени находился въ зависимости отъ имперіи. Дуки болѣею частью избирались на мѣстѣ, изъ знатныхъ гражданъ; иногда это титуло соединялось съ достоинствомъ мѣстнаго епископа, и только утверждаемы были они императоромъ въ Сициліи, или въ самомъ Константинополѣ ²⁾. Власть неаполитанскихъ дукатовъ простиралась также на Амальфи, Салерно и другіе города, лежавшіе въ той же области; изъ нихъ каждый имѣлъ своего особаго правителя, который обыкновенно назначался въ Неаполѣ и удерживалъ старое титуло "принцес". Если жители дуката въ своей постоянной борьбѣ съ лангобардами были предоставлены самимъ себѣ и не могли разчитывать на помощь равнодушной къ нимъ имперіи, то имперія, въ свою очередь, не могла требовать никакихъ особыхъ пожертвованій отъ жителей страны, которая должна была издерживать почти всѣ свои средства на свою защиту.

¹⁾ Ibid. (I, VI, 1). — ²⁾ Ibid. I, VI, с. 2; Mur. Ann. ad. an. 811. — Объявленіяхъ къ патрицію, онъ же подъ г. 813.

Можно бы сказать, что византійскій авторитетъ затѣмъ только и сохранился въ этомъ краѣ, чтобъ хотя въ одномъ углу ея продолжали дѣйствовать тѣ элементы общественной жизни, которые нѣкогда простирались на весь равнинскій экзархатъ въ самомъ обширномъ его протяженіи. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь долѣе, нежели гдѣ-нибудь въ Италіи, сохранились нѣкоторые юридическіе обычаи, образовавшіеся подъ вліяніемъ новеллъ восточныхъ императоровъ, и предположеніе о томъ, что обогащеніе возраждающейся науки, однимъ изъ важнейшихъ источниковъ римскаго права, послѣдовало черезъ посредство городовъ неаполитанскаго дуката, не лишено нѣкотораго вѣроподобнаго основанія ¹⁾.

Былъ еще одинъ важный пунктъ въ предѣлахъ итальянской территоріи, который не вошелъ въ составъ франкскаго завоеванія и также продолжалъ прикрываться авторитетомъ Византійской имперіи. Это — извѣстная венеціанская община, которая благодаря своему счастливому положенію, умѣла сохранить свою независимость во все время лангобардскаго владычества на полуостровѣ. То же самое обстоятельство спасло ее главнымъ образомъ и отъ перваго разлива франкскаго завоеванія. Но, сверхъ того, Венеція искусно пользовалась для своего самосохраненія и своими старыми отношеніями къ имперіи. Управляясь своими собственными дуками, которые получали власть отъ народнаго избранія, она впрочемъ не торопилась разорвать всѣ связи съ Византією. Жители Венеціи не дѣлали съ своей стороны никакихъ возраженій, когда дуки ея, возвращаясь изъ Константинополя, какъ бы въ знакъ императорскаго утвержденія ихъ выбора, привозили съ собою почетное титуло спафарія или ипата (консула тожъ) ²⁾. Это кажущееся подчиненіе Венеціи Востоку, въ обыкновенное время не простиравшееся далѣе незначительныхъ формальностей, очевидно приносило пользу только возникавшей республикѣ, потому что служило ей нѣкотораго рода щитомъ противъ нападений, которыя могли быть устремлены на нее съ Запада. Нельзя было покуситься на независимость Венеціи, не затронувъ въ то же время чести и интересовъ Восточной имперіи. Если имперія и не въ состояніи была оградить безопасность Венеціи вооруженною рукою, то она старалась по крайней мѣрѣ выговорить ея неприкосновенность въ своихъ дипломатическихъ сношеніяхъ и договорахъ. Такъ, по свидѣтельству

¹⁾ Ср. Giannone, т. I, л. VI, с. 2.—²⁾ Ср. Murat. Ann. ad an. 807.

Андрея Дандоло ¹⁾), въ договорѣ 803 года, состоявшемся между Карломъ Великимъ и восточнымъ императоромъ, положительноговорена была не только полная безопасность венеціанскихъ острововъ отъ всякаго нападенія со стороны франковъ, но и совершенная ненарушимость всѣхъ ихъ старыхъ правъ и привилегій. Имѣя много доброй воли на то, чтобъ поддерживать въ возможности дружественныя отношенія съ Восточной имперіей, Карлъ дѣйствительно оставлялъ въ покоѣ состоявшуюся ея покровительствомъ республику, и не показывалъ никакого намѣренія ввести ее въ предѣлы своего итальянскаго владенія.

Такимъ образомъ поставленная между Востокомъ и Западомъ, Венеція, какъ корабль въ морѣ, проходящій между двумя подводными скалами, искусно лавировала между ними, держась довольно свободно на извѣстномъ разстояніи отъ того и другого, и больше наклоняясь въ ту сторону, гдѣ была слабая сила притяженія. Впрочемъ, при всемъ искусствѣ, способности совершенное равновѣсіе и избѣжать всякаго столкновенія было почти невозможно. Въ самой этой двойственности отношеній было слишкомъ много искушенія и поводовъ къ раздѣленію, чтобъ всегда можно было съ успѣхомъ противостоять ему. Но первый поводъ къ разъединенію и образованію партій на венеціанскихъ островахъ заключался отъ начала во внутреннихъ отношеніяхъ. Какъ Римъ, какъ Неаполь, Венеція также не ушла отъ домашнихъ волненій и неустройствъ. Причиной служили обыкновенно выборы дука или дожа, раздѣлявшіе народъ на партіи. Рѣдко проходили они безъ сильныхъ ютрасеній; иногда даже сопровождались страшными насиліями. Развитію духа партій и ихъ живучести много способствовала еще постановка мѣстныхъ авторитетовъ, между которыми была раздѣлена власть на венеціанскихъ островахъ. Ибо, управляясь своими дуками, Венеція въ церковномъ отношеніи подчинялась власти аквилейскаго патріарха, который имѣлъ свое мѣстопробываніе въ Градо. Независимыя одна отъ другой и имѣя каждая свой кругъ дѣйствія, обѣ власти соперничали между собою авторитетомъ и вліяніемъ. Каждая изъ нихъ преслѣдовала свои интересы, каждая была опорой особой пар-

¹⁾ *Rer. St. Scrip. t. XII: In hoc foedere seu decreto nominatim firmatum est, quod Venetiae urbes et maritimae civitates Dalmatiae, quae in devotione imperii illibatae perstiterant, ab Imperio Occidentali nequaquam debeant molestari, invadi, nec minorari; et quod Veneti possessionibus, libertatibus, et immunitatibus quas soliti sunt habere in Italico regno, libere perfruantur.*

тіи. Ихъ соперничествомъ партій, возникавшія при выборахъ, держались и въ послѣдующее время. Находясь на твердой землѣ, Градо служилъ убѣжищемъ для недовольныхъ жителей острововъ, и наоборотъ ¹⁾. Франкское завоеваніе, своею поддержкою одной изъ соперничавшихъ сторонъ, провело это разединеніе еще далѣе, сдѣлало еще тягучѣе. Если патриархъ Градо, побуждаемые чувствомъ своего безсилія, искали себѣ болѣе крѣпкой опоры во франкахъ, смѣнившихъ въ этомъ краѣ непріязненныхъ лангобардовъ, то интересъ дожей представлялъ ихъ тѣмъ сильнѣе примыкать къ Восточной имперіи. Силою внутренняго раздѣленія Венеція какъ бы разрывалась на части, одними увлекаемая къ Западу, другими болѣе притягиваемая къ Востоку.

Ожесточеніе, долгое время питаемое съ обѣихъ сторонъ, вдругъ вспыхнуло кровавою враждою при дожѣ Іоаннѣ, сынѣ и преемникѣ Мауриція. Первою жертвою его былъ патриархъ Градо, по имени тоже Іоаннъ, погибшій насильственною смертію. Преемникомъ убитаго былъ однако близкій родственникъ его, Фортунатъ, который наследовалъ отъ Іоанна и самую его вражду. Между тѣмъ, изгнанные приверженцы патриарха собрались въ Тривиджи и избрали себѣ особеннаго дожа въ лицѣ Обелерія, одного изъ трибуновъ. Дѣйствуя, по всей вѣроятности, за одно съ ними, новый патриархъ спѣшилъ обратиться къ Карлу Великому и получилъ отъ него утвержденіе въ своемъ достоинствѣ и увѣреніе въ покровительствѣ. По нѣкоторымъ извѣстіямъ ²⁾, Обелерій съ своимъ братомъ также сопровождалъ патриарха ко двору Карла, и конечно получилъ такое же увѣреніе. Дождь Іоаннъ, чувствуя себя не безопаснымъ и не пользуясь любовью—народа, бѣжалъ изъ Венеціи, и Обелерій, призванный на его мѣсто, съ торжествомъ былъ провозглашенъ дожемъ въ Маламокко ³⁾. Доселѣ было согласіе Обелерія съ Фортунатомъ, который продолжалъ оставаться внутри франкскихъ владѣній. Человѣку той или другой партіи стоило только почувствовать себя дожемъ Венеціи, чтобъ тотчасъ же отдѣлить свои интересы отъ интересовъ градскаго патриарха. И потому, едва только Фортунатъ, послѣ трехлѣтней отлучки, опять возвратился въ свою резиденцію, какъ Обелерій заставилъ его снова бѣжать изъ Градо, пользуясь для

¹⁾ См. объ этихъ отношеніяхъ Лео, *Gesch. v. Italien*, I, 242 — 251. —

²⁾ Ann. Bertin. ad. an. 806. — ³⁾ Всѣ эти событія Муратори относятъ къ 803 и 804 годамъ.

И цѣли присутствіемъ греческаго флота, который стоялъ да (807 г.) передъ Венеціею, подъ начальствомъ адмирала житы, присланнаго будто бы для переговоровъ съ Пипиномъ. ступокъ Обелерія, по причинѣ очень понятной, нашелъ себѣ брѣніе въ Константинополѣ. Онъ самъ, оставаясь въ Венеціи, получилъ титулъ императорскаго спафарія, а братъ и соавитель его Беатъ возвратился изъ столицы Восточной имперіи съ титуломъ ипата.

Довольство въ Константинополѣ должно было отозваться и новымъ неудовольствіемъ на противной сторонѣ, и безъ того оскорбленной изгнаніемъ покровительствуемаго ею патріарха. Сходясь всего чувствительнѣе въ Венеціи, старая и новая имперіи на ней же всего болѣе и расходились. Карлъ шъ ужъ въ томъ возрастѣ, въ которомъ, даже и при великой душевной энергіи, не отваживаются легко на предпріятія. Пипинъ, котораго, какъ лангобардскаго короля, это дѣло казалось гораздо ближе, еще зналъ нетерпѣніе юности и съ собственною ей горячностью шелъ на встрѣчу событіямъ. Но обстоятельство прибавило еще болѣе жара начинавшемуся расположенію его противъ Венеціи и ея покровителей. Въ 9 году греческій флотъ опять появился въ Адриатикѣ. Простоявъ нѣсколько времени у Венеціи, онъ подошелъ къ регамъ и вдругъ, безъ всякаго предварительнаго объявленія войны, обложилъ островъ и городъ Комакію, лежавшій между устьемъ По и Равенною. По счастью, франкскій гарнизонъ, поставленный здѣсь Пипиномъ, былъ на сторожѣ и успѣлъ отбить коварное нападеніе. Потерпѣвъ большой уронъ, Карлъ долженъ былъ воротиться къ Венеціи, откуда начальство его, хитрый грекъ, по имени Павелъ, не посовѣстился вести мирные переговоры съ Пипиномъ, какъ будто передъ нимъ не послѣдовало ничего особеннаго, и какъ будто это была главная цѣль его назначенія. Переговоры не привели ни къ какому результату, какъ потому, что византійскій уполномоченный началъ ихъ только для вида, такъ еще болѣе потому, что Обелерій и его братъ, которые для себя лично сѣли причины опасаться сближенія между имперіями, всячески старались помѣшать ему своими интригами ¹⁾. Скоро греческій флотъ отплылъ отъ береговъ Италіи, оставя за собою лишь безъ нужды возбужденное негодованіе и нетерпѣливое желаніе отмстить за вѣроломный набѣгъ. Столько же по

1) Ann. Einh. ad an. 809.

враждебному чувству къ Восточной имперіи, сколько и по неудовольствіямъ на дожа, Пипинъ въ слѣдующемъ году (810) собралъ свой флотъ и устремилъ его противъ Венеціи. Нападеніе, несмотря на всѣ неудобства, было исполнено съ жаромъ. Даже по свидѣтельству мѣстнаго историка, усилія франковъ на многихъ пунктахъ, изъ которыхъ слагалась „морская“ Венеція, какъ-то Брондоло, Квоза, Палестрина и Маламокко, увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Только островъ Ріальто (Rivoalto) съ большею энергіей выдерживалъ устремленный противъ него ударъ. Здѣсь сосредоточилась главная сила сопротивленія. Самая ли мѣстность на Ріальто и около него болѣе благопріятствовала этому сопротивленію, или можетъ-быть здѣсь засѣли самые отчаянные защитники венеціанской независимости,—какъ бы то ни было, Пипинъ былъ отсюда отбитъ съ урономъ, и Ріальто избѣжалъ опустошенія, которому подверглись другіе острова, занятые франками. Несмотря на одну частную неудачу въ цѣломъ предпріятіи, Пипинъ, возвращаясь отъ Венеціи, увозилъ съ собою покорность обоихъ венеціанскихъ правителей, которые, какъ видно, были гораздо способнѣе къ интригѣ, чѣмъ къ вооруженной защитѣ противъ непріятеля ¹⁾.

Это былъ послѣдній подвигъ молодаго лангобардскаго короля изъ дома Каролинговъ. Только что возвратившись изъ своего похода, Пипинъ постигнутъ былъ въ Миланѣ опасною болѣзнію, отъ которой и умеръ на 33-мъ году своей жизни. Смерть его, передавшая всю власть надъ Италіею въ руки самого Карла Великаго, произвела еще одну новую перемѣну въ судьбѣ Венеціи. Явившись къ Карлу, послы восточнаго императора потребовали отъ него выдачи послѣдняго завоеванія. Знаменитый Каролингъ, начинавшій цѣнить покой дороже всѣхъ новыхъ пріобрѣтеній, не хотѣлъ принять на свою отвѣтственность начинаній своего сына, и въ 812 году отказался отъ власти надъ Венеціею въ пользу Восточной имперіи. Ближайшимъ слѣдствіемъ такой перемѣны было удаленіе Обелерія и его брата съ венеціанскихъ острововъ и избраніе новаго дожа, по имени Партиципация—переворотъ, въ которомъ видимо обнаруживалось торжество византійской партіи. До сихъ поръ мѣстопробываніе дожей было на Маламокко; но такъ какъ это мѣсто много потерпѣло при нападеніи Пипина, то Партиципаций, по единогласному рѣшенію народа, перешелъ на Ріальто,

¹⁾ Ibid. ad an. 810. — Ср. Murat. Ann.. подъ тѣмъ же годомъ.

гдѣ для него построенъ былъ особенный дворецъ. Итакъ, послѣ нѣкотораго колебанія, Венеція опять становилась подъ византійскій авторитетъ. Но она не отрѣшалась вовсе и отъ франкскаго начала, стоя съ нимъ въ необходимой связи черезъ градскаго патріарха, котораго земли лежали частью во владѣніяхъ Каролинговъ и пользовались дарованнымъ ими правомъ иммунитета ¹⁾. Въ этой особенности положенія былъ зародышъ будущаго значенія Венеціи. Не принадлежа исключительно ни Византіи, ни имперіи Карла Великаго, Венеція оставалась главнымъ посредствующимъ звеномъ между Востокомъ и Западомъ. Положеніе Неаполя, Амальфи, Гаэты было нѣсколько сходно, но далеко не такъ выгодно. Сравнительно съ Венеціею, эти города находились въ большей зависимости отъ метрополіи, и однако не были такъ обращены къ ней лицомъ, смотрѣли болѣе въ противоположную сторону. Наконецъ отъ остальной Италіи они были заслонены цѣлымъ строемъ лангобардскихъ владѣній, которыя еще уцѣлѣли въ южной части полуострова. Назначеніе Неаполя и Амальфи было болѣе мѣстное, и притомъ соединенное съ большими неудобствами по отношенію къ будущимъ завоевателямъ, которые немного позже появляются въ Сициліи и вслѣдъ за тѣмъ въ южной Италіи.

Теперь яснѣе обозначаются собственные предѣлы, въ которыхъ должно было заключаться непосредственное вліяніе франкскихъ учрежденій на Апеннинскомъ полуостровѣ. Это вся остальная Италія, начиная отъ самыхъ Альповъ на сѣверѣ, между Тирренскимъ и Адриатическимъ морями, вплоть до беневентскихъ владѣній на югѣ, то-есть всѣ лангобардскія земли въ сѣверной и средней Италіи, бывшій равеннскій экзархатъ съ Пентаполисомъ и собственно римская область или дукатъ. Но и здѣсь нельзя обойти одного важнаго различія: не всѣ поименованныя земли одинаково относились къ франкскому началу, подъ которое были поставлены послѣ паденія стараго Лангобардскаго государства. Однѣ изъ нихъ были завоеваны оружіемъ и составляли собственно такъ называемое „Итальянское королевство“, вѣренное Карломъ Пипину еще до возстановленія имперіи, и потомъ снова торжественно утвержденное за нимъ на большомъ сеймѣ 806 года ²⁾. Въ официальныхъ бумагахъ весьма прилично начинали называть главную сплошную массу этихъ

¹⁾ См. Leo, *ibid.*—²⁾ См. Murat. Ann. ad. an. 806. Власть Пипина простиралась также на Баварію, частью даже на Истрію, Далмацію и Славонію.

земель „Лангобардіей“ (*Langobardia*) ¹⁾, что даетъ намъ право означать ихъ именемъ Ломбардіи. Прочія изъ названныхъ прежде земель не были заняты съ оружіемъ въ рукахъ, не принадлежали ни по какому праву къ новому Итальянскому королевству, но необходимо входили въ общій составъ большой монархіи Карла Великаго, какъ „римскаго“ императора. Ясно, что подъ ними надобно разумѣть „территорію св. Петра“, какъ называется она въ современныхъ памятникахъ (*termini S. Petri*). Но какъ далеко она простиралась за предѣлы собственнаго римскаго дуката? Ужъ Муратори замѣтилъ, что причислять сюда Модену, Реджію, Парму и Піаченцу можно было бы лишь повѣривъ на слово недозрѣлой учености XVI вѣка. Гораздо основательнѣе будетъ считать между владѣніями св. Петра — бывшій экзархатъ и принадлежавшій къ нему Пентаполисъ, которые съ этого времени, въ отличіе отъ Ломбардіи, болѣе начинаютъ быть извѣстны подъ новымъ общимъ названіемъ „Романдіолы“ (*Romandiola*), или „Романьолы“, откуда позднѣйшая Романья. Пожалованныя церкви св. Петра еще Пипиномъ Старшимъ, эти земли никогда не были формально взяты назадъ и его сыномъ. Правда, что Пипинъ Младшій, сдѣлавшись королемъ Италіи, въ нѣкоторыхъ случаяхъ хотѣлъ съ такою же рѣшительностью проводить свою волю въ Романіи, какъ и въ Сполетскомъ герцогствѣ, которое несомнѣнно подчинялось ему, какъ королю Ломбардіи ²⁾; но, по буквальному смыслу постановленій, та же самая воля должна была исполняться и въ Беневентѣ, который между тѣмъ продолжалъ еще отстаивать свою самостоятельность. Нѣсколько позже, усердные миссы Карла думали соблюсти интересы имперіи и угодить ему, собравъ въ императорскую казну доходы въ равеннской области; но римскій епископъ тотчасъ же вошелъ съ жалобою къ императору на такую вопіющую несправедливость и получилъ требуемое имъ удовлетвореніе ³⁾. Жалобы на подобныя злоупотребленія повторялись и послѣ (Левъ III не менѣе своего предшественника боялся ущерба достоинства св. Петра), и мы не имѣемъ никакой причины сомнѣваться, что жалобы эти всякій разъ рѣшались попрежнему въ пользу римскаго престола. На этомъ основаніи, называя территорію или земли св. Петра, мы будемъ разумѣть подъ

¹⁾ Ibid. ad. an. 803.—²⁾ См. напр. постановленіе — *de fugacibus, qui in partibus Beneventi, et Spoleti, seu Romaniae, vel Pentapoti confugium faciunt, ut reddantur*. Mur. Ann. ad. an. 803.—³⁾ Ibid. ad. an. 808.

ними не только римскій дукать,¹ но и всю Романію, то-есть бывшій равеннскій экзархатъ и соединенный съ нимъ Пентаполисъ.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что земли, оставленныя Карломъ Великимъ за римскою церковью, менѣе лангобардскихъ подвергались франкскому вліянію. Хотя онѣ и не ушли совершенно отъ зависимости, но подчинялись завоевателю не иначе, какъ чрезъ посредство римскаго епископа, который не только не былъ низложенъ завоевателемъ, но еще состоялъ подъ его особеннымъ покровительствомъ. Подвластный западному императору, римскій епископъ впрочемъ удерживалъ за собою внутреннее управленіе всею обширною патримоніею. Конечно отношенія были тѣсныѣ, зависимость чувствительныѣ, чѣмъ въ Беневентѣ. То самъ императоръ являлся въ Римѣ, то епископъ долженъ былъ отправляться къ нему на поклонъ и для объясненій въ заальпійскія его владѣнія. то чрезвычайныя уполномоченныя Карла, его вѣрныя „око“, извѣстные подъ именемъ миссовъ (*missi dominici*), объѣзжали римскую область, принимали жалобы, творили судъ и расправу надъ подданными епископа¹). Учрежденіе миссовъ было универсальное, равно простиравшееся на всѣ части обширной имперіи Карла Великаго; ими выражалось и приводилось въ дѣйствіе право высшаго суда, которое онѣ удерживалъ за собою даже въ самыхъ отдаленныхъ провинціяхъ; и появляясь въ территоріи св. Петра, они не приносили съ собою ни иного полномочія, ни иного значенія. Нисколько не возставая противъ ихъ судебной власти, римскій епископъ приносилъ на нихъ жалобы лишь въ такомъ случаѣ, когда они присвоивали себѣ право низлагать поставленныхъ имъ судей и правителей, и замѣщать ихъ своими. Это послѣднее право онъ считалъ неотъемлемою собственностью своей власти, и всякое нарушеніе его — вопіющимъ злоупотребленіемъ. Встрѣчая подобныя жалобы въ посланіяхъ Льва III къ самому императору, имѣемъ причину заключить, что Карлъ соглашался съ нимъ въ основаніяхъ, и что злоупотребленія происходили помимо его воли. По этому же случаю замѣчаемъ, что со времени водворенія Каролинговъ въ Италіи, во внутреннемъ управленіи римской области произошелъ значительный переворотъ въ пользу

¹) *Missi vestri* (пишетъ Левъ III къ Карлу) *qui venerunt ad justitiam faciendam, detulerunt secum homines plures et per singulas civitates constituerunt.* Ibid.

власти римскаго епископа. Дуки, мѣстные правители вообще, поставлялись въ городахъ не силою общественнаго избранія, или самовольно, какъ это было со времени отложенія отъ Восточной имперіи, но по волѣ епископа, по крайней мѣрѣ съ его согласія и утвержденія ¹⁾. Безъ сомнѣнія, этимъ расширеніемъ своей власти, римскій епископскій престолъ обязанъ былъ всего болѣе той благосклонности и тому покровительству, которыми онъ пользовался со стороны новыхъ завоевателей Италіи. Что подчиненность не была только формальная, яснымъ доказательствомъ служить тотъ ежегодный сборъ, который они обязаны были доставлять римскому епископу каждый изъ своего вѣдомства. Этимъ важнымъ приобрѣтеніемъ нѣсколько выкупалась для преемниковъ Григорія та потеря ихъ независимости, которую они незамѣтно потерпѣли, вступивъ въ союзъ съ сильными Каролингами и открывъ имъ дорогу въ самое сердце Италіи.

Впрочемъ напрасно бы мы искали полной опредѣленности тѣхъ отношеній, которыя со времени покоренія Ломбардіи Карломъ Великимъ, существовали между нѣмъ и преданными ему римскими епископами. По всей вѣроятности, многое было выговорено и установлено въ договорахъ, состоявшихся между ними въ разное время, о которыхъ едва дошли до насъ лишь нѣкоторыя указанія ²⁾; но отношенія тѣмъ не менѣе оставались личныя, то-есть поддерживались гораздо болѣе взаимною довѣренностью и личною пріязнью съ обѣихъ сторонъ, нежели существовавшими договорами. Говоря вообще, перемѣна политическаго сосѣдства не осталась на первое время безъ многихъ важныхъ выгодъ для римскаго престола. Прежній несчастный антагонизмъ, такъ долго сосредоточивавшій на себѣ все вниманіе римскаго епископа и всѣ усилія его, кончился. Какъ при Адріанѣ I, такъ и при Львѣ III, начавшееся подчиненіе не было особенно чувствительно, потому что многое смягчалось

1) Ibid. Также Cod. Car. № 54: Etenim ipse noster praedecessor cunctas actiones ejusdem exarchatus ad peragendum distribuerat et omnes actores ab hac Romana urbe praecepta earundem actionum accipiebant. Ср. Hegel, Gesch. der Städteverfas. I. 242. — 2) Какъ наприимѣръ, въ томъ же посланіи читаемъ о нѣкоторыхъ выговоренныхъ правахъ относительно равеннской области: Quia omnia, quidquid per vestrum pium ac legale iudicium, de caussa videlicet palatii Ravennatis recollectamus, unde et jussistis, ut nullus quilibet homo in posterum conquassare, aut in iudicio promovere praesumeret, quam de vulgaria, tam etiam de mansis, quos per vestrum dispositum Herminus fidelis vester nobis reconsignavit.

добрыми и непосредственными отношеніями подчиненныхъ съ верховнымъ главою имперіи. Всякое вновь возникавшее недо-разумѣніе тотчасъ разрѣшалось, благодаря доступности Карла, преимущественно же той постоянной благосклонности, съ какою принимались имъ всѣ жалобы, исходившія отъ римскаго престола. Но потому самому, что эти отношенія были личныя, нельзя было надѣяться на ихъ прочность и продолжительность. Едва только прекратился одинъ антагонизмъ, такъ долго существовавшій между римскими епископами и лангобардскимъ политическимъ началомъ, какъ готовился уже новый, скрытый и на первое время почти вовсе незамѣтный. Какъ бы римскій престолъ ни былъ обязанъ Каролингамъ, онъ имѣлъ впрочемъ свои предшествовавшія данныя (антеценденціи), отъ которыхъ не могъ совершенно отступаться въ пользу своихъ благодѣтелей. Все его предшествовавшее стремленіе, развившееся въ противоположность завоевательной политикѣ лангобардскихъ королей, направлено было къ полной независимости. Избавляя Римъ и его епископовъ отъ страха лангобардскаго, удовлетворяло ли франкское завоеваніе и этому столько постоянному ихъ стремленію? Если и удовлетворяло, то вовсе не въ такой мѣрѣ, чтобъ не оставляло мѣста никакимъ новымъ требованіямъ. Самыя эти дружественныя отношенія привели съ собою патронатъ, а вмѣстѣ съ нимъ и новую политическую зависимость: она была, безъ всякаго сомнѣнія, хотя вначалѣ и не имѣла въ себѣ ничего жесткаго и рѣзкаго. Удерживая за собою внутреннее управленіе, римскій епископъ въ самыхъ распоряженіяхъ своихъ безпрестанно долженъ былъ сталкиваться съ волею и высшимъ авторитетомъ римскаго императора, который, если не находился въ Италіи лично, то былъ представленъ въ ней своими миссами. Пока живъ былъ Карлъ, нечего было опасаться за перемѣну въ отношеніяхъ. Но когда бы не стало болѣе ни той необычайной силы воли, ни того рѣдкаго душевнаго величія, о которыхъ мысль такъ нераздѣльно сливается съ представленіемъ о Карлѣ Великому, передъ кѣмъ бы еще римскіе епископы стали смирять свою врожденную гордость? или изъ подобострастія къ кому продолжали бы они играть роль друзей чужого владычества въ Италіи, и принимать, какъ снисхожденіе, всякую уступку, сдѣланную ихъ собственному властолюбію? Кто бы ни были, какія бы имена ни носили преемники Карла, они не могли быть въ ростъ и уровень своего великаго предшественника. Подобнаго величія природа не повторяетъ въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ сряду.

Итакъ, дружественныя связи римскаго престола съ побѣдителями лангобардовъ, вовсе не исключали возможности новаго антагонизма, котораго постепенное раскрытіе принадлежитъ уже послѣдующей исторіи. Пока замѣтимъ только, что вновь возникавшая противоположность не могла имѣть того національнаго характера, какой носила на себѣ прежняя вражда съ лангобардами. Вопросъ поставлялся теперь не между римлянами и франками, но между римскими епископами и ихъ высокими покровителями. Разрѣшеніе его также должно было носить на себѣ свой особенный характеръ.

На самихъ римлянъ, или жителей римской области и равеннскаго округа съ Пентаполисомъ, вліяніе новаго завоеванія не было непосредственное, и потому не могло скоро отразиться на самомъ ихъ внутреннемъ бытѣ. Отъ короля франковъ всѣ эти земли зависѣли лишь чрезъ посредство римскаго епископа, его намѣстника. Прямо соприкосновенія на первое время почти не было между двумя народами, изъ которыхъ каждый удерживалъ своихъ мѣстныхъ правителей (хотя и въ зависимости отъ одного высшаго авторитета) и не имѣлъ пограничныхъ владѣній съ другимъ: лангобардскія земли попрежнему продолжали наполнять раздѣлявшій ихъ промежутокъ. Единственный узелъ, связывавшій римлянъ непосредственно съ главою имперіи, составляло извѣстное уже учрежденіе чрезвычайныхъ королевскихъ уполномоченныхъ, или миссовъ, которыхъ права и власть одинаково простирались на римскія земли, какъ и на лангобардскія. Но и въ этомъ случаѣ вліяніе могло быть только личное, отнюдь не общее юридическое, которое продолжалось бы въ томъ или другомъ мѣстѣ и послѣ удаленія уполномоченныхъ; ибо королевскіе миссы, производившіе судъ въ римскихъ земляхъ, не могли издавать никакихъ общихъ постановленій и въ самомъ судѣ должны были сообразоваться съ существующими мѣстными обычаями. Притомъ они появлялись и снова исчезали; постоянный же судъ и расправа въ городахъ и мѣстечкахъ опять принадлежали мѣстнымъ правителямъ, дукамъ, изъ которыхъ иные продолжали также удерживать за собою столько употребительное въ Италіи титуло *консуловъ* (*dux et consul*). Замѣчательно, что до короля Лотара, или до уложенія 824 года, въ римскихъ земляхъ нѣтъ и помина о франкскомъ правѣ¹⁾. Это не значитъ конечно, чтобъ Карлъ Великій встрѣтилъ какія-

¹⁾ См. Hegel, Gesch. der. Städteverf. I, 326.

нибудь затрудненія, которыя побуждали ему ввести это право въ употребленіе между римлянами. Дѣло объясняется гораздо проще: франки были въ римской территоріи гости, а не постоянные жители, и потому законодатель не счелъ за нужное вводить сюда франкское право, которое не имѣло бы здѣсь никакого приложенія, хотя также не дѣлалъ относительно его и никакого формальнаго воспрещенія. Эти побужденія держались въ силѣ нѣсколько лѣтъ даже послѣ его смерти, и только при королѣ Лотарѣ, какъ сказано, должны были уступить мѣсто другимъ.

Итакъ римляне пока оставались при своемъ прежнемъ правѣ. Но передъ тѣмъ, какъ проникнуть къ нимъ чужому праву и оказать на нихъ неизбежное вліяніе, умѣста будетъ поставить вопросъ: точно ли ихъ прежніе юридическіе обычаи сохранились во всей чистотѣ, точно ли они были римскіе въ строгомъ смыслѣ слова? Вопросъ столько же любопытный, сколько и трудный. Много было попытокъ его рѣшенія, ни одной изъ нихъ нельзя назвать вполне исчерпывающею предметъ, но много свѣта пролито на него превосходными разысканіями новѣйшаго историка городскихъ учрежденій въ Италіи. Мы можемъ привести здѣсь лишь самые важные результаты его изслѣдованій. Продолженіе въ извѣстномъ объемѣ римскаго права, еще болѣе римской юридической традиціи, не мѣшало совершенному паденію старыхъ римскихъ учреждений даже въ тѣхъ земляхъ, которыя остались за предѣлами лангобардскаго завоеванія. Вихрь политическихъ переворотовъ, безпрестанно слѣдовавшихъ одинъ за другимъ, или разнесъ ихъ по частямъ, или до такой степени измѣнилъ ихъ составъ и самую форму, что старое названіе вездѣ почти получило новый смыслъ и перестало быть вѣрнымъ признакомъ вещи. Между тѣмъ, среди самаго хаоса, не переставали дѣйствовать зидительныя инстинкты общества, и ихъ-то силою, подъ напоромъ быстро смѣнявшихся событій, изъ обломковъ стараго и приняты новыхъ элементовъ, незамѣтно для простаго глаза создались вновь учрежденія, которымъ назначено было занять мѣсто упраздненныхъ. Старые судебные обычаи и судебный порядокъ также не могли выдержать всѣхъ потрясеній, которымъ подвергалась страна то съ того, то съ другого края въ продолженіе нѣсколькихъ поколѣній къ ряду: вмѣстѣ съ другими учрежденіями и они видоизмѣнились и какъ бы переродились подъ вліяніемъ разныхъ дѣйствующихъ причинъ. Нѣкоторое время они не поддаются никакому точному опредѣленію, именно

потому, что находятся въ процессѣ образованія и не представляють въ себѣ ничего постояннаго. Но въ IX вѣкѣ находятъ ихъ уже болѣе или менѣе установившимися ¹⁾. Этому, кажется, много способствовала та правильность, съ которою, со времени франкскаго завоеванія, происходило назначеніе и смѣна одного другимъ мѣстныхъ правителей, или дуковъ. Вездѣ они удерживаютъ за собою право суда, и вездѣ почти, рядомъ съ ними, выступаетъ еще, подъ именемъ „судей“ (*judices*), особый классъ людей, которыхъ прямое назначеніе — также разбирательство тяжбебъ. Ихъ надобно отличать отъ предсѣдателя суда, болѣею частью мѣстнаго дука, иногда епископа; они только собираются подъ его предсѣдательствомъ, сами же принадлежатъ къ лучшимъ гражданамъ и занимаютъ другія общественныя должности; ихъ назначеніе — обсудить дѣло и содѣйствовать правильному судебному приговору, впрочемъ не произнося его прямо отъ себя. Самые ранніе, исторически засвидѣтельствованные случаи относятся къ 806 и 812 годамъ. Такъ въ первомъ изъ этихъ годовъ собрался судъ въ Витербо, слѣдовательно въ римской территоріи, состоящей изъ предсѣдателя, дука Романа, и изъ нѣсколькихъ судей или, точнѣе, засѣдателей, которыхъ имена обличаютъ ихъ лангобардское происхожденіе; дукъ приказываетъ, и судьи (*judices*) начинаютъ обсуживать предложенное дѣло на основаніи закона ²⁾. Въ 812 году подобный же судъ происходилъ въ самомъ Римѣ, подъ предсѣдательствомъ Льва III, и на немъ присутствовали судьи, или засѣдатели духовнаго и свѣтскаго чина, римскаго, лангобардскаго и даже франкскаго происхожденія ³⁾. Съ теченіемъ времени число подобныхъ судебныхъ случаевъ значительно увеличивается, и прежнее общее названіе судей встрѣчается уже съ нѣкоторыми опредѣлительными эпитетами: ясный знакъ, что учрежденіе все больше и больше распространяется и входитъ въ обычаи цѣлой страны.

Нужно ли доказывать, что оно могло образоваться не иначе, какъ подъ вліяніемъ германскаго начала? что судьи, лишь изслѣдующіе обстоятельства дѣла и отыскивающіе рѣшеніе,

1) Причина, почему ранѣе IX вѣка почти не можетъ быть рѣчи о судебныхъ порядкахъ въ Италіи, заключается въ недостаткѣ подлинныхъ документовъ изъ предшествующаго времени, которые бы имѣли своимъ содержаніемъ какой-нибудь судебный процессъ (Hegel, I, 322).—²⁾ Tunc ipse dux praesepit ad omnes *judices* hanc causam *judicare* per *legem*.—Обнародованіемъ этихъ документовъ исторія обязана Тройѣ, въ его сочиненіи *Della cond. de' Romani*. См. Hegel, I, 326.—³⁾ Ibid.

ѣ права произносить приговоръ прямо отъ себя, были род-
е братья германскимъ Schöffen, которыхъ назначеніе было
же самое? Но уже приведенные случаи довольно прямо ука-
аютъ на это ихъ происхождение. Чтобъ объяснить его съ
шею точностью, нѣтъ нужды прибѣгать даже къ извѣст-
франкскому учрежденію скабиновъ (scabini). Оно дѣй-
тельно было введено франками въ Италиі, но лишь въ
блахъ завоеваннаго ими королевства, и вліяніе его едва
акъ скоро могло распространиться на прочія земли; да и
ежно было бы приняться ему тамъ, гдѣ не было для него
едѣ подготовленной почвы. Но подготовка, очевидно, была:
вела свое начало еще отъ старыхъ лангобардскихъ вре-
и, и наиболѣе чувствовалась въ пограничныхъ мѣстахъ.
дившіеся здѣсь лангобарды рано принесли съ собою свои
ональные обычаи, и вмѣстѣ съ ними потребность своихъ
ежденій. Отсюда потомъ ихъ вліяніе могло простираться
самаго Рима, гдѣ, какъ извѣстно, также не было недостат-
въ лангобардскихъ поселенцахъ. Положимъ, что на первое
емя оно произвело только смѣшанные суды для спорныхъ
въ между римлянами и лангобардами; но данные образцы
е переставали и потомъ дѣйствовать, и мы находимъ впослѣд-
ствіи „римскихъ судей“ (judices Romani) даже въ чисто рим-
скихъ судахъ ¹⁾. Нѣтъ ничего удивительнаго, что, со време-
ни введенія франкскихъ скабиновъ, и это учрежденіе, въ свою
очередь, не мало способствовало распространенію того же юри-
дическаго элемента въ римской Италиі. Какъ бы то ни было,
для историка очень важно замѣтить, что римляне въ устрой-
ствѣ своихъ судебныхъ учрежденій наклонялись къ одному
ровню съ своими ближайшими сосѣдями. Еще одною раздѣля-
ющею чертою между ними было менѣе, еще больше сближе-
я должно было произойти и въ самыхъ нравахъ того и дру-
го народа.

Земли бывшаго Лангобардскаго королевства были связаны
раздо тѣснѣйшими отношеніями съ завоевателями, чѣмъ рим-
ая область. Они принадлежали дому Каролинговъ по праву
оеванія и управлялись ими непосредственно. Великая была
зница между высокою властью императора, болѣе покрови-
льственною, нежели правящею, и властью короля, который
ель на мѣстѣ и удерживалъ за собою главное управленіе.
ангобардское і что, за исключеніемъ Беневента, состоя-

¹⁾ Ibid. p. 300

ло на послѣднихъ условіяхъ. Признавая наравнѣ съ другими землями высшій авторитетъ западнаго императора, оно имѣло своего особаго короля въ лицѣ сына его, Пипина. Со времени своего назначенія, онъ большею частью жилъ въ самой Италіи, занятый то военными предпріятіями, то мирными распоряженіями. Любимымъ мѣстопребываніемъ его была Верона, которая обязана была ему многими своими украшеніями ¹⁾. Въ Павіи же оставался, въ качествѣ императорскаго намѣстника, пфальцграфъ (*comes palatii*), къ которому поступали на высшее рѣшеніе апелляціи на приговоры графскихъ судовъ со всѣхъ областей королевства ²⁾. Смерть Пипина, послѣдовавшая въ 810 году, не произвела никакой особенно оцутительной переменъ въ политическомъ быту новаго Итальянскаго королевства. По волѣ императора, сынъ Пипина, по имени Бернгардъ, былъ назначенъ преемникомъ его власти. Лишь по малолѣтству новаго короля, за него управляли въ первые годы опытные совѣтники, Адалардъ, аббатъ корвейскій, и братъ его Валла, также изъ рода Каролинговъ. Но они не могли долго держаться, заподозрѣнные въ невѣрности со стороны Лудовика, который еще при жизни отца былъ вѣнчанъ императоромъ, и должны были удалиться — одинъ въ монастырь, а другой въ изгнаніе ³⁾. Бернгардъ пережилъ своего знаменитаго дѣда. Мы впрочемъ не касаемся его дальнѣйшей судьбы, потому что она принадлежитъ къ другому отдѣлу времени.

Каролинги смотрѣли на свою власть въ новомъ Итальянскомъ королевствѣ, какъ на непрерывное продолженіе власти бывшихъ лангобардскихъ королей ⁴⁾. Это однако не мѣшало имъ ввести многія важныя измѣненія какъ въ администраціи, такъ и въ самомъ правѣ. Каролингское владычество всюду приносило съ собою свой обобщающій характеръ, чтò придаетъ ему особенно важное историческое значеніе. Куда ни приходили франки какъ завоеватели, вслѣдъ за ними всюду появлялись и ихъ мирныя учрежденія. Самыя значительныя изъ нихъ были введены въ лангобардскихъ земляхъ еще при жизни завоевателя. Видъ совершеннаго нововведенія имѣло учре-

¹⁾ См. Mur. Ann ad an. 810. — ²⁾ Leo, Gesch. v. It. I, p. 216; ср. Mur. Ann. ad an. 801. — ³⁾ Ibid. ad an. 812—814. — ⁴⁾ Такъ въ Capit. Ticin. ad an. 801 читаемъ: *Ea quae ab antecessoribus nostris regibus in edictis legis Langobardicae ab ipsis editae praetermissa sunt, juxta rerum et temporis considerationem addere curavimus*

еніе миссовъ, распространенное въ той же степени на лангодскія владѣнія, какъ и на прочія области имперіи. Королевскіе миссы, какъ извѣстно, имѣли своимъ назначеніемъ—каждомъ мѣстѣ восполнять собою недостатокъ высшаго правосудія, быть прямыми посредниками между народомъ и высшею властью въ цѣлой имперіи, наблюдать за дѣйствіями мѣстныхъ правителей и всюду исправлять злоупотребленія. Графы заступили мѣсто прежнихъ герцоговъ — нововведеніе, въ горѣ какъ бы осуществлялась старая мысль короля Лютпанда, стремившагося уничтожить самостоятельность герцогской власти на всемъ пространствѣ своего государства; той самой цѣли Карлъ старался достигнуть въ предѣлахъ своей обширной имперіи, и потому вездѣ, за исключеніемъ римской области, поставлялъ отъ себя графовъ, которые прямо отъ него вели свое полномочіе. Впрочемъ довольно произвольное мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что съ этою переменѣю необходимо соединено было всеобщее раздробленіе прежнихъ герцогствъ на небольшіе участки, такъ что власть бывшаго лангобардскаго герцога дѣлилась теперь между нѣсколькими франкскими графами ¹⁾. Есть, напротивъ, основаніе думать, что число послѣднихъ было даже нѣсколько меньше сравнительно съ ихъ лангобардскими предшественниками, и потому едва ли можетъ быть рѣчь о повсемѣстномъ раздробленіи ²⁾. Важность перемены состояла не столько въ сокращеніи объема власти, сколько въ большей ея зависимости. Нѣкоторые герцогства, какъ напримѣръ, Сполетское, сохранились даже прежнемъ своемъ видѣ и подъ прежнею формою; и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, какъ-то въ Тусціи, Иврѣи и Фріауль, новые правители еще продолжали удерживать столь отребительное названіе герцоговъ (*duces*) ³⁾. Если гдѣ имѣло мѣсто раздробленіе прежнихъ герцогскихъ территорій, то это скоро же въ собственной Ломбардіи; раздроблять же помѣстныя области вообще было не въ политикѣ Карла, который обыкновенно усиливалъ власть своихъ намѣстниковъ на окраинахъ имперіи, чтобъ тѣмъ болѣе обезопасить ее отъ внѣш-

¹⁾ Эта мысль принадлежитъ Лео и прямо высказана имъ въ его *Gesch. It.*, I, 207. Подобная мѣра дѣйствительно была однажды приложена къ Фріау въ наказаніе за измѣну тамошняго герцога; но нѣтъ никакого основанія распространять ее на цѣлое Лангобардское государство.—²⁾ См. *Negel*, II, 12. Основаніе, приводимое имъ, находится въ письмѣ Андріана I къ Карлу, откуда видно, что число франкскихъ графовъ въ это время простиралось до 20.
³⁾ *Ibid.* ср. *Murat. Antiqu. Diss.* V—VI.

нихъ нападеній. Пограничныя земли Лангобардскаго королевства въ нѣкоторомъ смыслѣ также становились марками, и въ послѣдствіи дѣйствительно находимъ здѣсь маркграфовъ, съ властью, простиравшеюся на цѣлый край или область. Графы имѣли мѣстопробываніе въ городахъ и — каждый въ подвѣдомственной ему области — завѣдывали судомъ, управленіемъ и военными повинностями. Къ исправленію этой важной должности призываемы были не только франки, но и люди лангобардскаго происхожденія: Карлъ и его сынъ считали лангобардовъ также своими вѣрными подданными и вовсе не хотѣли лишить ихъ своей довѣренности ¹⁾. Отсюда съ вѣроятностью заключаемъ, что второстепенныя лица внутренней администраціи тѣмъ болѣе должны были набираться изъ туземцевъ. Но какъ во всемъ тонъ задавали побѣдители, то и здѣсь, на мѣстѣ прежнихъ гастальдовъ и скульдайсовъ (*Sculdahis, Schultheiss*), встрѣчаемъ уже большею частью франкскія названія викаріевъ и центенаріевъ, хотя не были совершенно исключены и первыя ²⁾.

Въ городѣ вмѣстѣ съ графомъ жилъ и епископъ. Вообще предѣлы духовной епархіи совпадали съ предѣлами свѣтской области, которая состояла подъ управленіемъ графа. Не иное было ихъ относительное положеніе и до завоеванія; но если кому послужила въ пользу перемѣна одного политическаго начала на другое, то конечно епископамъ. Въ государствѣ франковъ епископскій постъ получалъ значеніе, какого онъ далеко не имѣлъ въ прежнемъ Лангобардскомъ королевствѣ во все время его существованія. Короли лангобардовъ, даже послѣ обращенія въ католицизмъ, и при самомъ благочестивомъ настроеніи духа, никогда впрочемъ не показывали особенной ревности къ возвышенію епископскаго авторитета. При нихъ епископъ былъ только духовнымъ главою своей епархіи; ему не доставалось, даже по какому-нибудь исключительному предпочтенію, видной роли довѣреннѣйшаго совѣтника короля съ вліяніемъ на государственныя дѣла. Каролинги, напротивъ, въ возвышеніи епископской власти видѣли лучшій противовѣсъ тѣмъ анархическимъ стремленіямъ, которыя почти со всѣхъ сторонъ угрожали еще столь некрѣпкому государственному единству, и охотно дѣлили свое довѣріе между властью

¹⁾ Pippini Leg. § 8 (Rer. It. scrip. I, 2, p. 119): Et si comites Franci distulerint ad justitiam faciendam... et de Langobardis comitibus qui ex ipsis neglectum posuerint ad justitiam faciendam, etc.—²⁾ См. Hegel, II, 15.

епископа и свѣтскимъ лицомъ, нерѣдко даже съ явнымъ ея предпочтеніемъ. Полномочіе, даваемое миссамъ, выражало собою самую высокую степень ихъ довѣренности, а въ каждой посылкѣ миссовъ первое лицо обыкновенно было духовное — епископъ или даже аббатъ. Ихъ же находимъ и въ качествѣ руководителей молодыхъ принцевъ, которымъ отдавались цѣлыя королевства въ управленіе; наконецъ на нихъ же большею частью возлагаемы были и самыя важныя дипломатическія порученія. Это высокое довѣріе, которымъ пользовались епископы со стороны Каролинговъ, оставалось за епископами и внѣ всякой чрезвычайной миссіи. Вмѣстѣ съ аббатами, они сравнены были съ самыми первыми чинами имперіи; особымъ постановленіемъ Карла Великаго композиція, назначенная за голову епископа, возвышена была въ его лангобардскихъ владѣніяхъ втрое противъ обыкновеннаго ¹⁾). Графы не подчинялись епископамъ, но дѣйствуя съ ними въ предѣлахъ одной мѣстности и—что еще болѣе—живя съ ними въ одномъ городѣ, не могли не подлежать контролю съ ихъ стороны. Поставленный во главѣ цѣлаго сословія, епископъ былъ въ то же время и главнымъ его судьей, и своимъ вліяніемъ могъ соперничать съ мѣстнымъ правителемъ. Это вліяніе еще болѣе возвышалось правами иммунитета, которыя распространены были завоевателемъ и на церковныя имѣнія въ новомъ Итальянскомъ королевствѣ ²⁾). Иммунитетъ изымалъ изъ круга общей администраціи цѣлыя участки земель вмѣстѣ съ ихъ населеніемъ, передавалъ управленіе и частью судъ надъ ними въ распоряженіе епископовъ или аббатовъ, и такимъ образомъ способствовалъ освобожденію тѣхъ и другихъ изъ-подъ свѣтской зависимости ³⁾). Здѣсь начало той политической самостоятельности, которую они приобрѣли себѣ въ Ломбардіи впоследствии. Адвокаты или фохты были, по обычаю, представителями церковныхъ интересовъ передъ судомъ свѣтскимъ. Наконецъ франкское завоеваніе подарило епископовъ еще десятиною, которой во все время лангобардскаго владычества не замѣчается и слѣдовъ ⁴⁾).

Установленіе графовъ необходимо приводило за собою нѣкоторыя другія учрежденія, тѣсно соединенныя съ нимъ по

¹⁾ Epist. ad Pip. an. 807: Verumtamen de presbyteris videtur nobis, si liber natus est, per triplam compositionem secundum suam legem fiat compositus, etc. (р. Hegel, II, 18.—²⁾ См. Leo, I, 218—219.—³⁾ Болѣе точное опредѣленіе правъ церковнаго иммунитета даетъ Ветманъ-Голльбергъ, Ursp. d. Staedtefr. p. 91 et seqq.—⁴⁾ Hegel, II, 20.

духу франкскаго законодательства. Назовемъ изъ немыхъ замѣчательныя. Къ важнѣйшимъ мѣрамъ, котораго разное время приняты были Карломъ Великимъ для организации великаго государственнаго тѣла, сплоченна сильною рукою, принадлежало, безспорно, равномерное всѣмъ частямъ имперіи устройство земскаго ополченія, известное подъ именемъ „*Heitball*“. Попечение о полнѣйшемъ его составѣ въ каждомъ правительственномъ было обыкновенно одною изъ главныхъ обязанностей. Завоеваніе перенесло и это учрежденіе на итальянскую. Подтвержденное капитуляріями, оно было выполняемо строго, и итальянскія дружины, подъ предводительствомъ Пипина, не разъ выходили изъ Италіи для отраженія набѣговъ имперіи. Уклоненіе свободнаго человѣка отъ военной обязанности влекло за собою большой штрафъ въ 60 соли, тогда какъ положенная за подобное опущеніе пеня при немъ не восходила выше 20 солидовъ, а потомъ, вѣроятно, еще ниже ¹⁾. Общегерманское учрежденіе судопроизводства или народныхъ засѣдателей въ судѣ, *Schöffen*, также мѣнилось, принявъ установленную Карломъ Великимъ постоянныхъ и обязанныхъ „скабиновъ“. Правда, что названіе не пришлось по вкусу туземцамъ и мало-по-малу было совершенно почти вытѣснено болѣе употребительнымъ мѣстнымъ выраженіемъ „*judices civitatis*“. Нѣкоторое подѣляніе римской курии, можно было подозрѣвать и подъ именемъ старое сословіе декуріоновъ; но болѣе точныя изслѣдованія показали настоящее употребленіе слова, твердили существованіе того же франкскаго института и подъ другою фирмою ²⁾. Съ тѣхъ поръ, какъ въ Ланскомъ государствѣ, наравнѣ съ другими франкскими владѣніями, введено было различіе правъ, учрежденіе такихъ постоянныхъ судопроизводителей стало совершенною необходимостью. Было правильно обсуживать дѣла, не имѣя основательнаго дѣйствующаго закона; а въ законахъ было разнообразіе, потому что каждый судился по закону выбора. Поэтому при каждомъ судѣ требовалось присутствіе не настоящихъ законовѣдовъ, которыхъ число, бы

¹⁾ Capit. Car. M. 35; ср. Leo, I, p. 216—217. — ²⁾ См. объ *Heitball*-Hollweg, 83—84, и Hegel, II, 39. Въ главныхъ результатахъ ея вполне согласны между собою.

нія, было очень ограничено, то по крайней мѣрѣ способъ и честныхъ людей, нарочно для того поставленныхъ, орме бы. часто обращаясь съ правомъ, тѣмъ самымъ приѣтали навѣкъ къ дѣламъ и юридическую опытность. Этой потребности удовлетворяло учрежденіе скабиновъ, или постоянныхъ юрисконсультовъ и судопроизводителей изъ свободныхъ людей различнаго происхожденія, которые назначались присутствовать при всѣхъ судахъ—миссовъ, графовъ и даже низшихъ мѣстныхъ начальствъ¹⁾. Закономъ постановленное число скабиновъ было не менѣе семи, хотя иногда упоминается и о двадцати²⁾. Предписаніе не всегда исполнялось въ точности: случалось послѣ, что вмѣсто назначенныхъ семи, оказывалось лицо трое и даже двое; но въ такомъ случаѣ призывались къ участию въ судѣ другіе свободные люди, присутствовавшіе на засѣданіи, и ихъ одобреніе или неодобреніе замѣняло приговоръ обязанныхъ судопроизводителей, которые, въ нѣкоторомъ случаѣ были ихъ же представителями.

Остановимся здѣсь на минуту, чтобъ взвѣсить хотя на нѣкоторыхъ общихъ вѣсахъ силу того вліянія, которое франкскія учрежденія должны были оказать на образованіе внутреннихъ отношеній въ новомъ Итальянскомъ королевствѣ. Если и нельзя сказать вполнѣ опредѣлить его, пока оно еще ново, то было также несправедливо и совершенно оставлять его безъ вниманія. Не всегда прямо на нравы народа — постоянныя учрежденія тѣмъ не менѣе рѣшительно дѣйствуютъ на развитіе общественныхъ отношеній, то измѣняя ихъ прежній уровень, то ставляя самыя силы, посредствомъ которыхъ совершаются нѣкоторыя отправленія общественной жизни. Броженіе, произведенное, повидимому, лишь на поверхности, проникало глубоко въ италійскую націю, и цѣлая лангобардская національность, хотя и пощипанная побѣдителями, не могла похвалиться, чтобъ она осталась вовсе неприкосновенною. При всей легкости перемѣнъ, которымъ подверглись судебныя учрежденія, народная юстиція была уже не та. Много значило одно то обстоятельство, что измѣнился самый центръ ея: въ то время, какъ лангобардскій пфальцграфъ жилъ въ Павіи, самъ король прелегалъ большею частью въ Веронѣ. Она необходимо получала отъ него мѣстный характеръ; въ понятіи лангобарда идея высшаго

¹⁾ Bethmann-Hollweg, p. 85: Sie sind Rechtskundige, die der Gerichtsbarkeit als Gehülfen überall hin folgen, etc. — ²⁾ Cap. min. ad an. 803: Ut ad placitum banniatur — exceptis scabineis septem, qui ad omnia placita esse debent.

Итакъ, дружественныя связи римскаго престола съ побѣдителями лангобардовъ, вовсе не исключали возможности новаго антагонизма, котораго постепенное раскрытіе принадлежитъ уже послѣдующей исторіи. Пока замѣтимъ только, что вѣдъ возникавшая противоположность не могла имѣть того національнаго характера, какой носила на себѣ прежняя вражда съ лангобардами. Вопросъ поставлялся теперь не между римлянами и франками, но между римскими епископами и ихъ императорскими покровителями. Разрѣшеніе его также должно было носить на себѣ свой особенный характеръ.

На самихъ римлянъ, или жителей римской области равненскаго округа съ Пентаполисомъ, вліяніе новаго завоеванія не было непосредственное, и потому не могло скоро отразиться на самомъ ихъ внутреннемъ бытѣ. Отъ короля франковъ всѣ эти земли зависѣли лишь чрезъ посредство римскаго епископа, его намѣстника. Прямо соприкосновенія на то время почти не было между двумя народами, изъ которыхъ каждый удерживалъ своихъ мѣстныхъ правителей (хотя въ зависимости отъ одного высшаго авторитета) и не имѣлъ граничныхъ владѣній съ другимъ: лангобардскія земли прежнему продолжали наполнять раздѣлявшій ихъ протокъ. Единственный узелъ, связывавшій римлянъ непосредственно съ главою имперіи, составляло извѣстное уже учрежденіе чрезвычайныхъ королевскихъ уполномоченныхъ, или *missi*, которыхъ права и власть одинаково простирались на римскія земли, какъ и на лангобардскія. Но и въ этомъ случаѣ вліяніе могло быть только личное, отнюдь не общее юридическое, которое продолжалось бы въ томъ же другомъ мѣстѣ и послѣ удаленія уполномоченныхъ; ибо королевскіе *missi*, производившіе судъ въ римскихъ земляхъ, могли издавать никакихъ общихъ постановленій и въ самомъ судѣ должны были сообразоваться съ существующими мѣстными обычаями. Притомъ они появлялись и снова исчезали: постоянный же судъ и расправа въ городахъ и мѣстечкахъ опять принадлежали мѣстнымъ правителямъ, *duces*, изъ которыхъ иные продолжали также удерживать за собою столеупотребительное въ Италіи титуло *консуловъ* (*dux et consul*). Замѣчательно, что до короля Лотара, или до уложенія 817 года, въ римскихъ земляхъ нѣтъ и помина о франкскомъ правѣ. Это не значитъ конечно, чтобъ Карлъ Великій встрѣтилъ какі

1) См. Hegel, Gesch. der. Städteverf. I, 326.

ь затрудненіи, которыя хотѣли ему ввести это право
отребленіе между римлянами. Дѣло объясняется гораздо
: франки были въ римской территоріи гости, а не постоян-
жители, и потому законодатель не счелъ за нужное
здесь сюда франкское право, которое не имѣло бы здѣсь
кого приложенія, хотя также не дѣлалъ относительно его
какого формальнаго воспрещенія. Эти побужденія держа-
въ силѣ нѣсколько лѣтъ даже послѣ его смерти, и толь-
ко король Лотарѣ, какъ сказано, должны были уступить
о другимъ.

Итакъ римляне пока оставались при своемъ прежнемъ
ѣ. Но передъ тѣмъ, какъ проникнуть къ нимъ чужому
и оказать на нихъ неизбежное вліяніе, умѣста будетъ
сказать вопросъ: точно ли ихъ прежніе юридическіе обычаи
ранились во всей чистотѣ, точно ли они были римскіе въ
этомъ смыслѣ слова? Вопросъ столько же любопытный,
и такъ и трудный. Много было попытокъ его рѣшенія, ни
одна изъ нихъ нельзя назвать вполне исчерпывающею предъ-
ѣ, но много свѣта пролито на него превосходными разы-
сненіями новѣйшаго историка городскихъ учреждений въ
Італіи. Мы можемъ привести здѣсь лишь самые важные ре-
зультаты его изслѣдованій. Продолженіе въ извѣстномъ объемѣ
этого права, еще болѣе римской юридической традиціи, не
дало совершенному паденію старыхъ римскихъ учреждений
и въ тѣхъ земляхъ, которыя остались за предѣлами ланго-
бардскаго завоеванія. Вихрь политическихъ переворотовъ, без-
престанно слѣдовавшихъ одинъ за другимъ, или разнесъ ихъ
въ дѣтство, или до такой степени измѣнилъ ихъ составъ и
форму, что старое названіе вездѣ почти получило новый
смыслъ и перестало быть вѣрнымъ признакомъ вещи. Между
тѣмъ, среди самаго хаоса, не переставали дѣйствовать зижди-
мые инстинкты общества, и ихъ-то силою, подъ напоромъ
и смѣнявшихся событій, изъ обломковъ стараго и при-
родныхъ элементовъ, незамѣтно для простаго глаза со-
сѣлись вновь учрежденія, которымъ назначено было занять
упраздненныхъ. Старые судебные обычаи и судебный
порядокъ также не могли выдержать всѣхъ потрясеній, ко-
гда подвергалась страна то съ того, то съ другого края въ-
влеченію нѣсколькихъ поколѣній къ ряду: вмѣстѣ съ другими
измѣненіями и они видоизмѣнились и какъ бы переродились
подъ вліяніемъ разныхъ дѣйствующихъ причинъ. Нѣкоторое
они не поддаются никакому точному опредѣленію, именно

потому, что находятся въ процессѣ образованія и не влѣютъ въ себѣ ничего постояннаго. Но въ IX вѣкѣ ихъ уже болѣе или менѣе установившимися ¹⁾. Этому, много способствовала та правильность, съ которою, съ франкскаго завоеванія, происходило назначеніе и смѣна другимъ мѣстныхъ правителей, или дуковъ. Вездѣ сживаются за собою право суда, и вездѣ почти, рядомъ выступаетъ еще, подъ именемъ „судей“ (*judices*), особы людей, которыхъ прямое назначеніе — также разбирать тяжбы. Ихъ надобно отличать отъ предсѣдателя суда. частью мѣстнаго дука, иногда епископа; они только сѣдѣютъ подъ его предсѣдательствомъ, сами же принадлежатъ лучшимъ гражданамъ и занимаютъ другія общественныя должности; ихъ назначеніе — обсудить дѣло и содѣйствовать правильному судебному приговору, впрочемъ не произнося отъ себя. Самые ранніе, исторически засвидѣтельствованные случаи относятся къ 806 и 812 годамъ. Такъ въ 806 изъ этихъ годовъ собрался судъ въ Витербо, слѣдовавшая римской территоріи, состоящей изъ предсѣдателя, дука и изъ нѣсколькихъ судей или, точнѣе, засѣдателей, которыхъ на обличаютъ ихъ лангобардское происхожденіе; дука вѣствуетъ, и судьи (*judices*) начинаютъ обсуживать предложенное на основаніи закона ²⁾. Въ 812 году подобный же исходилъ въ самомъ Римѣ, подъ предсѣдательствомъ и на немъ присутствовали судьи, или засѣдатели, и свѣтскаго чина, римскаго, лангобардскаго и даже происхожденія ³⁾. Съ теченіемъ времени число подобныхъ случаевъ значительно увеличивается, общее названіе судей встрѣчается уже съ нѣкоторыми дѣлительными эпитетами: ясный знакъ, что учредительное право больше и больше распространяется и входитъ въ всѣ страны.

Нужно ли доказывать, что оно могло бы иначе, какъ подъ вліяніемъ германскаго начала? что изслѣдующіе обстоятельства дѣла и отыскиван

1) Причина, почему ранѣе IX вѣка почти не можетъ быть перерыва въ Италіи, заключается въ недостаткѣ подлинныхъ предшествующаго времени, которые бы имѣли своимъ существованіемъ судебный процессъ (Hegel, I, 322).—²⁾ Tunc ipse dux judices hanc causam judicare per legem.—Обнародованіемъ исторія обязана Тройѣ, въ его сочиненіи Della cond. de' Longobardi, I, 326.—³⁾ Ibid.

безъ права произносить приговоръ прямо отъ себя, были родные братья германскимъ Schöffen, которыхъ назначеніе было то же самое? Но уже приведенные случаи довольно прямо указываютъ на это ихъ происхожденіе. Чтобъ объяснить его съ большею точностью, нѣтъ нужды прибѣгать даже къ извѣстному франкскому учрежденію скабиновъ (scabini). Оно дѣйствительно было введено франками въ Италію, но лишь въ едѣлахъ завоеваннаго ими королевства, и вліяніе его едва такъ скоро могло распространиться на прочія земли; да и легко было бы приняться ему тамъ, гдѣ не было для него передъ подготовленной почвы. Но подготовка, очевидно, была: вѣла свое начало еще отъ старыхъ лангобардскихъ времъ. И наиболѣе чувствовалась въ пограничныхъ мѣстахъ. Селившіеся здѣсь лангобарды рано принесли съ собою свои цѣнальные обычаи, и вмѣстѣ съ ними потребность своихъ учреждений. Отсюда потомъ ихъ вліяніе могло простираться до самаго Рима, гдѣ, какъ извѣстно, также не было недостатка въ лангобардскихъ поселенцахъ. Положимъ, что на первое время оно произвело только смѣшанные суды для спорныхъ дѣлъ между римлянами и лангобардами; но данные образцы не переставали и потомъ дѣйствовать, и мы находимъ въ послѣдствіи „римскихъ судей“ (judices Romani) даже въ чисто римскихъ судахъ ¹⁾. Нѣтъ ничего удивительнаго, что, со времени введенія франкскихъ скабиновъ, и это учрежденіе, въ свою очередь, не мало способствовало распространенію того же юридическаго элемента въ римской Италіи. Какъ бы то ни было, для историка очень важно замѣтить, что римляне въ устройствѣ своихъ судебныхъ учреждений наклонялись къ одному уровню съ своими ближайшими сосѣдями. Еще одною раздѣляющею чертою между ними было менѣе, еще больше сближенія должно было произойти и въ самыхъ нравахъ того и другого народа.

Земли бывшаго Лангобардскаго королевства были связаны раздо тѣснѣйшими отношеніями съ завоевателями, чѣмъ римская область. Они принадлежали дому Каролинговъ по праву завоеванія и управлялись ими непосредственно. Великая была разница между высокою властью императора, болѣе покровительственною, нежели правящею, и властью короля, который жилъ на мѣстѣ и удерживалъ за собою главнѣе управленіе. Лангобардское королевство, за исключеніемъ Беневента, состоя-

¹⁾ Ibid. p. 320.

Признавая наравнѣ съ други
западнаго императора, оно из
въ лица сына его, Пипина.
значенія, онъ большею частью жи
занятый то военными предпріятіями,
любимымъ мѣстопребываніемъ
которая обязана была ему многими своими ук
Пипин же оставался, въ качествѣ императ
пфальцграфъ (*comes palatii*), къ которо
высшее рѣшеніе аппелляціи на приговоры гр
со всѣхъ областей королевства ²⁾. Смерть І
въ 810 году, не произвела никакой о
ительной перемѣны въ политическомъ быту нов
королевства. По волѣ императора, сынъ Пипи
Бернгардъ, былъ назначенъ преемникомъ его влас
малолѣтству новаго короля, за него управляли въ п
опытные совѣтники, Адалардъ, аббатъ корвейск
братъ его Валла, также изъ рода Каролинговъ. Но они
долго держаться, заподозрѣнные въ невѣрности со с
роды Лудовика, который еще при жизни отца былъ вѣнч
императоромъ, и должны были удалиться — одинъ въ мо
стырь, а другой въ изгнаніе ³⁾. Бернгардъ пережилъ сво
знаменитаго дѣда. Мы впрочемъ не касаемся его дальнѣйш
судьбы, потому что она принадлежитъ къ другому отд
времени.

Каролинги смотрѣли на свою власть въ новомъ Итал
скомъ королевствѣ, какъ на непрерывное продолженіе вла
бывшихъ лангобардскихъ королей ⁴⁾. Это однако не мѣш
имъ ввести многія важныя измѣненія какъ въ администра
такъ и въ самомъ правѣ. Каролингское владычество вс
приносило съ собою свой обобщающій характеръ, что прида
ему особенно важное историческое значеніе. Куда ни при
шли франки какъ завоеватели, вслѣдъ за ними всюду і
влялись и ихъ мирныя учрежденія. Самыя значительныя
нихъ были введены въ лангобардскихъ земляхъ еще при я
ни завоевателя. Видъ совершеннаго нововведенія имѣло у

¹⁾ См. Mur. Ann. ad an. 810. — ²⁾ Leo, Gesch. v. It. I, p. 216; ср. Ann. ad an. 801. — ³⁾ Ibid. ad an. 812—814. — ⁴⁾ Такъ въ Capit. Ticin. ad an. читаемъ: *Ea quae ab antecessoribus nostris regibus in edictis legis Langobcae ab ipsis editae praetermissa sunt, juxta rerum et temporis considerati addere curavimus*

ніе миссовъ, распространенное въ той же степени на лангобардскія владѣнія, какъ и на прочія области имперіи. Король миссы, какъ извѣстно, имѣли своимъ назначеніемъ—каждомъ мѣстѣ восполнять собою недостатокъ высшаго правленія, быть прямыми посредниками между народомъ и высшею властью въ цѣлой имперіи, наблюдать за дѣйствіями мѣстныхъ правителей и всюду исправлять злоупотребленія. Графы вступили мѣсто прежнихъ герцоговъ — нововведеніе, въ которомъ какъ бы осуществлялась старая мысль короля Лиутпранда, стремившагося уничтожить самостоятельность герцогской власти на всемъ пространствѣ своего государства; той самой цѣли Карлъ старался достигнуть въ предѣлахъ своей обширной имперіи, и потому вездѣ, за исключеніемъ римской области, поставлялъ отъ себя графовъ, которые прямо отъ него вели свое полномочіе. Впрочемъ довольно произвольное мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что съ этою переменю необходимо соединено было всеобщее раздробленіе прежнихъ герцогствъ на небольшіе участки, такъ что власть бывшаго лангобардскаго герцога дѣлилась теперь между нѣсколькими франкскими графами ¹⁾. Есть, напротивъ, основаніе думать, что число послѣднихъ было даже нѣсколько меньше сравнительно съ ихъ лангобардскими предшественниками, и потому оно не можетъ быть рѣчь о повсемѣстномъ раздробленіи ²⁾. Важность перемены состояла не столько въ сокращеніи объема власти, сколько въ большей ея зависимости. Нѣкоторые герцогства, какъ напримѣръ, Сполетское, сохранились даже прежнемъ своимъ видѣ и подъ прежнею формою; и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, какъ-то въ Тусціи, Иврѣи и Фріауль, новые правители еще продолжали удерживать столь почетное названіе герцоговъ (*duces*) ³⁾. Если гдѣ имѣло мѣсто раздробленіе прежнихъ герцогскихъ территорій, то это скорѣе въ собственной Ломбардіи; раздроблять же помѣстныя области вообще было не въ политикѣ Карла, который обыкновенно усиливалъ власть своихъ намѣстниковъ на всѣхъ имперіи, чтобъ тѣмъ болѣе обезопасить ее отъ внѣш-

¹⁾ Эта мысль принадлежит Лео и прямо высказана имъ въ его *Gesch.* II, 1, 207. Подобная мѣра дѣйствительно была однажды приложена къ Фріауль въ наказаніе за измѣну тамошняго герцога; но нѣтъ никакого основанія распространять ее на цѣлое Лангобардское государство.—²⁾ См. *Negel*, II, 12. Основаніе, приводимое имъ, находится въ письмѣ Андріана I къ Карлу, откуда видно, что число франкскихъ графовъ въ это время простиралось до 20.
³⁾ *Ibid.* ср. *Murat. Antiqu. Diss.* V—VI.

КАРОЛИНГИ ВЪ ИТАЛИИ.

Граничные земли Лангобардскаго короля получили смыслъ также становились марками, действительно находимъ здѣсь маркиграфовъ, управленіе на цѣлый край или область. Графы, управленіе въ городахъ и — каждый въ пограничной области — завѣдывали судомъ, управленіемъ повинностями. Къ исправленію этой важной дѣлываемы были не только франки, но и люди германскаго происхожденія: Карлъ и его сынъ считали также своими вѣрными подданными и вовсе не считали ихъ своей довѣренности ¹⁾. Отсюда съ вѣрностью заключаемъ, что второстепенныя лица внутренне-политическаго тѣмъ болѣе должны были набираться изъ тѣхъ же. Но какъ во всемъ тонъ задавали побѣдители, то и въ политическомъ прежнее гастальдовъ и скульдайсовъ (Sculdaisi), встрѣчаемъ уже большею частью франкскія герцоги и центенаріевъ, хотя не были совершенно исключены и первыя ²⁾.

Въ городѣ вмѣстѣ съ графомъ жилъ и епископъ. Въ пределы духовной епархіи совпадали съ предѣлами свѣтской области, которая состояла подъ управленіемъ графа. Не было ихъ относительное положеніе и до завоеванія; но кому послужила въ пользу перемѣна одного политическаго чина на другое, то конечно епископамъ. Въ госуда франковъ епископскій постъ получалъ значеніе, какого далеко не имѣлъ въ прежнемъ Лангобардскомъ королевствѣ все время его существованія. Короли лангобардовъ, послѣ обращенія въ католицизмъ, и при самомъ благодушномъ настроеніи духа, никогда впрочемъ не показывали ревности къ возвышенію епископскаго авторитета. Для нихъ епископъ былъ только духовнымъ главою своей епархіи, ему не доставалось, даже по какому-нибудь исключительному предпочтенію, видной роли довѣреннѣйшаго совѣтника къ царю съ вліяніемъ на государственныя дѣла. Каролинги, напротивъ возвышенію епископской власти видѣли лучшій способъ тѣмъ анархическимъ стремленіямъ, которыя починъ съ сторонъ угрожали еще столь некрѣпкому государственному единству, и охотно дѣлили свое довѣріе между властью

¹⁾ Pippini Leg. § 8 (Rer. It. scrip. I, 2, p. 119): Et si comites distulerint ad justitiam faciendam... et de Langobardis comitibus qui neglectum posuerint ad justitiam faciendam, etc.—²⁾ См. Hegel, II, 15.

и свѣтскимъ лицомъ, нерѣдко даже съ явнымъ ея теніемъ. Полномочіе, даваемое миссамъ, выражало собою высокую степень ихъ довѣренности, а въ каждой миссовъ первое лицо обыкновенно было духовное — или даже аббатъ. Ихъ же находимъ и въ ка-руководителей молодыхъ принцевъ, которымъ отда-цѣлыя королевства въ управленіе; наконецъ на нихъшею частью возлагаемы были и самыя важныя дипло-ія порученія. Это высокое довѣріе, которымъ поль-епископы со стороны Каролинговъ, оставалось зами и внѣ всякой чрезвычайной миссіи. Вмѣстѣ съ, они сравнены были съ самыми первыми чинамиособымъ постановленіемъ Карла Великаго композиція,ная за голову епископа, возвышена была въ его лан-ихъ владѣніяхъ втрое противъ обыкновеннаго ¹⁾). Графыинялись епископамъ, но дѣйствуя съ ними въ предѣ-ой мѣстности и — что еще болѣе — живя съ ними въородѣ, не могли не подлежать контролю съ ихъ сто-оставленный во главѣ цѣлаго сословія, епископъ былъе время и главнымъ его судьей, и своимъ вліяніемъперничать съ мѣстнымъ правителемъ. Это вліяніеѣе возвышалось правами иммунитета, которыя рас-ены были завоевателемъ и на церковныя имѣнія въИтальянскомъ королевствѣ ²⁾). Иммунитетъ изымалъа общей администраціи цѣлые участки земель вмѣстѣнаселеніемъ, передавалъ управленіе и частью судъ надъраспоряженіе епископовъ или аббатовъ, и такимъ об-способствовалъ освобожденію тѣхъ и другихъ изъ-подъ(зависимости ³⁾). Здѣсь начало той политической само-ности, которую они пріобрѣли себѣ въ Ломбардіи-твіи. Адвокаты или фохты были, по обычаю, пред-ями церковныхъ интересовъ передъ судомъ свѣтскимъ.ѣ франкское завоеваніе подарило епископовъ еще де-которой во все время лангобардскаго владычества неся и слѣдовъ ⁴⁾).

ановленіе графовъ необходимо приводило за собою нѣ-другія учрежденія, тѣсно соединенныя съ нимъ по

pist. ad Pip. an. 807: Verumtamen de presbyteris videtur nobis, si liber per triplam compositionem secundum suam legem fiat compositus, etc. П, 18. — ²⁾ См. Leo, I, 218—219. — ³⁾ Болѣе точное опредѣленіе правъ иммунитета даетъ Ветманъ-Голльверъ, Urspr. d. Staedtefr. p. 91 et fegel, 11, 20.

духу франкскаго законодательства. Назовемъ изъ нихъ, самыя замѣчательныя. Къ важнѣйшимъ мѣрамъ, которыя въ равное время приняты были Карломъ Великимъ для организаціи великаго государственнаго тѣла, сплоченнаго его сильною рукою, принадлежало, безспорно, равномѣрное по всѣмъ частямъ имперіи устройство земскаго ополченія, столью извѣстное подъ именемъ „*Heerbann*“. Попеченіе о полномъ и вѣрномъ его составѣ въ каждомъ правительственномъ округѣ было обыкновенно одною изъ главныхъ обязанностей графа. Завоеваніе перенесло и это учрежденіе на итальянскую почву. Подтвержденное капитуляріями, оно было выполняемо во всей строгости, и итальянскія дружины, подъ предводительствомъ Пипина, не разъ выходили изъ Италіи для отраженія враговъ имперіи. Уклоненіе свободнаго человѣка отъ военной повинности влекло за собою большой штрафъ въ 60 солидовъ, тогда какъ положенная за подобное опущеніе пеня при Ротари не восходила выше 20 солидовъ, а потомъ, вѣроятно, упала еще ниже¹⁾. Общегерманское учрежденіе судопроизводителей, или народныхъ засѣдателей въ судѣ, *Schöffen*, также видоизмѣнилось, принявъ установленную Карломъ Великимъ форму постоянныхъ и обязанныхъ „скабиновъ“. Правда, что чужое названіе не пришлось по вкусу туземцамъ и мало-по-малу было совершенно почти вытѣснено болѣе употребительнымъ мѣстнымъ выраженіемъ „*judices civitatis*“. Нѣкоторое время, подъ вліяніемъ знаменитой гипотезы о непрерывномъ существованіи римской куріи, можно было подозрѣвать и подъ этимъ именемъ старое сословіе декуріоновъ; но болѣе точныя новѣйшія изслѣдованія показали настоящее употребленіе слова, и подтвердили существованіе того же франкскаго института, хотя и подъ другою фирмою²⁾. Съ тѣхъ поръ, какъ въ Лангобардскомъ государствѣ, наравнѣ съ другими франкскими владѣніями, введено было различіе правъ, учрежденіе такихъ постоянныхъ судопроизводителей стало совершенною необходимостью. Нельзя было правильно обсуживать дѣла, не имѣя основательнаго знанія дѣйствующихъ законовъ; а въ законахъ было большое разнообразіе, потому что каждый судился по закону своего выбора. Поэтому при каждомъ судѣ требовалось присутствіе, — если не настоящихъ законовѣдовъ, которыхъ число, безъ со-

¹⁾ Capit. Car. M. 35; ср. Leo, I, p. 216—217. — ²⁾ См. объ этомъ Bethmann-Hollweg, 83—84, и Hegel, II, 39. Въ главныхъ результатахъ оба изслѣдователя вполне согласны между собою.

ѣнія, было очень ограничено, то по крайней мѣрѣ способ-
ихъ и честныхъ людей, нарочно для того поставленныхъ,
торые бы, часто обращаясь съ правомъ, тѣмъ самымъ при-
рѣтали навѣкъ къ дѣламъ и юридическую опытность. Этой
требности удовлетворяло учрежденіе скабиновъ, или посто-
ныхъ юрисконсультовъ и судопроизводителей изъ свободныхъ
удей различнаго происхожденія, которые назначались при-
тствовать при всѣхъ судахъ—миссовъ, графовъ и даже низ-
ихъ мѣстныхъ начальствъ ¹⁾. Закономъ постановленное число
абиновъ было не менѣе семи, хотя иногда упоминается и о
ѣнадцати ²⁾. Предписаніе не всегда исполнялось въ точности:
учалось послѣ, что вмѣсто назначенныхъ семи, оказывалось
лицо трое и даже двое; но въ такомъ случаѣ призывались
участію въ судѣ другіе свободные люди, присутствовавшіе
и засѣданіи, и ихъ одобреніе или неодобреніе замѣняло при-
воръ обязанныхъ судопроизводителей, которые, въ нѣкоторомъ
ыслѣ были ихъ же представителями.

Остановимся здѣсь на минуту, чтобъ взвѣсить хотя на
мыхъ общихъ вѣсахъ силу того вліянія, которое франкскія
режденія должны были оказать на образованіе внутреннихъ
ношеній въ новомъ Итальянскомъ королевствѣ. Если и нельзя
дѣяться вполне опредѣлить его, пока оно еще ново, то было
также несправедливо и совершенно оставлять его безъ вни-
нія. Не всегда прямо на нравы народа — постоянныя учре-
денія тѣмъ не менѣе рѣшительно дѣйствуютъ на развитіе об-
ственныхъ отношеній, то измѣняя ихъ прежній уровень, то
реставляя самыя силы, посредствомъ которыхъ совершаются
авныя отправленія общественной жизни. Броженіе, произ-
денное, повидимому, лишь на поверхности, проникало глубоко
утрь, и цѣлая лангобардская національность, хотя и поща-
енная побѣдителями, не могла похвалиться, чтобъ она
тавалась вовсе неприкосновенною. При всей легкости пе-
мѣнъ, которымъ подверглись судебныя учрежденія, народ-
я юстиція была уже не та. Много значило одно то обсто-
ельство, что измѣнился самый центръ ея: въ то время, какъ
ролевскій пфальцграфъ жилъ въ Павіи, самъ король пре-
ивалъ большею частью въ Веронѣ. Она необходимо получала
лѣе мѣстный характеръ; въ понятіи лангобарда идея высшаго

¹⁾ Bethmann-Hollweg, p. 85: Sie sind Rechtskundige, die der Gerichts-
rigkeit als Gehülfen überall hin folgen, etc. — ²⁾ Cap. min. ad an. 803: Ut
llus ad placitum banniatur — exceptis scabineis septem, qui ad omnia placita
acesse debent.

правосудіа не соединялась уже такъ тѣсно съ представленіемъ о королѣ. Нація не тяготѣла болѣе къ центру, который чувствовала чужимъ себѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ мѣстные интересы брали верхъ надъ центральными. И въ каждомъ отдѣльномъ графствѣ, общество, нуждавшееся въ защитѣ и покровительствѣ противъ несправедливости разнаго рода, раздѣлялось между двумя авторитетами съ тѣхъ поръ, какъ епископы, огражденные многими привилегіями, вышли изъ той политической зависимости, на которую они осуждены были при прежнихъ лангобардскихъ короляхъ. Такимъ образомъ и въ лангобардскихъ городахъ положено было начало подобнымъ же отношеніямъ, какія еще въ предшествующемъ періодѣ существовали въ Римѣ, Равеннѣ и другихъ городахъ римской Италіи. Учрежденіе скабиновъ, или постоянныхъ засѣдателей при судѣ и притомъ въ опредѣленномъ числѣ, давало судебнымъ учрежденіямъ въ Лангобардскомъ королевствѣ тотъ *видъ* какой они имѣли нѣкогда въ городахъ Римской имперіи, что и подало поводъ, какъ мы замѣтили выше, нѣкоторымъ изслѣдователямъ смѣшавъ *judices civitatis*, или обязанныхъ судопроизводителей каролингскаго періода, съ прежними декуріонами ¹⁾. Сословныя отношенія также перерабатывались подъ вліяніемъ новаго начала. Болѣе или менѣе аналогіи представляли они между собою во всѣхъ почти государствахъ, основанныхъ германскими завоевателями на римской почвѣ; но Франкское государство имѣло ту особенность, что въ немъ начало феодальной зависимости или вассалитета брало рѣшительный перевѣсъ передъ аллодіальнымъ. Вмѣстѣ съ франкскимъ завоеваніемъ ленъ или феодеъ становится главнымъ опредѣляющимъ началомъ общественныхъ отношеній и въ новомъ Итальянскомъ королевствѣ. Въ извѣстномъ смыслѣ самое графство, то-есть публичная должность, которая соединялась съ этимъ титуломъ, была не что иное, какъ пожизненный ленъ. Тотъ же самый институтъ проникалъ сюда и подъ видомъ тѣхъ частныхъ владѣній, которыя Карлъ Великій имѣлъ обычай раздавать своимъ вѣрнымъ вассамъ послѣ cadaго завоеванія, съ цѣлью еще болѣе укрѣпить его за собою ²⁾. По этимъ даннымъ образцамъ мало-по-малу образуются и прочія отношенія между сословіями. Все ищетъ стать подъ феодальный сеньйоратъ; названіе вассовъ или бассовъ распространяется даже на прежнихъ гастальдовъ и газиндовъ ³⁾ Однородная лангобардская ариманнія рас-

1) Savigny, Gesch. d. R. R. I, § 121. — 2) Eichhorn, I, § 177; ср. Hegel, II, 16. — 3) Hegel, *ibid*; ср. Leo, I, 213.

идется, рѣдѣетъ, частью перемѣщаясь въ новообразующееся словіе королевскихъ вассовъ, или вассаловъ, частью же сходя правдо ниже, въ ряды полусвободныхъ людей, не пользующихся полною самостоятельностью и всю жизнь состоящихъ подъ чужимъ покровительствомъ. Особенно чувствовалось дѣйствіе этой разлагающей силы съ того времени, какъ въ лангобардскихъ земляхъ введено было новое устройство земскаго юлченія (такъ называемый гербаннъ). Классъ свободныхъ людей, на который эта повинность падала непосредственно, сдѣлалъ отъ нея всего болѣе. Уклоненіе отъ повинности влекло за собою тяжелую пеню, а между тѣмъ и исполненіе ея, изъ-за причинъ частыхъ и отдаленныхъ походовъ, было не менѣе изорительно. Спасая себя и свою семью отъ неминуемаго разоренія, свободный и даже достаточный, но не довольный боитый челоуѣкъ спѣшилъ укрыться подъ чужимъ патронатомъ, хотя это стоило ему пожертвованія своею гражданскою самостоятельностью ¹⁾. Извѣстный обрядъ, по которому свободный челоуѣкъ „поручалъ“ свою свободу чужому покровительству (*commendatio*), или, что то же, мѣнялъ ее на защиту сильнаго, распространенъ былъ особымъ постановленіемъ Пипина и на ангобардскія земли ²⁾. Кто же не ждалъ себѣ большой выгоды отъ свѣтскаго сеньйората, тотъ охотно отдавался подъ покровительство церкви. Иммунитеты своими привилегіями способны были привлечь наибольшее число желавшихъ церковнаго патроната, хотя и безъ особенной нужды въ немъ. Феодализмъ, какъ свѣтскій, такъ и духовный, набиралъ свою рать — и въ ней незамѣтно распускалось свободное народонаселеніе страны, въ которомъ всего сильнѣе было чувство лангобардской національности.

Мы уже видѣли, что Каролинги смотрѣли на свою власть въ завоеванной ими Италіи какъ на продолженіе власти прежнихъ лангобардскихъ королей, и издавали свои новыя поста-

¹⁾ Leo, I, 217; ср. Hegel, II, 8. Впрочемъ и въ мирное время ариманамъ приходилось иногда очень плохо отъ притѣсненія мѣстныхъ правителей, какъ это видно изъ слѣдующаго постановленія: *Ut liberi homines nullum obsequium comitibus faciant nec vicariis, neque in prato, neque in messe, neque in aratura et vinea, et conjectum ullum vel residuum non solvant, etc.* Cap. Ticin. ad an. 81. (Pertz, III, 85). — ²⁾ Cap. Pip. ad an. 789: *Stetit nobis de illos liberos Langobardos, ut licentiam habeant se commendandi ubi voluerint, si seniores non abuerint, sicut a tempore Langobardorum fecerunt* (Pertz, III, 71). Изъ словъ *arimani* видно, что обычай существовалъ у лангобардовъ и прежде, но изъ чего не видно, чтобы до сего времени онъ былъ у нихъ въ большомъ употребленіи.

новленія въ смыслѣ прибавленій или дополненій къ существующему мѣстному законодательству. Вообще, они оставили прежнее лангобардское право во всей его силѣ, а между тѣмъ подрывъ, нанесенный ими національной самостоятельности, ни въ какой сферѣ не былъ такъ ощутителенъ, какъ въ области права. Франки искони были чужды всякой исключительности въ этомъ отношеніи: въ противоположность лангобардамъ, они рано уже приняли такъ называемую *систему* правъ личныхъ. Правильнѣе впрочемъ было бы говорить объ особомъ юридическомъ *началѣ*, противоположномъ исключительно національному. Такъ галло-римское народонаселеніе Франкского государства, какъ извѣстно, могло жить по своему собственному праву, нисколько не обязываясь принять вмѣстѣ съ новымъ политическимъ авторитетомъ и самый законъ побѣдителей. Это примирительное начало, вмѣстѣ съ другими историческими причинами, не мало содѣйствовало къ постепенному сліянію двухъ народностей въ одно цѣлое. Оно же, будучи приложено къ итальянскому завоеванію послѣ исключительнаго почти господства лангобардскаго права, должно было произвести здѣсь явленіе обратное. Не въ томъ конечно смыслѣ, чтобъ возобновленіе римскаго права въ лангобардскихъ земляхъ необходимо влекло за собою возстановленіе въ нихъ самостоятельной римской общины, иначе, выдѣленія ея изъ установленнаго прежде единства подъ лангобардскимъ началомъ. Подобному мечтательному предположенію нѣтъ болѣе мѣста, какъ скоро однажды уже совершилось разложеніе общины, о которой идетъ рѣчь. Не повѣрить этому разложенію нельзя, не поставивъ нѣкоторыхъ юридическихъ признаковъ довольно сомнительнаго свойства выше всѣхъ историческихъ соображеній. Не трудно было возобновить въ силѣ римское право, сохранившееся частью въ письменныхъ памятникахъ, частью въ самой практикѣ; но оно само по себѣ не въ состояніи было вновь создать цѣлое гражданское общество, равносильное въ самостоятельности прежнему. Опасность состояла не въ томъ. Но довольно уже было бы одного уравниенія римскаго права съ лангобардскимъ, чтобъ послѣднее потеряло много своей прежней важности, чтобъ оно перестало быть тѣмъ вязущимъ цементомъ, которымъ всего болѣе держались до сихъ поръ разнородныя части лангобардской національности. Доселѣ путемъ лангобардскаго права и римлянинъ становился полноправнымъ членомъ большой народной семьи лангобардовъ. Въ случаѣ же уравниенія обоихъ правъ, ничто болѣе не мѣшало даже и лангобарду выйти изъ

ной сферы своей національности и начать жить по римскому закону. При такомъ условіи прежнее національное право могло болѣе служить опредѣленіемъ и мѣрою народности: уже становилось нѣкотораго рода отвлеченною формулою, которую каждый могъ предпочесть и не предпочесть другой, равнозначительной, сообразуясь съ своими обстоятельствами и личными выгодами.

Франки дѣйствительно остались вѣрны себѣ и на той новой вѣѣ, которую они покорили своей власти на полуостровѣ. Имѣемъ несомнѣнныя доказательства, что вмѣстѣ съ ними шло здѣсь и то разнообразіе правъ, которое съ самаго начала допущено было ими въ Галліи. Каждый могъ жить по воле своего выбора, или — что почти одно и то же — оставаться при своемъ природномъ правѣ. Не только сами франки, и другіе пришельцы германскаго происхожденія, которые встѣ съ ними поселились на лангобардскихъ земляхъ, пользовались этою привелегіею. Само собою разумѣется, что римское право, *lex Romana*, также не составляло исключенія ¹⁾. Лангобарды, естественно оставались при своемъ природномъ правѣ; но объ нихъ сверхъ того имѣемъ довольно опредѣленнаго указанія, что они могли по своему произволу объявлять другой законъ ²⁾. Однимъ словомъ, всякое стѣсненіе въ этомъ отношеніи было совершенно устранено въ Итальянскомъ королевствѣ. Все, что требовало правительство Пипина отъ своихъ итальянскихъ подданныхъ, состояло лишь въ томъ, чтобъ каждый изъ нихъ объявилъ положительно, по какому именно онъ хочетъ жить праву; воля самого короля обеспечивала каждому ненарушимое сохраненіе объявленнаго имъ права во всѣхъ случаяхъ его жизни, подлежащихъ обсужденію на основаніи законовъ ³⁾. Всѣ эти постановленія отнюдь не были преднамеренныя, а между тѣмъ едва ли можно было придумать что-нибудь болѣе искусное для того, чтобъ сдѣлать туземцевъ

¹⁾ Capit. Lang. ad an. 783. De diversarum generationum hominibus qui in Italia commanent, volumus ut—secundum ipsius legem, cui negligentiam commisit, respondeat. De vero statu ingenuitatis aut aliis querellis, unusquisque secundum suam legem se ipsum defendat. (Pertz, III, 46).—Si vero Langobardus aut Romanus fuerit, ea lege servos suos vel adquirat vel amittat, sicut inter eos antiquitus constituta. (Ibid. p. 83—84) Cp. Hegel, II. 3.—²⁾ Cap. Lang. an. 808: Et qualem unusquisque Langobardus sibi habere vult, talem debet curtem nostram conservare (Pertz, 14, 154).—³⁾ Cap. Lang. an. 786: Et quia omnino voluntas d. regis est, ut unusquisque homo suam legem pleniter habeat conservatam... Et per singulos curant, qualem habeant legem ex nomine, etc. (Pertz, III, 15).

равнодушнѣе къ лангобардскому праву и отнять у него прежнее достоинство и значеніе въ глазахъ той самой націи, которая вмѣстѣ съ нимъ выросла и такъ много обязана была ему своею крѣпостью и самостоятельностью.

Образованіе цѣлой народности, какъ образованіе отдѣльной человѣческой личности, есть большею частью тайна органической природы, мало доступная положительному знанію. Исторія можетъ только приближаться къ ней, но не въ состояніи прослѣдить весь процессъ ея съ полною отчетливостью. Итальянская народность, по множеству вошедшихъ въ нее элементовъ, представляетъ въ этомъ отношеніи, можетъ-быть, гораздо больше трудностей, чѣмъ многія другія, слагавшіяся съ нею одновременно. Мы не въ состояніи дать опредѣленнаго отчета въ томъ, какимъ образомъ столь разнородныя національности, какъ римская и лангобардская, сначала такъ рѣзко и даже исключительно поставленныя одна противъ другой, мало-помалу стали въ отношеніе двухъ взаимодействующихъ силъ для произведенія одной новой народности, противъ многихъ другихъ, образовавшихся въ то же время за предѣлами полуострова. Но тѣмъ дороже становится каждая черта, которая можетъ быть подмѣчена анализомъ или даже простымъ наблюденіемъ въ этой довольно загадочной исторіи взаимнаго наклоненія обоихъ народныхъ элементовъ и послѣдовавшаго затѣмъ ихъ сліянія между собою. Первая наклонность къ сближенію, какъ естественный плодъ тѣснаго сосѣдства двухъ народовъ, живущихъ подъ однимъ небомъ, обнаружилась еще задолго до франкскаго завоеванія. Такъ въ самомъ Римѣ можно указать существованіе и дѣятельность лангобардской партіи, которая приняла въ себя и многіе римскіе интересы; такъ, съ другой стороны, въ самомъ лангобардскомъ правѣ нельзя не замѣтить со времени Ліутпранда и большаго вниманія и даже нѣкоторыхъ уступокъ въ пользу доселѣ исключеннаго римскаго права. Уровень франкскаго завоеванія, котораго дѣйствіе въ извѣстной степени простиралось и на римскую территорію, какъ средній терминъ, проводилъ начинавшееся сближеніе еще далѣе. Подъ нимъ одинаково сглаживалось многое оригинальное, чтó уцѣлѣло отъ прежнихъ національныхъ учреждений какъ между римлянами, такъ и лангобардами. Подъ непосредственнымъ вліяніемъ новаго начала стиралась печать особенности, лежавшая до сего времени на нѣкоторыхъ исключительно національныхъ учрежденіяхъ. Не остались неприкосновенными и сословія, то-есть главныя составныя части

дой народности: и они разлагались и слагались вновь тяготѣніемъ новаго порядка вещей. Наконецъ уравненіе игралось и на право — безспорно, самое сильное выра-е національной исключительности послѣ различія по вѣ-— тѣмъ самымъ, что римское и другія народныя права ышались до одинаковаго политическаго значенія съ лан-рдскимъ; послѣднее теряло свою исключительную приви-о, смѣшивалось съ другими. Лангобардъ не только долженъ ; терпѣть подлѣ себя равноправнаго римлянина, но при торыхъ обстоятельствахъ и самъ могъ сдѣлаться римля-мъ, по крайней мѣрѣ по праву. Вообще, рѣзкая раздѣли-ная черта между двумя народами была перейдена и сбли-е ихъ между собою впредь могло дѣлать безостановочные жи.

Говоря о римлянахъ, нельзя не вспомнить еще разъ из-ной гипотезы, допускающей непрерывное существованіе Лангобардскомъ государствѣ, не только отдѣльной римской ны, но и ея самостоятельнаго устройства — съ куріей журионами. Разумѣется, что гипотеза въ той же силѣ при-ется къ каролингскому періоду, какъ и ко всему пред-зующему времени. Но допустивъ даже, что римская об-а въ такомъ видѣ дѣйствительно сохранилась до самаго екскаго завоеванія, какъ думать, что она, подобно незы-ому утесу, неизмѣнно устояла и при этомъ всеобщемъ раз-ннн и перемѣщеніи сословныхъ элементовъ? Какъ объяснить непонятное окаменѣніе, продолжающееся нѣсколько вѣковъ адерживающее всякій напоръ, среди безпрестаннаго дви-ія, среди водоворота событій, въ которомъ измѣняются и ращаются всѣ прочія учрежденія? Жизненною ли силою новленія, или самою его особенностью, замкнутостью, ко-я дѣлала его недоступнымъ никакому постороннему вліянію? жизненная сила исчезла изъ него прежде, чѣмъ римское юство постигнуто было какимъ-нибудь завоеваніемъ; но нутость не могла удержаться долго, когда оба народона-ія, и римское и лангобардское, сходились между собою днихъ и тѣхъ же центрахъ, когда между ними происхо- : всякаго рода житейскія сношенія и сдѣлки, даже брач-союзы. Гипотеза, хотя и достойная уваженія, очевидно, авилась внѣ соображенія другихъ, параллельныхъ явленій зъ послѣдовательнаго историческаго развитія, которому рим- : община, даже и отдѣльно существовавшая, не могла ться совершенно чуждою. Такой неподвижности, на осно-

ваніи которой предполагается неизмѣнное существованіе куріи, не знаетъ исторія во всей относящейся сюда современности.

Попробуемъ навести еще нѣкоторыя справки съ законодательствомъ Карла Великаго и сына его Пипина, сколько оно относится къ Лангобардскому государству. Законодательство входитъ во многія подробности общественной жизни, знаетъ всѣ существующія отношенія. Въ капиуляріяхъ исчислены всѣ сословія; поименованы всѣ общественныя власти, представлены всѣ формы суда; но нигдѣ не упомянуто ни о куріи, ни о декуріонахъ, и нѣтъ никакого указанія на то, чтобъ существовало подобное учрежденіе ¹⁾. Странно и думать, чтобъ каролингское законодательство, столько всеобъемлющее и столько внимательное ко всѣмъ особенностямъ и уклоненіямъ отъ общаго порядка, могло запомнить, совершенно упустить изъ виду такое важное обстоятельство, какъ особое устройство римскаго общества. Но оно какъ будто и не подозрѣваетъ о существованіи чего-нибудь подобнаго: ему извѣстно только, между другими народными правами, и право римское, и законодательство Каролинговъ дѣйствительно допускаетъ, чтобъ нѣкоторыя гражданскія дѣйствія совершались по римскому юридическому порядку. Вообще въ лангобардскихъ капиуляріяхъ упоминается о римлянахъ очень рѣдко. Лишь въ двухъ мѣстахъ полагается ясное различіе между ними и лангобардами. Одно изъ нихъ читаемъ въ капиуляріи 801 года, гдѣ рѣчь идетъ о приобрѣтеніи и утратѣ рабовъ: при этомъ случаѣ законодатель дѣлаетъ различіе между римляниномъ и лангобардомъ, и отсылаетъ ихъ обоихъ, относительно упомянутаго предмета, къ прежде существовавшимъ у нихъ постановленіямъ — не болѣе ²⁾. Гораздо значительнѣе другое мѣсто, гдѣ различіе проведено

¹⁾ Капиуляріи знаютъ только *Curtis Regias* — такъ назывались въ королевскихъ доменахъ центральные пункты ихъ внутренняго управленія, гдѣ королевскіе чиновники (*actores regii*) производили расправу надъ всѣми людьми полусвободнаго и рабскаго состоянія, приписанными къ такимъ владѣніямъ, и собирали композиціи. См. *Capit. Lang. ad an. 808* (Pertz, III, 153). — ²⁾ Pertz, III, p. 84: *Si vero Langobardus aut Romanus fuerit, ea lege servos suos vel adquirat vel amittat, sicut inter eos antiquitus est constituta*. Впрочемъ, если взять въ соображеніе предшествующій пунктъ, гдѣ поставляются рядомъ франкъ и лангобардъ, то могло бы казаться, что законодатель, соединяя въ одной группѣ римлянина и лангобарда, скорѣе имѣлъ въ виду отличить ихъ отъ прочихъ націй, чѣмъ различить между собою.

съ большею очевидностью и обстоятельностью¹⁾. Законъ прямо касается тѣхъ смѣшанныхъ процессовъ, когда тяжба происходитъ между лангобардомъ съ одной стороны, и римляниномъ съ другой. Нѣкоторыя выраженія показываютъ, что законодатель имѣлъ въ виду преимущественно тяжбы дѣла по наслѣдству. Если ужъ разъ допущено юридическое начало личнаго права, то въ процессахъ этого рода всего естественнѣе ожидать его приложенія. И въ самомъ дѣлѣ, изъ капитулярія узнаемъ, что въ подобныхъ случаяхъ римлянинъ удерживалъ за собою право — вести все дѣло, составлять всѣ записи и давать присягу — по римскому юридическому порядку, или закону, и только въ уплатѣ денежной пени за вредъ или убытокъ, нанесенные противнику, долженъ былъ сообразоваться съ правомъ или закономъ послѣдняго — что также очень естественно. Такое постановленіе конечно предполагаетъ существованіе особеннаго класса опытныхъ нотаріевъ и юрисконсультовъ, хорошо знакомыхъ съ римскими законами и судебными обычаями, и ихъ не трудно узнать подъ весьма употребительнымъ названіемъ „табелліоновъ“ (*tabelliones*) и подъ другими болѣе или менѣе официальными титулами. Но чтобы то же самое постановленіе предполагало непременно и существованіе отдѣльной и замкнутой въ себѣ римской общины, съ особеннымъ устройствомъ, своими магистратами и своею долею судебной расправы, этого заключить мы вовсе не въ правѣ, именно потому, что законъ молчитъ о нихъ въ этомъ мѣстѣ точно такъ же, какъ и во всѣхъ прочихъ. Если не считать это умолчаніе умысленнымъ (къ чему нѣтъ ни малѣйшаго повода), то надобно будетъ допустить, что подобныя учрежденія были вовсе неизвѣстны законодателю. Иначе, отличая право, онъ не опустилъ бы случая отличить и самые трибуналы. Но

¹⁾ Оно находится, кромѣ Перца, III, 192, также у Муратори, *Scrip. T. I, P. 2, p. 124*. Мы предпочитаемъ текстъ послѣдняго, какъ болѣе доступный объясненію: *Sicut consuetudo nostra est, ut Langobardus, aut Romanus, si ebergerit, quod causam inter se habeant, observamus, ut Romani successores, juxta illorum legem babeant. Similiter et omnes scriptiones secundum legem suam faciant. Et quando jurant, juxta legem suam jurent, etc.* Текстъ, приводимый Перцомъ, заключаетъ въ себѣ слѣдующій вариантъ: *observamus, ut Romanus populus successionem eorum, etc.* Впрочемъ сущность дѣла оттого не измѣняется. Очевидно, что выраженіе „*R. populus*“ введено вариантомъ лишь для большаго отгѣвленія той національности, о которой идетъ дѣло. Замѣчательно также, что капитулярій не имѣетъ опредѣленной даты и — по мнѣнію Блюме, ученаго изслѣдователя лангоб. законовъ — долженъ быть отнесенъ къ апокрифическимъ. См. *Pertz, ibid.*

онъ постоянно говоритъ лишь о графскомъ судѣ съ подчиненными ему инстанціями, и допускаетъ только одно изъятіе изъ общаго правила, то-есть церковные иммунитеты, и то съ извѣстными ограниченіями. Ясно, что римляне, то-есть люди римскаго происхожденія и закона, извѣстны ему не менѣе, какъ и лангобарды; но ни изъ чего не видно, чтобъ онъ зналъ ихъ какъ членовъ отдѣльной общины. Защитники ея существованія при Каролингахъ могутъ ссылаться на все, только не на современное законодательство, которое, относительно этой общины, остается въ совершенномъ невѣдѣніи.

Соображая всѣ результаты франкскаго завоеванія, сколько они обнаружались еще при жизни самого завоевателя, мы можемъ сдѣлать и нашъ общій заключительный выводъ о томъ значеніи, какое оно имѣло для Италіи вообще. Нельзя сказать, чтобъ Италія много выиграла въ сосредоточеніи своихъ народныхъ силъ, въ политической централизаціи: на югѣ франкское завоеваніе остановилось, не достигнувъ крайнихъ предѣловъ лангобардскаго; нѣкоторые города опять остались за Византією; относительное положеніе Венеціи почти не измѣнилось противъ прежняго. Виднѣе то дѣйствіе, которое производитъ присутствіе новаго политическаго начала на уравниеніе народныхъ правъ, вообще на сближеніе различныхъ народностей, какъ въ завоеванной части полуострова, такъ частью и въ собственной римской области. Лангобардская національность теряетъ свои прежнія преимущества; римская, напротивъ, возвышается почти до одного уровня съ нею, и прежняя разность раздѣленій и переходовъ исчезаетъ, едва оставляя нѣкоторые слѣды въ законодательствѣ. Разрѣшеніе той же важной задачи много облегчалось еще перемѣщеніемъ сословныхъ элементовъ, которое началось въ лангобардской Италіи вслѣдствіе введенія въ ней франкскихъ учрежденій. Всѣ эти измѣненія указываютъ на новый сильный поворотъ въ политическомъ существованіи цѣлой страны. Какъ будто произведена была вновь какая закваска. Опять зачалось внутреннее броженіе, которое могло дать свои послѣдніе результаты не ранѣе, какъ черезъ нѣсколько поколѣній впередъ. Это дѣйствіе простирается на всю каролингскую эпоху итальянской исторіи.

Въ то же время обмѣнъ особеннаго рода происходитъ между завоевателями и завоеванною страной. Несмотря на политическое безсиліе Италіи, у нея было свое богатство, которому могли позавидовать даже ея сильные побѣдители. Она была полна памятниками древней образованности, искусства,

умственного развитія во всѣхъ родахъ; она сберегла въ себѣ сѣмена образованія новаго міра. Карлъ Великій былъ первый изъ германскихъ завоевателей, который открылъ ея образовательному вліянію самыя широкіе выходы въ прочія страны западной Европы. Великій духъ его былъ исполненъ возвышенныхъ и вмѣстѣ разнообразныхъ инстинктовъ. Древняя образованность и ея произведенія не встрѣчали еще себѣ болѣе преданнаго и усерднаго почитателя между германскими завоевателями. Пребываніе въ Италіи особенно развило въ немъ вкусъ къ памятникамъ древности, искусства вообще. Любуясь ими на мѣстѣ, Карлъ почувствовалъ желаніе перенести нѣкоторые изъ нихъ и въ свои наслѣдственныя владѣнія. Онъ охотно принялъ въ подарокъ отъ Адріана I мозаики и мраморныя колонны равеннскаго дворца и перевезъ ихъ въ Ахенъ, свою любимую резиденцію. Впослѣдствіи туда же перевезена была, по его приказанію, и мраморная статуя Теодориха остготскаго, находившаяся въ Равеннѣ ¹⁾. Извѣстно также, что патріархъ Фортунатъ, бѣжавшій изъ Венеціи и искавшій покровительства императора, привезъ съ собою въ подарокъ ему мѣдныя врата удивительной работы ²⁾. Вмѣстѣ съ своими произведеніями и самое искусство мало-по-малу перемѣщалось на новую почву. Октагонъ церкви Св. Виталія въ Равеннѣ послужилъ образцомъ при постройкѣ ахенскаго собора. Равеннскій и ахенскій дворцы были также одного стиля. По всей вѣроятности, и знаменитыя ингельгеймскія постройки совершены были также не безъ содѣйствія итальянскихъ художниковъ. Въ то же самое время итальянскіе ученые соперничали съ англо-саксонскими въ благосклонности великаго императора. Петръ Пизанскій давалъ ему уроки въ грамматикѣ; Паулинъ, одинъ изъ первыхъ знатоковъ того же искусства, также былъ възысканъ его особеннымъ вниманіемъ; еще одинъ итальянскій ученый, по имени Теодульфъ, былъ отправленъ имъ во Францію, чтобъ вмѣстѣ съ другими содѣйствовать тамъ вновь возникавшему просвѣщенію ³⁾. Это были первые, малые зачатки новаго образованія, которые впослѣдствіи разрослись въ широкую и многоплодную науку.

¹⁾ Объ этомъ говоритъ Аньель, *R. It. Scrip.* t. II, p. 1, 123. См. также объ этомъ предметѣ *Arch. Stor. Appendice*, t. II, p. 567—573. — ²⁾ См. *Murat. Ann. ad. an. 803.* — ³⁾ *Ibid. ad an. 781—794.*

II.

814 — 840.

Государственная исторія Италіи послѣ Карла Великаго продолжала итти объ-руку съ исторіею цѣлой имперіи. Высшій государственный авторитетъ былъ императорскій; народившійся въ прежнее время мѣстный итальянскій авторитетъ духовнаго характера оставался какъ бы въ тѣни за нимъ. Смерть Карла Великаго, повидимому, не измѣнила отношеній; но въ сущности это была величайшая потеря для новаго учрежденія. Карлъ Великій былъ не только его основателемъ, но и душою. Великая государственная форма, носившая имя имперіи, пережила его, но она не могла сохранить въ себѣ его духа, которымъ была полна до сего времени, и стала похожа на великій остовъ, поражающій своими размѣрами, но безъ внутренняго движущаго начала. Были преемники правъ Карла Великаго, но не нашлось ни одного между ними, который бы наслѣдовалъ и самое его призваніе. Они способны были наполнить доставшуюся имъ въ наслѣдство государственную форму развѣ только своимъ личнымъ честолюбіемъ, ничего не прибавляя ни къ ея достоинству, ни къ ея значенію. Явленіе не рѣдкое въ исторіи Европы, что знаменитый родъ, достигнувъ въ лицѣ одного или нѣсколькихъ своихъ членовъ апогея своего развитія, какъ-будто истощается въ силахъ, и потомъ, на многихъ поколѣніяхъ къ ряду, доказываетъ лишь свою непроизводительность. Не будучи людьми совершенно неспособными, Каролинги постоянно оставались ниже своего положенія и его требованій; имперія дѣйствительно не имѣла для нихъ другого значенія, кромѣ формы, манившей ихъ честолюбіе; постепенно падая сами, они вмѣстѣ съ собою роняли и имперію.

Не благопріятное ли было время для того, чтобъ другой, болѣе мѣстный авторитетъ, нѣкоторое время заслоненный первымъ, опять вошелъ въ силу? чтобъ онъ употребилъ всѣ за-висящія отъ него средства для возобновленія и, буде можно, распространенія своихъ старыхъ притязаній? Такова была его предыдущая исторія: римскій престолъ обыкновенно извлекалъ свои силы изъ немощей того учрежденія, которому онъ самъ подчинялся въ свѣтскомъ или государственномъ отношеніи. Не одинъ разъ испытывъ на дѣлѣ выгоды подобной по-

тики для своихъ цѣлей, онъ имѣлъ всѣ причины держаться и на послѣдующее время. Параллель съ національнымъ развитіемъ для него кончилась: впредь ему можно было успѣть не иначе, какъ при помощи внѣшнихъ благопріятныхъ обстоятельствъ. Новая западная имперія, основанная на отданной памяти старой римской, не имѣла передъ собою почти ~~какихъ~~ непосредственно предшествующихъ ей преданій: римскій престолъ, напротивъ того, держался ими, какъ крѣпкіи корни, на той почвѣ, на которой постепенно въ продолженіе вѣковъ произошло его возвышеніе. Разность въ положеніяхъ была весьма значительная.

Сколько многостороненъ былъ великій основатель имперіи, только одностороненъ его преемникъ. Если бъ не преждевременная смерть старшихъ братьевъ, Лудовику едва ли бы велось когда соединить на себѣ всѣ громкія титула своего ца. Напрасно современные писатели, большею частью дувныя лица, старались не замѣчать его слабостей: онѣ сквозятъ черезъ ихъ же разсказъ, и записанныя ими дѣла говорятъ гораздо краснорѣчивѣе самыхъ словъ, — дѣла не только блестящія, но еще обличающія слабость сердца, крайнюю раниченность ума и почти совершенное отсутствіе политическаго смысла. Рука его была привычна къ мечу, какъ у ихъ почти людей одного съ нимъ поколѣнія; но навыкъ адѣть оружіемъ не дружилъ у него съ душевною твердостью. ужое вліяніе, почти всегда исключительное, тяготѣло надъ Лудовикомъ отъ начала до конца его правленія. Собственная воля была до того безсильна, измѣнчива, непостоянна, что онъ не въ состояніи былъ выдержать ни одного своего споряженія и безпрестанно мѣнялъ ихъ одно на другое. Человѣкъ безхарактерный, онъ самъ боялся своихъ начинаній и старался проводить ихъ украдкою отъ своихъ сыновей, или чалъ тайную сдѣлку съ однимъ, чтобъ безопаснѣе обмать другого. Даже въ своей собственной семьѣ Лудовикъ не пользовался ни малѣйшимъ уваженіемъ. Говорятъ, призваніе было скорѣе монашеское, чѣмъ правительственное: извѣстно, что благочестивыя упражненія наполняли и занимали большую часть его времени; аскетическое направленіе мало-по-малу до какой степени возобладаало въ Лудовикѣ надъ обыкновенными итійскими ощущеніями, что на лицѣ его не видали даже улыбки ¹⁾. Передъ нимъ могли веселиться, прыгать, скакать—

¹⁾ Theganus, de gestis Lud. c. XIX.

онъ смотрѣлъ на все съ неподвижнымъ лицомъ. Тотчасъ по вступленіи Лудовика на престолъ, всѣ женщины, кромѣ небольшого числа тѣхъ, которыя были необходимы для разныхъ придворныхъ услугъ, были высланы изъ дворца; даже сестры императора принуждены были удалиться въ свои мѣстности, доставшіяся имъ по раздѣлу ¹⁾. Съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что Лудовикъ былъ вовсе не такъ равнодушенъ къ женской красотѣ, какъ могло бы казаться: едва прошелъ годъ послѣ смерти первой его супруги, какъ онъ женился на другой, знаменитой Юдиои, и современники ясно показываютъ, что красота ея не мало вѣсила при выборѣ ²⁾.

Не вдругъ почувствовалась перемѣна, послѣдовавшая во главѣ управленія, и потому на первое время всѣ отношенія остались прежнія. Послы изъ всѣхъ провинцій, повѣренныя отъ различныхъ народностей, которыя входили въ составъ обширной имперіи, не замедлили явиться къ Лудовику, чтобъ увѣрить его въ неизмѣнной преданности и засвидѣтельствовать передъ нимъ общее желаніе мира ³⁾. Италія не отстала отъ другихъ странъ въ выраженіи тѣхъ же самыхъ чувствованій. Бергардъ, король ломбардскій, лично пришелъ на поклонъ своему дядѣ, новому императору, былъ принятъ имъ очень милостиво, осыпанъ дарами и отпущенъ назадъ съ подтвержденіемъ прежняго полномочія ⁴⁾. Только знаменитые совѣтники и руководители молодого короля, братья Адалардъ и Вала, имѣли несчастіе возбудить противъ себя подозрительность Лудовика, и должны были покинуть Италію и устранились отъ всѣхъ дѣлъ. Когда потомъ старшій братъ удалился въ свою корвейскую обитель, гдѣ былъ аббатомъ, Вала также послѣдовалъ за нимъ, рѣшившись совершенно отказаться отъ свѣта, и по смерти Адаларда заступилъ его мѣсто въ томъ же монастырѣ. Даже отдаленный Беневентъ показалъ прямое желаніе сохранить свои прежнія отношенія къ имперіи. Беневентское посольство представясь Лудовику, наравнѣ съ другими повторило передъ нимъ увѣренія въ подданствѣ. Единственная выгода, которую беневентцы извлекли для себя изъ перемѣны въ управленіи имперіею, состояла въ томъ, что платимая ими ежегодная дань, по словамъ одного современника, была понижена съ 25,000 на

¹⁾ Vita Lud. Pii, c. XXIII. — ²⁾ Vita Lud. Pii: et undequaque adductas procerum filias inspiciens, Judith in matrimonium junxit.—Theganus: Erat enim pulchra valde.—Agobardus in libro apologetico: Quae quia propter solam pulchritudinem a viro inofficiose diligi fertur, etc. (Bouquet, VI, p. 249). — ³⁾ Theg. c. IX.—⁴⁾ Ibid. c. XII.

Только что зданіе Карла Великаго закрѣплено было еще однимъ новымъ камнемъ, какъ внутренній миръ имперіи былъ нарушенъ неполитическимъ распоряженіемъ самого главы ея. Вдругъ какъ будто пролилось на имперію неисчислимое море золъ и бѣдствій разнаго рода, какъ будто разсыпался надъ нею миогическій ящикъ Пандоры. Цѣлый рядъ послѣдующихъ поколѣній не могъ исчерпать всей бездны общественныхъ несчастій, которыя открылись со времени новаго раздѣла имперіи, предпринятаго Лудовикомъ въ пользу четвертаго сына.

Давно зрѣла опасная интрига, можно сказать съ самаго дня рожденія Карла, сына Юдиои. Она была очень вѣрно рассчитана на слабость, на безхарактерность Лудовика; цѣль же ея состояла въ томъ, чтобъ доставить Карлу, четвертому сыну императора, свою долю въ раздѣлѣ, наравнѣ съ прочими братьями. Понятія вѣка нисколько не противорѣчили подобнымъ дробленіямъ государственной области между членами королевскаго дома. Не иначе думалъ поступить и Карлъ Великій, пока еще живы были, кромѣ Лудовика, другіе его сыновья. Лудовикъ, заживо раздѣляя имперію между своими дѣтьми, показалъ не просто слабость своего характера, но излишнюю уступчивость тому же духу времени. При всемъ томъ интрига, затѣянная въ пользу Карла, представляла дѣйствительную опасность въ томъ отношеніи, что была направлена противъ существующаго раздѣленія, которое было упрочено давностью нѣсколькихъ лѣтъ. Новая доля для четвертаго наслѣдника могла составиться не иначе, какъ съ ущербомъ для прочихъ братьевъ. Жадность къ пріобрѣтенію была едва ли не самою господствующею страстью времени; но, рядомъ съ нею, не менѣе сильно было развито и другое чувство—сохраненія пріобрѣтеннаго. Сколько же необузданныхъ страстей должно было пробудить неосторожное покушеніе—коснуться цѣлости владѣній, составившихъ удѣлы трехъ старшихъ сыновей императора, чтобъ на ихъ счетъ устроить особое хозяйство для младшаго! Какой ударъ былъ бы нанесенъ единству имперіи и ея внутренней силѣ, если бы, при раздѣленіи областей, послѣдовало еще раздѣленіе и самыхъ интересовъ!

Началось съ того, что Лудовикъ, также завлеченный въ интригу, не видя возможности передѣлать прежнее раздѣленіе противъ воли старшихъ сыновей, склонилъ, упросилъ одного изъ нихъ, именно своего соправителя Лотара, выдѣлить изъ

вольствуясь грабежомъ въ открытыхъ мѣстахъ, хищники готовились ударить на самый Римъ и тамъ распорядиться по-своему ¹⁾. Римское правительство было совершенно безсильно предотвратить этотъ новый ударъ со стороны своихъ противниковъ. Римъ обязанъ былъ своимъ спасеніемъ только прямому вмѣшательству Бернгарда, который поспѣшилъ принять свои мѣры противъ опасности, угрожавшей беззащитному городу. По его распоряженію, Гвинигизъ, герцогъ сполетскій, двинулся съ войскомъ по направленію къ Риму и укротилъ возстаніе. Обо всѣхъ этихъ происшествіяхъ Бернгардъ не замедлилъ потомъ извѣстить императора.

Помимо крамольныхъ движеній, которыя были направлены прямо противъ лица римскаго епископа, нельзя однако не замѣтить въ римлянахъ того времени и присутствія національной мысли, которая, вопреки многимъ событіямъ послѣдней эпохи, стремилась къ восстановленію римской автономіи. Это обнаружилось довольно ощутительно при первой же переменѣ, послѣдовавшей на римскомъ престолѣ. Левъ III лишь двумя годами пережилъ своего благодѣтеля. Избирая ему преемника, римляне, повидимому, до того увлеклись воспоминаніемъ о своихъ старыхъ правахъ, что нисколько не хотѣли уважать новыхъ правъ императора. Стефанъ IV, самъ родомъ римлянинъ, былъ не только избранъ, но и посвященъ въ санъ епископа безъ всякихъ предварительныхъ сношеній съ главою имперіи ²⁾. Новопоставленный епископъ впрочемъ далекъ былъ отъ того, чтобъ продолжать дѣйствовать въ томъ же духѣ, въ какомъ послѣдовало его избраніе. Первою его заботою было, какъ бы поправить свою невольную вину передъ императоромъ. Чтобъ какъ можно скорѣе очистить себя въ глазахъ Лудовика, онъ тотчасъ же послалъ къ нему нарочное посольство, котораго назначеніемъ было—устранить возможные недоразумѣнія относительно избранія, а потомъ отправился и самъ во Францію. Повѣривъ ли словамъ пословъ, или мало проникнувшись важ-

¹⁾ Einh. Ann. ad an. 815: Romani... omnia praedia quae idem pontifex in singularum civitatum territoriis noviter extruxit, primo diripiunt, deinde immissis igne cremant, tum Romam ire statuunt, et quae sibi erepta querebantur violenter auferre. Въ подобныхъ же выраженіяхъ говоритъ и авторъ Vitae, съ тою разницею, что *praedia* онъ прямо опредѣляетъ итальянскимъ терминомъ *domiciliae*.—

²⁾ Какъ это довольно ясно выходитъ изъ разсказа Vitae Lud. Pii, c. XXVI: Stephanique diaconi in locum ejus subrogatio, qui post sui consecrationem ad d. imperatorem venire non distulit... Praemisit tamen legationem quae super ordinatione ejus imperatori satisfaceret.

ностью событія, Лудовикъ удовлетворился даннымъ объясненіемъ и встрѣтилъ новаго римскаго епископа съ отличіемъ и почетомъ, приличными его высокому сану. Встрѣча произошла неподалеку отъ Реймса, въ окрестностяхъ монастыря св. Ремигія. Императоръ помогъ епископу сойти съ лошади, и самъ поддерживалъ его при входѣ въ церковь. Здѣсь, послѣ торжественнаго Те Деумъ, римляне, бывшіе въ свитѣ епископа, провозгласили славу римскаго императора. На другой день потомъ императоръ угощалъ епископа въ самомъ городѣ. Богатые дары съ обѣихъ сторонъ еще болѣе закрѣпили добрый миръ и согласіе между двумя властями. Въ заключеніе всего, въ первый же за тѣмъ воскресный день, Стефанъ IV вѣнчалъ Лудовика императорскою короною и благословилъ его на царство ¹⁾. Устроивъ добрыя отношенія съ императоромъ, епископъ благополучно возвратился въ свою резиденцію. А мысль объ автономіи между тѣмъ продолжала жить въ душѣ римскаго народа. Стефанъ IV недолго наслаждался успѣхомъ своей политики: онъ умеръ спустя мѣсяцъ или два послѣ своего возвращенія изъ Франціи ²⁾. Нисколько не заботясь объ отношеніяхъ къ имперіи, или слишкомъ пренебрегая ими, римское духовенство и народъ тотчасъ приступили къ новому выбору, и единодушно провозгласили Пасхалія, опять родомъ римлянина, римскимъ епископомъ. За избраніемъ не замедлило послѣдовать и самое посвященіе. Первый, кто вспомнилъ объ извѣстныхъ обязательныхъ отношеніяхъ къ императору, нарушенныхъ при избраніи, былъ и въ этомъ случаѣ самъ новопоставленный епископъ. Едва ли искренно, онъ однако тоже счелъ за нужное оправдаться передъ Лудовикомъ. Только на этотъ разъ дѣло ограничилось отправленіемъ къ императорскому двору папскаго повѣреннаго, по имени Теодора, которому предшествовало извинительное посланіе. Миротлюбивый, невзыскательный характеръ Лудовика, какъ видно, довольно ободрительно дѣйствовалъ на римскихъ политиковъ. Неизвѣстно съ точностью содержаніе посланія; что же касается до посланнаго, то знаемъ за подлинное, какими резонами старался онъ оправдать своего довѣрителя. По его словамъ, не честолюбіе и не своя охота заставили Пасхалія принять епископство, а воля избирателей, цѣлаго народа, который провозгласилъ его въ порывѣ увлеченія. Пасхалій не предвосхитилъ достоинство, на которое не

¹⁾ Ibid.—²⁾ Cp. Einh. Ann. ad an. 817; cp. Vita Lud. Pii, c. XXVII.

имѣлъ права, а скорѣе подпалъ ему, испытавъ принужденіе¹⁾. Недовѣрчивость не была въ характерѣ Лудовика, какъ проницательность не составляла отличительнаго свойства его ума. Онъ принялъ показаніе посланнаго, не выразивъ никакого сомнѣнія, и подтвердилъ свое желаніе продолжать добрыя сношенія съ римскимъ престоломъ и жить въ дружбѣ съ новопоставленнымъ епископомъ. Такимъ образомъ мысль римлянъ вторично вышла наружу, и на этотъ разъ дѣло обошлось даже безъ поѣздки епископа во Францію.

Не менѣе важное движеніе произошло въ томъ же году (817) въ сѣверной Италиі. Оно впрочемъ взялось отъ причинъ болѣе мѣстныхъ и личныхъ, чѣмъ послѣднія римскія прокошествія. Боясь за участь имперіи въ случаѣ своей внезапной смерти, Лудовикъ положилъ заранѣе назначить себѣ преемника, и въ то же время устроить судьбу прочихъ своихъ сыновей²⁾. Еще въ самый годъ вступленія свбего на престолъ онъ отдалъ Аквитанію въ управленіе старшему сыну, Лотарю, а Баварію—второму, Пипину. Спустя три года, когда подростъ и третій сынъ, Лудовикъ сдѣлалъ новое распоряженіе. Имѣя въ виду примѣръ своего отца, онъ провозгласилъ, на большемъ собраніи въ Ахенѣ, старшаго сына своимъ соправителемъ, и вслѣдъ затѣмъ вѣнчалъ его императорскою короною; въ то же время Пипинъ былъ перемѣщенъ въ Аквитанію, а младшій братъ, Лудовикъ, заступилъ его мѣсто въ Баваріи; обоимъ имъ притомъ присвоено было королевское достоинство. Этотъ неблагоприятный дѣлежъ бросилъ только сѣмя вражды между братьями. Предпочтеніе, оказанное одному, оскорбляло самолюбіе другихъ. Лудовикъ разрознилъ братьевъ, неосторожно выдвинувъ впередъ старшаго, и не имѣлъ никакой силы, чтобъ сдержать опасные порывы прочихъ, которые стремились поравняться съ первымъ. Бессильный человѣкъ предпринималъ такое дѣло, которое могло удаться развѣ только въ рукахъ необыкновенно энергическаго правителя. Случилось то, что часто повторяется въ подобныхъ обстоятельствахъ: младшіе братья

¹⁾ Vita Lud. Pii. Cp. Murat. ad. an. 817.—²⁾ Мы не пишемъ здѣсь подробной исторіи Каролинговъ, но считаемъ за нужное кстаті обратить здѣсь вниманіе на этотъ замѣчательный мотивъ раздѣленія имперіи, засвидѣтельствованный Агобардомъ. Et dixistis vos (пишетъ онъ въ своемъ посланіи къ Лудовику) *velle propter fragilitatem vitae, cui incerta est mors, ut dum valeretis, nomen imperatoris uni ex tribus filiis vestris imponeretis*. Какъ слышится въ этихъ словахъ внушеніе тѣхъ самыхъ совѣтниковъ, которые послѣ такъ упорно стояли за первое раздѣленіе имперіи!

вознегодовали на старшаго ¹⁾). Но гораздо сильнѣе отозвалась та же перемѣна въ предѣлахъ королевства, котораго она нисколько не коснулась. Бернгардъ ломбардскій оказался тѣмъ чувствительнѣе къ ней, что его совершенно обошли въ новомъ распоряженіи; о немъ какъ-будто забыли. Онъ ничего не терялъ, но и ничего не выигрывалъ, тогда какъ другіе все больше и больше выдвигались впередъ; у него отнимали даже виды на будущее. Молодое сердце Бернгарда не было чуждо честолюбія. Нѣкоторые болѣе опытные честолюбцы ужъ и прежде замыслили сдѣлать его орудіемъ своихъ замысловъ; теперь, когда чувствительно было задѣто его самолюбіе, еще легче было дать ему желаемое направленіе. Совѣтники Бернгарда могли напомнить ему происхожденіе отъ *старшаго* брата и возвысить его права даже надъ правами Лудовика; тѣмъ благовиднѣе и успѣшнѣе могли они возбудить его противъ рѣшенія, въ силу котораго власть императорская переходила, помимо его, по прямой линіи въ слѣдующее поколѣніе. Современники скрыли или опустили подробности событія; но извѣстно за вѣрное, что Бернгардъ, по совѣту окружавшихъ его людей, положилъ съ оружіемъ въ рукахъ защищать свои права противъ дяди и двоюродныхъ братьевъ, въ короткое время произвелъ вооруженія въ подвластныхъ ему земляхъ, и занялъ войскомъ всѣ проходы въ сѣверную Италію изъ пограничныхъ областей имперіи. Мы не извѣщены о дальнѣйшихъ ихъ намѣреніяхъ. Прежде чѣмъ они обнаружили, Лудовикъ такъ же вооружился и двинулъ свое войско по направленію къ югу. Ему было донесено, что вся Италія приняла дѣятельное участіе въ возстаніи ²⁾). Опасность была немаловажная: цѣлая страна угрожала оторваться отъ единства имперіи. Успѣхъ оружія могъ выпасть на ту и на другую сторону. Но всѣ эти сомнѣнія Бернгардъ рѣшилъ такъ же скоро, какъ и приступилъ къ своему малообдуманному предпріятію. Вызвавъ опасность противъ себя и противъ другихъ, онъ первый же дрогнулъ передъ нею. Душевные силы его оказались слишкомъ слабы, когда пришлось отражать нападеніе противника. Чѣмъ ближе подступало имперское ополченіе, собранное во Франціи и Италіи, тѣмъ больше онъ падалъ духомъ. Силы были и безъ того неравныя, а между тѣмъ ряды приверженцевъ молодого короля становились все рѣже и рѣже, по мѣрѣ того, какъ

¹⁾ Theg. c. XXI.—²⁾ Vita Lud. Pii: Omnesque civitates et principes Italiae in haec verba conjuraverint.

войска императора надвигали съ сѣверо-запада. Положеніе казалось безвыходнымъ. Бернгардъ совсѣмъ потерялъ голову и думалъ только о томъ, какъ бы снести ее на плечахъ. Скоро созрѣло въ немъ новое рѣшеніе. Перейдя границу своего королевства, онъ явился къ Лудовику, который стоялъ съ войскомъ въ Шалонѣ, положилъ передъ нимъ оружіе и у ногъ его умолялъ о прощеніи. Примѣру короля не замедлили послѣдовать и главные его сановники, которые составляли душу всего предпріятія.

Развязка была самая печальная. По дѣлу Бернгарда тотчасъ наряжено было слѣдствіе, и виновные подвергнуты строгому допросу. Надѣясь можетъ-быть искупить вину полнотою признанія, они открыли всѣ подробности замысла, рассказали постепенный ходъ его, объяснили всѣ намѣренія и цѣль заговорщиковъ, и наконецъ назвали по именамъ всѣхъ важнѣйшихъ соучастниковъ. До насъ дошли только послѣдніе: между ними самое видное мѣсто занимаютъ имена знатнѣйшихъ придворныхъ сановниковъ, въ томъ числѣ — „перваго изъ подружій короля“ (*Eggideo regaliū amicorū primus*). Кромѣ свѣтскихъ лицъ показаны были также и нѣкоторые духовныя особы, какъ прямо участвовавшія въ заговорѣ. Многое сказано было въ обличеніе вины, и ничего не приведено въ оправданіе или хотя малое извиненіе виновныхъ. Строгій судъ ожидалъ преступниковъ. Только наступившій великій постъ замедлилъ произнесеніе приговора. Отправивъ потомъ праздникъ Пасхи въ Ахенѣ, Лудовикъ приступилъ къ судебному окончанію процесса. Бернгардъ и всѣ соучастники заговора были судимы по франкскимъ законамъ; приговоръ, произнесенный также франками, состоялся на смертную казнь ¹⁾. Лудовикъ вовсе не былъ жестокъ отъ природы; его скорѣе можно было бы упрекнуть въ излишней мягкости сердца. Онъ думалъ смягчить участь осужденныхъ, мѣняя смертный приговоръ на ослѣпленіе, вопреки настоянію многихъ, которые упорно требовали, чтобъ съ преступниками было поступлено по всей строгости законовъ: вмѣсто того—милость его лишь прибавила мученій несчастнымъ. Враги Бернгарда нашли средство дать почувствовать ему всю свою ненависть, нисколько не превышая опредѣленной мѣры наказанія. Надъ нѣкоторыми изъ осужденныхъ, въ томъ числѣ надъ самимъ Бернгардомъ, пред-

¹⁾ Einch. Ann. ad an. 818: *judicio Francorum capitali sententia condemnatos. Vita Lud. Pii прибавляетъ: lege judicioque Francorum.*

Казалось, буря прошла, горизонтъ прояснился. Въ сущности же наступило лишь временное, весьма обманчивое затишье. Страсти, однажды возбужденныя и вырвавшіяся на полную волю, не легко потомъ успокоиваются и приходятъ въ прежнее безразличное состояніе. Въ домѣ Каролинговъ совершился этотъ роковой переходъ къ необузданности; тайна безсилія Лудовика выведена наружу, авторитетъ отца и императора нарушенъ и слѣдовательно вполнину уничтоженъ въ глазахъ прочихъ членовъ семейства. Въ страстяхъ же не было недостатка съ той и другой стороны: Юдиѣ подвержена была имъ по своей природѣ, а на сторонѣ ея пасынковъ онѣ были тѣмъ нетерпѣливѣе и тѣмъ легче приходили въ раздраженіе, что соединялись у нихъ съ пыломъ неукротимой молодости. Самый пылкій изъ нихъ былъ Пипинъ, король Аквитаніи. Болѣе медлительности замѣтно въ дѣйствіяхъ и во всемъ поведеніи старшаго брата, Лотара, но за то страсть держалась въ немъ упорнѣе, несмотря на видимую его перемѣнчивость: ему ничего не стоило измѣнить—отцу ли, братьямъ ли, но за то онъ неизмѣнно вѣренъ былъ самому себѣ, своему властолюбію. Третій братъ, носившій имя отца, повидимому, былъ разсудительнѣе и добродушнѣе другихъ, какъ бы заимствовавъ въкоторыя качества отъ природы того народа, среди котораго довелось ему жить со времени раздѣла имперіи; впрочемъ и онъ не любилъ давать себя въ обиду и не отставалъ отъ другихъ, какъ скоро ему представлялся случай увеличить свою власть или вліяніе. Когда послѣдовало первое примиреніе, на сценѣ опять сошлись тѣ же самыя лица и слѣдовательно остались тѣ же поводы къ неудовольствіямъ и столкновеніямъ. Болѣе всѣхъ имѣлъ причины быть недовольнымъ Лотарь, который не выигралъ рѣшительно ничего, несмотря на то, что первый подаль руку на примиреніе. Но и два другіе брата отнюдь не были довольнѣе его: въ свою очередь Пипинъ и Лудовикъ могли жаловаться, что сдѣланныя имъ обѣщанія остались неисполненными¹⁾. Поведеніе Лотара, повидимому, возбуждало наиболѣе недовѣрчивости, почему отецъ и счелъ за нужное отослать его обратно въ Италію; но пока опасались одного, другіе ужъ приготавливались дѣйствовать. Пипинъ опять не выдержалъ первый и обнаружилъ свои намѣренія, прежде чѣмъ собрался съ силами. Располагая снова всею властью въ

1) Лишь одинъ Нитгардъ (с. III) говоритъ, что ихъ области были увеличены, но не показываетъ, въ чемъ именно состояло это прибавленіе.

Есть нѣкоторые довольно положительные признаки, заставляющіе думать, что, начавшись съ личныхъ или фамиліальныхъ интересовъ, оно потомъ слилось съ мѣстными, и что движеніе получило подъ конецъ болѣе или менѣе національный характеръ. Выше приводили мы донесеніе нѣкоторыхъ преданныхъ Лудовику людей, которые писали ему, что всѣ города и владѣльцы въ Италіи (то-есть сколько ея принадлежало каролингскому дому) пристали къ возстанію. Одинъ современный лѣтописецъ, повторяя то же извѣстіе, прибавляетъ отъ себя, что оно не совсѣмъ лишено основанія, что въ немъ есть часть правды ¹⁾. Значитъ, донесеніе не было выдумкой: оно только представляло событіе въ преувеличенномъ видѣ. Кромѣ современныхъ свидѣтельствъ, есть еще одно важное обстоятельство, показывающее, что по крайней мѣрѣ на сѣверѣ Италіи, въ собственной Ломбардіи, въ движеніи участвовали также и національные элементы. Между духовными лицами, которыя замѣшаны были въ возстаніи, намъ называютъ поименно — Ансельма, епископа миланскаго, и Вольфольда, епископа кремонскаго ²⁾. А что они были туземнаго происхожденія, на это указываетъ участіе въ томъ же предпріятіи, въ связи съ ними, Теодульфа, епископа орлеанскаго. Послѣдній былъ несомнѣнно уроженецъ Италіи; еще Карлъ Великій вызвалъ его отсюда во Францію, признавая въ немъ человека, способнаго содѣйствовать распространенію просвѣщенія ³⁾. Вѣроятно, тому же высокому довѣрію обязанъ былъ Теодульфъ и епископскою каведрою въ Орлеанѣ. Думать ли, что онъ замѣшался въ опасное предпріятіе Бернгарда лишь по личному участію къ нему? На это нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Гораздо естественнѣе предположить, что Теодульфъ, какъ итальянецъ, даже находясь далеко отъ родины, не переставалъ принимать участіе въ судьбахъ ея и, послѣ смерти своего благодѣтеля, стремился вмѣстѣ съ другими къ возстановленію ея самостоятельности. Поэтому нисколько не удивительно, если имя епископа орлеанскаго было внесено въ списокъ главныхъ поборниковъ начинавшагося движенія наряду съ именами епи-

¹⁾ Einch. Ann. an. 817: Atque omnes Italiae civitates in illius (Bernhardi) verba jurasse: quod ex parte verum, ex parte falsum erat. Ср. выше.—

²⁾ Theg. XII; Vita L. Pii ibid. Einch. Ann. ibid. —³⁾ См. стр. 339. — Странно, какъ могъ Фопиель (Hist. de la Gaule mérid. IV, 51) просмотрѣть это близкое отношеніе Теодульфа къ Италіи, и сказать объ немъ, что онъ замѣшался сюда—par une singularité inexplicable!

скоповъ миланскаго и кремонскаго. Національная мысль, очевидно, не умерла и въ сѣверной Италіи, какъ она жила въ Римѣ, и продолжала еще дѣйствовать на умы, и время отъ времени производить между ними довольно сильное движеніе.

Самые глубокіе слѣды оставило неудавшееся предпріятіе Бернгарда въ памяти самого Лудовика. Мысль объ этомъ несчастномъ дѣлѣ какъ будто все больше и больше въѣдалась въ его сердце. Черезъ три года, когда ужъ многіе забыли о случившемся, онъ призвалъ къ себѣ бывшихъ еще въ заключеніи или подъ стражею соумышленниковъ Бернгарда, и возвратилъ имъ не только свободу, но и отобранныя у нихъ имѣнія. Въ слѣдующемъ году (822) на большомъ сеймѣ въ Аттиньи произошло нѣчто дотолѣ неслыханное. Прежде всѣхъ рѣшеній Лудовикъ принесъ на сеймъ свое больное сердце. На немъ, въ такомъ дѣлѣ, какъ раны наболѣли воспоминанія объ обидахъ, въ разное время понесенныхъ отъ него людьми, когда-то къ нему близкими. Между прочими онъ вспомнилъ Бернгарда и его первыхъ совѣтниковъ, Адаларда и Валу, и передъ цѣлымъ собраніемъ принесъ торжественное покаяніе въ своей къ нимъ несправедливости.

Раннею смертію Бернгарда упразднилось цѣлое королевство. Несмотря на то, Герменгарда не успѣла осуществить своихъ плановъ на ломбардскую корону: она пережила Бернгарда лишь нѣсколькими мѣсяцами. Можно полагать, что самая смерть ея отдалила преднамѣренное надѣленіе Лотара Итальянскимъ королевствомъ. Мѣсто самой Герменгарды при Лудовикѣ недолго оставалась пусто: въ слѣдующемъ же году оно было занято прекрасною Юдиѣю, дочерью баварскаго герцога Вельфа, которая внесла съ собою въ домъ Каролинговъ нескончаемый источникъ раздора. Очень естественно, что это обстоятельство не осталось также безъ нѣкотораго вліянія и на самый ходъ внутренней политики. Или можетъ-быть Лудовикъ имѣлъ свои причины медлить рѣшеніемъ; достовѣрно лишь то, что назначеніе Лотара ломбардскимъ королемъ послѣдовало не ранѣе двадцатаго года.¹⁾

Назначеніе Лотара на мѣсто Бернгарда было важнымъ событіемъ для всего полуострова. Новый ломбардскій король не только считался наслѣдникомъ правъ императора, но еще жизни отца былъ признанъ въ одномъ съ нимъ достоинствѣ. Черезъ него Италія опять тѣснѣе и ближе примыкала

¹⁾ См. Murat. Ann. ad. an. 820; также Antiqu. Ital. Diss. 10.

къ имперіи, къ господствующей линіи Каролинговъ. Любопытно теперь наблюдать, какъ это новое сближеніе отразилось на внутреннихъ итальянскихъ отношеніяхъ. Дѣло состояло не въ замѣщеніи только одного лица другимъ, но частью и въ перемѣнѣ самой политики. Если при первомъ назначеніи Лотара и не было особенной политической мысли, то присутствіе ея ужъ довольно замѣтно, когда послѣдовало самое отправленіе его въ Италію. Это было въ 822 году, вскорѣ послѣ знаменитаго сейма въ Аттиньи, гдѣ произошло извѣстное намъ неслыханное самоуничженіе главы каролингскаго дома. Повидимому, оба событія находились между собою въ тѣсной связи. Въ одно и то же время положено было Лотару отправиться въ Италію, а Папину—въ Аквитанію. Лотаръ считался уже тогда совершеннолѣтнимъ: за годъ передъ тѣмъ онъ сталъ мужемъ, вступивъ въ бракъ съ дочерью графа Гуго, по имени Герменгардою. Однако Лудовикъ, отпуская его въ Италію, назначилъ ему отъ себя приставниковъ и руководителей. Знаменательнѣе всего, что первый, на кого палъ выборъ, былъ аббатъ Вала, тотъ самый, который, по вступленіи Лудовика на престолъ, немедленно былъ удаленъ изъ Италіи и до сего времени состоялъ подъ опалою. Вала самъ принадлежалъ къ каролингскому роду, и что еще важнѣе, пользовался нѣкогда вмѣстѣ съ братомъ своимъ Адалардомъ, полнымъ довѣріемъ Карла Великаго, и конечно былъ хорошо посвященъ въ его политику. Что же имѣлъ въ виду Лудовикъ или его совѣтники, когда, назначивъ Валу пѣстуномъ или наставникомъ Лотара ¹⁾, поручали его благоразумію не только особу молодого короля, но и главное управленіе дѣлами на полуостровѣ? Послѣднія событія въ Италіи, какъ видно, дали имперскому правительству хорошій урокъ, и оно, желая избѣжать повторенія прежнихъ ошибокъ, почувствовало необходимость возвратиться къ политикѣ Карла Великаго, который всячески старался утвердить связь Италіи съ имперіею. Только въ этомъ отношеніи выборъ Вала получаетъ свой смыслъ и значеніе.

Въ сѣверной Италіи мало почувствовалась перемѣна, которая произошла какъ въ лицѣ правителя, такъ и въ самой политикѣ. Новый король принялъ страну въ управленіе, когда она только что начинала оправляться отъ казней и опалъ,

¹⁾ Пасхазій Радбертъ называетъ его *paedagogus Augusti Caesaris*. См. *Vita vener. Walae Abbatis*. Вполнѣ этотъ любопытный памятникъ находится въ *Acta Sanctorum Or. S. B.*; отрывки изъ него напечатаны у Bouquet, *Reg. Fr. Script.*

орыя тяготѣли надъ ней въ продолженіе болѣе чѣмъ трехъ, со времени извѣстнаго возстанія. Духъ народонаселенія мѣтно упалъ, и новое правительство не имѣло нужды бѣгать ни къ какимъ крутымъ или энергическимъ мѣрамъ. Людовикъ, еще до назначенія Лотара, видѣлъ необходимость положить конецъ строгостямъ, и началъ съ того, что отпустилъ многихъ осужденныхъ. Правительству Лотара оставалось только поддерживать порядокъ, установленный здѣсь прежде. Другое дѣло—средняя Италія, или римская область. Отношенія къ Риму были тѣмъ затруднительнѣе, что имъ тогда недоставало полной опредѣленности. Неоспоримо было то,

Римъ со времени возстановленія имперіи состоялъ подъ юрисдикціою властью императора, что ему подчинялся даже высшій мѣстный авторитетъ въ лицѣ римскаго епископа; но гдѣ жились права одного, и начиная откуда—власть епископа подлежала болѣе никакому контролю? Многіе пункты между двумя властями оказывались спорными именно по недостатку положительнаго права. Развитіе его еще возможно было съ одной и другую сторону, смотря по тому, которая изъ нихъ прежде воспользуется обстоятельствами для своихъ цѣлей. Римляне были догадливы. Пока имперія не предпринимала ничего новаго, довольствуясь тѣмъ положеніемъ, въ какомъ застала смерть Карла Великаго, они спѣшили воспользоваться этою неопредѣленностью, чтобъ сдѣлать шагъ впередъ въ самостоятельности. Не знаемъ, изъ какихъ именно лицъ состояла въ то время партія, которая взялась проводить такую отважную политику, но ею руководилъ вѣрный тактъ. Епископы были только нерѣшительными орудіями: они позволяли выбирать себя волю народа, и потомъ, получивъ власть и дѣйствуя прямо отъ себя, старались прежде всего *извинить* свое избраніе передъ императоромъ. Переговоры были ведены искусно, вышло то, что было приемлемо, и партія не разъ имѣла случай похвастаться, что трудилась не напрасно. Нѣтъ ничего удивительнаго, если въ имперіи, гдѣ еще живы были преданія о доблести ея основателя, нашлось нѣсколько проникательныхъ людей, которые понимали, къ чему можетъ клониться подобное рѣшеніе, и далеко не были къ нему равнодушны. Предлагая присутствіе такихъ людей въ окруженіи молодого ломбардскаго короля, мы, кажется, не отступимъ отъ вѣроятности.

Личное положеніе Лотара по отношенію къ Риму также было своего рода вопросомъ, который еще требовалъ себѣ рѣшенія. Лотарь не просто лишь приходилъ въ Италію за-

мѣститъ собою Бернгарда въ качествѣ ломбардскаго короля: онъ приносилъ еще съ собою высокое титуло императора, котораго недоставало его предшественнику. Императорское достоинство предполагало болѣе тѣсныя отношенія къ Риму, чѣмъ тѣ, въ какихъ состояли къ нему короли Италіи. Но Лотарю недоставало еще посвященія, которому опять всего приличнѣе было совершиться въ Римѣ же, потому что и самая имперія называлась по немъ. Притомъ же случай былъ новый: при одномъ императорѣ, прямомъ наслѣдникѣ Карла, являлся другой, съ властью, которая пока ограничивалась предѣлами собственной итальянской территоріи. Принимать ли его за полнаго представителя императорскаго авторитета, или титуло его есть болѣе почетное, чѣмъ дѣйствительное? Римскій престолъ долженъ ли состоять отъ него въ той же зависимости, какъ и отъ Лудовика, или менѣе? Во всемъ этомъ было много неопредѣленнаго, все это тянуло къ Риму и состояло въ политикѣ того времени довольно важный узелъ, который распутать или разрубить предоставлялось смѣлости или искусству новаго правителя Италіи и его руководителей. Словомъ, тутъ было мѣсто и матеріалъ для дальнѣйшаго развитія.

Съ своей стороны, римскій епископъ тоже не могъ оставаться равнодушнымъ къ послѣдовавшей перемѣнѣ. Для него особенно важно было настоять на томъ, чтобъ новый фактъ перенесенія императорскаго достоинства съ одного лица на другое такъ же не прошелъ безъ его участія, какъ и прежніе. Руками Льва III возложена императорская корона на главу основателя имперіи; въ послѣдствіи Стефанъ IV воспользовался своимъ временнымъ пребываніемъ во Франціи, чтобъ повторить тотъ же обрядъ надъ Лудовикомъ, который впервые принималъ корону прямо изъ рукъ своего отца. Теперь представлялся третій случай того же рода, но съ особеннымъ мѣстнымъ значеніемъ, потому что власть новаго императора на первое время должна была ограничиться одною Италіею. Нельзя было, не измѣняя старымъ интересамъ римскаго престола, пропустить такой важный случай. Дальновидные римскіе политики никогда бы не простили себѣ подобной грубой ошибки: въ ихъ глазахъ имперія всегда была римскою, и отъ Рима только могла по праву производить свои преимущества.

Въ самомъ дѣлѣ, прошло немного времени послѣ прибытія Лотара въ Италію, какъ Пасхалій обратился къ нему съ приглашеніемъ въ Римъ. Ближайшая цѣль была поставлена ясно: новому императору слѣдовало получить утвержденіе въ

юженномъ на него достоинствѣ. По другимъ извѣстіямъ но, что и воля Лудовика нисколько не противорѣчила вы- у римскаго епископа и его намѣреніямъ. Итакъ Лотарь, не ая болѣе времени, собрался въ путь, и весною 823 года гъ уже въ Римѣ ¹⁾. Пасхалій какъ будто ждалъ только прибытія: въ самый же праздникъ Пасхи онъ торже- енно возложилъ на него императорскую корону и провозгла- ѣ его Августомъ. Событіе было не новое, но вовсе не при- дежало къ числу тѣхъ безразличныхъ, которыя не оставляютъ акого видимаго слѣда въ исторіи. Въ третій разъ къ ряду ператорское достоинство освящалось благословеніемъ римска- епископа, во второй разъ получало оно свою послѣднюю му въ Римѣ. Самъ Лотарь писалъ потомъ къ Лудовику, онъ принялъ отъ римскаго первосвященника (a summo tifice) благословеніе, честь и имя императора. Во Франціи не научились понимать всю важность подобнаго дѣйствія; ѣ видѣли только формальную его сторону, не догадываясь о возможныхъ слѣдствіяхъ; но въ Римѣ знали уже ему на- ающую цѣну и исподволь поднимали его значеніе. Италія тала годы царствованія Лотара только со времени его вѣн- ія ²⁾. Мало-по-малу вводился обычай, который впослѣдствіи ѣ замѣнить собою недостатокъ самаго права. Складывая ень на камень, римская политика незамѣтно выводила свое мадное зданіе.

Между тѣмъ имперія, не простираясь ни на шагъ впе- ѣ въ своихъ требованіяхъ, хранила впрочемъ неизмѣнно и прежнія права, и при удобномъ случаѣ не забывала водить ихъ въ дѣйствіе. Въ Римѣ же, во время пребыва- въ немъ новаго императора, открылся одинъ замѣчатель- ѣ процессъ ³⁾. Самъ Лотарь предсѣдательствовалъ на судѣ, орый происходилъ въ присутствіи какъ Пасхалія, такъ всей кой знати, именитыхъ сановниковъ и вельможъ. Тяжу- нисся же сторонами были римскій престолъ и аббатство рфа, такъ часто упоминаемое въ итальянскихъ лѣтописяхъ. ересы римскаго престола были представлены его адвокатомъ, ду тѣмъ какъ аббатъ Ингоальдъ самъ защищалъ права ыгоды своего монастыря. Предметомъ спора были оброки, орыми римскій епископъ вздумалъ обложить нѣкоторыя

1) Einch. Ann. ad. an. 823. Lotharius —rogante Paschali papa Romain venit, Cr. Murat. Ann. ad. an. 823. — 2) См. Murat, ad. an. 822—823. — 3) Murat.

земли, принадлежавшія Фарфѣ. Аббатъ доказывалъ, что римскій престолъ не имѣетъ никакого права на эти земли, что владѣніе ими обезпечено монастырю грамотами лангобардскихъ королей и Карла Великаго, и представилъ на лицо самыя документы. Доказательства были очевидны; адвокатъ не нашелъ ничего возразить противъ нихъ, и судъ, несмотря на личное присутствіе самого епископа, призналъ требованія его несправедливыми и положилъ оставить спорныя земли въ полномъ монастырскомъ владѣніи. Пасхалій долженъ былъ уступить. Передъ императорскимъ судомъ ему не помогло даже и то, что судъ происходилъ въ его резиденціи, гдѣ, повидимому, отъ него зависѣли всѣ рѣшенія.

Устроивъ дѣла въ Италіи и въ Римѣ, Лотарь отправился обратно во Францію, чтобъ отдать отчетъ отцу въ своемъ управленіи. О дѣятельности его въ Ломбардскомъ королевствѣ мы извѣщены лишь въ самыхъ общихъ выраженіяхъ, изъ которыхъ нельзя извлечь ничего опредѣленнаго ¹⁾. Знаемъ только, что окончаніе *начатыхъ* имъ распоряженій было ввѣрено послѣ него графу Адаларду, нарочно затѣмъ посланному въ Италію. Но вскорѣ въ самомъ центрѣ страны послѣдовалъ взрывъ, опять потребовавшій вмѣшательства высшаго трибунала въ имперіи. Въ Римѣ произошли важныя и въ тоже время загадочныя событія, которыя невольно останавливаютъ на себѣ вниманіе историка. По истинѣ жалъ, что для всего этого времени мы осуждены довольствоваться лишь скудными показаніями постороннихъ, то-есть франкскихъ свидѣтелей, которые не изображали событія, а только вели имъ сухой перечень по глухимъ, отдаленнымъ извѣстіямъ. Попробуемъ однако собрать хотя немногія данныя имѣющія черты, чтобъ сколько-нибудь выяснитъ дѣло. Менѣе всѣхъ способенъ дать понятіе о немъ первый изъ біографовъ Лудовика, глухо упоминающій о какихъ-то убійствахъ, совершившихся въ Римѣ, которыя, будто бы римскій народъ имѣлъ неслыханную наглость вмѣнять своему епископу ²⁾. Гораздо опредѣлительнѣе извѣстія второго біографа: онъ ужъ положительно знаетъ, что кровавое событіе произошло въ самомъ латеранскомъ дворцѣ, и что жертвами его были два главные санов-

¹⁾ Einch. Ann. ad. an. 823: Qui (Lotharius) cum imperatori de judiciis in Italia a se partim *factis*, partim *inchoatis* fecisset indicium, etc. Vita L. P. c. XXXVI: Lotharius — *secundum virorum, qui cum eo missi erant, consilium*, opportunitates negotiorum ordinasset, etc.— ²⁾ Thegan. XXIX.

ика римскаго престола, примицерій Теодоръ и номенклаторъ (nomenclator) Леонъ, которымъ сначала выкололи глаза, а потомъ отрубили головы. Слѣдующею затѣмъ чертою онъ даже ѣсколько приподнимаетъ завѣсу, и если не рѣшаетъ всей задачи, то по крайней мѣрѣ наводитъ изслѣдователя на многія соображенія. По его словамъ, такъ странно погибшіе слушатели римскаго престола пострадали „за свою вѣрность Лотарю“ ¹⁾. То же самое извѣстіе еще съ большею опредѣленостію повторяетъ лѣтописецъ, положительно говоря о Теодорѣ и Леонѣ, что они *eo cunctis* были вѣрны юному императору и, какъ сказать, держались его партіи ²⁾. Таковы были первыя вѣсти, которыя почти по слѣдамъ Лотара пришли во Францію римскихъ происшествійхъ. Казалось, они могли гораздо лучше разъясниться на мѣстѣ. Лудовикъ, котораго это дѣло касалось близко, какъ главы имперіи, дѣйствительно не замедлилъ ярядить комиссію изъ довѣренныхъ своихъ совѣтниковъ, чтобъ произвести слѣдствіе въ самомъ Римѣ. Не иного желанія и римскіе послы, нарочно прибывшіе къ двору императора, въ оправданія епископа по тому же самому дѣлу, ибо молва, какъ сказано, не исключала и его участія въ кровопролитіи. Императорскіе комиссары, изъ которыхъ одинъ былъ аббатъ, другой графъ, по прибытіи въ Римъ, тотчасъ приступили къ слѣдствію, но сколько ни работали надъ нимъ, не могли узнать ничего достовѣрнаго ³⁾. Какъ будто была какая стачка между жъми, которые сколько-нибудь были соприкосновенны по слѣдствію событіямъ. Обстоятельства дѣла запутались еще болѣе, когда Пасхалій, очистивъ свою совѣсть торжественною клятвою, данною въ присутствіи множества епископовъ, открыто принялъ на себя защиту убійцъ, которые всѣ принадлежали въ штату римскаго двора, и, къ удивленію, не только извинилъ злодѣйство, но еще слагалъ всю вину на несчастныхъ, сдѣлавшихся его жертвою, говоря, что они наказаны достойно, какъ оскорбители величества. Комиссары были поставлены въ тупикъ такимъ неожиданнымъ оборотомъ дѣла, а между тѣмъ Пасхалій, не теряя времени, отправилъ вторичное посольство во Францію, поручивъ ему вести тѣ же самыя рѣчи передъ императоромъ. Изворотливость и дерзость изумляющія! ослы и слѣдователи встрѣтились уже передъ высшимъ трибу-

¹⁾ Vita Lud. Pii, c. XXXVII: *ob fidelitatem Lotharis, eos qui interfecti sunt, talia fuisse perpressos.* — ²⁾ Einch. ibid. — ³⁾ Ibid: *rei gestae certitudinem sequi non potuerunt.*

наломъ императора. Первые повторили передъ нимъ клятву епископа, и съ его же словъ представили оправданіе виновныхъ; комиссары, какъ свидѣтели, не могли не подтвердить ихъ показаній. Выслушавъ и тѣхъ и другихъ, Лудовикъ понялъ только одно, что въ рукахъ его былъ узелъ, котораго онъ не въ состояніи ни распутать, ни разрубить. Ни умъ, ни воля его не были созданы для того, чтобъ работать надъ подобными трудностями. Ни къ чему не послужило даже его искреннее желаніе—подвергнуть строгому суду виновныхъ и не оставить безъ возмездія невинно пролитую кровь ¹⁾). Думая прежде всего о томъ, какъ бы самому выпутаться изъ затруднительнаго положенія, онъ рѣшился лучше покончить все дѣло однимъ разомъ, чѣмъ вдаваться въ новыя сомнительныя изслѣдованія. Итакъ, принявъ объясненія римскихъ пословъ какъ удовлетворительныя, и сдѣлавъ имъ приличный отвѣтъ, онъ отпустилъ ихъ обратно въ Римъ и тѣмъ заключилъ свое рѣшеніе.

Задача осталась наразгаданною и дошла до насъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ была передана первыми извѣстіями. Неужели однако эти данныя, завѣренныя согласнымъ показаніемъ нѣсколькихъ современныхъ свидѣтелей, недоступны никакому анализу? Нельзя конечно надѣяться привести вопросъ въ совершенную ясность, но также напрасно было бы, по нашему мнѣнію, отказываться отъ тѣхъ результатовъ, которые сами собою вытекаютъ изъ приведенныхъ нами извѣстій. Ясно, во-первыхъ, что въ Римѣ существовали двѣ политическія партіи, одна другой прямо противоположныя. Изъ нихъ одна, очень близкая къ римскому престолу, доброхотствовала каролингскому дому, имперіи, и во время пребыванія Лотара въ Римѣ, вошла съ нимъ въ тѣсное сношеніе. У нихъ были даже между собою нѣкоторые общіе виды, хотя и не извѣстно положительно, въ чемъ они состояли, къ какой цѣли были направлены. Для насъ не маловажно замѣтить, что лица, стоявшія во главѣ этой партіи, и прежде не разъ были посредниками между римскимъ престоломъ и имперіею, участвуя въ посольствахъ, которыя въ важныхъ случаяхъ отправлялись изъ Рима во Францію ²⁾). Другая партія была прямо враждебна первой; она даже ненавидѣла ее за связи съ Лотаромъ и, тот-

¹⁾ Vita Lud. Pii, *ibid.*—²⁾ См. Einch. Ann. Такъ о Теодорѣ упоминается подъ 817 годомъ, когда еще онъ былъ номенклаторомъ (названіе, ясно указывающее на придворную должность), о Леонѣ—подъ 821. — Теодора потомъ встрѣчаемъ присутствующимъ при бракѣ Лотара.

часть послѣ отъѣзда его изъ Рима, жестоко выместила на ней свое недовольство. Кажется, нельзя сомнѣваться, что это была партія болѣе римская, болѣе народная, и что она искала болѣе независимости отъ имперіи; могло быть также, что она не хотѣла потерпѣть въ Теодорѣ и Леонѣ гордыхъ временщиковъ, сильныхъ покровительствомъ императора; во всякомъ случаѣ нельзя не отличить ее отъ доброхотовъ власти каролингскаго дома. О средствахъ же, которыми она располагала, частью можно догадываться и изъ того обстоятельства, что между послами, отправленными въ послѣдній разъ къ Лудовику, упоминается нѣкто Леонъ, начальникъ римской милиціи ¹⁾. Конечно не безъ его содѣйствія произошла извѣстная кровавая расправа въ латеранскомъ дворцѣ. Но какая же роль принадлежала въ этомъ темномъ дѣлѣ самому Пасхалию? Какъ вступленіе его на престолъ было дѣломъ партіи, такъ, повидимому, и впоследствии онъ остался ея же орудіемъ и щитомъ. Ничто не показываетъ въ немъ смѣлаго зачинателя или дѣятельнаго участника въ событіи; но когда совершилось непредвидѣнное, и одна неистовая партія торжествовала побѣду свою въ самомъ дворцѣ, онъ тоже принялъ ея сторону, иначе, подчинился ея требованіямъ и, волею или неволею, рѣшился прикрыть виновниковъ убійства своимъ высокимъ авторитетомъ. Достаточно взвѣсить принятый имъ способъ оправданія преступниковъ, чтобъ удостовѣриться, что онъ былъ не внушенъ только, но и навязанъ ему самими виновниками совершившагося преступленія. Только они могли такъ нагло гордиться своимъ безчестнымъ дѣломъ и называть убійство правосудіемъ (*iure saevos*). Такъ, постоянно стремясь къ безусловно независимо-му положенію въ предѣлахъ цѣлаго католическаго міра, римскій престолъ въ то же время былъ у себя дома игрушкою партій, и иногда поневолѣ служилъ щитомъ для прикрытія ихъ неистовствъ.

Имперія, въ лицѣ Лудовика, отказалась развязать узелъ, запутанный злонамѣренною хитростью одной изъ римскихъ партій; но тѣмъ не менѣе она была оскорблена въ своемъ достоинствѣ и не могла не почувствовать недостатка удовлетворенія. Всего чувствительнѣе должно было отозваться это оскорбленіе въ душѣ тѣхъ, на кого оно падало непосредственно. Лотаръ и его руководители конечно не безъ цѣли вступали въ тѣсный союзъ съ другою римскою партіею: почти навѣрное

можно сказать, что они начинали новую систему дѣйствій въ видахъ возвышенія императорскаго авторитета въ Италіи, какъ вдругъ были застигнуты латеранскими происшествіями. Планъ очевидно былъ нарушенъ, но мысль осталась, и при ней еще явилось новое сильное побужденіе, чтобъ, при первомъ благопріятномъ оборотѣ обстоятельствъ, продолжать дѣйствіе въ томъ же духѣ. Съ своей стороны римляне твердо стояли на своемъ и нисколько не показывали намѣренія измѣнить свое прежнее поведеніе. Когда Паскалій умеръ (а это было вскорѣ послѣ возвращенія пословъ его изъ Франціи), они тотчасъ приступили къ выбору преемника ему. Изъ двухъ партій, на которыя опять раздѣлились избиратели, одержала верхъ сильнѣйшая, то-есть аристократическая, и провозглашенный ею Евгений II немедленно былъ возведенъ на римскій престолъ безъ всякаго предварительнаго сношенія съ императоромъ ¹⁾. Обо всемъ случившемся въ Римѣ Лудовикъ узналъ тогда только, когда прибылъ во Францію, въ качествѣ посла отъ новаго епископа, субдіаконъ Квиринъ, который между прочимъ участвовалъ и въ послѣднемъ посольствѣ Паскалія. Случай былъ не новый, однако на этотъ разъ Лудовикъ не удовольствовался простымъ подтвержденіемъ прежнихъ добрыхъ отношеній къ римскому престолу, но вслѣдъ за посломъ отправилъ въ Римъ Лотара какъ своего соправителя, уполномочивъ его принять всѣ необходимыя мѣры, чтобъ сообщая съ новоизбраннымъ епископомъ и римскимъ народомъ устроить дѣла въ Римѣ и установить болѣе прочный порядокъ вещей, какъ требовали того современные обстоятельства ²⁾. Въ августѣ того же года (824), Лотаръ, исполняя порученіе отца своего, дѣйствительно отправился снова въ Италію.

Полномочіе, данное Лудовикомъ своему соправителю, было чрезвычайной важности. Оно объясняется лишь силою предшествующихъ обстоятельствъ и ясно сознанною необходимостью ввести нѣкоторую правильность въ отношенія, которыя до сихъ поръ держались почти только личными связями, и сдѣлать ихъ болѣе постоянными и опредѣленными. Но насколько содѣйствовали къ такому рѣшенію опытные руководители Лотара, мы, къ сожалѣнію, можемъ судить только предположительно, не имѣя о томъ никакихъ положительныхъ извѣстій. Послѣд-

¹⁾ Einch. Ann. ad an. 824: Eugenius tamen—vincente nobilium parte, subrogatus atque ordinatus est. — ²⁾ Ibid: .. ut oice sua functus, ea quae rerum necessitas flagitare videbatur, cum novo pontifice populoque Romano statueret atque firmaret.

ія даннаго Лотару полномочія исполнѣ отвѣчали важности таго порученія. Дружелюбнымъ пріемомъ епископъ старался лонить всякое непріятное для себя объясненіе, и по возможности расположить въ свою пользу представителя имперіи и ѳ ея власти. Несмотря на то, Лотарь довольно рѣшительно иступилъ къ главному предмету своего посланничества. Напичивъ епископу недавно совершившіяся событія, онъ поставилъ ему на видъ всю противозаконность подобныхъ поступковъ и требовалъ отъ него отчета въ слѣдующихъ пунктахъ: могло случиться, что именно тѣ, которые извѣстны были ему „вѣрностью императору и франкамъ“, погибли такою же смертію? Что значитъ далѣе, что тѣ изъ нихъ, которые уцѣли отъ гибели, сдѣлались предметомъ посмѣшища для цизанъ? Откуда наконецъ такое множество жалобъ какъ на епископовъ, такъ и вообще на всѣхъ судопроизводителей (judices) въ римской области ¹⁾? Последнее обстоятельство даетъ отчасти поводъ разумѣть, что мѣстные правители, и другіе, которые должны были зависѣть отъ епископа, или вверхъ надъ нимъ и управлялись совершенно по своему изволу, скорѣе налагая на него свою волю, чѣмъ принимали отъ него приказанія, и что аристократическія фамиліи надѣли почти всею властью и всѣмъ вліяніемъ въ римской асти. Немедленно произведено было слѣдствіе, изъ котораго вышло, что дѣйствительно допущены были многія злоупотребленія и что „частью по нерадѣнію и безпечности нѣкоторыхъ епископовъ, а всего болѣе по ненасытной алчности мѣстныхъ правителей, многіе самымъ несправедливымъ образомъ жили своей собственностію“ ²⁾. Первымъ дѣломъ Лотара было удовлетворить дошедшимъ до него жалобамъ. Истнуя въ силу даннаго ему полномочія и не безъ согласія (хотя можетъ-быть несовсѣмъ добровольнаго) римскаго епископа, онъ принималъ обиженныхъ подъ свое покровительство и становилъ каждаго изъ нихъ въ правахъ на собственность, вѣстную сильными хищниками. Весьма естественно, что впечатлѣніе, произведенное въ Римѣ такимъ распоряженіемъ, было не благопріятно для распорядителя. Если одни находили ю выгоду въ насильственномъ присвоеніи чужого имѣнія,

¹⁾ Всѣ эти пункты, одинъ за другимъ, наложены у автора, *Vitae L. Pii, XXVIII.* — ²⁾ *Ibid: quod quorundam pontificum vel ignorantia vel desidia, et judicum caeca et inexplebili cupiditate multorum praedia injuste fuerint laescata.* Cp. *Einh. ad an. 824.*

и прежнія; но спасаясь въ четвертый разъ отъ преслѣдованія, онъ уносилъ съ собою въ глубину Германіи и тѣ же самыя чувства, и при первой перемѣнѣ обстоятельствъ не замедлилъ бы снова явиться во внутреннихъ предѣлахъ имперіи. Возвращаясь побѣдителемъ, Лудовикъ могъ поздравить себя съ успѣхомъ, но не въ состояніи былъ подавить въ себѣ глубокаго душевнаго огорченія, которое, подновляясь съ каждымъ годомъ, окончательно разрушило и безъ того ужъ изнуренныя его силы. Онъ умеръ на возвратномъ пути (840), не далеко отъ Майнца, завѣщавъ своимъ наслѣдникамъ потрясенную имперію и сѣмя нескончаемой вражды между ними въ ея раздѣленіи.

III.

840—875.

Отвлекаясь отъ множества частныхъ событій и перемѣнъ, составляющихъ исторію послѣдняго двадцати-пятилѣтія, приходимъ мыслию къ одному господствующему явленію. Политическое зданіе, называемое имперіею Карла Великаго было потрясено въ своихъ основаніяхъ и угрожало скорымъ паденіемъ. Единство имперіи, которое вмѣстѣ составляло ея силу, видимо уступало элементамъ разложенія. Но недовольно сознать господствующій фактъ времени: надобно еще по возможности стараться понять его въ связи съ цѣлымъ развитіемъ и отыскать ключъ къ нему въ общихъ стремленіяхъ данной эпохи. Въ виду приближающагося распаденія великой имперіи, прилично и намъ нѣсколько остановиться на этомъ явленіи, чтобы показать связь его съ ходомъ и направленіемъ предшествующихъ событій.

Вся вина далеко не заключалась въ одной слабости членовъ каролингскаго дома. Совершившійся переворотъ былъ не только политическій, но и общественный, и приготавлился еще отъ самаго основанія новыхъ европейскихъ обществъ. Начало ему было положено занятіемъ старыхъ историческихъ земель новыми пришельцами, т. е. германскимъ *завоеваніемъ*. Въ быту германскихъ народовъ произошелъ рѣшительный кризисъ: между ними явился новый общественный фактъ чрезвычайной

ия имѣли мѣсто въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ, и бы ужъ извинялись давнишнимъ обычаемъ, какія, на-
гѣрь, бывали въ случаѣ смерти каждаго римскаго епи-
а. А чтобъ лучше выяснить права каждаго гражданина и
ѣе оградить ихъ отъ римскаго произвола, уложеніе, по
мѣнному обычаю франкскаго законодательства, распростра-
и на римскую область извѣстную систему личныхъ правъ.
ь во Франціи, Ломбардіи и другихъ странахъ, состоявшихъ
каролингскимъ началомъ, и здѣсь каждый получалъ право
рять напередъ, по своему свободному рѣшенію, тотъ
нъ, которому онъ хотѣлъ слѣдовать въ своей жизни, и
нымъ правителямъ (*duces et iudices*) вѣнялось въ не-
ѣнную обязанность, въ случаѣ суда, сообразоваться съ
явленнымъ закономъ (*professio*) и поступать по нему ¹⁾.
ой разрядъ постановленій имѣлъ своимъ предметомъ вы-
надзоръ за правильностью суда и управленія. Для этой
и возобновлялось нѣсколько пренебреженное въ послѣднее
ия учрежденіе миссовъ. Назначаемые—одинъ отъ римскаго
тола, а другой — отъ имперіи, они вообще должны были
рѣть за ненарушимостью уложенія, наблюдать за дѣйствіи-
мѣстныхъ правителей относительно суда и расправы въ
дѣ, и потомъ ежегодно давать отчетъ императору ²⁾. Въ
аѣ, если бъ оказалось, что мѣстныя власти не исполняютъ
го назначенія, миссамъ предписывался слѣдующій порядокъ
ствія: собравъ всѣ жалобы, они должны были прежде все-
довести ихъ до свѣдѣнія римскаго епископа, чтобъ онъ,
авъ по своему усмотрѣнію одного изъ миссовъ же, пре-
авилъ ему окончательный судъ; если же бы этого почему-
удъ не послѣдовало, императорскій миссъ обязанъ былъ
знать о томъ самому императору, который въ такомъ
аѣ назначалъ отъ себя новыхъ миссовъ съ властью про-
ести послѣднее рѣшеніе. Имъ же предоставлялось рѣшать
бы по церковнымъ имѣніямъ, незаконно присвоеннымъ во-
дѣніе римскаго престола ³⁾. Наконецъ, въ особомъ парагра-
находимъ еще временное требованіе законодателя, чтобъ
облеченные судебною властью какъ въ цѣлой странѣ,
ь въ особенности въ Римѣ, явились къ нему на лицо.
авая это предписаніе, онъ хотѣлъ, какъ сказано въ са-

¹⁾ Ibid. 5. — ²⁾ Ibid. 4: *Volumus ut missi constituentur de parte domni
tolici et nostra, etc.* Продолженіе того же параграфа еще яснѣе показы-
етъ, что одинъ изъ миссовъ назначался епископомъ, а другой — императо-
ромъ. — ³⁾ Ibid. 6. Примѣръ подобной тяжбы мы видѣли выше.

ніе было *аллодіальное*, аллодъ, не налагавшее никакихъ новыхъ обязанностей на владѣтеля, кромѣ тѣхъ, которыя вытекали для него уже изъ личныхъ отношеній его къ предводителю завоевательной дружины, а потомъ къ королю ¹⁾. Впослѣдствіи земля до такой степени усвоила себѣ этотъ характеръ, что въ свою очередь передавала его даже владѣльцамъ: другими словами, владѣніе опредѣляло состояніе самыхъ лицъ въ обществѣ ²⁾. Но ни общежительные инстинкты, ни потребности зачинавшася государства не могли удовлетвориться первою формою, и потому рядомъ съ нею очень рано возникаетъ другая, которой назначено было понемногу стянуть въ одинъ узелъ элементарныя части новаго общества, разрозненныя между собою аллодіальнымъ или независимымъ владѣніемъ. Происхожденіе второй формы, бенефициальной или собственно *феодальной*, недостаточно ясно. Къ образованію ея частью могли способствовать остатки старыхъ римскихъ учрежденій, понятіе о которыхъ выражалось словомъ *beneficium*; не надобно только слишкомъ преувеличивать степень этого вліянія: какъ въ положеніи германскихъ завоевателей на новой землѣ, такъ и въ самыхъ ихъ понятіяхъ относительно общежитія было много такого, что необходимо обуславливало между ними развитіе феодальныхъ отношеній ³⁾. Сюда принадлежитъ, во-первыхъ, столь распространенное въ ихъ первоначальномъ быту понятіе *mundium*, какъ одна изъ господствующихъ формъ для выраженія зависимости одного лица отъ другого, помимо чисто кровныхъ связей ⁴⁾; сюда же можно отнести и тотъ нравственный союзъ, который подъ именемъ *Треуе*, „вѣрности“, соединялъ

¹⁾ См. Guizot, Essais, p. 63.—Въ сущности тоже самое читаемъ у Герара, *ibid.* p. 478: Dans le principe, l'alleu était la propriété de l'homme libre et emportait avec soi exemption des devoirs féodaux, mais non des charges publics; car il était soumis à la juridiction du comte du pays, et chargé de plusieurs obligations d'intérêt général, dont la principale était le service militaire. Alors (?) le maître de l'alleu ne tenait son droit que de lui — même et ne connaissait ni cens ni impôt direct. Первое время воинская повинность была чисто личной, основанная на томъ, что у Германцевъ называлась *Треуе*; другія обязанности, о которыхъ упоминаетъ Гераръ, явились уже позже.—²⁾ *Ibid.* p. 587.—

³⁾ Вайцъ колеблется между римскимъ и германскимъ происхожденіемъ феодовъ: Auch ist das eine (Alod.) ein wesentlich deutscher Begriff, das andere (Beneficium) lehnt sich an römische Verhältnisse an. См. *Deut. Verfassungsgesch.* II, p. 195.—Гераръ гораздо рѣшительнѣе; онъ прямо приписываетъ ленамъ германское происхожденіе: Le benefice est donc un produit de la Germanie. См. *Polyp.* § 258. Мы склоняемся болѣе на сторону послѣдняго мнѣнія.—

⁴⁾ Понятіе о немъ довольно хорошо раскрыто у Легюэру, *ibid.* ch. II.

шефа или предводителя дружины съ его членами. Будучи приложены къ землевладѣнію, эти отношенія сами принимали отъ него новый характеръ, и въ то же время много способствовали къ измѣненію существующихъ формъ территориальнаго права. Изъ личныхъ они становились все болѣе и болѣе матеріальными, между тѣмъ какъ владѣнію сообщался отъ нихъ родъ болѣе тѣсной и опредѣленной зависимости, нежели какая предполагалась въ аллодѣ. Въ сущности бенефиціи были весьма вѣрнымъ выраженіемъ этой склонности перенести личные обязательства на самую землю, соединить ихъ съ ея владѣніемъ. Король ли выдѣлялъ участокъ изъ своихъ доменовъ, или частный владѣлецъ уступалъ другому нѣкоторую долю своей поземельной собственности подъ именемъ бенефеціального владѣнія, право такого владѣнія не только не предполагало необходимо наследственности, но сверхъ того находилось въ полной зависимости отъ соблюденія извѣстныхъ условій или обязательствъ со стороны пользующагося. ¹⁾ Вообще новая или бенефициальная форма владѣнія, сравнительно съ первою, болѣе отдѣляла различіе между владѣющими лицами и тѣснѣе связывала ихъ между собою общностью интересовъ. Съ самаго своего появленія она уже приносила съ собою зародышъ той феодальной іерархіи, которая въ полномъ своемъ объемѣ развилась лишь въ послѣдствіи и долгое время замѣняла собою чисто государственный союзъ между различными частями новыхъ народностей ²⁾.

Нигдѣ развитіе феодализма не произошло съ такою послѣдовательностью, какъ въ государствѣ франковъ. Оттого Франція справедливо называется классическою землею феодализма. Оттого и мы говоря о томъ же явленіи средневѣковой жизни, преимущественно имѣемъ въ виду Францію. Уже при первыхъ меровингахъ раздача бенефицій была довольно обыкновеннымъ явленіемъ ³⁾. Короли охотно держались этой системы, потому что находили въ ней прямыя выгоды для себя.

¹⁾ См. Guérard, I, § 284. (Les bénéfices, en general viagers); также § 291 (Revocation de bénéfices): Les bénéficiaires qui manquaient à leurs devoirs étaient privés de leurs bénéfices, etc. Едва ли можно согласиться съ тѣмъ же авторомъ, когда онъ, сравнивая аллодіальныя обязательства съ бенефициальными, дѣлаетъ заключеніе: ils est permis de croire contre l'opinion universellement répandue, que le service militaire n'était pas plus obligatoire pour les bénéficiaires que pour les possesseurs d'alleux. Ibid. p. 553. Ср. Waitz, II, p. 218—219.—²⁾ Ср. Wenck, des fränk. Reich, p. 8—30.—³⁾ Guérard, I, § 274—275. Впрочемъ терминологія еще не установилась: объ имѣніяхъ, уступленныхъ въ бенефициальное владѣніе, говорятъ то commendatum, то inbeneficiatum.

Тѣ лица, которыя становились къ нимъ въ подобныя отношенія, по преимуществу назывались „вѣрными“, *fideles* ¹⁾. Прежній тѣсный союзъ главы дружины съ ея членами, не переставая быть личнымъ, возобновлялся на новыхъ основаніяхъ. По примѣру свѣтскаго государства тотъ же самый обычай мало-по-малу утвердился и въ церкви, которая также располагала большими поземельными владѣніями и еще болѣе нуждалась въ воинственныхъ защитникахъ. Наконецъ, по мѣрѣ размноженія имѣній, учрежденіе проникаетъ и къ отдѣльнымъ владѣльцамъ; они также хотятъ окружить себя „вѣрными“ людьми, которые бы имѣли прямой интересъ служить имъ за жалованныя земли, и начинаетъ отдавать участки своей собственности въ бенефициальное владѣніе. У герцоговъ и графовъ появляются свои „вассы“, *vassī* — новое выраженіе, означающее тотъ же самый родъ отношеній, лишь на другой, низшей степени общественной іерархіи ²⁾. Такимъ образомъ къ концу меровингскаго періода бенефиции входятъ во всеобщее употребленіе.

Нѣкоторое время обѣ формы владѣнія, аллодіальная и бенефициальная, существуютъ вмѣстѣ, одна подлѣ другой. Едва ли можно доказать, чтобы уже при Меровингахъ вторая форма взяла рѣшительный перевѣсъ надъ аллодомъ. Для нихъ самихъ, для государственныхъ цѣлей вообще, было бы конечно гораздо выгоднѣе сдѣлать ее преобладающею; но для того имъ долго еще нужно было бороться съ неукротимымъ духомъ франкской аристократіи, которая, даже вступая въ новыя отношенія къ королямъ, однако продолжала упорно стоять за свои прежнія привилегіи и всего менѣе хотѣла разстаться съ своею независимостью. Владѣтельный родъ истощился физически и нравственно въ этой борьбѣ, прежде чѣмъ умѣлъ довести ее до конца ³⁾. Въ продолженіе этого періода бенефиции вошли въ обыкновенный порядокъ вещей, вездѣ почти пріобщились къ аллодіальному владѣнію, такъ что оба владѣнія нерѣдко соединялись въ однихъ и тѣхъ же рукахъ, но до того еще не дошло, чтобы подъ вліяніемъ новаго территоріальнаго права совершенно стерся характеръ прежняго: напротивъ того, видно постоянное стремленіе со стороны бенефициентовъ распространить на самыя бенефиции привилегіи независимаго владѣнія. Конечный результатъ былъ тотъ, что

—¹⁾ См. Waitz, II, p. 221; ср. Loebell, Gregor von Tours, p. 192.—²⁾ См. Waitz, II, p. 205, 220.—³⁾ См. Lehuërou, I, 485—491.

Меровинги объединили, раздавши почти все свои земли, а аристократія еще болѣе разбогатѣла и усилилась ¹⁾. Въ такомъ состояніи застала Францію вторая династія. Она-то произвела сильное наклоненіе въ одну сторону, которое кончилось рѣшительнымъ перевѣсомъ бенефициальной системы и со временемъ утвердило господство феодализма. Извѣстны энергическія мѣры Карла Мартелла. Одною изъ нихъ онъ отобралъ назадъ множество земель, которыя въ разное время перешли изъ королевскихъ доменовъ во владѣніе духовенства, и роздалъ ихъ своимъ вѣрнымъ сподвижникамъ, такъ что число бенефіцій за одинъ разъ увеличилось можетъ-быть вдвое ²⁾. Сверхъ того современники положительно говорятъ о немъ, что онъ уничтожилъ множество мелкихъ тирановъ, которые присвоили себѣ власть во всей Франціи ³⁾. Кого разумѣть подъ именемъ этихъ „мелкихъ тирановъ“, какъ не сильныхъ землевладѣльцевъ, которые при послѣднихъ Меровингахъ сдѣлались почти независимы? Размножая одною рукою бенефіціи, Карлъ Мартеллъ наносилъ другою сильный ударъ независимому владѣнію. Едва ли нужно замѣчать при томъ, что подъ тою же крѣпкою рукою феодальная зависимость впервые вошла въ силу и перестала быть пустымъ словомъ безъ дѣйствительнаго значенія. При Карлѣ Мартеллѣ не такъ уже легко было уклониться отъ обязанностей, которыя съ самаго начала соединялись съ понятіемъ о бенефіціяхъ, какъ это было въ прежнее время. Начатый имъ порядокъ могъ кончиться не иначе, какъ полнымъ развитіемъ того, что мы называемъ феодализмомъ въ собственномъ смыслѣ.

Карлъ Великій принялъ отъ своихъ предшественниковъ государство, которое все проникнуто было феодальными элементами; но событіями своей жизни и своею собственною дѣятельностью онъ былъ выведенъ совершенно на иную дорогу. Сначала его личныя завоевательныя стремленія, а потомъ тѣсныя сношенія съ Римомъ рано ввели его въ кругъ римскихъ государственныхъ идей; римское начало взяло въ немъ перевѣсъ надъ германскимъ; по римскимъ образцамъ хотѣлъ онъ устроить свое собственное государственное хозяйство. Передъ его возрѣніемъ уравнивались въ одну мѣру все внутреннія отношенія, какъ аллодіальныя, такъ и бенефициальныя, потому что все одинаково должны были подчиняться одному го-

¹⁾ См. извѣстное изреченіе Хильпериха, Greg. Tur. l. VI, c. XLVI.—²⁾ См. Fauriel, Hist. de la Gaule mér. III, p. 106 — 107.—³⁾ См. Guizot, Essais, p. 93.

сударственному началу. Въ глазахъ Карла аллодъ и феоде представляли между собою большаго различія и потому одинаково обязывались къ выполнению военныхъ повинностей. Всѣмъ извѣстно знаменитое его постановленіе о всеобщемъ или земскомъ ополченіи (Herrbann). Въ немъ нѣтъ и помину о различныхъ формахъ поземельнаго владѣнія; повинность падаетъ на всѣхъ землевладѣльцевъ безъ различія, и только степени ея распределяются различно — смотря по *мѣрѣ и количеству* собственности ¹⁾. Наконецъ въ силу того же постановленія измѣняется самый характеръ ея: она уже не вытекаетъ, какъ прежде, изъ личнаго обязательства, изъ предполагаемаго договора одного лица съ другимъ, но налагается свыше, какъ законъ общественный ²⁾. Нельзя было придумать болѣе сильной мѣры, чтобы стереть прежній независимый характеръ аллодіальнаго владѣнія. Къ той же главной цѣли клонились и другія государственныя распоряженія Карла Великаго. Не уничтожая совершенно прежнихъ учреждений, онъ хотѣлъ передѣлать ихъ на новый ладъ, придать имъ римскій характеръ, т. е. привести ихъ въ прямую зависимость отъ государственнаго начала. Попрежнему управленіе отдѣльными областями поручалось графамъ; попрежнему они удерживали за собою право высшаго суда и военнаго начальства въ подвѣдомственной имъ области: но кругъ ихъ дѣйствій былъ довольно строго очерченъ, они сами поставлены подъ высшій надзоръ, который время отъ времени производился миссами, и вся дѣятельность ихъ принимала служебный характеръ, который былъ почти вовсе чуждъ ей до сего времени. Графство, однимъ словомъ, занимало лишь извѣстную степень въ административной іерархіи, учрежденной Карломъ Великимъ въ его имперіи. Онъ удерживалъ за собою право назначать и отзывать ихъ по своей волѣ, какъ и придворныхъ чиновниковъ. Точно также сохранены были имъ и существовавшія прежде народныя собранія: но и они потеряли свое прежнее значеніе и должны были измѣниться сообразно съ общимъ духомъ его постановленій.

Если бы достаточно было воли и дѣятельности одного геніальнаго человѣка, чтобы не только произвести переворотъ

¹⁾ Гизо съ его необыкновенно мѣткимъ взглядомъ не могъ не замѣтить этого уравнивающего характера постановленія. Въ своихъ *Essais* (p. 73) онъ говоритъ: *C'est sous Charlemagne qu'on voit clairement l'obligation de service militaire imposée à tous les hommes libres propriétaires d'alleux ou de bénéfices, et réglée en raison de leurs propriétés.* См. также p. 74. — ²⁾ Guizot, *ibid.*

въ мысляхъ цѣлаго поколѣнія, но и утвердить его на будущее время, то конечно западной Европѣ послѣ Карла Великаго не стоило бы большого труда перейти къ правильному устройству государства, миновавъ феодальную его форму. Но закладка зданія сдѣлана была гораздо прежде его: она проходила до самыхъ первыхъ основаній новаго общества; возстановляя имперію и придавая римскій характеръ другимъ учрежденіямъ, Карлъ Великій могъ только положить новый слой на прежніе, но не въ состояніи былъ измѣнить всего общественнаго состава и навсегда подавить уже утвердившіяся направленія, которыя были представлены многочисленнымъ и самымъ сильнымъ классомъ въ государствѣ. И потому, когда его не стало, прежнія стремленія пробили искусственную сѣть новыхъ учреждений, наложенную на нихъ сверху, и снова вышли наружу. Опять началась сильная реакція германскаго начала противъ римскаго. Людовикъ Благочестивый всего менѣе былъ способенъ сдержать этотъ могущественный водоворотъ, который поднимался со дна государства: онъ долженъ былъ уступить ему, т. е. ослабить дѣйствіе государственнаго начала въ пользу индивидуальных стремленій, которыя Карлъ Великій такъ заботливо старался отвести инымъ путемъ. Тогда, не чувствуя болѣе надъ собою прежняго давленія, весь этотъ безпокойный міръ потомковъ первыхъ завоевателей, съ жадностью устремился на новыя пріобрѣтенія. Обычай охотиться за землями снова вошелъ въ силу; только что начинавшій устанавливаться общественный порядокъ еще разъ былъ нарушенъ повсемѣстнымъ произволомъ частныхъ владѣльцевъ; тѣми или другими средствами, прямыми или косвенными путями, каждый хотѣлъ, во что бы то ни стало, увеличить свое домашнее хозяйство на счетъ своего сосѣда или даже цѣлаго государства. Въ словахъ жизнеописателей Людовика Благочестиваго то и дѣло слышатся жалобы на эту ничѣмъ неутолимую ярость любостяжанія, которую они замѣчаютъ въ своихъ современникахъ. Уже въ 816 году находимъ публичное выраженіе неудовольствія, которое возбуждали въ правителяхъ и народѣ насильственные присвоенія земель; почти каждый годъ потомъ приносятъ новое подтвержденіе того же самаго явленія ¹⁾). Людовикъ, можно сказать, болѣе отмѣчалъ распространяющееся зло въ своихъ декретахъ, чѣмъ старался ему противодейство-

¹⁾ См. Guizot, Essais, p. 78—80.

вать. Усиливаясь и разростаясь постепенно, оно наконецъ вошло въ обыкновенный порядокъ вещей и имѣло наиболѣе вліянія на внутреннее устройство и самыя формы средне-вѣковаго устройства.

Исслѣдователи большею частью согласны въ томъ, что наступившая эпоха была крайне неблагопріятна для независимаго владѣнія, что покрайней мѣрѣ число мелкихъ аллодовъ значительно уменьшилось, превратившись въ бенефиціи ¹⁾. Судя по этому можно бы полагать, что отсюда начинается рѣшительное преобладаніе бенефициальной формы владѣнія. Но нѣкоторые прибавляютъ еще, что въ продолженіе той же самой эпохи многія бенефиціи превращены были въ аллоды—откуда можно бы выводить заключеніе обратное ²⁾. Противорѣчіе впрочемъ только кажущееся. Рѣшительный перевѣсъ бенефициальной формы въ эту пору не подлежитъ никакому сомнѣнію. Уже въ предшествующую эпоху она была послѣднею на планѣ по самому ходу историческаго развитія; тогда уже аллоды были закрыты, заслонены ею, какъ форма болѣе обвѣтшавшая; вновь возродившееся движеніе могло взяться не иначе, какъ отъ того самаго пункта, на которомъ оно остановилось въ предыдущемъ моментѣ. Завладѣніе землями въ IX вѣкѣ, какъ бы ни было насильственно, происходило однако внутри государственной области, и во всякомъ случаѣ не могло равняться съ занятіемъ земель въ странѣ вновь завоеванной. Государство было уже нѣчто данное; дѣлая новыя присвоенія, никто впрочемъ не думалъ выйти изъ его состава, и аллодіальная форма въ собственномъ смыслѣ не имѣла здѣсь приложенія. Многіе аллоды уничтожились сами собою, принявши по волѣ своихъ владѣтелей бенефициальную форму ³⁾. Извѣстная формула Маркульфа, опредѣляющая способъ перехода независимаго владѣнія въ бенефициальное посредствомъ „рекомендаціи“, едва ли была когда въ такомъ употребленіи, какъ послѣ Карла Великаго ⁴⁾. По крайней мѣрѣ современники послѣднихъ Каролинговъ до такой степени освоились съ понятіемъ о бенефиціяхъ, что прикладывали его не только къ землямъ, но и ко всему, что только имѣло видъ владѣнія, пользованія — къ публичнымъ должностямъ, общественнымъ

¹⁾ Guizot, *ibid.* — Guerard, § 238: A partir de Louis le Debonnaire.... les alleux furent convertis en bénéfices.—²⁾ Guerard, *ibid.*—³⁾ Guizot, *ibid.* p. 82—83.—⁴⁾ Marc. Form. lib. I, c. XIII. — Гизо, *ibid.* p. 119, предлагая тотъ же вопросъ, не беретъ впрочемъ рѣшить его опредѣленно.

ніямъ, монастырямъ, церквамъ ¹⁾. Графы обыкновенно старались утвердиться во ввѣренныхъ ихъ управленію областяхъ какъ въ своемъ постоянномъ владѣніи; нерѣдко случись и то, что нѣкоторыя лица, какъ духовныя, такъ и свѣтскія, получали въ свою собственность (*in jus proprium*), вмѣстѣ съ землями, и самые храмы, на нихъ построенные, правомъ передавать ихъ, мѣнять и т. п. Подобныя владѣнія, если не всегда были уступаемы подъ собственнымъ именемъ бенефицій, то обыкновенно имѣли ихъ характеръ, потому что отбирались назадъ въ случаѣ нарушенія вѣрности. Жду тѣмъ аллодіальное владѣніе, превращаясь постепенно въ бенефициальное, не исчезло совершенно безъ слѣда и послѣдующей исторіи. Перерождаясь въ бенефицію, аллодіи передали имъ и часть своего собственного характера. Сама естественно стремленіе владѣющаго превратить временное владѣніе въ полную собственность. Оно было современно самому началу бенефицій и пережило паденіе меровингскаго дома. Карлъ Великій нашелъ его несомвѣстнымъ соими видами и старался положить ему конецъ строгими мерами. Когда потомъ личные интересы опять взяли верхъ надъ государственными, прежнее стремленіе возродилось тѣмъ же большею силою, что вновь дѣлаемыя приобрѣтенія могли першаться не иначе, какъ подъ формою бенефицій, ибо эта форма была тогда господствующею. Бенефиціи, какъ извѣстно, не представляли довольно ручательствъ для прочности владѣнія: потребность упрочить его въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ съ одной стороны, слабость государственнаго авторитета съ другой, и было причиною того, что бенефициальное владѣніе мало-по-малу усвоило себѣ многія свойства аллодіальнаго. Въ наше время уже достаточно доказана неосновательность того мнѣнія, будто бы переходъ бенефицій въ полную собственность владѣльца совершился съ величающею поспѣшностью, такъ что изъ временныхъ они сначала сдѣлались пожизненными, а потомъ уже наследственными ²⁾. Явление далеко не представляетъ такой строгой, систематической лѣтовательности. Примѣръ не только пожизненныхъ, но и

¹⁾ Примѣры послѣдняго см. у Герара, *ibid.* § 238, п. 12. См. также § 280.

²⁾ Гизо первый привелъ въ ясность этотъ вопросъ и освободилъ науку отъ предразсудка, который до того времени господствовалъ въ ней почти безъ тиворѣчія. См. *Essais (Mode et durée des concessions de bénéfices)* и *Hist. la civilisation*. Гераръ пришелъ къ подобному же рѣшенію. См. § 283.

наслѣдственныхъ бенефицій можно указать еще въ меровингскую эпоху. Послѣдовательное движеніе нѣсколько разъ задерживается колебаніемъ то въ ту, то въ другую сторону. Лишь послѣ Карла Великаго, особенно при слабыхъ преемникахъ Людовика Благочестиваго, когда аллоды почти всюду уступаютъ мѣсто бенефиціямъ, оно становится постояннымъ и всеобщимъ, такъ что противодѣйствіе ему оказывается совершенно безуспѣшнымъ. Но и здѣсь послѣдовательность не простирается до того, чтобы переходъ временнаго владѣнія въ пожизненное вездѣ строго предшествовалъ наслѣдственному праву: общихъ постановленій почти нѣтъ; и то и другое право вырабатывается лишь мало-по-малу изъ множества частныхъ случаевъ. Можно сказать, что общій обычай устанавливается прежде, чѣмъ находитъ себѣ признаніе въ законѣ. Самый важный результатъ всего движенія былъ тотъ, что двѣ формы владѣнія, до сихъ поръ существовавшія большею частью отдѣльно, какъ бы слились вмѣстѣ и составили новую болѣе сложнаго характера. Въ то время, какъ аллоды теряли свою самостоятельность и переходили въ бенефиціи, въ свою очередь бенефициальныя владѣнія возвышались до значенія аллодовъ, почему нерѣдко принимали и самое ихъ названіе ¹⁾. Во второй половинѣ IX вѣка различіе между ними, прежде столько понятное общему смыслу, до того сгладилось, что Карлъ Лысый, раздавая отъ себя бенефиціи, не обинуясь называлъ ихъ аллодами ²⁾. Ошибиться нельзя: дѣло идетъ точно о бенефиціяхъ, положительно обязывающихъ къ извѣстнымъ повинностямъ; а между тѣмъ эти бенефиціи составляютъ уже владѣніе постоянное, передаваемое по наслѣдству. Феодъ есть то настоящее слово, которымъ лучше и вѣрнѣе можно обозначить этотъ новый родъ владѣнія. Развивающаяся изъ него впослѣдствіи цѣлая система отношеній справедливо носить названіе феодализма. Но она составляетъ уже новую степень въ развитіи общественнаго быта среднихъ вѣковъ, и мы можемъ остановиться при самомъ вступленіи въ нее, не входя въ ея подробности. Замѣтимъ только, что въ сравненіи съ предшествовавшими фазами, она означала своего рода прогрессъ: частное владѣніе стало крѣпче само по себѣ, и въ тоже время тѣснѣе сдѣлалась связь его съ цѣлымъ, т. е. съ государствомъ; по крайней мѣрѣ феодальная

¹⁾ Guizot, p. 83.—²⁾ Ibid.

ия была ближе къ понятію о государствѣ, чѣмъ тѣ, кто- ей предшествовали.

Принимая во вниманіе ту неодолимую силу, которая дѣйствовала этими событіями, выходя изъ самаго духа и состава общества, нельзя не сознаться, что одно безсиліе Карла еще не достаточно для объясненія тѣхъ явленій, которыя произошли въ имперіи Карла Великаго послѣ его смерти. Нужна была необыкновенная проницательность и рѣдкая сила воли, чтобы остановить на время все это движеніе и дать ему иное направленіе, но едва ли человѣческія силы въ то время были способны прекратить и уничтожить его вовсе. Преемники Карла своею недальновидностью и своимъ непостоянствомъ лишь ускорили неизбѣжное развитіе, котораго начало положено было въ самыхъ основаніяхъ новаго общества. Искреннія въ немъ стремленія носили на себѣ индивидуальный характеръ, преслѣдовали частныя выгоды, и потому находились въ прямой противоположности съ интересами государственными. Высшею формою государства была тогда возставленная имперія: поэтому, чѣмъ больше брали они перевѣса, тѣмъ ближе была имперія къ неминуемому распаденію. Разрушеніе имперіи, хотя первоначально возникло изъ другихъ причинъ, пришлось впрочемъ очень кстати для подобныхъ явленій, потому что давало имъ гораздо болѣе свободы. Было только однажды открытъ имъ этотъ выходъ, чтобы, выйдя отсюда, они могли продолжать разработку общества въ томъ направленіи, пока не разнесли по частямъ всей имперіи. Нисколько не удивительно, что сыновья Людовика нечестиваго всякій разъ, какъ только имъ случалось поднять оружіе противъ отца и вмѣстѣ противъ единства имперіи, встрѣчали такъ много сочувствія себѣ въ современной аристократіи и такъ охотно были поддерживаемы ею: стремленія этого рода прямо совпадали съ ея цѣлями. Чѣмъ мутнѣе была вода, тѣмъ лучше удавалась ловля. Поэтому-то всѣ искоренители единства, которые нѣсколько разъ пытались искрѣпить распадающееся государственное тѣло, остались безплодны. Напрасно приписываютъ такъ много значенія противоположности разнородныхъ національных элементовъ, которые находились въ имперіи и были будто бы главною причиною ея расторгенія. Нѣтъ спора, что противоположность ихъ сильно чувствовалась по мѣстамъ: такъ было въ покоренной франками Аквитаніи, которая постоянно вела упорную борьбу съ своими завоевателями; подобныя же стре-

мленія можно замѣтить и въ Италіи, гдѣ долго не умираю старое національное сознаніе. Но по какимъ признакамъ можно заключить, что участіе, которое принимала Германія въ раздорахъ Людовика Благочестиваго съ сыновьями также носило на себѣ характеръ національнаго движенія? Предпріятія Людовика Нѣмецкаго противъ отца скорѣе доказываютъ противное. Сколько разъ случалось, что нѣмецкая дружина оставляла его въ самую рѣшительную минуту и переходила на сторону императора. Не ясно ли, что интересы франкской и собственно германской дружины были одни и тѣже, и что сознаніе національнаго различія еще не успѣло раздѣлить ихъ между собою? Съ самимъ Людовикомъ Благочестивымъ былъ однажды такой случай, что Лотарь, король ломбардскій, успѣлъ переманить на свою сторону большую часть его ополченія. Итакъ, если по мѣстамъ и чувствовалось раздѣленіе народныхъ интересовъ внутри имперіи, то оно далеко еще не достигло той степени противоположности, чтобы могло быть главною движущею силою событій. Болѣе эгоистическія личныя стремленія, обращенныя на владѣніе землею, напротивъ того, даютъ чувствовать себя всюду, безъ различія мѣстъ и народностей, и въ большей части случаевъ берутъ верхъ надъ общими или національными. Переходы цѣлыхъ ополченій съ одной стороны на другую совершались безъ большихъ затрудненій, потому что весь расчетъ былъ на частныя выгоды, и изъ двухъ противныхъ партій каждая старалась переигрывать другую щедростью обѣщаній. Явленія этого рода, происходившія въ лагерѣ, отзывались потомъ на всей имперіи: измѣна дружинъ покупалась цѣною бенефицій, т. е. поземельнаго владѣнія на извѣстныхъ правахъ, а оно могло лежать столько же во внутренней области франкскаго государства, сколько и въ другихъ странахъ, входившихъ въ составъ его со времени Карла Великаго. Дѣйствіемъ одной и той же силы разрѣшались еще не утвердившіяся связи имперіи, и вмѣстѣ, на всемъ ея пространствѣ утверждалось феодальное право, какъ естественный осадокъ того, что бродило въ самомъ обществѣ и составляло внутреннюю его жизнь.

Смерть застигла Людовика Благочестиваго въ такую пору, когда имперія была еще только на пути къ разложенію. Возвращеніе назадъ было однако болѣе невозможно, и неминуемое должно было совершиться въ скоромъ времени. Лотарь, искавшій заступитъ мѣсто отца, принялъ на себя трудъ вести имперію еще далѣе по указанному склону. Задача похо-

дила на то, какъ если бы кто взялся подвести судно внизъ по теченію рѣки, до того самаго мѣста, гдѣ она низвергается съ высотъ стремительнымъ водопадомъ. Личные виды Лотара конечно направлялись къ цѣлямъ совершенно противоположнаго рода: онъ думалъ, онъ надѣялся захватить въ свои руки весь авторитетъ, который нѣкогда принадлежалъ отцу его, и стать въ главѣ цѣлой имперіи, подчинивъ себѣ прочихъ братьевъ. Но, по несчастію, къ этой цѣли можно было итти лишь тѣмъ же роковымъ путемъ, которымъ до сего времени достигали раздѣленія власти, отпаденія отъ единства имперіи, т. е. обѣщаніемъ бенефицій, слѣдовательно усиленіемъ феодальныхъ стремленій, и потому самый результатъ могъ выпастъ не иначе, какъ согласно съ прежде утвердившимся направленіемъ.

Событія, которыми закончено было движеніе, открывшееся при Людовикѣ, совершились съ небольшимъ въ два года. Безпокойное честолюбіе, вовлекавшее Лотара изъ одного предпріятія въ другое, еще не остыло съ лѣтами. Послѣ смерти отца онъ, ни мало не медля, собралъ войско и выступилъ съ нимъ изъ Италіи. Положеніе его впрочемъ много измѣнилось въ сравненіи съ прежнимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самые его виды и планы. Пока высшій авторитетъ въ имперіи принадлежалъ другому, Лотаръ, не задумываясь, поднималъ оружіе противъ него; когда же ему самому довелось быть наслѣдникомъ всѣхъ правъ на имперію, онъ возмечталъ объ ея единствѣ и хотѣлъ возстановить потрясенный имъ же авторитетъ въ прежнемъ его достоинствѣ ¹⁾. Онъ думалъ не только заступить мѣсто отца въ отношеніи къ прочимъ братьямъ, но и привести ихъ еще въ бѣольшую зависимость отъ себя. Понятно, что этой цѣли можно было достигнуть лишь однимъ средствомъ—перевѣсомъ оружія. Лотаръ и не имѣлъ иного расчета. Съ вѣроятностью можно полагать, что новое его предпріятіе нашло себѣ въ Италіи много сочувствія: для нея, по крайней мѣрѣ для извѣстной части ея народонаселенія, могла быть только лестною мысль—предпринять изъ ея области завоеваніе цѣлой имперіи. Сверхъ того многіе, кто обѣщаніями, кто угрозами, привлечены были на сторону Лотара и во внутренней области франкскаго государства, особенно когда онъ вступилъ съ войскомъ въ восточную Галлію ²⁾. Отсюда онъ могъ по выбору направить ударъ противъ того

¹⁾ Nithard, l. III, p. 316. — ²⁾ Ibid.

или другого брата. Карлъ былъ еще занятъ въ то время борьбою съ одноименнымъ сыномъ Пипина аквитанскаго (Пипиномъ III), оспаривавшимъ у него Аквитанію; гораздо опаснѣе казался Людовикъ Нѣмецкій, который не имѣлъ себѣ соперниковъ внутри Германіи. Лотарь поспѣшилъ перейти Рейнъ, но встрѣтивъ у Франкфурта брата, готоваго къ бою, скоро вернулся назадъ, чтобы обратить свое оружіе въ противную сторону. Благодаря измѣнѣ лейдовъ Карла, которые также легко нарушали присягу, какъ и давали ее, онъ могъ почти безпрепятственно пройти весь путь отъ Мааса до Сены. Самый Парижъ нисколько не думалъ противиться ему. Пространство между Сеною и Лоарю также не было достаточно защищено противъ нечаяннаго нашествія. Карлъ едва въ состояніи былъ противопоставить ему небольшое ополченіе. Но въ рѣшительную минуту у Лотара спять не достало духа, и онъ спѣшилъ покончить дѣло миролюбивымъ соглашеніемъ, нисколько впрочемъ не думая исполнять условій его. Между прочимъ условлено было, чтобы владѣнія третьяго брата, не участвовавшаго въ договорѣ, также оставлены были неприкосновенными. Но первымъ же дѣйствіемъ Лотара послѣ того было — снова выступить въ походъ противъ Людовика: заключая договоръ съ Карломъ, онъ хотѣлъ только обезопасить себя съ тылу. Людовикъ принялъ весьма дѣятельныя мѣры для защиты переправы черезъ Рейнъ. Открытое нападеніе было бы бесполезно, но у Лотара были въ запасѣ другія средства: его лстивыя обѣщанія и угрозы дѣйствовали подѣ часъ лучше самаго оружія ¹⁾. Въ скоромъ времени, оставленный почти всѣми, король Германіи принужденъ былъ безъ битвы удалиться въ вѣрную ему Баварію. Пока Лотарь занятъ былъ приведеніемъ къ покорности остальныхъ зарейнскихъ областей, въ тылу у него произошли весьма важныя событія, которыя снова потребовали его личнаго присутствія въ Галліи. Все это время Карлъ не оставался недѣятельнымъ. Онъ умѣлъ привлечь на свою сторону многихъ сильныхъ владѣльцевъ въ сѣверо-западной Галліи, и принялъ отъ нихъ присягу въ вѣрности. За то всѣ они получили подтвержденіе на бенефиціи, которыя находились тогда въ ихъ владѣніи. Нѣкоторые изъ нихъ сверхъ того воспользовались случаемъ, чтобы сдѣлать новыя пріобрѣтенія. Такъ рассказываютъ объ одномъ изъ нихъ, по имени Сигимондѣ, что онъ успѣлъ такимъ образомъ получить въ

¹⁾ Nithard, I. II, p. 326.

свое владѣніе (разумѣется бенефициальное) цѣлое аббатство, принадлежавшее до того времени мансской церкви ¹⁾). Полагаясь на свои силы, Карлъ отважился даже перейти на правый берегъ Сены. По слуху объ этомъ движеніи, Лотарь также перешелъ обратно черезъ Рейнъ, ввѣривши защиту его герцогу Адельберту. Наступавшій праздникъ Пасхи засталъ одного изъ нихъ въ Труа, другого въ Ахенѣ. Здѣсь остановились они, чтобы по обычаю справить христіанское торжество, и пользуясь этимъ промежуткомъ времени, пробовали уладить свой споръ посредствомъ переговоровъ. Пока длились бесполезные переговоры, не имѣвшіе иной цѣли съ той и другой стороны, кромѣ желанія выиграть время, въ лагерѣ Карла произошло чрезвычайное движеніе: онъ выступилъ съ войскомъ по направленію къ Шалону (на Марнѣ) навстрѣчу своей матери. Ни одинъ изъ современниковъ не говоритъ, откуда она приходила; лишь принимая остроумную догадку новаго историка южной Галліи, можно съ вѣроятностью полагать, что она возвращалась изъ Германіи послѣ переговоровъ съ Лудовикомъ ²⁾). Такъ или иначе, но между двумя братьями дѣйствительно составилъ вооруженный союзъ, который долженъ былъ склонить колеблющіяся вѣсы окончательно въ одну сторону. Вѣрный своему обѣщанію, Лудовикъ выступилъ на соединеніе съ братомъ, дорогою разбилъ герцога Адельберта, поставленнаго императоромъ для обороны границъ со стороны имперіи, и открылъ себѣ свободную переправу черезъ Рейнъ. Карлъ также поспѣшилъ двинуться по направленію къ востоку. Чтобы предупредить соединеніе его съ братомъ, Лотарь понесся было за нимъ въ погоню, думалъ потомъ задержать его обманчивыми переговорами, но ни то, ни другое не удалось ему; потому, когда надобно было сражаться, у Лотара опять не достало смѣлой рѣшимости, а словамъ его никто не хотѣлъ болѣе вѣрить. Соединившись между собою, братья-союзники держали совѣтъ, въ которомъ участвовали важнѣйшія свѣтскія и духовныя лица, принадлежавшія къ ихъ партіи. Положено было еще разъ испытать мирныя средства съ опаснымъ противникомъ, не прибѣгая тотчасъ къ оружію противъ него. Лотарю сдѣланы были очень выгодныя предложенія, лишь бы онъ оставилъ за братьями принадлежавшіе имъ по праву участки въ имперіи. Но чѣмъ положительнѣе были требованія союзниковъ, тѣмъ настойчивѣе

¹⁾ См. Fauriel, IV, p. 209.—²⁾ Fauriel, *ibid.* p. 216.

становилась воля Лотара. Понудительная сила обстоятельствъ вызвала въ немъ недостававшую до сего времени рѣшимость. Ободренный еще тѣмъ, что Пипинъ шелъ къ нему на помощь изъ Аквитаніи, Лотаръ гордо объявилъ посламъ Людовика и Карла, что не хочетъ иного рѣшенія, какъ только оружіемъ, и вслѣдъ за тѣмъ двинулся на соединеніе съ племянникомъ. Противники его однако не менѣе нетерпѣливо желали послѣдняго рѣшенія этой великой тяжбы, и также привели въ движеніе всѣ свои силы, въ намѣреніи не выпустить изъ виду своего непріятеля. Взявшись отъ различныхъ пунктовъ, ополченія почти встрѣтились одно съ другимъ въ окрестностяхъ Оксерра, близъ мѣстечка Фонтенѣ (что нынѣ Fontenailles). Лотаръ еще не успѣлъ соединиться съ Пипиномъ, но силы его были такъ велики, что въ виду ихъ противная сторона еще разъ возобновила свои мирныя предложенія. Дѣйствительно ли было такъ сильно желаніе мира въ союзникахъ, или все еще превозмогало чувство страха, только они готовы были даже на новое раздѣленіе имперіи, съ уступкою въ пользу Лотара нѣкоторыхъ изъ прежнихъ своихъ владѣній. Съ своей стороны Лотаръ также показалъ видъ, будто готовъ покончить дѣло миролюбиво, и заключилъ съ братьями трехдневное перемиріе. Въ это время подошелъ къ нему Пипинъ съ своимъ ополченіемъ, и тогда Лотаръ опять заговорилъ повелительнымъ тономъ.

Современники Каролинговъ не мастера на описаніе великихъ историческихъ событій. О ходѣ Фонтенальской битвы отъ нихъ также можно получить лишь самое общее понятіе. Видно впрочемъ, что съ обѣихъ сторонъ были собраны и введены въ дѣло огромныя силы, и что столкновеніе было необыкновенно упорное. Бой начался на разсвѣтѣ іюньскаго дня и кончился лишь къ полудню. Вся масса силъ Лотара раздѣлена была на три части: центръ, правый и лѣвый флаги; подобное же раздѣленіе принято было его противниками. Обѣ стороны дрались съ ожесточеніемъ на протяженіи цѣлыхъ двухъ миль. Кровавопролитіе было тѣмъ сильнѣе, что всѣ массы силъ заразъ были введены въ дѣйствіе, и столкновеніе имѣло видъ общей свалки. Начало битвы было очень благопріятно для Лотара: уже германцы начинали уступать сильному натиску франковъ. Побѣда увѣнчала бы его усилія, если бы аквитанцы, бывшіе въ его войскѣ, успѣли выдержать напоръ со стороны Карла. Но они дрогнули; къ недостатку стойкости, говорятъ, присоединилась еще измѣна

которыхъ лейдовъ, покинувшихъ сторону Лотара въ эту кнужную минуту. Онъ самъ показалъ сверхъ ожиданія рѣдкую «страшимость», бился до послѣдней возможности, какъ отпивный, но не могъ уже отвратить рокового удара, который яесъ рѣшительное пораженіе его войску и вмѣстѣ самому ему, имъ защищаемому. Фонтенальская битва, какъ извѣсткончилась въ пользу противниковъ императора ¹⁾.

Любопытно взглянуть на составъ обоихъ ополченій, коыя были въ дѣйствіи на полѣ битвы. Споръ шелъ оудьбѣ цѣлой имперіи, и она участвовала въ рѣшеніи всѣмиими составными частями. Но не надобно думать, чтобыраздѣленіи ихъ строго выдержана была противоположностьличныхъ національных элементовъ. Анализъ, сдѣланныйріелемъ, скорѣе указываетъ противное ²⁾. Конечно итальянисключительно сражались за Лотара, въ войскѣ котораголько находились; также и истые германцы (алеманны,инги и саксы) были только на сторонѣ Лудовика, своеокороля. За то вмѣстѣ съ итальянскимъ ополченіемъ дѣйювало заодно и австразійское; франки нейстрийскіе, напротого, находились въ томъ и другомъ лагерѣ; аквитантоже сражались за Карла и противъ него. О бургундцахъпровансальцахъ замѣчаютъ то же самое. Итакъ, если вътавѣ ополченій и видны признаки раздѣленія по націямъ, оно не было еще столь рѣшительно, чтобы изъ ихъ антаизма можно было выводить всю борьбу и разрѣшеніе ея вънтенальскомъ бою. Иначе какой смыслъ имѣло бы соедине столь разнородныхъ силъ, какъ итальянцы, франки иитанцы подъ однимъ знаменемъ? Или какою сильною наональною противоположностью австразійскіе франки и герницы Лудовика были разлучены на два враждебные лагеря? но, что въ составѣ ополченій частные интересы брали верхъдъ общими, и что въ распредѣленіи народныхъ силъ поумъ лагерямъ гораздо болѣе участвовало личное искусствовдей и честолюбіе лейдовъ, нежели притягательная силаціональной взаимности. Такъ, при двухъ большихъ арміяхъ,можно было существованіе еще третьяго отдѣльнаго ополіи: оно было собрано тѣмъ же графомъ Бернгардомъ, коый извѣстенъ былъ своими интригами при дворѣ Лудови-

¹⁾ Какъ въ изложеніи главныхъ обстоятельствъ битвы, такъ и въ слѣдующихъ подробностяхъ, мы держались Фориеля, который, по нашему мнѣнію, даетъ наилучшее понятіе объ этомъ событіи. См. Т. IV, р. 222—233.—²⁾ Ibid.

ка Благочестиваго, и во время Фонтенальской битвы находилось недалеко отъ мѣста сраженія, но не принимало въ никакого участія, потому что предводитель хотѣлъ рѣшить прежде, какъ послѣ битвы, чью сторону принять ему выгодно.

Единственный народъ, о которомъ можно подозрѣть съ нѣкоторою вѣроятностью, что онъ принесъ на то же мое поле, вмѣстѣ съ оружіемъ, и мысль прямо національны были итальянцы. Съ именемъ Лотара они нѣкоторымъ образомъ привыкли уже соединять идею объ особой итальянской имперіи, выдѣленной изъ общаго состава большой имперіи Карла Великаго. Могло льстить ихъ національному самолюбию то, если бы ихъ король и императоръ, какимъ они привыкли считать Лотара, удержалъ высшій авторитетъ во всѣхъ областяхъ, подчинивъ себѣ прочихъ соправителей. Его дѣло касалось довольно близко ихъ народной чести. Мы бы не ставили на этой мысли, если бы не были извѣщены о роющемъ посольствѣ, которое было отправлено римскимъ епископомъ Григоріемъ IV изъ Италіи на самое мѣсто между битвы, и прибыло въ лагерь Лотара незадолго до начала битвы. Формальная цѣль посольства состояла въ томъ, чтобы содействовать возстановленію мира въ имперіи. Не видно впрочемъ чтобы оно сдѣлало хотя одинъ шагъ для этой цѣли, и не кажется весьма правдоподобною догадка умнаго историка южной Галліи, который приписываетъ посланъ римскаго епископа совсѣмъ другія намѣренія. По его мнѣнію, Григорій оставался въ этомъ случаѣ вѣренъ политикѣ своихъ предшественниковъ и своимъ авторитетомъ думалъ поддержать Лотара, въ которомъ видѣлъ представителя единства имперіи²⁾). По римскимъ же понятіямъ и самая имперія была прежде всего римскою. Въ посольствѣ участвовалъ сверхъ того вѣстный своею пышностью равеннскій архіепископъ Георгій, который одинъ привелъ съ собою триста лошадей. Но онъ бѣдѣлъ противъ воли Григорія IV, и пользуясь своими близкими связями съ Лотаромъ, у котораго былъ воспріемникъ дочери, преслѣдовалъ свои особенныя цѣли: въ надеждѣ благосклонность императора онъ мечталъ возстановить не

¹⁾ См. Agnelli, Lib pontif., Rer. Ital. scrip. t. II, p. 185.—²⁾ Fauriel, IV 224: On ne peut guère douter que la députation dont il s'agit n'eût un but plus cial, que celui de seconder la tentative de Lothaire pour introduire de force l'Empire frank l'unité inhérente à l'idée ecclésiastique d'empire et de monarchie etc.

мость равеннской церкви отъ римскаго престола ¹⁾). Впрочемъ оба посольства оказались одинаково неудачными. Въ ожиданіи битвы римскіе послы заблаговременно удалились въ ближайшій Оксерръ, послѣ чего теряемъ и самый слѣдъ ихъ. Что касается до Георгія, то онъ не могъ скоро повернуться съ о многочисленною свитою и тяжеловѣснымъ багажемъ, и въ несчастіе попасться въ плѣнъ къ непріятелямъ, изъ заго былъ освобожденъ лишь по ходатайству Юдиои, ма-Карла.

Фонтенальская битва, хотя стоила многихъ десятковъ тысячъ человеческихъ жертвъ и кончилась полною побѣдою од-сторонны, не вдругъ впрочемъ принесла желаемые результаты. Разбитый Лотарь успѣшилъ отступить въ Австрازیю. дители не считали нужнымъ, или скорѣе, безопаснымъ себя немедленно начать его преслѣдованіе, потому что не въ изъ нихъ не могъ положиться на то, что въ тылу у все останется спокойно. Еще менѣе надежною казалась ость милиціи, которая такъ легко мѣняла одно знамя на другое. Карлу еще разъ пришлось испытать ея непостоянство, а прямо съ фонтенальскаго поля онъ предпринималъ дви-е въ Аквитанію: дорогою его оставили многіе предводители-ружинъ, вслѣдствіе чего и походъ его противъ Пипина о-огъ состояться ²⁾). Въ то же время Лудовику уже угро-д другая, болѣе важная опасность. Лотарь, несмотря на-енный имъ ударъ, все еще не хотѣлъ отказаться отъ мой мысли. Досада на неуспѣхъ восполняла для него-тающую энергію; неудача болѣе подстрекала его, нежели-ывала ему глаза на настоящее положеніе дѣла. Удалив-въ Worms, Лотарь опять собралъ войско, чтобы съ но-и силами выступить противъ братьевъ. Планъ его со-и-тъ въ томъ, чтобы, какъ и прежде, ударить сперва на-го изъ союзниковъ, а потомъ обратиться противъ другого. в-икъ однако стоялъ на стражѣ своихъ владѣній и не до-и-лъ противника перейти черезъ Рейнъ. Встрѣтивъ здѣсь-ръ, Лотарь потерялъ всякое самообладаніе и взялся за-и мѣры, которыя могли быть внушены только крайнимъ-раженіемъ. Чтобы поднять сѣверную Германію противъ-вика, онъ не задумался пойти наперекоръ всей политикѣ

Agnel. *ibid.* Поэтому несовсѣмъ вѣрно выраженіе Фориеля, который, о римскомъ посольствѣ, прибавляетъ: à la tête de laquelle se trouvait es, évêque de Ravenne. — ²⁾ Nith. l. IV, 2, p. 362.

своего рода и обѣщалъ саксамъ не только новыя привилегіи и земли, но и возстановленіе ихъ древняго культа, который такъ долго задерживалъ успѣхи каролингскаго оружія и христіанства на сѣверѣ ¹⁾. Можно бы отвергнуть это извѣстіе какъ лишенное всякой внутренней вѣроятности, если бы оно не было основано на показаніи современника, который ничѣмъ не заслужилъ упрека въ недостоверности. Другое извѣстіе, почерпнутое изъ того же источника, прибавляетъ еще одну черту въ томъ же родѣ: опасные враги имперіи, извѣстные на западѣ подъ именемъ норманновъ, вступили въ ея предѣлы въ качествѣ союзниковъ императора; имъ не только отведены были земли, но и все христіанское народонаселеніе тѣхъ мѣстъ отдано въ ихъ распоряженіе ²⁾. Такимъ образомъ каролингская имперія въ лицѣ Лотара сама подрывала старыя основы своего существованія, соединяясь для своей поддержки съ элементами тоже ей враждебными, и тѣмъ облегчала окончательное торжество противоположнаго направленія.

Въ короткое время всѣ планы Лотара были разстроены. Движеніе, которое онъ надѣялся произвести въ сѣверной Германіи, рассчитывая на языческія наклонности ея жителей, почти не имѣло успѣха: Лудовикъ умѣлъ во-время принять противъ него свои мѣры ³⁾. По другую сторону Рейна достаточно было призвать норманновъ, чтобы убить большую часть тѣхъ симпатій, которыя Лотаръ обыкновенно встрѣчалъ въ тамошнемъ народонаселеніи. У него еще была сильная армія, составленная частью изъ австразійцевъ и алеманновъ, частью изъ норманновъ и саксовъ. Онъ думалъ выступить съ нею противъ Карла, который снова перешелъ на правый берегъ Сены, опрокинуть его, и потомъ, соединившись съ Пипиномъ аквитанскимъ, покончить дѣло съ Лудовикомъ Нѣмецкимъ. Но Карлъ ушелъ отъ его рукъ. При соединеніи къ нему Пипина, которое произошло въ Санѣ (Sens), правда, значительно увеличило составъ императорскихъ военныхъ силъ, но оно слишкомъ запоздало по времени: пока Лотаръ подвигался на западъ, Лудовикъ перешелъ на лѣвый берегъ Рейна и сошелся съ Карломъ между Базелемъ и Страсбургомъ ⁴⁾. Чувство общей опасности передъ однимъ безпокойнымъ властолюбіемъ, которое не хотѣло смириться

¹⁾ Cp. Fauriel, IV, p. 233—240. — ²⁾ Nith. *ibid*: partemque christianorum illis subdiderat, quibus etiam ut caeteros christianos depraedarent, licentiam dabat. — ³⁾ Id. III, 7. (Faur. IV, 254). — ⁴⁾ Fauriel, IV, p. 248.

даже передъ силою обстоятельствъ, заставило ихъ гораздо скорѣе соединиться между собою. Передъ лицомъ своихъ лейвовъ и обоихъ соединенныхъ ополченій, Лудовикъ и Карлъ вязали другъ друга торжественною клятвой — стоять одинъ а другого до послѣдней возможности и не вступать въ сношенія съ Лотаромъ иначе, какъ по обоюдному согласію. Это а знаменитая клятва двухъ королей, которая сохранилась до насъ въ своихъ подлинныхъ чертахъ и считается однимъ изъ древнѣйшихъ литературныхъ памятниковъ двухъ языковъ, готтескаго и романскаго, потому что каждый изъ союзниковъ оворилъ клятву на языкѣ своего народа. Итальянцы, бывшіе мѣстѣ съ Лотаромъ, не принимали никакого участія въ этомъ оговорѣ, и потому языкъ ихъ не можетъ похвалиться равновременнымъ памятникомъ своего самобытнаго существованія ¹⁾. Это случайное обстоятельство впрочемъ не даетъ еще повода заключить, чтобы итальянскаго языка не было и въ зародышѣ. Судя по живости національнаго чувства, которое никогда совершенно не умирало въ Италіи, скорѣе можно бы полагать, что оно даже опередило другія страны въ этомъ отношеніи. Жаль только, что, по недостатку положительныхъ данныхъ, въ рѣшеніи такого важнаго вопроса надобно удовольствоваться лишь предположеніемъ. Клятва двухъ королей была еще закрѣплена не менѣе торжественнымъ обѣщаніемъ обоихъ ополченій, которыя обѣщались одно другому неизмѣнно дѣйствовать въ томъ же самомъ духѣ. Одно твердое убѣжденіе, повидимому, проникло въ самую массу народа. Опираясь на него, Лудовикъ и Карлъ смѣло могли двинуть свои силы далѣе на сѣверъ, отъ Страсбурга къ Вормсу, и отсюда угрожать Лотару, находившемуся тогда въ Ахенѣ. Онъ оставался здѣсь въ нерѣшимости, потому что потерялъ и послѣдняго своего союзника, Пипина аквитанскаго, который ушелъ обратно за Лоару. Силы противниковъ его между тѣмъ возросли еще болѣе, когда изъ Германіи пришелъ Карломанъ (сынъ Лудовика) и привелъ съ собою новое многочисленное войско изъ алеманновъ и баварцевъ. Тогда, съ полною увѣренностью въ успѣхѣ своего дѣла, они начали наступательное движеніе. Считая сопротивленіе невозможнымъ, Лотаръ бѣжалъ на югъ, какъ скоро узналъ о приближеніи союзниковъ къ Кобленцу. Казалось, послѣднее рѣшеніе было произнесено, и онъ долженъ былъ потерять все кромѣ отдаленныхъ за-

¹⁾ См. Murat. Ann. ad. an. 842.

альпійскихъ владѣній: по крайней мѣрѣ союзные короли, тотчасъ по занятіи Ахена, вновь подѣлили между собою имперію, нисколько не думая о старшемъ братѣ ¹⁾. Но его спасла та неотступная настойчивость, съ которою онъ, при всѣхъ своихъ промахахъ, держался своего плана. Удалившись въ Лионъ послѣ своего бѣгства изъ Ахена, Лотарь все еще не терялъ надежды такъ или иначе поправить свое дѣло, дѣйствительно собравъ около себя многихъ приверженцевъ и вообще такъ умѣлъ поставить себя передъ братьями, что они, избѣгая опасностей новаго междоусобія, принуждены были принять его предложеніе о мирѣ. Впрочемъ и Лотарь долженъ былъ съ своей стороны уступить силѣ обстоятельствъ и во многомъ уменьшить свои требованія. Послѣ продолжительныхъ переговоровъ, споровъ и взаимныхъ уступокъ послѣдовалъ наконецъ по Вердюнскому договору 843 года окончательный раздѣлъ имперіи. По настоянію Лотара, Италія, Аквитанія и Баварія были исключены изъ раздѣла, и какъ самостоятельныя части, оставлены были каждая за своимъ настоящимъ владѣльцемъ. Удерживая за собою Италію, Лотарь сверхъ того получилъ на свою долю обширную полосу земли, ограниченную съ одной стороны Альпами и Рейномъ, съ другой рѣками Роною, Соною и Маасомъ (Провансъ, Бургундію и Австрازیю). Но изъ этого большого участка онъ долженъ былъ уступить три города—Майнцъ, Шпейеръ и Вормсъ съ ихъ областью, брату своему Лудовику Нѣмецкому, который такимъ образомъ, владѣя всѣми землями по правую сторону Рейна, утверждался и на лѣвомъ его берегу. Вся остальная Галлія, за исключеніемъ Аквитаніи и тѣхъ земель, которыя вошли въ составъ Лотарова удѣла, предоставлена была третьему брату. Цѣль, которую такъ упорно преслѣдовалъ Лотарь, была навсегда потеряна не только для него самого, но и для его отдаленныхъ потомковъ.

Имперія потерпѣла жестокой уронъ въ послѣднемъ спорѣ Лотара съ братьями. Она вышла изъ спора не только унуженная, но и значительно обрѣзанная. Значеніе великаго государства, въ которомъ соединялись подъ однимъ началомъ всѣ франкскія завоеванія, для нея кончилось; она вся заключалась теперь лишь въ предѣлахъ той государственной области, которая выпала на долю Лотара,—собственно Австразіи

¹⁾ См. объ этомъ Fauriel, IV, p. 255—258.

и Италіи съ промежуточными странами, которыя связывали ихъ между собою. Единственная причина, почему понятіе имперіи соединялось именно съ этими странами, состояла въ томъ почти случайномъ обстоятельстве, что владѣніе ими досталось старшему изъ трехъ братьевъ, еще при жизни отца провозглашенному императоромъ. Владѣй онъ вмѣсто Австразіи Германіей, титуло имперіи также могло перейти и на нее. Рядомъ, справа и слѣва, лежали два независимыя королевства: Германія съ Баваріей и Нейстрія съ Аквитаніей ¹⁾. Они не вышли изъ каролингскаго дома, но императоръ съ своимъ авторитетомъ имѣлъ на нихъ не болѣе вліянія, какъ и всякій сосѣдній владѣтель, располагавшій значительными силами. Для имперіи очевидно наступалъ моментъ разложенія.

Италія, участвовавшая во всѣхъ послѣднихъ событіяхъ своимъ народнымъ ополченіемъ, менѣе всего потерпѣла отъ переворота, который произошелъ внутри имперіи Карла Великаго вслѣдствіе условій Вердюнскаго договора. Она попрежнему осталась въ составѣ имперіи, хотя и урѣзанной, и даже подъ властью того же самаго императора. Въ нѣкоторомъ смыслѣ понятіе имперіи стало даже тѣснѣе принадлежать ей, потому что не распространялось болѣе на всю совокупность франкскихъ завоеваній, Австразія же ни по какому праву не могла присвоить его исключительно себѣ. Италія еще выиграла много въ одномъ весьма важномъ отношеніи. Лотарь, потерявъ цѣль, къ которой въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ направлены были всѣ его усилія, охладѣлъ къ политической дѣятельности. Духъ его замѣтно упалъ, и онъ, по примѣру отца, положилъ заживо раздѣлить свои земли между своими троемъ сыновьями. Удерживая за собою высшій авторитетъ, который равно долженъ былъ простираться на всѣ части имперіи, онъ отдавалъ въ управленіе старшему сыну, Лудовику, Италію; второму сыну, Лотару, онъ назначилъ страну между Маасомъ и Рейномъ, которая съ того времени, утративъ названіе Австразіи, начала быть извѣстною подъ именемъ Лотарингіи; наконецъ третьяго сына, Карла, послалъ королемъ въ Провансъ. Передъ прочими братьями Лудовикъ имѣлъ то преимущество, что получилъ въ удѣлъ страну, которой предѣлы были рѣзко обозначены, и которая имѣла уже свое

¹⁾ Впрочемъ Аквитанія пока лишь по имени принадлежала Карлу, который долженъ былъ оспаривать ее у Пипина II аквитанскаго. См. Fauriel, t. IV, с. 47.

самостоятельное значеніе. Сверхъ того, какъ старшій сынъ и ближайшій наслѣдникъ правъ своего отца, онъ также занялъ свой новый постъ съ титуломъ императора, тогда какъ оба младшіе брата оставались при королевскомъ достоинствѣ. Дѣло, нѣкогда совершенное Лудовикомъ Благочестивымъ, повторилось въ томъ же самомъ видѣ, но размѣры были уже далеко не тѣ: они ограничивались лишь предѣлами Апеннинскаго полуострова, стѣснялись далѣе между Роной и Рейномъ и вовсе не касались ни Германіи, ни Нейстріи, ни Аквитаніи. Императорское достоинство Лудовика (II) могло имѣть значеніе развѣ только въ той области, которая отдана была ему въ управленіе. Провансъ и Лотарингія, какъ самостоятельныя части большой Лотаровой имперіи, не находились ни въ какихъ зависимыхъ отношеніяхъ къ нему. Итакъ Италія имѣла своего особаго императора, Италія стала сама по себѣ имперіею. Она еще не выдѣлилась изъ состава бывшаго великаго государственнаго тѣла, и наравнѣ съ Германіей, Австріей, Нейстріей состояла еще во владѣніи того же каролингскаго дома, но въ достоинствѣ новаго императора, котораго власть пока простиралась только на Италію, снова данъ былъ ей зародышъ самобытнаго и даже независимаго существованія, котораго она лишилась со времени паденія Лангобардскаго государства. Назначеніе Лудовика королемъ обыкновенно относятъ къ 843 году ¹⁾; слѣдовательно начало его правленія въ Италіи можно полагать менѣе, нежели черезъ годъ, послѣ Вердюнскаго договора. Лотаръ послѣ того жилъ еще болѣе десяти лѣтъ, до конца удерживая за собою высшую власть равно надъ всѣми частями выдѣленной ему имперіи; однако онъ болѣе оставался въ Ахенѣ и почти не принималъ непосредственнаго участія во внутреннемъ управленіи полуостровомъ. Вскорѣ послѣ раздѣленія Лотаровой имперіи онъ собрался было въ Италію ²⁾; но въ это самое время открылось возстаніе въ Провансѣ, и задуманная поѣздка за Альпы не могла состояться. Предпріятіе не было болѣе возобновлено, хотя обстоятельства скоро измѣнились къ лучшему. Какъ при жизни Лотара, такъ и послѣ его смерти, Италія, за исключеніемъ весьма немногихъ случаевъ, знала только власть своего мѣстнаго императора.

¹⁾ См. Murat. Ann. ad an. 843. (Самъ онъ впрочемъ начинаетъ правленіе Лудовика съ слѣдующаго года. — ²⁾ Id. ad an. 845.

Дантъ, его вѣкъ и жизнь *.

(П. Л. Соляникову).

Dante's Leben und Werke. Kulturgeschichtlich dargestellt von Dr. F. X. Wegele. Jena, 1852.—Dante et les origines de la langue et de la littérature italiennes. Cours fait à la faculté des lettres de Paris, par M. Fauriel. Paris, 1854.

I.

Творя великое, человекъ оставляетъ и великую задачу послѣдующимъ вѣкамъ. Цѣлыя поколѣнія приходятъ потомъ трудиться надъ тѣмъ, что создано одною геніальною дѣятельностью. Когда творится великое, нарождается вновь цѣлый особый міръ понятій и образовъ, которые не менѣе дѣйствительныхъ явленій способны наполнить иное существованіе. Чѣмъ дальше отъ времени, когда совершалась та или другая геніальная дѣятельность, тѣмъ кажется она загадочнѣе; что совершенно ясно для современника, обращающагося въ той же сферѣ понятій, то самое нерѣдко становится камнемъ преткновенія для человека позднѣйшаго поколѣнія. Загадочно кажется для поздняго потомка самое присутствіе геніальной мысли въ иной темной исторической эпохѣ; и чтобъ только избавиться отъ труда объяснить такое явленіе, онъ иногда принужденъ бываетъ перемѣщать дѣйствительный фактъ въ область мифическихъ вымысловъ. Мифическая рамка служить еще и намъ, когда явленіе не укладывается въ историческую. Но мифъ не можетъ сполна удовлетворить нашему глубоко-историческому сознанію: мы такъ же скоро низвергаемъ его, какъ и воздвигаемъ на мѣсто ускользающей отъ насъ истины явленія, и снова стараемся воссоздать въ

* Эти статьи, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1855 и 56 г., составляютъ часть задуманной авторомъ, но не оконченной біографіи Данта по сочиненіямъ Вегеле и Фориеля.

воображеніи разбитый образъ художника по даннымъ, которыя собираются изъ его произведенія. Для новой мысли повторяется работа Сизифа, съ тою разницею, что для него это было постоянное мученіе, а для насъ — удовлетвореніе одной изъ первыхъ умственныхъ потребностей.

Каждое поколѣніе приноситъ свой собственный опытъ, а вмѣстѣ съ нимъ мѣняется и самый взглядъ на предметъ. Спросите, въ какомъ состояніи находится въ настоящее время изслѣдованіе о Гомерѣ. Каждую минуту можетъ показаться, что вопросъ приведенъ къ окончанію, а между тѣмъ онъ безпрестанно возрождается вновь. Въ исторіи новой европейской литературы немного лучше того. Чѣмъ больше знакомимся съ нею, тѣмъ больше поднимается вновь вопросовъ. Недавно еще видѣли мы прекрасный образецъ новаго рѣшенія вопроса о Сидѣ по арабскимъ источникамъ. Кто однако поручится, что новый капиталъ, такъ неожиданно приобретенный знанію изслѣдованіемъ г. Дози, не измѣнится много при дальнѣйшей повѣркѣ однихъ источниковъ другими? Несравненно больше потрачено было въ разное время умственныхъ трудовъ на объясненіе твореній Данта; но сколько еще загадочнаго находить въ нихъ каждое вновь приходящее поколѣніе! Почти каждый новый изслѣдователь, приступая къ Данту, начинаетъ сызнова, и рѣдко не приходитъ къ новымъ соображеніямъ, которыхъ и не подозрѣвали прежніе изслѣдователи. Сличая различныя толкованія, иногда можно подумать, что дѣло идетъ о различныхъ писателяхъ — до того расходятся между собою воззрѣнія, утверждающіяся, по видимому, на однихъ и тѣхъ же основаніяхъ. Каждая вновь наступающая эпоха пробуетъ свои силы надъ Дантомъ; каждый вновь выработанный приѣмъ въ общей исторіи литературы прилагается и къ Данту. Только что, кажется, установилось новое воззрѣніе на него, какъ старое опять усиливается взять перевѣсъ надъ новымъ. Опытъ слѣдуетъ за опытомъ, одинъ приѣмъ смѣняется другимъ, и никто конечно не скажетъ, чтобы современныя работы, предпринятыя надъ Дантомъ, какъ бы онѣ ни были удачны, полагали предѣлъ дальнѣйшему изслѣдованію о немъ. Пока не умрутъ историческіе и литературные интересы, дѣятельная мысль не перестанетъ трудиться надъ его твореніями и всегда будетъ надѣяться найти въ нихъ много новаго для себя.

Между историко-литературными произведеніями нашего времени, посвященными оцѣнкѣ и опредѣленію поэтической

тельности Данта, намъ особенно пріятно было встрѣтить игу съ именемъ Форіеля. Это въ нѣкоторомъ родѣ то же самое, что возвратить одну изъ утраченныхъ надеждъ. Форіель былъ одинъ изъ первыхъ знатоковъ южныхъ европейскихъ литературъ, которыя соединили въ себѣ начала нашего новаго образованія съ остатками древняго. Форіель первый медѣлилъ настоящее значеніе и характеръ провансальской поэзіи и показалъ отношеніе ея не только къ литературамъ сѣверныхъ странъ, но и ко всей средневѣковой цивилизації. Мы почти могли бы сказать, что обязаны ему открытіемъ цѣлаго затеряннаго материка въ области европейской литературы, который задвинуть былъ отъ нашихъ глазъ поворотами послѣднихъ столѣтій, и котораго уцѣлѣвшіе остатки большею частью погребены были въ архивной пыли. Форіель не только исторгнулъ ихъ изъ забвенія, но и возстановилъ въ органической связи съ исторіею цѣлой эпохи. Самая юрисконсультація «Южной Галліи», составившая своему автору столь заслуженную извѣстность, была не что иное, какъ приуготовительное изученіе почвы, на которой потомъ расцвѣлъ этотъ, не очень пышный, но чрезвычайно оригинальный цвѣтъ, цвѣтаемый провансальской поэзіей. Далѣе извѣстно было, что Форіель читалъ въ Парижѣ лекціи объ итальянской средневѣковой литературѣ. Дантъ съ своими твореніями необходимо долженъ былъ входить въ его чтенія. Въ одно время часть изъ нихъ была даже обнародована; но цѣлый курсъ, за преждевременною смертію автора, оставался неизданнымъ. Лишь въ недавнее время г. Молю (Mohl), издателю «Исторіи провансальской поэзіи», удалось наконецъ собрать его по частямъ, изъ разныхъ рукъ и соединить разрозненные отрывки въ одно цѣлое. Дѣло представляло множество трудностей: курсъ возобновлялся нѣсколько разъ, слѣдовательно подвергался въ подробностяхъ разнымъ измѣненіямъ; изъ собственноручныхъ записокъ автора сохранилось лишь очень немногое, а тетрадями писателей не всегда можно было пользоваться по желанію. Издатель жалуется, что не встрѣтилъ ожиданнаго имъ содѣйствія со стороны многихъ лицъ, располагавшихъ рукописями. Но которыя главы можно считать вовсе затерянными, отчего курсъ произошли неизбѣжныя пробѣлы. При всемъ томъ Молю оказалъ истинную услугу занимающимся исторіею литературы. Благодаря его добросовѣстной редакціи, если не въ курсѣ, то по крайней мѣрѣ бѣлая часть его и основаніе возрѣнія Форіеля на развитіе итальянской литературы

въ одну изъ самыхъ блестящихъ ея эпохъ, спасены отъ забвенія и—мы нисколько не сомнѣваемся — могутъ быть съ большою пользою употребляемы при ея изученіи.

Всѣмъ, знакомымъ съ новою историческою литературою, извѣстны тѣ рѣдкія достоинства, которыя дѣлаютъ Фориелъ однимъ изъ самыхъ привлекательныхъ писателей нашего времени. Фориель не принадлежалъ къ числу тѣхъ высокихъ и многообъемлющихъ умовъ, которые даютъ наукѣ новое направление; его доля была болѣе скромная: сосредоточивъ свои занятія на одной исторической эпохѣ, онъ предавался своему предмету со всею любовью и изучалъ его во всѣхъ подробностяхъ. Никакая мелкая черта не была имъ пропущена, если она сколько-нибудь отражала въ себѣ цвѣтъ своего времени. Можно сказать, что предметъ разрослся у него подъ руками, освѣщаясь своимъ собственнымъ свѣтомъ. Отсюда происходитъ то, что съ помощью книги Фориеля читатель весьма легко входитъ въ кругъ идей отдаленной исторической эпохи, хотя бы онъ впервые представлялись его вниманію. Но не надобно забывать притомъ другого прекраснаго качества того же самаго автора: это — счастливо организованный умъ, способный понимать вещи необыкновенно просто и ясно. Уже съ перваго взгляда читатель поражается въ Фориелѣ удивительною легкостью и естественностью разсказа: всмотрѣвшись ближе, находишь, что тайна этого впечатлѣнія заключается не въ одномъ только способѣ изложенія или въ рѣчи, но въ самой сущности дѣла. Никто такъ не сжился съ своимъ предметомъ и такъ ясно не понимаетъ его, какъ Фориель. Онъ не приноситъ къ изученію никакихъ предварительныхъ теорій, а всѣ свои идеи и воззрѣнія беретъ изъ его самого. Его пониманіе просто, потому что заимствовано прямо изъ предмета и не двоится между нимъ и любимой теоріей. Изъ внѣшнихъ признаковъ собирается у него самая идея явленія, ея потомъ опредѣляются видоизмѣненія его внутри общества. Всѣ эти достоинства въ особенности замѣчаются въ «Исторіи провансальской поэзіи»; но читатель въ правѣ ожидать, что найдетъ ихъ и въ исторіи итальянской литературы того же автора. Нельзя себѣ представить, чтобы творенія Данта не прояснились въ томъ или другомъ отношеніи, пройдя черезъ ясную мысль Фориеля.

Но насъ занимаетъ больше другая мысль. Мы думаемъ, что всякій великій дѣятель — великій поэтъ не менѣе, чѣмъ и всякое другое историческое лицо—завѣщаетъ потомству не

лько свои творенія, но и самую жизнь свою. Не всегда даже можно сказать, которая изъ двухъ задачъ интереснѣе или попительнѣе. Для того, кто умѣетъ цѣнить нравственныя явленія, такая прожитая жизнь поучительна, тѣмъ болѣе, если она ставила по себѣ слѣдъ въ великой славѣ или въ великомъ имени. А въ нею стоить призадуматься и поработать мыслью иногда и менѣе, какъ и надъ прославленными твореніями. Не всегда дается легко разгадать настоящую мысль иного произведенья: что же сказать объ умственномъ содержаніи цѣлой жизни писателя? Кто оставилъ по себѣ неумирающія творенія, тотъ не только жилъ не одною только внѣшнею жизнью: о немъ съ такою же увѣренностью можно сказать, что онъ мыслилъ, какъ и то, что онъ жилъ. Но пусть попробуютъ возстановить отъ умственный процессъ, наполняющій цѣлую жизнь человека... Уже не одно перо изломалось на рѣшеніи подобной задачи. Какъ нарочно, жизнь гениальныхъ поэтовъ большею мѣрою ускользаетъ отъ исторіи, или доходитъ до позднихъ итоговъ лишь въ самыхъ смутныхъ чертахъ. Это судьба не только древняго творца Иліады, какъ бы онъ ни назывался, и родственныхъ ему гениевъ Данта и Шекспира. Нѣтъ юра, что послѣдніе несравненно больше принадлежатъ исторіи; точно ли мы ихъ знаемъ въ лицо? не распознаемъ ли мы черты ихъ единственно черезъ призму извѣстныхъ всѣмъ твореній? Не замѣняемъ ли мы, однимъ словомъ, дѣйствительныя лица идеальными? По крайней мѣрѣ никто конечно не скажетъ о себѣ, что видитъ гораздо яснѣе въ ихъ жизни, чѣмъ въ ихъ твореніяхъ.

Съ другой стороны, мы напрасно хотѣли бы отдѣлить жизнь писателя отъ его авторской дѣятельности. Въ наше время болѣе, нежели когда-нибудь, понятно, что это два явленія, соединенныя между собою тѣснѣйшимъ образомъ, или что въ дѣятельности писателя, въ его произведеніяхъ, слгаются его же жизненные результаты. Если ужъ слогъ самъ о себѣ обличаетъ человека, то чего не скажетъ намъ о немъ самое содержаніе его произведеній? Надобно только искусно собрать лучи свѣта, проливаемого твореніями писателя на его жизнь, и умѣть направить ихъ на настоящіе пункты. Нельзя сомнѣваться въ успѣхѣ этого метода послѣ блестящихъ опытовъ приложенія его къ Гете и Шиллеру и въ недавнее время къ Шекспиру извѣстнымъ историкомъ нѣмецкой литературы. Послѣдній опытъ особенно говоритъ въ пользу метода, потому что только съ помощью его автору удалось

наконецъ заглянуть во внутренній міръ поэта и открыть въ этомъ мірѣ послѣдовательность явленій. о которой его біографы не имѣли никакого подозрѣнія. Въ строкахъ и между строками твореній Шекспира Гервинусъ нашелъ секретъ прочесть внутреннюю его біографію. Почему не приложить того же способа и къ другимъ писателямъ, о дѣятельности которыхъ мы гораздо больше знаемъ изъ ихъ произведеній, нежели изъ исторіи ихъ жизни? Въ свою очередь жизнь писателя даетъ ключъ къ объясненію его твореній. Это старая истина, которой сила извѣстна была уже въ древней литературѣ. Въ наше время значеніе ея сознается все больше и больше. Кто не читалъ жизни автора, для того потерявъ смыслъ многихъ его произведеній. Чѣмъ оригинальнѣе писатель, тѣмъ глубже въ его жизни лежатъ корни самыхъ его созданій; не тотъ только пустой фразеръ и риторъ, кто любитъ пышныя рѣчи, но тотъ въ особенности, у кого онѣ легко ложатся подъ перо безъ участія мысли и сердца. Спросите у комментаторовъ, знающихъ лучше насъ домашнія тайны писателей, и они скажутъ вамъ — съ ироническою улыбкою или безъ нея, все равно—что мотивы задушевнѣйшихъ лирическихъ произведеній взяты обыкновенно изъ жизни самого поэта. У романиста, у драматическаго писателя можетъ-быть тѣ же самыя ощущенія превратились въ идеальные образы, полные жизни и движенія. Еще больше надобно доспрашиваться отвѣта у жизни писателя, если въ рѣчахъ его слышится одно твердое убѣжденіе, которое покрываетъ собою всѣ прочія мысли. Убѣжденіе не родится изъ теоріи; оно приходитъ вмѣстѣ съ успѣхами жизни, и нерѣдко наперекоръ ея направленію. Если убѣжденіе истинно, если оно не призракъ, оно наполнитъ всего человѣка и не можетъ не сказаться въ его произведеніяхъ. Оторвите убѣжденіе отъ жизненной его основы—и оно если не потеряетъ вовсе своего разумнаго смысла, легко можетъ показаться странностью и поведетъ только къ произвольнымъ толкованіямъ.

Книга Вегеле еще разъ убѣдила насъ въ необходимости отчетливой біографіи писателя, чтобъ войти въ кругъ его идей и понимать его творенія. Усвоивъ себѣ методъ, такъ удачно прилагаемый къ новымъ европейскимъ поэтамъ, авторъ сдѣлалъ новый опытъ приложенія его къ одному изъ самыхъ видныхъ и вмѣстѣ запутанныхъ вопросовъ въ исторіи средне-вѣковой литературы. Нельзя впрочемъ сказать, чтобъ попытка его была совершенно новая. И прежде обращались къ жизни

анта, чтобъ найти въ ней объясненіе нѣкоторыхъ фактовъ его же поэтической дѣятельности; и прежде хотѣли знать впередъ человѣка, чтобъ вѣрнѣе судить о писателѣ. Біографія анта, такъ или иначе составленная, обыкновенно предшествовала разбору его произведеній, или же комментаторы брали отдѣльныя черты изъ жизни поэта и пользовались ими при объясненіи различныхъ мѣстъ «Божественной комедіи». Но сихъ поръ мало думали о томъ, чтобъ возстановить полное единство между жизнью и твореніями великаго писателя; до сихъ поръ посторонній зритель имѣлъ предъ собою какъ бы за плана, и на каждомъ изъ нихъ особенное изображеніе. Даже умный Форіель въ этомъ отношеніи далеко не удовлетворителенъ. Отдѣльно взятый рассказъ его о жизни Данта развитъ своею простотою и стройностью; но въ этой жизни мало видишь точекъ соприкосновенія съ самою дѣятельностью писателя. Внутренняя жизнь и послѣдовательное развитіе его убѣжденій остаются почти тайною для читателя: онъ проходитъ, одно за другимъ, внѣшнія событія его жизни и часто подозрѣваетъ о тѣхъ перемѣнахъ, которыя одновременно съ ними происходили въ самой душѣ человѣка. Оттого, несмотря на пріятность рассказа, изображенная въ немъ судьба поэта не возбуждаетъ къ себѣ довольно сочувствія. У Форіеля надобно учиться, когда онъ говоритъ объ отношеніи Данта къ рыцарской поэзіи и о томъ вліяніи, которое она имѣла вообще на литературу и жизнь Италіи: здѣсь онъ полный хозяинъ своего предмета; здѣсь дорого каждое его замѣчаніе. Въ разборѣ твореній Данта также попадаютъ отдѣльныя мысли, поражающія ясностью взгляда и здравымъ сужденіемъ; но цѣлаго нѣтъ въ курсѣ Форіеля, какъ потому, что въ немъ действительно недостаетъ нѣкоторыхъ главъ, что многое вошло въ него въ видѣ безсвязныхъ отрывковъ, такъ и потому, что чувствуется отсутствіе общей идеи. Вегеле понялъ иначе эту задачу и, по нашему разумѣнію, выполнилъ ее съ большимъ успѣхомъ—принимая въ соображеніе тѣ недостаточныя средства, которыя онъ, наравнѣ съ другими изслѣдователями того же предмета, могъ имѣть въ своемъ распоряженіи. Онъ взялъ на себя трудъ изобразить жизнь писателя именно съ тою цѣлью, чтобъ по возможности открыть въ ней истинные мотивы его нравственныхъ и другихъ убѣжденій, которые отразились въ его произведеніяхъ; и когда потомъ приуплыть къ ихъ оцѣнкѣ, дѣйствительно нашелъ въ нихъ много знакомаго. Въ твореніяхъ Данта отыскиались для него живые

слѣды тѣхъ стремленій, которыя занимали знаменитаго флорентинскаго гражданина большую часть его жизни. «Новая жизнь», «Пиръ», «Монархія», равно какъ и «Божественная комедія», представились ему идеальнымъ ея отраженіемъ. Въ нихъ снова ожили передъ нимъ многіе образы, которые онъ имѣлъ случай замѣтить и отчасти узнать при обзорѣ жизненнаго поприща поэта. Съ другой стороны, тѣ же самыя произведенія помогли изслѣдователю лучше разъяснить различныя душевныя состоянія, пережитыя Дантомъ въ разное время. Человѣкъ познакомилъ его съ писателемъ, писатель разъяснилъ ему человѣка. Читая книгу Вегеля, чувствуешь, что лицо болѣе не двоится передъ вами, и въ душѣ слагается цѣльный человѣческій образъ.

Можетъ-быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ авторъ позволилъ себѣ увлеченіе; можетъ-быть дальнѣйшее изслѣдованіе покажетъ неосновательность нѣкоторыхъ его выводовъ и постановить на ихъ мѣсто болѣе вѣрныя и потому болѣе прочныя. Этого нельзя отвергать прежде времени, какъ и нельзя утверждать категорически. Но мы думаемъ, что, не заглядывая далеко впередъ, можно пока ограничиться тѣмъ, что вновь приобрѣтено знанію, и пользуемся этимъ случаемъ, чтобы со словъ новыхъ изслѣдователей пересказать жизнь великаго флорентинца русскимъ читателямъ. Вегеле будетъ главнымъ нашимъ руководителемъ, хотя мы не отказываемся время отъ времени прибѣгать и къ Фориелю и справляться съ его замѣтками. Оцѣнку твореній Данта предоставляемъ другимъ, кому это дѣло ближе, или кто имѣлъ случай основательно изучить ихъ во всѣхъ подробностяхъ. Наше мнѣніе то, что жизнь великаго писателя также заслуживаетъ изученія, какъ и его творенія.

Если характеръ произведеній опредѣляется прежде всего личностью писателя, то самая личность необходимо образуется подъ вліяніемъ той среды, въ которой она поставлена. Страна и вѣкъ кладутъ свою неизгладимую печать на cadaго дѣателя. Кто образуется въ полной гармоніи съ господствующими направленіями своего времени, а кто—въ прямомъ противорѣчій съ ними, но въ томъ и другомъ случаѣ нельзя не признать дѣйствія современности. Тонко-проницательный Макиавель, скептическій Монтанъ, суевѣрный Кальдеронъ, саркастическій Раблѣ, глубокомысленный и вмѣстѣ пламенный мечтатель Джордано Бруно, мистическій Яковъ Бѣме и даже геніальный Шек-

ръ—всѣ они носятъ на себѣ явственную печать своего а, страны и народности, среди которыхъ совершалось ихъ житіе и образовались понятія. Данта также надобно изучать на родной его почвѣ, посреди обстоятельствъ его времени. Поэтому Вегеле совершенно правъ, когда предпосылаетъ біографіи обзоръ политическаго и общественнаго состоянія Италіи въ данную эпоху исторіи.

Флоренція была отечествомъ Данта въ тѣсномъ смыслѣ, но вмѣстѣ съ нею онъ принадлежалъ цѣлой Италіи. Искомъ четыре съ половиною вѣка прошло послѣ того, когда Италіи снова возвращена была честь вѣнчать тѣхъ, которымъ по праву принадлежала власть надъ нею, первую кою въ мірѣ. Карлъ Великій началъ собою новый рядъ римскихъ императоровъ, которыхъ право получало себѣ въ гдѣ высшее освященіе. Гдѣ бы ни былъ истинный политическій центръ „Священной Римской имперіи“ (какъ называется новая въ отличіе отъ древней), она заимствовала свое титуло достоинство отъ Италіи. Такова была имперія каролингскаго дома, такую же осталась она и по соединеніи съ Германіею, со времени Оттона Великаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ это была высшая форма политическаго единства въ продолженіе среднихъ вѣковъ. Она соединяла въ себѣ различныя страны различныя народности, она же давала единство всей Италіи. Истѣю такъ называемыхъ римскихъ императоровъ связывались разнородныя части ея, или же распадалась и начинала новую вражду между собою, какъ скоро чувствовали необходимость свободу движенія. Внутренняя крѣпость и внѣшняя слава Италіи возвышались или падали вмѣстѣ съ авторитетомъ римской имперіи.

Такъ было въ продолженіе первыхъ двухъ столѣтій. Къ концу этого періода Франція совершенно вышла изъ состава имперіи, которой дѣйствительная сила и значеніе перенесены были на Германію. Италія сохранила свое мѣсто въ новомъ вѣкѣ, и Римъ попрежнему давалъ высшее освященіе власти германскихъ королей, которымъ теперь принадлежало достоинство римскихъ императоровъ. Такимъ образомъ старый римскій институтъ мало-по-малу перешелъ на ту самую землю, которой вышли первые удары для его ниспроверженія. Въ нѣкогда Италія думала повелѣвать Германіею, такъ тогдашніе сильные короли саксонскаго дома, по праву завоеванія, господствовали теперь надъ нею изъ Германіи. Италіи принадлежало почеть, Германія—истинная сила и основанный на ней

авторитетъ имперіи. Со времени Оттоновъ крѣпость этого союза, казалось, была навсегда обезпечена; но въ Италіи таились элементы своего собственнаго, національнаго развитія. Она не хотѣла и не могла слѣдовать только рабски во всѣхъ движеніяхъ за Германіею. Италія, полная римскихъ воспоминаній, усѣянная городами, въ которыхъ еще не совсѣмъ умерла *память* старыхъ муниципальных учрежденій, была даже гораздо выгоднѣе поставлена въ отношеніи къ самостоятельному образованію, чѣмъ ея соперница, гдѣ недавно еще начали возникать первые центры гражданскаго общежитія. Кромѣ того, въ ней съ давняго времени существовали зародыши своей туземной и національной власти. Въ другомъ мѣстѣ и по другому поводу имѣли мы случай рассказать подробно тѣ историческія обстоятельства, которыя способствовали высвобожденію ея изъ подъ чужого авторитета и постепенному возвышенію внутри Италіи. Послѣдующія событія, правда, привели съ собою новую, еще болѣе тяжелую зависимость; но стремленіе, привязанное съ самаго начала къ римскому епископскому престолу, продолжало жить въ самыхъ стѣнахъ вѣчнаго города и ждало только новыхъ орудій, чтобъ вновь поднять дѣло эманципаціи; между тѣмъ духъ времени, дѣйствуя за одно съ властолюбіемъ римскихъ епископовъ, выработалъ изъ того же учрежденія новое іерархическое начало для всего Запада. Основанія римскаго престола расширились до крайнихъ предѣловъ католическаго міра. Въ распоряженіи епископовъ Рима явились новыя средства, съ которыми никакая борьба не казалась слишкомъ отважною. Съ своей стороны имперія не только не думала отступить отъ своихъ преимуществъ, но старалась еще больше утвердиться въ нихъ совершеннымъ подчиненіемъ себѣ римскаго престола. Особенно со времени Генриха III борьба между двумя учрежденіями была неотвратима.

Она открылась вскорѣ послѣ Генриха III и наполнила собою почти два столѣтія. Въ ней легко различить два отдѣльные момента. Въ первомъ изъ нихъ борьба происходила между двумя главными авторитетами, духовнымъ и свѣтскимъ, безъ прямого вмѣшательства другихъ общественныхъ силъ. Какъ были двѣ враждующія стороны, такъ было два лагеря — ни болѣе, ни менѣе. Споръ шелъ преимущественно объ освобожденіи римскаго авторитета изъ-подъ зависимости отъ германскаго. Григорій VII тѣмъ отчасти и повредилъ успѣху своего дѣла, что повернулъ слишкомъ круто и зашелъ

слишкомъ далеко въ своихъ требованіяхъ; но этотъ крутой поворотъ лежалъ столько же въ свойствахъ его характера, сколько и въ необыкновенной энергіи его ума, которому въ теоріи не было ничего завѣтнаго: смѣлая и гордая мысль Гильдебранда не умѣщалась даже въ предѣлахъ естества, и самой природѣ человѣческой думала предписывать законы! Отличаясь иными свойствами, Генрихъ IV былъ достойнымъ его соперникомъ. Мечтательному идеализму Григорія онъ постоянно противопоставлялъ свое неизмѣнно положительное направленіе, преслѣдовавшее единственно личные интересы, его желѣзной волѣ—безпримѣрную гибкость своего характера. О немъ можно сказать, что это была сама воплощенная упругость: онъ легко могъ нагнуться до самой земли и вдругъ снова подняться во весь свой натуральный ростъ; онъ могъ понести самую крайнюю степень человѣческаго униженія, чтобы только получить средства унизить вновь своего противника. Какъ ничто въ мірѣ не могло понудить Гильдебранда отступить хотя на волосъ отъ своихъ убѣжденій, такъ никакая сила не въ состояніи была заставить Генриха IV измѣнить своимъ интересамъ. Въ лицѣ двухъ противниковъ встрѣтились идеальное и положительное направленіе вѣка во всей своей рѣзкости. Споръ казался чисто личнымъ, потому что весь почти сосредоточивался въ лицѣ главныхъ своихъ представителей. Ими долгое время закрыты были другіе современные интересы; оттого борьба ведена была съ горячностью и ожесточеніемъ до тѣхъ поръ, пока на сценѣ оставался хотя одинъ изъ соперниковъ. Генрихъ IV пережилъ своего противника, но до конца своей жизни долженъ былъ бороться съ могучею его тѣнью; впрочемъ и вторая смерть не была еще рѣшительною: нѣкоторыя качества Генриха сдѣлались какъ бы наслѣдственными въ родѣ и перешли къ его сыну. Онъ, правда, не былъ способенъ сгибаться до земли, подобно отцу, но и не испытывалъ надъ собою того же тяжелаго давленія: онъ могъ держаться довольно прямо и твердо, потому что большею частью имѣлъ дѣло съ противниками, которые очень мало или даже вовсе не превосходили его личными свойствами. При равныхъ почти силахъ не могло быть рѣшительнаго перевѣса ни съ той, ни съ другой стороны. Борьба вскрывалась еще время отъ времени отдѣльными взрывами, какъ долго еще вспыхиваетъ молнія послѣ бури изъ остатковъ пронесшейся тучи; но гроза уже прошла, и несмотря на про-

должавшіеся раскаты грома, земля начинала принимать успокоенный видъ.

Такъ какъ не было полной побѣды, то не могло быть и прочнаго мира, и потому враждующія стороны заключили между собою временное перемиріе. Оно извѣстно въ исторіи подъ именемъ Вормскаго конкордата. Согласились раздѣлить поровну то, на что каждая сторона до сихъ поръ изъясляла свои исключительныя притязанія. Перстень и посохъ служили двумя символами одной раздѣленной власти. Не иначе, какъ подъ ихъ видомъ, она могла быть сообщаемъ третьему лицу. Каждый изъ двухъ знаковъ, взятый въ отдѣльности, не имѣлъ никакой законной силы, но вмѣстѣ они давали то полномочіе, которое составляло полную инвеституру. Эта двойственность формы лучше всего показываетъ, что послѣ полувѣковой тяжбы ни одна сторона не получила рѣшительнаго перевѣса, и обѣ удержались въ равновѣсіи. Кто же выигралъ? Выиграли всего больше средніе члены того же самаго общества, въ особенности городскія сословія въ сѣверной Италіи, которыя пользовались своимъ нерѣшительнымъ положеніемъ между двумя центрами тяготѣнія, чтобъ приобрести себѣ вновь нѣкоторыя права ¹⁾. Почти равно удаленные отъ дѣйствія той и другой силы, они съ этого времени явно начали стремиться къ автономіи.

Но перемиріе не могло быть нормальнымъ состояніемъ. Исторія вообще отвращается отъ тѣхъ положеній, которыя можно назвать „висящими“, нерѣшительными, или недолго выдерживаетъ ихъ. Самыя дѣйствующія въ ней силы безпрестанно измѣняются, т. е. нарастаютъ вновь или зрѣютъ отъ времени, и невѣрное равновѣсіе скоро опять разрѣшается въ неизбѣжную борьбу. Тотъ же неизмѣнный историческій законъ повторился и въ отношеніяхъ между римскимъ престоломъ и имперіею. Спустя полвѣка послѣ заключеннаго перемирія, борьба возобновилась между ними еще съ бѣльшимъ ожесточеніемъ. Этотъ второй актъ великой исторической драмы продолжался цѣлое столѣтіе и приготовилъ развязку всего дѣйствія. Сущность спора была та же самая, но отъ успѣховъ времени дѣло приняло новый видъ, и всѣ подробности измѣнились вмѣстѣ съ личною обстановкою; кромѣ того, увеличились самыя размѣры дѣйствія, и борьба получила еще болѣе грандіозный характеръ.

¹⁾ Всего видѣе это на Миланѣ. См. между прочимъ Von Simonyi, Gesch. d. Lomb. Venez. Königreichs, p. 61.

смотря на наружное затишье, наступившее послѣ перемирія, кое въ понятіяхъ вѣка передѣлалось вновь въ промежуткѣ времени отъ заключенія конкордата до начала новой эры. Благодаря общему настроенію умовъ въ XII вѣкѣ, римскій авторитетъ сталъ высоко въ сознаніи современниковъ. Такое крестоносное движеніе, охватившее тогда большую часть западной Европы, придало ему новый вѣсъ и значеніе. Римскіе епископы умѣли стать въ главѣ движенія и не разъ прибѣгали на себя самую его инициативу. Это высокое положеніе, хотя оно было только временное, внушило имъ новыя связи на небывалое дотолѣ полномочіе внутри католическаго міра. Имперія между тѣмъ занимала въ крестоносномъ движеніи лишь второстепенную роль. Искренностью и горячностью своихъ порывовъ Франція даже много опередила ее. Такое властолюбіе сверхъ того опиралось въ своихъ стремленіяхъ на вновь возникшее право декреталій, которое, написавшись съ подлога и образовавшись подъ его вліяніемъ, тѣмъ не менѣе однако развилося въ цѣлую систему и все болѣе утверждалось въ общемъ сознаніи западныхъ христіанъ. Оно шло уже не только о преимуществахъ римскаго престола, но о рѣшительномъ преобладаніи надъ имперіею.

Нельзя впрочемъ сказать и объ имперіи, чтобъ она вышла на новую брань съ прежними средствами: на ея стороне также были нѣкоторыя новыя выгоды и преимущества. Энергическихъ представителей швабскаго дома она нашла въ новыя личныя силы, вполне соответствовавшія ея высокому достоинству. Никогда еще Германія не дѣлала болѣе счастливаго выбора, никогда еще въ одномъ родѣ не соединялось столько силъ и столько высокихъ душевныхъ доблестей, какъ въ знаменитомъ домѣ Гогенштауфеновъ, обновлявшемся въ каждомъ новомъ поколѣніи. Одно лицо смѣняло другое, но оно не истощалось до конца существованія дома. Лучшія рыцарскія качества вѣка были между ними какъ бы наследственными. Никто не хвалился тогда мужествомъ, но Гогенштауфены умѣли придать новый блескъ и этой добродѣтели. Героизмъ и великодушіе были въ ихъ родѣ черты довольно обыкновенныя; лишь въ послѣдствіи, подъ вліяніемъ несчастныхъ обстоятельствъ, онѣ могли вырождаться и уступить мѣсто эгоизму, который гораздо менѣе возбуждаютъ къ себѣ сочувствіе. Нѣкоторые изъ Гогенштауфеновъ усвоили себѣ даже шпійскій цвѣтъ всего рыцарскаго образованія—рыцарскую позу и сами упражнялись въ ней не безъ нѣкотораго успѣха.

Люди воли, смѣлые и предприимчивые, они не менѣе богаты были надѣлены даромъ широкаго соображенія. Можно находить недостатки въ Гогенштауфенахъ, но равно нельзя отрицать въ нихъ какъ ума, такъ и характера. Они были не менѣе смѣлы въ бою, какъ и въ своихъ политическихъ планахъ. Одному изъ нихъ не казался несбыточнымъ планъ возстановленія древней Римской имперіи почти во всемъ ея прежнемъ объемѣ ¹⁾. Какъ не пугали ихъ опасности, такъ и самыя неудачи и пораженія не могли сокрушить и поколебать ихъ твердаго духа; только измена и предательство глубоко трогали и даже поражали Гогенштауфена въ самое сердце. Если на римскомъ престолѣ были въ эту эпоху истинно великіе характеры, то въ Гогенштауфенахъ они встрѣчали достойныхъ себя соперниковъ. Ни одна сторона не уступала другой въ твердости и выдержанности, и побѣда рѣшалась не столько истиннымъ превосходствомъ силъ, сколько большею хитростью и изворотливостью. Въ общемъ сознаніи вѣка, увлеченнаго религиознымъ движеніемъ, въ феодальныхъ учрежденіяхъ эпохи, приткнувшихся во всѣ сферы жизни, свѣтскій авторитетъ имперіи такъ же мало находилъ себѣ опоры при Гогенштауфенахъ, какъ и при ихъ предшественникахъ; за то впрочемъ въ области права основанія его выяснились больше, чѣмъ когда-нибудь. Въ продолженіе XII вѣка юридическое образованіе западной Европы сдѣлало весьма важный шагъ впередъ возвращеніемъ къ римскому праву. Это была заслуга Италіи, въ назначеніи которой лежало быть посредницей между древнимъ и новымъ образованіемъ; но въ практическомъ отношеніи плоды ея возобновленной дѣятельности пригодились скорѣе въ пользу Германіи. Въ итальянскихъ университетахъ, вмѣстѣ съ туземцами, воспитывалось и нѣмецкое юношество. Юридическія понятія, которыя въ нихъ были вырабатываемы, почти въ равной степени распространялись по ту и по другую сторону Альповъ. Установившееся въ это время изученіе римскаго права возстановило въ теоріи связь, давно разорванную, между новою Римскою имперіею и древнею и, такъ сказать, возвратило первую къ ея законнымъ основаніямъ. Гогенштауфены дѣйствовали сознательно въ качествѣ преемниковъ той власти, которая нѣкогда принадлежала римскимъ цезарямъ. Преслѣдуя съ рѣдкимъ постоянствомъ цѣли высшей государственной поли-

¹⁾ См. въ особенности—Abel, König Philipp von Hohenstaufen. Дѣло впрочемъ идетъ не о немъ, а объ Генрихѣ VI.

тиги, они умѣли жертвовать имъ, гдѣ было нужно, даже своими семейными интересами. Идея государства и его интересовъ составляла обыкновенно господствующій мотивъ въ ихъ политической дѣятельности. Одни и тѣ же побужденія руководили мыслью Фридриха Барбароссы какъ въ непримиримой враждѣ съ ломбардскими городами въ Италіи, такъ и въ суровыхъ мѣрахъ его противъ главныхъ представителей феодализма въ Германіи. Фридрихъ II проводилъ тѣ же самыя идеи, лишь съ большею страстью, и потому еще съ большею исключительностью. Естественно, что въ господствующихъ сословіяхъ Гогенштауфены вездѣ встрѣчали сильную оппозицію какъ въ Италіи, такъ и въ Германіи, но за то они могли гордиться сочувствіемъ просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени. Важнѣйшія рѣшенія Фридриха I относительно ломбардскихъ городовъ постановлены были при содѣйствіи знаменитѣйшихъ итальянскихъ юристовъ. Еще тѣснѣе и, можно сказать, задушевноѣе были отношенія между Фридрихомъ II и первыми законовѣдами его времени. Какъ передовые люди вѣка, они увлекали за собою симпатіи другихъ просвѣщенныхъ современниковъ. Число ихъ конечно было довольно ограничено; но окруженные ими Гогенштауфены отдѣлялись, какъ яркое созвѣздіе, отъ темнаго фона остальной современности, которая еще дремала во мракѣ предрасудковъ.

Такимъ образомъ, во второмъ моментѣ борьбы, къ главному вопросу приливали почти всѣ другіе высшіе интересы общества, и дѣлали споръ чрезвычайно сложнымъ и запутаннымъ. Присоедините сюда, что въ ту же самую борьбу замѣшаны были сверхъ того особые интересы нѣкоторыхъ сословій и сильныхъ семействъ, и что какъ тѣ, такъ и другія хотѣли и имѣли возможность дѣйствовать самостоятельно. Такъ ломбардскіе города, которые въ эпоху Гильдебранда играли лишь пассивную и почти вовсе незамѣтную роль, выступили теперь на первый планъ и соединеніемъ въ общій союзъ образовали изъ себя крѣпкую политическую силу. На вѣсахъ борьбы они вѣсили тѣмъ тяжелѣе, что, занимая средину пространства между двумя враждующими сторонами, легко могли доставить перевѣсъ каждой изъ нихъ. Дѣйствуя въ союзѣ съ римскимъ престоломъ, они не только отводили отъ него самый сильный ударъ, но и склоняли побѣду на его сторону. Самыя великія усилія Гогенштауфеновъ сокрушались объ ихъ каменные твердыни, обороняемыя храбрыми гражданскими дружинами. Вопреки своимъ убѣжденіямъ и всѣмъ расчетамъ своей поли-

тики, Фридрихъ I долженъ былъ заключить свои семь походовъ въ Италію—миролюбивою сдѣлкою съ ломбардскими городами и признать ихъ автономію, удержавъ за собою лишь формальное право. Между тѣмъ подъ сѣнью одного союза незамѣтно росъ другой—далѣе на югъ, ближе къ римскому престолу и еще въ большемъ удаленіи отъ непосредственнаго дѣйствія имперіи, чѣмъ первый. Это были тосканскіе города, во главѣ которыхъ стояла Флоренція. Уже при Генрихѣ VI они составили изъ себя политическую лигу по образцу ломбардской и на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ ¹⁾). Понятно, что симпатіи къ Риму здѣсь были еще живѣе, а партизаны имперіи, которые находились также и въ Тосканѣ, были еще безсильнѣе. Какъ бы ни были многочисленны города, имперія Гогенштауфеновъ имѣла довольно энергіи и силъ, чтобъ управиться съ ихъ союзами; но она ни минуты не могла быть безопасна со стороны германскаго феодализма, который въ лицѣ беспокойныхъ и воинственныхъ гвельфовъ постоянно угрожалъ ей съ тылу. Измѣна одного изъ нихъ вырвала изъ рукъ Фридриха Барбароссы вѣрную побѣду въ самую рѣшительную минуту его жизни. Одно время воспользовавшись замѣшательствомъ въ фамиліи Гогенштауфеновъ, гвельфы успѣли даже вовсе вытѣснить ихъ изъ Германіи, и сами заняли ихъ мѣсто. Странно подумать, что между союзниками, которые помогли швабскому дому возвратить прежнее его достоинство и значеніе въ Германіи, былъ римскій престолъ, точнѣе сказать, умнѣйшій и послѣдовательнѣйшій изъ преемниковъ Гильдебранда, носившій знаменитое имя Иннокентія III; но таково было постоянство римской интриги, что она готова была, не разбирая ни враговъ, ни друзей, дѣйствовать противъ всякаго, кто только становился во главѣ имперіи. Южная Италія также была замѣшана въ борьбу гораздо прямѣе и непосредственнѣе, чѣмъ при Генрихахъ (IV и V). Ея отдѣльная политика, имѣвшая свое главное направленіе на востокъ, кончилась: Неаполь и Сицилія также вошли въ составъ великой имперіи и образовали въ ней крайнее крыло, которымъ она въ свою очередь угрожала Риму съ той стороны, откуда до сихъ поръ онъ казался всего болѣе безопаснымъ. Но за то Неаполь сдѣлался источникомъ новой вражды противъ Гогенштауфеновъ. Во-первыхъ, они имѣли здѣсь противъ себя мѣстные феодальныя роды, которые до конца не хотѣли прими-

¹⁾ См. Hegel, *Gesch. der Städteverfassung von Italien*, t. 2, p. 241—242.

тѣся съ чужеземнымъ владычествомъ; во-вторыхъ, самый онъ сталъ гораздо безпокойнѣе и неутомимѣе въ своихъ интригахъ съ тѣхъ поръ, какъ Гогештауфены утвердились въ тылу него. Римскіе епископы очень хорошо понимали, что тотъ, кто владѣетъ сѣверомъ и югомъ Италіи вмѣстѣ, рано или поздно будетъ предписывать законы и самой римской области, и опирали свой умъ и истощали всѣ позволительныя и непозволительныя средства, чтобъ разорвать столько опасный для нихъ союзъ Неаполя съ Германіею. Но пока власть швабскаго папы была крѣпка на сѣверѣ, нельзя было надѣяться совершенно вытѣснить его съ юга. Итакъ надобно было подложить пламя подъ самое основаніе могущества Гогенштауфеновъ въ періи и стараться вооружить противъ нихъ не только Италію, но и Германію. Наконецъ, въ случаѣ послѣдней крайности, имъ въ состояніи былъ тогда возбудить противъ своего немиримаго врага другія силы католическаго міра. Словомъ, обѣихъ сторонъ накопилось столько вражды и собралось столько средствъ какъ для нападенія, такъ и для обороны, а духъ времени было такъ мало примирительныхъ началъ, что миръ могъ быть восстановленъ не иначе, какъ крайнимъ рожденіемъ одной стороны и рѣшительнымъ преобладаніемъ другой.

Самое грозное время было то, когда противники, не ограничиваясь болѣе частными столкновеніями, послѣ нѣкотораго колебанія рѣшились вдругъ повести атаку со всѣхъ данныхъ факторовъ и ввести въ дѣло, однѣ за другими, всѣ свои силы. Это было время Фридриха II. Отважный и неустрашимый цѣль, онъ лучше, нежели кто-либо изъ современниковъ, своимъ вѣрнымъ взглядомъ измѣрилъ великость опасности, и такъ такъ полною былъ чувствомъ своихъ силъ, что не боялся поднять тревогу по всей боевой линіи. Ему также отвѣчающею готовностью принять вызовъ на всѣхъ точкахъ соприкосновенія. Германія и Италія, Неаполь и Сицилія, Ломбардія и Сканна, гвельфы и гибеллины—все пришло въ движеніе. олицился феодализмъ, вооружились города. Въ Италіи особенно весь горизонтъ покрытъ былъ заревомъ пожара. Всѣ интересы вовлечены были въ борьбу и участвовали въ ея рѣшеніи. Та многоголовая гидра, о которой рассказывали древніе, какъ-будто вновь выросла передъ Фридрихомъ II; и ни въ исторической борьбѣ успѣхъ зависѣлъ только отъ личныхъ силъ воителя, дѣло не стало бы за новымъ геркулесовымъ подвигомъ. Фридрихъ II былъ столько же силенъ ору-

жіемъ, сколько и умомъ своимъ; римское преобладаніе имѣю въ немъ тѣмъ болѣе опаснаго врага, что онъ отвергалъ его въ самой теоріи. Но несчастіе Фридриха состояло именно въ томъ, что онъ своимъ свѣтлымъ умомъ слишкомъ опередилъ свое время, и потому не находилъ въ немъ довольно сочувствія себѣ. И побѣды были не въ побѣды, когда противъ него было общее мнѣніе и національные интересы Италіи. Побѣда была неразлучна съ самимъ Фридрихомъ, но онъ не могъ быть всегда и вездѣ; а тамъ, гдѣ его не было, тотчасъ начиналось отложеніе. Самыя крѣпкія силы должны были сокрушиться въ этой неравной борьбѣ мысли и духа одного человѣка противъ цѣлаго вѣка, и самая высокая доблесть оставалась безплодною. Мудрено ли, что общее всѣмъ раздраженіе сообщилось и Фридриху? что онъ не разъ терялъ необходимое для великаго дѣла спокойствіе и выходилъ изъ предѣловъ благо-разумной умѣренности? Враги искусно пользовались его ошибками, чтобъ еще болѣе разжигать къ нему ненависть ¹⁾. Отчаявшись утомить самого Фридриха II, они старались по крайней мѣрѣ опутать его со всѣхъ сторонъ интригою и тѣмъ лишить его возможности дѣйствовать. Даже и онъ потерялъ бодрость и впасть въ уныніе, когда измѣна проникла наконецъ въ его собственный лагерь и начала похищать у него, одного за другимъ, довѣреннѣйшихъ приверженцевъ, съ которыми онъ привыкъ дѣлить не только свои подвиги, но и самыя думы. Фридрихъ II умеръ во враждѣ съ вѣкомъ, въ раздорѣ съ близкими къ нему людьми, и даже не могъ унести съ собою въ могилу надежды на приближеніе лучшаго времени.

Римъ вышелъ торжествующимъ изъ борьбы. Онъ не только спасъ свою независимость, но и близокъ былъ къ крайней цѣли всѣхъ своихъ стремленій — къ преобладанію въ католическомъ мірѣ. Лишь немногаго недоставало, чтобъ торжество его было полное. Истошивъ въ борьбѣ свои лучшія силы, родъ Гогенштауфеновъ продолжалъ еще существовать, хотя и раздѣленный на двѣ отрасли. Пока за нимъ оставалась Германія, онъ не могъ совершенно отказаться отъ своихъ видовъ на Италію, гдѣ имѣлъ для себя опору какъ въ ломбардскихъ гибеллинахъ, такъ и въ Неаполѣ, гдѣ держалась другая его линія. Престолу римскихъ епископовъ не разъ еще потомъ

¹⁾ Отголоски этой глубокой ненависти пережили самыя событія. Ихъ можно слышать иногда даже и въ нашемъ просвѣщенномъ вѣкѣ. См., напримѣръ, Höfler, Kaiser Friedrich II. München, 1844.

ишлось быть какъ бы между двухъ огней. Тогда, чтобъ вратить отъ себя опасность хотя съ одной стороны, они ипуждены были возвратиться къ старой политикѣ, которая, въ случаѣ крайней нужды, искала опоры Риму во Франціи. Гобъ только не оставить южную Италію въ рукахъ Гогенштауфеновъ, римскій престолъ, въ силу особой присвоенной ему власти, рѣшился лучше пожертвовать Неаполемъ въ пользу анжуйскаго дома. Такъ въ прежнее время онъ нашелъ выдѣле для себя призвать въ сѣверную Италію сильныхъ франкскихъ королей, чѣмъ потерпѣть около себя опасное сосѣдство лангобардовъ. Но пока мысль не погасла между Гогенштауфенами, она неизмѣнно продолжала обращаться на Италію. До самаго конца ихъ не переставали обольщать тѣ симпатіи, которыя они приобрѣли себѣ прежде на полуостровѣ. Даже порывъ Германію, Гогенштауфены не отчаявались еще возвратить свои права на Неаполь. Не надобно было предварительно бирать силы за Альпами: довольно было показаться челоукомъ съ этимъ волшебнымъ именемъ внутри Италіи, чтобъ воуругъ собралась многочисленная толпа, готовая поддерживать о права съ оружіемъ въ рукахъ. Если Конрадинъ, несмотря на свою молодость, сиротство и безпомощность, имѣлъ хотя оменный успѣхъ въ Италіи, то конечно онъ былъ обязанъ имъ гораздо больше своему имени, нежели тѣмъ средствамъ, которыя находились въ его распоряженіи. Но, во всякомъ случаѣ, поднимать вновь швабское знамя въ самомъ сердцѣ Италіи послѣ того, какъ Римъ получилъ вѣрнаго союзника себѣ, значило только увеличивать число жертвъ, обреченныхъ его безпощадному мщенію. Катастрофа, которою кончилось предпріятіе Конрадина, показала, что между силами двухъ враждующихъ сторонъ не было болѣе никакой соразмѣрности, иначе сказать, что одна сторона представляла собою дѣйствительное могущество, а другая низошла до степени несудимой. Впрочемъ неравная тяжба не могла болѣе возобновиться: Конрадинъ былъ послѣднею отраслью швабскаго дома и унесъ съ собою въ гробъ какъ дѣйствительныя его права, такъ и благородное честолюбіе, въ которомъ заключался неменѣе сильный рычагъ для его неутомимой предпримчивости.

Никогда еще Римъ не стоялъ такъ высоко, какъ послѣ денія дома Гогенштауфеновъ, погибшаго въ борьбѣ съ нимъ преобладаніе. Казалось, развалины одного разрушеннаго могущества послужили для другого величественнымъ пьеде-

сталомъ. Съ этой высоты римскій авторитетъ могъ свободно озирать весь горизонтъ католическаго міра, не встрѣчая болѣе видимой преграды своему властолюбивому взору. Единственное опасное соперничество для него кончилось; прочія же силы сравнительно съ его высокимъ положеніемъ лежали такъ низко, что не возбуждали никакого опасенія... Въ политическомъ смыслѣ римское могущество однако никогда не могло замѣнить того, которое было имъ ниспровергнуто. Ослабленіе авторитета имперіи оставляло позади себя пустоту ничемъ не наполнимую. Не говоря уже о томъ, что съ паденіемъ Гогенштауфеновъ распались узы, соединявшія Италію съ Германіею, чѣмъ могло еще сдерживаться внутреннее итальянское единство? Оно также исчезло, уступивъ мѣсто глубокому раздѣленію. Для того, кто хотѣлъ и способенъ былъ видѣть, тутъ стало совершенно ясно, что римскій авторитетъ, какъ политическая сила, далеко не равняется протяженію всего полуострова. Въ это время болѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде, вышла наружу автономія сословій, городовъ и цѣлыхъ областей, зародившаяся и укрѣпившаяся въ продолженіе вѣковой борьбы между двумя авторитетами. Рѣзче всѣхъ выдѣлился изъ общаго состава Неаполь съ своею новою династіею чужеземнаго происхожденія. Въмѣсто того, чтобъ быть членомъ общаго организма и согласовать съ нимъ свои дѣйствія, онъ стремился, пользуясь обстоятельствами, стать во главѣ его и управлять всѣми его движеніями. Такимъ образомъ на южномъ концѣ Италіи постановленъ былъ новый центръ тяготѣнія, который одинъ уже могъ перевѣшивать Римъ своимъ вліяніемъ. Почти не менѣе безсиленъ оказался Римъ на другомъ, противоположномъ концѣ полуострова. Ломбардскіе города дѣйствовали въ тѣсномъ союзѣ съ нимъ, пока имѣли передъ собою общаго противника; но какъ скоро опасность прошла, и самый этотъ союзъ потерялъ свое прежнее значеніе, почувствовалась разность интересовъ, которая до сего времени скрыта была потребностью въ посторонней помощи. При томъ же, по причинѣ близкаго сосѣдства съ Германіею, гибеллинизмъ пустилъ въ Ломбардію болѣе глубокіе корни, чѣмъ въ другихъ областяхъ, и въ половинѣ XIII вѣка получилъ здѣсь рѣшительный перевѣсъ надъ противною партіею. Чтѣ выигралъ римскій авторитетъ относительно Ломбардіи, когда, устранивъ въ ней одного главнаго врага, встрѣтился тамъ же со множествомъ лицъ, которыя представляли то же самое начало? Чтѣбъ хоть нѣсколько смирить гордость одного Эццелино ди-Романо, на-

добно было предпринимать противъ него цѣлый крестовый походъ. да и тотъ кончился пораженіемъ крестоносцевъ. Несмотря на интердикты, продолжавшіеся иногда по нѣскольку лѣтъ ¹⁾, Ломбардія все больше и больше уходила изъ-подъ римскаго вліянія, дробясь на отдѣльные самостоятельные принципаты. Тоскана, по своей близости къ Риму, находилась въ большей зависимости отъ него, но эта зависимость вовсе не уничтожала автономіи ея городовъ и отражалась лишь на игрѣ внутреннихъ партій. Опираясь на Римъ, гвельфы могли здѣсь легче, чѣмъ гдѣ-нибудь, одержать верхъ надъ своими противниками (извѣстно, что во всей Тосканѣ гибеллинизмъ удержалъ за собою власть въ одной Пизѣ); но эта опора была не довольно сильна, чтобъ съ ея помощью они могли остановить дальнѣйшее развитіе городской общины. Оттого Тоскана, въ противоположность Ломбардіи, все больше и больше склонялась къ порядку вещей, который напоминалъ собою древнія республики. Союзъ тосканскихъ городовъ продолжалъ существовать, но центромъ его былъ не Римъ, а Флоренція, которая поэтому налагала на него свой собственный политическій характеръ. Римское вмѣшательство во внутреннія флорентинскія событія доставляло пользу не столько самому Риму, сколько той изъ враждующихъ сторонъ, которую онъ поддерживалъ. Отчасти то же явленіе повторялось на югѣ и сѣверѣ Италіи, гдѣ также ничего не происходило безъ явнаго или тайнаго вмѣшательства римской интриги. Но тѣмъ почти и ограничивалось все вліяніе. Въ отдаленномъ Пімонтѣ, въ Венеціи и Генуѣ, оно было еще незначительнѣе. О сосредоточеніи всей политической власти въ Римѣ не могло быть и рѣчи. По всему вѣрному замѣчанію Макиавеля, вся задача римскихъ политиковъ внутри Италіи сводилась въ это время лишь къ тому, чтобы не дать другимъ завладѣть тою или другою областью, которой они не могли присвоить самимъ себѣ; иными словами—стараться по возможности вредить другимъ авторитетамъ, которые вновь утверждались въ предѣлахъ Апеннинскаго полуострова ²⁾.

Наступившее раздробленіе или разъединеніе интересовъ не могло однако изгладить всѣ слѣды прошедшей исторической

¹⁾ См. Simonyi, *Gesch. d. lomb. venez. Königreichs*, p. 136, гдѣ рѣчь идетъ о Миланѣ.—²⁾ Mach. *Le storie fiorentine*, l. 1: E così i pontefici... nè permettevano che quella provincia, la quale per loro debolezza non potevano possedere, altri la possedesse.

жизни народа. Слишкомъ долго тянулась борьба за Италию между двумя авторитетами, прежде чѣмъ перевѣсъ рѣшительно склонился на одну сторону. Оба направленія, между которыми болѣе двухъ вѣковъ была раздѣлена Италия, остались не только въ воспоминаніяхъ народа, но и продолжали держаться въ самыхъ его понятіяхъ. Споръ дѣйствительно разрѣшился побѣдою, но она выпала именно на ту сторону, которая не въ состояніи была замѣнить побѣжденное ею начало и утвердить единство своими средствами. Такимъ образомъ побѣда прошла, не доставивъ послѣднихъ ожидаемыхъ результатовъ, и два полярныя направленія, ей предшествовавшія, продолжали существовать попрежнему. Какъ прежде были два противоположные полюса, такъ и теперь, съ тою лишь разницею, что они стянулись на ближайшее разстояніе между собою, и внѣшній объемъ ихъ дѣйствія сократился. Съ одной стороны Германія, съ другой — Неаполь съ Сициліею вышли изъ круга и остались за предѣлами дѣйствія. За то въ сокращенномъ объемѣ того же самаго круга антагонизмъ продолжался съ прежнимъ жаромъ и съ прежнею силою. Присутствіе римскаго авторитета, безсильнаго обуздать однажды возбужденныя страсти, служило лишь къ тому, чтобъ поддерживать и продлить всеобщее раздраженіе умовъ. Эта противоположность интересовъ перешла наконецъ въ самое сознаніе итальянцевъ, и болѣе столѣтія составляла потомъ *общую* жизнь сѣверной и средней Италиі въ политическомъ отношеніи, покрывавшую собою всѣ прочіе интересы и господствовавшую надъ ними. Какъ въ другихъ государствахъ все направлялось къ единству, такъ въ Италиі все распадалось по двумъ направленіямъ. Были интересы собственно тосканскіе, но и они ограничивались одною Тосканою; были потомъ интересы, занимавшіе и наполнявшіе всю Ломбардію, которые однако теряли свое значеніе за ея предѣлами; были наконецъ интересы собственно римскіе, которые имѣли большой вѣсъ внутри римской области, за исключеніемъ развѣ Неаполя и сѣверо-западной части полуострова, гдѣ оно скоро ослабѣло подъ другими вліяніями. Тосканцы, ломбардцы и частью самые римляне, раздѣленные между собою мѣстными интересами, часто соединялись между собою то въ гвельфскомъ, то въ гибеллинскомъ направленіи. Въ эту эпоху нельзя было жить въ Италиі (за извѣстными уже исключеніями) и не принадлежать къ той или другой партіи. И люди честолобивые, и люди съ убѣжденіями — всякій, кто только хотѣлъ быть дѣятельнымъ

членомъ общества — выбирали себѣ то или другое знамя и отличали по немъ своихъ друзей отъ недруговъ. Италія не раздѣлилась на двѣ отдѣльныя половины, но въ стѣнахъ почти каждаго города гвельфы боролись съ гибеллинами, и не было ровнаго мѣста въ окрестностяхъ городовъ, гдѣ бы гибеллинскія ополченія не сшибались и не дрались по нѣскольку разъ съ гвельфскими дружинами. Какъ будто по всѣмъ жилымъ мѣстамъ Италіи прошла одна красная нитка, перевитая бѣлой, и опутала все народонаселеніе страны!

За недостаткомъ другого, это было также единство, но самаго страннаго свойства: это было *единство раздѣленія*; между тѣмъ оно выступило очень ярко, и передъ нимъ блѣднѣли всѣ другіе интересы, именно потому, что ограничивались лишь извѣстными мѣстностями. Само собою разумѣется, что явленіе было только временное, преходящее. Чѣмъ дальше уходила Италія отъ источника раздѣлившей ее вражды, тѣмъ больше стирался съ нея гвельфо-гибеллинскій колоритъ, тѣмъ больше выступали на первый планъ отдѣльныя области и образовавшіяся въ нихъ особыя народности, каждая съ своимъ самостоятельнымъ характеромъ. Впослѣдствіи, и притомъ не далѣе, какъ въ XIV вѣкѣ, Италія не знала другого раздѣленія, какъ по отдѣльнымъ политическимъ группамъ, которыя образовались въ ней около главныхъ центровъ, какъ-то: Венеціи, Милана, Генуи, Флоренціи, Рима и Неаполя. Единства было можетъ-быть еще менѣе, но за то отношенія не были такъ перепутаны. Тогда можно было, заключившись въ предѣлахъ одной политической области, посвятить ей всю свою дѣятельность и найти въ ней успокоеніе. Не такъ было съ тѣми, которымъ досталось жить въ трудную эпоху гвельфо-гибеллинскаго раздѣленія, когда самое сознаніе народа было какъ бы расколото на-двое. Въ это время Италія еще была общимъ отечествомъ для всѣхъ, родившихся на ея почвѣ; еще между всѣми частями ея была живая, органическая связь, которая чувствовалась каждому. Не только въ Римѣ, но и во Флоренціи принималось къ сердцу то, что происходило въ Ломбардіи, и наоборотъ. Но въ то же время нельзя было почувствовать и носить въ сердцѣ Италію, какъ нѣчто единое и цѣлое, потому что всякій сознавалъ ея двойственность. Нравственному лицу непремѣнно предстоялъ выборъ. Не довольно было по своему рожденію принадлежать къ тому или другому лагерю: надобно еще было знать, гдѣ помѣстить свои убѣжденія. Каждая сторона предъявляла свои права; но которая

изъ нихъ была правѣе? И что, если по нѣкоторымъ природнымъ условіямъ человѣкъ занималъ мѣсто въ одномъ лагерѣ, а убѣжденія тянули его къ другому? Не долженъ ли былъ въ немъ тогда произойти разладъ съ самимъ собою, съ совѣстью? И какой наконецъ могъ быть исходъ изъ этой внутренней борьбы? На всѣ эти вопросы можно отвѣчать не иначе, какъ обстоятельствами самой жизни того или другого историческаго лица, которое бы принадлежало тому времени и котораго самый образъ мыслей былъ бы намъ извѣстенъ съ достовѣрностью.

Нигдѣ въ цѣлой Италіи враждующія партіи не были такъ рѣзко поставлены одна противъ другой, какъ въ Тосканѣ. Условія ихъ развитія были тѣ же самыя, что и въ сѣверныхъ провинціяхъ, но по мѣстному положенію страны борьба между внутренними тосканскими партіями затянулась на болѣе долгій срокъ времени, чѣмъ въ Ломбардіи, и открытая вражда между ними получила болѣе ожесточенный характеръ. Сравнительно гибеллинизмъ имѣлъ здѣсь менѣе силы, потому что былъ удаленъ отъ главной своей опоры; но одно близкое сосѣдство Рима не могло еще доставить рѣшительнаго перевѣса противной партіи. Для полного успѣха ей надобно было сверхъ того искать популярности у себя дома; а это значило пробудить въ массѣ народа опасныя инстинкты и ввести въ игру политическихъ партій новый дѣйствующій элементъ, котораго роль прежде была чисто пассивная. Вообще, по мѣрѣ того, какъ дѣйствіе упрощалось въ Ломбардіи, оно становилось все болѣе и болѣе сложнымъ въ Тосканѣ, гдѣ, вслѣдствіе особенной постановки партій, готовился и новый порядокъ вещей, во многихъ отношеніяхъ отличный какъ отъ ломбардскаго, такъ и отъ римскаго въ тѣсномъ смыслѣ слова.

Противоборство политическихъ партій, простиравшееся на всѣ тосканскіе города, сосредоточивалось главнымъ образомъ во Флоренціи. Присутствіе въ ней двухъ враждебныхъ одинъ другому элементовъ, по словамъ историка Маласпины, обнаружилось впервые еще въ 1215 году раздоромъ, открывшимся по случаю насильственной смерти мессера Буондельмонте между благородными фамиліями города. Съ того времени раздѣленіе городского патриціата на гвельфскій и гибеллинскій лагерь не прекращалось внутри самыхъ стѣнъ Флоренціи. Какъ въ другихъ городахъ Италіи, они были и здѣсь чужды всякаго духа примиренія и показывали, одинъ въ отношеніи къ другому, большую наклонность къ исключительнымъ мѣрамъ.

Пока еще не рѣшенъ былъ споръ между двумя главными авторитетами внутри имперіи, каждая изъ флорентинскихъ партій имѣла для себя вѣрную опору на сторонѣ, и всегда могла рассчитывать на содѣйствіе внѣшней помощи. Тогда обѣ стороны имѣли почти равныя надежды на успѣхъ. Нѣкоторое время могло казаться, что гибеллины, съ помощью своего сильнаго союзника, совершенно вытѣснятъ своихъ противниковъ и займутъ послѣ нихъ поле сраженія. Такъ было, напримѣръ, въ 1248, когда гибеллины, поддерживаемые Фридрихомъ II, выгнали своихъ противниковъ изъ Флоренціи. Опираясь на нѣмецкій гарнизонъ, состоявшій изъ 800 всадниковъ, они позволили себѣ въ городѣ полное самоуправство. Самые дома гвельфовъ были ими разрушены. Однимъ словомъ, гибеллины забрали въ свои руки всю власть и распоряжались во Флоренціи какъ въ завоеванномъ городѣ. Но обстоятельства скоро измѣнились. Послѣдовавшая черезъ два года смерть Фридриха II лишила флорентинскихъ гибеллиновъ главной ихъ опоры и обнаружила ихъ безсиліе. Чтобъ не потерять твердой почвы подъ ногами и сохранить хотя часть прежняго вліянія, когда нельзя было удержать цѣлаго, они должны были подумать о примиреніи съ своими заклятыми врагами. Гвельфы снова возвратились въ городъ, еще полные горькаго чувства недавно понесенной ими обиды. Видъ разрушенныхъ жилищъ, лежавшихъ въ развалинахъ, еще больше подстрекалъ въ нихъ и безъ того нетерпѣливое желаніе мести. Народъ тѣмъ охотнѣе улыбался возвратившимся гвельфамъ, что во время ихъ изгнанія испыталъ на себѣ многія невыгоды исключительнаго господства одной партіи. Еще на нѣкоторое время успѣли согласиться въ томъ, чтобъ управленіе было общее, такъ что каждая часть городского населенія имѣла въ немъ свою долю участія. Весь городъ раздѣленъ былъ на шесть кварталовъ, изъ которыхъ каждый посылалъ отъ себя въ правительственный совѣтъ двухъ представителей (*anziani*), и народъ получилъ военную организацію. Рядомъ съ прежнею, аристократическою общиною возвысилась другая, народная, получившая защитника своихъ правъ во вновь установленномъ званіи „начальника народныхъ силъ“ (*capitano del popolo*) ¹⁾. Какъ ни мало было залоговъ прочности въ этомъ учрежденіи, оно впрочемъ держалось нѣсколько лѣтъ, и пока еще не раскачались его

¹⁾ См. Mach. Le storie fiorentine, l. II (годъ 1250 годомъ). Ср. Hegel, Gesch. d. Städteverf. II, p. 270.

нетвердые спай, доставило даже перевѣсъ Флоренціи. Сильная хотя только искусственнымъ и условнымъ согласіемъ своихъ гражданъ, она скоро дала почувствовать свое временное преимущество сосѣднимъ городскимъ общинамъ, и въ продолженіе какихъ-нибудь десяти лѣтъ, посредствомъ своихъ смѣлыхъ воинственныхъ предпріятій, рѣшительно стала во главѣ союза тосканскихъ городовъ. Вольтерра была разрушена, а Пистойя, Ареццо и Сіена принуждены вступить въ флорентинскую лигу. Не только въ Тосканѣ, имя Флоренціи было громко въ цѣлой Италіи. Одну минуту можно было подумать, что ей выпадала завидная роль древняго Рима, который, примиривъ свои внутреннія партіи, обратилъ ихъ соединенную силу на окрестныя земли, и мало-помалу сгруппировалъ около себя разсѣянныя итальянскія народности. Но обольщеніе продолжалось недолго: Флоренція оставилась на самыхъ первыхъ началахъ той исторической роли, которую, повидимому, сама судьба отдавала ей въ руки. Скоро обнаружилось, что примиреніе разнородныхъ элементовъ, которые вмѣщались въ стѣнахъ ея, было внѣшнее, и что организмъ общества, крѣпкій по наружности, въ своемъ внутреннемъ составѣ все больше и больше стремился къ расторженію.

Вообще, если и можно вмѣстѣ съ Макиавелемъ находить нѣкоторую параллель между древнимъ Римомъ и новыми итальянскими городами относительно постановки внутреннихъ партій, то надобно также прибавить, что новые итальянцы вовсе не отличались чувствомъ благоразумной мѣры, которое помогло римлянамъ такъ счастливо пройти многіе кризисы ихъ внутренней политической жизни. Итальянцы всегда вносили слишкомъ много страсти и ея исключительности въ свои междусословныя отношенія, и тѣмъ вредили ихъ правильному опредѣленію. Этимъ непримиримымъ духомъ проникнуты самыя раннія столкновенія внутреннихъ итальянскихъ партій, при первомъ появленіи ихъ въ исторіи. Кто знаетъ кровавыя схватки, происходившія въ Римѣ и Равеннѣ еще въ VII и VIII вѣкахъ и оканчивавшіяся большею частью избіеніемъ одной партіи другою, того не удивитъ извѣстіе, что гораздо позже, въ эпоху полного развитія двухъ политическихъ партій, раздѣлившихъ между собою почти всю Италію, тотъ же духъ взаимной исключительности обыкновенно бралъ перевѣсъ надъ всѣми расчетами благоразумія, и что каждая сторона постоянно стремилась къ полному преобладанію надъ своими противниками, не показывая и тѣни уваженія къ ихъ правамъ.

Миръ никогда не могъ быть проченъ и продолжителенъ, потому что въ самыхъ сердцахъ не было никакого миролюбія. Какъ торжествующіе гибеллины не хотѣли потерпѣть подлѣ себя гвельфовъ, такъ и гвельфы въ свою очередь ждали только удобнаго случая, чтобъ лишить ненавистную имъ партію всѣхъ правъ и даже выбросить ее вонъ изъ города. Споръ шелъ, какъ видится изъ самаго дѣла, не объ уравниніи правъ между двумя враждующими сторонами, а о томъ, чтобъ доставить одной изъ нихъ исключительное господство передъ другою. Въ древнемъ Римѣ начинали съ неравенства правъ, чтобъ прійти къ постепенному ихъ уравнинію; гвельфы и гибеллины, напротивъ, въ своемъ спорѣ отправлялись отъ равныхъ правъ, чтобъ достигнуть ихъ раздѣленія. Борьба римскихъ партій взялась отъ внутреннихъ причинъ, была порождена существовавшимъ уже раздѣленіемъ сословій; въ новыхъ итальянскихъ городахъ разъединеніе пришло извнѣ и произвело расколъ въ томъ, чтó прежде составляло одно цѣлое. Естественнo, что и самый исходъ борьбы былъ далеко не одинаковый. Въ этомъ смыслѣ, кажется намъ, должно быть измѣнено мнѣніе Макиавеля, который находилъ большое сходство между древне-римскими и флорентинскими партіями, и выражалъ удивленіе, что однородныя на его взглядъ явленія произвели однако столь различныя слѣдствія.

Такимъ образомъ становится понятно, почему въ Тосканѣ политическія перемены такъ быстро слѣдовали одна за другою. Флоренція особенно долго не могла найти себѣ спокойнаго пристанища, бросаемаая волнами, какъ утлое судно, то къ тому, то къ другому берегу. Мирное, повидимому, сожителство гибеллиновъ и гвельфовъ, по возвращеніи послѣднихъ, скоро опять разрѣшилось въ открытую вражду между ними. Гибеллины сами подали поводъ къ нарушенію мира, вступивъ въ сношенія съ братомъ Конрада IV, Манфредомъ, котораго звѣзда стояла тогда очень высоко въ южной Италіи. Узнавъ объ этихъ связяхъ, народъ пришелъ въ безпокойство. Уберти, которые стояли тогда въ главѣ партіи, были позваны къ отвѣту передъ „совѣтомъ городскихъ старшинъ“ (*anziani*), но они отказались явиться на зовъ и укрѣпились въ стѣнахъ своего дома въ ожиданіи нападенія. Гвельфы тотчасъ приняли сторону народа, и тревога распространилась по всему городу. Застигнутые въ расплохъ, гибеллины не устояли противъ дружныхъ ударовъ своихъ вооруженныхъ противниковъ, и покинувъ свои жилища, бѣжали всею массою въ Сіену,

чтобъ тамъ переждать невзгоду и приготовиться къ новой борьбѣ. Они рассчитывали всего болѣе на помощь Манфреда, и не обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. Изгнаніе ихъ продолжалось только два года. Въ 1260 году, благодаря стараніямъ неутомимаго Фаринаты дельи-Уберти, Манфредъ прислалъ изгнанникамъ обѣщанное вспоможеніе. Оно состояло изъ 800 хорошо вооруженныхъ латниковъ. Подъ гибеллинскимъ знаменемъ стали сверхъ того многіе граждане Сіены, Пизы и другихъ тосканскихъ городовъ. Флорентинскіе гвельфы вышли къ нимъ на встрѣчу, но въ битвѣ при рѣкѣ Арбіи, или при Монтаперти, были разбиты на голову, и тѣ изъ нихъ, которые уцѣлѣли отъ пораженія, не считая себя болѣе безопасными въ родномъ городѣ, спѣшили укрыться отъ преслѣдованія въ стѣнахъ союзной Лукки ¹⁾. Гибеллинамъ ничего не стоило потомъ снова утвердиться во Флоренціи. Но послѣднее двухлѣтнее испытаніе нисколько не сдѣлало ихъ благоразумнѣе. Сильные своимъ союзомъ съ Манфредомъ и гордые своею побѣдою, они и на этотъ разъ, какъ и прежде, забыли всякую умѣренность. Гвельфскимъ изгнанникамъ не оставлено было ни ихъ жилищъ, ни имѣній; городское устройство Флоренціи, составлявшее главную ея силу, было ниспровергнуто, и народъ лишенъ тѣхъ правъ, которыя вновь пріобрѣтены были имъ изъ борьбы двухъ господствующихъ партій между собою. Гибеллины хотѣли властвовать безраздѣльно. Между тѣмъ, на этой насиліемъ изрытой почвѣ, чувство отсутствія всякой безопасности доходило въ нихъ самихъ до такой степени, что на собраніи въ Эмполи, гдѣ сошлись вожди партіи изъ разныхъ тосканскихъ городовъ, почти рѣшено было разрушить до основанія Флоренцію и не оставить въ ней камня на камнѣ—такъ мало надежды имѣли гибеллины когда-нибудь вполне привязать ее къ своимъ интересамъ. Пусть лучше погибнетъ, чѣмъ достанется врагамъ—разсуждали они, увлекаемые страстью, и только патріотическій вопль Фаринаты отвелъ губительный ударъ, уже занесенный надъ царицею Тосканы ²⁾. Это былъ послѣдній подвигъ патріотическаго сердца Фаринаты, который вскорѣ потомъ погибъ самъ насильственною смертью

¹⁾ Подробности битвы при Монтаперти можно читать въ Hist. de Florence, par M-me H. Allard, p. I, ch. III. Это было, безспорно, одно изъ кровопролитнѣйшихъ дѣлъ своего времени. Битва продолжалась около семи часовъ сряду. Болѣе 2500 флорентинцевъ осталось на полѣ сраженія, и болѣе 1800 взято было въ плѣнъ. Все же число погибшихъ и плѣнныхъ полагаютъ, хотя конечно преувеличенно, въ 30,000 человекъ. — ²⁾ Извѣстны стихи, которые

отъ руки одного изъ своихъ родственниковъ, и какъ будто унесъ съ собою въ могилу тайну успѣховъ своей партіи и самое ея счастье. Когда гибеллины торжествовали въ большей части ломбардскихъ и тосканскихъ городовъ, новая опасная для нихъ вражда загорѣлась въ южной Италиі. Манфредъ встрѣтилъ достойнаго себя соперника въ Карлѣ Анжуйскомъ, и погибъ, сражаясь съ нимъ въ битвѣ при Беневентѣ (1265). Смерть его отозвалась во всѣхъ городахъ, гдѣ до сихъ поръ господствовало гибеллинское вліяніе. Флорентинскіе гибеллины, во главѣ которыхъ былъ Гвидо Новелло, назначенный отъ Манфреда намѣстникомъ, особенно были поражены этимъ несчастіемъ въ самое сердце. Не ожидая болѣе поддержки съ юга, они думали по крайней мѣрѣ обезопасить себя сколько-нибудь внутри города. Чтобъ отвлечь народъ отъ гвельфовъ и расположить его въ свою пользу, они положили возвратить ему недавно отнятыя права. Жители Флоренціи раздѣлены были по занятіямъ или ремесламъ на цехи (семь высшихъ и пять нисшихъ), и вмѣстѣ съ знаменами снова получили военную организацію. Но дѣлая уступки по формѣ, гибеллины хотѣли въ то же время оставаться полными господами на дѣлѣ. Замѣтивъ въ новопоставленныхъ магистратахъ, которые были въ числѣ 36, гвельфскія симпатіи, они призвали въ городъ нѣмецкія дружины и неосторожно показали намѣреніе возобновить прежнее самовластіе. Цехи не хотѣли отдать даромъ уступленныя имъ права и рѣшились лучше защищать ихъ съ оружіемъ въ рукахъ. Они вооружились и тѣмъ вызвали на себя нападеніе. Въ самыхъ улицахъ Флоренціи произошло кровавое побоище. Нѣмецкая кавалерія не устояла противъ множества и принуждена была выступить изъ города, осылаемая камнями, которые летѣли на нее со всѣхъ сторонъ изъ домовъ и съ высокихъ башенъ. На другой день Гвидо Новелло приступилъ было снова къ городу, но встрѣтивъ то же упорное сопротивленіе, потерялъ всякую надежду на успѣхъ и удалился въ Прато. Вслѣдъ за нимъ удалились туда же и всѣ гибеллины, лишившіеся въ городѣ всякой опоры.

Флорентинскіе граждане, оставшіеся одни въ городѣ, все не показали той исключительности и нетерпимости, ко-

[дантъ влагаетъ въ уста спасителя Флоренціи:

*Ma fu'io sol, colà, dove sofferto
Fu per ciascuno di tor via Fiorenza,
Colui che la difese a viso aperto. —*

(Inf. c. x.).

торой на глазахъ своихъ видѣли столько примѣровъ. Они, напротивъ, подали изгнанникамъ обѣихъ партій благой примѣръ миролюбія, возвративъ тѣхъ и другихъ въ стѣны родного города и предоставивъ имъ право устроиться между собою, чтобъ жить на будущее время въ мирѣ и согласіи. Въ самомъ дѣлѣ, не только гвельфы снова призваны были во Флоренцію, но вслѣдъ за ними возвращены даже и гибеллины, несмотря на то, что у всѣхъ свѣжо было воспоминаніе о ихъ доказанной опытномъ неблагонамѣренности. Флорентинцы имѣли добрую цѣль возстановить полное единство въ своей общинѣ, сохраняя всѣхъ ея членовъ ¹⁾. Первое время казалось, что партіи также вошли въ миролюбивые виды гражданъ и готовы были оправдать надежды ихъ своимъ поведеніемъ. Чтобъ скрѣпить новый союзъ, гвельфскія и гибеллинскія фамиліи заключили между собою нѣсколько браковъ. Такъ Адимари женилъ своего сына на дочери Гвидо Новелло; дочь знаменитаго предводителя гибеллиновъ, Фаринаты дельи-Уберти, вышла замужъ за гвельфа изъ фамиліи Кавальканти, впоследствии заслужившаго извѣстность своимъ поэтическимъ талантомъ. Было и еще нѣсколько подобныхъ союзовъ, заключенныхъ между соперничающими фамиліями съ тою же самою цѣлью. Однако, несмотря на кажущееся согласіе и родственныя связи, духъ вражды и раздѣленія опять взялъ свое. Обѣ партіи были одинаково неисправимы. Если гвельфы, имѣя на своей сторонѣ расположеніе народа, давали чувствовать свое превосходство старымъ своимъ противникамъ, то гибеллины не скрывали своего нетерпѣливаго ожиданія лучшихъ обстоятельствъ, чтобъ снова занять то положеніе, въ которомъ они находились до удаленія своего изъ города. Случай не замедлилъ представиться. При вѣсти, что Конрадинъ, молодая отрасль знаменитаго дома, поднялъ швабское знамя и идетъ возвратить достояніе своихъ предковъ въ Италію, гибеллинская партія во Флоренціи опять пришла въ движеніе и неосторожно обнаружила свои старыя симпатіи. Подозрѣвая ли только свѣщенія гибеллиновъ съ молодымъ претендентомъ, или напавъ на дѣйствительные ихъ слѣды, гвельфы также спѣшили принять свои мѣры предосторожности. Они тотчасъ обратились къ Карлу Анжуйскому, который былъ тогда главною опорой

¹⁾ Mach. Le storie fior. l. II, an. 1266: Restato adunque il popolo vincitore... si deliberò di riunire la città, ove richiamare tutti i cittadini così Ghibellini come Guelfi, i quali si trovassero fuori.

гибеллинскихъ стремленій на полуостровѣ, и получили щаніе скорой помощи. Цѣлый отрядъ французскихъ всадовъ, высланный изъ Неаполя подѣ начальствомъ графа до Монфорта, въ самомъ дѣлѣ вступилъ въ предѣлы Тоны, направляясь къ Флоренціи. На гибеллиновъ напалъ ическій страхъ. По одному слуху о приближеніи вспомознаго отряда, они, никѣмъ не понуждаемые и никѣмъ удерживаемые, вышли изъ города и частью разсѣялись по естнымъ замкамъ, частью же удалились въ Сіену и Пизу. ѡлавшись такъ легко отъ своихъ безпокойныхъ совмѣстнихъ, флорентинскіе гвельфы вступили въ явный союзъ съ ломъ и передали ему синьйорію своей земли на десять ѣ, въ силу чего онъ каждый годъ потомъ присылалъ въ ренцію своего подесту. или намѣстника. Порядокъ вещей, атый этимъ нечаяннымъ оборотомъ дѣла, еще болѣе упроръ былъ несчастнымъ исходомъ предпріятія, къ которому вязаны были послѣднія надежды приверженцевъ швабскадома. Гибеллины, пока были цѣлы, не отказывались отъ ихъ видовъ и намѣреній; но, живя въ изгнаніи, и притомъ енные надежныхъ союзниковъ, должны были до времени живать свои нетерпѣливые порывы. Антагонизмъ двухъ равленій не кончился, но не былъ болѣе сосредоточенъ въ мѣ городѣ; гибеллинизмъ держался еще въ Тосканѣ, но ренція оставалась гвельфскою.

Тѣмъ временемъ воспользовались флорентинцы, чтобы, за люченіемъ одной партіи, устроить у себя болѣе или менѣе вильнымъ образомъ внутреннія отношенія. Задача была льно трудная. Требовалось не только подрѣзать самыи гибеллинизма во Флоренціи, но и по возможности соитъ требованія оставшихся въ ней элементовъ гражданю населенія, потому что цехи вовсе не думали отказаться своихъ правъ въ пользу гвельфовъ и желали удержать приобрѣтенное ими самостоятельное значеніе въ городѣ. вая изъ двухъ предположенныхъ цѣлей, повидимому, доалась тѣмъ, что всѣ владѣнія удалившихся гибеллиновъ и конфискованы и раздѣлены на три равныя части. Одна нихъ обращена была въ собственность города и поступила его управленіе, другая отдана была гвельфамъ въ вознагражденіе за понесенные ими убытки, третья же превращена капиталъ для покрытія издержекъ въ случаѣ войны съ анниками. Кромѣ того учрежденъ былъ особый синдикъ, который имѣлъ назначеніе наблюдать за всѣми возмож-

ными проявленіями гибеллинскаго духа въ городѣ и пресѣдовать его въ самомъ зародышѣ. Подобныя мѣры конечно всего менѣе способны были утвердить миръ въ общинѣ, раздѣленной внутреннимъ несогласіемъ; но по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время онѣ связывали гибеллинамъ руки, и съ этой стороны обеспечивали спокойствіе города. Гораздо труднѣе было разрѣшить вторую задачу: привести къ единству прочія составныя части флорентинскаго народонаселенія. Каждая изъ нихъ, какъ гвельфы, такъ и цехи, хотѣли сохранить свою самостоятельность; ни одна не расположена была совершенно подчинить себя другой. Нельзя было и думать о томъ, чтобы согласить навсегда эти требованія и достигнуть полнаго единства въ управленіи. Флорентинцамъ пришлось еще разъ остановиться на одной сложной комбинаціи, которая нисколько не закрывала внутреннихъ трещинъ и, какъ предшествующія ей, означала лишь переходное состояніе. Извѣстія довольно темны, но они даютъ понять, что хотя высшая правительственная власть предоставлена была вновь учрежденному гвельфскому совѣту, который состоялъ изъ 12-ти человекъ, носившихъ почетное титуло *buonomini*, но что онъ самъ находился подъ отчетностью у другого, болѣе обширнаго совѣта, который, въ числѣ 80-ти членовъ, составлялся изъ выборныхъ средняго класса (*il popolo grasso*), или высшихъ цеховъ, и засѣдалъ подъ выразительнымъ названіемъ *credenza*, т. е. „довѣренныхъ“. Впрочемъ и всѣ остальные слои городского народонаселенія не были изъяты изъ комбинаціи. Подлѣ втораго совѣта былъ еще третій, собиравшійся въ числѣ 180-ти членовъ изъ представителей городскихъ кварталовъ, по 30-ти отъ cadaго. Правда и обязанности послѣдняго неизвѣстны въ точности; знаемъ только, что всѣ три совѣта, взятые вмѣстѣ, составляли одно большое учрежденіе, которое было извѣстно подъ именемъ „генеральнаго совѣта“. Сверхъ того существовалъ еще „смѣшанный совѣтъ“ изъ гвельфовъ и выборныхъ отъ высшихъ цеховъ, который занимался пересмотромъ рѣшеній прочихъ совѣтовъ и давалъ ихъ приговорамъ окончательную форму. Трудно представить себѣ правительственную машину болѣе сложную и болѣе запутанную; но въ ней отразились запутанныя отношенія, породившія ее. По всему видно, что въ созданіи ея главную роль играла взаимная недовѣрчивость сословій. Каждый подозрѣвалъ другаго въ недобрыхъ намереніяхъ и старался держать строгій контроль надъ всѣми его дѣйствіями. Та же самая недовѣрчивость выразилась въ

рокахъ, назначенныхъ для отправленія высшихъ публичныхъ обязанностей. Такъ члены совѣта 12-ти избирались только на два года, и потомъ смѣнялись другими. Боясь узурпаціи, лишили правительственный совѣтъ всякой возможности установить твердую и однообразную политику. Такъ или иначе общество было организовано во Флоренціи, но расторгающая сила попрежнему брала въ немъ перевѣсъ надъ соединяющей¹⁾.

На примѣрѣ Флоренціи читатель можетъ видѣть, до какой степени простиралось упорство и вмѣстѣ живучесть средне-вѣковыхъ итальянскихъ партій. Мы уже знаемъ ихъ исключительность, которая дѣлала невозможнымъ прочное примиреніе между ними и вела прямо къ истребленію однихъ другими. Все равно, какая бы партія ни побѣдила, побѣжденному во всякомъ случаѣ грозило не только изгнаніе, но и лишеніе всѣхъ средствъ существованія. Дома были разрушаемы, имущества отбирались въ пользу побѣдителей или поступали во владѣніе союзной съ ними городской общины. Однажды едва ли состоялось рѣшеніе разрушить цѣлый городъ, потому что одна торжествующая сторона не надѣялась истребить въ немъ всѣхъ слѣдовъ другой, хотя и униженной партіи. Какимъ же образомъ возможно было такое долгое и упорное существованіе партій, постоянно стремившихся къ истребленію одна другой? Какимъ образомъ могли повторяться по нѣскольку разъ и те же самыя явленія, когда побѣждающая сторона, повидимому, не оставляла другой — даже почвы, на которой бы та могла дѣйствовать? Наконецъ, отчего это непримиримое ожесточеніе враждующихъ сторонъ всего больше собиралось и поддерживалось въ главныхъ центрахъ общежитія, внутри самихъ городовъ?

Повторяемъ вслѣдъ за другими всѣ эти вопросы, чтобы, на нашемъ отвѣтѣ на нихъ еще разъ указать читателю на некоторые существенныя отличія итальянскихъ партій отъ другихъ, исторически извѣстныхъ, какъ въ общей ихъ постановкѣ, такъ и въ частномъ размѣщеніи. Явленія, однородныя по наружности, часто оказываются весьма несходными,

¹⁾ Внутреннее устройство Флоренціи въ данную эпоху излагаетъ межпрочимъ Макиавель въ своей «Флор. исторіи» (ibid. ad an. 1267). Ср. томъ же предметѣ Вегеле, р. 50 -- 51, который приводитъ впрочемъ лишь то же существенное. Событія слѣдовали собственно въ такомъ порядкѣ: сначала внутреннее устройство, потомъ войны прогнать гибеллиновъ.

когда подойдешь къ нимъ ближе и начнешь разсматривать въ подробностяхъ. Прежде всего, какъ мы уже и замѣтили, не должно смѣшивать римскихъ партій временъ республики съ итальянскими. Тѣ родились въ Римѣ и умѣщались только въ предѣлахъ его государственной области. Итальянскія партіи, напротивъ, возникли не изъ мѣстныхъ условій того или другого города, а изъ общаго хода политики всей страны. Прежде чѣмъ сдѣлаться мѣстными, онѣ были общими цѣлой Италіи. Какъ отъ рѣшенія римско-германскаго вопроса зависѣла судьба всей итальянской національности, такъ вся она, въ борьбѣ между Римомъ и имперіею, дѣлилась между двумя противоположными направленіями. Ни Римъ, ни Флоренція, ни Миланъ не произвели бы изъ себя гвельфо-гибеллинскаго раздѣленія, если бъ оно не пришло къ нимъ извнѣ, со стороны. Что происходило сначала въ высшихъ сферахъ, въ вѣковой борьбѣ между двумя главными началами, то потомъ уже отражалось на каждомъ отдѣльномъ городѣ. Римскія партіи могли распространяться по Италіи вмѣстѣ съ распространеніемъ римскаго имени, потому что выходили изъ Рима, гдѣ было ихъ настоящее гнѣздо; итальянскія же, бывъ первоначально повсемѣстными, сосредоточивались потомъ въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ центрахъ и принимали въ каждомъ изъ нихъ особый оттѣнокъ. Точнѣе сказать, каждый городъ завязывалъ свой особый узелъ для дѣйствія, которое въ то же время происходило по всей Италіи. Поэтому мѣстный успѣхъ той или другой партіи не только ничего не рѣшалъ въ общемъ ходѣ дѣла, но не давалъ ей рѣшительнаго перевѣса даже въ томъ городѣ, гдѣ она была у себя дома и считала себя торжествующею. Всякое частное дѣйствіе, какъ гвельфское, такъ и гибеллинское, было въ то же время и общимъ для цѣлой партіи, разсѣянной по всему лицу полуострова. Партія, побѣжденная и осужденная на изгнаніе въ одномъ городѣ, всегда могла найти себѣ сочувствіе и убѣжище въ другомъ. Если гвельфы утверждались во Флоренціи, то гибеллины уходили въ Сіену и Пизу; когда же брали верхъ послѣдніе, гвельфы удалялись въ Лукку и тамъ собирали новыя силы для отмщенія своимъ противникамъ. Внутренній раздоръ одного города превращался такимъ образомъ въ междоусобную войну цѣлой области. Въ Ломбардіи происходило почти то же самое, что и въ Тосканѣ. Мало того: въ случаѣ крайняго напряженія борьбы, враждующія стороны могли разсчитывать—кто на Неаполь, кто даже на Германію. Чѣмъ больше старались пода-

вить или уничтожить элементы раздора въ одномъ центрѣ, тѣмъ больше размножались они по всей странѣ. Такъ пламя, вырвавшись наружу изъ внутренности одного дома, занимаетъ, одно за другимъ, всё близъ лежащія строенія, гдѣ только можетъ найти себѣ пищу. Спасеніе Италіи при такомъ безвыходномъ состояніи было не въ побѣдѣ одной партіи надъ другою—потому что побѣда, чья бы то ни была, не давала никакого рѣшительнаго результата—но въ ихъ взаимномъ истощеніи и въ усиленіи новыхъ общественныхъ элементовъ, которые давно уже скопились во множествѣ въ итальянскихъ городахъ, и теперь, при помощи благоприятныхъ имъ обстоятельствъ, вездѣ пробивались впередъ, чтобы, отгнѣснивъ гвельфовъ и гибеллиновъ, мало-по-малу самимъ заступить ихъ мѣсто и стать во главѣ общественнаго движенія.

Нельзя также смѣшивать итальянскіе городскіе споры съ обыкновенными феодальными враждами (*Fehde*), ни съ тою борьбой, которую около того же времени французскія городскія общины выдерживали противъ мѣстнаго феодализма. Принадлежа одной исторической эпохѣ, всё эти событія носятъ на себѣ печать одного духа. Поэтому между ними гораздо больше внутренней аналогіи, чѣмъ въ борьбѣ старыхъ римскихъ и флорентинскихъ партій. Но и здѣсь есть свои важныя и существенныя различія. Внутренняя итальянская драма также разыгрывалась главнымъ образомъ внутри феодальнаго сословія; но въ другихъ мѣстахъ феодализмъ вездѣ имѣлъ своего главу; здѣсь же, со времени паденія швабскаго дома, онъ былъ совершенно безголовымъ и пользовался полною свободой во всѣхъ своихъ движеніяхъ. Потому нигдѣ феодальная вражда не развивалась такъ послѣдовательно, систематически, нигдѣ не имѣла она такого универсальнаго характера, какъ въ Италіи. Каждый отдѣльный случай тотчасъ отзывался чувствительнымъ сотрясеніемъ почти на всемъ ея пространствѣ. Но что можетъ-быть болѣе всего характеризуетъ борьбу внутреннихъ итальянскихъ партій—это самый театръ ихъ дѣйствія, или та арена, на которой обыкновенно происходили ихъ состязанія. Между тѣмъ какъ въ другихъ странахъ феодальное сословіе большею частью жило разсѣянно въ своихъ владѣніяхъ, въ Италіи, наоборотъ, оно постоянно отличалось склонностью къ городской жизни. У итальянскихъ феодальныхъ владѣльцевъ также были свои замки, расположенные въ окрестностяхъ городовъ, но это были скорѣе временныя ихъ убѣжища, чѣмъ мѣста постоянного жительства.

Итальянскій феодализмъ не менѣе всякаго другого любилъ ограждать себя крѣпкими твердынями; но этотъ обычай жить въ крѣпкихъ стѣнахъ, защищенныхъ зубцами и башнями, онъ переносилъ съ собою въ самый городъ. Тамъ, внутри городской ограды, воздвигалъ онъ обыкновенно свои дома - крѣпости, изъ которыхъ многія до сихъ поръ сохранили свой грозный видъ среди новыхъ мирныхъ жилищъ, и въ нихъ выдерживалъ онъ первыя нападенія—большеею частью отъ членовъ того же сословія ¹⁾. Цѣлыя городскія улицы застроивались такимъ образомъ укрѣпленными феодальными дворцами, и часто бокъ-о-бокъ приходились жилища двухъ непримиримыхъ противниковъ. Словомъ, итальянскій городъ среднихъ вѣковъ былъ главною квартирою феодализма, и вмѣстѣ съ нимъ вмѣщалъ въ своихъ стѣнахъ всю раздражавшую его внутреннюю вражду. Оттого особенно часты были ея вспышки и горячіе столкновенія партій; оттого воздухъ былъ здѣсь воспламенятельнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, что онъ спирался въ тѣсномъ пространствѣ городской ограды. На самыхъ улицахъ города происходила большая часть тѣхъ сценъ, которыя въ другихъ мѣстахъ разыгрывались среди чистаго поля. Даже послѣ полевой битвы, какъ побѣдители, такъ и побѣжденные опять расходились по городамъ. Естественно, что городское сословіе, жившее въ тѣхъ же стѣнахъ, не могло оставаться безучастнымъ зрителемъ тѣхъ событій, которыя ежедневно совершались въ его глазахъ. Оно также вмѣшивалось въ борьбу и пользовалось раздоромъ партій, чтобъ упрочить свою самостоятельность и независимость. Но это вмѣшательство третьей партіи еще болѣе усложняло дѣйствіе. Какъ во Франціи, среднее сословіе въ Италіи также должно было выдержать борьбу съ феодализмомъ; но была большая разница между какою-нибудь феодальною башнею, поставленною у городскихъ воротъ, и цѣлымъ рядомъ укрѣпленныхъ строеній, выдвинутыхъ одно за другимъ вдоль городскихъ улицъ. Въ послѣднемъ случаѣ врагъ былъ болѣе домашній, болѣе внутренній; съ нимъ надобно было бороться въ этихъ самыхъ улицахъ,

¹⁾ Рассказывая вражду гвельфскихъ и гибеллинскихъ фамилій, Вегеле (р. 18) дѣлаетъ между ними такое различіе, что будто первыя происходили отъ чисто итальянскихъ родовъ, а вторыя—отъ пришельцевъ (лангобардовъ и другихъ). Это обстоятельство было бы чрезвычайно важно для оцѣнки внутреннихъ итальянскихъ отношеній въ XIII вѣкѣ; но мы сильно сомнѣваемся, чтобъ оно могло быть доказано; намъ сдается, что авторъ категорически высказалъ лишь свое собственное предположеніе.

оспаривать у него каждую пядень земли внутри города. Можно себѣ представить, сколько взаимнаго раздраженія накоплялось между партіями, и какъ труденъ былъ раздѣлъ между ними. когда онѣ постоянно находились въ присутствіи одна другой, и когда всѣ расчеты между ними производились въ тѣсномъ кругу городской ограды!

Въ эту эпоху повсемѣстныхъ гражданскихъ смуть, когда на всемъ политическомъ горизонтѣ Италіи не видно было почти ни одной свѣтлой точки, досталось увидѣть свѣтъ и прожить свой вѣкъ знаменитому творцу «Божественной комедіи».

II.

Кто хочетъ знать литературную Италію того же времени, тотъ въ особенности долженъ обратиться къ Фориелю. Онъ подошелъ къ ней со стороны своего любимаго Прованса, и съ рѣдкою ясностью раскрылъ продолжающееся въ ней дѣйствіе той же поэтической стихіи, которая въ другомъ мѣстѣ произвела собственно такъ называемую провансальскую поэзію. Онъ породнилъ Италію съ Провансомъ въ искусствѣ, какъ они были родня между собою и въ самой жизни. Благодаря Фориелю яснѣе, чѣмъ когда-нибудь, обнаружилась внутренняя связь между бытомъ страны и ея литературою въ данный періодъ времени.

Новая Италія получила отъ стараго Рима богатое литературное наслѣдство. Оно имѣло потомъ неоспоримое вліяніе на ея послѣдующую литературную дѣятельность. Долгое время, пока продолжалась борьба между романскимъ и германскимъ элементами, и слагались новыя формы жизни, Италія не знала у себя ни другой литературы, ни другого письменнаго языка, кромѣ латинскаго. Ей было еще не до творческой производительности: она довольствовалась и тѣмъ, что могла сохранить старыя литературныя преданія ¹⁾. Не могло быть національной поэзіи, потому что еще не опредѣлилась фізіономія самой національности. Въ нее вошло столько постороннихъ элементовъ, и между ними было столько диссонансовъ, что

¹⁾ О томъ, какъ сберегались старыя литературныя преданія въ Италіи, см. особенно: Ozanam, Dante et la philosophie catholique.

поэтической гармоніи вовсе не находилось мѣста. Образованность, сколько ея уцѣлѣло въ эти бурныя времена, счастлива была уже и тѣмъ, что могла поддержать свои связи съ старой римской литературой, которыя угрожали разорваться каждую минуту. Но для многого, что прежде имѣло свое ясное и опредѣленное значеніе, утраченъ былъ смыслъ. Поэтический обликъ Виргилія получилъ новый оттѣнокъ, вовсе неизвѣстный его современникамъ. Прежнее содержаніе поэзіи становилось все болѣе и болѣе невразумительно; за то вновь возникающая образованность тѣмъ упорнѣе держалась за старыя поэтическія формы. Итальянская національная поэзія не могла долго освободиться отъ вліянія старыхъ искусственныхъ формъ: онѣ налегли на нее слишкомъ рано и положили на нее свою печать, которой слѣды не изгладились совершенно даже при полномъ расцвѣтѣ новаго итальянскаго искусства. Пользуясь тѣми же формами, католическое духовенство въ Италіи, которое стояло тогда во главѣ образованія, особенно много содѣйствовало къ тому, чтобы провести черезъ нихъ другое направленіе. Какъ и въ другихъ странахъ Европы, оно направляло здѣсь латинскую письменность всего болѣе на ученую дѣятельность. Поэзія была на нѣкоторое время почти совершенно вытѣснена средневѣковою наукой. За богословіемъ послѣдовала новая разработка римскаго права. Точныя науки также скоро принялись въ итальянскихъ городахъ. Происходившія въ нихъ разнообразныя событія послужили обильнымъ матеріаломъ для исторіографіи. Такъ началась итальянская городская хроника, обыкновенно привязывавшая свой разсказъ къ событіямъ римской исторіи. Даже заговоривъ на родномъ итальянскомъ языкѣ, итальянскіе аналиты все еще смотрѣли на свою исторію какъ на прямое продолженіе римской—такъ трудно было для новой итальянской литературы освободиться изъ подъ римскаго вліянія и стать на свои собственныя ноги! ¹⁾).

Народнаго эпоса не было въ новой Италіи; можетъ-быть по тому самому, что подвиги, если какіе были, принадлежали германскимъ народностямъ и совершились до сліянія ихъ съ романскою. Германскіе герои, дѣйствовавшіе на итальянской почвѣ, естественно отходили къ области германской саги. Довольно указать на примѣръ Дитриха Бернскаго или Веронскаго. Фориель много хлопоталъ о томъ, чтобы въ литератур-

¹⁾ См. Wegele, Dante's Leben, p. 22—27.

ныхъ памятникахъ Италіи до XIV столѣтія отыскать нѣкоторые слѣды поэтическихъ народныхъ сказаній, и едва успѣлъ подмѣтить нѣсколько обломковъ, впрочемъ довольно сомнительнаго свойства ¹⁾. Чаше всего они попадаются въ итальянскихъ хроникахъ, которыя, несмотря на языкъ, отзываются по мѣстамъ народною историческою пѣснью. Нѣчто въ этомъ родѣ сказалось еще въ IX вѣкѣ по поводу кратковременнаго плѣна императора Лудовика II (изъ дома Каролинговъ), задержаннаго въ Беневентѣ интригами герцога Адельгиза. Для X вѣка тотъ же авторъ указываетъ на воинственную пѣснь, которую граждане Модены пѣли по ночамъ (около 964 года), охраняя свои стѣны отъ непріятельскаго нападенія. Крестовые походы также, повидимому, отозвались въ особыхъ пѣснопѣніяхъ. Рѣдкіе слѣды той же поэтической настроенности замѣчаются еще и въ XIII вѣкѣ; они относятся къ значительнѣйшимъ историческимъ событіямъ того времени и сохранены въ мѣстныхъ хроникахъ. Фэриель приводитъ слѣдующій примѣръ. Послѣ Сицилійскихъ вечеренъ Карлъ Анжуйскій готовилъ жителямъ острова страшное мщеніе. Опасность особенно грозила Мессинѣ, которая ничѣмъ не была защищена отъ нападенія. Не теряя времени, жители ея, мужчины, женщины и дѣти, принялись работать надъ укрѣпленіями, и въ нѣсколько дней городъ былъ приведенъ въ такое состояніе, что могъ безъ страха смотрѣть на приготовленія своего непримиримаго врага. Мессинскія женщины показали особенно много усердія къ общему дѣлу, такъ что въ честь ихъ сложена была пѣснь, которой начало сохранилось въ хроникахъ Джаккетто Малеспини и Джованни Виллани. Взятое изъ нихъ слѣдующее мѣсто дѣйствительно выдѣляется по своему тону изъ обыкновеннаго историческаго разсказа: „О какъ жалостно видѣть мессинскихъ женщинъ съ растрепанными волосами, таскающихъ камни и известъ! Пошли же Богъ много заботъ и горя тому, кто грозитъ разрушить Мессину“. Эти и подобныя имъ звуки неоспоримо принадлежать настроенію болѣе или менѣе поэтическому, какое можно найти почти во всякомъ вѣкѣ, но едва ли даютъ намъ право заключать о существованіи народной поэзіи въ тѣсномъ значеніи слова.

Въ твореніяхъ Данта и у Бокаччіо есть сверхъ того указанія и на произведенія народной музы въ другихъ родахъ.

¹⁾ См. Fauriel, Dante, t. 1, 16 leçon: poésie populaire italienne au XIII siècle.

Любопытнѣе всего, что нѣкоторыя изъ нихъ были сатирическаго характера. Они слагались жителями итальянскихъ городовъ въ немногіе дни, когда они отдыхали отъ междоусобій, и обыкновенно направлены были такъ, что попадали прямо въ политическихъ соперниковъ того города, въ которомъ жили слагатели пѣсенъ. Это было нѣкоторымъ образомъ продолженіе той же борьбы, только на другомъ полѣ. Сначала ломали копья другъ о друга, потомъ перебрасывались эпиграммами. Сверхъ того Фориель замѣчаетъ въ ту же эпоху третій рядъ народныхъ пѣсенъ въ Италіи, которыя ограничивались домашнимъ кругомъ, или имѣли своимъ предметомъ частныя приключенія, какъ романическія, такъ и всѣ сколько-нибудь замѣчательныя своими особенностями. Такъ Бокаччіо въ своемъ «Декамеронѣ», рассказавъ одно происшествіе, приводитъ два стиха одного сицилійскаго поэта, прямо относящіеся къ содержанию разсказа; по словамъ нувеллиста, они еще пѣлись въ его время ¹⁾. Все это интересно узнать отъ одного изъ первыхъ знатоковъ южныхъ европейскихъ литературъ; жаль только, что, указавъ на слѣды прошедшихъ явленій, онъ не могъ возстановить ихъ для знанія въ тѣхъ самыхъ размѣрахъ, въ какихъ они существовали въ дѣйствительности.

Въ то время, какъ въ народѣ продолжалось еще поэтическое настроеніе, оставившее едва примѣтные слѣды въ литературѣ, въ разныхъ мѣстахъ Италіи принялась и наша себѣ способныхъ представителей искусственная лирика. Первое возбужденіе къ ней занесено было сюда со стороны. Извѣстно, что Провансъ былъ родиною новой европейской лирики, которая потомъ распространялась отсюда въ разныхъ направленіяхъ. До сихъ поръ однако не довольно приведены въ ясность мѣстныя условія, сдѣлавшія Провансъ раньше другихъ южно-европейскихъ странъ центромъ для цѣлаго цикла поэтическихъ произведеній. Этихъ условій справедливо искали въ уцѣлѣвшихъ здѣсь остаткахъ древней образованности, какъ греческой, такъ и римской, какъ бы вновь ожившихъ подъ свѣжимъ дыханіемъ новыхъ народныхъ и жизненныхъ элементовъ. Но надобно замѣтить, что въ такомъ же почти положеніи находились и нѣкоторыя другія страны; однако въ нихъ не пробилось столько же обильнаго поэтического ключа. Довольно естественно было бы искать причинъ такого явленія, какъ ранній цвѣтъ поэзіи, въ благоприятныхъ мирныхъ об-

¹⁾ Ibid. p. 474 — 75.

гоятельствахъ края, въ его затишьѣ; но и въ этомъ отношеніи Провансъ едва ли много превосходилъ лежащія близъ него бласти. Долгое время, наравнѣ съ другими странами, онъ подверженъ былъ нападеніямъ пришельцевъ. Они то останавливались въ немъ на временное житіе, то приходили грабить, разорять его; потомъ здѣсь также утвердился феодальный утъ, и начались неразлучныя съ нимъ безконечныя вражды. равнительно, положеніе Прованса и южной Франціи въ XI XII вѣкахъ было лучше, чѣмъ Испаніи, гдѣ еще не совершился переломъ въ кровавой борьбѣ между мусульманами и христіанами, но край былъ далекъ отъ внутренняго спокойствія. Всѣ приведенныя условія поэтому недостаточны еще для объясненія ранняго процвѣтанія провансальской поэзіи.

Какъ кажется, много значила самая постановка страны въ отношенію къ различнымъ направленіямъ, которыя дѣйствовали вокругъ нея. Провансъ и южная Франція лежатъ, какъ сказать, на перекресткѣ различныхъ путей, ведущихъ съ сѣвера, востока и юга. Это страна наиболѣе подверженная разнообразнымъ вліяніямъ. Сюда доходили и здѣсь останавливались крайнія и часто противоположныя между собою стремленія, которыя выходили изъ Франціи (сѣверной), Германіи, Італіи и Испаніи. Здѣсь связывались между собою концы южныхъ противоположныхъ направленій, дѣйствовавшихъ поэзіи въ другихъ частяхъ западной Европы. Съ одной стороны, сюда достигало и здѣсь окончивалось эхо чудесныхъ сказаній скандинавскаго и германскаго сѣвера, съ таинственными силами, въ нихъ дѣйствующими, и необыкновенными замѣрами ихъ героевъ. Съ другой стороны, южная Франція первая послѣ Испаніи принимала впечатлѣнія арабской поэзіи. Съ частыхъ сношеній, то враждебныхъ, то дружескихъ, арабо-испанское вліяніе отражалось здѣсь даже на самыхъ нравахъ жителей. Въ южной Франціи, въ такъ называемой Лангедокѣ, едва ли не ранѣе, чѣмъ въ самой Испаніи, воились съ искусствомъ ея завоевателей. Арабская рима, арабскія формы поэзіи вообще, могли приняться здѣсь гораздо скорѣе, чѣмъ въ Сициліи и Італіи ¹⁾, Это вліяніе не шло сюда далѣе, или уже выражалось въ формѣ провансальской поэзіи. Ближайшее сосѣдство сѣверной Франціи и Італіи также конечно не оставалось безъ дѣйствія на Провансъ съ сопре-

¹⁾ См. между прочимъ о вліяніи арабскаго искусства и поэзіи—Hammergristall, Literaturgeschichte der Araber t. 1, Einl. p. XXI.

дѣльными ему областями: первая дѣйствовала новыми, т. е. франкскими учрежденіями, укоренившимися въ ней, вторая—остатками прежняго духа и учреждений. Это единство направленія между южною Франціею и сѣвѣрною Италіею особенно выразилсь въ XII вѣкѣ въ коммунальномъ движеніи, которое было общимъ какъ той, такъ и другой странѣ. Если южная Франція вмѣстѣ съ Провансомъ не могла принять и вмѣстить въ себѣ всѣхъ дѣйствовавшихъ на нее стороннихъ вліяній, то она не могла также уйти отъ сильнаго возбужденія ими. Но въ ней было сверхъ того много глубокой воспріимчивости. Какъ не прошли мимо нея, но здѣсь остановились и пустили глубоко въ землю свой корень крайніе отпрыски различныхъ религіозныхъ сектъ (патареновъ, катарровъ и другихъ), вышедшихъ съ отдаленнаго Востока и проникнувшихъ сюда невидимыми путями изъ Византійской имперіи и Италиі, такъ, съ другой стороны, кроткое поэтическое вліяніе, приходившее съ Юга, встрѣчено было не менѣе живыми симпатіями на той же самой землѣ, и скоро такъ привилось къ ея почвѣ, что могло приносить на ней новые плоды.

Такъ или иначе, но надобно признаться, что въ углу, образуемомъ крайнимъ протяженіемъ Альповъ къ Средиземному морю и линіею Пиренеевъ, лежитъ одна изъ плодороднѣйшихъ историческихъ почвъ, замѣчательная по своей рѣдкой производительности. Сюда же отчасти принадлежитъ и примыкающая къ ней древняя Аквитанія. Воспріимчивость и даровитость жителей этихъ странъ раскрылись еще гораздо ранѣе, въ послѣднія времена Римской имперіи, при переходѣ въ новую европейскую исторію. Тогда не было кругомъ такихъ разнообразныхъ вліяній; но довольно было проникнуть сюда римской образованности, чтобъ въ непродолжительное время вся страна покрылась ея цвѣтами, и чтобъ, хотя по чужому образцу, здѣсь зародилась своя собственная, чрезвычайно обильная литература. Разливъ варваровъ, правда, скоро остановилъ это, можно сказать, преждевременное спѣяніе, но не убилъ совершенно въ южной Франціи ни стремленія къ независимому политическому существованію, ни таившихся въ ней зародышей самостоятельнаго развитія.

Черезъ нѣсколько вѣковъ потомъ, когда подъ различными вліяніями здѣсь образовался новый фокусъ поэтической дѣятельности, она выработала здѣсь свое собственное содержаніе и явилась въ своей оригинальной формѣ. Провансальская поэзія избѣжала подражанія. У нея была своя, не за-

мствованная стихія, которая составляла какъ бы самую ея душу. Это была „любовь“ — не такъ, какъ понимали ее древніе или какъ стали бы толковать наши современники, а другое, болѣе искусственное чувство, которое могло прозябать лишь при особенномъ состояніи литературы и самаго общества, — любовь мечтательная, идеальная, рыцарская, не исключавшая впрочемъ обыкновенныхъ матеріальныхъ потребностей. Въ ней было всего понемногу; каждое изъ господствующихъ направленій вѣка отразилось въ ней въ той или въ другой степени; если главнаго основанія этого чувства надобно искать въ католичествѣ, то арабская поэзія, повидимому, не мало способствовала къ образованію тѣхъ формъ, въ которыхъ оно выражалось. Провансальцы не выдумали, не изобрѣли его вновь: они, безъ сомнѣнія, нашли его въ самой жизни и опозитивировали его еще болѣе въ своихъ произведеніяхъ. Въ немъ выразилось идеальное направленіе вѣка вообще. Грубость нравовъ не исключаетъ совершенно идеальныхъ стремленій. Они, напротивъ, пробиваются иногда тѣмъ съ большею силою, чѣмъ болѣе въ общественномъ устройствѣ дано мѣста грубымъ матеріальнымъ требованіямъ. Въ феодальную эпоху общество задыхалось отъ преобладанія физической силы, отъ произвола и насилія всякаго рода; человѣкъ чувствовалъ себя безопаснымъ только за крѣпкими стѣнами и въ желѣзной скорлупѣ, въ которую заковывалъ себя съ головы до ногъ. Но идеальное продолжало жить въ обществѣ несмотря на господство кулачнаго права, и какъ скоро открыло себѣ нѣкоторые выходы, устремилось ими съ неудержимою силою, какъ вода, разрушившая плотину, которая останавливала ея теченіе. Крестовое движеніе, охватившее западную Европу въ концѣ XI вѣка, служило однимъ изъ такихъ выходовъ идеальнымъ стремленіямъ вѣка. Много благородныхъ силъ унесено было этимъ потокомъ на отдаленный Востокъ, но онѣ не истощились совершенно въ Европѣ. Внутри ея продолжалъ бить тотъ же самый ключъ изъ-подъ земли, и струи его отливались прямо въ поэтическую форму. Идеаль въ сущности былъ одинъ и тотъ же, только что примѣненіе его различное. На Востокѣ это служеніе идеѣ получило болѣе духовный характеръ; тамъ оно въ особенности посвящено было одному высокому образцу, и потому нѣкоторыя религіозно-рыцарскія братства въ Палестинѣ считали даже себя подъ непосредственнымъ его покровительствомъ ¹⁾.

¹⁾ См. между прочимъ Hurter, Gesch. Innozenz d. III. t. IV, p. 446 etc.

На Западѣ, т. е. въ Европѣ, тотъ же самый культъ получилъ другой, болѣе свѣтскій оттѣнокъ. Женщина вообще высоко стала въ понятіяхъ феодальнаго общества. Идеальное воззрѣніе оторвало ее отъ общаго уровня и вдругъ подняло ее на такую высоту, что она казалась уже неземнымъ существомъ. Въ очарованіи, производимомъ ею, увидѣли какое-то магическое дѣйствіе особеннаго рода; чувство, ею внушаемое, казалось не принадлежащимъ къ разряду обыкновенныхъ человѣческихъ чувствъ. Любовь получила таинственный смыслъ, т. е. перешла въ служеніе. Оттого такъ легко уживались между собою любовь рыцарская и чувственная, что онѣ различались между собою не по качествамъ только, но принадлежали къ двумъ совершенно различнымъ категоріямъ. Любовь собственно была только рыцарская; чувственные же ея проявленія не вытекали изъ того же понятія и назывались совсѣмъ другими именами.

Самый образъ жизни феодальнаго общества отчасти способствовалъ къ тому, чтобы естественное чувство, внушаемое женщиною, превратилось въ мистическое служеніе ей. Никогда, ни прежде, ни послѣ, внѣшняя жизнь общества не располагалась такъ странно и, можно даже сказать, такъ противно первымъ условіямъ общежитія. Вездѣ, кромѣ Италіи, феодализмъ большею частью чуждался городовъ. Городская жизнь и ея удобства были не по немъ; городскія улицы казались ему слишкомъ тѣсны и душны. Онъ былъ дикъ отъ природы и любилъ вить свои гнѣзда вдали отъ людей, на малодоступныхъ высотахъ. Тамъ стояли его крѣпкіе бурги, или замки, обнесенные стѣнами и рвами. Бойницы и поднятые мосты, которые прежде всего представлялись глазу проезжаго, не могли служить вывѣскою гостепріимства. Запираясь въ своихъ замкахъ, феодализмъ отчуждался отъ всѣхъ и производилъ разединеніе даже въ своемъ собственномъ кругу. Замками нельзя было жить такъ тѣсно и дружно, какъ живутъ домами или просто семействами. Тому мѣшало уже самое разстояніе; прибавьте сюда также недостатокъ средствъ сообщенія и совершенное отсутствіе безопасности на дорогахъ. Только заковавшись въ сталь съ головы до ногъ и взявъ съ собою вооруженную свиту, можно было безопасно дѣлать значительные переѣзды. Тѣмъ болѣе затруднительны были всѣ перемѣны мѣста и передвиженія для женщинъ, принадлежавшихъ къ феодальному сословію. Беззащитностью своего пола и условіями своего общества онѣ осуждены были проводить большую

часть своихъ дней въ стѣнахъ замковъ, какъ птицы въ клеткахъ. Ихъ не держали въ заключеніи, какъ на Востокѣ, но нѣ лишены были возможности пользоваться своею свободою. Хорошо, если однообразіе жизни въ бургѣ нарушалось пріѣздомъ гостей: тогда внутренний дворъ замка и всѣ жилия мѣста въ немъ наполнялись шумомъ и движеніемъ, и одушевленный оворъ не смолкалъ до глубокой ночи. А то не принужденнымъ атворницамъ приходилось такъ плохо, что по-часту не съѣмъ было молвить слово. Поэтому выѣзды на охоту и чрезвычайныя собранія, извѣстныя подъ именемъ „дворовъ“, были астоящими праздниками для обитательницъ замковъ; по тому же самому трубадуры и жонглёры всегда находили столь адушный пріемъ у нихъ: уже одно появленіе ихъ служило ріятнымъ развлеченіемъ среди томительнаго однообразія суроаго феодальнаго быта.

Женщина стала рѣдка, женщина не была болѣе непреѣннымъ и постояннымъ украшеніемъ свѣтскаго общества. е надобно было усиленно отыскивать, чтобъ имѣть удовольгвіе быть въ ея присутствіи. Если она сама видѣла Божій іръ большею частью изъ-за стѣнъ, сквозь узкія оконницы еодальныхъ замковъ, то лица, искавшія ея благосклонности, ыли поставлены въ отношеніи къ ней еще невыгоднѣе. Програнство и стѣны ставили почти неодолимую преграду для астныхъ сообщеній; много было мѣста для наблюденія, но ѣдко представлялись случаи даже для простой бесѣды. Оттоо впрочемъ не менѣе чувствовался недостатокъ присутствія ьенщины въ обществѣ; ее искали можетъ быть тѣмъ сильнѣе, ѣмъ менѣе находили. Недостатокъ женскаго очарованія нельа замѣнить ничѣмъ другимъ. Оно тѣмъ скорѣе переходитъ ь мечтательную восторженность, чѣмъ рѣже встрѣчается въ ьизни. На столько были нерѣдки встрѣчи съ женщиною въ еодальномъ быту, что изъ нихъ легко могло зародиться чувгво взаимности; но, воспламенившись разъ, оно часто осудено было сграть безплоднымъ огнемъ. Чѣмъ выше стояла ьенщина въ феодальной іерархіи, тѣмъ рѣже и меньше была а доступна искательствамъ. Средневѣковая красавица, пеговаривающая или только обмѣнивающаяся взглядомъ изъ ькаго окна феодальной башни съ проѣзжимъ рыцаремъ — не ьтъ чистая выдумка. Пажи и другіе полуофіціальныя поедники между влюбленными свидѣтельствуютъ о болѣе утоненныхъ нравахъ и принадлежать уже нѣсколько позднѣйшеу времени. Кромѣ внутренности донжона, женщину можно

было встрѣчать еще на большихъ парадныхъ выходахъ, на рыцарскихъ турнирахъ въ особенности; но здѣсь она показывалась не иначе, какъ во всей своей помпѣ и среди самой блестящей обстановки, была не просто украшеніемъ праздника, но и царицею его. Она была верховнымъ судьей рыцарской доблести и вѣнчала ее своею одобрительною улыбкой. Къ ней приближались съ подобострастіемъ, чтобъ принять изъ рукъ ея заслуженную награду, и съ тѣмъ же самымъ чувствомъ отступали назадъ. Дружеской короткости здѣсь не было довольно ни мѣста, ни времени. На этой степени чувство имѣло скорѣе видъ обожанія, чѣмъ любви. Разлука только увеличивала его силу и придавала ему еще болѣе мечтательный характеръ. Все идеальнѣе и идеальнѣе казалась „дама сердца“, недоступная простымъ человѣческимъ отношеніямъ, удаленная изъ круга ежедневнаго обращенія, и все больше и больше отдѣлялась отъ земли, на которой жили и дѣйствовали прочіе смертныя. Женщина средняго или низшаго сословія, поставленная иначе, внѣ искусственныхъ условій феодальнаго общества, на болѣе короткой ногѣ съ другими людьми, по тому же самому казалась уже существомъ совсѣмъ другого рода, отличнымъ отъ перваго какъ бы по самой своей натурѣ. Къ ней шла, пожалуй, чувственная любовь, но первой приличенъ былъ развѣ только культъ особеннаго рода, какъ недостижимому идеалу, къ которому и самыя отношенія необходимо должны быть идеальныя.

Къ этому культу принадлежала отчасти рыцарская поэзія. Она была прямымъ выраженіемъ нѣжнаго чувства, обращеннаго къ одному высокому идеалу и остающагося на степени обожанія. Полное чувство, какого бы оно ни было свойства, любить высказываться въ гармоническихъ звукахъ; разрозненное съ предметомъ своихъ постоянныхъ стремленій, оно становится можетъ-быть еще краснорѣчивѣе. Естественно было рыцарю, который нашелъ свой идеалъ и посвящалъ ему всѣ свои думы, стараться выразить въ словахъ наполнявшій его восторгъ. Поэтическое настроеніе легко производитъ и соотвѣтствующую ему поэтическую форму. Одинъ удачный опытъ служилъ образцомъ для множества болѣе или менѣе счастливыхъ подражаній. Чувство высказанное— въ половину удовлетворенное чувство. Съ своей стороны женщины тѣмъ болѣе чувствовали потребность въ выраженіи симпатій, которыя онѣ внушали своимъ поклонникамъ. что сами еще болѣе лишены были средствъ передавать свои ощущенія. Поэтическія

ращенія къ нимъ не столько льстили ихъ самолюбію, сколько удовлетворяли ихъ первой сердечной потребности. На сторону въ честь ихъ совершались блистательные подвиги личной аборости и самоотверженія, но для нихъ самихъ едва ли могло быть другое болѣе пріятное приношеніе, какъ эта поэтическая дань, которая вся слагалась изъ удивленія ихъ красотѣ изъ выраженія глубочайшей преданности имъ, или точнѣе—бранной сердцемъ поэта предпочтительно передъ другими. Искусственная и довольно однообразная пѣснь трубадура, передившаго изъ замка въ замокъ и вездѣ воспѣвавшаго одно чувство, одинъ родъ любви, замѣняла для женщины того имени очень многое. Она доносила до женскаго слуха и роющее для него признаніе, и сердечный вздохъ обожателя, ворила сердцу и воображенію женщины, свидѣтельствовала торжествъ ея и наконецъ пріятно наполняла ея праздное время. Неудивительно, что женское ухо легко склонялось къ этой музыкѣ. Иногда влюбленный рыцарь и трубадуръ слились въ одно лицо: тогда самая простая мелодія получала вую прелесть. Подъ огнемъ глазъ красавицы еще сильнѣе взгоралось вдохновеніе, и немудрено, что поэтическія строфы только пѣлись, но и слагались вновь въ ея присутствіи. Въ такомъ случаѣ говорилъ за самого себя, пѣлъ свое личное чувство и потому былъ гораздо способнѣе передать утреннюю теплоту его. Послушаемъ хотя одного изъ нихъ.

„Когда земля одѣлась зеленью, распустились листья, и цвѣты застрѣли на поляхъ; когда соловей собирается пѣть, и ужъ раздаются смѣлки и свѣтлыя звуки его голоса, тогда я счастливъ соловьемъ и вѣтами, счастливъ собою и еще болѣе моею „дамою“; радость, счастье ватываютъ меня со всѣхъ сторонъ, но я ничего не знаю выше вѣсты любви.

Дивлюсь, какая еще сила удерживаетъ меня и не позволяетъ мѣ открытъ передъ нею моего влеченія. Всякій разъ, когда я смотрю на нее и встрѣчаю ея сладкій взоръ, меня глечетъ къ ней съ непреодолимою силой. Одинъ только страхъ удерживаетъ меня...

Если бъ я владѣлъ чарами, могущими все превращать, я бы сдѣлалъ то, что мои враги поглубѣли бы, какъ малыя дѣти, такъ что кто бы изъ нихъ не могъ даже подумать ничего дурного ни о моей мѣ, ни обо мнѣ. Тогда я только бы и зналъ, что любовался ея красотой, и все смотрѣлъ бы ей въ лицо, покрытое нѣжнымъ румянцемъ, въ ея прекрасные глаза. Я не оставилъ бы ни одного мѣста на ея щекѣхъ, и цѣлый мѣсяцъ потомъ горѣлъ бы на нихъ жаръ моихъ поцелуевъ.

Но мною владѣютъ одни печальныя думы. Времени я до того мало поглощенъ ими, что меня могли бы похитить, и я бы самъ не

замѣтилъ того. Мудрено ли? Любовь застигла меня врасплохъ, безъ друзей и безъ помощи: ей легко было побѣдить меня, и когда я сталъ ея плѣнникомъ, во мнѣ не осталось больше никакой силы, какъ въ челоуѣкѣ, въ которомъ вся энергія убита однимъ влеченьемъ.

О какъ бы я желалъ застать мою даму одну, найти ее спящею или только притворившеюся, что спитъ, чтобъ сорвать у нея одинъ поцѣлуй, потому что у меня не достаетъ духу попросить его. О моя дама! какъ медленно подвигаемся мы впередъ въ нашей любви! Время идетъ — и мы позволяемъ проходить ему, самому дорогому для насъ времени: чувствуемъ въ себѣ недостатокъ смѣлости и не можемъ замѣнить ея хоть тайными знаками, чтобъ только понять другъ друга!¹

Это произведеніе, которое мы взяли съ французскаго прозаическаго перевода, принадлежитъ Бернару де-Вантадуръ, одному изъ провансальскихъ поэтовъ, родомъ изъ Лимузина. Онъ процвѣталъ около половины XII вѣка ¹⁾. Такъ пѣли рыцари-трубадуры любовь на Западѣ въ то самое время, какъ братья ихъ, рыцари-иноки, сражались подъ священнымъ знаменемъ на отдаленномъ Востокѣ. Поэзія нѣжныхъ чувствъ и словъ становилась подъ другимъ небомъ и на другой почвѣ поэзіею геройскихъ дѣлъ. Между тѣмъ связь не прерывалась совершенно между двумя, повидимому, столько противоположными направленіями. Тѣ же самые трубадуры были иногда посредниками между ними, или соединяя въ своемъ лицѣ оба служенія, или переходя отъ одного къ другому. Наскучивъ пѣть безотвѣтную любовь, или что еще хуже, испытавъ невѣрность, нѣкоторые изъ нихъ брались за пилигримскій посохъ или прямо за мечъ, и шли сражаться въ рядахъ крестовыхъ ополченій.

„Если моя дама и любовь (амуръ) измѣнились ко мнѣ, и я попалъ у нихъ въ немилость“ (пѣлъ другой поэтъ, оскорбленный измѣною своей красавицы), „то не думайте, чтобъ я пересталъ пѣть и потерялъ униженіе моей чести, или чтобъ я отказался отъ всякой славы и бросилъ все, какъ это разъ случилось со мною прежде.

Бѣдить изъ стороны въ сторону, скакать, рыскать, переносить всякаго рода лишенія и трудности, не знать ни сна, ни покоя — вотъ въ чемъ буду я впередъ проводить время. Я вооружусь и деревомъ, и желѣзомъ, и сталью, и не посмотрю ни на жаръ, ни на холодъ; лѣса и непролѣзніе пути будутъ мнѣ обыкновеннымъ пристанищемъ; вмѣсто пѣсенъ любви я буду пѣть насмѣшливые сирвенты и стану защищать слабыхъ противъ сильныхъ.

Несмотря на то, я попрежнему вмѣнилъ бы себѣ въ честь, если бъ мнѣ удалось встрѣтить благородную, прекрасную даму высокихъ

¹⁾ См. Hist. de la poésie provençale, t. II, p. 21.

гоиствѣ. Пусть только она будетъ великодушнѣе къ моимъ недоккамъ и менѣе внимательна къ моимъ порицателямъ, а главное, гь не заставляетъ долго просить себя—и я готовъ отъ всей души юбить ее, разумѣется съ ея позволенія. Отъ такой любви я и теь не прочь.

Наконецъ разсудокъ заговорилъ во мнѣ и заставилъ молчать мою юю страсть къ одной коварной и презрѣнной женщинѣ, страсть, дѣвшую мною цѣлый годъ. Я такъ горячо люблю славу, что мнѣ ганетъ и ея для счастья. Она разсѣетъ мое горе, на зло амуру, ѣ дамѣ и моему собственному слабому сердцу. Теперь я отдѣлался нихъ, и впредь буду умѣть поддержать мое достоинство и безъ ть.

Я съумѣю служить съ честью на войнѣ, подъ знаменемъ импероровъ и королей; я заставлю говорить другихъ о моей храбрости; никому не уступлю въ искусствѣ владѣть копьемъ и мечомъ. Въ ферратѣ или здѣсь, близъ Форкалье (Forcalquier), я буду жить ною и соберу около себя цѣлую банду. Такъ какъ мнѣ нѣтъ счастья любви, то я отрекаюсь отъ нея, и пусть на нее падетъ вся вина томъ, что я не хочу болѣе служить ей“¹⁾.

Такъ въ горячихъ сердцахъ пробуждалась оскорбленная царская честь, и нѣжное чувство восторженной любви югъ уступало мѣсто не менѣе порывистому негодованію, коюе такъ же скоро и опрометчиво низвергло кумирь, какъ ѣжде онъ былъ поднятъ на пьедесталь. Рэмбо да-Вакейрасъ ю рѣчь идетъ о немъ) сдержалъ свое слово по крайней рѣ въ половину. Онъ въ самомъ дѣлѣ бросилъ (хотя только время) свою лиру, вооружился мечомъ, вступилъ въ служБонифация, маркиграфа монферратскаго, и вмѣстѣ съ нимъ правился въ крестовый походъ. Это было извѣстное ополченіе крестоносцевъ, вышедшее въ 1204 году изъ Венеціи. Свое изательство Рэмбо выполнилъ до конца. Не его была вина, о крестоносцы вмѣсто Палестины попали въ сердце Визанской имперіи, и взяли вмѣсто Іерусалима Константиноль. Ошибка лежала на отвѣтственности вождей, заправлявшихъ всѣмъ предпріятіемъ, и имѣла свое основаніе въ измѣніи внутренняго характера крестоноснаго движенія. Вступивъ ополченіе, рыцарь-трубадуръ совершилъ вмѣстѣ съ нимъ походъ, участвовалъ во многихъ битвахъ, и въ награду храбрость получилъ потомъ свою долю въ общемъ дѣлежѣ. мь была достигнута, самолюбіе было удовлетворено. Рэмбо мль знатнымъ сеньйоромъ и могъ гордиться громкимъ имемъ. Но старый недугъ скоро возвратился къ нему. Мирныя

¹⁾ Ibid. p. 62—63.

впечатлѣнія Запада не изгладились у него даже среди шумной и дѣятельной жизни на Востокѣ. Едва отдохнувъ отъ трудовъ въ своемъ новомъ владѣніи, онъ снова началъ тосковать о своемъ миломъ Провансѣ и объ Италіи, которая была ему почти второю родиною. Часто грезились ему наяву давно отвергнутыя мечты, и одинокое сердце снова просило себя любви. Никакое разсѣяніе не помогало ему, и даже боевые звуки не могли совершенно заглушить въ немъ внутренней тоски и тревоги. Рэмбо не утерпѣлъ—снова взялъ забытую лиру и опять пѣлъ рыцарскую любовь.

„Каждый день я только и вижу, что военное оружіе или самихъ вооруженныхъ людей и боевые снаряды; на глазахъ моихъ безпрестанно даются битвы, осаждаются города и падаютъ одинъ за другимъ то башни, то самыя стѣны, какъ старыя, такъ и новыя. Но я не нахожу болѣе никакихъ средствъ защититься отъ любви. Напрасно, сѣвъ на прекраснаго боеваго коня и надѣвъ богатые доспѣхи, я разѣзжалъ изъ стороны въ сторону, скачу и ищу битвъ, приступовъ и другихъ военныхъ дѣлъ: все удается мнѣ, и имя мое постоянно растетъ; во сѣ тѣхъ поръ, какъ любовь не улыбается мнѣ, весь міръ кажется мнѣ пустынею, и самыя пѣсни не утѣшаютъ меня болѣе“.

Но напрасно поэтъ рвался къ любимымъ мѣстамъ и хотѣлъ превратить дорогія ему воспоминанія въ существенность: ему не суждено было болѣе видѣть ни Прованса, ни Италіи. Онъ, повидимому, искалъ смерти и чрезъ три года дѣйствительно нашелъ ее въ битвѣ противъ враговъ.

Рыцари и трубадуры были кочующій народъ. Какъ вольныя птицы, они любили переходить съ мѣста на мѣсто. Феодальный бытъ, дробившій міръ на множество участковъ, но вовсе не знавшій постоянныхъ границъ, открывалъ полную свободу странническимъ наклонностямъ. У феодальнаго чело-вѣка не было отечества въ строгомъ смыслѣ слова: онъ приставалъ вездѣ, гдѣ только находилъ добрый пріютъ. Сходство обычаевъ сглаживало многія народныя особенности. Иные уходили на Востокъ, увлекаемые общимъ стремленіемъ, другіе, не простираясь такъ далеко, ограничивали свои странствованія ближайшими странами. Италія лежала на пути великаго крестonosнаго движенія, которымъ всего болѣе волновалась Франція: сюда былъ самый большой приливъ странствующей братіи съ Запада, сюда же шли вслѣдъ за другими странствующие рыцари, трубадуры, жонглёры. Сверхъ общаго движенія и интереса новости, ихъ влекло въ Италію сходство быта и самаго образа жизни. Шумные феодальные дворы съ

ихъ блестящею обстановкою были здѣсь не менѣе часты, какъ и въ южной Франціи. Условленные обычаи высшаго феодальнаго общества, которыхъ цвѣтъ ранѣе всего созрѣлъ въ Провансѣ и Лангедокѣ, господствовали также въ Піемонтѣ и Ломбардіи. Послѣднія изъ этихъ странъ въ нѣкоторомъ отношеніи казались естественнымъ продолженіемъ первыхъ. Между ними не было никакого искусственнаго разобщенія. При итальянскихъ дворахъ такъ же хорошо понимали пѣсни любви, какъ и при провансскомъ: и тамъ и здѣсь держались на одномъ уровнѣ образованности и принимали одинаковыя ея формы. У городовъ Италіи и южной Франціи также были свои общіе интересы, какъ были у нихъ и общія воспоминанія. Лишь только въ первой началось движеніе городскихъ общинъ, какъ оно тотчасъ передалось даже на другую сторону Роны. Нерѣдко заключались между тѣми и другими городами союзы въ видахъ торговыхъ и другихъ интересовъ. Такъ Марсель подписалъ въ 1108 году особый договоръ съ Газтою, а въ 1110 другой—съ Пизою. Ницца, Арль, Монпелье, Нарбонна тоже были въ постоянныхъ связяхъ то съ Генуею, то съ Пизою, то съ обоими городами вмѣстѣ. За исключеніемъ кратковременныхъ перерывовъ, эти дружественныя отношенія между ними продолжались болѣе двухъ вѣковъ. Временемъ они даже соглашались между собою на общія предпріятія. Въ 1117 году, когда пизанцы затѣяли морскую экспедицію противъ испанскихъ арабовъ, они нашли живое сочувствіе своей мысли и готовность способствовать ея исполненію во многихъ городахъ южной Франціи. Арль, Монпелье и Нарбонна приняли участіе въ экспедиціи, и благодаря ихъ дружному содѣйствію, предпріятіе увѣнчалось нѣкоторымъ успѣхомъ. Кромѣ острова Майорки, у арабовъ отнято было нѣсколько городовъ въ самой Испаніи, лежащихъ на берегу моря. Любопытно, что, отправляясь въ походъ, пизанцы ввѣрили храненіе своего города флорентинцамъ. Такъ иногда передъ общимъ врагомъ замирало на время даже закоренѣлое чувство соперничества и взаимной недовѣрчивости городскихъ партій. Надобно ли говорить, что всѣ эти связи и постоянныя сношенія открывали широкіе пути странствующему рыцарству въ Италію и вездѣ обѣщали ему добрый пріемъ? Событія второй половины XII вѣка особенно способствовали къ тому, чтобъ усилить сближеніе между двумя сосѣдственными странами. Фридрихъ Барбаросса, прибывъ въ Италію, возобновилъ между прочимъ старыя притязанія имперіи на Провансѣ.

Въ Туринѣ онъ держалъ блестящій дворъ, къ которому являлись, одни за другими, богатые провансальскіе сеньйоры. По своему обычаю, они приходили сюда съ многочисленною свитою, и такимъ образомъ пролагали дорогу къ тому же двору провансальскимъ рыцарямъ, трубадурамъ, жонглёрамъ. Тогда ужъ начали слышаться въ Италиі поэтическіе голоса, образовавшіеся въ Провансѣ. Громкое имя самого Барбароссы было первое, на славу котораго отозвалось вдохновеніе провансальской музы на новой землѣ ¹⁾. По своей любви къ искусству, Гогенштауфены были и естественными его покровителями. Въ юности Генрихъ VI самъ слагалъ строфы въ честь своей красавицы *). Въ послѣдствіи нравъ его ожестѣлъ отъ другихъ, болѣе важныхъ заботъ; но любовь къ искусству и самыя поэтическія наклонности были наслѣдственными въ родѣ. Провансальцы не переставали и потомъ пользоваться расположеніемъ и покровительствомъ Гогенштауфеновъ.

Ужасы фанатическаго преслѣдованія, которымъ подверглась южная Франція въ началѣ слѣдующаго столѣтія, еще болѣе увеличили приливъ провансальцевъ въ Италію. Воюя съ альбигойцами, истребляя ихъ всѣми безчеловѣчными средствами инквизиціи, папское преобладаніе уничтожало вмѣстѣ съ ними всѣ лучшіе цвѣты южно-французской цивилизаціи. Голая земля, какъ извѣстно, нравится фанатизму лучше самой воздѣланной почвы, когда она не засѣяна его собственными сѣменами. Южную Францію онъ также готовъ былъ превратить въ пустыню и вырвать съ корнемъ ту образованность, которая составляла гордость ея. По счастью, не въ его власти было закрыть всѣ убѣжища для преслѣдуемыхъ: тѣ изъ нихъ, которые ушли отъ рукъ преслѣдователей, т. е. избѣжали пытки и казни, могли еще спастись въ сѣверную Францію, Испанію и Италію. Послѣдняя страна привлекала ихъ всего болѣе: кромѣ того, что по своимъ природнымъ свойствамъ она мало различалась отъ ихъ родины, въ ней всего вѣрнѣе можно было найти безопасность подъ высокимъ покровительствомъ имперіи и постоянное убѣжище въ рядахъ гибеллинской партіи. Къ тому жъ много располагало сходство въ самыхъ нравахъ. Тѣсное сосѣдство Піемонта съ Провансомъ не осталось безъ вліянія на уравниеніе общественнаго быта въ обѣихъ странахъ. Черезъ посредство Піемонта Ломбардія также могла многимъ

¹⁾ См. Dante, t. I, p. 256—57. — ²⁾ Его поэтическіе опыты (Minnelieder) приведены Абелемъ въ его König Philipp der Hohenstaufe, Anmerkungen.

позаимствоваться изъ южной Франціи. Переселяясь въ Италію, провансалецъ приносилъ съ собою увѣренность, что не только онъ самъ, но и его искусство будутъ встрѣчены здѣсь съ полнымъ сочувствіемъ. Поэтому, чѣмъ тѣснѣе было жить въ южной Франціи, тѣмъ больше сѣверная Италія наполнялась выходцами изъ нея. Переходя сами, они нечувствительно пересаживали съ собою и свое рѣдкое искусство. Такимъ образомъ для первой половины XIII вѣка мы имѣемъ уже цѣлый списокъ именъ провансальскихъ трубадуровъ, которые жили и слагали свои пѣсни подъ итальянскимъ небомъ. Сюда принадлежитъ Эліасъ Кайрель, Альберъ де-Систеронъ, Гильомъ Фигуэйрасъ, Гильомъ де-ла-Торъ, Эмерикъ де-Пегильянь, Госельмъ Файдить и другіе. Прежніе рѣдкіе гости мало-помалу превращались въ постоянныхъ обитателей страны, сколько это допускали ихъ бродячія наклонности. Само собою разумѣется, что любимымъ ихъ мѣстопробываніемъ были княжескіе дворы: здѣсь были они въ своей сферѣ, здѣсь находили и высокое покровительство, и образованное вниманіе къ себѣ, и дѣятельность по своему вкусу. Таковы были въ особенности знаменитые дворы князей Д'Эсте, Камино и монферратскихъ въ сѣверной Италіи. Не менѣе радушно гостепріимство встрѣчали провансальцы при дворѣ маркграфовъ Маласпина. Нѣкоторые богатые сеньйоры въ Тосканѣ также показывали много благосклонности къ провансальскимъ пѣвцамъ. Между уцѣлѣвшими ихъ произведеніями есть нѣкоторыя, прямо посвященныя памяти ихъ высокихъ покровителей и доказывающія, что пріемъ, который пришельцы находили на чужой землѣ, не возбуждалъ въ нихъ большихъ сожалѣній о родинѣ. „Великій Боже!“ (пѣлъ одинъ изъ нихъ по случаю смерти Гильйома Маласпины, конечно нѣсколько преувеличивая выраженіе своей горести) „какъ потемнѣли вдругъ эти яркіе лучи, озарявшіе Тоскану и Ломбардію, и при свѣтѣ которыхъ каждый могъ обращаться какъ .ему угодно, безъ страха и безъ заботъ. Померкъ свѣтъ, который помогалъ всякому достоинству выйти на дорогу. Что жъ остается имъ дѣлать теперь, этимъ воинственнымъ искателямъ приключеній и прославленнымъ пѣвцамъ, которые стекались къ нему издалека и находили у него пріемъ и почетъ, какого напрасно стали бы искать себѣ даже и за моремъ?“ ¹⁾

¹⁾ Dante (par Fauriel), ibid. p. 205.

Скоро впрочемъ одно покровительство высшаго рода затмило собою всѣ другія и проложило провансальскому искусству новые пути въ Италиі. Фридрихъ II взялъ лично на себя уходъ за нѣжнымъ растеніемъ, мечтая извлечь изъ него новый блескъ для своей власти и найти въ немъ нѣкоторую опору своимъ стремленіямъ. Союзъ знаменитаго Гогенштауффеа съ провансальскою поэзіей былъ очень естественный какъ по геніальности того, кто бралъ на себя покровительство, такъ и по самымъ потребностямъ времени. Кромѣ врожденнаго поэтического вкуса, онъ въ этомъ случаѣ, безъ сомнѣнія, руководился и другими болѣе сознательными побужденіями. Тотъ же просвѣщенный умъ, который внушилъ ему мысль объ учрежденіи университета въ Неаполѣ, чтобъ дать средство подданнымъ образоваться у себя дома и противодѣйствовать гвельфскимъ стремленіямъ не только оружіемъ, но и наукою, конечно указалъ ему въ поэтическомъ направленіи вѣка одно изъ достойнѣйшихъ украшеній царственного величія и вмѣстѣ могущественное орудіе для дѣйствія на общественное мнѣніе. Извѣстно, что провансальская поэзія соединяла съ идеальнымъ направленіемъ и практическое, которое обращено было противъ злоупотребленій, совершавшихся подъ прикрытіемъ римскаго авторитета. Восторженная пѣснь въ честь любви не рѣдко въ устахъ одного и того же поэта смѣнялась рѣзкою сатирою противъ Рима и его тупыхъ приверженцевъ. Любя поэзію какъ искусство, Фридрихъ II пріобрѣталъ въ ней сверхъ того вѣрную союзницу въ борьбѣ съ папскимъ преобладаніемъ. Слѣдую его призванію, она перенеслась изъ сѣверной Италиі въ южную. Какъ въ Неаполѣ постановленъ былъ новый центръ для науки, свободный отъ римскаго вліянія, такъ въ Палермо открыто было новое свободное убѣжище для провансальскаго искусства, тѣснимаго на его родинѣ. Привить провансальское искусство къ сицилійской почвѣ Фридриху II было тѣмъ легче, что онъ нашелъ ужъ здѣсь нѣкоторые его зачатки. Еще во время Генриха VI процвѣталъ въ Сициліи Чулло д'Алькамо (Ciullo d'Alcamo), которому досталась честь быть первымъ по времени поэтомъ Италиі ¹⁾. Впрочемъ, по словамъ Данта (*De vulgari eloquio*), не было большей притягательной силы для привлеченія въ Палермо поэтическихъ талантовъ, какъ присутствіе въ этомъ городѣ самихъ Гогенштауффеновъ и ихъ заявленная любовь къ искусству. Никакой дворъ не могъ вы-

1) Ibid. p. 327; ср. Wegele, p. 33—37.

ржать соперничества съ дворомъ Фридриха II, какъ никто могъ поспорить съ нимъ самимъ въ просвѣщенной любви и искусству. Въ немъ сошлись многіе, дотоѣ разрозненные элементы средневѣковаго образованія. Востокъ и Западъ почти вномѣрно участвовали въ широкомъ развитіи его умственныхъ дѣлъ. Отъ его просвѣщенной мысли зависѣло потомъ отдать предпочтеніе западному образованію и привлечь къ себѣ лучшихъ его представителей. При этомъ рѣшеніи, провансальской поэзии принадлежало одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ, потому что она лучше всего выражала идеальныя стремленія вѣка. Царская доблесть, составлявшая главный мотивъ ея, была знакома ему по личному чувству. Царственному поэту оставалось лишь, по примѣру другихъ, найти для своихъ чувствъ выраженіе въ языкѣ. И вотъ, съ голоса провансальскихъ поэтовъ, онъ самъ началъ пѣть любовь и подбирать рѣзны на языкѣ своей родины. Примѣръ былъ слишкомъ обольстителенъ, и онъ не нашлись ему болѣе или менѣе способные подражатели; они дѣйствительно не замедлили явиться въ ближайшемъ окруженіи Фридриха между его министрами и совѣтниками. Даже серьезный умъ Пьеро делла-Винье, знаменитаго юриста, который долгое время былъ душою гибеллинской политики, не избѣжалъ общаго увлеченія: въ списокъ сицилійскихъ поэтовъ того времени находимъ также и его имя; сюда присоединились впоследствии имена двухъ сыновей императора, Генриха и несчастнаго Энціо, которому суждено было быть одною изъ самыхъ печальныхъ жертвъ роковой вражды, раздѣлявшей Италію. Списокъ дополняется сверхъ того нѣсколькими менѣе извѣстными именами, между которыми назовемъ двухъ уроженцевъ Палермо (Rainieri и Ruggerone da Ieramo). Однимъ словомъ (говоритъ нашъ историкъ, изучившій эту литературную эпоху во всѣхъ ея подробностяхъ), въ продолженіе почти 25-лѣтняго періода времени (приблизительно отъ 1215 до 1250. или отъ 1215 до 1240), сицилійскій дворъ былъ гиннымъ Парнасомъ, гдѣ поэзія была общимъ занятіемъ: цари, судьи, министры, сыновья императора и наконецъ и самъ—всѣ пѣли любовь или слагали стихи въ честь ея. И учителя Фридриха, выходцы изъ Прованса, не обманывались впрочемъ на счетъ этого служенія поэтической идеѣ. Нею они видѣли еще другую, политическую мысль, воспринимали своего царственного ученика подъ именемъ пресловутаго врача, отъ котораго Италія и за нею вся имперія, по словамъ, ждала излѣченія своихъ ранъ и недуговъ. „Ни-

кто еще до сихъ поръ не видалъ подобнаго врача“ (говоря аллегорически Гильомъ Фигуэйрасъ, родомъ изъ Тулузы), „такъ онъ молодъ, прекрасенъ, щедръ, такъ хорошо знаетъ свое дѣло и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ мужественъ, твердъ и пріимчивъ, такъ хорошо умѣетъ говорить и не менѣе внимательно слушать. Ему извѣстно все, что можетъ принести пользу и что нѣтъ: ужъ если отъ кого слѣдуетъ ожидать добраго искуснаго врачеванія, то конечно отъ него.“

Остановимся нѣсколько на этомъ замѣчательномъ явленіи. Съ него начинался весьма значительный поворотъ во внутренней итальянской исторіи, въ движеніи итальянской культуры въ особенности. Оно, во первыхъ, служило для насъ самымъ очевиднымъ указателемъ того, что „веселая наука“ (*gaia scienza*) какъ сами провансальцы называли свое искусство, процвѣтала уже по всему полуострову и не остановилась даже на южной его оконечности. Во всей Италіи не было ни одного сколько-нибудь виднаго центра, куда бы она не проникла, или бы ее знали только по имени. Какъ и въ Провансѣ, она здѣсь также два рода представителей. Если благородные рыцари старались сколько-нибудь ближе держаться къ жесткимъ дворамъ, то простые жонглѣры нерѣдко мѣшались толпою и забавляли ее своимъ искусствомъ. Имъ такъ же хорошо и привольно въ большихъ городахъ, какъ царямъ въ феодальныхъ замкахъ. Подъ именемъ *franciscans* выходцевъ изъ Франціи, они встрѣчались вездѣ и распространяли между итальянцами знакомство съ своимъ искусствомъ. Далѣе, тотъ же палермскій дворъ и плеяда сицилійскихъ поэтовъ, окружавшихъ Фридриха II, не оставляютъ въ болѣе никакого сомнѣнія, что „веселая наука“ настолько освоилась съ новою почвою, на которую была пересажена, стала уже *мѣстной* въ Италіи. Въ Палермо не довольствовались болѣе рабскимъ подражаніемъ провансальскимъ поэтамъ, какъ въ формахъ, такъ и въ самыхъ звукахъ, но пробуютъ воспринимать ту же любовь на своемъ родномъ языкѣ, не говоря ужъ о томъ, что болѣе большая часть поэтовъ такъ называемой сицилійской школы принадлежитъ Италіи самымъ своимъ происхожденіемъ. То же самое явленіе встрѣтимъ мы потомъ и въ другихъ частяхъ полуострова. Объясняется оно весьма просто естественно. Мы имѣли случай замѣтить прежде, что, въ всей разности направленій, въ нравахъ жителей южной Франціи и большей части Италіи было много общаго; а гдѣ такъ не въ нравахъ народа, слѣдуетъ искать настоящей

пріемлющей среды для образованія въ разныхъ его видахъ? Если Провансу, по особеннымъ условіямъ его положенія, удалось прежде другихъ странъ выработать въ себѣ самыя вѣрныя формы для выраженія духа рыцарства, то ничто не мѣшало имъ, какъ скоро онѣ разъ были перенесены на итальянскую почву, привиться къ быту ея жителей, который утверждался на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ. Итальянскій феодализмъ, несмотря на многія свои особенности, былъ кровнымъ братомъ южно-французскому: и тотъ и другой восходили своими началами ко временамъ Каролинговъ, и тотъ и другой долго жили потомъ одними и тѣми же интересами. Ихъ нѣсколько разрознили потомъ городской бытъ Италіи, который привлекъ внутрь городскихъ стѣнъ большую часть феодальнаго сословія, и ожесточенная борьба папства съ имперіей, раздѣлившая итальянскій феодальный міръ на двѣ враждебныя партіи. Но рыцарство такъ естественно вытекало изъ феодализма, поставленнаго подъ вліяніе другихъ, болѣе возвышенныхъ началъ, что никакія страсти не могли совершенно вытѣснить его изъ круга феодальныхъ отношеній. Рыцарскій духъ не вовсе чуждъ былъ и Италіи даже во время самаго сильнаго разгара внутренней вражды, раздиравшей ее на части. Здѣсь также встрѣчались благородныя натуры, которыя готовы были сочувствовать идеальнымъ стремленіямъ рыцарства. Чувство любви... но какая же страна, или какой народъ былъ бы такъ несчастенъ, чтобъ не носить въ себѣ этой глубоко врожденной всему человѣчеству потребности? Та идеальная восторженность, которая составляла душу провансальской поэзіи, была въ самомъ духѣ времени: она жила вездѣ — въ Италіи не менѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ Запада, хотя и не вездѣ находила для своего выраженія готовыя формы. Женщина была поставлена въ Италіи нѣсколько иначе: не было того глубокаго разъединенія съ обществомъ, какъ во Франціи и Германіи; но за то здѣсь держалось не менѣе рѣзкое раздѣленіе на политическія партіи, которое можетъ-быть еще болѣе сжимало въ груди разъ вспыхнувшее въ ней пламя. Итальянскія натуры зрѣютъ скоро и потому ранѣе другихъ воспламеняются. По близости сосѣдства, по частымъ столкновеніямъ въ улицахъ одного и того же города, случаи ко взаимности въ любви представлялись здѣсь весьма часто; но чѣмъ чаще были встрѣчи, тѣмъ живѣе чувствовалось лишеніе, когда взаимность чувства нарушалась политическою враждою двухъ фамилій. Въ итальянскихъ городахъ можно было жить о бока

съ своею красавицею и въ то же время быть раздѣлену нею цѣлою пропастью. Тогда во что должно было превратиться это запертое чувство, безпрестанно поджигаемое вновь огнемъ женскихъ глазъ? Итакъ въ Италіи даны были всѣ элементы восторженной рыцарской любви: что жъ удивительнаго, какъ скоро нашлась для нихъ готовая поэтическая форма, она быстро принялась между итальянцами и скоро была принята ими въ полную собственность? Разность языка, на которой они впервые узнали новое искусство, была не такъ велика, чтобъ могла быть побѣждаема только усиленнымъ изучениемъ. Въ чужихъ звукахъ до итальянскаго слуха долетало знакомое. Пѣсня нѣмецкаго миннезенгера была гораздо ближе къ нему, чужда ему. Когда же потомъ итальянцы освоились съ французскими, занесенными къ нимъ провансальскою поэзіею, было уже нетрудно найти для нихъ выраженіе на своемъ собственномъ языкѣ.

Такъ обмѣнивались Франція и Италія своими умственными вліяніями одна на другую. Было время, когда Италія послѣдила въ Галліи первая сѣмена образованности, давшая въ послѣдствіи богатый плодъ. Въ другую пору, нѣсколькими вѣками позже, римская національность, угрожаемая потомками сѣверныхъ варваровъ въ послѣднемъ своемъ убѣжищѣ, сама обращалась къ бывшей своей провинціи за помощью, только при ея содѣйствіи спаслась отъ лангобардскаго плѣна. Потомъ наступили времена феодальнаго варварства: въ Италіи глубоко пали науки и искусства; Франція не избѣжала той же бича, но, подъ вліяніемъ особенныхъ обстоятельствъ, югъ ея черезъ нѣсколько времени созрѣлъ новый и весьма оригинальный цвѣтъ образованности. Весьма естественно, теперь Италія, въ свою очередь, позаимствовала отъ Франціи плоды ея ранней образованности. Подобный же умственный обмѣнъ между двумя странами найдете и въ продолженіе цѣлаго ряда послѣдующихъ вѣковъ. То Италія опять передаетъ свое лучшее достояніе Франціи, то снова заимствуется многими отъ нея. Между хорошими вліяніями были и нѣкоторыя роковыя. Довольно указать, съ одной стороны, на XVI вѣкъ, съ другой—на XVIII, во второй его половинѣ особенно. Такъ связаны между собой эти двѣ страны историческою судьбою. Пересадка на итальянскую землю провансальскаго искусства принадлежала, безспорно, къ числу лучшихъ, благотворнѣйшихъ вліяній. Оно внесло въ итальянскую жизнь много новыхъ понятій, произвело въ итальянской мысли новое дви-

женіе, отразившееся и на самомъ языкѣ народа, наконецъ оно дало новый матеріалъ его воображенію и значительно расширило самую область фантазіи. По основательному замѣчанію Форіеля, провансальскіе поэты перенесли въ Италію не только свою лирику и господствующія ея формы того времени, но и все богатое содержаніе большого эпического цикла, который былъ обязанъ своимъ происхожденіемъ сѣверной и южной Франціи вмѣстѣ ¹⁾. Съ того времени французскія рыцарскія поэмы пошли въ ходъ и въ Италіи и тоже конечно не остались безъ вліянія на нравы ея жителей. Слѣды поэтическихъ сказаній объ Артурѣ и Карлѣ Великомъ часто попадаются въ латинскихъ поэмахъ XII и хроникахъ XIII вѣка. Другіе признаки указываютъ не менѣе ясно, что эти сказанія не разъ потомъ служили темою для итальянцевъ, которые привязывали къ нимъ свои собственные вымыслы. Не говорить ли все это въ пользу широкаго дѣйствія французскаго поэтическаго искусства по сую сторону Альповъ?

Если пересаженный цвѣтъ провансальской поэзіи ранѣе взошелъ въ Сициліи, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, то это было личное дѣло знаменитаго Гогенштауфена — дѣло его вкуса, любви къ искусству и отчасти политическаго расчета. Заботливый уходъ садовника тутъ значилъ гораздо болѣе, чѣмъ самое плодородіе почвы. Оттого, какъ скоро не стало Фридриха II и его пышнаго двора, поэзія тотчасъ смолкла въ Сициліи. Но это обстоятельство не имѣло никакого вліянія на успѣхи ея въ другихъ частяхъ Италіи. Тамъ дѣйствіе ея было менѣе случайное и потому болѣе постоянное. Въ средней Италіи она принялась особенно счастливо и скоро такъ утвердилась на этой новой для нея почвѣ, что не имѣла почти никакой нужды въ искусственномъ уходѣ. Какъ въ Сициліи, здѣсь тоже начали съ подражанія чужимъ звукамъ, то-есть пѣли любовь на языкѣ пришельцевъ, или даже прямо съ ихъ словъ; продолжали же болѣе или менѣе самостоятельными произведеніями въ духѣ и формахъ провансальской поэзіи. Впрочемъ уже въ рукахъ самихъ провансальцевъ занесенное ими искусство начало мало-по-малу принимать въ Италіи мѣстный колоритъ. Живя долгое время между итальянцами, они до того освоились съ ихъ политическими интересами, что не оставались болѣе равнодушными зрителями событій и прилаживали свою лиру къ голосу той или другой партіи. Съ половины

¹⁾ См. Fauriel, Dante, t. I, p. 279 (VIII leçon).

ХІІІ вѣка произведенія провансальцевъ особенно часто отзывались то гибеллинскими, то гвельфскими симпатіями. Такъ извѣстная битва при Монтаперти, въ которой флорентинскіе гвельфы потерпѣли пораженіе отъ своихъ противниковъ, подала поводъ къ слѣдующимъ похвальнымъ строфамъ на провансальскомъ языкѣ въ честь того, кому гибеллины наиболѣе были обязаны своею побѣдою:

„Давно ли еще видѣли мы флорентинцевъ столь надменными, а теперь посмотрите, какъ они доступны всѣмъ и предупредительны, какъ они стали ласковы на словахъ и любезны въ своихъ отвѣтахъ. Честь и слава королю Манфреду: кто, какъ не онъ, задалъ имъ этотъ хорошій урокъ, положивъ многихъ изъ нихъ, какъ создала ихъ природа, на мѣстѣ битвы? Такъ, флорентинцы, вы погибли отъ вашей гордости: непрочно ея дѣло, какъ ткань паука. Ты же, Манфредъ, ты такъ могучъ теперь, что мнѣ кажется безумцемъ тотъ, кто вздумалъ бы еще затѣять споръ съ тобою. Тебѣ стоило только выслать одного изъ твоихъ бароновъ, чтобъ флорентинцы почувствовали себя на краѣ гибели и начали издавать болѣзненные стоны. Нѣтъ, ты не встрѣтишь впередъ—ни въ горахъ, ни въ равнинѣ—противника, который бы осмѣлился стать противъ тебя; и если солдаты Капитолія вздумаютъ помѣряться съ тобою силами, то тѣмъ хуже будетъ для нихъ“.

Мы приводимъ эту піесу (также съ перевода, сдѣланнаго Форіелемъ) не ради ея поэтическаго достоинства, а ради прямого отношенія ея къ итальянской современности. Всякій видитъ, что провансальскіе гости, жившіе въ Италіи, не были болѣе чужды происходившей въ ней борьбѣ партій. Если одинъ изъ нихъ, по сочувствію къ гибеллинамъ, сильно корить флорентинцевъ, то другой, по дружбѣ съ противоположною партіей, не находитъ довольно словъ, чтобъ превознести гвельфскую Флоренцію. Форіель приводитъ одинъ отрывокъ въ этомъ родѣ, принадлежащій провансальскому же поэту, по имени Ремону де-Торъ, „Другъ Госельмъ“ (говорилъ онъ, обращаясь къ одному изъ своихъ соотечественниковъ), „если тебѣ случится быть въ Тосканѣ, то не забудь особенно пріютиться въ одномъ благородномъ городѣ, который зовутъ Флоренцію: тамъ никогда не изсякаетъ истинная доблесть; тамъ процвѣтаютъ и красуются радости, пѣніе и любовь“. Отъ времени и привычки у провансальцевъ родилось даже какое-то особенное пристрастіе къ Италіи, которое съ выходцами раздѣляли и поэты, никогда не бывшіе въ ней. Пьеръ Кардиналь, составившій себѣ въ южной Франціи громкую извѣстность своими сирвентами, можетъ служить тому примѣромъ. Въ его время Карлъ

Анжуйскій предпринялъ свою знаменитую экспедицію для покоренія Неаполя. Она была исполнена преимущественно французскими силами; многіе провансальскіе рыцари также принимали въ ней участіе. Все это дѣло имѣло видъ національнаго. Казалось, оно должно было возбудить къ себѣ сочувствіе и въ самой поэзіи. Но Пьеръ Кардиналь беретъ больше сторону Италіи; ему ненавистна самая мысль о томъ, что она можетъ подпасть чужому владычеству. „По мнѣ безсмысленны будутъ“ (такъ начинается одна изъ его сирвентъ) „апулійцы и ломбардцы, лангобарды и алеманны, если они допустятъ, чтобъ у нихъ были сеньорами и правителями французы и пикардцы, которые находятъ удовольствіе въ несправедливомъ пролитіи крови. Не возьмусь я также прославлять и короля, который не уважаетъ справедливости“¹⁾.

Въ средней Италіи указываютъ въ особенности два центра, гдѣ „веселая наука“, пересаженная на итальянскую землю, наиболѣе освоилась съ новою почвой и привлекла къ себѣ много туземныхъ талантовъ. Это были Болонья и Флоренція, два города, стоявшіе впереди другихъ по успѣхамъ гражданскаго общежитія и образованности. Болонья имѣла тогда общеевропейскую извѣстность; своимъ знаменитымъ университетомъ она привлекала къ себѣ лучшіе умы своего времени; въ ней сходились люди разныхъ націй, чтобъ почерпнуть свѣтъ прямо изъ источника науки. Учрежденіе новой академіи въ Неаполѣ не убило умственной дѣятельности въ старомъ ея убѣжищѣ. То нѣсколько искусственное движеніе, которое произведено было волею Фридриха II въ южной Италіи съ цѣлью возбудить въ ней умственную жизнь, не столько повредило Болоньѣ, сколько обратилось ей же въ пользу. Значеніе болонскаго университета было универсальное, неапольскаго—только мѣстное. Отвлеченіе умственныхъ силъ къ послѣднему никогда не было такъ велико, чтобъ отъ него могли много потерпѣть знаменитые болонскіе авторитеты, которые съ давняго времени собирали около себя цвѣтъ юношества Италіи, Франціи и Германіи. Переводомъ нѣкоторыхъ сочиненій Аристотеля съ арабскаго на латинскій языкъ, сдѣланнымъ около 1250 года, открыта была для любознательности новая, по крайней мѣрѣ давно вышедшая изъ употребленія и почти забытая отрасль человѣческихъ знаній. Ближайшее право на ея разработку принадлежало Неаполю, ибо мысль о переводѣ родилась въ головѣ Фридриха II и была исполнена по его приказанію²⁾.

¹⁾ См. Wegele, p. 29; ср. Fauriel, 1, p. 336.—²⁾ Ibid. p. 268, 269 и 272.

Неапольскій университетъ могъ отчасти затмить славу болонскаго ранними успѣхами философіи, которой самыя твердыя основанія извѣстны были въ другихъ мѣстахъ лишь по отдаленному преданію; но Фридрихъ готовъ былъ дѣлиться со всѣмъ образованнымъ міромъ плодами своей просвѣщенной дѣятельности. Такъ, между прочимъ, одинъ экземпляръ перевода Аристотеля отправленъ былъ имъ и въ Болонью. Послѣ того ученіе великаго стагирита не могло больше быть тайною и въ главномъ сосредоточіи юридическихъ знаній, какимъ былъ до сего времени болонскій университетъ не только для Италіи, но и для всей западной Европы. Есть несомнѣнные признаки что, черезъ нѣсколько времени потомъ, знакомство съ Аристотелемъ не было рѣдкостью и въ Тосканѣ. «Монархія» Данта одна можетъ служить тому неоспоримымъ доказательствомъ. Рядомъ съ наукой, юриспруденціей и философіей, въ Болоньѣ нашлось мѣсто и поэзіи. Научная и поэтическая дѣятельности, различныя по натурѣ, однако всегда симпатичны одна другой и легко уживаются между собою. Искусство вообще, поэзія въ частности, любятъ воздѣланную образованіемъ почву. Научное образованіе приготовляетъ общую основу и для эстетическаго; красоты поэзіи были и всегда будутъ доступны образованному уму, чѣмъ грубому, непросвѣщенному вкусу. Итакъ что жъ удивительнаго, что въ Болоньѣ нашлось для провансальскаго искусства столько воспріимчивости, что оно принялось здѣсь какъ у себя дома, и въ рукахъ урожденных болонскихъ поэтовъ, на чистомъ итальянскомъ языкѣ, получило новое развитіе, котораго не могло прежде достигнуть въ Сициліи?

Тоскана и въ ней всего болѣе Флоренція также не остались чужды движенію, которое тогда занимало лучшіе умы на полуостровѣ. Во Флоренціи не было ни пышнаго двора, какъ въ Палермо, ни знаменитой школы, какой по праву могла гордиться Болонья; но она соединяла въ себѣ многія другія счастливыя условія, которыя давали ей право на самое видное мѣсто между итальянскими городами. Не даромъ на Флоренцію обращено было тогда общее вниманіе жителей полуострова: по своему положенію между двумя крайними политическими направленіями, которыя продолжали еще спорить за обладаніе ею, когда въ другихъ мѣстахъ побѣда уже склонилась на ту или другую сторону, она составляла самый животрепещущій пунктъ во всей Италіи. Ни Римъ, ни Миланъ, ни Неаполь не горѣли такимъ внутреннимъ огнемъ, какъ Фло-

ренція. Къ ней приливали, какъ къ сердцу, волны разнообразныхъ движеній, которыя проходили по всей странѣ. Тѣснимое на сѣверѣ и на югѣ Италіи то нѣмецкимъ, то французскимъ вліяніемъ, и не находя себѣ довольно надежнаго пріюта въ Римѣ, національное чувство все больше и больше скопилось во Флоренціи. Здѣсь былъ истинный его фокусъ, хотя и скрытый отъ внѣшняго наблюденія непрерывнымъ раздоромъ двухъ враждующихъ партій. Отъ чувства національности недалеко до выраженія его въ искусствѣ, въ литературѣ. Гражданскія смуты, которыхъ сценою часто были городскія улицы Флоренціи, конечно не благопріятствовали успѣхамъ умственного развитія; но послѣ паденія Гогенштауфеновъ, онѣ настолько стихли, что по крайней мѣрѣ не могли больше задерживать его. Мало сказать, что Тоскана не менѣе другихъ областей Италіи была доступна зарождающемуся искусству. „Здѣсь“ (говоритъ новый нѣмецкій біографъ Данта) „все содѣйствовало къ тому, чтобъ поэзія приняла болѣе самостоятельный характеръ, чѣмъ какой она имѣла до сего времени. Здѣсь возрастали города, цвѣла торговля, умножалось благосостояніе, и была необходимая мѣра общаго образованія; здѣсь говорили самымъ чистымъ нарѣчіемъ въ Италіи, и поэтическія стороны жизни не были подавлены даже непримиримою враждою партій. Вообще, итальянская историческая жизнь никакъ не можетъ служить подтвержденіемъ извѣстной мысли, что при звукѣ оружія умолкаетъ голосъ музъ. Ко всѣмъ прочимъ условіямъ, которыя выгодно отличали Тоскану отъ другихъ областей, надобно еще прибавить врожденныя художественныя наклонности самаго народа, живущаго въ ней, благодаря которымъ онъ могъ сдѣлаться въ послѣдствіи достойнѣйшимъ во всѣхъ отношеніяхъ представителемъ національнаго духа новой Италіи“ ¹⁾). Не распространяясь болѣе на эту тему, мы можемъ лишь сказать, что считаемъ послѣднее замѣчаніе біографа весьма мѣткимъ и вполнѣ раздѣляемъ его мнѣніе объ особенномъ призваніи тосканцевъ къ искусству, какъ исторически доказанное самими неоспоримыми фактами.

Такъ какъ самыя значительныя поэтическія имена второй половины XIII вѣка раздѣляются почти поровну между Болоньей и Флоренціей, то дѣйствительно есть нѣкоторое основаніе говорить о двухъ поэтическихъ школахъ въ средней Италіи — боловской и флорентинской, или тосканской вообще.

¹⁾ Wegele, p. 37.

Форіель такъ и дѣлаетъ въ своемъ изложеніи, переходя отъ одной изъ нихъ къ другой, изъ которыхъ каждая впрочемъ можетъ казаться въ свою очередь продолженіемъ сицилійской школы. Понятіе идетъ сюда, если угодно, но едва ли можетъ быть приложено въ томъ строгомъ смыслѣ, въ какомъ оно употребляется, когда рѣчь идетъ о различныхъ художественныхъ школахъ, существующихъ въ одно время. Въ произведеніяхъ болонскихъ и тосканскихъ поэтовъ нѣтъ той замѣтной разности въ пріемахъ, манерѣ, стилѣ, которая проводила бы между ними внутреннее, ничѣмъ не сглаживаемое различіе. Смѣшать ихъ нельзя больше потому, что по самому мѣсту рожденія и дѣйствія они принадлежатъ различнымъ странамъ и городамъ Италіи. Если же и встрѣчаются въ ихъ произведеніяхъ нѣкоторые отличительные признаки, то ихъ скорѣе можно относить къ индивидуальности поэтовъ, чѣмъ къ особенностямъ цѣлой школы.

Въ болонской плеядѣ, состоящей не болѣе какъ изъ четырехъ или пяти именъ, блещетъ ярче другихъ имя Гвидо Гвиничелли. Онъ происходилъ изъ болонской фамиліи Гвиничелли де-Принчипи, которая принадлежала къ гибеллинской партіи и дѣлила съ нею всѣ опасности и лишенія. Отецъ Гвидо занималъ сначала разныя правительственныя должности въ самой Болоньѣ, потомъ переселился въ Нарни, гдѣ былъ нѣкоторое время подестою города. Сынъ, получившій образованіе въ болонской юридической школѣ, посвятилъ себя преимущественно юриспруденціи. Онъ занималъ должность судьи въ своей родной странѣ, но съ этимъ служеніемъ соединялъ еще занятіе поэзіей. Когда въ 1274 г. народная партія восторжествовала въ Болоньѣ, фамилія Гвиничелли должна была удалиться вмѣстѣ съ другими гибеллинами въ изгнаніе. Гвидо недолго пережилъ свое несчастіе: онъ умеръ въ 1276 году, въ цвѣтѣ силъ и таланта. Между современными ему поэтами той же школы отличаютъ болѣе другихъ Гвидо Гизильери; но о немъ сохранилось еще менѣе извѣстій. Въ то время, когда умеръ Г. Гвиничелли, Тоскана также могла указать у себя нѣсколько болѣе или менѣе способныхъ лицъ, служившихъ тому же самому дѣлу, какъ-то: Мео Аббраччавакка изъ Пистойи, Лотто ди-Сэръ-Дато изъ Пизы, Фра Гвиттоне изъ Ареццо, и другихъ. Всѣ они жили и дѣйствовали до 1295 года. Послѣдній изъ нихъ заслуживаетъ наиболѣе почетнаго упоминанія. Форіель, вѣрный своему обычаю раздѣлять писателей того времени по различнымъ школамъ, ставитъ его даже во

главѣ тосканской группы. Гвитто родился въ Ареццо. О его молодости и воспитаніи знаемъ только, что онъ рано изучилъ провансальскій языкъ, какъ бы намѣреваясь писать на немъ. Вскорѣ потомъ онъ вступилъ въ новый рыцарскій орденъ, учрежденный около 1261 года въ Болоньѣ и сдѣлавшійся впоследствии извѣстнымъ подъ именемъ „Веселаго братства“ (*Frati gaudenti*). Отсюда название „фра“, брата, нераздѣльное съ именемъ самого Гвиттоне. Общество это можетъ служить поразительнымъ примѣромъ того, какъ подъ вліяніемъ духа времени и мѣстныхъ нравовъ измѣнялись и совершенно перерождались прежнія учрежденія. По своей первоначальной мысли оно принадлежало къ одному разряду съ духовно-рыцарскими орденами, появившимися въ эпоху крестовыхъ походовъ на Востокъ, и также посвящено было высокимъ цѣлямъ. Но итальянскіе нравы скоро взяли свое, и новый орденъ въ короткое время переродился въ общество веселыхъ товарищей, которые больше думали объ удовольствіяхъ жизни, нежели о нравственныхъ подвигахъ. Впрочемъ Гвитто, повидимому, былъ изъ числа тѣхъ немногихъ членовъ братства, которые остались вѣрны первоначальному его назначенію. Послѣдніе годы своей жизни онъ провелъ во Флоренціи, гдѣ въ 1293 году основалъ Камальдульскій монастырь. Отъ него осталось много сонетовъ, нѣсколько канцонъ и посланій въ стихахъ и сверхъ того 32 письма въ прозѣ. По мнѣнію Фориеля, всѣ эти произведенія принадлежатъ къ числу замѣчательнѣйшихъ памятниковъ начальной итальянской литературы и заслуживаютъ внимательнаго изученія. Флорентинскихъ поэтовъ того же времени нашъ изслѣдователь собираетъ въ особую большую группу. Это длинный рядъ ближайшихъ предшественниковъ великаго итальянскаго поэта. Между ними также встрѣчается имя Данта, которому внѣшнимъ отличіемъ отъ творца «Божественной комедіи» служить мѣсто его происхожденія. Онъ слыветъ обыкновенно подъ именемъ Dante da Majano. Въ тотъ же списокъ входятъ имена Гвидо Орланди, Гвидо Кавальканти, Лаппо Джавни и нѣкоторыхъ другихъ поэтовъ. Наиболѣе прославленный талантъ между ними былъ Гвидо Кавальканти. Уже одна дружба его съ Дантомъ Алигьери даетъ ему право на память исторіи. Но онъ сверхъ того рѣзко отдѣляется отъ группы своихъ товарищей по искусству особеннымъ, ему только свойственнымъ направленіемъ поэзіи, которое впрочемъ не осталось безъ вліянія на послѣдующихъ дѣятелей въ той же области.

Фориель не рѣшается назвать Кавальканти главою цѣлой школы; но чтобъ не лишить флорентинскую группу чести имѣть своего предводителя, приискиваетъ ей другого—въ лицѣ Брунетто Латини. Нѣтъ спора, что литературная дѣятельность столь извѣстнаго учителя Данта гораздо обширнѣе и значительнѣе, чѣмъ поэтическіе опыты тосканскихъ его современниковъ. Но мы не видимъ причины, почему бы онъ, не будучи самъ поэтомъ, могъ однако занять мѣсто во главѣ цѣлой поэтической школы. Если Брунетто написалъ въ свою жизнь нѣсколько стихотвореній въ честь любви, то, по словамъ самого Фориеля, онъ сообразовался въ этомъ случаѣ съ обычаями своего времени, когда почти всякій благовоспитанный и образованный человѣкъ писалъ стихи извѣстнаго рода. Права его на почетное мѣсто въ исторіи литературы совсѣмъ другія. Въ свое время онъ былъ одинъ изъ первыхъ, которые старались собрать разбросанные и недостаточные въ отдѣльности лучи просвѣщенія въ одномъ фокусѣ. Его воспитали гораздо болѣе древняя литература и философія, чѣмъ современная ему поэзія. Литературные труды его болѣе принадлежатъ области науки, чѣмъ искусства. Его главное произведение, *Tesoro*, имѣетъ характеръ энциклопедическаго сборника и притомъ писано на французскомъ языкѣ. *Il tesoretto*—другое сочиненіе того же автора, писанное по итальянски, также скорѣе можетъ быть отнесено къ дидактическимъ произведеніямъ, чѣмъ къ поэтическимъ. Господствующая въ немъ форма — аллегорія. Сверхъ того Брунетто перевелъ нѣсколько отрывковъ изъ древнихъ писателей и тѣмъ, какъ и своимъ личнымъ вліяніемъ конечно могъ много способствовать къ образованію болѣе правильнаго вкуса между своими современниками. Но не видно, чтобъ школа (какъ называетъ ее нашъ авторъ) флорентинскихъ поэтовъ, предшественниковъ Данта, имѣла въ его учителѣ своего главнаго руководителя. Если въ ней отчасти и отразилось его вліяніе, то оно не было однако господствующимъ въ цѣлой группѣ. По складу своего ума и характеру своихъ занятій, Брунетто Латини принадлежалъ къ другому направленію, которое по его источнику надобно строго отличать отъ поэтическаго, имѣвшаго свой корень въ южной Франціи. Оба они слились между собою тѣснѣе и проникли другъ друга лишь въ послѣдующемъ поколѣніи ¹⁾.

¹⁾ См. о Брунетто Латини Wegele, p. 42—45; ср. Fauriel, 1, p. 383—84.

Въ стихотвореніяхъ итальянскихъ поэтовъ такъ называемой болонской школы, равно какъ и тосканской, слышится та же мечтательная восторженность, которая составляет господствующій тонъ произведеній провансальской лиры. Любовь ютится и для нихъ первымъ и послѣднимъ словомъ поэзіи. Пѣсни, слагаемыя въ честь ея, здѣсь можетъ-быть еще болѣе принимаютъ характеръ восторженныхъ гимновъ. Послушаемъ, напримѣръ, какъ болонскій поэтъ Гвидо Гвиничелли воспѣвалъ „даму своего сердца“. Настроеніе, породившее эту хвалебную пѣснь, хорошо чувствуется даже въ прозаическомъ переводѣ.

„Дама, которая зажгла во мнѣ искру новаго чувства, сама царствуетъ въ высшихъ сферахъ любви“ (въ переводѣ Фориеля, которому мы слѣдуемъ—*dans le ciel de l'amour*), „подобно прекрасному свѣтилу, которымъ мы измѣряемъ теченіе времени. Какъ оно каждый день освѣщаетъ міръ своимъ взглядомъ, такъ моя дама сіяетъ своимъ блескомъ въ чистыхъ сердцахъ и благородныхъ душахъ.“

О, моя радость, мой свѣтъ, въ удаленіи отъ котораго я живу какъ бы потерянный и не зная отрады, въ моихъ думахъ ты еще прекраснѣе, чѣмъ въ моихъ стихахъ. Я чувствую себя слишкомъ мало одареннымъ отъ природы, чтобъ въ состояніи былъ вести рѣчь о такомъ возвышенномъ предметѣ, и даже для того, чтобъ высказать словами всю горечь моего лишенія.

Видѣлъ ли я ее когда, или только слышалъ что о ней—все это живетъ въ моей памяти, и въ то же время всякое мое воспоминаніе отравлено горечью. Воспоминаю ли, что когда-то она была благосклонна ко мнѣ, мнѣ грустно подумать, что этого нѣтъ болѣе (что я потомъ разстался съ нею). Воображаю ли ее себѣ строгою и разгнѣвannoю—меня пугаетъ мысль, что можетъ-быть и теперь она точно такъ же смотритъ на меня.

Я изливаю мою горечь только въ слезахъ, и онѣ текутъ обильнѣе всякій разъ, когда глаза мои встрѣчаютъ прекрасную женщину. Тогда образъ той, которую я ношу въ душѣ моей, такъ оживаетъ во мнѣ и такъ овладѣваетъ всѣми моими чувствами, что, мнѣ кажется, я не принадлежу болѣе жизни“.

Но итальянскіе поэты второй половины XIII вѣка не были просто подражателями. Они нашли рыцарскую поэзію уже укореившеюся въ понятіяхъ и нравахъ своихъ соотечественниковъ и продолжали ея развитіе далѣе. Трудно было изобрѣсти новые образы для выраженія чувства, воспѣтаго уже столько разъ цѣлымъ хоромъ поэтическихъ голосовъ; но можетъ-быть не менѣе трудно было уйти отъ искушенія навести на него свой, мѣстный колоритъ, заимствованный главнымъ образомъ отъ тѣхъ воззрѣній, которыя были тогда въ

ходу между современниками и необходимо пробивались въ зачинавшейся литературѣ. Эту наклонность болѣе философическаго, чѣмъ, поэтическаго свойства, замѣчаютъ уже въ той же болонской школѣ. Мѣсто первоначальной свѣжести чувства заступаетъ въ ней какой-то новый родъ умствованій на тотъ же предметъ. У Гвиничелли можно видѣть первую пробу этой новой манеры.

„Любовь“ (такъ начинается онъ одну изъ своихъ канцонъ) „ищетъ себѣ пріюта въ благородномъ сердцѣ, какъ лѣсная птичка укрывается въ густотѣ древесныхъ листьевъ. Природа не произвела любовь прежде сердца, и сердце не существовало прежде любви. Такъ свѣтъ не былъ прежде солнца и явился только съ нимъ, даже въ одно мгновеніе съ нимъ. Какъ огонь производитъ теплоту, такъ благородство рождаетъ любовь, и потомъ пламя любви объемлетъ благородное сердце.“

Драгоценный камень не отразитъ въ себѣ блеска звѣзды, если онъ не просвѣтленъ напередъ солнцемъ, и если оно не вытянуло изъ него всѣхъ грубыхъ частицъ (?): тогда только звѣзда можетъ сообщить ему свой блескъ. Подобно тому, и дама наполняетъ любовью сердце, которое природа создала благороднымъ и гордымъ“.

Не удивимся, если читатель нѣсколько задумается надъ таинственнымъ значеніемъ этихъ стансовъ. Тутъ, дѣйствительно, не все просто. Поэтъ и самъ едва ли въ состояніи былъ бы дать отчетъ въ своихъ мысляхъ. Онъ, очевидно, замышлялъ что-то особенное; онъ не столько думалъ о поэзіи любви, сколько старался объяснить себѣ ея происхожденіе; другими словами, онъ строилъ искусственную *теорію* любви и переходилъ отъ образа къ образу, чтобъ только какъ-нибудь уловить въ нихъ свою смутную мысль. Это происходило не просто отъ особеннаго устройства головы болонскаго поэта, но и отъ тѣхъ стороннихъ вліяній, которыя въ его время вновь начали дѣйствовать на умы въ Италіи.

Но эти, можно сказать, матафизическія тонкости, эта игра въ понятія не составляетъ единственной особенности болонскаго поэта. На произведеніяхъ его можно сверхъ того наблюдать поворотъ поэтической мысли еще въ одну сторону. Свѣтское искусство провансальцевъ получаетъ въ рукахъ поэтовъ средней Италіи нѣкоторый религіозный оттѣнокъ. Они снова приводятъ идеалы искусства въ гармонію съ господствующимъ направленіемъ вѣка. Въ противоположность трубадурамъ, которые не видали ничего далѣе своего любимаго идеала (замѣчаетъ Вегеле), болонскій поэтъ утѣшается мыслью

о тѣхъ радостяхъ, которыя, въ случаѣ смерти обожаемой имъ женщины, ожидаютъ ее въ другомъ мірѣ; вѣра въ ея будущее прославленіе (Glorie) облегчаетъ для него грусть самой разлуки и въ нѣкоторой степени уже дѣлаетъ его счастливымъ. Весьма возможно, что этотъ новый оттѣнокъ заимствованъ былъ итальянскими поэтами отъ францисканцевъ, которымъ поэтическія формы служили въ томъ же вѣкѣ для выраженія религіознаго энтузіазма. Впрочемъ вообще въ итальянской жизни того времени было гораздо больше религіознаго, точнѣе сказать—католическаго настроенія, чѣмъ въ южной Франціи. Доказательствомъ служить его широкое и вмѣстѣ дѣятельное значеніе въ области зачинавшагося тогда итальянскаго искусства, въ архитектурѣ и пластикѣ въ особенности. Его возбужденіе къ жизни очевидно совершилось подъ вліяніемъ живого религіознаго чувства. Какъ бы то ни было, перемѣна тона въ поэзіи замѣчена была уже современниками Гвиничелли. Одинъ изъ нихъ, по имени Бонаджунто Урбиччани, отличавшійся особенно вѣрностью духу провансальской поэзіи, обращаясь къ Гвидо, прямо восхвалялъ его какъ нововводителя и преобразователя поэтической „манеры“, оставившаго позади себя старыхъ пѣвцовъ любви ¹⁾).

Разъ затронутая новая струна недолго ожидала себѣ созвучій въ итальянской поэзіи. Направленію, впервые открытому Гвиничелли, готовился особенно симпатическій приѣмъ въ флорентинской школѣ. Тамъ найдемъ черезъ какую-нибудь четверть вѣка самое полное и блестящее его раскрытіе. Впрочемъ склонность къ метафизическимъ тонкостямъ и остроумнымъ сближеніямъ, обнаружившаяся въ первый разъ у того же поэта, проникла въ нее еще ранѣе. Трудно сказать съ перваго взгляда, была ли она перенята у Гвидо Гвиничелли, или взялась изъ одного съ нимъ источника; но у Гвидо Кавальканти находимъ ее еще рѣзче выдающуюся изъ общаго поэтическаго уровня, чѣмъ у его предшественника. Въ своихъ канцонахъ онъ употребляетъ метафизическіе термины во всей ихъ наготѣ, какъ они есть, даже не стараясь прикрыть поэтическою формою. Самую любовь онъ, не обинуясь, подводитъ

¹⁾ Относящіеся сюда стихи Бонаджунто приведены у Вегеле въ подлинникѣ:

Voi ch' avete mutata la maniera
E gli piacenti detti del' amore,
Della forma, del esser là dov'era,
Per avanzar orn'altro trovatore, etc.

подъ логическое понятіе „случайнаго“, accidens ¹⁾). Философическая теорія рѣшительно давить у него поэзію. Все это, повидимому, не могло случиться безъ близкаго знакомства съ Аристотелемъ. Вотъ почему изъ двухъ выставленныхъ нами предположеній мы скорѣе готовы допустить послѣднее.

Нужно ли говорить, что, освоившись совершенно съ итальянскою почвою, новая поэзія не оставалась равнодушна къ тѣмъ событіямъ, которыя происходили на ней? Если даже странствующие провансальскіе поэты не были имъ вовсе чужды, то, разумѣется, туземные еще болѣе принимали ихъ къ сердцу. Уже по самому происхожденію своему они необходимо принадлежали къ той или другой изъ двухъ большихъ партій, на которыя тогда раздѣлена была вся Италія, и принимали въ судьбахъ ея самое близкое участіе. Гвельфскія или гибеллинскія симпатіи естественно отзывались и въ поэзіи; цвѣтъ партій отражался частью и на искусствѣ. Все это въ порядкѣ вещей; но любопытнѣе всего, что тѣ же самые отголоски нашли себѣ еще болѣе явственное выраженіе въ современной провансальской литературѣ. Можно бы даже сказать, что они создали, по крайней мѣрѣ положили начало итальянской прозѣ. Мы упоминали уже о сохранившихся письмахъ Гвиттоне д'Ареццо. Форіель первый обратилъ на нихъ должное вниманіе и указалъ ихъ важное значеніе въ исторіи литературы. По внѣшней своей формѣ они очень непривлекательны. Языкъ ихъ, какъ и слѣдовало ожидать по времени, къ которому они относятся, чуждъ всякой обработки и носить на себѣ всѣ слѣды первоначальной грубости. Изложеніе испещрено цитатами изъ церковныхъ писателей, изъ классиковъ и провансальскихъ поэтовъ; ихъ нецеремонное смѣшеніе производитъ эффектъ самаго страннаго свойства на читателя. Но въ содержаніи ихъ еще живѣе отразилась современная дѣйствительность, чѣмъ въ стихотворныхъ произведеніяхъ. Всѣ они обращены къ итальянскимъ республикамъ того времени и ихъ правительствамъ и направлены главнымъ образомъ противъ ихъ раздоровъ, междоусобій и того непримиримаго духа, который управлялъ всѣми ихъ дѣйствіями. Гвиттоне одинъ изъ первыхъ въ своемъ отечествѣ успѣлъ возвыситься надъ политическимъ раздѣленіемъ, поглощавшимъ всю Италію и губившимъ лучшія ея силы. Онъ былъ гвельфъ по своему роду и фамильнымъ связямъ; но это не помѣшало ему, послѣ битвы при МонтAPERти,

¹⁾ См. Fauriel, 1, p. 355.

принять участіе въ судьбѣ гибеллиновъ и сильно порицать своихъ политическихъ друзей за ихъ жестокіе поступки съ побѣжденными. Онъ самъ можетъ-быть не зналъ мѣры въ укоризнѣ, но тѣмъ не менѣе онъ былъ краснорѣчивъ, потому что въ немъ говорило истинное и сильное чувство, которому невольно покорялся и самый языкъ, несмотря на свои еще необработанныя формы.

Полный просторъ своему негодованію противъ гвельфской Флоренціи Гвигтоне далъ въ своемъ двѣнадцатомъ письмѣ. Мы приведемъ изъ него одинъ отрывокъ по Форіелю. Читатели сами увидятъ, какъ живо воспринимались впечатлѣнія отъ современныхъ событій, и какъ ярко начинали они отражаться въ литературѣ.

„Посмотрите“ (говоритъ Гвигтоне, обращаясь къ флорентинцамъ), „посмотрите на себя и скажите, что вы сдѣлали изъ вашего города, или какіе вы граждане, и сколько въ васъ челоуѣчества? Нѣтъ, это не городъ, а пустыня; это лѣсъ, въ которомъ живутъ не люди, а дикіе звѣри. О, царица городовъ, во что превратилась ты? въ пещеру разбойниковъ, въ убѣжище неистовства и ярости... Дѣти твои встрѣчаютъ вездѣ, куда ни покажутся, одно презрѣніе. Твое безсиліе никому болѣе не тайна. Перуджа не боится болѣе, что ты завладѣешь ея озеромъ; Болонья увѣрена, что горы ея стали непроходимы для тебя, и Пиза не дрожитъ, какъ прежде, за свои стѣны и гавань. О флорентинцы, отцвѣтшіе прежде времени цвѣты! что случилось съ вашею гордостью и вашимъ величіемъ? Давно ли еще казались вы новыми римлянами, которымъ суждено покорить цѣлый свѣтъ? Да и сами римляне не начинали такъ счастливо, какъ вы; имъ бы не сдѣлать столько, если бъ у нихъ было также мало времени. Подумайте хоть немного, до чего вы дошли, и чѣмъ бы однако вы могли быть, если бъ сохранили согласіе между собою и были крѣпки своимъ единствомъ. А кто виновникъ всему злу, кто, какъ не вы сами? Но можетъ-быть эта самая мысль и утѣшаетъ васъ, что если вы и пострадали, то не отъ кого другого, а сами отъ себя. Но думать такъ—значитъ вовсе потерять умъ: позоръ вашъ—двойной позоръ, какъ скоро онъ дѣло вашихъ собственныхъ рукъ“, и т. д. ¹⁾.

Конечно не недостатокъ патріотизма диктовалъ тосканскому поэту эти строгія рѣчи: горячая любовь къ родному городу слышится въ самой ихъ горечи. Съ какимъ же чувствомъ остановился бы передъ тѣмъ же явленіемъ челоуѣкъ болѣе глубокой натуры и съ душой еще болѣе воспримчивой? Не глубже ли было бы въ немъ и самое чувство отчужденія? Не отбросилъ ли бы онъ отъ себя еще далѣе кору гвельфскихъ

¹⁾ См. Fauriel, *ibid.* p. 351.

предразсудковъ, если бъ ему также случилось быть гвельфомъ по рожденію, и не съ бѣльшимъ ли усердіемъ сталъ бы служить идеальнымъ стремленіямъ вѣка?..

Итакъ вражда политическихъ партій была та самая яркая сторона итальянской дѣйствительности, которая сильнѣе всего давала себя чувствовать въ зарождающейся литературѣ. Но и поэзія въ свою очередь не могла остаться безъ вліянія на жизнь. Привившись съ самаго начала къ тому, что было въ итальянскихъ нравахъ родственнаго ей, она потомъ еще болѣе передѣлала ихъ на свой образецъ. Вліяніе было подобно тому, какое еще на нашей памяти оказывалъ романтизмъ на людей, склонныхъ къ нему по природѣ. Что болѣе всего поражаело или нравилось въ пѣсняхъ трубадуровъ и ихъ итальянскихъ подражателей, то особенно, путемъ воображенія, проникло и въ самую жизнь. Если въ ту или другую историческую эпоху дѣйствительная жизнь и самый бытъ принимаютъ нѣсколько идеальный характеръ, почти всегда можно сказать, что онъ идетъ изъ литературы, или взялся отъ поэзіи. Такъ было между прочимъ въ XIII вѣкѣ въ жизни итальянскаго общества. Нечувствительно окрашивалась она въ тотъ цвѣтъ, который наводила на всѣ предметы современная поэзія. Удивительнѣе всего, что идеальному направленію нашлось мѣсто даже среди непрерывныхъ междоусобій, когда, повидимому, всѣ умы только и заняты были, что домашнею политическою враждою. Впечатлѣніе, какъ кажется, начиналось отъ эпоса и заканчивалось лирикою. Сильно дѣйствовали подвиги героевъ французскаго эпическаго цикла на воображеніе итальянцевъ. Иначе нельзя объяснить себѣ, отчего между итальянскими сеньйорами того времени ввелся обычай называть себя и дѣтей своихъ дѣйствительными или вымышленными именами эпическихъ героевъ. По увѣренію знатоковъ итальянской старины, Роланды, Тристаны, Персевали, Изѣльты, какъ личныя имена, были тогда въ большомъ употребленіи въ Италіи. Не такъ легко было конечно подражать дѣламъ древнихъ паладиновъ, какъ носить ихъ имена; но довольно было и того, что рыцарскіе обычаи не только укоренились въ извѣстныхъ сословіяхъ, но проникли даже во враждебныя отношенія между различными партіями, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ облагораживали самый способъ веденія войны. Миланцы, воюя съ Фридрихомъ II и готовясь сдѣлать на него нападеніе въ Кремонѣ, гдѣ онъ имѣлъ тогда свое пребываніе, послали къ нему напередъ слѣдующій вызовъ: „Мы

южили быть у тебя въ гостяхъ въ непродолжительномъ эмени, и предупреждаемъ тебя, что мы намѣрены, въ ущербъ ей чести, срубить дубъ, который растетъ передъ воротами емоны“. Итальянскіе анналисты того же вѣка знаютъ, если одно, и такія черты своихъ героевъ, который какъ будто имо взяты изъ старыхъ эпическихъ воспоминаній: такъ объ томъ миланцѣ, по имени Уберто делла-Кроче, рассказыва-тъ, что во время осады Павіи онъ металъ безъ большого илія огромными камнями. Но тутъ трудно рѣшить, насколько истинны въ рассказѣ, и въ какой мѣрѣ участвовало немъ воображеніе пишущаго.

Гораздо замѣтнѣе вліяніе рыцарской поэзіи на жизни итальянскихъ городовъ въ мирное время. Здѣсь находимъ цѣ-й рядъ новыхъ явленій, которыя всѣ примыкаютъ къ ры-цеству и проникнуты его духомъ. Турниры въ Италіи упо-наются уже въ XII вѣкѣ ¹⁾; но эти блестящіе праздники срыты были для немногихъ, и по своей рѣдкости выходили въ обыкновеннаго порядка жизни. Въ слѣдующемъ столѣтіи царскія удовольствія, забавы, увеселенія размножаются, инообразятся въ своихъ формахъ и наполняютъ собою обы-ннюю жизнь городовъ. Первые получили къ нимъ вкусъ жи-и ломбардской равнины и сосѣднихъ съ нею областей; за ми послѣдовала средняя Италія. Въ Генуѣ, романской об-ти и веронской маркѣ, гдѣ было много княжескихъ дво-въ, время отъ времени даваемы были увеселенія въ новомъ усѣ, привлекавшія толпы народа изъ окрестныхъ странъ. праздникъ въ честь дамъ, который данъ былъ въ Тревизѣ 1214 году, одинъ современникъ (Роландино падуанскій) раз-изываетъ слѣдующія любопытныя подробности:

„Въ этомъ году держанъ былъ въ Тревизѣ „большой дворъ“. Для авы нарочно устроено было аданіе въ видѣ зѣмка, куда помѣстили сти благородныхъ дамъ и дѣвицъ съ ихъ свитою: всѣ онѣ вмѣстѣ жны были мужественно отстаивать свой замокъ, такъ чтобъ ни нѣ мужчина не помогалъ имъ въ этомъ дѣлѣ. Оградою же и ѣпленіями ему служили бѣличы, горностаевые и другіе мѣха, так-пурпуръ и разныя шерстяныя и шелковыя матеріи, раскинутыя въ ѣ балдахиновъ. Но сюда надобно еще прибавить осыпанныя алма-и, изумрудами, топазами и жемчугомъ короны, которыя дамы имѣли головъ вмѣсто шлемовъ. А что касается до нападающихъ, то у нихъ было никакого другого оружія и никакихъ другихъ военныхъ снаря-

¹⁾ Первый турниръ, о которомъ извѣстно съ достовѣрностью, былъ данъ Болоньѣ, въ 1147 году. См. Fauriel, *ibid.* p. 283.

довъ, кромѣ апельсиновъ, финиковъ, мускатныхъ орѣховъ, пирожковъ, грушъ, букетовъ изъ розъ, фіалокъ и лилій, также деревянныхъ флаконовъ съ розовою или гвоздичною водою; однимъ словомъ—имъ дозволены были всѣ пріятныя, вкусныя, и благовонныя средства».

Этотъ замокъ, какъ справедливо замѣчаетъ Муратори, былъ не что иное, какъ символическое представленіе чистоты; обстановка и дѣйствіе, въ немъ происходившее, аллегорически изображали рыцарское служеніе женщинѣ, а все, вмѣстѣ взятое, было оригинальнымъ проявленіемъ тѣхъ идей, которыя пущены были въ оборотъ рыцарскою поэзіей. Множество любопытныхъ стеклось въ Тревизу со всѣхъ сторонъ, чтобъ присутствовать на праздникѣ. Жители марки, падуанцы и венеціане явились сюда съ развернутыми знаменами и въ блестящихъ нарядахъ, привлеченные конечно не одною только рѣдкостью зрѣлища, но и тѣмъ сочувствіемъ, которое оно возбуждало во всѣхъ сословіяхъ, знакомыхъ съ рыцарскими понятіями. Не считаемъ за нужное говорить о ходѣ самаго дѣйствія: оно, разумѣется, исполнено было согласно съ начертанною напередъ программой. По случаю этого историческаго обстоятельства, Форіель припоминаетъ еще одинъ поэтическій рассказъ, заключающій въ себѣ много аналогическаго съ тѣмъ, что происходило въ Тревиѣ. Рассказъ принадлежитъ извѣстному уже намъ провансальскому поэту Рэмбо де-Вакейрасъ, жившему при дворѣ Бонифація, маркграфа монферратскаго. Весь рассказъ — не что иное, какъ поэтическое прославленіе Беатриче, сестры маркграфа, которая имѣла въ Рэмбо одного изъ самыхъ преданныхъ цѣнителей и поклонниковъ ея красоты. Дѣло представляется въ видѣ междоусобной войны между нею и прочими „дамами“, обиженными рѣшительнымъ ея предпочтеніемъ. Оскорбленныя соперницы Беатриче отлагаются отъ нея и строятъ себѣ родъ укрѣпленнаго бурга, которому даютъ названіе *Трои*. Такъ составляются двѣ различныя женскія общины — новая, гдѣ царитъ Беатриче, и старая, гдѣ живутъ ея соперницы. Старость впрочемъ принимается здѣсь безъ указанія на возрастъ, а только въ смыслѣ недостатка нѣкоторыхъ нравственныхъ качествъ въ женщинѣ. Обитательницы Трои выбираютъ себѣ своего подесту и подъ его предводительствомъ выступаютъ въ походъ противъ своей соперницы. Но прежде, чѣмъ начать нападеніе, онѣ отправляютъ къ Беатриче герольда съ требованіемъ, чтобъ она возвратила свободу тремъ высокимъ особамъ, содержащимся у нея въ плѣну. Подъ этими знатными особами разумѣются са-

мыя высокія достоинства въ женщинѣ съ точки зрѣнія рыцарства. Требованіе троянокъ отвергнуто, и тогда онѣ съ яростью устремляются на замокъ гордой красавицы. Результатъ битвы легко угадать: Беатриче обращаетъ въ бѣгство непріятеля, преслѣдуетъ его до самыхъ стѣнъ Трои и навсегда удерживаетъ въ своей власти спорныхъ плѣнниковъ. Нашъ авторъ не сомнѣвается, что основаніемъ разсказу Рэмбо также послужило одно изъ мимическихъ представленій, которое около того же времени дѣйствительно было дано въ честь его дамы.

И Флоренція не отставала отъ другихъ городовъ въ дѣлѣ рыцарскаго образованія. Начиная съ половины вѣка, она замѣтно выступаетъ впередъ даже и въ этомъ отношеніи. Рыцарскій образъ жизни, рыцарскіе обычаи, учрежденія и удовольствія мало-по-малу утверждаются въ ней, какъ въ своей метрополіи, и наполняютъ страницы ея лѣтописей почти наравнѣ съ движеніемъ внутреннихъ партій. Рыцарскія игры, забавы и увеселенія пришли какъ-то особенно по живому, веселому нраву флорентинцевъ. Рѣдкій годъ не составлялись у нихъ новыя общества и не давались праздники почитателями женской красоты и идеальныхъ женскихъ добродѣтелей. Только что городъ успокоивался на минуту отъ домашней вражды, отъ проскрипцій и другихъ исключительныхъ мѣръ, направленныхъ противъ побѣжденной партіи, какъ уже онъ искалъ себѣ отдыха и развлеченія вмѣстѣ въ обычныхъ увеселеніяхъ, которыхъ первые образцы видѣли мы въ сѣверныхъ городахъ Италіи. Нигдѣ еще праздники этого рода и соединенныя съ ними удовольствія не встрѣчали себѣ столько сочувствія, и нигдѣ до сихъ поръ не были они столь общимъ дѣломъ, какъ во Флоренціи. Обыкновенно раздѣленная въ своихъ стѣнахъ на два враждебные лагеря, она только въ свои праздничные дни забывала свой неизлѣчимый недугъ и хотя немногія минуты была счастлива своимъ единствомъ и согласіемъ. Такъ когда-то греки, разрозненные своимъ политическимъ бытомъ, опять чувствовали себя членами одной великой семьи, время отъ времени сходясь между собою и подавая другъ другу руку на своихъ народныхъ играхъ. Оттого свѣтлыя времена рыцарскихъ праздниковъ и забавъ оставляли въ сердцахъ итальянскихъ поэтовъ такія неизгладимыя воспоминанія и бросали въ ихъ глазахъ такую грустную тѣнь на нравы и обычаи послѣдующихъ поколѣній, которыя уже казались имъ грубыми и даже „дикими“.

Рикордано Маласпини и Джованни Виллани бережно сохранили въ своихъ лѣтописяхъ память объ этихъ лучшихъ временахъ въ жизни флорентинскаго общества. Такъ первый изъ нихъ, останавливаясь между прочимъ на 1284 году, замѣчаетъ, что это былъ одинъ изъ самыхъ счастливыхъ годовъ для Флоренціи, когда она пользовалась великимъ благосостояніемъ. Въ чемъ же видитъ историкъ признаки ея благосостоянія? Въ томъ, что въ этотъ годъ давалось много праздниковъ и увеселеній, и толпы жонглѣровъ и другихъ искусниковъ въ томъ же родѣ стекались сюда изъ разныхъ странъ. Кромѣ трехсотъ постоянныхъ членовъ одного рыцарскаго ордена, было тогда во Флоренціи множество лицъ благороднаго сословія, которыя, не принадлежа ни къ какому обществу, вели однако рыцарскій образъ жизни и соперничали другъ съ другомъ столь свойственному рыцарству любезностью въ отношеніи къ женщинамъ и успѣхами въ нѣжныхъ склонностяхъ. Часто сходились они между собою за однимъ столомъ, собирали около себя жонглѣровъ и платили имъ богатыми подарками. Вотъ почему послѣдніе охотно шли сюда даже изъ Ломбардіи и другихъ отдаленныхъ областей, и всегда находили себѣ хорошій пріемъ на флорентинскихъ праздникахъ. Виллани, подтверждая тѣ же извѣстія, прибавляетъ еще отъ себя нѣкоторыя новыя черты. По его словамъ, въ іюнѣ того же года, въ праздникъ св. Іоанна, составила въ Флоренціи богатая и благородная компанія, которой внѣшнимъ отличіемъ служило то, что всѣ члены ея одѣты были въ бѣлое платье. Общество основано было въ честь любви: по крайней мѣрѣ глава его не назывался иначе, какъ *seigneur de l'amour*. Занятія же общества состояли единственно въ играхъ, танцахъ и другихъ увеселеніяхъ, въ которыхъ впрочемъ, кромѣ самихъ членовъ, могли принимать участіе и постороннія лица, какъ дамы, такъ и мужчины. Черезъ пять лѣтъ потомъ (въ 1289 г.), по случаю блестящей побѣды въ долиנѣ Кампальдино, гдѣ гибеллинское ополченіе изъ Ареццо потерпѣло совершенное пораженіе отъ флорентинскихъ гвельфовъ, во Флоренціи опять происходили большія торжества. Побѣдители такъ распрядновались, что нѣкоторое время потомъ не проходило года безъ какихъ-нибудь новыхъ праздниковъ и увеселительныхъ зрѣлищъ. Вотъ въ какихъ словахъ Виллани передаетъ намъ понятіе о нихъ: „Каждый годъ составлялись вновь компаніи, или общества благородныхъ молодыхъ людей, которые изобрѣтали для себя и новый костюмъ. Въ различныхъ частяхъ

ода они воздвигали себѣ возвышенія въ видѣ павильоновъ и окружали ихъ деревянными загородками, которыя срывали сверху шерстяными и шелковыми матеріями. Сверху же были еще особенныя общества благородныхъ дамъ и дѣвъ. Увѣнчанныя гирляндами, онѣ, подъ предводительствомъ его шефа (*seigneur de l'amour*), строились въ правильныя ряды и съ веселыми пѣснями и танцами прохаживались по саду¹⁾.

Какъ ни скудны эти немногія черты, онѣ не оставляютъ никакого сомнѣнія, что веселыя толпы, которыми въ то время жила вся Флоренція, движимы были тѣмъ же началомъ, которому современная поэзія служила первымъ и самымъ вѣрнымъ выраженіемъ. Дѣйствіе его было велико какъ поэзію, такъ и на самую жизнь. Въ нѣкоторомъ отношеніи даже оно замѣняло для своего времени недостатокъ многихъ другихъ принциповъ. Здѣсь кстати будетъ привести слова умнаго и добросовѣстнаго изслѣдователя, которому мы обязаны почти всѣмъ содержаніемъ нашей настоящей статьи — всеобщемъ значеніи основного начала рыцарской поэзіи. Онъ главный хозяинъ въ этомъ дѣлѣ — ему и книги въ руки. „По рин рыцарской поэзіи“ (говоритъ Фориель) „любовь была не что самымъ пріятнымъ и естественнымъ, но вмѣстѣ самымъ благороднымъ и нравственнымъ предметомъ поэзіи. Наука въ любви самый обильный, самый глубокий и въ то же время почти единственный источникъ поэтическаго вдохновенія, ее признавали также за безусловное начало всякой науки и всякой добродѣтели. На этомъ основаніи для каждаго поэта становилось первымъ условіемъ, лучше сказать, для него возникла необходимая потребность любить, то-есть любить одну даму, посвятить всего себя на служеніе ей и ней одной относить всѣ благороднѣйшія движенія души ей и всѣ лучшіе обѣты своего сердца. Даже кто и не былъ влюбленъ, долженъ былъ казаться такимъ, и у кого не было настоящей избранной, тотъ необходимо долженъ былъ быть по крайней мѣрѣ воображаемую. Только при этихъ условіяхъ можно было надѣяться на успѣхъ въ обществѣ. Только именемъ любви каждый могъ заискивать въ свою пользу положенія, возбуждать къ себѣ симпатіи, въ которыхъ онъ удовлетворялъ потребность, и достигать громкой извѣстности, которая бы удовлетворила его честолюбію“¹⁾. По нашему мнѣ-

¹⁾ Fauriel, *ibid.* p. 296.

нію, нельзя въ краткой рѣчи лучше и яснѣе опредѣлить и облагораживающую натуру этого идеальнаго чувства, которое служило основою рыцарству, и просвѣтленное рыцарскою поэзіей, обратно дѣйствовало на жизнь.

Флоренцію мы начали нашъ обзоръ главныхъ событій и направленій вѣка, ею же и оканчиваемъ его. Читатель можетъ видѣть теперь самъ, подъ какими впечатлѣніями должны были пройти дѣтство и молодость, и подъ какими вліяніями долженъ былъ воспитаться и созрѣть духъ великаго національнаго поэта Италіи. Геніальное творчество въ искусствѣ, видимому все обращенное къ будущему, часто есть только познѣйшее и совершеннѣйшее воспроизведеніе самой современности художника.

III.

Жизнь человѣка—какая это разительная ткань впечатлѣній, чувствъ, столкновеній разнаго рода, борьбы, развитія силъ и ихъ постепеннаго упадка и истощенія! Ничего несбыточнаго—сбывается въ ней всякій разъ лишь то, что каждому болѣе или менѣе извѣстно по собственному опыту или по наблюденію надъ другими; и однако нѣтъ ни одного сколько-нибудь полнаго и отчетливаго жизненнаго свитка, который, будучи развернутъ во всю его длину, не представилъ бы много новаго и замѣчательнаго матеріала для наблюденія. Надобно только желать, чтобъ эти свитки были довольно удобочитаемы, или чтобъ они были писаны не іероглифами, а обыкновенными письменами. Выяснить и спасти отъ забвенія человѣческія черты въ жизни историческихъ лицъ—вотъ въ чемъ задача новаго біографическаго искусства. Въ пособіи его лицо Данта можетъ-быть нуждалось болѣе многихъ другихъ. Оно слишкомъ долго было заслонено его же твореніемъ, а съ другой стороны, Данта слишкомъ рано начали объяснять подстрочнымъ толкованіемъ его твореній, разбирая ихъ по частямъ, отчего не могло не потерпѣть много органическое пониманіе цѣлаго. Выжавъ и расплотивъ все, что есть въ «Божественной комедіи» загадочнаго и таинственнаго, комментаторы превратили и самое лицо Данта въ какой-то едва осязаемый мистическій образъ, и сверхъ того собрали передъ

нимъ со всѣхъ сторонъ такое множество постороннихъ представлений, догадокъ и предположеній, что до него самого едва можно добраться. Человѣкъ однако былъ онъ, съ человѣческими заблужденіями, но вмѣстѣ и съ глубокою потребностью лучшаго, столько же для себя самого, сколько для цѣлой общественной среды, въ которой ему досталось жить и дѣйствовать; и рано или поздно, человѣческая его фізіономія снова должна выступить изъ за мистическаго облака, въ теченіе вѣковъ собравшагося вокругъ его головы изъ множества туманныхъ предположеній и придававшего ему какой-то фантастическій видъ. Намъ кажется, новые біографы Данта сдѣлали значительный шагъ впередъ въ этомъ отношеніи, какъ и ихъ предшественники. Облегчая себѣ пониманіе жизни писателя его же произведеніями, они впрочемъ, въ окончательномъ результатѣ, въ ней искали главнаго ключа для объясненія часто загадочнаго смысла его твореній. Если послѣднія много выиграли въ ясности, то потому особенно, что пролить болѣе яркій свѣтъ на жизнь поэта. Когда впереди сталъ полный человѣкъ, въ его природѣ и развитіи сами собою отыскались главныя побужденія и виды писателя. Наша задача ограничивается лишь первымъ; попробуемъ же теперь, не выходя изъ общей рамы вѣка, рассказать въ ней, вслѣдъ за новыми біографами Данта, важнѣйшія черты внѣшней и внутренней его жизни.

Флоренція была родиною Данта; флорентинскія вліянія окружали его дѣтство и юность. Онъ родился въ 1265 году, во время самаго разгара гвельфо-гибеллинскихъ смутъ въ Италіи, незадолго до изгнанія гибеллиновъ изъ Флоренціи. Фамилія, отъ которой произошелъ будущій великій поэтъ Флоренціи и всей Италіи, была гвельфская. Она сама проиявила свой родъ изъ Рима; но историческая извѣстность ея не восходитъ ранѣе конца XI вѣка. Каччагвида (Cacciaguida), старѣйшій изъ предковъ Данта, о которыхъ память сохранилась въ исторіи, жилъ въ эпоху перваго и втораго крестовыхъ походовъ. Изъ нѣсколькихъ сыновей его одинъ принялъ фамиліное имя своей матери, которая была родомъ изъ Феррары, и назвался Альдигьеро или Альдигьери. Изъ этой линіи происходилъ отецъ Данта, передавшій сыну то же фамиліное имя. Собственное же имя поэта образовалось чрезъ сокращенія изъ Дуранте. Повидимому, флорентинскіе Альдигьери или, какъ они стали называться потомъ, Алигьери, не играли зна-

чительной роли въ междоусобіяхъ XIII вѣка, потому что имя ихъ не упоминается въ исторіи гвельфо-гибеллинскихъ смутъ. Даже объ отцѣ Данта очень мало извѣстно положительнаго; о немъ сохранились лишь нѣкоторыя преданія. Одно изъ нихъ причисляетъ его къ юриспрудентамъ; по словамъ другого, онъ также подвергся, вмѣстѣ съ своею партіей, временному изгнанію въ 1260 году, такъ что выходило бы, что Дантъ, умершій изгнанникомъ, и зачатъ былъ тоже въ изгнаніи. Такое странное совпаденіе двухъ крайнихъ моментовъ въ жизни человѣка было бы довольно знаменательно, но новая критика мало вѣритъ послѣднему преданію, находя, что оно не имѣетъ за себя достовѣрнаго свидѣтельства ¹⁾. По общепринятому мнѣнію, отецъ Данта умеръ въ 1270 году, слѣдовательно черезъ пять лѣтъ послѣ рожденія сына.

Разсказывая жизнь великаго дѣятеля, весьма естественно стараться распознать задатки геніальности еще въ первой его молодости, въ самомъ дѣтствѣ. Но поиски этого рода рѣдко бываютъ успѣшны. Самая геніальность подчиняется обыкновеннымъ условіямъ времени, которое, въ приложеніи къ ходу человѣческой жизни, выражается въ извѣстной смѣнѣ возрастовъ. Высокіе умы и таланты начинаютъ большею частью съ того же, съ чего и другіе смертные. Уже послѣ приходитъ легенда на помощь воображенію и украшаетъ рожденіе и дѣтство избранныхъ своими „видѣніями“. Такъ между прочимъ она создала чудесный сонъ Монны Беллы, матери Данта, заставивъ ее еще во время беременности предугадывать будущую великую судьбу сына. Гораздо больше можно жалѣть о томъ, что обыкновенныя, но тѣмъ не менѣе дѣйствительныя черты изъ жизни великихъ дѣятелей часто вовсе теряются для исторіи. Это происходитъ оттого, что, долго не замѣчая ничего особеннаго въ человѣкѣ, слишкомъ поздно обращаются къ собиранію свѣдѣній о прошедшей его жизни. Оттого же иногда бываетъ, что любующаяся сама собою и неустающая говорить о себѣ посредственность часто рисуется передъ нами полнѣе и живѣе, чѣмъ нѣкоторыя современныя ей знаменитости. Такъ могло случиться, что изъ всего дѣтства Данта мы едва знаемъ двѣ или три черты. Ничего неизвѣстно о начальномъ его воспитаніи. Судя по ранней смерти отца, нельзя думать, чтобъ онъ имѣлъ какое-нибудь вліяніе на сына. Къ сожалѣнію, мы также почти ничего не знаемъ

¹⁾ См. Wegele, p. 53, n. 1.

его матери, кромѣ ея имени. Но сила нѣжнаго материнскаго вліянія чувствуется и помимо историческихъ свидѣльствъ, отзываясь въ самомъ настроеніи поэта. Въ стихахъ «Южественной комедіи» (говоритъ Вегеле) постоянно звучитъ на струна, отзываящаяся прекрасными впечатлѣніями свѣтлой семейной жизни. Но авторъ благоразумно останавливается на первомъ предположеніи относительно этого пункта, говоря, что оно еще не даетъ ему права дѣлать дальнѣйшія выводы.

Не безъ удивленія приходится и намъ повторить вслѣдъ другими біографами великаго итальянскаго поэта, что первый несомнѣнный фактъ въ его жизни — *любовь*. Обстоятельство тѣмъ болѣе поразительное, что если не самая страсть, случай, съ котораго она началась, относится еще къ детскому году жизни Данта. Объ этомъ случаѣ извѣстно слѣдующее: У флорентинцевъ былъ обычай праздновать наступленіе весны шумными сходками. Это было самое веселое время въ году. Родственники и друзья сходились все вмѣстѣ; въ домахъ, на улицахъ, на площадяхъ слышались сельные клики, пѣсни, звуки музыки, сопровождаемые танцами. Въ 1274 (?) году отецъ Данта праздновалъ съ своимъ семействомъ тотъ же праздникъ у своего богатаго сосѣда, Фалько де-Портинари, пользовавшагося въ городѣ большимъ почетомъ за свою честность и благотворительность. Среди многими давно забытыми встрѣчами, здѣсь же произошла тогда едва ли кѣмъ замѣченная встрѣча двухъ лицъ, которая навсегда останется въ исторіи. На праздникѣ Портинари маленькій Дантъ впервые встрѣтилъ маленькую Биче, дочь хозяина, впоследствии столь прославленную имъ под именемъ Беатриче. По словамъ самого Данта, ему было тогда около девяти лѣтъ, а она только что вступила въ девятый годъ своей жизни. Въ ихъ возрастахъ была лишь разница на сколько мѣсяцевъ. Кто бы могъ вообразить? Эта случайная грѣха двухъ дѣтей (если судить только по ихъ лѣтамъ) почти равняется въ значеніи историческому событію. Въ ней родилась животворная сила первой любви поэта, и тутъ же ждало никѣмъ не узнаваемое сѣмя его будущаго безсмертнаго произведенія. Однимъ словомъ, для Данта началась отсюда новая жизнь: *incipit vita nova*.

Но какъ говорить о любви мальчика, не сказавъ ничего той школѣ, которую онъ проходилъ? И точно ли онъ продолжилъ какую школу? Несомнѣнно, что отвѣтъ долженъ быть

утвердительный, и этотъ пунктъ обыкновенно занимаетъ второе мѣсто въ біографіяхъ Данта. Но не такъ легко отвѣчать на вопросъ о составѣ и характерѣ школы. Не видно, чтобы сынъ Монны Беллы пользовался уроками публичной школы, которая существовала тогда во Флоренціи, какъ и въ другихъ итальянскихъ городахъ. Впрочемъ она и не могла бы дать ему широкаго образованія. Въ ней учили грамматикѣ и риторикѣ, причемъ подъ риторическимъ искусствомъ разумѣлось особенно изученіе латинскаго языка для употребленія его въ служебной или практической дѣятельности ¹⁾. Воспитаніе Данта, какъ кажется, было домашнее. По сохранившимся извѣстіямъ, вся школа его совмѣщалась въ одномъ лицѣ—Брунетто Латини, извѣстнаго ученаго и литератора того времени. Авторъ двухъ энциклопедическихъ сочиненій (Тресог и Tesoretto) имѣлъ богатый запасъ знаній разнаго рода и видѣлъ свѣтъ и людей; онъ одинъ дѣйствительно могъ замѣнить начинающему многихъ наставниковъ и положить твердыя основанія для его образованности. Но мы слишкомъ недостаточно извѣщены объ отношеніяхъ между наставникомъ и его ученикомъ, чтобы положительно судить о степени и силѣ вліянія одного изъ нихъ на другого. Мы не въ состояніи были бы даже опредѣлить того пункта времени, съ котораго именно начались занятія Данта подъ руководствомъ Брунетто, ни сколько лѣтъ продолжался личный надзоръ послѣдняго. Вегеле имѣетъ свои основанія думать, что тутъ не можетъ быть рѣчи о воспитаніи въ тѣсномъ смыслѣ слова ²⁾. По его мнѣнію, отношенія Брунетто къ Данту были скорѣе „дружественныя“ и даже какъ бы „отеческія“, чѣмъ прямо учительскія. Замѣчаніе это, исключаящее мысль о систематическомъ ученіи, не уменьшаетъ впрочемъ степени того вліянія, которое могъ имѣть столь опытный наставникъ на своего воспитанника. Сказать, что подъ вліяніемъ Брунетто образовались складъ мыслей и убѣжденія Данта, было бы, безъ сомнѣнія, слишкомъ много, но по всей вѣроятности отъ него заимствовалъ послѣдній свою

¹⁾ См. объ этомъ Wegele, p. 55. — ²⁾ Ibid. Эти основанія, повидимому, находятъ онъ въ тѣхъ стихахъ Данта, которыя онъ посвятилъ памяти своего наставника:

La cara e buona imagine paterna
Di voi nel mondo quando ad ora ad ora
M'insegnavate, come l'uom s'eterna.

Infer. XV.

къ классическимъ писателямъ, ему обязанъ былъ своимъ знакомствомъ съ ними, и можетъ-быть имъ же былъ наведенъ на Аристотеля. Покрайней мѣрѣ слѣдовителіи политической доктрины великаго стагирита замѣчаются у автора «Тезоретто». О томъ, когда именно наставленіи Брунетто начали приносить свой плодъ, также нельзя сказать опредѣленно. Онъ умеръ не ранѣе, какъ въ девяносто годахъ столѣтія, и до того времени могъ продолжать дѣйствовать на Данта. Отчасти можно зачислить къ нимъ, которую проходилъ воспитанникъ Брунетто, и самыя сужденія того же писателя. „Кому знакомы Брунеттовы труды и Тезоретто“ (говоритъ Вегеле), „тому изученіе твореній Данта безпрестанно приводитъ ихъ на память. Многое изъ нихъ привыкли считать у него оригинальнымъ, въ нихъ нашло себѣ первое употребленіе“. Итакъ, хотя бы даже было прямого свидѣтельства Данта, есть полное основаніе думать о школѣ Брунетто Латини, потому что слѣды ея видны на самыхъ произведеніяхъ поэта.

Форіель сверхъ того считаетъ очень вѣроятнымъ, что Дантъ былъ также въ Болоньѣ, но самъ недоумѣваетъ, къ какому изъ нихъ отнести это ученіе и кого между тамошними учителями въ руководители молодому флорентинцу¹⁾. Не безъ причины онъ также рѣшилъ, кто именно былъ наставникомъ Данты въ поэзіи, и очень склоненъ думать, что онъ самъ сформировалъ свой вкусъ посредствомъ чтенія и изученія современныхъ ему поэтовъ. Довольно припомнить, для подтвержденія этой мысли, что въ одной средней Италіи процвѣтали двѣ поэтическія школы. Форіель того мнѣнія, что предметъ особеннаго изученія со стороны молодого флорентинца были произведенія Гвидо Гвиничелли болонскаго, которые и на самомъ дѣлѣ наиболѣе были достойны этой чести. Все это приводитъ читателя на ту мысль, что, говоря о Дантѣ, нѣтъ ничего много и долго останавливаться на вопросѣ о руководителяхъ юношескихъ его занятій. Онъ очевидно принадлежалъ къ числу тѣхъ самодѣятельныхъ натуръ, которыя въ ученіи, и въ жизни, сами понемногу прокладываютъ себѣ дорогу впередъ. Имъ нужно сдѣлать только первый шагъ съ помощью другихъ, чтобъ потомъ инстинктивно отыскивать свое мѣсто, гдѣ бы оно ни находилось. Школа Данта была главнымъ образомъ въ немъ самомъ, и потому самыя занятія его

См. Fauriel, Dante, 1, p. 146.

нельзя распредѣлять по годамъ. По мѣрѣ того, какъ въ природѣ его накоплялась новая умственная потребность, онъ искалъ ей удовлетворенія, совѣтуясь то съ людьми, то съ книгами. Временемъ могла увлекать его жизнь, и занятія перемежались до тѣхъ поръ, пока душа его не возбуждалась вномъ къ дѣятельности жаждою знанія, или потребностью отчетливаго пониманія какъ самого себя, такъ и окружающихъ его явленій. И въ этомъ смыслѣ строгой школы не могло быть у Данта. Онъ учился всю свою жизнь, и столько же размышленіемъ, сколько и жизненнымъ опытомъ вырабатывалъ въ себѣ свои постоянныя убѣжденія.

Съ этой точки зрѣнія должно казаться менѣе страннымъ, что любовь предупредила школу въ жизни Данта. Явленіе было довольно естественно въ томъ смыслѣ, что чувство пробудилось въ молодомъ Алигьери первое, то-есть гораздо прежде, чѣмъ кончена была его долгая школа и окрѣпла мысль. Если же чувство кажется слишкомъ раннимъ по возрасту, то это легко объясняется поэтическою натурою лица. Бывали подобныя явленія и на холодномъ Сѣверѣ. По словамъ самого Байрона, первая любовь его также относилась къ девятилѣтнему возрасту. Не проще ли, не понятнѣе ли каждому то же самое чувство подъ южнымъ небомъ? Эта ранняя чувствительность не есть ли первое проявленіе воспріимчивой поэтической натуры? Но не надобно ничего преувеличивать; не надобно особенно воображать себѣ, что съ первой же встрѣчи Данта съ Биче въ немъ загорѣлась та страсть, которая въ иные періоды его жизни дѣйствительно наполняла все существо его и была одною изъ главныхъ движущихъ силъ его творческой фантазіи. Наперекоръ общепринятому мнѣнію, мы должны сдѣлать здѣсь эту необходимую оговорку. Правда, что самъ Дантъ, отъ котораго мы имѣемъ живую поэтическую лѣтопись его любви, считаетъ начало своей „новой жизни“ прямо съ извѣстной встрѣчи. Съ его словъ рассказываютъ то же самое и его биографы, почти не различая никакихъ моментовъ въ развитіи чувства. Неужели такъ было на самомъ дѣлѣ? Но не забудемъ, что дантовская повѣсть любви, извѣстная подъ именемъ *Vita nuova*, написана авторомъ гораздо позже. Новѣйшія изслѣдованія не оставляютъ сомнѣнія, что Дантъ приступилъ къ ней, имѣя не менѣе двадцати одного года отъ роду, или даже позже, а кончилъ не ранѣе 1300 г. ¹⁾). Сюда конечно вошли многіе

¹⁾ См. Fauriel, *ibid.* p. 386; въ особенности же убѣдительно рѣшается этотъ вопросъ у Вегеле, въ гл. *Das neue Leben*, p. 100 etc.

его же советы изъ прежняго времени; но ему было уже около девятнадцати лѣтъ, когда онъ рѣшился сдѣлать первый опытъ въ этомъ родѣ, — стало-быть письменныя выраженія любви Данта принадлежать уже юношескому и притомъ довольно зрѣлому возрасту. Занятый и даже весь наполненный своимъ чувствомъ, поэтъ весьма естественно могъ тогда измѣрять его прошедшее настоящею силою и съ первой же минуты воображать себя въ полной его власти; но для посторонняго наблюдателя тотчасъ чувствуется разница двухъ различныхъ одинъ отъ другого возрастовъ, и мы несовсѣмъ понимаемъ, какъ могли опустить изъ виду это обстоятельство новыя критическіе изслѣдователи, тѣ въ особенности, которые много занимались анализомъ самаго ранняго изъ поэтическихъ произведеній Данта.

Итакъ, смотря на любовь поэта исторически, нельзя, кажется намъ, принимать его слова въ буквальномъ значеніи и сводить преимущественно къ одному году, или даже къ одному моменту времени, все развитіе страсти, которая занимаетъ цѣлый періодъ въ его жизни. Для него конечно всѣ моменты могли сливаться въ одинъ, и первое возбужденіе чувства — казаться не менѣе высокою его степенью, какъ и та, когда оно дѣйствительно наполняло всѣ его помыслы и не оставляло имъ никакой свободы: въ такомъ состояніи неудивительно, если цѣлые годы сокращались въ его мысли въ короткіе дни, и различныя фазы въ развитіи одного и того же чувства казались ближе между собою, чѣмъ онѣ были на самомъ дѣлѣ. Пространство и время обыкновенно улетучиваются въ поэтической лѣтописи, а «Новая жизнь» Данта, несмотря на то, что мѣстами написана прозою, прямо носить на себѣ этотъ характеръ. Но читатель лѣтописи не иначе можетъ понять явленіе, какъ переводя его на обыкновенныя хронологическіе моменты. Если ему и не удастся достигнуть точнаго ихъ разграниченія, то по крайней мѣрѣ въ своемъ общемъ представленіи о нихъ онъ сохранитъ идею послѣдовательности, или постепеннаго преемства одного момента другимъ. Какъ бы ни рано восходило первое начало любви Данта, или первое впечатлѣніе, полученное имъ отъ Беатриче, очевидно, что прежде извѣстнаго возраста чувство его не могло раскрыться до той степени, на которой оно требовало себѣ поэтическаго выраженія, и дѣйствительно нашло его себѣ во всемъ содержаніи «Новой жизни».

Впрочемъ, какъ скоро дѣло состоитъ въ томъ, чтобы, не касаясь вопроса о времени, постараться опредѣлить самую при-

роду того чувства, которое заняло такое важное мѣсто въ жизни поэта, изслѣдователю не остается ничего болѣе, какъ послѣдовать за его рассказомъ. Въ повѣсти любви его сказалось и самое душевное настроеніе. Едва ли даже чувство Данта не таково было по своей природѣ, что поэтическое выраженіе, которое оно нашло себѣ въ «Новой жизни», надобно считать не только вѣрнымъ и истиннымъ, но и единственно возможнымъ для него.

Рассказъ, какъ извѣстно, ведется отъ первой встрѣчи. Не знаемъ, какъ было на самомъ дѣлѣ, но вотъ въ какихъ чертахъ впоследствии изобразилъ поэтъ первое событіе своей внутренней жизни: „Девятый разъ съ того времени, какъ я увидѣлъ свѣтъ“ (разсказываетъ онъ), „солнце совершало свой годичный оборотъ, когда я впервые увидѣлъ славной памяти даму моего сердца. Она предстала предо мною одѣтая въ благородный пурпуръ, но видъ ея дышалъ скромностью, и все убранство соответствовало ея нѣжному возрасту. Тогда я почувствовалъ, что самый духъ жизни, который пребываетъ въ заповѣдной глубинѣ нашего существа, потрясся во мнѣ, и какъ будто какой внутренній голосъ произнесъ эти слова: „то приходитъ новое и сильное божество, и намъ не устоять противъ него!“ И въ самомъ дѣлѣ“ (продолжаетъ поэтъ говорить о себѣ), „съ этой минуты любовь такъ овладѣла моимъ воображеніемъ и всѣмъ моимъ существомъ, что я совершенно отдался въ ея волю“.

Таково вступленіе въ поэтическую повѣсть любви Данта. Мы привели начало рассказа хотя не собственными словами поэта, но стараясь по возможности сохранить ихъ настоящій смыслъ. Читатель, безъ сомнѣнія, чувствуетъ самъ, что съ первыхъ же словъ онъ переносится изъ дѣйствительной сферы въ идеальную. Беатриче, составляющая главный узелъ всего рассказа, уже улетучилась до степени неземного существа и представляется поэту какою-то таинственною и вмѣстѣ неотразимою силою.

Быстро проходитъ потомъ повѣствователь слѣдующіе годы, какъ они прошли и въ самой его жизни. Ясно, что въ продолженіе ихъ, или до извѣстнаго возраста, чувство его не сдѣлало большихъ успѣховъ, иначе сказать—оно долго послѣ того оставалось на степени перваго впечатлѣнія. Самъ поэтъ поставляетъ на видъ лишь непрерывность своего чувства во все это время, говоря, что съ первой встрѣчи онъ постоянно слѣдилъ за Беатриче, старался встрѣчать ее вездѣ, гдѣ только

могъ. искалъ ее на публичныхъ прогулкахъ и часто ускорялъ свой шагъ. чтобы предупредить ее въ церкви. Вѣримъ искренности дѣтскаго чувства поэта и даже нѣкоторой его силѣ, ибо оно надолго привязало молодую душу къ одному предмету и заставило ее забыть другія удовольствія возраста, но не думаемъ, чтобъ это столь юное увлеченіе, впрочемъ весьма понятное во впечатлительномъ мальчикѣ, предполагало уже за собою болѣе или менѣе развитую страсть. Всѣ отношенія Данта къ Биче пока ограничиваются только случайными встрѣчами съ нею и молчаливымъ созерцаніемъ ея красоты. Начало страсти и соединеннаго съ нею воспламененія сердца и головы приходитъ не ранѣе, какъ *черезъ девять лѣтъ* потомъ. Поводомъ къ тому послужилъ новый случай, рассказанный также самимъ поэтомъ. Однажды, когда уже Данту было восемнадцать лѣтъ, она, встрѣтившись съ нимъ, поклонилась ему. Вотъ и весь случай; но мы совершенно понимаемъ, что довольно было простого привѣтствія со стороны Биче, этого перваго знака взаимности, чтобы жаръ первой любви охватилъ юношеское сердце Данта. Но можетъ-быть еще болѣе затронуто и возбуждено было его живое воображеніе. Съ тѣхъ поръ плѣнительный образъ Беатриче не покидалъ его и вызывалъ въ немъ одно поэтическое видѣніе за другимъ. Дантъ сталъ поэтомъ,—поэтомъ своихъ собственныхъ чувствъ и любимаго своего образа.

Тогда, подъ впечатлѣніемъ перваго привѣтствія Беатриче, онъ написалъ свой первый сонетъ. Фантазія, послужившая ему основаніемъ, обличаетъ несовсѣмъ твердый и опытный вкусъ, но тѣмъ не менѣе самое произведеніе заслуживаетъ вниманія, ибо оно впервые ввело Данта въ кругъ современныхъ поэтовъ. Дантъ обращается здѣсь ко всѣмъ избраннымъ сердцамъ и рассказываетъ имъ свое видѣніе. Божеству любви, Амуру. принадлежитъ въ немъ главная роль. Среди глубокой ночи онъ явился поэту, держа въ одной рукѣ его сердце, между тѣмъ какъ Беатриче покоилась у него въ объятіяхъ. Онъ будилъ ее по временамъ и питалъ пылающимъ сердцемъ. Какъ ни странна эта фантазія, видно впрочемъ, что основаніемъ ей послужило то самое начало, которое оплодотворило всю провансальскую поэзію. Такимъ образомъ съ перваго шага Данта въ литературѣ затронута была имъ самая живая струна времени. Замѣтимъ лишь, что уже въ этомъ первомъ опытѣ символическое начало спорить съ поэтическимъ. Тотъ же сонетъ послужилъ ближайшимъ поводомъ къ тому, чтобъ между начинающимъ и его болѣе опытными собратіями по ис-

кусству завязались прямыя личныя сношенія. Слѣдуя существующему обычаю, Дантъ разослалъ свое произведеніе по извѣстнымъ тосканскимъ поэтамъ и просилъ ихъ разрѣшить заключающуюся въ немъ загадку. Вызовъ приняли Чино да-Пистойя, Гвидо Кавальканти и Данте да-Майяно. Ихъ отвѣты, также облеченные въ форму сонетовъ, выпали различно. Одинъ (это былъ соименникъ Данта) отвѣчалъ ему довольно грубо, совѣтуя прибѣгнуть къ разнымъ очистительнымъ средствамъ для возстановленія нормальнаго состоянія головы. Другіе были гораздо снисходительнѣе къ начинающему таланту и отвѣчали на его вызовъ болѣе симпатически. Между Дантомъ и Кавальканти началась отсюда даже довольно тѣсная дружеская связь.

Но будемъ слѣдить далѣе за развитіемъ того чувства, которое впервые вызвало поэтическій даръ автора «Божественной комедіи». Немного еще моментовъ остается намъ до сказать изъ исторіи отношеній Данта къ Беатриче. Долгое время любовь его питалась лишь благосклоннымъ привѣтомъ со стороны любимаго предмета: другого счастья не искалъ нашъ поэтъ, какъ только видѣть ее и быть замѣченнымъ ею. Цѣлые часы онъ могъ потомъ проводить въ уединеніи, вполне ошастливленный встрѣчею съ Биче, и ничего болѣе не желая для полноты своего существованія. Любовь постоянно была у него въ сердцѣ, она же не сходила почти у него съ языка. Въ «Новой жизни» есть мѣста, удивительно вѣрно схватывающія это состояніе поэта, котораго вся душа растворена однимъ всепроницающимъ чувствомъ.

„Едва только Беатриче показывалась мнѣ съ какой-нибудь стороны“ (говорить онъ о себѣ), „какъ въ ожиданіи того блаженства, которое несетъ съ собою привѣтъ ея, я уже не помнилъ у себя ни одного врага, я чувствовалъ въ себѣ столько любви, что готовъ былъ простить каждому, оскорбившему меня, и о чемъ бы ни спросили у меня, я на все отвѣчалъ бы словомъ „любовь“, и на сіяющемъ лицѣ моемъ не прочли бы иного чувства. Когда же приближался тотъ блаженный мигъ, что она должна была обратиться ко мнѣ съ привѣтствіемъ, духъ любви вдругъ какъ будто поглощалъ въ себѣ всѣ другія жизненныя силы, и вызывая ихъ изъ глубины, куда они спѣшили укрыться при видѣ ея, повелительно говорилъ имъ: „идите отдать ей подобающую честь“. Въ минуту же, когда она дарила мнѣ свой привѣтъ, самый этотъ духъ любви, жившій во мнѣ, до такой степени отдавался весь овладѣвшему имъ упоенію, что тѣло мое, которымъ онъ располагалъ тогда по своей власти, начинало сотрясаться какъ неодушевленное. Такимъ образомъ всякій могъ видѣть ясно, что въ привѣтствіи моей дамы заключалось все мое счастье, — счастье, которое часто было выше силъ моихъ“.

Сквозь поэтическую оболочку какъ ясно проглядываетъ истинное чувство! Мы въ самомъ дѣлѣ не знаемъ другого столько же вѣрнаго и искренняго выраженія того свѣжаго юношескаго чувства, которое владѣетъ человѣкомъ лишь немногія минуты его полнаго физическаго расцвѣта, чувства необыкновенно чистаго, восторженнаго и въ тоже время робкаго, стыдливаго. Оно знакомо особенно идеальнымъ натурамъ и живетъ большею частью внутри, хотя волненіе, имъ производимое, нерѣдко обнаруживается смятеніемъ всего организма. На этой степени находилась любовь Данта къ Беатриче.

Можно себѣ представить, каково было огорченіе Данта, когда Беатриче вдругъ стала отказывать ему въ обыкновенномъ привѣтствіи, которое составляло все его счастье. Причиною тому впрочемъ былъ онъ же самъ. Не думая ни передъ кѣмъ скрывать своей любви, поэтъ, по чувству врожденной ему деликатности, не хотѣлъ однако оглашать имени своей красавицы. Чтобъ лучше достигнуть своей цѣли, онъ дѣлалъ видъ, что занятъ другою, и не противорѣчилъ тѣмъ, которые замѣчали эту мнимую его привязанность. Нѣсколько стихотвореній, посвященныхъ тому же имени, хотя несомѣнно внушенныхъ совсѣмъ другимъ лицомъ, еще болѣе подтвердили существовавшее предположеніе. Дама, о которой идетъ рѣчь, была очень дружна съ Беатриче и большею частью показывалась въ публикѣ вмѣстѣ съ нею, такъ что поэтъ ничего не терялъ для своего истиннаго чувства, прикрываясь въ глазахъ постороннихъ людей мнимою склонностью къ другой женщинѣ. Имя ея скоро разнеслось между всѣми, кого только могли интересовать подобныя отношенія. Толки о новой привязанности Данта дошли наконецъ и до слуха Беатриче. Тогда, по чувству оскорбленной любви, она перестала обмѣниваться съ нимъ обычными привѣтствіями. Кто подумаетъ можетъ-быть, что, не встрѣчая болѣе взаимности, Дантъ также нѣсколько охладѣлъ въ своей любви? Нисколько. Онъ горько жаловался на свое несчастіе, горькими слезами оплакивалъ самъ съ собою свое лишеніе и еще съ большимъ жаромъ прославлялъ въ произведеніяхъ своей музы такъ неожиданно утраченное имъ благо. Любовь сохранила надъ нимъ всѣ свои права, и какъ прежде, такъ и послѣ выражалась въ поэтическихъ видѣніяхъ, принимавшихъ форму сонетовъ и канцонъ. Такъ всѣ случаи въ исторіи юношеской любви Данта сводились лишь къ тому, чтобы въ немъ возвышалось поэтическое настроеніе и размножались плоды его въ литературѣ.

Чувство поэта не знало и не искало себѣ другого выхода, какъ только въ гармоническіе звуки. И потому, когда Беатриче опять возвратила ему свою благосклонность, счастье его выразилось лишь въ болѣе веселомъ настроеніи его музы.

Между тѣмъ, если судить по современнымъ понятіямъ, Данту готовился самый сильный ударъ, какой только можетъ постигнуть человѣка, преданнаго чувству своей любви и счастливаго лишь взаимностью въ ней. Беатриче была въ полномъ цвѣтѣ своей красоты; выразительный взглядъ ея сулилъ счастье не одному только неизмѣнному ея обожателю: удивительно ли, что между тайными и явными поклонниками Биче Портинари нашлись нѣкоторые не только съ видами на ея сердце, но и съ желаніемъ получить ея руку? Удивительно ли далѣе, что представившаяся партія была такъ выгодна, что отецъ Биче на замедлилъ дать свое согласіе на сдѣланное ему предложеніе? Неизвѣстно, какое чувство питала она сама къ своему жениху; извѣстно только, что въ 1287 году состоялся ея бракъ ¹⁾, и что избранный не былъ тотъ, кто въ продолженіе многихъ лѣтъ слѣдилъ за нею съ такимъ постоянствомъ, и кого одна привѣтливая улыбка ея дѣлала счастливымъ на нѣсколько дней. Однимъ словомъ, онъ назывался Симонъ деи-Барди, а не Данте Алигьери.

Какъ же пережилъ Дантъ это жестокое лишеніе? или какъ отразилось оно въ его поэзіи? Но прежде чѣмъ отвѣчать на эти вопросы, слѣдуетъ еще спросить: точно ли переимѣна въ судьбѣ Беатриче почувствовалась имъ какъ лишеніе? По крайней мѣрѣ въ поэзіи его не видно никакихъ слѣдовъ подобнаго чувства. Дантъ очевидно смотрѣлъ совсѣмъ иными глазами на то, что намъ могло бы казаться его несчастіемъ. Онъ не испыталъ никакого горькаго чувства, потому что ничего не терялъ. И послѣ брака Беатриче ничто не мѣшало ей быть тѣмъ же для поэта, чѣмъ она была для него прежде. Попрежнему онъ могъ ожидать встрѣчи съ нею, попрежнему любовался ея красотою, счастливъ былъ ея простымъ привѣтствіемъ и въ тиши уединенія слагалъ гармоническія строфы въ честь своей „дамы“. Никогда Дантъ не выступалъ искателемъ ея руки; не видно даже, чтобъ подобная мысль когда-нибудь занимала его. Чего онъ не искалъ, того не могли у него отнять. Его счастливый соперникъ былъ

¹⁾ Доказательства—у Pelli, Memorie per la vita di Dante. См. Wegele, p. 69.

какъ будто вовсе не замѣченъ имъ. Можно бы подумать, что въ судьбѣ Беатриче произошла лишь какая-то внѣшняя перемѣна, вовсе не касавшаяся нашего поэта. Если же на душѣ его и было какое непріятное чувство, мы не въ правѣ дѣлать о немъ заключенія, потому что оно ничѣмъ не выразилось.

Нужно ли еще называть любовь Данта къ Беатриче по имени? Это было то самое чувство, которое впервые сказалось въ провансальской поэзіи и наполнило собою почти все ея содержаніе; это была та идеальная любовь, которая обыкновенно разрѣшалась поэтическими звуками и скоро переходила въ культъ женщины. Въ ней выразилось идеальное стремленіе вѣка; она служила ему источникомъ высокаго вдохновенія и во многихъ случаяхъ замѣняла недостатокъ твердыхъ нравственныхъ началъ въ жизни. Многаго лишились тѣ народности, до которыхъ не достигло ея благотворное дыханіе. Дантъ былъ истый сынъ своего вѣка: его также не миновали лучшія стремленія времени; онъ рано проникнулся ими и отдался имъ всею душою. Но если потребность существовала уже и прежде, то никогда еще она не находила для себя столь воспримчивой почвы. Направленіе, введенное въ жизнь провансальцами, обыкновенно сообщалось черезъ поэзію; но Данта коснулось пламя любви, повидимому, гораздо прежде, чѣмъ могло подѣйствовать на него то или другое поэтическое вліяніе. У него нашлась, такъ сказать, природная основа для того самаго чувства, которое большею частью прививалось искусственнымъ воспитаніемъ. Дальнѣйшее развитіе чувствъ Данта къ Беатриче конечно совершилось уже подѣ вліяніемъ современной поэзіи. Доказательствомъ служить то, что начало его собственныхъ опытовъ въ поэзіи и знакомство съ другими ея представителями принадлежитъ одному времени съ возрастаніемъ любви его къ Беатриче. И такъ отношенія поэта къ ней были тѣ самыя, которыхъ идеальное отраженіе мы видѣли уже въ провансальской поэзіи. Они, какъ извѣстно, могли существовать помимо всѣхъ другихъ связей; служеніе женщинѣ, а не обладаніе ею, было ихъ крайнею цѣлью. Какія бы перемѣны ни произошли во внѣшней судьбѣ „избранной“, она стояла одинаково высоко въ глазахъ того, кто однажды посвятилъ себя на служеніе ей. Можно и даже необходимо было ей принадлежать „другому“, потому что та идеальная любовь не совмѣщалась съ обладаніемъ и не допускала его для себя. Беатриче перестала бы служить идеа-

домъ для Данта, если бѣ онъ приобрѣлъ надъ нею супружескія права.

Надобно впрочемъ прибавить, что чувство нашего поэта не укладывалось въ условную рамку—такъ оно было задушевно и искренно, такъ глубоко коренилось въ самой его природѣ. Одно искусственное вліяніе никогда не могло бы покорить себѣ до такой степени всего человѣка. Подобное чувство знакомо было и другимъ современникамъ Данта, но обыкновенно занимало въ ихъ жизни лишь одну сторону: у флорентинскаго поэта, напротивъ того, оно наполнило нѣсколько лѣтъ жизни такъ, что въ душѣ его почти не оставалось болѣе мѣста другимъ стремленіямъ. Беатриче была не только самою яркою звѣздою его юности, но и возбудительницею его къ „новой жизни“. Скажемъ больше: на ней именно нѣкоторое время сосредоточена была вся его жизнь, ибо около нея постоянно обращалась его мысль, какъ ею неизмѣнно занято было его сердце ¹⁾. Онъ былъ какъ полный сосудъ, принявшій въ себя всю полноту новаго въ европейскомъ развитіи чувства. Оттого такъ неистощимо было его поэтическое вдохновеніе, несмотря на то, что темою для него долгое время служилъ одинъ и тотъ же образъ. Оно било въ немъ черезъ край, ибо, питаемое постоянно одною любимою мечтою, не умѣщалось болѣе во внутреннемъ чувствѣ поэта: оно ловило каждый новый моментъ, и тотчасъ давало ему крѣпкую металлическую форму, подъ именемъ сонета или канцоны. Въ томъ состояла „новая жизнь“ Данта, начавшаяся для него съ той минуты, какъ „духъ любви“ овладѣлъ въ немъ всѣми другими жизненными силами. Но какъ ни многое разрѣшалось въ поэзію, въ душѣ поэта всегда оставался достаточный запасъ одного чувства, чтобъ не было полной свободы для другихъ,—и какъ притомъ оно очень мало разнообразилось внѣшними перемѣнами, то происходившее отсюда общее состояніе лица носило на себѣ особенный характеръ, рѣдко встрѣчающійся въ этой ранней эпохѣ. Его можно назвать состояніемъ чувствительности, которая такимъ образомъ въ Дантѣ имѣла свое самое раннее и, можно сказать, преждевременное проявленіе, принадлежа своимъ полнымъ раскрытіемъ гораздо позднѣйшему періоду историческаго времени.

Вопросъ теперь состоялъ въ томъ: чѣмъ будетъ въ послѣдствіи этотъ чувствительный человѣкъ? окажется ли онъ спо-

¹⁾ Ср. Wegele, p. 109, 110.

инымъ на мужеское дѣло? Отвѣтъ дадутъ событія послѣдней жизни Данта.

Но не надобно терять изъ виду и другихъ сторонъ Дантова гения, которыя раскрылись впервые въ томъ же произведеніи. Не надобно особенно забывать, что Дантъ принадлежалъ Италіи, гдѣ самая провансальская поэзія приняла въ себя нѣкоторые новые элементы. Нигдѣ не сохранилось отъ этихъ временъ столько матеріала для образованія, какъ въ Италіи; ни въ какой странѣ разработка его не находила себѣ столько сочувствія, какъ въ отечествѣ нашего поэта. Успѣхи земнаго образованія шли здѣсь объ-руку съ успѣхами заимованной поэзіи; одно явленіе какъ бы подавало руку другому. На итальянской почвѣ они сошлись вмѣстѣ и простелились впередъ одною, общою дорогою. Въ Италіи не было ни та, ни другая произведенія, котораго не отразилось бы въ той или другой степени вліяніе возрождающагося образованія, какъ много находилось образованныхъ людей, которые бы избѣжали увлеченія современною поэзіей. Въ то самое время, какъ давались новые поэтическіе образы, обдумывались также новыя философическія теоріи, и нерѣдко тѣ и другія мѣшались между собою въ произведеніяхъ одного и того же писателя. Отвлеченная мысль прокрадывалась всюду, и рѣдко поэтическая идея появлялась въ произведеніи безъ символическаго или мистическаго покроя.

Восприимчивость Данта была равно велика какъ для поэтическаго, такъ и для другого современнаго направленія. Это замечено новыми его біографами съ очевидностью. Многія мѣста «Новой жизни» служатъ тому неопровержимымъ свидѣтельствомъ. Особенно удачно подобраны они у Форіеля¹⁾. Извѣстно, что составъ «Новой жизни» есть смѣшанный: чисто поэтическія произведенія, какъ-то: сонеты и канцоны, мѣшались въ ней съ прозаическимъ комментариемъ. Послѣдній наиболѣе замѣчается школою, которую поэтъ очевидно проходилъ въ юности. Элементы его образованія встрѣчаются тутъ въ чистомъ видѣ. Изъ нихъ видно, что въ то время уже много различныхъ предметовъ коснулось его мысли, и что въ немъ рано развилась наклонность къ мистическому толкованію словъ, вещей и самыхъ явленій. Это была также одна изъ общихъ слабостей вѣка, которая необходимо условливалась всѣмъ тогдашнимъ современнымъ знаніемъ и въ особенности употребитель-

¹⁾ См. Lauriel, ibid. p. 382—385.

ными въ немъ методами. Такъ между прочимъ случайное число 9 получило въ отношеніяхъ поэта къ Беатриче чрезвычайное значеніе. Онъ самъ приводитъ тому основаніи въ прозаическомъ комментаріи. Первымъ изъ нихъ послужило извѣстное намъ обстоятельство, что Беатриче обратилась къ Данту съ привѣтствіемъ черезъ 9 лѣтъ послѣ своей первой встрѣчи съ нимъ; случилось же это въ 9-й часъ дня. Двукратное совпаденіе одного и того же числа тогда уже поразило мысль нашего поэта. Когда же впоследствии наступилъ послѣдній часъ Беатриче, и Дантъ, опредѣляя его по разнымъ календарямъ, открылъ въ немъ ту же самую цифру, тогда мысль о таинственномъ значеніи числа 9 превратилась для него въ твердое убѣжденіе. „Если считать по арабскому счету“ (говоритъ онъ), „то выходитъ, что благородная душа Беатриче отлетѣла въ 9-й часъ 9-го дня мѣсяца; по сирійскому же въ 9-й мѣсяцъ года. А если обратиться къ нашему лѣтосчисленію, то она отошла отъ жизни въ тотъ самый годъ, когда число 9 уже въ 9-й разъ повторилось въ смѣнѣ лѣтъ того столѣтія, которому она принадлежала по своему рожденію (то-есть XIII ст. 90-й годъ)“. Послѣ того Дантъ задаетъ себѣ такой вопросъ: какъ могло случиться, что число 9 такъ тѣсно соединено съ судьбою Беатриче? и отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: „По Птоломею и по христіанскимъ писателямъ оказывается несомнѣннымъ, что число подвижныхъ небесныхъ сферъ — 9, а по мнѣнію астрономовъ, всѣ эти различныя сферы равно удерживаютъ свою силу здѣсь, на землѣ, какъ и въ высшихъ областяхъ. Итакъ частое повтореніе числа 9 въ судьбахъ Беатриче прямо показываетъ, что всѣ небесныя сферы согласно дѣйствовали на нее при ея рожденіи на свѣтъ“. Довольно этого объясненія, чтобъ видѣть, въ какую сторону наклонялся умъ поэта; но онъ придумываетъ еще другое, болѣе тонкое объясненіе: цѣль его—показать, что Беатриче изображала собою, разумѣется—фигурально, это самое число 9, котораго корень есть другое, еще болѣе таинственное число — 3.

Философическое образованіе головы Данта и раннюю привычку его къ отвлеченному мышленію частью можно видѣть уже изъ тѣхъ выраженій, которыми онъ пользуется, изображая дѣйствіе любви на себя. Этотъ „духъ жизни“, который, сотрясаясь самъ при видѣ новаго божества, увлекаетъ за собою и прочія силы организма, конечно ведетъ свое начало отъ философскаго способа представленія. Но есть цѣлыя мѣста въ

прозаическомъ комментаріи, гдѣ все вниманіе поэта занято тѣмъ, чтобъ перевести имъ же употребленный поэтическій образъ на отвлеченный языкъ науки. Желая быть отчетливымъ, онъ прямо пускается въ схоластическія тонкости. Таково, напримѣръ, приводимое имъ объясненіе персонификаціи Амура въ поэтической части того же произведенія. Миеическій Амуръ дѣйствительно часто заступаетъ здѣсь мѣсто любви, какъ это было въ обычаяхъ и у провансальскихъ поэтовъ: никто не спрашивалъ у Данта отчета въ употребленіи миеологическаго представленія вмѣсто обыкновеннаго имени, но онъ счелъ за нужное изложить свои побужденія передъ читателемъ: „Иныхъ можетъ-быть привести въ недоумѣніе мои слова касательно любви, ибо я говорю о ней такъ, какъ если бъ это было существо само-по-себѣ, то-есть имѣющее не только умственное, но и матеріальное бытіе,—чего однако нѣтъ въ дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ, любовь не есть субстанція, а только одно изъ явленій (accidens) субстанціи. Между тѣмъ я говорю о ней, какъ если бъ она существовала физически, или какъ если бъ это было существо, подобное человѣку. Многое въ моихъ словахъ подтверждаетъ такое предположеніе. Такъ съ самаго начала любовь приходитъ у меня издалека; но слово „приходить“ показываетъ мѣстное движеніе, а рассуждая философически, только тѣла могутъ двигаться и перемѣнять мѣсто“, и т. д.

Не ясно ли, что съ развитіемъ поэтическаго чувства Данта шло въ уровень его философическое образованіе? Едва ли даже онъ не былъ воспріимчивѣе въ этомъ отношеніи, чѣмъ всѣ другіе современные ему итальянскіе поэты. Самая поэзія не разъ служила ему матеріаломъ для философическаго анализа. Но какимъ образомъ поэтическая дѣятельность и сознаніе философа могли совмѣщаться въ одной головѣ? и можетъ ли быть допущено присутствіе отвлеченной мысли въ поэтическомъ произведеніи безъ упрека писателю? Отвѣтомъ, кажется намъ, можетъ служить вѣрное замѣчаніе того изслѣдователя, которымъ и самый вопросъ всего болѣе поставленъ на видъ. Онъ не удивился бы, если бъ кому въ наше время такое соединеніе показалось уродливимъ и навлекло писателю упрекъ въ педантизмѣ. „Но нельзя того же сказать“ (продолжаетъ онъ) „о времени Данта и особенно въ отношеніи къ нему самому. Знаніе было тогда рѣдкимъ явленіемъ и приобрѣталось съ трудомъ. Тому, кто сдѣлалъ такое приобрѣтеніе, естественно было нѣсколько возгордиться имъ и возмечтать о его важности. Въ

приложеніи къ такому серьезному уму, какъ Дантъ, котораго дѣятельная мысль во всемъ искала себѣ пищи, упрекъ въ педантизмѣ былъ бы особенно неумѣстенъ. Въ стремленіяхъ его, напротивъ того, видѣнъ страстный порывъ высокаго и сильнаго ума, который ищетъ себѣ широкаго раскрытія и самаго всесторонняго образованія“ ¹⁾).

Удивительное соединеніе, прибавимъ мы, высокаго поэтическаго воодушевленія съ замѣчательнымъ даромъ мысли и анализа! Оно даетъ поэту новое право на уваженіе со стороны позднѣйшихъ поколѣній. Намъ не можетъ быть не симпатична его дѣятельность, ибо поэтический энтузіазмъ дружится въ ней съ разумною мыслью. Такова свѣжесть и искренность у Дантова чувства, что она не сглаживается даже примѣсью мистицизма. Вегеле совершенно правъ, когда жалѣетъ, что лирика Данта рано вытѣснена была Петраркою. Еще первые советы отзываются молодостью и провансальскимъ вліяніемъ, но по мѣрѣ того, какъ просвѣтляется его страсть, и самыя формы его произведеній становятся гораздо совершеннѣе, чужія оковы спадаютъ, и воодушевленіе поэта, почувствовавъ себя свободнымъ, устремляется на недостигаемую высоту. Наконецъ—прежде впрочемъ, чѣмъ зародилась идея «Божественной комедіи»—истинностью и глубиною чувства поэзія Данта возвышалась уже надъ всѣмъ родственнымъ ей въ современности. „Въ томъ и состоитъ“ (прибавляетъ тотъ же изслѣдователь) „человѣческое и поэтическое величіе Данта, что онъ способенъ былъ такъ долго выдержать свое высокое пареніе, и что умѣлъ свою первую любимую мечту возвысить до степени негнущаго идеала и спасти свои молодые чувства отъ неотразимой и всеокрушающей силы времени. Въ томъ и прелесть «Новой жизни», что элементъ человѣческаго чувства пробивается въ ней даже сквозь мистику и схоластику, и она всегда сохраняетъ свое значеніе какъ фізіологія (поэтическая) чистой любви“ ²⁾).

Оцѣнка «Новой жизни» впрочемъ принадлежитъ больше критикѣ, чѣмъ біографіи. Намъ главнымъ образомъ нужны были признанія самого поэта, изъ которыхъ видно, что поэтическое развитіе шло у него объ-руку съ жизнью, и что фантазія его получала первое возбужденіе отъ житейскихъ впечатлѣній. Но жизнь была школою для Данта и въ другомъ, очень важномъ отношеніи. Содѣйствуя его поэтическому обра-

¹⁾ Fauriel, I, p. 385. — ²⁾ Wegele, p. 103.

ванію, она въ то же время воспитывала въ немъ гражданское чувство. Наши симпатіи къ великому флорентинцу основаны не на одномъ лишь поэтическомъ его талантѣ. Въ вторѣ «Божественной комедіи» мы любимъ также человѣка гражданина. Не въ одной только литературѣ—смѣемъ мы думать — принадлежитъ и всегда будетъ принадлежать ему высоко-почетное мѣсто, но и въ общей исторіи человѣчества, гдѣ оно почти не менѣе заслужено имъ чистотою намѣреній, ужестовомъ сердца и непоколебимостью убѣжденій. Какая же школа или какая политическая система имѣла особенно благотворное вліяніе на его гражданское образованіе? Прежде сего и болѣе всего, сколько намъ извѣстно, самая жизнь: существующія же системы дали только готовныя формулы для ихъ возвращеній, которыя выработаны были его собственнымъ умомъ подъ вліяніемъ окружающей дѣйствительности и разныхъ жизненныхъ отношеній.

Не вдругъ, можно даже сказать—очень медленно сложились политическія убѣжденія Данта. Гвельфъ по рожденію и о фамиліи связямъ, онъ въ самой ранней молодости вѣлѣлъ торжество своей партіи во Флоренціи. Гибеллины были изгнаны изъ города, и противники ихъ, сильные покровительствомъ анжуйскаго дома, утвердившагося въ Неаполѣ, не знали, или по крайней мѣрѣ нѣкоторое время не замѣчали вдругъ себя совмѣстниковъ, которые бы могли оспаривать у нихъ власть въ республикѣ. Хотя среднее сословіе, *il popolo grasso*, же съ 1250 года имѣло законнаго представителя своихъ правъ въ такъ называемомъ „капитанѣ народа“, или гонфалоньерѣ, отъ, вслѣдствіе переворота 1267 года, оно даже призвано было къ участию во внутреннемъ управленіи, но пока Карлъ Анжуйскій носилъ титулъ викарія, т. е. намѣстника имперіи, въ Лосканѣ поддерживаемые имъ гвельфы не боялись никакого оперничества. Ихъ вліяніе на внутреннія дѣла и политику Флоренціи превѣшивало всякое другое. Новосозданныя политическія учрежденія во Флоренціи дѣйствовали не иначе, какъ въ зависимости отъ господствующей партіи. Получивъ права, рядный классъ не завоевалъ еще себѣ полной самостоятельности. Кто, какъ Дантъ, родился гвельфомъ и выросъ во время реобладанія этой партіи, тому естественно было раздѣлять ея интересы и гордиться ея успѣхами. Другимъ политическимъ управленіемъ въ ранней молодости нашего поэта не было ни мѣста, ни ближайшаго повода. Онъ оставался на сторонѣ вельфской партіи, которой принадлежалъ своимъ рожденіемъ

и къ которой былъ привязанъ своимъ воспитаніемъ и привычкою.

Въ судьбахъ цѣлой партіи готовились однако большія перемѣны, которыя потомъ не могли остаться безъ вліянія и на образъ мыслей каждаго отдѣльнаго лица. Намъ необходимо познакомиться съ ними напередъ, чтобъ лучше понять нѣкоторыя превращенія, послѣдовавшія со временемъ въ Дантовомъ политическомъ сознаніи. Гордые чувствомъ своей силы у себя дома, флорентинскіе гвельфы хотѣли дать почувствовать ее своимъ противникамъ и за стѣнами города. Такова была общая постановка политическихъ партій въ Италіи, что какъ перевѣсъ, такъ и пораженіе той или другой изъ нихъ, большею частью были только мѣстныя. Гвельфы или гибеллины, вытѣсненные въ одномъ мѣстѣ, легко находили себѣ убѣжище и союзниковъ въ другихъ. Съ другой стороны, побѣдители естественно желали утвердить свое преобладаніе въ цѣлой окрестной странѣ. Въ слѣдующемъ же 1269 году, послѣ казни Конрадина, начинаются походы флорентинскихъ гвельфовъ противъ гибеллинскихъ городовъ въ Тосканѣ, между которыми самое видное мѣсто занимали Пиза и Сіена. У Виллани сохранился довольно обстоятельный разсказъ о первомъ изъ этихъ предпріятій. Вызовъ на борьбу послѣдовалъ впрочемъ со стороны самихъ гибеллиновъ. Тѣ изъ нихъ, которые были изгнаны изъ Флоренціи, на первый разъ нашли себѣ самое живое сочувствіе въ Сіенѣ. Мессеръ Провинцано, стоявшій тогда во главѣ сіенской общины, горячо принялъ ихъ сторону. Соединившись съ Гвидо Новелло и получивъ помощь отъ пизанцевъ, онъ съ большою силою выступилъ противъ флорентинскихъ владѣній. Черезъ нѣсколько времени гибеллинское ополченіе стояло ужъ у Спуньйоле. Едва только вѣсть объ этой опасности — разсказываетъ нашъ историкъ — достигла Флоренціи, какъ мессеръ Джамбертальдо, намѣстникъ Карла Анжуйскаго въ Тосканѣ, собравъ свою французскую дружину, въ которой было до 400 всадниковъ, поспѣшно вышелъ съ нею противъ непріятеля... Между тѣмъ въ городѣ ударили въ набатъ, и тревога распространилась между всѣми жителями. По первому слуху объ опасности, флорентинскіе гвельфы, кто пѣшкомъ, кто на конѣ, составили изъ себя особое ополченіе. Кавалерія ихъ черезъ день же соединилась съ намѣстникомъ, но пѣхота нѣсколько запоздала. Не дожидаясь ея, Джамбертальдо рѣшился перейти мостъ, отдѣлявшій его отъ противниковъ, и какъ только переходъ былъ конченъ, тотчасъ

велѣлъ разрушить за собою мостъ. При явномъ превосходствѣ силъ непріятеля, онъ рассчитывалъ лишь на силу и неустойчивость своего удара. Рѣшимость его увѣнчалась полнѣйшимъ успѣхомъ: сіенцы не устояли противъ нападенія, которое не успѣли предупредить, и были совершенно разбиты. Больше число ихъ легло на мѣстѣ, другіе искали спасенія проворномъ бѣгствѣ. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ Гвидо Новелло; но Провинцано былъ захваченъ въ плѣнъ и обезглавленъ на мѣстѣ. Голова его, воткнутая на пику, висѣла на всеобщее гвельфскому лагерю. Вообще гвельфы въ этомъ случаѣ произвели страшное избіеніе между побѣжденными, мстя имъ за свое пораженіе при Монталперти. Послѣ побѣды побѣдители не замедлили предписать свою волю и самой побѣжденной республикѣ. Гвельфская партія снова утвердилась въ Сіенѣ, и тамошніе гибеллины въ свою очередь должны были удалиться въ изгнаніе, безъ надежды на скорое возвращеніе въ стѣны родного города ¹⁾. Одна неудача послѣдила за собою другую. Въ слѣдующемъ году гибеллины лишились еще одного твердаго оплота въ Тосканѣ. Послѣ Сіены самымъ вѣрнымъ убѣжищемъ изгнанниковъ на югѣ служилъ рѣшленный городъ Поджибонци. По словамъ Виллани, это было одно изъ самыхъ красивыхъ и крѣпкихъ мѣстъ въ цѣль Италіи. Особенно славилось оно въ то время своими прекрасными фонтанами, которые сдѣланы были изъ мрамора.

Въ 1270 году флорентинцы, мстя жителямъ Поджибонци за то, что они вѣрными убѣжищемъ изгнанниковъ на югѣ служили, лишили ихъ и разрушили. Съ того времени община лишилась своей политической самостоятельности ²⁾.

Еще время отъ времени находились въ Италіи усердные ротворцы, которые не отказывались помирить между собою борющіяся партіи на справедливыхъ основаніяхъ. Почти не нужно говорить, что попытки такого рода большею частью были безуспѣшны. Самая замѣчательная изъ нихъ принадлежитъ папѣ Григорію X. Разсказъ о ней, не лишенный занимательности, находимъ у того же флорентинскаго историка. До изгнанія своего Григорій X былъ легатомъ римскаго престола въ Востокѣ и возвратился оттуда съ мыслію о новомъ крестовомъ ополченіи для освобожденія Святой Земли. Съ этою мыслію онъ объявилъ на 1273 годъ большой соборъ въ Ліонѣ, къ которому съѣхали въ самомъ средоточіи континентальныхъ державъ ка-

1) См. Willani, l. VIII, c. 31.—2) Ibid. c. 36.

толической Европы. Думая открыть собраніе лично, онъ выѣхалъ изъ Рима въ сопровожденіи кардиналовъ и держалъ путь къ предѣламъ Франціи черезъ Тоскану. Во Флоренціи приготовленъ былъ ему торжественный приѣмъ. Флорентинцы рады были всякому случаю устроить у себя великолѣпный праздникъ; на этотъ же разъ, кромѣ палы, въ числѣ ихъ гостей были и другія высокія особы, какъ-то: Карлъ Анжуйскій и Балдуинъ Фландрскій, наслѣдникъ правъ латинскихъ императоровъ на Востокъ. Григорію X понравилось пребываніе во Флоренціи, такъ что онъ рѣшился провести въ ней лѣто. Живя въ стѣнахъ этого прекраснаго города, онъ почувствовалъ большую любовь къ нему и желалъ съ своей стороны содѣйствовать его умиротворенію. Но какой миръ возможенъ былъ для города, пока одна часть его гражданъ, осужденная на изгнаніе, постоянно угрожала ему нападеніемъ извнѣ? Поэтому возвращеніе гибеллинскихъ изгнанниковъ въ городъ казалось папѣ единственнымъ средствомъ для восстановленія мира и спокойствія во Флоренціи, и чего нельзя было сдѣлать никакими убѣжденіями, того онъ думалъ достигнуть силою своего авторитета. Созвавъ всѣхъ флорентинцевъ на открытомъ мѣстѣ близъ Арно, Григорій X торжественно объявилъ передъ цѣлымъ народомъ, что хочетъ примиренія гвельфовъ съ гибеллинами, и всѣмъ, противящимся его волѣ, грозилъ отлученіемъ отъ церкви. Передъ повелительнымъ голосомъ папы смолкли всѣ противорѣчія, и непримиримые враги должны были въ его присутствіи облобызаться другъ друга въ знакъ любви и мира (ибо въ собраніи участвовали также и нѣкоторые изъ гибеллиновъ, призванные сюда въ качествѣ представителей своей партіи). Для обезпеченія мира, обѣ стороны дали отъ себя заложниковъ. Гибеллины не постояли даже за свои крѣпкіе замки (*le castella*) и сдали ихъ въ руки Карла Анжуйскаго, чтобъ только получить право возвращенія въ городъ. Черезъ нѣсколько дней потомъ Григорій X выѣхалъ изъ Флоренціи, повидимому оставляя позади себя сѣмена мира и добраго согласія.

Болѣе двухъ лѣтъ потомъ онъ пробылъ въ отсутствіи. Ліонскій соборъ состоялся; долго длились его совѣщанія, но напрасны оказались всѣ старанія папы соединить разрозненные силы католическаго міра для одного задуманнаго имъ предпріятія. Печальный возвращался онъ въ концѣ 1275 г. въ Италію, и на обратномъ пути посѣтилъ еще разъ Флоренцію. Но какъ мало походило это второе его посѣщеніе на первое! Надобно знать, что устроенное Григоріемъ примиреніе держалось

весьма недолго. Говорят даже, что самый отъезд его из Флоренции ускоренъ былъ дошедшимъ до него извѣстіемъ, что гвельфы замышляютъ избиеніе гибеллиновъ, которые прибыли въ городъ для заключенія мира. Глубоко огорченный ожесточеніемъ и непримиримостью флорентинцевъ, онъ поспѣшилъ тогда оставить городъ, и съ дороги же послалъ ему свое проклятіе. Съ того времени Флоренція была подъ церковнымъ отлученіемъ, и только чрезвычайное разлитіе водъ Арно, которымъ снесены были почти всѣ мосты, заставило папу рѣшиться на вторичный проѣздъ черезъ нее. Въ опальномъ городѣ по-прежнему господствовала гвельфская партія безъ совмѣстниковъ. Исчезли и послѣдніе слѣды неудавшагося примиренія, и никто болѣе не смѣлъ говорить о возвращеніи гибеллиновъ. Приближеніе папы, возвращавшагося изъ Ліона, также нисколько не расположило флорентинскихъ гвельфовъ къ миролюбію. Они боялись его гнѣва, но не показывали никакого желанія помириться съ своими противниками. Положеніе Григорія X было довольно затруднительно. Проѣхать ему иначе было нельзя, какъ черезъ Флоренцію, а между тѣмъ какъ было ѣхать черезъ городъ, имъ же самимъ преданный проклятію? Григорій X однако придумалъ средство выйти изъ затрудненія. Передъ въѣздомъ во Флоренцію онъ снялъ съ нея опалу и даже благословлялъ народъ во время проѣзда; а какъ только выѣхалъ за ворота, опять произнесъ надъ городомъ отлученіе. Но и Флоренція, какъ была до сего времени, такъ и послѣ осталась гвельфскою. Ряды гвельфовъ, разступившіеся во время проѣзда папы, снова сомкнулись въ одну густую массу. Григорій X впрочемъ недолго боролся съ ними: онъ доѣхалъ лишь до Ареццо, и тамъ кончилъ жизнь свою ¹⁾.

Другая попытка помирить гвельфовъ съ гибеллинами также принадлежала римскому престолу, но вышла изъ побужденій менѣе безкорыстныхъ. Во взаимной постановкѣ двухъ враждебныхъ итальянскихъ партій многое зависѣло, какъ мы знаемъ, отъ ихъ отношеній къ двумъ главнымъ центрамъ, отъ которыхъ они вели свое начало. Какъ императорская власть служила опорой гибеллинамъ, такъ гвельфскіе интересы тѣсно соединялись съ римскими. Но паденіе Гогенштауфеновъ значительно измѣнило прежнія отношенія. Гибеллинизмъ сталъ менѣе антипатиченъ римскому престолу, какъ скоро для него прошла опасность со стороны имперіи. Германскій авторитетъ не возвысился

¹⁾ См. Willani, *ibid.* c. 42 et 49.

въ Италіи даже по окончаніи междуцарствія, то-есть со вступленіемъ на престолъ Рудольфа Габсбургскаго. Самъ императоръ не показывался на полуостровѣ, а назначаемыхъ имъ намѣстниковъ никто не хотѣлъ слушать. Напротивъ, дружественный гвельфамъ авторитетъ анжуйскаго дома, который владѣлъ тогда Неаполемъ и Сициліею, усиливался все болѣе и болѣе на полуостровѣ. Опираясь на свои южныя владѣнія и на союзъ свой съ Римомъ, онъ простиралъ все далѣе и далѣе свое вліяніе въ средней Италіи, и мало-по-малу присвоилъ себѣ права, почти равныя императорской власти. Съ согласія папы Карлъ Анжуйскій носилъ уже въ Тосканѣ титулъ императорскаго викарія. Хотя возвышеніе его въ Италіи было дѣломъ римскаго престола, но это чрезвычайное распространеніе власти Карла не лежало въ видахъ послѣдняго. Неаполитанскій викаріатъ въ Тосканѣ особенно внушалъ Риму опасенія своимъ слишкомъ близкимъ сосѣдствомъ. Какая была бы выгода римскому престолу, что новый свѣтскій авторитетъ въ Италіи назывался анжуйскимъ или неаполитанскимъ, если бъ онъ возвысился до степени и значенія прежняго императорскаго? Постоянное римское правило было *divide et impera*. Итакъ надобно было стараться положить предѣлы излишнему усиленію анжуйскаго дома, по крайней мѣрѣ на сѣверъ отъ Рима; а этого можно было достигнуть не иначе, какъ поддерживая тосканскихъ гибеллиновъ противъ гвельфскаго преобладанія. Не начиная борьбы съ своимъ союзникомъ, римскій престолъ однако не могъ долѣе, безъ нарушенія своихъ выгодъ, содѣйствовать его властолюбивымъ стремленіямъ.

Къ разности политическихъ интересовъ скоро присоединилось одно личное обстоятельство. Одинъ изъ ближайшихъ преемниковъ Григорія X, Николай III Орсини, по вступленіи своемъ на римскій престолъ, искалъ для своего дома родственныхъ связей съ Карломъ Анжуйскимъ. Получивъ довольно неделикатный отказъ, онъ почувствовалъ себя лично оскорбленнымъ, и съ тѣхъ поръ сталъ очень неблаговольтъ къ королю. Невыгодныя слѣдствія размолвки съ папою скоро почувствовались для Карла какъ въ самомъ Римѣ, такъ и въ Тосканѣ. По волѣ Николая III онъ долженъ былъ сложить съ себя званіе римскаго сенатора, которое давало ему право занимать своимъ войскомъ крѣпость Св. Ангела. Тосканскій викаріатъ его также кончился по истеченіи десятилѣтняго срока, ибо папа противился его возобновленію. Но римскіе политики сверхъ того придумали еще одно средство повредить въ Тосканѣ бывшему

амѣстнику. Оставшись въ городѣ одни, безъ совмѣстниковъ, флорентинскіе гвельфы скоро разладили между собою. Кайшіе поводы къ несогласію неизвѣстны, но историки знаютъ по имени тѣ фамиліи, которыя подали первый сѣтъ ко враждѣ; это были: Адимари и Донати. Къ послѣднимъ присоединились потомъ Тозинги и Пацци; но первые также изъ своихъ партизановъ, такъ что раздѣленіе прошло почти сему высшему сословію. Надобно полагать, вмѣстѣ съ Виллани, что гордость и мстительность, вкоренившіяся въ самыя партіи, были главною причиною нарушенія въ ней реннаго единства. Не встрѣчаясь болѣе въ однѣхъ стѣнахъ съ своими заклятыми врагами, гвельфы не знали, куда деться съ своимъ высокоуміемъ и свойственною имъ исключительностью, и обратили ихъ на самихъ себя. При первомъ ихънувшемъ столкновеніи одна и та же партія раздѣлилась на два противоположные лагеря—такъ неисправимы, неискоренимы были страсти итальянскихъ политическихъ партий. Николай III воспользовался этимъ обстоятельствомъ, и вмѣшательство въ внутреннія дѣла республики. Одновременно съ гвельфскимъ посольствомъ, которое прибыло въ Римъ послѣ папы о посредничествѣ, явились къ нему и посланцы отъ гибеллинскихъ изгнанниковъ, которые черезъ него искали возвращенія своихъ правъ во Флоренціи. Дѣлая видъ, что уступаетъ желанію тѣхъ и другихъ, папа отправилъ во Флоренцію своего легата, кардинала Латино, для улаженія добраго мира между гражданами. Мысль Григорія X еще разъ приведена была въ исполненіе. Дѣйствуя по примѣру, легатъ Николая III также собралъ флорентинцевъ на одной площади (близъ церкви Санта-Марія дель Флорентини), обратился къ нимъ съ увѣщаніемъ и тутъ же повелевалъ отъ нихъ примиренія. Въ знакъ прощенія и мира и враги должны были въ его присутствіи облобызаться другъ друга. Не только гвельфы мирились между собою, но и гвельфы съ гибеллинами; кромѣ того миръ съ обѣихъ сторонъ подтверждался клятвенною грамотою и обезпечивался клятвенными клятвами.

Повидимому, дѣло примиренія больше удалось легату Латино, чѣмъ папѣ Григорію X. На этотъ разъ по крайней мѣрѣ не ограничилось словами и обѣщаніями. Гибеллины дѣйствительно возвратились во Флоренцію съ правомъ получить снова отобранныя у нихъ прежде имѣнія. Съ нихъ снята всякая опала, и самыя акты, въ которыхъ содержалось

ихъ осужденіе, были преданы сожженію. Изъ амнистіи исключались лишь главные и самые опасные предводители партій: ради внутренней безопасности имъ воспрещено было показываться въ флорентинскихъ предѣлахъ, пока не установился твердый порядокъ въ республикѣ. Затѣмъ дѣятельный легатъ обратился ко внутреннему устройству Флоренціи. Чтобы возвращеніе гибеллиновъ не было пустою фразой, справедливость требовала допустить ихъ къ участию въ правленіи; но въ такомъ случаѣ прежнія правительственныя формы должны были уступить мѣсто новымъ. Тогда, по соглашенію съ гвельфами, кардиналъ Латино отмѣнилъ прежнее правительство 12 *buonomini*, и на мѣсто ихъ постановилъ новое, изъ 14 членовъ, удержавшихъ впрочемъ старое названіе. Гибеллины введены были въ коллегію, но не болѣе, какъ въ числѣ шести членовъ; остальные восемь мѣстъ принадлежали гвельфской партіи ¹⁾. Ясно, что, согласившись раздѣлить политическія права съ своими противниками, она однако не хотѣла потерпѣть не только перевѣса съ ихъ стороны, но и полнаго съ ними равновѣсія. Срокъ власти новыхъ правителей оставался тотъ же, что и прежде, то-есть ограничивался двумя мѣсяцами; затѣмъ они уступали свое мѣсто другимъ, избраннымъ по тому же порядку и въ томъ же числѣ. Засѣданія ихъ происходили въ особо назначенномъ для того зданіи (*Badia di Firenze*); тамъ проводили они большую часть времени, уходя домой лишь для подкрѣпленія себя пищею и сномъ. Устроивъ такимъ образомъ дѣла во Флоренціи, кардиналъ-легатъ мирно возвратился къ своему посту, въ той увѣренности, что успѣлъ положить конецъ долговременной враждѣ партій.

Чѣмъ же кончилось все дѣло? Еще договоръ существовалъ во всей своей силѣ, какъ уже гибеллины не считали себя болѣе безопасными во Флоренціи. Черезъ два года (1279—81) по замиреніи флорентинскихъ партій, папа Николай III умеръ. Преемникъ его Мартинъ IV не раздѣлялъ его нерасположенія къ Карлу Анжуйскому. Дружественныя связи между римскимъ престоломъ и Неаполемъ были восстановлены, и гвельфы снова получили рѣшительный перевѣсъ надъ своими противниками въ Тосканѣ. Они не замедлили воспользоваться имъ

¹⁾ См. Willani, VII, с. 54. Макиавель (*Storia fiorent. l. II*) очевидно ошибался, когда не придавалъ значенія неравному числу голосовъ и дѣлил ихъ поровну между обѣими партіями: *di ogni parte sette*, то-есть 7 гвельфскихъ и 7 гибеллинскихъ. Напротивъ, неравенство имѣетъ здѣсь политическій смыслъ.

для своихъ выгодъ, въ противность существовавшему договору. Каждый день приносилъ новое нарушеніе его условій. Не измѣняя ничего по формѣ, гвельфы опять мало-по-малу присвоили себѣ все вліяніе на внутреннія дѣла республики, располагали ею по своей волѣ. Кончилось тѣмъ, коротко сказать, что гибеллины были загнаны и утратили всѣ права и выгоды, возвращенныя или пріобрѣтенныя ими вновь по послѣднему договору съ гвельфами ¹⁾.

Всѣ эти превращенія, обыкновенно оканчивавшіяся въ пользу гвельфскаго преобладанія, Данту досталось видѣть въ первой своей молодости. Когда онъ началъ только понимать себя, гвельфы были уже побѣдителями; за исключеніемъ небольшихъ промежутковъ, торжество ихъ продолжалось и послѣдующіе годы. Молодое чувство Данта, не разсуждая, оставалось на сторонѣ торжествующей партіи. Пока не окрѣпла собственная мысль человѣка, онъ легко смѣшиваетъ право съ силою и приписываетъ ей даже разумное преимущество передъ безсиліемъ. Къ тому же Дантъ связанъ былъ съ партіею гвельфовъ двойными узами: принадлежа ей по своему происхожденію, онъ еще тѣснѣ примыкалъ къ ней своими отношеніями къ Беатриче. Симпатическое чувство къ женщинѣ, которая также была гвельфскаго рода, еще больше скрѣпляло этотъ столько естественный союзъ. Сквозь призму любви, и все окружающее любимую женщину должно было казаться поэту въ радужномъ цвѣтѣ. Не забудемъ притомъ гвельфскаго вліянія Брунетто Латини, которое, по всей вѣроятности, относится преимущественно къ той же порѣ жизни Данта. Такъ, повидимому, все клонилось къ тому, чтобъ наслѣдственные гвельфскія симпатіи еще болѣе утвердились въ немъ воспитаніемъ и всею обстановкою его юности.

Но въ положеніи побѣдителей, къ какой бы партіи они ни принадлежали, не было ничего прочнаго и постоянного, потому что оно большею частью зависѣло отъ переменъ во внѣшнихъ обстоятельствахъ. Такъ, когда во Флоренціи, вопреки всѣмъ миролюбивымъ усиліямъ, гвельфы снова взяли верхъ надъ своими противниками, на сторонѣ разразился самый сильный ударъ для ихъ политическаго преобладанія. Взрывъ послѣдовалъ въ Сициліи и направленъ былъ собственно противъ Карла Анжуйскаго; но дѣйствіе его вскорѣ почувство-

¹⁾ См. Dino Compagni, l. 1.

валось и въ Тосканѣ. Это были кровавыя „Сицилійскія вечерни“, которыя, вспыхнувъ вдругъ по другую сторону Мессинскаго пролива, угрожали подорвать французское владычество въ южной Италіи. Карлъ Анжуйскій застигнутъ былъ сицилійскимъ возстаніемъ врасплохъ, когда онъ всего менѣе былъ приготовленъ къ нему. Считая власть свою вполне обезпеченною на полуостровѣ, гдѣ голосъ его былъ господствующимъ во всѣхъ политическихъ дѣлахъ, онъ уже мечталъ о новыхъ завоеваніяхъ на сторонѣ и готовилъ походъ на Востокъ, съ цѣлью восстановленія Латинской имперіи въ Константинополѣ ¹⁾. Событія въ Сициліи сильно поколебали его самоувѣренность и заставили его подумать о средствахъ для отраженія ближайшей опасности. Все его вниманіе обратилось теперь на укрощеніе сицилійскаго мятежа, и нѣкоторое время вовсе отвлечено было отъ сѣверной и средней Италіи. Флорентинскіе гвельфы тотчасъ поняли, что ихъ выгоды тѣсно соединены съ судьбою анжуйскаго дома, и рѣшились помогать Карлу въ его дѣлѣ, какъ въ своемъ собственномъ. Нимало не медля, приступлено было къ вооруженіямъ, и въ короткое время готовъ былъ цѣлый отрядъ въ 800 хорошо вооруженныхъ всадниковъ, которые всѣ принадлежали къ лучшимъ фамиліямъ города. Они скоро присоединились къ неаполитанскому ополченію, и вмѣстѣ съ нимъ переправились въ Сицилію ²⁾.

Это обстоятельство показываетъ лучше всего, до какой степени гвельфы считали себя безопасными въ самой Флоренціи. Подавленные, загнанные гибеллины не внушали имъ болѣе никакихъ опасеній въ стѣнахъ города. И въ самомъ дѣлѣ, гибеллинская партія, никогда не пользовавшаяся большимъ сочувствіемъ народа и лишенная помощи имперіи, не въ состояніи была ничего предпринять для восстановленія своихъ прежнихъ правъ и значенія въ республикѣ. Безсиліе Рудольфа Габсбургскаго по другую сторону Альповъ ни для кого не было тайною. Самъ онъ, занятый внутренними германскими дѣлами, вовсе не показывался въ Италіи; посланный же имъ намѣстникъ (1281), который имѣлъ въ своемъ распоряженіи всего только 300 всадниковъ, нигдѣ почти не нашелъ признанія своей власти, и скоро возвратился назадъ безъ успѣха. Упавшій авторитетъ имперіи ронялъ вмѣстѣ съ собою и тѣсно связанный съ нимъ кредитъ цѣлой политической партіи. Но гвельфы сдѣлали большую ошибку тѣмъ, что слишкомъ

¹⁾ См. Willani, VII, с. 56. — ²⁾ Ibid. с. 63.

пренебрегли тою силою, которая скрывалась въ среднемъ сословіи. Оно незамѣтно сложилось подъ тѣнью политическихъ партій, и давно уже стремилось къ самостоятельности. Въ рукахъ его скопилось много богатства, много средствъ; начиная съ половины столѣтія, оно успѣло поставить себя довольно самостоятельно и независимо въ отношеніи къ другимъ, высшимъ сословіямъ: подъ легальною защитою капитана народа, его внутреннее устройство и общинное право были неприкосновенны для посторонняго вмѣшательства; временно, при крайнемъ напряженіи гвельфо-гибеллинскаго раздора, ему доставалось даже играть посредническую роль между партіями, и рѣшая споръ между ними, налагать на нихъ свои условія. Будущее Флоренціи безспорно принадлежало ему, богатому классу (*il popolo grasso*); но послѣднія перемѣны опять оттѣснили его на задній планъ. Притомъ же гордое преобладаніе гвельфовъ не оставляло никакого чувства безопасности и всему мирному народонаселенію города. Средній классъ удерживалъ свое значеніе и вліяніе до тѣхъ поръ, пока ни та, ни другая партія не брала перевѣса; но какъ скоро одна изъ нихъ возвышалась посредствомъ униженія другой, тогда и прочія сословія не были болѣе безопасны отъ злоупотребленія властью со стороны побѣдителей.

Такое положеніе дѣлъ порождало много недовольства между такъ называемыми пополами ¹⁾. Они нетерпѣливо сносили чужое, отяготительное для нихъ преобладаніе, и чтобъ освободиться отъ него, сами стремились къ власти въ республикѣ. Благопріятный случай представился, когда вспыхнуло сицилійское возстаніе, и господствующая партія поспѣшила отправить на помощь Карлу Анжуйскому цвѣтъ своего рыцарства. Война въ Сициліи, требовавшая личнаго присутствія Карла, затянулась на неопредѣленное время, и флорентинскіе гвельфы надолго были предоставлены лишь своимъ собственнымъ силамъ. Съ своей стороны гибеллины давно уже не имѣли для себя твердой опоры въ Италіи, и никому болѣе не внушали опасенія, по крайней мѣрѣ въ самой Флоренціи. Обходя ту и другую партію, пополаны рѣшились воспользоваться обстоятельствами для своихъ собственныхъ выгодъ. Объ ихъ намѣреніяхъ и мѣрахъ, ими принятыхъ, Дино Компаньи рассказываетъ какъ очевидецъ и участникъ ²⁾. Сначала погово-

¹⁾ Popolani — отъ сл. *popolo*, въ смыслѣ членовъ сословія, которое носило названіе *il popolo grasso*. — ²⁾ См. *Dino Compagni, ibid. (Murat. IX, p. 469)*.

рили между собою нѣкоторыя наиболѣе вліятельныя лица между пополанами, потомъ сошлись всѣ для общаго совѣщанія. Рѣшеніе созрѣло довольно скоро. Первая принятая мѣра имѣла видъ самозащищенія. Народонаселеніе Флоренціи, за исключеніемъ высшихъ членовъ, раздѣлялось по корпораціямъ, которыя занимали различные кварталы въ городѣ и находились между собою въ іерархическихъ отношеніяхъ: однѣ, пользовавшіяся бѣльшимъ почетомъ и вліяніемъ, назывались старшими или бѣльшими, другія—младшими или меньшими. Каждая корпорація имѣла свой особенный кругъ занятій, которымъ и отличалась отъ прочихъ; но, по свойственному среднимъ вѣкамъ воззрѣнію, различіе переходило въ рѣзкое раздѣленіе, и потому каждый кругъ составлялъ изъ себя свое замкнутое цѣлое. И въ настоящемъ случаѣ, подъ именемъ народа, дѣйствовали въ особенности три высшія корпораціи—мѣняль (или банкировѣ), торговцевъ иностранными сукнами и торговцевъ шерстью, какъ самыя назависимыя по своимъ средствамъ и самыя значительныя по своему вліянію на цѣлое общество. Прочія ожидали ихъ примѣра и успѣха, чтобъ вскорѣ потомъ послѣдовать за ними. Принятая первыми мѣра состояла въ томъ, что каждая изъ трехъ корпорацій избрала себѣ своего главу (саро), или высшаго представителя передъ общиною, и поручила ему наблюденіе за своими политическими интересами. Ихъ называли „пріорами“ (priori), желая тѣмъ указать на отношенія ихъ къ корпораціямъ, которыя облекали ихъ своею особенною довѣренностью ¹⁾. Въ нихъ очевидно лежало начало новой, болѣе крѣпкой народной организаціи. Къ удивленію, гвельфы не протестовали противъ новаго учрежденія, потому ли, что застигнуты были врасплохъ, или потому, что не чувствовали себя въ силахъ противиться народному движенію. Это ихъ воздержаніе, вольное или невольное, внушило еще болѣе смѣлости пополанамъ. Они заговорили еще болѣе свободнымъ языкомъ и рѣшились соединить недавно избранныхъ пріоровъ въ одну правительственную коллегію, или синьйорію (ufizio), которой власть простиралась бы на весь городъ ²⁾.

1) Villani, *ibid.* с. 78. Priori dell'Arti venne a dire i primi eletti sopra li altri. — 2) Такъ, кажется мнѣ, слѣдуетъ понимать рассказъ Дино Компаньи. Замѣчаніе Виллани (*ibid.*), будто переворотъ предпринять былъ между прочимъ тѣми, которые—più amavano la parte guelfa e di santa chiesa, по моему мнѣнію, опровергается словами Дино въ его рассказѣ. Онъ прямо ссылается на недовольство пополановъ, утверждая, что они—parlavano della loro libertà et delle injurie ricevute — разумѣется, со стороны гвельфовъ.

гвельфами, повидимому, овладѣлъ, паническій страхъ. Прежде гъ они предприняли что-нибудь для отвращенія угрожающаго имъ удара, прежняя коллегія четырнадцати *buonomini*, анновленная кардиналомъ Латино и въ послѣднее время на-нявшаяся исключительно гвельфами, была распущена, и то ея заняла новая „синьйорія пріоровъ“ отъ трехъ стар-гъ корпорацій. Другія учрежденія, какъ-то: подестать и ные совѣты, между которыми дѣлилась общественная власть Флоренціи, сохранены были въ прежней ихъ силѣ; но правельственная инициатива, или главная дирекція общественнаго авленія, принадлежала вновь установленному совѣту пріоровъ. имъ образомъ, не начиная открытой борьбы съ гвельфами, оланы успѣли обойти ихъ и вырвать изъ рукъ ихъ власть Флоренціи, гдѣ они, казалось, не могли опасаться ника-гъ соперниковъ.

Въ составѣ коллегіи скоро впрочемъ произошла новая пе-бна. Какъ мы уже сказали, прочія корпораціи ждали толь-успѣха передовыхъ, чтобъ примкнуть къ нимъ тѣснѣе и ребовать своей доли въ управленіи. Когда, по истеченіи двух-ячнаго срока, на который избраны были первые пріоры, гъ найденъ былъ удовлетворительнымъ, къ нимъ присое-ены были на слѣдующіе два мѣсяца еще трое отъ другихъ порацій, именно медиковъ и аптекарей, торговцевъ шелко-и товарами и мѣховщиковъ. Впослѣдствіи мало-по-малу до-цены были къ участию въ синьйоріи и остальные шесть порацій (изъ числа старшихъ), такъ что число всѣхъ пріо-гъ простиралось наконецъ до двѣнадцати, то-есть было не-го менѣе числа членовъ предыдущей гвельфо-гигеллинской легіи. По укоренившейся между флорентинцами недовѣр-ости къ правительственнымъ лицамъ, всѣ они избирались болѣе какъ на два мѣсяца, а чтобъ ихъ бдительность и тельность была неослабнѣе, имъ не позволялось во все про-женіе должности выходить изъ зданія, гдѣ происходили зданія коллегіи (*Badia di Firenze*). Тамъ они должны были гъ, ѣсть и пить—такъ мало были увѣрены пополаны въ чности своего новаго положенія. Окончательное рѣшеніе дѣлъ шлось за генеральнымъ и другими совѣтами, но право со-ать совѣты принадлежало пріорамъ, для чего они имѣли своемъ распоряженіи шесть сержантовъ и столько же ге-ьдовъ. Кромѣ того они опирались въ своихъ распоряженіяхъ капитана народа, или гонфолоньера, который располагалъ шими массами вооруженнаго народа. Ибо, по примѣру стар-

шихъ корпорацій, или цеховъ, младшіе, или меньшіе, также были вооружены и организованы на военную ногу ¹⁾.

Весь переворотъ составилъ въ развитіи флорентинскаго общества новую фазу, означаемую мѣстными историками выразительнымъ названіемъ „второго народа“, *il secondo popolo*, въ отличіе отъ другого, болѣе ранняго народнаго движенія (1250 г.), которое доставило народу первыя политическія права и извѣстно было во Флоренціи подъ именемъ „старого народа“, *il popolo vecchio*. Собственно говоря, дѣятели были тѣ же какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ, но различныя имена означали двѣ различныя степени ихъ политическаго возвышенія. Смыслъ послѣдняго переворота ясенъ самъ по себѣ; не надобно только слишкомъ преувеличивать его значенія. Возвышеніе пріоровъ не имѣло своимъ слѣдствіемъ окончательнаго разрыва между гвельфами и пополами. Доказательствомъ служить то, что въ пріоры могли быть избираемы и гвельфы наравнѣ съ простыми гражданами. Требовалось только, чтобы по своимъ личнымъ качествамъ они заслуживали довѣріе народа и могли быть надежными представителями его интересовъ ²⁾.

Какъ ни великъ былъ ударъ, нанесенный гвельфамъ переворотомъ 1282 года, они не утратили всего своего вліянія и вѣса въ республикѣ. За ними, во-первыхъ, остались ихъ гражданскія права во Флоренціи; во-вторыхъ, они не были устранены вовсе и отъ замѣщенія мѣстъ въ новой правительственной коллегіи. Выдвинувшіяся впередъ корпораціи занимали ближайшую къ нимъ ступень общественной іерархіи и находились съ ними въ частыхъ и тѣсныхъ сношеніяхъ. Эти связи продолжались и послѣ переворота. Поравнявшись въ правахъ съ господствующею партіей, пополамы и сами приняли многіе ея обычаи. Различіе между гвельфами и высшими корпораціями народа незамѣтно стиралось, а между тѣмъ у нихъ нарождались вновь многіе общіе тѣмъ и другимъ интересы. Этимъ путемъ гвельфы нечувствительно могли возвратить себѣ значительную часть потерянныхъ ими выгодъ прежняго положенія. При благопріятныхъ обстоятельствахъ они даже могли подняться еще выше во флорентинскомъ обществѣ. Подъ благопріятными обстоятельствами разумѣемъ здѣсь новыя успѣхи ихъ въ борьбѣ съ старыми противниками, то-есть съ гибел-

¹⁾ Отношеніе пріоровъ къ прочимъ учрежденіямъ лучше всего изложено у Форееля. См. его Dante, 1, p. 124—131; ср. Hort. Allart, 1, p. 125. — ²⁾ Willam, *ibid.*

линскою партіей, потому что она не только существовала, но и была еще довольно сильна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Тосканы и смежной съ нею Романьи. Пополаны не имѣли къ ней никакой симпатіи, но не были довольно воинственны, чтобъ выдержать борьбу съ нею собственными силами. Тутъ снова могли показать себя съ выгодной стороны гвельфскіе роды, а всякій ихъ успѣхъ на сторонѣ былъ бы въ то же время торжествомъ для нихъ и во Флоренціи.

Гибеллины и въ самомъ дѣлѣ не переставали волноваться на сторонѣ, за стѣнами города, имѣя свои главные опорные пункты въ Пизѣ, Ареццо и нѣкоторыхъ укрѣпленныхъ мѣстахъ Романьи, гдѣ дѣйствовалъ Гвидо Монтефельтро, одинъ изъ отважнѣйшихъ предводителей партіи. Со времени событій въ Сициліи они снова подняли голову и мечтали осуществить свои не сбывшіяся надежды. Тогда въ виду общей опасности тосканскіе гвельфы тѣснѣе сомкнули свои ряды, чтобъ не дать усилиться своимъ политическимъ противникамъ. Уже въ 1284 году Флоренція, Сіена, Лукка, Пистойя и другіе гвельфскіе города вступили въ тѣсный союзъ съ Генуей, въ намѣреніи дѣйствовать общими силами противъ Пизы. Изъ тосканскихъ городовъ Пиза одна могла достойно соперничать съ Флоренціей. Владѣя устьемъ р. Арно, она имѣла черезъ него выходъ въ море, содержала большую морскую флотилію и подъ ея прикрытіемъ производила большіе торговые обороты. Жители Пизы славилась своимъ богатствомъ не менѣе флорентинцевъ. Къ несчастію для республики, она имѣла еще внѣ Тосканы другую опасную соперницу для себя въ Генуѣ, которая ревниво смотрѣла на ея увеличивающееся благосостояніе и особенно нетерпѣливо сносила ея возрастающую морскую силу. Открывшаяся между ними война за два года передъ тѣмъ была очень несчастна для пизанцевъ: они потеряли въ ней много людей и большую часть своего флота. Одна кровавая морская битва при островѣ Мелоріи стоила имъ 5,000 убитыхъ и 11,000 плѣнныхъ. Пиза обѣднѣла людьми и деньгами; торговля ея остановилась; ея богатые владѣнія на островахъ не были болѣе безопасны отъ нападенія. Въ это самое время составилъ противъ нея новый сильный союзъ гвельфскихъ городовъ, во главѣ которыхъ была Флоренція. Пизанцамъ не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ запереться въ своихъ стѣнахъ и тамъ ожидать приближенія враговъ. Но и подъ защитою своихъ стѣнъ они не были безопасны. Когда гвельфскія знамена показались въ виду города, бывшая въ немъ партія гвельфовъ

тотчасъ пришла въ движеніе. Во главѣ ихъ стоялъ тогда графъ Уголино де-Герардески, имя столь громкое соединенною съ нимъ памятью многихъ вѣроломствъ и постигшаго его подъ конецъ непримѣрно-жестокаго испытанія. Онъ былъ какъ бы самый спѣлый плодъ злыхъ страстей своего времени: богатъ, отваженъ, предприимчивъ и въ то же время вѣроломъ, мстителенъ, жестокъ — однимъ словомъ, человѣкъ, которому ничего не стоило пожертвовать честью и правдою для своихъ видовъ. Золотомъ закупилъ онъ миръ у Флоренціи и ея союзниковъ. Пиза избавилась отъ страха непріятельскаго нашествія, но за то должна была потерпѣть у себя возвышеніе гвельфовъ. Недавно еще сильныя въ ней гибеллины принуждены были удалиться въ изгнаніе, а Уголино Герардески провозглашенъ подестою города и принялъ главное начальство надъ пизанскою вооруженною силой. У гибеллиновъ стало еще однимъ твердымъ оплотомъ меньше въ Тосканѣ.

Извѣстна жестокая участь, постигшая впоследствии Уголино. Счастіе продолжало улыбаться ему еще нѣсколько лѣтъ; наконецъ ему предоставлена была въ городѣ синьорія. Соединенная въ однихъ рукахъ, она возвышала власть его почти на степень диктатуры. Но Уголино не зналъ никакой умѣренности въ ея употребленіи. Деспотизмъ его скоро почувствовался даже тѣми, которымъ онъ всего болѣе обязанъ былъ своимъ возвышеніемъ. Лучшіе люди гвельфской партіи, имѣвшіе несчастіе возбудить гнѣвъ его или только подозрительность, не спасались отъ его преслѣдованія. Сердца пизанцевъ ожесточились. Новыя неудачи въ продолжавшейся войнѣ съ Генуей еще болѣе увеличили общее раздраженіе противъ правителя. Стали подозрѣвать, что онъ слишкомъ dobroхотствуетъ Флоренціи и ея союзникамъ; боялись наконецъ за самую независимость Пизы. Часть гвельфовъ отпала отъ него и соединилась съ мѣстнымъ архіепископомъ. Прежде чѣмъ самонадѣянный правитель успѣлъ принять мѣры для своей безопасности, народное возстаніе вспыхнуло въ городѣ съ непреодолимою силой. Дворецъ правителя былъ осажденъ со всѣхъ сторонъ: громко крича объ измѣнѣ, враги Уголино не хотѣли слышать никакихъ предложеній съ его стороны и ворвались во внутренность его дома. Одинъ изъ сыновей Уголино погибъ при оборонѣ; самъ же онъ былъ захваченъ заживо вмѣстѣ съ двумя другими сыновьями и тремя внуками. Само собою разумѣется, что плѣнники не могли ожидать себѣ никакой пощады; но лютая казнь, на которую они были обречены, едва ли не

превзошла всякое ожиданіе. Страсти достигли тогда крайней степени ожесточенія и непримиримости; чувство жалости совершенно заглохло въ сердцахъ, и чѣмъ продолжительнѣе были мученія, тѣмъ больше удовлетворяли они страсти мщенія. Уголино вмѣстѣ съ своимъ потомствомъ былъ запертъ въ тюрьму, а ключи отъ нея брошены въ рѣку. Дверь темницы ни разу не отворялась, чтобъ пропустить пищу для заключенныхъ. Уголино осужденъ былъ сперва видѣть ужасающее дѣйствіе голода на своихъ дѣтяхъ и внукахъ, а потомъ испытать его на самомъ себѣ и только отъ смерти ждать конца своихъ невыносимыхъ мученій.

Какъ ни свыклись итальянцы съ жестокостью и непримиримостью партій, смерть Уголино съ обстоятельствами, ее сопровождавшими, произвела однако сильное впечатлѣніе на Италію. Вопль ропота и негодованія пробѣжалъ по всей странѣ, когда узнали въ ней страшную участь, постигшую родъ Герардески въ самыхъ невинныхъ его отрасляхъ¹⁾. Человѣческое чувство не вмѣщало въ себѣ столько безпощадной люто-сти, столько безчеловѣчія. Особенно глубоко и неизгладимо запало впечатлѣніе въ воспріимчивую душу Данта. Оно осталось въ немъ на всю жизнь, и въ послѣдствіи нашло себѣ мѣсто и выраженіе въ главномъ его твореніи. Страшное событіе такъ живо присуще было воображенію поэта, что онъ ввелъ его особымъ эпизодомъ въ содержаніе „Божественной комедіи“ и заставилъ Уголино самого рассказывать всѣ испытанныя имъ страданія. Рассказъ заключается извѣстнымъ обращеніемъ поэта къ Пизѣ: „О Пиза, позоръ окрестной страны! Такъ какъ сосѣди твои все еще медлятъ наказать тебя, то пусть Капрайя и Горгона подвигнутся на гибель тебѣ, и ставъ преградою тамъ, гдѣ Арно изливаетъ свои волны въ море, обратятъ ихъ на голову твоихъ жителей. Если Уголино былъ заклеменъ въ твоихъ глазахъ своимъ предательствомъ, то не слѣдовало бы тебѣ по крайней мѣрѣ мѣшать съ нимъ дѣтей его и заставлять нести тотъ же тяжелый крестъ. И ты, не лучше древнихъ Фивъ (гдѣ новое племя, посѣянное Кадмомъ, безжалостно избило само себя), не поняла, что самый уже возрастъ дѣлалъ ихъ невинными!“²⁾.

¹⁾ См. Willani, *ibid.* с. 127.—²⁾ Infer. с. XXXIII:

Abi Pisa, vituperio delle genti
Del bel paese là dove'l si suona!

Съ перваго взгляда можно бы подумать, что въ Дантѣ сказались въ этомъ случаѣ его гвельфскія симпатіи. И конечно голосъ его, обращавшійся съ укоромъ къ Пизѣ, не былъ голосомъ приверженца гибеллиновъ: тутъ говорили въ немъ совсѣмъ инныя струны. Противъ жестокости пизанцевъ возставало человѣческое чувство Данта, всегда готовое стать на сторону праваго дѣла и равно возмущавшееся всякою несправедливостью, отъ какой бы партіи она ни происходила. Залогъ прекрасныхъ надеждъ для будущаго: можетъ-быть въ пизанскихъ событіяхъ дѣйствительно издобно искать начала того поворота, который *eposandstam* произошелъ въ политическихъ симпатіяхъ Данта, ибо вся отвѣтственность въ участіи фамиліи Герардески падала на самихъ гвельфовъ, посягнувшихъ на истребленіе другъ друга въ стѣнахъ одного города, откуда незадолго передъ тѣмъ имъ удалось вытѣснить общихъ противниковъ. Пизанское междоусобіе самымъ неопровержимымъ образомъ обличило неискоренимость партіи. Впрочемъ, если въ душѣ Данта и начался уже поворотъ въ другую сторону, то едва ли еще онъ достигалъ до его сознанія. Вѣрно то, что внѣшняя дѣятельность поэта, относящаяся къ тому времени, попрежнему продолжала носить на себѣ гвельфскій характеръ. Замѣчательнѣе же всего остается для насъ въ этомъ событіи глубокая впечатлительность Данта относительно современныхъ ему событій. Ничто не происходило въ Италіи безъ того, чтобы не оставить неизгладимаго слѣда въ душѣ его.

Возвратимся къ судьбамъ гибеллинской партіи на полуостровѣ. Графъ Монтефельтро, главный представитель ея въ Романѣ, послѣ нѣсколькихъ неудачъ принужденъ былъ рѣшиться на мирную сдѣлку съ папою. Въ Тосканѣ, какъ мы уже знаемъ, они потерпѣли еще большее пораженіе въ Пизѣ и лишились въ ней одного изъ самыхъ твердыхъ своихъ оплотовъ. Тогда они искали себѣ новаго центра дѣйствія и нашли его въ Ареццо. Какъ и другіе тосканскіе города, Ареццо также волновался отъ внутреннихъ смятеній. Какъ вездѣ, въ немъ также враждовали между собою гвельфская и гибеллинская партіи, и своимъ нестроеніемъ вызывали противъ себя

Poiche i vicini a te punir son lenti
Muovasi la Capraja e la Gorgona, etc.

Капрая и Горгона—небольшіе острова, лежащіе передъ устьемъ Арно. Поводъ къ этому поэтическому представленію могли подать бывшія около того времени наводненія, о которыхъ упоминаетъ Виллани.

другія сословія. Гвельфы, разумѣется, искали себѣ опоры во Флоренціи; но когда гибеллины нашли себѣ сильнаго союзника въ мѣстномъ епископѣ (изъ фамиліи Убертини), то перевѣсъ началъ склоняться на ихъ сторону. Но одно обстоятельство опять примирило партіи на время между собою. Дѣйствуя по собственному ли возбужденію, или по примѣру флорентинскихъ корпорацій, народъ въ Ареццо тоже всталъ за свои права и передалъ захваченную имъ власть вновь установленному народному пріору (*priore del popolo*). Такъ какъ новое учрежденіе равно направлено было противъ гвельфовъ и гибеллиновъ, то они рѣшились соединить свои усилія, чтобъ успѣшнѣе дѣйствовать противъ общаго врага. Средство, ими избранное, было, по обычаю того времени, кровавое насиліе. Жертвою его былъ овый пріоръ, или та вновь учрежденная власть, которой ввѣрена была защита народныхъ правъ. Его схватили и безъ всякаго суда выкололи ему глаза. Будучи не въ состояніи противиться соединеннымъ силамъ высшихъ сословій, народъ охотнѣе былъ потерпѣть ихъ самовольство. Но какъ скоро явилась общая опасность, временное согласіе между партіями опять превратилось въ явный раздоръ. Въ короткое время равновѣсіе между ними было нарушено. Съ помощью флорентинскихъ изгнанниковъ, въ числѣ которыхъ были Пацци и Убертини, и графа Монтефельтро, удалившагося сюда же изъ Романьи, гибеллины одолѣли своихъ противниковъ и изгнали ихъ изъ города.

Гибеллинскій переворотъ въ Ареццо почти равнялся своимъ значеніемъ тому, который, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, произошелъ въ пользу гвельфовъ во Флоренціи. Побѣжденная и разсѣянная гибеллинская партія опять нашла себѣ устойчивый и безопасный центръ, откуда могла простирать свое дѣйствіе на всю Тоскану. Епископъ Руджіеро получилъ инъорію въ городѣ; а чтобъ, сверхъ того, имѣть право выставить общее знамя для всѣхъ изгнанниковъ, гибеллины въ Ареццо рѣшились признать авторитетъ Фіески да-Лаванья, юдомъ изъ Генуи, который снова появился тогда въ тосканскихъ предѣлахъ съ именемъ императорскаго намѣстника. Но зиды торжествующей партіи не ограничивались только надеждою привлечь къ себѣ или собрать около одного пункта всѣхъ изгнанниковъ: гордая своимъ мѣстнымъ успѣхомъ, она опять возмечтала о преобладаніи въ цѣлой странѣ. Къ ней возвращалась прежняя самоувѣренность, и она готова была подъ императорскимъ знаменемъ возобновить свои наступательныя

движенія противъ гвельфскихъ городовъ. Съ своей стороны гвельфы, изгнанные изъ Ареццо, нетерпѣливо снося свое пораженіе, также спѣшили тѣснѣе примкнуть къ своимъ естественнымъ союзникамъ, чтобъ при ихъ содѣйствіи возвратить свои потерянные права. Захвативъ на первое время нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ въ окрестностяхъ Ареццо, они утвердились въ нихъ, и тотчасъ вступили въ сношенія съ флорентинцами. Просьба содѣйствовать побѣжденнымъ обращена была въ то же время и къ другимъ гвельфскимъ городамъ. Флорентинцы пришли скорѣе всѣхъ на помощь: не разрывая явно съ Ареццо, они первые выслали подкрѣпленіе изгнанникамъ и дали имъ возможность тотчасъ же начать непріязненные дѣйствія противъ города. Въ отмщеніе за то летучая гибеллинская дружина, вышедши изъ Ареццо, произвела нечаянный набѣгъ на флорентинскіе предѣлы, и не встрѣтивъ никакого сопротивленія, опустошила и сожгла въ нихъ многія жилища мѣста. Вслѣдъ за тѣмъ, посредствомъ смѣлой экскуріи на югъ, они успѣли подать руку помощи своимъ сообщникамъ въ Кьюзи (Chiusi—Clusium), и вмѣстѣ съ ними вытѣснили гвельфовъ изъ города¹⁾.

Такъ пламя вражды двухъ партій, долгое время сдерживаемое перевѣсомъ одной изъ нихъ, снова прорвалось наружу, и еще разъ угрожало пожаромъ всей Тосканѣ. Въ предѣлахъ одной области опять образовались два сильные центра, изъ которыхъ каждый хотѣлъ предписывать свои законы цѣлой странѣ. Проигравъ нѣкогда внутренній споръ въ самыхъ стѣнахъ Флоренціи, гибеллины надѣялись теперь вознаградить себя за прежнія потери успѣхами во внѣшнемъ состязаніи. Борьба между гибеллинскимъ Ареццо и гвельфскою Флоренціей была отнынѣ неминуема, а это значило борьба между всѣми тосканскими городами, ибо каждый изъ нихъ держался той или другой стороны и хотѣлъ поддерживать ее ради своихъ собственныхъ интересовъ. Сравнительно съ прежними событіями этого рода, она должна была происходить въ новыхъ условіяхъ. Какъ извѣстно, каждая изъ двухъ политическихъ партій въ Италіи имѣла на своей сторонѣ своего вѣнчаннаго главу, именемъ и авторитетомъ котораго освящались всѣ ея дѣйствія. Въ началѣ борьбы гибеллины обыкновенно выставляли знамя Гогенштауфеновъ, а гвельфы — папское. Какъ мы видѣли, эти отношенія нѣсколько измѣнились со

¹⁾ Willani, *ibid.* с. 114.

времени утвержденія анжуйскаго дома въ Италиі. Гвельфы искали себѣ опоры не столько въ римскомъ авторитетѣ, сколько во власти и силѣ неаполитанскаго короля, помощи котораго дѣйствительно обязаны были своимъ преобладаніемъ въ Тосканѣ. Тѣ же два противоположные полюса, сѣверный и южный, или Германія и Неаполь, оставались въ теоріи и для предстоявшей вновь борьбы между тосканскими гвельфами и гибеллинами; но въ сущности ни тотъ, ни другой не могъ имѣть на нее рѣшительнаго вліянія. Ни Рудольфъ Габсбургскій, ни преемникъ Карла Анжуйскаго (ибо его самого не было болѣе въ живыхъ) не могли принять непосредственнаго участія въ дѣйствіи. Если первый по доброй волѣ оставался въ Германіи, чтобъ устроить ея внутреннія дѣла, то послѣдній не имѣлъ даже на столько личной свободы, чтобъ по своему желанію перемѣнить мѣстопробываніе, потому что все еще не могъ вырваться изъ аррагонскаго плѣна, въ который попался еще при жизни отца. Тосканская драма должна была разыграться безъ нихъ, лишь собственными силами двухъ партій. Со стороны Рима также никакая партія не могла ожидать себѣ много помощи. Правда, что Николай IV, занимавшій тогда римскій престолъ, принадлежалъ по своему происхожденію къ гибеллинамъ и втайнѣ имъ покровительствовалъ; но, будучи избранъ незадолго передъ тѣмъ, онъ самъ еще не былъ довольно силенъ, чтобъ помогать другимъ.

Такимъ образомъ уже въ 1288 году два сильные союза городовъ стояли одинъ противъ другого. На одной сторонѣ были: Флоренція, Лукка, Пистойя, Сіена, Болонья, Санджиминіано; на другой—Ареццо, Орвіето и союзные съ ними гибеллины въ Романѣ и Маркѣ. Флорентинскіе гвельфы были чувствительнѣе всѣхъ къ опасности, которая вновь угрожала имъ изъ Ареццо. Гордость ихъ не выносила мысли, что нѣсколько разъ побѣжденные соперники опять могутъ вырвать изъ ихъ рукъ побѣду. Близость разстоянія двухъ городовъ еще больше разжигала вражду между ними. Обѣ стороны рвались нанести каждая своему противнику рѣшительный ударъ. Еще нѣкоторое время пополаны сдерживали порывъ гвельфской партіи; не раздѣляя ея чувствъ и преслѣдуя свои собственные интересы, они не находили достаточныхъ основаній для войны съ Ареццо и съ своей точки зрѣнія видѣли въ ней явную несправедливость ¹⁾. Но ихъ противорѣчіе не могло со-

¹⁾ Dino Compagni: molt' altri Popolani — diceano la impresa non esser giusta, etc.

вершенно пересилить вліянія гвельфовъ, которые незадолго передъ тѣмъ, несмотря на пріоратъ и даже прямо черезъ него, снова получили большой вѣсъ во внутреннемъ управленіи Флоренціи и въ ея политикѣ. Всѣ мѣста въ коллегіи пріоровъ, которая имѣла въ своихъ рукахъ синьорію города, замѣщались не иначе, какъ членами изъ гвельфскихъ фамилій. Какъ скоро они были согласны между собою, имъ не страшно было болѣе никакое сопротивленіе. И въ самомъ дѣлѣ, пополаны принуждены были уступить требованію господствующей партіи. и первымъ дѣломъ ея послѣ того было формальное объявленіе войны Ареццо и его союзникамъ.

Враждебныя дѣйствія открылись въ томъ же году. Флорентинцы и ихъ союзники собрали большія силы, и въ надеждѣ на нихъ, нѣсколько разъ предпринимали смѣлыя вторженія въ аретинскую область. Они доходили до самыхъ стѣнъ Ареццо и опустошали его окрестности. Аретинцы, недостаточно приготовленные къ войнѣ, чувствовали себя не въ состояніи встрѣтить противника въ открытомъ полѣ и старались болѣею частью держаться въ оборонительномъ положеніи, за стѣнами города и своихъ замковъ. Когда же непріятель удалялся съ добычею, они нападали на него врасплохъ и разбивали его по частямъ. Такъ было, напримѣръ, съ сіенцами, которые неосторожно отдѣлились отъ флорентинцевъ и были побиты на голову аретинцами. Однажды впрочемъ—въ сентябрѣ того же года—оба ополченія сошлись почти лицомъ къ лицу неподалеку отъ Кастелло ди-Латерина. Ихъ раздѣляло только теченіе р. Арно. Обѣ стороны вызывали одна другую на бой, но ни одна не рѣшилась перейти рѣку въ виду непріятеля, и потому, простоявъ нѣсколько времени на одномъ мѣстѣ и не сдѣлавъ никакого вреда другъ другу, вооруженные противники спокойно разошлись въ разныя стороны. Зато отдѣльная аретинская дружина, вышедши изъ Биббіены, гдѣ она стояла гарнизономъ, малоизвѣстными путями пробралась на близкое разстояніе отъ Флоренціи и произвела въ ея окрестностяхъ большія опустошенія ¹⁾.

Въ слѣдующемъ году война приняла болѣе рѣшительный характеръ. Угрожающими были опять флорентинскіе гвельфы. Къ тому сознанію, которое уже они имѣли о превосходствѣ своихъ силъ передъ виѣшнимъ противникомъ, присоединилось еще у нихъ чувство внутренней безопасности. Въ началѣ

1) См. Willani, *ibid.* с. 119 и 123.

года многія лица, подозрѣваемыя въ гибеллинскихъ сим-
няхъ, какъ изъ высшаго сословія, такъ и изъ попопанъ,
только были высланы вонъ изъ города, но и принуждены
е удалиться изъ флорентинскихъ предѣловъ ¹⁾. Черезъ
только времени потомъ случайное присутствіе во Флорен-
Карла II (сына и преемника Карла Анжуйскаго), кото-
возвращался тогда изъ аррагонскаго плѣна въ Неаполь,
занять въ немъ королевскій престолъ, еще больше при-
гвельфамъ духа и самонадѣянности. Принцъ нашелъ себѣ
ду ними пріемъ, какого почти не могъ ожидать по своимъ
мно стѣсненнымъ обстоятельствамъ. Ему приготовлена
торжественная встрѣча въ городѣ; когда же онъ отпра-
лся отсюда въ Римъ, держа путь на Сіену, его сопрово-
на отборная флорентинская дружина, на случай ожидаемаго
иденія со стороны аретинцевъ. За все свое доброе распо-
еніе и услуги флорентинскіе гвельфы просили себѣ лишь
й милости: чтобъ принцъ далъ имъ отъ себя капитана,
предводителя военныхъ силъ. Карлъ II охотно согласился
ихъ желаніе и назначилъ имъ въ военачальники Америго
Гербонна, принадлежавшаго къ его свитѣ и извѣстнаго
ю опытностью въ военномъ дѣлѣ. Подкрѣпленіе, которое
риго привелъ съ собою во Флоренцію, состояло всего только
ста человѣкъ; но флорентинцамъ льстило то обстоятель-
, что впредь они будутъ сражаться подъ „королевскимъ“
енемъ (*l'insegna reale*), которое пожаловано было имъ
тѣмъ съ назначеніемъ предводителя. Послѣ того аретин-
гібеллины ни одной минуты не чувствовали себя безо-
ыми отъ нападенія. Епископъ города, боясь больше всего
вой крѣпкіе замки (*castella*), пытался даже заводить пе-
воры съ гвельфами. Во флорентинской синьоріи, въ ко-
й тогда засѣдалъ и Дино Компаньи, оставившій намъ
чательную хронику событій своего времени, голоса сна-
раздѣлились, подъ конецъ однако, въ надеждѣ выгово-
себѣ очень выгодныя условія, большинство склонилось
къ миру. Одному изъ членовъ коллегіи поручено было
заключить договоръ съ епископомъ. Но когда по этому
ю собрался въ Ареццо гибеллинскій совѣтъ, въ немъ со
ъ сторонъ послышалось громкое противорѣчіе. Никто не
лъ вѣрить безкорыстнымъ намѣреніямъ епископа; миро-
вые виды его были заподозрѣны; нѣкоторые голоса прямо

¹⁾ Ibid. c. 126.

потребовали его казни. Приговоръ не состоялся потому только, что противъ него возсталъ одинъ изъ Пацци, объявившій собранію, что онъ не можетъ согласиться на преднамѣренное злодѣйство, хотя тутъ же прибавилъ, что былъ бы вполне доволенъ имъ, если бъ оно совершилось безъ его вѣдома ¹⁾).

Обѣ стороны приготовились къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Никогда еще подъ гвельфскимъ знаменемъ не собиралось такой многочисленной силы. Одной флорентинской пѣхоты было до 10,000 человекъ. Лучшія фамиліи города выставили отъ себя 1,600 всадниковъ. На жалованьи Флоренціи была также отдѣльная дружина наемныхъ солдатъ, числомъ до 400, подъ предводительствомъ Америкго ди-Нербонна. Къ нимъ же примкнули сверхъ того особыя ополченія изъ Пистойи, Сіены, Лукки, Волатерры и многихъ другихъ, какъ тосканскихъ, такъ и романскихъ городовъ, въ числѣ 1,300 всадниковъ и небольшого числа пѣхоты. Числительныя силы аретинцевъ были нѣсколько менѣе: они имѣли у себя не болѣе 8,000 пѣхоты и только 800 всадниковъ; но въ томъ числѣ находился цвѣтъ гибеллинской партіи изъ Тосканы, Марки и Романьи ²⁾). Аретинцы нисколько не унывали: подвигами личной храбрости надѣялись они восполнить недостатокъ своихъ силъ сравнительно съ флорентинскимъ ополченіемъ. По чувству своего превосходства, гвельфы первые открыли наступательное движеніе. Планъ ихъ состоялъ въ томъ, чтобъ итти прямо на Ареццо; лишь нѣкоторое время ихъ удерживало сомнѣніе: итти ли въ обходъ, черезъ возвышеніе Казентино (на сѣверо-востокъ отъ Флоренціи), или предпочесть болѣе легкій путь вверхъ, по теченію рѣки Арно. Первое мнѣніе одержало верхъ, ибо къ нему пристали многія лица, имѣвшія свои владѣнія въ Казентино и ожидавшія отсюда нападенія гибеллиновъ. Съ своей стороны аретинцы, предупреждая противниковъ, также выступили со всѣми своими силами по направленію къ Биббьенѣ. Подвигаясь съ различныхъ сторонъ, оба ополченія сошлись между собою въ небольшой области Чертомондо, близъ равнины Кампальдино. Аретинцы были подъ предводительствомъ своего епископа, не отличавшагося особенною зоркостью. Рассказываютъ, что, завидѣвъ передъ собою какую-то густую массу, онъ спросилъ окружающихъ, чтó бы это была за стѣна? Ему отвѣчали, что это—строй непріятельской арміи.

¹⁾ Dino Compagni. — ²⁾ Полное исчисленіе силъ см. у Willani, l. VII, c. 130; ср. Dino Comp. *ibid.*

Повидимому, и флорентинцы были нѣсколько смущены, когда передъ ними смѣло выдвинулись густые ряды непріятеля. По крайней мѣрѣ они сочли нужнымъ принять нѣкоторыя несовсѣмъ обыкновенныя мѣры для успѣха въ предстоявшей битвѣ. Такъ одинъ изъ союзныхъ бароновъ, извѣстный своею опытностью въ военныхъ дѣлахъ, обратившись къ гвельфскому ополченію, предложилъ ему слѣдующій совѣтъ на случай дѣла: „до сихъ поръ въ тосканскихъ войнахъ бывало такъ, что побѣждалъ тотъ, кто стремительно нападалъ на другого; и потому битвы скоро оканчивались и не было большого кровопролитія. Теперь способъ войны перемѣнился: побѣждаютъ тѣ, которые твердо выдерживаютъ ударъ. Вотъ почему я совѣтую и вамъ стоять твердо. и въ мѣсто того, чтобъ атаковать противника, самимъ ждать отъ него нападенія“. Совѣтъ его былъ принятъ, но кромѣ того сдѣланы и другія чрезвычайныя распоряженія. Во время итальянскихъ междоусобій образовался обычай между воюющими сторонами: передъ началомъ битвы высылать впередъ отборныхъ бойцовъ изъ кавалеріи, числомъ двѣнадцать, которые стремительно бросались на непріятеля и своимъ порывомъ увлекали за собою все остальное войско. Они были извѣстны подъ именемъ паладиновъ или *feditori* ¹⁾. Въ настоящемъ случаѣ та же самая мѣра принята была флорентинцами въ обширныхъ размѣрахъ, не столько впрочемъ для нападенія, сколько для отпора подобнаго удара со стороны противника. Флорентинцы показали при составленіи отряда большое самоотверженіе. Одинъ изъ ихъ капитановъ, Вьери де-Черки, принадлежавшій къ одной изъ лучшихъ городскихъ фамилій, подалъ собою примѣръ другимъ. Онъ вызвался первый, несмотря на то, что страдалъ тогда болью въ ногѣ, и назначилъ вмѣстѣ съ собою своего сына и потомъ еще племянника. Далѣе онъ не хотѣлъ продолжать выборовъ, говоря, что предоставляетъ каждому показать на дѣлѣ свою любовь къ отечеству. На этотъ благородный вызовъ явилось такое множество охотниковъ, что, сверхъ ожиданія, отборный отрядъ паладиновъ составилъ изъ 150 человекъ. Подъ начальствомъ своего отважнаго вождя, они выстроились впереди съ твердою готовностью принять на свою грудь первые удары непріятеля.

Аретинцы же держались больше другого расчета. Слѣдуя старому обычаю, они надѣялись вырвать побѣду изъ рукъ

¹⁾ См. объ этомъ между прочимъ Fauriel, 1, p. 152.

превосходнаго въ силахъ непріятеля стремительнымъ нападеніемъ на него. О ихъ воинственномъ духѣ и нетерпѣніи сразиться съ гвельфами можно судить по тому, что у нихъ набралось вдвое болѣе охотниковъ, которые пожелали вступить въ отрядъ паладиновъ. Въ него записались между прочимъ и многіе предводители. Этотъ неумѣренный порывъ храбрости, кажется, заставилъ аретинцевъ пренебречь другими мѣрами военной осторожности. Опустивъ поводья своихъ лошадей, неустрашимые аретинскіе паладины вдругъ ринулись съ своихъ мѣстъ и помчались впередъ всею массою. Казалось, никакая сила не въ состояніи была бы устоять противъ стремительности ихъ напора; но ихъ ждали достойные противники: гвельфскіе паладины стояли твердо на своемъ мѣстѣ и встрѣтили ихъ грудь грудью. Произошло страшное столкновеніе: оба строя смѣшались на минуту, нанося одинъ другому тяжеловѣсные удары. На сторонѣ аретинскаго отряда было однако не численное только превосходство, но и сила неотразимой стремительности. Уступая ея давленію, флорентинцы подались нѣсколько назадъ. Но ряды ихъ ни разу не были прорванны: въ самомъ отступленіи они продолжали сражаться, дорого заставляя противниковъ покупать каждый шагъ впередъ. Вслѣдъ за паладинами завязались въ бой съ обѣихъ сторонъ и всѣ прочіе всадники; но ходъ битвы оттого не измѣнился: сколько ни подавалась впередъ избранная гибеллинская дружина, ей ни разу не удалось поворотить гвельфскій фронтъ назадъ и положить конецъ его сопротивленію.

Въ этой первой неудачѣ лежала главная причина неуспѣха гибеллиновъ. Чѣмъ дальше увлекались они стремительностью своей атаки, тѣмъ больше замыкали ихъ густые ряды флорентинской пѣхоты, которые выдвигались у нихъ съ боковъ. Бой сдѣлался всеобщимъ; съ той и другой стороны посыпались тучами метательныя копья. Аретинскіе всадники должны были поворотиться къ тѣснившей ихъ гвельфской пѣхотѣ. Цѣлыя облака пыли поднялись на воздухъ и покрыли собою сражавшихся. Въ эту рѣшительную минуту одинъ изъ именитѣйшихъ вождей гвельфской партіи, Корсо Донати, стоявшій неподалеку съ отдѣльнымъ отрядомъ лукцевъ и пистойцевъ, ударилъ во флангъ гибеллинамъ. Ему запрещено было до крайняго случая принимать участіе въ сраженіи, подъ страхомъ смертной казни: его отрядъ, кажется, берегли для прикрытія войскъ въ случаѣ пораженія. Но когда началась общая свалка, онъ не утерпѣлъ, и не дожидаясь болѣе

никакихъ приказаній, самъ повелъ свой отрядъ въ дѣло. „Если мы проиграемъ битву“ (говорилъ онъ), „то по крайней мѣрѣ я умру вмѣстѣ съ моими согражданами; а если мы побѣдимъ, то пусть, кто хочетъ, приходитъ въ Пистойю требовать у меня отчета“. (Корсо Донати, флорентинецъ по своему роду, былъ тогда подестой въ Пистойѣ). Фланговое его движеніе пришлось какъ нельзя болѣе кстати. Напрасно аретинцы употребляли самыя отчаянныя усилія: съ ножомъ въ рукахъ они бросались подъ ноги непріятельскимъ лошадямъ и вырѣзывали имъ животъ; напрасно: стѣсненные со всѣхъ сторонъ, они были смяты и лишены всякой возможности выбиться изъ густыхъ рядовъ непріятельскихъ. Къ довершенію ихъ несчастія, Гвидо Новелло, который, подобно Корсо Донати, также стоялъ поодаль съ особымъ отрядомъ и прямо имѣлъ назначеніе дѣйствовать во флангъ непріятелю, не тронулся съ мѣста, когда нужно было его содѣйствіе, и потомъ, видя, что дѣло принимаетъ дурной оборотъ, преспокойно ушелъ съ поля сраженія. Битва была проиграна аретинцами—не отъ недостатка храбрости или стойкости, но отъ излишней стремительности ихъ атаки и нерасчетливости, отъ превосходства силъ противника и отъ измѣны или трусости начальника вспомогательнаго отряда. Въ томъ согласны показанія обоихъ историковъ, которымъ мы обязаны важнѣйшими подробностями относительно Кампальдинской битвы ¹⁾.

Много храбрыхъ легло на полѣ сраженія. Побѣжденные, естественно, понесли самую чувствительную потерю. Тутъ сложили свои головы лучшіе вожди партіи, безспорно самыя храбрыя люди во всемъ аретинскомъ ополченіи; самъ епископъ города, Гильельмо ди-Поцци съ своими племянниками, также Буонконтэ, сынъ графа Монтефельтро, и многіе другіе. Даже трупъ послѣдняго не былъ отысканъ между убитыми. Всего потеряли аретинцы до 4,000 убитыми и плѣнными—цифра весьма краснорѣчивая, показывающая, что это была одна изъ самыхъ кровопролитныхъ битвъ своего времени. Какъ видно, потеря аретинцевъ составляла почти треть всего ихъ ополченія. Рѣдко можно встрѣтить въ средневѣковыхъ войнахъ, вообще гораздо менѣе смертоносныхъ, чѣмъ новыя, подобную

¹⁾ Dino Compagni, *ibid.* p. 473; ср. Willani, с. 130. Нельзя не замѣтить страннаго промаха Лео, *Gesch. von Italien*, p. IV, l. 7, который, рассказывая событія гвельфо-аретинской войны, пропускаетъ Кампальдино!

пропорцію. Въ данномъ случаѣ страшная убыль людей объясняется лишь взаимнымъ раздраженіемъ партій и крайнимъ упорствомъ, съ которымъ каждая изъ нихъ оспаривала у другой побѣду, ибо между тосканскими гвельфами и гибеллинами не могло быть болѣе никакого примиренія.

Отступая отъ новѣйшихъ біографовъ Данта, мы нашли нужнымъ рассказать ходъ и событія гвельфо-аретинской борьбы нѣсколько подробнѣе. Читатель, надѣмся, оправдаетъ насъ, узнавъ, что Дантъ принималъ въ нихъ непосредственное участіе. Мы не извѣщены о томъ, какая была мѣра его участія въ приготовленіяхъ къ войнѣ, но знаемъ положительно, что онъ сражался въ гвельфскихъ рядахъ при Кампальдино. Какія еще нужны доказательства, что онъ былъ тогда искреннимъ гвельфомъ? Можно не сомнѣваться, что опасность, угрожавшая въ то время общему гвельфскому дѣлу, пробудила въ немъ доселѣ невѣдомыя силы и впервые вызвала его на практическую дѣятельность. Поэтический сонъ его былъ прерванъ, крѣпкія разумныя убѣжденія еще не созрѣли: чѣмъ было больше руководиться ему, какъ не инстинктивнымъ сочувствіемъ къ партіи, къ которой онъ принадлежалъ по своему происхожденію и воспитанію? Леонардо Аретино собственными глазами видѣлъ письмо Данта, теперь болѣе несуществующее, въ которомъ онъ описалъ всѣ подробности Кампальдинской битвы и свое участіе въ ней ¹⁾. Нельзя не пожалѣть объ утратѣ этого драгоценнаго во многихъ отношеніяхъ документа, но впечатлѣнія біографа, который имѣлъ его въ своихъ рукахъ, могутъ отчасти замѣнить намъ недостатокъ подлинника. Предположеніе Форіеля, что Дантъ былъ въ числѣ 150 флорентинскихъ паладиновъ, конечно не подтверждается прямо словами Леонардо; однако по всему видно, что Кампальдино было весьма важнымъ событіемъ въ личной жизни нашего поэта. Оно произвело новое, небывалое доселѣ потрясеніе во всемъ его нравственномъ существѣ. Кромѣ того, что Дантъ сражался въ переднихъ рядахъ, онъ участвовалъ въ дѣлѣ своимъ душевнымъ волненіемъ, невольнымъ страхомъ за свою собственную участь и безпокойствомъ за исходъ битвы; когда же потомъ гвельфское оружіе увѣнчалось совершеннымъ успѣхомъ, нашему поэту досталось раздѣлить вмѣстѣ съ другими радость побѣды и предаться удовольствію торжества. Изъ мечтательнаго міра, въ которомъ юноша большею частью жилъ

¹⁾ См. Fauriel, 1, p. 152.

до сихъ поръ, нечувствительно совершился для него переходъ въ міръ гражданской жизни и соединенной съ нею практической дѣятельности, хотя въ немъ еще не установилось никакихъ твердыхъ убѣжденій.

Можно себѣ представить, съ какимъ чувствомъ восторга принята была вѣсть о побѣдѣ въ гвельфской Флоренціи. Рассказываютъ одинъ странный случай, по которому будто бы извѣстіе пришло сюда въ тотъ самый часъ, какъ только кончена была битва. Весь тотъ день пріоры не сходили съ своихъ мѣстъ. Наконецъ, утомившись отъ долгаго ожиданія и отъ предшествующихъ заботъ, они потребовали себѣ пищи и потомъ задремали на самомъ мѣстѣ собранія. Вдругъ сильно востучали въ двери снаружи, и чей-то голосъ громко закричалъ имъ: „Вставайте! аретинцы разбиты“. Такъ отразилась въ народной мысли неожиданность радостнаго извѣстія и особенность произведеннаго имъ впечатлѣнія. Народный энтузіазмъ получилъ себѣ новую пищу, когда, чрезъ нѣсколько времени, побѣдители возвратились въ городъ, и всякій могъ читать на ихъ лицахъ живое изображеніе торжества. Кампальдинскою битвою заключился походъ противъ гибеллиновъ. Въ упоеніи блестящею побѣдою, флорентинцы не спѣшили продолжать свои успѣхи далѣе; они довольствовались на первое время уничтоженіемъ противниковъ, и вмѣсто того, чтобъ тотчасъ же преслѣдовать ихъ до Ареццо и тамъ нанести имъ послѣдній ударъ, цѣлую недѣлю занимались опустошеніемъ ближайшихъ гибеллинскихъ владѣній. Это дало возможность аретинцамъ оправиться и принять необходимыя мѣры для отраженія непріятеля. У побѣдителей не стало ни охоты, ни терпѣнія стоять подъ стѣнами крѣпкаго города: они сожгли окрестности Ареццо, и потомъ предприняли обратное движеніе къ Флоренціи. Тамъ ожидалъ ихъ торжественный пріемъ, въ которомъ участвовали всѣ городскія сословія. Большая процессія изъ духовенства, дворянства, народныхъ корпорацій вышла на встрѣчу побѣдителямъ. Цехи шли стройными рядами, имѣя передъ собою свои знамена. Нарочно изготовленные балдахины изъ золотой ткани несены были надъ головами Америго ди-Нербонна и Уголино де-Росси, бывшаго тогда флорентинскимъ подестою. При видѣ этой помпы въ честь храброй дружины, чувство какого-то необыкновеннаго довольства сообщалось всѣмъ гражданамъ. Въ порывѣ усердія они взяли на себя всѣ издержки на жалованье ополченію. Затѣмъ наступило время праздниковъ и всеобщаго ликованія. Въ пра-

ненные интересы, служила для него музою вдохновительницею. Поэтическая любовь его къ Беатриче выражалась не иначе, какъ въ поэтическихъ звукахъ. Онъ слишкомъ полонъ былъ ею, чтобъ могъ принять горячо къ сердцу другіе интересы и стать вполне гражданиномъ своего отечества. И вдругъ ея не стало! Если вѣрить поэтической исповѣди Данта, злое предчувствіе не разъ уже и прежде приходило смущать его свѣтлую душу. Беатриче казалась ему такъ мало принадлежащею землѣ, что невольно западала въ голову мысль о непрочности ея земного существованія. Переработанная пылкимъ воображеніемъ поэта, эта невольная мысль получила видъ какого-то таинственнаго ясновидѣнія. Мы не беремъ на себя рѣшить, точно ли извѣстное видѣніе Данта предшествовало смерти Беатриче, или оно сложилось уже послѣ, на основаніи событія; по крайней мѣрѣ нельзя, кажется, сомнѣваться въ томъ, что въ исторіи любви Данта поэтическія фикціи занимаютъ мѣсто на ряду съ дѣйствительными происшествіями. Въ этомъ отношеніи Вегеле справедливо сравниваетъ «Новую жизнь» Данта съ извѣстною автобіографіею Гёте, носящею имя «Поэзія и жизнь» (*Dichtung und Wahrheit*): что у одного происходило въ мысли можетъ-быть помимо его воли, то у другого дѣлалось сознательнѣе. Знаемъ же мы притомъ, что повѣсть Дантовой любви получила свой окончательный видъ уже много спустя послѣ смерти любимой женщины, и не можемъ совсѣмъ ясно различить позднѣйшія вставки и прибавленія отъ первоначальныхъ частей ¹⁾. Когда уже Беатриче не существовала болѣе, поэтъ продолжалъ еще обращаться къ ней мысленно, замѣняя дѣйствительное воображаемымъ и мѣшая свои настоящія чувства съ прошедшимъ положеніемъ. Такимъ образомъ его позднѣйшее чувство могло принять форму предчувствія по отношенію къ тому состоянію, которое предшествовало смерти Беатриче. Какъ бы то ни было, истинное или только воображаемое опасеніе за ея жизнь нашло себѣ мѣсто въ «Новой жизни» и выразилось въ формѣ видѣнія. Поэтъ рассказываетъ намъ о себѣ, что однажды онъ много страдалъ, постигнутый болѣзнью. Мысль его и въ этомъ состояніи неизмѣнно обращена была

¹⁾ Объ этомъ см. всего болѣе у Вегеле, въ особой главѣ подъ названіемъ *Das neue Leben* (р. 100, 101 etc.). Нельзя, кажется намъ, правильнѣе понять отношеніе „Новой жизни“ къ дѣйствительной исторіи поэта. Едва ли также кому удалось лучше опредѣлить время, когда написана „Новая жизнь“. Ср. Fauriel, р. 376.

къ одному предмету, какъ вдругъ поразило его чувство чело-
вѣческаго безсилія, немощи, преходимости всего земного, и
въ то же время какъ бы внутри его говорящій голосъ напo-
нилъ ему, что когда же нибудь и дама, столь дорогая его
сердцу, подвергнется той же участи. Тогда (разсказываетъ
онъ далѣе) имъ овладѣло безуміе отчаянія. Странные, невѣ-
домые ему образы наполнили его испуганное воображеніе Па-
кія-то женскія лица съ распущенными волосами не давали
ему покоя и безпрестанно твердили: „и ты также умрешь!“
Потомъ приходили другія, еще болѣе ужасныя, которыя гово-
рили ему, что онъ уже умеръ. Онъ въ самомъ дѣлѣ не зналъ,
что подумать о себѣ, ни гдѣ онъ находится. И опять представля-
лись ему печальныя женскіе образы, которые, проходя мимо,
горько плакали. Казалось, и солнце померкло, и надъ головою
поэта замерцали звѣзды, но такимъ блѣднымъ свѣтомъ, что
будто и онѣ оплакивали чью-то смерть. Страхъ объялъ его
душу, когда послышался чей-то дружескій голосъ, говорившій
ему: „Знаешь ли ты, что твоя чудная дама покинула свѣтъ“.
При этихъ словахъ горячія слезы полились изъ глазъ поэта,
и это не было одно только воображеніе, потому что, коснув-
шись рукою рѣсницъ, онъ почувствовалъ, что онѣ дѣйстви-
тельно были влажны отъ слезъ. Видѣніе продолжалось. „Мнѣ
казалось“ (продолжаетъ Дантъ свой поэтический разсказъ),
„что я смотрю на небо и вижу ангеловъ, которые направляли
полетъ свой кверху вслѣдъ за легкимъ облачкомъ бѣлаго цвѣ-
та, и слышалось мнѣ, что голоса ихъ прославляли кого-то
дружнымъ хоромъ. Тогда я почувствовалъ, что сердце мое,
полное любви, сказало мнѣ: „да, она точно умерла“. Я по-
желалъ видѣть тѣло, въ которомъ обитала эта благородная и
блаженная душа, и такъ велико было мое печальное настроеніе,
что я въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ ее въ гробѣ; кругомъ стояли
ея подруги и набрасывали бѣлое покрывало на лицо ея, на
которомъ, казалось, было написано: „для меня наступило вре-
мя покоя“. Смирясь передъ видомъ смерти, Дантъ и самъ
сталъ призывать ее себѣ на помощь, чтобъ соединиться съ
тою, которая для него не существовала болѣе. „О сладкая
смерть!“ (говорилъ онъ) „приди ко мнѣ, не будь жестокою:
ты видишь, что я ищу тебя и уже ношу твой цвѣтъ на себѣ!“
Когда же (все въ томъ же видѣніи) кончился печальный об-
рядъ, и поэтъ остался одинъ самъ съ собою, ему опять каза-
лось, что онъ смотрѣлъ на небо, и въ слезахъ продолжалъ

звать: „О прекрасная душа! счастливъ, кто можетъ лицезрѣть тебя.“

Странное видѣніе! Если оно дѣйствительно предшествовало смерти Беатриче, то объяснить его можно не иначе, какъ допустить, что мысль о ней наполняла все нравственное существо поэта и двигала всѣми силами его души. Если же видѣніе было только поэтическою фикціей на основаніи уже сошнвшася событія, то и въ такомъ случаѣ нельзя не признать, что Дантъ жилъ тогда больше въ воображаемомъ мірѣ, вели въ дѣйствительномъ, иначе сказать, что онъ одаренъ былъ пылкимъ воображеніемъ, которое сильнѣе было самой его воли. Увлекаемое одною любимую мечтою, оно часто повергало самого въ безпокойное состояніе, и будучи еще не въ силахъ дать что-нибудь стройное, пропорціональное, вызывало передъ нимъ фантастическія видѣнія, которыя поддерживали экзальтацію его чувствъ.

Во всякомъ случаѣ, первое чувство роковой, ничѣмъ ненаградимой утраты сказалось у Данта не поэтическимъ видѣніемъ, а горькимъ, безотраднымъ воплемъ. Онъ пережилъ состояніе, въ которомъ человѣкъ говоритъ себѣ, что для него потеряно все, все въ мірѣ. Именно такъ: пустота вдругъ чувствовалась ему не только въ сердцѣ, но и въ цѣломъ тѣлѣ. Пылкость молодой души только увеличивала безотрадность положенія. Какъ прежде въ образѣ Беатриче сосредоточивалась для него вся красота и всякое достоинство, такъ теперь казалось, что цѣлый городъ не имѣетъ болѣе ни вида, ни достоинства, лишившись той, которая на поэтическій взглядъ была единственнымъ его украшеніемъ. Какъ на осиротѣвшую вдову встрѣлъ онъ на Флоренцію, и всему свѣту готовъ былъ жаловаться на свою потерю. Какъ будто всѣ были виноваты въ его и всѣ одинаково должны были ее чувствовать! „Какъ ро не стало этой благороднѣйшей дамы“ (говоритъ онъ уже жестокою прозаическою рѣчью), „весь городъ какъ будто осирѣлъ, лишившись лучшаго своего украшенія; я же, сѣтуя вѣстѣ съ цѣлымъ безутѣшнымъ городомъ, излилъ тогда мои чувства въ посланіи къ сильнымъ земли, въ которомъ изображенъ мое состояніе, взявъ темою слова Іереміи: Quomodo sedet a civitas, etc.“

Когда же потомъ, конечно отъ времени, это горькое чувство нѣсколько утратило своей первоначальной остроты, и самое раженіе его получило другой характеръ, оно сдѣлалось болѣе мирно и потому болѣе покорно поэтическому строю—однимъ

словомъ, оно разрѣшилось въ гармоническія канцоны. Ропотъ сердца утихъ, но ничто не въ состояніи было изгнать изъ него любимаго образа. Мысль поэта постоянно обращалась около одного предмета. Данту ни о чемъ болѣе не хотѣлось говорить, какъ только о Беатриче, о ея неземной красотѣ, о великости своей утраты. Казалось, душа Беатриче изъ покинутаго ею міра переселилась прямо въ сердце преданнаго ей пѣвца. Чѣмъ смутнѣе становились дѣйствительныя черты любимой женщины въ воспоминаніи, тѣмъ яснѣе выступалъ идеальный ея образъ въ воображеніи: на него перенесъ теперь поэтъ всю свою чувствительность, въ немъ искалъ замѣны своему утраченному счастью. Постоянно жалуясь на несчастіе, онъ какъ будто начиналъ находить въ самой горечи своего чувства какую-то особенную усладу для себя. Какъ всѣ романтическія натуры, Дантъ тѣмъ болѣе привязывался къ своему чувству, чѣмъ болѣе теряло оно свое объективное значеніе. Въ этомъ согласится всякій, кто захочетъ нѣсколько прислушаться къ жалобному тону его канцонъ.

„Всякій разъ“ (говоритъ онъ въ одной канцонѣ), „какъ только подумаю, что мнѣ уже никогда болѣе не видать ея, въ печальной душѣ моей скопляется столько горькаго чувства, что я говорю самъ себѣ: „отчего же и тебѣ не спѣшить за нею? Чего, кромѣ страданій, ждать тебѣ отъ жизни, которая и прежде томила тебя своею скукою?“ И начинаю я звать смерть къ себѣ, которая одна можетъ принести мнѣ сладкій покой. Я говорю ей „приди ко мнѣ“ съ такою любовью, что можетъ показаться, что я завидую умирающимъ“.

„Ея благородная душа“ (читаемъ въ другой канцонѣ, посвященной въ особенности женщинамъ ¹⁾) „покинула свою прекрасную форму, столько исполненную граціи, и пребываетъ со славой въ другомъ, болѣе достойномъ ея мѣстѣ. Надобно имѣть каменное сердце, чтобъ говорить о ней безъ слезъ, или ужъ надобно быть совсѣмъ тупымъ и бездушнымъ, лишеннымъ всякой доброй воспримчивости. Человѣку съ высокимъ умомъ, но безъ сердца, никогда не постигнуть ея сполна: ему конечно нѣтъ причины плакать о ней. Но грусть, и томленіе вздоховъ, и желаніе умереть въ слезахъ—овладѣваютъ душою того, кто хотъ разъ носилъ въ себѣ полный ея образъ и пережилъ смерть ея“.

Повторять ли еще, что смерть Беатриче, не менѣе какъ и самое ея существованіе, оставила глубокой слѣдъ въ жизни нашего поэта? Подобныя впечатлѣнія не изглаживаются никогда.

¹⁾ Она начинается слѣдующими стихами:

Gli occhi dolenti per pietà del core
Hanno di lacrimar sofferta pena...

тъ застигла Беатриче въ такой моментъ, когда романти-
че чувство Данта достигло высшей степени своего разви-
и владѣло всѣми его жизненными силами, и прежде чѣмъ
къ успѣла навести хотя слабую тѣнь на чистоту ихъ от-
нѣй. Въ воображеніи поэта образъ любимой женщины.
ы сердца“, навсегда остался на той идеальной высотѣ,
оторую онъ поднять былъ пареніемъ его молодого, воспріим-
го чувства. Какія бы тѣни ни проходили потомъ въ жизни
., онъ не могли болѣе помрачить свѣтлаго образа Беатриче.
емъ болѣе: чѣмъ болѣе сгущался въ послѣдующіе годы
гическій горизонтъ во Флоренціи, и чѣмъ мрачнѣе стано-
ь надъ головою Данта, тогда уже дѣятельнаго члена рес-
пки, тѣмъ ярче свѣтиль предъ нимъ, среди окружающей
оты, любимый образъ, какъ неизмѣнная путеводная звѣзда
жизни. Поэтому и всѣ другія утѣшенія, какія случалось
находить въ трудныя времена, возводимы были имъ къ
же главному источнику и означались тѣмъ же любимымъ
емъ. Матеріальныя черты Беатриче исчезали въ памяти
., и мѣсто ихъ заступали другія, болѣе идеальныя и болѣе
твенныя, вмѣщавшія въ себѣ все богатство его внутрен-
жизни и попрежнему сосредоточившія на себѣ его поэти-
че вдохновеніе.

Слѣды начинающагося превращенія замѣтны уже въ „По-
жизни“. Образъ Беатриче все болѣе и болѣе улечивается
ей, по мѣрѣ того, какъ авторъ простирается впередъ въ
къ поэтическомъ разсказѣ. „Когда она сокрылась отъ на-
ь глазъ“ (говоритъ онъ въ одной изъ своихъ канцонъ).
пріятность, которую доставлялъ намъ видъ ея, преврати-
въ чувство высокой духовной красоты: какъ будто по
у воздушному пространству разлился свѣтъ любви, и всѣ
а чистыхъ духовъ слились въ удивленіи ему“ ¹⁾. Нако-
и самъ поэтъ не былъ болѣе свободенъ отъ удивленія
гу же созданію. Онъ хотѣлъ еще воспѣвать красоту Бе-

¹⁾ Точнѣйшій смыслъ подлинника читатель самъ найдетъ въ слѣдующихъ
къ:

Perchè'l piacere della sua biltate
Pardendo se dalla nostra veduta.
Divenne spirital bellezza e grande,
Che per lo ciel si spande
Luce d'amor, che gli angeli saluta,
E lo 'ntelletto loro alto e sottile
Face maravigliar, si n' è gentile.

Объ «Эдипъ царъ» Софокла.*

Опытъ анализа.

Давно признано въ исторіи искусства высоко-художественное достоинство произведеній Софокла. Драматическая идея впервые нашла въ нихъ себѣ самое полное выраженіе. Искусство въ лицѣ Софокла коснулось крайней степени своего изящнаго совершенства. Эстетически образованная мысль человѣка новаго времени едва находитъ себѣ въ цѣлой поэтической литературѣ древнихъ другой рядъ произведеній, на которыхъ она могла бы остановиться и отдохнуть съ равнымъ удовлетвореніемъ. Трагическая муза Софокла опытнѣе Эсхиловой въ томъ отношеніи, что лучше ея знаетъ тайну настоящихъ пропорцій художественнаго развитія, но въ то же время несравненно наивнѣе Эврипидовой, которой столько же знакома страсть въ разныхъ ея видахъ, сколько и эффектъ, производимый ею на зрителя. Въ рукахъ Софокла искусство возмужало, но еще не утратило своей цѣломудренности.

Много можетъ быть сказано о формѣ художественнаго произведенія, объ ея достоинствахъ и недостаткахъ, но самымъ неистощимымъ предметомъ для мысли всегда останется самое содержаніе. Важность содержанія Софокловыхъ трагедій также давно не тайна для всѣхъ, знакомыхъ съ драматическою поэзіею древности. Изыщество формы не закрыло ему собственно принадлежащихъ достоинствъ отъ новаго анализа. И въ наше время, несмотря на обиліе современнаго матеріала, критическая мысль любитъ возвращаться къ древней трагедіи, къ Софоклу преимущественно, съ цѣлью повѣрить прежнія наблюденія надъ идеями, которыя положены ей въ основаніе, и достигнуть новой степени ясности въ раскрытіи ихъ внутрен-

* Написано по поводу появленія этой трагедіи въ русскомъ переводѣ С. Д. Шестакова, и напечатано вмѣстѣ съ переводомъ въ «Пропілеяхъ» 1852 г.

няго смысла. Она сама тѣмъ больше питается, чѣмъ больше углубляется въ нихъ. Зрѣя вмѣстѣ съ современнымъ сознаніемъ, она часто мѣняетъ точку зрѣнія на предметъ и всегда почти открываетъ въ немъ новую сторону, болѣе или менѣе соответствующую ея послѣднему воззрѣнію. Рѣшивъ вопросъ о формѣ, критика долго еще не истощитъ внутренняго содержанія Софокла.

Русскій переводъ «Эдипа царя» даетъ намъ поводъ сказать нѣсколько словъ объ этой трагедіи. Художественное ея достоинство стоитъ выше всѣхъ противорѣчій. Мы могли бы сказать даже болѣе: по нашему крайнему разумѣнію, гений искусства въ древности не простирался далѣе въ тонкости и послѣдовательности художественнаго развитія. Сравните начало и конецъ трагедіи. Гдѣ болѣе чувства самоувѣренности, основаннаго на глубокомъ сознаніи личнаго достоинства, чѣмъ въ началѣ, и однако какое внутреннее паденіе можетъ сравниться съ тѣмъ, которымъ оканчивается трагедія, хотя главное дѣйствующее лицо остается одно и то же? Художникъ взялъ на себя одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ, какія только представляются въ искусствѣ: не просто изобразить, но представить въ самомъ дѣйствиіи переходъ одного и того же лица отъ глубокаго чувства самой безукоризненной невинности къ полному и притомъ добровольному сознанію вины въ смыслѣ нарушенія самыхъ первыхъ и священныхъ обязанностей человѣка. Сравнительно даже невинный Макбетъ при первомъ своемъ появленіи на сценѣ гораздо ближе къ мысли о томъ злодѣйствѣ, которымъ онъ впослѣдствіи погубилъ себя, чѣмъ Эдипъ, хотя уже и преступникъ, къ малѣйшему предчувствію того ужаснаго сознанія прошедшей вины, которое должно было отравить все остальное время его жизни. Чтобы удовлетворительно рѣшить задачу, надобно было съ величайшею постепенностью провести Эдипа черезъ нѣсколько психическихъ состояній, вовсе не похожихъ одно на другое, такъ, чтобы вниманіе зрителя въ отношеніи къ нему ни разу не раздѣлялось между искреннимъ участіемъ къ его положенію и сомнѣніемъ въ возможности его. Тамъ, гдѣ эти необходимые переходы не даны напередъ и даже не указаны самою легендою, которая составляетъ зерно произведенія, ихъ должно создать собственное воображеніе художника. Въ этомъ неподражаемомъ искусствѣ (ибо оно можетъ-быть только самородное) Софоклъ не имѣетъ равнаго себѣ между драматургами древности. Мало того, чтобы создать характеръ, вдохнуть въ него жизнь, на-

полнить его пафосомъ, Софоклъ сверхъ того знаетъ тайну тѣхъ внутреннихъ паденій и возвышеній, которыми непремѣнно сопровождается всякое чрезвычайное душевное движеніе въ человѣкѣ, и съ рѣдкою тонкостію кисти оттѣняетъ всѣ малѣйшіе переходы изъ одного нравственнаго состоянія въ другое. Вопросъ зрителя предупрежденъ самымъ ходомъ дѣйствія, и никакая рефлексія не нарушаетъ его вниманія: увлеченное послѣдовательностью развитія, оно отдается на волю художника и неослабно остается за нимъ не только въ минуту рѣшительнаго кризиса, но даже и послѣ, до послѣдняго вздоха страсти, до того крайняго предѣла, на который дѣйствіе болѣе не простирается, и гдѣ для него начинается уже прошедшее. Всякій, кто возьметъ на себя трудъ всмотрѣться во внутреннюю архитектуру «Эдипа царя» и отдать себѣ отчетъ во всѣхъ душевныхъ движеніяхъ главнаго дѣйствующаго лица, легко можетъ повѣрить эти замѣчанія своимъ собственнымъ опытомъ.

Поколѣнія, которыхъ эстетическій вкусъ образовался на чтеніи первостепенныхъ художниковъ новаго времени, какъ Гёте и Вальтеръ-Скотъ, едва ли могутъ быть менѣе самыхъ современниковъ Софокла чувствительны къ художественнымъ красотамъ его трагедіи. Художественность до такой степени вошла въ обычаи нашего эстетическаго пониманія, что иногда, злоупотребляя этимъ именемъ, мы готовы бываемъ пропустить мимо глазъ и ушей многіе существенные недостатки произведенія: доказательство неопытности вкуса, который, схвативъ виѣшнимъ образомъ одно изъ главныхъ современныхъ опредѣленій изящнаго, никакъ не можетъ перейти этой первой черты и равнодушно останавливается у самаго порога содержанія. Но по счастью есть въ современной критикѣ другой элементъ, собственно гуманическій, который освобождаетъ ее отъ односторонности чисто формальнаго воззрѣнія. Оставляя пока въ сторонѣ прямо художественныя достоинства «Эдипа царя», попробуемъ и мы войти въ кругъ тѣхъ идей, на которыхъ главнымъ образомъ держится какъ нравственный характеръ самого Эдипа, такъ и существенный интересъ всего дѣйствія. Быть-можетъ намъ удастся такимъ образомъ показать на этомъ произведеніи, сверхъ прогресса чисто художественнаго, и успѣхи нравственнаго сознанія между современниками величайшаго изъ трагиковъ классической древности.

Поражаетъ прежде всего своими особенностями характеръ главнаго дѣйствующаго лица. Возвратившись къ нему еще

разъ послѣ внимательнаго чтенія, мысль читателя напрасно ищетъ другого, параллельнаго ему явленія во всей предшествующей литературѣ. Эдипъ не знаетъ себѣ предшественника въ греческой поэзи. Герои, которые были передъ нимъ, и большая часть послѣдовавшихъ за нимъ въ области гелленкаго искусства, блистали юностью, красотою, необоримою илюю, быстротою и ловкостью движеній; если же въ юмѣ лѣта и сокрушили первоначальную отвагу, тотъ находилъ еще много новыхъ средствъ для своей предприимчивости въ изгибахъ своего многоопытнаго и изворотливаго ума. Или наконецъ онъ носилъ въ груди, какъ искру небеснаго огня, какъ залогъ высшаго бытія, неробкій духъ, который посмѣивался надъ всѣми усиліями судьбы связать его свободную волю и, даже находясь въ узакъ, гордо, самонадѣянно продолжать вызывать на бой сверхъестественныя силы. Въ одномъ Эдипѣ нѣтъ никакого внѣшняго блеска, да недолго приходится ему хвалиться и внутренними достоинствами. Поднявшись въ образѣ Прометея до самаго высокаго идеала, греческое искусство какъ будто вдругъ потеряло равновѣсіе и пало въ лицѣ его ниже своихъ первыхъ зачатковъ. Посмотрите на Эдипа, какимъ знаетъ его трагическая муза; всмотритесь особенно въ его внѣшнюю постановку: онъ уже давно изжилъ лучшіе годы своей жизни; онъ не только мужъ, но и отецъ довольно значительной семьи; съ самаго зарожденія отмѣченный рукою судьбы, онъ испыталъ на себѣ много превратностей, но не вынесъ изъ нихъ ни тонкости ума Улисса и его знанія людей, ни Пріамова благодушія. До тѣхъ поръ, пока ему не открыли глазъ, онъ не подозрѣваетъ ни своего преступленія, ни своего несчастія. Когда бы надобно было оправдывать себя, онъ нагло, безъ всякихъ доказательствъ, обвиняетъ другихъ. Удостоверившись потомъ изъ непреложныхъ свидѣтельствъ, что сама истина говорила устами его мнимыхъ клеветниковъ, онъ не находитъ въ себѣ довольно мужества и спокойствія, чтобы терпѣливо перенести тяжелое испытаніе, и самъ налагаетъ на себя руки. Есть на памяти оивянъ одно славное дѣло Эдипа, которое доставило ему и самую власть надъ ними: это былъ подвигъ не столько физической силы, сколько ума прозорливаго, которому Оивы одолжены были своимъ спасеніемъ отъ злого и безпощаднаго чудовища; но та счастливая прозорливость какъ будто прошла вмѣстѣ съ лѣтами Эдипа и оставила по себѣ мѣсто въ душѣ его лишь ложной самонадѣянности. Трагедія очевидно знала Эдипа цвѣтущаго молодостью

душевными силами, но она предпочла Эдипа въ половину же отжившаго и неспособнаго болѣе спасти не только свой родъ, но и самого себя отъ тяготѣвшей надъ нимъ судьбы. чѣмъ такое предпочтеніе?

Еще больше поражаетъ выборъ самаго дѣйствія, составляющаго главное содержаніе трагедіи и, такъ сказать, ея шу: Софоклъ не изобрѣлъ его самъ, какъ вообще греческіе драматисты не выдумывали изъ своей головы сюжета для своихъ произведеній, но взялъ, или, лучше сказать, выбралъ онъ изъ мѣстныхъ преданій полумифическаго свойства. Что же на этотъ разъ привлекло къ себѣ его воображеніе? Это не двигъ юнаго, предприимчиваго героизма, ищущаго себѣ славы и добычи, какихъ не мало въ древнихъ преданіяхъ о героическихъ временахъ Греціи; это и не высокій гражданскій подвигъ, направленный на защиту родной страны, ея правъ и независимости, и требующій отъ подвижниковъ личнаго самоотверженія; это наконецъ и не одно изъ тѣхъ кровавыхъ или семейной вражды и мести, которыя узаконены были почти всею древностію не только какъ право, но и какъ одна изъ первыхъ обязанностей человѣка, и долгое время занимали свое видное мѣсто между любимыми темами греческой драматической поэзіи. Въ нашей трагедіи, напротивъ, все дѣйствіе основано на такомъ событіи, въ которомъ, волю или неволю, попораны самыя священныя права, нарушены и оскорблены самыя первыя обязанности человѣка, напечатлѣнные въ насъ самою природою и навсегда утвержденныя его же разумомъ, однимъ словомъ, на событіи, которое оставляло на совѣсти дѣйствующаго лица самую тяжелую нравственную ответственность, какъ самое непотребное изъ человѣческихъ преступленій. По древнему преданію, Эдипъ при первой встрѣчѣ съ собственною рукою неузнаннаго имъ отца и потомъ еще вѣки запятналъ себя кровосмѣшеніемъ съ своею матерью, т. е. также неузнанною. Если мифическое сознаніе и могло впитать въ себѣ подобные вымыслы, то какое наслажденіе и могли доставить поэтической фантазіи? Между тѣмъ весь «Эдипъ царь», отъ перваго явленія и до послѣдняго, есть не что иное, какъ художественное развитіе фатальныхъ слѣдствій счастнаго и ничѣмъ неизгладимаго преступленія. Къ дѣйствію, уже совершившемуся, здѣсь присоединяется другое, равно неотвратимое, которое мало-по-малу вскрывается въ душѣ, самомъ сознаніи невольнаго преступника: вина сама ведетъ собою свои неизбѣжныя слѣдствія. Еще не касаясь лично

виновника, они сначала подходят къ нему только издали, простираются въ его окруженіе. По винѣ Эдипа, городъ Фивы постигнутъ страшною язвою. Религіозное изслѣдованіе причины общенароднаго бѣдствія скоро наводитъ слѣдователей на ужасное подозрѣніе. Напрасно душа Эдипа возмущается при мысли о томъ, что есть дерзкіе языки, которые позволяютъ себѣ выражать сомнѣніе въ его чистотѣ и невинности: ему не уйти отъ рокового сознанія, какъ не ушелъ онъ прежде отъ предназначеннаго ему преступленія. Чѣмъ больше онъ усиливается, передъ самимъ собою и передъ глазами страдающаго за него народа, освободиться отъ чернаго подозрѣнія, способнаго убить всякое душевное спокойствіе, тѣмъ съ большею силою вторгается оно во внутреннія убѣжища его совѣсти и навязываетъ ей себя какъ ничѣмъ неизмѣнимое убѣжденіе. Напрасно Эдипъ, поколебавшись въ своихъ собственныхъ мысляхъ, ищетъ себѣ послѣдней опоры въ показаніяхъ очевидцевъ преступленія или его современниковъ. Чѣмъ больше онъ выпытываетъ отъ нихъ, тѣмъ поразительнѣе возстаетъ предъ нимъ образъ преступника, и всматриваясь въ него, онъ все больше и больше распознаетъ въ немъ свои собственныя черты. Переживъ съ Эдипомъ всѣ его сомнѣнія, зритель долженъ еще присутствовать при раздражающемъ сердце зрѣлищѣ, какъ погибаетъ, подъ неизбѣжнымъ давленіемъ рока, самое глубокое чувство невинности, и вмѣстѣ съ нимъ рушится вѣра во внутреннее достоинство человѣка. Хаоса чувствъ, наступающаго послѣ такой страшной катастрофы, не въ состояніи вынести никакая личность, хотя бы и много уже испытанная жизнью,—и зритель, прошедши одно за другимъ всѣ потрясенія Эдиповой души, въ заключеніе долженъ узнать, что преступникъ, разбитый внутренними терзаніями, наконецъ объявляетъ вражду самъ противъ себя и казнитъ себя лишеніемъ дневнаго свѣта, какъ если бы душевный мракъ былъ при немъ еще невыносимѣе. Жизнь остается Эдипу, тяжелая, страдальческая жизнь, лишенная всякой отрады; но и зритель, присутствовавшій при всемъ дѣйствіи, чтъ выносить изъ него, кромѣ этого несчастнаго образа, неумолимо преслѣдуемаго рокомъ, во враждѣ съ самимъ собою, разорвавшаго почти всѣ связи съ обществомъ людей, съ природою, и погруженнаго лишь въ безысходный мракъ своего отчаянія? Что еще, кромѣ самыхъ тяжелыхъ впечатлѣній, можетъ оставить въ душѣ его подобное драматическое представленіе?

Художникъ воленъ былъ избрать тотъ или другой пред-

метъ въ обширной области мифическихъ и историческихъ преданій, которая была открыта его воображенію. Почему было ему не остановиться на предметѣ, если не болѣе увлекательномъ, по крайней мѣрѣ болѣе возвышающемъ душу, болѣе способномъ поддержать въ ней вѣру въ нравственное достоинство человѣка? Примѣръ почти всѣхъ предшествующихъ художниковъ могъ бы, кажется, служить ему прекраснымъ поощреніемъ. Далеко не истощивъ всего поэтическаго матеріала, они однако открыли дорогу своимъ послѣдователямъ и установили образцы. Хотѣлъ ли Софокль тѣмъ сильнѣе впечатлѣть въ возбужденіи зрителей идею неумолимой судьбы и показать имъ хотя на одномъ разительномъ примѣрѣ, что съ нею не въ силахъ бороться никакая человѣческая рѣшимость? Болѣе чѣмъ сомнительно. Идея судьбы и безъ Софокла довольно прочно заложена была въ религіозномъ сознаніи грековъ. Она-то произвела мрачное сказаніе о безсознательныхъ преступленіяхъ Эдипа, гораздо прежде, чѣмъ оно сдѣлалось предметомъ художественной обработки. Притомъ же не оно само составляетъ главный предметъ дѣйствія, а его отдаленныя слѣдствія. Въ Гамлетѣ тоже довольно подробно разсказывается смерть его отца, но никто конечно не смѣшаетъ этого разсказа съ самымъ дѣйствіемъ, которому онъ служитъ лишь необходимымъ драматическимъ поводомъ, или основаніемъ для завязки. Чтобы изобразить неотвратимую силу рока (если ужъ это было непременно нужно), Софокль не могъ ничего лучше сдѣлать, какъ предстанить въ дѣйствіи первую и самую важную часть сказанія. Здѣсь во-очію совершается то, что послѣдующая часть подразумеваетъ какъ давно прошедшее. Въ трагедіи также есть внѣшнее дѣйствіе, но надъ нимъ беретъ рѣшительный перевѣсъ внутреннее, которое въ то же самое время происходитъ въ сознаніи главнаго дѣйствующаго лица. Взявъ въ соображеніе послѣднее, и ту катастрофу, которою оно разрѣшается, нетрудно удостовѣриться, что результатъ этого дѣйствія совсѣмъ иной, нежели тотъ, какого мы въ правѣ были бы ожидать отъ трагедіи, если бы она выражала собою идею судьбы. Убѣдившись въ неумолимости рока, въ неотмѣнимости его предопредѣленій, зачѣмъ было бы Эдипу такъ терзать себя? Если бы въ немъ не брало перевѣсъ иное чувство, иное сознаніе, онъ могъ бы сослаться на ту же самую неумолимость рока и успокоиться. Итакъ позволительно думать, что побужденія совсѣмъ иного рода руководили художникомъ древ-

ности, когда онъ избралъ Эдипа темою для одного изъ своихъ драматическихъ произведеній.

Новые примѣры нерѣдко могутъ быть употреблены съ пользою для объясненія древнихъ. Мы воспользуемся этимъ правиломъ въ приложеніи къ искусству. Говоря вообще, было бы очень странно думать, что искусство, заимствуя свой матеріалъ отъ преданія, удерживаетъ и его возрѣніе на предметъ, не видитъ ничего далѣе ни въ лицахъ, ни въ событіяхъ. Такое понятіе отнимаетъ у искусства всякую внутреннюю самостоятельность, и оставляя за нимъ привилегію технического превосходства, пластики, въ нравственномъ отношеніи впрочемъ ставитъ его совершенно на одной степени съ младенчествующимъ преданіемъ. Всякій, знакомый съ старымъ преданіемъ о Гамлетѣ, хорошо знаетъ, какъ далеко ушелъ отъ него извѣстный художественный типъ, также носящій имя Гамлета, несмотря на то, что внѣшнія черты событія остались почти однѣ и тѣ же въ разсказѣ и въ драмѣ. Тамъ, гдѣ преданіе болѣе всего занимала мысль о кровавой мести, поэтъ, предупреждая самое время, первый замѣтилъ неясныя черты весьма важнаго и въ высокой степени интереснаго психическаго явленія, на которое до него едва существовали темныя намеки, и которое гораздо позже, въ слѣдствіе особенныхъ условій историческаго развитія, сдѣлалось довольно обыкновенною нравственною болѣзнію въ европейскомъ обществѣ. Нисколько не касаясь вопроса объ исторической вѣроятности или невѣроятности событія, Шекспиръ взялъ его для себя какъ положительный фактъ, и подъ широкою тканью внѣшняго дѣйствія психическими чертами изобразилъ то глубокое внутреннее распаденіе между сознаніемъ и волею человѣка, котораго онъ же уловилъ самыя первые признаки. Однажды понявъ Гамлета, мы поняли лучше всѣхъ философическихъ опредѣленій одно изъ самыхъ оригинальныхъ явленій нравственной человѣческой природы. Никто, безъ сомнѣнія, не будетъ оспаривать, что Гамлетъ, какъ герой драмы, лишенъ всякаго блеска; но кто же не согласится и въ томъ, что даже во всей области новаго искусства не много еще можно указать типовъ, которые бы равнялись съ нимъ во внутренней занимательности?

Время кладетъ свою печать на все—на искусство столько же, сколько и на самую жизнь. Отсюда то глубокое различіе, которое проходитъ въ характерѣ древняго и новаго искусства. Въ сущности впрочемъ натура искусства неизмѣнно

ается одна и та же. Что сказали мы объ отношеніи его преданію въ новое время, то же самое безъ труда можетъ быть приложено и къ древнему художнику. Софокль не былъ художникомъ въ лучшемъ и истинномъ смыслѣ слова, и бы не умѣлъ стать—своею мыслию и всѣмъ созерцаніемъ ше преданія, которое доставляло ему первый грубый матеріалъ для его поэтической производительности. Эдипъ преіія и Эдипъ трагедіи конечно одно и то же лицо; между тѣмъ не надобно имѣть много особенно тонкаго смысла, чтобы вѣрить въ послѣднемъ собственное созданіе Софокла. Безспорно, что выборъ сдѣланъ былъ художникомъ внѣ обыкновенныхъ условій, такъ что съ перваго раза можетъ показаться только своимъ. Эдипъ преданія, какъ и Гамлетъ, не стоитъ никакими внѣшними качествами; не видно также, чтобы оно приписывало ему и высокія доблести душевныя; наконецъ, что касается до его положенія, оно также не можетъ быть названо привлекательнымъ. Нельзя не сознаться съ томъ, что искусство Софокла, избравши себѣ такой предметъ, тоже ничего не сдѣлало съ своей стороны, чтобы вѣрить Эдипа въ этомъ отношеніи: трагедія не позволила себѣ дать ему никакого превращенія, на примѣръ хоть бы въ родѣ Эдмунда, какому подверглось лицо Эгмонта подъ руками новаго поэта. Пройдя черезъ мастерскую древняго художника, Эдипъ вышелъ изъ нея безъ всякихъ прикрасъ. Пусть такъ—и мы должны со всею силою настаивать на это положеніе; но что тогда слѣдуетъ? То, очевидно, что художникъ вовсе и не заботился о прикрасахъ, нисколько не заботился придать внѣшній блескъ герою своей трагедіи, что слѣдовательно мысль его стояла надъ иного рода задачею: потому что никто же конечно не подумаетъ, что работа его не была проникнута ни одною особенною мыслию. Возьмемъ героя трагедіи такъ, какъ онъ есть—безъ внѣшняго блеска, безъ высокихъ душевныхъ качествъ, безъ всякихъ преувеличеній: неужели въ немъ не найдется ничего такого, что бы могло привязать къ нему интересъ мыслящаго человѣка? Нельзя поручиться за современниковъ не только Гомера, но даже и Геродота: другіе поэты занимали ихъ воображеніе; несчастія Эдипа могли удивить ихъ любопытство, но личный характеръ его едва ли могъ удовлетворить требованіямъ ихъ вкуса. Рѣдкій успѣхъ Софокла между его современниками доказываетъ, напротивъ, что они уже достаточно созрѣли для того, чтобы прямо находить въ его оригинальныхъ поэтическихъ созданіяхъ и мо-

жетъ-быть даже отдавать имъ предпочтеніе передъ прежними. Интересъ, который привязывалъ автора къ лицу, имъ созданному, живо отзывался и въ нихъ. Эдипъ не могъ занять ихъ тѣмъ, чего въ немъ не было,—что не вложено было въ него ни преданіемъ, ни искусствомъ художника: и такъ Эдипъ долженъ былъ привязать къ себѣ ихъ интересъ именно тою стороною, которой мы не находимъ близкой параллели во всемъ предшествующемъ искусствѣ. Это сторона нравственная, иначе говоря, Эдипъ могъ занять ихъ воображеніе развѣ только какъ нравственный характеръ. Съ этой точки зрѣнія удивительно какъ оправдывается выборъ художника. Для подобной мысли въ самомъ дѣлѣ трудно было найти другое лицо, которое бы по самой натурѣ своей было больше способно служить ей полнымъ и яснымъ выраженіемъ. Если бы зритель и старался отыскать въ личности Эдипа другую сторону, которою могъ бы занять свое воображеніе, онъ не достигъ бы своей цѣли безъ обмана предъ самимъ собою, безъ натяжекъ во вредъ истинѣ: Эдипа какъ ни повороти, но послѣ того какъ совершенно его обязательное преступленіе, онъ занимателенъ лишь тѣми сильными потрясеніями и переворотами, которые происходятъ въ самой душѣ его, въ рѣшеніяхъ его воли, однимъ словомъ, въ нравственномъ его состояніи. Кто не почувствовалъ интереса къ этимъ явленіямъ въ духовной природѣ Эдипа, тотъ далекъ еще отъ того, чтобы войти въ мысль поэта и понять истинныя красоты трагедіи.

Путемъ весьма естественнаго развитія гелленское сознаніе дошло до той высокой точки, на которой явленія внутренней природы человѣка получаютъ гораздо болѣе цѣны для испытующей мысли, чѣмъ блестящія дѣла внѣшнія, и становятся на первомъ планѣ въ искусствѣ. Софоклу принадлежитъ честь перваго производителя, который усвоилъ искусству это важное направленіе, впервые отыскавъ вполне соответствующій ему образъ. На той же самой дорогѣ находился и его ближайшій предшественникъ, но, увлекаемый высокимъ полетомъ своей мысли, Эсхилъ иногда уносился слишкомъ далеко отъ земли; величайшій образъ, созданный его исполнскимъ воображеніемъ, не только своимъ происхожденіемъ, но и своими наклонностями скорѣе обличаетъ въ себѣ натуру титана, нежели человѣка. Искусство слишкомъ долго пребывало въ сферѣ боговъ и боговидныхъ героевъ; пора было ему наконецъ низойти до обыкновенной человѣческой дѣятельности и въ ней поискать новаго матеріала, достойнаго занять мысль

художника и вдохновить трудъ его. Никто не перешелъ этой черты съ такою рѣшимостью, какъ авторъ Эдипа. Только глубокий, поэтический тактъ могъ навести его на предметъ, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовавшій умственнымъ потребностямъ его современниковъ, и внушить ему смѣлость, подобнаго выбора. Говоря, что Софокль нашелъ въ лицѣ Эдипа образъ, который могъ служить для его мысли самымъ полнымъ выраженіемъ, мы можетъ-быть несовсѣмъ точно выразили нашу собственную мысль. Мы вовсе не хотѣли сказать, употребляя этотъ столь обыкновенный оборотъ рѣчи, что Софокль дошелъ до своего выбора посредствомъ яснаго сознанія одной изъ важнѣйшихъ цѣлей искусства; наша мысль была только та, что въ Эдипѣ, какимъ представляетъ его преданіе, Софокль съ удивительною мѣткостью взгляда угадалъ возможность того характера, который онъ потомъ съ такимъ совершенствомъ воспроизвелъ въ своей трагедіи: процессъ совершенно однородный съ тѣмъ, посредствомъ котораго творческій геній Шекспира открылъ своего Гамлета въ убогомъ преданіи, съ которымъ онъ познакомился, прежде чѣмъ замыслилъ свое безсмертное произведеніе. Дѣлаемъ эту оговорку, чтобы кто не подумалъ, что въ произведеніяхъ Софокла мы видимъ плодъ дѣятельности столько же философической, сколько и поэтической. Наше убѣжденіе то, что натура Софокла, какъ и вся его дѣятельность, есть чисто художническая, безъ всякой посторонней примѣси.

Нравственный характеръ, какъ и героическій, узнается въ дѣйствіи. Не то лицо называемъ мы нравственнымъ, которое имѣетъ прекрасныя правила и гласно ихъ высказываетъ, но то, которое въ поведеніи своемъ прежде всего руководствуется нравственными побужденіями, хотя бы впрочемъ они и не были ясно выговорены. Побужденія будутъ нравственны, когда внушены чувствомъ истины, добра и правды. Тотъ особенно достигаетъ въ нашихъ глазахъ идеала житейской нравственности, въ комъ потребность истины и правды беретъ перевѣсъ надъ всѣми другими чувствами, кто въ рѣшительныя минуты жизни не задумается пожертвовать ей своими собственными интересами, ни даже своею личною безопасностью. Впрочемъ, какъ отказать въ нравственномъ характерѣ и тому, въ комъ первая мысль, слѣдующая за сознаніемъ вины, есть необходимость добровольнаго очищенія (экспіаціи), хотя бы оно сопряжено было съ тяжкими и ничѣмъ не вознаградимыми лишеніями? Древніе, какъ ни превратны были во многомъ ихъ

понятія, также знали нравственные инстинкты, и нельзя сказать, чтобы эти инстинкты оставались совершенно безплодны между ними. Не все страсть къ приобрѣтенію, любовь къ славѣ, жажда мщенія: имъ знакомы были и другія, высшія и благороднѣйшія побужденія, какъ-то: патріотизмъ, гражданская честь, наконецъ любовь къ истинѣ. Въ древнемъ греческомъ искусствѣ никто столько, какъ Софокль, не былъ чувствителенъ къ этимъ струнамъ практической жизни, никто не ввелъ этого элемента въ такомъ широкомъ объемѣ въ свои поэтическія произведенія. Здѣсь получаетъ свое полное значеніе и то дѣйствіе, которое составляетъ главное содержаніе нашей трагедіи. Ничего нельзя было лучше придумать, чтобы, остановившись на извѣстномъ лицѣ, дать несомнѣнную пробу его нравственного характера, если не въ смыслѣ высокаго идеальнаго совершенства, то въ смыслѣ духовной природы, которой врождены нравственные инстинкты. Герой трагедіи, даже взятый со внутренней своей стороны, дѣйствительно человѣкъ не безъ слабостей и недостатковъ. Если онъ по природѣ своей чуждъ несправедливости, то не чуждъ самонадѣянности, которая почти не менѣе первой ведетъ къ разнымъ излишествамъ; если онъ отечески любитъ свой народъ и вполне сочувствуетъ ему въ бѣдствіи, то онъ также подверженъ самолюбію, и нѣтъ для него оскорбленія чувствительнѣе того, которое устремлено противъ него лично: въ такомъ случаѣ онъ способенъ увлечься до несправедливаго гнѣва, до забвенія всякой умѣренности и благоразумія. Вообще, въ немъ есть мѣсто страсти и ея увлеченіямъ. Нельзя быть чувствительнѣе Эдипа къ собственной чести, нетерпѣливѣе въ желаніи сбросить всякую тѣнь подозрѣнія съ своего добраго имени: онъ не довольствуется внутреннимъ чувствомъ своей правоты, но болѣзненно раздражается всякій разъ, какъ только слышитъ упрекъ или нареканіе себѣ со стороны, и не успокоиваясь, идетъ до послѣднихъ предѣловъ возможной повѣрки, такъ что наконецъ самъ съ ужасомъ видитъ себя въ самомъ безвыходномъ положеніи — лицомъ къ лицу съ преступленіемъ. Но этимъ самымъ онъ и впадаетъ въ настоящую трагическую коллизію, здѣсь-то собственно и должно раскрыться, въ какой степени онъ владѣетъ нравственными силами. Дѣло тутъ не столько въ самомъ преступленіи, которое, когда еще открывается дѣйствіе, есть уже достояніе минувшаго, сколько въ томъ, какъ относится къ нему совѣсть преступника: коллизія совершенно внутренняя. Внѣшняя же постановка Эдипа не такова, чтобы, совер-

шивъ преступленіе, онъ, волею или неволею, но неизбѣжно принужденъ былъ понести на себѣ и всю тяжесть наказанія. Важно то, что въ немъ самомъ есть голосъ, который, сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ понужденій, требуетъ отъ него, по сознаниіи вины, и строжайшаго возмездія за нее. Это голосъ, заложенный въ самой природѣ человѣка, не подавленный и самою страстію. Въ немъ-то заключалось главное побужденіе для Эдипа — подвергнуть себя тому ужасному лишенію, которое должно было отравить всю остальную жизнь его. Можно бы даже утверждать, что та же самая сила, хотя косвенно, участвовала и въ предыдущемъ непреклонномъ рѣшеніи Эдипа — во что бы то ни стало разогнать всякую тѣнь сомнѣній относительно своего добраго имени, дойти до самаго источника обвиненій, — рѣшеніи, которое такъ много способствовало къ тому, чтобы приблизить катастрофу. Что же такое была эта сила? неумолимый ли рокъ, который постоянно увлекалъ Эдипа въ одномъ направленіи къ назначенной напередъ развязкѣ, или другая, равно неотступная, но болѣе внутренняя и потому гораздо болѣе близкая чело-вѣческому сознанию, какова, напримѣръ, сила нравственнаго чувства? Отвѣтъ могъ бы быть сомнителенъ, если бы мы имѣли дѣло съ чистымъ мифическимъ сказаніемъ; но какъ скоро оно прошло черезъ руки художника и пропиталось его собственною мыслию, едва ли мы будемъ въ правѣ отказаться въ нашемъ толкованіи отъ разумнаго, что одинаково доступно и нашей мысли и нашему внутреннему чувству, и отдать свой голосъ въ пользу слѣпного и случайнаго, въ томъ предположеніи, что оно управляетъ извнѣ самою волею человѣка. Или, въ нашемъ пониманіи искусства, поэтическая дѣятельность ограничивалась бы только одною внѣшнею обработкою даннаго матеріала, безъ всякаго отношенія къ внутреннему его смыслу. Весьма замѣчательно, что древнее сказаніе, которое послужило основою «Эдипу», вовсе не знало той страшной развязки, которою оканчивается трагедія: такъ въ «Эдиподіи», одномъ эпическомъ произведеніи древности, которое все было посвящено дѣламъ Эдипа, рассказывалось, что онъ не только пережилъ безъ особенныхъ потрясеній смерть первой своей жены, но еще женился на другой, отъ которой имѣлъ четырехъ дѣтей; тотъ же образъ представленія усвоила себѣ и греческая живопись (см. Grote, 1, гл. XIV). Неизбѣжныя послѣдствія преступнаго сознанія въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ въ подробности развиты только драматическою поэзіею.

Ясно, что эпическое, равно какъ и мионическое сознаніе занято было преимущественно внѣшнимъ дѣйствіемъ и оставалось довольно равнодушнымъ къ тому, что въ то же самое время происходило въ самой душѣ героя легенды, между тѣмъ какъ трагическая муза обратила главное свое вниманіе на нравственные явленія: иначе мы не могли бы объяснить себѣ, почему художникъ рѣшился на такое значительное измѣненіе въ первоначальномъ сказаніи и позволилъ себѣ развитіе несчастнаго послѣдствія преступленія совершенно по-своему. Вообще трагедія въ Греціи предполагаетъ новую важную степень въ развитіи гелленскаго сознанія: герой древней легенды только и могъ имѣть для него занимательность, какъ лицо нравственное. Здѣсь же, по нашему мнѣнію, и тайна того участія, которое судьба его, хотя и преступника, возбуждаетъ даже въ зрителѣ новаго времени. Эдипъ, дѣйствующій въ счастіи и несчастіи лишь какъ слѣпое орудіе судьбы, теряетъ всякую цѣну, не заслуживаетъ даже простаго состраданія; только какъ человѣкъ, до послѣдней минуты движимый побужденіями болѣе или менѣе нравственными, имѣетъ онъ полное право на сочувствіе зрителей въ своихъ дѣйствіяхъ и еще болѣе въ своемъ добровольномъ наказаніи. Пусть впечатлѣніе отъ безпримѣрныхъ несчастій Эдипа и будетъ подавляющее: въ глубинѣ души зрителя тѣмъ не менѣе остается возвышающее чувство, что въ природѣ человѣка живутъ ничѣмъ неизгладимые инстинкты истины и правды, которыхъ не заглушаютъ никакія несчастія, ни даже самыя жестокіе удары судьбы.

Взглянемъ на подробности.

Ничего не можетъ быть умилительнѣе первой сцены, которою открывается дѣйствіе въ нашей трагедіи. Поэтическое воображеніе рѣдко было счастливѣе на изобрѣтеніе. Постигнутый роковымъ бѣдствіемъ, цѣлый городъ курится умилостивительными жертвами. Въ храмахъ поютъ священные гимны, но ихъ часто нарушаютъ жалобныя вопли. На площади, передъ царскимъ домомъ, собралась вмѣстѣ съ жрецами и старцами цѣлая толпа дѣтей и юношей. Это лучшій цвѣтъ народа, но они сошлись сюда не для торжества: съ масличными вѣтвями въ рукахъ, стоятъ они вокругъ алтарей, многіе сидятъ на ступеняхъ ихъ, въ ожиданіи Эдипа. Юныя сердца ихъ исполнены глубокаго унынія. Ни откуда не видя спасенія, они пришли повѣрить свою скорбь и свое отчаяніе тому, кто уже былъ однажды спасителемъ города, и услышать отъ него утѣшительное слово. Никто изъ смертныхъ не пользовался

между овивянами равною довѣренностью, ни равнымъ уваженіемъ; къ нему привыкли они прибѣгать въ трудныя минуты народнаго бѣдствія, укрываться подъ его покровомъ отъ ударовъ судьбы. Онъ не измѣнитъ имъ и теперь. Стоны и жалобы въ самомъ дѣлѣ вызываютъ его изъ глубины дома. Эдипъ выходитъ къ народу, привѣтствуетъ въ немъ дѣтей своихъ, и съ нѣжнымъ участіемъ отца освѣдомляется о томъ, какія нужды привели ихъ къ его порогу. Сердце его открыто состраданію и жалости; онъ готовъ помогать тѣмъ, кого признаетъ наравнѣ съ своими дѣтьми, во всѣхъ обстоятельствахъ ихъ жизни, лишь бы это было въ его силахъ и въ его волѣ. Большаго доброжелательства въ свою пользу овивяне ни отъ кого не могли требовать. Впрочемъ не въ эту только минуту—Эдипъ давно уже тронутъ бѣдствіями своего народа. Не даромъ устремлены были на него взоры овивянъ, привязаны къ нему послѣднія ихъ надежды. Прежде чѣмъ народъ позаботился самъ о себѣ, Эдипъ уже думалъ объ его страданіяхъ, втайнѣ плакалъ надъ его язвами. Въ широкомъ сердцѣ его нашлось довольно мѣста для общей печали; только умъ его долго не находилъ средствъ, чтобы отвратить карающую руку судьбы. Наконецъ чувство собственнаго безсилія заставило его прибѣгнуть къ дельфійскому бракулу, и когда народъ, собравшійся на площади, передалъ ему устами Зевсова жреца исторію своего бѣдствія, Эдипъ, изливши передъ нимъ свое доброе сердце, могъ по крайней мѣрѣ сказать ему въ утѣшеніе, что уже истекло время, необходимое для возвращенія вѣстника, и недалекъ тотъ срокъ, когда имъ будетъ извѣстна мысль Аполлона. Едва только Эдипъ кончилъ свою рѣчь въ отвѣтъ на жалобы народа, какъ желаемый вѣстникъ дѣйствительно показывается вдали. Въ ожиданіи его, всѣ присутствующіе раздѣлены между страхомъ и надеждою. Наконецъ должны разрѣшиться всѣ тяжелыя сомнѣнія; но кто знаетъ, какова будетъ воля боговъ, возвыщенная оракуломъ?

Въ цѣломъ драматическомъ искусствѣ трудно указать другую вступительную сцену, которая бы такъ скоро вводила въ дѣйствіе и съ перваго же раза привязывала участіе зрителя къ главному дѣйствующему лицу. Интересъ вдругъ возбужденъ и общою картиною города, пораженнаго страшнымъ бѣдствіемъ, и тѣми почти нѣжными отношеніями, которыя, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, остаются между народомъ и его повелителемъ, наконецъ самую неизвѣстностію

выхода, котораго никто не въ состояніи предусмотрѣть. Всѣ подробности положенія выбраны такъ счастливо, что каждая изъ нихъ, дѣйствуя на воображеніе, еще больше говоритъ сердцу зрителя, затрагиваетъ его съ самой чувствительной стороны. Поэтъ какъ будто имѣлъ въ виду гораздо позднѣйшее развитіе: всѣ интересы, пущенные здѣсь въ ходъ, есть интересы глубоко-человѣчественные. Надобно быть вовсе безъ сердца, чтобы не тронуться ни положеніемъ оивянъ, ни тѣми отношеніями, которыя при этомъ случаѣ вскрываются во всей силѣ между Эдипомъ и его подданными. Интересныя сами по себѣ, они бросаютъ еще много свѣта на личный характеръ Эдипа. Какъ мы уже замѣтили и прежде, онъ точно не блеститъ никакими внѣшними качествами; не видно также въ немъ и того адамантоваго духа, который не гнется ни подъ какимъ испытаніемъ и только закаляется въ несчастіяхъ. Сердце Эдипа слишкомъ мягко, чтобы противустоять давленію внѣшнихъ обстоятельствъ; одинъ видъ человѣческихъ страданій приводитъ его въ безпокойство и смущеніе. Не по одному только долгу правителя—онъ сочувствуетъ своимъ подданнымъ въ несчастіи еще болѣе по своему доброму сердцу. Это его слабость, но она могла бы быть и предметомъ гордости. Уже съ перваго раза любишь Эдипа, если не какъ героя, то какъ человѣка. Онъ плачетъ не за себя, но за участь города, чувствуя свое безсиліе облегчить его бѣдствія. Что бы съ нимъ ни случилось впередъ, но за это сердце можно поручиться заранѣе, что и при другихъ, можетъ-быть еще болѣе трудныхъ испытаніяхъ, онъ не измѣнитъ своимъ превосходнымъ инстинктамъ и всегда сохранитъ право на нашу симпатію, хотя бы впослѣдствіи, по какимъ ни есть причинамъ, и поколебалось наше уваженіе къ лицу. Впрочемъ, узнавши Эдипа по первой сценѣ его съ оивянами, нельзя, кажется, не отвергнуть напередъ, какъ клевету, всякое брошенное на него подозрѣніе. Не вѣрится, чтобы человѣкъ съ такимъ сердцемъ могъ когда-нибудь сдѣлаться преступникомъ.

Во всей первой сценѣ поэтъ не сдѣлалъ ни малѣйшаго намека на дѣйствительное преступленіе Эдипа. Если непосвященный зритель далекъ отъ подобной мысли, то самъ Эдипъ остается еще далѣе отъ малѣйшаго подозрѣнія о своей винѣ. Весьма тонкій и вѣрный художественный расчетъ. Допустимъ на минуту, что герой нашей трагедіи съ самаго начала носитъ въ душѣ подозрѣніе о своемъ, хотя и невольномъ, преступленіи: художественная задача потеряла бы по крайней мѣрѣ половину

своей цѣны—по той простой причинѣ, что самая перспектива, на разстояніи которой должно происходить драматическое дѣйствіе, сократилась бы вдвое. Какая разница для кисти художника—сдѣлать ли ровный переходъ отъ перваго подозрѣнія въ душѣ преступника до полнаго сознанія имъ своей вины, или пройти черезъ всѣ неуловимые оттѣнки внутреннихъ состояній, которыя лежатъ въ промежуткѣ между невозмущаемою душевною ясностію, свойственною невинности, и глубокимъ внутреннимъ раздоромъ, болѣе извѣстнымъ подъ именемъ терзаній совѣсти! Само собою разумѣется, что зритель потерялъ бы всего болѣе отъ этого ущерба психологическаго интереса. Но онъ потерялъ бы много еще и въ другомъ отношеніи. Лицо, которому съ самаго начала недостаетъ чистоты совѣсти, можетъ быть очень важно, иногда даже необходимо въ драматическомъ дѣйствіи, какъ орудіе интриги, но ни въ какомъ случаѣ не годится быть героемъ трагедіи. Тамъ нѣтъ мѣста симпатіи, гдѣ не находится самаго перваго условія для нея. При чемъ бы остался зритель, если бы ему съ перваго раза дали понятіе объ Эдипѣ, какъ о человѣкѣ, который боится за свою невинность, или, что еще хуже, утратилъ самое чувство ея? Равнодушный къ лицу, онъ конечно не тронулся бы много и самою его судьбою.

Но съ самаго появленія Эдипа на сценѣ ему уже обезпечена симпатія зрителя. Впередъ онъ охотно послѣдуетъ за своимъ любимымъ героемъ, каковы бы ни были переменны въ судьбѣ его. До сихъ поръ онъ знаетъ только, что Эдипъ любимъ народомъ и дѣйствительно заслуживаетъ этой любви по добрымъ качествамъ своего сердца: тѣмъ интереснѣе будетъ ему узнать другія свойства Эдипа и наблюдать за нимъ въ разныхъ обстоятельствахъ его жизни. Но пока его интересуется больше всего, вмѣстѣ съ Эдипомъ, воля оракула, которую долженъ возвѣстить возвратившійся посланный. Сообразно съ важностью дѣла, Эдипъ поручилъ эту миссію самому близкому и довѣренному человѣку между всѣми его окружавшими: это шуринъ его Креонтъ, который какъ по своему личному характеру, такъ еще болѣе по своему близкому родству съ царемъ, пользуется почти равнымъ почетомъ и уваженіемъ въ народѣ. Отъ него нельзя ожидать обмана. Радостное лицо его прежде словъ возвѣщаетъ благопріятный исходъ совѣщанія съ оракуломъ. Лучъ надежды загорается въ смущенной душѣ Эдипа. На нетерпѣливые вопросы его вѣстникъ въ самомъ дѣлѣ даетъ довольно благопріятный отвѣтъ: не напрасно страшное бѣдствіе отяготѣло надъ Ти-

вами; тому причиною невинная кровь Лаія, прежняго царя *Фивъ*, пролитая злодѣйскимъ образомъ и требующая себѣ отмщенія; *Фивы* не будутъ спасены, пока кровавая мѣсть не постигнетъ преступника, и земля не будетъ очищена отъ преступленія. Имя тайнаго злодѣя не произнесено, но если усердіе людей поможетъ открыть доселѣ не замѣченный слѣдъ его, то спасеніе *фивянъ* болѣе несомнѣнно. Съ горячностью правителя, хорошо знающаго свои обязанности въ отношеніи къ подданнымъ, берется *Эдипъ* за путеводную нить, указанную ему оракуломъ. Освѣдомившись о главныхъ обстоятельствахъ убійства, онъ, съ чувствомъ глубокаго омерзѣнія къ преступному дѣлу, публично произноситъ свое неизмѣнное рѣшеніе быть мстителемъ за невинно пролитую кровь *Лаія*. Пока останется хотя слабая тѣнь надежды, онъ не перестанетъ отыскивать слѣды злодѣевъ, отъ которыхъ, какъ увѣряетъ молва, палъ его предшественникъ, застигнутый ими на распутіи. Еще живъ одинъ человѣкъ, который сопровождалъ *Лаія* въ пути и спасся бѣгствомъ, и *Эдипъ* не отчаивается, что показанія очевидца, какъ бы они ни были скудны, помогутъ ему открыть истину. Между тѣмъ извѣстіе о томъ, что *Лаій* погибъ отъ руки обыкновенныхъ разбойниковъ, прибавляетъ еще новый мотивъ къ его ревности: онъ долженъ позаботиться столько же для народа, сколько и для самого себя. Никто конечно не осудитъ *Эдипа* за то, что онъ, при мысли объ общемъ благѣ, думаетъ также и о своей личной безопасности: какъ человѣкъ, онъ не можетъ оставаться равнодушнымъ къ своей собственной участи. Не въ упрекъ герою нашей трагедіи, замѣтимъ однако эту черту между его личными свойствами; при всемъ своемъ усердіи на общую пользу, онъ въ то же самое время не врагъ и себѣ; онъ человѣкъ, и ему доступны всѣ человѣческія побужденія. Народъ, успокоенный твердою рѣшимостью царя, еще разъ увѣряетъ свою участь его добросовѣстной заботливости и мирно расходится по домамъ.

До сихъ поръ мы знаемъ только намѣреніе *Эдипа*. Теперь посмотримъ его въ самомъ дѣйстви. *Хоръ*, възывающій къ богамъ о спасеніи, вновь открываетъ сцену и вызываетъ *Эдипа* изнутри дворца ¹⁾. Съ первыхъ же словъ его чувствуется

¹⁾ *Хоръ* въ древней трагедіи имѣлъ, какъ извѣстно, свое особое значеніе и свой чрезвычайно оригинальный характеръ, который нельзя объяснить лишь нѣсколькими словами. Такъ какъ подробное объясненіе того и другого повело бы слишкомъ далеко, то авторъ этой статьи, чтобы не прерывать нити ана-

значительная переѣна въ немъ самомъ. Онъ является уже не тѣмъ страдающимъ лицомъ, какимъ мы видѣли его въ первыя минуты. Прежнія чувства какъ будто опустились на дно его души. Онъ смотритъ и говоритъ неумолимымъ судьбою, строгимъ блюстителемъ правды, котораго вся мысль устремлена на то, чтобы преступное дѣло не осталось безъ наказанія. Воля его непреклонна; видно, что никакія препятствія не въ состояніи будутъ измѣнить его рѣшенія. Пусть пока молчитъ самое состраданіе. Уже не для обмѣна чувствъ—Эдипъ обращается къ народу, чтобы объявить ему свою неизмѣнную волю: да не укроется преступникъ отъ преслѣдующаго его правосудія, гдѣ бы онъ ни находился. Проклятіе на голову всякаго, кто скрылъ бы его или его убѣжище. Достойная награда и царская милость тому, кто откроетъ слѣды злодѣя, который своимъ преступленіемъ накликалъ на Оивы страшный гнѣвъ боговъ. Онъ, виновникъ общенароднаго бѣдствія, неотмѣнно долженъ быть въ рукахъ правосудія, и пусть съ этой самой минуты проклятіе тяготѣетъ надъ его преступною головою и преслѣдуетъ его въ самыхъ сокровенныхъ убѣжищахъ. И если—заключаетъ Эдипъ—онъ окажется подъ кровомъ моего дома, укрытый въ немъ съ моего вѣдома, то пусть оно падетъ и на меня всею своею тяжестью. Не одно только глубокое чувство невинности, недоступное никакому подозрѣнію, — въ этихъ словахъ сказала еще и та внутренняя потребность правды, которая одна способна возвысить человѣка надъ эгоистическими расчетами. Едва лишь неясное предчувствіе говоритъ Эдипу, что ему предстоитъ какая-то тяжелая борьба; но онъ готовъ на все, онъ обѣщаетъ — и слово его звучитъ какъ металлъ — не успокоиться до тѣхъ поръ, пока неутомимыя усилія не приведутъ его къ самой цѣли, пока личина не спадетъ съ лица преступника. Народъ тронутъ благородною рѣшимостью царя, но съ своей стороны онъ можетъ только увѣрить его въ своей совершенной неприкосновенности къ преступному дѣлу и въ рѣшительномъ невѣдѣніи относительно всего, что касается до убійцы. Слыхалъ онъ, правда, что убійцею Лаія были какіе-то странники. Эдипъ признается, что до него ужъ и прежде доходилъ этотъ слухъ, — но гдѣ найти свидѣтеля, который бы поручился въ истинѣ такого показанія? Такъ же мало полезенъ Эдипу и совѣтъ, который даютъ ему старцы оивскіе, — обратиться къ проницательности Тиресія, котораго вѣщій

лиза, принужденъ былъ ограничиться лишь упоминаніемъ тѣхъ чувствъ и мыслей, которыя здѣсь выражаются хорошо въ связи съ общимъ дѣйствіемъ трагедіи.

взоръ провидитъ даже будущее; по совѣту Креонта, онъ уже рѣшился на эту мѣру и ждетъ только появленія прорицателя.

Тиресій не заставляетъ долго ждать себя. Эдипъ тотчасъ обращаетъ къ нему свое привѣтливое слово. Нельзя быть внимательнѣе его къ чужимъ достоинствамъ, нельзя сказать болѣе лестнаго въ одномъ привѣтствіи. Онъ какъ будто боится, чтобы прорицатель не оскорбился недостаткомъ уваженія къ нему и не отказался отвѣчать на предложенные вопросы. Каково же изумленіе Эдипа, когда Тиресій, несмотря на оказанное ему вниманіе, проситъ, вмѣсто всякаго отвѣта, чтобы ему позволено было возвратиться домой! Напрасно царь и народъ заклинаятъ его именемъ отечества, которому угрожаетъ конечная гибель, подать имъ спасительный совѣтъ. Тиресій продолжаетъ упорствовать. Но Эдипъ не менѣе твердъ въ своемъ рѣшеніи. Тамъ, гдѣ не помогаетъ простое убѣжденіе, онъ готовъ дѣйствовать хоть силою своей власти. Оставить въ покоѣ прорицателя, уступая его странному упорству, не значить ли отступить отъ самаго вѣрнаго средства открыть истину? И это необъяснимое упорство не въ состояніи ли уже само по себѣ возбудить подозрѣніе? Угроза, которою Тиресій прикрываетъ свое молчаніе, говоря, что излишняя пытливость можетъ быть очень пагубна въ этомъ случаѣ, лишь еще болѣе раздражаетъ любопытство. Эдипъ не въ состояніи болѣе удержать своего гнѣва; негодованіе начинаетъ говорить языкомъ его. Въ душѣ прорицателя затронуты самыя чувствительныя струны; не снося несправедливыхъ нареканій, онъ наконецъ также даетъ свободу своему языку. Образъ выраженія его становится все опредѣленнѣе и опредѣленнѣе; вмѣсто прежнихъ неясныхъ намековъ, онъ прямо обращаетъ мысль Эдипа на его собственную жизнь, указывая на нее какъ на предметъ, вполне достойный его негодованія. Тому, кто не знаетъ въ своей жизни ни одного пятна, можно ли не возмутиться подобною дерзостью? Ему тотчасъ представляется, что за нею должно скрываться чувство виновности, которое, боясь быть выведеннымъ наружу, заблаговременно старается отвести вниманіе свидѣтелей въ другую сторону. Съ запальчивостью человѣка, который чувствуетъ себя глубоко оскорбленнымъ, Эдипъ открыто высказываетъ свое подозрѣвіе: если Тиресій не самъ убійца, то, навѣрное, онъ соумышленникъ убійства. Понятно, какъ могло родиться такое подозрѣніе; но не было бы еще достаточной причины дѣлать изъ него формальное обвиненіе. Здѣсь впервые открывается зрителю

слабая сторона Эдипа: въ припадкѣ страсти онъ не замѣчаетъ, что, отыскивая правду, въ то же время самъ нарушаетъ ее своею несправедливостью къ другимъ; взявшись быть безпристрастнымъ судьей, онъ вмѣсто того становится обвинителемъ. Съ этой минуты зритель, какъ бы ни былъ убѣжденъ въ невинности Эдипа, начинаетъ терять увѣренность въ томъ, чтобы онъ могъ выйти чистъ изъ дѣла, къ которому приступилъ съ такою самонадѣянностью. И въ самомъ дѣлѣ, судьба какъ будто только ждала этого фальшиваго шага съ его стороны. Какъ громъ раздается вѣщій голосъ прорицателя, повторяющій надъ головою самого Эдипа то проклятіе, которому онъ такъ торжественно обрекъ убійцу своего предшественника. Царь не вѣритъ своему слуху; мысль его, которой ясно все его прошедшее, не можетъ вмѣстить въ себѣ подобнаго безсмыслія. Нѣсколько разъ онъ повторяетъ свой вопросъ прорицателю: напрасный трудъ — Тиресій не только не беретъ назадъ ни одного своего слова, но къ первому обвиненію онъ прибавляетъ еще новое. Въ мысли его нѣтъ болѣе ничего неопредѣленнаго или двусмысленнаго: безъ всякихъ околичностей, онъ уже положительно называетъ Эдипа цареубійцею и сверхъ того укоряетъ его въ преступныхъ связяхъ съ людьми кровными. Впрочемъ что же до этого Эдипу, въ душѣ котораго ясно какъ день, кромѣ негодованія, возбужденнаго въ немъ наглою клеветою лжепрорицателя? Какія еще нужны доказательства, что онъ имѣетъ дѣло съ безстыднымъ лжецомъ, который подъ личиною убожества скрываетъ самыя черныя намеренія? Эдипъ презрѣлъ бы его безсильную дерзость, посмѣялся бы надъ его угрозами; но кто знаетъ, что за Тиресіемъ не скрывается другой, болѣе предприимчивый и болѣе опасный врагъ? Злосчастная встрѣча! Безъ вины теряется спокойствіе Эдипа, онъ становится все подозрительнѣе, и вотъ уже мысль его обращается на Креонта. Этотъ безчестный нищій, безъ сомнѣнія, служитъ только орудіемъ его властолюбивыхъ видовъ; самъ же доволенъ будетъ и золотомъ, которое получить въ награду за свою низкую услугу. Но какова же сила зависти и любостыжанія надъ людьми, когда даже такой вѣрный и испытанный другъ, какъ Креонтъ, не устоялъ противъ искушенія и рѣшился повести подкопъ подъ благосостояніе ближайшаго и довѣреннѣйшаго къ нему человѣка! И негодованіе, которымъ за минуту передъ тѣмъ былъ полонъ Эдипъ, уступаетъ весьма грустному чувству, внушаемому мыслию о непостоянствѣ всѣхъ человѣческихъ привязанностей. Человѣкъ

онъ, какъ это видитъ всякій, и ничто человѣческое не чуждо ему: если онъ легко приходитъ въ гнѣвъ отъ незаслуженнаго упрека себѣ, то онъ же не можетъ безъ сожалѣнія подумать и о томъ, что другіе могутъ измѣнить своимъ человѣческимъ чувствамъ. Между тѣмъ новое соображеніе представляется Эдипу. Было же время, когда прорицатель—если только онъ не напрасно носилъ это имя—могъ съ пользою употребить свой даръ и избавить народъ отъ бѣдствія, разрѣшивши загадку чудовища: однако онъ тогда молчалъ и ничѣмъ не обнаружилъ своей прозорливости. Откуда же теперь взялось въ немъ такое вдохновеніе? Не ясный ли это знакъ, что подъ именемъ прорицателя скрывается злонамѣренный обманщикъ, который служить орудіемъ не менѣе злонамѣреннаго честолюбца? Въ послѣдній разъ, именемъ боговъ, Эдипъ заклинаетъ Тиресія показать передъ цѣлымъ народомъ, что онъ не ложно приписываетъ себѣ даръ провидѣнія, и къ своему ужасу и еще большому негодованію, слышитъ въ отвѣтъ новое прорицаніе, которое предвозвѣщаетъ ему злосчастную участь слѣпца и изгнаніе. Темно происхожденіе Эдипа: еще продолжая испытаніе, онъ требуетъ отъ прорицателя, чтобы тотъ по крайней мѣрѣ называлъ ему по именамъ родившихъ его; но Тиресій, уклоняясь отъ прямого отвѣта, говоритъ загадками и къ дерзости прибавляетъ еще насмѣшку, напоминая Эдипу, что когда-то онъ былъ такой мастеръ разгадывать самыя трудныя загадки. Тогда истощается терпѣніе царя; не возвращаясь болѣе къ своимъ обвиненіямъ, онъ приказываетъ только Тиресію немедленно удалиться съ глазъ своихъ и нисколько при этомъ не сомнѣвается въ умѣренности своего образа дѣйствій.

Зритель остается странно раздѣленнымъ между участіемъ къ судьбѣ Эдипа и недоумѣніемъ относительно его невинности. Это чувство высказывается слѣдующимъ за тѣмъ хоромъ. Съ одной стороны зритель все больше и больше привязывается къ герою трагедіи, въ сердцѣ котораго замѣчаетъ столько истинно человѣческихъ движеній; съ другой же—не можетъ онъ не задуматься и надъ странными предвѣщаніями Тиресія, который пользуется всеобщимъ уваженіемъ въ народѣ, и котораго вѣщій голосъ никогда еще не раздавался даромъ. Только будущее можетъ разрѣшить сомнѣнія; но оно еще закрыто темною ночью. Слѣдующая встрѣча (между Эдипомъ и Креонтомъ) лишь увеличиваетъ мракъ недоумѣнія. Креонтъ выходитъ на площадь, вызванный слухомъ о тѣхъ нареканіяхъ, которыхъ предметомъ онъ неожиданно сдѣлался

во время разговора царя съ прорицателемъ. Креонтъ честенъ и прямъ; онъ такъ же, какъ и Эдипъ, не потерпитъ неза- служеннаго упрека на своемъ добромъ имени; душа его также возмущается при мысли о обвиненіи, не подтвержденномъ никакими доказательствами. Исполненный сознанія своей невинности, Эдипъ не боится никакого вызова; но въ немъ еще осталось раздраженіе отъ встрѣчи съ Тиресіемъ; онъ сталъ подверженъ страсти и неспособенъ разобрать дѣло съ холоднымъ безпристрастіемъ. Предубѣжденіе Эдипа противъ Креонта такъ сильно, что при одномъ его видѣ онъ выходитъ изъ себя и встрѣчаетъ его враждебными рѣчами. Напрасно Креонтъ противопоставляетъ ему свою правдивость, свою умѣренность, свою прежнюю жизнь и любовь къ независимости; напрасно, подавивъ въ себѣ чувство оскорбленія, избѣгаетъ всякаго повода къ новому раздраженію и проситъ только, чтобы его выслушали. Эдипъ не въ состояніи заглушить въ себѣ голоса страсти, ни переменить своего мнѣнія. Самая эта осторожность, съ которою Креонтъ отвѣчаетъ на его вопросы, возбуждаетъ въ немъ новыя подозрѣнія. И когда потомъ, получивъ свободу говорить, Креонтъ въ истинныхъ чертахъ изобразилъ Эдипу свое настоящее положеніе въ государствѣ, какъ человѣка, пользующагося почти равнымъ съ нимъ почетомъ и любовью со стороны народа, когда наконецъ онъ напомнилъ своему царственному родственнику, какъ недостойно его званія и характера дѣлать произвольныя обвиненія, и присутствующіе не нашли излишнимъ сдѣланнаго имъ предостереженія. Эдипъ, вопреки всѣмъ, упорствуетъ въ своемъ несчастномъ убѣжденіи и продолжаетъ видѣть въ Креонтѣ только соумышленника Тиресію, взявшагося мнимымъ прямотушіемъ и чистосердечіемъ усыпить его подозрѣнія. Онъ какъ будто боится снять свое обвиненіе съ другого, чтобы не дать мѣста чувству вины въ своемъ собственномъ сердцѣ, и, пока еще силенъ чувствомъ своей невиновности, считаетъ для себя долгомъ позаботиться о своей личной безопасности и скорымъ приговоромъ предупредить ковы тайныхъ злодѣевъ. Противорѣчія Креонта лишь ускоряютъ рѣшимость Эдипа: онъ не хочетъ больше слышать никакихъ возраженій и изрекаетъ „смерть“, опираясь на свою волю. Присутствующій при этомъ спорѣ зритель видитъ, что Эдипъ въ своемъ увлеченіи переступаетъ черту правды относительно Креонта, но относительно его самого онъ не находитъ себя въ правѣ отказать ему въ своемъ сочувствіи, еще менѣе осудить его въ томъ, что,

несмотря на всѣ обвиненія, остается однако попрежнему недоказаннымъ. Онъ ждетъ съ нетерпѣніемъ, что можетъ-быть вновь приходящая Іокаста принесетъ съ собою что-нибудь, могущее пролить нѣкоторый свѣтъ въ этомъ хаосѣ одно другому противорѣчащихъ обвиненій.

Іокаста является, вызванная любопытствомъ. Въ Іокастѣ художникъ изобразилъ женскую привязанность и женскую преданность, безъ особенной страсти и энергіи, но и внѣ всякихъ расчетовъ. Іокаста — женщина по преимуществу: она живетъ болѣе чувствомъ, нежели мыслию. Ей не такъ дорога истина, сколько дорого домашнее спокойствіе. Она охотно осталась бы въ заблужденіи, лишь бы не вносить никакой тревоги въ свое мирное счастье. По своей женственной природѣ Іокаста составляетъ такой рѣзкій контрастъ съ своимъ мужемъ. Видно, что счастье ея жизни было уже возмущено не разъ, и потому она особенно дорожитъ своимъ покоемъ и боится всякаго повода къ новому нарушенію его. Заставши своего мужа въ ссорѣ съ другимъ столь близкимъ ей человекомъ, она приходитъ въ ужасъ и закликаетъ ихъ кончить вражду во-время и мирно разойтись по домамъ. Миролюбивый хоръ также беретъ ея сторону, и уступая ихъ настояніямъ, Эдипъ соглашается отпустить Креонта безъ вреда и насилія. Но тревожная мысль Эдипа далека отъ того, чтобы успокоиться потому только, что внѣшнимъ образомъ устранены причины его неудовольствія. Она не замолчитъ въ немъ до тѣхъ поръ, пока такъ или иначе не разрѣшатся его сомнѣнія, пока на совѣсти его будетъ оставаться хотя одно темное подозрѣніе. Напрасно Іокаста думаетъ подѣйствовать на него своими кроткими рѣчами, своимъ наивнымъ убѣжденіемъ въ совершенной невинности мужа; ея слова, особенно ея рассказъ о томъ, какъ Лаій, вопреки предсказанію оракула, вмѣсто того, чтобы погибнуть отъ руки сына, погибъ на распутіи отъ руки неизвѣстныхъ разбойниковъ, лишь поднимаютъ въ Эдипѣ новую бурю сомнѣній. Страшно слышатся ему слова—„на распутіи, гдѣ сходятся вмѣстѣ три дороги“: они открываютъ входъ прямо въ его душу подозрѣнію, которое до сего времени носилось только передъ его воображеніемъ и возбуждало его негодованіе. Еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, жребій можетъ выпасть въ ту и другую сторону, еще есть время остановиться и не искушать судьбы. Но Эдипъ не хочетъ болѣе оставлять ничего сомнительнаго, ничего двусмысленнаго; онъ хочетъ прямо взглянуть въ лицо истинѣ, хотя бы она готовила ему самый

страшный приговоръ. Кто скажетъ, что его увлекаетъ одно праздное любопытство, что въ немъ не говоритъ другая, болѣе сильная внутренняя потребность? Вопросъ за вопросомъ. Эдипъ заставляетъ Иокасту пересказать одно за другимъ всѣ обстоятельства злосчастнаго убійства Лаія, какъ они въ свое время были переданы летучею молвою, и чѣмъ больше узнаетъ подробностей, тѣмъ больше разсѣвается мракъ неопредѣленности, тѣмъ ближе становится подозрѣніе къ его совѣсти. Эдипъ узнаетъ мѣсто убійства, не можетъ онъ не признать, по описанію жены, и внѣшняго вида убитаго. Изъ глубины души вырывается у него вопль, что можетъ-быть и не напрасно приписываютъ Тиресію даръ прозорливости! Чувство невинности, которымъ Эдипъ былъ такъ силенъ противъ всѣхъ нареканій, поколебалось; въ немъ является уже предчувствіе преступленія, хотя онъ самъ не можетъ еще сказать—какого. Если не вотще было сказано слово прорицателя, назвавшего Эдипа цареубійцею (убійцею Лаія), то почему не могутъ оправдаться и другія, еще болѣе зловѣщія его предсказанія? Передавая свои опасенія Иокастѣ, Эдипъ мало находитъ для себя утѣшенія въ томъ, что отецъ его, какимъ онъ считаетъ Полиба, еще царствуетъ въ Коринѣѣ, и мать его находится тамъ же: нравственная природа его возмущается даже при мысли о будущемъ преступленіи, какъ скоро оно перестало ему казаться невозможнымъ. Пусть лучше исчезну я съ лица земли—говоритъ онъ—чѣмъ испытать на себѣ такую крайность человѣческаго паденія. Что же должно быть съ этимъ человѣкомъ, когда чаемое преступленіе сознается какъ уже прошедшее, болѣе чѣмъ только неотвратимое? Еще и теперь нѣтъ ничего вполне достовѣрнаго, неизвѣстность господствуетъ попрежнему, и хоръ, сохранившій всю вѣру въ чистоту Эдипа, не перестаетъ увѣрять его въ своей непоколебимой преданности. Эдипу стоило бы только укрыться за этою неизвѣстностью и воздержаться отъ дальнѣйшаго изслѣдованія, чтобы спасти свое чувство невинности, сколько еще въ немъ осталось его, и соединенное съ нимъ спокойствіе; никто еще не разрѣшилъ послѣдняго очень важнаго сомнѣнія: погибъ ли Лаій отъ руки одного человѣка, или на него дѣйствительно напала цѣлая толпа разбойниковъ. Иокаста и съ нею всѣ присутствующіе нисколько не прочь держаться послѣдняго, столь выгоднаго для Эдипа извѣстія, потому что оно было засвидѣтельствовано въ свое время показаніемъ единственнаго спутника Лаія. Кто заставляетъ Эдипа добиваться повѣрки прежняго показанія?

Но онъ не хочетъ оставить ни одной тѣни сомнѣнія, онъ хочетъ самъ видѣть и допросить свидѣтеля, если только можно отыскать его, и когда Іокаста, въ горькомъ предчувствіи и какъ бы въ тайномъ страхѣ передъ могущею открыться истинною, спрашиваетъ мужа, какого же утѣшенія ждетъ онъ себѣ отъ этихъ распросовъ, Эдипъ отвѣчаетъ, что онъ не надѣется иначе подавить въ себѣ душевное волненіе, какъ услышавъ подтвержденіе сказаннаго прямо отъ очевидца. Тутъ есть еще слабый лучъ надежды, но за нимъ, непосредственно за нимъ, цѣлая пропасть отчаянія. Іокаста, какъ женщина, остановилась бы передъ такою страшною дилеммою; Эдипъ съ истинно мужескою рѣшимостью идетъ до самаго крайняго предѣла испытанія. Іокаста съ своимъ женскимъ сердцемъ подъ конецъ должна уступить его твердымъ настояніямъ и соглашается сдѣлать нужныя распоряженія, чтобы отыскать свидѣтеля: такъ привыкла она согласовать свои дѣйствія съ желаніями мужа.

Сердце зрителя приготовлено къ самымъ тяжелымъ ощущеніямъ. Сердце древняго зрителя было приготовлено къ нимъ еще болѣе: стараясь разсѣять мрачныя сомнѣнія Эдипа, Іокаста позволила себѣ слишкомъ легкомысленно отозваться о предсказаніяхъ оракула и показала такое неуваженіе къ божественному дару прорицателей, подобныхъ Тиресію. Древній художникъ, сохранившій вѣру въ отеческихъ боговъ, не можетъ оставить въ своей драмѣ вовсе безъ значенія подобное оскорбленіе народныхъ вѣрованій. Но и современный намъ зритель почувствуетъ, послѣ сцены Эдипа съ Іокастой, что надъ царственнымъ домомъ должно совершиться что-то недоброе. Еще нѣтъ рѣшенія сомнѣніямъ, а между тѣмъ Іокаста снова выходитъ изъ дому и спѣшитъ вѣнками и куреніями умиловитъ оскорбленнаго ею Аполлона; въ ожиданіи свидѣтеля, который долженъ принести рѣшеніе, Эдипъ все больше и больше предается душевному безпокойству, какъ если бы уже въ немъ начинало дѣйствовать сознаніе преступника. Передъ закатомъ всѣхъ надеждъ, незнакомый вѣстникъ приходитъ бросить еще одинъ лучъ свѣта въ смущенную душу Іокасты. Вѣсть его, правда, больше печальнаго, нежели радостнаго свойства: не стало Полиба, и народъ въ Коринѣ провозгласилъ Эдипа своимъ царемъ, какъ прямого его наслѣдника. Но для Іокасты, которая болѣе всего дорожитъ спокойствіемъ своего мужа, не можетъ быть вѣсти пріятнѣе: не потому, чтобы она въ самомъ дѣлѣ была рада смерти Полиба, но потому, что смертію его почти упраздняется сила предсказанія, которое

грозою висить надъ головою Эдипа. Это извѣстіе она спѣшитъ передать своему мужу. Нѣсколько иначе отзывается тотъ же самый слухъ въ сердцѣ Эдипа: въ немъ—какъ и слѣдовало ожидать отъ человѣка его свойствъ—прежде всего сказывается сыновнее чувство, и только за нимъ выходитъ наружу болѣе радостное ощущеніе человѣка, чувствующаго себя освободившимся отъ злой напасти, которая уже казалась неотвратимою. Ни онъ, ни жена его не выражаютъ при этомъ никакого удовольствія по случаю увеличенія ихъ власти: мысль объ этомъ какъ будто вовсе не приходитъ имъ въ голову. Іокаста готова уже возвратиться къ прежней безпечности; но многозаботный умъ Эдипа питаетъ въ себѣ еще одно опасеніе: умеръ отецъ, но кто поручится, что предсказаніе не исполнится на матери?—Какъ же велико изумленіе Эдипа, и какъ понятно вновь возбужденное въ немъ нетерпѣливое чувство, когда онъ узнаетъ отъ того же самаго вѣстника, что Полибъ вовсе не отецъ ему, и Мeroпa—не мать, и что онъ былъ только ихъ счастливымъ пріемышемъ! При этомъ вѣстникъ сообщаетъ ему и всѣ подробности, какимъ образомъ онъ найденъ имъ и переданъ съ рукъ на руки Полибу. Сомнѣніямъ нѣтъ болѣе мѣста, и Эдипъ до такой степени увлекается этимъ нечаяннымъ оборотомъ дѣла, что вовсе не замѣчаетъ вытекающей отсюда для него новой опасности—узнать настоящую мать въ лицѣ болѣе близкомъ, чѣмъ Мeroпa, живущая въ Коринѣѣ. Въ его представленіи, предсказанія оракула относятся только къ Мeroпѣ, и ни къ кому болѣе. Любя знать правду и отвращаясь неизвѣстности, Эдипъ и здѣсь хочетъ добраться до корня, чтобы окончательно устранить всѣ сомнѣнія о своемъ происхожденіи. Какое дѣло, если оно покажется темно и низко: по крайней мѣрѣ оно будетъ истинно и не послужитъ поводомъ ни къ какому опасному самообольщенію. Пусть даже раба будетъ его матерью: онъ чувствуетъ въ себѣ довольно человѣческаго достоинства, чтобы не унизиться самому и не унижить жены своимъ незнатнымъ происхожденіемъ. Это гордое сознаніе показываетъ лучше всего, что въ Эдипѣ уже возродилась довѣренность къ самому себѣ, и что никакая тяжесть не давить болѣе его совѣсти.

Такова послѣдняя перипетія, какъ будто незначенная для того, чтобы тѣмъ чувствительнѣе сдѣлать для зрителя имѣющую затѣмъ послѣдовать развязку всего дѣйствія. Уже то самое, что Іокаста подъ конецъ нисколько не раздѣляетъ гордыхъ чувствъ своего мужа и уклоняется отъ прямыхъ отвѣ-

товъ, достаточно показываетъ, что Эдипъ сдѣлалъ ошибку. что заключенія его были слишкомъ поспѣшны. Чѣмъ больше онъ настаиваетъ на своемъ желаніи видѣть того стараго служителя Лаія, который нѣкогда передалъ его съ рукъ на руки коринескому вѣстнику, тѣмъ больше Іокаста, именемъ своихъ внутреннихъ страданій, закликаетъ его воздержаться отъ дальнѣйшей пытливости и не дѣлать еще ни одного шага впередъ. Эдипъ понимаетъ это какъ порывъ женскаго тщеславія; онъ смѣется надъ Іокастою, которая, по его мнѣнію, готова вѣнчать себя въ безчестіе, если бы открылось незнатное происхожденіе ея мужа. Но Іокаста какъ была, такъ и осталась чужда тщеславію; въ сердце ея закралось даже и не предчувствіе, а самое сознаніе того, о чемъ одна мысль едва не убила разсудка въ Эдипѣ. Какъ женщина, она можетъ-быть успѣла бы еще—для спокойствія своего мужа—подавить въ себѣ это мучительное сознаніе: только бы ей удалось оставить ея въ счастливомъ невѣдѣніи. Однако Эдипъ непреклоненъ, и она скрывается, унося сердце полное безысходнаго отчаянія, и какъ бы избѣгая гласнаго признанія того, что тяготитъ ее и безъ словъ.

Но Эдипъ съ нетерпѣніемъ ждетъ приближающагося стараго служителя Лаія, который долженъ сказать ему всю истину его происхожденія. Во что бы то ни стало, онъ хочетъ вырвать у него послѣднюю тайну, которою должны разрѣшиться всѣ сомнѣнія. Для Эдипа не дорога болѣе самая знаменитость рода: онъ легко пожертвуетъ ею, чтобы только утвердить въ себѣ возрождающееся чувство невинности; онъ охотно промѣняетъ ее на увѣренность, что обольщеніе кончилось, и что никто болѣе не въ правѣ будетъ упрекнуть его во лжи. Близка развязка: одно слово Форбаса (имя стараго служителя), и все дѣло разъяснится само собою. Посмотрите, съ какою самоувѣренностію приступаетъ Эдипъ къ допросу, какъ онъ твердъ и рѣшителенъ, когда Форбасъ, неизвѣстно почему, упрямится дать положительный отвѣтъ. Упрекнетъ ли кто его, что онъ такъ дорожитъ истиною, такъ усиленно добивается очистить свое имя отъ всѣхъ нареканій? Неизлишнимъ можетъ-быть и здѣсь былъ бы упрекъ въ неумѣстной самонадѣянности: но какъ понятна эта слабость въ человѣкѣ, котораго сознаніе не допускало ни одной тяжелой вины за собою. Форбасъ противится, упрямо хочетъ удержать за собою тайну, которая должна разрѣшить для Эдипа много сомнѣній — онъ, простой человѣкъ, упорствуетъ передъ властителемъ Оивъ въ

такомъ дѣлѣ, которое касается его чести, его добраго имени. Мудрено ли, что Эдипъ выходитъ изъ себя, встрѣчаясь съ противорѣчіемъ тамъ, гдѣ, казалось, всего менѣе можно было ожидать его? Еще незадолго передъ тѣмъ, онъ не пощадилъ за подобное упорство даже Тиресія, несмотря на его нѣкоторымъ образомъ священный характеръ: какого же снисхожденія въ правѣ ожидать отъ него Форбасъ, который ничего не можетъ привести въ извиненіе своего упорнаго молчанія и между тѣмъ, какъ если бы онъ былъ въ заговорѣ съ Тиресіемъ, также смѣетъ грозить какими-то бѣдствіями? Передъ такимъ бессмысленнымъ упорствомъ у Эдипа исчезаетъ жалость: онъ готовъ на жестокія мѣры, чтобы только вынудить признаніе, онъ выслушаетъ его, хотя бы оно было сказано съ горькими слезами на глазахъ. Подкрѣпляемое угрозою, твердое слово Эдипа производитъ свое дѣйствіе; языкъ упорнаго раба развязывается... Но съ первыхъ же словъ его, какъ они ни мало опредѣленны, тайный ужасъ снова проникаетъ въ душу Эдипа. Передъ нимъ открывается цѣлая пропасть отчаянія; онъ видитъ ее, онъ уже понялъ, чего надобно ожидать отъ слѣдующихъ отвѣтовъ Форбаса, и хотѣлъ бы больше не слышать ихъ... Еще въ его власти было бы остановить роковое признаніе: никѣмъ не понуждаемый, кромѣ внутренняго голоса, онъ однако рѣшаетъ, что долженъ выслушать все до конца. Такъ уже направлены послѣдніе вопросы Эдипа, что, отвѣчая на нихъ, старому служителю остается только подтверждать его мрачныя подозрѣнія. Эта часть сцены проведена художникомъ съ особеннымъ искусствомъ. Ничье имя не названо, но зритель не менѣе самого Эдипа хорошо понимаетъ, въ чемъ дѣло. Напрасно Эдипъ думалъ найти спасеніе для погибающаго чувства своею невинности въ низкомъ происхожденіи: дитя злосчастія, онъ не можетъ отвратить отъ себя руки судьбы, онъ узнаетъ въ себѣ сына Лаія. Отнынѣ все ясно ему, ясно и то, что правда была не на его сторонѣ, когда онъ возставалъ противъ своихъ обвинителей, какъ противъ злонамѣренныхъ клеветниковъ.

Внимательный свидѣтель всѣхъ этихъ сценъ, хоръ совершенно въ правѣ заключить, что земное счастье лишь пустой призракъ, и что никто изъ живущихъ не можетъ похвалиться его постоянствомъ. Но поэтъ не останавливается на общемъ нравственномъ изреченіи и простираетъ дѣйствіе далѣе. Для него недостаточно было обозначить художественными чертами переходъ отъ невозмущаемаго чувства невинности къ полному

сознанію виновности въ одномъ и томъ же лицѣ и со всѣми неизбежными перипетіями: онъ хочетъ еще показать дѣйствіе этого сознанія на нравственномъ субъектѣ. Какимъ бы путемъ оно ни пришло къ Эдипу, но оно уже въ немъ, и человеку надобно бы было переродиться, чтобы совершенно отрѣшиться отъ него. Иокаста, соучастница вины, тоже не ушла отъ подобнаго сознанія. Оба они, какъ нравственные существа, должны испытать на себѣ силу извѣстнаго закона. Въ какомъ же видѣ и въ какой степени отразится на каждомъ изъ нихъ дѣйствіе этой силы? Оба они удаляются со сцены съ разбитымъ сердцемъ, оба уносятъ съ собою полный раздоръ съ жизнью, съ самими собою, но не одинаковы тѣ явленія, которыми сопровождается въ нихъ этотъ нравственный кризисъ. Иокаста и здѣсь остается вѣрна себѣ, или тому типу, который изображенъ въ ней художникомъ: ея кроткая женская природа, не привыкшая къ сильнымъ потрясеніямъ, не выдерживаетъ внутренней бури, которая внезапно поднимается въ ней съ такою страшною силою; слабая духомъ, она не находитъ въ себѣ никакой крѣпкой опоры противъ своего отчаянія, и какъ тонкій сосудъ подъ несоразмѣрнымъ давленіемъ, разбивается въ прахъ подъ тяжестью гнетущихъ ее безотрадныхъ ощущеній. Иное сталося съ Эдипомъ. Для него наступившее испытаніе еще тяжеле: оно приходитъ къ нему сверхъ всякаго ожиданія и застаётъ его среди непоколебимаго убѣжденія въ правотѣ своей совѣсти; его мужескому сознанію еще яснѣе представляется весь ужасъ совершеннаго (хотя и невѣдомо) преступленія; душа его возмущалась даже при той мысли, что на нее можетъ пасть несправедливое подозрѣніе: что же должна почувствовать она теперь, когда въ ней явилось убѣжденіе въ своей собственной вопіющей несправедливости? И однако духъ Эдипа крѣпче самаго тяжелаго испытанія. Подъ тяжестью вины неотвратимой и ничѣмъ неизгладимой, разорвавъ связи со всѣми надеждами, даже съ самою мыслию о какомъ-либо счастіи, или хотя бы только покоѣ въ жизни, онъ сохраняетъ столько самообладанія, столько воли надъ самимъ собою, что переживаетъ смерть жены и остается жить одинъ, не имѣя даже отрады подѣлиться виновнымъ сознаніемъ съ единственною соучастницею своей вины: онъ оставляетъ себѣ эту жизнь въ очищеніе отъ прежней. Но живущая въ немъ Немесида требуетъ себѣ скорѣйшаго, немедленнаго удовлетворенія, и Эдипъ собственными руками лишаетъ себя дневнаго свѣта, какъ бы желая, чтобы та же ночь, которая объяла его

внутреннее существо, покрыла для него и самую природу. Чувство вины глубоко западаетъ въ нравственной натурѣ: ощутивъ его въ себѣ, она не успокоивается, пока не найдетъ ему противоядія въ сознаніи исполненнаго долга, хотя бы это сознаніе нужно было пріобрѣсти тяжелыми лишеніями.

По обычаямъ греческой сцены, кровавая развязка драматическаго дѣйствія могла произойти не иначе, какъ за сценою. Лишь черезъ вѣстника знаетъ зритель о томъ, что сталося съ Эдипомъ и Іокастою послѣ того, какъ оба они сознали свое преступленіе. Но художникъ не довольствуется однимъ только извѣщеніемъ объ участи, постигшей виновнаго Эдипа. Нравственныя перемѣны, совершающіяся въ самой душѣ дѣйствующаго лица, для него гораздо важнѣе, чѣмъ всѣ превращенія во внѣшнемъ его положеніи. Онъ хочетъ, чтобы зритель, знавшій Эдипа въ состояніи невинности, видѣлъ его и въ состояніи моральнаго паденія, которое слѣдуетъ за сознаннымъ преступленіемъ. Эдипъ снова выходитъ на сцену,нося на своемъ лицѣ слѣды жестокаго, хотя и добровольнаго, лишенія, и издавая жалостныя вопли. Какой странный переворотъ совершился въ немъ съ того времени, какъ онъ узналъ въ себѣ преступника, по винѣ котораго боги послали тяжкую казнь на Оивы! Съ трудомъ можно узнать въ немъ прежняго Эдипа, не имѣвшаго другой заботы, кромѣ желанія облегчить страданія своего народа. Не осталось и слѣдовъ той гордой самоувѣренности, съ которою онъ прежде приступалъ къ изслѣдованію всѣхъ своихъ отношеній и отражалъ, какъ вопіющую несправедливость, всякое покушеніе на свое доброе имя. Каждое душевное движеніе въ Эдипѣ проникнуто чувствомъ его неизгладимой виновности; каждая мысль его есть внутренній вопль и страданіе. Бремя, которое онъ несетъ на душѣ своей, такъ велико, что никакое состраданіе не въ силахъ облегчить его. Недавно еще въ этой душѣ вмѣщалось столько добрыхъ заботъ объ участи цѣлаго народа: теперь же въ ней есть мѣсто только горькому убѣжденію, что для него самого не существуетъ никакая посторонняя помощь. Никогда до Софокла древняя драма не изображала въ такихъ поразительныхъ чертахъ дѣйствія живущей въ человѣкѣ внутренней силы, которая проявляется въ его нравственномъ сознаніи. Замѣчательно также, что дѣйствіе этой силы есть не только отрицательное, но и положительное. Исчезла гордая самонадѣянность Эдипа, и на мѣсто ея явилась удивительная покорность, очевидно условленная лишь внутреннимъ состояніемъ его духа, безъ всякихъ

виѣшнихъ понужденій. Нѣтъ больше помина о власти, какъ если бы Эдипъ уже пересталъ быть царемъ. Кротко, не прекослова, принимаетъ онъ легкіе упреки соболѣзнующаго ему народа. Чувство величія и личнаго достоинства погибли не-возвратно въ сознаніи виновности, но Эдипъ сталъ еще ближе къ оивянамъ, какъ человѣкъ, и они тѣснятся около него, привлеченные самыми его несчастіями. Новому духовному состоянію, въ которомъ находится Эдипъ, предстоитъ еще одно и послѣднее испытаніе: онъ встрѣчается лицомъ къ лицу съ Креонтомъ. Болѣе, чѣмъ кто-нибудь, Креонтъ въ правѣ сказать ему много самой горькой правды; ничье появленіе не могло бы возбудить въ немъ болѣе непріятныхъ ощущеній для самолюбія. Съ тяжелымъ чувствомъ слышитъ Эдипъ его приближеніе, но въ самомъ этомъ чувствѣ есть уже вѣрный задатокъ того, что самообольщенію нѣтъ больше мѣста. Въ Креонтѣ живетъ правдивое сердце: онъ не привыкъ ругаться надъ несчастіемъ; самъ свободный отъ упрековъ совѣсти, онъ не хочетъ отяготить и совѣсти другого ненужнымъ болѣе обличеніемъ. При миролюбивыхъ словахъ Креонта, Эдипъ начинаетъ дышать спокойнѣе; онъ не старается оправдать себя въ глазахъ человѣка, въ которомъ такъ несправедливо думалъ найти себѣ опаснаго совмѣстника, но во всѣхъ словахъ своихъ даетъ чувствовать, что считаетъ позднее оправданіе столько же излишнимъ, какъ и позднее обличеніе. Довольно, что онъ самъ напоминаетъ объ изгнаніи, какъ о неизмѣнной участи, ожидающей его по приговору оракула. Но здѣсь Креонтъ останавливаетъ его, находя, что онъ еще недостаточно научился покорять себя волѣ боговъ. По его мнѣнію, Эдипъ, хотя уже и обреченный судьбѣ, не въ правѣ распоряжаться своею участію не посовѣтовавшись снова съ оракуломъ. Въ этой глубокой и ненарушимой преданности волѣ боговъ — залогъ спокойствія и счастья Креонта и выгодное отличіе его отъ Эдипа, который слишкомъ привыкъ полагаться на самого себя. Однако и Эдипъ наконецъ вразумленъ своимъ несчастіемъ и болѣе не противорѣчитъ Креонту: онъ какъ бы отрекается отъ самого себя, говоря, что будетъ терпѣть, что бы ни назначила ему судьба. Но тогда вся нѣжная его заботливость тѣмъ съ большею силою обращается на тѣхъ, которые особенно дороги его любящему сердцу: ничего не требуя, онъ лишь умоляетъ Креонта отдать послѣдній долгъ Іокастѣ, если не ради ея самой, то хотя изъ уваженія къ тому роду, которому она принадлежала. Затѣмъ раскрывается и другая глубокая рана Эдипа: какъ

ни велики его собственныя страданія, но онъ не можетъ безъ тяжелаго чувства подумать о своихъ дочеряхъ; до сихъ поръ онъ, беспомощный, не разлучался съ своимъ отцомъ, дѣлили съ нимъ всякую радость: за нихъ послѣднія горячія просьбы его Креонту, чтобы онъ не оставилъ ихъ безъ защиты и покровительства. Такъ неизмѣнно сердце Эдипа: въ счастіи или несчастіи, онъ одинаково любитъ тѣхъ, которые близки ему. Если зритель и имѣлъ что на душѣ противъ Эдипа, то мирится съ нимъ въ эти прекрасныя минуты. Онъ видитъ въ немъ человѣка, вовсе не чуждаго человѣческихъ слабостей, но въ которомъ добро, или точнѣе доброжелательность, переживаетъ всѣ внутреннія перемѣны и даже самыя тяжелыя испытанія. Послѣдняя сцена, въ которой Эдипъ прощается съ своими дочерьми, располагаетъ въ его пользу даже самаго равнодушнаго зрителя. Кто бы не тронулся, видя отца, который, въ послѣдній разъ обнимая своихъ дѣтей, не можетъ посулить имъ никакого счастія въ жизни, не можетъ даже оставить имъ въ наслѣдство своего добраго имени! Но Эдипъ болѣе не свободенъ даже въ сердечныхъ изліяніяхъ: строгое слово Креонта полагаетъ имъ скорый конецъ, и несчастный царь, не по добровольному побужденію, но по волѣ того же неумолимаго блюстителя правды, долженъ немедленно удалиться во внутренность дома, и тамъ, въ уединеніи отъ всѣхъ, ожидать себя послѣдняго рѣшенія. Уходя, онъ выражаетъ лишь одно желаніе—чтобы дочери его также могли послѣдовать за нимъ въ изгнаніе; но Креонтъ провожаетъ его совѣтомъ — воздержаться даже отъ самыхъ желаній, ибо не въ нихъ заключено счастіе человѣка.

Неотступный свидѣтель всѣхъ превратностей, испытанныхъ Эдипомъ отъ перваго появленія его на сценѣ и до конца, хоръ, съ свойственною ему наблюдательностію и практическимъ взглядомъ на жизнь, дѣлаетъ отсюда для себя общій выводъ, что ни одинъ смертный, кто бы впрочемъ онъ ни былъ, не можетъ похвалиться постоянствомъ счастія, пока не достигнетъ мирно послѣдняго предѣла жизни. Отъ этого простого и естественнаго заключенія, въ которомъ такъ ясно сказалось одно изъ твердыхъ убѣжденій древняго религіознаго человѣка, конечно не прочь будетъ и мысль новаго наблюдателя. Но общій нравственный выводъ еще не исчерпываетъ всего впечатлѣнія, которое постепенно слагается въ душѣ каждаго зрителя изъ всѣхъ подробностей, составляющихъ послѣдовательное развитіе трагическаго дѣйствія. Это впечатлѣніе не мо-

жетъ быть не тяжело и грустно въ самой сильной степени: ибо въ глазахъ зрителя совершается цѣлая судьба человѣка, разбиваются его надежды, неозвратно погибаетъ все счастье жизни. Последняя катастрофа не оставляетъ ничего надѣяться для Эдипа даже отъ всеисцѣляющаго времени: лишивъ себя самаго чувствительнаго органа для сообщенія съ внѣшней природою, онъ осудилъ себя на вѣчную ночь, на безысходное пребываніе въ чувствѣ своей виновности. Что можетъ быть безотраднѣе въ судьбѣ человѣка, неутѣшительнѣе для всѣхъ, принимающихъ въ немъ живое участіе? Но сожалѣніе съ которымъ зритель провожаетъ несчастнаго слѣпца, когда онъ въ послѣдній разъ уходитъ со сцены, свидѣтельствуетъ болѣе всего о великости той симпатіи, которую онъ питаетъ къ нему. Что же ему такъ дорого въ Эдипѣ, что онъ не перестаетъ сочувствовать въ немъ даже преступнику? Дорогъ, во-первыхъ, тотъ истинно человѣчный характеръ, съ собственными ему какъ достоинствами, такъ и слабостями, который Эдипъ сохраняетъ отъ начала до конца дѣйствія: если въ счастья онъ и забывается до излишней самонадѣянности, то въ случаѣ паденія никто болѣе его не тяготится внутреннимъ признаніемъ своей виновности; дорога потому эта ничѣмъ неизгладимая сила нравственнаго чувства, живущаго въ Эдипѣ, которое заставляетъ его подвергнуться добровольной экспіаціи въ видѣ ужаснаго лишенія, и однако не позволяетъ ему положить руки на самого себя; дорого наконецъ любящее сердце Эдипа, всегда согрѣтое жаромъ истиннаго участія къ другимъ, неизмѣнное въ несчастіи, какъ и въ счастьи. Если нельзя освободиться отъ тяжелаго впечатлѣнія при видѣ безысходныхъ страданій Эдипа, то въ мысли о твердой нравственной основѣ въ его характерѣ, которой не могутъ стереть никакія превратности, есть много успокоивающаго и даже возвышающаго душу зрителя, равнодушнаго къ судьбамъ человѣчества.

Возвращаясь еще разъ къ нашей первоначальной мысли, мы не можемъ не повторить послѣ всего сказаннаго, что главное содержаніе трагедіи составляютъ явленія внутренняго человѣческаго міра, что дѣйствіе происходитъ преимущественно на психологической основѣ, и что герой трагедіи занимаетъ насъ всего болѣе какъ нравственное лицо, подверженное различнымъ своеобразнымъ перемѣнамъ. Отсюда художническому гению открывался уже свободный взглядъ и на многія другія стороны внутренней жизни человѣка, какъ на матеріалъ для

творчества. Авторъ Эдипа съ свойственнымъ ему искусствомъ воспользовался этимъ матеріаломъ и въ другихъ своихъ произведеніяхъ,—и мы можемъ прибавить, что надѣемся со временемъ читать ихъ также въ русскомъ переводѣ.

Бельведеръ.*

(Изъ путевыхъ записокъ русскаго).

Пріятною нечаянностію было для насъ знакомство съ вѣнскимъ Бельведеромъ. Мы знали о немъ прежде не по слуху только, но и по отзывамъ нѣкоторыхъ знатоковъ, и не общали себѣ много наслажденія. Тѣмъ пріятнѣе было обмануться. Причина, почему вѣнскій Бельведеръ не пользуется громкою извѣстностію наравнѣ съ другими богатыми галереями, лежитъ не въ немъ самомъ: войти въ славу мѣшаетъ Бельведеру опасное совмѣстничество двухъ другихъ галлерей, давно уже признанныхъ за первостепенныя въ Германіи, такъ что знаменитость ихъ, впрочемъ совершенно заслуженная, обратилась наконецъ въ нѣкотораго рода общее мѣсто. На картѣ, гдѣ стоитъ «Дрезденъ», почти можно читать «Сикстинская Мадонна», «Ночь Корреджіо»; говоря о Мюнхенѣ, ни одна географія не забываетъ назвать Пинакотеки, а въ Пинакотекахъ есть также своя звѣзда первой величины, которою справедливо гордится собраніе: это «Страшный судъ» Рубенса. Бельведеръ не имѣетъ счастья заключать въ своихъ стѣнахъ хотя одно изъ тѣхъ произведеній, которыми вѣнчается слава величайшихъ художниковъ въ мірѣ; Бельведеръ ничего не можетъ противопоставить ни «Мадоннѣ» Рафаэля, ни «Ночи» Корреджіо. Но за то, если сойти одною только ступенью ниже, если хотятъ лишь прямого наслажденія искусствомъ, безъ спроса у молвы, на какомъ градусѣ высоты должно стоять то или другое произведеніе въ общемъ мнѣніи,—Бельведеръ можетъ удовлетворить самый взыскательный вкусъ и доста-

* Напечатано въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1846 г.

вить много наслажденія даже тѣмъ, въ воображеніи которыхъ еще живо напечатлѣны свѣтлые образы, составляющіе лучшее украшеніе Дрезденской галлерей. И даже еще болѣе: есть другія великія имена въ области искусства, которыя оцѣнить вполне нѣтъ можетъ-быть лучшаго средства, какъ ознакомившись съ ними въ стѣнахъ Бельведера. По крайней мѣрѣ я много обязанъ ему въ этомъ отношеніи.

Зданіе Бельведера, по первоначальному плану, конечно не имѣло назначенія быть храмомъ искусства. Собственно Бельведеромъ называется одинъ изъ императорскихъ дворцовъ, поставленный на небольшомъ возвышеніи въ одномъ изъ городскихъ форштадтовъ. Потому внутреннее расположеніе зданія не представляетъ всѣхъ удобствъ для того, чтобъ картинамъ могло быть дано равное освѣщеніе: недостатокъ довольно ощутительный, который мало вознаграждается превосходнымъ помѣщеніемъ собранія—въ богатыхъ и высокихъ залахъ со многими приличными украшеніями. Другая довольно важная и можетъ-быть также не всегда выгодная особенность вѣнскаго собранія состоитъ въ томъ, что почти всѣ картины въ немъ содержатся въ новомъ видѣ. Въ какой именно мѣрѣ произведено здѣсь возобновленіе, я не могу рѣшить; но уже съ перваго взгляда на картины несовсѣмъ пріятно поражаетъ васъ этотъ новый лоскъ, которымъ какъ будто хотѣли польстить взору наблюдателя, скрывая отъ него почтенные слѣды, оставленные на картинѣ временемъ. Но, не говоря уже о непріятномъ впечатлѣніи, эти румяна имѣютъ еще то невыгодное свойство, что иногда въ самомъ дѣлѣ могутъ ввести въ заблужденіе на счетъ настоящаго колорита произведенія. Не даромъ ни Дрезденская галлерей, ни Пинакотека не прибѣгаютъ къ подобнымъ фальшивымъ средствамъ, хотя, безъ сомнѣнія, дорожатъ своимъ богатствомъ не менѣе вѣнскаго собранія. Впрочемъ есть вкусы, которымъ это особенно и нравилось въ Бельведерѣ, а на всѣхъ угодить нельзя.

Бельведеръ упрекаютъ еще въ томъ, что онъ не умѣлъ должнымъ образомъ распорядиться своимъ богатствомъ, перемѣшалъ разныя школы и произвольно поставилъ на видъ одинъ предпочтительно передъ другими. Такой упрекъ кажется мнѣ довольно поверхностнымъ. Правда, въ Бельведерѣ не соблюдены строго отличія одной школы отъ другой, и порядокъ хронологическій нарушается часто; но этотъ мнимый беспорядокъ произошелъ совсѣмъ не отъ произвола и оправдывается мыслью, которою очевидно руководились распорядители, и которой не

хотятъ замѣчать ревнители строгаго хронологическаго порядка. Задача, очевидно, состояла не въ томъ, чтобы показать постепенные переходы отъ одной школы къ другой — для чего, должно признаться, Вельведеръ и не имѣлъ бы достаточныхъ средствъ; но въ томъ, чтобы, избравъ изъ множества лучшія и самыя цѣнныя страницы, поставить ихъ на первомъ планѣ и отгѣнить ихъ образчиками другихъ школъ, или близко подходящими къ нимъ по стилю, или составляющими къ нимъ яркій контрастъ. Такимъ образомъ, въ одной комнатѣ съ Рафаэлемъ находите не только Перуджино, Джуліо Романо, Сассоферрато и Рафаэля Менгса, но и обоихъ Караваджіо. Съ тою же мыслію нѣкоторыя произведенія даже лучшихъ школъ, но не довольно характеристическія, отдалены отъ прочихъ и составили особое отдѣленіе, которое помѣщается въ нижнемъ этажѣ (Erdgeschoss). Здѣсь можно встрѣтить имена не только Падованино, Бассано, Пальмы, Вазари, но и Тинторетто, Веронеза и даже самого Тиціана; однако тѣ, которые сходятъ въ это отдѣленіе, познакомившись съ первымъ, соглашаются, что распорядители галлерей были несовсѣмъ неправы, когда они, имѣя въ виду преимущественно качество произведеній, рѣшились такимъ образомъ раздѣлить ихъ какъ бы на два разряда. Вообще, должно замѣтить о расположеніи вѣнской галлерей, что оно болѣе приспособлено для эстетическаго наслажденія посѣтителей, нежели для историческаго изученія искусства въ разныхъ его моментахъ. Однако въ главномъ раздѣленіи и Вельведеръ не отступаетъ отъ общепринятаго порядка, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ проводитъ его даже съ большею выдержанностью, нежели другія знаменитыя собранія въ Германіи—чему отчасти способствуетъ въ Вельведерѣ расположеніе самаго зданія. Такъ, вся старая нѣмецкая школа и начатки фламандской, составляющія сами по себѣ весьма обширное собраніе, совершенно отдѣлены въ немъ отъ прочихъ и помѣщаются особо въ верхнемъ этажѣ, занимая здѣсь четыре залы; остальные залы того же отдѣленія заняты избранными произведеніями новой нѣмецкой школы. Такимъ образомъ въ бельэтажѣ почти исключительно сосредоточиваются лучшіе памятники живописи, имѣющіе положительное эстетическое достоинство, безъ отношенія къ исторіи искусства. Само собою разумѣется—хотя этого нельзя сказать не только о Дрезденской галлерей но даже и о Пинакотекѣ—что здѣсь опять встрѣчаетъ насъ раздѣленіе на двѣ главныя отрасли, итальянскую и нидерландскую, которыя идутъ совершенно особо одна

отъ другой, по двумъ разнымъ направленіямъ отъ главнаго входа. Что же касается до испанской и французской школъ, то по самой простой причинѣ, т. е. незначительному количеству матеріала, онѣ не могли составить въ Бельведерѣ особаго отдѣленія, и потому вошли въ составъ отдѣленія итальянской живописи.

Слѣдуя мысли распорядителей галлерей и порядку собственныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ мною изъ Бельведера, я начну свой обзоръ съ того отдѣленія, которое, по моему мнѣнію, наиболѣе можетъ гордиться своимъ богатствомъ, или — что впрочемъ есть прямое слѣдствіе перваго — доставляетъ наблюдателю наиболѣе наслажденія. Такимъ отдѣленіемъ я считаю въ Бельведерѣ отдѣленіе итальянское, — вопреки Віардо, который, между другими, вообще нѣсколько поспѣшно составленными приговорами о вѣнской галлерей, произноситъ и тотъ, будто итальянское отдѣленіе въ немъ, конечно не по числу произведеній, а по ихъ достоинству, значительно слабѣе фламандскаго. Правда, многія страницы Рубенса, которыми владѣетъ Бельведеръ, великолѣпны; съ другой стороны, правда и то, что Корреджіо, Винчи, частью самъ Рафаэль представлены въ Бельведерѣ весьма недостаточно; но когда дѣло идетъ о Рафаэлѣ и Корреджіо, можно спросить, какое изъ нѣмецкихъ собраній, кромѣ дрезденскаго, которое имѣетъ рѣдкое счастье заключать въ своихъ стѣнахъ два величайшія произведенія величайшихъ художниковъ Италіи, не говоря уже о «Мадоннѣ» Гольбейна, — какое изъ нѣмецкихъ собраній можетъ еще похвалиться, что Корреджіо и Рафаэль представлены въ немъ совершенно удовлетворительно? Пинакотекка владѣетъ нѣсколькими произведеніями Корреджіо, но они не представляютъ собою разныхъ эпохъ его дѣятельности; относительно же Рафаэля, Бельведеръ развѣ немного уступитъ Пинакотекѣ. О Винчи почти не можетъ быть и слова: произведенія этого художника такъ рѣдки, что даже Дрезденской галлерей вовсе не достаетъ его имени. Въ Бельведерѣ впрочемъ есть одна картина, которая носитъ на себѣ имя Леонардо да-Винчи, хотя подлинность ея нѣкоторыми и подвергается сомнѣнію ¹⁾. За то есть другія имена, и имена первоклассныхъ художниковъ, которыхъ, если ограничиться пре-

¹⁾ Петербургъ въ этомъ отношеніи счастливѣе и Дрездена, и Вѣны, и Мюнхена. Изображеніе «Спасителя», находящееся въ Эрмитажѣ, есть одно изъ тѣхъ высокихъ произведеній, которому равнаго этой же кисти не представляеть ни одна знаменитая галлерей въ Германіи.

дѣлами Германіи, нельзя узнать лучше, полнѣе, вообще выгоднѣе, какъ въ Бельведерѣ. Въ особенности это относится къ благороднѣйшимъ представителямъ венеціанской школы, каковы Тиціанъ и Павелъ Веронскій (Веронезъ), произведеніями которыхъ, съ небольшимъ числомъ другихъ, принадлежавшихъ къ этой же школѣ, заняты въ Бельведерѣ двѣ большія залы. И должно замѣтить, что здѣсь помѣщаются только избранныя ихъ произведенія: тѣ, которыя слабѣе другихъ, какъ я замѣтилъ выше, перенесены въ особое отдѣленіе. Такого богатства—судя не по количеству только, но и по качеству произведеній—не представляетъ ни одна изъ извѣстныхъ картинныхъ галлерей, находящихся въ Германіи. Дрезденская считаетъ у себя нѣсколько обширныхъ произведеній Веронеза; но тѣ, которымъ бы привелось почему-нибудь познакомиться съ нимъ прежде въ Бельведерѣ, не вдругъ узнали бы его въ Дрезденѣ. Гораздо скорѣе могла бы гордиться Дрезденская галлерей Тиціаномъ, хотя бы даже отъ него она не имѣла ничего болѣе, кромѣ «Il Christo della moneta»—безспорно, одного изъ глубочайшихъ произведеній этого художника; но Бельведеръ также имѣетъ отъ Тиціана нѣсколько образцовыхъ произведеній и сверхъ того представляетъ его гораздо разнообразнѣе и полнѣе. Есть и еще нѣкоторыя весьма замѣчательныя имена въ области искусства, о которыхъ также Бельведеръ даетъ наилучшее понятіе; но о нихъ послѣ. Я хотѣлъ только сказать, что Віардо совсѣмъ не правъ, отдавая предпочтеніе отдѣленію нидерландской живописи передъ итальянскимъ.

Это послѣднее отдѣленіе Бельведера не даромъ открывается Веронезомъ. Не говоря уже о томъ, что къ Тиціану не можетъ быть лучшаго преддверія—Веронезъ, какъ онъ есть въ Бельведерѣ, самъ по себѣ можетъ не только возбудить, но и надолго приковать къ себѣ вниманіе наблюдателя. Это одинъ изъ тѣхъ самостоятельныхъ художниковъ, которые, удерживая за собою общій характеръ своей школы, умѣютъ въ то же время быть отъ нея независимыми, и оставаясь въ предѣлахъ своей школы, имѣютъ силы создавать свои типы, образовывать свой колоритъ. Въ Веронезѣ не трудно узнавать Тиціана, но скорѣе и болѣе всего видишь въ немъ самого Веронеза. Въ произведеніяхъ его можно отличить два особые стиля: одинъ—немного суровый, отличающійся болѣе ровнымъ тономъ красокъ, непрозрачнымъ, почти темнымъ колоритомъ, отнимающимъ даже у самыхъ фигуръ много выразительности;

ругой—болѣе яркій, болѣе живой, особенно замѣчательный грою красокъ, глубоко энергическимъ колоритомъ, хотя на блонъ произведеніи лежитъ всегда тотъ же суровый оттѣокъ. Произведенія перваго разряда можно видѣть особенно въ Дрезденской галлерей; въ Бельведерѣ же наибольшая часть принадлежитъ ко второму ряду, что и составляетъ одно изъ важныхъ преимуществъ этого собранія. И должно признаться, умѣренное возобновленіе пришлось здѣсь очень кстати: виситъ ли это отъ особаго свойства красокъ, или отъ другой причины, но Веронезъ отъ времени дѣйствительно становится слишкомъ мрачнымъ; легкая реставрація возстановляетъ энергію его колорита. Въ залѣ, въ которую мы вошли, ходится двѣнадцать произведеній его кисти; изъ нихъ я лично въ особенности четыре, какъ тѣ, въ которыхъ всего ярѣе можно узнать и оцѣнить достоинство Веронеза. Во-первыхъ. «Благовѣщеніе», картина большого размѣра; рисунокъ чрезвычайно простъ и благороденъ: на первомъ планѣ Марія, и передъ нею свѣтоносный ангелъ съ вѣстію радости; надъ ними, на меньшихъ фигурахъ, группа другихъ ангеловъ; фонъ затѣнъ окончаніемъ портика; сквозь колоннаду видно радужное небо—превосходное сліяніе свѣта зари съ болѣе яркимъ блескомъ отъ свѣтоноснаго вѣстника. Гармонія колорита, которую сила умѣряется теплотою, еще болѣе возвышаетъ достоинство фигуръ. Болѣе сложности въ композиціи представляетъ «Поклоненіе волхвовъ», картина почти равнаго размѣра, но въ которой соединяется одиннадцать фигуръ; художникъ впрямъ съ искусствомъ умѣлъ сохранить единство въ этой сложной картинѣ, поставивъ на первый планъ благородную фигуру царшаго изъ волхвовъ, котораго голова принадлежитъ къ лучшимъ типамъ Веронеза. Колоритъ менѣе яркій, но совершеннѣе выдержанный. Живою игрою красокъ весьма замѣчательна картина «Христосъ, бесѣдующій съ самаритянкою». Въ ней только двѣ фигуры: на лѣвой сторонѣ Христосъ въ спокойномъ сидячемъ положеніи; на правой, нѣсколько нагнувшись надъ колодеземъ, самаритянка съ сосудомъ въ рукѣ. Въ движеніи послѣдней фигуры много наивной граціи: чтобъ болѣе выставить ее на видъ, художникъ, кажется, съ намѣреніемъ устилъ тѣни около первой фигуры; переливы цвѣтовъ на платьѣ самаритянки исполнены съ тѣмъ удивительнымъ искусствомъ, въ которомъ у Веронеза не было соперниковъ. Въ совершенный pendant къ этой картинѣ, по колориту и частью по расположенію фигуръ, можетъ итти другая равнаго размѣра:

«Блудница передъ Христомъ»; она приведена къ нему фарисеями, которые остаются позади въ ожиданіи отвѣта. Сверхъ того, можно еще отличить изъ произведеній Веронеза «Юдѣя» съ торжественнымъ выраженіемъ въ лицѣ и головою Олоферна въ рукахъ, и «Марію на тронѣ», съ колѣноприклоненными передъ нею св. Екатериною и св. Варварою, которыя приводятъ къ ней двухъ инокинь. Въ той же самой залѣ весьма кстати помѣщенъ и произведеніе Тинторетто (*Giacomò Robusti*), также одного изъ главныхъ представителей венеціанской школы и соученика Веронеза. Сосѣдство Тинторетто съ Веронезомъ гораздо выгоднѣе для послѣдняго. Тогда какъ Веронезъ, принявъ одинъ и тотъ же колоритъ отъ общаго ихъ учителя, искусно просвѣтливъ его живою игрою красокъ, Тинторетто взялъ противоположное направленіе и сгустилъ въ своихъ произведеніяхъ тѣни, не придавъ новой энергіи свѣту. Оттого его картины кажутся мрачными въ сравненіи съ картинами Веронеза. Весьма важное преимущество перваго составляетъ также болѣе свободная фантазія, которая, естественно, должна была выразиться въ большей самостоятельности самыхъ композицій, тогда какъ дѣятельность Тинторетто, по недостатку того же начала, преимущественно была обращена на портретную живопись. Произведенія въ этомъ родѣ принадлежатъ можетъ-быть къ замѣчательнѣйшимъ произведеніямъ его кисти. Бельведеръ соединяетъ только въ одной залѣ—четырнадцать портретовъ кисти Тинторетто (не знаю, почему Віардо насчитываетъ только восемь). Не всѣ они одинаковаго достоинства; но есть нѣкоторые, отдѣланные художникомъ съ особенною любовью. По выразительности и наибольшей оконченности, первое мѣсто между ними занимаютъ два портрета, изображающіе стариковъ, сидящихъ въ креслахъ; передъ однимъ изъ нихъ—фигура мальчика, вѣроятно, также портретъ. Затѣмъ слѣдуетъ два раза повторенный портретъ дожа Николо да Понте, и портреты нѣкоторыхъ знатныхъ венеціанъ. Но всего чаще, кажется, приходилось Тинторетто упражнять свое искусство надъ почтенными фигурами прокураторовъ св. Марка: Бельведеръ также имѣетъ одинъ изъ такихъ портретовъ, хотя не отличающійся особенною экспрессіею. Изъ собственныхъ композицій Тинторетто, находящихся въ Бельведерѣ, замѣчательнѣйшая есть, безъ сомнѣнія, «Несеніе креста», картина, исполненная движенія; но фигуры ея, написанныя въ миниатюрѣ, кажутся слишкомъ жестки. «Св. Іеронимъ въ пещерѣ», въ чувствѣ глубокаго самоуничиженія прижимающій къ груди

распятіе, обращаетъ вниманіе по рисунку, но въ краскахъ замѣтенъ недостатокъ энергіи.

Но поспѣшимъ во вторую залу, чтобъ познакомиться съ учителемъ Веронеза и Тинторетто—Тиціаномъ Вечелліо. Присутствіе Тиціана въ этой залѣ не только видится, но какъ бы чувствуется. Бельведеру удивительно посчастливилось на Тиціана: сюда попали не отрывки только его многолѣтней художнической дѣятельности, но цѣлый рядъ произведеній, по которымъ можно прочесть почти всю исторію его разнообразныхъ направленій, полюбить его сильный и широкій талантъ и научиться уважать въ немъ одного изъ величайшихъ представителей не только венеціанской школы, но и искусства цѣлой Италіи. То, что въ искусствѣ Тиціана составляетъ главный мотивъ и существенное отличіе отъ предшествовавшихъ ему направленій, и что вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ его особенно близкимъ къ намъ, это его совершенно художественный натурализмъ, который онъ такъ удачно умѣлъ соединить съ господствовавшимъ до него чисто идеальнымъ направленіемъ искусства. Наибольшая часть дѣятельности Тиціана принадлежитъ уже времени послѣ смерти Винчи и Рафаэля: въ искусство, которое въ лицѣ его совершало свое дальнѣйшее движеніе, естественно должно было проникнуть всюду распространеннавшееся реалистическое направленіе вѣка: Тиціанъ принялъ и совершенно усвоилъ его своей кисти, но не ограничился имъ однимъ, то-есть не сдѣлался фламандцемъ. Прежній идеализмъ не былъ имъ рѣшительно отвергнутъ,—онъ былъ только побѣжденъ въ своей односторонней исключительности и перешелъ въ искусство Тиціана какъ элементъ, ограниченный и проникнутый новымъ направленіемъ, болѣе соотвѣтствовавшимъ потребностямъ времени. Эта особенность новаго направленія, даннаго Тиціаномъ искусству, всего ярче выражается въ знаменитомъ его «Il Cristo della moneta». Въ немъ конечно нѣтъ той безпредѣльной внутренней глубины изображеній Леонардо да-Винчи, которая своею же силою отрываетъ вашу фантазію отъ образа и уноситъ ее въ эфирную область идеала; нѣтъ въ немъ и божественной кротости изображеній Рафаэля, на которыхъ земныя очи смотрятъ какъ на свѣтлыя видѣнія небесныя: за то нѣтъ въ немъ и рѣшительнаго раздѣленія между внутреннимъ и вѣшнимъ, между натурою и идеаломъ; наоборотъ, вліяніе обоихъ элементовъ въ одномъ образѣ есть высшій идеалъ для Тиціана. Въ картинѣ, о которой я упомянулъ, лицо Спасителя столько же кротко, сколько строго, столько же испол-

нено величія, сколько и простоты; мудрость и воля выше обыкновенныхъ изображаются въ чертахъ его лица, дышащихъ глубокимъ внутреннимъ миромъ; но въ то же время вы находите, что эти черты нисколько не ниже своего идеала, что эти человѣческія формы вполне достойны носить божественное, что божественное въ нихъ есть столько же человѣческое, сколько человѣческое божественно. Бельведеръ собственно не имѣетъ ничего противопоставить этой превосходной картинѣ; впрочемъ въ немъ есть другое изображеніе Спасителя, которое очень живо напоминаетъ о дрезденскомъ «Il Christo della moneta». Художникъ удержалъ здѣсь любимый свой типъ, но исключилъ фигуру испытующаго фарисея, отчего это изображеніе, въ сравненіи съ первымъ, много теряетъ въ своей выразительности. Исполненное значенія движеніе глазъ Спасителя, обращенныхъ на фарисея, въ первой картинѣ—замѣнено здѣсь прямымъ взглядомъ, хотя безъ особеннаго величія. По мнѣнію знатоковъ, между произведеніями Тиціана, находящимися въ Бельведерѣ, самое почетное мѣсто принадлежитъ картинѣ, которая носитъ названіе «Ессе homo». Содержаніе ея составляетъ та минута изъ исторіи страданій Христа, когда Пилатъ выводитъ его къ народу. Но достоинство этой картины состоитъ въ колоритѣ; въ композиціи же художникъ слишкомъ увлекся реалистическимъ направленіемъ, такъ что въ образѣ Пилата, по какому-то странному капризу, изобразилъ друга своего Аретино. а между главными фигурами, которыя должны представлять народъ, далъ мѣсто себѣ и своимъ знаменитымъ современникамъ: Карлу V и Солейману. Отъ этого картина много потеряла въ единствѣ; въ ней явился второстепенный интересъ, заслонившій собою первый, который, по идеѣ произведенія, долженъ бы оставаться въ немъ единственнымъ. Въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, много выше картина, изображающая «Блудницу передъ Спасителемъ». Здѣсь художникъ былъ вѣрнѣе своей мысли и не хотѣлъ развлекать вниманія другихъ интересами второстепенными, чуждыми главнаго предмета. На картинѣ даже ничего болѣе нѣтъ, кромѣ поясныхъ фигуръ, составляющихъ какъ бы одну группу. Главная изъ нихъ—фигура Христа, предъ лицомъ фарисеевъ изрекающаго свой кроткій приговоръ грѣшницѣ. Очертаніе лица его мало отступаетъ отъ обыкновеннаго тиціановскаго типа; но въ глазахъ и по всему лицу разлита какая-то особенная мягкость. Впрочемъ колоритъ всей картины отличается необыкновенною мягкостью и почти совершеннымъ отсутствіемъ яркихъ цвѣ-

отчасти по этой причинѣ картина такъ мало привлекаетъ къ вниманію. Для сравненія здѣсь же помѣщена другая, изображающая тотъ же самый предметъ: она принадлежитъ позднѣйшему художнику той же школы, не лишена достоинствъ и даже, повидимому, выигрываетъ предъ овскою живостью колорита, но въ сущности она не вызываетъ съ нею никакого сравненія. Изъ остальныхъ кар-религіознаго содержанія, носящихъ имя Тиціана, должно выделить въ особенности двѣ: «Положеніе во гробъ», хотя въ ностяхъ ея и нѣтъ особеннаго достоинства, и ту изъ картинъ, изображающихъ Св. Семейство, въ которой Богоматерью находятся еще фигуры святыхъ Іеронима, а и Георга. Особенно замѣчательна своею выразитель-голова св. Іеронима.

о Тиціанъ не весь еще въ своихъ религіозныхъ изобра-тъ: чтобъ знать Тиціана, какъ художника, вполне, на-видѣть тѣ его произведенія, въ которыхъ онъ старался шать забытые идеалы міра древняго, классическаго. Тиціанъ опять является однимъ изъ величайшихъ ху-ковъ новаго міра. Задача была вдвойнѣ трудная: надобно имѣть чрезвычайно живую фантазію, чтобъ возратить изни давно отжившее, потому что изящнѣйшія формы древнихъ идеаловъ даны уже были древнимъ искусствомъ. у художнику нѣкоторымъ образомъ приходилось всту-тъ состязаніе съ оконченными произведеніями пластики. вѣкъ, иные интересы, иное направленіе жизни и, слѣ-льно, самого искусства: побѣда была болѣе, нежели со-льною. Тиціану больше, нежели кому-нибудь изъ худож-ъ новаго міра, принадлежитъ честь, что онъ по крайней не уронилъ себя въ этой трудной борьбѣ. Его «Венера», щаяся въ Дрезденѣ, хотя еще далека отъ того совер-за, чтобъ заставить насъ забыть о томъ художествен-идеалѣ, который древнее искусство завѣщало намъ въ ѣкихъ образцахъ, однако и послѣ нихъ даетъ еще много вденія эстетическому чувству, и между произведеніями конечно не имѣетъ себѣ соперницъ. Но Бельведеръ вовсе ѣетъ нужды завидовать Дрездену: его «Даная», по моему о, созданіе гораздо болѣе счастливое. Въ сравненіи съ ипого теряетъ даже знаменитая «Даная» Ванъ Дика е въ Дрезденѣ), передъ которою весь XVIII вѣкъ пре-тса въ удивленіи. Не только въ краскахъ, но и въ са-положеніи тѣла Данаи Тиціана гораздо болѣе жизни и

движенія; но то, что въ картинѣ Тиціана заставляетъ забывать о всѣхъ подробностяхъ, это головка Данаи, исполненная прелести и граціи необыкновенной, тогда какъ у Ванъ Дика она почти лишена выраженія. Даная Тиціана также остается въ лежачемъ положеніи, принимая на себя золотой дождь; но одно колѣно ея приподнято, одна рука, обвитая браслетомъ, отброшена къ землѣ, граціозная бѣлокурая головка слегка лишь закинута назадъ, и голубые глаза нѣсколько подняты кверху съ выраженіемъ нѣги и страсти. Жизнью, страстью дышатъ всѣ формы, всѣ части, все положеніе. Чего болѣе можно требовать отъ художника?—Другое достоинство Тиціановой «Діаны, открывающей вину нимфы Каллисто»: то, что въ Діанѣ сосредоточено въ одной фигурѣ, здѣсь разлито на цѣлую группу. Вообще картина представляетъ сцену весьма одушевленную: фонъ занятъ глубокимъ ландшафтомъ, которому художникъ придалъ колоритъ мечтательный, поэтический; изъ глубины ландшафта по наклонности сбѣгаетъ потокъ; на берегу его, у высокаго фонтана, прислонясь къ нему спиною, сидитъ Діана, столько же строгая, сколько граціозная; у ногъ ея художникъ помѣстилъ группу нимфъ въ разныхъ положеніяхъ; на другомъ берегу потока, въ глазахъ Діаны, происходитъ сцена болѣе безпокойная: другая группа нимфъ занята обличеніемъ Каллисто, которая остается какъ бы прикованною къ землѣ. Можно пожалѣть только, что послѣдняя фигура не довольно благородна; все остальное представляетъ картину живую, разнообразную. Къ той же категоріи принадлежитъ «Лукреція, заноси́щая на себя кинжалъ». Но движеніе выражается здѣсь не столько въ самой фигурѣ или ея положеніи, сколько въ глазахъ.—Нельзя также не упомянуть о портретахъ кисти Тиціана, которыхъ Бельведеръ считаетъ около 20-ти. Опять такое богатство, владѣя которымъ Бельведеръ не имѣетъ нужды завидовать ни одному знаменитому собранію въ Германіи. Между итальянскими художниками Тиціанъ можетъ-быть единственный, который въ искусствѣ портретной живописи стоитъ на равнѣ съ первыми фламандскими живописцами и наиболѣе приближается къ Ванъ Дику. Между портретами, находящимися въ Бельведерѣ, не послѣднее мѣсто занимаетъ собственный портретъ художника, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ мужества, но еще безъ этой суровой рѣзкости въ чертахъ и выраженіи, которое такъ значительно поражаетъ въ другихъ его портретахъ, относящихся къ его старости (напр. тотъ, который находится въ Берлинскомъ музеѣ). По вѣрному, естественному ко-

ой выразительности лицъ, весьма замѣчательны знаменитаго анатома Андрея Везаліуса (современ-), изображеннаго съ небольшимъ торсо въ рукахъ, активной женщины съ обнаженными руками и непенною мантиею, особенно обращающій на себя яркими красками кожи. За тѣмъ слѣдуютъ портреты знаменитыхъ современниковъ Тиціана: папы Павла и саксонскаго Іоанна Фридриха Великодушнаго, Изабеллы д'Эсте, знаменитаго императорскаго анатомическаго фонъ Росберга, флорентинскаго историка Лоренцо и другихъ. Что же касается до портрета Карла V, приписываемаго также Тиціану, то въ немъ есть многія весьма основательныя сомнѣнія. Важнѣйшія произведенія, которыя имѣетъ Бельведеръ, представляютъ венеціанской школы, мы еще на нѣсколько времени въ тѣхъ же самыхъ взглянуть на произведенія и другихъ принадлежателей той же самой школы художниковъ. Особенно взглянуть на старѣйшаго изъ нихъ, Джіованни Коррадо, котораго Бельведеръ имѣетъ два произведенія его кисти и два въ его тонѣ, т. е. работы его учениковъ. Къ первымъ принадлежатъ: «Богоматеръ на рукахъ», передъ которымъ въ благоположеніи стоитъ старецъ Іоакимъ, и другая картина, изображающая молодую женщину, которая держитъ перерукало. Это подлинный Беллини, съ его твердыми чертами выраженія и безцвѣтностью колорита. Другая картина Беллини съ гениальнымъ ученикомъ его, Тиціаномъ, можно даже сказать, что у него еще вовсе нѣтъ венеціанской школы колоритъ, одно изъ ея характерныхъ отличій, есть созданіе Тиціана. Изъ двоихъ принадлежателей той же школы, носящихъ имя Пальмы, старшаго и любопытнѣйшія страницы принадлежатъ послѣднимъ, которые успѣли познакомиться съ первымъ въ Дрезденской галлерей, Бельведеръ не прибавить къ болѣею частію тѣ же женскія головки, въ которыхъ всегда можно узнать черты его дочерей. Пальма находится здѣсь въ болѣе выгодномъ свѣтѣ. Замѣчательности двѣ его картины, изображающія съ нѣкоторыми различіями одно общее содержаніе—«Снятіе съ креста». Въ обѣихъ картинахъ есть много гармоніи въ композиціи и жизни въ фигурахъ; но то, что од-

ной изъ нихъ (подъ № 45) даетъ рѣшительное преимущество передъ другою, это—двѣ фигуры ангеловъ, которыхъ во второй не достаетъ вовсе, и которыя здѣсь исполнены съ необыкновенною пріятностью. Здѣсь же нельзя пройти безъ вниманія художника, котораго имя встрѣчается рѣдко, и который однако долженъ былъ владѣть высокимъ художественнымъ талантомъ: это—Буонвичино, иначе называемый Моретто; онъ также вышелъ изъ венеціанской школы, но успѣлъ усвоить себѣ нѣкоторыя достоинства и школы ломбардской. Въ Бельведерѣ есть одна его картина, гдѣ изображена св. Юстина, съ достоинствомъ обращающая взоръ свой на мужа зрѣлыхъ лѣтъ, который стоитъ передъ нею на колѣняхъ въ молитвенномъ положеніи. Благородствомъ фигуръ, живою выразительностію ихъ лицъ и оригинальнію очерковъ эта картина рѣзко выдается изъ ряда ее окружающихъ. Наиболѣе ощутительный контрастъ къ ней составляютъ картины Париса Бордоне, типамъ котораго, вообще довольно однообразнымъ, не достаетъ обыкновенно благородства, при всей правильности очерка.

Не столько счастливъ Бельведеръ на произведенія римской школы, которыя помѣщаются въ слѣдующей залѣ. Посѣтитель прежде всего спѣшитъ къ Рафаэлю, съ именемъ котораго привыкъ соединять идею высочайшаго совершенства въ искусствѣ, но надобно, предупредить его, что здѣсь нѣтъ другого экземпляра Сикстинской Мадонны, ни другого произведенія, которое бы носило имя того же художника и было бы равнаго достоинства. Напередъ составленные понятія по извѣстному образцу часто вредятъ непосредственному наслажденію искусствомъ. Имя Рафаэля встрѣчается здѣсь три раза, и тѣмъ, которые не приносятъ съ собою преувеличеннаго понятія, каждое изъ трехъ его произведеній можетъ доставить много истиннаго наслажденія. Первое изъ нихъ по времени есть изображеніе Мадонны, извѣстное подъ именемъ. «*Madonna del verde*» (im Grünen), которое Рафаэль написалъ, когда ему было только 23 года. Марія представлена сидящею на простой скамьѣ, среди зеленаго поля, придерживая руками младенца Іисуса, которому маленькій Іоаннъ подаетъ крестъ. Въ тонѣ красокъ и въ манерѣ еще замѣтны слѣды вліянія предшествовавшихъ мастеровъ той же школы; но въ пріятности очерковъ нельзя уже не узнать руки Рафаэля. Рядомъ съ нею другая картина, изображающая «Отдыхъ св. Семейства» во время бѣгства въ Египетъ и исполненная того кроткаго, тихаго одушевленія, которое такъ нераздѣльно съ лучшими произведеніями этого

художника. Марія съ тихою материнскою радостію, спустившись на колѣни, поддерживаетъ младенца, къ которому съ другой стороны стремится маленькій Іоаннъ; надъ всею группою возвышается кроткая фигура Іосифа, съ участіемъ наблюдающаго эту сцену. Для тѣхъ, которые успѣли познакомиться съ Рафаэлемъ уже прежде, во всей этой группѣ нѣтъ ни одного новаго типа—а между тѣмъ сколько невыразимой прелести въ каждомъ изъ этихъ лицъ! Какъ изящно просто весь очеркъ Мадонны, какъ граціозенъ маленький Іоаннъ съ своею свѣтлою улыбкою, и какъ тепло участіе Іосифа, у котораго даже суровыя лѣта не отняли природной мягкости! Тѣмъ же характеромъ, тѣмъ же изящно-возвышеннымъ духомъ проникнуть очеркъ и вся фигура «Св. Маргариты, крестомъ умиряющей дракона»—третья картина, носящая имя Рафаэля. Голова Маргариты слегка наклонена книзу, взоръ ея устремленъ также внизъ на пресмыкающагося у ногъ ея дракона; но въ положеніи ея есть что-то поразительное, въ чертахъ ея выражается чувство высокой побѣды. Віардо, вообще мало расположенный къ Бельведеру, болѣе нежели сомнѣвается въ подлинности двухъ послѣднихъ картинъ и думаетъ узнать въ нихъ кисть ученика Рафаэля, Джуліо Романо. Если что можетъ наводить на сомнѣніе, то конечно тонъ красокъ, колоритъ болѣе густой, нежели какой мы привыкли видѣть на многихъ произведеніяхъ Рафаэля, въ особенности тѣхъ, которыя принадлежать его ранней молодости. Но кому иному могутъ принадлежать и цѣлая композиція каждой картины, и каждый очеркъ въ отдѣльности? Какъ особенно, смотря на эти чистые, идеальные типы, притти было къ мысли о Джуліо Романо, котораго кистью—доказательствомъ почти всѣ его картины, находящіяся въ обширной галлерей князя Лихтенштейна (также въ Вѣнѣ)—руководили мотивы совершенно противоположные? Другое дѣло, если сказать, что учитель допустилъ ученика къ участію въ отдѣлкѣ картинъ—тогда объяснится различіе въ тонѣ красокъ; но композиція картинъ, очеркъ, фигуры—очевидно принадлежать самому учителю.

На противоположной стѣнѣ, также три картины носятъ на себѣ имя Рафаэля Менгса. Я нахожу очень умною мысль распорядителей Бельведера—соединить въ одной залѣ и, такъ сказать, поставить лицомъ къ лицу произведенія Рафаэля Санціо и ученика его, Рафаэля Менгса, позднѣйшаго по времени, ближайшаго по духу. Я называю Рафаэля Менгса ученикомъ Рафаэля Санціо—разумѣется, не въ томъ смыслѣ, что первый

учился у послѣдняго... Менгсъ родился въ такую эпоху искусства, когда оно уже перешло моментъ своего высочайшаго развитія, величайшаго творчества, и жило болѣе прошедшимъ. Тамъ, въ этомъ прошедшемъ, лежали великіе образцы, которыхъ не могъ миновать новый художникъ, выступавшій на то же поприще; онъ не могъ уйти отъ ихъ могущественнаго величія, хотя бы въ самомъ себѣ чувствовалъ зародышъ творчества: передъ его юною фантазіею они стояли какъ великаны, къ которымъ онъ могъ только постепенно приближаться, не смѣя и надѣяться стать наравнѣ съ ними силою самостоятельнаго творчества. Начинающему оставалось только избрать путь изученія великихъ образцовъ, которые однако, по свойству всего образцоваго, были недосягаемы, и между тѣмъ должны были удерживать привязанный къ нимъ талантъ въ опредѣленныхъ границахъ. Въ такомъ положеніи высшею заслугою новаго таланта могло быть только одно — посредствомъ глубокаго изученія столько усвоить себѣ достоинства чужихъ образцовъ, чтобъ, перенесенные въ его собственные произведенія, они не казались чужими, и сверхъ того, по возможности запечатлѣть ихъ своимъ собственнымъ характеромъ. Такимъ путемъ шли нѣкогда Караччи; его же избралъ позже Рафаэль Менгсъ, и то неоспоримо, что никто изъ новыхъ художниковъ, основавшихъ свое искусство на изученіи образцовъ прошлаго, столько не приблизился къ нимъ и никто въ то же время не сохранилъ столько самостоятельности. Надобно еще прибавить, что нигдѣ можетъ-быть нельзя такъ хорошо понять и оцѣнить Менгса, какъ въ Бельведерѣ, которому, кромѣ одной копіи съ Рафаэля, изображающей ап. Петра, принадлежать три собственные и едва ли не лучшія изъ всѣхъ произведеній Менгса. «Благовѣщеніе», самая большая изъ трехъ картинъ, исполнена достоинствъ какъ въ рисунокѣ, такъ и въ колоритѣ. Въ композиціи нѣтъ никакого особеннаго нововведенія: фонъ въ верхней части, въ подражаніе Рафаэлю, весьма искусно составленъ изъ золотистыхъ, неопредѣленныхъ образовъ, въ которыхъ можно легко узнать херувимовъ; на лѣвой сторонѣ—Марія, съ благоговѣніемъ принимающая радостную вѣсть; на правой—свѣтозарный ангелъ, котораго голова и самая фигура принадлежать къ самымъ счастливымъ созданіямъ Рафаэля Менгса: блестящая юность, чистота, свѣжесть соединились въ ней въ одинъ свѣтлый, привлекательный образъ. Наверху картины художникъ представилъ носящагося въ облакахъ и поддерживаемаго ангелами Бога Отца. Въ колоритѣ картины

олько нѣжности и пріятности, что иногда думаешь, будто идешь передъ собою Мурильо. Если бъ еще не такъ замѣтна была нѣкоторая изысканность въ поворотѣ головы Маріи!— въ этой стороны, т. е. какъ совершенно огражденная отъ ѣхъ упрековъ высокимъ искусствомъ художника, еще выше, моему мнѣнію, другая картина, изображающая «Сонъ Іосифа» (Kniestück). Въ ней только двѣ фигуры: заснувшій у бочаго станка Іосифъ, въ чертахъ котораго, грубо-простыхъ въ то же время чрезвычайно кроткихъ, нельзя не узнать аготворнаго вліянія типовъ рафаэлевскихъ, и съ лѣвой стороны отъ него—свѣтлая и легкая, какъ видѣніе, фигура неснаго вѣстника. Этотъ типъ созданъ, кажется, самимъ художникомъ: такъ въ немъ много оригинальности, жизни, искусства! Лицо самой первой молодости, цвѣтъ кожи, который могъ бы спорить съ воздухомъ въ прозрачности, пряди локурыхъ волосъ, какъ будто вытканыхъ изъ облаковъ, всей фигурѣ легкость и изящество удивительныя... И какой контрастъ къ ней составляетъ Іосифъ, съ своими чертами, авильными отъ природы, но которыя отъ времени получили эсткость, съ руками жилистыми и загрубѣлыми отъ работы, конецъ всею своею фигурою, тяжелою и сильною! Между мъ въ картинѣ столько единства, столько полноты! Дрезнская галлерей не имѣетъ отъ Менгса ничего подобнаго. Третья картина—«Мадона съ младенцемъ на рукахъ»: въ этихъ кроткихъ чертахъ, въ этой нѣжной, добродушной улыбкѣ того и улого образа, какъ опять чувствуешь вліяніе Рафаэля! Впрочемъ, сравнивая «Мадонну» вѣнскую съ «Мадонною» берлинскою того же художника, я нахожу, что въ послѣдней болѣе повышеннаго, идеальнаго, вообще болѣе достоинства.

Около Рафаэля Санціо и Рафаэля Менгса группируются произведенія другихъ художниковъ той же школы, или образовавшихся подъ ея вліяніемъ—Перуджино, Джуліо Романо, периги (Караваджіо), Сассоферрато, Маретты и пр. Всегда попытано взглянуть на Перуджино въ присутствіи Рафаэля: итель конечно блѣднѣетъ передъ ученикомъ, однако какъ по видно, что онъ задалъ первый тонъ школѣ, и что первыя произведенія Рафаэля гораздо ближе къ нему, нежели къ позднѣйшимъ созданіямъ того же художника. Въ Бельведерѣ есть въ его картины, изображающія Богоматерь, по сторонамъ горой на одной картинѣ св. Петръ, Іеронимъ, Павѣлъ и Іоаннъ еститель, а на другой—двѣ женскія фигуры. Колоритъ особливо свойства: въ немъ ярко проступаетъ желтый цвѣтъ, но

почти нѣтъ еще никакихъ тѣней; лица удивительно однообразны, а между тѣмъ въ нихъ такъ много уже этой нѣжности и этого наивнаго добродушія, которыя нераздѣльны съ лучшими типами Рафаэля. Имя Джуліо Романо находимъ также подъ двумя картинами: «Аттрибуты четырехъ евангелистовъ», представленныя въ одной группѣ на облакахъ, и «Торжествующій Плутонъ», но обѣ онѣ не въ настоящемъ его родѣ. Подлиннаго Джуліо Романо, или Линни, какъ я уже сказалъ, надобно видѣть въ галлерей князя Лихтенштейна. Здѣсь же Микель-Анджело Америкки (Караваджіо): нельзя указать большаго контраста къ Рафаэлю. Очерки его грубо-жестки, черты угловаты, хотя всегда многозначительны; никакихъ слѣдовъ граціи, и колоритъ, для означенія котораго я не нахожу приличнѣе слова, какъ „чубарый“. Художникъ съ замѣчательною силою таланта; онъ хотѣлъ быть оригинальнымъ, отступилъ отъ идеальнаго направленія своихъ предшественниковъ и вдался въ крайности натурализма. Страсть выражается у него чертами сильными, рѣзкими, но тамъ, гдѣ должно преобладать идеальное, Караваджіо становится страненъ, неловокъ, почти совершенно теряетъ тактъ... Чтобы убѣдиться въ этомъ, довольно видѣть въ Бельведерѣ его «Мадонну, раздающую, черезъ св. Доминика и мученика Петра, розовые вѣнцы народу»: ни одной фигуры, на которой бы взоръ могъ остановиться съ любовью! Совсѣмъ иное — «Давидъ, держащій въ рукѣ голову Голіафа»; но и въ этой картинѣ лучшее — мертвая голова исполина. Послѣ Караваджіо пріятно отдохнуть на нѣжной, мягкой кисти Сассоферрато (Джіованни Баптиста Сальви): въ Бельведерѣ также есть его «Мадонна» — почти единственный типъ этого художника. Здѣсь я опять отсылаю читателя къ галлерей кн. Лихтенштейна: находящійся въ ней экземпляръ «Мадонны» есть едва ли не лучшее произведеніе Сассоферрато: столько въ немъ изящества, нѣжности въ тонѣ, гармоніи въ краскахъ. Довольно значительное пространство занимаютъ въ залѣ картины Карло Маранета, числомъ восемь: впрочемъ «Послѣдній римлянинъ» теряетъ не только передъ Рафаэлемъ, но и въ сравненіи съ второстепенными художниками школы. Въ колоритѣ его нѣтъ никакой энергіи; лица большею частію лишены выраженія. Съ гораздо большимъ интересомъ можно смотрѣть на два небольшія произведенія Доменико Фети (1589—1624), художника не громкаго по имени, но въ композиціяхъ котораго нельзя не замѣтить присутствія таланта истинно-поэтическаго. Первая картина представляетъ

кій и пустынный ландшафтъ; на все наброшенъ грустный и ачный колоритъ; взоръ успокоивается лишь на группѣ, изображающей Марію и Іосифа съ Божественнымъ Младенцемъ время бѣгства ихъ въ Египетъ: неподалеку отъ нихъ видѣть трупъ младенца, конечно одной изъ жертвъ вилеемскаго иенія... Другая картина еще болѣе исполнена глубоко-грустного, безотраднaго чувства, которое живо отражается какъ въ сункѣ, такъ и въ колоритѣ. Море, едва успокоившееся послѣ рнаго волненія; небо мрачно, и вѣтеръ продолжаетъ дуть силою; въ серединѣ группы нимфъ, напрасно старающихся вратить къ жизни погибшаго въ волнахъ Леандра; здѣсь присутствуетъ и Эротъ: фигура его возвышается надъ ю группою; взоръ его полонъ тоски; вѣтеръ развѣваетъ его икую одежду, а между тѣмъ направо, съ вершины башни, протѣвшая Геро бросается въ волны, и никто не спѣшитъ помощь къ ней; слѣва, морской богъ спокойно устреляетъ свою колесницу въ безпредѣльную даль моря... Какая ама, сколько жизни, движенія, и въ то же время—какой ютрадный моментъ? Тому же художнику принадлежатъ здѣсь е двѣ картины большого размѣра: но, несмотря на доинство рисунка, онѣ не представляютъ ничего особенно зачательнаго. Наконецъ, нѣсколько странно встрѣтить въ той залѣ—Николая Пуссена; впрочемъ въ Бельведерѣ только есть одно его произведеніе, изображающее «Разграбленіе усалимскаго храма римлянами»—композиція весьма сложная, хотя и не изъ тѣхъ, которыя особенно говорятъ въ льзу художника.

Фра-Бартоломео, Андрея Сарто, вообще школу флорентиную находимъ уже въ слѣдующей залѣ. Эта зала очень интересна, и вообще Бельведеръ не можетъ похвалиться многими изведеніями флорентинцевъ; но въ немногомъ есть нѣсколько раницъ, которыя и въ собраніи болѣе богатомъ заняли бы ѣма почетное мѣсто. Особенно хорошъ здѣсь Фра-Бартоломео, дожникъ съ рѣшительнымъ призваніемъ, но котораго произденія встрѣчаются такъ рѣдко. Не простираясь далеко въ еальномъ, онъ всегда умѣлъ быть выдержаннымъ въ промѣ, но строго благородномъ стилѣ. Большая картина «Введеніе во храмъ» есть одно изъ самыхъ оконченныхъ его произденій и наиболѣе выдержанныхъ какъ по гармоніи во всѣхъ стаяхъ рисунка, такъ и по тону красокъ. Жаль только, что дновленіе придало колориту излишнюю яркость, которая мотъ дать несовсѣмъ выгодное понятіе о Фра-Бартоломео.

Но воздавая все должное Фра-Бартоломео, я съ своей стороны предпочитаю ему Андрея дель-Сарто, его современника и также одного изъ благороднѣйшихъ представителей флорентинской школы, который, оставаясь вѣренъ ея главному направленію, умѣлъ однако придать своей кисти столько нѣжности, мягкости колорита, столько прозрачности, какъ если бы онъ вышелъ изъ школы Рафаэля и Корреджіо. Типы его не отличаются большимъ разнообразіемъ, но въ нихъ всегда такъ много теплоты, задушевности. Изъ находящихся въ Вельведерѣ, двѣ его картины: «Мадонна съ Божественнымъ Младенцемъ» и «Положеніе во гробъ», принадлежать къ самымъ счастливымъ произведеніямъ его кисти. Первая можетъ потерять развѣ только въ сравненіи съ Мадонною мюнхенской, такъ что нѣкоторые видятъ въ ней лишь копію съ послѣдней; но должно замѣтить, что въ Мадоннѣ мюнхенской дель-Сарто приближается уже къ величайшимъ художникамъ своего времени. Дольче здѣсь тотъ же, какъ и вездѣ: болѣе томный, нежели нѣжный, болѣе мечтательный, нежели глубоко чувствующій, и, какъ всегда, довольно однообразный. «Марія, держащая на колѣняхъ Христа», есть лучшая изъ четырехъ его картинъ. Самая большая изъ нихъ, изображающая въ аллегорической фигурѣ «Чистосердечіе», могла бы нравиться болѣе, если бы тѣни на лицѣ фигуры положены были съ болѣею умѣренностью.

Говоря о произведеніяхъ флорентинской школы, находящихся въ Вельведерѣ, только подъ конецъ могу я упомянуть объ одной картинѣ, которая не только между ними должна бы занять одно изъ первыхъ мѣстъ, но и вообще могла бы принадлежать къ драгоценностямъ собранія,—если бы подлинность ея была несомнѣнно доказана. Картина изображаетъ «Торжествующую Геродиаду», въ ту минуту, когда ей приносятъ голову Предтечи. Съ уваженіемъ останавливаешься передъ этою картиною, читая подъ ней имя величайшаго художника флорентинской школы, того, который остался безъ подражателей, которому нельзя было подражать, потому что тайна его высокого лежала въ немъ самомъ, въ глубокой природѣ его въ высшей степени симпатичнаго духа, котораго все внутреннее умѣлъ онъ воплощать въ своихъ созданіяхъ: это имя—Леонардо да-Винчи. Но, къ сожалѣнію, относительно «Геродиады», сомнѣнія слышатся со всѣхъ сторонъ. И въ самомъ дѣлѣ; въ чертахъ лица и въ выраженіи Геродиады трудно указать что-нибудь общее съ извѣстными типами Леонардо: особенно вы-

раженіе лица—для Геродиады оно кажется слишкомъ малозначительно. Но въ то же время, если смотрѣть на рисунокъ, удивительный своею необыкновенною рельефностью какъ будто бы исполненный не кистью, а рѣзцомъ ваятеля, потомъ на превосходный, совершенно особенный тонъ красокъ и, наконецъ, всего болѣе на совершенно художественную отдѣлку, особенно замѣчательную по искусству, съ какимъ положены всѣ тѣни, хотя безъ всякой игры свѣто-тѣни,—то нельзя не признать, по крайней мѣрѣ въ technikѣ, руки великаго мастера, кто бы онъ ни былъ... можетъ-быть одинъ изъ ближайшихъ учениковъ Леонардовыхъ, который, не имѣя высокой натуры учителя, успѣлъ однако въ совершенствѣ усвоить себѣ его технику ¹⁾. Впрочемъ гдѣ же въ Германіи и искать настоящаго Леонардо да-Винчи? Куглеръ, исчисляя въ своей «Исторіи искусства» произведенія кисти Леонардо, которыя признаны за несомнѣнныя, вовсе не упоминаетъ о мюнхенской «Св. Цециліи», а о «Мадоннѣ между св. Екатериною и св. Варварою», которая составляетъ одну изъ трехъ драгоценностей большаго собранія кн. Эстергази (также въ Вѣнѣ), говоритъ прямо, какъ о произведеніи Бернардино Люини. Въ Касселѣ когда-то находилась картина, считавшаяся за одно изъ лучшихъ произведеній Леонардо да-Винчи, но съ нѣкотораго времени о ней нѣтъ никакихъ слуховъ: она пропала безъ вѣсти. Сверхъ того, въ Бельведерѣ есть двѣ картины неизвѣстныхъ художниковъ изъ школы Леонардо да-Винчи: въ одной изъ нихъ, представляющей также «Геродиаду», какъ въ копіи довольно вѣрной, можетъ-быть скорѣе можно признать манеру учителя, но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ она не выдерживаетъ сравненія съ картиною сомнительной подлинности. Я почти не считаю нужнымъ упоминать о нѣсколькихъ картинахъ Джентилески, Фурины, Лоричино, Бронцино и другихъ, которыя находятся въ той же залѣ: это произведенія позднѣйшаго, подражательнаго искусства; онѣ блѣднѣютъ передъ великими образцами, съ которыми поставлены рядомъ.

Въ пятой залѣ почти достаточно остановиться на трехъ именахъ. Она посвящена вообще болонскимъ художникамъ, но, къ сожалѣнію, Бельведеру вовсе не достаетъ двухъ прекрасныхъ именъ этой школы, которыя если не всегда по рисун-

¹⁾ Весьма любопытно было бы сравнить «Геродиаду» Бельведера съ «Геродиadou» флорентинскаго музея, которая принадлежитъ, какъ извѣстно, Бернардино Люини, болѣе близкому ученику Леонардо да-Винчи.

ку, то по колориту составляютъ одно изъ лучшихъ ея украшеній—это Доминикино и соучастникъ его Альбани. Въ нижнемъ этажѣ есть, правда, одна картина — «Венера», которая носитъ на себѣ имя Альбани; но чтобъ убѣдиться въ подлинности этого извѣстія, надобно принять на вѣру показаніе каталога галлерей, потому что картина нисколько не говоритъ сама за себя. За то не подлежитъ никакому сомнѣнію подлинность Франчіа (Francesco Caibolini), старѣйшаго изъ художниковъ болонской школы: всегда одинаково кроткій, спокойный и ясный, какъ тихій лѣтній вечеръ, онъ создалъ себѣ одинъ типъ, который повторялъ потомъ съ малыми видоизмѣненіями почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, такъ что, какова бы ни была обстановка, глазъ почти всегда отличаетъ его съ перваго взгляда. Его «Мадонна», находящаяся въ Бельведерѣ, почти ни въ чемъ не отступаетъ отъ обыкновеннаго типа этого художника; вся особенность этой картины состоитъ только въ томъ, что по краямъ ея изображены еще св. Францискъ и св. Екатерина. Но я не знаю, почему, согласно съ принятымъ порядкомъ въ Бельведерѣ, и Франчіо не помѣщенъ въ одной залѣ съ Рафаэлемъ, вліяніе котораго такъ ощутительно замѣтно не только въ каждомъ его очеркѣ, но и въ самомъ колоритѣ, такъ живо напоминающемъ своею прозрачностью первыя произведенія Санціо? Въ Караччи, которымъ принадлежитъ несовсѣмъ завидная честь означить собою ту эпоху въ искусствѣ, когда оно перестаетъ быть самостоятельнымъ и получаетъ направленіе подражательное, эклектическое—въ Караччи здѣсь нѣтъ недостатка: шесть картинъ Аннибада, двѣ Лудовика и одна Агостино. Но какъ скоро дѣло идетъ о Караччи, количество значитъ всего менѣе; въ отношеніи къ нимъ надобно быть столько же строгимъ эклектикомъ, какъ они сами были въ отношеніи къ своимъ образцамъ. Эклектизмъ рѣдко приводилъ ихъ къ надлежащему совершенству: большая часть ихъ произведеній осталась неудачными попытками въ стремленіи поравняться съ образцами, и то, что имѣютъ отъ нихъ Дрезденъ и Вѣна, принадлежитъ наиболѣе къ этой послѣдней категоріи. Аннибалъ занимаетъ въ фамильномъ триумвиратѣ самое почтенное мѣсто, но его «Адонисъ и Венера» въ Бельведерѣ такъ же мало отличаются благородствомъ стиля и достоинствомъ рисунка, какъ и дрезденскія «Мадонны» его же кисти. Мюнхенская Пинакотeka въ этомъ отношеніи имѣетъ большое преимущество передъ Бельведеромъ и даже передъ Дрезденскою галлереею: въ ней

Караччи говорить за себя наиболее выгоднымъ образомъ. Еще бильнѣе представленъ Гвидо Рени въ своихъ одиннадцати картинахъ. Но... въ Гвидо Рени надобно различать двухъ художниковъ, или, если угодно, двѣ различныя эпохи его художнической дѣятельности: первую, когда онъ строго держался образцовъ и былъ достойнымъ продолжателемъ прежняго искусства, хотя безъ самостоятельности,—и послѣдующую, когда онъ хотѣлъ быть болѣе самостоятельнымъ, и оставивъ строгое достоинство стараго стиля, уклонился въ искаженность, манерность. Иногда и въ произведеніяхъ полнѣшняго стиля ему удавалось возвышаться до идеала: «Вознесеніе Божіей Матери», въ мюнхенской Пинакотекѣ, есть, безъ сомнѣнія, величайшее его произведеніе въ этомъ родѣ. Но такихъ блестящихъ исключеній очень немного: большею частію манера слишкомъ ярко даетъ замѣтить себя въ искусственномъ тонѣ красокъ и переходитъ въ странность, которой итѣращается строгій вкусъ. Изъ произведеній его, находящихся въ Бельведерѣ, три можно отличить какъ принадлежащія къ переходной эпохѣ: «Крещеніе», «Введеніе во храмъ» и «Сибиллу». Въ нихъ можно слѣдить, какъ исчезаетъ понемногу прежняя строгость мастера, хотя новая манера еще такъ слаба, что не переходитъ въ манерность. «Сибилла» написана особенно въ благородномъ тонѣ, при всей нѣжности красокъ. Прочія картины странно поражаютъ своимъ блѣдно-линеватымъ колоритомъ и очевидно принадлежать второй эпохѣ. Много характернаго въ картинѣ Скидоне (Bartolomeo Schidone): «Христосъ въ Эммаусѣ между учениками». «Блудный сынъ» вершиною принадлежитъ къ наиболее удачнымъ, т. е. самымъ умѣреннымъ произведеніемъ этого художника.

Отсюда мы переходимъ къ ломбардской школѣ, и въ ней прежде всего къ тому великому художнику, котораго имя могло бы служить для означенія высшей степени граціи, какою только когда-либо достигало новое искусство. Къ сожалѣнію, Бельведеръ въ этомъ отношеніи по истинѣ бѣденъ—не въ томъ смыслѣ, чтобъ для галлерей недостаточно было имѣть только три произведенія Корреджіо, но въ томъ, что Корреджіо здѣсь трудно узнать. Правда, Бельведеръ считаетъ всею собственностью настоящую «Ю» Корреджіо; но тотъ, кто знаетъ эту же самую «Ю» въ Берлинскомъ музеѣ, едва ли сочтетъ бельведерскую даже за удачную копію. Гдѣ здѣсь та воздушная легкость, грація всего очерка, въ особенности оловы? гдѣ этотъ несравненный тонъ красокъ; этотъ поэтически-

фантастическій колоритъ, въ которомъ такъ свѣтла кажется даже покрытая тѣнью граціозная фигура Іо и такъ фантастически-неуловимъ суровый очеркъ Юпитера? Или возстановленіе до такой степени стерло особенности картины, что въ ней нельзя даже узнать удачной копіи? «Ганимедъ, похищаемый Юпитеромъ въ видѣ орла» болѣе напоминаетъ настоящаго Корреджіо; но ложная метода возстановленія замѣтно и на него наложила свою руку. Остается поясное изображеніе «Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ»: картина сама въ себѣ заключаетъ много достоинствъ, но и въ этомъ родѣ съ трудомъ можно узнавать и изучать граціознаго Корреджіо. Есть и другое знаменитое имя въ той же залѣ: это—Мурильо, благоуханнѣйшій пѣвѣтъ испанской школы, котораго удивительная мягкость и нѣжность въ колоритѣ и даже въ самой композиціи даетъ право поставить рядомъ съ Корреджіо. И Мурильо въ самомъ дѣлѣ можно узнать въ Вѣнѣ лучше, чѣмъ гдѣ-нибудь въ Германіи (за исключеніемъ развѣ Мюнхена, гдѣ впрочемъ почти всѣ мурильювскія композиціи принадлежатъ къ его неподражаемому *genre*)—только не въ самомъ Бельведерѣ, а въ галереѣ князя Эстергази, которая владѣетъ нѣсколькими превосходными страницами этого художника, написанными со всею теплою его поэтической души. Въ Бельведерѣ же есть только его «Юный Іоаннъ Креститель среди пустыни»—произведеніе, въ которомъ если и можно узнавать нѣжную кисть Мурильо, то ужъ конечно не въ колоритѣ, сглаженномъ, какъ можно полагать, тѣмъ же насильственнымъ средствомъ. Изъ двухъ картинъ Пармиджіанино (*Francesco Mazzuola*) я замѣчу въ особенности ту, которая представляетъ «Амура, опирающагося на лукъ»: въ ней по крайней мѣрѣ есть столько граціи, что, смотря на нее, еще не трудно узнать въ Пармиджіанино ученика Корреджіо. Есть также нѣсколько портретовъ его кисти, но всѣ они не очень высокаго достоинства. Отъ одного изъ братьевъ Прокаччини, старавшихся усвоить себѣ направленіе и манеру того же великаго мастера, Бельведеръ имѣетъ также двѣ картины, но не изъ числа тѣхъ, которыя бы много говорили объ успѣхѣ ихъ стремленія. «Св. Іеронимъ» Доссо-Досси, котораго имя намъ рѣдко встрѣчается въ германскихъ галереяхъ, немного прибавляетъ къ тому понятію, которое обыкновенно имѣютъ объ этомъ художникѣ: то же достоинство ученика и тотъ же недостатокъ живости въ колоритѣ, какъ и въ другихъ его произведеніяхъ. Какъ рѣдкость, можно замѣтить еще здѣсь же нѣсколько кар-

тинъ стараго мантуанскаго живописца Андрея Мантеньи (Mantegna), написанныхъ тушью и изображающихъ въ восьми соединеніяхъ «Тріумфъ Юлія Цезаря послѣ побѣды надъ галлами»: онѣ служатъ лучшимъ доказательствомъ того, какъ много занимало художниковъ того времени основательное изученіе классической древности. Вообще же, говоря объ отдѣленіи ломбардской живописи, всего скорѣе можно вспомнить слова Біардо, несправедливо отнесенныя имъ ко всему итальянскому отдѣленію въ Бельведерѣ, хотя и здѣсь опять нельзя согласиться съ нимъ въ нѣкоторыхъ частностяхъ. Особенно страннымъ кажется, что онъ могъ найти „много движенія, выразительности, интереса“ въ картинѣ Коньяччи (Cognacci) «Самоубійство Клеопатры», гдѣ всѣ лица настолько лишены выразительности, что безъ помощи каталога нельзя понять, какой актъ представляетъ картина.

Произведенія испанской школы, которыми располагаетъ Бельведеръ, продолжаются и въ слѣдующей залѣ—последней итальянскаго отдѣленія. Впрочемъ дѣло идетъ собственно только о Спаньйолетто (Giuseppe Ribera), который столько же принадлежитъ Испаніи, сколько и Италиі. Нельзя отказать Спаньйолетто въ одушевленіи, даже энергіи; но это одушевленіе такъ необузданно, стремительно, такъ мало проникнуто элементомъ художественнымъ, что почти нельзя общать себѣ отъ него много эстетическаго наслажденія. Уже однѣ линіи его рисунка, всегда столько рѣзкія, можно сказать даже насильственно-суровыя, тяжело дѣйствуютъ на глазъ, а мрачный колоритъ, въ которомъ такъ напряженно, съ такимъ усиліемъ борются свѣтъ и тѣма, дѣлаетъ впечатлѣніе еще болѣе труднымъ. Лишь немногія произведенія въ Неаполѣ принадлежатъ къ первому благороднѣйшему его стилю, когда художникъ оставался еще подъ вліяніемъ Корреджіо, котораго изучалъ съ любовію; большая же часть его произведеній носитъ на себѣ характеръ страсти, насилія. Таковъ Спаньйолетто и въ Бельведерѣ. Картина, изображающая «Христа-отрока среди іудейскихъ учителей», отличается наиболѣе умѣреннымъ тономъ. Весьма кстати нашла себѣ здѣсь мѣсто картина Америкки (Караваджіо), представляющая тотъ же самый предметъ: любопытно наблюдать, какъ односторонняя манера учителя еще болѣе была утрирована ученикомъ его. Въ параллель къ нимъ прилично помѣщенъ здѣсь же и Джіордано (Luca Giordano): съ удивительною легкостью усвоивая себѣ всѣ манеры, подражая всѣмъ стилямъ, онъ однако ни къ кому не имѣлъ столько сочувствія, какъ къ

Спаньйолетто, съ которымъ имѣлъ много родственнаго въ фантазіи. «Архангелъ Михаилъ, поражающій злыхъ духовъ» есть одно изъ самыхъ оконченныхъ и обдуманыхъ его произведеній; композиція очень смѣлая, колоритъ блестящій; но какая странная фантазія—соединить въ фигурахъ падшихъ духовъ все безобразное и предоставить собственному воображенію читателя—дополнить въ нихъ ужасное! Гораздо удовлетворительнѣе фигура архангела; но въ положеніи его болѣе изысканности, нежели благородства. Я забылъ упомянуть о Гверчино: здѣсь также встрѣчается одна его картина; но лучшія его произведенія въ Бельведерѣ, какъ и слѣдуетъ, помѣщены въ отдѣленіи болонской школы: они относятся къ исторіи блуднаго сына. Нѣсколько картинъ Солимены, Бронцино, Турки, Бассано, и менѣе замѣчательныхъ портретовъ кисти Тинторетто заключаютъ собою итальянское отдѣленіе. Заключение не блестящее; но озираясь назадъ, нельзя не сказать, что Бельведеру не отдаютъ довольно справедливости, и что наслажденіе, которое находитъ посѣтитель въ итальянскомъ отдѣленіи, во всякомъ случаѣ выше того, какое можетъ онъ вынести изъ отдѣленія нидерландскаго, къ которому мы сейчасъ переходимъ.

Переходъ отъ итальянскаго отдѣленія живописи къ нидерландскому есть всегда переходъ отъ идеальнаго къ противоположному, къ тому по крайней мѣрѣ, что заключаетъ въ себѣ наименѣе идеала и наиболѣе натуры. Искусство остается, безъ сомнѣнія, и здѣсь идеальнымъ, но только въ той мѣрѣ, въ какой это необходимо для его самостоятельности, для того, чтобъ оно всегда оставалось на извѣстной высотѣ передъ ремесломъ. И здѣсь есть мѣсто созданію, творчеству, по которому только мы и можемъ судить о жизненности искусства; но здѣсь творческою силою фантазіи художника лишь дѣйствительное является идеальнымъ, тогда какъ тамъ высоко-идеальное превращается въ живой образъ, въ дѣйствительность. Но каково бы ни было направленіе искусства, если только оно не есть ложно привитое, истинный талантъ всегда будетъ въ состояніи поставить его на ту точку, гдѣ, независимо отъ всѣхъ другихъ направленій, потребность эстетическаго наслажденія не только возбуждается, но и находитъ себѣ полное удовлетвореніе. Нидерландская школа въ разныхъ своихъ отрасляхъ совершила полный циклъ, всегда оставаясь вѣрно одному главному направленію, не измѣняя своего характера до конца, и

въ этомъ циклѣ прошла разныя степени совершенства, которыя можно и должно отличать отъ подобныхъ моментовъ въ исторіи итальянской живописи, но не измѣрять тѣмъ же самымъ масштабомъ. Можно спорить о превосходствѣ одного направленія передъ другимъ, но нельзя оспаривать высокаго достоинства отдѣльныхъ произведеній въ томъ или другомъ направленіи порознь. Словомъ, есть своя точка зрѣнія на произведенія нидерландскаго искусства, какъ и свое особое наслажденіе, и для того, чтобъ это наслажденіе оставалось свободно, надобно только не приносить съ собою тѣхъ впечатлѣній, которыми наполняютъ художественныя произведенія итальянскихъ художниковъ, хотя и должно признаться, что эта задача не изъ самыхъ легкихъ.

Должно замѣтить вообще, что Віардо совершенно справедливъ, когда находитъ нидерландское отдѣленіе живописи въ Бельведрѣ весьма богатымъ. Не надобно только простираťся далѣе, т. е. не надобно унижать передъ этимъ богатствомъ другой половины собранія. И здѣсь, какъ и въ первомъ отдѣленіи, главные богатства свои Бельведеръ показываетъ не вдругъ. Къ Ванъ-Дику, Рубенсу онъ приготовляетъ васъ произведеніями художниковъ позднѣйшихъ — хронологическая несообразность, которая извиняется общепринятымъ порядкомъ галлерей. Гамильтонъ, Гогстратенъ, Флинкъ, Ванъ-Эсъ (Van Es), Иоганнъ Фитъ (Fyt)—вотъ имена, которыми вы начинаете знакомство съ нидерландскимъ отдѣленіемъ въ Бельведерѣ. Почти нельзя лучше выбрать для начала, если не держаться хронологическаго порядка. Переходъ отъ итальянскаго отдѣленія чувствуется живо: изъ царства идеаловъ вы уже перенесены въ живое осязательное царство природы. Искусство здѣсь уже служитъ инымъ богамъ: вы сначала почти не замѣчаете искусства—такъ ощутительно говоритъ вашимъ чувствамъ въ этихъ произведеніяхъ дѣйствительная природа, что первое впечатлѣніе какъ будто даже не есть впечатлѣніе искусства; о немъ вы вспоминаете уже послѣ, какъ о посредникѣ между вами и этою мнимою природою. Посмотрите на Ванъ-Эса: передъ вами «Рыбный рынокъ». Большая картина вся занята рыбами всякаго рода, которыя частію висятъ, частію лежатъ—лежатъ и на столѣ и на полу, кучами и поодионокѣ. На отдѣлку предметовъ этого рода художникъ употребилъ все свое умѣнье и весь свой вкусъ; ему некогда было и подумать о другомъ: три человѣческія фигуры, оживляющія картину, написаны уже Иорденсомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не довольно знать

рыбную анатомію—надобно еще имѣть особенный вкусъ и тактъ, чтобъ такъ передавать эту холодную жизнь со всѣмъ ей свойственнымъ колоритомъ, чтобъ такъ вѣрно угадать и перенести на полотно, напимѣрь, игру красокъ въ перерѣзанной наискось свѣжей лососинѣ. Послѣдній предметъ переносить васъ изъ искусства совсѣмъ въ иной міръ: но задача искусства тутъ въ томъ и состояла, чтобъ ввести васъ—путемъ искусства впрочемъ—въ живую дѣйствительность природы. Это вкусъ и талантъ особеннаго рода, но талантъ несомнѣнный. Не подумайте, что онъ случайно попалъ въ такую сферу: нѣтъ, въ ней предметъ всей его художнической любви. Казалось бы, весьма легко истощить такой предметъ въ одной картинѣ и даже довольно наскучить имъ самому себѣ: нисколько. Тотъ же художникъ имѣетъ другую картину, въ которой для того же самаго содержанія умѣетъ найти новое разнообразіе формъ и показать, что одна картина никакъ не истощила ни его знанія, ни вкуса въ этомъ дѣлѣ. Эту вторую картину вы можете видѣть здѣсь же; человѣческія фигуры въ ней также принадлежатъ Іорденсу. Гамильтонъ, жившій нѣсколько позже, уже не имѣетъ такой обширной фантазіи, и предметъ его художнической любви нѣсколько иной: да, рыбамъ онъ предпочитаетъ птицъ и четвероногихъ животныхъ... Но какой опять вѣрный взглядъ, какое вѣрное чутье природы во всѣхъ подробностяхъ и въ самыхъ краскахъ! Въ его картинахъ человѣку даже вовсе нѣтъ мѣста: художнику не до него. Одна картина вся занята лошадьми; на другой болѣе разнообразія, и даже есть дѣйствіе: леопардъ защищаетъ противъ коршуна свою добычу—пѣтуха; третья прямо мѣтитъ на ваше элегическое чувство: на ней ничего больше нѣтъ, кромѣ подстрѣленной птицы, протянувшейся послѣ судорожныхъ движеній. Ту же мысль хочетъ сказать вамъ, въ картинѣ Фита, связка убитыхъ куропатокъ, повѣшенныхъ на сукъ дерева; но не одинъ только образъ смерти—здѣсь имѣетъ мѣсто и живое: это собака, которая чутко стережетъ дичь. Есть другая картина гораздо большаго размѣра: здѣсь съ обиліемъ животной природы художникъ соединяетъ еще роскошь растительной—плоды разнаго рода. Но колоритъ Фита не такъ свѣжъ и ярокъ, чтобъ могъ остановить вниманіе и этою стороною. Почувствовать и передать поэзію колорита растительной природы дано было уже другимъ художникамъ.

Когда это искусство обращалось къ человѣку, то и здѣсь оно наиболѣе старалось уловить жизнь самой природы въ про-

тивоположность, идеальному. Человѣкъ прежде всего былъ для него благороднѣйшимъ животнымъ. Я совсѣмъ не хочу сказать, чтобъ нидерландское искусство только и видѣло въ человѣкѣ животное: оно знало и лучшія его стороны, но всегда начинало съ чувственной и для нея наиболѣе имѣло смысла. И сколько, въ самомъ дѣлѣ, этой жизни въ человѣкѣ, въ его внѣшности, въ его дѣйствіяхъ, и какъ она разнообразна? Особенно въ то время, когда человѣкъ празднуетъ свои пиры, когда съ сіяющимъ лицомъ и играющими отъ радости глазами истребляетъ онъ природу растительную и животную въ разныхъ ея видахъ, посмотрите, что это за полнота, что за обиліе жизни! Посмотрите на «Праздникъ трехъ королей» Иорденса, на эти здоровыя лица съ румяными щеками, на ихъ большіе глаза, сіяющіе полнымъ удовольствіемъ, на ихъ неумолкающій смѣхъ, который если не слышится, то видится; наконецъ, схватите однимъ взглядомъ всю эту беззаботно-веселую группу, плавающую въ изобиліи даровъ земныхъ и какъ будто даже во снѣ не выдавшую томнаго лика печали—и вы согласитесь, что тутъ есть жизнь, и что искусство не даромъ останавливается иногда на подобныхъ мгновеніяхъ. У Иорденса былъ особенный талантъ живописать это оргіастическое упоеніе жизни, этотъ восторгъ чувственной природы человѣка, съ полною свободою отдающей своимъ наслажденіямъ. Тотъ, кто видѣлъ его «Диогена» въ Дрезденѣ и помнитъ всю его обстановку, согласится съ нами. «Праздникъ трехъ королей», находящійся въ Бельведерѣ, есть другая страница изъ той же жизни. Въ той же комнатѣ помѣщенъ Рембрандтъ. Бельведеръ имѣетъ отъ него нѣсколько превосходнѣйшихъ портретовъ, и въ томъ числѣ, разумѣется, его собственный, и даже въ двухъ экземплярахъ. Особенно хорошъ «Портретъ знатной дамы въ черномъ платьѣ»: такая жизненность, такая натуральность, и въ то же время такая энергія въ краскахъ! Лицо дамы совсѣмъ не принадлежитъ къ числу идеальныхъ; притомъ возрастъ ея уже близокъ къ старости: но жизнь ея еще свѣжа и исполнена силъ, въ лицѣ еще цвѣтеть румянецъ здоровья; въ этихъ здоровыхъ силахъ художникъ какъ будто нашелъ для себя одушевленіе и съ удивительнымъ искусствомъ передалъ ихъ натуральную свѣжесть, нисколько не переходя въ идеалъ. Замѣчателенъ также портретъ его матери—замѣчателенъ тою поразительною вѣрностью, съ которою переданы всѣ морщины, всѣ складки лица, глубоко избраженнаго временемъ. Во всѣхъ портретахъ Рембрандта, по обыкновенію,

играетъ большую роль знаменитая свѣто-тѣнь; но извѣстно, что игра эффектами свѣто-тѣни въ портретахъ не доведена у него до такой крайности, какъ въ историческихъ картинахъ, въ которыхъ свѣто-тѣни часто пожертвовано даже правильностью рисунка, и въ этомъ отношеніи портреты много выигрываютъ передъ ними. Смотря на эту эффектную игру, я всегда припоминалъ себѣ свѣто-тѣнь Корреджіо, и схвативъ общее въ колоритѣ того и другого, долго не могъ понять различія между ними, хотя оно живо чувствовалось. Куглеръ опредѣляетъ это различіе такъ, что у Корреджіо свѣтъ какъ бы заливаетъ собою тѣнь, тогда какъ у Рембрандта тѣма силится закрыть свѣтъ. Объясненіе остроумное; но трудно опредѣлить относительную напряженность свѣта и тѣни, когда они сходятся вмѣстѣ, и когда тѣма есть собственно только отсутствіе свѣта. Мнѣ кажется, разность скорѣе заключается въ самомъ способѣ, какъ тотъ и другой художникъ трактуютъ свѣтъ и тѣнь. Итальянскій художникъ и здѣсь остается вѣренъ главному направленію своего искусства, т. е. искусства Италіи; его свѣто-тѣнь не есть оптический обманъ ловко схваченной и рѣзко представленной противоположности свѣта и тѣни, какъ двухъ враждебныхъ элементовъ, но—ихъ идеальное сліяніе, такъ что одинъ проникаетъ собою другой, и оба вмѣстѣ составляютъ одно фантастическое явленіе, въ которомъ раздѣляющія черты почти ускользаютъ отъ взора. Словомъ, у Корреджіо свѣто-тѣнь по началу своему есть также художественный идеалъ: оттого такъ велико ея очарованіе и такъ трудно, если не совсѣмъ невозможно, подражаніе ей. Колоритъ Рембрандта не имѣетъ такихъ глубокихъ корней въ идеѣ: онъ возникъ болѣе внѣшнимъ образомъ; онъ, такъ сказать, пойманъ, схваченъ съ самой природы, и потому механическое подражаніе ему гораздо легче и доступно даже не для таланта. Но возвратимся къ Бельведеру, отъ котораго мы нѣсколько отдалились, погнавшись за свѣто-тѣнью.

Между картинами той же комнаты почти общее вниманіе обращаетъ на себя также картина Гогстратена (Hoogstraeten): «Голова жида въ окнѣ съ рѣшеткою». Эффектъ ея тоже основанъ на оптическомъ обманѣ. Грунтъ картины темный; окно съ рѣшеткою чуть освѣщено; прекрасно отдѣланная голова, кажется, будто выходитъ изъ картины. Но съ другой стороны, эффектъ ослабляется важнымъ недостаткомъ: такъ какъ у фигуры не означены ни плеча, ни шея, то голова представляется въ рѣзкой отдѣльности, сама по себѣ.—Мы перейдемъ въ дру-

гую залу. Она почти исключительно посвящена ландшафту. Картины Ванъ-Артоа (Jacob van Artois), несмотря на свои огромные размѣры, мало способны занять вниманіе. Старательная отдѣлка не вознаграждаетъ у него недостатка въ содержаніи: въ картинахъ его всегда остается пустота, особенно ощутительная при широкихъ размѣрахъ. Мегонъ, Гейтъ, Мусперонъ, Бакгюйзенъ также не представляютъ много замѣчательнаго. Но вотъ имя, которое хочетъ не внѣшняго только вниманія, но требуетъ себѣ вашей симпатіи: это Яковъ Рюисдаль (1635—81). Ландшафтъ въ нидерландской школѣ существовалъ ужъ задолго до него; можно бы даже сказать, что онъ родился съ этою школою. У итальянцевъ были лишь первые элементы ландшафта, которые не развились самостоятельно: идеальное направленіе искусства въ Италіи убивало въ художникахъ этотъ простой смыслъ красоть природы, этотъ тактъ къ пониманію ея поэтической стороны, который естественно данъ былъ нидерландскимъ художникамъ направленіемъ ихъ искусства. Не вносить новые идеалы въ дѣйствительность, но самую дѣйствительность воспроизводить въ художественныхъ идеалахъ—было ихъ назначеніемъ; у нихъ былъ природный смыслъ для этой дѣйствительности, а вмѣстѣ съ нею была близка къ нимъ и самая природа,—невозможно, чтобъ не почувствовали они самостоятельной красоты ея, отдѣльно отъ человѣка. Потому ландшафтъ является у нихъ очень рано. Уже Ванъ-Эйкъ охотно давалъ ему мѣсто въ своихъ картинахъ. Патенъ до того увлекся этою стороною, что пожертвовалъ ей даже значительностію фигуръ, которыя у него въ первый разъ являются лишь внѣшнимъ дополненіемъ ландшафта. Съ той поры ландшафтъ отдѣлился отъ исторіи живописи и привлекъ на свою сторону много талантовъ. Но онъ оставался холоденъ; одно совершенство техники не помогало: ему не доставало души, поэзіи. Надобно было, чтобъ и ландшафтъ наконецъ прошелъ черезъ эту призму и согрѣлся огнемъ внутреннимъ. Ибо, проходя только черезъ эту среду, лучи искусства получаютъ теплотворную силу. Рюисдаль вдохнулъ эту душу въ ландшафтъ, запечатлѣлъ его поэзіею и возвелъ его до идеальности; такимъ образомъ и этотъ родъ занялъ свое настоящее мѣсто въ искусствѣ. То, что внесъ Рюисдаль въ ландшафтную живопись, была его собственная глубокая симпатія къ природѣ—не къ этой праздничной, нарядной, сіяющей радостнымъ блескомъ, которая веселитъ взоръ, но къ природѣ дикой, угрюмой, печальной, задумчивой: его ландшафтъ есть

почти всегда глубоко-поэтическая элегія. Любилъ онъ дикую прелесть лѣсовъ и робкую игру солнечныхъ лучей среди ихъ пустынныхъ полянъ; любилъ, когда пустыня, оживлялась на минуту крикомъ охотниковъ, преслѣдующихъ оленя; любилъ осыненный густою зеленью пригорокъ и вьющуюся по немъ одинокую тропинку, грустно оживленную однимъ лѣнливимъ пѣшеходомъ; любилъ старое дерево, сломанное грозой или брошенное бурею подлѣ широкой дороги, стремительный скатъ ручья по каменистому руслу, черную тучу, завѣсившую горизонтъ, и подъ нею—безмолвное кладбище съ памятниками, поросшими мохомъ забвенія... Онъ любилъ жить мыслию съ этими печальными предметами, и вмѣстѣ съ ними переносить на полотно и свою печальную думу,—я хотѣлъ сказать—свою душу, исполненную любви къ грусти... Отсюда и колоритъ его имѣетъ свою особенную выразительность, которой нельзя подражать, которую еще труднѣе передать словами. Рюисдалъ надобно смотрѣть въ Дрезденѣ. Тамъ его знаменитое «Жидовское кладбище», и его еще болѣе поэтическая «Охота». Изъ четырехъ его картинъ въ Бельведерѣ одна, по мнѣнію знатоковъ, есть верхъ всего, что только было написано его кистью (Viardot, Les Musées d'Allemagne, p. 231). Она изображаетъ «Лѣсъ»—и только? Почти только... или нѣтъ; кромѣ ряда тѣнистыхъ деревьевъ, протягивающихся передъ вами въ длинную перспективу, вы увидите еще надъ ними—голубое небо съ облаками, и внизу—убѣгающую дорогу, на которой можетъ-быть откроете человѣческій слѣдъ. Человѣка же здѣсь нѣтъ. Человѣческое даетъ себя чувствовать развѣ въ этой неуловимой мысли, которою проникнуто цѣлое, и которая обыкновенно такъ ощутительно отдается въ оригинальномъ колоритѣ Рюисдала. Къ сожалѣнію, послѣдняя сторона въ «Лѣсѣ» чрезвычайно слаба, или точнѣе—ослаблена неосторожнымъ дѣйствіемъ подновленія, которое въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказывается весьма губительною именно потому, что стираетъ особенности колорита. Вы скажете, что нельзя стереть колоритъ, не уничтоживъ картины: такъ, но его можно сдѣлать болѣе яркимъ, болѣе свѣтымъ, болѣе прозрачнымъ, и если мысль художника была та, чтобъ набросить на предметы, на самый воздухъ, легкую дымку грусти, оттѣнокъ думы, то легко себѣ представить, какъ велико должно быть превращеніе, когда умышленная полупрозрачность, поэтическая неопредѣленность превращается въ ясное и свѣтлое. Въ Рюисдалѣ особенно: придать только свѣжести его колориту значить уже испортить его. А въ Бель-

ведеръ, какъ я уже замѣчалъ не разъ, вообще господствуетъ метода обновленія, и отъ нея-то въ особенности потерпѣлъ «Лѣсъ» Рюисдаля. Онъ потерпѣлъ, потому что сталъ новъ, свѣжъ, свѣтелъ и прозраченъ; онъ потерпѣлъ, потому что слѣтѣла воздушная мысль художника... Уже потому теряетъ Рюисдаль въ обновленіи, что онъ приближается въ такомъ видѣ къ Гоббемъ, который собственно бы долженъ быть далекъ отъ него. Какъ бы для сравненія съ Рюисдалемъ, въ Бельведерѣ есть также одинъ ландшафтъ Гоббеми.

Послѣ Рюисдаля нельзя пропустить безъ вниманія предшественника его, Винанта (Johann Wynaants). Колоритъ его блѣденъ, лишенъ энергіи — и тѣмъ ближе онъ къ изображаемой имъ дѣйствительности, т. е. къ голландской природѣ — но Винантъ былъ художникъ не безъ поэтического смысла. Хотя только въ зародышѣ, но рюисдалевскіе элементы есть уже и у него. Для Винанта выгоды, если съ нимъ начинаютъ знакомство въ Пинакотекѣ. — Любители туманнаго колорита Вувермана найдутъ здѣсь только одну его картину «Жнецы», хотя не высокаго достоинства. Я съ своей стороны скорѣе останавлиюсь передъ ландшафтомъ Пинакера, изображающимъ «Мѣстность близъ Тиволи» и согрѣтымъ всею теплою итальянскаго неба. Въ это же отдѣленіе попало нѣсколько ландшафтовъ Каспара Пуссена и Жозефа Верна. Картина послѣдняго, представляющая «Видъ отъ Тибра на крѣпость св. Ангела и церковь Петра», можетъ соперничать съ лучшими произведеніями въ этомъ родѣ, хотя художникъ здѣсь еще не въ настоящемъ своемъ элементѣ, какимъ собственно было для него море, какъ спокойное, такъ и волнующееся. Но вотъ существенный недостатокъ Бельведера: ему вовсе не достаетъ Клода Лоррена. Не имѣть между ландшафтами ни одной страницы Клода Лоррена — это то же, что въ собраніи исторической живописи остаться безъ Рафаэля. Въ Вѣнѣ можно найти этого художника только въ галлерей князя Лихтенштейна.

Отсюда мы переходимъ въ залу Ванъ-Дика. Это значитъ перейти отъ ландшафта къ портрету — переходъ вовсе не такъ рѣзкій, какъ казалось бы съ перваго взгляда. Говоря собственно, мы остаемся на той же почвѣ: инныя формы, но условія искусства тѣ же самыя. Дѣйствительная основа нужна портрету еще болѣе, чѣмъ ландшафту: онъ необходимо предполагаетъ ее, какъ условіе *sine qua non*: словомъ, портретъ есть копія живой личности, между тѣмъ какъ ландшафтъ можетъ и не быть копіею дѣйствительной мѣстности. Ясно, что въ

эту минуту мы болѣе, чѣмъ прежде, находимся на настоящей почвѣ фламандскаго искусства. Весьма понятно, почему итальянское искусство до *Тиціана* такъ мало создало въ этомъ родѣ живописи: оно отправлялось отъ другого начала, оно не восходило къ идеаламъ, а исходило отъ нихъ, и если иногда художникъ и здѣсь посвящалъ кисть свою портрету, то потому прежде всего, что портретъ уже по самой Technikѣ необходимо входилъ въ сферу его искусства. Для того, кто живетъ въ идеалахъ, живая дѣйствительность не представляетъ много занимательнаго. Такъ точно, наоборотъ, нидерландское искусство не могло обойтись безъ портрета: въ самомъ уже направленіи сѣверной школы лежала необходимость распространенія этого рода живописи и его возможнаго усовершенствованія. Но какое мѣсто совершенствованію тамъ, гдѣ все дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ вѣрно передать подлинникъ, и, слѣдовательно, какое мѣсто здѣсь самому искусству? Въ одномъ рабскомъ подражаніи, дѣйствительно, не состоитъ искусство; душа искусства есть идеализація. Но только безталантность осуждена на рабское списываніе подлинника; талантъ же и тамъ выходитъ побѣдителемъ, гдѣ передача оригинала остается его главною задачею. Сохранить всѣ черты подлинника и просвѣтлить ихъ идеальностью выраженія—въ такомъ видѣ представляется задача въ этой сферѣ искусства, и мы знаемъ изъ многихъ блестящихъ примѣровъ, что проблема не принадлежитъ къ числу неразрѣшимыхъ. Я сказалъ—изъ многихъ примѣровъ: между тѣмъ, когда рѣчь идетъ о Ванъ-Дикѣ, совершенно достаточно одного его имени, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ назвать и всѣ высокія достоинства художественнаго портрета. Никогда—ни прежде, ни послѣ—не была портретная живопись такъ глубоко идеальна, такъ высоко художественна. Портреты, писанные Ванъ-Дикомъ—не копіи съ живыхъ подлинниковъ, но самыя живыя созданія. Единственный художникъ, который могъ бы спорить на этомъ полѣ съ Ванъ-Дикомъ, есть, безъ сомнѣнія, *Тиціанъ*; но споръ между ними былъ бы споръ о силѣ таланта, а не любви художнической, которая приносится къ труду и которая у *Тиціана* болѣе замѣтна въ идеальныхъ произведеніяхъ, тогда какъ у Ванъ-Дика почти вся отдана портрету. Я не говорю здѣсь о *Деннерѣ*: *Деннеръ* въ своемъ родѣ, конечно, не имѣетъ себѣ соперниковъ, но этотъ родъ есть только *pes plus ultra* подражанія природѣ, и *Деннеръ* есть болѣе искусникъ, нежели художникъ.

Но я говорю о Ванъ-Дикѣ такъ, какъ если бѣ онъ былъ исключительно портретный живописецъ, между тѣмъ какъ въ дѣятельности его такое важное мѣсто занимаетъ живопись историческая. И въ Бельведерѣ, какъ и въ другихъ европейскихъ галлерейхъ, есть много историческихъ картинъ, которыя носятъ на себѣ имя Ванъ-Дика. Не то, чтобъ я хотѣлъ сомнѣваться въ ихъ подлинности: характеръ Ванъ-Дика такъ опредѣлененъ, въ картинахъ его всегда такъ много ему въ особенности свойственнаго, что узнавать не трудно съ перваго взгляда. Но признаюсь, гдѣ между историческими картинами Ванъ-Дика есть портреты его же кисти, я прежде всего останавливаюсь предъ послѣдними и всегда общаю себѣ отъ нихъ вѣрное наслажденіе. И я думаю, со мною не будутъ спорить, если я скажу коротко и ясно, что историческія картины Ванъ-Дика ниже его портретныхъ произведеній. Явленіе весьма замѣчательное, которое достаточно объясняется какъ изъ общаго направленія школы, такъ и изъ свойствъ самаго таланта художника. Ибо таково было общее направленіе фламандскаго искусства, что, начиная съ дѣйствительности, оно легко восходило отъ нея къ идеалу: обратное направленіе было не въ духѣ этой школы, и недостатокъ въ дѣйствительности даннаго основанія большею частію обозначался неопредѣленностью, если только талантъ необыкновенный, какъ-ковъ, на примѣръ, былъ Рубенсъ, не приходилъ на помощь этой немощи. Талантъ же Ванъ-Дика былъ скорѣе чисто-художественный, нежели творческій; въ удѣлъ ему дана была не самобытная фантазія, создающая новые идеальные образы, но собственно такъ называемое искусство—искусство просвѣтлять дѣйствительность до идеальности, и потому, гдѣ ему приходилось начинать прямо съ идеала, онъ или невольно оставался подражателемъ своего великаго учителя (Рубенса), или терялся въ неопредѣленности образа. Такъ, въ мужскихъ фигурахъ Ванъ-Дика почти всегда можно найти сходство съ Рубенсовыми, кромѣ немногихъ счастливыхъ исключеній, къ которымъ въ особенности принадлежитъ «Les trois repentirs» въ Берлинскомъ музеѣ. Нельзя того же сказать о Мадоннѣ: Ванъ-Дикъ не могъ принять этого образа прямо отъ Рубенса, у котораго слишкомъ ярко проступала фламандская дѣйствительность—онъ старался самъ создать себѣ этотъ высокій идеалъ. Но изъ всѣхъ Мадоннъ Ванъ-Дика (которыхъ, какъ извѣстно, весьма много) едва ли есть одна, которая бы идеальностью выраженія подходила къ высокимъ образцамъ, созданнымъ

итальянскую школу. Правда, Мадонна Ванъ-Дика уже очищена отъ этой слишкомъ наивной „человѣчности“, которая такъ сильно проступаетъ во всѣхъ изображеніяхъ Рубенса; но до всей выразительности идеальнаго образа Ванъ-Дикъ возвыситься не могъ, и Мадонна его почти всегда остается кажимъ-то неопредѣленнымъ образомъ. Тѣ ея изображенія, которыя находятся въ Вельведерѣ, принадлежатъ къ лучшимъ. По выразительности и нѣкоторой граціи, мнѣ кажется, выше другихъ въ этомъ родѣ картина подъ № 33, изображающая «Святое семейство»: Марія держитъ на рукахъ Божественнаго Младенца, котораго съ благоговѣніемъ и любовью лобызаетъ Іосифъ. Картина очень проста; но самая эта простота помогла художнику сосредоточиться на нежныхъ образахъ, вошедшихъ въ составъ его картины, и не только гармонически сопоставить ихъ какъ одно цѣлое, но и дать каждому изъ нихъ приличное выраженіе. Однако «Христосъ на крестѣ», вопреки всѣмъ похваламъ этой картинѣ, по моему мнѣнію, вовсе не принадлежитъ къ блестящимъ произведеніямъ исторической живописи. Здѣсь художнику также предстояла трудная борьба съ идеаломъ: онъ уклонился отъ нея, но вмѣстѣ съ нею отказался и отъ идеала и долженъ былъ остаться при одномъ внѣшнемъ эффектѣ. Такой эффектъ въ самомъ дѣлѣ производитъ мрачный фонъ картины, отъ котораго ярко отдѣляется тѣло Распятаго; но въ немъ разлито столько болѣзненнаго, страдальческаго, что вы видите только всеуничтожающее дѣйствіе смерти и ничего духовнаго, божественнаго, что бы въ то же время возвышалось надъ этими страданіями. Съ этой стороны я нахожу болѣе достоинства въ другой картинѣ Ванъ-Дика, представляющей Христа въ терновомъ вѣнцѣ; и передъ нимъ—ругающагося ему воина. «Борьба Самсона съ филистимлянами», захватившимъ героя у Далилы, очевидно, задумана и исполнена болѣе или менѣе подъ влияніемъ смѣлой кисти Рубенса; но какъ бы ни сильно было влияніе учителя въ колоритѣ и даже манерѣ, фигурамъ Ванъ-Дика измѣняется недостатокъ типизма, столько свойственнаго творцу «Quous ego» и «Страшнаго суда». Весьма кстати помѣщены въ той же залѣ картины Крайера (Caspar de Crauer), другаго ученика Рубенса. Онѣ весьма замѣтно отличаются отъ другихъ своими большими размѣрами и многочисленностью фигуръ. Но несмотря на тщательную отдѣлку подробностей, художникъ, кажется, успѣлъ себѣ усвоить отъ учителя не болѣе, какъ его ярко-свѣтлый колоритъ.

Но чтобъ не терять совсѣмъ изъ вида портреты Ванъ-Дика, укажу на портретъ двѣнадцатилѣтняго принца Рупрехта, младшаго сына курфюрста пфальцскаго Фридриха V; портретъ старшаго его сына, принца Карла Лудвига; далѣе, портретъ кавалера Филиппа Le Roy, испанскаго совѣтника въ Нидерландахъ; портретъ маркиза Франческо де-Монкада, начальника испанскаго войска въ Нидерландахъ; портретъ Иоганна Монфорта, нидерландскаго генераль-штатгальтера; портретъ ректора іезуитской коллегіи въ Антверпенѣ Карла Скрибани; столько разъ повторенный портретъ инфантинны Изабеллы-Клары-Евгеніи; наконецъ цѣлый рядъ портретовъ неизвѣстныхъ лицъ какъ мужескаго, такъ и женскаго пола... Известно, что Ванъ-Дикъ переписалъ чуть не всѣхъ своихъ именитыхъ современниковъ, даже и такихъ, которые вовсе и не помышляли о безсмертіи. На долю Бельведера досталась изъ нихъ часть весьма богатая, какъ видите. На многія изъ этихъ лицъ вы можете-быть не захотѣли бы взглянуть въ натурѣ, а теперь останавливаетесь, заглядываясь на нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, жизнь, прошедшая черезъ искусство, просвѣтлившаяся въ его идеальномъ свѣтѣ, имѣетъ свою необыкновенную прелесть, какъ бы въ доказательство — не первое, а развѣ тысяча первое—того, что дыханіе искусства само исполнено жизненной силы, что въ немъ перерожденная жизнь еще болѣе приобретаетъ въ очарованіи. Особенно посмотрите на портреты неименитыхъ людей, по крайней мѣрѣ неизвѣстныхъ по имени—на этого прекраснаго мужчину въ цвѣтѣ мужескаго возраста, съ небольшою остроконечною бородою, въ черной мантии: въ его чертахъ, глазахъ особенно, какая красота свѣжей, здоровой жизни, и какъ въ то же время умѣлъ художникъ возвысить, облагородить выраженіе этого лица! Или взгляните на эту «Бюргершу», въ черномъ платьѣ съ красивыми манжетами: она уже болѣе, чѣмъ среднихъ лѣтъ; лѣта унесли съ собою ея прежнюю привлекательность; званіе бюргерши не могло придать ей никакого особеннаго выраженія; но на васъ вѣетъ съ портрета жизнію, въ немъ вы находите и выраженіе и значеніе, хотя это выраженіе есть только благородно-простая, т. е. чуждая всякихъ претензій мина лица, принадлежащаго извѣстному званію. Нѣтъ конечно въ Бельведерѣ портрета «Антверпенскаго бургомистра», которымъ по справедливости гордится Пинакотекa; но если не въ самомъ Бельведерѣ, то въ той же Вѣнѣ, именно въ галлерей князя Лихтенштейна, есть два портрета, къ которымъ

можно сто разъ возвратиться и послѣ знаменитаго «Бургонистра»: это—«Валленштейнъ» и «Княжна Турнь-Таксисъ» Ванъ-Дика. Хотите читать въ самыхъ глазахъ Валленштейна его думы тайныя, его неукротимо-гордые страсти, его духъ честолубивый и непреклонный?—смотрите на портретъ его. Хотите видѣть цвѣтъ и роскошь красоты человѣческой и чувствовать на себѣ ея неодолимое обаяніе?—смотрите на портретъ княжны Турнь-Таксисъ. Какія черты, какая головка, и эти черные, кудрявые волосы, въ которые она закутана, не завитые, не заплетенные, но которыхъ густыя пряди убраны самою природою съ какимъ то прихотливымъ изяществомъ. Это пока сама природа, хотя природа—въ ея изумительной роскоши. Но чтó же есть еще въ этомъ лицѣ, въ глазахъ особенно? чтó приковываетъ васъ къ картинѣ? чтó побуждаетъ васъ перепробовать всѣ точки зрѣнія и вездѣ испытать то же чувство? чтó, наконецъ, заставляетъ васъ нѣсколько разъ возвращаться къ той же картинѣ, если вы на минуту и успѣли оторваться отъ очарованія?.. Впрочемъ вѣдь мы не въ галлерей князя Лихтенштейна.

Мы въ Бельведерѣ, и отъ Ванъ-Дика переходимъ къ Рубенсу. Ему посвящены цѣлыя двѣ залы, изъ которыхъ первая, по обширности своей, едва ли не первая въ цѣлой галлерей. Какое богатство! Блескъ и роскошь красокъ ослѣпляютъ васъ, едва только вы входите въ первую залу: вы дѣйствительно въ присутствіи Рубенса! Не одна только яркость колорита производитъ этотъ удивительный эффектъ: его производитъ гораздо болѣе исполинская фантазія художника, которой равную трудно указать во всей области его искусства. Рубенсъ—это Шекспиръ живописи, это сила и легкость, энергія и необъятность творчества вмѣстѣ. Только ему дано было произвести такъ много въ сравненіи съ короткою жизнію человѣческою и почти ни разу не повторить въ этомъ множествѣ произведеній всякаго рода: есть частности, которыя встрѣчаются не одинъ разъ, но цѣлое всегда ново, всегда самостоятельно. Не говоря уже о колоритѣ Рубенса, составляющемъ его неотъемлемую и нераздѣльную собственность, въ самомъ рисункѣ его всегда есть двѣ стороны, по которымъ можно измѣрить необъятную мощь его фантазіи. Во-первыхъ, эта смѣлая, широкая концепція, почти всегда обнимающая въ себѣ множество фигуръ самыхъ разнообразныхъ. Во многихъ картинахъ можно отличать два и три отдѣльные плана, изъ которыхъ каждый совершенно занять своею группою, непохо-

ю на другія. Таковъ его «Страшный судъ», «Паденіе ихъ духовъ», «Казнь грѣшниковъ», «Вознесеніе Божіей тери», и проч. проч. У Рубенса никогда нѣтъ пустоты: въ картинахъ тѣсно отъ жизни, которая является здѣсь въ яркихъ формахъ, въ самыхъ смѣлыхъ и разнообразныхъ положеніяхъ. Въ немъ самомъ была неистощимая внутренняя полнота фантазіи несмотря на огромные размѣры, которые онъ обыкновенно бралъ для своихъ произведеній; ему тогда было мало одной картины, чтобъ дать мѣсто всему, производила его плодотворная фантазія на данную тему. Въ наметкѣ есть, такъ сказать, черновые эскизы Рубенса. Действующіе тѣ же самые предметы, которые изображены въ лучшихъ его картинахъ: сравните, и вы увидите, какъ въ лучшихъ трудныхъ и отвлеченныхъ концепціяхъ художникъ тогда умѣлъ быть новымъ и разнообразнымъ. Ни одна картина не походитъ на свой первоначальный эскизъ. Непостижимая роскошь! Но этимъ художникъ не ограничился: поновка многочисленного и разнообразнаго цѣлаго не истощила всѣхъ его силъ. Если въ цѣломъ рисунокѣ художникъ копировалъ изъ обыкновенныхъ тѣсныхъ предѣловъ, то въ подробностяхъ, въ каждой отдѣльной фигурѣ, онъ превосходилъ себя. Отъ него не ускользалъ ни одинъ образъ: каждый изъ здѣсь со всею яркостью и опредѣленностью характеристики. Не то, чтобъ фигура носила только человѣческій образъ: непременно въ то же время есть живое лицо, непохожее другія, характеръ, сообразный положенію фигуры и мысли ора. Такъ точно Шекспиръ: къ чему онъ ни прикасался, подъ рукою все превращалось въ живую, индивидуальную личность. Оттого всѣ картины Рубенса запечатлѣны истиннымъ измомъ, и вотъ то, чего никогда не могли перенять у него тѣ талантивые его ученики, такъ легко усвоившіе себѣ многое изъ его превосходнаго колорита. Гдѣ дѣло касается творчества, тамъ Рубенсъ стоитъ одинъ, рѣзко отдѣляясь отъ всего его окружающаго. Но — Рубенсъ также принадлежъ къ фламандской школѣ. Какъ будто всякая индивидуальность непременно должна носить отпечатокъ общаго, къ которому она принадлежитъ, подъ вліяніемъ котораго она развиваетъ свою дѣятельность! И фантазія Рубенса, какъ ни смѣлая, какъ ни полетѣла ея, какъ ни легко давалось ей все чистое, не могла оторваться отъ земли и возвыситься надъ того чистаго идеала, какимъ онъ является у великихъ художниковъ итальянской школы. Еще болѣе: она жила

на землѣ и отсюда непосредственно переносила на полотно самыя типическія черты, хотя съ смѣлостью и ловкостью невѣроятными. Только въ области собственно фантастическаго Рубенсъ былъ совершенно самобытенъ и создавалъ независимо. Въ этомъ отношеніи онъ мнѣ опять напоминаетъ Шекспира. Изъ того, что встрѣчается въ «Бурѣ» Шекспира, многое бы можно поставить въ параллель съ созданіями Рубенсовой фантазіи въ «Quos ego»; или еще я думаю, что вѣдьмы въ Макбетѣ могли бы найти себѣ приличный образъ въ пластическомъ искусствѣ только подъ рукою Рубенса. Но тамъ, гдѣ идеаль долженъ явиться въ собственно человѣческомъ образѣ, у Рубенса часто слишкомъ сильно сказывается фламандская натура. Въ особенности это относится къ Рубенсовымъ женщинамъ—почти ко всѣмъ безъ исключенія. Здѣсь Рубенсъ совершенно расходится съ Шекспиромъ—ибо нѣтъ ничего подъ луною столько сходнаго, что бы въ то же время не было и существенно различно хотя въ нѣсколькихъ точкахъ. Думая изобразить женщину, Рубенсъ всегда рисовалъ фламандку, и всего чаще—свою жену. Типъ фламандской женщины такими глубокими чертами былъ вѣзанъ въ его воображеніи, что онъ не могъ освободиться отъ него. Я знаю только два болѣе или менѣе счастливыя исключенія: одно—въ «Вознесеніи Божіей Матери», въ галлерей князя Лихтенштейна, и другое—въ «Страшномъ судѣ», въ Пинакотекѣ. Здѣсь Рубенсъ если и не возвысился до идеала, то въ значительной степени освобождается отъ грубаго натурализма, столько ощутительнаго съ этой стороны въ другихъ его произведеніяхъ. Этимъ же натурализмомъ проникнуты у Рубенса и всѣ нимфы и ореады, гдѣ только онъ у него встрѣчаются; но тотъ, кто хочетъ видѣть этотъ натурализмъ во всей его грубой животности, тотъ долженъ смотрѣть въ мюнхенской Пинакотекѣ на «Пянаго Геркулеса», и при немъ—еще болѣе пьяную вакханку. Впрочемъ мы опять удалились отъ Бельведера...

Чтобъ судить о богатствѣ Бельведера въ этомъ отношеніи, надобно знать на первый разъ, что большая зала, о которой я говорилъ, вся сплошь наполнена произведеніями Рубенса. Ихъ считается здѣсь 23, въ томъ числѣ 6 огромныхъ размѣровъ: «Игнатій Лойола, испѣляющій бѣснующихся», «Вознесеніе Божіей Матери», «Францискъ Ксавье, проповѣдующій Евангеліе въ Индіи», Св. Амвросій, воспрещающій Теодосію входить во храмъ», «Четыре части свѣта», представленныя въ

аллегорическихъ фигурахъ, и «Союзъ Фердинанда III Венгерскаго съ Карломъ Фердинандомъ, инфантомъ испанскимъ». Общій эффектъ каждой изъ этихъ картинъ удивительный, особенно «Лойолы» и «Ксавье». Рисунокъ смѣлый, твердый; фигуры исполнены выраженія, положенія разнообразныя и непринужденныя. Къ сожалѣнію, въ подробностяхъ замѣтенъ недостатокъ отчетливости—вслѣдствіе излишней поспѣшности, безъ сомнѣнія—недостатокъ, который особенно ярко выходитъ наружу, когда картина подвергается такъ называемому возобновленію. Не надобно забывать, что дѣло идетъ о Рубенсѣ. Его яркій колоритъ всего менѣе имѣетъ нужду въ искусственномъ освѣженіи: онъ болѣе теряетъ, нежели выигрываетъ, когда съ него снимаютъ этотъ легкій оттѣнокъ, который налагаетъ время. Всякій недостатокъ въ отдѣлкѣ становится тогда яркимъ и бросается въ глаза; дѣйствіе нѣкоторыхъ красокъ безъ нужды увеличивается, гармонія ихъ теряется. Особенно потерпѣли „бѣсноватыя“, занимающіе въ «Лойолѣ» всю нижнюю часть картины. Конечно въ мысли самого художника было выразить въ лицахъ и положеніяхъ этихъ людей ихъ насильственное состояніе; но здѣсь есть предѣлъ, весьма тонкій и весьма чувствительный, за который не должно переходить искусство, и за который однако заставляютъ его выходить даже противъ воли художника, когда быстро набросанные имъ сильныя оттѣнки выходятъ, посредствомъ искусственнаго подновленія, въ свѣтъ гораздо болѣе яркомъ, нежели какъ онъ самъ того могъ желать. И, къ сожалѣнію, наиболѣе должны терпѣть въ такомъ случаѣ главныя фигуры. Надобно испытать, напримѣръ, что за странное впечатлѣніе производитъ слишкомъ яркое выступленіе простой краски на лицѣ Θεодосія въ прекрасной картинѣ, изображающей его передъ св. Амвросіемъ... Нѣтъ, такимъ не могъ выйти Θεодосій изъ подъ руки Рубенса! И потомъ, я имѣю еще болѣе разительное доказательство: эскизъ «Проповѣди Ксавье», менѣе потерпѣвшій отъ подновленія, производитъ гораздо болѣе гармоническое впечатлѣніе, нежели большая картина. Но, къ счастью, вы можете перейти въ другую залу, также рубенсовскую, гдѣ глазъ вашъ отдыхаетъ. Здѣсь помѣщены картины, къ которымъ или подновленіе приходится довольно кстати, или въ которыхъ художественная отдѣлка такъ вѣрна, что онѣ ничего не теряютъ и при возобновленіи. Къ первымъ относится—«Портретъ второй жены Рубенса, Елены Форманъ»,—предметъ, трактованный имъ столько и столько разъ. Вѣнскій

экземпляръ, кажется, долженъ перещегоолять всѣ другіе. Она написана во весь ростъ; лишь небрежно переброшенная мѣховая мантилья слегка покрываетъ ея обнаженное тѣло. Эти формы конечно не самыя изящныя; положеніе (attitude) тоже не самое счастливое: но что за блескъ, что за жизненный блескъ красокъ! Немного подобнаго можно узнать и у самого Рубенса. Это возвышенный до идеала блескъ живого человеческого тѣла... И, что особенно рѣдко у Рубенса, художественная отдѣлка проведена съ удивительнымъ постоянствомъ: видно, что отъ первой черты до послѣдней художникъ работалъ сопъ амого. Рѣзкую противоположность къ фигурѣ Елены Форманъ составляетъ «Портретъ императора Максимилиана» въ рыцарскомъ вооруженіи и также во весь ростъ. Никто не умѣлъ такъ схватывать характеристическое, какъ Рубенсъ: когда смотришь на этотъ портретъ, какъ много понятнѣе становится историческій Максимилианъ! Но вотъ наконецъ и самая великолѣпная страница изъ всѣхъ, какія только носятъ въ Бельведерѣ имя Рубенса. Это большія складни (триптикъ), которыхъ центральная часть изображаетъ Богоматерь и передъ нею св. Ильдефонса, принимающаго изъ рукъ ея церковныя одежды, между тѣмъ какъ на крыльяхъ изображены въ благоговѣйномъ положеніи: съ одной стороны — эрцгерцогъ Альбрехтъ, оберъ-шталмейстеръ Испанскихъ Нидерландовъ, а съ другой — супруга его Клара-Изабелла-Евгенія. Это, безспорно, одно изъ самыхъ выдержанныхъ произведеній Рубенса. Всѣ части картины изложены въ благороднѣйшемъ стилѣ; въ каждой фигурѣ такъ много достоинства; колоритъ великолѣпный и въ тоже время чрезвычайно ровный и отчетливый; вообще, въ цѣлой картинѣ господствуетъ одинъ тонъ, который не нарушаетъ никакая дисгармонія. Изъ всѣхъ произведеній Рубенса, во множествѣ собранныхъ въ трехъ вѣнскихъ галлереяхъ, складни могутъ уступить развѣ только «Вознесенію Богоматери» (въ галлерей князя Лихтенштейна): по силѣ возвышеннаго творческаго элемента и превосходной группировкѣ, этой картинѣ должно принадлежать одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ ряду многочисленныхъ созданій Рубенса. О «Кающейся Магдалинѣ» я упомяну только для того, чтобъ сказать, что въ ней ощутителенъ недостатокъ именно тѣхъ достоинствъ, которыя особенно отличаютъ складни. Картину разнообразную и живую, исполненную жизни и движенія, представляетъ «Праздникъ Венеры на островѣ Цитерѣ». Здѣсь опять нельзя

не удивляться необыкновенной плодовитости фантазіи Рубенса. Но къ сожалѣнію, между множествомъ грацій, нимфъ и т. п., которыми заняты всѣ части картины, весьма ощутителенъ недостатокъ граціи—это уже вообще не рубенсовскій элементъ. Далѣе, любопытно взглянуть на два ландшафта его же кисти: и здѣсь Рубенсъ остается оригинальнымъ и самостоятельнымъ... Но такимъ образомъ мы бы никогда не кончили съ Рубенсомъ. Довольно замѣтить, что и въ этой второй залѣ находится до 20 его произведеній.

Рубенса вы встрѣчаете еще разъ потомъ и въ слѣдующей залѣ: но собственно уже это зала Теньера, къ которому, или, лучше сказать, къ которымъ присоединяются еще Снайдерсъ, Йорденсъ и другіе ближайшіе ученики Рубенса. Теньеръ былъ современникомъ Рубенса; но Теньеромъ начинается уже та эпоха нидерландскаго искусства, когда оно, оставаясь вѣрнымъ своему началу, отказывается отъ всякой идеализаціи и спорить съ дѣйствительностью уже не столько въ колоритѣ, сколько въ самомъ содержаніи. Плодомъ такого направленія былъ такъ называемый *genre*, или Теньеръ—ибо это все равно,—плодъ конечно превосходный въ своемъ родѣ, но тѣмъ не менѣе осенній. Отъ обоихъ Теньеровъ Бельведеръ владѣетъ значительнымъ числомъ произведеній, которыя во всякомъ случаѣ могутъ доставить зрителю много удовольствія. Но, во-первыхъ, Теньеръ говоритъ только самъ за себя: чтобъ знать прекрасную сторону Теньера, надобно быть знакомому съ нимъ непосредственно, такъ сказать, лично; во-вторыхъ, Теньеръ всегда такъ вѣренъ себѣ, что нѣтъ никакой причины говорить о той или другой его картинѣ порознь: говорить или не говорить слѣдуетъ уже о цѣломъ его родѣ вообще. Но я не считаю здѣсь приличнымъ пускаться въ общія разсужденія, и чтобъ не задерживать читателей, прохожу немедленно въ слѣдующую залу. Здѣсь, между второстепенными учениками Рубенса—Диппенбекомъ и Ванъ-Тульденомъ, между Ванъ-Баленомъ (Van Baalen), Гонгорстомъ (Gerhard Honthorst), Сустерманомъ, Ванъ-деръ-Гельстомъ и другими, пріятно еще разъ встрѣтить Йорденса въ картинѣ «Юпитеръ и Меркурій въ гостяхъ у Филемона и Бавкиды». Ужъ конечно, вы не ожидаете, чтобъ интересъ картины сосредоточивался на Юпитерѣ и Меркуріи: въ самомъ дѣлѣ, несмотря на всю важность двухъ первыхъ особъ, несмотря на то, что онѣ не только боги, но и гости, у Йорденса главными лицами выходятъ почтенные хозяева. Юпитеръ и Меркурій здѣсь только для мебели: ясно, что они

были нужны художнику только для сюжета картины; но весь свой талантъ и весь свой юморъ онъ посвятилъ Филемону и Бавкидѣ. Высшій галлерея (отличающійся отъ обыкновеннаго не принципомъ, а тѣмъ только, что сфера его градусами двумя повыше), тотъ, который прославленъ Міерисами, Падкенами, Тербургами, Доу и другими, въ Бельведерѣ очень скученъ сравнительно съ другими частями. Есть почти всѣ имена, но отличить можно весьма немногихъ. Въ этомъ отношеніи, Пинакотека и Дрезденская галлерей значительно выше Бельведера. За то „Бѣлый кабинетъ“ (высшій галлерея помѣщается въ „Зеленомъ“) обильно снабженъ прекрасными прѣсами по части плодовъ и цвѣтовъ—не въ натурѣ конечно, а на подотнѣ, но такъ, что искусство спорить съ натурою. Разумѣется, что живые цвѣты Люйбаума (Luisium) блестятъ на первомъ планѣ.

Отсюда намъ слѣдовало бы перейти въ верхній этажъ—къ историческому отдѣленію; но читатели, утомленные длиннымъ путешествіемъ, требуютъ снисхожденія. Я, съ своей стороны, послѣ того обзорѣнія, которое мы уже сдѣлали, не могъ бы обѣщать имъ въ дальнѣйшемъ путешествіи ничего равнаго тѣмъ великимъ именамъ, которыя мы оставили назади: какъ ни много вѣсятъ такіа имена, какъ Ванъ-Эйкъ, Гольбейнъ, Дюреръ, но ихъ достоинство болѣе относительное, историческое, нежели положительное; притомъ, недостатокъ свѣжести вниманія былъ бы для нихъ невыгоденъ. Не отказываясь вовсе отъ удовольствія поговорить въ другой разъ и объ историческомъ отдѣленіи Бельведера, я нахожу, что, въ настоящую минуту по крайней мѣрѣ, всего приличнѣе отеланяться Бельведеру и—моимъ читателямъ.

Венера Милосская.*

Луврское собраніе произведеній древняго и новаго искусства далеко не первое въ Европѣ. Античная его часть, хотя занимаетъ нѣсколько большихъ залъ, впрочемъ покажется очень скудна тому, кто напередъ познакомился съ Ватиканскимъ музеемъ или съ неапольскими студіями. Галлерей итальянской и голландской живописи въ Луврѣ не поспоритъ богатствомъ первокласныхъ произведеній ни съ дрезденскимъ собраніемъ, ни съ мюнхенскою Пинакотекою. За то едва ли откуда можно вынести столько разнообразныхъ впечатлѣній, сколько изъ Лувра. Только что познакомившись, въ нижнихъ частяхъ зданія, съ древнимъ искусствомъ въ лучшихъ, хотя и немногихъ его образцахъ, вы можете, лишь сдѣлавши нѣсколько ступеней вверхъ, но не выходя изъ стѣнъ дворца, перенести ваше любопытство и ваше вниманіе къ произведеніямъ лучшихъ школъ новой живописи. Если не всегда по качеству, то по числу произведеній, это собраніе безспорно есть одно изъ самыхъ богатыхъ. И какъ бы для того, чтобы возвысить для васъ цѣну тѣхъ впечатлѣній, которыя могутъ дать особенно произведенія итальянскихъ школъ, васъ ведутъ сюда черезъ большое собраніе эффектныхъ картинъ туземныхъ мастеровъ. Немного въ сторону отсюда, но все въ стѣнахъ того же самаго зданія, найдете вы еще довольно значительный выборъ произведеній испанской кисти. Нельзя сказать, чтобы выборъ былъ очень счастливъ: Испанія бережетъ свои національныя богат-

* Этотъ очеркъ первоначально появился въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1847 г. въ видѣ „письма къ другу“ и за подписью „А. Н.“ (т. е. А. Нестроевъ, — псевдонимъ П. Я. Кузьявцева). Затѣмъ онъ былъ перепечатанъ въ «Пропіяеяхъ» 1851 г. съ краткимъ предисловіемъ автора и замѣчаніями редактора П. М. Леонтьева; въ этомъ видѣ онъ помѣщается и здѣсь.

ства у себя дома и не любить отступаться отъ нихъ въ пользу другихъ. Но это собраніе много выигрываетъ тѣмъ, что оно отдѣлено отъ всего посторонняго, что въ него не допущено никакой чужой примѣси, и я не знаю, гдѣ бы лучше чувствовался тотъ мрачный и часто даже фанатическій духъ, которымъ вѣетъ на зрителя большая часть произведеній испанской живописи. Я никогда не забуду изображенія одного старика, который, съ фанатическою рѣшимостью, собственными руками раздираетъ себѣ грудь, глубоко прорѣзанную напередъ острымъ орудіемъ. Свѣтлопрозрачнаго Мурильо здѣсь нѣтъ, кромѣ лишь немногихъ экземпляровъ: его кроткія Мадонны очень расчетливо поставлены между произведеніями Рафаэля, Корреджіо, Винчи. Тамъ имъ настоящее мѣсто: тамъ впечатлѣніе, ими производимое, гораздо болѣе гармонируетъ съ общимъ. Не говорю наконецъ о вновь открытыхъ памятникахъ древняго ассирійскаго искусства, которыхъ значительная часть, какъ извѣстно, также нашла себѣ мѣсто въ Луврѣ: мое знакомство съ луврскимъ собраніемъ относится къ прежнимъ годамъ, когда памятники еще не были доставлены во Францію.

Для меня луврское собраніе служило кромѣ того повѣркомъ моихъ прежнихъ впечатлѣній и наблюденій. Какъ ни случайно составились всѣ подобныя собранія, каждое изъ нихъ впрочемъ могло бы считаться какъ бы продолженіемъ другого—не въ смыслѣ только прибавленія новыхъ экземпляровъ уже извѣстнаго штемпеля, но въ смыслѣ раскрытія совершенно новыхъ сторонъ въ одномъ и томъ же талантѣ. У cadaго художественнаго таланта есть свои главныя, преобладающія черты, которыя рѣзко выходятъ на видъ почти въ каждомъ его произведеніи, и есть другія, болѣе тонкія и вмѣстѣ болѣе глубокія черты, которыя вскрываются лишь при случаѣ. Чтобы оцѣнить художника вполнѣ, надобно узнать его даже въ самыхъ рѣдкихъ его особенностяхъ. Иначе, пожалуй, придется вовсе отказать ему въ иномъ свойствѣ потому только, что неизвѣстны сильныя, хотя и немногія его выраженія. Караваджіо напримѣръ, въ своихъ историческихъ произведеніяхъ былъ для меня до Лувра выраженіемъ грубаго, хотя и очень характернаго натурализма. Я увидѣлъ его «Успеніе Богоматери» и былъ пораженъ силою и глубиною простого, но искренняго скорбнаго чувства, разлитаго во всѣхъ лицахъ, которыя наполняютъ картину. Для меня стала ясна новая, дотолѣ почти не подозрѣваемая сторона въ талантѣ этого художника, которая можетъ значительно возвысить цѣну и прочимъ. За то Ру-

бенсъ, столько великолѣпный и поразительный въ Бельведерѣ, еще болѣе въ Пинакотеѣ, здѣсь разоблачился для меня съ своей слабой стороны. Лувръ также владѣетъ большимъ количествомъ его произведеній, но это большею частію картины историко-аллегорическаго содержанія. Кисть такъ же широка и свободна, лица, повидимому, такъ же типичны, какъ и вездѣ, и однако я не знаю, гдѣ бы за этою внѣшнею типичностью скрывалось болѣе внутренней пустоты. Этою слабою стороною нисколько не устраняются высокія свойства таланта художника: они остаются при немъ неотъемлемо; лишь понятіе о немъ выигрываетъ въ истинности. А для знакомства съ глубокимъ Леонардо—гдѣ собрано больше видовъ любимаго его типа, чтобы можно было слѣдить за постепеннымъ его развитіемъ? И чтобы узнать Пуссена съ лучшей его стороны, надобно также видѣть его произведенія въ античномъ стилѣ, выставленныя въ Луврѣ, и сравнить ихъ съ прочими произведеніями кисти того же художника, сколько ихъ находится тамъ же. Будетъ излишнимъ говорить, что о французской школѣ, особенно времени имперіи и послѣдующихъ, нигдѣ нельзя получить болѣе вѣрнаго понятія, какъ въ луврской галлерей.

Это разнообразіе и вмѣстѣ поучительность впечатлѣній, получаемыхъ въ Луврѣ, внушили мнѣ нѣкогда мысль—въ цѣломъ рядѣ писемъ передать мои наблюденія русскимъ читателямъ. Но, прежде чѣмъ я успѣлъ и въ половину выполнить мое намѣреніе, Лувръ былъ закрытъ для посѣтителей, и я самъ долженъ былъ по обстоятельствамъ оставить Парижъ и ѣхать на югъ. По однимъ воспоминаніямъ, какъ бы они ни были свѣжи, я не могъ продолжать моей работы, и начало должно было остаться не только безъ конца, но даже и безъ продолженія. Въ настоящее время издатель «Археологическаго сборника» нашелъ не неумѣстнымъ напомнить читателямъ своей книги мое первое письмо о Луврѣ, заключающее въ себѣ очеркъ Венеры Милосской. Пользуясь этимъ случаемъ, я счелъ за нужное объяснить поводъ, которому мой очеркъ обязанъ своимъ происхожденіемъ.

Войдемъ въ Лувръ. Угадываю твое желаніе итти вверхъ по лѣстницѣ, чтобъ прямо очутиться среди чудесъ итальянской живописи—среди нѣкоторыхъ чудищъ предпоследней французской школы, прибавлю я. Но благо въ моей власти воздержать на минуту твое нетерпѣніе: нѣтъ, я не поведу тебя

прямо вверхъ. Прежде, чѣмъ мы войдемъ въ храмъ искусства новаго, нельзя, чтобъ мы прошли мимо и не заглянули хоть на минуту въ античное отдѣленіе, которое расположено внизу, прямо передъ входомъ. Только на минуту: спѣша къ новому, мы не промедлимъ здѣсь долго. Думаешь можетъ-быть, что мы такъ далеко ушли отъ древней жизни, что вовсе потеряли наконецъ способность понимать ее безъ книги, что не можемъ даже обонять, безъ помощи рефлексіи, благоуханіе лучшаго цвѣта древности, благоуханіе ея вѣчно юнаго искусства? Приди и посмотри. Тебѣ, правда, не достанется добавить остальное слово Цезаря, но за то ты сознаешься, что ты—побѣжденъ.

Здѣсь, въ отдѣленіи древностей, мы все будемъ спѣшить; мы не пойдемъ удивляться ни «Гладиаторамъ», ни «Боргезскому бойцу», ни «Палладѣ изъ Веллетри»; не остановимся даже предъ столь занимательною «Луврскою Діаной», которая впрочемъ—странное дѣло!—едва ли не больше нравится въ гравюрѣ, въ рисункѣ, чѣмъ въ самой статуѣ (ты можешь не вѣрить, но я рассказываю тебѣ мои впечатлѣнія); не будемъ, наконецъ, восхищаться ни самою «Боргезскою вазою»: если ужъ на то пошло, мы сдѣлаемъ этотъ ужасный промахъ и пойдемъ—прямо къ «Венерѣ Милосской». Прямо къ ней пусть идетъ всякій, кто не вѣруетъ въ нашу воспримчивость для древняго искусства, или кто хочетъ наслажденія имъ полнаго, живого, непосредственнаго. Я говорю—*непосредственно*: потому что въ самомъ дѣлѣ мы, новые, часто къ самой возможности наслажденія должны доходить путемъ книжнымъ; теперь изъ книги напередъ выучишься смотрѣть на вещи, чтобъ наслаждаться ими. Древніе имѣли въ этомъ передъ нами несказанное преимущество: они жили—это значитъ наслаждались, и не знаю, рассуждали ли даже послѣ, — а мы напередъ учимся, то-есть немножко страдаемъ, и потомъ уже приходимъ къ наслажденію. Родимся ли мы съ завязанными глазами? Нѣтъ, конечно; но весь этотъ древній міръ, а съ нимъ, слѣдовательно, и древнее искусство, завѣшены для нашихъ глазъ покровомъ нѣсколькихъ вѣковъ, въ которые мы не жили, и въ которые между тѣмъ вырабатывалась жизнь новая,—та, къ которой принадлежимъ мы и нашъ взглядъ на вещи. Чтобъ этотъ покровъ сдѣлался наконецъ проницаемъ и для нашего глаза, мы должны употребить усиліе. И сколько вѣковъ прошло прежде, чѣмъ даже острый глазъ Винкельмана угадалъ присутствіе генія въ остаткахъ древняго искусства, такъ сказать ощупаль его жизненный пульсъ!

Но сіяющей красоты Венеры Милосской не въ состояніи закрыть самыя вѣка. Если только красота не чужое твоему природному чувству, если ты видѣлъ и замѣтилъ ее въ жизни, ступай прямо, безъ всякаго ухищренія, къ этому прекрасному образу; не только ты почувствуешь и, если хочешь, поймешь эту красоту,—онъ лучше многихъ руководствъ введетъ тебя въ тайны древняго искусства. Тогда бы ты понялъ и то, какъ невозможно не говорить о ней, видѣвъ ее нѣсколько разъ; и признаюсь—у меня есть упрямое желаніе сказать о ней два-три слова. Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ тѣ, которые такъ часто повторяютъ имена: Аполлонъ Бельведерскій, Венера Медичейская, которые даже наполняютъ ими свои стихи и свою прозу,—чтобъ они хотя *послѣ* этихъ именъ называли еще—Венеру Милосскую.... Что за суетное желаніе, особенно когда подумаешь, что называть вещь изъ области искусства, не почувствовавъ красоты ея своимъ собственнымъ глазомъ, значитъ издавать звуки, хотя бы и громко бряцающіе, но никакимъ смысломъ не оживленные!.. Но ужъ если мы осуждены, часто безъ смысла, повторять чужіе звуки, то пусть повторяемъ ихъ по крайней мѣрѣ въ порядкѣ! А этотъ порядокъ—чтобъ ужъ показать всю правду—таковъ, что, назвавъ Венеру Милосскую, можно еще переждать нѣсколько минутъ, чтобъ потомъ уже произнести имена Аполлона Бельведерскаго и Венеры Медичейской.

Насъ впрочемъ обвинять тутъ вовсе не за что: въ томъ, что мы, поставленные судьбою за границею древняго художественнаго міра, видимъ его высочайшій цвѣтъ въ Аполлонѣ Бельведерскомъ и Венерѣ Медичейской, гораздо меньше грѣха, чѣмъ когда мы представляемъ себѣ страсбургскій мюнстеръ самымъ полнымъ и чистымъ выраженіемъ готическаго искусства, какъ бы вовсе и не подозрѣвая существованія кааедра кѣльнскаго или фрейбургскаго, и пр. Еще не такъ далеко то время, когда, вслѣдъ за Винкельманомъ, вся Европа думала, что извѣстная статуя во дворцѣ Медичисовъ есть лучшее выраженіе идеала Венеры. Что говорить! Винкельманъ даже умеръ, не подозрѣвая существованія Венеры Милосской.... Только въ 1820 году вышла она изъ земли.

Я не знаю лучшаго положенія для женскаго тѣла. Это—положеніе вмѣстѣ и женскаго величія и самой граціозной небрежности, той, въ которой уничтожается и малѣйшій слѣдъ принужденности. Опирая тяжесть корпуса на правую ногу, лѣвую она отставила нѣсколько впередъ, поставивъ ее на ма-

на землѣ и отсюда непосредственно переносила на полотно самыя типическія черты, хотя съ смѣлостью и ловкостью невѣроятными. Только въ области собственно фантастическаго Рубенсъ былъ совершенно самобытенъ и создавалъ независимо. Въ этомъ отношеніи онъ мнѣ опять напоминаетъ Шекспира. Изъ того, что встрѣчается въ «Бурѣ» Шекспира, многое бы можно поставить въ параллель съ созданіями Рубенсовой фантазіи въ «Quos ego»; или еще я думаю, что вѣдьмы въ Макбетѣ могли бы найти себѣ приличный образъ въ пластическомъ искусствѣ только подъ рукою Рубенса. Но тамъ, гдѣ идеаль долженъ явиться въ собственно человѣческомъ образѣ, у Рубенса часто слишкомъ сильно называется фламандская натура. Въ особенности это относится къ Рубенсовымъ женщинамъ—почти ко всѣмъ безъ исключенія. Здѣсь Рубенсъ совершенно расходится съ Шекспиромъ—ибо нѣтъ ничего подъ луною столько сходнаго, что бы въ то же время не было и существенно различно хотя въ нѣсколькихъ точкахъ. Думая изобразить женщину, Рубенсъ всегда рисовалъ фламандку, и всего чаще—свою жену. Типъ фламандской женщины такими глубокими чертами былъ вѣзанъ въ его воображеніи, что онъ не могъ освободиться отъ него. Я знаю только два болѣе или менѣе счастливыя исключенія: одно—въ «Вознесеніи Божіей Матери», въ галлерей князя Лихтенштейна, и другое—въ «Страшномъ судѣ», въ Пинакотекѣ. Здѣсь Рубенсъ если и не возвысился до идеала, то въ значительной степени освобождается отъ грубаго натурализма, столько ощутительнаго съ этой стороны въ другихъ его произведеніяхъ. Этимъ же натурализмомъ проникнуты у Рубенса и всѣ нимфы и ореады, гдѣ только онъ у него встрѣчаются; но тотъ, кто хочетъ видѣть этотъ натурализмъ во всей его грубой животности, тотъ долженъ смотрѣть въ мюнхенской Пинакотекѣ на «Пьянаго Геркулеса», и при немъ—еще болѣе пьяную вакханку. Впрочемъ мы опять удалились отъ Бельведера...

Чтобъ судить о богатствѣ Бельведера въ этомъ отношеніи, надобно знать на первый разъ, что большая зала, о которой я говорилъ, вся сплошь наполнена произведеніями Рубенса. Ихъ считается здѣсь 23, въ томъ числѣ 6 огромныхъ размѣровъ: «Игнатій Лойола, исцѣляющій бѣснующихся», «Вознесеніе Божіей Матери», «Францискъ Ксавье, проповѣдующій Евангеліе въ Индіи», Св. Амвросій, воспрещающій Θεодосію входить во храмъ», «Четыре части свѣта», представленныя въ

аллегорическихъ фигурахъ, и «Союзъ Фердинанда III Венгерскаго съ Карломъ Фердинандомъ, инфантомъ испанскимъ». Общий эффектъ каждой изъ этихъ картинъ удивительный, особенно «Лойолы» и «Ксавье». Рисунокъ смѣлый, твердый; фигуры исполнены выраженія, положенія разнообразныя и непринужденныя. Къ сожалѣнію, въ подробностяхъ замѣтенъ недостатокъ отчетливости—вслѣдствіе излишней поспѣшности, безъ сомнѣнія—недостатокъ, который особенно ярко выходитъ наружу, когда картина подвергается такъ называемому возобновленію. Не надобно забывать, что дѣло идетъ о Рубенсѣ. Его яркій колоритъ всего менѣе имѣетъ нужду въ искусственномъ освѣженіи: онъ болѣе теряетъ, нежели выигрываетъ, когда съ него снимаютъ этотъ легкій оттѣнокъ, который налагаетъ время. Всякій недостатокъ въ отдѣлкѣ становится тогда яркимъ и бросается въ глаза; дѣйствіе нѣкоторыхъ красокъ безъ нужды увеличивается, гармонія ихъ теряется. Особенно потерпѣли „бѣсноватыя“, занимающіе въ «Лойолѣ» всю нижнюю часть картины. Конечно въ мысли самого художника было выразить въ лицахъ и положеніяхъ этихъ людей ихъ насильственное состояніе; но здѣсь есть предѣлъ, весьма тонкій и весьма чувствительный, за который не должно переходить искусство, и за который однако заставляютъ его выходить даже противъ воли художника, когда быстро набросанные имъ сильныя оттѣнки выходятъ, посредствомъ искусственнаго подновленія, въ свѣтъ гораздо болѣе яркомъ, нежели какъ онъ самъ того могъ желать. И, къ сожалѣнію, наиболѣе должны терпѣть въ такомъ случаѣ главныя фигуры. Надобно испытать, напримѣръ, что за странное впечатлѣніе производитъ слишкомъ яркое выступленіе простой краски на лицѣ Θεодосія въ прекрасной картинѣ, изображающей его передъ св. Амвросіемъ... Нѣтъ, такимъ не могъ выйти Θεодосій изъ подъ руки Рубенса! И потомъ, я имѣю еще болѣе разительное доказательство: эскизъ «Проповѣди Ксавье», менѣе потерпѣвшій отъ подновленія, производитъ гораздо болѣе гармоническое впечатлѣніе, нежели большая картина. Но, къ счастью, вы можете перейти въ другую залу, также рубенсовскую, гдѣ глазъ вашъ отдыхаетъ. Здѣсь помѣщены картины, къ которымъ или подновленіе приходится довольно кстати, или въ которыхъ художественная отдѣлка такъ вѣрна, что онѣ ничего не теряютъ и при возобновленіи. Къ первымъ относится—«Портретъ второй жены Рубенса, Елены Форманъ»,—предметъ, трактованный имъ столько и столько разъ. Вѣнскій

экземпляръ, кажется, долженъ перещегоолять всѣ другіе. Она написана во весь ростъ; лишь небрежно переброшенная мѣховая мантилья слегка покрываетъ ея обнаженное тѣло. Эти формы конечно не самыя изящныя; положеніе (attitude) тоже не самое счастливое: но что за блескъ, что за жизненный блескъ красокъ! Немного подобнаго можно узнать и у самого Рубенса. Это возвышенный до идеала блескъ живого человеческого тѣла... И, что особенно рѣдко у Рубенса, художественная отдѣлка проведена съ удивительнымъ постоянствомъ: видно, что отъ первой черты до послѣдней художникъ работалъ сопъ амоге. Рѣзкую противоположность къ фигурѣ Елены Форманъ составляетъ «Портретъ императора Максимилиана» въ рыцарскомъ вооруженіи и также во весь ростъ. Никто не умѣлъ такъ схватывать характеристическое, какъ Рубенсъ: когда смотришь на этотъ портретъ, какъ много понятнѣе становится историческій Максимилианъ! Но вотъ наконецъ и самая великолѣпная страница изъ всѣхъ, какія только носятъ въ Бельведерѣ имя Рубенса. Это большія складни (триптикъ), которыхъ центральная часть изображаетъ Богоматерь и передъ нею св. Ильдефонса, принимающаго изъ рукъ ея церковныя одежды, между тѣмъ какъ на крыльяхъ изображены въ благоговѣйномъ положеніи: съ одной стороны — эрцгерцогъ Альбрехтъ, оберъ-шталмейстеръ Испанскихъ Нидерландовъ, а съ другой — супруга его Клара-Изабелла-Евгенія. Это, безспорно, одно изъ самыхъ выдержанныхъ произведеній Рубенса. Всѣ части картины изложены въ благороднѣйшемъ стилѣ; въ каждой фигурѣ такъ много достоинства; колоритъ великолѣпный и въ тоже время чрезвычайно ровный и отчетливый; вообще, въ цѣлой картинѣ господствуетъ одинъ тонъ, который не нарушаетъ никакая дисгармонія. Изъ всѣхъ произведеній Рубенса, во множествѣ собранныхъ въ трехъ вѣнскихъ галлереехъ, складни могутъ уступить развѣ только «Вознесенію Богоматери» (въ галлерей князя Лихтенштейна): по силѣ возвышеннаго творческаго элемента и превосходной группировкѣ, этой картинѣ должно принадлежать одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ въ ряду многочисленныхъ созданій Рубенса. О «Кающейся Магдалинѣ» я упомяну только для того, чтобъ сказать, что въ ней ошутителенъ недостатокъ именно тѣхъ достоинствъ, которыя особенно отличаютъ складни. Картину разнообразную и живую, исполненную жизни и движенія, представляетъ «Праздникъ Венеры на островѣ Цитерѣ». Здѣсь опять нельзя

всѣхъ частей его. Въ полныхъ орбитахъ лежатъ глаза, для которыхъ у меня нѣтъ эпитета: потому что „большіе“ было бы несовсѣмъ вѣрно, хотя еще менѣе можно назвать ихъ „небольшими“. Здѣсь нѣтъ и тѣни той аффектаціи, которая внутреннюю силу хочетъ выражать увеличеніемъ или напряженіемъ формъ. Ничто не нарушаетъ гордо-прекраснаго спокойствія этого лица, разлитаго особенно отъ глазъ до оконечности подбородка; нѣтъ здѣсь ни этой жеманной робости больше дѣвческаго, чѣмъ женскаго стыда, котораго можетъ-быть слишкомъ много у Венеры Медичейской, ни суетнаго самодовольства красоты, ни упоенія ея своимъ торжествомъ. Но есть глубоко спокойная самоувѣренность красоты, не знающей себѣ соперничества; ея благородная гордость и спѣсь величавая; есть сознаніе о красотѣ своей полное и широкое,—но есть еще и это могучее самообладаніе, которое свойственно лишь однимъ олимпійцамъ, и котораго недостойно мелкое тщеславіе. Эта Венера знаетъ красоту свою и все ея могущество, но она не можетъ ни драпироваться ею, ни кокетничать; великая матрона въ полномъ развитіи женственныхъ силъ, она ни самой юной харитѣ не можетъ позавидовать въ граціозности формъ! Я не знаю еще ни одного примѣра въ пластикѣ, гдѣ бы сочетаніе силы съ граціею удалось въ такомъ совершенствѣ.

Не удивляйся впрочемъ, что на Венерѣ отразился такой пышный цвѣтъ искусства. Иначе и не могло быть: по суду лучшихъ знатоковъ (ссылаюсь на Вагена и Куглера), если она не есть созданіе самого Скопаса, то могла выйти только изъ мастерскихъ его школы. Скопасъ! Этимъ именемъ мы привыкли означать въ искусствѣ періодъ его самаго роскошнаго, самаго благоуханнаго цвѣтенія, періодъ самаго блестящаго развитія жизненныхъ силъ и всей полноты ихъ въ художественнѣйшей націи міра. Отъ величія и строгости Фидія, правда, уже удалился нѣсколько этотъ вѣкъ; но сокративъ исполинскіе размѣры прежней школы, Скопасъ разлилъ въ нихъ болѣешую полноту жизненности; надобно было много возвышаться духомъ, чтобъ постигнуть суровое величіе созданій Фидія: сохранивъ характеръ величія, Скопасъ первый умѣлъ сдѣлать его доступнымъ всякому живому чувству, облекши въ грацію человѣчески-изящныхъ формъ.

За то, если бъ ты зналъ, какъ невыгодно переносить взоръ, уже насыщенный созерцаніемъ этой красоты, на другія произведенія пластики, помѣщенные въ томъ же собраніи по сосѣдству съ Венерой Милосскою! Хотя бы даже то былъ

самъ «Гладиаторъ», который прямо противъ Венеры также поставленъ посреди залы, и къ которому я часто обращаюсь, кончивъ мою бесѣду съ однимъ изъ величайшихъ творцовъ въ искусствѣ. Нельзя не отдать «Гладиатору» должной дани удивленія: когда пристально смотришь на него нѣсколько времени, то кажется, наконецъ, что вотъ онъ сейчасъ сдѣлаетъ это сильное движеніе, къ которому готовъ каждую минуту. Такъ живо отдѣлены, обозначены всѣ мускулы, такъ натурально самое ихъ напряженіе, наконецъ такъ эффектна самая постановка этой статуи, гдѣ все сосредоточено къ одному движенію и каждому члену дано направленіе, соотвѣтствующее одной мысли, что вдаешься въ нѣкотораго рода оптический обманъ и какъ будто ждешь только минуты, когда это движеніе, къ которому все приготовлено, совершится передъ твоими глазами. Подъ вліяніемъ такого эффекта сначала даже не приходитъ въ мысль обратить особенное вниманіе на голову гладиатора, также нѣсколько вытянутую впередъ, согласно съ направленіемъ всѣхъ членовъ; но, разсмотрѣвъ ее потомъ, вы скоро убѣждаетесь, что въ ней—почти нечего разсматривать. Техника такъ же совершенна, какъ въ другихъ частяхъ; но въ общемъ движеніи членовъ гладиатора, устремленныхъ на рѣшительный ударъ, она естественно принимаетъ наименьшее участіе, а другой мысли ей никакой не дано... Трудно, правда, сказать, какую бы особенную мысль могла выразить голова гладиатора въ ту минуту, когда онъ готовится нанести ударъ своему противнику; но я и не говорю, чтобъ я хотѣлъ навязать какую мысль гладиатору: этой мысли я хотѣлъ отъ художника, но, сколько ни смотрѣлъ, не доспросился. Здѣсь дѣйствительно вся мысль ушла, такъ сказать, въ это страшное сосредоточеніе всѣхъ членовъ къ одному преднамѣренному движенію. Эту натуралистическую часть римское искусство знало въ совершенствѣ; но, принявъ искусство отъ грековъ, римляне стерли съ него печать идеальности. Вотъ почему такъ неполно наслажденіе произведеніями собственно римской пластики. Такъ много изученія, искусства, иногда художественной любви къ работѣ: все это я вижу, часто не могу не удивляться; но въ этомъ искусствѣ такъ мало одухотворенія!

Мы присоединяемъ нѣсколько археологическихъ замѣчаній. Интересно знать, чтó Милосская Венера держала въ рукахъ, и на что она смотреть? Это очень важно для полнаго пониманія того мотива, который опредѣлилъ ея гордую постановку. Здѣсь намъ помогаютъ монеты,

именно одна коринфская монета, на которой Афродита держитъ въ рукахъ щитъ Ареса (Марса) и смотрится въ него, какъ въ зеркало. Въ этой монетѣ надобно, кажется, видѣть указаніе, какъ реставрировать Милосскую Венеру въ мысляхъ. Другіе полагали, что она была сгруппирована съ Марсомъ, и основывались на одномъ рѣзномъ камнѣ, сохраняющемся въ флорентинскихъ Uffizi. Но это, кажется, гораздо менѣе вѣроятно и гораздо менѣе идетъ къ характеру статуи.—Въ техническомъ отношеніи Милосская Венера довольно близко подходитъ къ статуямъ, украшавшимъ фронтоны Партеенона и находящимся теперь въ Лондонѣ. Особенно напоминаетъ ихъ въ ней удивительная оживленность оболочки тѣла, такъ называемой эпидермы, и простота и опредѣленность формъ тѣла. Но ея стиль шире и полнѣе. Работа волосъ свободнѣе, нежели на партеенонскихъ статуяхъ. Въ одеждѣ складки еще довольно мелки, но главные мотивы драпировки уже виднѣе, нежели на партеенонскихъ изваяніяхъ.



ватуямъ, украшавшимъ фронтоны Партеенона и находящимся теперь въ Лондонѣ. Особенно напоминаетъ ихъ въ ней удивительная оживленность оболочки тѣла, такъ называемой эпидермы, и простота и опредѣленность формъ тѣла. Но ея стиль шире и полнѣе. Работа волосъ свободнѣе, нежели на партеенонскихъ статуяхъ. Въ одеждѣ складки еще довольно мелки, но главные мотивы драпировки уже виднѣе, нежели на партеенонскихъ изваяніяхъ.

П. Л.



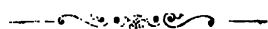
Важнѣйшія опечатки.

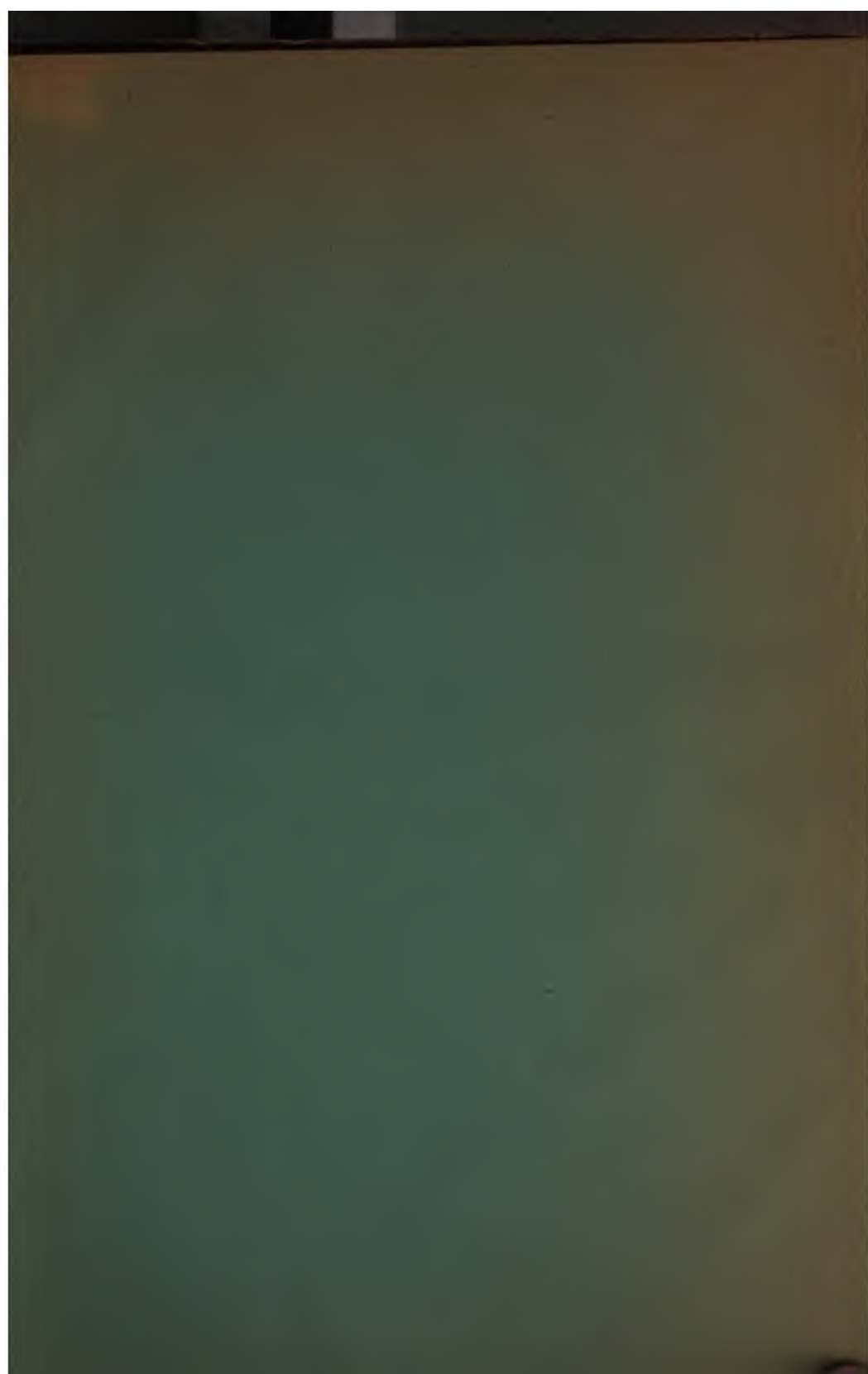
<i>Стр.</i>	<i>Стр.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Должно быть:</i>
17	14 сверху	XI	II
107	12 "	укорены	укоренены
139	7 "	Кленцъ	Кленце
140	1 снизу	А Шлегель	А. В. Шлегель
262	25 "	раесерта	раесерта
283	11 сверху	Авранда	Арванда
286	10 снизу	враждебную	врожденную
300	6 "	выпустить	выступить
301	12 "	состоянія	состояніе
311	5 "	St.	It.
320	16 сверху	Прямо	Прямого
333	17 "	привелегією	привилегією
348	2 снизу	Einsh.	Einh.
352	13 сверху	Пипину	Пипину
358	17 "	наразгаданною	не разгаданною
381	4 снизу	Сенѣ	Сонѣ
382	16 "	перемѣна	перемѣна
392	12 сверху	начинаетъ	начинаютъ
420	11 "	Вегеля	Вегеле
457	9 "	слово.	слова.
478	21 "	Tésor	Trésor
511	1 снизу	Willani	Villani
543	6 "	Pardendo	Partendo
571	5 "	незначенная	назначенная
595	10 "	Маретты	Маратты
596	8 сверху	Линни	Пиппи
"	9 снизу	Маранета	Маратты
600	8 сверху	Saibolini	Raibolini
"	19 "	Франчіо	Франція
602	16 снизу	Mozzuola	Mazzuola
609	14 "	исторіи	исторической
616	11 "	повторить	повториться
621	10 "	Диппенбекомъ	Диппенбекомъ
"	9 "	Honshorst	Honthorst



О Г Л А В Л Е Н І Е.

	<i>Стр.</i>
1. О достовѣрности исторіи	1
2. О современныхъ задачахъ исторіи	33
3. Последнее время греческой независимости	70
4. Древнѣйшая римская исторія по изслѣдованію Шwegлера.	99
5. О сочиненіи Ешевскаго «Аполлинарій Сидоній». . .	239
6. Каролинги въ Италіи	303
7. Дантъ, его вѣкъ и жизнь	413
8. Объ «Эдипѣ царѣ» Софокла	545
9. Бельведеръ	580
10. Венера Милосская	623







D
7
K88
v. 1

Stanford University Libraries



3 6105 013 370 502

raries

Return this book on or before date due.

--	--	--

